Вересаев Викентий Викентьевич

Гоголь в жизни

* * *

Предисловие

Книга эта составлена по тому же плану, как книга моя «Пушкин в жизни». Она представляет систематический и возможно полный свод свидетельств самого Гоголя и его современников о Гоголе, каким он был в жизни, – об его поступках, настроениях, переживаниях, высказываниях, характере, привычках, радостях, невзгодах, наружности, одежде, об его окружении, – обо всем, равно и крупном и мелком, что рисует человека, каким он был в действительности. Это, конечно, не его биография, это просто сборник материалов, подобранных возможно объективно.

Материал этот – весьма различной ценности. Доверия заслуживают воспоминания друзей юности Гоголя: А. С. Данилевского, К. М. Базили, Г. И. Высоцкого, Н. Я. Прокоповича, в меньшей мере – Т. Г. Пащенка; подробные и чрезвычайно добросовестные воспоминания С. Т. Аксакова, П. В. Анненкова, д-ра Тарасенкова; отрывочные воспоминания М. П. Погодина, подлинные записи А. О. Смирновой (не «Записки» ее, когда-то изданные «Северным Вестником»; это – бесцеремонная фальсификация, сочиненная дочерью ее, О. Н. Смирновой). Много ценного материала, переданного со слов современников, находим в книгах: Кулиша – «Записки о жизни Гоголя» и Шенрока – «Материалы для биографии Гоголя». Мало доверия внушают воспоминания матери Гоголя, Марьи Ивановны, – сантиментальной фантазерки, обожавшей гениального своего сына сверх всякой меры. Односторонне враждебны и полны фактических неточностей воспоминания школьного товарища Гоголя В. И. Любича-Романовича. По обыкновению путает и многое привирает гр. В. А. Соллогуб. Источником очень ненадежным, которым можно пользоваться лишь с величайшею осторожностью, являются письма самого Гоголя. Просто невероятно, до чего он все время фальшивит в письмах, какие неверные сообщает о себе сведения; часто совершенно даже невозможно понять, для чего это он, – никакой, по-видимому, нет причины, только непреодолимая склонность к мистификациям и тончайшей дипломатии. Самую малую ценность имеют, конечно, записи со слов различных «старожилов».

В подборе материала я старался быть возможно менее строгим и отбрасывал сообщения явно фантастические – вроде рассказа И. Л. Щеглова, якобы со слов Тертия Филиппова, о первой встрече Гоголя с о. Матвеем (*Новое Время, 1901, № 9260*). Повторю то, что я писал в

предисловии к книге о Пушкине: «Многие сведения, приводимые в книге, конечно, недостоверны и носят все признаки слухов, сплетен, легенды. Но ведь живой человек характерен не только подлинными событиями своей жизни – он не менее характерен и теми легендами, которые вокруг него создаются, теми слухами и сплетнями, к которым он подает повод. Нет дыма без огня, и у каждого огня свой дым. О Диккенсе будут рассказывать не то, что о Бодлере, и пушкинская легенда будет сильно разниться от толстовской».

Сообщения сомнительные отмечены впереди текста звездочкой. Разумеется, это еще не значит, что остальные сообщения вполне достоверны. Полная критическая проверка всех сообщаемых фактов была бы работой, далеко выходящей за пределы задачи, преследуемой этою книгою.

* * *

Гоголь родился в глухой помещичьей усадьбе Полтавщины. У его родителей было около двухсот «душ» крепостных крестьян и более тысячи десятин земли. Сам Гоголь, однако, помещиком не был. Как только ему удалось стать на ноги, он начал жить самостоятельным трудом – сначала служил, потом существовал литературной работой. От своей части имения он отказался в пользу матери и сестер, не только не получал оттуда никаких доходов, но сам – правда, редко и мало – помогал матери, хозяйничавшей очень неумело. Так что по собственному своему социальному положению Гоголь скорее принадлежал, подобно Белинскому, к сословию разночинцев со всеми сопутствующими особенностями: необходимостью зарабатывать пропитание личным трудом, непрочностью заработка, всегдашнею необеспеченностью.

Однако всю свою идеологию Гоголь целиком впитал из недр старосветской помещичьей жизни. И что замечательно: через жизнь свою, полную самого напряженного художественного искания и творчества, эту идеологию свою он пронес в совершенно нетронутом виде, совсем в таком виде, в каком получил ее в раннем детстве. В вопросах общественности, морали, религии великий автор «Ревизора» и «Мертвых душ» до конца жизни стоял совершенно на том же уровне, на котором стояла его наивная и глуповатая мать-помещица. В этих областях оба они говорили на одном языке.

Одна барышня вышла замуж, другой это не удалось. Гоголь искреннейшим образом убежден, что марьяжными делами барышень заведует сам господь бог, что это он уж так заранее определил: одной девице быть замужем, другой нет. «Это устроил бог для нее. Нужно было выйти замуж, она и вышла: так же, как для другой – то, чтобы она не выходила замуж, и она не выходит». Ехал Гоголь по Рейну – пароход ударился об арку моста и сломал колесо: Гоголю пришлось остаться на

день в Страсбурге. Авария эта, по его серьезнейшему мнению, случилась для того, чтобы побудить его написать из Страсбурга письмо графине Виельгорской. Конечно, урожай и неурожай – от бога, здоровье – от него же. Он даже бодрствует над геморроем Гоголя, определяет, когда послать рабу своему запор, когда, по милости своей, дать разрешение запору.

Мужику, уж конечно, тем же богом предписано работать на своего барина. В 1846 г., в письме к сестре, Гоголь настаивает, чтоб она ездила на полевые работы и следила за мужиками. «Ленивому ты должна говорить, что он может наработать больше, стало быть, грех ему так не делать, что ты ему потому приказываешь и велишь, что бог приказал трудиться усердно. Он сказал: «в поте лица трудитесь!», стало быть, это грех, и с помещика за то взыщется. Расскажи также мужикам, чтобы они слушали приказчика и умели бы повиноваться, несмотря на то, кто ими повелевает, хотя бы он был и худший их, потому что нет власти, которая была бы не от бога. Словом, так говори с ними, чтоб они видели, что, исполняя дело помещичье, они с тем вместе исполняют и божие дело». Через несколько лет он в письме к сестрам опять настаивает, чтоб они ездили в поле следить за работою мужиков: «Бедные крестьяне в поте лица работают на нас, а мы, едя их хлеб, не хотим даже взглянуть на труд рук их. Это безбожно. Оттого и наказывает нас бог, насылая на нас голод, невзгоды и всякие болезни, лишая даже и скудных доходов. Жестоко наказываются целые поколения, когда приведут себя в состояние белоручек. Все тогда, весь мир идет навыворот, и начинаются казни, хлещет бич гнева небесного». Я не знаю, можно ли найти во всемирной литературе более наивно-откровенное исповедание барско-помещичьего бога.

И не только так писал Гоголь. Он и в жизни проявлялся типичнейшим барином-помещиком. В 1832 г. он приехал из Петербурга к себе в Васильевку, чтоб везти в Петербург двух малолетних своих сестер для определения в институт. Возник трудный вопрос: как обходиться девочкам в дороге без горничной? Где поместить горничную в Петербурге? Хорошо было бы, если бы человек Гоголя Яким был женат. И тут же Гоголь с матерью порешили: за три дня до отъезда женили Якима на Матрене, горничной сестер. «Таким образом, – рассказывает одна из сестер Гоголя, – совершенно неожиданно для себя и для всех Яким отправился в Петербург с женою, а барышни – с горничною; а Мария Ивановна (мать Гоголя) была очень довольна, что все так устроилось по-семейному».

К политике и ко всякой общественности Гоголь был глубоко равнодушен. Тогдашний Париж с его кипящею общественною жизнью вызывал в Гоголе отвращение. Он отдыхал душою в Италии, наслаждался кладбищенскою тишиною Рима и Неаполя, скованных

чудовищным деспотизмом папы Григория XVI и неаполитанского короля Фердинанда-Бомбы; не видел ужасающего угнетения народа. Если он и чувствовал нарастание во всей Европе предгрозового революционного электричества, то видел в этом только язву, которая разъедает ничем не довольную Европу.

Все это жизнеотношение Гоголя стояло в резком противоречии с его сатирическим, глубоко отрицательским талантом. Революционная часть общества и молодежь восторженно приветствовали Гоголя за сокрушительные удары по существующему строю, но сам он тяготел к самым реакционным кругам общества, не исключая из круга своих симпатий даже таких изуверов-мракобесов, как Стурдза, Вигель, Бурачок, с благоговейным обожанием относясь к ненавидимому всеми императору Николаю. Самою большою болью Гоголя было то, что в его обличениях читатель не хотел видеть высмеивание «частных случаев», а воспринимал их как подрывную работу, направленную на самый строй, создавший возможность подобных «случаев». И вот в последующих томах «Мертвых душ» Гоголь ставит себе целью дать «положительные образы» русских людей – выставить их в «ярко-живых, говорящих примерах, способных подействовать силою», как пишет он в своем обращении к шефу жандармов, графу Орлову. Этими показательными образцами примерной жизни должны были явиться у Гоголя: ловкий приобретатель, помещик Костанжогло, добродетельный винный откупщик, миллионер Муразов, благородный генерал-губернатор, благочестивый священник и, наконец, – сам царь Николай, милосердием своим возрождающий к новой жизни раскаявшегося Чичикова.

Гоголь работал над второю частью «Мертвых душ» упорно, мученически. Писал, оживал надеждою, падал духом, уничтожал написанное, с новой энергией и верой принимался за работу. Все последние десять лет жизни он работал только над этим трудом, только им одним и жил. В нем он видел высочайшее свое призвание, великий долг, не исполнив которого не считал возможным умереть. И ничего не получалось. И перед смертью он в отчаянии бросил в огонь, по-видимому, совсем уже готовый к печати второй том.

Психиатры, писавшие о Гоголе, усматривают в дошедших черновиках второго тома такое явное ослабление творчества, что без всяких колебаний объясняют это ослабление болезнью Гоголя. Бесспорно, последние пятнадцать лет своей жизни Гоголь был глубоко болен, работал трудно. Однако в тех частях второго тома, где звучит прежний издевательский гоголевский смех, и образы его обладают совершенно прежнею силою. Генерал Бетрищев, Петр Петрович Петух, Кашкаров достойны стать рядом с самыми яркими образами первого тома; несравненный Чичиков во втором томе нисколько не потускнел и

наново пленяет нас своею ловкостью почти военного человека и фраком наваринского дыма с пламенем. Горестное снижение творчества мы замечаем только там, где Гоголь начинает рисовать показательных «хороших людей». Мог ли бы он облечь их в плоть и кровь, мог ли бы заставить засветиться героическим светом, если бы даже был здоров, если бы способен был гореть молодым вдохновением, каким горел в лучшую пору творчества? Конечно, не мог.

У нас нет оснований сомневаться в субъективной искренности Гоголя. Художественное воплощение своих смехотворно убогих идеалов Гоголь считал великим своим «душевным делом», священным подвигом, который на него возложил сам господь бог. Но тем хуже для Гоголя. Объективно он целиком старался работать на пользу дворянско-чиновничьего сословия и опиравшегося на него царского самодержавия, для них он старался обломить острие у самого сокрушительного своего оружия – смеха, для них пытался неистовые свои насмешки и издевательства сменить на гимны и акафисты. Это ему не удалось. И в этом была его казнь. Над этою ношею обломал себе крылья его благородный гений и, вместо взлета ввысь, в беспомощных судорогах пополз по земле. Гоголь это видел, но причины не понимал и бросил в огонь опостылевший труд, над которым подвижнически работал долгие годы.

Конечно, Гоголь был тяжело болен. Конечно, в последние годы работал трудно. Но обессилело его творчество не потому, что он уже не в состоянии был рисовать Собакевичей, городничих и купцов Абдулиных, а потому, что Собакевича он пытался перерядить в Костанжогло, городничего – в благородного генерал-губернатора, Абдулина – в непроходимо добродетельного винного откупщика Муразова. Этого не смог бы сделать и гений из гениев в самом буйном расцвете творчества.

* * *

Источники, на которые приходится ссылаться часто, привожу в сокращенном написании. Вот их полные заглавия:

Аксаков С. Т. История знакомства. – «История моего знакомства с Гоголем». Рус. Арх., 1890, том II, особ. приложение.

Анненков П. В. – Литературные воспоминания. СПб. 1909.

Барсуков Н. П. – Жизнь и труды М. П. Погодина. 22 части. СМб., 1888–1910.

Боткин М. П. – А. А. Иванов, его жизнь и переписка. СПб., 1880.

Гербель Н. В. – Гимназия высших наук и лицей кн. Безбородко (ред. Гербеля). Изд. 2-е. СПб., 1881.

Гоголевский сборник. Киев, 1902.

Гоголь-Головня О. В. – Из семейной хроники Гоголей. Мемуары. Изд. газ. «Киевская Мысль». Киев, 1909.

Из прошлого Одессы. Сборник, составленный Л. М. де-Рибасом. Одесса, 1894.

Ист. Вестн. – журнал «Исторический Вестник», под ред. С. Н. Шубинского.

Иордан Ф. И. – Записки. М., 1918.

Кирпичников А. И. Хронологическая канва. – Опыт хронологической канвы к биографии Н. В. Гоголя. М., 1902. В полном собрании сочинений Гоголя, изд. И. Д. Сытиным.

Кулиш П. А. – Николай М. (П. А. Кулиш). Записки о жизни Н. В. Гоголя. Два тома. СПб., 1856.

Никитенко А. В. – Записки и дневник. Изд. 2-е. СПб., 1905.

Ост. арх. – Остафьевский архив кн. Вяземских. Изд. гр. С. Д. Шереметева. СПб., 1899 и сл.

Панаев И. И. – Литературные воспоминания. Полн. собр. соч., том шестой. СПб., 1888.

Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. Три тома. СПб., 1896.

Письма. – Письма Н. В. Гоголя. Редакция В. И. Шенрока. Четыре тома. СПб. Изд. А. Ф. Маркса.

Рус. Арх. – журнал «Русский Архив», под ред. П. И. Бартенева.

Рус. Стар. – журнал «Русская старина», под ред. М. И. Семевского.

Смирнова А. О. – Автобиография. Ред. Л. В. Крестовой. Изд-во «Мир». М., 1931.

Смирнова А. О. Записки. – Записки, дневник, воспоминания, письма. Изд-во «Федерация». М., 1929.

Соллогуб В. А. гр. – Воспоминания. СПб. Изд. Суворина. 1887.

Тарасенков А. Т., д-р. – Последние дни жизни Н. В. Гоголя. СПб., 1857.

Шенрок В. И. Материалы. – Материалы для биографии Гоголя. Четыре тома. М., 1892–1897.

Подстрочные примечания не подписанные принадлежат составителю. Ему же в тексте принадлежат заключенные в скобки слова и фразы, набранные курсивом, – объясняющие или исправляющие текст. Цитаты из источников, писанных на иностранных языках, приводятся в русском переводе. В скобках отмечается, что подлинник писан на таком-то иностранном языке (польск., франц.). Цитаты из писем помечаются просто именами автора письма или адресата, напр.: «Гоголь – В. А. Жуковскому, 2 дек. 1843 г.». Это значит: Гоголь в письме к Жуковскому. Цитаты из сочинений Гоголя приводятся без ссылок на определенное издание его сочинений. По заглавию и указанной главе всякий легко найдет цитату в любом имеющемся у него под руками издании Гоголя.

В. ВЕРЕСАЕВ

Москва. Апрель 1932 г.

I

Предки Гоголя

Гоголи-Яновские

1. *Евстафий (Остап) Гоголь*, полковник Подольский, а потом Могилевский, 1658–1674. Умер в 1679 г.

2. *Прокофий*, польский шляхтич.

3. *Ян*, польский шляхтич.

4. *Демьян*, священник села Кононовки.

5. *Афанасий*, род. в 1738 г., секунд-майор. Жена его – Татьяна Семеновна Лизогуб.

6. *Василий* (отец писателя), коллежский асессор, умер в 1825 г. Жена его Марья Ивановна Косяровская.

А. М. Лазаревский. Очерки малороссийских фамилий. Рус. Арх., 1875, I, 451.

Об Остапе Гоголе говорится в летописях при описании битвы на Дрижиполе (1655). Он один из полковников остался до конца верен гетману Петру Дорошенку, после которого еще несколько времени отстаивал подвластную себе часть Украины… Он ездил в Турцию послом от Дорошенка в то время, когда уже все другие полковники вооружились

против Дорошенка и когда Дорошенко колебался между двумя мыслями: сесть ли ему на бочку пороху и взлететь на воздух, или отказаться от гетманства. Может быть, только Остап Гоголь и поддерживал так долго его безрассудное упорство, потому что, оставшись после Дорошенка один на опустелом правом берегу Днепра, он не склонился, как другие, на убеждения Самойловича, а пошел служить, с горстью преданных ему казаков, воинственному Яну Собескому и, разгромив с ним под Веною турок, принял от него опасный титул гетмана, который не под силу пришло носить самому Дорошенку. Какая смерть постигла этого, как по всему видно, энергического человека, летописи молчат. Его боевая фигура, можно сказать, только выглянула из мрака, сгустившегося над украинскою стариною, осветилась на мгновение кровавым пламенем войны и утонула снова в темноте.

П. А. Кулиш, I, 2.

В 1674 г. Остап Гоголь получил от польского короля Яна-Казимира грамоту на село Ольховец, в которой объясняется и служба Гоголя: «За приверженность к нам и к Речи Посполитой благородного Гоголя, нашего могилевского полковника, которую он проявил в нынешнее время, перешедши на нашу сторону, присягнув нам в послушании и передавший Речи Посполитой могилевскую крепость, поощряя его на услуги, жалуем нашу деревню, именуемую Ольховец, как ему самому, так и теперешней супруге его; по смерти же их сын их, благородный Прокоп Гоголь, также будет пользоваться пожизненным правом». Праправнук Евстафия Гоголя, Афанасий, о предках своих в 1788 г. показал: «Предки мои фамилией Гоголи, польской нации; прапрадед Андрей (?) Гоголь был полковником могилевским, прадед Прокоп и дед Ян Гоголи были польские шляхтичи; из них дед по умертвии отца его Прокопа, оставя в Польше свои имения, вышел в российскую сторону и, оселясь уезда Лубенского в селе Кононовке, считался шляхтичем; отец мой Демьян, достигши училищ киевской академии (где и название по отцу его, Яну, принял Яновского), принял сан священнический и рукоположен до прихода в том же селе Кононовке».

А. М. Лазаревский. Очерки малороссийских фамилий. Рус. Арх., 1875, I, 451.

Странно, что в этом документе полковник Гоголь назван Андреем и получает в 1674 г. привилегию на владение деревнею Ольховец от польского короля Яна-Казимира, который за шесть лет перед тем отрекся от престола. До сих пор ни в одном известном документе не встретилось не только полковника Андрея Гоголя, но и никакого другого полковника, кроме Остапа.

П. А. Кулиш, I, 3.

Афанасий Гоголь о своем деде сообщает сведения неточные. Он называет Яна сыном Прокофия и, называя Яна шляхтичем, не говорит о том, что этот дед его был таким же священником села Кононовки, как и отец. (На священство последнего Афанасий Гоголь точно указывает в своем доказательстве.) Юридические акты свидетельствуют, что Ян Гоголь по отцу назывался не Прокофьевичем, а Яковлевичем и что он же, Ян, в 1697 г. был викарием лубенской Троицкой церкви, а в 1723 г. – священником села Кононовки. Можно думать, что Афанасий Гоголь умышленно скрыл священничество своего деда Ивана, потому что не любила перерождавшаяся в дворянство казацкая старшина связывать свое происхождение с лицами духовного и посполитого (крестьянского) состояния. Поэтому священники превращались в «польских шляхтичей», а какие-нибудь бургомистры – в сотников. Это обычное явление в старинных родословиях.

А. М. Лазаревский. Сведения о предках Гоголя. Чтения в Историч. общ-ве Нестора-Летописца, кн. XVI, вып. I–III. Киев. 1902. Стр. 9—10.

Нам удалось добыть дневник одного из старейших священников Миргородского уезда, о. Владимира Яновского, который приходится троюродным братом Гоголю. Из дневника этого видно, что род Гоголь-Яновских ведет свое начало от Ивана Яковлевича (фамилии в документах нет), выходца из Польши, который в 1695 г. был назначен к Троицкой церкви г. Лубен «викарным» священником; вскоре он был переведен во вновь устроенную Успенскую церковь с. Кононовки того же уезда... Продолжателями рода и преемниками духовной власти Ивана Яковлевича были: сын его Дамиан Иоаннов Яновский (можно думать, что фамилия – от имени отца Ивана, по-польски Яна), также священник кононовской Успенской церкви; далее родословная Яновских идет по двум параллельным линиям: 1) Сын о. Дамиана Афанасий Дамианович – уже Гоголь-Яновский, – «пример-майор», как сказано в семейной летописи; сын его Василий и внук Николай, писатель. 2) Кирилл Дамианович священник кононовской церкви; его дети: Меркурий и Савва, оба священники: первый – в Кононовке, второй – в Олефировке, Миргородского уезда.

Священник Ал. Петровский. К вопросу о предках Гоголя. Полтавские Губернские Ведомости, 1902, № 36.

Афанасий Демьянович (дед писателя) прошел через семинарию и завершил свое образование в Киевской духовной академии. Сохранились воспоминания, указывающие на то, что Афанасий Гоголь

получил в академии настолько основательное для своего времени образование, что считался знатоком языков, особенно латинского и немецкого, которые преподавал детям своих деревенских соседей. О самой женитьбе его рассказывают анекдот, что он похитил из родительского дома любимую свою ученицу Татьяну Семеновну Лизогуб, дочь бунчукового товарища Семена Лизогуба, по матери из фамилии Танских. Он предварительно объяснился ей в любви, скрыв записку в скорлупе грецкого ореха, и, удостоверившись во взаимности, обвенчался с нею без ведома родителей.

В. И. Шенрок. Материалы, I, 30, 38.

Бабушка (жена Аф. Дем. Гоголя) была из богатого дома. У них был учитель, который учил ее братьев и ее. Рассказывали, как она собрала свои золотые и серебряные и прочие вещи, ушла из родительского дома, где-то повенчалась; за это родители рассердились: ничего ей не дали, и где они жили и как, не расспрашивали. Потом братья ее подарили ей Васильевку, и тут она жила до смерти. За бабушку говорили, как она великолепно рисовала.

О. В. Гоголь-Головня (сестра писателя), 36.

Необычным фактом была женитьба «поповича» Афанасия Гоголя на дочери бунчукового товарища Сем. Сем. Лизогуба, человека, принадлежавшего к «высшему» местному обществу. Лизогуб был, во-первых, родной внук гетмана Скоропадского, получивший богатые дедовские маетности, а во-вторых, это был зять переяславского полковника Василия Танского… За женой Афанасий Гоголь в «посаг» получил несколько десятков крестьянских дворов (из материнского имения) в селе Келеберде и Купчине (впоследствии Васильевке, имении родителей писателя), в которых, по ведомости 1782 г., считалось 268 крестьян, мужчин и женщин.

А. М. Лазаревский. Чтения в Историч. общ-ве Нестора, кн. XVI, вып. I–III, 11.

Из послужного списка Афанасия Демьяновича Гоголя видно, что он родился в 1738 г., а уже в 1757 г. вступил на службу, сперва в полковую миргородскую, а в следующем же году в войсковую канцелярию; за добросовестное исполнение своих обязанностей был представлен в войсковые хорунжие… За долговременную беспорочную службу удостоился награждения чином бунчукового товарища в 1781 г., августа 7 дня. Там же против графы: «грамоте читать и писать умеет ли?» сказано: «грамоте читать и писать по-русски, по-латыни, польски, немецки и гречески умеет». Впоследствии он был назначен полковым

писарем и переименован в секунд-майоры, в каком чине находился до конца дней своих.

К. А. Чаговец. Семейная хроника Гоголей. (По бумагам семейного архива.) Чтения в Историч. общ-ве Нестора. кн. XVI. вып. I–III, 27.

Малорусский пан (в XVIII столетии) не имел еще государственного признания своих прав. Между тем только дворянское достоинство давало санкцию обладанию землею, а главное – обязательным трудом. Малорусское панство кинулось на отыскивание побочных тропинок и лазеек, какими бы можно было пробраться в дворянство. Каждому надо было для себя доказать, что он «не здешней простонародной малороссийской», а какой-нибудь особенной шляхетской породы. Сподручнее и легче всего было доказывать свое непростонародное происхождение через посредство Польши: престиж шляхетства всегда окружал все польское. И вот какой-нибудь самый обыкновенный козацкий сын Василенко (по Василию отцу), выдвинувшись на маленький уряд, начинает подписываться на польский манер Базилевским, Силенко – Силевичем, Гребенка – Грабянкою и т. д. С течением времени все эти самозваные Базилевские и Силевичи успевали уверить и других, а может быть, и себя в своем польско-шляхетском происхождении. Оставалось это утвердить документом. С деньгами и это было делом нетрудным. На этот случай были под рукой дельцы, которые охотно брались за фабрикацию необходимых документов. Вероятно, это стоило не особенно дорого, так как во времена возникновения комиссии о разборе дворянских прав в Малороссии оказалось до 10 000 дворян с документами, между тем как лет 15–20 перед тем малороссийское панство заявило, что у него документов нет, так как они растеряны через бывшие в Малороссии междоусобные брани и многочисленные войны.

А. Я. Ефименко. Малорусское дворянство и его судьба. Вестник Европы, 1891, авг., 555.

Рассмотрев предъявленные от Гоголя-Яновского о дворянском его достоинстве доказательства, признали оные согласными с предписанными на то правилами, вследствие коих он и род внесен в дворянскую родословную Киевской губернии книгу, в первую ее часть. Октября 15 числа 1772 г.

Дворянская грамота А. Д. Гоголя. Чтения в Историч. общ-ве Нестора, кн. XVI. вып. I–III, 42.

[В свете вышеприведенных фактов вопрос о происхождении Гоголя с отцовской стороны вырисовывается перед нами в таком виде: какой-то могилевский полковник Гоголь, – не Остап, а никому не ведомый

Андрей, получил поместье от польского короля Яна-Казимира, уже за шесть лет перед тем отрекшегося от престола; в двух очень близких к этому Андрею Гоголю поколениях потомство его представлено священниками, что немножко странно для дворян; никакой фамилии у потомков этого могилевского полковника Гоголя в документах не значится; только дети Яна от имени отца получают фамилию «Яновские»; брат Афанасия Кирилл со всем своим священническим потомством остается почему-то только с этой фамилией, без прибавки «Гоголь»; Гоголь-Яновским оказывается один Афанасий со своим потомством. На основании этого можно думать, что по отцу Гоголь-писатель вовсе не происходил от старинного украинского панства, а был происхождения духовного, дворянство же впервые получил его дед Афанасий Демьянович, сделавший себе карьеру женитьбою на дочери бунчуковского товарища Лизогуба. Он, возможно, слышал о некоем могилевском полковнике Гоголе, но даже не знал его имени; предъявил наскоро сфабрикованный документ о своем якобы происхождении от могилевского полковника Гоголя, получил дворянство и прибавку «Гоголь» к своей настоящей фамилии «Яновский».]

Мать Татьяны Семеновны Гоголь (жены Аф. Дем-ча), урожденная Танская, отличалась тяжелым, своевольным и вздорным характером. Отец ее писал ей: «Ты росла при матери в горе, як при мачехе».

Всеволод Чаговец. О. В. Гоголь-Головня, 96.

Татьяна Семеновна обладала замечательною способностью к живописи и рисовала небольшие картины из деревенской природы и жизни. В Яновщине долгое время хранились две картинки, написанные Татьяной Семеновной: фрукты и разрезанная дыня… Она страшно боялась лошадей; поэтому, когда ей приходилось куда-нибудь ехать, что, впрочем, случалось очень редко, то в карету запрягали пару волов и в таком виде ездили в город или к знакомым, нисколько не смущаясь тем любопытством, какое вызывала у всех такая оригинальная запряжка.

В. А. Чаговец. Семейная хроника Гоголей. Чтен. в Историч. общ-ве Нестора, кн. XVI, вып. I–III, 28–29.

Что касается до предков Гоголя по женской линии, то полковник переяславский Василий Танский происходил из известной польской фамилии этого имени и оставил Польшу в то время, когда Петр Великий вооружился против претендента на польский престол, Лещинского. Он усердно служил Петру в шведской войне и занимал всегда одно из самых видных мест между малороссийскою старшиною. Прадед поэта, Семен

Лизогуб, происходил от генерального обозного Якова Лизогуба, известного тоже в царствование Петра Великого и его преемников. Таким образом Гоголь, по своей родословной, принадлежал к высшему сословию в Малороссии и в числе своих предков мог считать несколько личностей, хорошо памятных истории.

П. А. Кулиш, I, 3.

Гоголь по женской линии имел предками своими Танских, из которых один, в сороковых годах XVIII века, известен был, «как славный поэт», – писатель интерлюдий в простонародном украинском духе.

Н. И. Петров. Очерки истории украинской литературы XIX стол. Киев, 1884, 77.

У дедушки и бабушки долго не было детей; на четырнадцатом году родился мой отец; единственное было дитя.

О. В. Гоголь-Головня, 36.

Василий Афанасьевич (род. 1777, скончался 1825) и супруга его Мария Ивановна (род. 1791, сконч. 1868) Гоголь. Мир праху вашему!

Надгробная плита ни могиле родителей Гоголя в Яновщине. Фотографический снимок. О. В. Гоголь-Головня, 40.

Василий Афанасьевич учился в полтавской семинарии. В Полтаве был он на попечении некоего Стефана Гординского, по всей вероятности, учителя семинарии. Дошло несколько писем Гординского к отцу Василия Афанасьевича… 2 марта 1795 г. он сообщал Афанасию Демьяновичу: «Васюта, слава богу, по силе своих сил и дарований в учении своем преуспевает, я его понуждаю к учению, соображаясь всегда силам его телесным, которые усматриваются невелики».

П. Е. Щеголев. Отец Гоголя. Ист. Вестн., 1902, февр., 658.

В 1797 г. Аф. Дем. думал, по старинному дворянскому обычаю, записать своего сына Василия в гвардию с тем, чтобы он выслуживал чины и жил дома, но получил уведомление, что теперь пошли новые порядки, и приобретать чины таким образом нельзя. Думали послать Василия Афанасьевича в Московский университет, хлопотали через Д. П. Трощинского, но и это не удалось. Пришлось избрать гражданскую службу в малороссийском почтамте.

В. А. Чаговец. Семейная хроника Гоголей. Чт. в Историч. общ-ве Нестора, кн. XVI, вып. I–III, 29–30.

Василий Афанасьевич «находился при малороссийском почтамте по делам сверх комплекта». В 1798 г. он был произведен из губернских секретарей в титулярные советники. Служба была номинальной, и Василий Афанасьевич не был даже внесен в списки почтамта и должен был ходатайствовать перед Д. П. Трощинским (*сановный родственник*), который был в это время директором почт, о выдаче ему аттестата по службе. «За приключившимися мне тягостными и продолжительными припадками, – изъяснялся он в своем прошении, – проживал я в доме для пользования себя и в списки почтамта остался не вписанным». В 1805 г. Василий Афанасьевич вышел в отставку с чином коллежского асессора, и с этого времени он жил в деревне. Только когда Трощинский приехал на житье в свое имение и был выбран в поветовые маршалы или предводители, Василий Афанасьевич стал служить при нем в роли секретаря маршала (в 1806 г.). В 1812 г. Вас. Аф-вич принимал участие в заботах о всеобщем земском ополчении и, по предписанию Трощинского, как дворянин, известный честностью, заведовал собранными для ополчения суммами. Некоторое время он исправлял даже должность маршала.

П. Е. Щеголев. (По семейным бумагам Гоголей.) Ист. Вестн., 1902, февр., 660.

Скудные сведения, которые нам удалось собрать об отце Гоголя, сводятся, главным образом, к тому, что это был человек, выросший и проведший всю жизнь в скромной деревенской обстановке, преданный всей душой семье и родным и не чуждый мечтательного романтизма. По выходе в отставку до самой женитьбы он должен был помогать родителям в их хозяйственных заботах и большую часть времени употреблял на исполнение разных мелких поручений. Он играл в доме второстепенную роль панычá, которою совершенно удовлетворялся. Самым знаменательным событием в жизни Василия Афанасьевича была, конечно, его женитьба на Марии Ивановне Косяровской… С нею Василий Афанасьевич был знаком еще в детстве; как соседи, они часто видали друг друга; но когда красивая дочь помещика Косяровского, получившая впоследствии от тетки своей Трощинской за нежный цвет лица прозвание белянки, стала подрастать, она произвела сильное впечатление на своего романтика-соседа.

В. И. Шенрок. Материалы, 36–39.

Василий Афанасьевич Гоголь, отец поэта, обладал даром рассказывать занимательно, о чем бы ему ни вздумалось, и приправлял свои рассказы врожденным малороссийским комизмом… Его небольшое наследственное село Васильевка, или, – как оно называется исстари, – Яновщина, сделалось центром общественности всего околотка. Гостеприимство, ум и редкий комизм хозяина привлекали туда близких и далеких соседей.

В соседстве села Васильевки, в селе Кибинцах, недалеко от местечка Сорочинцы, поселился Дм. Прок. Трощинский, гений своего рода, который из бедного казачьего мальчика умел своими способностями и заслугами возвыситься до степени министра юстиции. Трощинский отдыхал в сельском уединении посреди близких своих домашних и земляков. Отец Гоголя был с Трощинским в самых приятельских отношениях. Оригинальный ум и редкий дар слова, каким обладал сосед, были оценены вполне воспитанником высшего столичного круга. С своей стороны Вас. Аф. Гоголь не мог найти ни лучшего собеседника, как бывший министр, ни обширнейшего и более избранного круга слушателей, как тот, который собирался в доме Трощинского. В то время Котляревский только что выступил на сцену со своею «Наталкою-Полтавкою» и «Москалем-Чаривныком». Комедии из родной сферы, после переводов с французского и немецкого, понравились малороссиянам, и не один богатый помещик устраивал для них домашний театр. То же сделал и Трощинский. Собственная ли это его была затея, или отец Гоголя придумал для своего патрона новую забаву, не знаем, только старик Гоголь был дирижером такого театра и главным его актером. Этого мало: он ставил на сцену пьесы собственного сочинения, на малороссийском языке. К сожалению, все это считалось не более как шуткою, и никто не думал сберегать игравшиеся на кибинском театре комедии. Единственные следы этой литературной деятельности мы находим в эпиграфах к «Сорочинской ярмарке» и к «Майской ночи» (*подписанных «Из малороссийской комедии»*).

П. А. Кулиш, I, 5, 6, 11, 12.

Безусловно, неверно сообщение Кулиша о том, что отец Гоголя и Трощинсккий были в самых приятельских отношениях. Их отношения были далеко не равноправны: между ними было слишком большое расстояние. Он богатый и властный человек, Марья Ивановна и Василий Афанасьевич – бедные родственники, которым нужно было помогать материально и которые могли несколько рассеять скуку деревенской жизни. Василий Афанасьевич принимал большое участие в управлении угодьями Трощинского. Письма А. А. Трощинского, племянника сановника, почти целиком посвящены различным сообщениям о том,

что нужно сделать Василию Афанасьевичу для экономии Трощинского. Вас. Аф-ч был доверенным человеком и вел сношения с управителями, экономами и другими лицами, служившими у Трощинского… Но он оказывал не только различные услуги по управлению, он еще заботился о развлечении Трощинского. Он принимал большое участие в тех спектаклях, что ставились на сцене домашнего театра в Кибинцах. Если судить по тому, что по делам домашнего театра обращались к нему, то можно думать, что он являлся организатором всего дела. На этой сцене играл и он, и его жена.

П. Е. Щеголев. Отец Гоголя. (По семейным бумагам Гоголей.) Ист. Вестн., 1902, февр., 662.

Деревянный дом Д. П. Трощинского в Кибинцах был в два этажа; снаружи он не казался великолепен, но внутри был богато отделан; в нем было множество картин, фарфора, бронзы и мрамора; тут же у него была и коллекция золотых монет и медалей. Главный праздник там был 26 октября, в день именин Трощинского. К этому дню съезжались к нему родные, друзья и знакомые из разных губерний, и в особенности из Киевской. Театр, живые картины, маскарады и разные сюрпризы были приготовлены заранее к этому дню зятем его, кн. Хилковым, и дочерью, которая была очень хороша, мила и привлекательна. Так как старик очень любил малороссийские пьесы, то их сочинял и устраивал обыкновенно родственник племянника его, Вас. Аф. Гоголь[1].

С. В. Скалон (урожденная Капнист). Воспоминания. Ист. Вестн., 1891, май, 363.

В Кибинцах (имении Д. П. Трощинского) все говорило, что хозяин был человек просвещенный, с тонким вкусом и большой разносторонней любознательностью. Здесь был вечный пир в праздник и будни. Кто бы и когда ни подъезжал к господскому дому в Кибинцах, уже издалека начинал различать звуки домашнего деревенского оркестра, казавшиеся сначала каким-то неопределенным гулом и становившиеся по мере приближения все явственнее и громогласнее, и, наконец, перед путником вырастал величавый дом Трощинского с примыкавшими к нему бесчисленными флигелями и службами. Дом этот походил больше на обширный клуб или гостиницу, чем на обыкновенный домашний очаг. Все было поставлено в нем на широкую ногу, всего было в изобилии, и везде блистали изящество и красота. Гостей в Кибинцах круглый год бывало так много, что исчезновение одних и появление других было почти незаметно в этом волнующемся море. Большинство из них пользовались особыми помещениями и всевозможным комфортом: каждому присылался в его комнату чай, кофе или десерт, и лишь к обеду все должны были в строго определенный час собираться

по звонку. Впрочем, при всем гостеприимстве, Трощинский был несколько натянут и не особенно приветлив в обращении. С гостями он вообще беседовал мало и любил при них раскладывать гран-пасьянс. Перед обедом гости, располагаясь в разных концах столовой, обыкновенно напряженно ожидали хозяина. Наконец, появлялся Дмитрий Прокофьевич, всегда в полном параде, в орденах и лентах, задумчивый, суровый, с выражением скуки или утомления на умном старческом лице. Усвоенная во время придворной жизни величавость, первенствующая роль хозяина и оказываемые наперерыв со всех сторон знаки подобострастия давали ему вид козырного короля среди этой массы людей. При всем том это был человек очень добрый, готовый помогать и оказывать покровительство кому было возможно.

В. И. Шенрок. Материалы, I, 47–50.

Дом был открытый: кто ни приезжал, пользовался хорошим приемом. Был даже занимательный случай с одним Барановым, артиллерийским офицером. Он случайно, совершенно незнакомый, попал как-то в Кибинцы как раз перед именинами Трощинского, и, в виде сюрприза, устроил великолепный фейерверк. Его обласкали, и он остался проживать в Кибинцах, года три, совершенно позабыв про службу.

А. С. Данилевский по записи В. И. Шенрока. Материалы, I, 101.

Во время приездов своих в Кибинцы Василий Афанасьевич мог свободно располагаться в предоставленном в его полное распоряжение флигеле и поместить в нем всю семью. Кроме того, к его услугам был экипаж, люди для посылок; наконец, он мог во всякое время пользоваться советами домашних врачей Трощинского. Случалось, что и сам Дмитрий Прокофьевич приезжал к нему, а потом ко вдове его, со всем штатом, с челядью и шутами. В делах практической важности Трощинский всегда оказывал содействие любимому родственнику и его семье.

А. С. Данилевский по записи В. И. Шенрока. Материалы, I, 49.

Иногда экспромтом сочиняли комедии и играли в Кибинцах в театре Трощинского, на дворе его выстроенном; в нем играли и дворовые люди довольно хорошо, но больше были благородные актеры, дети В. В. Капниста (*писателя, автора комедии «Ябеда»*), иногда и он сам. Князь Хилков (*муж незаконной дочери Трощинского*) был большой комик, и жена его играла, и мы все, случающиеся там, муж мой и я. В. В. Капнист уверил всех, что я буду хорошо играть, и для поддержания себя находил игру мою отличной. Когда подавали Дмитрию Прокофьевичу афишку о действующих лицах, то он с восторгом брал свой лорнет и, найдя мое имя, был всегда доволен, потому что Капнист, сидя возле его, говорил

ему о каждом нашем движении. За обеденным столом кратко загадывали шарады, а после обеда шарады были в действии… Кажется, целой стопы бумаги было бы мало для описания всего, сколько там было разнообразных удовольствий, какие были замысловатые маскарады две недели праздников в рождестве христове и в разное время представления в зале разных родов. Каждый день были балы после театра. Мы с мужем моим, которого Д. П. Трощинский очень любил, жили безвыездно у него; нельзя было проситься домой: в последнее время сердился до болезни, когда узнавал о помышлении нашем ехать домой, и гостям было трудно уезжать, чтобы его не тревожить; и когда начиналось провожание гостей, то старик бывал очень не в духе; и ненадолго оставалось в доме без больших собраний, – скоро опять съезжались. В эти промежутки двери анфиладой отворялись, играла музыка, иногда целый оркестр, иногда квартеты. Разыгрывали из Бетховена и Моцарта и прочих тогда бывших в славе музыкантов.

Мария Ив. Гоголь (мать писателя) – С. Т. Аксакову, 3 апр. 1856 г. Современник, 1913, IV, 250.

Трощинский любил держать при себе шутов. В доме у него, на жаловании или на других условиях, жили муж и жена, Роман и Параска, принадлежавшие, как видно, к высшему лакейству. Этот Роман был смешон только своим тупоумием, которому бывший министр юстиции не мог достаточно надивиться.

П. А. Кулиш, I, 13.

Кто-нибудь из гостей находит, что наступает время развлечь Дмитрия Прокофьевича. На сцену вызывается кто-нибудь из шутов и начинает занимать общество своими выходками. Но шутки или повторяются, или становятся чересчур избитыми и не достигают цели. Приходится изобресть что-нибудь новое, не успевшее наскучить. У Трощинского в случае нужды оживить общество на выручку являлись особые шутодразнители. В таких шутодразнителях не было недостатка при разнородном составе гостей Трощинского. Что они выделывали и изобретали в угоду знатному вельможе, можно судить по следующим примерам. Среди шутов, кроме известного Романа Ивановича, обращал на себя внимание жалкий, отставленный вследствие умопомешательства заштатный священник отец Варфоломей. Он был главной мишенью для насмешек и издевательства, а иногда и побоев со стороны не знавшей удержу толпы. Этого мало: была изобретена особая, часто повторявшаяся потеха, состоявшая в том, что бороду шуту припечатывали сургучом к столу и заставляли его, делая разные движения, выдергивать ее по волоску. Шут этот был не столько забавен даже, сколько отвратителен и грязен в буквальном смысле слова:

неопрятность его доходила до таких невероятных размеров, что смотреть на него во время обеда было противно и непристойно, и его принуждены бывали отделять от остального общества особыми ширмочками, чтобы не оскорблять, по крайней мере, зрения соседей, тогда как слух их ежеминутно оскорблялся его безобразным чавканьем. Несмотря на такие отвратительные привычки и наружность отца Варфоломея, с ним после стола ежедневно проделывали одну и ту же шутку. Глумясь над жадностью его к деньгам, между ним и Трощинским, садившимся нарочно возле шута, потихоньку подвигали ассигнацию и наблюдали, как, не будучи в состоянии устоять против соблазна, шут наконец ее схватывал и собирался уже ею завладеть, как вдруг, остановленный в своем намерении бесцеремонным толчком и бранным словом Трощинского, невозмутимо повторял двусмысленное: «а нехай се вам!..» Однажды во время приезда архиерея шутодразнители вложили отцу Варфоломею мысль обратиться к его преосвященству с приветственной речью. Речь была действительно приготовлена и, к крайнему соблазну одних и лукавой радости других, торжественно начата. Архиерей слушает и недоумевает. Наконец, когда не осталось уже сомнения, в чем дело, находя неприличным и скучным слушать такой вздор, прервал автора словами: «хорошо, очень хорошо! Остальное досказывай чушкам…»

В. И. Шенрок. Материалы, I, 68.

Трощинский жил в своем богатом и знаменитом имении Кибинцах, в великолепном дворце. Дряхлый старик этот, окруженный шутами, скороходами и разными барскими прихотями тогдашнего времени, спокойно доживал здесь свой век. По праздникам, при приезде к нему гостей, он потешался различными причудами и в числе их – бросанием золотых в большую шестидесятиведерную бочку, наполненную водою. Кто из желающих опускался в бочку, как есть, во всем одеянии и забирал сразу все золотые, тому они и принадлежали. Находилось много охотников из простонародья и нередко из лиц более или менее образованных. Но из многих удавалось весьма немногим схватить на дне бочки все золотые: большая же часть заинтересованных выползала из бочки только с несколькими червонцами, но не со всеми, промокала до нитки и должна была с досадою бросать золотые обратно в бочку. Однажды рискнула и ринулась в бочку и духовная особа, но неудачно: не дохватила только одного червонца, выдержала порядочную пытку, измочила шелковую рясу и должна была бросить пять или шесть золотых в бочку. Трощинский сидел на балконе с гостями и потешался.

Т. Г. Пащенко по записи В. Пашкова. Берег, 1880, № 268.

Муж мой иногда писал стихи, но ничего серьезного. К знакомым он писал иногда письма в стихах, более комического характера. Он имел природный ум, любил природу и поэзию.

М. И. Гоголь. Из записок В. И. Шенрок. Материалы, I, 46.

Муж мой писал много стихов и комедий в стихах на русском и малороссийском языках, но сын мой все выпросил у меня, надеясь напечатать. Он тогда был очень молод, и, верно, они сожжены в Италии вместе с его рукописью, не рассмотря, будучи одержим жестокою болезнью; и у меня не осталось ничего на бумаге, а в памяти остался один куплет, который он было написал на бюро его изобретения за доской, когда принес его столяр, и то бюро подарил своему приятелю; я его здесь помещаю:

Одной природой наслаждаюсь,

Ничьим богатством не прельщаюсь,

Доволен я моей судьбой.

И вот девиз любимый мой.

М. И. Гоголь – С. Т. Аксакову. Современник, 1913, IV, 251.

Он был человек хороший, нравственный, правдивый, но особенно практическим не был.

А. В. Гоголь (сестра писателя) по воспоминаниям матери. В. И. Шенрок. Материалы, I, 50.

Отец мой (*Иван Матвеевич Косяровский*) для того служил, чтобы иметь способ образовать нас, и много трудился, прежде в военной службе, которая была тогда очень тяжела, и когда потерял здоровье для той службы, то перешел в штатскую; и тогда было началось мое воспитание, когда он был в Харькове губернским почтмейстером. И когда ему объявили доктора, что он лишится от лишнего прилежания зрения, то оставил службу и переехал в свой маленький хуторок, и окончилось мое воспитание, продолжавшееся всего один год.

М. И. Гоголь. Записки, П. А. Кулиш, I, 17.

Когда Вас. Аф-вич Гоголь приезжал в каникулы домой, и в то время ездил со своей матушкой в Ахтырку, Харьковской губернии, на богомолье, там есть чудовной образ божьей матери, они были там в обедне, отправляли молебен и остались там ночевать, и он видел во сне

тот же храм. Он стоял в нем по левую сторону; вдруг царские врата отворились, и вышла царица в порфире и короне и начала говорить к нему при других словах, которых он не помнил: «Ты будешь одержим многими болезнями (и точно, он страдал многими недугами и, наконец, лихорадкой, которая продолжалась у него два года; никакие средства не помогали, один д-р Трофимовский освободил его от нее), но то все пройдет, – царица небесная сказала ему: – ты выздоровеешь, женишься, и вот твоя жена». Выговоря эти слова, подняла вверх руку, и он увидел у ее ног маленькое дитя, сидящее на полу, которого черты врезались в его памяти. Потом он приехал домой, рассеялся и забыл тот сон. Родители его, не имея тогда церкви, ездили в местечко Ярески при реке Псле. Там он познакомился с теткой моей, и, когда вынесла кормилица дитя семи месяцев, он взглянул на него и остановился от удивления: ему представились те самые черты ребенка, которые показали ему во сне. Не сказавши о том никому, он начал следить за мной; когда я начала подрастать, то он забавлял меня разными игрушками, даже не скучал, когда играла в куклы, строил домики с карт, и тетка моя не могла надивиться, как этот молодой человек не скучал заниматься с таким дитем по целым дням; я хорошо знала его и привыкла, часто видя, любить его; потом, спустя тринадцать лет, он видел тот же сон и в том же храме, но не царские врата отворились, а боковые алтаря, и вышла девица в белом платье с блестящей короной на голове, красоты неописанной, и, показав рукой в левую сторону, сказала: «Вот твоя невеста!» Он оглянулся в ту сторону и увидел девочку в белом платьице, сидящую за работой перед маленьким столиком и имеющую те же черты лица. И после того скоро мы возвратились из Харькова, и муж мой просил родителей моих отдать меня за него.

М. И. Гоголь – С. Т. Аксакову. Современник, 1913, IV, 252.

Как живо напомнил мне один монолог из трагедии Озерова (*Сумарокова*) «Иди, душа, во ад» моего мужа; мне казалось, как будто он, выговоря его, падал предо мной, закалываясь; он представил его в кругу девок, окружающих меня, я так испугалась, будучи двенадцати лет, что не знала, как очутилась на диване, ухаживаемая моими гостьми. Мне показалось, что он в самом деле заколол себя, а он испугался, чтоб я не заболела от испуга, и не мог уехать домой, не узнавши, что мне прошло совершенно.

М. И. Гоголь – С. Т. Аксакову. Современник, 1913, IV, 251.

Тогда мне было всего тринадцать лет. Я чувствовала к нему что-то особенное, но оставалась спокойной. Жених мой часто навещал нас (у тетки в местечке Ересках). Он иногда спрашивал меня, могу ли я терпеть его и не скучаю ли с ним. Я отвечала, что мне с ним приятно, и действительно, он был всегда очень любезен и внимателен ко мне с

самого детства. Когда я, бывало, гуляла с девушками к реке Пслу, то слышала приятную музыку из-за кустов другого берега. Нетрудно было догадаться, что это был он. Когда я приближалась, то музыка в разных направлениях сопутствовала мне до самого дома, скрываясь в садах. Когда я рассказывала об этом тетушке, она, улыбаясь, говорила: «Вот кстати ты вышла гулять! Он так любит природу и, пользуясь хорошей погодой, наслаждается музыкой. Но ты больше не ходи гулять так далеко от дому». Один раз, не найдя меня дома, он пошел в сад. Увидя его, я задрожала и вернулась домой. Когда мы остались одни, он спросил меня, люблю ли я его; я отвечала, что люблю, как всех людей. Удивляюсь, как я могла скрывать свои чувства на четырнадцатом году. Когда я ушла, он сказал тетке, что очень желал бы жениться на мне, но сомневается, могу ли я любить его. Она отвечала, что я люблю его, что я доброе дитя и могу быть хорошей женой, что она уверена, что я люблю его, потому что скучаю, когда долго его не вижу, а что я так отвечала потому, что боюсь мужчин, наслышавшись от нее, какие они бывают лукавые. Когда он уехал, тетка позвала меня и передала мне его предложение. Я сказала, что боюсь, что подруги будут смеяться надо мной; но она меня урезонила, и нас сговорили. Родители взяли меня к себе, чтобы приготовить кое-что, и я уже не так скучала, потому что жених мой часто приезжал, а когда не мог приехать, то писал письма, которые я, не распечатывая, отдавала отцу. Читая их, он, улыбаясь, говорил: «Видно, что начитался романов!» Письма были наполнены нежными выражениями, и отец диктовал мне ответы. Письма жениха я всегда носила с собой. Свадьба наша назначалась через год.

М. И. Гоголь. Воспоминания. В. И. Шенрок. Материалы, I, 42.

Мать моя воспитывалась у своей тетки Анны Матвеевны Трощинской, которая ее и замуж выдала, и выбрала ей сама жениха, когда матери минуло только четырнадцать. Она еще не успела испытать, что такое любовь, она была занята еще куклами, но, по приказанию или по совету тетки, должна была повиноваться, несмотря на то, что она была первая красавица, а отец, говорят, был некрасив.

О. В. Гоголь-Головня, 4.

Когда мне было четырнадцать лет, нас перевенчали в местечке Яресках; потом муж мой уехал, а я осталась у тетки, оттого, что еще была слишком молода; потом гостила у родителей, где часто с ним видалась. Но в начале ноября он стал просить родителей отдать ему меня, говоря, что не может более жить без меня. Так вместо году я пробыла у них один месяц. Они благословили меня и отпустили. Он меня привез в деревню Васильевку, где встретили нас отец и мать. Они приняли меня, как родную дочь. Свекровь наряжала меня по своему вкусу и надевала на

меня свои старинные вещи. Любовь ко мне мужа была неописанная; я была вполне счастлива. Он был старее меня на тринадцать лет. Я никуда не выезжала, находя все счастье дома.

М. И. Гоголь. Записки. В. И. Шенрок. Материалы, I, 43.

Когда отец женился, вероятно, тогда уже не было дедушки (*Афан. Дем-ча*), потому что бабушка сама всем хозяйством распоряжалась, а потом передала моей матери (*Марии Ивановне Гоголь*), а сама жила в домике, который был в саду. Там две комнаты. В одной бабушка жила, а через сени другая комната, там – ее прислуга.

О.В. Гоголь-Головня, 37.

У нее в саду был маленький домик. Татьяна Семеновна была сморщенная, как губка, вечно ходила с палочкой; молчаливая, добрая, прекрасная.

А. С. Данилевский по записи В. И. Шенрока. Материалы, I, 101.

В деревне нашей тогда было 130 душ. Я не выезжала ни на какие собрания и балы, находя все счастье в своем семействе; мы не могли разлучаться друг от друга ни на один день, и когда он ездил по хозяйству в поле в маленьких дрожках, то всегда брал меня с собою. Если же случалось, что мне надобно было остаться дома, то я боялась за него; мне казалось, что я не увижу его. Мы почти не разлучались до приезда из Петербурга Д. П. (*Трощинского*). Он не хотел нас отпускать домой, очень любил моего мужа. Там я увидела все, чего не искала в свете, и балы, и театры, и отличное общество, приезжавшее к нему из обеих столиц; но всегда была рада, когда могла ехать в Васильевку, где я иногда проживала одна для моей свекрови: она скучала одна, а мой муж должен был оставаться у Трощинского, служащего тогда предводителем по выборам в военное время, и дворянская сумма была на руках моего мужа. Когда он сдавал ее, то дворяне без счету от него приняли; не мог их принудить счесть.

М. И. Гоголь. Автобиографическая записка. Рус. Арх., 1902, I, 716.

Жизнь моя была самая спокойная; характер у меня и у мужа был веселый. Мы окружены были добрыми соседями. Но иногда на меня находили мрачные мысли. Я предчувствовала несчастия, верила снам. Сначала меня беспокоила болезнь мужа. До женитьбы у него два года была лихорадка. Потом он был здоров, но мнителен. У нас было двенадцать детей, из которых более половины мы потеряли. Из шести

сыновей остался один старший (Н. В. Гоголь)... Потом мы лишились всех средних детей, и потом остались только меньшие три дочери.

М. И. Гоголь. Записки. В. И. Шенрок. Материалы, I, 53.

В селе Васильевке числилось................ 970 десятин с саж.

В урочище Стенка лес....................... 51»»

И при селе Яреськи хутор в.................. 70»»

Итого всего земли более................. 1091 десятин

Н. В. Быков. К биографии Гоголя. Рус. Стар., 1888, март, 768.

Имение родителей Гоголя состояло из 200 душ крестьян.

П. А. Кулиш, I, 83.

II

Детство и школа

Мария Ивановна Гоголь имела до Николая других детей, из которых ни один не жил более недели.

Г. П. Данилевский со слов М. И. Гоголь. Знакомство с Гоголем. Собр. соч., изд. 9-е. Спб., 1902. XIV, 119.

Мать Гоголя имела двоих детей до его рождения, но они являлись на свет мертвыми. Поэтому, в ожидании новых родов, она переехала в Сорочинцы, где жил знаменитый в то время малороссийский врач Трофимовский. Между прочим, она дала обет, если родится у нее сын, наименовать его Николаем, в честь чудотворного образа, называвшегося Николаем Диканьским. Родители Гоголя просили священника села Диканьки молиться до тех пор, пока дадут ему знать о счастливом событии и попросят отслужить благодарственный молебен.

П. А. Кулиш I, 6.

У нашей матери было два выкидыша... Тогда трудно было устроить, чтобы приехали к вам вовремя доктор или акушерка. Когда пришло время, отец поехал с матерью к доктору Трофимовскому, в его имение Сорочинцы. И вот родился там, в доме доктора, мой брат Николай... Брат любил вспоминать о том, почему назвали его Николаем.

О. В. Гоголь-Головня по записи А. Н. Мошина. И. Белоусов. Дорогие места. Изд. 2-е. М., 1916. Стр. 30.

[Василий Афанасьевич Гоголь женился на четырнадцатилетней своей невесте в 1808 г. (*см.: В. И. Шенрок, Материалы. I, 44; Кирпичников, Хронологическая канва, 3*). Писатель родился в марте 1809 г. А. И. Кирпичников справедливо недоумевает: «Каким образом в один год или около того 14—15-летняя Мария Ивановна могла родить три раза? Очевидно, продолжает он, – сказание это не заслуживает ни малейшего доверия; поездка слишком молодой будущей матери под наблюдение опытного врача вполне вероятна и без предшествующих несчастий». (*Сомнения и противоречия в биографии Гоголя. Изв. Отд. рус. яз. и слов. Имп. Акад. Наук, т. V (1900), кн. 2, стр. 601.*) Однако о том обстоятельстве, что у Марии Ивановны до сына Николая были еще дети, свидетельствует целый ряд лиц, вполне заслуживающих доверия (*кроме вышеприведенных см. еще подлинное свидетельство сестры писателя О. В. Гоголь-Головни в ее воспоминаниях. стр. 38*). Ошибочно не это свидетельство – ошибочна дата свадьбы родителей Гоголя. Единственное свидетельство за 1808 год – письмо Гоголя к матери из Лозанны 21 сент. 1836 г. (*Письма, I, 197*), где он напоминает ей о семнадцати годах «непрерывного, невозмущаемого счастья», которым она наслаждалась с мужем. Василий Афанасьевич умер в 1825 г., значит, свадьба должна была быть в 1808 г. Однако дата эта, несомненно, неверна. Мария Ивановна Гоголь родилась в 1791 году (*см. фотографический снимок с надгробной плиты на могиле родителей Гоголя. О. В. Гоголь-Головня. Из семейной хроники Гоголей, стр. 40*), значит, четырнадцать лет ей было в 1805 г., в этом году, значит, была и свадьба. Во всяком случае, в 1806 г. она была уже замужем. В автобиографической записке своей Мария Ивановна Гоголь, рассказав о замужней своей жизни в первое время после свадьбы, продолжает: «Мы почти не расставались до приезда из Петербурга Д. П. Трощинского» (*Рус. Арх., 1902, I, 717*). А Трощинский приехал из Петербурга в 1806 г., по-видимому еще летом (увольнение его от службы последовало 9 июня 1806 г. – *см. Рус. Стар., 1882, июнь, 649*). Таким образом, вполне возможными становятся двукратные роды Марии Ивановны до рождения Николая. В евгеническом отношении важно установить, что писатель родился не от пятнадцатилетнего ребенка, а от восемнадцатилетней женщины.]

Трахимовский был знаменитый на всю округу доктор, к нему в Сорочинцы много даже из других губерний съезжалось. При доме был у него флигелек для приезжих больных, где они останавливались. Вот в этом-то самом флигельке, так, о две комнаты, – Мария Ивановна Гоголь остановилась и разрешилась благополучно сынком. Мария Ивановна

приехала в то время, когда много в большом доме было гостей, и ее поместили для спокойствия во флигеле, а на третий день с новорожденным уже их перевели в дом.

В. А. Гиляровский со слов местных старожилок. На родине Гоголя. М., 1902. Стр. 9 и 44.

Флигелек этот цел и теперь. Это чисто побеленная мазанка, с дверью посередине. Дверь эта ведет в большую комнату с глинобитным полом, в правом углу которой расположена большая печка, а рядом с ней дверь, ведущая в пристройку. Налево – дверь в комнату, где когда-то доктор Трахимовский располагал своих пациентов и где родился Н. В. Гоголь.

В. А. Гиляровский. Гоголевщина. Рус. Мысль, 1900, февр., 122, 126.

По тщательно собранным мною на месте справкам оказалось, что Гоголь, действительно, родился в доме Трахимовского.

Д. И. Эварницкий. Церковь в Сорочинцах. Ист. Вестн., 1902, февр., 678.

1809 год. № 25. – Месяца марта 20 числа у помещика Василия Яновского родился сын Николай и окрещен. Молитвовал и крестил священнонаместник Иоанн Беловольский. Восприемником был господин полковник Михаил Трахимовский[2].

Выпись из Метрической книги Спасо-Преображенской церкви местечка Сорочинец, Миргородского уезда. Рус. Стар., 1888, ноябрь, 392.

Новорожденный Николай был необыкновенно слаб и худ. Долго опасались за его жизнь. Через шесть недель он был перевезен в родную Васильевку-Яновщину.

Г. П. Данилевский. Собр. соч., XIV, 119.

Трех лет от роду он уже сносно разбирал и писал слова мелом, запомнив алфавит по рисованным, игрушечным буквам.

Г. П. Данилевский, там же.

– В какие лета выучились вы читать? – Гоголь: Я думаю, как и все, лет в семь. Но ведь нас не очень много занимали; нет, зачем. Все дело в том, чтобы заохотить ребенка учиться, а уж там и не заботиться. Я долго не говорил, до трех лет.

Неизвестная. Дневник (1851 г.). Рус. Арх., 1902, I, 546.

Пяти лет от роду Гоголь вздумал писать стихи. Никто не понимал, какого рода стихи он писал. Известный литератор В. В. Капнист, заехав однажды к отцу Гоголя, застал его пятилетнего сына за пером. Малютка Гоголь сидел у стола, глубокомысленно задумавшись над каким-то писанием. Капнисту удалось, просьбами и ласками, склонить ребенка-писателя прочесть свое произведение. Гоголь отвел Капниста в другую комнату и там прочел ему свои стихи. Капнист никому не сообщил содержание выслушанного им. Возвратившись к домашним Гоголя, он, лаская и обнимая маленького сочинителя, сказал: «Из него будет большой талант, дай ему только судьба в руководители учителя-христианина»[3].

Г. П. Данилевский. Собр. соч., XIV, 119.

В памяти сохранился у меня рассказ Гоголя о себе еще мальчиком.

– Было мне лет пять. Я сидел один в Васильевке. Отец и мать ушли. Оставалась со мною одна старуха няня, да и она куда-то отлучилась. Спускались сумерки. Я прижался к уголку дивана и среди полной тишины прислушивался к стуку длинного маятника старинных стенных часов. В ушах шумело, что-то надвигалось и уходило куда-то. Верите ли, – мне тогда уже казалось, что стук маятника был стуком времени, уходящего в вечность. Вдруг слабое мяуканье кошки нарушило тяготивший меня покой. Я видел, как она, мяукая, осторожно кралась ко мне. Я никогда не забуду, как она шла, потягиваясь, а мягкие лапы слабо постукивали о половицы когтями, и зеленые глаза искрились недобрым светом. Мне стало жутко. Я вскарабкался на диван и прижался к стене. «Киса, киса», – пробормотал я и, желая ободрить себя, соскочил и, схвативши кошку, легко отдавшуюся мне в руки, побежал в сад, где бросил ее в пруд и несколько раз, когда она старалась выплыть и выйти на берег, отталкивал ее шестом. Мне было страшно, я дрожал, а в то же время чувствовал какое-то удовлетворение, может быть, месть за то, что она меня испугала. Но когда она утонула и последние круги на воде разбежались, водворились полный покой и тишина, – мне вдруг стало ужасно жалко «кисы». Я почувствовал угрызения совести. Мне казалось, что я утопил человека. Я страшно плакал и успокоился только тогда, когда отец, которому я признался в поступке своем, меня высек.

А. О. Смирнова по записи П. А. Висковатова. Рус. Стар., 1902, сент., 487.

Первые годы отрочества Гоголь провел со своим младшим, рано умершим, братом Иваном. Отец Гоголя, ездя в поле с сыновьями, иногда задавал им дорогою темы для стихотворных импровизаций: «солнце»,

«степь», «небеса». Старший сын отличался находчивостью в ответах на такие задачи.

Г. П. Данилевский. Собр. соч., XIV, 121.

Рассказывали, когда брат был маленьким, то ходил к бабушке и просил шерсти, вроде гаруса, чтобы выткать поясок: он на гребенке ткал пояски.

О. В. Гоголь-Головня, 37.

Я с ним познакомился в детстве. Мне было семь лет. Наши родители вместе воспитывались в киевской духовной академии. Мы приехали с отцом к ним в деревню. Мы жили от них верстах в тридцати, в Семереньках. Это было около рождества. Тут я увидел в первый раз маленького Никошу (так все называли Гоголя в семье). Он был нездоров и лежал в постели. Мы играли с его младшим братом Иваном. Пробыли мы несколько дней.

А. С. Данилевский (лицейский товарищ Гоголя) по записи В. И. Шенрока. Материалы, I, 99.

Я помню: я ничего в детстве сильно не чувствовал, я глядел на все, как на вещи, созданные для того, чтобы угождать мне. Никого особенно не любил, выключая только вас, и то только потому, что сама натура вдохнула это чувство. На все я глядел бесстрастными глазами; я ходил в церковь потому, что мне приказывали или носили меня; но, стоя в ней, я ничего не видел, кроме риз, попа и противного ревения дьячков. Я крестился потому, что видел, что все крестятся. Но один раз, – я живо, как теперь, помню этот случай, – я просил вас рассказать мне о страшном суде, и вы мне, ребенку, так хорошо, так понятно, так трогательно рассказывали о тех благах, которые ожидают людей за добродетельную жизнь, и так разительно, так страшно описали вечные муки грешников, что это потрясло и разбудило во мне всю чувствительность, это заронило и произвело впоследствии во мне самые высокие мысли.

Гоголь – матери, 2 окт. 1833 г. Письма, I, 260.

Гоголя я знала мальчиком всегда серьезным и до того задумчивым, что это чрезвычайно беспокоило его мать.

С. В. Скалон. Воспоминания. Ист. Вестн., 1891, май, 363.

Гоголь получил первоначальное воспитание дома, от наемного семинариста; потом готовился к поступлению в гимназию в Полтаве, на дому у одного учителя гимназии, вместе с младшим своим братом Иваном.

П. А. Кулиш, I, 16.

В 1818 году я поступил в полтавскую гимназию. Тут после нескольких разговоров мы вспомнили друг друга. Он жил вместе с братом у учителя Спасского.

А. С. Данилевский по записи В. И. Шенрока. Материалы, I, 99.

Ваканции быстро приближаются; я не успел еще окончить всего: следовательно, нужно заняться ваканциями, чтобы поспеть с честью во второй класс. Учитель математики мне необходим.

Гоголь – родителям, 1820 г., из Полтавы. Письма, I, 7.

Когда братьев взяли домой на каникулы, младший брат Иван умер (девяти лет от роду), Николай Васильевич, будучи старше его годом, оставался некоторое время дома. Он был нежно привязан к брату и упоминал о нем с глубоким чувством в беседах с школьными своими друзьями.

П. А. Кулиш, I, 16.

Обрадуйте папеньку и маменьку, что я успел в науках, – то, что в первом классе гимназии, и учитель мною доволен.

Гоголь – бабушке, в 1820 г., из Полтавы. Письма, I, 8.

Тогдашний черниговский губернский прокурор Бажанов уведомил Гоголева отца об открытии в Нежине гимназии высших наук кн. Безбородко и советовал ему поместить сына в находящийся при этой гимназии пансион, что и было сделано в мае месяце 1821 года. Гоголь вступил своекоштным воспитанником.

П. А. Кулиш, I, 16.

Смерть младшего брата Ивана до того поразила отрока Гоголя, что были принуждены отвезти в нежинский лицей, чтоб отвлечь его от могилы брата.

Г. П. Данилевский, собр. соч., XIV, 121.

В гимназию высших наук кн. Безбородко Гоголь был привезен родными, обходившимися с ним как-то особенно нежно и жалостливо, точно с ребенком, страдающим какой-то тяжкой неизлечимою болезнью. Он был не только закутан в различные свитки, шубы и одеяла, но просто-напросто закупорен. Когда его стали разоблачать, то долго не могли докопаться до тщедушного, крайне некрасивого и обезображенного золотухою мальчика. Мы чуть ли не всей гимназией вышли в приемную взглянуть на него. Глаза его были обрамлены красным, золотушным ободком, щеки и весь нос покрыты красными же пятнами, а из ушей вытекала каплями материя. Поэтому уши его были крайне крепко завязаны пестрым, цветным платком, придававшим его дряблой фигуре потешный вид.

В. И. Любич-Романович (гимназический товарищ Гоголя) по записи М. В. Шевлякова. Ист. Вестн., 1892, дек., 695.

Благодаря бога я здоров. Платья нам будут шить после каникул, но как во мне недостаток в платье, то Егор Иванович (*Зельднер, надзиратель, попечениям которого родители поручили мальчика*) заказал мне сделать летнее платье. За мною присылайте на каникулы 20 июня.

Гоголь – родителям, 10 июня 1821 г., из Нежина. Сочинения Гоголя под ред. В. В. Каллаша, изд. Брокгауз – Ефрон, IX, 227.

Приемное испытание происходило в присутствии всех младших профессоров, учителей и некоторых из родителей воспитанников 21–28 июня 1821 г., ежедневно от 8 ч. у. до 5 ч. веч., «с промежутком полуденного стола». По этому испытанию все ученики, составлявшие до того два отделения, были распределены по трем отделениям следующим образом: лучшие, в числе 21, образовали третье, старшее отделение, худшие – второе, и вновь поступившие – первое. До экзамена Гоголь состоял во втором отделении, но по экзамену не переведен в третье, а оставлен в том же отделении.

Н. А. Лавровский. Гимназия высших наук кн. Безбородко. Известия Ист. – филолог. института кн. Безбородко в Нежине. 1879, т. III. Неофиц. отд., 153.

Прежде каникул писал я, что мне здесь хорошо, а теперь напротив того. Мне после каникул сделалось так грустно, что всякий божий день слезы рекой льются, и сам не знаю, отчего, а особливо, когда вспомню об вас, то градом так и льются… Добрый мой Симон[4] так старается обо мне, что не прошло ни одной ночи, чтобы он не увещевал меня не плакать об вас,

и часто просиживал по целой ночи надо мною. Уже его просил, чтоб он пошел спать, но никак не мог его принудить. Жалованья ему не выдают, и он принужден сам на нас всех готовить кушанье, ибо другого повара нету. Был один, и тот выпросился домой на два месяца.

Гоголь – родителям, 14 авг. 1821 г., из Нежина. Письма, I, 10.

Приехавши в Нежин, на другой день стала у меня болеть грудь. Ночью так у меня болела грудь, что я не мог свободно дышать. Поутру стало лучше, но грудь моя все-таки болела, и потому я опасался, чтоб не было чего худого, и притом мне было очень грустно в разлуке с вами. Но теперь, слава богу, все прошло, и я здоров и весел.

Гоголь – родителям, 6 сент. 1821 г., из Нежина. Письма, I, 11.

Ежели бы вы прислали денег мне, потому что моя казна вся истощилась. Один мой товарищ купил за восемь рублей ножик; я просил его, чтобы дал мне посмотреть; и я забыл ему отдать сейчас, а положил в свой ящик; но через минуту посмотрел в ящик, и его уже там не было. Теперь он говорит, чтобы я отдал сейчас ему восемь рублей, а не то – так он возьмет все мои вещи и еще пожалуется гувернерам, и они меня накажут со всею строгостию. Простите мне это. Я вперед уж никогда не буду чужих вещей брать, а когда и попрошу вперед, то буду сейчас отдавать и со всею осторожностию. И прошу вас, пожалуйста, пришлите мне денег, хоть рублей десять; то я отдам ему восемь рублей, а два рубля оставлю на письма. Еще прошу вас, пришлите мне тулуп, потому что не дают казенного ни тулупа, ни шинели, а только в одних мундирах, несмотря на стужу. И еще ежли б вы прислали жилетов хоть два. Здесь нам дают по одному жилету.

Гоголь – родителям, 7 янв. 1822 г., из Нежина. Письма, I, 13.

Определивши сына сначала своекоштным пансионером, отец Гоголя вслед за тем начал хлопотать о помещении его на казенное содержание, без сомнения, будучи не в состоянии платить за него ежегодно тысячу рублей. Почетный попечитель в отношении от 3 марта 1822 г. предложил директору «состоящего ныне в гимназии высших наук пансионером Василия (!) Гогольяновского, сына господина коллежского асессора Гогольяновского, включить в число воспитанников, содержимых на гимназиальном иждивении». В общем списке всех пансионеров время поступления Гоголя в казенные пансионеры означено 1 июля 1822 г., т. е. концом учебного года. Затем за все пребывание в гимназии Гоголь состоял на казенном содержании.

Н. А. Лавровский. Гимназия высших наук кн. Безбородко. Гербель, 54.

К Василию Афанасьевичу (*Гоголю*) я посылаю теперь изрядный подарок, через ходатайство Дмитрия Прокофьевича (*Трощинского*) молодым графом Кушелевым-Безбородко ему делаемый, – включением его сына Никоши в число воспитанников, содержимых в нежинской гимназии на его иждивении; и следовательно, на будущее время Василий Афанасьевич освобождается от платежа в оную гимназию, за своего сына, в год по 1200 рублей.

А. А. Трощинский – своей матери, 23 марта 1822 г. Рус. Стар., 1882, июнь, 657.

Я опасно был болен; но теперь уже почти выздоровел... Прошу вас, дражайшие родители, прислать мне сколько-нибудь денег, потому что у меня они вовсе вышли, так что я найдусь принужденным занять; да и взаймы достать негде; а мне надо ужасно, а особенно в теперешних моих обстоятельствах. Также ежели б еще прислали чего-нибудь из съестных припасов, как маменька еще тогда обещалась прислать сушеных вишень без косточек. Но мне хоть чего-нибудь и похуже, а много ежели это.

Гоголь – родителям, 10 октября 1822 г., из Нежина. Письма, I, 16.

Сын ваш был болен, имел шкарлатина, и его болезнь продолжался почти две недели.

Е. И. Зельднер (надзиратель пансиона) – В. А. Гоголю, 8 ноября 1822 г., из Нежина. Ист. Вестн., 1902, февр., 525.

В истории первых лет пребывания Гоголя в Нежине играл известную роль надзиратель пансиона и преподаватель немецкого языка Егор Иванович Зельднер. Отсылая сына в Нежин, Василий Афанасьевич просил Зельднера позаботиться и посмотреть за мальчиком. Зельднер обещал сделать это. Зельднер должен был блюсти за здоровьем мальчика, следить за его благонравием и успехами, воздействовать на него, когда нужно. Конечно, услуги эти не были даровыми: отношения отца Гоголя к его наставнику были основаны на взаимных одолжениях и были «патриархальными». Зельднеру поставляли продукты васильевской экономии.

П. Е. Щеголев. Школьные годы Гоголя (на основании неизданных документов). Ист. Вестн., 1902, февр., 514.

Вы пишете, что не можно за мною прислать. Ах, сделайте милость, пришлите за мною! Нужды нет, что живете в Кибинцах; мне с вами

везде будет весело. Притом же погода к празднику ежедневно становится лучше. Не откажите моей просьбе и осчастливьте своего сына.

Гоголь – родителям, 11 декабря 1823 г., из Нежина. Письма, I, 18.

Воротясь однажды после каникул в гимназию. Гоголь привез на малороссийском языке комедию, которую играли на домашнем театре Трощинского, и сделался директором театра и актером. Кулисами служили ему классные доски, а недостаток в костюмах дополняло воображение артистов и публики. С этого времени театр сделался страстью Гоголя и его товарищей, так что, после предварительных опытов, ученики сложились и устроили себе кулисы и костюмы, копируя, разумеется, по указанию Гоголя, театр, на котором подвизался его отец: другого никто не видел. Гоголь не только дирижировал плотниками, но сам расписывал декорации.

П. А. Кулиш (со слов товарищей Гоголя). Записки о жизни Гоголя, I, 27.

Пришлите мне полотна и других пособий для театра. Первая пьеса у нас будет представлена «Эдип в Афинах», трагедия Озерова. Ежели можно прислать и сделать несколько костюмов, – сколько можно, даже хоть и один, но лучше ежели бы побольше; также хоть немного денег. Каждый из нас уже пожертвовал, что мог, а я еще только. Как же я сыграю свою роль, о том я вас извещу. Уведомляю вас, что я учусь хорошо, по крайней мере, сколько дозволяют силы… Я думаю, дражайший папенька, ежели бы меня увидели, то точно бы сказали, что я переменился, как в нравственности, так и успехах. Ежели бы увидели, как я теперь рисую! (Я говорю о себе без всякого самолюбия.)

Гоголь – родителям, 22 января 1824 г., из Нежина. Письма, I, 19.

Многие из учеников, особливо первого и второго отделения (по языкам), отмеченные в списках единицею или ничем, не успели и не успевают, потому что приходят в класс неготовыми и неисправными, т. е. без учебных пособий, без упразднений и без знания заданных уроков. Отметку за поведение получили по единице: Яновский – за неопрятность, шутовство, упрямство и неповиновение…

Ведомости о поведении пансионеров за февраль 1824 г. Гербель, 48.

Жаль, что ваш сын иногда ленится, но когда принимается за дело, то и с другими может поравняться, что и доказывает его отличные способности.

И. С. Орлай (директор гимназии) – В. А. Гоголю, 28 марта 1824 г. Ист. Вестн., 1902, февр., 517.

Бывшие наставники Гоголя аттестовали его как мальчика скромного и «добронравного»; но это относится только к благородству его натуры, чуждавшейся всего низкого и коварного. Он, действительно, никому не сделал зла, ни против кого не ощетинивался жестокою стороною своей души; за ним не водилось каких-либо дурных привычек. Но никак не должно воображать его, что называется, «смирною овечкою». Маленькие, злые ребяческие проказы были в его духе, и то, что он рассказывает в «Мертвых душах» о гусаре, списано им с натуры.

...Положение их было похоже на положение школьника, которому, сонному, товарищи, вставшие поранее, засунули в нос гусара, т. е. бумажку, наполненную табаком. Потянувши впросонках весь табак к себе со всем усердием спящего, он пробуждается, вскакивает, глядит, как дурак, выпучив глаза, во все стороны, и не может понять, где он, что с ним было, и потом уже различает озаренные весенним лучом солнца стены, смех товарищей, скрывшихся по углам, и глядящее в окно наступившее утро, с проснувшимся лесом, звучащим тысячами птичьих голосов, и с осветившеюся речкою, там и там пропадающею блещущими загогулинами между тонких тростников, всю усыпанную нагими ребятишками, зазывающими на купанье, – и потом уже, наконец, чувствует, что в носу у него сидит гусар (*Мертвые души, ч. I, гл. VIII*).

Эти «блестящие загогулины между тонких тростников» живо напоминают тому, кто знает местность нежинского лицея, протекающую мимо него тихую, поросшую камышами речку, а проснувшийся лес, звучащий тысячами птичьих голосов, есть не что иное, как тенистый, обширный сад лицея, похожий на лес.

П. А. Кулиш, I, 19.

Ныне 13 июня, через десять дней вы пришлете за мною (каникулы будут 20 июня). Но так как еще мне надо сделать платье, то мы не ранее 23-го выедем отсюда. Как бы я желал скорее! Г-н Баранов и Данилевский с нетерпением ожидают вместе со мною каникул. Ежели вы будете присылать за нами, то, пожалуйста, пришлите нашу желтую коляску с решетками и шестеркою лошадей. Не забудьте – коляску с зонтиком; в случае дождя, чтобы нам спокойно было ехать, не боясь быть промоченными. Я думаю, папенька не забыл сделать того, о чем я его просил, именно – для меня лошадку. Еще, сделайте милость, пришлите нам на дорогу, для разогнания скуки долго оставаться на постоялых

дворах, несколько книг из Кибинец. Но вместо повестей пришлите вы нам книгу под заглавием: «Собрание образцовых сочинений» в стихах, с портретами авторов, в шести томах.

Я уже почти собрался, уклал все свое имущество и ожидаю со дня на день сего времени. Уже вижу все милое сердцу, вижу вас, вижу милую родину, вижу тихий Псел, мерцающий сквозь легкое покрывало, которое я скоро сброшу, насладясь истинным счастием, забывь протекшие быстро горести. Одна счастливая минута может вознаградить за годы скорбей.

Прошу вас прислать еще денег десять рублей, которые мне следует получить. Еще раз, они теперь мне пренужны, ибо мне надо расплатиться и купить еще красок для рисования.

Гоголь – родителям, 13 июня 1824 г., из Нежина. Письма, I, 20.

Мы всегда ездили домой на вакации с Гоголем и с сыном моего отчима, Барановым. Помню один забавный случай с надзирателем Зельднером. Зельднер навязался ехать с нами. Коляску прислали четвероместную. Было бы место для всех, но к нам напросился еще некто Щербак (он был знаком с семейством Гоголя); он жил около Пирятина; это были довольно богатые люди. Зельднер еще сохранял тогда для нас авторитет: его присутствие нас очень стесняло. К тому же с ним было несчастье: каждый раз, когда он пускался в дорогу, с ним случалось расстройство желудка, да и в деревне жить с ним было не очень приятно. Он ехал к нам обоим, но обоим не хотелось его брать. Когда условились с ним ехать, то он пошел с нами на черный двор, где была коляска, и хотел непременно доказать, что можно ехать впятером. Наружность его была забавная, ноги циркулем. Наконец все было готово к отъезду. Накануне жена Зельднера, Марья Николаевна, напекла нам на дорогу пирожков, и на другой день, чем свет, мы должны были тронуться в путь. Но мы составили заговор – уехать раньше. На другой день утром приехавший за нами человек Гоголя, Федор, разбудил нас в музее (так назывались отделения, на которые разделялись воспитанники; их было три: старшее, среднее и младшее). Зельднер потом нас искал и ни за что не хотел поверить, что мы уехали. «А, мерзкая мальчишка!» – говорил он.

Дорога была продолжительная. Мы ехали на своих, и на третий день прибыли. Дорогой дурачились, и Гоголь выкидывал колена. Щербак был грузный мужчина с большим подбородком. Когда он, бывало, заснет, Гоголь намажет ему подбородок халвой, и мухи облепят его; ему доставался и «гусар» (гусар это была бумажка, свернутая в трубочку). Когда кучер запрягал лошадей, то мы наводили стекло на крупы. Дорога была веселая. С нами повстречались Василий Афанасьевич (*отец Гоголя*) и Василий Иванович (*отчим Данилевского*). Кажется, это

произошло случайно, а не была намеренная встреча… Живо припоминается мне Василий Афанасьевич; он был красивее сына. На нем была тогда шляпа лощеная, матросская. Человек он был интересный, бесподобный рассказчик… Часто мы заезжали с Гоголем детьми по дороге в Нежин к Трощинскому в Кибинцы; для подарков делались иногда небольшие предварительные путешествия. Мы много раз бывали в Кибинцах и Яресках и гостили подолгу, но Трощинский держал себя недоступно и едва ли промолвил с нами даже слово.

А. С. Данилевский по записи В. И. Шенрока. Материалы, I, 100.

Отец Гоголя нередко приезжал к дряхлому старику Трощинскому в гости с женою, матерью Гоголя, – дивною красавицею. Брали они с собою и Николая Васильевича.

Т. Г. Пащенко по записи В. Пашкова. Берег, 1880, № 268.

В лицее Гоголь вскоре оправился и из хилого, болезненного ребенка стал сильным, веселым и падким до разных потех и шалостей юношей.

Г. П. Данилевский со слов М. И. Гоголь. Собр. соч. XIV, 121.

По воспоминаниям его соучеников, Гоголь представляется нам красивым белокурым мальчиком, в густой зелени сада нежинской гимназии, у вод поросшей камышом речки, над которою взлетают чайки, возбуждавшие в нем грезы о родине. Он – любимец своих товарищей, которых привлекала к нему его неистощимая шутливость, но между ними немногих только, и самых лучших по нравственности и способностям, он избирает в товарищи своих ребяческих затей, прогулок и любимых бесед, и эти немногие пользовались только в некоторой степени его доверием. Он многое от них скрывал, по-видимому, без всякой причины, или облекал таинственным покровом шутки. Речь его отличалась словами малоупотребительными, старинными и насмешливыми; но в устах его все получало такие оригинальные формы, которыми нельзя было не любоваться. У него все перерабатывалось в горниле юмора. Слово его было так метко, что товарищи боялись вступать с ним в саркастическое состязание. Гоголь любил своих товарищей вообще, и до такой степени спутники первых его лет были тесно связаны с тем временем, о котором впоследствии он из глубины души восклицал: «О, моя юность! О, моя свежесть!», что даже школьные враги его, если только он имел их, были ему до конца жизни дороги. Ни об одном из них не отзывается он с холодностью или неприязнью, и судьба каждого интересовала его в высшей степени.

П. А. Кулиш, I, 18.

Гоголь постоянно косился на нас, держался в стороне, смотрел всегда букою. Насмешки наши над Гоголем еще усугублялись потому, что он держал себя каким-то демократом среди нас, детей аристократов, редко когда мыл себе лицо и руки по утрам каждого дня, ходил всегда в грязном белье и выпачканном платье. В карманах брюк у него постоянно имелся значительный запас всяких сладостей – конфет и пряников. И все это по временам, доставая оттуда, он жевал не переставая, даже и в классах, во время занятий. Для этого он обыкновенно забивался куда-нибудь в угол, подальше от всех, и там уже поедал свое лакомство. Чтобы занять в классе местечко, где бы его никто не видел, он приходил в аудиторию первым или последним и, засев в задних рядах, так же и уходил из класса, чтобы не подлежать осмеянию.

В. И. Любич-Романович по записи С. И. Глебова. Ист. Вестник, 1902, февр., 549.

Вы писали про одну новую балладу и про Пушкина поэму «Онегина»; то прошу вас, нельзя ли мне их прислать? Еще нет ли у вас каких-нибудь стихов? то и те пришлите. Сделайте милость, объявите мне, поеду ли я домой на рождество: то, по вашему обещанию, прошу мне прислать роль. Будьте уверены, что я ее хорошо сыграю, чем я вам буду много благодарен.

Гоголь – отцу, в конце сент. – нач. окт. 1824 г., из Нежина. Письма, I, 22.

Страстный поклонник всего высокого и изящного, Гоголь на школьной скамейке тщательно переписывал для себя на самой лучшей бумаге с рисунками собственного изобретения выходившие в то время в свет поэмы «Цыгане», «Полтава», «Братья-разбойники» и главы «Евгения Онегина».

Г. П. Данилевский. Собр. соч., XIV, 121.

Как я надеюсь, что зима теперь будет хорошая, то и прошу прислать за мною 16 декабря, потому что распускать нас будут 18-го числа. Прошу вас еще прислать мне синего сукна на мундир, или здесь пускай купят, потому что у меня о сю пору тот мундир, тот самый, что был на каникулах. Он совсем теперь не может на меня налезть – так сделался мал, притом весь в дырах.

Гоголь – родителям, 19 окт. 1824 г., из Нежина. Письма, I, 23.

Уведомляю вас, что нас будут распускать на праздник рождества христова, и для того прошу вас покорнейше или самим приехать, как

папенька говорил, что он будет сам скоро, а ежели вы не приедете, то пришлите за мною; ибо вы сами знаете, что я еще ни разу на сей праздник или, – лучше сказать, зимою никогда не был дома; и для того прошу вас покорнейше приехать за мною.

Я трудился долго и наконец успел нарисовать три картины, а четвертую еще только начал, и можно сказать, что стоит чего-нибудь. Ежели бы вы их повидели, то, верно бы, не могли поверить, что я их рисовал. Только жаль, что они пропадут, ежели не будет рамок… И для того прошу вас покорнейше прислать рамки со стеклами. Я бы вам их прислал, но никак нельзя… Сделайте милость, дражайший папенька. Вы, я думаю, не допустите погибнуть столько себя прославившим рисункам.

Гоголь – родителям, в ноябре – декабре 1824 г., из Нежина. Письма, I, 23.

В случай потеря прежнего журнала замечать должно самые отличные в худом поведении. Во время двух дневных дежурств замеченными были многократно за шалость, драку, грубость, неопрятность и непослушание: (*такие-то*) и Яновский (*Гоголь*) получили достойное наказание за их худое поведение. 13-го декабря (*такие-то*) и Яновский за дурные слова стояли в углу. Того же числа, Яновский за неопрятность стоял в углу. 19-го декабря, Прокоповича и Яновского за леность без обеда и в угле, пока не выучат свои уроки. Того же числа, Яновского за упрямство и леность особенною – без чая. 20-го декабря, (*такие-то*) и Яновский – на хлеб и на воду во время обеда. Того же числа, Н. Яновский, за то, что он занимался во время класса священника с игрушками, был без чаю.

Из журнала, веденного надзирателями гимназического пансиона. П. А. Кулиш, II, 274.

Получивши ваше письмо, весьма огорчился, особливо, услышав, что вы, дражайший папенька, весьма нездоровы. Я уже не думаю о праздниках, потому, знаю сам, никаким образом нельзя теперь ехать. Когда бы только папенька выздоровел, то я уже доволен… Прошу вас, дражайший папенька, прислать мне к праздникам хоть несколько книжек на прочет, ибо здесь на праздниках такая скука, что ужас; я сам не знаю, что делать. Вообразите себе – сидеть одному, поджавши руки и повеся голову; хоть кому, придет тоска поневоле. У нас почти все поразъехались, кроме тех, которые из самых дальних мест. Да еще пришлите, пожалуйста, деньги портному, который мне каждый день надоедает. Вы не поверите, как страшно иметь заимодавца. Я ему должен за шитье сюртука десять рублей. Также, если можно, прислать мне сколько-нибудь на праздники. Не худо бы было и провианту.

Гоголь – родителям, в дек. (?) 1824 г., из Нежина. Письма, I, 24 5.

(*Как видно из последующего письма, мальчику все-таки удалось провести рождественские праздники дома*.)

Приехал сюда преблагополучно и 12-го числа пополудни очутился в гимназии. Езда моя, хотя была невыгодна, по той причине, что люди позабыли взять из дому все, что весьма нужно для дороги, как-то: для обеда и проч. приехал я как раз в срок, ни поздно, ни рано.

Гоголь – матери, 13 янв. 1825 г., из Нежина. Письма, I, 24.

Николе нашему надо было бы послать еще хотя десять рублей, и я думаю, что там он очень задолжал, а это его будет очень беспокоить, написать же о сем он теперь не смеет, потому что ты написал ему выговор, что он тогда только и пишет, когда денег нужно.

М. И. Гоголь – мужу своему В. А. Гоголю, 14 марта 1825 г., из Васильевки. С. Дурылин. Из семейной хроники Гоголя. М., 1928. Изд. ГАХН. Стр. 70.

Телесное наказание у нас в гимназии существовало. Нелегко было заслужить эту казнь, потому что Иван Семенович Орлай (*директор* гимназии), подписывая приговор, долго страдал сам, медлил, даже хворал, но одолевал свою врожденную доброту и предавал преступника ликторам. При этом случае я вспомнил забавное происшествие: Яновский (Гоголь тож), еще в низших классах, как-то провинился, так что попал в уголовную категорию. «Плохо, брат! – сказал кто-то из товарищей: – высекут!» – «Завтра!» – отвечал Гоголь. Но приговор утвержден, ликторы явились. Гоголь вскрикивает так пронзительно, что все мы испугались, – и сходит с ума. Подымается суматоха; Гоголя ведут в больницу; Иван Семенович два раза в день навещает его; его лечат; мы ходим к нему в больницу тайком и возвращаемся с грустью. Помешался, решительно помешался! Словом, до того искусно притворился, что мы все были убеждены в его помешательстве, и когда, после двух недель удачного лечения, его выпустили из больницы, мы долго еще поглядывали на него с сомнением и опасением. Больница вообще играла важную роль в нашей студенческой жизни. Отлучаться от музеев – так назывались рабочие наши залы – куда-нибудь подальше было затруднительно; а больница, под непосредственным надзором любознательного сторожа Евлампия, представляла все удобства для экскурсий. Доктор зайдет раз в день, инспектор раз в день – и кончено; подсунул Евлампию мадам Радклифф со всеми ужасами разных аббатств – и ступай себе куда хочешь. Местоположение удаленное, на лестнице никто не встретится.

Н. В. Кукольник. Гербель, 198.

Страсть к сочинениям пробудилась у Гоголя очень рано и чуть ли не с первых дней поступления его в гимназию. Во время класса, особенно по вечерам, он выдвигает ящик из стола, в котором была доска с грифелем или тетрадка с карандашом, облокачивается над книгою, смотрит в нее и в то же время пишет в ящике, да так искусно, что и зоркие надзиратели не подмечали этой хитрости. Потом, как видно было, страсть к сочинениям у Гоголя усиливалась все более и более, а писать не было времени, и ящик не удовлетворял его. Что же сделал Гоголь? Взбесился! Вдруг сделалась страшная тревога во всех отделениях – «Гоголь взбесился!» – сбежались мы и видим, что лицо у Гоголя страшно исказилось, глаза сверкают диким блеском, волосы натопорщились, скрегочет зубами, пена изо рта, падает, бросается и бьет мебель – взбесился! Прибежал и флегматический директор Орлай, осторожно подходит к Гоголю и дотрагивается до плеча. Гоголь схватывает стул, взмахнул им – Орлай уходит… Оставалось одно средство: позвать четырех служащих при лицее инвалидов, приказали им взять Гоголя и отнести в особое отделение больницы, в которой пробыл он два месяца, отлично разыгрывая там роль бешеного.

Т. Г. Пащенко по записи В. Пашкова. Берег, 1880, № 268.

Охота писать стихи высказалась впервые у Гоголя по случаю его нападок на товарища Бороздина, которого он преследовал насмешками за низкую стрижку волос и прозвал Расстригою Спиридоном. Вечером, в день именин Бороздина, 12 декабря[5], Гоголь выставил в гимназической зале транспарант собственного изделия с изображением черта, стригущего дервиша, и со следующим акростихом:

Се образ жизни нечестивой,

Пугалище дервишей всех.

Инок монастыря строптивой,

Расстрига, сотворивший грех.

И за сие-то преступленье

Достал он титул сей.

О, чтец! Имей терпенье,

Начальные слова в устах запечатлей.

Вслед за тем Гоголь написал сатиру на жителей города Нежина, под заглавием: «Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан», и изобразил в ней типические лица разных сословий. Для этого он взял несколько

торжественных случаев, при которых то или другое сословие наиболее выказывало характеристические черты свои, и по этим случаям, разделил свое сочинение на следующие отделы: «1) Освящение церкви на греческом кладбище; 2) Выбор в греческий магистрат; 3) Всеедная ярмарка; 4) Обед у предводителя (дворянства) П ***; 5) Роспуск и съезд студентов». Я имел копию этого довольно обширного сочинения, списанную с автографа; но Гоголь, находясь еще в гимназии, выписал ее от меня из Петербурга, под предлогом, будто бы он потерял подлинник, и уже не возвратил.

Г. И. Высоцкий по записи П. А. Кулиша. Записки о жизни Гоголя, I, 24.

Гимназия высших наук кн. Безбородко разделялась на три музея, или отделения, в которые входили и выходили мы попарно; так водили нас и на прогулки. В каждом музее был свой надзиратель. В третьем музее надзиратель был немец Зельднер, безобразный, неуклюжий и антипатичный донельзя; высокий, сухопарый, с длинными, тонкими и кривыми ногами, почти без икр; лицо его уродливо выдавалось вперед и сильно смахивало на свиное рыло; длинные руки болтались, как будто привязанные; сутуловатый, с глуповатым выражением бесцветных и безжизненных глаз и с какою-то странною прическою волос. Зато же длинными кривушами своими Зельднер делал такие гигантские шаги, что мы и не рады были им. Чуть что – он и здесь: раз, два, три, – и Зельднер от передней пары уже у задней; ну просто, не дает нам хода. Вот и задумал Гоголь умерить чрезмерную прыткость этого цыбатого (длинноногого) немца и сочинил на Зельднера следующее четырехстишие:

Гицель – морда поросячья,

Журавлины ножки;

Той же чертик, что в болоти,

Только приставь рожки[6].

Идем, Зельднер впереди; вдруг задние пары запоют эти стихи; – шагнет он, и уже здесь. – «Хто шмела петь, што пела?» Молчание. Там запоют передние пары; шагнет Зельднер туда, и там то же; мы вновь затянем, – и он опять к нам. Потешаемся, пока Зельднер шагать перестанет, идет уже молча и только оглядывается и грозит пальцем. Иной раз не выдержим и грохнем со смехом. Сходило хорошо. Такая потеха доставляла Гоголю и нам большое удовольствие и поумерила гигантские шаги Зельднера.

Т. Г. Пащенко по записи В. Пашкова. Берег, 1880, № 268.

Соученик и друг детства и первой молодости Гоголя, Н. Я. Прокопович, сохранил воспоминание о том, как Гоголь, бывши еще в одном из первых классов гимназии, читал ему наизусть свою стихотворную балладу «Две рыбки». В ней, под двумя рыбками, он изобразил судьбу свою и своего (*умершего*) брата, – очень трогательно, сколько припомнит Прокопович тогдашнее свое впечатление.

Наконец, сохранилось предание еще об одном ученическом произведении Гоголя, – о трагедии «Разбойники», написанной пятистопными ямбами.

П. А. Кулиш, I, 52.

По словам его матери, Гоголь в нежинском лицее написал стихотворение «Россия под игом татар». Эту никогда не напечатанную вещь Гоголь тщательно переписал в изящную книжечку, украсил ее собственными рисунками и переслал матери из Нежина по почте. Из всего содержания этой поэмы, увезенной им впоследствии из Яновщины и, вероятно, истребленной, мать Гоголя вспомнила мне только окончание, а именно следующие два стиха:

Раздвинув тучки среброрунны,

Явилась трепетно луна.

Г. П. Данилевский. Собр. соч., XIV, 120.

Первые мои опыты, первые упражнения в сочинениях, к которым я получил навык в последнее время пребывания моего в школе, были почти все в лирическом и серьезном роде. Ни я сам, ни сотоварищи мои, упражнявшиеся также вместе со мной в сочинениях, не думали, что мне придется быть писателем комическим и сатирическим, хотя, несмотря на мой меланхолический от природы характер, на меня часто находила охота шутить и даже надоедать другим моими шутками; хотя в самых ранних суждениях моих о людях находили уменье замечать те особенности, которые ускользают от внимания других людей, как крупные, так и мелкие и смешные. Говорили, что я умею не то передразнить, но угадать человека, то есть, угадать, что он должен в таких и таких случаях сказать, с удержанием самого склада и образа его мыслей и речей. Но все это не переносилось на бумагу, и я даже вовсе не думал о том, что сделаю со временем из этого употребление.

Гоголь. Авторская исповедь.

Благодарю вас покорнейше за присылку мне денег и за наставление, которое вы мне сделали. Но, дражайшие родители, позвольте вам

сказать, что я не имею ни одной из тех наклонностей, об которых вы мне писали, или, по крайней мере, ни к одной не имею пристрастия... Нельзя ли мне прислать на праздник несколько книжечек для препровождения времени, а особливо, когда здесь бывает ужасная скука в это время? Хотел бы вам прислать несколько картинок, рисованных на картонах и сухими колерами; но некоторые из них еще не докончены, а другие, боюсь, чтоб не потерялись дорогою, потому что рисовка их весьма нежна. Еще я думаю, что вы мне пришлете к празднику несколько съестных припасов. Вы не знаете, как они были бы мне полезны в этом случае!

Гоголь – родителям, 18 марта 1825 г., из Нежина. Письма, I, 25.

Муж мой болел в продолжение четырех лет, и когда пошла кровь горлом, он поехал в Кибинцы (*поместье Д. П. Трощинского*), чтобы посоветоваться с доктором. Я была тогда на последнем месяце беременности и не могла ехать с ним. Ему очень не хотелось уезжать, и, прощаясь, он сказал, что, может быть, без меня придется умереть, но потом сам испугался и прибавил: «может, долго там пробуду, но постараюсь поскорее вернуться». Я получала от него часто письма; он все беспокоился обо мне. Я не знала, что жизнь его была в опасности, и далека была от мысли потерять его... После родов, на второй неделе, я только начала ходить по комнате и ожидала мужа, чтобы крестить дитя, как вместо мужа приехала жена доктора, акушерка, чтобы по просьбе мужа везти меня к нему. Я очень встревожилась и подумала, что, верно, ему очень худо, если он меня вызывает еще больную. Мы только выехали со двора, как увидели верхового, который подал письмо докторше; она, прочтя письмо, вспыхнула и сказала: «Вернемся! Василий Афанасьевич сам приедет». Когда привезли его тело к церкви, раздался удар колокола. Только на пятый день могли его хоронить, так как многое не было готово. Меня не пускали к нему, пока не внесли в церковь, а то он все был в экипаже. Мне после говорили, что я, увидя его, начала громко говорить к нему и отвечать за него. Тетка не оставляла меня до шести недель и детей мне не показывала. Старшие двое учились, сын – в Нежине.

М. И. Гоголь. Записки. Шенрок. Материалы, I, 54, 56.

После смерти отца мать была убита горем, ничего не хотела есть и довела себя до того, что ее насильно заливали бульоном и не могли раскрыть рта – стиснуты зубы – и ей чем-то разжимали зубы и вливали бульон. При ней тогда были отец и мать, и ничего не могли сделать. Наконец, ее любимая тетка Анна Матвеевна Трощинская, у которой она воспитывалась, – она только могла на нее повлиять. Потом она начала поправляться. Ее развлекали двоюродные братья и сестры, которые

постоянно гостили у нас и этим разбаловали ее так, что она только собой была занята. На детей мало обращала внимания.

О. В. Гоголь-Головня. Из семейной хроники, 4.

Я детям не могла писать о нашем несчастии и просила письменно директора в Нежине приготовить к такому удару моего сына; он в таком был горе, что хотел броситься в окно с верхнего этажа.

М. И. Гоголь. Автобиографическая записка. Рус. Арх., 1902, I, 722.

Не беспокойтесь, дражайшая маменька! Я сей удар перенес с твердостью истинного христианина. Правда, я сперва был поражен ужасно сим известием; однако ж не дал никому заметить, что я был опечален. Оставшись же наедине, я предался всей силе безумного отчаяния. Хотел даже посягнуть на жизнь свою, но бог удержал меня от сего; и к вечеру приметил я в себе только печаль, но уже не порывную, которая наконец превратилась в легкую, едва приметную меланхолию, смешанную с чувством благоговения к всевышнему. Благословляю тебя, священная вера! В тебе только я нахожу источник утешения и утоления своей горести. Так, дражайшая маменька, я теперь спокоен, хотя не могу быть счастлив, лишившись лучшего отца, вернейшего друга, всего драгоценного моему сердцу. Но разве я не имею еще чувствительной, нежной, добродетельной матери, которая может мне заменить и отца, и друга, и всего, что есть милее, что есть драгоценнее? Так, я имею вас и еще не оставлен судьбою.

Гоголь – матери, 23 апр. 1825 г., из Нежина. Письма, I, 26.

Я занялась всем по мужской части в поле, потом и письменными делами, считая священною обязанностью сберегать все для детей и улучшать, сколько позволяли способы. При муже я не занималась такими хлопотами, только по дому и детьми; но теперь все обрушилось на мою голову. Может, такие насильные занятия и спасли меня, что время начало уносить мое горе; имея отраду тогда в моем сыне и необыкновенное здоровие мое, перенеся так много, начала переходить в первобытное состояние.

М. И. Гоголь. Автобиографическая записка. Рус. Арх., 1902, I, 722.

Я вас скоро увижу, и восхищаюсь каждый день сею мыслью, и теперь собираюсь привезти вам какой-нибудь подарок. Но знаю, что вам не может быть подарка лучшего, как привезть вам сердце доброе, пылающее к вам самою нежною любовью… Но смею вам сказать, что я

приобрел уже довольно и других качеств, которые, я думаю, вы сами увидите; можно сказать, обработал-таки свои понятия, которые сделались гораздо проницательнее, дальновиднее.

Гоголь – матери, 3 июня 1825 г., из Нежина. Письма, I, 31.

Движимое и недвижимое имение мое, доставшееся по наследству от родителей моих, числящееся за мною и умершим сыном моим (*Василием Афанасьевичем*) в селе Васильевке и местечке Яресках, состоявшее по последней ревизии из 137 душ, со всеми к ним принадлежащими пахотными, сенокосными, лесными землями и со всеми хозяйственными при нем заведениями, сим духовным тестаментом записываю и завещаю в вечное и потомственное владение им внукам моим: Николаю, Марии, Анне, Елизавете, Татьяне и Ольге Гоголь-Яновским с тем, что внук мой Николай преимущественно пред сестрами своими должен из всего сего имения получить половину один, сверх того новый дом, к нему принадлежащий сад и лес, называемый Яворивщина, прочее же затем остальное движимое и недвижимое имение поименованные внучки мои должны поделить между собою по ровным частям полюбовно…

Двадцатилетнее пребывание в доме моем и в сожительстве с покойным сыном моим невестки моей Марии Ивановны Гоголь-Яновской, известная мне опытность ее в хозяйстве, неограниченная любовь к детям и попечительность ее к образованию ума и сердца сих юных детей питают меня лестною надеждою, что она и еще более посвятит себя на пользу сих юных внучат моих, и потому, не требуя дворянской опеки, утверждаю по смерть ее единственною и безотчетною опекункою сего записанного внукам моим имения…

Объявляю цену сему записанному мною имению 60 тысяч рублей.

Татьяна Семеновна Гоголь-Яновская (урожд. Лизогуб). Духовное завещание 20 июня 1825 г. Чтение в Историч. общ-ве Нестора-летописца, кн. XVI, вып. I–III. Киев. 1902. Отд. III, стр. 43.

Я говорил с профессором живописи о моем предприятии, именно, продолжать писание масляными красками. Он берется на себя доставить некоторые вещи, как-то: кисти и часть красок, остальные могу искупить здесь. Следовательно, деньги пятьдесят рублей должно прислать в начале октября, чтобы не опоздать занятиями… Не знаю, дражайшая маменька, что бы вам сказать о наших происшествиях: нового у нас так мало, примечательного и того менее; притом мы живем теперь совершенно в глуши; никто не посещает наш бедный Нежин, мы совершенно, так сказать, в другом мире, старом и забытом.

Гоголь – матери, 30 сент. 1825 г., из Нежина. Письма, I, 35.

Мне пришло на память одно происшествие из моего детства. Я всегда чувствовал в себе маленькую страсть к живописи. Меня много занимал писанный мною пейзаж, на первом плане которого раскидывалось сухое дерево[7]. Я жил тогда в деревне; знатоки и судьи мои были окружные соседи. Один из них, взглянувши на картину, покачал головою и сказал: «Хороший живописец выбирает дерево рослое, хорошее, на котором бы и листья были свежие, хорошо растущее, а не сухое». В детстве мне казалось досадно слышать такой суд, но после я из него извлек мудрость: знать, что нравится и что не нравится толпе.

Гоголь. Арабески, ч. I, «Несколько слов о Пушкине».

Лишась моего мужа, я носила траур из самого грубого, шерстяного изделия платье, что очень огорчало моего сына: ему казалось, что оно было очень жестко и беспокоило меня, хотя я уверяла его, что совершенно не чувствовала его жесткости. Когда он приехал перед рождественскими праздниками домой из Нежина совсем неожиданный, это было рано поутру, и, увидя, что в передней чистили мое одеяние, сказал подать ему ножницы, чтоб изрезать его, прибавя, «тогда маменька наденет и будет носить покойное платье». Ему начали возражать, прибежавшая туда девушка моя уверяла, что у меня нет другого платья, и мне это будет очень неприятно; я, услыша что-то похожее на шум и оставя писать об нем к нашему благодетелю Трощинскому, так как время приближалось к его выпуску, прибежала туда и чрезвычайно была испуганная, увидя его совершенно замерзшего, посиневшего (тогда была жестокая зима). Меня удивило то, что я отправила в назначенное им самим число теплый экипаж, с огромной теплой шубой, теплым одеялом для ног и на вате шляпой. Он бы никогда не был в таком состоянии, как я его увидела, да и не мог бы так скоро сюда приехать по времени. Когда я спросила, что это значило, то он отвечал, что хотел скорее меня видеть, когда их раньше предположенного сроку отпустили, наняв жида, и в легкой шубке прискакал; и вместо радости я напустилась на него, как он поступил так неблагоразумно, подвергая здоровье свое опасности. Надобно было его лечить, чтобы спасти от худых последствий. С каким восхищением он всегда ехал домой. И как-то, смотря на меня издали и подойдя, сказал мне: – «Как мы счастливы, что вы еще так молоды и долго проживете с нами». День принялся делать горы для катанья, по вечерам приготовлял марки для бостона, – у нас только для одного стола были, – делая их из картона, и наводил разной краской. И когда где недоставало четвертого, то и он играл. У нас составлялось тогда общество из одних дам и девиц. Он никогда не любил карт, а впоследствии времени и в руки их не брал:

всегда писал мне из Нежина, как он веселится, но я знала, что он для того это писал, чтоб и я веселилась, но я была уверена, что он не веселился уже после смерти отца своего.

Мария Ив. Гоголь – С. Т. Аксакову, 3 апреля 1856 г., из Васильевки. Современник, 1913, IV, 248.

Как только от тебя приехал, то уже все было готово. В ту же ночь Симон приехал с подорожной и кибиткой, и если бы не проклятая невзгода, то я вчера совсем бы выехал; теперь же снег посыпал. Приезжай сейчас; позавтракаем у нас, а у вас пообедаем, а на ночь в Кибинцы.

Гоголь – А. С. Данилевскому, в янв. (?) 1826 г. (?), из Васильевки (?). Письма. I, 38.

Поспел сюда вчера благополучно, и спешу уведомить вас, дражайшая маменька. В замедлении моем ничего мне не стоило оправдаться; принят был как самый добрый товарищ. Я теперь почти в совершенной радости, изредка только воспоминание о вас туманит светлое лицо мое, только что недавно видевшее вас.

Гоголь – матери, 17 янв. 1826 г., из Нежина. Письма, I, 39.

У Ив. Семеновича Орлая (*директора гимназии*) было в Полтавской губернии, в Миргородском уезде крошечное имение, при котором было всего шесть душ. Имение это находилось в соседстве с деревней матери Гоголь-Яновского. Кстати замечу, что в гимназии Гоголь, как между товарищами, так и по официальным спискам, – Гоголем не назывался, а просто Яновским. Однажды, уже в Петербурге, один из товарищей при мне спросил Гоголя: «С чего ты это переменил фамилию?» – «И не думал». – «Да ведь ты Яновский». – «И Гоголь тож». – «Да что значит гоголь?» – «Селезень», – отвечал Гоголь сухо и свернул разговор на другую материю. Я вспомнил и о Гоголе, и о крошечном имении Ивана Семеновича по забавному обстоятельству. Иван Семенович не жаловал, если ученики во время лекций оставляли классы и прогуливались по коридорам, а Гоголь любил эти прогулки, а потому немудрено, что частенько натыкался на директора, но всегда выходил из беды сух и всегда одной и тою же проделкой. Завидев Ивана Семеновича издали. Гоголь не прятался, шел прямо к нему навстречу, раскланивался и докладывал: «Ваше превосходительство! Я сейчас получил от матушки письмо. Она поручила засвидетельствовать вашему превосходительству усерднейший поклон и донести, что по вашему имению идет все очень хорошо». – «Душевно благодарю! Будете писать к матушке, не забудьте поклониться и от меня и поблагодарить». Таков был обыкновенный ответ Ивана Семеновича, и Гоголь безнаказанно продолжал свою прогулку по коридорам.

Н. В. Кукольник. Гербель, 195.

Был у нас товарищ Р. (*М. А. Риттер*), – большого роста, чрезвычайно мнительный и легковерный юноша лет восемнадцати. У Р. был свой лакей, старик Семен. Заинтересовала Гоголя чрезмерная мнительность товарища, и он выкинул с ним такую штуку: «Знаешь, Р., давно я наблюдал за тобою и заметил, что у тебя не человечьи, а бычачьи глаза. Но все еще сомневался и не хотел говорить тебе, а теперь вижу, что это несомненная истина: у тебя бычачьи глаза». Подводит Р. несколько раз к зеркалу, тот пристально всматривается, изменяется в лице, дрожит, а Гоголь приводит всевозможные доказательства и наконец совершенно уверяет Р., что у него бычачьи глаза. Дело было к ночи; лег несчастный Р. в постель, не спит, ворочается, тяжело вздыхает, и все представляются ему собственные бычачьи глаза. Ночью вдруг вскакивает с постели, будит лакея и просит зажечь свечу; лакей зажег. – «Видишь, Семен, у меня бычачьи глаза?» Подговоренный Гоголем, лакей отвечает: «И впрямь, барин, у вас бычачьи глаза! Ах, боже мой! Это Н. В. Гоголь сделал такое наваждение!» Р. окончательно упал духом и растерялся. Вдруг поутру суматоха. «Что такое?» – «Р. сошел с ума! Помешался на том, что у него бычачьи глаза!» – «Я еще вчера заметил это», – говорит Гоголь с такою уверенностью, что трудно было не поверить. Бегут и докладывают о несчастьи с Р. директору Орлаю; а вслед бежит и сам Р., входит к Орлаю и горько плачет: «Ваше превосходительство. У меня бычачьи глаза!» Ученейший и знаменитейший доктор медицины директор Орлай флегматически нюхает табак и, видя, что Р., действительно, рехнулся на бычачьих глазах, приказал отвести его в больницу. И потащили несчастного Р. в больницу, в которой и пробыл он целую неделю, пока излечился от мнимого сумасшествия.

Т. Г. Пащенко по записи В. Пашкова. Берег, 1880, № 268.

Еще бывши в школе, чувствовал я временами расположение к шутливости и надоедал товарищам неуместными шутками. Но это были временные припадки; вообще же я был характера скорей меланхолического и склонного к размышлению.

Гоголь – В. А. Жуковскому, 10 янв. 1848 г. Письма, IV, 136.

В обыденном домашнем быту воспитанники забавлялись шалостями, изобретаемыми Гоголем и другими резвыми мальчиками. Так, напр., однажды Гоголь, передразнивая учителя физики Шапалинского, попался ему на глаза, за что последний, сильно рассердившись, схватил его и долго тряс за плечи. Севрюгин, учитель пения, замечая, что Гоголь иногда фальшивил и не был в состоянии петь в такт с товарищами,

приставлял ему скрипку к самому уху, называя его глухарем, что, разумеется, возбуждало общее веселье. Гоголь любил все искусства вообще, любил и петь; но, между тем, как он делал большие успехи в рисовании, пение не давалось ему благодаря недостатку музыкального слуха. Но в хоре он участвовал, когда во время рекреаций воспитанники пели стихи:

Златые наши дни, теките!

Красуйся ты, наш русский царь!..

Любимых игр у Гоголя не было. Совершенно особенный мир представляла больница, служившая для некоторых воспитанников своего рода клубом. В больнице особенно фигурировал друг Гоголя Высоцкий, который вечно находился там, страдая от болезни глаз. Он сидел обыкновенно с зонтиком. У него с Гоголем было много общего, но Высоцкий был гораздо авторитетнее.

А. С. Данилевский по записи В. И. Шенрока. Материалы, I, 105.

Сходство вкусов сблизило Гоголя и товарища его Г. И. Высоцкого, ибо тот и другой отличались мечтательностью и комизмом. Все юмористические прозвища, под которыми Гоголь упоминает в своих письмах о товарищах, принадлежат Высоцкому. Он имел сильное влияние на первоначальный характер Гоголевых сочинений. Товарищи их обоих, перечитывая «Вечера на хуторе» и «Миргород», на каждом шагу встречают слова, выражения и анекдоты, которыми Высоцкий смешил их еще в гимназии.

П. А. Кулиш. I, 42.

Ни к кому сердце мое так не привязывалось, как к тебе. С первоначального нашего здесь пребывания уже мы поняли друг друга, а глупости людские уже рано сроднили нас; вместе мы осмеивали их и вместе обдумывали план будущей нашей жизни.

Гоголь – Г. И. Высоцкому, 17 янв. 1827 г. Письма, I, 55.

Касательно моего здоровья, смело могу вас уверить, что я еще никогда не был в таком хорошем состоянии, как теперь: весел, радостен. Скучен только в те минуты, когда думаю об разлуке вашей со мною. Но мысль об скором свидании одна только теперь полнит мою душу. Близкие каникулы не выводятся из головы… Хорошая весна была у нас: думаю, теперь можно ожидать изобилия на фрукты. Я давно уже острю на них зубы, и эти каникулы увидят ужасное опустошение в нашем саду. Жаль

только, что мне не достанется отведать клубники: отойдет к тому времени.

Гоголь – матери, 14 мая 1826 г., из Нежина. Письма, I, 41.

Прошу вас, чтобы извещать меня обо всем, что вы намерены предпринять и что делается касательно хозяйственного устройства… Особливо извещайте меня касательно построек, новых заведений и проч., и ежели нужно будет фасад и план, то известите меня немедленно, и уже фасад будет непременно хорош, а главное, – издержки будут самые малые. И фасад, и план будет тщательно нарисован и по первой же почте без замедления прислан… Говорил бы вам о своих делах, но совершенно ничего нет, все пусто, и Нежин наш заснул в бездействии.

Гоголь – матери, 20 авг. 1826 г., из Нежина. Письма, I, 45.

Некоторые воспитанники пансиона, скрываясь от начальства, пишут стихи, не показывающие чистой нравственности, и читают их между собою, читают книги, неприличные для их возраста, держат у себя сочинения Александра Пушкина и других подобных.

Н. Г. Белоусов, инспектор, в рапорте от 25 окт. 1826 г. Гербель, 51.

В 1826 году поступили к нам два новые преподавателя, профессор римского и естественного права Белоусов, ученик Шада, и профессор естественной истории Соловьев. Эти молодые ученые обворожили нас совершенным контрастом с нашими наставниками, педантами старого времени.

К. М. Базили. Из неизданных записок. Шенрок. Материалы, I, 381.

Директора у нас нет, и желательно, чтоб совсем не было. Пансион наш теперь на самой лучшей степени образования, до какой Орлай (*бывший директор*) никогда не мог достигнуть: и этому всему причина наш нынешний инспектор (*Н. Г. Белоусов*); ему обязаны мы своим счастием. Стол, одеяние, внутреннее убранство комнат, заведенный порядок – этого всего вы теперь нигде не сыщете, как только в нашем заведении. Советуйте всем везть сюда детей своих: во всей России они не найдут лучшего. Должность директора исправляет профессор физики и химии Шапалинский.

Гоголь – матери, 16 ноября 1826 г., из Нежина, Письма, I, 52.

Думаю, удивитесь вы успехам моим, которых доказательства лично вручу вам. Сочинений моих вы не узнаете: новый переворот настигнул их. Род их теперь совершенно особенный.

Гоголь – матери, 23 ноября 1826 г., из Нежина. Письма. I, 54.

Теперь только приехал я из дому, где был все праздники… Я здесь совершенно один: почти все оставили меня… Нас теперь весьма мало; но мне до них дела нет; я совершенно позабыл всех. Изредка только здешние происшествия трогают меня; впрочем, я весь с тобою в столице… Пансион у нас теперь в самом лучшем, самом благородном состоянии, и всем этим мы одолжены нашему инспектору Белоусову.

Гоголь – Г. И. Высоцкому, 17 янв. 1827 г., из Нежина в Петербург. Письма, I, 56.

Сего 1827 г. января 29 числа поутру на вторых часах учения я, послышавши необыкновенный стук в зале под аркою, зашел в оную, где нашел работающих плотников и увидел различные театральные приуготовления, как-то: кулисы, палатки и возвышенные для сцен особые полы, почему спросил, для чего таковые производятся работы и приуготовления; на что мне работники и бывший при том г-н надзиратель Адольф Аман сказали, что это делается для театра, на котором воспитанники пансиона будут представлять разные театральные пьесы. А как таковые театральные представления в учебных заведениях не могут быть допущены без особого дозволения высшего учебного начальства, то… всепокорнейше прошу… донести о сем гг. окружному и почетному попечителям, ежели не имеется от оных на то позволения.

М. В. Билевич, старший профессор гимназии. Прошение в конференцию гимназии высших наук кн. Безбородко, 29 янв. 1827 г.

Резолюция на прошении. Так как от 28 дек. истекшего 1826 г. последовало на мое имя позволение высшего начальства, то сим г-ну проф. Билевичу объявляется о бытности сего позволения.

И. д. директора старший профессор Каз. Шапалинский. Гоголевский сборник, 354.

Я не знаю, когда лучше я проводил время, как не теперь, – даже досадую на скорый полет его! Масленицу мы надеемся провести наилучшим образом. Театр наш готов совершенно, а с ним вместе – сколько удовольствий.

Гоголь – матери, 1 февр. 1827 г., из Нежина. Письма, I, 57.

В пансионе теперь у нас весело. Всевозможные удовольствия, забавы, занятия доставлены нам, и этим мы одолжены нашему инспектору (*Белоусову*). Я не знаю, можно ли достойно выхвалить этого редкого человека! Он обходится со всеми нами совершенно как с друзьями своими, заступается за нас против притязаний конференции нашей и профессоров-школяров, и признаюсь, если бы не он, то у меня недостало бы терпения здесь окончить курс: теперь, по крайней мере, могу твердо выдержать эту жестокую пытку, эти четырнадцать месяцев.

Масленую мы провели прекрасно. Четыре дня сряду был у нас театр; играли превосходно все. Все бывшие из посетителей, людей бывалых, говорили, что ни на одном провинциальном театре не удавалось видеть такого прекрасного спектакля. Декорации (четыре перемены) сделаны были мастерски и даже великолепно. Прекрасный ландшафт на занавес довершал прелесть, освещение залы было блистательное. Музыка также отличилась; наших было десять человек, но они приятно заменили большой оркестр и были устроены в самом выходном, в громком месте. Разыграли четыре увертюры Россини, две Моцарта, одну Вебера, одну сочинения Севрюгина (*лицейского учителя пения*) и друг. Пьесы, представленные нами, были следующие: «Недоросль», соч. Фонвизина, «Неудачный примиритель», комедия Я. Княжнина, «Береговое право» Коцебу и вдобавок еще одну французскую, соч. Флориана, и еще не насытились: к светлому празднику заготовляем еще несколько пьес. Эти занятия однако ж много развлекали меня, и я почти позабыл было все грустное; но надолго ли? Пришел пост, а с ним убийственная тоска. Никаких совершенно новостей, ничего любопытного вовсе не случалось.

Гоголь – Г. И. Высоцкому, 19 марта 1827 г., из Нежина. Письма, I, 61.

Ученики жертвовали на театральный гардероб кто что мог. Между прочим, была пожертвована кем-то пара заржавевших и обломанных пистолетов, замечательная по следующему случаю. Однажды, перед самым представлением «Недоросля», Гоголь как-то задел своею шуткою одного из товарищей – Базили. Тот вспыхнул и отказался играть; а он играл роль Стародума. Ну, как без Стародума приступить к представлению? Гоголь сделал вид, что вышел из себя; в страшной мести он вызвал товарища на дуэль и подал ему театральные пистолеты без курков. Базили рассмеялся и стал играть. Начальство гимназии воспользовалось этою страстью, чтобы заохотить воспитанников к изучению французского языка и ввело в репертуар Гоголева театра французские пьесы. Тут-то и Гоголю пришлось познакомиться с французским языком. Русские пьесы, однако ж, не выводились, и предание гласит, что Гоголь особенно отличался в роли старух. Театр, основанный Гоголем в гимназии, процвел наконец до того, что на представления его съезжались и городские жители.

П. А. Кулиш, I, 27.

Нам поставлено было в обязанность каждый раз, когда у нас будут спектакли, непременно и прежде всего сыграть французскую или немецкую пьесу. Гоголь должен был также участвовать в одной из иностранных пьес. Он выбрал немецкую. Я предложил ему ролю в двадцать стихов, которая начиналась словами: «O mein Vater!» затем шло изложение какого-то происшествия. Весь рассказ оканчивался словами: «nach Prag!» Гоголь мучился, учил роль усердно, одолел, выучил, знал на трех репетициях, во время самого представления вышел бодро, сказал: «O mein Vater!» – запнулся, покраснел, но тут же собрался с силами, возвысил голос, с особенным пафосом произнес: «nach Prag!» – махнул рукой и ушел. И слушатели, большею частью не знавшие ни пьесы, ни немецкого языка, остались исполнением роли совершенно довольны. Зато в русских пьесах Гоголь был истинно неподражаем, особенно в комедии Фонвизина «Недоросль», в роли г-жи Простаковой; я играл Митрофанушку. Из русских пьес я помню еще представление «Чудаков», комедии Княжнина, «Хлопотуна», Писарева (главную роль – Гоголь); из французских «Medecin malgre lui» и «Avare» Мольера. Мы собирались играть «Фингала»; роли были розданы; даже репетиции по частям начались. Роль Старна назначалась Гоголю, Фингала – мне, Моины – Гинтовту, но уже теперь не помню, что расстроило этот спектакль и весь наш домашний театр.

Н. В. Кукольник. Лицей кн. Безбородко. Изд. гр. Г. А. Кушелева-Безбородко. СПб., 1859. Стр. 21.

В гимназическом театре Данилевский был актрисой, потому что чрезвычайно красивая наружность его заставила кружок товарищей раз навсегда отдать ему женские роли. Так, в «Эдипе в Афинах» Базили играл Эдипа, Данилевский – Антигону; в «Фингале» ему приходилось всегда изображать Моину. Но сценическим дарованием, по собственному откровенному сознанию, Данилевский не отличался вовсе и подвизался на товарищеской сцене больше благодаря охоте и счастливой наружности, хотя неизмеримо уступал Кукольнику и Гоголю, настоящим мастерам дела. Так, в «Недоросле» Гоголь и Кукольник приводили в восторг публику действительно блестящим исполнением: первый отличался в роли Простаковой, тогда как последний превосходно играл Митрофана.

В. И. Шенрок со слов А. С. Данилевского. Материалы, I, 105.

На небольшой сцене второго лицейского музея лицеисты любили иногда играть по праздникам комические и драматические пьесы.

Гоголь и Прокопович, задушевные между собой приятели, особенно заботились об этом и устраивали спектакли. Играли пьесы и готовые, сочиняли сами лицеисты. Гоголь и Прокопович были главными авторами и исполнителями пьес. Гоголь любил преимущественно комические пьесы и брал роли стариков, а Прокопович трагические. Вот однажды сочинили они пьесу из малороссийского быта, в которой немую роль дряхлого старика малоросса взялся сыграть Гоголь. Настал вечер спектакля, на который съехались многие родные лицеистов и посторонние. Пьеса состояла из двух действий. Гоголь должен был явиться во втором. Публика тогда еще не знала Гоголя, но мы хорошо знали и с нетерпением ожидали выхода его на сцену. Во втором действии представлена на сцене простая малороссийская хата и несколько обнаженных деревьев; вдали река и пожелтевший камыш. Возле хаты стоит скамеечка; на сцене никого нет. Вот является дряхлый старик в простом кожухе, в бараньей шапке и смазных сапогах. Опираясь на палку, он едва передвигается, доходит кряхтя до скамьи и садится. Сидит, трясется, кряхтит, хихикает и кашляет, да наконец захихикал и закашлял таким удушливым и сильным старческим кашлем, с неожиданным прибавлением, что вся публика грохнула и разразилась неудержимым смехом. А старик преспокойно поднялся со скамейки и поплелся со сцены, уморивши всех со смеху. Бежит за ширмы инспектор Белоусов: – «Как же это ты, Гоголь? Что же это ты сделал?» – «А как же вы думаете сыграть натурально роль 80-летнего старика? Ведь у него, бедняги, все пружины расслабли, и винты уже не действуют как следует». На такой веский аргумент инспектор и все мы расхохотались и более не спрашивали Гоголя. С этого вечера публика узнала и заинтересовалась Гоголем как замечательным комиком.

В другой раз Гоголь взялся сыграть роль дяди-старика, страшного скряги. В этой роли Гоголь практиковался более месяца, и главная задача для него состояла в том, чтобы нос сходился с подбородком. По целым часам просиживал он перед зеркалом и пригинал нос к подбородку, пока наконец не достиг желаемого. Сатирическую роль дяди-скряги сыграл он превосходно, морил публику смехом и доставил ей большое удовольствие. Все мы думали тогда, что Гоголь поступит на сцену, потому что у него был громадный сценический талант и все данные для игры на сцене: мимика, гримировка, переменный голос и полнейшее перерождение в роли, какие он играл. Думается, что Гоголь затмил бы и знаменитых комиков-артистов, если бы вступил на сцену.

Т. Г. Пащенко по записи В. Пашкова. Берег, 1880, № 268.

Театральные представления давались на праздниках. Мы с Гоголем и Романовичем сами рисовали декорации. Одна из рекреационных зал (они назывались у нас музеями) представляла все удобства для

устройства театра. Зрителями были, кроме наших наставников, соседние помещики и военные расположенной в Нежине дивизии. В их числе помню генералов: Дибича (брата фельдмаршала), Столыпина, Эммануеля. Все были в восторге от наших представлений, которые одушевляли мертвенный уездный городок и доставляли некоторое развлечение случайному его обществу. Играли мы трагедии Озерова «Эдип» и «Фингал», водевили, какую-то малороссийскую пьесу, сочиненную тогда же Гоголем[8], от которой публика надрывалась со смеху. Но удачнее всего давалась у нас комедия фон-Визина «Недоросль». Видал я эту пьесу и в Москве, и в Петербурге, но сохранил всегда то убеждение, что ни одной актрисе не удавалась роль Простаковой так хорошо, как играл эту роль шестнадцатилетний тогда Гоголь. Не менее удачно пятнадцатилетний тогда Нестор Кукольник, худощавый и длинный, играл Недоросля, а Данилевский Софью. Благодаря моей необыкновенной в то время памяти доставались мне самые длинные роли, Стародума, Эдипа и другие.

К. М. Базили. Из неизданных записок. В. И. Шенрок. Материалы, I, 241. Ср. стр. 105.

Вы знаете, какой я охотник до всего радостного. Вы одни только видели, что под видом, иногда для других холодным, угрюмым, таилось кипучее желание веселости (разумеется, не буйной), и часто, в часы задумчивости, когда другим казался я печальным, когда они видели или хотели видеть во мне признаки сентиментальной мечтательности, я разгадывал науку веселой, счастливой жизни, удивлялся, как люди, жадные счастья, немедленно убегают его, встретившись с ним. Ежели об чем я теперь думаю, так это все о будущей жизни моей. Во сне и наяву мне грезится Петербург, с ним вместе и служба государству. До сих пор я был счаслив; но ежели счастье состоит в том, чтобы быть довольну своим состоянием, то не совсем, – не совсем до вступления в службу, до приобретения, можно сказать, собственного постоянного места.

Гоголь – матери, 26 февр. 1827 г., из Нежина. Письма, I, 58.

В те годы, когда я стал задумываться о моем будущем (а задумываться о будущем я начал рано, в те годы, когда все мои сверстники думали еще об играх), мысль о писателе мне никогда не всходила на ум, хотя мне всегда казалось, что я сделаюсь человеком известным, что меня ожидает просторный круг действий и что я сделаю даже что-то для общего добра. Я думал просто, что я выслужусь, и все это доставит служба государственная. От этого страсть служить была у меня в юности очень сильна. Она пребывала неотлучно в моей голове впереди всех моих дел и занятий.

Гоголь. Авторская исповедь.

Я пролежал целую неделю больным, и был болен весьма опасно, даже отчаивался об выздоровлении и теперь только начинаю учиться ходить, падаю от слабости…

Теперь у нас происходят забавные истории и анекдоты с Иваном Григорьевичем Кулжинским (*учитель латинского языка*). Он теперь напечатал свое сочинение под названием «Малороссийская деревня». Этот литературный урод причиною всех его бедствий: когда он только проходит через класс, тотчас ему читают отрывки из «Малороссийской деревни» и почтенный князь бесится, сколько есть духу; когда он бывает в театре, то кто-нибудь из наших объявляет громогласно о представлении новой пьесы, ее заглавия: «Малороссийская деревня» или «Закон дуракам не писан»; комедия-водевиль. Несколько раз прибегая к покровительству и защите конференции и, наконец, видя, что его жалобы худо чествуют, решился унизительно и смиренно просить нашей милости и не рушить стихотворное его спокойствие и не срамить печатный бред его, а особливо не запирать его в канцелярии с майором Шишкиным (*экзекутор гимназии*), как до сего делали.

Гоголь – Г. И. Высоцкому. 19 марта 1827 г., из Нежина. Письма, I, 63, 65.

Весна приближается, – время самое веселое, когда весело можем провесть его. Это напоминает мне времена детства, мою жаркую страсть к садоводству. Это-то время было обширный круг моего действия. Живо помню, как, бывало, с лопатою в руке, глубокомысленно раздумываю над изломанною дорожкою… Признаюсь, я бы желал когда-нибудь быть дома в это время. Я и теперь такой же, как и прежде, жаркий охотник к саду.

Гоголь – матери, 24 марта 1827 г., из Нежина. Письма, I, 67.

Говоря однажды об училищном воспитании, Гоголь вспомнил свою училищную жизнь, в которой особенно благодетельным для самого духовного своего развития находил садовые и огородные свои занятия возделыванием земли, рассаживанием и проч. под. Всему этому, говорил он, много обязан я тем, что еще свежего сохранилось в душе моей.

Архимандрит Феодор (А. М. Бухарев). Три письма к Гоголю. СПб. 1861, стр. 61.

Мой план жизни теперь удивительно строг и точен во всех отношениях; каждая копейка теперь имеет у меня место. Я отказываю себе даже в самых крайних нуждах, с тем чтобы иметь хотя малейшую возможность поддержать себя в таком состоянии, в каком нахожусь, чтобы иметь возможность удовлетворить моей жажде и видеть и чувствовать прекрасное. Для него-то я с трудом величайшим собираю все годовое свое жалование, откладывая малую часть на нужнейшие издержки. За Шиллера, которого я выписал из Лемберга, дал я 40 рублей; деньги, весьма немаловажные по моему состоянию; но я награжден с излишком и теперь несколько часов в день провожу с величайшей приятностью[9]. Не забываю также и русских, и выписываю, что только выходит самого отличного. Разумеется, что я ограничиваюсь одним только чем-либо: в целые полгода я не приобрел более одной книжки, и это меня крушит чрезвычайно. Иногда читаю объявление о выходе в свет творения прекрасного: сильно бьется сердце, – и с тяжким вздохом роняю из рук газетный листок объявления, вспомня невозможность иметь его. Мечтание достать его смущает сон мой, и в это время получению денег я радуюсь более самого жаркого корыстолюбца. Не знаю, что бы было со мною, ежели бы я еще не мог чувствовать от этого радости: я бы умер от тоски и скуки.

Гоголь – матери, 6 апр. 1827 г., из Нежина. Письма, I, 69.

По-французски Гоголь (*в гимназии*) несколько понимал, но немецкий был для него вовсе недоступен.

В. П. Гаевский со слов И. Г. Кулжинского. Современник, 1852, X. Смесь, 143.

Пансионеры гимназии, как это из ответов их на задаваемые в классе вопросы оказывается, не столько, по-видимому, учением преподаваемых предметов занимаются, сколько выучиванием театральных роль, которые они на открытом в гимназии театре уже шесть раз для приглашаемых из города зрителей представляли; притом различные пьесы, столько раз уже представленные, конференцией как следует не были рассматриваемы… Без строжайшего рассматривания и выбора пьес публичный театр гимназии вместо какой-либо пользы может принести один только вред… Театральные пьесы, кои, как выше сказано, уже шесть раз разыгрывались при стечении немалой публики, – разыгрывались, как слышно, с какими-то собственными, только неизвестно чьими, дополнениями и прибавлениями.

П. И. Никольский, старший профессор. Рапорт 16 апр. 1827 г. в конференцию гимназии. Гоголевский сборник, 355–358.

Внезапная кончина (в 1821 году) первого начальника юной гимназии, В. Г. Кукольника, приостановила быстрый и правильный ход ее развития по прямому пути к истинной образованности. Быстро, без разбора, наудачу или по связям, набран был, после В. Г. Кукольника, полк учителей и профессоров для новооткрытого заведения, между которыми только случайно попались и люди достойные. К числу последних принадлежали старший профессор математических и естественных наук К. В. Шапалинский, проф. французской словесности Ландражин, немецкой словесности Зингер, латинской словесности Андрущенко и, определенные впоследствии, проф. римского права Белоусов и проф. естественной истории Соловьев. По закону взаимного притяжения профессора разделились, не скажу на две партии, а на два кружка. К одному принадлежали люди благородные, умные и сведущие, а к другому – их большая или меньшая противоположность. Сперва эти кружки уживались кое-как между собою; но с того времени, когда Белоусов на окончательном экзамене воспитанников первого выпуска, не получив на свои вопросы по юридическим предметам удовлетворительных ответов ни от студентов, ни от профессора юридических наук Билевича, объявил во всеуслышание с запальчивостью и свойственною ему заносчивостью, в присутствии директора Орлая, что он находит недостаточными юридические познания окончивших курс юношей, долго таившаяся вражда между двумя кружками вспыхнула, и между ними началась открытая война. Некоторые из враждующих употребили не совсем рыцарское оружие для поражения своих противников: доносы и клевету.

П. Г. Редкин. Биографический очерк К. В. Шапалинского. Гербель, 316.

…Проходил мимо нас по коридору ученик 8-го класса, пансионер Яновский, который на вопрос мой, почему он не в классе, отвечал, что в 8-м классе учения нет, ибо Белоусов не будет в классе, к сему сказал г. экзекутор Шишкин: вот смотрите, какое неуважение воспитанников к своим наставникам, что не захотел и оставаться (*остановиться?*), когда его спрашивали; я же сказал ему: посему-то и должно детей наставлять и к учтивости приучать, на что он, г. экзекутор, отвечал: что ж мы можем успеть, когда не все так делают, как должно, но что иные наставники часто с учениками, побравшись под руки, по коридору прохаживают и слишком фамилиерно с ними обращаются?

…Равномерно необходимою обязанностью для себя поставляю, как старший профессор юридических наук, сказать, что я приметил у некоторых учеников некоторые основания вольнодумства, а сие, полагаю, может происходить от заблуждений в основаниях права естественного, которое хотя и предписано преподавать здесь по системе г-на Демартини, но г-н младший профессор Белоусов проходит оное

естественное право по своим запискам, следуя в основаниях философии Канта и г-на Шада; для чего покорнейше прошу конференцию гимназии – первое – подтвердить г. мл. профессору юридических наук Белоусову, дабы он непременно руководствовался систематическою книгою г. Демартиня в преподавании права естественного, как предписано руководствовать; второе – подтвердить ему же, Белоусову, как инспектору над воспитанниками, а равно и гг. надзирателям и нравонаблюдателям, дабы они имели неослабное смотрение за нравственным поведением воспитанников гимназии вообще.

Старший профессор, надворный советник Михайло, Васильев сын, Билевич. Рапорт в конференцию гимназии 7 мая 1827 г. Гоголевский сборник, 363.

Этот рапорт Билевича имел роковое значение в истории гимназии. Рапортом этим положено было начало пресловутому делу о неблагонамеренном преподавании естественного права и вольнодумстве проф. Белоусова, а затем и некоторых других профессоров. Отсюда пошли расследования, взаимные обвинения профессоров, допросы воспитанников и, в заключение всего, удаление со службы профессоров Белоусова, Шапалинского, Ландражина, Зингера, а впоследствии еще и Андрущенко. От этой передряги и кутерьмы, тянувшейся более трех лет, заведение пришло в полное расстройство, что и вызвало преобразование его в 1832 г. в физико-математический лицей. В разгар этой истории Гоголь оканчивал курс гимназии высших наук[10].

И. А. Сребницкий. Гоголевский сборник, 364.

В особенно незавидном положении было в то время в нашем лицее изучение русского права, которое нам преподавал Билевич по единственному в то время руководству Кукольника, отца моего товарища и бывшего директором нашего заведения до Орлая, Преподавание заключалось в чтении профессором одной главы, с приказанием выучить. Затем в практическом ведении тяжб между слушателями по заданным профессором темам. Процессы эти представляли некоторый интерес, потому что сам руководитель профессор был, собственно, адвокат того времени, знаток судейских крючков, и учил нас, как выигрывать тяжебные дела, приводя то тот, то другой указ. Что же касается теории права по руководству, бывало, для сокращения урока обольем заблаговременно жидким клеем два листа книги профессора, потом склеим, и тем избавимся от двух лишних страниц ин-кварто. Помнится, случалось так, что страница оканчивалась словами: «то тех судей…», а следующая после наклеенной начиналась словами: «…сдают в архив». При чтении лекции это озадачило Билевича. Сначала подумал он, что это опечатка, и стал искать опечаток в конце книги, там ничего он не нашел; не теряя присутствия духа, он

нам пояснил, что это, должно быть, метафора, а под словом «тех судей» надо понимать: «те судейские дела кладут в архив».

К. М. Базили. Из неизданных записок. Шенрок. Материалы, I, 380.

Профессор Николай Григорьевич Белоусов, в 1825/6 учебном году читал в восьмом классе римское право, а в седьмом – историю того же права; но с наступлением нового, 1826/7 учебного года, именно в тот год, когда и я перешел в седьмой класс, он открыл преподавание естественного права, как курс предварительный и продолжавшийся не более двух месяцев; но эти два месяца были для нас важнее целых годов. С необычайным искусством Николай Григорьевич изложил нам всю историю философии, а с тем вместе и естественного права, в несколько лекций, так что в голове каждого из нас установился прочно стройный систематический скелет науки наук, который каждый из нас мог уже облекать в тело по желанию, способностям и ученым средствам. Не меньшую пользу доставило нам в нравственном отношении и то, что директор Орлай назначил Белоусова нашим инспектором. Справедливость, честность, доступность, добрый совет, в приличных случаях необходимое ободрение – все это благодетельно действовало на студентов. Нет сомнения, что и лекции, и инспекторство Белоусова дали бы студентам еще больше, если бы интриги и внутренние несогласия между профессорами не причинили паралича, разрешившегося тем, что Белоусов в числе других был в 1830 г. удален от должности... Кто из молодых людей, бывших в Нежине под непосредственным его влиянием, поступком или словом подтвердил клевету обвинителей Белоусова, которых, должно сказать правду, он презирал глубоко и не скрывал своего презрения? Убежденный в чистоте своих действий, Белоусов ездил в Петербург; но это не помогло. Белоусов ни с чем возвратился в Нежин, чтобы оттуда направиться в Киев, без надежды когда-нибудь очиститься от взведенных на него обвинений.

Н. В. Кукольник. Биография Н. Г. Белоусова. Гербель. 242.

Из всех наших преподавателей только профессор математики Шапалинский и профессора немецкой и французской литературы, Ландражен и Зингер, совладали со своим предметом. Летом, бывало, Шапалинский водил нас за город, верст за пять и за десять, с инструментами снимать планы. Любили мы его и учились прилежно; до сей поры засели в моей памяти иные тригонометрические формулы... Французская и немецкая литература были нам не по сердцу, и те из моих товарищей, кто прежде не знал этих языков, не выучились даже говорить, хотя по положению и под страхом остаться без чаю или без десерта следовало в рекреационных залах и во время гуляний говорить день по-французски и день по-немецки.

К. М. Базили. Из неизданных записок. Шенрок. Материалы, I, 91.

Федор Осипович Зингер поступил в гимназию высших наук, в звании младшего профессора немецкой словесности, в июне 1824 г. Ростом был чуть не карлик… Русская литература того времени была проникнута духом Байрона; Чайльд-Гарольдов и Онегиных можно было встречать не только в столицах, но даже у нас в гимназическом саду. Зингер открыл нам новый, живоносный родник истинной поэзии. Любовь к человечеству, составляющая поэтический элемент творений Шиллера, быстро привилась к нам и много способствовала развитию характеров многих. До Зингера на немецких лекциях обыкновенно отдыхали сном послеобеденным. Он умел разогнать эту сонливость увлекательным преподаванием, и не прошло и года, у нового профессора были ученики, переводившие «Дон-Карлоса» и другие драмы Шиллера, а вслед за тем и Гете, и Кернер, и Виланд, и Клопшток, и все классики германской литературы, не исключая даже Жан-Поль-Рихтера, в течение четырех лет были предметом изучения многих учеников Зингера… Федор Осипович снабжал нас и немецкими альманахами; но мы не видали ни одного переплета их. Зингер обертывал их толстой бумагой и до того опечатывал, что никакое искусство не могло проникнуть под эти экономические покровы. Эта снисходительность дорого обошлась ему. Когда между профессорами последовало междоусобие и Зингер пристал, естественно, к стороне, которую считал правильною и чистейшею, при досмотре ученических ящиков найдены были в них многие книги с надписью: «Ex libris F. I. Singeri» – и послужили сильным и решительным противу него обвинением, так что он лишился места и принужден был возвратиться в Германию, что последовало в 1830 г.

Н. В. Кукольник. Биографич. очерк Ф. О. Зингера. Гербель, 261.

Это время я провел немного скучновато: книг со мною не было. Театр наш, покуда, остановлен, и я принужден был, повеся голову, сидеть недвижно на одном месте, перебирая старые свои уроки. Заманивала было меня прекрасная погода весны; сначала было весело, но веселье хорошо, когда делишь, и потом прискучилось. Только мечта об моей радости – об вас высветливается иногда сквозь пасмурные думы.

Гоголь – матери, 17 апр. 1827 г., из Нежина. Письма, I, 71.

Уединясь совершенно от всех, не находя здесь ни одного, с кем бы мог слить долговременные думы свои, кому бы мог выверить мышления свои, я осиротел и сделался чужим в пустом Нежине… Несколько только я разгоняю скучное уединение чтением новых книг, для которых беру деньги, не составляющие для меня ничего, кроме их, и выписывание их

составляет одно мое занятие и одну мою корреспонденцию. Никогда еще экзамен не был для меня так несносен, как теперь. Я совершенно весь истомлен, чуть движусь. Не знаю, что со мною будет далее. Только я и надеюсь, что поездкою домой обновлю немного свои силы. Как чувствительно приближение выпуска, а с ним и благодатной свободы! Не знаю, как-то на следующий год я перенесу это время!.. Как тяжело быть зарыту вместе с созданьями низкой неизвестности в безмолвие мертвое! Ты знаешь всех наших существователей, всех, населивших Нежин. Они задавили корою своей земности, ничтожного самодовольствия высокое назначение человека. И между этими существователями я должен пресмыкаться… Из них не исключаются и дорогие наставники наши. Только между товарищами, и то немногими, нахожу иногда, кому бы сказать что-нибудь. Ты теперь в зеркале видишь меня. Пожалей обо мне!..

Какое теперь ужасное у нас плодородие, особливо фруктов! Деревья гнутся, ломятся от тяжести. Я воображаю об необыкновенной роскоши, которою я буду пресыщаться, приехавши домой. Уже два дни экипаж стоит за мною. С нетерпением лечу освежиться, ожить от мертвого усыпления годичного в Нежине, от ядовитого истомления, вследствие нетерпения и скуки. Возвратясь, начну живее и спокойнее носить иго школьного педантизма, пока уроченное время, со всеми своими мучительными ожиданиями и нетерпением, не предстанет снова истомленному. Какая у нас засуха! Более полтора месяца не шли дожди. Лето вдруг у нас переменилось: сделалось вдруг так холодно, что даже принуждены мерзнуть, особливо по утрам. Весна была нестерпимо жарка.

Позволь еще тебя попросить об одном деле: нельзя ли заказать у вас в Петербурге портному самому лучшему фрак для меня? Узнай, что стоит пошитье самое отличное фрака по последней моде. Мне хочется ужасно как, чтобы к последним числам или к первому ноября я уже получил фрак готовый. Напиши, пожалуйста, какие модные материи у вас на жилеты, на панталоны. Какой-то у вас модный цвет на фраки? Мне очень бы хотелось сделать себе синий с металлическими пуговицами; а черных фраков у меня много, и они мне так надоели, что смотреть на них не хочется.

Гоголь – Г. И. Высоцкому, 26 июня 1827 г., из Нежина в Петербург. Письма, I, 74–80.

(*Нижеприводимые воспоминания А. П. Стороженко о Гоголе-гимназисте представляют в подлиннике очень растянутый рассказ с длиннейшими диалогами действующих лиц, явно сочиненными автором впоследствии, по памяти, с почтительным подходом к Гоголю, как к «гению», «лучи» которого он якобы тогда же*

узрел в «блестящем взоре» Гоголя. Плохая беллетристика, но, может быть, в ядре своем содержащая не менее правды, чем любые другие воспоминания. Приводим рассказ Стороженко в изложении, цитируя лишь наиболее характерные места.)

Автор, только что кончивший курс учения, едет с отцом на именины к соседу, Ив. Фед. Г.....у, в «большое местечко, населенное казаками и помещиками». Много гостей. «Я увидел юношу лет 18-ти, в мундире нежинского лицея. Студент с первого взгляда пришелся мне по сердцу. Его лицо, хотя неправильное, но довольно красивое, имело ту могущественную прелесть, какую придает физиономии блестящий взор, одаренный лучом гения. Улыбка его была приветлива, но вместе выражала иронию и насмешку». За обедом они садятся рядом. Гоголь передразнивал поссорившихся за обедом гостей, добавлял к их речам свои слова очень кстати и строил гримасы. «Я хохотал, как помешанный. Отец мой строго на меня поглядывал; но едва я начинал успокаиваться, сосед мой мигнет, скажет словцо, – и я снова предавался истерическому смеху». После обеда отец сделал ему строгий выговор, автор оправдывался, что его смешил студент. «Детские отговорки!» – «Не говорите этого, – заметил старичок в военном сюртуке, – не поверите, какая спичка (заноза) этот скубент: вчера вечером мы животы надрывали, слушая, как он передразнивал почтенного Карла Ивановича, сахаровара Р.....а. Немного путного обещает. Говорят, плохо учится и не уважает своих наставников».

После обеда Гоголь предложил рассказчику отправиться погулять за реку в лес. Чтоб не делать долгих обходов, они перелезли через плетень ближайшего огорода, примыкавшего к реке. Залаяли собаки, молодая женщина с грудным ребенком на руках накинулась на них с бранью: «Вон, курохваты, а то позову чоловика (мужа), так он вам ноги поперебивает, чтоб в другой раз через чужие плетни не лазили. Что вам нужно? Зачем пришли?» – «Нам сказали, – отвечал спокойно Гоголь, – что здесь живет молодица, у которой дитина похожа на поросенка... Да вот оно. Какое сходство! Настоящий поросенок!» Молодица пришла в ярость, стала звать мужа: «Остапе, Остапе!» Подошел мужик с заступом в руках. «Бей их заступом, – вопила молодица. Знаешь, что они говорят? Рассказывают, что наша дитина похожа на поросенка!» – «Что ж, может быть, и правда, – отвечал мужик хладнокровно: – Это тебе за то, что ты меня кабаном называешь». Молодица, бранясь и плюясь, с угрозами ушла в хату. Остап указал путникам дорожку, по которой можно было пройти к реке, и предупредил, чтобы, идя мимо хаты, они не задирали его жены: «Теперь и без того мне будет с нею возни на целую неделю». – «Если мы и увидимся, – сказал Гоголь улыбаясь, – то помиримся». – «Нет, вы не знаете моей жинки: станете мириться – еще хуже разбесите!» Школьники пошли по указанной дорожке. У дверей хаты стояла жена Остапа с ребенком на левой руке и с толстой палкой в

правой. Гоголь повернулся к ней. «Не подходи! – закричала молодица, замахиваясь палкою. – Ей-богу, ударю!» – «Бессовестная, бога ты не боишься! – говорил Гоголь подходя к ней и не обращая внимания на ее угрозы: – Ну, скажи на милость, как тебе не грех думать, что твой дитина похож на поросенка?» – «Зачем же ты это говорил?» – «Дура! Шуток не понимаешь, а еще хотела, чтоб Остап заступом проломил нам головы... Ну, полно, не к лицу такой красивой молодице сердиться. Славный у тебя хлопчик, знатный из него выйдет писарчук; когда вырастет, громада выберет его в головы». Гоголь погладил по голове ребенка. «Не выберут, – отвечала молодица, смягчаясь, – мы бедны, а в головы выбирают только богатых». – «Ну, так в москали (в солдаты) возьмут. В унтера произведут, приедет до тебя в отпуск в крестах, таким молодцом, что все село будет снимать шапки, а как пойдет по улице да брякнет шпорами, сабелькой, так дивчата будут глядеть на него да облизываться. Чей это, спросят, служивый?.. «Как тебя зовут?» – «Мартой!» – «Мартин, скажут, да и молодец же какой, точно намалеванный! А потом не придет уже, а приедет к тебе тройкой, в кибитке, офицером, и всякого богатства с собой навезет и гостинцев». – «Что это вы выгадываете, можно ли?» – «А почему нет? Мало ли теперь из унтеров выслуживаются в офицеры!» – «Да, конечно; вот Оксанин пятый год уже офицером, и Петров также, чуть ли не городничим поставили его в Лохвицу». – «Вот и твоего также поставят городничим в Ромен. Тогда-то заживешь! В каком будешь почете, оденут тебя, как пани». – «Полно вам выгадывать неподобное!» – вскричала молодица, радостно захохотав. Тут Гоголь с необыкновенною привлекательностью начал описывать привольное ее житье в Ромнах: как квартальные будут перед нею расталкивать народ, когда она войдет в церковь, как купцы будут угощать ее и подносить варенуху на серебряном подносе, низко кланяясь и величая сударыней-матушкой; как во время ярмарки она будет ходить по лавкам и брать на выбор, как из собственного сундука, разные товары бесплатно; как сын ее женится на богатой панночке, и тому подобное. Молодица слушала Гоголя с напряженными вниманием, ловила каждое его слово. «Бедный мой Аверко! – восклицала она, нежно прижимая дитя к груди: – Смеются над нами, смеются!» Аверко пристально смотрел на Гоголя и, когда он кончил, подал ему свой недоеденный пирог, сказав отрывисто: «На!» – «Вот что значит казак! – сказал Гоголь. – Еще на руках, а уже разумней своей матери; а ты еще хочешь верховодить над мужем и сердилась на него за то, что он нам костей не переломал!» – «Простите, паночку! – отвечала молодица, низко кланяясь, – я не знала, что вы такие добрые панычи. Конечно, жена всегда глупее чоловика и должна слушать и повиноваться ему, – так и в святом писании написано». Подошел Остап. «Третий год женат, – сказал он, с удивлением посматривая на Гоголя, – и впервые пришлось услышать от жены разумное слово. Нет, панычу, воля ваша, а что-то не простое: я шел сюда и боялся, чтоб она вам носов не откусала, аж,

смотрю, вы ее в ягничку (овечку) обернули. Не простое, ей-ей, не простое. Просто чаровник (чародей)!» Я также разделял мнение Остапа: искусство, с которым Гоголь укротил взбешенную женщину, казалось мне невероятным; в его юные лета еще невозможно было проникать в сердце человеческое до того, чтоб играть им, как мячиком; но Гоголь бессознательно, силою своего гения, постигал уже тайные изгибы сердца. «Послушай, Остапе, что паныч рассказывает, – сказала Марта. – Расскажите же, паночку, Остапе, послушай!» – «После расскажу, – отвечал Гоголь, – а теперь научите, как нам переправиться через реку». – «Я попрошу у Кондрата челнок!» – сказала Марта и, передав дитя мужу, побежала в соседнюю хату. Мы не успели дойти до реки, как Марта догнала нас, с веслом в руке.

На челноке переехали реку. Лежали в лесу, разговаривали. «Долго ли еще вам оставаться в лицее?» – спросил я. «Еще год!» – со вздохом ответил Гоголь. «А потом?» – «Потом в Петербург, в Петербург! Туда стремится душа моя!» – «Что вы, в гражданскую или в военную думаете вступить?» – «Что вам сказать? В гражданскую у меня нет охоты, а в военную – храбрости». – «Куда-нибудь да надо же; нельзя не служить». – «Конечно, но…» – «Что?» Гоголь молчал.

К вечеру возвратились обратно. Опять встретили Остапа и Марту. Остап пустился в рассуждения, острил над женой и рассказывал смешные анекдоты, как жены обманывают мужей. Гоголь, со вниманием слушавший Остапа, хохотал, бил в ладони, топал ногами; иногда вынимал из кармана карандаш и бумагу и записывал некоторые слова и поговорки. Наконец я почти насильно увлек его.

После чаю играли в фанты. Гоголь не сумел отделаться и также участвовал в игре. Он был очень неразвязен, неловко краснел, конфузился, по целому часу отыскивал колечко, не мог поймать мышки и, наконец, выведенный из терпения неудачами и насмешками, отказался от игры прежде ее окончания.

Утром я застал Гоголя в саду пишущим. Гоголь сознался, что писал стихи. Я попросил прочесть. Настойчивость моя пересилила застенчивость Гоголя. Он стал читать. «Охота вам писать стихи, – сказал я, когда он кончил. – Что вы, хотите тягаться с Пушкиным! Пишите лучше прозой». – «Пишут не потому, чтоб тягаться с кем бы то ни было, но потому, что душа жаждет излиться ощущениями. Впрочем, не робей, воробей, дерись с орлом». Я хотел было также отвечать пословицей: «дай бог нашему теляти волка поймати», но Гоголь продолжал: «Да! Не робей, воробей, дерись с орлом!»

А. П. Стороженко. Воспоминание. Отеч. Записки, 1859, № 4, стр. 71–84.

(Лето 1827 г.) Бывало, мы путешествуем даже до мельниц и приходим к вечеру, истомленные, на чай или на богатую коллекцию дынь. Чаще всего я вспоминаю, когда после ужина отправляемся на ночлег по нашей шаткой лестнице в возвышенное наше обиталище.

Гоголь – дяде своему Пав. П. Косяровскому, 3 окт. 1827 г., из Нежина. Письма, I, 91.

Приехал я сюда в Нежин 18 сент. ввечеру поздно невредимо и благополучно. В последний только день верст за тридцать от Нежина обдало холодным дождем, но с помощью моей пространной брыки я ускользнул-таки от него и теперь укоренился в свое местопребывание с новою твердостью, с новою силою, крепостью к своим занятиям, с осветившимся воспоминанием вашей любви, вашего нежного материнского обо мне попечения... Мне здесь очень весело, особливо когда оканчиваю на время свои занятия, которые также приносят мне удовольствие неизъяснимое.

Гоголь – матери, 19 сент. 1827 г., из Нежина. Письма, I, 86.

Как теперь вижу этого белокурого мальчика в сером суконном сюртучке, с длинными волосами, редко расчесанными, молчаливого, как будто затаившего что-то в своей душе, с ленивым взглядом, с довольно неуклюжею походкою, и никогда не знавшего латинского урока. Он учился у меня три года (латинскому языку) и ничему не научился, как только переводить первый параграф из хрестоматии при латинской грамматике Кошанского: Universus mundus plerum que distribuitur in duas partes, coelum et terram. Не один он был такой ленивый к латинскому языку; было еще несколько таких, и каждого из них я иначе не звал, как – Universus mundus. – «Ну-тка ты, Universus mundus, скажи свой урок!» Мог ли я тогда думать, что этот белокурый молодой Universus mundus будет нашим первоклассным писателем? Во время лекций Гоголь всегда, бывало, под скамьею держит какую-нибудь книгу, не обращая внимания ни на coelum, ни на terram. Принудительных средств у меня не было никаких, кроме аттестации в месячных ведомостях. Я писал нули да единицы, а гоголь три года все оставался на латинском синтаксисе и дальше Корнелия Непота не заехал в латинскую словесность – с этим и кончил курс.

Надобно признаться, что не только у меня, но и у других товарищей моих он, право, ничему не научился. Школа приучила его только к некоторой логической формальности и последовательности понятий и мыслей, а более ничем он нам не обязан. Это был талант, не узнанный школою и, ежели правду сказать, не хотевший или не умевший признаться школе. Между тогдашними наставниками Гоголя были

такие, которые могли бы приголубить и прилелеять этот талант, но он никому не сказался своим настоящим именем. Гоголя знали только как ленивого, хотя, по-видимому, не бездарного юношу, который не потрудился даже научиться русскому правописанию. Жаль, что не угадали его. А кто знает? Может быть, и к лучшему.

Вот что достойно замечания: будучи ленивцем. Гоголь в то же время был самым благонравным юношей и вел себя всегда благородно. Хотя вообще уже принято в школах: ставя ученику худой шар за учение, вместе с тем уменьшать шары и в поведении. Но Гоголь был в этом случае исключением: единица или даже нуль в учении и пятерка в поведении! Живо я помню представление «Недоросля». На гимназическом театре Гоголь играл Еремеевну; хохотали до слез.

И. Г. Кулжинский. Воспоминания учителя. Москвитянин, 1854, № 21, кн. I. Смесь, стр. 5–6.

Гоголь очень плохо учился; хотя кончил курс нежинской гимназии, но в ней ничему, даже правописанию русскому, не хотел научиться; не знал языков, и так выступил на поприще русской литературы… В Гоголе, еще с отроческих лет, было уже заметно расположение к авторству, известная школьная болезнь, pruritus scribendi. Как теперь вижу этого белокурого, кудрявого мальчика, в сером гимназическом сертучке, пробирающегося в латинском классе на отдаленную, заднюю скамейку, чтобы там под шум и говор переводов из латинской хрестоматии свободно читать какой-нибудь литературный журнал или альманах или же строчить какую-нибудь карикатуру.

И. Г. Кулжинский. Заметка о Гоголе и Шевченко. Газета «Русский», 1868, № 127.

От Гоголя менее всего можно было ожидать такой известности, какою он пользуется в нашей литературе. Это была terra rudis et inculta (*почва невозделанная и необработанная*). Чтоб грамматикальным образом оценить познания Гоголя при выпуске из гимназии, я не обинуясь могу сказать, что он тогда не знал спряжений глаголов ни на одном языке.

И. Г. Кулжинский. Автобиография. Гербель, 271.

В числе странностей Гоголя было много его своеобразных взглядов на все то, что общество признавало для себя законом. Это Гоголь игнорировал, называл недостойным делом, от которого надо было бежать и избавлять себя, как врага, мечом мысли. В церкви, напр., Гоголь никогда не крестился перед образами св. отцов наших и не клал перед алтарем поклонов, но молитвы слушал со вниманием, иногда

даже повторял их нараспев, как бы служа сам себе отдельную литургию. Дьячков он осуждал за гнусавость пения, невнятность чтения псалтыря и за скороговорку великопостной службы. Не одобрял он также степеней и градаций в церкви и толкал мужика вперед, говоря: «Тебе бог нужнее, чем другим, иди к нему ближе!» Нередко он обращался к мужику в церкви с вопросом: «Есть ли у тебя деньги на свечку?» – сейчас же вынимал из кармана монету и отдавал ее мужику, говоря: «На, поди, поставь свечку, кому ты желаешь, да сам поставь; это лучше, чем кто другой за тебя поставит». Гоголь торжествовал, что его цель была достигнута, и мужик подошел к алтарю, опередив все мундиры, стоящие перед амвоном. Ему только того и нужно было, чтобы мужик потерся своим зипуном о блестящие мундиры и попачкал их своей пыльцой.

Однажды Гоголь, недовольный пением дьячков, зашел на клирос и стал подпевать обедню, ясно произнося слова молитв, но священник, услышавший незнакомый ему голос, выглянул из алтаря и, увидев Гоголя, велел ему удалиться. Это страшно разобидело Гоголя, и он перестал ходить в церковь. Замечая его отсутствие за обедней, священник прочел ему нотацию и сказал, что если он и впредь не будет посещать храма божья, то наложит на него эпитимию. Но Гоголь этого не устрашился и по-прежнему на обедню не ходил. Эпитимию же он также не пожелал выполнять в церкви в присутствии всех молящихся и постоянно отзывался больным. За это ему в «поведении» была поставлена единица, и он над нею посмеялся в следующих словах: «Хорошо, что не двойка; единицу-то хоть можно принять за туза, а двойка так и останется двойкой».

Вообще Гоголь отличался всякими странностями, даже и в словах. На деле же он иногда превосходил самого себя. Забывая часто, что он человек, Гоголь, бывало, то кричит козлом, ходя у себя по комнате, то поет петухом среди ночи, то хрюкает свиньей, забравшись куда-нибудь в темный угол. И когда его спрашивали, почему он подражает крикам животных, то он отвечал, что «я предпочитаю быть один в обществе свиней, чем среди людей». Такое отрицание было у него к обмену мыслей между людьми. Так, он не любил нас, детей аристократов, будучи сам демократом.

Вообще Гоголь не любил подражать кому бы то ни было, ибо это была натура противоречий. Все, что казалось людям изящным, приличным, ему, напротив, представлялось безобразным, гривуазным. В обиходе своем он не любил симметрии, расставлял в комнате мебель не так, как у всех, напр., по стенам, у столов, а в углах и посредине комнаты; столы же ставил у печки и у кровати, точно в лазарете. Ходил он по улицам или по аллеям сада обыкновенно левой стороной, постоянно сталкиваясь с прохожими. Ему посылали вслед: «Невежа!» Но Гоголь обыкновенно этого не слышал, и всякие оскорбления для себя считал недосягаемыми,

говоря: «Грязное к чистому не пристанет. Вот если бы я вас мазнул чем-нибудь, ну, тогда было бы, пожалуй, чувствительно». Прогуливаясь как-то по аллеям лицейского сада левой стороной, Гоголь толкнул плечом одного из воспитанников, за что тот сказал ему: «Дурак!» – «Ну, ты умный, – ответил Гоголь, – и оба мы соврали». Вообще он, бывая в обществе, ходил с опущенной головой и ни на кого не глядел. Это придавало ему вид человека, глубоко занятого чем-нибудь, или сурового субъекта, пренебрегавшего всеми людьми. Но в общем он вовсе не был зол. Так, он никогда не мог пройти мимо нищего, чтобы не подать ему, что мог, и всегда говорил ему: «Извините», если нечего было вложить тому в руку.

Гоголь любил ботанику. И всегда, когда у него была свободная минута, он отправлялся в лицейский сад и там подолгу беседовал с садовником о предметах его задач. «Ты рассаживай деревья не по ранжиру, как войска в строю, один подле другого на рассчитанном расстоянии, а так, как сама природа это делает», – говорил он. И, взяв в руку несколько камешков, он бросал их на поляну, добавляя притом: «Вот тут и сажай деревцо, где камень упал».

Гоголь часто не договаривал того, что хотел сказать, опасаясь, что ему не поверят и что его истина останется непринятой. Из-за этого он получил прозвище «мертвой мысли», т. е. человека, с которым умрет все, что он создал, что думал, ибо он никогда не изрекал ни перед кем того, что мыслил. Скрытность эта сделала Гоголя застенчивым, молчаливым. Гоголь был молчалив даже в случаях его оскорбления. «Отвечать на оскорбление? – говорил он. – Да кто это может сказать, что я его принял? Я считаю себя выше всяких оскорблений, не считаю себя заслуживающим оскорбления, а потому и не принимаю его на себя». Замкнутость в нем доходила до высшей степени. Кто другой мог бы перенести столько насмешек, сколько переносил их от нас Гоголь? Безропотно он также переносил и все выговоры начальства, касавшиеся его неряшества. Например, ему многократно ставилась на вид его бесприческа. Растрепанность головы Гоголя вошла у нас в общую насмешку. Голова у него едва ли когда причесывалась им; волосы с нее падали ему на лицо нерасчесанными прядями. Стричься он также не любил часто, как этого требовало от нас школьное начальство. Вообще Гоголь шел наперекор всем стихиям. Заставить его сделать что-нибудь такое, что делали другие воспитанники, было никак нельзя. «Что я за попугай! – говорил он. – Я сам знаю, что мне нужно». Его оставляли в покое, «с предупреждением впредь этого не делать». Но он всегда делал так, как хотел.

Над чем другим Гоголь, может быть, и работал в школе наравне с нами, но над своей разговорной речью он поставил крест. И такое, бывало, словечко скажет, что над ним весь класс в голос рассмеется. Однажды

ему это было поставлено на вид одним из наших преподавателей, но Гоголь ему на это ответил: «А чем вы докажете, что я по-своему неправильно говорю?»

В. И. Любич-Романович по записи С. И. Глебова. Ист. Вестник, 1902, февр., 554–559.

Я был комнатным надзирателем при нежинском лицее, но главною моею обязанностью было говорить всегда со студентами по-французски, обучать их этому языку более практически. В числе студентов был и Гоголь. Он был очень ленив; плохо занимался по всем предметам, пренебрегал изучением языков, особенно по моему предмету учился плохо; поведения же он был прекрасного; смирнее его не было, хотя товарищи часто жаловались на него: он всех копировал, передразнивал, клеймил прозвищами; но характера был доброго и делал это не из желания обидеть, а так, по страсти… Гоголь любил страстно рисование, литературу, но было бы слишком смешно думать, что Гоголь будет Гоголем. Меня перевели в Одесский учебный округ, и я потерял из виду своих воспитанников… Слышу часто в разговорах; Гоголь, Гоголь… Странно, не может быть! Нет, фамилия знакома: один Гоголь был моим учеником. Я уверился, что Гоголь действительно кончил в нежинском лицее. Странно, право, странно!

П. (Перион?) по записи В. Негрескула. Биографич. заметки. Москов. ведомости, 1853, № 71, стр. 729.

В школе Гоголь мало выдавался, разве под конец, когда он был нашим редактором лицейского журнала. Сначала он писал стихи и думал, что поэзия его призвание. Мы выписывали с ним и с Прокоповичем журналы, альманахи. Он заботился всегда о своевременной высылке денег. Мы собирались втроем и читали «Онегина» Пушкина, который тогда выходил по главам. Гоголь уже тогда восхищался Пушкиным. Это была тогда еще контрабанда; для нашего профессора словесности Никольского даже Державин был новый человек. Гоголь отлично копировал Никольского. Вообще Гоголь удивительно воспроизводил те черты, которые мы не замечали, но которые были чрезвычайно характерны. Он был превосходный актер. Если бы он поступил на сцену, он был бы Щепкиным. В Нежине товарищи его любили, но называли: таинственный карла. Он относился к товарищам саркастически, любил посмеяться и давал прозвища. Сам он долго казался заурядным мальчиком. Он был болезненный ребенок. Лицо его было какое-то прозрачное. Он сильно страдал от золотухи; из ушей у него текло… Над ним много смеялись, трунили. Но перед окончанием курса его заметил и стал отличать профессор Белоусов, которого он, в свою очередь, весьма уважал и любил.

А. С. Данилевский по записи В. И. Шенрока. Материалы, I, 102.

В гимназии Гоголь был тем только и замечателен, что имел слишком остроконечную бороду, да еще, пожалуй, тем, что постоянно, бывало, ходит на Магерки. Магерки – это предместье Нежина. Гоголь имел там много знакомых между крестьянами. Когда у кого из них бывала свадьба или другое что или когда просто выгадывался погодливый праздничный день, то Гоголь уж непременно был там. Учился же Гоголь совсем не замечательно. От профессора русской словесности Никольского получал постоянно тройку. В сочинениях его по словесности бывала пропасть грамматических ошибок. Особенно плох был Гоголь по языкам. Классы языков составляли тогда у нас три особые, независимые от других классов отделения, которые студенты всех курсов проходили по мере успехов, Гоголь окончил курс гимназии, но по языкам не дошел до третьего отделения. Вообще Гоголь был самая обыкновенная посредственность, и никому из нас и в голову не приходило, чтобы он мог впоследствии прославиться на поприще русской литературы. Впрочем, Гоголь любил чтение книг и особенно любил самые книги. Не могу без смеха вспомнить одной странности Гоголева библиотекарства. У нас была своя, студенческая библиотека, мы выписывали сочинения Пушкина, «Московский Телеграф» и проч. Вот мы и избрали Гоголя библиотекарем: он был пансионер, жил в корпусе, ему было удобнее, никто другой не соглашался, а он изъявил полную готовность; вот и согласились, чтобы он смотрел за книгами. Очень он любил чистоту книг и для сохранения ее выдумал такое замысловатое средство. Наделает из бумаги пропасть сверточков, в виде наперстков, и предлагает студентам надевать на пальцы эти наконечники, чтобы при чтении и перелистывании книг не засаливать их пальцами. Студенты, конечно, не следовали этому совету, смеялись, да и только. Таков-то был этот Гоголь. Вот Кукольник – совсем иная статья. Пред Кукольником мы все благоговели. Он был, можно сказать, ученый студент. Он брал из основной библиотеки книги для чтения на языках французском, немецком, итальянском, что было для нас в настоящую диковинку. Словом, он стоял выше всех нас головою. Один Гоголь, эта, можно сказать, пешка, не хотел признавать достоинства Кукольника и называл его просто шарлатаном. Из-за этого я как-то чуть не поссорился с Гоголем. Начал он мне говорить против Кукольника разную чепуху, так я ему в ответ: «Ах ты, говорю, ничтожность этакая! Что ты значишь против Кукольника!» И таки порядочно его сконфузил.

Н. Ю. Артынов (товарищ Гоголя по гимназии) по записи Л. Мацеевича. Рус. Арх., 1877, III, 191.

Пытка в школе для Гоголя тянулась в продолжение всего времени, пока он оставался в Нежине. Благодаря его неряшливости мы все брезговали подавать ему руки при встрече в классах. Да и он сам, замечая это, не искал от нас доброго приветствия, стараясь всегда не замечать никого из нас. Он вечно оставался один. В конце концов мы даже перестали брать в руки и те книги в библиотеке, которые он держал в руках, боясь заразиться какой-нибудь нечистью. Доктора, однако, находили его вполне здоровым физически, хотя и признавали за ним золотушный недуг. И при этой-то болезни он еще постоянно сосал медовые пряники, ел сладости и пил грушевый квас, который был его любимым напитком. Гоголь и сам его приготовлял из моченых лесных груш или покупал его на городском базаре у баб-хохлушек, таких же неряшливых, как и он сам. Но его ничуть это не стесняло, и он с наслаждением поедал все, что приобретал тут, как съедобное. Привычка держать себя просто в отношении пищи у себя дома, в деревне, не покидала его и в Нежине, во время жизни среди людей, более его избалованных. Это все никогда в нас более ничего не вызывало, как лишь одно отвращение,

Таким образом, жизнь Гоголя в школе была, в сущности, адом для него. С одной стороны, он тяготился своим «хуторным происхождением» однодворца, с другой – физической неприглядностью. И над всем-то мы смеялись, и отрицали в нем всякое дарование и стремление к образованию, к наукам. Гоголь понимал это наше отношение к нему, как признак столичной кичливости детей аристократов, и потому сам знать нас не хотел. Он искал сближения лишь с людьми, себе равными, напр.: со своим «дядькою», прислугою вообще и с базарными торговцами на рынке Нежина – в особенности. Это сближение с людьми простыми, очевидно, давало ему своего рода наслаждение в жизни и вызывало поэтическое настроение. Так, по крайней мере, мы это замечали по тому, что он, после каждого такого нового знакомства, подолгу запирался в своей комнате и заносил на бумагу свои впечатления.

Было ли это все когда-либо предано гласности, сказать трудно. А те вирши, которые он писал здесь в стихах, не предавались Гоголем гласности. Правда, он присылал иногда свои стишки в наш школьный рукописный журнал «Навоз Парнасский», но им не давали в нем места... Однажды, впрочем, мы поместили в «Навозе Парнасском» одно небольшое стихотворение Гоголя из малороссийской жизни, на тему, «как жили в старину», но и то лишь потому, чтоб над ним потом посмеяться и отблагодарить его за эти вирши фунтом медовых пряников, которые он любил и которые были ему преподнесены через особую депутацию в одной из аудиторий, перед классными занятиями. Но на это Гоголь страшно рассердился и швырнул подарок чуть ли не в лицо депутатам, а потом, оставив класс, почти две недели не появлялся, под предлогом болезни.

Вообще Гоголь служил нам в школе объектом забавы, острот и насмешек, и это тянулось до тех пор, пока он пребывал в нашей среде… Мы в то время, когда знали Гоголя в школе, не только не могли подозревать в нем «великого», но даже не видели и малого. Хотя его школьные успехи шли наравне с нашими, но это еще не давало нам повода думать, что в нем обнаружится литературный талант. Этого не замечали также и наши учителя. То, что нам было известно из гоголевских литературных произведений, не внушало никакого доверия, что Гоголь когда-нибудь станет великим писателем.

В. И. Любич-Романович по записи С. И. Глебова. Ист. Вестн., 1902, февр., 550.

Еще мы знаем Гоголя в роли хранителя книг, которые выписывались им на общую складчину. Складчина была невелика, но тогдашние журналы и книги нетрудно было при малых средствах приобресть все, сколько их ни выходило. Важнейшую роль играли «Северные Цветы», издававшиеся бароном Дельвигом; потом следовали отдельно выходившие сочинения Пушкина и Жуковского, далее некоторые журналы. Книги выдавались библиотекарем для чтения по очереди. Получивший для прочтения книгу должен был в присутствии библиотекаря усесться чинно на скамейку в классной зале, на указанном ему месте, и не вставать с места до тех пор, пока не возвратит книги. Это мало: библиотекарь собственноручно завертывал в бумажки большой и указательный пальцы каждому читателю и тогда только вверял ему книгу. Гоголь берег книги, как драгоценность, и особенно любил миниатюрные издания. Страсть к ним до того развилась в нем, что, не любя и не зная математики, он выписал «Математическую Энциклопедию» Перевощикова на собственные свои деньги, за то только, что она издана была в шестнадцатую долю листа.

П. А. Кулиш, I, 28.

Учился Гоголь очень плохо, всегда и во всем был неопрятен и грязен, за что особенно не жаловали его преподаватели и репетиторы, на которых, впрочем, он обращал мало внимания… Наш товарищ П. Г. Редкин имел комнату у проф. Белоусова. По субботам, вечером, у него собирались некоторые из приятелей, пописывавшие стишки. Постоянными посетителями были – Гоголь, Кукольник, Константин Базили, Прокопович, Гребенка, я и другие. Происходило чтение наших произведений, критический разбор их и решения, годятся ли они для помещения в издававшемся нами рукописном журнале «Навоз Парнасский» или для блага автора должны быть преданы торжественному уничтожению. Некоторые из стихотворений Гоголя, в приятельской переделке Прокоповича, были помещены в этом журнале,

чему всегда радовался безгранично Гоголь. Первая прозаическая вещь Гоголя была написана в гимназии и прочитана публично на вечере Редкина. Называлась она «Братья Твердославичи, славянская повесть». Наш кружок разнес ее беспощадно и решил тотчас же предать уничтожению. Гоголь не противился и не возражал. Он совершенно спокойно разорвал свою рукопись на мелкие клочки и бросил в топившуюся печь. «В стихах упражняйся, – дружески посоветовал ему тогда Базили, – а прозой не пиши: очень уж глупо выходит у тебя. Беллетрист из тебя не вытанцуется, это сейчас видно». Но без приятельской поддержки Прокоповича и стихи Гоголя были бы негодны, так как он никогда не мог совладать с размером, с гармонией, а гоняясь за рифмами, так обезображивал всегда смысл своих творений, что даже всегда сдержанный Прокопович приходил в ужас.

В. И. Любич-Романович по записи М. В. Шевлякова. Ист. Вестн., 1892, дек., 695.

Возвратимся к устным преданиям соучеников Гоголя. Не ограничиваясь первыми успехами в стихотворстве, Гоголь захотел быть журналистом, и это звание стоило ему больших трудов. Нужно было написать самому статьи почти по всем отделам, потом переписать их и, что всего важнее, сделать обертку наподобие печатной. Гоголь хлопотал изо всех сил, чтобы придать своему изданию наружность печатной книги, и просиживал ночи, разрисовывая заглавный листок, на котором красовалось название журнала: «Звезда»[11]. Все это делалось украдкою от товарищей, которые не прежде должны были узнать содержание книжки, как по ее выходе из редакции. Наконец, первого числа месяца книжка выходила в свет. Издатель брал иногда на себя труд читать вслух свои и чужие статьи. Все внимало и восхищалось. В «Звезде», между прочим, была помещена повесть Гоголя «Братья Твердиславичи» (подражание повестям, появлявшимся в тогдашних альманахах) и разные его стихотворения. Все это написано было так называемым «высоким слогом», из-за которого бились и все сотрудники редактора. Гоголь был комиком во время своего ученичества только на деле: в литературе он считал комический элемент слишком низким. Но журнал его имеет происхождение комическое. Был в гимназии один ученик с необыкновенною страстью к стихотворству и с отсутствием всякого таланта – словом, маленький Тредьяковский. Гоголь собрал его стихи, придал им название «Альманаха» и издал под заглавием: «Парнасский Навоз». От этой шутки он перешел к серьезному подражанию журналам и работал над обертками очень усердно в течение полугода или более.

П. А. Кулиш, I, 26.

В тесной комнате П. Г. Редкина, в квартире гувернера Мышковского, надзору которого был он поручен, постоянно собирался кружок товарищей, журналистов, издателей рукописных журналов и альманахов для чтения и критической оценки заключавшихся в них статей. В этих ученических изданиях впервые началось литературное поприще Гоголя, Кукольника, Базили и др.

Н. В. Гербель. П. Г. Редкин. Биографический очерк. Гербель. 443.

В 1825, 26, 27 годах наш литературный кружок стал издавать свои журналы и альманахи, разумеется, рукописные. Вдвоем с Гоголем, лучшим моим приятелем, хотя и не обходилось дело без ссор и без драки, потому что оба были запальчивы, издавали мы ежемесячный журнал страниц в пятьдесят и шестьдесят в желтой обертке с виньетками нашего изделия, со всеми притязаниями дельного литературного обозрения. В нем были отделы беллетристики, разборы современных лучших произведений русской литературы, была и местная критика, в которой преимущественно Гоголь поднимал на смех наших преподавателей под вымышленными именами. Нестор Кукольник издавал также свой журнал, в котором помещал первые опыты своих драматических произведений. По воскресеньям собирался наш кружок, человек 15–20 старшего возраста, и читались наши труды, и шли толки и споры.

К. М. Базили. Воспоминания. В. И. Шенрок. Материалы, I, 250.

Литература процветала в гимназии, причем составлялись воспитанниками периодические тетради литературных попыток в подражание альманахам и журналам той поры. Базили издавал вместе с Гоголем «Северную Зарю», в желтой обертке с виньетками, которые сами они рисовали, и по воскресеньям это читалось в заседании всего литературного общества воспитанников.

И. Д. Халчинский. К. М. Базили. Биографический очерк. Гербель, 329.

Научное и литературное воспитание наше делалось, можно сказать, самоучкою… Профессор словесности Никольский о древних и о западных литературах не имел никакого понятия. В русской литературе он восхищался Херасковым и Сумароковым; Озерова, Батюшкова и Жуковского находил не довольно классическими, а язык и мысли Пушкина тривиальными, сознавая, впрочем, некоторую гармонию в его стихах. Шалуны товарищи в пятом и шестом классах, обязанные еженедельно данью стихотворения, переписывали, бывало, из журналов и альманахов мелкие стихотворения Пушкина, Языкова, кн. Вяземского и представляли профессору за свои, хорошо зная, что он современною

литературою вовсе не занимался. Профессор торжественно подвергал строгой критике стихотворения эти, изъявлял сожаление, что стих был гладок, а толку мало: «Ода не ода, – говорил он, – элегия не элегия, а черт знает что»; затем начинал поправлять. Помнится, и «Демон» Пушкина был переправлен и переделан на лад профессора нашего, к неописанному веселию всего класса. Презрение к новой литературе и происходившее отсюда невежество в этой области простирались у Никольского до того, что однажды он попал в очень забавный просак, подписав, после многих помарок, на поданном ему Гребенкою, впоследствии известным писателем, вместо своего стихотворении Козлова «Вечерний звон»: «Изряднехонько». Другой раз, подобным же образом введенный в обман, он одобрил описание весны из «Евгения Онегина», не подозревая, что стихотворение было написано глубоко презираемым им Пушкиным.

К. М. Базили. Воспоминания. В. И. Шенрок. Материалы, I, 91.

Проф. Н. П. Никольский заставлял учеников сочинять: это была его слабость, – и не только сочинять что-нибудь прозой, но даже и стихами. На одном уроке Гоголь подает ему стихотворение Пушкина – кажется, «Пророк». Никольский прочел, поморщился и, по привычке своей, начал переделывать. Когда пушкинский стих профессором был вконец изуродован и возвращен мнимому автору с внушением, что так плохо писать стыдно, Гоголь не выдержал и сказал: «Да ведь это не мои стихи-то». – «А чьи?» – «Пушкина. Я нарочно вам их подсунул, потому что никак и ничем вам не угодить, а вы вон даже и его переделали». – «Ну, что ты понимаешь! – воскликнул профессор. – Да разве Пушкин-то безграмотно не может писать? Вот тебе явное доказательство. Вникни-ка, у кого лучше вышло».

В. И. Любич-Романович по записи М. В. Шевлякова. Ист. Вестн., 1892, дек., 697.

Гоголь рассказывал, что в нежинском лицее был у них профессор греческого языка, грек (*П. Н. Иеропес*). Он читал студентам Гомера, которого никто из них не понимал. Прочитав несколько строк, он подносил два пальца ко рту, щелкнет и, отводя пальцы, говорит: «чудесно!» – с сильным греческим выговором. Потом, прочитав о каком-то сражении, он перевел греческий текст словами: «и они положили животики свои на ножики», и весь класс разразился громким смехом. Тогда профессор сказал: «По-русски это смешно, а по-гречески очень жалко».

Княжна В. Н. Репнина. О Гоголе. Рус. Арх., 1890, III, 229.

26 сентября (1827 г.) пополудни, в начале пятого часа, когда я и г. профессор Иеропес шли по коридору и, приметив какого-то ученика, по одному коридору бежавшего и за углы прятавшегося, мы желали узнать, кто таков оный ученик, но ученик тот с поспешностью бросился к дверям той залы, в котором учрежден театр, и, приклонившись к замку тех дверей, позвав кого-то изнутри и сказав довольно вслух: свой, был тотчас впущен в оную залу; после чего двери опять с поспешностью затворили и ключом изнутри заперли. Г-н Иеропес и я поспешили сами к тем дверям, чтоб узнать как причину сего, так и то, кто был тот ученик. Г. Иеропес сначала несколько раз требовал, чтобы двери отперли ему; наконец кто-то, подойдя изнутри к дверям, спрашивал: кто там? Г. Иеропес, полагая, что его по данному голосу узнают и отопрут двери, повторял только, чтобы ему отперли; но, получив в ответ несколько раз повторенных: кто ты? – сказал наконец: я – профессор Иеропес, после сего спрашивающий, как слышно было, с поспешностью отбежал от дверей; после чего произошло там шептание и приметная суета. Как и после сего по требованию г. Иеропеса не только не отперли ему двери, но сделалась в той зале чрезвычайная тишина, как будто бы там никого уже не стало, то мы решили попросить г. экзекутора, чтобы он приказал отпереть оную дверь. Когда же г. экзекутор, пришедши к тем дверям, в оные стучаться начал и кричать громко: «отворите!» – тогда уже дверь отперли. Вошедши мы все трое в оную залу, театром занятую, увидели одного только ученика Яновского (Гоголя). Я поспешил пойти далее и, заглянувши за кулисы, увидел там скрытно сидевшего воспитанника Маркова; затем пройдя далее и любопытствуя более, увидел позади сцены театра в маленькой комнатке еще трех пансионеров: двоих Пащенко и Гютена. Подошедши я к г. Иеропесу и г. экзекутору, обратился к пансионеру Яновскому и спрашивал его, зачем они таились здесь и не отворяли дверей, когда требовал сего г. проф. Иеропес; тогда Яновский, вместо должного вины своей сознания, начал с необыкновенною дерзостью отвечать мне свои разные суждения и при этом более, нежели сколько позволяют ученические границы благопристойности. Я, видя сильное его разгорячение и даже наглость в преследовании меня, я вместо наставлений, ему до сего деланных, начал уже просить его, чтобы он оставил меня; но он, как бы не слыша сего, с упорством до дверей и за двери преследуя меня с необыкновенною дерзостью, кричал против меня и сим возродил во мне сомнение, не разгорячен ли он каким-либо крепким напитком. Почему я, обратясь к г. экзекутору, сказал ему: да не пьян ли он? Г. экзекутор отвечал мне, что он не пьян; я же не мог иначе об нем заключить, видя его необыкновенную дерзость и странное его объяснение, притом же еще и потому, что я его, Яновского, давно уже знаю в сем заведении и никогда его так дерзким и нахальным не видал. После чего, расставаясь я с г. экзекутором, просил его объявить о сем, куда следует… В рассуждении

же дерзкого противу меня поступка, сделанного учеником Яновским, я его оставляю у себя на замечании впредь до его исправления.

Старший профессор, надворный советник Михаил Билевич. Рапорт в конференцию гимназии, 2 окт. 1827 г. Гоголевский сборник, 366–368.

Исправляющий д. директора, проф. К. В. Шапалинский, державший сторону Белоусова и крайне раздраженный непрерывными доносами Билевича, узнав о происшествии 26 сентября, немедленно, в восемь часов вечера, собрал чрезвычайное собрание конференции, пригласив и доктора Фиблига для удостоверения, действительно ли Гоголь был в нетрезвом виде.

Н. А. Лавровский. Гербель, 60.

На спрос о случившемся пансионеры, введенные поодиночке в конференцию, показали, что когда к ним в театр кто-то стучался, не объявляя своего имени, то они, думая, что это были вольноприходящие ученики, которые им часто мешали производить в театре работу, дверей не отворяли, а когда г. экзекутор, постучавши, объявил свое имя, то они дверь тотчас отперли; что г. профессор Билевич, вошедши к ним в театр с проф. Иеропесом и экзекутором Шишкиным, упрекал их, что они занимаются не своим делом и что они без надзирателя; когда же пансионер Яновский сказал, что они в театре находятся с позволения их начальства, и притом под наблюдением старшего, именно пансионера Маркова, а г. профессор Билевич напрасно хочет лишить их удовольствия заниматься приуготовлением театра, тогда он, г. Билевич, ему, Яновскому, сказал: ты пьян и потому так много говоришь. После такового показания пансионеров они по словесному поручению г. испр. д. директора были освидетельствованы от г. доктора медицины Фиблига и найдены не только трезвыми, но и без малейшего признака хмельных напитков.

Журнал экстренного собрания конференции гимназии, 26 сент. 1827 г. Гоголевский сборник, 370.

Может быть, мне целый век достанется отжить в Петербурге, по крайней мере, такую цель начертал я уже издавна. Еще с самых времен прошлых, с самых лет почти непонимания, я пламенел неугасимою ревностью сделать жизнь свою нужною для блага государства, я кипел принести хотя малейшую пользу... Я перебирал в уме все состояния, все должности в государстве и остановился на одном – на юстиции. Я видел, что здесь работы будет более всего, что здесь только я могу быть благодеянием, здесь только буду истинно полезен для человечества. Неправосудие, величайшее в свете несчастие, более всего разрывало мое

сердце. Я поклялся ни одной минуты короткой жизни своей не утерять, не сделав блага. Два года занимался я постоянно изучением прав других народов и естественных, как основных для всех, законов; теперь занимаюсь отечественным. Исполнятся ли высокие мои начертания? Или неизвестность зароет их в мрачной туче своей? В эти годы эти долговременные думы свои я затаил в себе. Не доверчивый ни к кому, скрытный, я никому не поверял своих тайных помышлений, не делал ничего, что бы могло выявить глубь души моей. Да кому бы я поверил и для чего бы высказал себя? Не для того ли, чтобы смеялись над моим сумасбродством, чтоб считали пылким мечтателем, пустым человеком? Никому, и даже из своих товарищей, я не открывался, хотя между ними было много истинно достойных.

Гоголь – П. П. Косяровскому, 3 окт. 1827 г., из Нежина. Письма, I, 89.

Когда я был в школе, и был юношей, я был очень самолюбив; мне хотелось смертельно знать, что обо мне говорят и думают другие. Мне казалось, что все то, что мне говорили, было не то, что обо мне думали. Я нарочно старался завести ссору с моим товарищем, и тот, натурально, в сердцах высказывал мне все то, что во мне было дурного. Мне этого было только и нужно; я уж бывал совершенно доволен, узнавши все о себе.

Гоголь – М. П. Балабиной, 7 ноября 1838 г., из Рима. Письма, I, 544.

У нас в Нежине так скучно стало, что не знаешь, куда деться. Сидишь целый день за книгой да зеваешь так жалко, что уши вянут. Теперь мне последний год, и тот уже ущербился; дела, однако ж, почти нет. Прошлый только год мне был самый крепкий; никогда его не забуду: было над чем трудиться! Теперь от занятий остается времени довольно: в это время я читаю «Bibliotheque des dames». Очень хорошее издание. Здесь найдете все. Я читаю путешествие во все страны.

Гоголь – П. П. Косяровскому, 3 окт. 1827 г., из Нежина. Письма, I, 91.

Когда выйдет новая книга, по названию многообещающая, то Никоша готов выписать ее из чужих краев, – что он и делал, будучи в Нежине, из выпрошенных у меня для платья денег; после признался мне, что когда он начитает о новой книге, то дрожит, как бы ее выписать скорее – и за это получил от меня реприманд. Я называю сию охоту страстью; хотя она и не постыдна, как карточная, но тоже может разорять… Человек, который был при нем в Нежине (род дядьки), говорил мне по секрету, что барин его не умеет беречь денег и себя же обижает, говоря, что когда я дам ему денег по праздникам на конфеты, до которых он большой охотник, то когда не успеет еще купить и встретится ему бедный, то так и

старается, как бы увильнуть от меня и отдать ему свои деньги, думая, что я не видал, но я всегда так и слежу за ним и когда другие дети едят лакомства, то я его спрашиваю: что же он не ест? – то он мне отвечает, что уже съел; но обманывает меня, старика, и заключает; не давайте ему денег, пропадут ни за что.

М. И. Гоголь – А. А. Трощинскому, 23 нояб. 1830 г. Рус. Стар., 1882, июнь, стр. 676.

Еще в раннем детстве Никоша был кумиром матери: по смерти мужа она перенесла на него всю нежность любящей души. Еще когда он учился в Нежине, письма его торжественно читались всей семьей и пересказывались родным и знакомым.

В. И. Шенрок. Материалы, I, 208.

Можно сказать вообще, что Гоголь мало вынес познаний из нежинской гимназии высших наук, а между тем он развился в ней необыкновенно. Он почти вовсе не занимался уроками. Обладая отличною памятью, он схватывал на лекциях верхушки и, занявшись перед экзаменом несколько дней, переходил в высший класс. Особенно не любил он математики. В языках он тоже был очень слаб, так что, до переезда в Петербург, едва ли мог понимать без пособия словаря книгу на французском языке. К немецкому и английскому языкам он и впоследствии долго еще питал комическое отвращение. Он шутя говаривал, что «не верит, что Шиллер и Гете писали на немецком языке: верно, на каком-нибудь особенном, но быть не может, чтобы на немецком». Зато в рисовании и в русской словесности он сделал большие успехи. В гимназии было тогда несколько хороших пейзажей, исторического стиля картин и портретов. Вслушиваясь в суждения о них учителя рисования К. С. Павлова, человека, необыкновенно преданного своему искусству, и будучи приготовлен к этому практически, Гоголь уже в школе получил основные понятия об изящных искусствах.

П. А. Кулиш, I, 21.

Жизнь в пансионе была привольная: дети пользовались хорошим помещением, большой свободой и могли даже устраивать сообща удовольствия, из которых на первом плане стоял, конечно, театр. Весною и осенью к их услугам был обширный лицейский сад, в котором они проводили большую часть внеклассного времени. При тогдашних ограниченных требованиях от учащихся на долю их выпадало немало досужих часов, да и самое приготовление к занятиям происходило у них нередко в саду, под обаятельным небом Украины. Иные из воспитанников умудрялись даже, забрав с собою необходимый

письменный материал, в виде карандашей и бумаги, обдумывать и отчасти набрасывать свои сочинения где-нибудь в саду на дереве.

А. С. Данилевский по записи В. И. Шенрока. Материалы, I, 102.

Соученики Гоголя сохранили о нем воспоминание, как о страшном неряхе. Он решительно пренебрегал тогда своею внешностью и принаряжался только дома, где, видно, были люди, на которых он особенно желал производить приятное впечатление.

П. А. Кулиш, I, 51.

Н. Д. Белозерский, посещая в Нежине бывшего инспектора гимназии кн. Безбородко, Белоусова, видел у него студента Гоголя, который был хорошо принят в доме своего начальника и часто приходил к его двоюродному брату, тоже студенту, Божко, для ученических занятий. Он описывает Гоголя в то время немножко сутуловатым, с походкою, которую всего лучше выражает слово петушком.

П. А. Кулиш, со слов Н. Д. Белозерского. Записки о жизни Гоголя, I, 100.

Я теперь совершенный затворник в своих занятиях. Целый день, с утра до вечера, ни одна праздная минута не прерывает моих глубоких занятий. О потерянном времени жалеть нечего. Нужно стараться вознаградить его, и в короткие эти полгода я хочу произвести, и произведу (я всегда достигал своих намерений), вдвое более, нежели во все время моего здесь пребывания, нежели в целые шесть лет. Мало я имею к тому пособий, особливо при большом недостатке в нашем состоянии. На первый только случай, к новому году только, мне нужно, по крайней мере, выслать 60 рублей на учебные для меня книги, при которых я еще буду терпеть недостаток; но при неусыпности, при моем железном терпении, я надеюсь положить с ними начало, по крайней мере, которого уже невозможно было бы сдвинуть, начало великого, предначертанного мною здания. Все это время я занимаюсь языками. Успех, слава богу, венчает мои ожидания. Но это еще ничто в сравнении с предполагаемым: в остальные полгода я положил себе за непременное – окончить совершенно изучение трех языков. Мне жалко, мне горестно только, что я принужден вас беспокоить, зная наше слишком небогатое состояние, моими просьбами о деньгах, и сердце мое разрывается, когда подумаю, что я буду иметь неприятную необходимость надоедать вам подобными просьбами чаще прежнего.

Гоголь – матери, 15 дек. 1827 г., из Нежина. Письма, I, 94.

Я получил в школе воспитание довольно плохое, а потому и немудрено, что мысль об ученье пришла мне в зрелом возрасте. Я начал с таких

первоначальных книг, что стыдился даже показывать и скрывал все свои занятия.

Гоголь. Авторская исповедь.

Я утерял целые шесть лет даром; нужно удивляться, что я в этом глупом заведении мог столько узнать еще. Кроме неискусных преподавателей наук, кроме великого нерадения и проч., здесь языкам совершенно не учат. Ежели я что знаю, то этим обязан совершенно одному себе. У меня не было других путеводителей, кроме меня самого; а можно ли самому, без помощи других, совершенствоваться? Но времени для меня впереди еще много; силы и старание имею. Мои труды, хотя я их теперь удвоил, мне не тягостны нимало; напротив, они не другим чем мне служат, как развлечением... Я больше испытал горя и нужд, нежели вы думаете; я нарочно старался у вас всегда, когда бывал дома, показывать рассеянность, своенравие и проч., чтобы вы думали, что я мало обтерся, что мало был прижимаем злом. Но вряд ли кто вынес столько неблагодарностей, несправедливостей, глупых, смешных притязаний, холодного презрения и проч. Все выносил я без упреков, без роптания, никто не слыхал моих жалоб, я даже всегда хвалил виновников моего горя. Правда, я почитаюсь загадкою для всех; никто не разгадал меня совершенно. У вас почитают меня своенравным, каким-то несносным педантом, думающим, что он умнее всех, что он создан на другой лад от людей. Верите ли, что я внутренне сам смеялся над собою вместе с вами? Здесь меня называют смиренником, идеалом кротости и терпения. В одном месте я самый тихий, скромный, учтивый, в другом угрюмый, задумчивый, неотесанный и проч., в третьем болтлив и докучлив до чрезвычайности, у иных умен, у других глуп. Только с настоящего моего поприща вы узнаете настоящий мой характер.

Гоголь – матери, 1 марта 1828 г., из Нежина. Письма, I, 97.

Как смотреть на этот отзыв Гоголя о гимназии? Нет сомнения, что весь он отличается крайним преувеличением, всеми признаками мрачного настроения духа, овладевшего Гоголем перед наступавшим экзаменом, когда приходилось сводить счеты за потерянное время, за небрежность и леность, ввиду возможной неудачи экзамена. Гимназия высших наук была не блестящим, но и никак не глупым заведением, с бесспорно даровитым и преданным своему делу педагогом (*И. С. Орлаем*) во главе, с наставниками, тоже не блестящими, но и не глупыми, такими, какие составляли большинство во всех тогдашних учебных заведениях, не исключая и университетов. Нет сомнения, что Гоголь, когда писал письмо, чувствовал сильную потребность оправдать себя перед матерью, оправдать сделанные им расходы из ее небольших средств, а для этого оправдания ему нужно было найти место, куда бы он мог сложить

безответственно собственные грехи, – и этим местом ему послужило заведение, в котором он воспитывался семь лет. Гоголь пишет, что он тратил деньги на учебные пособия, и в одном письме к матери просит ее выслать для этой цели 60 рублей. Учебные пособия были и даже, как уверяет Кукольник, первые источники; тратил же он деньги, по собственному признанию в других письмах, между прочим, на покупку литературных произведений. Гоголь пишет, что языкам в гимназии не учили, а между тем им учили. Кто хотел учиться, мог выучиться, особенно при некоторой доле самостоятельного труда. В месячных ведомостях надзиратели часто жалуются на небрежное отношение учеников к новым языкам. Так, в ведомости от 13 марта 1826 г. заявлено, что некоторые воспитанники или редко, или вовсе не ходят на уроки по языкам; в числе их поименован и Гоголь.

Н. А. Лавровский. Гербель, 54.

Сохранился список тем для письменных ответов на окончательном испытании в 1828 г., с обозначением против каждой темы фамилии студента, которому она досталась. Гоголю пришлось писать на следующую тему: «В какое время славяне делаются известными по истории, где, когда и какими деяниями они себя прославили до расселения своего и какое их было расселение». Письменного ответа не сохранилось.

Н. А. Лавровский. Гимназия высших наук. Изв. И. Ф. Инст. кн. Безбородко, том II, стр. 156.

Николай Гоголь-Яновский, коллежского асессора Василия Афанасьевича сын, поступивший 1 мая 1821 года в гимназию высших наук кн. Безбородко, окончил в оной полный курс учения в июне месяце 1828 г., при поведении очень хорошем, с следующими в науках успехами: в законе божьем с очень хорошими, в нравственной философии с очень хорошими, в логике с очень хорошими, в российской словесности с очень хорошими, в правах: римском с очень хорошими, в российском гражданском с очень хорошими, в уголовном с очень хорошими, в государственном хозяйстве с очень хорошими, в чистой математике с средственными, в физике и началах химии с хорошими, в естественной истории с превосходными, в технологии, в военных науках с очень хорошими, в географии и всеобщей и российской с хорошими, в истории всеобщей с очень хорошими, в языках: латинском с хорошими, в немецком с превосходными, в французском с очень хорошими, в греческом (нет отметки), и по окончательном испытании конференциею гимназии удостоен звания студента и г. министром утвержден в праве на чин 14-го класса, при вступлении в гражданскую службу, с освобождением его от испытания для производства в высшие чины, и

при вступлении в военную службу через шесть месяцев, в нижних званиях, на чин офицера, хотя бы в полку, в котором принят будет, на тот раз и вакансии не было. В засвидетельствование чего и дан ему, Гоголю-Яновскому, сей аттестат от конференции гимназии высших наук кн. Безбородко, за надлежащим подписанием и с приложением казенной печати. Нежин. 1829 г. Января 25 дня.

Аттестат об окончании курса. П. Кулиш. Записки, II, 277.

Окончив курс наук, Гоголь прежде всех товарищей своих, кажется, оделся в партикулярное платье. Как теперь вижу его, в светло-коричневом сюртуке, которого полы подбиты были какою-то красною материей в больших клетках. Такая подкладка почиталась тогда nec plus ultra молодого щегольства, и Гоголь, идучи по гимназии, беспрестанно обеими руками, как будто ненарочно, раскидывал полы сюртука, чтобы показать подкладку.

И. Г. Кулжинский. Воспоминания учителя. Москвитянин, 1854, № 21, стр. 5.

Гоголь окончил курс наук с правом на чин четырнадцатого класса (отличные воспитанники выпускались с правом на чин двенадцатого класса) и уехал на родину.

П. А. Кулиш. Записки о жизни Гоголя, I, 59.

Никоша мой уехал третьего дня в Кременчуг на ярмарку, чтобы купить там все дешевле в дом, для приезда благодетеля нашего (*Д. П. Трощинского*), который непременно будет со всеми 7 сентября и проживет в Васильевке дней три или четыре, а может быть и более, и я теперь хлопочу о помещении их в моей хижине.

М. И. Гоголь – П. Косяровскому, 29 авг. 1828 г. Рус. Стар., 1887, март, 682.

Никоша мой возвратился из Кременчуга и навез всего для угощения Дмитрия Прокофьевича, и он не будет, потому что нет возможности приехать по причине тесноты, а к нам теперь приехали Шамшевы, Иван Ефимович возвратился из Кибинец, также и Розянки приехали, и мне бы никак не возможно было поместить всех.

М. И. Гоголь – П. П. Косяровскому, 2 сент. 1828 г. Рус. Стар., 1887, март, 683.

Теперь у нас ярмонка, и хотя его высокопревосходительство (*Д. П. Трощинский*) не благоволил приехать, но мы провели время все-таки недурно, беспрестанно разъезжали по ярмонке и разорялися в пух… Я один промотал пару целковых, но она выгоднее всего была нашим дядям, потомучто все покупки шли им… Недавно только воротился из Кременчуга, где также была ярмонка и где более всего я промотался на вина и на закуски; но как теперь яресковских гостей (*Трощинского*) не было, то весь этот запас остался нам на все годовое продовольствие. В праздник храмовой нашей церкви мы пили винцо доброе…

Я еду в Петербург непременно в начале зимы, а оттуда бог знает, куда меня занесет; весьма может быть, что попаду в чужие края, что обо мне не будет ни слуху, ни духу несколько лет, и, признаюсь, меня самого не берет охота ворочаться когда-либо домой, особливо бывши несколько раз свидетель, как эта необыкновенная мать наша бьется, мучится, иногда даже об какой-нибудь копейке, как эти беспокойства убийственно разрушают ее здоровье, и все для того, чтобы доставить нужное нам и удовлетворить даже прихотям нашим. Как разрывалося у меня сердце, глядя на такие труды и вспоминая, что я сам часто употреблял во зло!.. Я с своей стороны все сделал, денег беру с собой немного, чтобы стало на проезд и на первое обзаведение; а для обеспечения ее состояния отказываюсь от своего наследия и теперь занимаюсь составлением дарственной записи, по которой часть имения, принадлежащего по завещанию мне, с домом, садом, лесом и прудами, оставляется матери моей в вечное владение[12]. Самое благоразумие этого требует: может быть, и весьма вероятно, что в самом деле я отлучусь, и слишком далеко (это и есть мое намерение), обо мне не будет и слуху, между тем уплывает десять лет, законная давность, – почему знать, каковы еще будут мои сестры! – может быть, жадные наследники не дадут ей и места, где бы приклонить голову.

Что касается до меня, ежели найду свое счастье, ежели приду в состояние помочь своим родственникам и сестрам, – приеду. Ежели нет потерплю нужду, а кого нужда не совершенствует и не делает богатым? Притом же до слишком большой нужды не доеду. Ежели для постоянного приобретения знаний не буду иметь всех способов, могу прибегнуть покуда к другому: вы еще не знаете всех моих достоинств. Я знаю кое-какие ремесла: хороший портной, недурно раскрашиваю стены альфрескою живописью, работаю на кухне и много кой-чего уж разумею из поваренного искусства; вы думаете, что я шучу, – спросите нарочно у маменьки. А что еще более, за что я всегда благодарю бога, это свою настойчивость и терпение, которыми я прежде мало обладал: теперь ничего из начатого мною я не оставлю, пока совершенно не окончу. Итак, хлеб у меня будет всегда.

Гоголь – дяде П. П. Косяровскому, 8 сент. 1828 г., из Васильевки. Письма, I, 104–106.

Погода прелестная; у нас все начало сентября было настоящее лето: в тени было 18 градусов теплоты; я, как добрый пес, вылеживался на солнце.

Гоголь – П. П. Косяровскому, 9 сент. 1828 г., из Васильевки. Письма, I, 108.

Помню Гоголя и молодым человеком, только что вышедшим из нежинского лицея. Он так же был серьезен, но только с более наблюдательным взглядом. Ехав в Петербург и прощаясь со мною, он удивил меня следующими словами: «Прощайте, Софья Васильевна! Вы, конечно, или ничего обо мне не услышите, или услышите что-нибудь весьма хорошее». Эта самоуверенность нас удивила в то время, как мы ничего особенного в нем не видели.

С. В. Скалон. Воспоминания. Ист. Вестник, 1891, май, 363.

Вчера я возвратилась из Кибинец, проводя моего Николеньку в С.-Петербург, и грущу, что в такой холод он едет в дороге. Благодетель наш (*Д. П. Трощинский*) приметно ослабевает: насилу мог написать письмо к своему другу Кутузову о моем сыне, в котором назвал его своим родственником и просил принять в свое покровительство. Будучи в Кибинцах 26-го, я просила благотворителя моего написать об Николеньке, полагая, что он вслед за письмом уедет, но по разным обстоятельствам ему надобно было остаться, да и дороги совсем не было. При мне получил Дмитрий Прокофьевич ответ на первое свое письмо по выезде уже Николеньки и дал мне прочесть… Благодарит за доставление случая сделать ему угодное и заключает письмо тем, что он с нетерпением ожидает Николая моего, которому хочет быть другом и путеводителем в его жизни… По милости благодетеля мой сын приедет в столицу не как бесприютный сирота, но как родственник будет принят в доме немаловажного человека.

М. И. Гоголь – П. П. Косяровскому, 16 декабря 1828 г. В. И. Шенрок. Материалы, I, 224.

III

Первые годы в Петербурге

Служба. Начало литературной деятельности

Гоголь и Данилевский решили вместе ехать в Петербург: Данилевский для поступления в школу гвардейских подпрапорщиков, Гоголь – на

государственную службу. Данилевский, как всегда, явился руководителем Гоголя в отношении путевых издержек, трудностей и хлопот. Было условлено, что он заедет за Гоголем из Толстого в Васильевку, откуда они должны были вместе двинуться в дальний путь. Дело было в декабре 1828 г. Для дороги был приготовлен поместительный экипаж, и после продолжительных проводов и напутствий Марьи Ивановны Гоголь кибитка двинулась.

Дорога лежала на Москву, но Гоголь ни за что не хотел проезжать через нее, чтобы не испортить впечатления первой торжественной минуты въезда в Петербург. Поэтому они поехали по белорусской дороге, на Нежин, Чернигов, Могилев, Витебск и т. д. В Нежине прожили несколько дней, повидались с некоторыми товарищами и, между прочим, с не успевшим выехать в Петербург же Прокоповичем. По мере приближения к Петербургу нетерпение и любопытство путников возрастало с каждым часом. Наконец издали показались бесчисленные огни, возвещавшие о приближении к столице. Дело было вечером. Обоими молодыми людьми овладел восторг: они позабыли о морозе, то и дело высовывались из экипажа и приподнимались на цыпочки, чтобы получше рассмотреть столицу. Гоголь совершенно не мог прийти в себя; он страшно волновался и за свое пылкое увлечение поплатился тем, что схватил насморк и легкую простуду. Но особенно обидная неприятность была для него в том, что он, отморозив нос, вынужден был первые дни просидеть дома. Он чуть не слег в постель, и Данилевский перепугался было за него, опасаясь, чтоб он не разболелся серьезно. От всего этого восторг быстро сменился совершенно противоположным настроением, особенно когда их стали беспокоить страшные петербургские цены и разные мелочные дрязги. На последней станции перед Петербургом наши путники прочли объявление, где можно остановиться, и выбрали дом Трута у Кокушкина моста, где и пришлось Гоголю проскучать несколько дней в одиночестве, пока Данилевский, оставив его одного, пустился странствовать по Петербургу. Неудивительно, что первые впечатления, вынесенные им из знакомства с Петербургом, были несравненно отраднее, нежели у Гоголя.

В. И. Шенрок со слов А. С. Данилевского. Материалы, I, 151.

По моем прибытии в столицу на меня напала хандра или другое подобное, и я уже около недели сижу, поджавши руки, и ничего не делаю. Не от неудач ли это, которые меня совершенно обравнодушили ко всему? Из числа их первая, что Лог. Ив. Кутузов (*сановник, к которому у Гоголя было рекомендательное письмо от Д. П. Трощинского*) был во все это время опасно болен, и я до сих пор не являлся. Теперь узнал я, что ему легче, и послезавтра предстану… Петербург мне показался вовсе не таким, как я думал. Я его воображал

гораздо красивее и великолепнее. Жить здесь не совсем по-свински, т. е. иметь раз в день щи да кашу, несравненно дороже, нежели мы думали. За квартиру мы (*с Данилевским*) платим восемьдесят рублей в месяц, за одни стены, дрова и воду. Она состоит из двух небольших комнат и права пользоваться на хозяйской кухне. Съестные припасы также недешевы, выключая одной только дичи (которая, разумеется, лакомство не для нашего брата). Это все заставляет меня жить, как в пустыне: я принужден отказаться от лучшего своего удовольствия – видеть театр. Если я пойду раз, то уже буду ходить часто, а это для меня накладно, т. е. для моего неплотного кармана. В одной дороге издержано мною триста с лишком, да здесь покупка фрака и панталон стоила мне двухсот, да сотня уехала на шляпу, на сапоги, перчатки, извозчиков и на прочие дрянные, но необходимые мелочи, да на переделку шинели и на покупку к ней воротника до 80 рублей.

Гоголь – матери, 3 янв. 1829 г., из Петербурга. Письма, I, 114.

Я получила от Николеньки моего два письма, как он приехал в Петербург; в первом он писал, что нашел Кутузова отчаянно больным, а в другом (*это другое письмо Гоголя до нас не дошло*) уже хвалился его ласками, по милости благодетеля нашего.

М. И. Гоголь – П. П. Косяровскому, 18 февр. 1829 г. В. Шенрок. Указатель к письмам Гоголя. М., 1886, стр. 44.

По словам А. С. Данилевского, Кутузов принял Гоголя очень хорошо, обласкал, сразу перешел с ним на «ты» и пригласил его часто бывать у себя запросто, хотя этим почти все и ограничилось.

В. И. Шенрок. Материалы, I, 179.

Трощинский дал Гоголю рекомендательное письмо к министру народного просвещения. Гоголь, Данилевский и И. Г. Пащенко остановились в скромной гостинице и заняли в ней одну комнату с передней. Живут приятели неделю, живут и другую, и Гоголь все собирался ехать с письмом к министру; собирался, откладывал со дня на день, так прошло шесть недель, и Гоголь не поехал… Письмо у него так и осталось.

Т. Г. Пащенко по записи В. Пашкова. Берег, 1880, № 268.

Тотчас по приезде в Петербург Гоголь, движимый потребностью видеть Пушкина, который занимал все его воображение еще на школьной скамье, прямо из дома отправился к нему. Чем ближе подходил он к квартире Пушкина, тем более овладевала им робость и наконец у самых

дверей квартиры развилась до того, что он убежал в кондитерскую и потребовал рюмку ликера. Подкрепленный им, он снова возвратился на приступ, смело позвонил и на вопрос свой: «дома ли хозяин?», услыхал ответ слуги: «почивают!» Было уже поздно на дворе. Гоголь с великим участием спросил: «Верно, всю ночь работал?» – «Как же, работал, – отвечал слуга, – в картишки играл». Гоголь признавался, что это был первый удар, нанесенный школьной идеализации его. Он иначе не представлял себе Пушкина до тех пор, как окруженного постоянно облаком вдохновения.

П. В. Анненков со слов Гоголя. Материалы для биографии Пушкина. Изд. 2-е, 1873, стр. 360.

Особенно потемнели у брата волосы после того, как он обрился в Петербурге. Существовало такое убеждение, что, кто из Малороссии приезжает в Петербург, на того вода петербургская так действует, что волосы вылезают. И брат, как приехал в Петербург, обрился. После того волосы у него потемнели. Ездил с ним лакей отсюда, он и тому советовал обриться, но лакей не послушался и лысым стал.

О. В. Гоголь-Головня по записи А. Мошина. Белоусов. Дорогие места, 31.

*(*Дм. Прок. Трощинский умер 22 февраля 1829 года.*)*

Мать рассказывала, когда Андрей Андреевич Трощинский получил наследство от Трощинского-министра, то мать его, Анна Матвеевна, говорила ему: «Ты получил громадное наследство, уступи Яреськи Машеньке (т. е. моей матери), как она тут росла». Он замолчал. Мать моя видела его неудовольствие, сказала тетке: «Зачем? Ему самому нужно». И он ни слова на это не сказал.

О. В. Гоголь-Головня, 123.

У Андрея Андреевича (*племянника и наследника Д. П. Трощинского*) внезапно обнаружилась гордость, чванство и небрежение к посетителям, и притом в большой степени в ястии и питии оказались весьма неприличные натяжки. И таким образом один из хлебосольнейших домов достался такому прокислоеду.

В. Я. Ломиковский – И. Р. Мартосу, I марта 1829 г. Киевская Старина, 1898, т. 62, стр. 117.

Гоголь боялся гласности и прокладывал себе дорогу к литературным успехам тайком даже от ближайших друзей своих. Он написал стихотворение «Италия» и отправил его incognito к издателю «Сына

Отечества». Стихи были напечатаны в № 12 «Сына Отечества и Северного Архива» 1829 года.

П. А. Кулиш. I, 65.

ПЕРВОЕ НАПЕЧАТАННОЕ

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ГОГОЛЯ

ИТАЛИЯ

Италия – роскошная страна!

По ней душа и стонет и тоскует;

Она вся рай, вся радости полна,

И в ней любовь роскошная веснует.

Бежит, шумит задумчиво волна

И берега чудесные целует;

В ней небеса прекрасные блестят;

Лимон горит, и веет аромат.

И всю страну объемлет вдохновенье;

На всем печать протекшего лежит;

И путник зреть великое творенье,

Сам пламенный, из снежных стран спешит,

Душа кипит, и весь он – умиленье,

В очах слеза невольная дрожит;

Он погружен в мечтательную думу,

Внимает дел давно минувших шуму.

Здесь низок мир холодной суеты,

Здесь гордый ум с природы глаз не сводит;

И радужной в сияньи красоты

И ярче, и ясней по небу солнце ходит,

И чудный шум, и чудные мечты

Здесь море вдруг спокойное наводит;

В нем облаков мелькает резвый ход,

Зеленый лес и синий неба свод.

А ночь, а ночь вся вдохновеньем дышит.

Как спит земля, красой упоена!

И страстно мирт над ней главой колышет.

Среди небес в сиянии луна

Глядит на мир, задумалась и слышит,

Как под веслом проговорит волна;

Как через сад октавы пронесутся,

Пленительно вдали звучат и льются.

Земля любви и море чарований!

Блистательный мирской пустыни сад!

Тот сад, где в облаке мечтаний

Еще живут Рафаэль и Торкват!

Узрю ль тебя я, полный ожиданий?

Душа в лучах, и думы говорят,

Меня влечет и жжет твое дыханье,

Я – в небесах весь звук и трепетанье!..

Без подписи. Сын Отечества и Северный Архив, т. II, 1829, №XII, стр. 301. Цензурное разрешение – 22 февраля 1829 г. Номер вышел в свет 23 марта.

Николенька мой о сю пору не определен на службу. Покойный благодетель наш, Дмитрий Прокофьевич, говорил мне, чтобы я не скучала его нескорым определением, потому что Кутузов выискивает для него хорошую и выгодную должность, что чрезвычайно трудно теперь на штатской службе, где совершенно набито людей. Я о сем писала Николе своему, чтобы он не наскучил Кутузову и положился бы с терпением на его старание, а он мне отвечает: «Вы мне советуете не беспокоить Логгина Ивановича моим определением; оно бы и хорошо, когда бы я мог ничего не есть, не нанимать квартиры и не изнашивать сапог, но так как я не имею сих талантов, т. е. жить воздухом, то и

скучаю своим бездействием, сидя в холодной комнате и имея величайшее несчастие просить у вас денег, знавши теперешние ваши обстоятельства». И я должна была опять занять и послать ему денег. Видно, он был в самом тревожном положении, что прибавил: «Недаром я не любил никаких протекций: без них давно бы я определился к месту». В конце письма несколько потешил меня, что надежда мелькнула ему, но что он не смеет еще предаваться ей, и жалеет, что не взялся за сие прежде, и через то много потерял, и я не знаю, что он под этим разумеет.

М. И. Гоголь – П. П. Косяровскому, 18 апр. 1829 г. В. И. Шенрок. Указатель к письмам Гоголя, 45.

Я переменил прежнюю свою квартиру… Я сильно нуждался в это время, но, впрочем, это все пустое. Что за беда – посидеть какую-нибудь неделю без обеда?.. Вы не поверите, как много в Петербурге издерживается денег. Несмотря на то что я отказываюсь почти от всех удовольствий, что уже не франчу платьем, как было дома, имею только пару чистого платья для праздника или для выхода и халат для будня, что я тоже обедаю и питаюсь не слишком роскошно, и, несмотря на это все, по расчету менее 120 рублей никогда мне не обходится в месяц. Как в этаком случае не приняться за ум, за вымысел, как бы добыть этих проклятых, подлых денег, которых хуже я ничего не знаю в мире. Вот я и решился… В следующем письме извещу вас о удачах или неудачах… Я живу на четвертом этаже (*на Б. Мещанской, в доме каретника Иохима*), но чувствую, что и здесь мне не очень выгодно. Когда еще стоял я вместе с Данилевским, тогда ничего, а теперь очень ощутительно для кармана: что тогда платили пополам, за то самое я плачу теперь один. Но, впрочем, мои работы повернулись, и я надеюсь в недолгом времени добыть же чего-нибудь… Проклятая болезнь, посетившая было меня при вскрытии Невы, помогла еще более истреблению денег.

Гоголь – матери, 30 апреля 1829 г., из Петербурга. Письма, I, 117–120 3.

У Гоголя была поэма «Ганц Кюхельгартен», написанная, как сказано на заглавном листке, в 1827 году. Не доверяя своим силам и боясь критики, Гоголь скрыл это раннее произведение свое под псевдонимом В. Алова. Он напечатал его на собственный счет, вслед за стихотворением «Италия», и роздал экземпляры книгопродавцам на комиссию. В это время он жил вместе со своим земляком и соучеником по гимназии, Н. Я. Прокоповичем, который поэтому-то и знал, откуда выпорхнул «Ганц Кюхельгартен». Для всех прочих знакомых Гоголя это оставалось непроницаемою тайною. Некоторые из них, – и в том числе П. А. Плетнев, которого Гоголь знал тогда еще только по имени, и М. П. Погодин, получили инкогнито по экземпляру его поэмы; но автор

никогда ни одним словом не дал им понять, от кого была прислана книжка.

П. А. Кулиш со слов Н. Я. Прокоповича. Записки, I, 66.

ЗАГЛАВНАЯ СТРАНИЦА

Ганц Кюхельгартен. Идиллия в картинах. Соч. В. Алова. (Писано в 1827 году.) Спб. 1829 г. В тип. А. Плюшара. (В 12 д. л., 71 стр.). Цензурное разрешение: «7 мая 1829 г.».

Предисловие

Предлагаемое сочинение никогда бы не увидело света, если бы обстоятельства, важные для одного только автора, не побудили его к тому. Это произведение его восемнадцатилетней юности. Не принимаясь судить ни о достоинствах, ни о недостатке его и предоставляя это просвещенной публике, скажем только то, что многие из картин сей идиллии, к сожалению, не уцелели; они, вероятно, связывали более ныне разрозненные отрывки и дорисовывали изображение главного характера. По крайней мере, мы гордимся тем, что по возможности споспешествовали свету ознакомиться с созданьем юного таланта.

Гоголь притаился за своим псевдонимом и ждал, что будут говорить о его поэме. Ожидания его оправдались. Знакомые молчали или отзывались о «Ганце» равнодушно, а между тем Н. А. Полевой прихлопнул ее в своем журнале насмешкою. Вот критика Полевого (*Московский Телеграф, 1826, № 12, июнь, стр. 515*):

Издатель сей книжки говорит, что сочинение г-на Алова не было предназначено для печати, но что важные для одного автора причины побудили его переменить свое намерение. Мы думаем, что еще важнейшие причины имел он не издавать своей идиллии. Достоинство следующих стихов укажет на одну из сих причин:

Мне лютые дела не новость;

Но демона отрекся я,

И остальная жизнь моя

Заплата малая моя

За остальную жизни повесть.

Заплатою таких стихов должно бы быть сбережение оных под спудом.

Гоголь бросился со своим слугою Якимом по книжным лавкам, отобрал у книгопродавцев экземпляры, нанял номер в гостинице (эта гостиница, по указанию Прокоповича, находилась в Вознесенской улице, на углу, у Вознесенского моста) и сжег все экземпляры до одного.

П. А. Кулиш. Записки о жизни Гоголя, I, 67.

В 1829 году, когда Яким Нимченко, слуга Гоголя, выехал с ним в Петербург, Якиму было лет 26. Он был при Гоголе лакеем и поваром, жил сначала один, потом с женою. Поварскому искусству учился в Орловской губернии, у помещика Филиппова, куда отдан был еще отцом Гоголя.

В. П. Горленко. Миргород и Яновщина. Рус. Арх., 1893, I, 303.

Гоголь был такой молчаливый и таинственный, что напечатал он в первый раз свое сочинение «Ганц Кюхельгартен или картины», принес ко мне на продажу и через неделю спросил, продаются ли. Я сказал, что нет, он забрал их – и только и видели; должно быть, печка поглотила и тем кончилось, что и теперь нигде нет этой книги и публика не знает и не видала его первого произведения.

Книгопродавец Лисенков – Криворотовым, 13 ноября 1850 г. Рус. Стар., 1898, июнь, 605.

Мне предлагают место с 1000 рублей жалования в год. Но за цену ли, едва могущую выкупить годовой наем квартиры и стола, мне должно продать свое здоровье и драгоценное время? и на совершенные пустяки, – на что это похоже? в день иметь свободного времени не более как два часа, а прочее все время не отходить от стола и переписывать старые бредни и глупости господ столоначальников и проч… Итак, я стою в раздумье на жизненном пути, ожидая решения еще некоторым моим ожиданиям. Может быть, на днях откроется место немного выгоднее и благороднее; но, признаюсь, ежели и там мне нужно будет употребить столько времени на глупые занятия, то я – слуга покорный. Наконец я принужден снова просить у вас, добрая, великодушная моя маменька, вспомоществования. Чувствую, что в это время это будет почти невозможно вам, но всеми силами постараюсь не докучать вам более. Дайте только мне еще несколько времени укорениться здесь: тогда надеюсь как-нибудь зажить своим состоянием. Денег мне необходимо нужно теперь триста рублей.

Гоголь – матери, 22 мая 1829 г., из Петербурга. Письма, I, 22.

Метаюсь во все стороны, как бы лучше устроить свои дела, но, кроме прибавления долгу, ничего не успеваю. В Опекунский совет в С.-Петербург послала 1450 рублей, заняла у Борковской, да продала медный куб из винокурни, а себе сделаю деревянный, и с казной разделалась за сей год, да Николеньке надобно послать сколько смогу; он еще не определился о сию пору; я часто от него получаю письма и ему пишу по нескольку листов морали.

Мар. Ив. Гоголь – П. П. Косяровскому, 23 июня 1829 г. Рус. Стар., 1887, март, 687.

Книжка «Московского Телеграфа» со строгой рецензией Полевого вышла в конце июня. Только в № 87 «Северной Пчелы» 1829 г., вышедшем 20 июля, появился новый отзыв о «Ганце Кюхельгартене», столь же неблагоприятный, как рецензия Полевого. «В сочинителе, – говорит отзыв, – заметно воображение и способность писать (со временем) хорошие стихи, ибо издатели говорят, что «это произведение его восемнадцатилетней юности»; но скажем откровенно: сии господа издатели напрасно «гордятся тем, что по возможности споспешествовали свету ознакомиться с созданием юного таланта». В «Ганце Кюхельгартене» столь много несообразностей, картины часто так чудовищны и авторская смелость в поэтических украшениях, в слоге и даже в стихосложении так безотчетлива, что свет ничего бы не потерял, когда бы сия первая попытка юного таланта залежалась под спудом. Не лучше ли б было дождаться от сочинителя чего-нибудь более зрелого, обдуманного и обработанного?» К этой рецензии присоединено известие, что «Ганц Кюхельгартен» продается во всех книжных лавках по 5 рублей. Это дополнительное извещение «Северной Пчелы» позволяет думать, что рецензия «Московского Телеграфа» не произвела на Гоголя такого сильного впечатления, какое приписывалось ей Кулишом («Прочитав рецензию Полевого, Гоголь тотчас собрал экземпляры и сжег все до одного»). Сожжение «Ганца Кюхельгартена», очевидно, совершилось после рецензии «Северной Пчелы», т. е. после 20 июля. Оно совпадает по времени с внезапным решением Гоголя ехать за границу, – решением, о котором он уведомил свою мать 24 июля. Одною из главных причин (если не главною) этой решимости был холодный прием, оказанный «Ганцу Кюхельгартену».

Н. С. Тихонравов. Сочинения Гоголя, изд. 10-е, V, 541.

Любезнейшая родительница! Руководствуясь чувствами сыновней к Вам любви, я ничем не могу доказать их более, как во время отсутствия моего утвердить благосостояние Ваше на прочном основании. По сему

единственно побуждению все недвижимое имение полтавской губернии в поветах: полтавском и миргородском в селе Васильевке, состоящее в крестьянах, пашенных и сенокосных землях, лесах и прочих угодьях, как из наследственного с сестрами моими имения по разделу между нами законным образом мне достанется, – я вверяю в полное и беспрекословное распоряжение Ваше, так точно, как бы вы распоряжались Вашею собственностью, представляя Вам право продавать и закладывать из оного часть или все вообще по усмотрению Вашему, в чем я Вам верю совершенно, и что Вы сходно с сею доверенностью сделаете, на все то я в полной мере согласен. Вам преданнейший сын, 14-го класса Николай Гоголь-Яновский. – Сия доверенность принадлежит родительнице моей, коллежской асессорше Марье Ивановне Гоголь-Яновской.

1829 года июля 23 дня сие письмо С.-Петербургской палаты, Гражданского Суда в I Департаменте чиновник 14-го класса Николай Гоголь-Яновский явил и лично на основ. указа 1765 г. объявил, что оное собственноручно им подписано и дано родительнице его колл. асессорше Марье Ивановне Гоголь-Яновской.

Доверенность, выданная Гоголем матери. Соч. Гоголя под ред. В. В. Каллаша. Изд. Брокгауз – Ефрон, т. IX, стр. 230.

Маменька! Не знаю, какие чувства будут волновать вас при чтении письма моего; но знаю только то, что вы не будете покойны. Говоря откровенно, кажется, еще ни одного вполне истинного утешения я не доставил вам. Простите, редкая, великодушная мать, еще доселе недостойному вас сыну… Я решился, в угодность вам больше, служить здесь во что бы ни стало; но богу не было этого угодно. Везде совершенно я встречал одни неудачи и, что всего страннее, там, где их вовсе нельзя было ожидать. Люди, совершенно неспособные, без всякой протекции, легко получали то, чего я, с помощью своих покровителей, не мог достигнуть. Наконец… какое ужасное наказание! Ядовитее и жесточе его для меня ничего не было в мире. Я не могу, я не в силах написать… Маменька, дражайшая маменька! Я знаю, вы одни истинный друг мне. Поверите ли? и теперь, когда мысли мои уж не тем заняты, и теперь, при напоминании, невыразимая тоска врезывается в сердце. Одним вам я только могу сказать… Вы знаете, что я был одарен твердостью, даже редкою в молодом человеке… Кто бы мог ожидать от меня подобной слабости? Но я видел ее… нет, не назову ее… она слишком высока для всякого, не только для меня. Я бы назвал ее ангелом, но это выражение – некстати для нее. – Это божество, но облеченное слегка в человеческие страсти. – Лицо, которого поразительное блистание в одно мгновение печатлеется в сердце; глаза, быстро пронзающие душу; но их сияния, жгучего, проходящего насквозь

всего, не вынесет ни один из человеков. О, если бы вы посмотрели на меня тогда!.. правда, я умел скрывать себя от всех, но укрылся ли от себя? Адская тоска, с возможными муками, кипела в груди моей. О, какое жестокое состояние! Мне кажется, если грешникам уготован ад, то он не так мучителен. Нет, это не любовь была… я, по крайней мере, не слыхал подобной любви. В порыве бешенства и ужаснейших душевных терзаний, я жаждал, кипел упиться одним только взглядом, только одного взгляда алкал я… Взглянуть на нее еще раз – вот бывало одно-единственное желание, возраставшее сильнее и сильнее, с невыразимою едкостью тоски. С ужасом осмотрелся и разглядел я свое ужасное состояние. Все совершенно в мире было для меня тогда чуждо, жизнь и смерть равно несносны, и душа не могла дать отчета в своих явлениях. Я увидел, что мне нужно бежать от самого себя, если я хотел сохранить жизнь, водворить хотя тень покоя в истерзанную душу. В умилении я признал невидимую десницу, пекущуюся о мне, и благословил так дивно назначаемый путь мне. Нет, это существо, которое он послал лишить меня покоя, расстроить шатко-созданный мир мой, не была женщина. Если бы она была женщина, она бы всею силою своих очарований не могла произвесть таких ужасных, невыразимых впечатлений. Это было божество, им созданное, часть его же самого. Но, ради бога, не спрашивайте ее имени. Она слишком высока, высока!

Итак я решился. Но к чему, как приступить? выезд за границу так труден, хлопот так много! Но лишь только я принялся, все, к удивлению моему, пошло как нельзя лучше; я даже легко получил пропуск. Одна остановка была наконец за деньгами. Здесь уже было я совсем отчаялся; но вдруг получаю следуемые в опекунский совет. Я сейчас отправился туда и узнал, сколько они могут нам дать просрочки на уплату процентов; узнал что просрочка длится на четыре месяца после сроку, с платою по пяти рублей от тысячи в каждый месяц штрафу. Стало быть, до самого ноября месяца будут ждать. Поступок решительный, безрассудный; но что же было мне делать?.. Все деньги, следуемые в опекунский совет, оставил я себе и теперь могу решительно сказать: больше от вас не потребую. Одни труды мои и собственное прилежание будут награждать меня. Что же касается до того, как вознаградить эту сумму, как внесть ее сполна, вы имеете полное право данною и прилагаемою мною при сем доверенностью продать следуемое мне имение, часть или все, заложить его, подарить и проч., и проч. Во всем оно зависит от вас совершенно. Не огорчайтесь, добрая, несравненная маменька! Этот перелом для меня необходим. Это училище непременно образует меня: я имею дурной характер, испорченный и избалованный нрав (в этом признаюсь я от чистого сердца); лень и безжизненное для меня здесь пребывание непременно упрочили бы мне их на век. Нет, мне нужно переделать себя, переродиться, оживиться новою жизнью, расцвесть силою души в вечном труде и деятельности, и если я не могу

быть счастлив (нет, я никогда не буду счастлив для себя: это божественное существо вырвало покой из груди моей и удалилось от меня), по крайней мере, всю жизнь посвящу для счастия и блага себе подобных.

Но не ужасайтесь разлуки, я недалеко поеду: путь мой теперь лежит в Любек. Это большой приморский город Германии, известный торговыми своими сношениями всему миру, – расстоянием от Петербурга на четыре дня езды. Я еду на пароходе и потому времени употреблю еще менее.

Прошу вас покорнейше, если случатся деньги когда-нибудь, выслать Данилевскому сто рублей. Я у него взял шубу на дорогу себе, также несколько белья, чтобы не нуждаться в чем.

Гоголь – матери, 24 июля 1829 года, из Петербурга. Письма, I, 123.

Ссылаясь на пламенную страсть к какой-то неизвестной особе, как на причину своей странной поездки, Гоголь, по всей вероятности, лукавил: ни Данилевский, ни другие товарищи не видели в нем никаких следов романтических увлечений и вообще никакой нравственной перемены. Никогда и впоследствии никому не обмолвился Гоголь об этой страсти, существовавшей в его воображении. Правда, Гоголь был весьма скрытен по природе, но, сколько ни припоминал А. С. Данилевский, – все его душевное состояние и самое поведение, в то время нисколько не подтверждали это невероятное сообщение.

В. И. Шенрок. Материалы, I, 182.

Терпел я порядочную бурю на корабле, во время которой, к собственному удивлению моему, и мысль о страхе не закрадывалась в мою душу; чувствовал только дурноту, – неминуемое следствие качки. После двухдневного плавания, не видя ничего, кроме моря и неба, прибыли мы к берегам Швеции, где увидел я несколько странного вида разбросанных хижин. Вид острова Борнгольма, с его дикими, обнаженными скалами и вместе цветущею зеленью долин и красивыми домиками, восхитителен. Из острова Борнгольма мы прямо пристали через четыре дня и вышли на берег Дании.

Гоголь – матери. Письма, I, 140.

Сегодня поутру, часа в три, прибыл я в Любек. Шесть дней плыл я водою: это случилось оттого, что ветер в продолжение всего этого времени не был для нас попутный. Теперь только, когда я, находясь один посреди необозримых волн, узнал, что значит разлука с вами, моя

неоцененная маменька, в эти торжественные, ужасные часы моей жизни, когда я бежал от самого себя, что принужден был повиноваться воле того, который управляет нами свыше. Нет, я не могу расстаться с вами, великодушный друг, ангель-хранитель мой! Как! за эти бесчисленные благодеяния, за эту ничем неотплатимую любовь я должен причинять вам новые огорчения! Я должен, вместо радости и счастливого спокойствия, исполнить жизнь вашу горькими минутами! О, это ужасно! Эта раздирает мое сердце. Простите, милая, великодушная маменька, простите своему несчастному сыну, который одного только желал бы ныне – повергнуться в объятия ваши и излить перед вами изрытую и опустошенную бурями душу свою, рассказать всю тяжкую повесть свою. Часто я думаю о себе: зачем бог, создав сердце, может, единственное, по крайней мере редкое в мире, чистую, пламенеющую жаркою любовью ко всему высокому и прекрасному, душу, зачем он дал всему этому такую грубую оболочку? зачем он одел все это в такую страшную смесь противоречий, упрямства, дерзкой самонадеянности и самого униженного смирения? Но мой бренный разум не в силах постичь великих определений всевышнего.

Ради бога, об одном прошу вас только: не думайте, чтобы разлука наша была долговременна. Я здесь не намерен долго пробыть, несмотря на то, что здешняя жизнь сноснее и дешевле петербургской. Я, кажется, и забыл объявить вам главной причины, заставившей меня именно ехать в Любек. Во все почти время весны и лета в Петербурге я был болен; теперь хотя и здоров, но у меня высыпала по всему лицу и рукам большая сыпь. Доктора сказали, что это следствие золотухи, что у меня кровь крепко испорчена, что мне нужно было принимать кровоочистительный декокт, и присудили пользоваться водами в Травемунде, в небольшом городке, в восемнадцати верстах от Любека. Для пользования мне нужно пробыть не более двух недель. Если вы хотите, то вам стоит только приказать мне оставить Любек, и я его оставлю немедленно. Я в Петербурге могу иметь должность, которую и прежде хотел, но какие-то глупые людские предубеждения и предрассудки меня останавливали. Имением, сделайте милость, располагайте, как хотите. Продайте, ради бога, продайте или заложите хоть и все. Я слово дал, что более не потребую от вас и не стану разорять вас так бессовестно. Должность, о которой я говорил вам, не только доставит мне годовое содержание, но даже возможность доставлять и вам вспоможения в ваших великодушных попечениях и заботах.

Гоголь – матери, 13 авг. (по нов. ст.) 1829 г., из Любека. Письма, I, 129.

Время, здесь проведенное, было бы для меня очень приятно, если бы я только так же был здоров душою, как теперь телом. В Травемунде я нахожусь два дня и завтра снова отправляюсь в Любек.

Гоголь – матери, 25 авг. (по нов. ст.), из Травемунда. Письма, I, 135.

С ужасом читал я письмо ваше, пущенное шестого сентября. Я всего ожидал от вас: заслуженных упреков, которые еще для меня слишком милостивы, справедливого негодования и всего, что только мог вызвать на меня безрассудный поступок мой; но этого я никогда не мог ожидать. Как вы могли, маменька, подумать даже, что я – добыча разврата, что нахожусь на последней ступени унижения человечества! наконец решились приписать мне болезнь, при мысли о которой всегда трепетали от ужаса даже самые мысли мои! Как вы могли подумать, чтобы сын таких ангелов-родителей мог быть чудовищем, в котором не осталось ни одной черты добродетели! Нет, этого не может быть в природе. Вот вам мое признание, одни только гордые помыслы юности, проистекавшие, однако ж, из чистого источника, из одного только пламенного желания быть полезным, не будучи умеряемы благоразумием, завлекли меня слишком далеко. Но я готов дать ответ перед лицом бога, если я учинил хоть один развратный подвиг, и нравственность моя здесь была несравненно чище, нежели в бытность мою в заведении и дома. И что касается до пьянства, я никогда не имел этой привычки. Дома я пил еще вино; здесь же не помню, чтобы употреблял его когда-либо. Но я не могу никаким образом понять, из чего вы заключили, что я должен быть болен непременно этою болезнью. В письме моем я ничего, кажется, не сказал такого, что могло бы именно означить эту самую болезнь. Мне кажется, я вам писал про мою грудную болезнь, от которой я насилу мог дышать, которая, к счастию, теперь меня оставила[13]. Ах, если бы вы знали ужасное мое положение! Ни одной ночи я не спал спокойно, ни один сон мой не наполнен был сладкими мечтами. Везде носились передо мною бедствия и печали, и беспокойства, в которые я ввергнул вас. Простите, простите несчастную причину вашего несчастия.

Гоголь – матери. Письма, I, 136.

Гоголь, перед отъездом за границу, квартировал с Н. Я. Прокоповичем. Они не вели в отсутствие Гоголя переписки, и Прокопович воображал его странствующим бог знает где. Каково же было его удивление, когда, возвращаясь однажды вечером (22 сентября) от знакомого, он встретил Якима, идущего с салфеткою к булочнику, и узнал, что у них «есть гости!». Когда он вошел в комнату, Гоголь сидел, облокотясь на стол и закрыв лицо руками. Расспрашивать, как и что, было бы напрасно, и таким образом обстоятельства, сопровождавшие фантастическое путешествие, как и многое в жизни Гоголя, остались для него тайною.

П. А. Кулиш со слов Н. Я. Прокоповича. Записки о жизни Гоголя, I, 82.

Не менее удивлен был и А. С. Данилевский, когда он, входя к Прокоповичу, услышал звуки хорошо знакомого голоса. Хотя, по собственным словам его, он совершенно не верил в серьезность плана, составленного Гоголем, и предвидел его скорое возвращение, но все-таки никак не ожидал, что это случится так быстро.

В. И. Шенрок со слов А. С. Данилевского. Материалы. I, 187.

По свидетельству А. С. Данилевского, во время своей первой заграничной поездки Гоголь накупил множество разных небольших, но чрезвычайно изящных и красивых вещей, которые особенно пришлись ему по вкусу.

В. И. Шенрок. Материалы. II, 84.

А. А. Трощинский заплатил в банк весь долг, лежавший на Марье Ивановне (*Гоголь*) под залог всего имения. Марья Ивановна весьма ошиблась заключениями своими о гениальном муже, сыне ее Никоше; он был выпущен из нежинского училища, нигде не хотел служить, как в одном из министерств, и отправился в столицу с великими намерениями и вообще с общеполезными предприятиями: во-первых, сообщить матушке не менее 6000 р. денег, кои он имеет получить за свои трагедии; во-вторых – исходатайствовать Малороссии увольнение от всех податей. Таковые способности восхищали матушку, и она находит любимый разговор свой рассказами о необыкновенных дарованиях Никоши. Едва Никоша прибыл в столицу, как начал просить у матушки денег, коих она переслала выше состояния, наконец она, думаю, не без помощи А. А., собрала 1800 р. для заплаты процентов в банк; для исполнения сего вернее человека не могла найти матушка, как сына своего, и тем вернее было сие, что сыново же имение находится под залогом. Гений Никоша, получив такой куш, зело возрадовался и поехал с сими деньгами вояжировать за границу, но, увидевши границу, издержал все деньги и возвратился опять в столицу. Но чтобы матушка не была в убытке, то он дал ей письменное позволение пользоваться его доходами с имения, а в том имении оказалось великое изобилие в снеговых слоях и глыбах. А. А., будучи еще в Кибинцах, узнав о таковых подвигах Никоши, сказал: «Мерзавец! Не будет с него добра!» И пошло бы имение в публичную продажу с пятью дочками, но теперь, как сказано выше, долг заплачен.

В. Я. Ломиковский – И. Р. Мартосу, 9 января 1830 г. Киевская Старина, 1898, т. 62, стр. 122–123.

Не снискав известности на поприще литературном, Гоголь обратился к театру. Успехи его на гимназической сцене внушали ему надежду, что здесь он будет в своей стихии. Он изъявил желание вступить в число актеров и подвергнуться испытанию. Неизвестно, какую роль должен был он играть на пробном представлении, только игру его забраковали начисто, и я не знаю, приписать ли это робости молодого человека, не видавшего света. Как бы то ни было, но Гоголь должен был отказаться от театра после первой неудачной репетиции. Проба комического его таланта происходила в кабинете директора театров, князя С. С. Гагарина, в присутствии актеров В. А. Каратыгина и Брянского.

П. А. Кулиш, I, 74.

В одно утро 1830 или 1831 года (хорошо не помню) мне доложили, что кто-то желает меня видеть. В то время я занимал должность секретаря при директоре императорских театров, князе Гагарине, который жил тогда на Английской набережной. Приказав дежурному капельдинеру просить пришедшего, я увидал молодого человека весьма непривлекательной наружности, с подвязанною черным платком щекою, и в костюме хотя приличном, но далеко не изящном. Молодой человек поклонился как-то неловко и довольно робко сказал мне, что желает быть представленным директору театров. «Позвольте узнать вашу фамилию?» – спросил я. – «Гоголь-Яновский». – «Вы имеете к князю какую-нибудь просьбу?» – «Да, я желаю поступить в театр». Я попросил его сесть и обождать.

Было довольно рано; князь еще одевался. Гоголь сел у окна, облокотился на него рукою и стал смотреть на Неву. Он часто морщился, прикладывая другую руку к щеке, и мне казалось, что у него болят зубы. «У вас, кажется, болит зуб? – спросил я. – Не хотите ли одеколону?» – «Благодарю, это пройдет так». Помолчав с полчаса, он спросил: «А скоро ли я смогу видеть князя?» – «Полагаю, что скоро; он еще не одевался». Гоголь замолчал и опять глядел на Неву, барабаня пальцами по стеклу. Вышел чиновник Крутицкий; попросил его узнать, оделся ли князь. Через минуту он вернулся и сказал, что князь уже в кабинете. Доложив директору, что какой-то Гоголь-Яновский пришел просить об определении его к театру, я ввел Гоголя в кабинет к князю. «Что вам угодно?» – спросил его князь. Князь Гагарин, человек в высшей степени добрый, благородный и приветливый, имел наружность довольно строгую и даже суровую и тому, кто не знал его близко, внушал всегда какую-то робость. Вероятно, такое же впечатление произвел он и на Гоголя, который, вертя в руках шляпу, запинаясь, отвечал: «Я желал бы поступить на сцену и просить ваше сиятельство о принятии меня в число актеров русской труппы». – «Ваша фамилия?» – «Гоголь-Яновский». – «Из какого звания?» – «Дворянин». – «Что же побуждает вас идти на

сцену? Как дворянин, вы могли бы служить». Между тем Гоголь имел время оправиться и отвечал уже не с прежнею робостью. «Я человек небогатый, служба вряд ли может обеспечить меня, мне кажется, что я не гожусь для нее, к тому же я чувствую призвание к театру». – «Играли вы когда-нибудь?» – «Никогда, ваше сиятельство». – «Не думайте, чтоб актером мог быть всякий: для этого нужен талант». – «Может быть, во мне какой-нибудь талант». – «Может быть! На какое же амплуа думаете вы поступить?» – «Я сам этого теперь еще хорошо не знаю; но полагал бы – на драматические роли». Князь окинул его глазами и с усмешкой сказал: «Ну, г. Гоголь, я думаю, что для вас была бы приличнее комедия; впрочем, это ваше дело». Потом, обратясь ко мне, прибавил: «Дайте г. Гоголю записку к Александру Ивановичу, чтобы он испытал его и доложил мне». Князь поклонился, и мы вышли. В то время инспектором русской труппы был известный любитель театра А. Ив. Храповицкий. Он был человек очень добрый, но принадлежал к старой классической школе. Он сам часто играл в домашних спектаклях вместе с знаменитой Е. С. Семеновой (кн. Гагариной), считал себя великим знатоком и был убежден, что для истинного трагического актера необходимы: протяжное чтение стихов, декламация, дикие завывания и неизбежные всхлипывания, или, как тогда выражались, драматическая икота. К этому-то великому знатоку драматического искусства адресовал я Гоголя. Храповицкий назначил день испытания, кажется, в Большом театре, утром, в репетиционное время. Там заставил он читать Гоголя монологи из «Дмитрия Донского», «Гофолии» и «Андромахи», перевода графа Хвостова. Я не присутствовал при этом испытании, но потом слышал, помнится мне, от М. А. Азаревичевой, И. П. Борецкого и режиссера Боченкова, а также, кажется, и от П. А. Каратыгина, что Гоголь читал просто, без всякой декламации, но как чтение это происходило в присутствии некоторых артистов и Гоголь, не зная на память ни одной тирады, читал по тетрадке, то сильно сконфузился и, действительно, читал робко, вяло и с беспрестанными остановками. Разумеется, такое чтение не понравилось и не могло нравиться Храповицкому, истому поклоннику всякого рода завываний и драматической икоты. Он, как мне сказывали, морщился, делал нетерпеливые жесты и, не дав Гоголю кончить монолог Ореста из «Андромахи», с которым Гоголь никак не мог сладить, вероятно, потому, что не постигал всей прелести стихов Хвостова, предложил ему прочитать сцену из комедии «Школа стариков», но и тут остался совершенно недоволен. Результатом этого испытания было то, что Храповицкий запискою донес кн. Гагарину, что на испытании Гоголь-Яновский «оказался совершенно неспособным не только в трагедии или в драме, но даже в комедии; что он, не имея никакого понятия о декламации», даже и по тетради читал очень плохо и нетвердо, что фигура его совершенно неприлична для сцены, и в особенности для трагедии, что он не признает в нем решительно

никаких способностей для театра и что если его сиятельству угодно будет оказать Гоголю милость принятием его на службу к театру, то его можно было бы употребить разве только на выход. Гоголь, вероятно, сам чувствовал неуспех своего испытания и не являлся за ответом; тем дело и кончилось.

Н. П. Мундт (секретарь при директоре театров). С.-Петербургские Ведомости, 1861, № 235. Перепечат. Радуга, 1886, № 19.

В конце 1829 или 1830 г., хорошо не помню, один из наших журналистов (*сам Булгарин*) сидел утром за литературною работою, когда вдруг зазвенел в передней колокольчик и в комнату вошел молодой человек, белокурый, низкого роста, расшаркался и подал журналисту бумагу. Журналист, попросив посетителя присесть, стал читать поданную ему бумагу – это были похвальные стихи, в которых журналиста сравнивали с Вальтер Скоттом, Адиссоном и т. д. Разумеется, что журналист поблагодарил посетителя, автора стихов, за лестное об нем мнение, и спросил, чем он может ему служить. Тут посетитель рассказал, что он прибыл в столицу из учебного заведения искать места и не знает, к кому обратиться с просьбою. Журналист просил посетителя прийти через два дня, обещая в это время похлопотать у людей, которые могут определять на места. Журналист в тот же день пошел к М. Я. фон-Фоку, управляющему III Отделением собств. канцелярии его имп. величества, рассказал о несчастном положении молодого человека и усердно просил спасти его и пристроить к месту, потому что молодой человек оказался близким к отчаянию. М. Я. фон-Фок охотно согласился помочь приезжему из провинции и дал место Гоголю в канцелярии III Отделения. Не помню, сколько времени прослужил Гоголь в этой канцелярии, в которую он являлся только за получением жалованья; но знаю, что какой-то приятель Гоголя принес в канцелярию просьбу об отставке и взял обратно его бумаги. Сам же Гоголь исчез куда неизвестно! У журналиста до сих пор хранятся похвальные стихи Гоголя и два его письма (о содержании которых почитаю излишним извещать); но более Гоголь журналиста не навещал!

Ф. В. Булгарин. Северная Пчела, 1854, № 175, стр. 829.

Гоголь в первое свое пребывание в Петербурге обратился ко мне, через меня получил казенное место с жалованьем и в честь мою писал стихи, которые мне стыдно даже объявлять.

Ф. В. Булгарин – неизвестному, 21 марта 1852 г. Киевская Старина, 1893, май, 321.

Ради бога, не беспокойтесь об моей участи. Я познаю теперь невидимую руку всевышнего, меня охраняющую: он послал мне ангела-спасителя в

лице нашего благодетеля, его превосходительства Андрея Андреевича (*Трощинского*), который сделал для меня все то, что может только один отец для своего сына; его благодеяния и драгоценные советы навеки запечатлеются в моем сердце. В скором времени я надеюсь определиться в службу. Тогда с обновленными силами примусь я за труд и посвящу ему всю жизнь свою. Может быть богу будет угодно даровать мне возможность загладить со временем мой безрассудный поступок и хотя несколько приблизиться к высоким качествам души нашего благодетеля, ангела между людей.

Гоголь – матери, 27 окт. 1829 г., из Петербурга. Письма, I, 138.

Не отвечал я так долго потому, что вручил незадолго пред сим одно письмо Андрею Андреевичу, по его требованию, в собственные его руки незапечатанное; следовательно, вы не подивитесь, если я в нем немного польстил ему. Впрочем, он, точно, для меня много сделал: по его милости я теперь имею теплое на зиму платье, также заплатил должные мною за квартиру. Я надеюсь получить довольно порядочное место в министерстве внутренних дел; но жалованья не могу получить раньше, как через два месяца. Нечего делать, нужно будет прибегнуть снова к Андрею Андреевичу, хотя он и слишком много издержался в Петербурге. Однако ж все-таки где-нибудь достану триста рублей, а перед вами сдержу свое слово. Боже сохрани, чтобы я осмелился просить у вас, а особливо еще в нынешнее время!

Гоголь – матери, 12 ноября 1829 г., из Петербурга. Письма, I, 139.

Не имея ни призвания, ни охоты к службе. Гоголь тяготился ею, скучал и потому часто пропускал служебные дни, в которые он занимался на квартире литературою. Вот после двух-трех дней пропуска является он в департамент, и секретарь или начальник отделения делают ему замечания: «Так служить нельзя, Николай Васильевич, службой надо заниматься серьезно». Гоголь вынимает из кармана загодя приготовленное на высочайшее имя прошение об увольнении от службы и подает. Увольняется и определяется несколько раз.

Т. Г. Пащенко по записи В. Пашкова. Берег, 1880, № 268.

Холодно и безжизненно встретил я новый год. Наступление его всегда было торжественною минутою для меня. Каков-то будет для меня этот год? Чувства мои не переменятся.

Гоголь – матери, 1 янв. 1830 г., из Петербурга. Письма, I, 141.

Месяц назад я был нездоров, но теперь поправился, слава богу. Снова хожу каждый день в должность и в силу, в силу перебиваюсь. Еще недавно взял у Андрея Андреевича сто пятьдесят рублей на обмундировку. Думал, что останется что-нибудь в присоединение к моему содержанию; напротив, еще должен прибавить. Жалованья получаю сущую безделицу. Весь мой доход состоит в том, что иногда напишу или переведу какую-нибудь статейку для гг. журналистов, и потому вы не сердитесь, моя великодушная маменька, если я вас часто беспокою просьбою доставлять мне сведения о Малороссии или что-нибудь подобное. Это составляет мой хлеб. Я и теперь попрошу вас собрать несколько таковых сведений, если где-либо услышите какой забавный анекдот между мужиками в нашем селе, или в другом каком, или между помещиками. Сделайте милость, описуйте для меня также нравы, обычаи, поверья. Да расспросите про старину хоть у Анны Матвеевны или Агафьи Матвеевны (*тетки Гоголя*): какие платья были в их время у сотников, их жен, у тысячников, у них самих, какие материи были известны в их время, и все с подробнейшею подробностью; какие анекдоты и истории случались в их время смешные, забавные, печальные, ужасные. Не пренебрегайте ничем, все имеет для меня цену. В столице нельзя пропасть с голоду, имеющему хотя скудный от бога талант.

Еще осмеливаюсь побеспокоить вас одною просьбою: ради бога, если будете иметь случай, собирайте все попадающиеся вам древние монеты и редкости, какие отыщутся в наших местах, стародавние, старопечатные книги, другие какие-нибудь вещи, антики, а особливо стрелы, которые во множестве находимы были в Псле. Я помню, их целыми горстями доставали. Сделайте милость, пришлите их. Я хочу прислужиться этим одному вельможе, страстному любителю отечественных древностей, от которого зависит улучшение моей участи[14]. Нет ли в наших местах каких записок, веденных предками, какой-нибудь старинной фамилии, рукописей стародавних про времена гетманщины и прочего подобного?

Гоголь – матери, 2 февр. 1830 г., из Петербурга. Письма, I, 144–146.

По словам одного из товарищей Гоголя, В. М. П-ки, жившего с ним несколько времени в Петербурге, не было человека скрытнее Гоголя: по словам его, он умел сообразить средство с целью, удачно выбрать средство и самым скрытным образом достигать цели.

В. П. Гаевский. Заметки для биографии Гоголя. Современник, 1852, X. Смесь, 143.

В «Отечественных Записках» 1830 года, в февральской и мартовской книжках, была помещена, без имени автора, повесть Гоголя под заглавием: «Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала. Малороссийская повесть (из народного предания), рассказанная дьячком Покровской церкви». Неизвестно, какой гонорар получил Гоголь за эту повесть… Издатель «Отечественных Записок» Свиньин во многих местах повести исправил по-своему слог и придал ему тяжелые обороты напыщенного литературного изложения[15]. Гоголь прекратил вследствие этого свое участие в «Отечественных Записках».

Н. С. Тихонравов. Соч. Гоголя, изд. 10-е, т. I, 516.

Извините меня великодушно, почтеннейшая маменька, что я так долго не писал к вам. Заботы и вечные беспокойства тягчат меня всеми неразлучными с ними неприятностями. Я не понимаю, как я до сих пор с ума не сошел. После бесконечных исканий мне удалось, наконец, сыскать место, очень, однако ж, незавидное. Но что ж делать? Важной протекции я не имел никакой, а мои покровители водили меня до тех пор, пока не заставили меня усомниться в сбыточности их обещаний. Теперь моим местом я, можно сказать, обязан своим собственным трудам, и теперь, признаюсь, я в ужасном недоумении; сам не знаю, что начать, к чему обратиться, что делать мне. Часто приходит мне на мысль все бросить и ехать из Петербурга; но в то же время вдруг представятся мне все выгоды по службе и по всему, чего я лишусь, удалившись отсюда. Взявши свое место в сравнении с местами, которые занимают другие, я тотчас вижу, что занимаемое мною есть еще не самое худшее, что многие, весьма даже многие захотели бы иметь его, что мне только стоит удвоить количество терпения, и я могу надеяться получить повышение; но зато эти многие получают достаточное количество для своего содержания из дому, а мне должно жить одним жалованьем. Теперь посудите сами, сократившим все возможные издержки, выключая только самых необходимейших для продолжения жизни, никого никогда у себя не принимая, не выходя никогда почти ни на какие увеселения и спектакли, отказавшись от любимого моего развлечения от театра, и за всем тем я никаким образом не могу издерживать менее ста рублей в месяц: сумма, с которою бы никто из молодых людей не решился жить в Петербурге. Сюда я не включаю денег, следующих на платье, на сапоги, на шляпу, перчатки, шейные платки и тому подобное, чего наберется не менее как на пятьсот рублей. Теперь вообразите: жалованья я не получаю и пятисот рублей. Если присовокупить к сему и получаемое мною иногда от журналистов, то всего выйдет шестьсот; шутка ли? это мне, выходит, и стает все на одно только платье, сапоги, шляпу и вообще касающиеся до одеяния. Где же теперь мне взять сто рублей в месяц каждый на свое содержание? Занявшись же службой так, как следует, я не в состоянии буду заниматься посторонними делами.

Хорошо, что я еще имел все это время такого редкого благодетеля, как Андрей Андреевич. До сих пор я жил одним его вспомоществованием. Доказательством моей бережливости служит то, что я еще до сих пор хожу в том самом платье, которое я сделал по приезде своем в Петербург из дому, и потому вы можете судить, что фрак мой, в котором я хожу повседневно, должен быть довольно ветх и истерся также немало, между тем как до сих пор я не в состоянии был сделать нового не только фрака, но даже теплого плаща, необходимого для зимы. Хорошо еще, я немного привык к морозу и отхватал всю зиму в летней шинели. Деньги, которые я выпрашивал у Андрея Андреевича, никогда не мог употребить на платье, потому что они все выходили на содержание, а много я просить не осмеливался, потому что заметил, что я становлюсь уже ему в тягость. Он мне несколько раз уже говорил, что помогает мне до того времени, только пока вы поправитесь немного состоянием, что у него есть семейство, что его дела также не всегда в хорошем состоянии. И вы не поверите, чего мне стоит теперь заикаться ему о своих нуждах. Теперь, в добавку, он располагает ехать в мае месяце совсем из Петербурга. Что мне делать в таком случае? Теперь остается мне спросить вас, маменька; в состоянии ли вы выдавать мне в месяц каждый по сто рублей? Но сделайте милость, говорите точную правду. Если это будет не по состоянию вашему, если чрез это вы принуждены будете отказывать себе в необходимом, о, в таком случае я решусь пожертвовать всеми выгодами службы, решусь бросить Петербург, где, может быть, я бы составил себе счастие, удалюсь куда-нибудь в провинцию, где бы содержание мне не стоило так дорого, короче – все сделаю, на что только возможно решиться, лишь бы не навесть новых огорчений и забот вам! Но боже вас сохрани, великодушная моя маменька, если вы скажете мне, что в состоянии, и между тем необыкновенных усилий и отказов во всех необходимых потребностях это будет стоить вам: в таком случае ваше вспомоществование обратится мне в едкое мучение; я буду почитать себя преступником, который тучею беспокойств помрачает и сокращает драгоценные дни ваши.

В самое это время, когда я хотел оканчивать письмо мое к вам, посетил меня начальник мой по службе с не совсем дурной новостью, что жалованья мне прибавляют еще двадцать рублей в месяц. Итак, я снова спрашиваю вас, маменька, можете ли вы мне высылать по восемьдесят рублей в месяц, исключая мая, за который мне необходимо нужно сто: уменьшение, правда, маловажное, но, по крайней мере, утешительно тем, что меня замечают. Это дает мне право надеяться, что не будет ли еще прибавки к новому году. Но, впрочем, если не в состоянии высылать мне по такой сумме, то, сделайте милость, не затрудняйте себя; я повторяю снова, что буду почитать себя причиною всех горестей и беспокойств.

Гоголь – матери, 2 апр. 1830 г., из Петербурга. Письма, I, 147.

В Васильевке было 1000 десятин земли, и хотя эта земля и была заложена в Опекунском Совете, но составляла имение, на доходы с которого нетрудно было безбедно прожить Марье Ивановне Гоголь и семье ее, даже при необходимости содержать сына в Нежине, а потом помогать ему во время петербургской жизни. Родственники и многочисленные соседи, посещавшие Васильевку, проводили целые дни под кровом дома Марьи Ивановны, гуляли в прелестном тенистом саду, катались по обширному живописному пруду, осененному старыми деревьями, пользовались широким гостеприимством всегда милой, любезной, веселой и гостеприимной хозяйки. Дом Гоголей был всегда полная чаша; дом небольшой, но поместительный, многочисленная прислуга, сытный обед, конечно, деревенский, приличные экипажи и лошади. Правда, и в Васильевке, при всем обилии плодов земных, наличные деньги далеко были не в изобилии, торговля продуктами имения была мало развита, частный кредит был редок и дорог, а потому, когда являлась нужда в более или менее значительной сумме денег для уплаты в Опекунский Совет или податей, для высылки в Нежин или Петербург, то деньги эти доставались с трудом и помощью немалых хлопот. Но это была участь, которую Марья Ивановна разделяла со многими своими соседями – помещиками средней руки. Конечно, при хорошем ведении хозяйства с 1000 десятин можно было иметь значительные доходы, но Марья Ивановна не отличалась особенными хозяйственными способностями; кроме того, была крайне непрактична, бралась легкомысленно за весьма рискованные предприятия, не умела соразмерять своих расходов с доходами... По словам Анны Васильевны Гоголь, ее мать весьма часто не останавливалась перед покупками, отнюдь не представлявшимися необходимыми, несмотря на недостаток наличных денег. В то время офени-ходебщики с их коробками были частыми и весьма приятными гостями в усадьбах малороссийских помещиков; одно из оснований их торговли был широкий кредит, который они открывали своим покупателям, вознаграждая себя за терпеливое ожидание уплаты высокою продажною ценою. Вот этих-то торговцев радушно принимала Марья Ивановна, покупала у них и нужные, и ненужные вещи, покупала почти всегда в долг, конечно переплачивая зато страшно в ущерб своим материальным средствам. Не в непосильных жертвах в пользу сына и неумеренной требовательности его, а в собственной неумелости, непрактичности и легкомыслии надо прежде всего искать причин денежных невзгод и затруднений Марьи Ивановны.

Н. А. Трахимовский. М. И. Гоголь. Рус. Стар., 1888, июль, 30.

Н. В. Гоголь-Яновский... поступил на службу в Департамент Уделов 1830 года, апреля 10-го.

Аттестат Гоголя из Департамента Уделов. Рус. Стар., 1887, дек., 749.

В Департаменте Уделов Гоголь был плохим чиновником и, по собственным словам, извлек из службы в этом учреждении только разве ту пользу, что научился сшивать бумагу.

П. А. Кулиш. Записки о жизни Гоголя, I, 86.

Литературные мои занятия и участие в журналах я давно оставил, хотя одна из статей моих доставила мне место, ныне мною занимаемое. Теперь я собираю материалы только и в тишине обдумываю свой обширный труд. Надеюсь, что вы по-прежнему, почтеннейшая маменька, не оставите иногда в часы досуга присылать все любопытные для меня известия, которые только удастся собрать. Несмотря на все старания свои, я не мог, однако ж, иметь никакой возможности переехать на дачу. Судьба никаким образом не захотела свесть меня с высоты моего пятого этажа в низменный домик на каком-нибудь из островов. Необходимости должно повиноваться, но я всячески стараюсь услаждать свое заключение. Мне советуют делать сколько можно больше движения, и я каждый почти день прогуливаюсь по дачам и прекрасным окрестностям. Нельзя надивиться, как здесь приучаешься ходить: прошлый год, я помню, сделать верст пять в день была для меня большая трудность; теперь же я делаю свободно верст двадцать и более и не чувствую никакой усталости. И это здесь вовсе неудивительно; всякий этим может похвалиться. В девять часов утра отправляюсь я каждый день в свою должность и пребываю там до трех часов; в половине четвертого я обедаю; после обеда в пять часов отправляюсь я в класс, в академию художеств, где занимаюсь живописью, которую я никак не в состоянии оставить, – тем более, что здесь есть все средства совершенствоваться в ней, и все они, кроме труда и старания, ничего не требуют. По знакомству своему с художниками, и со многими даже знаменитыми, я имею возможность пользоваться средствами и выгодами, для многих недоступными. Не говоря уже об их таланте, я не могу не восхищаться их характером и обращением. Что это за люди! Узнавши их, нельзя отвязаться от них навеки. Какая скромность при величайшем таланте! В классе, который посещаю я три раза в неделю, просиживаю два часа; в семь часов прихожу домой, иду к кому-нибудь из своих знакомых на вечер, – которых у меня таки немало. Верите ли, что одних однокорытников моих из Нежина до двадцати пяти человек. Вы, может быть, думаете, что такое знакомство должно быть в тягость. Ничуть; это не в деревне, где обязаны угощать своих гостей столом или чаем. Каждый у нас ест у себя, приятелей же и товарищей угощают беседою, которою всякий из нас бывает вполне доволен. Люди различных характеров, разного темпераменту всегда найдут о чем

поговорить, поспорить и образнообразить свой разговор. Три раза в течение недели отправляюсь я к людям семейным, у которых пью чай и провожу вечер. С девяти часов вечера я начинаю свою прогулку, или бываю на общем гулянье, или сам отправляюсь на разные дачи; в одиннадцать часов вечера гулянье прекращается, и я возвращаюсь домой, пью чай, если нигде не пил (вам не должно показаться это поздним: я не ужинаю), иногда прихожу домой часов в двенадцать или в час, и это время еще можно видеть толпу гуляющих. Ночей, как вам известно, здесь нет; все светло и ясно, только что нет солнца. Вот вам описание моего летнего дня. Всячески стараюсь я лучше провесть его, но все почти вспоминаю за каждым разом деревню. Удовольствия, которые имею я здесь, все почти состоят из упомянутых, и потому не стоят мне ничего. Всякая копейка у меня пристроена, и малейшее исключение уже причиняет расстройство всему моему регулярному ходу издержек.

Гоголь – матери, 3 июня 1830 г., из Петербурга. Письма, I, 157.

…указом Правительствующего сената 1830 года, июня 3-го, утвержден в чине коллежского регистратора, со старшинством со дня вступления в службу.

Аттестат Гоголя из Департамента Уделов. Рус. Стар., 1887, дек., 749.

…10 июля 1830 г. помещен помощником столоначальника.

Аттестат Гоголя. Рус. Стар., 1887, дек., 749.

Андрей Андреевич был так милостив, видя нужду мою, что оказал мне помощь, какой только можно было ожидать от добрейшего родственника. С июня месяца, т. е. с тех пор, когда я не получал ничего уже от вас, я пользовался его благодеянием: на три месяца он мне выдал сумму, какую следовало бы мне получить от вас. Следовательно, за прошедшие месяцы июнь, июль и август вам нечего беспокоиться. Завтра или послезавтра Андрей Андреевич уезжает отсюда, и потому вчера дал еще мне и на первую половину сентября. Служба моя идет очень хорошо; начальники мои все прекрасные люди. Всего только четыре месяца, как я служу, а получил на днях уже штатное место, до которого многие по пяти лет дослуживаются, иные даже по десяти, а все не получают. С нового года надеюсь получать тысячу рублей жалованья, а до того времени должен буду еще беспокоить вас, великодушная маменька. Всего в этом году следует вам выслать мне триста рублей, которые можно разделить на два куша. Часто большие неудобства встречаются иногда от замедления присылки, и тогда принужден я бываю продавать за бесценок самонужнейшие вещи, которых приобретение становится впоследствии мне несравненно дороже. Но

нужнее всего теперь для меня письмо ваше. Оно одно доставит мне удовольствие и заставит забыть и крайность, и нужду, и голод, и все неприятности в свете.

Гоголь – матери, 1 сент. 1830 г., из Петербурга. Письма, I, 161.

Начальники мои хорошие люди, и я ими весьма доволен. Не будете ли видеться с Шамшевыми (*знакомые Гоголей*)? Они хорошо знакомы с Панаевым (*начальник Гоголя*) и ведут с ним переписку. В таком случае не мешало бы, если бы они упомянули и обо мне. Это, я думаю, ускорило бы мне прибавку жалованья. Словца два-три от хороших людей всегда не помешают.

Гоголь – матери, 29 сент. 1830 г., из Петербурга. Письма, I, 163.

Я вижу, что Никоша не выучился еще расчетливо жить. Главный его расход – на книги, для которых он в состоянии лишиться и пищи.

М. И. Гоголь – А. А. Трощинскому, 23 ноября 1830 г. Рус. Стар., 1882, июнь, стр. 676.

Чувствительно благодарю вас за присланные вами деньги сто рублей. Верьте, что я знаю им цену: могу ли я что-либо из них употребить на ненужное, когда на каждой из сих ассигнаций читаю я те величайшие труды, с которыми они достаются вам? Давно уже меня занимает одна и та же мысль доставить вам в этом отношении облегчение. Мои удвоившиеся труды, мои успешные занятия и лестное внимание ко мне, – все заставляет думать, что участь моя переменится, и в наступающем 1831 году предвижу я для себя много хорошего.

Гоголь – матери, 19 дек. 1830 г., из Петербурга. Письма, I, 165.

В декабре 1830 г, вышел альманах «Северные Цветы на 1831 год» (цензурное разрешение подписано 18 декабря), где напечатана глава из «исторического романа» 16 Гоголя за подписью оооо[16].

1 янв. 1831 г. вышел № 1 «Литературной Газеты», где напечатана глава из малороссийской повести Гоголя «Учитель» (подписано П. Глечик[17]) и его статья «Несколько мыслей о преподавании детям географии» (подписано Г. Янов).

16 янв. 1831 г. вышел № 4 «Литературной Газеты», где напечатана статья Гоголя «Женщина», подписанная его фамилией.

А. И. Кирпичников. Опыт хронологической канвы к биографии Гоголя. М., 102. Стр. 12.

Гоголь достал от кого-то рекомендательное письмо к В. А. Жуковскому.

П. А. Кулиш, I, 84.

Едва вступивший в свет юноша, я пришел в первый раз к тебе, уже совершившему полдороги на этом поприще. Это было в Шепелевском дворце 18. Комнаты этой уже нет. Но я ее вижу, как теперь, всю, до малейшей мебели и вещицы. Ты подал мне руку и так исполнился желанием помочь будущему сподвижнику! Как был благосклонно-любовен твой взор!.. Что нас свело, неравных годами? Искусство. Мы почувствовали родство, сильнейшее обыкновенного родства. Отчего? Оттого, что чувствовали оба святыню искусства.

Гоголь – В. А. Жуковскому, 10 янв. 1848 г. Письма, IV, 135.

Первые свои произведения Гоголь печатал или в «Северных Цветах», или в «Литературной Газете», причем первый номер последнего издания был преимущественно занят его статьями. Так как оба издания принадлежали Дельвигу, то естественно возникает мысль, не он ли рекомендовал Гоголя Жуковскому.

В. И. Шенрок. Материалы, I, 297.

Жуковский сдал молодого человека на руки П. А. Плетневу, с просьбою позаботиться о нем. Плетнев был тогда инспектором Патриотического Института и исходатайствовал у императрицы для Гоголя в этом заведении место старшего учителя истории.

П. А. Кулиш, I, 84.

Вашему превосходительству честь имею донести, что преподавание истории в младшем классе Патриотического Института, которое доныне относилось к обязанностям младших классных дам, Мелентьевой и Шемелевой, по причине увеличившегося числа воспитанниц младшего возраста, оказывается для сих двух девиц обременительным, и потому необходимо нужно определить в институт особого учителя для преподавания истории во 2-м и 3-м отделениях младшего возраста. Честь имею представить о желании служащего ныне в Департаменте Уделов чиновника г. Гоголя принять на себя обязанность преподавания истории младшим воспитанницам института с жалованием по 400 р. в год. Так как г. инспектор классов (*П. А. Плетнев*), рекомендующий сего чиновника, свидетельствует о его способностях и благонадежности,

то не благоугодно ли будет вашему превосходительству исходатайствовать высочайшее соизволение на принятие г. Гоголя в институт учителем истории?

Л. Вистингаузен (начальница института), 6 февр. 1831 г. № 23.

РЕЗОЛЮЦИ*Я*

Ее императорское величество, соизволяя на сие представление, повелевает допустить г. Гоголя к преподаванию. 9 февр. 1831 г.

Рус. Стар., 1887, дек., 750.

Чтобы доставить Гоголю больше средств для жизни, Плетнев ввел его наставником детей в дома П. И. Балабина, Лонгинова и А. В. Васильчикова.

П. А. Кулиш. I, 84.

В начале 1831 года два старшие мои брата и я поступили в число учеников Гоголя. Это было в то время, когда он сделался домашним учителем и в доме П. И. Балабина и, сколько помню, несколько раньше знакомства его с домом А. В. Васильчикова. Гоголь был рекомендован моим родителям В. А. Жуковским и П. А. Плетневым. Первое впечатление, произведенное Гоголем на нас, мальчиков от девяти до тринадцати лет, было довольно выгодно, потому что в добродушной физиономии нового учителя, не лишенной, впрочем, какой-то насмешливости, не нашли мы и тени педантизма, угрюмости и взыскательности, которые считаются часто принадлежностью звания наставника. С другой стороны, одно чувство приличия, может быть, удержало нас от порыва смешливости, которую должна была возбудить в нас наружность Гоголя. Небольшой рост, худой и искривленный нос, кривые ноги, хохолок волос на голове, не отличавшейся вообще изяществом прически, отрывистая речь, беспрестанно прерываемая легким носовым звуком, подергивающим лицо, – все это прежде всего бросалось в глаза. Прибавьте к этому костюм, составленный из резких противоположностей щегольства и неряшества, – вот каков был Гоголь в молодости. Двойная фамилия учителя, Гоголь-Яновский, затруднила нас вначале; почему-то нам казалось сподручнее называть его г. Яновским, а не г. Гоголем; но он сильно протестовал против этого с первого раза. «Зачем называете вы меня Яновским? – сказал он. – Моя фамилия Гоголь, а Яновский только так, прибавка; ее поляки выдумали». Уроки происходили более по вечерам. Но классы Гоголя так нас веселили, что мы не роптали на эти вечерние уроки. Сначала предполагалось, что он будет преподавать нам русский язык. Немало удивились мы, когда в первый же урок Гоголь начал толковать нам о

трех царствах природы и разных предметах, касающихся естественной истории. На второй урок он заговорил о географических делениях земного шара, о системах гор, рек и проч. На третий – речь зашла о введении в общую историю. Тогда старший брат мой решился спросить у Гоголя: «Когда же начнем мы, Николай Васильевич, уроки русского языка?» Гоголь усмехнулся своею сардоническою усмешкою и ответил: «На что вам это, господа; в русском языке дело – уметь ставить ять и е, а это вы и так знаете, как видно из ваших тетрадей. Просматривая их, я найду иногда случай заметить вам кое-что. Выучить писать гладко и увлекательно не может никто; эта способность дается природой, а не ученьем». После этого класса продолжались на прежнем основании и в той же последовательности, т. е. один посвящался естественной истории, другой – географии, третий – всеобщей истории. Уроки Гоголя нам очень нравились. Они так мало походили на другие уроки: в них не боялись мы ненужной взыскательности, слышали много нового, для нас любопытного, хотя часто и не очень идущего к делу. Кроме того, Гоголь при всяком случае рассказывал множество анекдотов, причем простодушно хохотал вместе с нами. Новаторство было одним из отличительных признаков его характера. Когда кто-нибудь из нас употреблял какое-нибудь выражение, уже сделавшееся давно стереотипным, он быстро останавливал речь и говорил, усмехаясь: «Кто это научил вас говорить так? Это неправильно; надобно сказать так-то». Помню, что однажды я назвал Балтийское море. Он усмехнулся и сказал: «Надобно говорить: Балтическое море; называют его именем Балтийского – невежды, и вы их не слушайте». Но какой тон добродушия слышался во всех его замечаниях! Какою неистощимою веселостью и оригинальностью исполнены были его рассказы о древней истории! Не могу вспомнить без улыбки анекдот его о войнах Амазиса, о происхождении гражданских обществ и проч… В начале тридцатых годов Гоголь занимался сочинением синхронистических таблиц для преподавания истории по новой методе и, кажется, содействовал Жуковскому в составлении новой системы обучения этой науке, основания которой были изданы в свет впоследствии. Таблицы свои приносил Гоголь и к нам, но употреблял их только в виде опыта.

Гоголь скоро сделался в нашем доме очень близким человеком. В дни уроков своих он часто у нас обедал и выбирал обыкновенно за столом место поближе к нам, детям, потешаясь и нашею болтовней и сам предаваясь своей веселости. Рассказы его были уморительны; как теперь помню его комизм, с которым он передавал, напр., городские слухи и толки о танцующих стульях в каком-то доме Конюшенной улицы, бывшие тогда во всем разгаре… Гоголь, так скоро и легко сделавшийся коротким знакомым матушки, которой говорил часто о своих литературных занятиях, надеждах и проч., никак не мог победить какой-то робости в отношении к моему отцу. Причиною этому должно полагать то, что он никак не мог отделить отношений своих, как доброго

знакомого, от мысли о подчиненности: отец мой был начальником его по Патриотическому Институту, куда Гоголь определен был учителем. Черта довольно оригинальная, потому что отец мой никогда не подавал подчиненным повода не только робеть перед ним, но и всячески заставлял, вне служебных отношений, забывать, что он начальник. Но такова уже была странность Гоголя. При отце он, например, ни слова почти не говорил о литературе, хотя предмет этот, как известно, всегда занимал Гоголя.

М. Н. Лонгинов. Воспоминания о Гоголе. Сочинения М. Н. Лонгинова. Том. I. М., 1915. Стр. 4–8.

О себе скажу, что мои обстоятельства идут, чем далее, лучше и лучше, все поселяет в меня надежду, что если не в этом, то в следующем году я буду уже в возможности содержать себя собственными трудами; по крайней мере, основание положено из самого крепкого камня. Только я вас теперь сильно потревожу убедительной просьбой о присылке двухсот пятидесяти рублей. Это составит половину следуемой мне суммы в нынешнем году (в теперешнем году мне нужно от вас получить только пятьсот). В июне месяце попрошу у вас остальную половину, и это требование, надеюсь, будет последнее. Чего не изведал я в это короткое время! Иному во всю жизнь не случилось иметь такого разнообразия. Время это было для меня наилучшим воспитанием. Зато какая теперь тишина в моем сердце! Какая неуклонная твердость и мужество в душе моей! Неугасимо горит во мне стремление, но это стремление – польза. Мне любо, когда не я ищу, но моего ищут знакомства. Весь этот год будет более ничего как только утверждение мое, укрепление на месте, обеспечение от всех нужд.

Гоголь – матери, 10 февр. 1831 г., из Петербурга. Письма, I, 171.

Надобно познакомить тебя с молодым писателем, который обещает что-то очень хорошее. Ты, может быть, заметил в «Северных Цветах» отрывок из исторического романа, с подписью оооо, также в «Литературной Газете» «Мысли о преподавании географии», статью «Женщина» и главу из малороссийской повести «Учитель». Их писал Гоголь-Яновский. Сперва он пошел было по гражданской службе, но страсть к педагогике привела его под мои знамена: он перешел в учителя. Жуковский от него в восторге. Я нетерпеливо желаю подвести его к тебе под благословение. Он любит науки только для них самих и, как художник, готов для них подвергать себя всем лишениям. Это меня трогает и восхищает.

П. А. Плетнев – А. С. Пушкину, 22 февр. 1831 г., из Петербурга. Соч. Плетнева, III, 366.

…1831 года марта 9-го, по прошению его, из Департамента Уделов уволен. По служению его в сем департаменте поведения был отличного и должность свою исправлял с усердием, в штрафах, под судом и отпусках не был.

Аттестат Гоголя из Департамента Уделов. Рус. Стар., 1887, дек., 749.

С высочайшего соизволения ее императорского величества определен в Патриотический Институт старшим учителем истории, состоя по силе высочайшего указа 1 апреля 1831 г. в чине титулярного советника. Вступил в сию должность 1831, марта 10-го.

Аттестат Гоголя, выданный из С.-Петербургского Университета. Рус. Стар., 1902, сент., 652.

Я было вздумал захворать геморроидами и почел ее бог знает какою опасною болезнию. Но после узнал, что нет в Петербурге ни одного человека, который бы не имел ее. Доктора советовали мне меньше сидеть на одном месте. Этому случаю я душевно был рад оставить чрез то ничтожную мою службу, ничтожную, я полагаю, для меня, пожалуй что иной, бог знает, за какое благополучие почел бы занять оставленное мною место. Но путь у меня другой, дорога прямее, и в душе более силы идти твердым шагом. Я мог бы остаться теперь без места, если бы не показал уже несколько себя. Государыня приказала читать мне в находящемся в ее ведении институте благородных девиц. Впрочем, вы не думайте, чтобы это много значило. Вся выгода в том, что я теперь немного больше известен, что лекции мои мало-помалу заставляют говорить обо мне, и главное, что имею гораздо более свободного времени: вместо мучительного сидения по целым утрам, вместо сорока двух часов в неделю, я занимаюсь теперь шесть, между тем жалованье даже немного более; вместо глупой, бестолковой работы, которой ничтожность я всегда ненавидел, занятия мои теперь составляют неизъяснимые для души удовольствия. Осенью поступит ко мне Екатерининский институт и еще два заведения; тогда я буду заниматься двадцать часов и жалованья буду получать вчетверо больше теперешнего. Но между тем занятия мои, которые еще большую принесут мне известность, совершаются мною в тиши, в моей уединенной комнатке: для них теперь времени много. Я теперь более, нежели когда-либо, тружусь, и более, нежели когда-либо, весел. Спокойствие в моей груди величайшее… Более всего удивляюсь я уму здешних знатных дам (лестным для меня дружеством некоторых мне удалось пользоваться).

Гоголь – матери, 16 апр. 1831 г., из Петербурга. Письма, I, 174.

И в качестве преподавателя Гоголь не отличался большими достоинствами. Только в первое время он принялся за исполнение обязанностей своего звания с жаром юноши, жаждавшего найти достойное поприще для своей деятельности, и, забывая под влиянием этого чувства о материальных выгодах новой своей обязанности, смотрел на нее как на цель своего существования, как на призвание свыше. Но мало-помалу занятия литературные отвлекали его от однообразных трудов учителя.

П. А. Кулиш, I, 86.

В первые годы литературной своей деятельности Гоголь работал очень много; к маю 1831 года у него уже готово было несколько повестей, составивших первый том «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Не зная, как распорядиться этими повестями. Гоголь обратился за советом к П. А. Плетневу. Плетнев хотел оградить юношу от влияния литературных партий и в то же время спасти повести от предубеждения людей, которые знали Гоголя лично или по первым его опытам и не получили о нем высокого понятия. Поэтому он присоветовал Гоголю, на первый раз, строжайшее incognito и придумал для его повестей заглавие, которое возбудило бы в публике любопытство. Так появились в свет «Повести, изданные пасичником Рудым Паньком», который будто бы жил возле Диканьки, принадлежавшей князю Кочубею. Книга была принята огромным большинством любителей литературы с восторгом.

П. А. Кулиш, I, 90.

Гоголь два раза в неделю ходил в институт, большею частью пешком, а то давал частные уроки, например, в доме генерала Балабина. К нему приходили на дом ученики из дома католической церкви и другие… Когда «сочинял», то писал сначала сам, а потом отдавал переписывать писарю, так как в типографии не всегда могли разобрать его руку. В это время Якиму часто приходилось бегать в типографию на Б. Морскую, иногда раза по два в день. «Прочтет Николай Васильевич, вписывает еще на печатных листах, тогда несешь обратно».

В. П. Горленко со слов Якима. Рус. Арх., 1893, I, 304.

Все свои ныне печатные грехи я писал в Петербурге, и именно тогда, когда я был занят должностью, когда мне было некогда, среди этой живости и перемены занятий, и чем я веселее провел канун, тем вдохновенней возвращался домой, тем свежее у меня было утро.

Гоголь – С. П. Шевыреву, 10 сент. 1839 г. Письма, I, 619.

Гоголь был представлен Пушкину на вечере у П. А. Плетнева (*вероятно, в двадцатых числах мая 1831 года, когда Пушкин с молодою женою приехал из Москвы в Петербург*).

П. В. Анненков. Материалы для биографии Пушкина. Изд. 2-е. Петербург. 1873. Стр. 360.

Гоголь жил некоторое время в доме бабушки моей Ал. Ив. Васильчиковой и занимал место воспитателя или, вернее, дядьки слабоумного ее сына Васеньки. Мой отец хорошо помнил, как Гоголь сиживал на балконе, держа на коленях долговязого Васеньку, и пытался научить его азбуке, по букварю в картинках; «Вот это, душенька, барашек – бе, скажи – б», – терпеливо и мягко твердит он своему ученику. Живучи в доме бабушки, Гоголь написал «Майскую ночь» и под вечер заходил в комнату, где собирались многочисленные приживалки и воспитанницы бабушки, и читал им эту повесть. Раз идет по коридору Александра Ивановна и слышит, как знакомый голос незнакомым для нее звуком читает: «Знаете ли вы украинскую ночь?» Остановилась бабушка, заслушалась, и тут же вырос у нее в глазах облик бедного учителя ее слабоумного сына в великого Гоголя. Гоголь не любил вспоминать, что он был учителем, говорил всегда, что он не помнит этого, однако поддерживал знакомство и посещал Васильчиковых.

А. А. Васильчиков по записи А. Милорадович. Рус. Арх., 1909, II, стр. 540.

В 1831 году летом я приехал на вакации из Дерпта в Павловск. В Павловске жила моя бабушка Архарова; и с нею вместе тетка моя Ал. Ив. Васильчикова… Я отправился на поклон к бабушке; время для бабушки уже было позднее, она собиралась спать. «Пойди-ка к Александре Степановне (ее приживалка), там у Васильчиковых при Васе студент какой-то живет, говорят, тоже пописывает, – так ты пойди, послушай», – сказала мне бабушка, отпуская меня. Я отправился к Александре Степановне; она занимала на даче у бабушки небольшую, довольно низенькую комнату; у стены стоял старомодный, обтянутый ситцем диван, перед ним круглый стол, покрытый красной бумажной скатертью; на столе под темно-зеленым абажуром горела лампа. Подле Александры Степановны сидели две другие приживалки. Все три старухи вязали чулки, глядя снисходительно поверх очков на тут же у стола сидевшего худощавого молодого человека; старушки поднялись мне навстречу, усадили меня у стола, потом Александра Степановна, предварительно глянув на меня, обратилась к юноше: «Что же, Николай Васильевич, начинайте!» Молодой человек вопросительно посмотрел на меня; он был бедно одет и казался очень застенчив; я приосанился.

«Читайте, – сказал я несколько свысока, – я сам «пишу» (читатель, я был так молод!) и очень интересуюсь русской словесностью; пожалуйста, читайте». Ввек мне не забыть выражения его лица! Какой тонкий ум сказался в его чуть прищуренных глазах, какая язвительная усмешка скривила на миг его тонкие губы. Он все так же скромно подвинулся к столу, не спеша, развернул своими длинными худыми руками рукопись и стал читать. Я развалился в кресле и стал его слушать; старушки опять зашевелили своими спицами. С первых слов я отделился от спинки своего кресла, очарованный и пристыженный, слушал жадно; несколько раз порывался я его остановить, сказать ему, до чего он поразил меня, но он холодно вскидывал на меня глазами и неуклонно продолжал свое чтение. Читал он про украинскую ночь: «Знаете ли вы украинскую ночь? Нет, вы не знаете украинской ночи!..» Он придавал читаемому особый колорит своим спокойствием, своим произношением, неуловимыми оттенками насмешливости и комизма, дрожавшими в его голосе и быстро пробегавшими по его оригинальному остроносому лицу, в то время как серые маленькие его глаза добродушно улыбались и он встряхивал всегда падавшими ему на лоб волосами. Описывая украинскую ночь, он будто переливал в душу впечатления летней свежести, синей, усеянной звездами выси, благоухания, душевного простора. Вдруг он остановился. «Да гопак не так танцуется!..» Приживалки вскрикнули: «Отчего не так?» Они подумали, что чтец обращался к ним. Он улыбнулся и продолжал монолог пьяного мужика. Признаюсь откровенно, я был поражен, уничтожен. Когда он кончил, я бросился ему на шею и заплакал. Молодого этого человека звали Николай Васильевич Гоголь.

У тетки Васильчиковой было пятеро детей. Один из сыновей родился с поврежденным при рождении черепом, так что умственные его способности остались навсегда в тумане. К этому-то сыну в виде не то наставника, не то дядьки и был приглашен Гоголь для того, чтобы по мере возможности стараться хоть немного развить это бедное существо. На другой день после чтения я пошел к Васильчиковым и увидел следующее зрелище: на балконе, в тени, сидел на соломенном низком стуле Гоголь, у него на коленях полулежал Вася, тупо глядя на большую, развернутую на столе книгу; Гоголь указывал своим длинным, худым пальцем на картинки, нарисованные в книге, и терпеливо раз двадцать повторял следующее: «Вот это, Васенька, барашек – бе…е…е, а вот это корова – му…у…му…у, а вот это собачка – гау…ау…ау…» При этом учитель с каким-то особым оригинальным наслаждением упражнялся в звукоподражаниях. Признаюсь, мне грустно было глядеть на подобную сцену, на такую жалкую долю человека, принужденного из-за куска хлеба согласиться на подобное занятие.

Впоследствии Гоголь никогда не припоминал о нашем первом знакомстве: видно было, что он несколько совестился своего прежнего

звания толкователя картинок. Но нет сомнения, что его будущей известности много также способствовали знакомства, приобретенные в доме Васильчиковых.

Гр. В. А. Соллогуб. Воспоминания. Спб., 1887. Стр. 112–115 и Рус. Арх., 1865, стр. 740–742. Сводный текст.

Холера теперь почти повсеместна, и наш Петербург не избежал от ней. Слава богу, что она теперь не так опасна, и здешние доктора весьма многих вылечивают. У нас в Павловске все спокойно, и я намерен не выезжать отсюда до тех пор, покамест и в Петербурге не будет все спокойно.

Гоголь – матери, 21 июля 1831 г., из Павловска. Письма, I, 181.

Вчера только я получил известие из Петербурга, что ко мне лежит на почте ваше письмо с деньгами. Это меня очень обрадовало. Но меня терзает мысль, что накопление их стоило вам больших пожертвований. В самом деле, как подумаю, где теперь вам взять их, в нынешние крутые времена, то я желал бы лучше не получать их. Впрочем, этого впредь, я думаю, не случится. Теперь я обеспечен совершенно и не только не потребую от вас, но, может быть, со временем соберу что-нибудь и для вас, а также и для сестры.

Гоголь – матери, 24 июля 1831 г., из Павловска. Письма, I, 181.

Насилу теперь только управился я со своими делами и получил маленькую оседлость в Петербурге… В Петербурге скучно до нестерпимости. Холера всех поразгоняла во все стороны, и знакомым нужен целый месяц антракта, чтобы встретиться между собою… Любопытнее всего было мое свидание с типографией (*печатавшей «Вечера на хуторе близ Диканьки»*): только что я просунулся в двери, наборщики, завидя меня, давай каждый фыркать и прыскать себе в руку, отворотившись к стенке. Это меня несколько удивило; я к фактору, и он, после нескольких ловких уклонений, наконец сказал, что «штучки, которые изволили прислать из Павловска для печатания, оченно до чрезвычайности забавны и наборщикам принесли большую забаву». Из этого я заключил, что я писатель совершенно во вкусе черни.

Гоголь – А. С. Пушкину, 21 авг. 1831 г. Письма, I, 185.

Сейчас прочел «Вечера близ Диканьки». Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия, какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей литературе, что я доселе не образумился.

Мне сказывали, что когда издатель вошел в типографию, где печатались «Вечера», то наборщики начали прыгать и фыркать. Фактор объяснил их веселость, признавшись ему, что наборщики помирали со смеху, набирая его книгу. Мольер и Фильдинг, вероятно, были бы рады рассмешить своих наборщиков. Поздравляю публику с истинно веселою книгою.

А. С. Пушкин – А. Ф. Воейкову, в конце августа 1831 г., из Царского Села.

Все лето я прожил в Павловске и Царском Селе. Почти каждый вечер собирались мы: Жуковский, Пушкин и я. О, если бы ты знал, сколько прелестей вышло из-под пера сих мужей!

Гоголь – А. С. Данилевскому, 2 ноября 1831 г., из Петербурга. Письма, I, 196.

Первая часть «Вечеров на хуторе близ Диканьки» вышла в свет в начале сентября 1831 г.

Н. С. Тихонравов. Соч. Гоголя, изд. 10-е, I, 509.

Я познакомил бы вас хоть заочно, если вы желаете того, с одним очень интересным земляком – Пасечником Паньком Рудым, издавшим «Вечера на хуторе», то есть Гоголем-Яновским… У него есть много малороссийских песен, побасенок, сказок и пр., и пр., коих я еще ни от кого не слыхивал, и он не откажется поступиться песнями доброму своему земляку, которого заочно уважает. Он человек с отличными дарованиями и знает Малороссию как пять пальцев, в ней воспитывался.

О. М. Сомов – М. А. Максимовичу, 9 сент. 1831 г., из Петербурга. Рус. Филологический Вестник, 1908, № 3, стр. 317.

(*1831–1832 гг.*) На вечерах Плетнева я видел многих литераторов, и в том числе А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя. Пушкин и Плетнев были очень внимательны к Гоголю. Со стороны Плетнева это меня нисколько не удивляло, он вообще любил покровительствовать новым талантам, но со стороны Пушкина это было мне вовсе непонятно. Пушкин всегда холодно и надменно обращался с людьми мало ему знакомыми, не аристократического круга и с талантами мало известными. Гоголь же тогда… казался мне ничем более, как учителем в каком-то женском заведении, плохо одетым и ничем на вечерах Плетнева не выказывавшимся… Он жил в верхнем этаже дома Зайцева, тогда самого высокого в Петербурге, близ Кокушкина моста, а так как я жил вблизи того же места, то мне иногда случалось завозить его.

Бар. А. И. Дельвиг (племянник поэта). Мои воспоминания. Изд. Моск. Публичн. и Румянц. музеев. I, 152.

Если не ошибаюсь, уроки Гоголя у нас продолжались года полтора. После этого Гоголь пропадал месяца два, и, сколько могу припомнить, в это время было ему передано от матушки удивление об его отсутствии и объяснено, что нам без учителя нельзя долее оставаться. Так как он и после этого не явился, то место его занял П. П. Максимович. Вдруг однажды Гоголь является к обеду. Дело ему немедленно объяснилось; но это нисколько не переменило отношений его к нашему делу.

М. Н. Лонгинов. Воспоминание о Гоголе. Сочинения Лонгинова, I, 8.

Меня очень опечалили ваши заботы и безденежье; но потерпим покуда: теперь уже мало остается терпеть вам… Одного молодца вы уже совершенно пристроили. Он вам больше уже ничего не будет стоить, а с следующего года будете получать с него, может быть, и проценты… Если бы вы знали, моя бесценная маменька, какие здесь превосходные заведения для девиц, то вы бы, верно, радовались, что ваши дочери родились в нынешнее время. Два здешние института, Патриотический и Екатерининский, самые лучшие, и в них-то, будьте уверены, что мои маленькие сестрицы будут помещены. Я всегда, хотя долго, но достигал своего намерения и твердо уверен, что, с помощью божиею, достигну и в этом.

Гоголь – матери, 9 окт. 1831 г., из Петербурга. Письма, I, 191–192.

В первый раз Гоголь был введен в круг литераторов, как автор «Вечеров на хуторе», 19 февраля 1832 г., на известном обеде А. Ф. Смирдина по случаю перенесения его книжного магазина от Синего моста на Невский проспект. Гости подарили хозяина разными пьесами, составившими альманах «Новоселье», в котором помещена и Гоголева «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

П. А. Кулиш, I, 91.

В начале марта 1832 г. вышла в свет вторая часть «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

Н. С. Тихонравов. Соч. Гоголя, изд. 10-е, I, 511.

22 апр. 1832 г. – Был на вечере у Гоголя-Яновского, автора весьма приятных, особенно для малороссиянина, «Повестей пасичника Рудого Панька». Это молодой человек лет 26-ти, приятной наружности. В

физиономии его, однако, доля лукавства, которое возбуждает к нему недоверие. У него застал я человек до десяти малороссиян, все почти воспитанников Нежинской гимназии.

А. В. Никитенко. Записки и дневник, 222.

Теперь если бы ты увидел меня, то бы, верно, не узнал: так я похудел. Твой сюртук на меня так широк, как халат. Здешний проклятый климат убийствен. Очень жалею, что не могу прислать, кроме жилета, ничего больше: денег у меня совершенно нет, и я не знаю, станет ли на пересылку.

Гоголь – А. С. Данилевскому, 26 апр. 1832 г., из Петербурга. Письма, I, 213.

В то время переменчивость в настроении души Гоголя обнаруживалась в скором созидании и разрушении планов. Так, однажды весною он объявил, что едет в Малороссию, и, действительно, совсем собрался в дорогу. Приходят к нему проститься и узнают, что он переехал на дачу. Н. Д. Белозерский посетил его там. Гоголь занимал отдельный домик с мезонином, недалеко от Поклонной горы, на даче Гинтера. «Кто же у вас внизу живет?» – спросил гость. «Низ я нанял другому жильцу», – отвечал Гоголь. «Где же вы его поймали?» – «Он сам явился ко мне, по объявлению в газетах. И еще какая странная случайность! Звонит ко мне какой-то господин. Отпирают. Вы публиковали в газетах об отдаче внаем половины дачи? – Публиковал. – Нельзя ли мне воспользоваться? – Очень рад. Позвольте узнать вашу фамилию. Половинкин. – Так и прекрасно! Вот вам и половина дачи. – Тотчас без торгу и порешили». Через несколько времени Белозерский опять посетил Гоголя на даче и нашел в ней одного Половинкина. Гоголь, вставши раз очень рано и увидев на термометре восемь градусов тепла, уехал в Малороссию, и с такою поспешностью, что не сделал даже никаких распоряжений касательно своего зимнего платья, оставленного в комоде. Потом уже он писал из Малороссии к своему земляку Белозерскому, чтоб он съездил к Половинкину и попросил его развесить платье на свежем воздухе. Белозерский отправился на дачу и нашел платье уже развешенным.

П. А. Кулиш со слов Н. Д. Белозерского. Записки о жизни Гоголя, I, 100.

Гоголь, по характеру своему, старался действовать на толпу и внешним своим существованием; он любил показать себя в некоторой таинственной перспективе и скрыть от нее некоторые мелочи, которые особенно на нее действуют. Так, после издания «Вечеров», проезжая через Москву, он на заставе устроил дело так, чтоб прописаться и попасть в «Московские Ведомости» не «коллежским регистратором»,

каковым он был, а «коллежским асессором». «Это надо», – говорил он приятелю, его сопровождавшему.

П. В. Анненков. Н. В. Гоголь в Риме. Литературные воспоминания, стр. 27.

(*По поводу предыдущего сообщения М. М. Стасюлевич много позднее запрашивал Анненкова. «Тут что-то не ладно, а выходит такая штука, что Гоголь на заставе, будучи коллежским регистратором, объявил себя коллежским асессором»*.)

Не то, что выходит такая штука, будто Гоголь наврал на себя штабский чин, а действительно такая штука вышла в натуре, и только осторожный не в меру тон статьи может рождать некоторое сомнение в этом факте. Гоголь подчистил на подорожной предикат «регистратор» и заместил его другим «асессор». Так он и был перепечатан и явился в Москву. Следовало бы автору, конечно, яснее выразиться, да как же говорить о подчистке[18].

П. В. Анненков – М. М. Стасюлевичу, 16 авг. 1876 г. М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке, том III, СПб., 1912. Стр. 327.

Я очень дурно сделал, что решился выехать из Петербурга, да еще в то время, когда чувствовал себя не слишком здоровым. Зато и поплатился порядком, покамест доехал до Москвы. Как нарочно, погода была самая скверная, дожди проливные. Я ехал день и ночь, потому что товарищ мой, ехавший до Москвы вместе со мною, не имел времени останавливаться. Итак, я в Москву приехал нездоровым, и хотя в течение нескольких дней почти все прошло и я поправился, но здешние врачи советуют мне недельку обождать для совершенного поправления. Итак, я теперь не уверен, буду ли у вас или нет, потому что срок моего отпуска недалеко до окончания своего и мне нужно будет поспешить в Петербург; впрочем, наверное я и сам не знаю… Жаль очень, что мне, хотя я, может быть, и приеду, нельзя будет есть никаких фруктов, а без этого и лето не в лето.

Гоголь – матери, 4 июля 1832 г., из Москвы. Письма, I, 216.

В дневнике своем под 11 июня – 7 июля 1832 г. Погодин записал: «Познакомился с Гоголем и имел случай сделать ему много одолжения. Говорил с ним о малороссийской истории. Большая надежда, если восстановится его здоровье. Он рассказывал мне много чудес о своем курсе истории в Патриотическом институте женском в Петербурге. Из его воспитанниц нет ни одной не успевшей». Погодин так заинтересовался педагогической деятельностью Гоголя, что тотчас

написал Плетневу просьбу прислать ему для просмотра тетради гоголевских учениц в Патриотическом институте. На эту просьбу Плетнев отвечал Погодину: «Не думаю, чтобы тетради учениц Гоголя могли вам на что-нибудь пригодиться. Их рассказ уроков его очень приятен, потому что Гоголь останавливает внимание учениц больше на подробностях предметов, нежели на их связи и порядке. Я после вашего письма нарочно пересматривал эти тетради и уверился, что ученические записки все равны, то есть с ошибками грамматическими, логическими и проч., и проч. Что касается до порядка в истории или какого-нибудь придуманного Гоголем облегчения этого ничего нет. Он тем же превосходит товарищей своих как учитель, чем он выше стал многих как писатель, то есть силою воображения, которое под его пером всему сообщает чуждую жизнь и увлекательное правдоподобие». Вскоре и сам Гоголь писал Погодину: «Журнальца, которые ведут мои ученицы, я не присылаю, потому что он обезображен посторонними и чужими прибавлениями, которые они присоединяют иногда от себя из дрянных печатных книжонок, какие попадутся им в руки; притом же я только такое подносил им, что можно понять женским мелким умом. Лучше обождать несколько времени, я вам пришлю или привезу чисто свое, которое подготовлю к печати. Это будет всеобщая история и всеобщая география в трех или в двух томах под названием «Земля и люди». Из этого гораздо лучше вы узнаете некоторые мои мысли об этих науках».

Н. П. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, часть 4, стр. 113.

В 1832 году, когда мы жили в доме Слепцова в Афанасьевском переулке, на Сивцевом Вражке, Погодин привез ко мне в первый раз и совершенно неожиданно Н. В. Гоголя. «Вечера на хуторе близ Диканьки» были давно уже прочтены, и мы все восхищались ими. По субботам постоянно обедали у нас и проводили вечер короткие мои приятели. В один из таких вечеров, в кабинете моем, находившемся в мезонине, играл я в карты в четверной бостон, а человека три, не игравших, сидели около стола. В комнате было жарко, и некоторые, в том числе и я, сидели без фраков. Вдруг Погодин, без всякого предуведомления, вошел в комнату с неизвестным мне очень молодым человеком, подошел прямо ко мне и сказал: «Вот вам Николай Васильевич Гоголь!» Эффект был сильный. Я очень сконфузился, бросился надевать сюртук, бормоча пустые слова пошлых рекомендаций. Во всякое другое время я не так бы встретил Гоголя. Все мои гости тоже как-то озадачились и молчали. Прием был не то что холодный, но конфузный. Игра на время прекратилась; но Гоголь и Погодин упросили меня продолжать игру, потому что заменить меня было некому. Скоро, однако, прибежал сын мой Константин, бросился к Гоголю и заговорил с ним с большим чувством и пылкостью. Я очень обрадовался и рассеянно продолжал игру, прислушиваясь одним ухом к словам Гоголя; но он говорил тихо, и я ничего не слыхал.

Наружный вид Гоголя был тогда совершенно другой и невыгодный для него: хохол на голове, гладко подстриженные височки, выбритые усы и подбородок, большие и крепко накрахмаленные воротнички придавали совсем другую физиономию его лицу: нам показалось, что в нем было что-то хохлацкое и плутоватое. В платье Гоголя приметна была претензия на щегольство. У меня осталось в памяти, что на нем был пестрый светлый жилет с большой цепочкой. К сожалению, я совершенно не помню моих разговоров с Гоголем в первое наше свидание; но помню, что я часто заговаривал с ним. Через час он ушел, сказав, что побывает у меня на днях, как-нибудь поранее утром, и попросит сводить его к Загоскину, с которым ему очень хотелось познакомиться и который жил очень близко от меня. Константин тоже не помнит своих разговоров с ним, кроме того, что Гоголь сказал про себя, что он был прежде толстяк, а теперь болен; он помнит, что он держал себя неприветливо, небрежно и как-то свысока, чего, разумеется, не было, но могло так показаться. Ему не понравились манеры Гоголя, который произвел на всех без исключения невыгодное, несимпатичное впечатление. Отдать визит Гоголю не было возможности, потому что не знали, где он остановился: Гоголь не хотел этого сказать.

Через несколько дней, в продолжение которых я уже предупредил Загоскина, что Гоголь хочет с ним познакомиться и что я приведу его к нему, явился ко мне довольно рано Николай Васильевич. Я обратился к нему с искренними похвалами его «Диканьке»; но, видно, слова мои показались ему обыкновенными комплиментами, и он принял их очень сухо. Вообще в нем было что-то отталкивающее, не допускавшее меня до искреннего увлечения и излияния, к которым я способен до излишества. По его просьбе мы скоро пошли пешком к Загоскину. Дорогой он удивил меня тем, что начал жаловаться на свои болезни и сказал даже, что болен неизлечимо. Смотря на него изумленными и недоверчивыми глазами, потому что он казался здоровым, я спросил его: «Да чем же вы больны?» Он отвечал неопределенно и сказал, что причина болезни его находится в кишках. Дорогой разговор шел о Загоскине. Гоголь хвалил его за веселость, но сказал, что он не то пишет, что следует, особенно для театра. Я легкомысленно возразил, что у нас писать не о чем, что в свете все так однообразно, гладко, прилично и пусто, что

…даже глупости смешной

В тебе не встретишь, свет пустой!

Но Гоголь посмотрел на меня как-то значительно и сказал, что «это неправда, что комизм кроется везде, что, живя посреди него, мы его не видим; но что если художник перенесет его в искусство, на сцену, то мы же сами над собой будем валяться со смеху и будем дивиться, что прежде не замечали его». Я был озадачен, особенно потому, что никак не ожидал услышать это от Гоголя. Из последующих слов я заметил, что

русская комедия его сильно занимала и что у него есть свой оригинальный взгляд на нее. Надобно сказать, что Загоскин, также давно прочитавший «Диканьку» и хваливший ее, в то же время не оценил вполне; а в описаниях украинской природы находил неестественность, напыщенность, восторженность молодого писателя; он находил везде неправильность языка, даже безграмотность. Последнее очень было забавно, потому что Загоскина нельзя было обвинить в большой грамотности. Он даже оскорблялся излишними, преувеличенными, по его мнению, нашими похвалами. Но по добродушию своему и по самолюбию человеческому ему приятно было, что превозносимый всеми Гоголь поспешил к нему приехать. Он принял его с отверстыми объятиями, с криком и похвалами; несколько раз принимался целовать Гоголя, потом кинулся обнимать меня, бил кулаком в спину, называл хомяком, сусликом и пр., и пр.; одним словом, был вполне любезен по-своему. Загоскин говорил без умолку о себе: о множестве своих занятий, о бесчисленном количестве прочитанных им книг, о своих археологических трудах, о пребывании в чужих краях (он не был далее Данцига), о том, что он изъездил вдоль и поперек всю Русь и пр., и пр. Все знают, что это совершенный вздор и что ему искренно верил один Загоскин. Гоголь принял это сразу и говорил с хозяином, как будто век с ним жил, совершенно в пору и в меру. Он обратился к шкафам и книгам… Тут началась новая, а для меня уже старая история: Загоскин начал показывать и хвастаться книгами, потом табакерками и наконец шкатулками. Я сидел молча и забавлялся этой сценой. Но Гоголю она наскучила довольно скоро: он вдруг вынул часы и сказал, что ему пора идти, обещал еще забежать как-нибудь и ушел. В этот приезд Гоголя наше знакомство не сделалось близким.

С. Т. Аксаков. История моего знакомства с Гоголем, стр. 5.

Это был первых приезд Гоголя в Москву. Не помню, как-то на обед к отцу (*знаменитому актеру М. С. Щепкину*) собралось человек двадцать пять, – у нас всегда много собиралось; стол по обыкновению накрыт был в зале: дверь в переднюю, для удобства прислуги, отворена настежь. В середине обеда вошел в переднюю новый гость, совершенно нам незнакомый. Пока он медленно раздевался, все мы, в том числе и отец, оставались в недоумении. Гость остановился на пороге в залу и, оглянув всех быстрым взглядом, проговорил слова всем известной малороссийской песни:

Ходит гарбуз по городу,

Пытается своего роду:

Ой, чи живы, чи здоровы

Вси родичи гарбузовы?

Недоумение скоро разъяснилось, – нашим гостем был Н. В. Гоголь, узнавший, что мой отец тоже, как и он, из малороссов.

П. М. Щепкин по записи В. И. Веселовского. Рус. Стар., 1872, февр., 282.

Гоголь познакомился с Щепкиным в 1832 году. В то время Гоголь еще бывал шутливо весел, любил вкусно и плотно покушать, и нередко беседы его с Щепкиным склонялись на исчисление и разбор различных малороссийских кушаний. Винам он давал, по словам Щепкина, названия «квартального» или «городничего», как добрых распорядителей, устрояющих и приводящих в набитом желудке все в должный порядок; а жженке, потому, что зажженная горит голубым пламенем, давал имя Бенкендорфа: «А что, – говорил он Щепкину после сытного обеда, – не отправить ли теперь Бенкендорфа?» – и они вместе приготовляли жженку.

М. С. Щепкин по записи его сына А. М. Щепкина, «М. С. Щепкин». Изд. А. С. Суворина, 1914. Стр. 343.

В Москве Гоголь виделся с И. И. Дмитриевым, который принял его со всей любезностью своею. Вообще тамошние литераторы, кажется, порадовали его особенным вниманием к его таланту. Он не может нахвалиться Погодиным, Киреевским и прочими.

П. А. Плетнев – В. А. Жуковскому, 8 декабря 1832 г. Соч. Плетнева, III, 522.

В Москве я заболел и остался, и пробыл полторы недели, в чем, впрочем, и не раскаиваюсь. За все я был награжден. Теперь я выехал и дожидаюсь на первой уже станции лошадей, – дожидаюсь часов шесть.

Гоголь – Н. Я. Прокоповичу, 8 июля 1832 г., из Подольска. Письма, I, 216.

Я ехал в дождь и самою гадкою дорогою, приехал в Подольск и переночевал, и теперь свидетель прелестного утра. Ехать бы только нужно, но препроклятое слово имеет обыкновение вырываться из уст смотрителей: «нет лошадей». Видно, судьба моя – ехать всегда в дурную погоду. Впрочем, совестливый смотритель объявил, что у него есть десяток своих лошадей, которых он, по доброте своей (его собственное выражение), готов дать за пятерные прогоны. Но я лучше решился сидеть за Ричардсоновой «Клариссою» в ожидании лошадей, потому что ежели на пути попадется мне еще десять таких благодетелей человеческого рода, то нечем будет доехать до пристанища. Впрочем,

присутствия духа у меня довольно: вот скоро уже 12 часов, а мне еще все люли и нипочем. Не знаю, так ли будет после двенадцати.

Гоголь – М. П. Погодину, 8 июля 1832 г., из Подольска. Письма, I, 218.

В дороге занимало меня только небо, которое, по мере приближения к югу, становилось все синее и синее. Мне надоело серое, почти зеленое северное небо, так же, как и те однообразно-печальные сосны и ели, которые гнались за мною по пятам от Петербурга до Москвы.

Гоголь – И. И. Дмитриеву. Письма, I, 219.

Наконец я дотащился до гнезда своего, проклиная бесконечную дорогу и до сих пор не опамятовавшись после проклятой езды. Верите ли, что теперь один вид проезжающего экипажа производит во мне дурноту? Что-то значит хилое здоровье! Приехавши в Полтаву (*17 июля*), я тотчас объездил докторов и удостоверился, что ни один цех не имеет меньше согласия и единодушия, как этот… Теперешнее состояние моего здоровья таково: понос прекратился, бывает даже запор. Иногда мне кажется, будто чувствую небольшую боль в печенке и в спине; иногда болит голова, немного грудь. Вот все мои припадки. Дни начались здесь хорошие. Фруктов бездна, но я есть их боюсь. Остаток лета, кажется, будет чудо; но я, сам не знаю отчего, удивительно равнодушен ко всему. Всему этому, я думаю, причина болезненное мое состояние. Притом же приехал в имение совершенно расстроенное. Долгов множество невыплаченных. Пристают со всех сторон, а уплатить теперь совершенная невозможность… Покамест я еще только отдыхаю. Впрочем, родились у меня две крепкие мысли о нашей любимой науке, которыми вам когда-нибудь похвастаюсь.

Гоголь – М. П. Погодину, 20 июля 1832 г., из Васильевки. Письма, I, 220–221.

Приезд брата был для нас истинный праздник. Со мною он был ласковее, чем с другими, и чаще играл и шутил. У старшей сестры была огромная датская собака «Дорогой»: брат часто сажал меня на нее и заставлял катать, а сам погонял. Приезжая, брат всегда привозил много разных гостинцев, конфект и проч., очень любил нам делать подарки и никогда не отдавал их все вдруг. Дома он очень входил в хозяйство и занимался усадьбой и садом; он сам раскрасил красками стены и потолки в зале и гостиной, наденет, бывало, белый фартук, станет на высокую скамейку и большими кистями рисует, – так он нарисовал бордюры, букеты и арабески. По утрам он занимался со мною и Annette и учил нас географии и истории; расскажет сначала сам, а потом заставит повторить сперва Annette, потом меня. Брат приехал за нами, чтоб отвезти нас в Петербург в Патриотический институт, где он

преподавал историю. Он хлопотал сам обо всем, входил во все подробности, даже в заказ нашего гардероба, делал нам платья дорожные, для поступления в институт и для других случаев.

Ел. Вас. Гоголь-Быкова (сестра писателя). Записки. Русь, 1885, № 26, стр. 6.

Весь август здесь был прелестен, начало сентября похоже на лето. Я в полном удовольствии. Может быть, нет в мире другого, влюбленного с таким исступлением в природу, как я. Я боюсь выпустить ее на минуту, ловлю все движения ее, и, чем далее, тем более открываю в ней неуловимых прелестей.

Гоголь – И. И. Дмитриеву, 23 сент. 1832 г., из Васильевки. Письма, I, 223.

Приехал брат, чтобы взять сестер в Петербург, и сам занимался с ними, а меня прогонял и дверь закрывал, чтобы не мешала. Помню, я отворила немного двери, просунула голову, а он мазнул меня по носу кисточкой с краской. Чтоб не брать в дорогу няни для сестер, брат женил своего лакея Якима на горничной Матрене, которая была у сестры.

О. В. Гоголь-Головня. Из семейной хроники, 6.

Перед отправлением дочерей в институт Мария Ивановна Гоголь была очень озабочена назначением к ним горничной, но все находила, что было бы лучше, если бы человек Николая Васильевича Яким был женат. И вот она призывает Якима и предлагает ему жениться на выбранной горничной, объясняя, что против желания женить его не хочет, а что желает только слышать его мнение. Но Яким на все отвечал: «Мне все равно-с, а это как вам угодно». Видя такое равнодушие, его женили за три дня до отъезда, и таким образом совершенно неожиданно для себя и для всех Яким отправился в Петербург с женою, и барышни – с горничною; а Марья Ивановна была очень довольна, что все так устроилось по-семейному.

Анна Вас. Гоголь по записи Н. П. Быкова. Русь, 1885, № 26, стр. 6.

Поправившись немного в здоровье своем, собрался я было ехать совсем; но сестры, которых везу с собою в Патриотический институт, заболели корью, и я принужден был дожидаться, пока проклятая корь прошла. Наконец, 29 сент. я выехал из дому.

Гоголь – П. А. Плетневу, 9 окт. 1832 г. Письма, I, 223.

Уезжая из дому, мы очень плакали. Мать и старшая сестра (*Марья Васильевна*) проводили нас до Полтавы; пробыв здесь два дня, мы тронулись далее. В Полтаве снова прощание с матерью и сестрой, и снова обильные слезы; брат старался нас рассеять и утешить, как мог.

Е. В. Гоголь-Быкова. Русь, 1885, № 26, стр. 6.

Не сделавши четырехсот верст, переломал я так свой экипаж, что принужден был прожить целую неделю в Курске, в этом скучном и немом Курске! Оборони вас испытать, что значит дальняя дорога! А еще хуже браниться с этими бестиями, станционными смотрителями, которые если путешественник не генерал, а наш брат мастеровой, то всеми силами стараются делать более прижимок и берут с нас, бедняков, немилосердно штраф за оплеухи, которые навешает им генеральская рука.

Гоголь – П. А. Плетневу, 9 окт. 1832 г., из Курска. Письма, I, 223.

Вот уже четвертый день, как мы в Москве. Почти две недели мы тянулись к ней за проклятым экипажем, беспрестанно ломавшимся… Все мы здоровы; я же чувствую себя, даже против моего собственного чаяния, гораздо здоровее прежнего и бодрее… Москва так же радушно меня приняла, как и прежде, и умоляет усердно остаться здесь еще на сколько-нибудь времени. Но мы очень опоздали, и потому 23-го я думаю непременно выехать.

Гоголь – матери, 21 окт. 1832 г., из Москвы. Письма, I, 225.

На возвратном пути из родины Гоголь отыскал в Москве своего земляка М. А. Максимовича, который был тогда профессором ботаники при Московском университете. Знакомство их началось с 1829 года, когда Максимович, посетив Петербург, видел Гоголя за чаем у одного общего их земляка, где собралось еще несколько малороссиян. По словам его, Гоголь ничем особенным не выдался из круга собеседников, и он не сохранил в памяти даже его наружности. Гоголь не застал Максимовича дома, и Максимович, узнав, что у него был автор «Вечеров на хуторе», поспешил к нему в гостиницу. Гоголь встретил его как старого знакомого, видев его три года тому назад не более как в продолжение двух часов, и Максимовичу стоило большого труда не дать заметить поэту, что он совсем его не помнит. По словам Максимовича, Гоголь был тогда хорошеньким молодым человеком, в шелковом архалуке вишневого цвета. Оба они заняты были в то время Малороссией: Гоголь готовился писать историю этой страны, а Максимович собирался печатать свои «Украинские народные песни», и потому они нашли друг друга очень интересными людьми.

П. А. Кулиш со слов М. А. Максимовича. Записки о жизни Гоголя, I, 116.

Не помню, через сколько времени, Гоголь опять был в Москве проездом на самое короткое время; был у нас и опять попросил меня ехать вместе с ним к Загоскину, на что я охотно согласился. Мы были у Загоскина также поутру; он по-прежнему принял Гоголя очень радушно и любезничал по-своему; а Гоголь держал себя также по-своему, то есть говорил о совершенных пустяках и ни слова о литературе, хотя хозяин заговаривал о ней не один раз. Замечательного ничего не происходило, кроме того, что Загоскин, показывая Гоголю свои раскидные кресла, так прищемил мне обе руки пружинами, что я закричал, а Загоскин оторопел и не вдруг освободил меня из моего тяжкого положения, в котором я был похож на растянутого для пытки человека; от этой потехи руки у меня долго болели. Гоголь даже не улыбнулся; но впоследствии часто вспоминал этот случай и, смеясь сам, так мастерски его рассказывал, что заставлял всех хохотать до слез. Вообще в его шутках было много оригинальных приемов, выражений, складу и того особенного юмора, который составляет исключительно собственность малороссов; передать их невозможно. Впоследствии бесчисленными опытами убедился я, что повторение Гоголевых слов, от которых слушатели валились со смеху, когда он сам их произносил, не производило ни малейшего эффекта, когда говорил их я или кто-нибудь другой. И в этот приезд знакомство наше с Гоголем не подвинулось вперед.

С. Т. Аксаков. История знакомства, 8.

В Петербурге брат старался доставить нам всевозможные удовольствия: возил нас по нескольку раз в театр, зверинец и другие места. Раз повез он нас в театр и велел нам оставить наши зеленые капоры в санях извозчика; кончается спектакль, зовем извозчика, а его и след пропал; пришлось, таким образом, брату заказывать новые. Квартиру брат переменял при нас два раза и устраивал решительно все сам, кроме занавесок, которые шила женщина, но которые он все-таки сам кроил и даже показывал, как шить. Вечерами у него бывали гости, но мы почти никогда не выходили; иногда он устраивал большие вечера по приглашению, и тогда опять всегда сам смотрел за всеми приготовлениями и даже сам приготовлял какие-то сухарики, обмакивая их в шоколад, – он их очень любил.

Не выходя к гостям брата, мы все-таки имели возможность наблюдать их приезд из одного окна своей комнаты, которое выходило в переднюю. Мы прожили таким образом с братом, кажется, с месяц; в это же время он нас сам подготовлял к поступлению в институт, не забывая в то же

время покупать нам разные сласти и игрушки. Несмотря на всю свою молодость в то время, он заботился и пекся о нас, как мать.

Е. В. Гоголь-Быкова. Русь, 1885, № 26, стр. 6.

Во время пребывания Гоголя в Петербурге он был знаком и часто посещал Семенова, бывшего в то время цензором; Гоголь часто читал Семенову свои произведения не только как хорошему знакомому, но и как цензору, спрашивая его о том, удобно или неудобно прочитанное к печати. В одно из таких посещений, когда у Семенова было несколько человек гостей, Гоголь принес свой рассказ «Прачка», написанный на нескольких почтовых листочках, и читал его вслух. Живой и веселый юмор этого маленького рассказа заставил слушателей хохотать до слез; но, к несчастью, некоторая бесцеремонность и двусмысленность выражений были причиною того, что рассказ не мог быть признан в то время удобным к печати. Гоголь хотел было уничтожить рукопись, но Семенов попросил ее у него себе на память. Затем рукопись оставалась у Семенова до отъезда его из Петербурга. В числе других книг и рукописей подарил он при отъезде и эту рукопись своему родственнику Н. Н. Терпигореву. Сын его, С. Н. Терпигорев, студент Петербургского университета, читал эти листочки в тамбовской деревне отца и помнит содержание «Прачки». Вот оно. Действующие лица рассказа – петербургский чиновник и прачка, моющая на него белье; при сдаче прачкой вымытого белья не оказывается одной штуки; чиновник требует ее; прачка обижается, и между ними происходит перебранка; оскорбленное самолюбие прачки доходит до высшей степени, сыплются крупные слова, колкости и т. п.; чиновник требует своей штуки, прачка говорит, что у нее нет никакой его штуки, и т. д. 25.

Московские Ведомости, 1861, № 3, стр. 23.

Не сомневайтесь в нашей привязанности к вам. Она с моей стороны неограниченна, и если я вам казался иногда холоден, так это оттого, что у меня много разных занятий, между тем как у вас одно только попечение о детях ваших. Верьте, что у всякого, кто бы имел такую редкую мать, как вы, благодарность, любовь и почтение были бы к вам вечны... Да, сделайте милость, выгоните вон Борисовича, и чем скорее, тем лучше; он выучил моего Якима пьянствовать. Теперь все мне открылось, когда они вместе, Яким с Яковом и Борисовичем, ходили за утками и пропадали три дня; это все они пьянствовали и были так мертвецки пьяны, что их чужие люди перенесли. Я Якима больно...[19]

Гоголь – матери, 22 ноября 1832 г., из Петербурга. Письма, I, 226.

Я, покамест, здоров и даже поправился. Следствие ли это советов Дядьковского (*полтавского доктора*), которыми он меня снабдил на дорогу, или здешнего моего врачевателя Гаевского, который одобряет многое, замеченное Дядьковским, только я чувствую себя лучше против прежнего. Досада только, что творческая сила меня не посещает до сих пор... У меня холодна квартира, и я теперь всякого, у кого в комнате 15 градусов тепла, почитаю счастливцем.

Гоголь – М. П. Погодину, 25 ноября 1832 г., из Петербурга, Письма, I, 227.

Гоголь летом ездил на родину. Вы помните, что он в службе и обязан о себе давать отчет. Как же он поступил? Четыре месяца не было про него ни слуху, ни духу. Оригинал.

П. А. Плетнев – В. А. Жуковскому, 8 дек. 1832 г. Соч. Плетнева, III, 522.

13 ноября 1832 г. № 263 – Учитель Патриотического института 14-го класса Гоголь-Яновский, возвратясь из домового отпуска, привез с собою двух сестер в том предположении, чтобы определить их в Патриотический институт для воспитания. Девицы сии не могут поступить ни на правах штатных воспитанниц, ни пансионерок, но г. Гоголь просит, чтобы их поместить взамен его жалованья, коего производится ему от института 1200 р. в год.

Представление начальницы института Л. К. Вистингаузен.

РЕЗОЛЮЦИЯ

Ее императорское величество соизволила утвердить сие представление, с тем чтобы милость сия не служила примером впредь для других, единственно по уважению к ходатайству г-жи начальницы института, повелев также и в списках воспитанниц и пансионерок девиц Гоголь-Яновских не считать, за неимением ими права на поступление в Патриотический институт[20], 5 дек. 1832 г. Н. Лонгинов.

Рус. Стар., 1887, дек., 752.

Иногда по вечерам брат уезжал куда-нибудь, и тогда мы ложились спать раньше. Раз, именно в такой вечер, мы уже спали, когда приходит к нам Матрена, жена братнина человека Якима, будит нас и говорит, что брат приказал нас завить, так как на другой день нас отвезут в институт; нас, почти спящих, завили и уложили снова. На другой день нас одели в закрытые шоколадные платья из драдедама, и брат повез нас в институт, где передал начальнице Патриотического института г-же Вистингаузен,

маленькой горбатой старушке; она ввела нас в класс и отрекомендовала: «Сестры Гоголя». Нас тотчас же все обступили, как новеньких и вдобавок сестер своего учителя. С большою грустью и слезами расстались мы с братом и водворились в институте.

Е. В. Гоголь-Быкова. Русь, 1885, № 26, стр. 7.

При нас брат недолго оставался учителем, и когда он вызывал нас отвечать, то всех в классе очень занимало, как мы будем отвечать брату, но именно это нас и конфузило, и мы большею частью совсем не хотели отвечать; когда у него бывали уроки в институте, то по окончании их он всегда оставался с нами на полчаса и всегда приносил лакомства. Впрочем, он и сам был большой лакомка, и иногда один съедал целую банку варенья, и если я в это время прошу у него слишком много, то он всегда говорил: «Погоди, я вот лучше покажу тебе, как ест один мой знакомый, смотри – вот так, а другой этак» и т. д. И пока я занималась представлением и смеялась, он съедал всю банку. У меня была маленькая страсть писать, и я наполнила толстую тетрадь своими сочинениями под названием «Комедии и сказки» и отдала эту тетрадь брату, который, разумеется, тотчас же стал смеяться и рассказал о моем сочинительстве нашему инспектору Плетневу, и тот после часто шутя спрашивал меня в классе о моих сочинениях. Меня всегда это очень конфузило, и больше я уже не пробовала ничего писать. Брат часто пропускал свои уроки, частью по болезни, а частью просто и по лени и наконец отказался совсем.

Е. В. Гоголь-Быкова. Русь, 1885, № 26, стр. 7.

У Гоголя вертится на уме комедия. Не знаю, разродится ли он ею нынешней зимой; но я ожидаю в этом роде от него необыкновенного совершенства. В его сказках меня всегда поражали драматические места.

П. А. Плетнев – В. А. Жуковскому, 8 дек. 1832 г. Соч. Плетнева. III, 522.

В Петербурге собралось более десяти товарищей: Гоголь, Прокопович, Данилевский, Пащенко, Кукольник, Базили, Гребенка, Мокрицкий и еще некоторые. Определились по разным министерствам и начали служить. Мокрицкий хорошо рисовал и заявил себя замечательным художником по живописи. Товарищи часто сходились у кого-нибудь из своих, составляли тесный приятельский кружок и приятно проводили время. Гоголь был душою кружка. Вот приходит однажды в этот кружок товарищей Мокрицкий и приносит с собою что-то, завязанное в узелке. «А что это у тебя, брате Аполлоне?» спрашивает Гоголь. Мокрицкий был заика и с трудом отвечает: «Это... это, Н. В., не по твоей части; это – священнее». – «Как, что такое, покажи?» – «Пожалуйста, не трогай, Н.

В., – говорю тебе, нельзя, это священнее». (В узелке были костюмчики детей кн. N; костюмчики нужны были Мокрицкому для картины, и он добыл их не без труда.) Гоголь схватил узелок, развязал, увидел, что там такое, плюнул в него и швырнул в окно на улицу. Мокрицкий вскрикнул от ужаса, бросился к окну и хотел выскочить, но было высоко; бросается в дверь, бежит на улицу и схватывает свой узелок. Хохотали все до упаду.

Т. Г. Пащенко по записи В. Пашкова. Берег, 1880, № 268.

Около 1832 года, когда я впервые познакомился с Гоголем, он дал всем своим товарищам по нежинскому лицею и их приятелям прозвища, украсив их именами знаменитых французских писателей, которыми тогда восхищался весь Петербург. Тут были Гюго, Александры Дюма, Бальзаки, и даже один скромный приятель именовался София Ге. Не знаю почему, я получил титул Жюль-Жанена, под которым и состоял до конца.

П. В. Анненков. Гоголь в Риме, Литературные воспоминания, стр. 11.

Н. Я. Прокопович был очень даровитая личность. Но он вдруг увлекся в Петербурге театром до того, что хотел поступить на сцену и вместо того поступил в театральную школу. Это всех сильно поразило: человек с большим развитием и знаниями садится на скамью театрального училища! Он был чрезвычайно скромен, и эта скромность губила его; еще в Нежине он стал выдаваться и заявлять себя. В Петербурге он познакомился с актером Сосницким, и тот его завербовал. Вероятно, к этому времени относится также начало знакомства Гоголя с Сосницким. Вскоре Прокопович познакомился с Комаровым, племянником Федорова, тогдашнего начальника театральной школы, а Комаров, в свою очередь, ввел в нежинский кружок Анненкова, и через него же Прокопович и Гоголь узнали впоследствии Белинского...

В. И. Шенрок со слов А. С. Данилевского. Материалы, II. 190.

В Петербурге около Гоголя составился круг его школьных приятелей и новых, молодых знакомых, которые любили его горячо и были ему по душе. Перед этим кругом Гоголь всегда стоял просто, в обыкновенной своей позиции, хотя сосредоточенный, несколько скрытный характер и наклонность овладевать и управлять людьми не оставляли его никогда. Кроме жаркой привязанности, которую он питал вообще к двум-трем товарищам своего детства, – «ближайшим людям своим», как он их называл, – Гоголю должен был нравиться и тот откровенный энтузиазм, который выказывался тут к тогдашней литературной деятельности его, несмотря на совершенно короткое, нецеремонное обращение приятелей между собой. В этом круге он встречал только ласковые, часто им же

воодушевленные лица, и не было ему надобности осматриваться, беречься и отклонять от себя взоры. За чертой круга Гоголь открывал себе широкий путь жизни всеми средствами, которые находились в его богатой натуре, не исключая хитрости и сноровки затрогивать наиболее живые струны человеческого сердца. Он сходил с этой арены в безвестный и, так сказать, уединенный круг своих приятелей если не отдыхать (в это время он не отдыхал почти никогда, но жил постоянно всеми своими способностями), то, по крайней мере, сравнивать его бескорыстные суждения о себе и ряд надежд, возлагаемых на него, с тем, что говорилось и делалось по поводу его особы на другом, более обширном поприще. Он был прост перед своим кругом, добродушен, весел, хотя и сохранял тонкий, может быть, невольный оттенок чувства своего превосходства и своего значения. Мало-помалу род поучения, ободрения и удовольствия, какие он почерпал в этом круге, становились ему менее нужны и менее привлекательны; жизнь начала нестись с такой силой вокруг него, показались такие горячие, страстные привязанности, действовавшие и на общественное мнение, что никем не ведомый и запертый в себе самом кружок должен был потерять значение в его глазах. Притом же вскоре явились требования со стороны других приверженцев Гоголя, на которые старый круг не мог отвечать, и явления в самом Гоголе, которые трудно было понять ему; но почти ко всем его лицам Гоголь сохранил неизменное расположение, доказывавшее теплоту и благородство его сердца. Он даже в минуту развития самостоятельных, наиболее исключительных своих мнений еще вопрошал мысль прежних своих приятелей и прислушивался к ней с большим любопытством.

Гоголь перепробовал множество родов деятельности – служебную, актерскую, художническую, писательскую. С появлением «Вечеров на хуторе», имевших громадный успех, дорога, наконец, была найдена, но деятельность его еще удвоивается после успеха. Тут я с ним и познакомился. Он был весь обращен лицом к будущему, к расчищению себе путей во все направления, движимый потребностью развить все силы свои, богатство которых невольно сознавал в себе. Необычайная житейская опытность, приобретенная размышлениями о людях, выказывалась на каждом шагу. Он исчерпывал людей так свободно и легко, как другие живут с ними. Не довольствуясь ограниченным кругом ближайших знакомых, он смело вступал во все круга, и цели его умножались и росли по мере того, как преодолевал он первые препятствия на пути. Он сводил до себя лица, стоявшие, казалось, вне обычной сферы его деятельности, и зорко открывал в них те нити, которыми мог привязать к себе. Искусство подчинять себе чужие воли изощрялось вместе с навыком в деле, и мало-помалу приобреталось не менее важное искусство – направлять обстоятельства так, что они переставали быть препонами и помехами, а обращались в покровителей и поборников человека. Никто тогда не походил более его на

итальянских художников XVI века, которые были в одно время гениальными людьми, благородными, любящими натурами и – глубоко практическими умами.

Мы сказали, что Гоголь часто сходил с шумного, трудового своего жизненного поприща в уединенный круг своих приятелей – потолковать преимущественно о явлениях искусства, которые, в сущности, одни только и наполняли его душу. Он никогда не говорил с приятелями об ученых своих предприятиях и других замыслах, потому что хотел оставаться с ними искренним и таким, каким его знали сначала. Гоголь жил на Малой Морской, в доме Лепена, на дворе, в двух небольших комнатах, и я живо помню темную лестницу квартиры, маленькую переднюю с перегородкой, небольшую спальню, где он разливал чай своим гостям, и другую комнату, попросторнее, с простым диваном у стены, большим столом у окна, заваленным книгами, и письменным бюро возле него. В первый раз, как я попал на один из чайных вечеров его, он стоял у самовара и только сказал мне: «Вот, вы как раз поспели». В числе гостей был у него пожилой человек, рассказывавший о привычках сумасшедших, строгой, почти логической последовательности, замечаемой в развитии нелепых их идей. Гоголь подсел к нему, внимательно слушал его повествование, и, когда один из приятелей стал звать всех по домам, Гоголь возразил, намекая на своего посетителя: «Ты ступай… Они уже знают свой час, и, когда надобно, уйдут». Большая часть материалов, собранных из рассказов пожилого человека, употреблены были Гоголем потом в «Записках сумасшедшего». Часто потом случалось мне сидеть и в этой скромной чайной, и в зале. Гоголь собирал тогда английские кипсеки с видами Греции, Индии, Персии и проч., той известной тонкой работы на стали, где главный эффект составляют необычная обделка гравюры и резкие противоположности света с тенью. Он любил показывать дорогие альманахи, из которых, между прочим, почерпал свои поэтические воззрения на архитектуру различных нравов и на их художественные требования. Степенный, всегда серьезный Яким состоял тогда в должности его камердинера. Гоголь обращался с ним совершенно патриархально, говоря ему иногда: «Я тебе рожу побью», что не мешало Якиму постоянно грубить хозяину, а хозяину заботиться о существенных его пользах и, наконец, устроить ему покойную будущность. Сохраняя практический оттенок во всех обстоятельствах жизни. Гоголь простер свою предусмотрительность до того, что раз, отъезжая по делам в Москву, сам расчертил пол своей квартиры на клетки, купил красок и, спасая Акима от вредной праздности, заставил его изобразить довольно затейливый паркет на полу во время своего отсутствия. Приятели сходились также друг у друга на чайные вечера, где всякий очередной хозяин старался превзойти другого разнообразием, выбором и изяществом кренделей, прибавляя всегда, что они куплены на вес

золота. Гоголь был в этих случаях строгий, нелицеприятный судья и оценщик.

На этих сходках царствовала веселость, бойкая насмешка над низостью и лицемерием, которой журнальные, литературные и всякие другие анекдоты служили пищей, но особенно любил Гоголь составлять куплеты и песни на общих знакомых. С помощью Н. Я. Прокоповича и А. С. Данилевского, товарища Гоголя по лицею, человека веселых нравов, некоторые из них выходили, действительно, карикатурно-метки и уморительны. Много тогда было сочинено подобных песен. Помню, что несколько вечеров Гоголь беспрестанно тянул (мотивы для куплетов выбирались из новейших опер – из «Фенеллы», «Роберта», «Цампы») кантату, созданную для прославления будущего предполагаемого его путешествия в Крым, где находился стих:

И с Матреной наш Яким

Потянулся прямо в Крым.

В памяти у меня остается также довольно нелепый куплет, долженствовавший увековечить подвиги молодых учителей из его знакомых, отправлявшихся каждый день на свои лекции на Васильевский остров. Куплет, кажется, принадлежал Гоголю безраздельно:

Все бобрами завелись,

У Фаге все завились

И пошли через Неву,

Как чрез мягку мураву, и т. д.

Точно так же происходило и на обедах в складчину, где Гоголь сам приготовлял вареники, галушки и другие малороссийские блюда. Важнее других бывал складчинный обед в день его именин, 9 мая, к которому он обыкновенно уже одевался по-летнему, сам изобретая какой-то фантастический наряд. Он надевал обыкновенно ярко-пестрый галстучек, взбивал высоко свой завитой кок, облекался в какой-то белый, чрезвычайно короткий и распашной сюртучок, с высокой талией и буфами на плечах, что делало его действительно похожим на петушка, по замечанию одного из его знакомых. Как далек еще тогда он был от позднейшей самоуверенности в оценке собственных произведений, может служить то, что на одном из складчинных обедов 1832 г. он сомнительно и даже отчасти грустно покачал головой при похвалах, расточаемых новой повести его «Ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифировичем». «Это вы говорите, – сказал он, – а другие считают ее фарсом». Вообще суждениями так называемых избранных людей Гоголь, по благородно высокой практической натуре своей, никогда не

довольствовался. Ему всегда нужна была публика. Случалось также, что в этих сходках на Гоголя нападала беспокойная, судорожная, горячечная веселость – явное произведение материальных сил, чем-либо возбужденных.

Вообще следует заметить, что природа его имела многие из свойств южных народов, которых он так ценил вообще. Он необычайно дорожил внешним блеском, обилием и разнообразием красок в предметах, пышными, роскошными очертаниями, эффектом в картинах и природе. «Последний день Помпеи» Брюллова привел его в восторг. Полный звук, ослепительный поэтический образ, мощное, громкое слово, все, исполненное силы и блеска, потрясало его до глубины сердца. Он просто благоговел перед созданиями Пушкина за изящество, глубину и тонкость их поэтического анализа, но так же точно с выражением страсти в глазах и голосе, сильно ударяя на некоторые слова, читал и стихи Языкова. В жизни он был очень целомудрен и трезв, если можно так выразиться, но в представлениях он совершенно сходился со страстными, внешне великолепными представлениями южных племен. Вот почему также он заставлял других читать и сам зачитывался в то время Державиным. Чтение его, если уже раз ухо ваше попривыкло к малороссийскому напеву, было чрезвычайно обаятельно: такую поразительную выпуклость умел он сообщать наиболее эффектным частям произведения и такой яркий колорит получали они в устах его! Можно сказать, что он проявлял натуру южного человека даже и светлым, практическим умом своим, не лишенным примеси суеверия… Если присоединить к этому замечательно тонкий эстетический вкус, открывавший ему тотчас подделку под чувство и ложные, неестественные краски, как бы густо или хитро ни положены они были, то уже легко будет понять тот род очарования, которое имела его беседа. Он не любил уже и в то время французской литературы, да не имел большой симпатии и к самому народу за «моду, которую они ввели по Европе», как он говорил: «быстро создавать и тотчас же, по-детски, разрушать авторитеты». Впрочем, он решительно ничего не читал из французской изящной литературы и принялся за Мольера только после строгого выговора, данного Пушкиным за небрежение к этому писателю. Так же мало знал он и Шекспира (Гете и вообще немецкая литература почти не существовали для него), и из всех имен иностранных поэтов и романистов было знакомо ему не по догадке и не по слухам одно имя – Вальтер Скотта. Зато и окружил он его необычайным уважением, глубокой попечительной любовью. Вальтер Скотт не был для него представителем охранительных начал, нежной привязанности к прошедшему, каким сделался в глазах европейской критики; все эти понятия не находили тогда в Гоголе ни малейшего отголоска и потому не могли задобривать его в пользу автора. Гоголь любил Вальтер Скотта просто с художнической точки зрения, за удивительное распределение материи рассказа, подробное обследование

характеров и твердость, с которой он вел многосложное событие ко всем его результатам. В эту эпоху Гоголь был наклонен скорее к оправданию разрыва с прошлым и к нововводительству, признаки которого очень ясно видны и в его ученых статьях о разных предметах, чем к пояснению старого или к искусственному оживлению его… В тогдашних беседах его постоянно выражалось одно стремление к оригинальности, к смелым построениям науки и искусства на других основаниях, чем те, какие существуют, к идеалам жизни, созданным с помощью отвлеченной, логической мысли, – словом, ко всем тем более или менее поэтическим призракам, которые мучат всякую деятельную благородную молодость. При этом направлении два предмета служили как бы ограничением его мысли и пределом для нее, именно: страстная любовь к песням, думам, умершему прошлому Малороссии, что составляло в нем истинное охранительное начало, и художественный смысл, ненавидевший все резкое, произвольное, необузданно-дикое. Они были, так сказать, умерителями его порывов, В этом соединении страсти, бодрости, независимости всех представлений со скромностью, отличающей практический взгляд, и благородством художественных требований заключался и весь характер первого периода его развития, того, о котором мы теперь говорим.

Никогда, однако ж, даже в среде одушевленных и жарких прений, происходивших в кружке по поводу современных литературных и жизненных явлений, не покидала его лица постоянная, как бы приросшая к нему, наблюдательность. Он, можно сказать, не раздевался никогда, и застать его обезоруженным не было возможности. Зоркий глаз его постоянно следил за душевными и характеристическими явлениями в других: он хотел видеть даже и то, что легко мог предугадать. Сколько было тогда подмечено в некоторых общих приятелях мимолетных черт лукавства, мелкого искательства, которыми трудолюбивая бездарность старается обыкновенно вознаградить отсутствие производительных способов; сколько разоблачено риторической пышности, за которой любит скрываться бедность взгляда и понимания, сколько открыто скудного житейского расчета под маской приличия и благонамеренности! Все это составляло потеху кружка, которому немалое удовольствие доставлял и тогдашний союз денежных интересов в литературе со всеми его изворотами, войнами, триумфами и победными маршами. Для Гоголя как здесь, так и в других сферах жизни ничего не пропадало даром. Он прислушивался к замечаниям, описаниям, анекдотам, наблюдениям своего круга и, случалось, пользовался ими. В этом, да и в свободном изложении своих мыслей и мнений круг работал на него. Однажды при Гоголе рассказан был канцелярский анекдот о каком-то бедном чиновнике, страстном охотнике за птицей, который необычайной экономией и неутомимыми усиленными трудами сверх должности накопил сумму, достаточную на покупку хорошего лепажевского ружья рублей в 200 (асс.). В первый раз,

как на маленькой своей лодочке пустился он по Финскому заливу за добычей, положив драгоценное ружье перед собою на нос, он находился, по его собственному уверению, в каком-то самозабвении и пришел в себя только тогда, как, взглянув на нос, не увидал своей обновки. Ружье было стянуто в воду густым тростником, через который он где-то проезжал, и все усилия отыскать его были тщетны. Чиновник возвратился домой, лег в постель и уже не вставал: он схватил горячку. Только общей подпиской его товарищей, узнавших о происшествии и купивших ему новое ружье, возвращен он был к жизни, но о страшном событии уже не мог никогда вспоминать без смертельной бледности на лице… Все смеялись анекдоту, имевшему в основании истинное происшествие, исключая Гоголя, который выслушал его задумчиво и опустил голову. Анекдот был первой мыслью повести его «Шинель», и она заронилась в душу его в тот же самый вечер. Поэтический взгляд на предметы был так свойствен его природе и казался ему таким обыкновенным делом, что самая теория творчества, которую он излагал тогда, отличалась поэтому необыкновенной простотой. Он говорил, что для успеха повести и вообще рассказа достаточно, если автор опишет знакомую ему комнату и знакомую улицу. «У кого есть способность передать живописно свою квартиру, тот может быть и весьма замечательным автором и впоследствии», – говорил он. На этом основании он побуждал даже многих из своих друзей приняться за писательство. Но если теория была слишком проста и умалчивала о многих качествах, необходимых писателю, то критика Гоголя, наоборот, отличалась разнообразием, глубиной и замечательной многосложностью требований. Не говоря уже о том, что он угадывал по инстинкту всякое неживое, а придуманное лицо, сознаваясь, что оно возбуждает в нем почти такое же отвращение, как труп или скелет, но Гоголь ненавидел идеальничанье в искусстве прежде критиков, возбудивших гонение на него. Он никак не мог приучить себя ни к трескучим драмам Кукольника, которые тогда хвалились в Петербурге, ни к сентиментальным романам Полевого, которые тогда хвалились в Москве. Поэзия, которая почерпается в созерцании живых, существующих действительных предметов, так глубоко понималась и чувствовалась им, что он, постоянно и упорно удаляясь от умников, имеющих готовые определения на всякий предмет, постоянно и упорно смеялся над ними и, наоборот, мог проводить целые часы с любым конным заводчиком, с фабрикантом, с мастеровым, излагающим глубочайшие тонкости игры в бабки, со всяким специальным человеком, который далее своей специальности ничего не знает. Он собирал сведения, полученные от этих людей, в свои записочки, – и они дожидались там случая превратиться в части чудных поэтических картин. Для него даже мера уважения к людям определялась мерой их познания и опытности в каком-либо отдельном предмете. При выборе собеседника он не запинался между остроумцем, праздным, даже,

пожалуй, дельным литературным судьею и первым попавшимся знатоком какого-либо производства. Он тотчас становился лицом к последнему. Но, по нашему мнению, важнее всего этого была в Гоголе та мысль, которую он приносил с собой в это время повсюду. Мы говорим об энергическом понимании вреда, производимого пошлостью, ленью, потворством злу, с одной стороны, и грубым самодовольством, кичливостью и ничтожеством моральных оснований – с другой. Он относился ко всем этим явлениям совсем не равнодушно, как можно заключить даже из напечатанных его писем о московской журналистике и об условиях хорошей комедии. В его преследовании темных сторон человеческого существования была страсть, которая и составляла истинное нравственное выражение его физиономии. Он и не думал еще тогда представлять свою деятельность как подвиг личного совершенствования, да и никто из знавших его не согласится видеть в ней намеки на какое-либо страдание, томление, жажду примирения и проч. Он ненавидел пошлость откровенно и наносил ей удары, к каким только была способна его рука, с единственной целью потрясти ее, если можно, в основании. Этот род одушевления сказывался тогда во всей его особе, составляя и существенную часть нравственной красоты ее. Честь бескорыстной борьбы за добро, во имя только самого добра и по одному только отвращению к извращенной и опошленной жизни, должна быть удержана за Гоголем этой эпохи, даже и против него самого, если бы нужно было. Несомненные исторические свидетельства тут важнее признаний автора, подсказанных другого рода соображениями и сильным подавляющим влиянием новых идей, позднее возникших в его сердце. Мы с своей стороны убеждены, что Гоголь имел, между прочим, в виду и этого рода деятельность, когда накануне 1834 года обращался к своему гению с удивительным поэтическим дифирамбом, вопрошая будущее и требуя у него труда, вдохновения и подвига. Чудно и многознаменательно звучат последние слова этого воззвания к гению: «О, не разлучайся со мною! Живи на земле со мной хотя два часа каждый день, как прекрасный брат мой! я совершу, я совершу! Жизнь кипит во мне! Труды мои будут вдохновенны. Над ними будет веять недоступное земле божество. Я совершу! о, поцелуй и благослови меня!» Но кроме вдохновенных часов, каких Гоголь просил у своего гения, и кроме положительной деятельности, к какой приводило чувство кипящей жизни и силы, он еще, по характеру своему, старался действовать на толпу и внешним своим существованием; он любил показать себя в некоей таинственной перспективе и скрыть от нее некоторые мелочи, которые особенно на нее действуют.

Таким был или, по крайней мере, таким представлялся нам молодой Гоголь. Великую ошибку сделает тот, кто смешает Гоголя последнего периода с тем, который начинал тогда жизнь в Петербурге, и вздумает прилагать к молодому Гоголю нравственные черты, выработанные

гораздо позднее, уже тогда, как совершился важный переворот в его жизни.

П. В. Анненков. Гоголь в Риме. Литературные воспоминания. Стр. 14–15, 18–19, 21–27.

Гоголь не обладал тогда необходимою многосторонностью взгляда. Ему недоставало еще значительного количества материалов развитой образованности, а Пушкин признавал высокую образованность первым, существенным качеством всякого истинного писателя в России. Я сам слышал от Гоголя о том, как рассердился на него Пушкин за легкомысленный приговор Мольеру: «Пушкин, – говорил Гоголь, – дал мне порядочный выговор и крепко побранил за Мольера. Я сказал, что интрига у него почти одинакова и пружины схожи между собой. Тут он меня поймал и объяснил, что писатель, как Мольер, надобности не имеет в пружинах и интригах; что в великих писателях нечего смотреть на форму, что, куда бы он ни положил добро свое, – бери его, а не ломайся».

П. В. Анненков. Материалы для биографии Пушкина. Изд. 2-е, 1873. Стр. 361.

Н. Я. Прокопович вспоминает с восхищением об этой поре жизни своего друга. У него я видел портрет Гоголя, рисованный и литографированный Венециановым и который, по словам владельца, можно назвать портретом автора «Тараса Бульбы». Гоголь отличался тогда щеголеватостью своего костюма, которым впоследствии начал пренебрегать, но боялся холоду и носил зимою шинель, плотно запахнув ее и подняв воротник обеими руками выше ушей.

П. А. Кулиш, I, 101.

В Петербурге некоторые помнят Гоголя щеголем; было время, что он даже сбрил себе волосы, чтобы усилить их густоту, и носил парик. Но те же самые лица рассказывают, что у него из-под парика выглядывала иногда вата, которую он подкладывал под пружины, а из-за галстуха вечно торчали белые тесемки.

П. А. Кулиш. I, 52.

Кроме мимики, Гоголь умел перенимать и голос других. Во время своего пребывания в Петербурге он любил представлять одного старичка. Б., которого он знавал в Нежине. Один из его слушателей, никогда не видавший этого Б., приходит раз к Гоголю и видит какого-то старичка,

который играет на ковре с детьми. Голос и манеры этого старичка тотчас напомнили ему представление Гоголя. Он отводит хозяина в сторону и спрашивает, не Б. ли это. Действительно, это был Б.

П. А. Кулиш, I, 28.

Любимых игр у Гоголя в детстве не было, как впоследствии не было никаких физических упражнений; напр., он не любил никакого спорта, верховой езды и проч.; до некоторой степени нравившимся ему развлечением была разве игра на бильярде.

А. С. Данилевский по записи В. И. Шенрока. Материалы, I, 106.

Очень понимаю и чувствую состояние души твоей (*Данилевский был влюблен в красавицу Э. А. Клингенберг, впоследствии Шан-Гирей*), хотя самому, благодаря судьбу, не удалось испытать. Я потому говорю «благодаря», что это пламя меня бы превратило в прах в одно мгновенье. Я бы не нашел себе в прошедшем наслаждения; я силился бы превратить это в настоящее и был бы сам жертвой этого усилия. И потому-то, к спасению моему, у меня есть твердая воля, два раза отводившая меня от желания заглянуть в пропасть. Ты счастливец, тебе удел вкусить первое благо в свете – любовь; а я... Но мы, кажется, своротили на байронизм.

Гоголь – А. С. Данилевскому, 20 дек, 1832 г., из Петербурга. Письма, I, 232.

Вы спрашиваете об «Вечерах» Диканьских. Черт с ними! Я не издаю их (*вторым изданием*); и хотя денежные приобретения были бы неизлишние для меня, но писать для этого, прибавлять сказки не могу. Никак не имею таланта заняться спекулятивными оборотами. Я даже позабыл, что я творец этих «Вечеров», и вы только напомнили мне об этом... Да обрекутся они неизвестности, покамест что-нибудь увесистое, великое, художническое не изыдет из меня! Но я стою в бездействии, в неподвижности. Мелкого не хочется, великое не выдумывается. Одним словом, умственный запор.

Гоголь – М. П. Погодину, 1 февр. 1833 г., из Петербурга. Письма, I, 237.

Как-то не так теперь работается! Не с тем вдохновенно-полным наслаждением царапает перо бумагу. Едва начинаю и что-нибудь совершу из истории, уже вижу собственные недостатки... Я не знаю, отчего я теперь так жажду современной славы. Вся глубина души так и рвется наружу. И я до сих пор не написал ровно ничего. Я помешался на

комедии. Она, когда я был в Москве, в дороге, и когда я приехал сюда, не выходила из головы моей, но до сих пор я ничего не написал. Уже и сюжет было на днях начал составляться, уже и заглавие написалось на белой, толстой тетради: «Владимир 3-ей степени», и сколько злости, смеха и соли!.. Но вдруг остановился, увидевши, что перо так и толкается об такие места, которые цензура ни за что не пропустит. А что из того, когда пиеса не будет играться: драма живет только на сцене. Без нее она, как душа без тела. Какой же мастер понесет напоказ народу неоконченное произведение? – Мне больше ничего не остается, как выдумать сюжет самый невинный, которым бы даже квартальный не мог обидеться. Но что комедия без правды и злости! Итак, за комедию не могу приняться. Примусь за историю, – передо мною движется сцена, шумит аплодисмент, рожи высовываются из лож, из райка, из кресел и оскаливают зубы, и история к черту. И вот почему я сижу при лени мыслей.

Гоголь – М. П. Погодину, 20 февр. 1833 г., из Петербурга. Письма, I, 244–245.

От М. С. Щепкина я узнал, что Гоголь писал комедию «Владимир третьей степени»; он даже читал некоторые из нее сцены, но потом бросил ее; впрочем, некоторые отрывки ее напечатаны в драматических сценах этого писателя. Но Щепкин не объяснил мне, какие именно из напечатанных отрывков входили в состав комедии «Владимир 3-ей степени». Вот что я узнал от М. С. Щепкина о содержании этой комедии. Героем ее был человек, поставивший себе целью жизни получить крест св. Владимира 3-й степени. Известно, что из всех орденов орден св. Владимира пользуется особенными привилегиями и уважением и дается за особенные заслуги и долговременную службу. Даже теперь, когда с получением других орденов не даются уже дворянские права, как это было прежде, орден св. Владимира удержал еще за собой это право. Старания героя пьесы получить этот орден составляли сюжет комедии и давали для нее богатую канву, которую, как говорят, превосходно воспользовался наш великий комик. В конце пьесы герой сходил с ума и воображал, что он сам и есть Владимир третьей степени. С особенною похвалою М. С. Щепкин отзывался о сцене, в которой герой пьесы, сидя перед зеркалом, мечтает о Владимире 3-ей степени и воображает, что этот крест уже на нем.

В. И. Родиславский. Беседы в Обществе любителей росс. словесности, М., 1871, вып. III, стр. 139.

Я вывез из дому всю роскошь лени и ничего решительно не делаю. Ум в странном бездействии; мысли так растеряны, что никак не могут собраться в одно целое.

Гоголь – А. С. Данилевскому, 8 февр. 1833 г., из Петербурга. Письма. I, 240.

У Гоголя ничего нового нет. Его комедия не пошла из головы. Он слишком много хотел обнять в ней, встречал беспрестанно затруднения в представлении и потому с досады ничего не написал. Еще есть другая причина его неудачи: он в такой холодной поселился квартире, что целую зиму принужден был бегать от дому, боясь там заморозить себя.

П. А. Плетнев – В. А. Жуковскому, 11 марта 1833 г. Соч. Плетнева, III, 528.

Я не иначе надеюсь отсюда вырваться, как только тогда, когда зашибу деньгу большую. А это не иначе может сделаться, как по написании увесистой вещи. А начало к этому уже сделано. Не знаю, как пойдет дальше.

Гоголь – М. П. Погодину, 8 мая 1833 г., из Петербурга. Письма, I, 249.

Сестра Марья Васильевна вышла замуж за поляка П. О. Трушковского, очень красивого, но он не имел никаких средств к жизни, кроме службы в чертежной. Женившись, они остались жить у нас, потому что у него не было средств даже квартиру нанять. Он ездил на службу в Полтаву, а большую часть жил у нас. Завел парники и виноград и табачную плантацию, – помню, как я ему помогала листья расправлять, – после затеял кожевенную фабрику, ввел мать в долги (ей пришлось продать свой хутор в Кременчугском уезде, который достался ей в приданое, кроме того, заложили половину Васильевки) и на этой фабрике прогорел.

О. В. Гоголь-Головня, 8.

Я послушала неопытных людей и завела кожевенную фабрику. Попавшийся нам шарлатан, австрийский подданный, уверил, что мы будем получать по 8000 рублей годового дохода на первый случай, а дальше и еще больше… В тот год (*1832*) приехал сын мой и посоветовал нам начать с маленького масштабу; фабрикант сказал: «зачем терять время даром, почему не получать вместо пяти тысяч сто?» Нанято было сапожников двадцать пять человек, как подскочил страшный голод; покупали хлеб по три рубля пуд, а между тем фабрикант наш намочил кожи и сдал на руки ученикам, которые ничего не знали, а сам, набравши несколько сотен сапогов, поехал продавать и, получа деньги, на шампанское с своими знакомыми пропил. (Мы не знали, что он имел слабость пить.) Возвратясь, он сказал, что ездил для больших для

фабрики дел, а о такой безделице он не намерен отдавать отчета, и что он договорился с полковником на ранцы. Тогда я его позвала и объявила, что больше на словах не верю ничего, когда не покажет на деле. И, так как он долго не возвращался, то кожи, оставленные им, все испортились, и он бежал, и мы не знали, что с теми кожами делать; и обманул еще пять помещиков, очень аккуратных и умных. Наконец, умер, и столько было наделано долгов, занимая в разных руках, что должны были заложить Васильевку, чтобы с ними расплатиться, на двадцать шесть лет, и платить по пятьсот рублей серебром проценту. И винокурня уничтожена, земляная мельница уничтожена для толчения дубовой коры, для выделки кож, и совершенно оставил нам расстроенное имение.

М. И. Гоголь. Автобиографическая записка. Рус. Арх., 1902, I, 708.

Пишу к вам в самый жаркий день. Термометр показывает двадцать пять градусов в тени. Я очень редко теперь живу в городе, в котором душно, как в бане. Солнце тиранствует, а не греет. Пользуясь тем, что многие оставили город, я ищу теперь себе другую квартиру, потому что старая надоела мне до смерти. Она меня заморозила зимою так, что одно только лето, подобное нынешнему, отогрело меня.

Гоголь – матери, 24 июня 1833 г., из Петербурга. Письма, I, 252.

Теперь только приехал из Петергофа, где прожил около месяца… Я живу здесь среди лета и не чувствую лета! Душно, а нет его. Совершенная баня; воздух хочет уничтожить, а не оживить. Не знаю, напишу ли я что-нибудь для вас (*для издававшегося Максимовичем альманаха «Денница»*). Я так теперь остыл, очерствел, сделался такой прозой, что не узнаю себя. Вот скоро будет год, как я ни строчки. Как ни принуждаю себя, нет, да и только… Мне пришло в думку потащиться на Кавказ, зане скудельный состав мой часто одолеваем недугом и крайне дряхлеет.

Гоголь – М. А. Максимовичу, 2 июля 1833 г., из Петербурга. Письма, I, 253–254.

Более трех дней, как я нахожусь в городе. До сего же времени жил за городом в Стрельне и около Петергофа. Время было довольно дурно: весь июль месяц был дождлив, дни походили на осенние. Вряд ли будет что-нибудь у меня в этом или даже в следующем году. Пошлет ли всемогущий бог мне вдохновение, – не знаю.

Гоголь – матери, 9 авг. 1833 г., из Петербурга. Письма, I, 255.

Какое прекрасное время настало у нас в конце августа! Дни ясные, солнечные, совершенно летние, а до того времени сделалась было настоящая осень. Я до сих пор еще не переехал в город и все живу еще в Стрельне.

Гоголь – матери, 30 авг. 1833 г., из Стрельни. Письма, I, 256.

Я песен не пою, потому что я мастер только подтягивать. А если бы запел соло, то мороз подрал бы по коже слушателей.

Гоголь – матери, 1 ноября 1833 г. Письма, I, 262.

Если бы вы знали, какие со мною происходили страшные перевороты, как сильно растерзано все внутри меня! Боже, сколько я пережег, сколько перестрадал! Но теперь я надеюсь, что все успокоится, и я буду снова деятельный, движущийся. Теперь я принялся за историю нашей единственной, бедной Украины. Ничто так не успокаивает, как история. Мои мысли начинают литься тише и стройнее. Мне кажется, что я напишу ее, что я скажу много того, чего до меня не говорили. Я очень порадовался, услышав от вас о богатом присовокуплении песен и собрании Ходаковского. Как бы я желал теперь быть с вами и пересмотреть их вместе, при трепетной свече, между стенами, убитыми книгами и книжною пылью, с жадностью жида, считающего червонцы! Моя радость, жизнь моя, песни! Как я вас люблю! Что все черствые летописи, в которых я теперь роюсь, перед этими звонкими, живыми летописями!.. Я сам теперь получил много новых, и какие есть между ними! Прелесть! Я вам их спишу… не так скоро, потому что их очень много. Да, я вас прошу, сделайте милость, дайте списать все находящиеся у вас песни… Вы не можете представить, как мне помогают в истории песни. Даже не исторические, даже похабные; они все дают по новой черте в мою историю, все разоблачают яснее и яснее, увы! прошедшую жизнь, и увы! прошедших людей…

Гоголь – М. А. Максимовичу, 9 ноября 1833 г., из Петербурга. Письма, I, 263.

Вчера Гоголь читал мне сказку «Как Ив. Ив. поссорился с Ив. Тимоф. (*Никифоровичем*)» – очень оригинально и очень смешно.

А. С. Пушкин. Дневник. 3 декабря 1833 г.

Известно заподлинно, что в Миргороде действительно существовали, разумеется, под другими именами, – Иван Иванович и Иван Никифорович, поссорившиеся за гусака. Они, впрочем, ссорились и

мирились неоднократно и нередко езжали в одном экипаже подавать друг на друга жалобу. Они находили удовольствие в том, чтобы их увещевали помириться, и вовсе были чужды чувства злобы и вражды.

П. А. Кулиш, I, 127.

IV

Профессура

В то время Киевский университет только что начинал организоваться. М. А. Максимович желал поступить на кафедру русской словесности, а к Гоголю писал, чтобы он искал для себя кафедры всеобщей истории.

П. А. Кулиш, I, 127.

Я тоже думал: туда, туда! В Киев, в древний, прекрасный Киев! Он наш, он не их, – не правда? Там или вокруг него деялись дела старины нашей. Я работаю. Я всеми силами стараюсь; но на меня находит страх: может быть, я не успею! Мне надоел Петербург, или лучше, не он, но проклятый климат его: он меня допекает. Да, это славно будет, если мы займем с тобою киевские кафедры; много можно будет наделать добра. А новая жизнь среди такого хорошего края! Там можно обновиться всеми силами. Разве это малость? Но меня смущает, если это не исполнится!..

Гоголь – М. А. Максимовичу, в декабре 1833 г., из Петербурга. Письма, I, 268.

К моим геморроидальным добродетелям вздумала еще присоединиться простуда, и у меня теперь на шее целый хомут платков. По всему видно, что эта болезнь запрет меня на неделю. Я решился, однако ж, не зевать и, вместо словесных представлений, набросать мои мысли и план преподавания на бумагу[21]. Если бы Уваров (*министр народного просвещения*) был из тех, каких немало у нас на первых местах, я бы не решился просить и представлять ему мои мысли, как и поступил я назад тому три года, когда мог бы занять место в Московском университете, которое мне предлагали[22]; но тогда был Ливен, человек ума недальнего. Грустно, когда некому оценить нашей работы. Но Уваров собаку съел… Во мне живет уверенность, что если я дождусь прочитать план мой, то в глазах Уварова он меня отличит от толпы вялых профессоров, которыми набиты университеты. – Я восхищаюсь заранее, когда воображу, как закипят труды мои в Киеве. Там я выгружу из-под спуда многие вещи, из которых я не все еще читал вам. Там кончу я историю Украины и юга России и напишу всеобщую историю, которой, в

настоящем виде ее, до сих пор, к сожалению, не только на Руси, но даже и в Европе нет. А сколько соберу там преданий, поверьев, песен и проч.!

Гоголь – А. С. Пушкину, 23 дек. 1833 г., из Петербурга. Письма, I, 270.

Великая, торжественная минута… У ног моих шумит мое прошедшее; надо мною сквозь туман светлеет неразгаданное будущее. Молю тебя, жизнь души моей, мой Гений! О, не скрывайся от меня! Пободрствуй надо мною в эту минуту и не отходи от меня весь этот, так заманчиво наступающий для меня, год. Какое же будешь ты, мое будущее? Блистательное ли, широкое ли, кипишь ли великими для меня подвигами, или… О, будь блистательно! Будь деятельно, все предано труду и спокойствию! Что же ты так таинственно стоишь передо мною, 1834-й? Будь и ты моим ангелом. Если лень и бесчувственность хотя на время осмелятся коснуться меня, – о, разбуди меня тогда! Не дай им овладеть мною!

Таинственный, неизъяснимый 1834! Где означу я тебя великими трудами? Среди ли этой кучи набросанных один на другой домов, гремящих улиц, кипящей меркантильности, – этой безобразной кучи мод, парадов, чиновников, диких северных ночей, блеску и низкой бесцветности? В моем ли прекрасном, древнем, обетованном Киеве, увенчанном многоплодными садами, опоясанном моим южным, прекрасным, чудным небом, упоительными ночами, где гора обсыпана кустарниками, с своими как бы гармоническими обрывами, и подмывающий ее мой чистый и быстрый, мой Днепр. – Там ли? – О!.. Я не знаю, как назвать тебя, мой Гений! Ты, от колыбели еще пролетавший с своими гармоническими песнями мимо моих ушей, такие чудные, необъяснимые доныне зарождавший во мне думы, такие необъятные и упоительные лелеявший во мне мечты! О, взгляни! Прекрасный, низведи на меня свои небесные очи! Я на коленях. Я у ног твоих! О, не разлучайся со мою! Живи на земле со мною хоть два часа каждый день, как прекрасный брат мой! Я совершу… Я совершу. Жизнь кипит во мне. Труды мои будут вдохновенны. Над ними будет веять недоступное земле божество! Я совершу! О, поцелуй и благослови меня!

Гоголь. «1834». (Так. наз. «Воззвание к гению» накануне нового, 1834, года.)

Я весь теперь погружен в историю малороссийскую и всемирную; и та, и другая у меня начинает двигаться. Это сообщает мне какой-то спокойный и равнодушный к житейскому характер… Ух, брат! Сколько приходит ко мне мыслей теперь! да каких крупных! полных, свежих! Мне кажется, что сделаю кое-что необщее во всеобщей истории. Малороссийская история моя чрезвычайно бешена, да иначе, впрочем, и

быть ей нельзя. Мне попрекают, что слог в ней уж слишком горит, не исторически жгуч и жив; но что за история, если она скучна!

Гоголь – М. П. Погодину, 11 янв. 1834 г., из Петербурга. Письма, I, 274.

Новые книги. Об издании Истории Малороссийских Казаков, сочинения Н. Гоголя (автора вечеров на хуторе близ Диканьки).

До сих пор еще нет у нас полной, удовлетворительной истории Малороссии и народа… Я решился принять на себя этот труд и представить сколько можно обстоятельнее: каким образом отделилась эта часть России; какое получила она политическое устройство, находясь под чуждым владением; как образовался в ней воинственный народ, означенный совершенною оригинальностью характера и подвигов; каким образом он три века с оружием в руках добывал права свои и упорно отстоял свою религию; как, наконец, навсегда присоединился к России; как исчезло воинственное бытие его и превращалось в земледельческое; как мало-помалу вся страна получила новые, взамен прежних, права и, наконец, совершенно слилась в одно с Россиею. Около пяти лет собирал я с большим старанием материалы, относящиеся к истории этого края. Половина моей истории уже почти готова, но я медлю выдавать в свет первые томы, подозревая существование многих источников, может быть, мне неизвестных, которые, без сомнения, хранятся где-нибудь в частных руках. И потому, обращаясь ко всем, усерднейше прошу (и нельзя, чтобы просвещенные соотечественники отказали в моей просьбе) имеющих какие бы то ни было материалы, летописи, записки, песни, повести бандуристов, деловые бумаги (особенно относящиеся до первобытной Малороссии) прислать мне их, если нельзя в оригиналах, то, по крайней мере, в копиях, назначая время, какое я могу продержать их у себя (если они им нужны), и означая адрес своих жительств.

Мне же прошу адресовать в С. П. Б. или магазин Смирдина или прямо в мою квартиру, в Малой Морской в доме Лепена, Н. В. Гоголю.

Северная Пчела, 1834, № 24, вторник, 30 янв.

Историю Малороссии я пишу всю от начала до конца. Она будет или в шести малых или в четырех больших томах.

Гоголь – М. А. Максимовичу, 12 февр. 1834 г., из Петербурга. Письма, I, 277.

Прочитав статью, назначенную для напечатания в «Библиотеке для чтения» под названием «Кровавый бандурист», глава из романа, я

нашел в ней как многие выражения, так и самый предмет в нравственном смысле неприличным. Это картина страданий и уничижения человеческого, написанная совершенно в духе новейшей французской школы, отвратительная, возбуждающая не сострадание и даже не ужас эстетический, а просто омерзение. Посему, имея в виду распоряжение Высшего Начальства о воспрещении новейших французских романов и повестей, я тем менее могу согласиться на пропуск русского сочинения, написанного в их тоне[23].

Цензор профессор Никитенко. 27 февр. 1834 г. Литературный Музеум, 352.

В награду отличных трудов пожалован от ее императорского величества бриллиантовым перстнем 1834 г., марта 9-го.

Аттестат Гоголя, выданный С.-Петербургским университетом. Рус. Стар., 1902, сент., 652.

(*Весною 1834 г. во второй книге альманаха «Новоселье» Смирдина появилась «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»*.)

Вот где можно сказать, что новое поколение подняло великого писателя на щитах, с первой же минуты его появления. Тогдашний восторг от Гоголя ни с чем не сравним. Его повсюду читали точно запоем. Необыкновенность содержания, типов, небывалый, неслыханный по естественности язык, отроду еще не известный никому юмор, – все это действовало просто опьяняющим образом. С Гоголя водворился на России совершенно новый язык; он нам безгранично нравился своей простотой, силой, меткостью, поразительной бойкостью и близостью к натуре. Все гоголевские обороты, выражения быстро вошли во всеобщее употребление. Даже любимые гоголевские восклицания: «черт возьми», «к черту», «черт вас знает», и множество других вдруг сделались в таком ходу, в каком никогда до тех пор не бывали. Вся молодежь пошла говорить гоголевским языком.

В. В. Стасов. Училище правоведения в 1836—42 гг. Рус. Стар., 1882, февр., 414.

Воскресения наши (*у отца автора, гр. Ф. П. Толстого*), с появлением у нас Кукольника, оживились еще больше… За ужином, вместе с Николаем Васильевичем Гоголем и Вас. Ив. Григоровичем, рассказывал он такие хохлацкие анекдоты, что от них можно было умереть со смеху.

М. Ф. Каменская. Воспоминания. Ист. Вестн., 1894, сент., 629.

В прошлом месяце я чувствовал себя немного нездоровым, но в это время весь город был почти болен кашлем и прочими принадлежностями простуды. Теперь же я опять здоров. Я беспокоюсь только о вашем положении: мне кажется, не слишком ли вы предаетесь надеждам насчет хозяйственных будущих прибылей, которые надеетесь получить от (кожевенной) фабрики… Мы не можем поручиться за один час вперед. А разве этого не может случиться, что фабрикант, взявши деньги, вдруг вздумает улизнуть?

Гоголь – матери, 17 марта 1834 г., из Петербурга. Письма, I, 282.

Выговоры ваши за объявление (*об издании истории малороссийских казаков – см. выше*) я имел честь получить. Это правда, я писал его, совершенно не раздумавши!

Гоголь – М. П. Погодину, 19 марта 1834 г., из Петербурга. Письма, I, 285.

Что ты мне пишешь про Цыха! (*Цых получил киевскую кафедру всеобщей истории, которой искал Гоголь.*) Разве есть какое-нибудь официальное об этом известие? Министр мне обещал непременно это место и требовал даже, чтоб я сейчас подавал просьбу, но я останавливаюсь затем, что мне дают только адъюнкта, уверяя, впрочем, что через год непременно сделают ординарным; и признаюсь, я сижу затем только еще здесь, чтобы как-нибудь выработать себе на подъем и разделаться кое с какими здешними обстоятельствами.

Гоголь – М. А. Максимовичу, 29 марта 1834 г., из Петербурга. Письма, I, 287.

Гоголь по моему совету начал историю русской критики.

А. С. Пушкин. Дневник. 7 апреля 1834 *г.*

(11 апр. 1834 г.) – Был у Плетнева. Видел там Гоголя: он сердит на меня за некоторые непропущенные места в его повести, печатаемой в «Новоселье»[24]. Бедный литератор! Бедный цензор!

А. В. Никитенко, I, 242.

Знаешь ли, что представления Брадке (*попечителя киевского учебного округа*) чуть ли не больше значат, нежели наших здешних ходатаев? Это я узнал верно. Слушай, сослужи службу: когда будешь писать к Брадке, намекни ему о мне вот каким образом: что вы бы, дескать, хорошо бы сделали, если бы залучили в университет Гоголя, что ты не знаешь

никого, кто бы имел такие глубокие исторические сведения и так бы владел языком преподавания, и тому подобные скромные похвалы, как будто вскользь. Для примера ты можешь прочесть предисловие к грамматике Греча или Греча к романам Булгарина… Ты, будучи ординарным профессором Московского университета, во мнении его много значишь; я же, бедный, почти нуль для него… Тем более мне это нужно, что министр, кажется, расположен сделать для меня все, что можно, если бы только попечитель ему хоть слово прибавил от себя.

Гоголь – М. А. Максимовичу, 20 апр. 1834 г. Письма, I, 280.

Гоголь читал у Дашкова свою комедию[25].

А. С. Пушкин. Дневник. 3 мая 1834 г.

Я буду вас беспокоить вот какою просьбою; если зайдет обо мне речь с Уваровым (*министр народного просвещения*), скажите, что вы были у меня и застали меня еле жива; при этом случае выбраните меня хорошенько за то, что живу здесь и не убираюсь сей же час вон из города; что доктора велели ехать сей же час и стараться захватить там это время. И сказавши, что я могу весьма легко через месяц протянуть совсем ножки, завесть речь о другом, как-то: о погоде или о чем-нибудь подобном. Мне кажется, что это не совсем будет бесполезно.

Гоголь – А. С. Пушкину, 13 мая 1834 г. Письма, I, 296.

Я совершенно с вами согласен. Пойду сегодня же назидать Уварова и поговорю о вашей смерти. От сего незаметным и искусным образом перейду к бессмертию, его ожидающему. Авось уладим.

А. С. Пушкин – Гоголю, 13 мая 1834 г.

Что касается до моих обстоятельств, то я сам, хоть убей, не могу понять их. За меня просили Дашков, Блудов; Сергей Семенович (*Уваров*) сам также, кажется, благоволит ко мне и очень доволен моими статьями. Кажется, какой сильный авторитет! Если бы какие особенные препятствия мне преграждали путь, но их нет! Я имею чин коллежского асессора, не новичок, потому что занимался довольно преподаванием… и при всем я не могу понять: слышу уверения, ласки и больше ничего! Черт возьми! Они воображают, что у меня недостанет духу плюнуть на все. Я не могу также понять и Брадке: давши слово Жуковскому ожидать меня даже целый год и не отдавать никому кафедры всеобщей истории и через месяц отдать ее Цыху! Это досадно, право, досадно! – Ты видишь, что сама судьба вооружается, чтобы я ехал в Киев. Досадно, досадно!

потому что мне нужно, очень нужно мое здоровье; мое занятие, мое упрямство требует этого.

Гоголь – М. А. Максимовичу, 8 июня 1834 г., из Петербурга. Письма, I, 302.

На предложение твое об адъюнктстве (*в Московском университете*) я вот что скажу тебе. Я недавно только что просился профессором в Киев, потому что здоровье мое требует этого непременно, также и труды мои. Вот чем можно извинить мне искание профессорства, которое, если бы не у нас на Руси, то было бы самое благородное звание. Прося профессорства в Киеве, я обеспечиваю там себя совершенно в моих нуждах, больших и малых; но, взявши московского адъюнкта, я не буду сыт, да и климат у вас в Москве ничуть не лучше нашего чухонского, петербургского. Итак, ты видишь физически невозможным мое перемещение. Впрочем, в июле месяце я постараюсь побывать в Москве, и мы потолкуем о том, о сем… Если я приеду в Москву, то или к тебе, или к кому-нибудь другому, только в деревню, потому что мне город так надоел, что не могу смотреть на него равнодушно.

Гоголь – М. П. Погодину, 23 июня 1834 г., из Петербурга. Письма, I, 306.

О знакомстве с Пушкиным А. С. Данилевский припоминал следующее. Однажды летом отправились они с Гоголем в Лесной на дачу к Плетневу, у которого довольно часто бывали запросто. Через несколько времени, почти следом за ними, явились Пушкин с Соболевским. Они пришли почему-то пешком с зонтиками на плечах. Вскоре к Плетневу приехала еще вдова Н. М. Карамзина, и Пушкин затеял с нею спор. Карамзина выразилась о ком-то: «она в интересном положении». Пушкин стал горячо возражать против этого выражения, утверждая с жаром, что его напрасно употребляют вместо коренного, чисто русского выражения: «она брюхата», что последнее выражение совершенно прилично, а, напротив, неприлично говорить: «она в интересном положении». После обеда был любопытный разговор. Плетнев сказал, что Пушкина надо рассердить, и только тогда он будет настоящим Пушкиным, и стал ему противоречить. Впечатление, произведенное на Данилевского Пушкиным, было то, что он и в обыкновенном разговоре являлся замечательным человеком, каждое слово его было веско и носило печать гениальности; в нем не было ни малейшей натянутости или жеманства; но особенно поражал его долго не выходивший из памяти совершенно детский, задушевный смех. Он бывал с женой у Плетнева.

В. И. Шенрок. Материалы, I, 362.

Я к тебе буду, непременно буду, и мы заживем вместе… черт возьми все! Дела свои я повел таким порядком, что непременно буду в состоянии ехать в Киев, хотя не раннею осенью или зимою; но когда бы то ни было, а я все-таки буду. Я дал себе слово, и твердое слово; стало быть, все кончено: нет гранита, которого бы не пробили человеческая сила и желание. Ради бога, не предавайся грустным мыслям, будь весел, как весел теперь я, решивший, что все на свете трын-трава. Терпением и хладнокровием все достанешь. Я тебя умоляю еще раз беречь свое здоровье; а это сбережение здоровья состоит в следующем секрете: быть как можно более спокойным, стараться беситься и веселиться сколько можешь, до упадку, хотя бывает и не всегда весело, и помнить мудрое правило, что все на свете трын-трава и (*два непечатных слова*). В этих немногих, но значительных словах заключается вся мудрость человеческая! Черт возьми! я как воображу, что теперь на киевском рынке целые рядна вываливают персиков, абрикосов, которое все там нипочем, что киево-печорские монахи уже облизывают уста, помышляя о делании вина из доморощенного винограду, и что тополи ушпигуют скоро весь Киев, – так, право, и разбирает ехать, бросивши все; но, впрочем, хорошо, что ты едешь вперед. Ты приготовишь там все к моему прибытию и приищешь местечко для покупки, ибо я хочу непременно завестись домком в Киеве, что, без сомнения, и ты не замедлишь учинить, с своей стороны.

Гоголь – М. А. Максимовичу, 27 июня 1834 г., из Петербурга. Письма, I, 306.

22 июля 1834 г. № 221. В 1832 г., по просьбе учителя Патриотического института Гоголя-Яновского, помещены в сие заведение, на воспитание две его родные сестры с тем, чтобы жалованье, ему производимое, 1200 руб. в год, оставалось в пользу института… Ныне учитель Гоголь-Яновский просит о производстве ему того жалования с 1-го января сего года.

Представление начальницы института Л. К. Вистингаузен.

Резолюция. Ее импер. вел-во действительно соизволила объявить высочайшую волю еще в начале сего года, чтобы г-ну Гоголю-Яновскому производить положенное ему жалованье, а сестер его считать в институте сверхкомплектными воспитанницами, вменив ему сие в особое вознаграждение. Н. Лонгинов.

Рус. Стар., 1887, дек., 753.

Я на время решился занять здесь кафедру истории, и именно средних веков. Если ты этого желаешь, то я пришлю тебе некоторые лекции свои, с тем только, чтобы ты взамен прислал мне свои. Весьма недурно, если

бы ты отнял у какого-нибудь студента тетрадь записываемых им твоих лекций, особенно о средних веках, и прислал бы мне теперь же.

Гоголь – М. П. Погодину, 23 июля 1834 г., из Петербурга. Письма, I, 314.

Определен адъюнктом по кафедре истории при импер. С.-Петербургском университете 1834, июля 24-го.

Аттестат, выданный Гоголю из петербургского университета. Рус. Стар., 1902, сент., 652.

Что мне было делать с вашим Брадке. Обещать и не исполнить обещанного – разве этак можно делать! Жуковский писал к нему, что министр наконец согласился мне дать экстраординарного профессора и что от него теперь зависит. В ответ было получено письмо, что он, Брадке, согласен мне дать адъюнкта (как будто об адъюнкте его просили!) и что это место для меня очень выгодное (как будто я нищий и мне оно дается из милости!). Я заключил, что я не нужен, что я не имею счастия нравиться попечителю. Стало быть, с моей стороны весьма неприлично навязываться самому, а тем более действовать мимо его.

Я решился ожидать благоприятнейшего и удобнейшего времени, хотел даже ехать осенью непременно в гетманщину, как здешний попечитель, князь Корсаков, предложил мне, не хочу ли я занять кафедру всеобщей истории в здешнем университете, обещая мне через три месяца экстраорд. профессора, зане не было ваканции. Я, хорошенько разочтя, увидел, что мне выбраться в этом году нельзя никак из Питера; так я связался с ним долгами и всеми делами своими, что было единственно причиною неуступчивости моих требований в рассуждении Киева. Итак, я решился принять предложение остаться на год в здешнем университете, получая тем более прав к занятию в Киеве. Притом же от меня зависит приобресть имя, которое может заставить быть поснисходительнее в отношении ко мне и не почитать меня за несчастного просителя, привыкшего чрез длинные передния и лакейския пробираться к месту. Между тем, поживя здесь, я буду иметь возможность выпутаться из своих денежных обстоятельств. На театр здешний я ставлю пиесу, которая, надеюсь, кое-что принесет мне, да еще готовлю из-под полы другую. Короче, в эту зиму я столько обделаю, если бог поможет, дел, что не буду раскаиваться в том, что остался здесь этот год.

Гоголь – М. А. Максимовичу, 14 авг. 1834 г., из Петербурга. Письма, I, 318.

Перебираюсь на следующий год, и если вы не захотите принять к себе в Киев, то в отеческую берлогу, потому что мне доктора велят напрямик убираться; да, притом, и самому становится, чем дале, нестерпимее петербургский воздух. Пожалуйста, разведывай, есть ли в Киеве продающиеся места для дома, если можно, с садиком, и если можно, где-нибудь на горе, чтоб хоть кусочек Днепра был виден из него, и если найдется, то уведоми меня; я не замедлю выслать тебе деньги.

Гоголь – М. А. Максимовичу, 14 авг. 1834 г., из Петербурга. Письма, I, 320.

Я тружусь, как лошадь, чувствуя, что это последний год, но только не над казенной работой, т. е. не над лекциями, которые у нас до сих пор еще не начинались, но над собственными своими вещами.

Гоголь – М. А. Максимовичу, 23 авг. 1834 г., из Петербурга. Письма, I, 321.

Пушкин хвалил Нащокину «Тараса Бульбу». О сей пьесе Пушкин рассказывал Нащокину, что описание степи внушил он. Пушкину какой-то знакомый (да; это было при мне. Стражинский. *Примечание С. А. Соболевского*) очень живо описывал в разговоре степи. Пушкин дал случай Гоголю послушать и внушил ему вставить в «Бульбу» описание степи[26].

П. И. Бартенев со слов П. В. Нащокина. Рассказы о Пушкине. Изд. Сабашниковых. М., 1925. Стр. 45.

Весь университет наслаждался «Вечерами на Хуторе» и с любопытством ожидал появления на кафедре пасечника Рудого Панька. На первую лекцию навалили к нему в аудиторию все факультеты. Из посторонних посетителей явились и Пушкин, и, кажется, Жуковский. Сконфузился наш пасечник, читал плохо и произвел весьма невыгодный для себя эффект. Этого впечатления не поправил он и на следующих лекциях.

В. В. Григорьев. «Т. Н. Грановский до его профессорства в Москве». Рус. Беседа, 1856, III, Смесь, стр. 24.

Гоголь читал историю средних веков для студентов второго курса филологического отделения. На первую лекцию он явился в сопровождении инспектора студентов. Это было в два часа. Гоголь вошел в аудиторию, раскланялся с нами и, в ожидании ректора, начал о чем-то говорить с инспектором, стоя у окна. Заметно было, что он находился в тревожном состоянии духа: вертел в руках шляпу, мял перчатку и как-то недоверчиво посматривал на нас. Наконец подошел

он к кафедре и, обратясь к нам, начал объяснять, о чем намерен он читать сегодня лекцию. В продолжении этой коротенькой речи он постепенно всходил по ступеням кафедры: сперва стал на первую ступеньку, потом на вторую, потом на третью. Ясно, что он не доверял сам себе и хотел сначала попробовать, как-то он будет читать. Мне кажется, однако ж, что волнение его происходило не от недостатка присутствия духа, а просто от слабости нервов, потому что в то время как лицо его неприятно бледнело и принимало болезненное выражение, мысль, высказываемая им, развивалась совершенно логически и в самых блестящих формах. К концу речи Гоголь стоял уже на самой верхней ступеньке и заметно одушевился. Вот в эту-то минуту ему и начать лекцию, но вдруг вошел ректор… Гоголь должен был оставить на минуту свой пост, который занял так ловко и, даже можно сказать, так незаметно для себя. Ректор сказал ему несколько приветствий, поздоровался со студентами и занял приготовленное для него кресло. Настала совершенная тишина. Гоголь опять впал в прежнее тревожное состояние; опять лицо его побледнело и приняло болезненное выражение. Но медлить уж было нельзя; он вошел на кафедру, и лекция началась…

Не знаю, прошло ли пять минут, как уж Гоголь овладел совершенно вниманием слушателей. Невозможно было спокойно следить за его мыслью, которая летела и преломлялась, как молния, освещая беспрестанно картину за картиной в этом мраке средневековой истории. Впрочем, вся эта лекция из слова в слово напечатана в «Арабесках» (*«О средних веках»*). Ясно, что, не доверяя сам себе. Гоголь выучил наизусть предварительно написанную лекцию, и хотя во время чтения одушевился и говорил совершенно свободно, но уже не мог оторваться от затверженных фраз, и потому не прибавил к ним ни одного слова.

Лекция продолжалась три четверти часа. Когда Гоголь вышел из аудитории, мы окружили его в сборной зале и просили, чтоб он дал нам эту лекцию в рукописи. Гоголь сказал, что она у него набросана только вчерне, что со временем он обработает ее и даст нам; а потом прибавил: «На первый раз я старался, господа, показать вам только главный характер истории средних веков; в следующий же раз мы примемся за самые факты и должны будем вооружиться для этого анатомическим ножом».

Мы с нетерпением ждали следующей лекции. Гоголь приехал довольно поздно и начал ее фразой: «Азия была всегда каким-то народо-вержущим вулканом». Потом поговорил немного о великом переселении народов, но так вяло, безжизненно и сбивчиво, что скучно было слушать, и мы не верили самим себе, тот ли это Гоголь, который на прошлой неделе прочел такую блестящую лекцию? Наконец, указав нам на кое-какие курсы, где мы можем прочесть об этом предмете, он

раскланялся и уехал. Вся лекция продолжалась двадцать минут. Следующие лекции были в том же роде, так что мы совершенно наконец охладели к Гоголю и аудитория его все больше и больше пустела.

Н. И. Иваницкий. Отеч. Записки, 1853, № 2, Смесь, стр. 119.

Следующая лекция назначена через три дня. Собралось слушателей много, но вполовину меньше первой лекции. Гоголь взошел на кафедру и обратил речь на саксонцев, которых описывал одежду, вооружение и домашний быт, – и через полчаса объявил, что продолжать более не может, потому что приехали к нему родные и должны вскоре отъехать, а потому он прекращает лекцию, дабы воспользоваться их присутствием. Третья лекция отложена была на несколько дней, и как в продолжение первых двух лекций студенты спрашивали его об годах происшествий, которых он не знал, то и обещал доставить хронологию в эту лекцию, и, действительно, принес с собою листок, на котором написаны были годы. При объявлении их студентам они ему заметили, что это они могут взять из книг. Он замолчал и сошел с кафедры.

А. С. Андреев. Альманах «Сегодня», П. М., 1927. Стр. 164.

Профессура Гоголя потерпела фиаско, и сам он начал хворать. Голова его, по случаю ли боли зубов или по другой причине, постоянно была подвязана белым платком; самый вид его был болезненный и даже жалкий, но студенты относились к нему с большим сочувствием, что было, разумеется, последствием его талантливых сочинений. Но, боже мой, что за длинный, острый, птичий нос был у него! Я не мог на него прямо смотреть, особенно вблизи, думая: вот клюнет, и глаз вон. Читая из истории то одно, то другое, он всегда переходил к рассказу о движении народов. Ясно, что предмет этот служил ему как бы заручкой или опорою исторических его знаний.

Н. М. Колмаков. Очерки и воспоминания. Рус. Стар., 1891, май, 461.

Я познакомился с Гоголем тогда, когда он был сделан адъюнкт-профессором в Петербургском университете, где я тоже был адъюнкт-профессором. Гоголь сошелся с нами хорошо, как с новыми товарищами; но мы встретили его холодно. Не знаю, как кто, но я только по одному: я смотрел на науку чересчур лирически, видел в ней высокое, чуть-чуть не священное дело, и потому от человека, бравшегося быть преподавателем, требовал полного и безусловного посвящения себя ей. Сам я занимался сильно, но избрал для преподавания искусство, мастерство (начертательную геометрию), не смея взяться за науку высшего анализа, которую мне тогда предлагали. К тому же Гоголь тогда, как писатель-художник, едва показался: мы, большинство, толпа, не обращали еще дельного внимания на его «Вечера на Хуторе»;

наконец, и самое вступление его в университет путем окольным отдаляло нас от него, как от человека. По всему этому сношения с ним у меня были весьма форменные, и то весьма редкие.

(Ф. В. Чижов) по записи Кулиша. Записки о жизни Гоголя, I, 106.

Как преподаватель, Гоголь не имел больших достоинств. Сначала он горячо принялся за исполнение обязанностей своего звания; он смотрел на свою обязанность не как на средство к жизни, но как на цель, как на призвание; он хотел даже совершенно посвятить себя ученому званию, но деятельность его, требовавшая другого поприща, ослабевала; он чувствовал себя не в своей сфере и должен был навсегда разделаться с несвойственным и наскучившим ему занятием. Лекции Гоголя, по словам присутствовавших на них, не отличались особенным знанием дела или новостью взгляда, но блестящее изложение и уменье владеть вниманием слушателей были главными достоинствами молодого адъюнкта. Какого мнения о своих лекциях был сам Гоголь – не знаем, но вот факт, доказывающий, что он не слишком доверял себе в этом отношении. Говорят, что Гоголь просил Пушкина и Жуковского приехать как-нибудь к нему на лекцию. Оба поэта, очень долго собиравшиеся воспользоваться приглашением, наконец условились, уведомили об этом предварительно Гоголя и в назначенное время отправились в университет. Поэты нашли полную аудиторию студентов, но Гоголя еще не было; они решились его дожидаться, но прождали напрасно, потому что Гоголь вовсе не явился.

В. П. Гаевский. Заметки для биографии Гоголя. Современник, 1852, № 10, отд. VI, стр. 115.

Однажды, – это было в октябре, – ходим мы, студенты, по сборной зале университета и ждем Гоголя. Вдруг входят Пушкин и Жуковский. От швейцара, конечно, они уж знали, что Гоголь еще не приехал, и потому, обратясь к нам, спросили только, в которой аудитории будет читать Гоголь? Мы указали на аудиторию. Пушкин и Жуковский заглянули в нее, но не вошли, а остались в сборной зале. Через четверть часа приехал Гоголь, и мы вслед за тремя поэтами вошли в аудиторию и сели по местам. Гоголь вошел на кафедру и вдруг, как говорится, ни с того, ни с другого, начал читать взгляд на историю аравитян. Лекция была блестяща, в таком же роде, как и первая. Она вся из слова в слово напечатана в «Арабесках» («Ал-Мамун»). Видно, что Гоголь знал заранее о намерении поэтов приехать к нему на лекцию, и потому приготовился угостить их поэтически. После лекции Пушкин заговорил о чем-то с Гоголем, но я слышал одно только слово: «увлекательно»…

Все следующие лекции Гоголя были очень сухи и скучны: ни одно событие, ни одно лицо историческое не вызвало его на беседу живую и одушевленную. Какими-то сонными глазами смотрел он на прошедшие века и отжившие племена. Без сомнения, ему самому было скучно и он видел, что скучно и его слушателям. Бывало, приедет, поговорит с полчаса с кафедры, уедет, да уже и не показывается целую неделю, а иногда и две. Потом опять приедет, и опять та же история.

Н. И. Иваницкий. Отеч. Записки, 1853, № 2, Смесь, стр. 120.

Гоголь не был никогда научным исследователем и по преподаванию уступал специальному профессору истории Куторге, но поэтический свой талант и некоторый даже идеализм, а притом особую прелесть выражений, делавших его, несомненно, красноречивым, – он влагал и в свои лекции, из коих те, которые посвящены были идеальному быту и чистоте воззрений афинян, имели на всех, а в особенности на молодых его слушателей, какое-то воодушевляющее к добру и к нравственной чистоте влияние.

М-н. Воспоминания из дальних лет. Рус. Стар., 1881, май, 157.

Я видел книги Гоголя, по которым он обрабатывал свои лекции, будучи адъюнктом в Петербургском университете; все они на русском и на французском языках; на немецком – ни одной. Гоголь любил читать Шекспира, но, не зная английского языка, не мог пользоваться превосходным переводом Шлегеля и читал обыкновенно по-французски.

П. А. Кулиш, I, 21.

Я замышляю дернуть историю средних веков, тем более, что у меня такие роятся о ней мысли... Но я не раньше, как через год, примусь писать.

Гоголь – М. П. Погодину, 2 ноября 1834 г., из Петербурга. Письма, I, 325.

Как ни плохи были вообще слушатели Гоголя, они, однако же, сразу поняли его несостоятельность. В таком положении оставался ему один исход удивить фразами, заговорить; но это было не в натуре Гоголя, который нисколько не владел даром слова и выражался весьма вяло. Вышло то, что после трех-четырех лекций студенты ходили в аудиторию к нему только затем уж, чтоб позабавиться над «маленько сказочным» языком преподавателя. Гоголь не мог этого не видеть, сам тотчас же сознал свою неспособность, охладел к делу и еле-еле дотянул до

окончания учебного года, то являясь на лекцию с подвязанной щекой в свидетельство зубной боли, то пропуская их за тою же болью.

В. В. Григорьев. Рус. Беседа, 1856, III, 25.

Знаешь ли ты, что значит не встретить сочувствия, что значит не встретить отзыва? Я читаю один, решительно один в здешнем университете. Никто меня не слушает, ни на одном, ни разу не встретил я, чтобы поразила его яркая истина. И оттого я решительно бросаю теперь всякую художественную отделку, а тем более – желание будить сонных слушателей. Я выражаюсь отрывками и только смотрю вдаль и вижу его в той системе, в какой оно явится у меня вылитою через год. Хоть бы одно студенческое существо понимало меня! Это народ бесцветный, как Петербург.

Гоголь – М. П. Погодину, 14 дек. 1834 г., из Петербурга. Письма, I, 327.

Пришли, пожалуйста, лекции хоть в корректуре. Мне они очень нужны, тем более, что на меня взвалили теперь и древнюю историю, от которой я прежде было и руками и ногами, а теперь поставлен в такие обстоятельства, что должен принять поневоле после нового года! Какая беда! А у меня столько теперь дел, что некогда и подумать о ней.

Гоголь – М. П. Погодину, 14 декабря 1834 г., из Петербурга. Письма, I, 327.

Посылаю тебе всякую всячину мою (*только что вышедшие из печати «Арабески»*). Погладь ее и потрепли. В ней очень много есть детского, и я поскорее ее старался выбросить в свет, чтобы вместе с тем выбросить из моей конторки все старое и, встряхнувшись, начать новую жизнь. Изъяви свое мнение об исторических статьях в каком-нибудь журнале. До сих пор я не дождусь твоих лекций; говоришь, печатаешь, а до сих пор еще не вышли. Я также думаю хватить среднюю историю томиков в восемь или девять, если бог поможет...

Гоголь – М. П. Погодину, 22 генваря 1835 г., из Петербурга. Письма, I, 332.

Я пишу историю средних веков, которая, думаю, будет состоять томов из восьми, если не из девяти.

Гоголь – М. А. Максимовичу, 22 янв. 1835 г., из Петербурга. Письма, I, 331.

Я теперь в таких хлопотах, что страшно и подумать. Кроме всего прочего, я стараюсь, чтобы через три недели вышло мое продолжение «Вечеров» («Миргород»).

Гоголь – М. П. Погодину, 31 генваря 1835 г., из Петербурга. Письма, I, 333.

(21 февр. 1835 г.) – Гоголь, Николай Васильевич. Ему теперь лет 28–29. Он занимает у нас (*в университете*) место адъюнкта по части истории; читает историю средних веков. Преподает ту же науку в женском Патриотическом институте. Сделался известен публике повестями под названием «Вечера на хуторе». Они замечательны по характеристическому, истинно малороссийскому очерку иных характеров и живому, иногда очень забавному рассказу… Талант его чисто теньеровский… Но там, где он переходит от материальной жизни к идеальной, он становится надутым и педантичным… Та же смесь малороссийского юмора и теньеровской материальности с напыщенностью существует в его характере. Он очень забавно рассказывает разные простонародные сцены из малороссийского быта или заимствованные из скандалезной хроники. Но лишь только начинает он трактовать о предметах возвышенных, его ум, чувство и язык утрачивают всякую оригинальность. Но он этого не замечает и метит прямо в гении.

Вот случай из его жизни, который должен был бы послужить ему уроком, если бы фантастическое самолюбие способно было принимать уроки. Пользуясь особым покровительством В. А. Жуковского, он захотел быть профессором. Жуковский возвысил его в глазах Уварова до того, что тот в самом деле поверил, будто из Гоголя выйдет прекрасный профессор истории, хотя в этом отношении он не представил ни одного опыта своих знаний и таланта. Ему предложено было место экстраординарного профессора истории в Киевском университете. Но Гоголь вообразил себе, что его гений дает ему право на высшие притязания, потребовал звания ординарного профессора и шесть тысяч рублей единовременно на уплату долгов. Молодой человек, хотя уже и с именем в литературе, но не имеющий никакого академического звания, ничем не доказавший ни познаний, ни способностей для кафедры – и какой кафедры университетской! – требует себе того, что сам Герен, должно полагать, попросил бы со скромностью. Это может делаться только в России, где протекция дает право на все. Однако ж министр отказал Гоголю. Затем, узнав, что у нас по кафедре истории нужен преподаватель, он начал искать этого места, требуя на этот раз, чтобы его сделали, по крайней мере, экстраординарным профессором. Признаюсь, и я подумал, что человек, который так в себе уверен, не испортит дела, и старался его сблизить с попечителем, даже хлопотал,

чтобы его сделали экстраординарным профессором. Но нас не послушали и сделали его только адъюнктом.

Что же вышло? «Синица явилась зажечь море» – и только. Гоголь так дурно читает лекции в университете, что сделался посмешищем для студентов. Начальство боится, чтоб они не выкинули над ним какой-нибудь шалости, обыкновенной в таких случаях, но неприятной по последствиям. Надобно было приступить к решительной мере. Попечитель призвал его к себе и очень ласково объявил ему о неприятной молве, распространившейся о его лекциях. На минуту гордость его уступила место горькому сознанию своей неопытности и бессилия. Он был у меня и признался, что для университетских чтений надо больше опытности.

Но это в конце концов не поколебало веры Гоголя в свою всеобъемлющую гениальность. Хотя, после замечания попечителя, он должен был переменить свой надменный тон с ректором, деканом и прочими членами университета, но в кругу «своих» он все тот же всезнающий, глубокомысленный, гениальный Гоголь, каким был до сих пор. Это смешное, надутое, ребяческое самолюбие, впрочем, составляет черту характера не одного Гоголя...

А. В. Никитенко, I, 262.

Гоголь читал мне отрывки из двух своих комедий. Одна под заглавием Комедия! Другая – Провинциальный Жених. Что за веселость, что за смешное! Какая истина, остроумие! Какие чиновники на сцене, какие канцелярские служители, помещики, барыни! Талант первоклассный.

М. П. Погодин. Письмо из Петербурга. Московский Наблюдатель, 1835, I, стр. 445.

Ей-богу, мы все страшно отдалились от наших первозданных элементов. Мы никак не привыкнем глядеть на жизнь, как на трын-траву, как всегда глядел казак. Пробовал ли ты когда-нибудь, вставши поутру с постели, дернуть в одной рубашке по всей комнате трепака? Послушай, брат: у нас на душе столько грустного и заунывного, что если позволять всему этому выходить наружу, то это черт знает что такое будет. Чем сильнее подходит к сердцу старая печаль, тем шумнее должна быть новая веселость. Есть чудная вещь на свете: это бутылка доброго вина. Когда душа твоя потребует другой души, чтобы рассказать всю свою полугрустную историю, заберись в свою комнату и откупори ее, и когда выпьешь стакан, то почувствуешь, как оживятся все твои чувства.

Гоголь – М. А. Максимовичу, 22 марта 1835 г., из Петербурга. Письма, I, 340.

В середине марта Гоголь посылает Погодину для его журнала «Московский Наблюдатель» свою повесть «Нос».

А. И. Кирпичников. Хронолог. канва, 24.

(«Московский Наблюдатель») отказался принять в себя повесть Гоголя «Нос» по причине ее пошлости и тривиальности.

В. Г. Белинский. Литературные и журнальные заметки. Полн. собр. соч. под ред. Венгерова, VII, 509.

Пожалуйста, напечатай в «Московских Ведомостях» объявление об «Арабесках». Сделай милость, в таких словах: что теперь, дескать, только и говорят везде, что об «Арабесках», что сия книга возбудила всеобщее любопытство, что расход на нее страшный (NB. до сих пор ни гроша барыша не получено) и тому подобное.

Гоголь – М. П. Погодину, 23 марта 1835 г., из Петербурга. Письма, I, 341.

Я все держусь, – и не без причины, – того мнения, что в первую пору своего развития Гоголь был совсем свободным (от мистицизма) человеком, искусно пробивавшим себе дорогу, а то, что кажется в нем порывами в иной мир, чем действительный, должно считать не более как маленьким, невинным плутовством, отводившим глаза и потешавшим людей, иначе настроенных, чем он. Мистическим субъектом он сделался вполне только тогда, когда успехи его внушили ему идею об особенном его призвании на Руси, не просто литературном, а реформаторском. Тогда он и заговорил с друзьями языком ветхозаветного пророка.

П. В. Анненков – М. М. Стасюлевичу, 27 окт. 1874 г., М. М. Стасюлевич и его современники, т. III, стр. 309.

Причина той веселости, которую заметили в первых сочинениях моих, показавшихся в печати, заключалась в некоторой душевной потребности. На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой, которая происходила, может быть, от моего болезненного состояния. Чтобы развлекать себя самого, я придумывал себе все смешное, что только мог выдумать. Выдумывал целиком смешные лица и характеры, поставлял их мысленно в самые смешные положения, вовсе не заботясь о том, зачем это, для чего и кому от этого выйдет какая польза. Молодость, во время которой не приходят на ум никакие вопросы, подталкивала. Вот происхождение тех первых моих

произведений, которые одних заставляли смеяться так же беззаботно и безотчетно, как и меня самого, а других приводили в недоумение решить, как могли человеку умному приходить в голову такие глупости. Может быть, с летами и с потребностью развлекать себя, веселость эта исчезнула бы, а с нею вместе и мое писательство. Но Пушкин заставил меня взглянуть на дело сурьезно. Он уже давно склонял меня приняться за большое сочинение и наконец один раз, после того, как я ему прочел одно небольшое изображение небольшой сцены, но которое, однако ж, поразило его больше всего мной прежде читанного, он мне сказал: «Как с этой способностью угадывать человека и несколькими чертами выставлять его вдруг всего как живого, с этой способностью, не приняться за большое сочинение! Это просто грех!» Вслед за этим начал он представлять мне слабое мое сложение, мои недуги, которые могут прекратить мою жизнь рано; привел мне в пример Сервантеса, который, хотя и написал несколько очень замечательных и хороших повестей, но, если бы не принялся за «Дон-кишота», никогда бы не занял того места, которое занимает теперь между писателями, и в заключение всего отдал мне свой собственный сюжет, из которого он хотел сделать сам что-то в роде поэмы и которого, по словам его, он бы не отдал другому никому. Это был сюжет «Мертвых Душ». На этот раз и я сам уже задумался сурьезно, – тем более, что стали приближаться такие года, когда сам собой приходит запрос всякому поступку: зачем и для чего его делаешь? Я увидел, что в сочинениях моих смеюсь даром, напрасно, сам не зная, зачем. Если смеяться, так уж лучше смеяться сильно и над тем, что действительно достойно осмеяния всеобщего.

Гоголь. Авторская исповедь.

Мысль написать «Мертвые души» взята Гоголем с моего дяди Пивинского. У Пивинского было 200 десятин земли и душ 30 крестьян и детей пятеро. Богато жить нельзя, и существовали Пивинские винокурней. Тогда у многих помещиков были свои винокурни, акцизов никаких не было. Вдруг начали разъезжать чиновники и собирать сведения о всех, у кого есть винокурни. Пошел разговор о том, что у кого нет пятидесяти душ крестьян, тот не имеет право курить вино. Задумались тогда мелкопоместные: хоть погибай без винокурни. А Харлампий Петрович Пивинский хлопнул себя по лбу да сказал: «Эге! не додумались!» И поехал в Полтаву, да и внес за своих умерших крестьян оброк, будто за живых. А так как своих, да и с мертвыми, далеко до пятидесяти не хватало, то набрал он в бричку горилки, да и поехал по соседям и накупил у них за эту горилку мертвых душ, записал их себе и, сделавшись по бумагам владельцем пятидесяти душ, до самой смерти курил вино и дал этим тему Гоголю, который бывал в Федунках, имении Пивинского, в 17 верстах от Яновщины; кроме того, и вся миргородчина знала про мертвые души Пивинского.

Марья Григ. Анисимо-Яновская, дальняя родственница Гоголя, по записи В. А. Гиляровского. На родине Гоголя, 47.

Вы, говоря о моих сочинениях, называете меня гением. Как бы это ни было, но это очень странно. Меня, доброго, простого человека, может быть не совсем глупого, имеющего здравый смысл, называть гением!.. Я вас прошу, маменька, не называйте меня никогда таким образом, а тем более еще в разговоре с кем-нибудь. Не изъявляйте никакого мнения о моих сочинениях и не распространяйтесь о моих качествах. Если бы вы знали, как неприятно, как отвратительно слушать, когда родители говорят беспрестанно о своих детях и хвалят их!

Гоголь – матери, 12 апреля 1835 г., из Петербурга. Письма, I, 342.

Марья Ивановна Гоголь всегда говорила о сыне с гордостью любящей и счастливой матери, с восторгом, со страстью и, при всей беспредельной доброте, готова была за малейшее слово о нем поссориться с каждым. В обожании сына Марья Ивановна доходила до Геркулесовых столбов, приписывая ему все новейшие изобретения (пароходы, железные дороги) и, к величайшей досаде сына, рассказывая об этом при каждом удобном случае. Разубедить ее не могли бы никакие силы.

А. С. Данилевский по записи Шенрока. Материалы, I, 202.

Я был одним из слушателей Гоголя в 1835 году, когда он преподавал (!) историю в С.-Петербургском университете. Это преподавание, правду сказать, происходило оригинальным образом. Во-первых, Гоголь из трех лекций непременно пропускал две; во-вторых, даже когда он появлялся на кафедре, он не говорил, а шептал что-то весьма несвязное, показывал нам маленькие гравюры на стали, изображавшие виды Палестины и других восточных стран, – и все время ужасно конфузился. Мы все были убеждены (и едва ли мы ошибались), что он ничего не смыслит в истории и что г. Гоголь-Яновский, наш профессор (он так именовался в расписании наших лекций), не имеет ничего общего с писателем Гоголем, уже известным нам как автор «Вечеров на хуторе близ Диканьки». На выпускном экзамене из своего предмета он сидел, повязанный платком, якобы от зубной боли, – с совершенно убитой физиономией, – и не разевал рта. Спрашивал студентов за него профессор И. П. Шульгин. Как теперь, вижу его худую, длинноносую фигуру с двумя высоко торчавшими – в виде ушей – концами черного шелкового платка. Нет сомнения, что он сам понимал весь комизм и всю неловкость своего положения: он в том же году подал в отставку.

И. С. Тургенев. Литературные и житейские воспоминания. III. Гоголь.

В мае наступил экзамен. Гоголь приехал, подвязанный черным платком: не знаю уж, зубы у него болели, что ли. Вопросы предлагал бывший ректор И. П. Шульгин. Гоголь сидел в стороне и ни во что не вступался. Мы слышали уже тогда, что он оставляет университет и едет на Кавказ. После экзамена мы окружили его и изъявили сожаление, что должны расстаться с ним. Гоголь отвечал, что здоровье его расстроено и что он должен переменить климат. «Теперь я еду на Кавказ; мне хочется застать там еще свежую зелень; но я надеюсь, господа, что мы когда-нибудь еще встретимся». Поездка эта, однако ж, не состоялась, не знаю почему.

Н. И. Иваницкий. Отеч. Зап., 1853, № 2, Смесь, стр. 121.

На годичный экзамен из читанного им Гоголь пришел с окутанною косынками головою, предоставил экзаменовать слушателей своих декану и ассистентам, а сам молчал все время. Студенты, зная, как нетверд он в своем предмете, объясняли это молчание страхом его обнаружить в чем-нибудь свое незнание. «Боится, что Шульгин (в том же или предшествующем году поступивший в университет на кафедру новой истории) собьет его самого, так и притворяется, будто рта разинуть не может», – говорили насмешники, и, нет сомнения, была доля правды в словах их.

В. В. Григорьев. Рус. Беседа, 1856, III, 25.

Пишу к тебе из дому. Сижу дома на перепутье и около недели уже, не зная, куда лучше ехать, – на Кавказ или в Крым, где ныне славятся минеральные грязи и купальни в море. В Москве был захлопотан, и при всем том многих не видел.

Гоголь – Н. Я. Прокоповичу, 24 мая 1835 г., из Васильевки. Письма, I, 345.

25 июня 1835 г., № 111. Его прев-ву Н. М. Лонгинову. – По случаю отсутствия из С.-Петербурга учителя истории в Патриотическом институте Гоголя-Яновского, который, будучи одержим болезнею, может пробыть в отпуске весьма долгое время и тем поставить институт в затруднение, ибо должность его остается никем не занятою, принять на сие место учителя исторических наук в Воспитательном доме г. Соколовского… Всепокорнейше прошу исходатайствовать высочайшее ее вел-ства повеление об определении Соколовского на место Гоголя-Яновского и увольнении сего последнего.

Л. К. Вистингаузен, начальница института. Рус. Стар., 1887, дек., 755.

Маршрут мой теперь на Киев, куда призывают меня кое-какие гербовые заботы, а, между прочим, нужно видеться и с Максимовичем, которому я уже дал слово. Эти же три недели, которые остаются мне, я намерен отдохнуть после поездки моей в Крым, где странствовал для здоровья и для того, чтобы повидать его.

Гоголь – И. И. Срезневскому, 11 июля 1835 г., из Васильевки. Письма, I, 348.

Все почти мною изведано и узнано, только на Кавказе не был, куда именно хотел направить путь. Проклятых денег не стало и на половину вояжа. Был только в Крыму, где пачкался в минеральной грязи. Впрочем, здоровье, кажется, уже от одних переездов поправилось. Сюжетов и планов нагромоздилось во время езды ужасное множество, так что если б не жаркое лето, то много бы изошло теперь у меня бумаги и перьев; но жар вдыхает страшную лень, только десятая доля положена на бумагу и жаждет быть прочтенною вам. Через месяц я буду сам звонить в колокольчик у ваших дверей, кряхтя от дюжей тетради.

Гоголь – В. А. Жуковскому, 15 июля 1835 г., из Полтавы. Письма, I, 348.

Когда мне минуло десять лет, тогда брат приехал, чтобы меня взять в Петербург, но сестра сказала ему, что у меня, кроме глухоты, и памяти нет, а брат сказал: «Это ты не хочешь с нею заниматься, и мать ее балует; у меня будет у нее память!» И задал мне французский разговор целую страницу, а сестра всегда задавала мне по две строчки. И я до самого обеда учила не уставая, а когда подали обед, брат спрашивает; я не могла ни одного слова ответить. Он оставил меня без обеда, потом до вечернего чая тоже не знала уроков, а до ужина одно или два слова ответила. Тогда брат удостоверился, что нет памяти; кроме того, порешили, что золотушные не переносят петербургского климата, и кончилось тем, что брат сказал матери: «Воспитывайте ее сами!» – и уехал.

О. В. Гоголь-Головня, 8.

Помню, когда мне было еще лет десять, братец подарил мне стеклянное колечко, которое мне очень понравилось. Я надела его на палец и все любовались блеском его на солнце. Когда сели обедать, я по обыкновению поместилась подле братца, чтобы слышать его приятный голос, и мне захотелось снять колечко и надеть его на другой палец, но нечаянно я уронила его на тарелку; оно издало очень понравившийся мне звук; но, очевидно, этот звук братцу показался очень резким – он в это время вел серьезный разговор, кажется, с приехавшим в гости соседним помещиком Чернышем. «Оленька, перестань!» – сказал он, прерывая свою речь. Я спрятала колечко, но через минуту мне страшно

захотелось снова услышать приятный звон колечка, и я как бы нечаянно снова уронила его на тарелку. «Оленька, я тебе говорю, перестань!» – строго сказал братец. Я спрятала колечко, но, когда убрали блюдо и передо мной снова очутилась чистая тарелка, я почувствовала непреодолимое желание снова услышать звон колечка – и снова пустила его на тарелку. Братец молча взял у меня кольцо и спрятал его в карман. Когда гости разъехались, я подошла к нему и робко попросила его: «Братец, отдайте мне колечко». – «Не отдам, ты непослушная», – ответил братец с улыбкой, которая дала мне смелость повторить мою просьбу. «Ну, поди возьми его в гостиной на окне», – сказал, улыбаясь, братец. Я побежала в гостиную: там на окне действительно лежало мое колечко, но, когда я захотела его взять, оно рассыпалось на кусочки. Я со слезами возвратилась к братцу и тихо-тихо сказала ему: «Братец, зачем вы его разбили?» Ему, очевидно, сделалось жаль меня, и он пообещал мне купить другое, еще лучше.

О. В. Гоголь-Головня. 72.

Когда я был последний раз у вас, я думаю, сами заметили, что я не знал, куда деваться от тоски, и напрасно искал развлечений. Я сам не знал, откуда происходила эта тоска, и уже, приехавши в Петербург, узнал, что это был припадок моей болезни (геморроид).

Гоголь – матери, 22 дек. 1837 г., из Рима. Письма, I, 465.

По пути в Петербург Гоголь посетил в Киеве М. А. Максимовича и прожил у него около пяти суток. Максимович занимал тогда квартиру в доме Катеринича, на Печерске (недалеко от старого Никольского монастыря с одной и Царского сада с другой стороны). Отсюда Гоголь отправлялся в разные прогулки по Киеву и его окрестностям в сопровождении Максимовича или кого-нибудь из товарищей по нежинской гимназии, служивших в Киеве. На лаврской колокольне, откуда открывается обширная панорама гористого Киева и его окрестностей, можно видеть собственноручную его надпись. Он долго просиживал на горе у церкви Андрея Первозванного и рассматривал вид на Подол и на днепровские луга. В то время в нем еще не было заметно мрачного сосредоточения в самом себе и сокрушения о своих грехах и недостатках; он был еще живой и даже немножко ветреный юноша. У Максимовича хранятся цинические песни, записанные Гоголем в Киеве от знакомых и относящиеся к некоторым киевским местностям. Безотчетная склонность его к юмору, которой он только впоследствии дал определенное направление, ни в чем не находила столько пищи, как в этом, – весьма обширном, – отделе малороссийской народной поэзии[27].

П. А. Кулиш со слов М. А. Максимовича, I, 175.

Уцелел еще от сломки на Никольской улице (*в Киеве*) тот Катериничев домик, в который переместился я к весне 1835 г.…Он стоит ныне на тычку, первый с правой стороны, при въезде в новозданную Печерскую крепость, возле лаврского дома. Там был Гоголь, нарочно приезжавший ко мне в конце июля, возвращаясь из своей полтавской Васильевки или Яновщины в Петербург. Он пробыл у меня пять дней или, лучше сказать, пять ночей, ибо в ту пору все мое дневное время было занято в университете, а Гоголь уезжал с утра к своим нежинским лицейским знакомцам и с ними странствовал по Киеву. Возвращался он вечером, и только тогда начиналась наша беседа. Нельзя было мне не заметить перемены в его речах и настроении духа; он каждый раз возвращался неожиданно степенным и даже задумчивым. Ни крепкого словца, ни грязного анекдотца не послышалось от него ни разу. Он, между прочим, откровенно сознавался в своем небрежении о лекциях в Петербургском университете и жалел очень, что его не принял фон-Брадке (*попечитель киевского учебного округа*) в университет Киевский. Я думаю, что именно в то лето начался в нем крутой переворот в мыслях – под впечатлением древнерусской святыни Киева, который у малороссиян XVII века назывался русским Иерусалимом.

Вместе с Гоголем мне удалось, только на другой день его приезда, побывать у Андрея Первозванного; там я оставил его на северо-западном угле балкона, отлучась по делам к попечителю; а когда вернулся, я нашел его возлежащим на том же самом месте… Гоголю особенно полюбился вид оттуда на Кожемяцкое удолье и Кудрявец. Когда же мы снова обходили с ним вокруг той высоты, любуясь ненаглядною красотою киевских видов, стояла неподвижно малороссийская молодица, в белой свитке и намитке, опершись на балкон и глазея на Днепр и Заднепровье. «Чого ты глядишь там, голубко?» – спросили мы. «Бо гарно дивиться», – отвечала она, не переменяя положения, и Гоголь был очень доволен этим выражением эстетического чувства в нашей землячке.

М. А. Максимович. Письма о Киеве и воспоминание о Тавриде. СПб., 1871, стр. 54–57.

Пробыв у Максимовича два дня. Гоголь с Данилевским принуждены были взять напрокат коляску, так как дилижансов тогда еще не существовало, и отправились из Киева в Москву, где Гоголь хотел повидаться с Погодиным и другими своими друзьями. Поездку они совершали втроем; к ним присоединился еще один из бывших нежинских лицеистов-сотоварищей, Ив. Григ. Пащенко. Здесь была разыграна оригинальная репетиция «Ревизора», которым Гоголь был

тогда усиленно занят. Гоголь хотел основательно изучить впечатление, которое произведет на станционных смотрителей его ревизия с мнимым инкогнито. Для этой цели он просил Пащенка выезжать вперед и распространять везде, что следом за ним едет ревизор, тщательно скрывающий настоящую цель своей поездки. Пащенко выехал несколькими часами раньше и устраивал так, что на станциях все были уже подготовлены к приезду и встрече мнимого ревизора. Благодаря этому маневру, замечательно счастливо удавшемуся, все трое катили с необыкновенной быстротой, тогда как в другие раза им нередко приходилось по нескольку часов дожидаться лошадей. Когда Гоголь с Данилевским появлялись на станциях, их принимали всюду с необычайной любезностью и предупредительностью. В подорожной Гоголя значилось: «адъюнкт-профессор», что принималось обыкновенно сбитыми с толку смотрителями чуть ли не за адъютанта его императорского величества. Гоголь держал себя, конечно, как частный человек, но как будто из простого любопытства спрашивал: «Покажите, пожалуйста, если можно, какие здесь лошади; я бы хотел посмотреть их» и проч.

А. С. Данилевский по записи В. И. Шенрока. Материалы, I, 364.

В 1834 (*1835*) году мы жили на Сенном рынке, близ Красных Ворот, в доме Штюрмера. Гоголь между тем уже успел выдать «Миргород» и «Арабески». Мы с Константином (сын Аксакова) и моя семья были в полном восторге от Гоголя. Надобно сказать правду, что, кроме присяжных любителей литературы во всех слоях общества, молодые люди лучше и скорее оценили Гоголя. Московские студенты все пришли от него в восхищение и первые распространили в Москве громкую молву о новом великом таланте. В один вечер сидели мы в ложе Большого театра; вдруг растворилась дверь, вошел Гоголь и с веселым дружеским видом, какого мы никогда не видели, протянул мне руку со словами: «Здравствуйте!» Нечего говорить, как мы были изумлены и обрадованы. Константин, едва ли не более всех понимавший значение Гоголя, забыл, где он, и громко закричал, что обратило внимание соседних лож. Это было во время антракта. Вслед за Гоголем вошел к нам в ложу Ефремов, и Константин шепнул ему на ухо: «Знаешь ли, кто у нас? Это Гоголь». Ефремов, выпуча глаза также от изумления и радости, побежал в кресла и сообщил эту новость покойному Станкевичу и еще кому-то из наших знакомых. В одну минуту несколько трубок и биноклей обратились на нашу ложу и слова: «Гоголь, Гоголь!» – разнеслись по креслам. Не знаю, заметил ли он это движение, только, сказав несколько слов, что он опять в Москве на короткое время, Гоголь уехал. Несмотря на краткость свидания, мы все заметили, что в отношении к нам Гоголь совершенно сделался другим человеком, между тем как не было никаких причин, которые во время его отсутствия могли бы нас сблизить. Самый приход

его в ложу показывал уже уверенность, что мы ему обрадуемся. Мы радовались и удивлялись такой перемене. Впоследствии, из разговоров с Погодиным, я заключил (то же думаю и теперь), что его рассказы об нас, о нашем высоком мнении о таланте Гоголя, о нашей горячей любови к его произведениям произвели это обращение. После таких разговоров с Погодиным Гоголь немедленно поехал к нам, не застал нас дома, узнал, что мы в театре, и явился в нашу ложу.

С. Т. Аксаков. История знакомства, 8.

Первое мое свидание с Гоголем относится к тому времени, когда явились «Арабески» и «Миргород». Автор их приехал в Москву, где у него уже было немало почитателей. В числе их, кроме Погодина и семейства Аксаковых, состоял и короткий их знакомый, А. О. Армфельд, профессор судебной медицины и в то же время инспектор классов в Николаевском сиротском институте, где я преподавал историю русской словесности. Он пригласил на обед близких знакомых, в том числе и меня, жаждавших лицезреть новое светило нашей литературы. Обедом не торопились, зная обычай Гоголя запаздывать, но потом, потеряв надежду на его прибытие, сели за стол. При втором блюде явился Гоголь, видимо смущенный, что заставил себя долго ждать. Он сидел, серьезный и сдержанный, как будто дичился, встретив две-три незнакомых личности. Но когда зашла речь о повести Основьяненки (Квитка) «Пан Халявский», напечатанной в «Отечественных Записках», тогда и он скромно вставил свое суждение. Соглашаясь с замечанием, что в главном лице (Халявском) есть преувеличения, доходящие до карикатуры, он старался, однако ж, умалить этот недостаток. Может быть, я ошибаюсь, но мне казалось, что он в невыгодном отзыве о Квитке видел как бы косвенную похвалу себе, намерение возвеличить его собственный талант. Вообще он говорил очень умно и держал себя отлично, не в пример другим случаям.

Вторая встреча устроилась в том же доме. Хозяин (*Армфельд*) играл в карты с С. Т. Аксаковым, а Гоголь, обедавший с ними, спал на кровати. Проснувшись, он вышел из-под полога, и я был представлен ему как истинный поклонник его таланта, знакомивший институток с его сочинениями, которые читались мною по вечерам в квартире начальницы, разумеется, с исключением некоторых мест, не подлежащих ведению девиц. Гоголь, бывший в хорошем расположении духа, протянул мне руку и сказал смеясь: «Не слушайте вашего инспектора, читайте все сплошь и рядом, не пропускайте ничего». – «Как это можно? – возразил Армфельд: – Всему есть вес и мера». – «Да не все ли равно? Ведь дивчата прочтут же тайком, втихомолку».

А. Д. Галахов. Сороковые годы (воспоминания). Ист. Вестн., 1892, февр., 403.

Читал Гоголь так, как едва ли кто может читать. Это было верх удивительного совершенства. Скажу даже вот что: как ни отлично разыгрывались его комедии или, вернее сказать, как ни передавались превосходно иногда некоторые их роли, но впечатления никогда не производили они на меня такого, как в его чтении. Читал он однажды у меня, в большом собрании, свою «Женитьбу», в 1834 или 1835 году. Когда дошло дело до любовного объяснения у жениха с невестою – «в которой церкви вы были в прошлое воскресение? какой цветок больше любите?» – прерываемого троекратным молчанием, он так выражал это молчание, так оно показывалось на его лице и в глазах, что все слушатели буквально покатывались со смеху, а он, как ни в чем не бывало, молчал и поводил только глазами.

М. П. Погодин. Отрывок из записок. Рус. Арх., 1865, стр. 891.

Гоголь вез с собою в Петербург комедию, всем известную теперь под именем «Женитьба»; тогда называлась она «Женихи». Он сам вызвался прочесть ее вслух в доме Погодина для всех знакомых хозяина. Погодин воспользовался этим позволением и назвал столько гостей, что довольно большая комната была буквально набита битком. Я захворал и не мог слышать этого чтения. К тому же это случилось в субботу, в мой день, а мои гости не были приглашены на чтение к Погодину. Разумеется, Константин мой был там. Гоголь до того мастерски читал или, лучше сказать, играл свою пиесу, что многие понимающие это дело люди до сих пор говорят, что на сцене, несмотря на хорошую игру актеров, особенно Садовского в роли Подколесина, эта комедия не так полна, цельна и далеко не так смешна, как в чтении самого автора. Я совершенно разделяю это мнение, потому что впоследствии хорошо узнал неподражаемое искусство Гоголя в чтении всего комического. Слушатели до того смеялись, что некоторым сделалось почти дурно. Гоголь сожалел, что меня не было у Погодина; назначил день, в который хотел приехать к нам обедать и прочесть комедию мне и всему моему семейству. В назначенный день я пригласил к себе именно тех гостей, которым не удалось слышать комедию Гоголя. Между прочими гостями были Станкевич и Белинский. Гоголь очень опоздал к обеду, что впоследствии нередко с ним случалось. Мне было досадно, что гости мои так долго голодали, и в пять часов я велел подавать кушать; но в самое это время увидели мы Гоголя, который шел пешком через всю Сенную площадь к нашему дому. Но увы! ожидания наши не сбылись: Гоголь сказал, что никак не может сегодня прочесть нам комедию, а потому и не принес ее с собой. Все это мне было неприятно, и, вероятно, вследствие того и в этот приезд Гоголя в Москву не последовало такого сближения между нами, какого я желал, а в последнее время и надеялся.

Я виделся с ним еще один раз поутру у Погодина, самое короткое время, и узнал, что Гоголь на другой день едет в Петербург.

С. Т. Аксаков, История знакомства, 9.

Гоголь не раз пользовался рассказами Щепкина как материалом для своих созданий. Случай, рассказанный в «Старосветских помещиках» о том, как Пульхерия Ивановна появление одичалой кошки приняла за предвестие своей близкой кончины, взят из действительности. Подобное происшествие было с бабкой Щепкина. Щепкин как-то рассказал о нем Гоголю, и тот мастерски воспользовался им в своей повести. Щепкин прочитал повесть и при встрече с автором сказал ему шутя: «А кошка-то моя!» – «Зато коты мои!» – отвечал Гоголь, и в самом деле коты принадлежали его вымыслу.

А. Н. Афанасьев. Библиотека для Чтения, 1864, февр., 7.

Гоголь, Данилевский и Пащенко остановились в гостинице. Вбегает к ним лакей их и говорит, что Н. В. Гоголя спрашивает какой-то господин, а вслед за этим входит и самый этот господин и спрашивает: «Здесь г. Гоголь?» Гоголь, Данилевский и Пащенко были не одеты и скорей за ширму. «Извините, мы не одеты», – говорят из-за ширмы. «Ничего, прошу вас не стесняться». А за ширмой суматоха: один другого выпихивают вперед. Наконец выходит Гоголь. Господин оказывается – бывший министр народного просвещения (*юстиции*) И. И. Дмитриев. Он пригласил Гоголя с товарищами к себе на вечер. Дали слово. На вечере у Дмитриева собралось человек двадцать пять московских литераторов, артистов и любителей, в числе которых был и Щепкин с двумя своими дочерьми. Хозяин и все просили Гоголя прочесть «Женитьбу». Гоголь сел и начал читать. По одну сторону его сидел Дмитриев, а по другую Щепкин. Читал Гоголь так превосходно, с такой неподражаемой интонацией, переливами голоса и мимикой, что слушатели приходили в восторг, не выдерживали и прерывали чтение различными восклицаниями. Кончил Гоголь и свистнул... Восторженный Щепкин сказал так: «Подобного комика не видал и не увижу!» Потом, обращаясь к дочерям, которые готовились поступить на сцену, прибавил: «Вот для вас высокий образец художника, вот у кого учитесь!»

Т. Г. Пащенко по записи В. Пашкова. Берег, 1880, № 268.

С Гоголем Нащокин познакомился в Москве, кажется, у С. Т. Аксакова и пригласил его к себе. Это случилось до поездки Гоголя в Италию, но в каком именно году – не помню. Гоголь скоро стал своим человеком в нашем доме. Он был небольшого роста, говорил с хохлацким акцентом,

немного ударяя на о, носил довольно длинные волосы, остриженные в скобку, и часто встряхивал головой, любил всякие малороссийские кушанья, особенно галушки, что у нас часто для него готовили. Общества малознакомых людей он сторонился. Обыкновенно разговорчивый, веселый, остроумный с нами, Гоголь сразу съеживался, стушевывался, забивался в угол, как только появлялся кто-нибудь посторонний, и посматривал из своего угла серьезными, как будто недовольными глазами или совсем уходил в маленькую гостиную в нашем доме, которую он особенно любил. Когда Гоголь бывал в ударе, а это случалось часто до отъезда его за границу, он нас много смешил. К каждому слову, к каждой фразе у него находилось множество комических вариаций, от которых можно было помереть со смеху. Особенно любил он перевирать, конечно, в шутку, газетные объявления. Шутил он всегда с серьезным лицом, отчего юмор его производил еще более неотразимое впечатление.

В. А. Нащокина. Воспоминания о Пушкине и Гоголе. Новое Время, 1898, № 8129, иллюстр. прил.

Настоящим восприемником Гоголя в русской литературе, давшим ему имя, был Белинский. Статья его «О русской повести и повестях Гоголя», написанная вслед за выходом в свет двух книжек Гоголя: «Миргород» и «Арабески» (1835), пришлась очень кстати. Она подоспела к тому горькому времени для Гоголя, когда вследствие претензии своей на профессорство и ученость по вдохновению он осужден был выносить самые злостные и ядовитые нападки не только на свою авторскую деятельность, но и на личный характер свой. Я близко знал Гоголя в это время и мог хорошо видеть, как, озадаченный и сконфуженный не только ярыми выходками Сенковского и Булгарина, сколько общим осуждением петербургской публики, ученой братии и даже приятелей, он стоял совершенно одинокий, не зная, как выйти из своего положения и на что опереться. Московские знакомые и доброжелатели его покамест еще выражали в своем органе (*«Московское Наблюдателе»*) сочувствие его творческим талантам весьма уклончиво, сдержанно, предоставляя себе право отдаваться вполне своим впечатлениям только наедине, келейно, в письмах, домашним образом. Руку помощи в смысле возбуждения его упадшего духа протянул ему тогда никем не прошенный, никем не ожиданный и совершенно ему неизвестный Белинский, явившийся с упомянутой статьей в «Телескопе» 1835 года. И с какой статьей!.. Основываясь на сущности авторского таланта и на достоинстве его миросозерцания, просто объявил, что в Гоголе русское общество имеет будущего великого писателя. Я имел случай видеть действие этой статьи на Гоголя. Он был доволен статьей, и более, чем доволен: он был осчастливлен статьей, если вполне верно передавать воспоминания о том времени. С особенным вниманием остановился в

ней Гоголь на определении качеств истинного творчества, и раз, когда зашла речь о статье, перечитал вслух одно ее место: «Еще создание художника есть тайна для всех, еще он не брал пера в руки, – а уже видит образы ясно, уже может счесть складки их платья, морщины их чела, изборожденного страстями и горем, а уже знает их лучше, чем вы знаете своего отца, брата, друга, свою мать, сестру, возлюбленную сердца; также он знает то, что они будут говорить и делать, видит всю нить событий, которая обовьет и свяжет между собою...» – «Это совершенная правда, – заметил Гоголь и тут же прибавил с полузастенчивой и полунасмешливой улыбкой, которая была ему свойственна: – Только не понимаю, чем Белинский после этого восхищается в повестях Полевого».

П. В. Анненков. Замечательное десятилетие. Литературные воспоминания, 202.

Сентября 1-го Гоголь возвратился в Петербург.

А. И. Кирпичников. Хронолог. канва, 25.

V

«Ревизор»

Пришлите, прошу вас убедительно, если вы взяли с собою, мою комедию «Женитьба», которой в вашем кабинете не находится и которую я принес вам для замечаний. Я сижу без денег и решительно без всяких средств; мне нужно давать ее актерам на разыграние, что обыкновенно делается, по крайней мере, за два месяца прежде. Сделайте милость, пришлите скорее и сделайте наскоро хоть сколько-нибудь главных замечаний.

Начал писать «Мертвых Душ». Сюжет растянулся на предлинный роман и, кажется, будет сильно смешон. Но теперь остановил его на третьей главе. Ищу хорошего ябедника, с которым бы можно коротко сойтись. Мне хочется в этом романе показать хотя с одного боку всю Русь.

Сделайте милость, дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь смешной или несмешной, но русский чисто анекдот. Рука дрожит написать тем временем комедию. Если же сего не случится, то у меня пропадет даром время, и я не знаю, что делать тогда с моими обстоятельствами. Я, кроме моего скверного жалования университетского – 600 рублей, никаких не имею теперь мест. Сделайте же милость, дайте сюжет; духом будет комедия из пяти актов, и клянусь, куда смешнее черта! Ради бога, ум и желудок мой оба голодают.

Мои ни «Арабески», ни «Миргород» не идут совершенно. Черт их знает, что это значит! Книгопродавцы такой народ, которых без всякой совести можно повесить на первом дереве.

Гоголь – А. С. Пушкину, 7 окт. 1835 г., Письма, I, 353.

Мысль «Ревизора» принадлежит Пушкину.

Гоголь. Авторская исповедь.

Гоголь при разговоре, между прочим, заметил, что первую идею к «Ревизору» подал ему Пушкин, рассказав о Павле Петровиче Свиньине, как он, в Бессарабии, выдавал себя за какого-то петербургского важного чиновника и только зашедши уже далеко (стал было брать прошения от колодников), был остановлен. «После слышал я, – прибавил он, – еще несколько подобных проделок, напр., о каком-то Волкове».

О. М. Бодянский. Дневник. Рус. Стар., 1889, окт. 134.

Пушкин рассказал Гоголю про случай, бывший в городе Устюжине Новгородской губ., о каком-то проезжем господине, выдавшем себя за чиновника министерства и обобравшем всех городских жителей. Кроме того, Пушкин, сам будучи в Оренбурге, узнал, что о нем получена гр. В. А. Перовским секретная бумага, в которой Перовский предостерегался, чтоб был осторожен, так как история Пугачевского бунта была только предлогом, а поездка Пушкина имела целью обревизовать секретно действия оренбургских чиновников. На этих двух данных задуман был «Ревизор», коего Пушкин называл себя всегда крестным отцом[28].

Гр. В. А. Соллогуб. Из воспоминаний. Рус. Арх., 1865, стр. 744.

Известно, что Гоголь взял у Пушкина мысль «Ревизора» и «Мертвых душ», но менее известно, что Пушкин не совсем охотно уступил ему свое достояние. В кругу своих домашних Пушкин говорил, смеясь: «С этим малороссом надо быть осторожнее: он обирает меня так, что и кричать нельзя».

П. В. Анненков. «Гоголь в Риме». Литературные воспоминания, 20.

По словам Нащокина, Гоголь никогда не был близким человеком к Пушкину. Пушкин, радостно и приветливо встречавший всякое молодое дарование, принимал к себе Гоголя, оказывал ему покровительство, заботился о внимании к нему публики, хлопотал лично о постановке на сцену «Ревизора», одним словом, выводил Гоголя в люди. Нащокин, уважая талант Гоголя, не уважает его, как человека, противопоставляя

его искание эффектов, самомнение простодушию и доброте, безыскусственности Пушкина.

П. И. Бартенев со слов П. В. Нащокина. Рассказы о Пушкине. М., 1925. Стр. 44–45.

Гоголь читал однажды у Жуковского свою «Женитьбу» в одну из тех пятниц, где собиралось общество русских литературных, ученых и артистических знаменитостей. При последних словах: «но когда жених выскочил в окно, то уже…» – он скорчил такую гримасу и так уморительно свистнул, что все слушатели покатились со смеху. При представлении этот свист заменила, кажется, актриса Гусева, словами: «так уж просто мое почтение», что всегда и говорится теперь[29]. Но этот конец далеко не так комичен и оригинален, как тот, который придуман был Гоголем. Он не завершает пьесы и не довершает в зрителе, последнею комическою чертою, общего впечатления после комедии, основанной на одном только юморе.

Гр. В. А. Соллогуб. Из воспоминаний. Рус. Арх., 1865, стр. 743.

Обо мне много толковали, разбирая кое-какие мои стороны, но главного существа моего не определили. Его слышал один только Пушкин. Он мне говорил всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем. Вот мое главное свойство, одному мне принадлежащее и которого, точно, нет у других писателей… Но достоинство это не развилось бы во мне в такой силе, если бы с ним не соединилось мое собственное душевное обстоятельство и моя собственная душевная история. Никто из читателей моих не знал того, что, смеясь над моими героями, он смеялся надо мною. Во мне не было какого-нибудь одного слишком сильного порока, который бы высунулся виднее всех моих прочих пороков, все равно, как не было также никакой картинной добродетели, которая могла бы придать мне какую-нибудь картинную наружность; но зато, вместо того, во мне заключилось собрание всех возможных гадостей, каждой понемногу, и притом в таком множестве, в каком я еще не встречал ни в одном человеке. Бог дал мне многостороннюю природу. Он поселил мне также в душу, уже от рождения моего, несколько хороших свойств; но лучшее из них было желание быть лучшим. Я не любил никогда моих дурных качеств. По мере того как они стали открываться, усиливалось во мне желание избавляться от них; необыкновенным душевным событием я был наведен на то, чтобы передавать их моим героям. Какого рода было это событие, знать тебе не следует. С этих пор я стал наделять своих героев, сверх их собственных гадостей, моею собственною дрянью. Вот как это

делалось; взявши дурное свойство мое, я преследовал его в другом звании и на другом поприще, старался себе изобразить его в виде смертельного врага, нанесшего мне самое чувствительное оскорбление, преследовал его злобою, насмешкою и всем, чем ни попало. Если бы кто видел те чудовища, которые выходили из-под пера моего вначале для меня самого, он бы, точно, содрогнулся. Когда я начал читать Пушкину первые главы из «Мертвых Душ» в том виде, как они были прежде, то Пушкин, который всегда смеялся при моем чтении (он же был охотник до смеха), начал понемногу становиться все сумрачнее, сумрачнее, а наконец сделался совершенно мрачен. Когда же чтение кончилось, он произнес голосом тоски: «Боже, как грустна наша Россия!» Меня это изумило. Пушкин, который так знал Россию, не заметил, что все это карикатура и моя собственная выдумка! Тут-то я увидел, что значит дело, взятое из души, и вообще душевная правда, и в каком ужасающем для человека виде может быть ему представлена тьма и пугающее отсутствие света. С этих пор я уже стал думать только о том, чтобы смягчить то тягостное впечатление, которое могли произвести «Мертвые Души».

Гоголь. Четыре письма к разным лицам по поводу «Мертвых Душ». Выбранные места из переписки с друзьями, XVIII. 3.

Мы все здесь здоровы. Сестры растут и учатся и играют. Я тоже надеюсь кое-что получить приятное. Итак, не более как годка через два я приду в такую возможность, что, может быть, приглашу в Петербург посмотреть на них, а до того времени и нечего досадовать.

Гоголь – матери, 10 ноября 1835 г., из Петербурга. Письма. I, 355.

Я расплевался с университетом, и через месяц опять беззаботный казак. Неузнанный я взошел на кафедру и неузнанный схожу с нее. Но в эти полтора года – годы моего бесславия, потому что общее мнение говорит, что я не за свое дело взялся, – в эти полтора года я много вынес оттуда и прибавил в сокровищницу души. Уже не детские мысли, не ограниченный прежний круг моих сведений, но высокие, исполненные истины и ужасающего величия мысли волновали меня… Мир вам, мои небесные гостьи, наводившие на меня божественные минуты в моей тесной квартире, близкой к чердаку! Вас никто не знает, вас вновь опускают на дно души до нового пробуждения; когда вы исторгнитесь с большею силою и не посмеет устоять бесстыдная дерзость ученого невежи, ученая и неученая чернь, всегда соглашающаяся публика… и проч., и проч.…Я тебе одному говорю это; другому не скажу я: меня назовут хвастуном, и больше ничего. Мимо, мимо все это!

Теперь вышел я на свежий воздух. Это освежение нужно в жизни, как цветам дождь, как засидевшемуся в кабинете прогулка. Смеяться, смеяться давай теперь побольше. Да здравствует комедия! Одну (*«Ревизор»*) наконец решаюсь давать на театр, приношу переписывать экземпляр для того, чтобы послать к тебе в Москву, вместе с просьбою предуведомить кого следует по этой части. Скажи Загоскину, что я буду писать к нему об этом и убедительно просить о всяком с его стороны вспомоществовании, а милому Щепкину, что ему десять ролей в одной комедии; какую хочет, пусть такую берет; даже может разом все играть. Мне очень жаль, что я не приготовил ничего к бенефису его. Так я был озабочен это время, что едва только успел третьяго дня окончить пиесу. Той комедии, которую я читал у вас в Москве (*«Женихи»*), давать не намерен на театр.

Гоголь – М. П. Погодину, 6 декабря 1835 г., из Петербурга. Письма, I, 357.

Живо помню последнюю лекцию Гоголя: бледное, исхудалое и длинноносое лицо его подвязано было черным платком от зубной боли, и в таком виде фигура его, а притом еще в вицмундире, производила впечатление бедного, угнетенного чиновника, от которого требовали непосильного с его природными дарованиями труда.

М-н. Воспоминания. Рус. Стар., 1881, май, 157.

Состоящий по установлению в 8-м классе, Н. В. Гоголь, бывший адъюнкт по кафедре истории при импер. С.-Петербургском университете… по случаю преобразования университета остался за реформою с выдачею годового оклада жалования 1836, января 1-го… Аттестован был всегда способным и достойным и во все продолжение своей службы вел себя, как подобает приличному, благородному человеку.

Аттестат Гоголя, выданный из Петербургского университета. Рус. Стар., 1902, сент., 651.

Комедия совсем готова и переписана, но я должен непременно, как увидел теперь, переделать несколько явлений. Это не замедлится, потому что я во всяком случае решился непременно дать ее на Светлый праздник. К посту она будет совсем готова, и за пост актеры успеют разучить совершенно свои роли.

Гоголь – М. П. Погодину, 18 генваря 1836 г., из Петербурга. Письма, I, 360.

Вчера (*на субботе Жуковского*) Гоголь читал нам новую комедию «Ревизор»... Весь быт описан очень забавно, и вообще неистощимая веселость; но действия мало, как и во всех произведениях его. Читает мастерски и возбуждает в аудитории непрерывные взрывы смеха. Не знаю, не потеряет ли пиеса на сцене, ибо не все актеры сыграют, как он читает... Вигель его терпеть не может за то, что он где-то отозвался о подлой роже директора департамента... Гоголь от избытка веселости часто завирается, и вот чем веселость его прилипчива.

Кн. П. А. Вяземский – А. И. Тургеневу, 19 янв. 1836 г., из Петербурга. Остафьевский Архив, III, 285.

Барон Розен гордился тем, что, когда Гоголь на вечере у Жуковского в первый раз прочел своего «Ревизора», он один из всех присутствовавших не показал автору ни малейшего одобрения и даже ни разу не улыбнулся и сожалел о Пушкине, который увлекся этим оскорбительным для искусства фарсом и во время чтения катался от смеха.

И. И. Панаев. Литерат. воспоминания. Полн. собр. соч., VI, 68.

Я теперь занят постановкою комедии. Не посылаю тебе экземпляра потому, что беспрестанно переправляю. Не хочу даже посылать прежде моего приезда актерам, потому что ежели они прочтут без меня, то уже трудно будет переучить их на мой лад. Думаю быть если не в апреле, то в мае в Москве.

Гоголь – М. П. Погодину, 21 февраля 1836 г., из Петербурга. Письма, I, 365.

(*Яким, слуга Гоголя, о Пушкине*) «Они так любили барина. Бывало, снег, дождь, слякоть, а они в своей шинельке бегут сюда. По целым ночам у барина просиживали, слушая, как наш-то читал им свои сочинения, либо читая ему свои стихи».

По словам Якима, Пушкин, заходя к Гоголю и не заставая его, с досадою рылся в его бумагах, желая знать, что он написал нового. Он с любовью следил за развитием Гоголя и все твердил ему: «пишите, пишите», а от его повестей хохотал, и уходил от Гоголя всегда веселый и в духе.

Гр. П. Данилевский. Сочинения, XIII, 121.

Гоголь изредка посещал мою тетку (*А. И. Васильчикову, у которой в 1831 году он был учителем ее сына*) и однажды сделал ей такой странный визит, что нельзя о нем не упомянуть. Тетушка сидела у себя с детьми в глубоком трауре, с плерезами, по случаю недавней кончины ее

матери[30]. Докладывают про Гоголя. Он входит с постной физиономией. Как обыкновенно бывает в подобных случаях, разговор начался о бренности всего земного. Должно быть, это надоело Гоголю: тогда он был еще весел и в полном порыве своего юмористического вдохновения. Вдруг он начинает предлинную и преплачевную историю про какого-то малороссийского помещика, у которого умирал единственный обожаемый сын. Старик измучился, не отходил от больного ни днем, ни ночью, наконец утомился совершенно и пошел прилечь в соседнюю комнату, отдав приказание, чтоб его тотчас разбудили, если больному сделается хуже. Не успел он заснуть, как человек бежит: «Пожалуйте!» «Что, неужели хуже?» – «Какой хуже! Скончался совсем!» При этой развязке все лица слушавших со вниманием рассказ вытянулись, раздались вздохи, общий возглас и вопрос: «Ах, боже мой, ну, что же бедный отец?» – «Да что ж ему делать, – продолжал хладнокровно Гоголь, – растопырил руки, пожал плечами, покачал головой, да и свистнул: фю, фю!» Громкий хохот детей заключил анекдот, а тетушка с полным на то правом рассердилась на эту шутку, действительно в минуту общей печали весьма неуместную. Трудно объяснить себе, зачем Гоголь, всегда кроткий и застенчивый в обществе, решился на подобную выходку. Быть может, он вздумал развеселить детей от господствовавшего в доме грустного настроения; быть может, он, сам того не замечая, увлекся бившей в нем постоянно струёй неодолимого комизма.

Гр. В. А. Соллогуб. Из воспоминаний. Рус. Арх., 1865, стр. 742.

Приезжает раз Гоголь, входит, А. И. Васильчикова сидит грустная, в глубоком трауре. Гоголь, чтоб развлечь ее, начинает длинный рассказ о том, что такие ли бывают еще утраты, что он знавал одного отца, у которого был единственный, нежно любимый сын. Сын этот заболевает, отец с отчаяния сзывает на консилиум лучших врачей, волнуется, терзается, везет сына за границу. Ничто не помогает. Силы угасают, сын помирает. «Ну, что же отец?» – в волнении спрашивает бабушка. «Отец? Да ничего! Дунул себе на ладонь и сказал только: фью!..» Бабушка страшно рассердилась такому неуместному утешению.

А. А. Васильчиков по записи А. А. Милорадович. Рус. Арх., 1909, II, 540.

По словам одного из собеседников Гоголя, г. К-го (с которым я на днях беседовал и которого благодарю здесь за любезное сообщение некоторых сведений о Гоголе), в то время (*около 1836 г.*) господствующим качеством Гоголя была необыкновенная сила сообщительного юмора при большой скрытности характера. Когда Гоголь читал или рассказывал, он вызывал в слушателях неудержимый смех, в буквальном смысле слова смешил их до упаду. Слушатели

задыхались, корчились, ползали на четвереньках в припадке истерического хохота. Любимый род его рассказов в то время были скабрезные анекдоты, причем рассказы эти отличались не столько эротическою чувствительностью, сколько комизмом во вкусе Раблэ. Это было малороссийское сало, посыпанное крупною аристофановскою солью.

Ал. Иванов (кн. А. И. Урусов). Театр. Заметки и наблюдения. Порядок, 1881, № 28.

Гоголю большого труда стоило добиться до представления своей пьесы. При чтении ее цензура перепугалась и строжайше запретила ее. Оставалось автору апеллировать на такое решение в высшую инстанцию. Он так и сделал. Жуковский, кн. Вяземский, гр. Виельгорский решились ходатайствовать за Гоголя, и усилия их увенчались успехом. «Ревизор» был вытребован в Зимний дворец, и графу Виельгорскому поручено его прочитать. Граф, говорят, читал прекрасно; рассказы Добчинского и Бобчинского и сцена представления чиновников Хлестакову очень понравились, и затем по окончании чтения последовало высочайшее разрешение играть комедию.

А. И. Вольф. Хроника петербургских театров. Спб., 1877. Часть I, стр. 49.

Государь читал пиесу («Ревизора») в рукописи.

Кн. П. А. Вяземский – А. И. Тургеневу. Ост. Арх., III, 317.

Если бы сам государь не оказал своего высокого покровительства и заступничества, то, вероятно, «Ревизор» не был бы никогда игран или напечатан.

Гоголь – матери. Письма, I, 380.

В марте 1836 года «Ревизор» попал в драматическую цензуру Третьего отделения 4. Рассматривал его известный цензор Евстафий Ольдекоп. Он представил о пьесе пространный рапорт, по обыкновению, на французском языке.

«Эта пьеса остроумна и великолепно написана. Автор ее принадлежит к числу выдающихся русских писателей-новеллистов… (*Следует подробное изложение содержания комедии.*) Пьеса не заключает в себе ничего предосудительного».

На этом докладе рукою генерала Дубельта было написано: «позволить».

Бар. Н. В. Дризен. Заметки о Гоголе. Ист. Вестн., 1907, № 10, стр. 164–166.

Живя в Петербурге, еще во времена «Миргорода» и «Ревизора», Гоголь был принят очень радушно в одном доме, где к обеду непременно надобно было являться во фраке. Чтоб уклониться от соблюдения этой церемонии, Гоголь подкалывал булавками полы своего сюртука и являлся таким образом к обеду. Хозяева, по доброте своей, старались не замечать этой выходки и прощали ее поэту.

П. А. Кулиш. Записки о жизни Гоголя, II, 253.

Однажды к квартире Гоголя подъехала великолепная карета, посланная за ним одной высокопоставленной особой. Гоголя не было дома, – был в кружке своих друзей. Карета поехала туда; входит лакей, говорит, что карета приехала за г. Гоголем и что его ожидают. Услыша это, Гоголь сильно встревожился и сначала наотрез отказался ехать. Но тут уже все товарищи начали уговаривать его, чтобы ехал непременно и без всяких отговорок. «Да у меня и фрака здесь нет!» Нашли фрак и натянули на Гоголя: рукава оказались коротковаты, а фалды чересчур длинные… Снарядили наскоро как могли, и Гоголь поехал. У пригласившей Гоголя высокой особы он читал «Ревизора» в присутствии большого общества, генералов и других сановников. Говорили потом, что прочел он «Ревизора» неподражаемо. Каждое действующее лицо этой комедии говорило у Гоголя своим голосом и с своей мимикой. Все слушатели много и от души смеялись, благодарили талантливого автора и превосходного чтеца за доставленное удовольствие, и Гоголь получил в подарок превосходные часы.

Т. Г. Пащенко по записи В. Пашкова. Берег, 1880, № 268.

На блистательных литературных вечерах у В. А. Жуковского Гоголь частенько читал свою комедию «Ревизор». Сижу в кругу именитейших литераторов и нескольких почтенных, образованнейших особ; все аплодируют, восхищаются, тешатся… Мне довелось слышать «Ревизора», по крайней мере, еще раз десять, как единственное чтение на тех литературных вечерах.

Бар. Е. Ф. Розен. Ссылка на мертвых. Сын Отечества, 1847, кн. 6, отд. 3, стр. 22, 24.

Субботы Жуковского процветают… Один Гоголь, которого Жуковский называет Гоголек, оживляет их своими рассказами. В последнюю

субботу читал он нам повесть об носе, который пропал с лица неожиданно у какого-то коллежского асессора. Уморительно смешно!

Кн. П. А. Вяземский – А. И. Тургеневу, 9 апр. 1836 г., из Петербурга. Ост. Арх., III, 313.

В воскресенье буду к вам обедать. Но вот предложение; вам хотелось слышать Гоголеву комедию. Хотите, чтоб я к вам привез Гоголя? Он бы прочитал после обеда, а я бы так устроился, чтобы не заснуть под чтение.

В. А. Жуковский – А. О. Смирновой, в 1836 году. Рус. Арх., 1883, I, 336.

Когда ставили «Ревизора», все участвующие артисты как-то потерялись; они чувствовали, что типы, выведенные Гоголем в пьесе, новы для них и что эту пьесу нельзя так играть, как они привыкли разыгрывать на сцене свои роли в переделанных на русские нравы французских водевилях.

А. Я. Панаева-Головачева. Воспоминания. Лгрд. 1928. Стр. 43.

В Великом посту 1836 г. при театре начались репетиции новой комедии, по слухам запрещенной цензурою, но дозволенной к представлению самим государем, по усердному ходатайству Жуковского. При ее чтении самим автором у Сосницкого, в присутствии артистов, которым предназначены были роли, большинство их, воспитанное на оригинальных комедиях Княжнина, Шаховского, Хмельницкого, Загоскина или на переводах скучнейшего Дюсиса и напыщенного Мариво, новая комедия, написанная каким-то молодым малороссиянином Гоголем, год тому назад напечатавшим несколько забавных повестей под заглавием «Миргород», – большинство артистов, говорим мы, пришло в какое-то недоумение. «Что же это такое? – шептали слушатели друг другу по окончании чтения. – Разве это комедия? Читает-то он хорошо, но что же это за язык? Лакей так-таки и говорит лакейским языком, а слесарша Пошлепкина – как есть простая баба, взятая с Сенной площади. Чем же тут наш Сосницкий-то восхищается? Что тут хорошего находят Жуковский и Пушкин?» Так отнеслись к «Ревизору» первые исполнители этой комедии; к числу порицателей принадлежал и П. А. Каратыгин (*известный в свое время актер-комик и водевилист*). Ученик старой классической школы, он, до времени, не мог отрешиться от классических традиций. И артисты, и многие писатели не могли решиться сбросить с голов пудреные парики, с плеч – французские кафтаны и облечься в русское платье, в настоящую сибирку купца Абдулина или затасканный и засаленный сюртук Осипа. Но враждебные отношения артистов к произведению Гоголя сопровождались явлением крайне замечательным: два старейшие актера обеих столичных сцен, Щепкин – московской и Сосницкий

петербургской, отнеслись к «Ревизору» с живейшим сочувствием. Подобно всем своим сослуживцам, П. А. Каратыгин отнесся к комедии Гоголя если не с пренебрежением, то с полнейшим равнодушием; но самая личность автора обратила на себя особенное внимание артиста и глубоко врезалась в его памяти. Во время одной из репетиций «Ревизора» Каратыгин, находясь за кулисами, набросал на обертке своей роли, сложенной пополам, портрет Гоголя. По рассказам покойного П. А. Каратыгина, это было на утренней репетиции, в воскресенье 18 апреля 1836 г., т. е. накануне первого представления «Ревизора». Гоголь был сильно встревожен и, видимо, расстроен; часто вполголоса говорил с Сосницким, почти исключительно с ним, и лишь изредка с начальником репертуара А. И. Храповицким. Последний, пощипывая усы, во многих сценах ехидно улыбался и пожимал плечами. Некоторые из молодых актеров и актрис тайком перемигивались. Их нескромную веселость возбуждала не комедия, но ее автор. Невысокого роста блондин с огромным тупеем, в золотых очках на длинном птичьем носу, с прищуренными глазками и плотно сжатыми, как бы прикуснутыми губами. Зеленый фрак с длинными фалдами и мелкими парламутровыми пуговицами, коричневые брюки и высокая шляпа-цилиндр, которую Гоголь то порывисто снимал, запуская пальцы в свой тупей, то вертел в руках, все это придавало его фигуре нечто карикатурное. Никто не догадывался, какой великий талант скрывался в этом слабом теле, какие страдания он испытывал, предугадывая, что ни актеры-исполнители, ни большинство публики не оценят и не поймут «Ревизора» при его первом представлении.

П. П. Каратыгин со слов П. А. Каратыгина. Ист. Вестн., 1883, сент., 735.

В сороковых годах служил в Александринском театре небольшой актер О. О. Прохоров, невоздержный любитель рюмочки. Он упоминается Гоголем в «Ревизоре», когда городничий спрашивает квартального: – Где Прохоров? Прохоров в частном доме, да только к делу не может быть употреблен. – Как так? – Да так: привезли его поутру мертвецки. Вот уже два ушата воды вылили, до сих пор не протрезвился. Эта сценка вписана была Гоголем на одной из репетиций, когда на оклик городничего, которого изображал И. И. Сосницкий, вбежал какой-то выходной актер и стал читать роль квартального, а так как на предыдущих репетициях эту роль репетировал Прохоров, то Сосницкий спросил от себя: «А Прохоров где?» – «Опять запьянствовал...» Гоголю так понравился этот частный разговор, что он тут же вставил его в свою комедию в вышеприведенной редакции.

А. А. Алексеев. Воспоминания. Ист. Вестн., 1892, июнь, 681.

На первом представлении «Ревизора» в 1836 г., рассказывал мне г. К., (или на генеральной репетиции?), Гоголь сам распорядился вынести

роскошную мебель, поставленную было в комнаты городничего, и заменил ее простою мебелью, прибавив клетки с канарейками и бутыль на окне. Осип был наряжен в ливрею с галунами. Гоголь снял замасленный кафтан с ламповщика и надел его на актера, игравшего Осипа.

Ал. Иванов (кн. А. И. Урусов). Порядок, 1881, № 28.

ЗРЕЛИЩА

сего дня, 19-го апреля,

На Александринском театре, в первый раз, Ревизор, оригинальная комедия в пяти действиях; – Сват Гаврилыч, или Сговор на яму, картина русского народного быта.

С.-Петербургские Ведомости, 1836, № 86, от 19 апр. (воскресенье), стр. 370.

Зала наполнилась блистательнейшею публикою, вся аристократия была налицо, зная, что государь обещал быть в театре. Сосницкий играл городничего, Сосницкая – жену его, Асенкова – дочь, Дюр – Хлестакова, Афанасьев – Осипа, Каратыгин – Тяпкина-Ляпкина, Толченов – Землянику, Гусева – Пошлепкину, Сосновский – Абдулина.

А. И. Вольф. Хроника петерб. театров, I, 49.

На спектакле государь был в эполетах, партер был ослепителен, весь в звездах и других орденах. Министры и П. Д. Киселев (*вскоре – министр государственных имуществ*) сидели в первом ряду. Они должны были аплодировать при аплодисментах государя, который держал обе руки на барьере ложи. Громко хохотали. Киселев громче других, так как ему не в чем было себя упрекать.

А. О. Смирнова. Автобиография, 331.

19 апреля. – В первый раз «Ревизор». Оригинальная комедия в пяти действиях. Сочинение Н. Гоголя… Государь император с наследником внезапно изволил присутствовать и был чрезвычайно доволен, хохотал от всей души. Пиеса весьма забавна, только нестерпимое ругательство на дворян, чиновников и купечество. Актеры все, особенно Сосницкий, играли превосходно. Вызваны: автор, Сосницкий и Дюр.

А. И. Храповицкий. Дневник. Рус. Стар., 1879, февр., 348.

Приехав неожиданно в театр, император Николай Павлович пробыл до окончания пьесы, от души смеялся и, выходя из ложи, сказал: «Ну, пьеска! Всем досталось, а мне – более всех!» Эти слова покойный Каратыгин, в числе некоторых других артистов, сам слышал, находясь за кулисами при выходе государя из ложи на сцену.

П. П. Каратыгин. Ист. Вестн., 1883, сент., 736.

Театр был полон. Вся петербургская интеллигенция была в сборе. В партере, между прочим, сидел И. А. Крылов, никогда не бывавший в театре. На вызовы автора Гоголь не вышел. Волнуемый новыми для него ощущениями, он в тот же вечер заезжал к знакомым, был у Плетнева, не застал его, поехал к другому (сообщ. г. К.).

Ал. Иванов (кн. А. И. Урусов). Порядок, 1881, № 28.

Мнением публики Гоголь озабочивался гораздо более, чем мнениями знатоков, друзей и присяжных судей литературы, а петербургская публика относилась к Гоголю если не вполне враждебно, то, по крайней мере, подозрительно и недоверчиво. Последний удар нанесен был представлением «Ревизора». Хлопотливость автора во время постановки «Ревизора», казавшаяся странной, выходящей из всех обыкновений и даже, как говорили, из всех приличий, горестно оправдалась водевильным характером, сообщенным главному лицу комедии, и пошло-карикатурным, отразившимся в других. Гоголь прострадал весь этот вечер. Мне, свидетелю этого первого представления, позволено будет сказать – что изображала сама зала театра в продолжение четырех часов замечательнейшего спектакля, когда-либо им виденного. Уже после первого акта недоумение было написано на всех лицах (публика была избранная в полном смысле слова), словно никто не знал, как должно думать о картине, только что представленной. Недоумение это возрастало потом с каждым актом. Как будто находя успокоение в одном предположении, что дается фарс, большинство зрителей, выбитое из всех театральных ожиданий и привычек, остановилось на этом предположении с непоколебимой решимостью. Однако же в этом фарсе были черты и явления, исполненные такой жизненной истины, что раза два, особенно в местах, наименее противоречащих тому понятию о комедии вообще, которое сложилось в большинстве зрителей, раздавался общий смех. Совсем другое произошло в четвертом акте: смех, по временам, еще перелетал из конца залы в другой, но это был какой-то робкий смех, тотчас же и пропадавший; аплодисментов почти совсем не было; зато напряженное внимание, судорожное, усиленное следование за всеми оттенками пьесы, иногда мертвая тишина показывали, что дело, происходившее на сцене, страстно захватывало сердца зрителей. По окончании акта прежнее недоумение уже

переродилось почти во всеобщее негодование, которое довершено было пятым актом. Многие вызывали автора потом за то, что написал комедию, другие за то, что виден талант в некоторых сценах, простая публика за то, что смеялась, но общий голос, слышавшийся по всем сторонам избранной публики, был: «Это – невозможность, клевета и фарс». По окончании спектакля Гоголь явился к Н. Я. Прокоповичу в раздраженном состоянии духа. Хозяин вздумал поднести ему экземпляр «Ревизора», только что вышедший из печати, со словами: «Полюбуйтесь на сынку». Гоголь швырнул экземпляр на пол, подошел к столу и, опираясь на него, проговорил задумчиво: «Господи боже! Ну, если бы один, два ругали, ну и бог с ними, а то все, все...»

П. В. Анненков. Гоголь в Риме. Литературные воспоминания, 28–29.

Государь (*исполнением «Ревизора»*) был вполне доволен и велел благодарить артистов. Все отличившиеся получили от двора подарки, иные от дирекции прибавку к жалованью, а Петров, игравший Бобчинского и пользовавшийся за эту роль особою высокою милостью, получил совершенно неожиданно сюрприз. В антракте одного из балетов государь пожаловал на сцену и, заметив Петрова, вышедшего пофигурировать вперед, сказал: «А! Бобчинский! Так так и сказать, что в таком-то городе живет Петр Ива-ныч Бобчинский?» – «Точно так, ваше величество...» – отвечал тот бойко. – «Ну, хорошо, будем знать», – заключил государь, обратившись к другим присутствующим на сцене.

Л. Л. Леонидов. Воспоминания. Рус. Стар., 1888, апр., стр. 228.

«Ревизор» имел успех колоссальный, но в первые минуты этого успеха никто даже из самых жарких поклонников Гоголя не понимал вполне значения этого произведения и не предчувствовал, какой огромный переворот должен совершить автор этой комедии. Кукольник после представления «Ревизора» только иронически ухмылялся и, не отрицая таланта в Гоголе, замечал: «А все-таки это фарс, недостойный искусства».

И. И. Панаев. Литературные воспоминания. Полн. собр. соч. СПб., 1888. Т. VI, стр. 152.

«Ревизор» сыгран, и у меня на душе так смутно, так странно... Я ожидал, я знал наперед, как пойдет дело, и при всем том чувство грустное и досадно-тягостное облекло меня. Мое же создание мне показалось противно, дико и как будто вовсе не мое. Главная роль пропала; так я и думал. Дюр ни на волос не понял, что такое Хлестаков... Хлестаков сделался чем-то вроде целой шеренги водевильных шалунов, которые пожаловали к нам повертеться с парижских театров. Он сделался просто обыкновенным вралем. А мне он казался ясным. Хлестаков вовсе не

надувает, он сам позабывает, что лжет, и уже сам почти верит тому, что говорит… И вот Хлестаков вышел детская, ничтожная роль! Это тяжело и ядовито-досадно.

С самого начала представления пьесы я уже сидел в театре скучный. О восторге и приеме публики я не заботился. Одного только судьи из всех, бывших в театре, я боялся, и этот судья был я сам. Внутри себя я слышал упреки и ропот против моей же пьесы, которые заглушали все другие. А публика вообще была довольна. Половина ее приняла пьесу даже с участием; другая половина, как водится, ее бранила по причинам, однако ж не относящимся к искусству… Вообще с публикою совершенно примирил «Ревизора» городничий. В этом, кажется, я был уверен и прежде, ибо для таланта, каков у Сосницкого; ничего не могло остаться необъясненным в этой роли. На Слугу тоже надеялся, потому что заметил в актере большое внимание к словам и замечательность. Зато Бобчинский и Добчинский вышли сверх ожидания дурны. Вышла карикатура. Уже пред началом представления, увидевши их костюмированными, я ахнул. Эти два человека, в существе своем довольно опрятные, толстенькие, с прилично приглаженными волосами, очутились в каких-то нескладных, превысоких седых париках, всклокоченные, неопрятные, взъерошенные, с выдернутыми огромными манишками; а на сцене оказались до такой степени кривляками, что просто было невыносимо. Вообще костюмировка большей части пьесы была очень плоха и карикатурна. Я как бы предчувствовал это, когда просил, чтоб сделать одну репетицию в костюмах; но мне стали говорить, что это вовсе не нужно и не в обычае и что актеры уж знают свое дело. Заметивши, что цены словам моим давали немного, я оставил их в покое. Еще раз повторю: тоска, тоска! Не знаю сам, отчего одолевает меня тоска.

Во время представления я увидел ясно, что начало четвертого акта бледно и носит признак какой-то усталости. Возвратившись домой, я тотчас же принялся за переделку. Теперь, кажется, вышло немного сильнее, по крайней мере, естественнее и более идет к делу. Но у меня нет сил хлопотать о включении этого отрывка в пьесу. Я устал; и как вспомню, что для этого нужно ездить, просить и кланяться, то бог с ним, – пусть лучше при втором издании или возобновлении «Ревизора».

У меня недостает больше сил хлопотать и спорить. Я устал и душою, и телом. Клянусь, никто не знает и не слышит моих страданий. Бог с ними со всеми! Мне опротивела моя пьеса. Я хотел бы убежать теперь бог знает куда.

Гоголь. Письмо к одному литератору.

.

(*28 апр. 1836 г.*) – Комедия Гоголя «Ревизор» наделала много шуму. Ее беспрестанно дают, почти через день. Государь был на первом представлении, хлопал и много смеялся. Я попал на третье представление. Была государыня с наследником и великими княжнами. Их эта комедия тоже много тешила. Государь даже велел министрам ехать смотреть «Ревизора». Впереди меня в креслах сидели князь Чернышев (*военный министр*) и граф Канкрин (*министр финансов*). Первый выражал свое полное удовольствие; второй только сказал: «Стоило ли ехать смотреть эту глупую фарсу». Многие полагают, что правительство напрасно одобряет эту пьесу, в которой оно так жестоко порицается. Я виделся вчера с Гоголем. Он имеет вид великого человека, преследуемого оскорбленным самолюбием. Впрочем, Гоголь действительно сделал важное дело.

А. В. Никитенко, I, 273.

«Ревизор» имел полный успех на сцене: общее внимание зрителей, рукоплескания, задушевный и единогласный хохот, вызов автора после двух первых представлений, жадность публики к последовавшим представлениям и, что всего важнее, живой отголосок ее, раздавшийся после в повсеместных разговорах, – ни в чем не было недостатка.

Кн. П. А. Вяземский, Полн. собр. соч., II, 259.

Ведь это, однако, Плетнев открыл это маленькое сокровище (Гоголя); у него чутье очень верное, он его распознал с первой встречи.

А. О. Смирнова – кн. П. А. Вяземскому, 4 мая 1836 г. Собр. соч. кн. П. П. Вяземского, 549.

Прочти «Ревизора» и заключи, столько толков раздаются о нем. Все стараются быть более монархистами, чем царь, и все гневаются, что позволили играть эту пиесу, которая, впрочем, имела блистательный и полный успех на сцене, хотя не успех общего одобрения. Неимоверно что за глупые суждения слышишь о ней, особенно в высшем ряду общества! «Как будто есть такой город в России». «Как не представить хоть одного честного, порядочного человека? Будто их нет в России?»

Кн. П. А. Вяземский – А. И. Тургеневу, 8 мая 1836 г. Ост. Арх., III, 317.

Вся тогдашняя молодежь была от «Ревизора» в восторге. Мы наизусть повторяли друг другу, подправляя и пополняя один другого, целые сцены, длинные разговоры оттуда. Дома или в гостях нам приходилось вступать в горячие прения с разными пожилыми (а иной раз, к стыду,

даже и не пожилыми) людьми, негодовавшими на нового идола молодежи и уверявшими, что никакой натуры у Гоголя нет, что это все его собственные выдумки и карикатуры, что таких людей вовсе нет на свете, а если и есть, то их гораздо меньше бывает в целом городе, чем тут у него в одной комедии. Схватки выходили жаркие, продолжительные, но старики не могли изменить в нас ни единой черточки, и наше фанатическое обожание Гоголя разрасталось все только больше и больше.

В. В. Стасов. Училище Правоведения в 1836—42 гг. Рус. Стар., 1882, февр., 417.

Посылаю вам «Ревизора». Может быть, до вас уже дошли слухи о нем. Я желал сам привезти его к вам и прочитать собственногласно, дабы о некоторых лицах не составились заблаговременно превратные понятия, которые – я знаю чрезвычайно трудно после искоренить, но, познакомившись с здешнею театральною дирекциею, – я такое получил отвращение к театру, что одна мысль о тех приятностях, которые готовятся для меня еще и на московском театре, в силе удержать поездку в Москву и попытку хлопотать о чем-либо. К довершению, наконец, возможнейших мне пакостей, здешняя дирекция, т. е. директор Гедеонов, вздумал, как слышу я, отдать главные роли другим персонажам после четырех представлений ее, будучи подвинут какою-то мелочной личною ненавистью к некоторым главным актерам в моей пьесе, как-то: к Сосницкому, к Дюру. Мочи нет! Делайте что хотите с моею пиесою, но я не стану хлопотать о ней. Мне она сама надоела так же, как хлопоты о ней. Действие, произведенное ею, было большое и шумное. Все против меня. Чиновники пожилые и почтенные кричат, что для меня нет ничего святого, когда я дерзнул так говорить о служащих людях; полицейские против меня; купцы против меня; литераторы против меня. Бранят и ходят на пиесу; на четвертое представление нельзя достать билетов. Если бы не высокое заступничество государя, пиеса моя не была бы ни за что на сцене, и уже находились люди, хлопотавшие о запрещении ее. Теперь я вижу, что значит быть комическим писателем. Малейший призрак истины – против тебя восстают, и не один человек, а целые сословия. Воображаю, что же было бы, если бы я взял что-нибудь из петербургской жизни, которая мне больше и лучше теперь знакома, нежели провинциальная. Досадно видеть против себя людей тому, который их любит между тем братскою любовью.

Комедию мою, читанную мною вам в Москве, под заглавием «Женитьба», я теперь переделал и переправил, и она несколько похожа теперь на что-нибудь путное. Я ее назначаю таким образом, чтобы она шла вам и Сосницкому в бенефис здесь и в Москве, что, кажется,

случается в одно время года. Сам же через месяца полтора, если не раньше, еду за границу.

Гоголь – М. С. Щепкину, 29 апреля 1836 г., из Петербурга. Письма, I, 368.

«Ревизор» был продан петербургской дирекции самим Гоголем за 2500 рублей ассигнациями, а потому немедленно начали его ставить и в Москве. Гоголь хорошо был знаком с Мих. Сем. Щепкиным и поручил ему письменно постановку «Ревизора», снабдив при этом многими, по большей части очень дельными, наставлениями. В то же время узнали мы, что сам Гоголь, сильно огорченный и расстроенный чем-то в Петербурге, распродал с уступкою все оставшиеся экземпляры «Ревизора» и других своих сочинений и собирается немедленно уехать за границу.

С. Т. Аксаков. История знакомства, II.

После разных волнений, досад и прочего, мысли мои так рассеяны, что я не в силах собрать их в стройность и порядок. Я хотел было ехать непременно в Москву и с тобой наговориться вдоволь. Но не так сделалось. Чувствую, что теперь не доставит мне Москва спокойствия, а я не хочу приехать в таком тревожном состоянии, в каком нахожусь ныне. Еду за границу, там размыкаю ту тоску, которую наносят мне ежедневно мои соотечественники. Писатель современный, писатель комический, писатель нравов должен подальше быть от своей родины. Пророку нет славы в отчизне. Что против меня уже решительно восстали теперь все сословия, я не смущаюсь этим, но как-то тягостно, грустно, когда видишь против себя несправедливо восстановленных своих же соотечественников, которых от души любишь, когда видишь, как ложно, в каком неверном виде ими все принимается. Частное принимать за общее, случай за правило! что сказано верно и живо, то уже кажется пасквилем. Выведи на сцену двух-трех плутов – тысяча честных людей сердится, говорит: «Мы не плуты». Но бог с ними! Я не оттого еду за границу, чтоб не умел перенести этих неудовольствий. Мне хочется поправиться в своем здоровье, рассеяться, развлечься и потом, избравши несколько постояннее пребывание, обдумать хорошенько труды будущие. Пора уже мне творить с большим размышлением.

Гоголь – М. П. Погодину, 10 мая 1836 г., из Петербурга. Письма, I, 370.

Говорят, ты сердишься на толки (по поводу «Ревизора»). Ну, как тебе, братец, не стыдно! Ведь ты сам делаешься комическим лицом. Представь себе, автор хочет укусить людей не в бровь, а прямо в глаз. Он попадает в цель. Люди щурятся, отворачиваются, бранятся и,

разумеется, кричат: «Да! Нас таких нет!» Так ты должен бы радоваться, ибо видишь, что достиг цели. Каких доказательств яснее истины в комедии! А ты сердишься?! Ну, не смешон ли ты?

М. П. Погодин – Гоголю, из Москвы. Барсуков, IV, 337.

Я не сержусь на толки, как ты пишешь, не сержусь, что сердятся и отворачиваются те, которые отыскивают в моих оригиналах свои собственные черты и бранят меня, не сержусь, что бранят меня неприятели литературные, продажные таланты; но грустно мне это всеобщее невежество, движущее столицу, грустно, когда видишь, что глупейшее мнение ими же опозоренного и оплеванного писателя действует на них же самих и их же водит за нос; грустно, когда видишь, в каком еще жалком состоянии находится у нас писатель. Все против него, и нет никакой сколько-нибудь равносильной стороны за него. «Он зажигатель! Он бунтовщик!» И кто же говорит? Это говорят мне люди государственные, люди выслужившиеся, опытные люди, которые должны бы иметь на сколько-нибудь ума, чтоб понять дело в настоящем виде, люди, которые считаются образованными и которых свет, по крайней мере русский свет, называет образованными. Выведены на сцену плуты, и все в ожесточении, зачем выводить на сцену плутов. Пусть сердятся плуты; но сердятся те, которых я не знал вовсе за плутов. Прискорбна мне эта невежественная раздражительность, признак глубокого, упорного невежества, разлитого на наши классы. Столица щекотливо оскорбляется тем, что выведены нравы шести чиновников провинциальных; что же бы сказала столица, если бы выведены были хотя слегка ее собственные нравы? Я огорчен не нынешним ожесточением против моей пиесы; меня заботит моя печальная будущность. Провинция уже слабо рисуется в моей памяти, черты ее уже бледны, но жизнь петербургская ярка перед моими глазами, краски ее живы и резки в моей памяти. Малейшая черта ее – и как тогда заговорят мои соотечественники! И то, чтобы приняли люди просвещенные с громким смехом и участием, то самое возмущает желчь невежества; а это невежество всеобщее. Сказать о плуте, что он плут, считается у них подрывом государственной машины; сказать какую-нибудь только живую и верную черту – значит, в переводе, опозорить все сословие и вооружить против него других или его подчиненных. Рассмотри положение бедного автора, любящего между тем сильно свое отечество и своих же соотечественников, и скажи ему, что есть небольшой круг, понимающий его, глядящий на него другими глазами, утешит ли это его? Москва больше расположена ко мне, но отчего? Не оттого ли, что я живу в отдалении от ней, что портрет ее еще не был виден нигде у меня, что, наконец… не хочу на этот раз выводить все случаи. Сердце мое в эту минуту наполнено благодарностью к ней за ее внимание ко мне. Прощай. Еду разгулять свою тоску, глубоко обдумать свои обязанности авторские, свои будущие творения и возвращусь к тебе, верно,

освеженный и обновленный. Все, что ни делалось со мною, было спасительно для меня. Все оскорбления, все неприятности посылались мне высоким провидением на мое воспитание, и ныне я чувствую, что не земная воля направляет путь мой. Он, верно, необходим для меня.

Гоголь – М. П. Погодину, 15 мая 1836 г., из Петербурга. Письма, I, 377.

Мой смех вначале был добродушен; я совсем не думал осмеивать кого-либо с какой-нибудь целью, и меня до такой степени изумляло, когда я слышал, что обижаются и даже сердятся на меня целиком сословия и классы общества, что я наконец задумался. «Если сила смеха так велика, что ее боятся, стало быть, ее не следует тратить по-пустому». Я решился собрать все дурное, какое только я знал, и за одним разом над всем посмеяться – вот все происхождение «Ревизора»! Это было первое мое произведение, замышленное с целью произвести доброе влияние на общество, что, впрочем, не удалось; в комедии стали видеть желание осмеять узаконенный порядок вещей и правительственные формы, тогда как у меня было намерение осмеять только самоуправное отступление некоторых лиц от форменного и узаконенного порядка. Я был сердит и на зрителей, меня не понявших, и на себя самого, бывшего виной тому, что меня не поняли. Мне хотелось убежать от всего. Душа требовала уединения и обдуманья строжайшего своего дела.

Гоголь – Жуковскому, 10 янв. 1848 г. Письма, IV, 136.

Не могу, мой добрый и почтенный земляк, никаким образом не могу быть у вас в Москве. Отъезд мой уже решен. Знаю, что вы все приняли бы меня с любовью; мое благодарное сердце чувствует это. Но не хочу и я тоже с своей стороны показаться вам скучным и не разделяющим вашего драгоценного для меня участия. Лучше я с гордостью понесу в душе своей эту просвещенную признательность старой столицы моей родины и сберегу ее, как святыню, в чужой земле. Притом, если бы я даже приехал, я бы не мог быть так полезен вам, как вы думаете. Я бы прочел ее вам дурно, без малейшего участия к моим лицам, – во-первых, потому, что охладел к ней; во-вторых, потому, что многим недоволен в ней, хотя совершенно не тем, в чем обвиняли меня мои близорукие и неразумные критики. Я дорогою буду сильно обдумывать одну замышляемую мною пиесу. Зимою в Швейцарии буду писать ее, а весною причалю с нею прямо в Москву, и Москва первая будет ее слышать.

Гоголь – М. С. Щепкину, 15 мая 1836 г., из Петербурга. Письма, I, 375.

Я знаю г. автора «Ревизора», – это юная Россия, во всей ее наглости и цинизме. Он под покровительством Жуковского, но ведь это Жуковский

не прежний. Посудите, он нынешней зимой по субботам собирал у себя литераторов, и я иногда являлся туда, как в неприятельский стан. Первостепенные там князья Вяземский и Одоевский и г. Гоголь. Всегда бывал там и Пушкин, но этот все придерживается Руси (?).

Ф. Ф. Вигель – Н. М. Загоскину, 31 мая 1836 г., из Петербурга. Ф. Ф. Вигель. Записки. Изд. «Круга». М., 1925. Т. II, 327.

Было время, что я вас долго и близко знал (о, горе мне!) – и не узнал! С обеих сторон излишнее самолюбие не дозволяло нам сблизиться. И как, за суровостью ваших взглядов, мог бы я угадать сокровища ваших чувств? До сокровищ ума нетрудно было у вас добраться: несмотря на всю скупость речей ваших, он сам собою высказывался.

Ф. Ф. Вигель – Н. В. Гоголю (по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями», в 1847 г.). Н. В. Сушков. Московский университетский благородный пансион. М., 1858. Стр. 25.

И. И. Лажечников, как многие писатели старой школы, совершенно искренно не понимал восторга от «Ревизора», которого считал просто карикатурой, фарсом, годным для потехи райка, а не художественным творческим произведением. «Высоко уважаю талант автора «Старосветских помещиков» и «Бульбы», – пишет он Белинскому, – но не дам гроша за то, чтобы написать «Ревизора»».

А. П. Пыпин. Белинский, его жизнь и переписка. Изд. 2-е. СПб., 1908. Стр. 104.

Накануне отъезда Гоголя за границу Пушкин, по словам Якима (*гоголевского слуги*), просидел у него в квартире всю ночь напролет. Он читал начатые им сочинения. Это было последнее их свидание.

Гр. П. Данилевский. Знакомство с Гоголем. Сочинения, изд. 9-е, т. XIII, 121.

Перед отъездом за границу Гоголь сделал распоряжение, чтобы выпустить Якима (*своего крепостного слугу*) на волю, и написал об этом матери. Но Яким сам не захотел этого.

В. П. Горленко. Миргород и Яновщина. Рус. Арх., 1893, I, 303.

(*6 июня 1836 г.*) Гоголь двинулся в сообществе своего друга А. С. Данилевского за границу. Сестры Гоголя простились с ним в институте. Оставляя их одних в институте, он всячески заботился, чтобы им было

хорошо, чтоб их почаще навещали и пр. На пароход приехал дружески проводить Гоголя кн. Вяземский.

В. И. Шенрок. Материалы, III, 114.

Я помню так, как бы это было вчера, и буду помнить долго вашу доброту, ваш прощальный поцелуй, данный вами мне уже на пароходе, ваши рекомендательные письма, которые приобрели мне благосклонный прием от тех, которым были вручены.

Гоголь – кн. П. А. Вяземскому, 25 июня 1838 г., из Рима. Письма, I, 513.

VI

За границей

(Июнь 1836 г. – сентябрь 1839 г.)

Плавание наше было самое несчастное. Вместо четырех дней пароход шел целые полторы недели по причине дурного и бурного времени и беспрестанно портившейся пароходной машины.

Гоголь – В. А. Жуковскому. Письма, I, 385.

Выбравшись из парохода, который мне надоел жестоко, я проехал очень скоро Травемунде, Любек и несколько деревень, не останавливаясь почти нигде до самого Гамбурга. Места эти мне знакомы. Гамбург тоже старинный знакомый.

Гоголь – матери, 29/17 июня 1836 г., из Гамбурга. Письма, I, 386.

Мне очень было прискорбно, что не удалось с вами проститься перед отъездом, тем более что отсутствие мое, вероятно, продолжится на несколько лет. Но теперь для меня есть что-то в этом утешительное. Разлуки между нами не может и не должно быть, и где бы я ни был, в каком отдаленном уголке ни трудился, я всегда буду возле вас. Каждую субботу я буду в вашем кабинете, вместе со всеми близкими вам. Вечно вы будете представляться мне слушающим меня читающего. Какое участие, какое заботливо-родственное участие видел я в глазах ваших!.. Низким и пошлым почитал я выражение благодарности к вам. Нет, я не был проникнут благодарностью; клянусь, это было что-то выше, что-то больше ее; я не знаю, как назвать это чувство, но катящиеся в эту минуту слезы, но взволнованное до глубины сердце говорят, что оно одно из тех чувств, которые редко достаются в удел жителю земли. – Мне ли не благодарить пославшего меня на землю! каких высоких, каких

торжественных ощущений, невидимых, незаметных для света, исполнена жизнь моя! Клянусь, я что-то сделаю, чего не делает обыкновенный человек. Львиную силу чувствую в душе своей и заметно слышу переход свой из детства, проведенного в школьных занятиях, в юношеский возраст. В самом деле, если рассмотреть строго и справедливо, что такое все написанное мною до сих пор? Мне кажется, как будто я разворачиваю давнюю тетрадь ученика, и которой на одной странице видно нерадение и лень, на другой нетерпение и поспешность, робкая и дрожащая рука начинающего и смелая замашка шалуна, вместо букв выводящая крючки, за которую бьют по рукам. Изредка, может быть, выберется страница, за которую похвалит разве только учитель, провидящий в них зародыш будущего. Пора, пора наконец заняться делом. О, какой непостижимо-изумительный смысл имели все случаи и обстоятельства моей жизни. Как спасительны для меня были все неприятности и огорчения. Они имели в себе что-то эластическое; касаясь их, мне казалось, я отпрыгивал выше, по крайней мере, чувствовал в душе своей крепче отпор. Могу сказать, что я никогда не жертвовал свету моим талантом. Никакое развлечение, никакая страсть не в состоянии была на минуту овладеть моею душою и отвлечь меня от моей обязанности. Для меня нет жизни вне моей жизни, и нынешнее мое удаление из отечества, оно послано свыше, тем же великим провидением, ниспославшим все на воспитание мое. Это великий перелом, великая эпоха моей жизни. Знаю, что мне много встретится неприятного, что я буду терпеть и недостаток и бедность, но ни за что в свете не возвращусь скоро. Долее, долее, как можно долее буду в чужой земле. И хотя мысли мои, мое имя, мои труды будут принадлежать России, но сам я, но бренный состав мой будет удален от нее.

Не знаю, как благодарить вас за хлопоты ваши доставить мне от императрицы на дорогу. Если это сопряжено с неудобствами или сколько-нибудь неприлично, то не старайтесь об этом. Я надеюсь, что, при теперешней бережливости моей, могу как-нибудь управиться с моими средствами. Правда, разделавшись с Петербургом, я едва только вывез две тысячи, но, может быть, с ними я протяну как-нибудь до октября, а в октябре месяце должен мне Смирдин вручить тысячу с лишком. С петербургскими моими долгами я кое-как распорядился: иные выплатил из моей суммы, другие готовы подождать. В Ахене я займусь месяца два языками, потому что мне чрезвычайно трудно изъясняться, и потом еду в Рейн.

Гоголь – В. А. Жуковскому, 28/16 июня 1836 г., из Гамбурга. Письма, I, 383.

Когда Гоголь был в Гамбурге, то заказал себе все платье из тика, и: когда ему указывали, что он делает себя смешным. Гоголь возражал: «Что же

тут смешного? Дешево, моется, и удобно». Сделав себе упомянутый костюм, он написал четверостишие:

Счастлив тот, кто сшил себе

В Гамбурге штанишки.

Благодарен он судьбе

За свои делишки.

Четверостишие это он повторял потом целую неделю. Вообще у Гоголя была привычка, поймав какое-нибудь слово или рифму, которые ему почему-либо понравились, повторять их в течение нескольких дней.

И. Ф. Золотарев по записи К. Ободоевского. Ист. Вестн., 1893, № 1, стр. 36.

Я был в театре, который дается в саду на открытом воздухе. Немцев чрезвычайное множество приходит смотреть, а немки приходят сюда со всем хозяйством, и все, сколько ни есть, вяжут чулок во все продолжение представления... Гуляя за городом, я увидел один дом, довольно большой и великолепно освещенный. Музыка и толпа народа заставила и меня войти. Зал огромный, люстры и освещения много; но меня удивило, что танцующие одеты, как сапожники, в чем ни попало. Танцевали вальс. Такого вальса вы еще в жизни не видывали: один ворочает даму свою в одну сторону, другой в другую; иные, просто взявшись за руки, даже не кружатся, но, уставив один другому в глаза, как козлы, прыгают по комнате, не разбирая, в такт ли это или нет. После я узнал, что это был знаменитый матросский бал.

Гоголь – сестрам. Письма, I, 389.

В Гамбурге я прожил неделю. Решился ехать сухим путем через Бремен. В Бремене заглянул в погреба, где покоится знаменитый рейнвейн несколько сот лет, который отпускается только опасным больным и знаменитым путешественникам.

Гоголь – матери. Письма, I, 391.

Обедая в гостинице вместе с Данилевским, Гоголь неожиданно сказал ему торжественным тоном: «Потребуем старого, старого рейнвейна». Но вино ни ему, ни Данилевскому не понравилось вовсе. По воспоминанию Данилевского, оно было слишком «capiteux» (крепко) и не понравилось также соседям, бывшим с ними вместе за табль-дотом. За это удовольствие путешественники должны были заплатить наполеондор

(20 франков) – цена довольно внушительная. По словам Данилевского, оба они далеко не обладали хорошими средствами и вообще ездили очень экономно, но тут решились непременно испробовать этот знаменитый рейнвейн.

В. И. Шенрок со слов А. С. Данилевского. Материалы, III, 120.

В Минстере я видел только наружность прекрасных готических церквей. В Дюссельдорфе только остановился позавтракать.

Наконец, неделю назад, как приехал я в Ахен.

Гоголь – матери, 17/5 июля 1836 г., из Ахена. Письма, I, 391.

Ахен, где мы проскучали несколько дней, обильно, но плохо обедали в нарядных гостиницах, задыхались от пыли на гулянье, понятно, оставил в Гоголе не особенно приятное впечатление.

А. С. Данилевский по записи В. И. Шенрока. Материалы, III, 121.

Одна уже мысль и об Ахене, и о трактире Карломановом, и об несчастнейшем, покрытом пылью гулянье, и об моей болезни в горле, которая там приключилась, и об тоске, которая там задает балы во всем своем разгулье, – ничто, ничто не может заманить туда во второй раз.

Гоголь – А. С. Данилевскому, 8 мая 1839 г., из Рима. Письма, I, 599.

В Ахене Гоголь расстался с Данилевским, и они стали выбирать маршрут каждый по своему вкусу.

В. И. Шенрок со слов А. С. Данилевского. Материалы, III, 123.

С Ахена множество городов, больших и малых, мелькнуло мимо меня, и я едва могу припомнить имена их. Только путешествие по Рейну осталось несколько в моей памяти. Два дня шел пароход наш, и беспрестанные виды наконец надоели мне… В Майнце, большом и старинном городе, вышел я на берег, не остановился ни минуты, хотя город очень стоил того, чтобы посмотреть его, и сел в дилижанс до Франкфурта… Я не могу до сих пор выбраться из минеральных вод; проехал в Ахен, теперь пошли другие: Крейценах, Баден-Баден, эмские, висбаденские, швальцбахские, словом, несчетное множество. Во Франкфурте очень хорошо дают оперу… Здесь дни самые капризные: раз до пятнадцати начинает идти дождь. Слишком жаркого дня еще,

кажется, не бывало. Но пора кончить письмо и убираться из Франкфурта. Почтовая карета меня уже ожидает.

Гоголь – матери, 26/24 июля 1836 г., из Франкфурта-на-Майне. Письма, I, 393.

Я живу на знаменитых водах баден-баденских, куда заехал только на три дня и откуда уже три недели не могу выбраться. Встретил довольно знакомых. Больных серьезно здесь никого нет. Все приезжают только веселиться. Местоположение города чудесно… Мест для гуляния в окружности страшное множество; но на меня такая напала лень, что никак не могу приневолить себя все осмотреть. Каждый раз собираюсь пораньше встать, и всегда почти просплю. Лето здесь хорошо. Слишком жарких дней нет.

Гоголь – матери, 2/14 августа 1836 г., из Баден-Бадена. Письма, I, 394.

В числе семейств, встреченных Гоголем в Баден-Бадене, он особенно сблизился с Балабиными и Репниными. «Мы скоро с ним сошлись, – рассказывала нам княжна В. Н. Репнина, – он был очень оживлен, любезен и постоянно смешил нас». По ее словам. Гоголь ежедневно заходил к ним, сделался совершенно своим человеком и любил беседовать с бывшей своей ученицей, Марьей Петровной Балабиной, и с ее матерью, Варварой Осиповной. Княжна Репнина, заметив пристрастие Гоголя к десерту и лакомствам, старалась ему угодить и, желая доставить ему удовольствие, собственноручно приготовляла для него компот, который чрезвычайно нравился Гоголю; такой компот он обыкновенно называл «главнокомандующим всех компотов». В это время Гоголь неподражаемо-превосходно читал М. П. Балабиной «Ревизора» и «Записки сумасшедшего», и своим чтением приводил всех в восторг; а когда он дошел однажды до того места, в котором Поприщин жалуется матери на производимые над ним истязания, В. О. Балабина не могла выдержать и зарыдала.

В. И. Шенрок со слов княжны В. Н. Репниной. Материалы, III, 128.

Уже около недели, как я в Швейцарии; проехал лучшие швейцарские города: Берн, Базель, Лозанну и четвертого дня приехал в Женеву.

Гоголь – матери, 23/11 авг. 1836 г., из Женевы. Письма, I, 395.

В 1836 г. у подошвы швейцарских гор и в окрестностях Берна я увидел впервые Гоголя. Это было в гостях у нашего посланника Д. П. Северина. Я был только немым свидетелем приятной, но мимолетной беседы.

А. С. Стурдза. Москвитянин, 1852, окт., № 20, кн. 2, стр. 224.

Города швейцарские мало для меня были занимательны. Ни Базель, ни Берн, ни Лозанна не поразили. Женева лучше и огромнее их, остановила меня тем, что в ней есть что-то столично-европейское…

Гоголь – Прокоповичу. Письма, I, 402.

…Два предмета только остановили и поразили меня: Альпы да старые готические церкви. Осень наступила, и я должен положить свою дорожную палку в угол и заняться делом. Думаю остаться или в Женеве, или в Лозанне, или в Вене, где будет теплее (здесь нет наших теплых домов). Принимаюсь перечитывать вновь всего Вальтер Скотта, а там, может быть, за перо.

Гоголь – М. П. Погодину, 22/10 сент. 1836 г., из Женевы. Письма, I, 396.

Я хотел скорее усесться на месте и заняться делом; для этого поселился в загородном доме близ Женевы. Там принялся перечитывать я Мольера, Шекспира и Вальтер Скотта. Читал я до тех пор, покамест сделалось так холодно, что пропала вся охота к чтению.

Гоголь – В. А. Жуковскому. Письма, I, 413.

Сегодня поутру посетил я старика Вольтера: был в Фернее. Старик хорошо жил. К нему идет длинная, прекрасная аллея. Дом в два этажа из серенького камня. Из залы дверь в его спальню, которая была вместе и кабинетом его. Постель перестлана, одеяло старинное, кисейное, едва держится, и мне так и представлялось, что вот-вот отворяется дверь и войдет старик в знакомом парике, с отстегнутым бантом и спросит: «что вам угодно?» Сад очень хорош и велик. Старик знал, как его сделать… Я вздохнул и нацарапал русскими буквами мое имя, сам не отдавши себе отчета, для чего.

Гоголь – Н. Я. Прокоповичу, 27 сент. 1836 г., из Женевы. Письма, I, 403.

Таскался по горам и возвращаюсь уже назад. Четыре дня нужно для того, чтобы взойти на верхушку Монблана… Перед вами снега, над вами снега, вокруг вас снега, внизу земли нет: вы видите, вместо нее, в несколько рядов облака… Дождь и гром, все это у вас под ногами, а наверху солнце. Когда я был внизу, была дождливая погода, которая продолжалась несколько дней; когда я, наконец, поднялся выше дальних облаков, солнце светило и день был совершенно ясен, только было холодно, и я, вместо легкого сюртука, надел теплый плащ. Спускаясь вниз, делалось теплее и теплее, наконец облака проходили

мимо, наконец спряталось солнце, наконец я опять очутился среди дождя, должен был взять зонтик, и уж таким образом спустился в долину.

Гоголь – матери, 6 окт. 1836 г., из Женевы. Письма, I, 404.

Более месяца с лишком прожил я в Женеве. Если ты когда-нибудь будешь в сем городе, то увидишь на памятнике Руссо начертанное русскими буквами к тебе послание. В сем городе я был в пансионе, где начинал было собачиться по-французски, но, смекнувши, что мы с тобой для пансионов несколько поустарели и озлобившись на иркутский климат Женевы и на гадкое время, удрал оттуда в Веве, где прожил тоже чуть не месяц. Я никого почти не нашел там русских, но этот городок мне понравился. С прекрасными синими и голубыми горами, его обнесшими, я сделался приятель; старая тенистая каштановая аллея над самым озером видала меня каждый день сидящего на скамье и, наклонившись несколько на правый бок, предававшего варению свой желудок, побежденный совершенно тем же убийственным столом, на который ты имел такую справедливую причину жаловаться. Каждый день ровно в три часа я приходил, вместе с немноголюдными жителями Веве, зевать на пристававший к берегу пароход, где каждый раз я думал встретить тебя, и каждый раз вылезали только англиши с длинными ногами, после чего я чувствовал почти полчаса какую-то бесчувственную скуку и уходил ее разветривать в мои прекрасные горы. Я даже сделался более русским, чем французом, в Веве, и это все произошло оттого, что я начал здесь писать и продолжать моих «Мертвых Душ», которых было оставил.

Гоголь – А. С. Данилевскому, 23 окт. 1836 г., из Лозанны. Письма, I, 412.

Сначала было мне в Веве несколько скучно, потом я привык. На прогулках колотил палкою бегавших по сторонам ящериц, нацарапал даже свое имя русскими буквами в Шильонском подземелье, не посмел подписать его под двумя славными именами творца и переводчика «Шильонского узника» (*Байрона и Жуковского*), впрочем, не было даже и места. Под ними расписался какой-то Бурнашев. Внизу последней колонны, которая в тени, когда-нибудь русский путешественник разберет мое птичье имя, если не сядет на него англичанин.

Осень в Веве, наконец, настала прекрасная, почти лето. У меня в комнате сделалось тепло, и я принялся за «Мертвые Души», которых было начал в Петербурге. Все начатое переделал я вновь, обдумал более весь план и теперь веду его спокойно, как летопись. Швейцария сделалась мне с тех пор лучше; серо-лилово-голубо-сине-розовые ее горы легче и воздушнее. Если совершу это творение так, как нужно его совершить,

то... какой огромный, какой оригинальный сюжет. Какая разнообразная куча. Вся Русь явится в нем. Это будет первая моя порядочная вещь, – вещь, которая вынесет мое имя. Каждое утро в прибавление к завтраку вписывал я по три страницы в мою поэму, и смеху от этих страниц было для меня достаточно, чтобы усладить мой одинокий день. Но наконец и в Веве сделалось холодно. Комната моя была нимало не тепла; лучшей я не мог найти. Мне тогда представился Петербург, наши теплые дома; мне живее тогда представились вы, вы в том самом виде, в каком встречали меня приходившего к вам, и брали меня за руку, и были рады моему приходу... И мне сделалось страшно скучно. Меня не веселили мои «Мертвые Души», я даже не имел в запасе столько веселости, чтобы продолжать их. Доктор мой отыскал во мне признаки ипохондрии, происходившей от геморроид, и советовал мне развлекать себя; увидевши же, что я не в состоянии был это сделать, советовал переменить место. Мое намерение до того было провести зиму в Италии, но в Италии бушевала холера страшным образом; карантины покрыли ее, как саранча. Я встречал только бежавших оттуда итальянцев, которые от страху в масках проезжали свою землю. Не надеясь развлечься в Италии, я отправился в Париж, куда вовсе не располагал было ехать.

Гоголь – В. А. Жуковскому, 12 ноября 1836 г., из Парижа. Письма, I, 413–414.

Я получил письмо от Данилевского, что он скучает в Париже, и решился ехать разделять его скуку.

Гоголь – Н. Я. Прокоповичу. Письма, I, 420.

Первое время после того, как мы расстались и встретились снова в Париже, я узнал в нем прежнего Гоголя. В Париже он не поехал в гостиницу, а прямо ко мне. Потом взял номер в гостинице, но там мерз, потому что не было печей, а были камины. Мы хотели найти теплую квартиру и поселились на углу Place de la Bourse и Rue Vivienne; в этом доме мы нашли, наконец, печь. Здесь Гоголь писал «Мертвые Души». Я к нему не заглядывал, потому что он был постоянно занят; только по вечерам мы часто собирались в театр.

А. С. Данилевский по записи В. И. Шенрока. Материалы, III, 150.

В первые же недели жизни Гоголя в Париже они с Данилевским успели вдвоем осмотреть все выдающиеся достопримечательности его: картинные галереи Лувра, Jardin des Plantes, съездили в Версаль и проч. Часто отправлялись они вместе в театр, преимущественно в оперу. Вместе ходили обедать в разные кафе, которые называли обыкновенно в

шутку «храмами», а после обеда подолгу оставались там играть на бильярде. В Париже Гоголь уже нередко удручал Данилевского своею убийственною мнительностью: вдруг вообразит, что у него какая-нибудь тяжелая болезнь (всего чаще он боялся за желудок), и носится с своим горем до того, что тяжело и грустно на него смотреть, а разубедить его в основательности ужасных призраков не было никакой возможности. Вот в связи с этими-то недугами и находились усиленные заботы об обедах в ресторанах. Отправлениям желудка приходилось придавать чрезвычайно важное значение, и потому обед получил у Гоголя название жертвоприношения, а содержатели ресторанов величались жрецами. По словам Данилевского, Гоголь лечился от желудочной болезни у доктора Маржолена и строго следовал его наставлениям, хотя это было для него большим лишением, потому что он любил покушать и очень любил сладкое.

В. И. Шенрок со слов А. С. Данилевского. Материалы, III, 150–151.

Париж не так дурен, как я воображал, и мест для гулянья множество; одного сада Тюльери и Елисейских полей достаточно на весь день ходьбы. Я нечувствительно делаю препорядочный моцион, что для меня теперь необходимо. Бог сделал чудо: указал мне теплую квартиру на солнце, с печкой, и я блаженствую. Снова весел. «Мертвые» (*«Души»*) текут живо, свежее и бодрее, чем в Веве, и мне совершенно кажется, как будто я в России: передо мною все наше, наши помещики, наши чиновники, наши офицеры, наши мужики, наши избы, словом, вся православная Русь. Мне даже смешно, как подумаю, что я пишу «Мертвых душ» в Париже. Еще один Левиафан затевается. Священная дрожь пробирает меня заранее, как подумаю о нем; слышу кое-что из него? Божественные вкушу минуты… но… теперь я погружен весь в «Мертвые Души». Огромно велико мое творение, и не скоро конец его. Еще восстанут против меня новые сословия и много разных господ; но что ж мне делать. Уж судьба моя враждовать с моими земляками. Терпение. Кто-то незримый пишет передо мною могущественным жезлом. Знаю, что мое имя после меня будет счастливее меня, и потомки тех же земляков моих, может быть, с глазами, влажными от слез, произнесут примирение моей тени.

Гоголь – В. А. Жуковскому, 12 ноября 1836 г., из Парижа. Письма, I, 415.

5 декабря приехал к ним в Париж, по приглашению Данилевского, давно поджидаемый из Висбадена сотоварищ их по нежинской гимназии Симоновский, так что в Париже образовался так же небольшой нежинский кружок, как в Петербурге. Вскоре нежинцы познакомились и близко сошлись с одним молодым французом, Ноэлем, жившим в верхнем этаже одного из самых высоких домов

Латинского квартала. К нему они ежедневно собирались обедать и оставались потом брать уроки разговорного итальянского языка, ввиду предстоявшего путешествия в Италию.

А. С. Данилевский по записи Шенрока. Материалы, III, 151, 153.

Париж город хорош для того, кто именно едет для Парижа, чтобы погрузиться во всю его жизнь. Но для таких людей, как мы с тобою, – не думаю, разве нужно скинуть с каждого из нас по восемь лет. К удобствам здешним приглядишься; люди легки, а природы, в которой всегда находишь ресурс и утешение, когда все приестся, – нет: итак, нет того, что бы могло привязать к нему мою жизнь. Жизнь политическая, жизнь вовсе противоположная смиренной художнической, не может понравиться таким счастливцам праздным, как мы с тобою. Здесь все политика, в каждом переулке и переулочке библиотека с журналами. Остановишься на улице чистить сапоги, тебе суют в руки журнал; в нужнике дают журнал. Об делах Испании больше всякий хлопочет, нежели о своих собственных. Только в одну жизнь театральную я иногда вступаю: итальянская опера здесь чудная! Гризи, Тамбурини, Рубини, Лаблаш – это такая четвертня, что даже странно, что они собрались вместе… Я был не так давно в Theatre Français, где торжествовали день рождения Мольера. В этом было что-то трогательное. По окончании пьесы поднялся занавес: явился бюст Мольера. Все актеры этого театра попарно под музыку подходили венчать бюст. Куча венков вознеслась на голове его. Меня обняло какое-то странное чувство. Слышит ли он, и где он слышит это?

Тощи ваши петербургские литературные новости. Скажи, пожалуйста, с какой стати пишете вы все про «Ревизора»? В твоем письме и в письме Пашенка, которое вчера получил Данилевский, говорится, что «Ревизора» играют каждую неделю, театр полон и проч.…и чтобы это было доведено до моего сведения. Что это за комедия? Я, право, никак не понимаю этой загадки. Во-первых, я на «Ревизора» – плевать, а во-вторых – к чему это? Если бы это была правда, то хуже на Руси мне никто бы не мог нагадить. Но, слава богу, это ложь: я вижу через каждые три дня русские газеты. Не хотите ли вы из этого сделать что-то вроде побрякушки и тешить меня ею, как ребенка? И ты!.. Стыдно тебе! – ты предполагал во мне столько мелочного честолюбия! Если и было во мне что-нибудь такое, что могло показаться легко мне знавшему тщеславием, то его уже нет. Пространства, которые разделяют меня с тобою, поглотили все то, за что поэт слышит упреки во глубине души своей. Мне страшно вспомнить обо всех моих мараньях. Они в роде грозных обвинителей являются глазам моим. Забвенья, долгого забвенья просит душа. И если бы появилась такая моль, которая бы съела внезапно все экземпляры «Ревизора», а с ними «Арабески», «Вечера» и всю прочую чепуху, и обо мне, в течение долгого времени, ни

печатно, ни изустно, не произносил никто ни слова – я бы благодарил судьбу. Одна только слава по смерти (для которой, увы! не сделал я до сих пор ничего) знакома душе неподдельного поэта. А современная слава не стоит копейки.

Гоголь – Н. Я. Прокоповичу, 25 января 1837 г., из Парижа. Письма, I, 420–424.

В 1837 году я провела зиму в Париже, rue du Mont Blanc, № 21. Русских было довольно; в конце зимы был Гоголь с приятелем своим Данилевским. Он был у нас раза три один, и мы уже обходились с ним, как с человеком очень знакомым, но которого, как говорится, ни в грош не ставили. Все это странно, потому что мы читали с восторгом «Вечера на хуторе близ Диканьки», и они меня так живо перенесли в великолепную Малороссию. Оставив еще в детстве этот край, я с необыкновенным чувством прислушивалась ко всему тому, что его напоминало, а «Вечера на хуторе» так ею и дышат. С ним тогда я обыкновенно заводила речь о высоком камыше и бурьяне, о белых журавлях на красных лапках, которые по вечерам прилетают на кровлю знакомых хат, о галушках и варениках, о сереньком дымке, который легко струится и выходит из труб каждой хаты; пела ему:

Ой, не ходы, Грыцю, на вечорныцы.

Он более слушал, потому что я очень болтала, но однажды описывал мне малороссийский вечер, когда солнце садится, табуны гонят с поля, и отсталые лошади несутся, подымая пыль копытами, а за ними с нагайкою в руке пожилой хохол с чупром; он описывал это живо, с любовью, хотя прерывисто и в коротких словах. О Париже мало было речи; по-видимому, он уже и тогда его не любил. Однако он посещал с Данилевским театры, потому что рассказывал мне, как входили в оперу один за другим гуськом и как торгуют правом на хвост. Дело в том, что задний театрал кричит которому-нибудь из передних, чтоб он уступил ему свое место, торгуется с ним и наконец меняется местами; но часто купленное таким образом место бывало захватываемо другим, и это служило поводом к брани и ссорам. Гоголь, с свойственною ему способностью замечать то, что другим казалось несмешным и незначительным, представлял сцены при покупке, как он называл, «права на хвост» в самых характеристических и забавных рассказах.

Однажды разговор зашел о разных комфортах в путешествии, и он сказал мне, что хуже всего на этот счет в Португалии, и советовал мне туда не ездить. «Вы как это знаете, Николай Васильевич?» – спросила я его. – «Да я там был, пробрался туда из Испании, где также прегадко в трактирах, – ответил он преспокойно. – Особенно хороша прислуга. Однажды мне подали котлету совсем холодную. Я заметил об этом слуге.

Но он очень хладнокровно пощупал котлету рукою и объявил, что нет, что котлета достаточно тепла». Я начала утверждать, что он не был в Испании, что это не может быть, потому что там все в смутах, дерутся на всех перекрестках, что те, которые отсюда приезжают, много рассказывают, а он ровно никогда ничего не говорил. На все на это он очень хладнокровно отвечал: «На что же все рассказывать и занимать собою публику? Вы привыкли, чтоб вам человек с первого разу все выхлестал, что знает и чего не знает, даже и то, что у него на душе». Я осталась при своем, что он не был в Испании. С того времени между нами образовалась шутка: «Это когда я был в Испании». Я часто над ним смеялась и выговаривала, как ему не стыдно лгать и т. п. Гоголь все переносил с хладнокровием стоика.

А. О. Смирнова. Записки, 311. Кулиш, I, 206. Сводный текст.

Каким образом, где именно и в какое время я познакомилась с Гоголем, совершенно не помню. Когда я однажды спрашивала Николая Васильевича: «Где мы с вами познакомились», – он мне отвечал: «Неужели вы не помните? Вот прекрасно! Так я ж вам не скажу; это, впрочем, тем лучше, это значит, что мы с вами всегда были знакомы».

А. О. Смирнова. Записки о Гоголе. Записки, 311.

Третьего дня я обедал у Смирновых с княгиней Трубецкой, Соллогубом и Гоголем... Гоголь сделал успехи на французском языке и довольно хорошо его понимает, чтобы прилежно следовать за театрами, о которых он хорошо толкует. Но вообще у Смирновых толковать трудно, потому что немедленно вмешивается Николай Михайлович (муж Смирновой), спорит страшно и несет чепуху.

А. Н. Карамзин – Е. А. Карамзиной, 11 февр. (нов. ст.) 1837 г., из Парижа. Старина и Новизна, М., 1914. XVII. Стр. 281.

А. С. Данилевский рассказывал мне, как однажды он встретил на дороге Гоголя, идущего с Ал. Ив. Тургеневым. Гоголь отвел его в сторону и сказал: «Ты знаешь, как я люблю свою мать; но если б я потерял даже ее, я не мог бы быть так огорчен, как теперь: Пушкин в этом мире не существует больше». В самом деле, он казался сильно опечаленным и удрученным.

В. И. Шенрок. Материалы, III, 166.

У Смирновых обедал Гоголь: трогательно и жалко смотреть, как на этого человека подействовало известие о смерти Пушкина. Он совсем с тех пор

не свой. Бросил то, что писал, и с тоской думает о возвращении в Петербург, который опустел для него.

А. Н. Карамзин – Е. А. Карамзиной, 17 февраля 1837 г., из Парижа. Старина и Новизна, XVII, 298.

В последнее время Гоголя только и удерживала в Париже разве возможность видеться часто с Мицкевичем, который жил тогда в Париже, еще не бывши профессором в College de France, и с другим польским поэтом, Залесским. Так как Гоголь не знал польского языка, то разговор обыкновенно происходил на русском или чаще – на малороссийском языке. Все остальное ему прискучило, и он впал в жестокую хандру.

А. С. Данилевский по записи Шенрока. Материалы, III, 166. Ср. Письма, 1, 431, подстр. прим. 3.

Два дня, как я здесь (*в Риме*). Приезд мой в Италию или, лучше, в самый Рим затянулся почти на три недели. Ехал я морем и землею с задержками и остановками. До Рима успел еще побывать, кроме многих других городов, в Генуе и Флоренции. Несмотря на все это, поспел как раз к празднику (*пасхи*). Обедню прослушал в церкви св. Петра, которую отправлял сам папа.

Гоголь – матери, 16/28 марта 1837 г., из Рима. Письма, I, 433.

(По поводу смерти Пушкина.)

Никакой вести хуже нельзя было получить из России. Все наслаждение моей жизни, все мое высшее наслаждение исчезло вместе с ним. Ничего не предпринимал я без его совета. Ни одна строка не писалась без того, чтобы я не воображал его пред собою. Что скажет он, что заметит он, чему посмеется, чему изречет неразрушимое и вечное одобрение свое – вот что меня только занимало и одушевляло мои силы. Тайный трепет невкушаемого на земле удовольствия обнимал мою душу… Боже! нынешний труд мой, внушенный им, его создание… я не в силах продолжать его. Несколько раз принимался я за перо – и перо падало из рук моих. Невыразимая тоска.

Я был очень болен, теперь начинаю немного оправляться.

Гоголь – П. А. Плетневу, 16 марта 1837 г., из Рима. Письма, I, 432.

Моя жизнь, мое высшее наслаждение умерло с ним (*с Пушкиным*). Мои светлые минуты моей жизни были минуты, в которые я творил. Когда я

творил, я видел перед собою только Пушкина. Ничто мне были все толчки, я плевал на презренную чернь; мне дорого было его вечное и непреложное слово. Ничего не предпринимал, ничего не писал я без его совета. Все, что есть у меня хорошего, всем этим я обязан ему. И теперешний труд мой есть его создание. Он взял с меня клятву, чтобы я писал, и ни одна строчка не писалась без того, чтобы он не являлся в то время очам моим. Я тешил себя мыслью, как будет доволен он, угадывал, что будет нравиться ему, и это было моею высшею и первою наградою. Теперь этой награды нет впереди! Что труд мой? Что теперь жизнь моя?..

Ты приглашаешь меня ехать к вам. Для чего? не для того ли, чтоб повторить вечную участь поэтов на родине? Для чего я приеду? Не видал я разве дорогого сборища наших просвещенных невежд? или я не знаю, что такое советники, начиная от титулярного до действительных тайных? Ты пишешь, что все люди, даже холодные, были тронуты этой потерею. А что эти люди были готовы делать ему при жизни? Разве я не был свидетелем горьких, горьких минут, которые приходилось чувствовать Пушкину, несмотря на то, что сам монарх почтил его талант? О, когда я вспомню наших судей, меценатов, ученых умников, благородное наше аристократство, сердце мое содрогается при одной мысли! Должны быть сильные причины, когда они заставили меня решиться на то, на что бы я не хотел решиться. Или, ты думаешь, мне ничего, что мои друзья, что вы отделены от меня горами? Или я не люблю нашей неизмеримой, нашей родной русской земли! Я живу около года в чужой земле, вижу прекрасные небеса, мир, богатый искусством и человеком; но разве перо мое принялось описывать предметы, могущие поразить всякого? Ни одной строки не мог посвятить я чуждому. Непреодолимою цепью прикован я к своему, и наш бедный, неяркий мир наш, наши курные избы, обнаженные пространства предпочел я небесам лучшим, приветливее глядевшим на меня. И я после этого могу не любить своей отчизны? Но ехать, выносить надменную гордость безмозглого класса людей, которые будут передо мною дуться и даже мне пакостить, – нет, слуга покорный! В чужой земле я готов все перенести, готов нищенски протянуть руку, если дойдет до этого дело; но в своей – никогда! Мои страдания тебе не могут вполне быть понятны: ты в пристани, ты, как мудрец, можешь перенесть и посмеяться. Я бездомный, меня бьют и качают волны, и упираться мне только на якорь гордости, которую вселили в грудь мою высшие силы, – сложить мне голову свою на родине!

Гоголь – М. П. Погодину, 30 марта 1837 г., из Рима. Письма, I, 434.

Я бы более упивался Италией, если бы был совершенно здоров; но я чувствую хворость в самой благородной части тела – в желудке. Он,

бестия, почти не варит вовсе, и запоры такие упорные, что никак не знаю, что делать. Все наделал гадкий парижский климат, который, несмотря на то, что не имеет зимы, но ничем не лучше петербургского. Мой адрес: Roma, via di Isidoro, casa Giovanni Massuci, 17.

Гоголь – Н. Я. Прокоповичу, 30 марта 1837 г., из Рима. Письма, I, 436.

Я пишу к вам на этот раз с намерением удручить вас моею просьбою. Вы одни в мире, которого интересует моя участь. Вы сделаете, я знаю, вы сделаете все то, что только в пределах возможности. Меня страшит мое будущее. Здоровье мое, кажется, с каждым годом становится все плоше и плоше. Я был недавно очень болен, теперь мне сделалось немного лучше. Если и Италия мне ничего не поможет, то я не знаю, что тогда уже делать. Я послал в Петербург за последними моими деньгами, и больше ни копейки; впереди не вижу совершенно никаких средств добыть их. Заниматься каким-нибудь журнальным мелочным вздором не могу, хотя бы умирал с голода. Я должен продолжать мною начатой, большой труд, который писать взял с меня слово Пушкин, которого мысли есть его создание и которой обратился для меня с этих пор в священное завещание. Я дорожу теперь минутами моей жизни потому, что не думаю, чтоб она была долговечна; а между тем… я начинаю верить тому, что прежде считал басней, что писатели в наше время могут умирать с голоду. Но чуть ли это не правда. Будь я живописец, хоть даже плохой, я бы был обеспечен. Здесь в Риме около пятнадцати человек наших художников, которые недавно высланы из академии, из которых иные рисуют хуже моего: они все получают по три тысячи в год. Поди я в актеры – я бы был обеспечен: актеры получают по 10 000 и больше, а вы сами знаете, что я не был бы плохой актер. Но я писатель – и потому должен умереть с голоду. На меня находят часто печальные мысли, следствие ли ипохондрии или чего другого. Рассмотрите положение, в котором я нахожусь, мое болезненное состояние, мою невозможность заняться чем-нибудь посторонним, и дайте мне спасительный совет, что я должен сделать для того, чтобы протянуть на свете свою жизнь до тех пор, покамест сделаю сколько-нибудь из того, что мне нужно сделать. Я думал, думал, и ничего не мог придумать лучше, как прибегнуть к государю. Он милостив; мне памятно до гроба то внимание, которое он оказал к моему «Ревизору». Я написал письмо, которое прилагаю; если вы найдете его написанным как следует, будьте моим предстателем, вручите! Если же оно написано не так, как следует, то – он милостив, он извинит бедному своему подданному. Скажите, что я невежа, не знающий, как писать к его высокой особе, но что я исполнен весь такой любви к нему, какою может быть исполнен один только русский подданный, и что осмелился только потому беспокоить его просьбою, что знал, что мы все ему дороги, как дети. Если бы мне такой пансион, какой дается воспитанникам академии художеств, живущим в Италии,

или хоть такой, какой дается дьячкам, находящимся здесь при нашей церкви, то я бы протянулся, тем более что в Италии жить дешевле. Найдите случай и средство указать как-нибудь государю на мои повести: «Старосветские помещики» и «Тарас Бульба». Это те две счастливые повести, которые нравились совершенно всем вкусам и всем различным темпераментам; все недостатки, которыми они изобилуют, вовсе неприметны были для всех, кроме вас, меня и Пушкина. Я видел, что по прочтении их более оказывали внимания. Если бы их прочел государь! Он же так расположен ко всему, где есть теплота чувств и что пишется от души. О, меня что-то уверяет, что он бы прибавил ко мне участия. Но будь все то, что угодно богу. На него и на вас моя надежда.

Гоголь – В. А. Жуковскому, 18/6 апреля 1837 г., из Рима. Письма, I, 441.

Сижу без денег. Я приехал в Рим только с двумястами франками, и если б не страшная дешевизна и удаление всего, что вытряхивает кошелек, то их бы давно уже не было. За комнату, то есть старую залу с картинами и статуями, я плачу тридцать франков в месяц, и это только одно дорого. Прочее все нипочем. Если выпью поутру один стакан шоколаду, то плачу немножко больше четырех су, с хлебом, со всем. Блюда за обедом очень хороши и свежи, и обходится иное по 4 су, иное по 6. Мороженого больше не съедаю, как на 4; а иногда на 8. Зато уж мороженое такое, какое и не снилось тебе. Не ту дрянь, которую мы едали у Тортони, которое тебе так нравилось, – масло! Теперь я такой сделался скряга, что если лишний байок (почти су) передам, то весь день жалко.

Здесь тепло, как летом; а небо – совершенно кажется серебряным. Солнце дальше и больше, и сильнее обливает его своим сиянием. Что сказать тебе вообще об Италии? Мне кажется, как будто бы я заехал к старинным малороссийским помещикам. Такие же дряхлые двери у домов, со множеством бесполезных дыр, марающие платья мелом; старинные подсвечники и лампы в виде церковных; блюда все особенные; все на старинный манер. Везде доселе виделась мне картина изменений; здесь все остановилось на одном месте и далее нейдет. Когда въехал в Рим, я в первый раз не мог дать себе ясного отчета: он показался маленьким; но, чем далее, он мне кажется большим и большим, строения огромнее, виды красивее, небо лучше; а картин, развалин и антиков смотреть на всю жизнь станет. Влюбляешься в Рим очень медленно, понемногу – и уж на всю жизнь. Словом, вся Европа для того, чтобы смотреть, а Италия для того, чтобы жить.

Гоголь – А. С. Данилевскому, апрель 1837 г., из Рима. Письма, I, 438.

Вечером был я, конечно, на 12 евангелией, но и тут бес попутал, сведя меня с Гоголем, он мне все время шептал про двух попов в городе Нижнем, которые в большие праздники служат вместе и стараются друг

друга перекричать так, что к концу обедни прихожане глохнут; и как один из этих попов так похож на козла, что у него даже борода козлом воняет и пр.

А. Н. Карамзин – Ек. А. Карамзиной, 28/16 апр. 1837 г., из Рима. Старина и Новизна, кн. XX. Москва, 1916. Стр. 94.

В субботу (8/20 мая) ездили мы (Гоголь и я) с Балабиной и Репниной-Балабиной (она премиленькая) смотреть на Колисей при лунном свете.

А. Н. Карамзин – Ек. А. Карамзиной, 14/26 мая 1837 г., из Рима. Старина и Новизна, XX, 113.

В среду (19/31 мая) поехали мм с Гоголем во Фраскати, к Репниным, и пробыли там два дня… Гоголь при знакомстве выигрывает, он делается разговорчив и часто в разговоре смешон и оригинален, как в своих повестях. Жаль, очень жаль, что недостает в нем образования, и еще больше жаль, что он этого не чувствует.

А. Н. Карамзин – Ек. А. Карамзиной, 22 мая/3 июня 1837 г., из Рима. Старина и Новизна, XX, 119.

Данилевский теперь тоже здесь. Кстати, выбрани хорошенько Пащенка за эту достойную его догадку, что мы поссорились и потому ездим не вместе. Что мы не ездим всегда вместе, это зависит, кроме того, что иногда приятно разлучиться для того, чтобы скоро увидеться, – это зависит от разности в образе воззрения, которою разнообразно исполнены наши людские умы. Он больше человек современный, воспитанный на современной литературе и жизни; я больше люблю старое. Его тянет в Париж, меня гнетет в Рим. Но, порыскавши, мы всегда сходимся и приготовляем таким образом друг для друга запас для разговора.

Гоголь – Н. Я. Прокоповичу, 3 июня 1837 г., из Рима. Письма, I, 444.

Узнай от Плетнева, получил он от Жуковского что-нибудь, что мне следовало от государыни за поднесение экземпляра моей комедии. Жуковский мне сказал перед выездом, чтобы я не имел об этом никакого сомнения, что он и по отъезде моем будет стараться.

Гоголь – Н. Я. Прокоповичу, 3 июня 1837 г., из Рима. Письма, I, 446.

В Риме мы опять встретились с Гоголем. Мой отец часто разговаривал с Гоголем, но они не сходились и почти всегда спорили. Отцу сильно не

нравился сатирический склад ума Гоголя, и он был притом недоволен его произведениями, особенно «Миргородом». Напротив, В. О. Балабина очень любила Гоголя. Нас нередко навещал аббат Ланчи. Помню, как однажды вечером Гоголь у нас, не переставая, говорил по-русски (он был тогда, что называется, в ударе), так что аббат, не понимая нашего языка, не мог во весь вечер проронить ни слова. Варв. Ос-на осталась недовольна Гоголем и бранила его за недогадливость и неучтивость.

Княжна В. Н. Репнина по записи В. Шенрока. Материалы, III, 189.

Пишу к вам из столицы короля сардинского, которая не уступает в великолепии прочим. Природа уже теряет здесь чисто итальянский характер. Это переход от Италии к Швейцарии, и завтра же я увижу опять места и горы, которые видел в прошлый год. В Бадене я опять проживу недели две или три и, может быть, возьму тамошних вод. Все же таки нужно когда-нибудь отведать, что такое минеральные воды. Я до сих пор ими не пользовался, и хотя чувствую себя здоровым, но для моих геморроид доктора советуют их как действительное средство.

Гоголь – матери, 15 июня 1837 г., из Турина. Письма, I, 449.

Я почти с грустью расставался с Италией. Мне жалко было и на месяц оставить Рим. И когда, при въезде в северную Италию, на место кипарисов и куполовидных римских сосен увидел я тополи, мне сделалось как-то тяжело. Тополи стройные, высокие, которыми я восхищался бы прежде непременно, теперь показались мне пошлыми... Вот мое мнение: кто был в Италии, тот скажи «прости» другим землям. Кто был на небе, тот не захочет на землю.

Гоголь – В. О. Балабиной, 16 июля 1837 г., из Баден-Бадена. Письма, I, 449.

Летом 1837 года я провела в Бадене, и Гоголь приехал не лечиться, но пил по утрам холодную воду в Лихтентальской аллее. Мы встречались почти каждое утро. Он ходил, или, лучше сказать, бродил, один, потому что иногда был на дорожке, а чаще гулял зигзагами на лугу у Стефани-бад. Часто он так был задумчив, что я долго, долго его звала; обыкновенно он отказывался со мной гулять, приводя самые странные причины. Его, кроме Карамзина (сына историка), из русских никто не знал, и один господин высшего круга мне сказал, встретив меня с ним: «вы гуляете с каким-то Гоголем, человеком очень дурного тона».

В июне (*Кулиш: в июле*) месяце он вдруг нам предложил вечером собраться и объявил, что пишет роман под названием «Мертвые души»

и хочет прочесть нам две первые главы. Андрей Карамзин, граф Лев Соллогуб, В. П. Платонов и нас двое условились собраться в семь часов вечера. День был знойный. Около седьмого часа мы сели кругом стола. Гоголь взошел, говоря, что будет гроза, что он это чувствует, но, несмотря на это, вытащил из кармана тетрадку в четверть листа и начал первую главу. Вдруг началась страшная гроза. Надобно было затворить окна. Хлынул такой дождь, какого никто не запомнил. В одну минуту пейзаж переменился: с гор полились потоки, против нашего дома образовалась каскада с пригорка, а мутная Мур бесилась, рвалась из берегов. Гоголь посматривал сквозь стекла и сперва казался смущенным, но потом успокоился и продолжал чтение. Мы были в восторге, хотя было что-то странное в душе каждого из нас. Однако он не дочитал второй главы и просил Карамзина с ним пройтись до Грабена, где он жил. Дождь начал утихать, и они отправились. После Карамзин мне говорил, что Н. В. боялся идти один домой, и на вопрос его отвечал, что на Грабене большие собаки, а он их боится и не имеет палки. На Грабене же не было собак, и я полагаю, что гроза действовала на его слабые нервы, и он страдал теми невыразимыми страданиями, известными одним нервным субъектам. На другой день я еще просила его прочесть из «Мертвых душ», но он решительно отказал и просил даже его не просить никогда об этом.

Из Бадена Гоголь ездил со мной и с моим братом на три дня в Страсбург. Там в кафедральной церкви он срисовывал карандашом на бумажке орнаменты над готическими колоннами, дивясь избирательности старинных мастеров, которые над каждой колонной делали отменные от других украшения. Я взглянула на его работу и удивилась, как он отчетливо и красиво срисовывал. «Как вы хорошо рисуете!» – сказала я. «А вы этого и не знали?» – отвечал Гоголь. Через несколько времени он принес мне нарисованную пером часть церкви очень искусно. Я любовалась его рисунком, но он сказал, что нарисует для меня что-нибудь лучше, а этот рисунок тотчас изорвал.

А. О. Смирнова. Записки, 313–314, и П. Кулиш, I, 209–210. Сводный текст.

К тебе с просьбой! с убедительной просьбой! Возьми из банка полторы тысячи и пришли их мне. Через полгода надеюсь тебе непременно возвратить их. Я посылаю в начале следующего года печатать мою крупную вещь, которая, думаю, вознаградит мои труды и заботы о ней. Пришли, пожалуйста, скорее; я совсем прожился. Я думал, что я успею гораздо раньше окончить мое сочинение, – не тут-то было! Я сижу теперь на водах, лечусь… Какое гадкое, какое ужасное время! Дождь, слякоть! Сердце мое тоскует по Риме и по моей Италии! И не дождусь, покамест пройдет месяц, который мне нужно убить на здешних водах.

Гоголь – Н. Я. Прокоповичу, 21/9 июля 1837 г., из Баден-Бадена. Письма, I, 452.

В половине августа мы оставили Баден-Баден, и Гоголь с другими русскими проводил нас до Карлсруэ, где ночевал с моим мужем в одной комнате и был болен всю ночь, жестоко страдая желудком и бессонницей.

А. О. Смирнова. Записки, 314.

Пароход доставил мне приятный сюрприз ехать вместо одного дня два. Дождь, верный спутник рейнского путешествия, усугубил приятность. Все пассажиры столпились в одну каюту, и немецкий запах сделался до такой степени густ, что можно было семьсот топоров повесить в воздухе. Круглые окна нашей каюты до такой степени визжали и обливались слезами, что тоска проходила меня насквозь от головы и до пяток. А мокрые зонтики, сальные сапоги и всеобщий насморк доныне мне грезятся. Наконец, я доехал до Франкфурта и вот уже три дня любуюсь гнуснейшею погодою, какая когда-либо была в мире… Во Франкфурте встретился я с (Ал. Ив.) Тургеневым, с которым мы провели полдни. Он, между прочим, сказал важную истину, что, живя за границею, тошнит по России, а не успеешь приехать в Россию, как уж тошнит от России.

Гоголь – Н. М. Смирнову (мужу А. О. Смирновой), 3 сент. 1837 г., из Франкфурта. Соч. Гоголя, изд. Брокгауза-Ефрона, IX, 234.

Я не получил от тебя никакого ответа на письмо, писанное из Бадена. И опять повторяю тебе прежнюю просьбу. Если у тебя не случится теперь 1500 рублей, то продай мою библиотеку. Кажется, Одоевский хотел у меня купить. Предложи ему. Она мне стоила до 3000, но если можно за нее выручить половину, то слава богу. Мне бы не хотелось ее сбывать, но я в большой крайности. Я получил 1000 рублей от Плетнева назад тому две недели; уплатил некоторые долги и сделал себе платье все сызнова, потому что старое разлезлось в куски, – последний продукт моей отчизны. Холера, опустошающая теперь Рим, расстроила теперь все мои планы и предположения. Я уже так было устроился и распорядил дела свои, что мог жить в Риме, как у себя дома. Куда дешевле того, как жил в Петербурге. Теперь я таскаюсь бесприютно. В Швейцарии все вдвое дороже против римского. К тому же расположение моей болезни таково, что я не могу теперь забраться в совершенную глушь и против воли должен искать развлечение: я боюсь ипохондрии, которая гонится за мной по пятам. Смерть Пушкина, кажется, как будто отняла от всего, на что погляжу, половину того, что могло бы меня развлекать. Желудок мой гадок до невозможной степени и отказывается решительно варить,

хотя я ем теперь очень умеренно. Геморроидальные мои запоры по выезде из Рима начались опять и, поверишь ли, что если не схожу на двор, то в продолжение всего дня чувствую, что на мозг мой как будто бы надвинулся какой-то колпак, который препятствует мне думать и туманит мои мысли. Воды мне ничего не помогли, и я вижу, что они ужасная дрянь; только чувствую себя хуже: легкость в карманах и тяжесть в желудке.

Я соскучился страшно без Рима. Там только я был совершенно спокоен, здоров и мог предаться моим занятиям. Мутно и туманно все кажется после Италии. Прежние синие горы теперь кажутся серыми; все пахнет севером после нее. И как вспомню, что я должен буду прожить месяц, а может быть и более, вдали от нее (холера, по всем вероятностям, не оставит Рима раньше месяца), то, мне кажется, я заживо вижу перед собою вечность.

Гоголь – Н. Я. Прокоповичу, 19 сент. 1837 г., из Женевы. Письма, I, 453.

Гоголь и Данилевский (*в Женеве*) жили вместе в Hotel de la Couronne, где часто видались, между прочим, с Мицкевичем, переселившимся тогда в Лозанну и приезжавшим часто в Женеву. (Мицкевич в 1839 году получил в Лозанне кафедру древних литератур.)

В. И. Шенрок со слов А. С. Данилевского. Материалы, III, 201.

Я с большой радостью оставил, наконец, Женеву, где, впрочем, мне не было скучно, тем более, что я там имел счастливую встречу с Данилевским, и таким образом мы провели осень довольно приятно, до тех пор пока, наконец, все горы покрылись снегом. При всем том мысль увидеть Италию опять вновь произвела то, что я бросил Швейцарию, как узник бросает темницу. Я избрал на этот раз другую дорогу, сухим путем, чрез Альпы, самую живописную, какую только мне удавалось видеть... Встретивши на вершине Сенплона около 20 градусов морозу, мы начали спускаться вниз быстро. Меньше нежели в три часа спустились мы с тех гор, на которые подымались около суток, и климат к концу так изменился, что, вместо морозу, было около 12 градусов теплоты. Наконец, минувши знаменитое большое озеро (Лаго-Маджиоре), с его прекрасными островами, минувшими несколько городов совершенно итальянских, я прибыл в Милан... Я пробуду еще день в Милане и отправлюсь во Флоренцию, а оттуда в Рим. Не успел я выехать в Италию, уже чувствую себя лучше. Благословенный воздух ее уже дохнул.

Гоголь – матери, 24 окт. 1837 г., из Милана. Письма, I, 463. Ср. Кирпичников, Хронолог. канва, стр. 31, примеч. 6.

Когда я увидел, наконец, во второй раз Рим, о, как он мне показался лучше прежнего! Мне казалось, что будто я увидел свою родину, в которой несколько лет не бывал я, а в которой жили только мои мысли. Но нет, это все не то: не свою родину, а родину души своей я увидел, где душа моя жила еще прежде меня, прежде, чем я родился на свет… Нужно вам знать, что я приехал совершенно один, что в Риме я не нашел никого из моих знакомых. Но я был так полон в это время, и мне казалось, что я в таком многолюдном обществе, что я припоминал только, чего бы не забыть, и тотчас же отправился делать визиты всем своим друзьям. Был у Колисея (*развалины древнеримского цирка*), и мне казалось, что он меня узнал, потому что он, по своему обыкновению, был величественно-мил и на этот раз особенно разговорчив. Я чувствовал, что во мне рождались такие прекрасные чувства. Стало быть, он со мною говорил. Потом я отправился к Петру (*собор св. Петра*) и ко всем другим, и мне казалось, они все сделались на этот раз гораздо более со мною разговорчивы. В первый раз нашего знакомства они, казалось, были более молчаливы и считали меня за форестьера (*иностранца*).

Гоголь – М. П. Балабиной. Письма, I, 493.

Я получил данное мне великодушным нашим государем вспоможение. Благодарность сильна в груди моей, но излияние ее не достигнет к его престолу. Как некий бог, он сыплет полною рукою благодеяния и не желает слышать наших благодарностей; но, может быть, слово бедного поэта дойдет до потомства и прибавит умиленную черту к его царственным доблестям. Но до вас может достигнуть моя благодарность. Вы, все вы! Ваш исполненный любви взор бодрствует надо мною! Как будто дала мне судьба тернистый путь, и сжимающая нужда увила жизнь мою, чтобы я был свидетелем прекраснейших явлений на земле.

Если бы вы знали, с какою радостью я бросил Швейцарию и полетел в мою душеньку, в мою красавицу Италию! Она моя! Никто в мире ее не отнимет у меня. Я родился здесь. Россия, Петербург, снега, подлецы, департамент, кафедра, театр, – все это мне снилось. Я проснулся опять на родине и пожалел только, что поэтическая часть этого сна, – вы, да три-четыре оставивших вечную радость воспоминания в душе моей, – не перешли в действительность. Еще одно безвозвратное… О, Пушкин, Пушкин! Какой прекрасный сон мне удалось видеть в жизни и как печально было мое пробуждение! Что бы за жизнь моя была после этого в Петербурге; но как будто с целью всемогущая рука промысла бросила меня под сверкающее небо Италии, чтобы я забыл о горе, о людях, о всем и весь впился в ее роскошные красы. Она заменила мне все. Я весел. Душа моя светла. Тружусь и спешу всеми силами совершить труд мой. Жизни! Жизни! Еще бы жизни! Я ничего еще не сделал, что бы

было достойно вашего трогательного расположения. Но, может быть, это, которое пишу ныне, будет достойно его.

Гоголь – В. А. Жуковскому, 30 октября 1837 г., из Рима. Письма, I, 458–460.

Я рад, что у тебя не отнял денег, которые, может быть, тебе нужны самому и которые я просил у тебя взаймы. Я получил от государя (спасибо ему!) почти неожиданно и теперь не нуждаюсь.

Гоголь – Н. Я. Прокоповичу. Письма, I, 456.

И. Ф. Золотарев жил с Гоголем в 1837 и 1838 гг. в Риме. Жили они на одной квартире и виделись постоянно в течение почти двух лет. Это была лучшая пора в жизни Гоголя. Он был полон жизни: веселый, разговорчивый, он был весь, так сказать, охвачен красотою римской природы и подавлен массою памятников искусства, которыми был окружен. До какой степени Гоголь был увлечен Римом, указывает эпизод, происшедший при самом приезде Золотарева в Рим. «Первое время, – рассказывал Золотарев, – от новости ли впечатлений, от переутомления дорогой, я совершенно лишился сна. Пожаловался я на это как-то Гоголю. Вместо сочувствия к моему тяжелому положению он пришел в восторг. «Как ты счастлив, Иван, – воскликнул он, – что не можешь спать!.. Твоя бессонница указывает на то, что у тебя артистическая натура, так как ты приехал в Рим, и он так поразил тебя, что ты не можешь спать от охвативших тебя впечатлений природы и искусства. И после этого ты еще не будешь себя считать счастливым!» Убеждать в действительной причине моей бессонницы великого энтузиаста, целые дни без отдыха проводившего в созерцании римской природы и памятников вечного города, я счел бесполезным». Однако уже в эти первые годы намечалось в Гоголе кое-что из тех черт, которые сделались господствующими в последний период его жизни. Во-первых, он был крайне религиозен, часто посещал церкви и любил видеть проявление религиозности в других. Во-вторых, на него находил иногда род столбняка какого-то; вдруг среди оживленного, веселого разговора замолчит, и слова от него не добьешься. Являлось у него это, по-видимому, беспричинно. Затем в нем проявлялась иногда странная застенчивость. Бывало, разговорится, и говорит весело, живо, остроумно. Вдруг входит какое-нибудь новое лицо. Гоголь сразу смолкает и, как улитка, прячется в свою раковину.

К числу особенностей Гоголя принадлежали, по словам Золотарева, его оригинальность в одежде и чрезвычайный аппетит. Оригинальность Гоголя в выборе костюмов доходила иногда до смешного. Аппетитом Гоголь обладал чрезвычайным. Он любил и много, и хорошо покушать.

«Бывало, зайдем мы, – рассказывал Золотарев, – в какую-нибудь тратторию пообедать; и Гоголь покушает плотно, обед уже кончен. Вдруг входит новый посетитель и заказывает себе кушанье. Аппетит Гоголя вновь разгорается, и он, несмотря на то, что только что пообедал, заказывает себе или то же кушанье, или что-нибудь другое». Из наиболее любимых Гоголем блюд было козье молоко, которое он варил сам особым способом, прибавляя туда рому (последний он возил с собой во флаконе). Эту стряпню он называл гоголь-моголем и часто, смеясь, говорил: «Гоголь любит гоголь-моголь».

Когда Гоголь начинал писать, то предварительно делался задумчив и крайне молчалив. Подолгу, молча, ходил он по комнате, и когда с ним заговаривали, то просил замолчать и не мешать ему. Затем он залезал в свою дырку: так называл он одну из трех комнат квартиры, в которой жил с Золотаревым, отличавшуюся весьма скромными размерами, где и проводил в работе почти безвыходно несколько дней.

Когда Пушкин был убит, Гоголь был глубоко поражен. Долгое время спустя после этого события он был молчалив и задумчив.

И. Ф. Золотарев по записи К. Ободовского. Ист. Вестн., 1893, I, стр. 36.

Никогда я не чувствовал себя так погруженным в такое спокойное блаженство. О, Рим, Рим! О, Италия! Чья рука вырвет меня отсюда? Что за небо! Что за дни! Лето – не лето, весна – не весна, но лучше и весны и лета, какие бывают в других углах мира. Что за воздух! Пью – не напьюсь, гляжу – не нагляжусь. В душе небо и рай. У меня теперь в Риме мало знакомых, или, лучше, почти никого. Но никогда я не был так весел, так доволен жизнью.

Моя квартира вся на солнце: Strada Felice, № 126, ultimo piano (верхний этаж).

Гоголь – А. С. Данилевскому, 2 февр. 1838 г., из Рима. Письма, I, 468.

Улица Strada Felice уже переменила свое название и теперь называется Via Sistina. Чистая и веселая, в одном из лучших кварталов Рима, она вся переполнена магазинами старых картин, гравюр и фотографий… Номер дома, в котором жил Гоголь, остался тот же – 126. Надо предположить, что и внешний вид этого небольшого, старого дома, каких так много в Риме, тоже не изменился… Квартира Гоголя была в третьем этаже, который в то время был последним; теперь над ним уже надстроен новый. Надпись на мраморной доске, которую русская колония почтила весною 1902 года память писателя, гласит:

Il grande scrittore russo

Nicolo Gogol

in questa casa, dove abito 1838–1842,

penso e scrisse il suo capolavoro.

Aventino. По следам Гоголя в Риме. Москва. 1902, стр. 5, 6, 2.

(*Старшая из сестер Гоголя, Марья Васильевна Трушковская, овдовевшая два года назад, собиралась снова выйти замуж.*)

Если совет любящего ее брата имеет над нею какой-нибудь вес, то я бы сказал: не менять своего вдовьего состояния на супружество, если только это супружество не представит больших выгод. Вы сказали только, что жених с состоянием, но ни слова не сказали, как велико это состояние. Если это состояние немногим больше ее собственного, то это еще небольшая вещь. Она должна помнить, что от нее пойдут дети, а с ними тысяча забот и нужд, и чтоб она не вспоминала потом с завистью о своем прежнем бытье. Девушке восемнадцатилетней извинительно предпочесть всему наружность, доброе сердце, чувствительный характер и для него презреть богатство и средства для существования. Но вдове двадцати четырех лет, и притом без большого состояния, непростительно ограничиться только этим. Она еще молода. Партия ей всегда может представиться.

Гоголь – матери, 5 февр. 1838 г., из Рима. Письма, I, 474.

Возвращаемся с обеда у княгини (З. А.) Волконской и с прогулки на ее виллу в сообществе ее, а также одного из наилучших современных писателей и поэтов русских. Гоголя, который здесь поселился. В разговоре он нам очень понравился. У него благородное сердце, притом он молод; если со временем глубже на него повлиять, то, может быть, он не окажется глух к истине и всею душою обратится к ней. Княгиня питает эту надежду, в которой и мы сегодня несколько утвердились. Понятно, беседовали мы о славянских делах. Гоголь оказался совершенно без предрассудков, и даже, может быть, там в глубине очень чистая таится душа. Умеет по-польски, т. е. читает. Долго говорили о «Небожественной Комедии», о «Тадеуше» и пр. Забыл сказать, что княгиня Волконская нарочно пригласила нас на обед, чтобы устроить это знакомство, так как Гоголь, слышавши об нас, очень хотел этого; да и сама княгиня рада была удовлетворить его желание, ожидая от этого пользы для религии. Из этого, однако, очевидно, что было бы крайне полезно, если бы у нас имелся и Мицкевич, и «Небожественная Комедия» с «Иридионом», и Мохнацкий. Почему этот последний? Гоголь сказал нам, что читает Мерославского и что он ему нравится, если отбросить его страстность и склонность к преувеличениям. Сего ради мы ему – о Вротновском и Мохнацком. Последнего особенно ради

языка и стиля. Это особенно увлекло Гоголя, ибо он хотел бы проникнуться силою польского языка.

Петр Семененко[31] – Богдану Яньскому, 17 марта 1838 г., из Рима. X. Pawel Smolikowski. Historya zgromadzenia zmartwychwstania panskiego (Ксендз Павел Смоликовский. История Общества воскресения господня.) Краков. 1893. Том II, стр. 90. (Польск.)

Познакомились с Гоголем, малороссом, даровитым великорусским писателем, который сразу выказал большую склонность к католицизму и к Польше, совершил даже благополучное путешествие в Париж, чтобы познакомиться с Мицкевичем и Богданом Залесским.

Иероним Кайсевич. Дневник. Smolikowski, II, 90. (Польск.)

Княгиню Зинаиду Александровну Волконскую воспевали Веневитинов, Жуковский, Пушкин; Мицкевич в чудных стихах описал ее гостиную. Она жила сначала в Москве (*в конце двадцатых годов*), где и встречалась с Веневитиновым и Мицкевичем. Позднее она приняла католичество (тайным образом, вероятно, еще когда жила в Москве). Потом переехала в Петербург. Когда известие о совращении ее в католицизм дошло до императора Николая Павловича, то он хотел ее вразумить и посылал ей с этой целью священника. Но с ней сделался нервный припадок, конвульсии. Государь позволил ей уехать из России, и она избрала местом жительства Италию, что, конечно, было в связи с переменой религии. В Риме ее скоро прозвали Beata. Она сначала очень полюбила Гоголя.

Княжна В. Н. Репнина по записи Шенрока. Материалы III, 190.

Гоголь недавно посетил нас, назавтра мы его. Мы беседовали у него на славянские темы. Что за чистая душа! Можно про него сказать, с господом: «Недалек ты от царствия божия!» Много говорили об общей литературе. Мы обстоятельнее высказались о том, о чем в той прогулке на виллу говорили друг с другом только намеками. Удивительное он нам сделал признание. В простоте сердца он признался, что польский язык ему кажется гораздо звучнее, чем русский. «Долго, – сказал он, – я в этом удостоверялся, старался быть совершенно беспристрастным – и в конце концов пришел к такому выводу». И прибавил: «Знаю, что повсюду смотрят иначе, особенно в России, тем не менее мне представляется правдою то, что я говорю». О Мицкевиче с величайшим уважением.

И. Кайсевич и П. Семененко – Богдану Яньскому, 7 апр. 1838 г., из Рима. Smolikowski, II, 104. (Польск.)

Ты спрашиваешь меня, куда я летом. Никуда, никуда, кроме Рима. Посох мой страннический уже не существует. Ты помнишь, что моя палка унеслася волнами Женевского озера. Я теперь сижу дома; никаких мучительных желаний, влекущих вдаль, нет, разве проездиться в Неаполь и во Фраскати или в Альбани… Я, наконец, совершенно начинаю понимать науку экономии. Прошедший месяц был для меня верх торжества: я успел возвести издержки во все продолжение его до 160 рублей нашими деньгами, включая в это число плату за квартиру, жалование учителю (итальянского языка), bon gout, кафе, grec и даже книги, купленные на аукционе. Дни чудные! На небе лучших нет.

Гоголь – А. С. Данилевскому, 11 апр. 1838 г., из Рима. Письма, I, 483.

Жизнь моя была бы самая поэтическая в мире, если бы не вмешалась в нее горсть самой негодной прозы: эта проза – мое гадкое здоровье. Жду с нетерпением лета. Зима была здесь чудная. Я ни один раз не топил в комнате, да и печи нет. Солнце, и дни без облака; но весна принесла и холод, и дожди.

Гоголь – Н. Я. Прокоповичу, 15 апр. 1838 г., из Рима. Письма, I, 486.

Пошли мы к княгине Волконской… Тотчас же начали мы и о Гоголе; сказали ей пару слов о посещениях, которые мы ему сделали и о которых мы в последнем письме написали вам более пространно. Иероним (*Кайсевич*) вспомнил о сонете, который он перед этим написал. Княгиня пригласила нас к себе назавтра обедать, чтоб нам опять встретиться с Гоголем. Тогда же она нам сообщила, как поделилась с ним своими намерениями касательно своего сына и как Гоголь сердечно это принял и добродушно подбодрял ее, чтоб она имела надежду – т. е., что ее сын обратится[32].

Обед у Волконской прошел, как мы желали; я сидел рядом с Гоголем и разговаривал с ним по-русски, так как иначе он не говорит; по-итальянски и по-французски он лучше читает, чем говорит, хотя всегда говорит хорошо; но, как он нам объяснил, он не имеет дара к языкам. Сдается мне, что с пару хороших мыслей я ему внушил. Сильно Гоголь «задумался», говоря его языком. «Это меня радует, – говорила нам позднее княгиня Волконская. – Заметили ли вы, как он внутренно работает?» Под конец княгиня выразила желание, чтобы мы приходили к ней каждый день.

В пятницу… к Гоголю в его собственной квартире; тут, как и в первый раз, больше говорили о славянстве, поэтому мы условились ходить вперед поодиночке, так как одиночные встречи более располагают к

взаимному обнаружению себя. Но мы видим, что и за эти посещения в его душе утвердились хорошие впечатления.

После обеда у Волконской Иероним читал оба свои сонета[33]. Сонет к Гоголю не прошел мимо цели и произвел большое впечатление на душу певца. Они были переведены по-французски, но Гоголь и по-польски немало понимает. Тот раз мы провели в их обществе более трех часов.

Петр Семененко – Богдану Яньскому, 22 апреля 1838 г., из Рима. Smolikowski, II, 112–115. (Польск.)

С божьего соизволения, мы с Гоголем очень хорошо столковались. Удивительно: он признал, что Россия – это розга, которою отец наказывает ребенка, чтоб потом ее сломать. И много-много других очень утешительных речей. Благодарите и молитесь; и княгиня Волконская начинает видеть иначе.

Иероним Кайсевич и Петр Семененко – Богдану Яньскому, 12 мая 1838 г., из Рима. Smolikowski, II, 127. (Польск.)

Я пишу к тебе письмо, сидя в гроте на вилле у княгини Зинаиды Волконкой, и в эту минуту грянул прекрасный проливной, летний, роскошный дождь, на жизнь и на радость розам и всему пестреющему около меня прозябению. Освежительный холод проник в мои члены, утомленные утреннею, немного душною прогулкою. Белая шляпа уже давно носится на голове моей, но блуза еще не надевалась. Прошлое воскресение ей хотелось очень немного порисоваться на моих широких и вместе тщедушных плечах, по случаю предложенной было поездки в Тиволи; но эта поездка не состоялась. Завтра же, если погода, то блуза в дело; ибо питтория (живописцы) вся отправляется и ослы уже издали весело помавают мне.

Гоголь – А. С. Данилевскому, 13 мая 1838 г., из Рима. Письма, I, 502.

Помоги выбрать или заказать для меня парик. Хочу сбрить волоса, – на этот раз не для того, чтобы росли волоса, но собственно для головы, не поможет ли это испарениям, а вместе с ним и вдохновению испаряться сильнее. Тупеет мое вдохновение; голова часто покрыта тяжелым облаком, которое я должен беспрестанно стараться рассеивать, а между тем мне так много еще нужно сделать.

Гоголь – А. С. Данилевскому, 16 мая 1838 г., из Рима. Письма, I, 511.

В Риме время с началом мая прелестно. Летом, когда сделается очень жарко, думаю на месяц уехать, – тем более, что все почти в это время

уезжают. Кн. Зинаида Волконская, к которой я всегда питал дружбу и уважение и которая услаждала мое время пребывания в Риме, уехала, и у меня теперь в городе немного таких знакомых, с которыми любила беседовать моя душа. Но природа здешняя заменяет все.

Гоголь – матери, 16 мая 1838 г., из Рима. Письма, I, 508.

Княгиня Зинаида Волконская неделю назад выехала в Париж. Догадываемся почему: хотела уклониться от объяснений. Гоголь – как нельзя лучше. Мы столковались с ним далеко и широко. На это мы уже намекнули парою слов в последнем письме. Он подробнейшим образом рассказывал нам о перемене, которая произошла в мыслях русских за последние два года. Находящиеся здесь офицеры лейб-гвардии, два года назад русские энтузиасты, теперь обвиняют царя в невероятнейших вещах, и это те, которые осыпаны почестями, привилегиями, благодеяниями. И удивительна та откровенность, которая господствует между русскими: демагоги в Париже осторожнее, чем эти недовольные. Занимается Гоголь русской историей. В этой области у него очень светлые мысли. Он хорошо видит, что нет цемента, который бы связывал эту безобразную громадину. Сверху давит сила, но нет внутри духа. И каждый раз восклицает: «У вас, у вас что за жизнь! После потери стольких сил! Удар, который должен был вас уничтожить, вознес вас и оживил. Что за люди, что за литература, что за надежды! Это вещь нигде не слыханная»[34].

Петр Семененко – Б. Яньскому, 25 мая 1838 г., из Рима. Smolikowski, II, 134.

Здоровье мое плохо. Всякое занятие, самое легкое, отяжелевает мою голову. Италия, прекрасная, моя ненаглядная Италия продлила мою жизнь, но искоренить совершенно болезнь, деспотически вшедшую в состав мой и обратившуюся в натуру, она невластна. Что, если я не окончу труда моего?.. О, прочь эта ужасная мысль! Она вмещает в себе целый ад мук, которых не доведи бог вкушать смертному.

Гоголь – кн. П. А. Вяземскому, 25 июня 1838 г., из Рима. Письма, I, 514.

Ехал я раз между городками Джансано и Альбано, в июле месяце. Середи дороги, на бугре, стоит жалкий трактир, с бильярдом в главной комнате, где вечно гремят шары и слышится разговор на разных языках. Все проезжающие мимо непременно тут останавливаются, особенно в жар. Остановился и я. В то время я писал первый том «Мертвых Душ», и эта тетрадь со мною не расставалась. Не знаю почему, именно в ту минуту, когда я вошел в этот трактир, мне захотелось писать. Я велел дать столик, уселся в угол, достал портфель и под гром катаемых шаров,

при невероятном шуме, беготне прислуги, в дыму, в душной атмосфере, забылся удивительным сном и написал целую главу, не сходя с места. Я считаю эти строки одними из самых вдохновенных. Я редко писал с таким одушевлением.

Гоголь по записи Н. В. Берга. Рус. Стар., 1872, янв., стр. 124.

Здоровье мое недурно. Климат Неаполя не сделал на меня никакой перемены. Я ожидал, что жары здешние будут для меня невыносимы, но вышло напротив: я едва их слышу, даже не потею и не устаю; впрочем, может быть, оттого, что не делаю слишком большого движения… На днях я сделал маленькую поездку по морю, на большой лодке, к некоторым островам, и между прочим посетил знаменитый голубой грот на острове Капри… Мне жизнь в Риме нравится больше, чем в Неаполе, несмотря на то, что здесь гораздо шумнее.

Гоголь – матери, 30 июля 1838 г., из Неаполя. Письма, I, 517–519.

О себе ничего не могу сказать слишком утешительного. Увы! Здоровье мое плохо, и гордые мои замыслы… О, друг! если бы мне на четыре, пять лет еще здоровья! И неужели не суждено осуществиться тому?.. Много думал я совершить… Еще доныне голова моя полна, а силы, силы… Но бог милостив. Он, верно, продлит дни мои. Сижу над трудом, о котором ты уже знаешь: я писал к тебе о нем; но работа моя вяла, нет той живости… Недуг, для которого я уехал и который было, казалось, облегчился, теперь усилился вновь. Моя геморроидальная болезнь вся обратилась на желудок. Это несносная болезнь. Она не говорит о себе каждую минуту и мешает мне заниматься. Но я веду свою работу, и она будет кончена, но другие, другие… О, друг, какие существуют великие сюжеты! Пожалей о мне!

Я к тебе теперь обращу одну очень холодную и прозаическую просьбу. Ты был добр, что предлагал мне сделать заем, если я нуждаюсь. Теперь я доведен до этого. Если ты богат, пришли вексель на две тысячи. Я тебе через год, много через полтора, их возвращу. Сочинение мое велико, у нас же товар продается по величине, и потом я думаю за него получить столько, что в состоянии буду заплатить этот долг в конце будущего года. Мои обстоятельства денежные плохи, и все мои родные терпят то же, но черт побери деньги, если бы здоровье только! Год как-нибудь, может, с помощью твоей… как-нибудь проплетется.

Гоголь – М. П. Погодину, 20 авг. 1838 г., из Неаполя. Письма. I. 519.

По получении письма Гоголя к Погодину мы решились помочь Гоголю, но под большим секретом: я, Погодин, Баратынский и Н. Ф. Павлов

сложились по 250 р., и 1000 р. предложил сам, по сердцу весьма добрый человек, И. Е. Великопольский, которому я только намекнул о положении Гоголя и о нашем намерении. Секрет был вполне сохранен. Погодин должен был написать к Гоголю письмо следующего содержания: «Видя, что ты находишься в нужде, на чужой стороне, я, имея свободные деньги, посылаю тебе 2000 р. ассигнациями. Ты отдашь их мне тогда, когда разбогатеешь, что, без сомнения, будет». Деньги были отосланы немедленно. С этими деньгами случилась странная история. Я удостоверен, что они были получены Гоголем, но вот что непостижимо: когда финансовые дела Гоголя поправились, когда он напечатал свои сочинения в четырех томах, тогда он поручил все расплаты Шевыреву и дал ему собственноручный реестр, в котором даже все мелкие долги были записаны с точностью, об этих же двух тысячах не упомянуто.

С. Т. Аксаков. История знакомства, 13.

Зима в Риме прелестна. Я так себя чувствовал хорошо! Теперь мне хуже: лето дурно, душно и холодно. Неаполь не тот, каким я думал найти его. Нет, Рим лучше. Здесь душно, пыльно, нечисто. Рим кажется Париж против Неаполя, кажется щеголем. Итальянцев здесь нельзя узнать; нужно прибегать к палке, хуже, чем у нас на Руси… Я живу в Кастелла-Маре, в двух часах от Неаполя. Я здесь начал было пить воды, но оставил воды. Вод здесь страшное множество: один остров Искио весь обпарен минеральными ключами. Скалы прелестны. Время я провожу кое-как: я бы проводил его прекрасно, если бы не мое здоровье.

Гоголь – А. С. Данилевскому, 20 авг. 1838 г., из Неаполя. Письма, I, 522.

В Кастелламаре у нас было две дачи, потому что нас было большое общество. Когда брат мой с семейством уехал. Гоголь оставался на его даче, где находилась одна из наших горничных, очень больная, для которой мать моя наняла сиделку; она же служила и Гоголю. Обедал он на нашей даче; обе принадлежали одному хозяину и разделялись дорогою. Гоголь часто сидел в моей комнате. Туда приходил также молодой архитектор Д. Е. Ефимов, с которым Гоголь постоянно спорил. Гоголь тогда страдал желудком, и мы постоянно слышали, как он описывал свои недуги; мы жили в его желудке. Но когда он получил письмо от своего друга А. С. Данилевского о том, что он в Париже болен, без денег и не может поэтому вернуться в Россию, то Гоголь бросил все свое лечение, занял у моего зятя Кривцова и у меня денег (которые он нам возвратил, приехавши из Франции) и поспешил выручить из беды Данилевского. В Кастелламаре он читал нам первые две главы второго тома «Мертвых Душ» и тогда, или позже немного, говорил, что первый том грязный двор, ведущий к изящному строению.

Княжна В. Н. Репнина. О Гоголе, Рус. Арх., 1890, III, 228.

Я еще до сих пор не в Риме, и долго еще не буду, – по крайней мере, целый месяц. В Риме теперь жить еще жарко, и мне притом хочется увидеть еще много невиданных мною городов и земель.

Гоголь – матери, 28 авг. 1838 г., из Ливорно. Письма, I, 524.

Сентябрь Гоголь провел в Париже с Данилевским.

А. И. Кирпичников. Хронолог. канва, 33.

Из Парижа Гоголь проводил Данилевского до Брюсселя, где они и расстались.

В. И. Шенрок. Материалы, III, 238.

В Рим Гоголь возвратился через Лион, Марсель и Геную.

А. И. Кирпичников. Хронолог. канва, 33.

Я до сих пор еще как-то не очнулся в Риме. Как будто какая-то плева на глазах моих, которая препятствует мне видеть его в том чудном великолепии, в каком он мне представился, когда я въехал в него во второй раз. Может быть, оттого, что я еще до сих пор не приладил себя к римской жизни. Париж со своими великолепными храмами (*ресторанами*) меня много расстроил. Куда ни иду, все чудятся храмы. Мысль моя еще не вся оторвалась от Монмартра и бульвара des Italiens. Здесь встретил некоторых знакомых, которые мне не дали еще вступить в мою прежнюю колею, в которой я плелся было мерно, или лучше – кое-как. Хотел бы кинуться с жаром новичка на искусства и бежать деятельно осматривать вновь все чудеса римские, но в желудке сидит какой-то черт, который мешает все видеть в таком виде, как бы хотелось видеть, и напоминает то об обеде, то об завтраке, словом – все греховные побуждения, несмотря на святость мест, на чудное солнце, на чудные дни… Да, что меня больше всего поразило, так это Петр (*собор Петра*). Он страшно вырос, купол необыкновенно сделался огромнее.

Гоголь – А. С. Данилевскому, из Рима. Письма, I, 538.

Я очень рад, что Петербург для вас становится сносен. Ваше описание железной дороги и поездки по ней очень живо. Признаюсь, сказать вам нужно втайне и по секрету, я крепко завидовал вам. Все-таки сердце у

меня русское. Хотя при мысли о Петербурге мороз проходит по моей коже, и кожа моя проникается насквозь страшною сыростью и туманною атмосферою; но хотелось бы мне сильно прокатиться по железной дороге и услышать это смешение слов и речей нашего вавилонского народонаселения в вагонах. Здесь много можно узнать того, чего не узнаешь обыкновенным порядком. Здесь бы, может быть, я рассердился вновь – и очень сильно – на мою любезную Россию, к которой гневное расположение мое начинает уже ослабевать, а без гнева вы знаете – немного можно сказать: только рассердившись, говорится правда.

Гоголь – М. П. Балабиной, 7 ноября 1838 г., из Рима. Письма, I, 541.

Я получил твое письмо, писанное тобою от сентября на имя Валентини (*банкира*), вместе с секундами векселей (*на те 2000 рублей, которые Гоголь просил в августе у Погодина*). Благодарю тебя, добрый мой, верный мой! Много, много благодарю тебя! Далеко, до самой глубины души, тронуло меня ваше беспокойство о мне! Столько любви! Столько забот! За что это меня так любит бог? Но грустно вместе с этим мне было видеть, но тяжело, невыносимо тяжело для сердца чувствовать... Боже, я недостоин такой прекрасной любви! Ничего не сделал я! Как беден мой талант! Зачем мне не дано здоровье? Громоздилось кое-что в этой голове и душе, и неужели мне не доведется обнаружить и высказать хоть половину его? Признаюсь, я плохо надеюсь на свое здоровье.

Ты хочешь печатать «Ревизора» (вторым изданием). Мне, признаюсь, хотелось бы немного обождать. Я начал переделывать и поправлять некоторые сцены, которые были написаны довольно небрежно и неосмотрительно. Я хотел бы издать его теперь исправленного и совершенного. Но если ты находишь, что второе издание необходимо нужно, и без отлагательства, то располагай по своему усмотрению. Я не думаю, что он доставил тебе большие деньги. Но если наберется около двух, или с лишком, тысяч, то я будут очень рад, потому что, признаюсь, мне присланные тобою деньги несколько тяжелы: мне все кажется, что ты отказал себе и что нуждаешься. Если за «Ревизора» дадут вдруг деньги, то ты, пожалуйста, пополни ими нанесенную мною пустоту твоему кошельку или отдай их тому, у кого ты занял для меня. Прощай, мой добрый, мой милый, мой великодушный! Зачем я ничем не могу выказать мою благодарность!

Гоголь – М. П. Погодину, 1 декабря 1838 г., из Рима. Письма, I, 548.

С молодым графом Иосифом Михайловичем Виельгорским, после отъезда Гоголя за границу, он в первый раз встретился 20 декабря 1838 г. Виельгорский умирал тогда в чахотке и, несмотря на заботливый уход и на помощь знаменитых врачей, заметно таял с каждым днем. В

мае 1838 г., сопровождая наследника, он приехал в Берлин. Но открывшееся вскоре кровохарканье заставило его отделиться от свиты и ездить отдельно по курортам. В Рим он приехал 15 ноября 1838 года.

В. И. Шенрок. Материалы, III, 254.

Когда наследник (*будущий император Александр II*) начал уже серьезно заниматься, к нему взяли в товарищи графчика Иосифа Виельгорского (*сына гр. М. Ю. Виельгорского*) и Паткуля. Это товарищество было нужно, как шпоры ленивой лошади. Вечером первый подходил (*к императору Николаю*) тот, у которого были лучшие баллы, обыкновенно бедный Иосиф, который краснел и бледнел; что касается до Паткуля, тот никогда не помышлял о такой чести. Наследник не любил Виельгорского, между ними не было симпатии. Виельгорский был слишком серьезен, вечно рылся в книгах, жаждал науки, как будто, спеша жить, готовил запас навеки.

А. О. Смирнова. Записки, 201.

В день рождения Гоголя, 27 декабря (!) 1838 г., празднуя его со многими русскими на вилле кн. З. А. Волконской, Шевырев прочел ему следующие стихи, при поднесении от друзей нарисованной сценической маски:

Что ж дремлешь ты? Смотри, перед тобой

Лежит и ждет сценическая маска.

Ее покинул славный твой собрат,

Еще теперь игривым, вольным смехом

Волнующий Италию: возьми

Ее, вглядись в шутливую улыбку

И в честный вид: ее носил Гольдони.

Она идет к тебе… и т. д.

М. П. Погодин. Воспоминание о С. П. Шевыреве. СПб., 1869, стр. 22.

В конце 1838 года А. А. Иванов (*художник, автор картины «Явление Христа народу»*) познакомился с Гоголем, который был в восторге от его картины, говорил о ней, кому только мог, водил в мастерскую художника своих знакомых… С Гоголем Иванов сошелся очень близко. Гоголь постоянно поддерживал его советами, утешая не унывать по

случаю недостатка средств… Они были неразлучны. Иванов написал с него в то время два портрета масляными красками, из коих один Гоголь подарил Жуковскому, другой Погодину, и сделал для себя рисунок карандашом.

М. П. Боткин. А. А. Иванов, его жизнь и переписка, стр. IX, XI.

Трогает меня сильно твое положение (*у Данилевского какой-то мошенник похитил в Париже присланные ему из дому деньги, и он остался в Париже без всяких средств*). Видит бог, с какою готовностью и радостью помог бы тебе, и радость эта была бы мое большое счастье, но увы!.. Что делать? Делюсь, по крайней мере, тем, что есть: посылаю тебе билет в сто франков, который у меня долго хранился. Я не трогал его никогда, как будто знал его приятное для меня назначение. На днях я перешлю тебе франков, может быть, двести. Я, приехавши в Рим, нашел здесь для меня 2000 франков от доброго моего Погодина, который, не знаю, каким образом, пронюхал, что я в нужде, и прислал мне их. Они мне были очень кстати, – тем более, что дали мне возможность уплатить долг Валентини (*банкиру*), который лежал у меня на душе, и переслать эту безделицу тебе.

Что тебе сказать о Риме? Он так же прекрасен, обширен, такое же роскошное обилие предметов для жизни духовной и всякой. Но увы! Притупляются мои чувства, не так живы они… Здесь теперь гибель, толпа страшная иностранцев, и между ними немало русских. Из моих знакомых здесь Шевырев, Чертков; прочие незначительные, то есть для меня. На днях приехал наследник, а с ним вместе Жуковский. Он все так же добр: так же любит меня. Свиданье наше было трогательно: он весь полон Пушкиным.

Ты спрашиваешь о моем здоровье. Плохо, брат, плохо; все хуже, – чем дальше, все хуже. Таков закон природы. Болезненное мое расположение решительно мешает мне заниматься. Я ничего не делаю и часто не знаю, что делать с временем. Я бы мог проводить теперь время весело, но я отстал от всего, и самим моим знакомым скучно со мною, и мне тоже часто не о чем говорить с ними. В брюхе, кажется, сидит какой-то дьявол, который решительно мешает всему, то рисуя какую-нибудь соблазнительную картину неудобосваримого обеда, то… Ты спрашиваешь, что я такое завтракую. Вообрази, что ничего! Никакого не имею аппетита по утрам, и только тогда, когда обедаю, в пять часов, пью чай, сделанный у себя дома, совершенно на манер того, какой мы пивали в кафе Anglais, с маслом и прочими атрибутами. Обедаю же я не в Лепре, но у Фалькона, знаешь, что у Пантеона? где жареные бараны поспорят, без сомнения, с кавказскими, телятина более сыта, а какая-то crostata с вишнями способна произвести на три дня слюнотечение у самого отъявленного объедала. Но увы! не с кем делить подобного обеда.

Боже мой, если бы я был богат, я бы желал… чего бы я желал? Чтоб остальные дни мои я провел с тобою вместе, чтоб приносить в одном храме жертвы (*так Гоголь с Данилевским называли обеды в ресторанах*), чтобы сразиться иногда в билиард после чаю, как, – помнишь? – мы игрывали не так давно… И какое между нами вдруг расстояние! Я играл потом в билиард здесь, но как-то не клеится, и я бросил. Ни с кем не хочется, как только с тобой. Чувствую, что ты бы наполнил дни мои, которые теперь кажутся пусты.

Гоголь – А. С. Данилевскому, 31 дек. 1838 г., из Рима. Письма, I, 554.

О здоровье моем я теперь не думаю вовсе: право, наскучило. Я же так теперь счастлив приездом Жуковского, что это одно наполняет меня всего. Свидание наше было очень трогательное. Первое имя, произнесенное нами, было – Пушкин. Понына чело его обрекается грустью при мысли об этой утрате. Мы почти весь день вместе осматривали Рим с утра до ночи, исключая тех дней, в который он обязан делать этот курс с наследником.

Гоголь – кн. В. Н. Репниной, 18 янв. 1839 г., из Рима. Письма, I, 560.

Рим! прекрасный Рим! Я начинаю теперь вновь чтение Рима, и боже! сколько нового для меня, который уже в четвертый раз читает его! Это чтение теперь имеет двойное наслаждение, оттого, что у меня теперь прекрасный товарищ. Мы ездим каждый день с Жуковским, который весь влюбился в него и который, увы, через два дня должен уже оставить его. Пусто мне сделается без него! Это был какой-то небесный посланник ко мне… До сих пор я больше держал в руке кисть, чем перо. Мы с Жуковским рисовали на лету лучшие виды Рима. Он в одну минуту рисует их по десяткам, и чрезвычайно верно и хорошо. Я живу в том же доме и той же улице, via Felice, № 126. Те же знакомые лица вокруг меня; те же немецкие художники, с узенькими рыженькими бородками, и те же козлы, тоже с узенькими бородками; те же разговоры, и о том же говорят, высунувшись из окон, мои соседки: так же раздаются крики и лепетанья Аннунциат, Роз, Дынд, Нанн и других, в шерстяных капотах и притоптанных башмаках, несмотря на холодное время. Зима в Риме холодна, как никогда; по утрам морозы, но днем солнце, и мороз бежит прочь, как бежит от света тьма. Я, однако ж, теперь совершенно привык к холоду и даже в комнате не ставлю скальдины. Одно солнце ее нагревает. Теперь начался карнавал; шумно, весело.

Гоголь – А. С. Данилевскому, 5 февр. 1839 г., из Рима. Письма, I, 563.

Я проводил все время с Римом, т. е. с его развалинами, природою и Жуковским, который теперь только уехал и оставил меня сиротою, и мне

сделалось в первый раз грустно в Риме. Здоровье мое… не стоит говорить о нем.

Гоголь – А. С. Данилевскому, 12 февр. 1839 г., из Рима. Письма, I, 565.

Моя портфель с красками готова; с сегодняшнего дня отправляюсь рисовать на весь день. Я думаю, в Колисей. Обед возьму в карман. Дни значительно прибавились. Я вчера пробовал рисовать. Краски ложатся сами собою, так что потом дивишься, как удалось подметить и составить такой-то колорит и оттенок.

Гоголь – В. А. Жуковскому, 18 февр. 1839 г., из Рима. Письма. I, 568.

Я получил наконец из дому два письма. Грустно мне было читать их! Они были совершенная вывеска несчастного положения домашних. Наконец, маменька, кажется, дохозяйничалась до того, что теперь решительно, кажется, не знает, что делать. Дела наши по деревне, кажется, так расстроены, как только возможно, и я никаких не имею средств помочь. Как нарочно, к этому времени приближается и срок или выпуск моим сестрам!.. Грустно, мой милый, ужасно грустно иметь семейство!.. Я был до этого времени почти спокоен; меня мучило мое здоровье; но я предал его в волю бога, приучил себя к прежде невыносимой мысли, и уже ничего не было для меня страшного ни в жизни, ни в смерти. А теперь иногда такое томительное беспокойство заглядывает в мою душу, такая боязнь за будущее, к несчастью, очень близкое!.. Грустно! Мысль моя теряется. Я ничего не нахожусь сделать и надумать.

Гоголь – А. С. Данилевскому, 7 марта 1839 г., из Рима. Письма, I, 572.

8 марта 1839 года я приехал в Рим. Там жил уже два года Шевырев. Там водворился и Гоголь, бежавший из Петербурга после разных неудовольствий и досад при представлении и напечатании «Ревизора». Я тотчас отправился отыскивать его. Он жил в Via Felice, № 126, в четвертом этаже. Взобравшись к нему по широкой лестнице, отворяю дверь и в эту самую минуту, вижу, он из окна выплескивает что-то на улицу из огромного сосуда целым потоком. Я так и обмер. «Помилуй, что ты делаешь?» – «На счастливого», – отвечает он пресерьезно, бросаясь меня обнимать. Разумеется, увидя такую простоту нравов, я никогда уже не ходил в Риме около домов, чтобы не быть окачену или осчастливлену подобным счастьем, а выбирал всегда дорогу по средине улицы. Гоголь управлял совершенно домом, где жил, известный под именем signore Nicolo; назначил тотчас помещение мне с женою подле своей комнаты, через темную залу, и предписал хозяину условия, против которых тот не осмеливался произнести ни одного слова, приговаривая

только вполголоса, с низкими поклонами: «Si, signore, si, signore». Первою заботою Гоголь почел устроить утреннее чаепитие. Запас отличного чаю у него никогда не переводился, но главным делом для него было набирать различные печенья к чаю. И где он отыскивал всякие крендельки, булочки, сухарики, – это уже только знал он, и никто более. Всякий день являлось что-нибудь новое, которое он давал сперва всем отведывать, и очень был рад, если кто находил по вкусу и одобрял выбор какою-нибудь особенною фразою. Ничем более нельзя было сделать ему удовольствия. У самого папы не бывало, думаю, такого богатого и вкусного завтрака, как у нас. Действие начиналось так. Приносился черномазою, косматою Нанною, – в роде описанных в его отрывке «Рим», – ужасной величины медный чайник с кипяченою водою. Гоголь обыкновенно начинал ругать Нанну за то и за другое, почему приносит она поздно, почему не вычистила ручки, не отерла дна и проч., и проч. Та с криком оправдывалась, а он доказывал, с разными характеристическими пантомимами с обеих сторон. Целая драма! «Да полно! – заключал я обыкновенно: – Вода простынет!» Гоголь опомнивается, и начинаются наливанья, разливанья, смакованья, подчиванья и облизыванья. Ближе часа никогда нельзя было управиться с чаем. «Довольно, довольно, пора идти!» – «Погодите, погодите, успеем. Еще по чашечке, а вот эти дьяволенки, отведайте, – какие вкусные! Просто – икра зернистая, конфекты!» Всякой день выход был решаем уже после многих толков и споров. План осмотров написал для меня Шевырев. Он помог и Гоголю на первых порах познакомиться с Римом, который известен был Шевыреву как свои пять пальцев. Но Гоголю непременно хотелось делать всегда что-нибудь по-своему. Шевырев дорожил более всего точностью, порядком, полнотою, а Гоголь хотел удивлять сюрпризами, чтоб никто не знал заранее ничего. Шевыреву принадлежала наука и знания, Гоголю – воображение и оригинальность, которая не оставляла его ни в чем, в важных делах, как и в мелочах. Он выбирал время, час, погоду, – светит ли солнце, или пасмурно на дворе, и множество других обстоятельств, чтоб показать нынче то, а не это, а завтра – наоборот. Привел, например, он нас в первый раз в храм св. Петра и вот как вздумал дать понятие об огромности здания. «Зажмурь глаза!» – сказал он мне в дверях и повел меня за руку. Остановились спиною к простенку. «Открой глаза! Ну, видишь, напротив, мраморных ангельчиков под чашею?» – «Вижу». – «Каковы, – велики?» – «Что за велики! Маленькие». – «Ну, так оборотись». Я оборотился к простенку, у которого стоял, и увидел перед собою, под пару к ним, двух, почти колоссальных. Так велико между ними расстояние в промежутке: огромные фигуры издали кажутся только посредственными. В другой раз повел он нас молча, бог знает, по каким переулкам и, кажется, нарочно выбирал самые дурные и кривые, чтоб пройти как можно дальше и неудобнее. Конца, кажется, не было этому лабиринту. «Да куда же ты ведешь нас?» – спросил я его с

нетерпением. «Молчи, – отвечал он с досадою, погруженный как будто в размышление, – узнаешь после». Наконец, мы выходим на площадь. Перед нами открылась вдали широкая каменная лестница, наверху по бокам ее два огромные коня, которых под уздцы держали всадники. За нею на площади конная статуя. В глубине обширное здание с высокою каланчою. «Ну, видишь молодцов?» – спросил мой чудак. «Вижу. Да что же это такое?» – «Хороши?» Между тем мы приблизились. «Это древние статуи Диоскуров, из театра Помпеева. А это Марк Аврелий на коне. А это Капитолий!» Капитолий, – можно себе представить, какое впечатление производило такое полновесное слово. Но было мне и много досады с Гоголем. Он никогда не мог поспеть никуда к назначенному сроку и всегда опаздывал. Его нельзя было вытащить никуда иначе, как после нескольких жарких приступов. По дорогам ехать с ним – новые хлопоты и досады. В Италии господствовала в то время система паспортов. – «Gli passaporti!» – слышалось на каждом, кажется, перекрестке. Гоголь ни за что на свете не хотел никому показывать своего паспорта, и его надо было клещами вытаскивать из его кармана. Он уверял меня даже, что когда ездит один, то никогда не показывает паспорта никому по сей Европе под разными предлогами. Так и при нас, – не дает, да и только; начнет спорить, браниться и, смотря в глаза полицейскому чиновнику, примется по-русски ругать на чем свет стоит его, императора австрийского, его министерство, всех гонфалоньеров и подест, но таким тоном, таким голосом, что полицейский думает слышать извинения и повторяет тихо: – «Signore, passaporti!» Так он поступал, когда паспорт у него в кармане, и стоило только вынуть его, а это случалось очень редко; теперь – представьте себе, что паспорта у него нет, что он засунул его куда-нибудь в чемодан, в книгу, в карман. Он должен, наконец, искать его, потому что мы приступаем с просьбами: надо ехать, а не пускают. Он начнет беситься, рыться, не находя его нигде, бросать все, что попадется под руку, и наконец, найдя его там, где нельзя и предполагать никакой бумаги, начнет ругать самый паспорт, зачем он туда засунулся, и кричать полицейскому: «На тебе паспорт, ешь его!» – и проч., да и назад взять не хочет. Преуморительные были сцены. Кто помнит, как читал Гоголь свои комедии, тот может себе вообразить их, и никто более.

Расскажу еще кстати один анекдот о Гоголе. После чаю он обыкновенно водил нас по Риму, и к двум часам приводил в гостиницу Лепри на Корсо или к Scalinata, близ Piazza di Spagna, обедать; но сам никогда ничего не ел, говоря, что не имеет аппетита и что только часам к шести может что-нибудь проглотить. Так он оставлял нас, и мы после обеда шли к Шевыреву или к учителю, который давал нам итальянские уроки. Так продолжалось недели две. Однажды вечером встретился я у княгини Волконской с Бруни и разговорился о Гоголе. «Как жаль, – сказал я, – что здоровье его так медленно поправляется!» – «Да чем же он болен?» – спрашивает меня с удивлением Бруни. «Как чем? – отвечаю

я: – Разве вы ничего не знаете? У него желудок расстроен; он не может есть ничего». – «Как не может, что вы говорите? – воскликнул Бруни, захохотав изо всех сил. – Да мы ходим нарочно смотреть на него иногда за обедом, чтоб возбуждать в себе аппетит: он ест за четверых. Приходите, когда угодно, около шести часов к Фалькони». Отправились мы гурьбой на другой день к Фалькони. Это была маленькая, тесненькая траттория, в захолустье, вроде наших харчевен, если и почище, то немного. Но Фалькони славился отличной, свежей провизией. Мы пришли и заперлись наглухо в одной каморке подле Гоголевой залы, сказав, что хотим попировать особо, и спросили себе бутылку Дженсано. К шести часам, слышим, действительно, является Гоголь. Мы смотрим через перегородку. Проворные мальчуганы, camerieri, привыкшие к нему, смотрят в глаза и дожидаются его приказаний. Он садится за стол и приказывает: макарон, сыру, масла, уксусу, сахару, горчицы, равиоли, броккали… Мальчуганы начинают бегать и носить к нему то то, то другое. Гоголь, с сияющим лицом, принимает все из их рук за столом, в полном удовольствии, и распоряжается: раскладывает перед собой все припасы, – груды перед ним возвышаются всякой зелени, куча стклянок со светлыми жидкостями, все в цветах, лаврах и миртах. Вот приносятся макароны в чашке, открывается крышка, пар повалил оттуда клубом. Гоголь бросает масло, которое тотчас расплывается, посыпает сыром, становится в позу, как жрец, готовящийся совершать жертвоприношение, берет ножик и начинает разрезывать… В эту минуту наша дверь с шумом растворяется. С хохотом мы все бежим к Гоголю. «Так-то, брат, – восклицаю я, – аппетит у тебя нехорош, желудок расстроен? Для кого же ты это все наготовил?» Гоголь на минуту сконфузился, но потом тотчас нашелся и отвечал с досадою: «Ну, что вы кричите, разумеется, у меня аппетита настоящего нет. Это аппетит искусственный, я нарочно стараюсь возбудить его чем-нибудь, да черта с два, возбужу, как бы не так! Буду есть, да нехотя, и все как будто ничего не ел. Садитесь же лучше со мной; я вас угощу». – «Ну, так угости. Мы хоть и пообедали, но твои искусственные приготовления такие аппетитные…» – «Чего же вы хотите? Эй, камериере, принеси!» – и пошел, и пошел: agrodolce, di cigno, pelustro, testa di suppa Inglese, moscatello, и пр., и пр. Началось пирование, очень веселое. Гоголь уписывал за четверых и все доказывал, что это так, что это все ничего не значит, и желудок у него расстроен.

М. П. Погодин. Отрывок из записок. Рус. Арх., 1865, стр. 887–894.

12 марта 1839 г. – Вилла княгини Зинаиды Александровны Волконской за Иоанном Латеранским прелестна, – домик с башенкою, по комнате в ярусе, выстроен среди римской стены и окружен с обеих сторон виноградниками, цветниками и прекрасно устроенными дорожками. Вдали виднеются арки бесконечных водопроводов, поля и горы, а с

другой – римская населенная часть города, и Колизей, и Петр. Всего более умилителен ее садик, посвященный воспоминаниям. Так, под сению кипариса стоит урна в память Д. В. Веневитинова (*рано умерший даровитый поэт*); близ нее камень с именем Николая Рожалина, который прожил в Риме три года в доме княгини, занимаясь классическими языками и древностями, и умер на другой день после прибытия на пароходе в отечество. В особой куще белеется бюст покойного императора Александра I. Есть древний обломок, посвященный Карамзину, другой Пушкину. Вот два камня в память о старой няне княгини и служителе ее отца. Как много чувства, как много ума у нее! Всякий уголок в саду, всякий поворот занят, и как кстати! Где видите вы образ божией матери, где древнюю урну, камень, обломок с надписью.

Познакомился с молодым графом Виельгорским, который занимается у нее в гроте, по предписанию врачей пользоваться как можно более свежим воздухом. Рад был удостовериться, что он искренно любит русскую историю и обещает полезного делателя. Его простота, естественность меня поразили. Не встречал я человека, до такой степени безыскусственного, и очень удивился, найдя такого в высшем кругу, между воспитанниками двора.

16 марта. – Молодой граф Виельгорский показывал мне свои материалы для литературы русской истории. Прекрасный труд, – но приведет ли бог кончить. Румянец на щеках его не предвещает добра. Он работает, однако же, беспрестанно.

24 марта. – Вечер у княгини Волконской, куда обещал прийти Гоголь и прочесть что-нибудь из новых своих сочинений. Мы прождали его понапрасну.

25 марта. – Гоголь повел нас в студию русского художника (А. А.) Иванова. Это новое для нас зрелище. Мы увидели в комнате Иванова ужасный беспорядок, но такой беспорядок, который тотчас дает знать о принадлежности своей художнику. Стены исписаны разными фигурами, которая мелом, которая углем, – вот группа, вот целый эскиз. Там висит прекрасный дорогой эстамп, здесь приклеен или прилеплен какой-то очерк. В одном углу на полу валяется всякая рухлядь, в другом исчерченные картины. В середине господствует на огромных подставках картина, над которою трудится художник. Сам он в простой холстинной блузе, с долгими волосами, которых он не стриг, кажется, два года, не бритый недели две, с палитрою в одной руке, с кистью в другой, стоит один-одинехонек перед нею, погруженный в размышления. Вокруг него по всем сторонам лежит несколько картонов с его корректурами, т. е. с разными опытами представить то или другое лицо, разместить фигуры так или иначе. Повторяю, это явление было для нас совершенно ново и разительно. Приходом своим мы пробудили художника. Картина

представляет проповедь в пустыне Иоанна-Крестителя, который указывает на спасителя, вдали идущего… (*Знаменитая картина А. Иванова «Явление Христа народу», ныне находящаяся в Государственной Третьяковской галерее в Москве.*) Говорят, что Иванов работает очень медленно, беспрестанно поправляет себя, недоволен…

М. П. Погодин. Год в чужих краях. М., 1844. Часть вторая, стр. 27, 52, 83, 85.

Жуковский уехал из Рима. Но я необыкновенно частлив: на место его приехал ко мне Погодин. Мы теперь живем вместе: его комната с моею; завтракаем и говорим вместе.

В письме от маменьки есть одна очень замечательная черта о том, каким образом распространяются слухи еще на счет известного тебе письма, писанного мною за два года перед этим государю. Маменька пишет, между прочим, что получила письмо от В. П. Березиной, которая извещает, что знает наверное, что я писал письмо к Жуковскому, прося его занять где-нибудь для меня три тысячи, но что это письмо было так написано смешно, что Жуковский показал его государю и что государь схватился за бока, целые четверть часа катался со смеху и приказал выдать мне не три, а четыре тысячи и сказал: «пусть он напишет ко мне еще такое письмо, – я ему дам еще четыре тысячи». Маменька говорит, что в этом не сомневалась, хотя я ей ничего, дескать, никогда не говорил и не пишу о подобных вещах; но что в одном только не соглашается, что гораздо справедливее полагать, что государь дал мне шесть тысяч, а не четыре, потому что даже какой-то (фамилии его не помню) хороший и почтенный человек, который служил когда-то в Петербурге и очень начитан и сведущ в литературе, говорит, что шесть.

Гоголь – А. С. Данилевскому, 25 марта 1839 г., из Рима. Письма, I, 579.

26 марта. – Толковали с Гоголем о русской литературе, за рюмками сладенького и легонького Дженсано, ей на здоровье и на освобождение от ига двадесяти язык.

9 апреля. – Простились с нашим любезным Гоголем до Чивита-Веккиа, куда обещал он выехать к нам навстречу, ибо пароход на пути из Неаполя в Марсель остановится там на несколько часов.

М. П. Погодин. Год в чужих краях. М., 1844, II, 89, 153.

Погодины тебе передадут верную и, к несчастью, пошлую историю моей жизни. Право, странно: кажется, не живешь, а только забываешься или стараешься забыться: забыть страдание, забыть прошедшее, забыть свои

лета и юность, забыть воспоминание, забыть свою пошлую, текущую жизнь! Но если есть где на свете место, где страдания, горе, утраты и собственное бессилие может позабыться, то это разве в одном только Риме. Здесь только тревоги не властны и не касаются души. Что бы было со мною в другом месте! Здесь только самая разлука с близкими и друзьями, которая так тяжела, менее тяжка.

Гоголь – А. С. Данилевскому, 14 апр. 1839 г., из Рима. Письма, I, 588.

18 апреля. – Около двенадцати часов въехали мы в гавань Чивита-Веккиа, где ожидал нас Гоголь и семейство Шевырева. Обошли городишко с немногими остатками древности, и, пока любезные наши хозяева занялись приготовлением обеда, мы повалились спать, утомленные беспокойством ночи… С Гоголем мы съедемся опять в Мариенбаде.

М. П. Погодин. Год в чужих краях, II, 186.

Иосиф (*Виельгорский*), кажется, умирает решительно. Бедный, кроткий, благородный Иосиф. Не житье на Руси людям прекрасным; одни только свиньи там живущи!.. Здоровье мое так же неопределенно, и глупо, и странно, как и при тебе. Живу надеждою на Мариенбад.

Гоголь – М. П. Погодину, 5 мая 1839 г., из Рима. Письма, I, 597.

Я провожу теперь бессонные ночи у одра больного, умирающего моего друга Иосифа Виельгорского. Вы, без сомнения, не знали ни прекрасной души его, ни прекрасных чувств его, ни его сильного, слишком твердого для молодых лет характера, ни необыкновенной основательности ума его; и все это – добыча неумолимой смерти; и не спасут его ни молодые лета, ни права на жизнь, без сомнения, прекрасную и полезную! Я живу теперь его умирающими днями, ловлю минуты его. Его улыбка или на мгновение развеселившийся вид уже для меня эпоха, уже происшествие в моем однообразно проходящем дне… Я ни во что теперь не верю и если встречаю что прекрасное, то жмурю глаза и стараюсь не глядеть на него. От него мне несет запахом могилы. «Оно на короткий миг», шепчет глухо внятный мне голос.

Гоголь – М. П. Балабиной, 30 мая 1839 г., из Рима. Письма, I, 605.

Они были сладки и томительны, эти бессонные ночи. Он сидел больной в креслах. Я при нем. Сон не смел касаться очей моих. Мне было так сладко сидеть возле него, глядеть на него. Уже две ночи, как мы говорили друг другу «ты». Как ближе после этого он стал ко мне! Он

сидел все тот же кроткий, тихий, покорный! Боже! с какою радостью, с каким веселием я принял бы на себя его болезнь! И если б моя смерть могла возвратить его к здоровью, с какою готовностью я бы кинулся тогда к ней!

Я не был у него эту ночь. Я решился, наконец, заснуть ее у себя! О! как пошла, как подла была эта ночь вместе с моим презренным сном! Я дурно спал ее, несмотря на то, что всю неделю проводил ночи без сна. Меня терзали мысли о нем. Мне он представлялся молящий, упрекающий. Я видел его глазами души. Я поспешил на другой день поутру и шел к нему, как преступник. Он увидел меня лежащий на постели. Он усмехнулся тем же смехом ангела, которым привык усмехаться. Он дал мне руку. Пожал ее любовно. «Изменник, – сказал он мне, – ты изменил мне». – «Ангел мой! – сказал я ему, – прости меня. Я страдал твоим страданием. Я терзался эту ночь. Не спокойствие было мой отдых: прости меня!» Кроткий! он пожал мою руку! Как я был полно вознагражден тогда за страдания, нанесенные мне моею глупо проведенной ночью! «Голова моя тяжела», – сказал он. Я стал обмахивать его веткой лавра. «Ах, как свежо и хорошо!» – говорил он.

«Что ты приготовил для меня такой дурной май?» – сказал он мне, проснувшись, сидя в креслах, услышав шумевший за стеклами окон ветер, срывавший благовония с цвевших диких жасминов и белых акаций и клубивший их вместе с листками роз.

В десять часов я сошел к нему. Я его оставил за три часа до этого времени, чтоб отдохнуть немного и приготовить ему, чтоб доставить какое-нибудь разнообразие, чтобы мой приход потом был ему приятнее. Я сошел к нему в десять часов. Он уже более часу сидел один. Гости, бывшие у него, давно ушли. Он сидел один. Томление скуки выражалось на лице его. Он меня увидел. Слегка махнул рукой. «Спаситель ты мой!» – сказал он мне. Они еще доныне раздаются в ушах моих, эти слова. – «Ангел ты мой! ты скучал?» – «О, как скучал!» – отвечал он мне. Я поцеловал его в плечо. Он мне подставил свою щеку. Мы поцеловались: он все еще жал мою руку.

Гоголь. Ночи на вилле. Ночь первая. Соч. Гоголя, изд. 10-е, т. V, стр. 530.

Я теперь очень и слишком занят моим больным, Виельгорским: сижу над ним ночи без сна и ловлю все его мановения. Есть святые услуги дружбы, и я должен теперь их исполнить. Но удивительно – я не чувствую никакой усталости, здоровье мое ничуть не сделалось хуже. Даже лицо мое не носит никаких знаков изнеможения. Находят даже меня поправившимся. Сладки и грустны мои минуты нынешние. Но я

вечно благодарю бога, что во мне случилась эта надобность и что именно случился в это время я, а не лицо чуждое, неродное, неприятное для больного.

Гоголь – М. П. Погодину, в 1839 г., из Рима. Письма, I, 610.

Он не любил и не ложился почти вовсе в постель. Он предпочитал свои кресла и то же самое свое сидячее положение. В ту ночь ему доктор велел отдохнуть. Он приподнялся неохотно и, опираясь на мое плечо, шел к своей постели. Душенька мой! Его уставший взгляд, его теплый пестрый сюртук, медленное движение шагов его, – все это я вижу, все это передо мною. Он сказал мне на ухо, прислонившись к плечу и взглянувши на постель: «Теперь я пропавший человек». – «Мы всего только на полчаса останемся в постели, сказал я ему, – потом перейдем вновь в твои кресла». Я глядел на тебя, мой милый, нежный цвет! Во все то время, как ты спал или только дремал на постели и в креслах, я следил твои движения и твои мгновения, прикованный непостижимою к тебе силою. Как странно нова была тогда моя жизнь и как вместе с тем я читал в ней повторение чего-то отдаленного, когда-то давно бывшего! Но, мне кажется, трудно дать идею о ней: ко мне возвратился летучий, свежий отрывок моего юношеского времени, когда молодая душа ищет дружбы и братства между молодыми своими сверстниками и дружбы решительно юношеской, полной милых, почти младенческих мелочей и наперерыв оказываемых знаков нежной привязанности; когда сладко смотреть очами в очи, когда весь готов на пожертвования, часто даже вовсе ненужные. И все эти чувства сладкие, молодые, свежие возвратились ко мне. Боже! зачем? Я глядел на тебя, милый мой цвет. Затем ли пахнуло на меня вдруг это свежее дуновение молодости, чтобы потом вдруг и разом я погрузился еще в большую мертвящую остылость чувств, чтобы я вдруг стал старее целым десятком, чтобы отчаяннее и безнадежнее я увидел исчезающую мою жизнь?

Гоголь. Ночи на вилле. Ночь восьмая.

Княгиня З. А. Волконская сначала любила Гоголя, но потом возненавидела. Это случилось по следующей причине. Когда умирал Иосиф Виельгорский, то у него ежедневно бывали Елиз. Григ. Черткова, графиня М. А. Воронцова и Гоголь. Зинаида Александровна была уже тогда ярая католичка, и мне рассказывали, что Гоголь пошел прогуляться и вместе поискать священника для исповеди умирающего. Гоголь же потом сам читал для него отходную. Молодой Виельгорский причащался в саду, и мой отец поддерживал его и читал за него: «Верую, господи, и исповедую». Но когда он умирал, то в его комнате уже был приглашенный княгинею Волконскою аббат Жерве. Зинаида Александровна нагнулась над умирающим и тихонько шепнула аббату:

«Вот теперь настала удобная минута обратить его в католичество». Но аббат оказался настолько благороден, что возразил ей: «Княгиня, в комнате умирающего должна быть безусловная тишина и молчание». Тем не менее княгиня еще что-то пошептала над Виельгорским и потом проговорила: «Я видела, что душа вышла из него католическая». Виельгорский же был перед смертью так слаб, что Черткова вместе с Гоголем нежно ухаживали за ним и держали тарелку, когда он ел. Но Черткова собиралась уехать, как этого требовал ее муж. В знак глубокой признательности к ней за хлопоты и попечения о нем Виельгорский, умирая, снял с руки кольцо, чтобы передать его Чертковой. Увидя это, Волконская почему-то с несдерживаемым негодованием произнесла: «c' est immorale!» Она находила, что когда Виельгорский умирал, то у него не должно было остаться никакого земного чувства.

Княжна В. Н. Репнина по записи Шенрока. Материалы, III, 190.

Я узнала тут, что он уже был в коротких отношениях с Виельгорским, но сама тогда еще редко с ним виделась и не старалась разъяснить, когда и как эта связь устроилась. Находила его сближение comme il faut, очень естественным и простым.

А. О. Смирнова. Записки, 315.

На пароходе, отправлявшемся из Рима в Марсель, я встретила Гоголя, и после разговора с ним, – разговора умного, ясного и богатого меткими бытовыми наблюдениями, – я уже мог предвкушать все своеобразие и весь реализм самых его произведений... Гоголь говорил мне, что нашел в Риме настоящего поэта, по имени Белли, который пишет сонеты на транстеверинском наречии, – сонеты, следующие друг за другом и образующие поэму. Он говорил мне подробно и убедительно о своеобразии и значительности таланта этого Белли, который остался совершенно неизвестен нашим путешественникам.

Сент-Бев. Revue des deux Mondes, 1845, XII. Цит. по В. Гиппиус. «Гоголь», изд. Федераций, М., 1931. Стр. 177.

Мать Иосифа Виельгорского (*Луиза Карловна*) была в Марсели с дочерьми и сыном Михаилом, когда Гоголь привез неутешного отца на пароходе. Графиня не хотела верить, когда наш консул ей сообщил это известие; она его схватила за ворот и закричала: – «Вы лжете, это невозможно!»

А. О. Смирнова. Записки, 201.

Когда Гоголь сказал старухе графине о смерти ее сына, она села на пол, накрыла лицо шалью и просидела в неподвижном положении двое суток. Гоголь не отходил от нее; он все старался ее растрогать, чтобы она заплакала, и, наконец, это удалось ему, когда он сказал: «Бедный Иосиф! Он умирал без матери». Тут она разразилась рыданиями.

О. Н. Смирнова в письме к В. И. Шенроку. Шенрок. Материалы, III, 263.

Если бы ты знал, как мне грустно покидать на два месяца Рим. Я недавно еще чувствовал одну сильную, почти незнакомую для меня в эти лета грусть, грусть живую, грусть прекрасных лет юношества, если не отрочества души. Я похоронил на днях моего друга, которого мне дала судьба в то время, в ту эпоху жизни, когда друзья уже не даются. Я говорю об моем Иосифе Виельгорском. Мы давно были привязаны друг к другу, давно уважали друг друга, но сошлись тесно, неразрывно и решительно братски только, увы! во время его болезни. Ты не можешь себе представить, до какой степени была это благородно-высокая, младенчески-ясная душа. Ум, и талант, и вкус, соединенные с такою строгою основательностью, с таким твердым и мужественным характером, – это явление, редко повторяющееся между людьми. И все было у него на двадцать третьем году возраста. И при твердости характера, при стремлении действовать полезно и великодушно такая девственная чистота чувств! И прекрасное должно было погибнуть, как гибнет все прекрасное у нас на Руси.

Гоголь – А. С. Данилевскому, 5 июня 1839 г., из Рима. Письма, I, 611.

Однажды, после смерти молодого графа Виельгорского, на вилле Фальконьери, где мы жили, я застала Гоголя в моей комнате с книгою в руках и спросила его, что эта за книга; он мне ее передал. Это была библия; на первом листе, дрожащей рукой покойного Виельгорского, написано было: «Другу моему Николаю. Вилла Волконская». Гоголь сказал мне: «Эта книга вдвое мне святее». В Риме Гоголь часто к нам ходил и был очень забавен; от его рассказов я хохотала во все горло.

Кн. В. Н. Репнина. О Гоголе. Рус. Арх., 1890, III, 229.

Гоголь вчера был у нас проездом в Мариенбад. С ним весело. Он мне очень понравился и знает Рим как свои пять пальцев.

Н. М. Языков (поэт) в письме от 1 июля 1839 г., из Ганау. Шенрок. Материалы, VI, 42.

Мариенбад (8 июля – 8 августа)… Из русских был здесь Д. Е. Бенардаки, лицо очень примечательное своим умом. Оставив по неприятности военную службу, он с капиталом в тридцать или сорок тысяч пустился в обороты и в короткое время хлебными операциями приобрел большие деньги. Чем более умножались его средства, тем шире распространял круг своего действия, принял участие в откупах, продолжая хлебную торговлю, скупал земли, приобрел заводы и в течение пятнадцати лет нажил такое состояние, которое дает ему полумиллион дохода. Я давно уже слышал о действиях Бенардаки, открытых и решительных, коими приобрел он неограниченную доверенность от всех лиц, имевших с ним дело. Щедрые награды людям, служившим усердно, доставили ему таких поверенных, которые приносили и приносят ему выгоды несчетные. Быв в сношении, в течение двадцати лет, с людьми всех состояний, от министров до какого-нибудь побродяги, приносящего в кабак последний грош, Бенардаки был для меня профессором, которого лекции о состоянии России, о характере, достоинствах и пороках тех и других действующих лиц, об отношениях их к просителям и делам, о состоянии судопроизводства, о помещиках и их хозяйстве, о хозяйстве крестьянском, о положении городов и их местных выгодах, – лекции, оживленные множеством анекдотов, слушал я с жадностью. Всякий день после ванны ходили мы втроем, я, он и Гоголь, по горам и долам и рассуждали о любезном отечестве. Гоголь выспрашивал его об разных исках и верно дополнил свою галерею оригинальными портретами, которые когда-нибудь увидим мы на сцене.

М. П. Погодин. Год в чужих краях (1839). Дорожный дневник. М., 1844. Часть четвертая, стр. 75.

Говорят, что в Мариенбаде скучно. Что касается до меня, я провел этот месяц весьма приятно. Не говорю уж об том, что я жил в одной комнате с Гоголем, – и обыкновенное общество доставляло мне много удовольствия.

М. П. Погодин. Год в чужих краях, IV, 89.

8 августа. – Прогулявшись с Гоголем, благословил его долечиваться и приехать в Вену к нам навстречу.

М. П. Погодин. Год в чужих краях, IV, 84.

В Мариенбаде произошла история. Гоголь занемог в Марсели, но не хотел лечиться, а Иноземцев (*известный русский профессор-врач*), который также был тогда в Мариенбаде, больной ипохондрией, не хотел лечить. Мне надо было их сводить и упрашивать, чтоб один решился лечиться, а другой – лечить.

В Мариенбаде был еще тогда известный предприимчивый Д. Е. Бенардаки. Мы все гуляли вместе, Бенардаки, знающий Россию самым лучшим и коротким образом, бывший на всех концах ее, рассказывал нам множество разных вещей, которые и поступили в материалы «Мертвых душ», а характер Костанжогло во второй части писан в некоторых частях с него.

М. П. Погодин. Отрывок из записок. Рус. Арх., 1865, стр. 895.

Я в два дня и две ночи сделал мое путешествие в Вену, без всяких приключений. Дни прекрасные. Жарко. Даже не верится, что в Мариенбаде мы уже видели осень... – Особенно советую вам как можно больше смотреть в Мюнхене, что достойно и недостойно. Это благодетельно действует: я как походил по Вене с четыре часа, осматривая разный вздор, да как поискал часа с два своей квартиры, так после этого...

Гоголь – Д. Е. Бенардаки, из Вены. Соч. Гоголя, изд. Брокгауза – Ефрона, IX, 246.

Остроты Гоголя были своеобразны, неизысканы, но подчас не совсем опрятны. Старик Щепкин помнил наизусть одно письмо Гоголя, писанное из-за границы к Бенардаки, где шутливость поэта заявила себя с такою нецеремонною откровенностью, что это любопытное послание навсегда останется неудобным для печати.

А. Н. Афанасьев. Библиотека для Чтения, 1864, февр., стр. 7.

Я вчера приехал в Вену... Что я (*был*) в Мариенбаде, ты это знал. Лучше ли мне или хуже, бог его знает. Это решит время. Но что главное, это посещение, которое сделало мне вдохновение. Передо мною выясниваются и проходят поэтическим строем времена казачества, и если я ничего не сделаю из этого, то я буду большой дурак. Малороссийские песни, которые у меня под рукою, навеяли их, или на душу мою нашло само собою ясновидение прошедшего, только я чую много того, что ныне редко случается... О, Рим, Рим! Кроме Рима, нет Рима на свете, хотел я было сказать, – счастья и радости, да Рим больше, чем счастье и радость.

Гоголь – С. П. Шевыреву, 25 авг. 1839 г., из Вены. Письма, I, 622.

Тяжело очутиться стариком в лета, еще принадлежащие юности, ужасно найти в себе пепел вместо пламени и услышать бессилие восторга. Соберите в кучу всех несчастливцев и выберите между ними несчастнее

всех, и этот несчастливец будет счастливцем в сравнении с тем, кому обрекла судьба подобное состояние… Душа моя, лишившись всего, что возвышает ее (ужасная утрата!), сохранила одну только печальную способность чувствовать это свое состояние… Теперь вообразите: над этим человеком, не знаю почему, сжалилось великое милосердие бога и бросило его (за что, право, не понимаю, ничего достойного не сделал он), – бросило его в страну, в рай, где не мучат его невыносимые душевные упреки, где душу его обняло спокойствие чистое, как то небо, которое его теперь окружает и о котором ему снились сны на севере во время поэтических грез, где в замену того бурного, силящегося ежеминутно вырываться из груди фонтана поэзии, который он носил в себе на севере и который иссох, он видел поэзию не в себе, а вокруг себя, в небесах, солнце, в прозрачном воздухе и во всем, тихую, несущую забвение мукам. Теперь мне нет ничего в свете выше природы. Перед мной исчезли люди, города, нации, отношения, и все, что занимает людей, волнует и томит. Ее одну я вижу и живу ею. Вот почему я пристрастен к ней: она мое последнее богатство. Кто испытал глубокие душевные утраты, тот поймет меня…

Прочитавши, изорвите письмо в куски, я об этом вас прошу. Этого никто не должен читать…

Пора кончить. Будьте так добры и отправьте это письмо в институт моим сестрам.

Гоголь – М. П. Балабиной, 5 сент. 1839 г., из Вены. Соч. Гоголя, изд. Брокгауза – Ефрона, IX, 244.

Странное дело, я не могу и не в состоянии работать, когда я предан уединению, когда не с кем переговорить, когда нет у меня между тем других занятий и когда я владею всем пространством времени, неразграниченным и неразмеренным. Меня всегда дивил Пушкин, которому для того, чтобы писать, нужно было забраться в деревню, одному, и запереться. Я, наоборот, в деревне никогда ничего не мог делать, где я один и где я чувствовал скуку… В Вене я скучаю. Погодина до сих пор нет. Ни с кем почти не знаком, да и не с кем, впрочем, знакомиться. Вся Вена веселится, и здешние немцы вечно веселятся. Но веселятся немцы, как известно, скучно, пьют пиво и сидят за деревянными столами, под каштанами, – вот и все тут. Труд мой, который начал, нейдет; а, чувствую, вещь может быть славная. (*Имеется в виду драма из малороссийской жизни «Выбритый ус».*) Или для драматического творения нужно работать в виду театра, в омуте со всех сторон уставившихся на тебя лиц и глаз зрителей, как я работал во времена оны? Подожду, посмотрим. Я надеюсь много на дорогу. Дорогою у меня обыкновенно развивается и приходит на ум содержание; все сюжеты почти я обделываю в дороге. Неужели я еду в

Россию? Я этому почти не верю. Я боюсь за свое здоровье. Я же теперь совсем отвык от холодов: каково мне переносить? Но обстоятельства мои такого рода, что я непременно должен ехать: выпуск моих сестер из института, которых я должен строить судьбу и чего нет возможности никакой поручить кому-нибудь другому. Словом, я должен ехать, несмотря на все мое нежелание. Но как только обделаю два дела, – одно относительно сестер, другое драмы, то в феврале уже полечу в Рим.

Гоголь – С. П. Шевыреву, 10 сент. 1839 г., из Вены. Письма, I, 619. Ср. А. И. Кирпичников. Хронология. канва к биографии Гоголя, стр. 36.

Перед вечером пароход привез нас в Вену. Счастливый случай привел нас именно в ту гостиницу, где ожидал нас Гоголь. В Вене пробыли мы трое суток (20–22)... Разругав трактирщика «zum römischen Kaiser», которого хуже нам нигде не встречалось, в ночь отправились в дальнейший путь в своих экипажах, в одном я с Гоголем, а в другом жена моя с г-жою Шевыревой, которая тоже дожидалась нас в Вене.

М. П. Погодин. Год в чужих краях, IV, 222.

Мои прожекты и старания уладить мой неотъезд в Петербург не удались. Выпуск моих сестер требует непременного и личного моего присутствия. Не выпуск, но устроение будущей судьбы их, которое, благодаря бога, каким-то верховным наитием мне внушено. Они, надеюсь, будут счастливы, я не беспокоюсь о них. Одно меня тревожит теперь. Я не знаю, как мне быть и разделаться с самим их выпуском из института. Мне нужно на их экипировку, на заплату за музыку учителям во все время их пребывания там и пр., и пр. около 5000 рублей, и, признаюсь, это на меня навело совершенный столбняк. Об участи своей я не забочусь; мне нужен воздух, да небо, да Рим. Но эта строка и пункт... Я еще принужден просить вас. Может быть, каким-нибудь образом государыня, на счет которой они воспитывались, что-нибудь стряхнет на них от благодетельной руки своей. Что же делать мне? Знаю, бесстыдно и бессовестно с моей стороны просить еще ту, которая уже так много удручила мое сердце бессилием выразить благодарность мою. Но я не нахожу, не знаю, не вижу, не могу придумать средств... и чувствую, что меня грызла бы совесть за то, что я не был бессовестным. Во всяком случае, хотя здесь и не может быть успеха, все, по крайней мере, на душе моей будет легче при мысли, что я употреблял же и пытался на средства и что сколько-нибудь выполнил обязанность брата. Если бы знали, чего мне стоило бросить Рим, хотя я знаю, что это не больше как на два-три месяца... Я проживу в Москве у Погодина месяц, затворясь от всех и от всего. Мне нужно окончить мою некоторую работу.

Гоголь – В. А. Жуковскому, 12 сентября 1839 г.26, из Варшавы. Письма, II, 5.

VII

В России

(Сентябрь 1839 г. – июнь 1840 г.)

26 сент. (по стар. стилю) 1839 г. Гоголь с Погодиным приехали в Москву.

А. И. Кирпичников. Хронолог. канва, 36.

(*Уже живя в Москве у Погодина, Гоголь, по неизвестным соображениям, в течение целого еще месяца помечал свои письма к матери заграничными городами: Триестом и Веною.*)

На счет моей поездки в Россию я еще ничего решительно не предпринимал. Я живу в Триесте, где начал морские ванны, которые мне стали было делать пользу, но я должен их прекратить, потому что поздно начал. Если я буду в России, то это будет никак не раньше ноября месяца, и то если найду для этого удобный случай, и если эта поездка меня не разорит. Если бы не обязанность моя быть при выпуске сестер и устроить по возможности лучше судьбу их, то я бы не сделал подобного дурачества и не рисковал бы так своим здоровьем, за что вы, без сомнения, как благоразумная мать, меня первые станете укорять. Но есть обязанности, которые нужно выполнить и где, признаюсь, без личного моего присутствия я не думаю быть успеху. Итак, я не хочу вас льстить напрасною надеждою. Может быть, увидимся нынешнюю зиму; может быть, нет. Если ж увидимся, то не пеняйте, что на короткое время. Завтра отправляюсь в Вену, чтобы быть поближе к вам. Письма адресуйте так: в Москву, на имя профессора Моск. университета Погодина, на Девичьем Поле. Не примите этого адреса в том смысле, чтобы я скоро был в Москве; но это делается для того, чтобы ваши письма дошли до меня вернее: они будут доставлены из Москвы с казенным курьером.

Гоголь – матери, 26 сент. 1839 г., из Триеста (!!). Письма, II, 7.

В 1839 году Погодин ездил за границу. Я жил это лето с семьею на даче в Аксиньине, 10-ти верстах от Москвы. 29-го сентября вдруг получаю я следующую записку от Мих. Сем. Щепкина: «Спешу уведомить вас, что М. П. Погодин приехал, и не один; ожидания наши исполнились, с ним приехал Н. В. Гоголь. Последний просил никому не сказывать, что он здесь; он очень похорошел, хотя сомнение о здоровье у него беспрестанно проглядывает; я до того обрадовался его приезду, что

совершенно обезумел, даже до того, что едва ли не сухо его встретил, вчера просидел целый вечер у них и, кажется, путного слова не сказал; такое волнение его приезд на меня произвел, что я нынешнюю ночь почти не спал».

Мы все обрадовались чрезвычайно. Сын мой тотчас же поскакал в Москву и повидался с Гоголем, который остановился у Погодина в его собственном доме на Девичьем Поле. Гоголь встретился с Константином весело и ласково. Разговаривая очень дружески, Константин сделал Гоголю вопрос – самый естественный, но, конечно, слишком часто повторяемый всеми при встрече с писателем: «Что вы нам привезли, Николай Васильевич?» И Гоголь вдруг очень сухо и с неудовольствием отвечал: «ничего». Подобные вопросы были всегда ему очень неприятны; он особенно любил содержать в секрете то, чем занимался, и терпеть не мог, если хотели его нарушить. На другой день Гоголь приехал к нам обедать вместе с Щепкиным, когда мы уже сидели за столом, совсем его не ожидая. Наружность Гоголя так переменилась, что его можно было не узнать. Следов не было прежнего, гладко выбритого и обстриженного, кроме хохла, франтика в модном фраке. Прекрасные белокурые густые волосы лежали у него почти по плечам; красивые усы, эспаньолка довершали перемену; все черты лица получили совсем другое значение; особенно в глазах, когда он говорил, выражалась доброта, веселость и любовь ко всем; когда же он молчал или задумывался, то сейчас изображалось в них серьезное устремление к чему-то невнешнему. Сюртук, вроде пальто, заменил фрак, который Гоголь надевал только в совершенной крайности; сама фигура Гоголя в сюртуке сделалась благообразнее.

Он часто шутил в то время, и его шутки, которых передать нет никакой возможности, были так оригинальны и забавны, что неудержимый смех одолевал всех, кто его слушал; сам же он всегда шутил не улыбаясь.

С этого, собственно, времени началась наша тесная дружба. Гоголь бывал у нас почти каждый день…

С. Т. Аксаков. Знакомство с Гоголем. Собр. соч., 1909. Т. II, стр. 341–343.

Погодин только что воротился из-за границы вместе с Гоголем. Вот почему я имел случай увидеться и с этим русским испанцем. Очень молодой человек, хорошенький собой, умненький, любящий все славянское, все малороссийское, но с первого виду мало обещающий.

И. И. Срезневский – Е. И. Срезневской, 7 окт. 1839 г., из Москвы. Живая Старина, 1892, вып. I, стр. 66.

Гоголю обрадовались в Москве без памяти.

М. П. Погодин – С. П. Шевыреву, 10 окт. 1839 г., из Москвы. Рус. Арх., 1883, I, 84.

Собственный дом Аксаковых, кажется, был на Арбатской площади. Я помню хорошо, что против их дома стояли большие весы и валялись клоки сена на площади. В зале нас (*рассказчицу и мужа ее, Ив. Ив. Панаева*) встретили старики Аксаковы и были очень приветливы ко мне. Пришла Вера Сергеевна (*старшая дочь Аксаковых; рассказчица ошибочно называет ее Марьей Сергеевной*) и сказала отцу и матери: «Идите к гостю в кабинет, а мы пойдем в сад». Сад для города был очень большой, и в нем было множество белых, махровых роз. Мы уселись в беседке и заговорили о сочинениях Гоголя. Вера Сергеевна благоговела перед его талантом и сказала мне: «К нам неожиданно сегодня приехал обедать Гоголь; вот вы увидите самого автора». Нас позвали обедать. Вера Сергеевна, идя в комнаты, сказала: «Я вас должна предупредить, чтобы вы не удивились, если вам не представят Гоголя. Он не любит теперь никаких новых знакомств, особенно с дамами. Он такой стал болезненный, нервный, не может выносить даже за столом шума, так что меньшие мои братья и сестры сегодня обедают отдельно». Я была очень довольна, что избавлюсь от представления мне Гоголя. Я очень конфузилась в такие минуты. Мы вошли в столовую одновременно, как в нее входил Гоголь с хозяином дома и Панаевым. Хозяйка дома усадила меня возле себя, а по другую сторону посадила Гоголя; ему было поставлено вольтеровское кресло. На противоположной стороне сидел хозяин дома с сыном и Панаевым. У прибора Гоголя стоял особенный граненый большой стакан и в графине красное вино. Ему подали особенный пирог, жаркое тоже он ел другое, нежели все. Хозяйка дома потчевала его то тем, то другим, но он ел мало, отвечал на ее вопросы каким-то капризным тоном. Гоголь все время сидел сгорбившись, молчал, мрачно поглядывал на всех. Изредка на его губах мелькала саркастическая улыбка, когда о чем-то горячо стали спорить Панаев с младшим Аксаковым. Когда встали из-за стола, Гоголь сейчас же удалился опять в кабинет отдыхать после обеда. А мы все уселись на большой террасе пить кофе. Хозяйка дома отдала приказание прислуге, чтобы не шумели, убирая со стола. Вера Сергеевна меня спросила, какое на меня произвел впечатление Гоголь. Я с наивной откровенностью ответила, что он, должно быть, очень сердитый и капризный. Она стала разуверять меня, что он от болезни сделался такой молчаливый и раздражительный и что сегодня он был особенно не в духе.

А. Я. Панаева-Головачева. Воспоминания, 1928. Стр. 95–97.

Был здесь Гоголь. Я поругался за него с Белинским и Катковым: давали «Ревизора» (играли чудесно); вдруг, после второго акта, наши друзья и

еще несколько молодцов заорали: подавай сюда сочинителя. Разумеется, к ним присоединилось много других голосов; кричали, кричали, но без толку: сочинитель уехал, не желая тешить зрителей появлением своей особы. За это его ужасно поносили.

Т. Н. Грановский – Н. В. Станкевичу, 2 декабря 1839 г., из Москвы. Т. Н. Грановский и его переписка. М., 1897. Т. II, стр. 374.

Гоголь еще не видал на московской сцене «Ревизора»; актеры даже обижались этим, и мы уговорили Гоголя посмотреть свою комедию. Гоголь выбрал день, и «Ревизора» назначили. Слух об этом распространился по Москве, и лучшая публика заняла бельэтаж и первые ряды кресел. Гоголь приехал в бенуар к Чертковой, первый с левой стороны, и сел или почти лег, так чтоб в креслах было не видно. Через два бенуара сидел я с семейством; пиэса шла отлично хорошо; публика принимала ее (может быть, в сотый раз) с восхищением. По окончании третьего акта вдруг все встали, обратились к бенуару Чертковой и начали вызывать автора. Вероятно, кому-нибудь пришла мысль, что Гоголь может уехать, не дослушав пиэсы. Несколько времени он выдерживал вызовы и гром рукоплесканий; потом выбежал из бенуара. Я бросился за ним, чтобы провести его в ложу директора, предполагая, что он хочет показаться публике; но вдруг вижу, что он спешит вон из театра. Я догнал его у наружных дверей и упрашивал войти в директорскую ложу. Гоголь не согласился, сказал, что он никак не может этого сделать, и убежал. Публика была очень недовольна, сочла такой поступок оскорбительным и приписала его безмерному самолюбию и гордости автора. На другой день Гоголь одумался, написал извинительное письмо к Загоскину (*директору театра*), прося его сделать письмо известным и публике, благодарил, извинялся и наклепал на себя небывалые обстоятельства. Погодин прислал это письмо на другой день мне, спрашивая, что делать? Я отсоветовал посылать, с чем и Погодин был согласен. Гоголь не послал письма и на мои вопросы отвечал мне точно то же, на что намекал только в письме, т. е. что он перед самым спектаклем получил огорчительное письмо от матери, которое его так расстроило, что принимать в эту минуту изъявление восторга зрителей было для него не только совестно, но даже невозможно. Нам казалось тогда, и теперь еще почти всем кажется, такое объяснение неискренним и несправедливым. Мать Гоголя вскоре приехала в Москву, и мы узнали, что ничего особенно огорчительного с нею в это время не случилось. Отговорка Гоголя признана была нами за чистую выдумку; но теперь я отступаюсь от этой мысли, признаю вполне возможным, что обыкновенное письмо о затруднении в уплате процентов по имению, заложенному в Приказе Общественного Призрения, могло так расстроить Гоголя, что всякое торжество, приятное самолюбию человеческому, могло показаться ему грешным и

противным. Объяснение же с публикой о таких щекотливых семейных обстоятельствах, которое мы сейчас готовы назвать трусостью и подлостью или, из милости, крайним неприличием, обличают только чистую, прямую, простую душу Гоголя, полную любви к людям и уверенную в их сочувствии.

С. Т. Аксаков. История знакомства, 56.

С. Т. Аксаков уговорил Загоскина (который не слишком жаловал Гоголя) дать «Ревизора» на московской сцене, по случаю пребывания Гоголя в Москве...

Спектакль этот дан был сюрпризом для автора. Щепкин и все актеры, наперерыв друг перед другом, старались отличиться перед автором. Большой московский театр, редко посещаемый публикою летом (?), был в этот раз полон. Все московские литературные и другие знаменитости были здесь в полном сборе: в первых рядах кресел и в ложах бельэтажа. Белинский, Бакунин и их друзья, еще не принадлежавшие тогда к знаменитостям, помещались в задних рядах. Все искали глазами автора, все спрашивали: где он? Но его не было видно. Только в конце второго действия его открыл Н. Ф. Павлов скрывавшимся в углу бенуара г-жи Чертковой.

По окончании третьего акта раздались громкие крики: «Автора! Автора!» Громче всех кричал и хлопал Константин Аксаков. Он решительно выходил из себя.

– Константин Сергеич!.. Полноте!.. поберегите себя!.. – восклицал Николай Филиппович Павлов, подходя к нему, смеясь и поправляя свое жабо...

– Оставьте меня в покое, – отвечал сурово Константин Аксаков и продолжал хлопать еще яростнее.

Гоголь при этих неистовых криках (я следил за ним) все спускался ниже и ниже на своем стуле и почти выполз из ложи, чтобы не быть замеченным. Занавес поднялся. Актер вышел и объявил, что «автора нет в театре». Гоголь действительно уехал после третьего действия, к огорчению артистов, употреблявших все богом данные им способности для того, чтобы заслужить похвалу автора.

На публику этот отъезд произвел также неприятное впечатление; даже Константин Аксаков был недоволен этим.

– Нет, ваш Гоголь уж слишком важничает, – говорил ему Николай Филиппович. – Вы его избаловали... Не правда ли, а?.. Согласитесь, что он поступил неприлично и относительно публики, и относительно артистов?.. а? Правду ведь я говорю?

– Да, это он сделал напрасно, – заметил К. Аксаков с огорчением.

И. И. Панаев. Литературные воспоминания, 188.

На первом представлении «Ревизора» Гоголь сидел в ложе у Чертковых. Гоголя стали вызывать, он пригнулся к полу и ползком ушел из ложи. Каково же было удивление Чертковых, когда, приехав домой, они застали у себя Гоголя храпящим на диване!

Мы, дети и подростки, всегда радовались, когда Гоголь к нам приходил. Было в нем что-то обаятельное. Чудесные глаза, проницательные и в то же время кроткие и добрые, то задумчивость, то шутливость производили впечатление неизгладимое. Гоголь был носаст; у красавицы Елиз. Григ. Чертковой также был большой, но изящный нос. Сопоставление этих носов давало Гоголю повод к разным шуткам. У Чертковых он держал себя откровенно и добродушно и не стеснялся читать некоторые свои произведения. Однажды он начал икать и говорил: «черт возьми, как я у вас объелся, напала икота», и далее разный вздор. «Да перестаньте же!» – говорят ему. – «Что же вы мне мешаете?» – отвечает Гоголь. Оказалось, что это было начало его какой-то повести. Известно, как превосходно он читал; выводимые им лица говорили словно живые, и он лицедействовал, как чудесный актер на сцене.

С. А. Ермолова, урожд. Черткова, дочь Е. Г. Чертковой, по записи П. И. Бартенева. Рус. Арх., 1909, II, стр. 301.

(*Будто бы из Вены.*) – Я сегодня выезжаю. Решено, я еду в Россию на малое время, на время, какое позволит мне пробыть мое здоровье. Но во всяком случае я постараюсь с вами увидеться, и если мое путешествие меня слишком утомит, то я вас попрошу к себе. Место свидания нашего будет, я думаю, Москва. Туда я думаю привезть и сестер. Я думаю их взять прежде экзамена. Я не хочу, чтоб они дожидались этой кукольной комедии. В них же притом немного есть, чем бы щегольнуть при публике. Оно и лучше. То, что хорошо для мальчиков, то нейдет девушкам… Дом, в котором бы я хотел поместить сестер (*в Москве*), не чужой, и они должны быть приняты там с таким радушием, как собственные дочери, иначе я бы не поместил их туда. Притом они пробудут, по крайней мере, я так думаю, один год или – много, два, чтобы осмотреться хорошенько, видеть и узнать сколько-нибудь людей, чтобы потом не броситься на шею первому встречному и не выйти замуж за кого попало. Почему знать, может быть, бог будет так милостив, что они найдут себе в Москве выгодную партию.

Гоголь – матери, 24 окт. 1839 г. Письма, II, 14.

Гоголь был домосед и знакомых, даже близких, как, например, С. П. Шевырева, М. С. Щепкина, посещал изредка. С прислугою он обращался вежливо, почти никогда не сердился на нее, а своего хохла-лакея ценил чрезвычайно высоко. Меня тоже он любил и называл своим племянником. Припоминая различные мелочи из характера Гоголя, я припомнил пустое обстоятельство, но доказывающее, что Гоголя занимало иногда подшучивание над детьми. Вскоре после его переезда к отцу он обещал мне с сестрою привезти игрушек. Нынче да завтра, так долго томил меня Гоголь. Наконец, как-то раз вернувшись из города (а городом мы, обитатели Девичьего Поля, называли Москву), лакей пронес перед Гоголем какой-то ящик, завязанный в бумагу, и Гоголь крикнул мне на ходу: «Митя, ступай живей наверх, я тебе игрушку привез, живей!» Я стремглав бросился по лестнице за ними. Начали развязывать покупку, и – о ужас! – оказалось, что Гоголь купил себе очень элегантную ночную принадлежность из красного дерева. Вот тебе и игрушка! Со слезами на глазах я начал бранить Гоголя и без всякой церемонии называть его обманщиком и грозился об его обмане рассказать всем, всем; а Гоголь, схватившись за бока, истерически хохотал; но в конце концов утешил меня, обещаясь назавтра же непременно привезти замысловатую игрушку; но исполнил ли он свое обещание, теперь уже не припомню: так сильно подействовала на меня первая обида разочарования.

Д. М. Погодин (сын М. П. Погодина). Воспоминания. Ист. Вестн., 1902, апр., 47.

Гоголь сказал нам, что ему надобно скоро ехать в Петербург, чтоб взять сестер своих из Патриотического института, где они воспитывались на казенном содержании. Мать Гоголя должна была весною приехать за дочерьми в Москву. Я сам вместе с Верой (*старшею дочерью*) сбирался ехать в Петербург, чтобы отвезть моего сына Мишу в пажеский корпус, где он был давно кандидатом. Я сейчас предложил Гоголю ехать вместе, и он очень был тому рад.

Мы выехали в четверг после обеда, 26 октября. Я взял особый дилижанс, разделенный на два купе: в заднем – я с Верой. Оба купе сообщались двумя небольшими окнами, в которых деревянные рамки можно было поднимать и опускать: с нашей стороны в рамках были вставлены два зеркала. Это путешествие было для меня и для детей моих так приятно, так весело, что я и теперь вспоминаю о нем с удовольствием. Гоголь был так любезен, так постоянно шутлив, что мы помирали со смеху. Все эти шутки обыкновенно происходили на станциях или при разговорах с кондуктором и ямщиком. Самый обыкновенный вопрос или какое-нибудь требование Гоголь умел так сказать забавно, что мы сейчас

начинали хохотать; иногда даже было нам совестно перед Гоголем, особенно когда мы бывали окружены толпою слушателей. В продолжение дороги, которая тянулась более четырех суток. Гоголь говорил иногда с увлечением о жизни в Италии, о живописи (которую очень любил и к которой имел решительный талант), об искусстве вообще, о комедии в особенности, о своем «Ревизоре», очень сожалел о том, что главная роль Хлестакова играется дурно в Петербурге и в Москве, от чего пьеса теряла весь смысл. Он предлагал мне, воротясь из Петербурга, разыграть «Ревизора» на домашнем театре; сам хотел взять роль Хлестакова, мне предлагал Городничего, и так далее. Много высказывал Гоголь таких ясных и верных взглядов на искусство, таких тонких пониманий художества, что я был очарован им. Большую же часть во время езды, закутавшись в шинель, подняв ее воротник выше головы, он читал какую-то книгу, которую прятал под себя или клал в мешок, который всегда выносил с собою на станциях. В этом огромном мешке находились принадлежности туалета, какое-то масло, которым он мазал свои волосы, усы и эспаньолку, несколько головных щеток, из которых одна была очень большая и кривая: ею Гоголь расчесывал свои длинные волосы. Тут же были ножницы, щипчики и щеточки для ногтей, наконец, несколько книг. Сосед Гоголя, четырнадцатилетний наш Миша, живой и веселый, всегда показывал нам знаками, что делает Гоголь, читает или дремлет. Миша подсмотрел даже, какую книгу он читал: это был Шекспир на французском языке.

Гоголь чувствовал всегда, особенно в сидячем положении, необыкновенную зябкость; без сомнения, это было признаком болезненного состояния нерв, которые не пришли еще в свое нормальное положение после смерти Пушкина. Гоголь мог согревать ноги только ходьбою, и для того в дорогу он надел сверх сапогов длинные и толстые русские шерстяные чулки и сверх всего этого теплые медвежьи сапоги. Несмотря на то, он на каждой станции бегал по комнатам и даже улицам во все время, пока перекладывали лошадей, или просто ставил ноги в печку. Гоголь был тогда еще немножечко гастрономом; он взял на себя распоряжение нашим кофеем, чаем, завтраком и обедом. Ехали мы чрезвычайно медленно, потому что лошади, возившие дилижансы, едва таскали ноги, и Гоголь рассчитал, что на другой день, часов в пять пополудни, мы должны приехать в Торжок, следственно, должны там обедать и полакомиться знаменитыми котлетами Пожарского, и ради таковых причин дал нам только позавтракать, обедать же не дал. Мы весело повиновались такому распоряжению. Вместо пяти часов вечера мы приехали в Торжок в три часа утра. Гоголь шутил так забавно над будущим нашим утренним обедом, что мы с громким хохотом взошли на лестницу известной гостиницы, а Гоголь сейчас заказал нам дюжину котлет, с тем чтоб других блюд не спрашивать. Через полчаса были готовы котлеты, и одна их наружность и запах возбудили сильный аппетит в проголодавшихся

путешественниках. Котлеты были точно необыкновенно вкусны, но вдруг мы все перестали жевать, а начали вытаскивать из своих ртов довольно длинные белокурые волосы. Картина была очень забавная, а шутки Гоголя придали столько комического этому приключению, что несколько минут мы только хохотали, как безумные. Успокоившись, принялись мы рассматривать свои котлеты, и что же оказалось? В каждой из них мы нашли по нескольку десятков таких же длинных белокурых волос! Как они туда попали, я и теперь не понимаю. Предположения Гоголя были одно другого смешнее. Между прочим, говорил он с своим неподражаемым малороссийским юмором, что, верно, повар был пьян, не выспался, что его разбудили и что он с досады рвал на себе волосы, когда готовил котлеты; а может быть, он и не пьян и очень добрый человек, а был болен недавно лихорадкой, от чего у него лезли волосы, которые и падали на кушанье, когда он приготовлял его, потряхивая своими белокурыми кудрями. Мы послали для объяснения за половым, а Гоголь предупредил нас, какой ответ мы получим от полового. «Волосы-с? Какие же тут волосы-с? Откуда придти волосам-с? Это так-с, ничего-с! Куриные перушки или пух и проч., и проч.». В самую эту минуту вошел половой и на предложенный нами вопрос отвечал точно то же, что говорил Гоголь, многое даже теми же словами. Хохот до того овладел нами, что половой и наш человек посмотрели на нас, выпуча глаза от удивления, и я боялся, чтобы Вере не сделалось дурно. Наконец припадок смеха прошел. Вера попросила себе разогреть бульону; а мы трое, вытаскав предварительно все волосы, принялись мужественно за котлеты.

Так же весело продолжалась вся дорога. Не помню, где-то предлагали нам купить пряников. Гоголь, взявши один из них, начал с самым простодушным видом и серьезным голосом уверять продавца, что это не пряники; что он ошибся и захватил как-нибудь куски мыла вместо пряников, что и по белому их цвету это видно, да и пахнут они мылом, что пусть он сам отведает и что мыло стоит гораздо дороже, чем пряники. Продавец сначала очень серьезно и убедительно доказывал, что это точно пряники, а не мыло и, наконец, рассердился. В моем рассказе ничего нет смешного, но, слушая Гоголя, не было возможности не смеяться.

Помню я также завтрак на станции в Померани, которая издавна славилась своим кофеем и вафлями и еще более замечательна, тогда уже старым, своим слугою, двадцать лет ходившим по-видимому в одном и том же фраке, в одних и тех же чулках и башмаках с пряжками. Это был лакей высшего разряда с самой представительной наружностью и приличными манерами. Его знала вся Россия, ездившая в Петербург. В какое бы время дня и ночи ни приехали порядочно одетые путешественники, особенно дамы, лакей-джентльмен являлся немедленно в полном своем костюме. Меня уверяли, что он всегда спал в

нем, сидя на стуле. С этим-то интересным для Гоголя человеком умел он разговаривать так мастерски, впадая в его тон, что всегда хладнокровно-учтивый старик, оставляя вечно носимую маску, являлся другим лицом, так сказать, с внутренними своими чертами. В этом разговоре было что-то умилительно-забавное и для меня даже трогательное.

30 октября в 8 часов вечера приехали мы в Петербург. Не доезжая до Владимирской, где был дом Карташевских, Гоголь вышел из дилижанса, захватил свой мешок и простился с нами. Он не знал, где остановиться: у Плетнева или у Жуковского. Он обещал немедленно прислать за своими вещами и чемоданом и уведомить нас о своей квартире; хотел также скоро побывать и сам. Но обещания Гоголя в этом роде были весьма неверны: в тот же самый вечер, но так поздно, что все уже легли спать. Гоголь приезжал сам, взял свой мешок и еще кое-что и сказал человеку, что пришлет за остальными вещами; но где живет, не сказал. На другой день я поехал его отыскивать, но не успел отыскать. По множеству моих разъездов я не успел побывать у Плетнева, а у Жуковского Гоголя не оказалось.

3 ноября я был у Гоголя. Он только что переехал к Жуковскому и обещал на другой день, то есть 4-го, приехать обедать к нам. Он очень мне обрадовался, но казался чем-то смущенным и уже не походил на прежнего, дорожного Гоголя. Он развеселился несколько, говоря, что возьмет своих сестер и опять вместе с нами поедет в Москву; хотел немедленно, как только можно будет переехать через Неву, повезти нас в Патриотический институт, чтоб познакомить со своими сестрами. Он не остался у нас обедать, потому что за ним прислал Жуковский. Я познакомил его с моими хозяевами. Гоголь всем не очень понравился, даже Машеньке (*Карташевской, дочери хозяев*).

С. Т. Аксаков. История знакомства, 16–20.

Через А. А. Комарова я познакомился с Прокоповичем, учителем словесности в кадетских корпусах, стихотворцем, большим чудаком и – главное – добрейшим человеком. Прокопович в один год с Гоголем кончил курс в Нежинском лицее. Приятель Гоголя еще со школьной скамьи, Прокопович, горячо любивший литературу, после первых произведений Гоголя присоединил к своей школьной дружбе к нему благоговейную привязанность как к писателю. Гоголь, по-видимому, также любил его; когда он был в отсутствии, – в Малороссии или за границей, – он всегда делал Прокоповичу различные поручения и, возвращаясь в Петербург, – останавливался у него.

Прокопович, узнав через А. А. Комарова мое желание посмотреть Гоголя, пригласил меня в тот день, когда Гоголь обещал у него обедать.

Наружность Гоголя не произвела на меня приятного впечатления. С первого взгляда на него меня всего более поразил его нос, сухощавый, длинный и острый, как клюв хищной птицы. Он был одет с некоторою претензиею на щегольство, волосы были завиты и клок напереди поднят довольно высоко, в форме букли, как носили тогда. Вглядываясь в него, я все разочаровывался более и более, потому что заранее составил себе идеал автора «Миргорода», и Гоголь нисколько не подходил к этому идеалу. Мне даже не понравились глаза его – небольшие, проницательные и умные, но как-то хитро и неприветливо смотревшие. Он занят был перед обедом приготовлением макарон по-итальянски и беспрестанно выходил на кухню смотреть за их приготовлением. За обедом он говорил мало и ел много. Разговор его не был интересен, он касался самых обыкновенных и вседневных вещей; о литературе почти не было речи, только, не помню к чему, он заметил, что, без всякого сомнения, первый поэт после Пушкина – Языков и что он не только не уступает самому Пушкину, но даже превосходит его иногда по силе, громкости и звучности стиха. Меня еще неприятно поразило то, что в обращении двух друзей и товарищей не было простоты: сквозь любовь Прокоповича к Гоголю невольно проглядывало подобострастие, которое обнаруживают всегда низшие к друзьям высшего ранга; Гоголь, в свою очередь, посматривал тоже как будто свысока немножко. Тотчас после обеда мы все разошлись, и, когда я уходил, Прокопович заметил мне, что Гоголь сегодня был не в духе.

Я слышал, что, когда Гоголь бывал в духе, он рассказывал различные анекдоты с необыкновенным мастерством и юмором; но после издания «Миргорода» и громадного успеха этой книги, – он принял уже тон более серьезный и строгий и редко бывал в хорошем расположении… Иногда только он обнаруживал свой юмор перед людьми высшего общества, с которыми начал сближаться. До этого и общение его с Прокоповичем было гораздо проще и искреннее, так, по крайней мере, уверяют те, которые были знакомы с ним с самого приезда его в Петербург.

И. И. Панаев. Литературные воспоминания. 130–131.

В первом и во втором общих классах (*первого кадетского корпуса*) преподавателем русского языка у меня был Н. Я. Прокопович, известный друг и товарищ Гоголя. Панаев, в своих литературных воспоминаниях, говорит о Прокоповиче, между прочим, следующее: «он был большой чудак, а, главное, добряк». Мы, ученики Прокоповича, вынесли о нем совершенно другое мнение и говорили, что это злой и мстительный человек. Мы трепетали, ожидая его в классе. Едва начинался грамматический разбор, Прокопович требовал, чтобы мы с первого же урока могли производить разбор безошибочно. Каждая

ошибка или остановка выводила его из себя: он бросал в пол или доску мелом, топал ногами, наконец, прогонял отвечающего на место и ставил ему в журнал единицу. Но все это проделывалось только тогда, когда он был один в классе; если же в класс приходил директор или инспектор, то Прокопович делался совершенно другим человеком. Откуда только у него являлось терпение: он объяснял ученикам то, что они плохо понимали, поправлял их, и все это таким мягким, любезным голосом, что мы считали себя счастливыми, если кто-нибудь посетил класс. Вдобавок ко всему этому у Прокоповича были любимцы и отверженцы; к числу последних принадлежали нередко некоторые из лучших учеников класса… Хотя крайняя раздражительность Прокоповича отчасти и объяснялась его чахоточным состоянием, но для учеников это нисколько не было легче.

В. Г. фон Бооль. Воспоминания педагога. Рус. Стар., 1904, июль, 216.

А. А. Комаров был очень хорош с покойным Прокоповичем и через него сошелся очень близко с Гоголем. Первое время своей известности Гоголь часто бывал у Комарова. Здесь встречался с ним Белинский.

Белинский был в энтузиазме от Гоголя как писателя – это всем известно, но как с человеком он никогда не мог сойтись с ним близко. Гоголь был слишком сосредоточен в самом себе и к тому же, по мере своей известности, начинал приобретать постепенно неприступность авторитета, все более и более сближаясь с другими литературными и светскими авторитетами. Открытый и искренний по натуре Белинский не терпел никакой напыщенности, натянутости и признавался, что ему всегда бывало немного тяжеловато в присутствии Гоголя. Малороссийские устные рассказы Гоголя и его чтение (известно, что он был удивительный чтец и превосходный рассказчик) производили на Белинского сильное впечатление.

В то время Гоголь еще нередко позволял себе одушевляться в кругу своих старых несветских товарищей и приятелей и, приготовляя сам в их кухне итальянские макароны, до которых был величайший охотник, тешил их своими рассказами.

И. И. Панаев. Воспоминания о Белинском. Полн. собр. соч., VI, 308.

По поводу моих сестер столько мне дел и потребностей денежных, как Я никак не ожидал: за одну музыку и братые ими уроки нужно заплатить более тысячи, да притом на обмундировку, то, другое, так что у меня голова кружится… Как я рад, если ты поместишь сестер возле меня в комнатке наверху! Они будут покамест переводить и работать для будущего журнала и для меня. Я хочу их совершенно приучить к трудолюбивой и деятельной жизни. Они должны быть готовы на все. Бог

знает, какая их будущность ждет… Ох, если бы ты знал, как мне хочется скорей развязаться с Петербургом! Боже, боже! Когда я увижу час своего отъезда? Умираю от нетерпения. Но все еще идет довольно дурно. Мои дела клеятся плохо. Аксаков, кажется, не думает скоро управиться тоже с своими. Боже, если я и к 20 ноябрю не буду еще в Москве! Просто, страшно.

Гоголь – М. П. Погодину, 4 ноября 1839 г., из Петербурга. Письма, II, 16, 18.

13 ноября обедал у нас Гоголь. После обеда, часов в семь, мы ушли с ним наверх, чтоб поговорить наедине. Когда я позвал Гоголя, обнял его одной рукой и повел таким образом наверх, то на лице его изобразилось такое волнение и смущение… Нет, оба эти слова не выражают того, что выражалось на его лице! Я почувствовал, что Гоголь, предвидя, о чем я буду говорить с ним, терзался внутренне, что ему это было больно, неприятно, унизительно. Мне вдруг сделалось так совестно, так стыдно, что я привожу в неприятное смущение, даже в какую-то робость этого гениального человека, – и я на минуту поколебался, говорить ли мне с ним об его положении. Но, взойдя наверх, Гоголь преодолел себя и начал говорить сам.

Его обстоятельства были следующие. Жуковский уверил его, через письмо, еще в Москву, что императрица пожалует его сестрам при выходе из института, по крайней мере, по тысяче рублей. С этой верной надеждой он приехал в Петербург; но она не сбылась, по нездоровью государыни, и неизвестно, когда сбудется. К довершению всего Гоголь потерял свой бумажник с деньгами, да еще с записками, для него очень важными. Об этом было публиковано в полицейской газете; но, разумеется, бумажник не нашелся, именно потому, что в нем были деньги. Кроме того, что ему надобно было одеть сестер и довезти до Москвы, он должен заплатить за какие-то уроки… Что делать? К кому обратиться? Все кругом холодно, как лед, а денег ни гроша! У людей близких, т. е. у Жуковского и Плетнева, он почему-то денег просить не мог (вероятно, он им был должен). Просить у других, не имея на то никакого права, считал он унизительным, бесчестным и даже бесполезным. Я сказал ему, что я могу без малейшего стеснения, совершенно свободно располагать 2000 рублей; что ему будет грех, если он, хотя на одну минуту, усумнится; что не он будет одолжен мне, а я ему; что помочь ему в затруднительном положении я считаю самою счастливою минутою моей жизни. Видно, в словах моих и на лице моем выражалось столько чувства правды, что лицо Гоголя не только прояснилось, но сделалось лучезарным. Вместо ответа, он благодарил бога за эту минуту, за встречу на земле со мной и моим семейством, протянул мне обе свои руки, крепко сжал мои и посмотрел на меня

такими глазами, какими смотрел за несколько месяцев до своей смерти, уезжая из нашего Абрамцева в Москву и прощаясь со мною ненадолго. (Я верю, что в нем это было предчувствие вечной разлуки…) Гоголь не скрыл от меня, что знал наперед, как поступлю я; но что в то же время знал через Погодина и Шевырева о моем нередко затруднительном положении, что я иногда сам нуждаюсь в деньгах, и что мысль быть причиною какого-нибудь лишения целого огромного семейства его терзала, и потому-то было так ему тяжело признаваться мне в своей бедности, в своей крайности; что, успокоив его на мой счет, я свалил камень, его давивший, что ему теперь легко и свободно. Он с любовью и радостью начал говорить о том, что у него уже готово в мыслях и что он сделает по возвращении в Москву; что кроме труда, завещанного ему Пушкиным, совершение которого он считает задачею своей жизни, то есть «Мертвые Души», – у него составлена в голове трагедия из истории Запорожья, в которой все готово, до последней нитки, даже в одежде действующих лиц: что это его давнишнее, любимое дитя, что он считает, что эта пиеса будет лучшим его произведением и что ему будет слишком достаточно двух месяцев, чтобы переписать ее на бумагу. Сердца наши были переполнены чувством; я видел, что каждому из нас нужно было остаться наедине. Я обнял Гоголя, сказал ему, что мне необходимо надобно ехать, и просил, чтобы завтра, после обеда, он зашел ко мне или назначил мне час, когда я могу приехать к нему с деньгами, которые спрятаны у моей сестры, что никто, кроме Константина и моей жены, знать об этом не должен. Гоголь, спокойный и веселый, ушел от меня. Я, конечно, был вполне счастлив; но денег у меня не было. Надобно было их достать, что не составляло трудности: я сейчас написал записку и попросил на две недели 2000 рублей к известному богачу, очень замечательному человеку по своему уму и душевным свойствам, разумеется, весьма односторонним, – откупщику Бенардаки, с которым был хорошо знаком. Он отвечал мне, что завтра поутру приедет сам для исполнения моего «приказания». Эта любезность была исполнена в точности. 14 ноября Гоголь ко мне не приходил. 15-го я писал к нему записку и звал его за нужным. Гоголь не приходил. 16-го я приехал к нему сам, не застал его дома. Зная от Бенардаки, который 14-го числа сам привез мне поутру 2000 рублей, что именно 16-го Гоголь обещал у него обедать, я написал записку к Гоголю и велел человеку дожидаться его у Бенардаки; но Гоголь обманул и не приходил обедать. На меня напало беспокойство и сомнение, что Гоголь раздумал взять у меня деньги. Замечательно, что этот грек Бенардаки, очень умный, но без образования, был единственным человеком в Петербурге, который назвал Гоголя гениальным писателем и знакомство с ним ставил себе за большую честь.

В этот же день, 16 ноября, пришел ко мне Гоголь. Я выбежал к нему навстречу и увел его наверх. Слава богу, все исполнилось по моему желанию. Гоголь взял деньги и был спокоен, даже весел. Он не

приходил ко мне, потому что переезжал от Плетнева к Жуковскому во дворец. Впрочем, я не вполне поверил его словам, потому что на его переезд достаточно было одного часа, и у меня осталось сомнение, что Гоголь колебался взять у меня деньги и, может быть, даже пробовал достать их у кого-нибудь другого. На другой день мы назначили ехать с ним в Патриотический институт.

17-го ноября ездили мы с Верой и с Гоголем к его сестрам. Гоголь был нежный брат; он боялся, что сестры его произведут на нас невыгодное впечатление; он во всю дорогу приготовлял нас, рассказывая об их неловкости и застенчивости и неумении говорить. Мы нашли их точно такими, как ожидали, т. е. совершенными монастырками. Вера старалась обласкать их как можно больше; они были уверены, что в следующий четверг, 23 ноября, едут вместе с нами в Москву. Гоголь просил нас обмануть их, кажется для того, чтобы заранее взять их из института, с которым они не хотели расстаться задолго до отъезда. Меньшая Лиза, веселая и живая, была любимицей брата. Может быть, и сам Гоголь этого не знал; но мы заметили. Из института мы завезли Гоголя на его квартиру у Жуковского, который жил во дворце, потому что Гоголь, давши слово обедать с нами у Карташевских, сказал нам, что ему нужно чем-то дома распорядиться. Мы дожидались его с четверть часа и не вдруг заметили, что он бегал на квартиру для того, чтоб надеть фрак. Гоголь сказал нам, что на другой день он перевозит сестер своих к княгине Репниной (бывшей Балабиной), у которой они останутся до отъезда. Гоголю совестно было оставлять их там слишком долго, и потому Гоголь просил меня ускорить наш отъезд из Петербурга. Это приводило меня в большое затруднение, потому что судьба моего Миши не была устроена, и отъезд мой мог быть отложен очень надолго. Я не вдруг даже решился сказать об этом Гоголю, потому что такое известие было бы для него ударом. Ему казалось невозможным ехать одному с сестрами, которые семь лет не выезжали из института, ничего не знали и всего боялись. Впоследствии мы испытали на деле, что опасения Гоголя были справедливы.

Последующие дни Гоголь не так часто виделся с нами, потому что очень занимался своими сестрами: он сам покупал все нужное для их костюма, нередко терял записки нужных покупок, которые они ему давали, и покупал совсем не то, что было нужно; а между тем у него была маленькая претензия, что он во всем знает толк и умеет купить хорошо и дешево. Я предупредил его, что мы не можем скоро ехать, и чтоб он нас не дожидался. Гоголь с тяжелым вздохом признался мне, что без нас никак не может ехать, и потому будет ждать нашего отъезда, как бы он поздно ни последовал. Очень жаловался на юродство институтского воспитания и говорил, что его сестры не умеют даже ходить по-человечески. Он хотел на днях привести их к нам.

С. Т. Аксаков. История знакомства, 22–27.

За три месяца до выпуска приехал из Рима брат, и, так как он не мог долго оставаться в Петербурге, то он взял нас раньше выпуска. Брат и тут заботился о нас очень много, он входил положительно во все: ездил по магазинам, заказывая нам платья у Курт, покупая белье и все до последней мелочи, – вероятно, наш выпуск обошелся ему недешево; накануне выхода он сам привез нам все, но все-таки самое нужное он забыл: покупая все до мелочей, забыл купить рубашки и должен был ехать покупать две готовые. В первый раз после $6^{1}/_{2}$ лет мы надевали свое платье, и это нас очень занимало. Из института брат нас поместил у своих знакомых Балабиных, которые предложили приютить нас у себя до нашего отъезда в Москву; мы у них пробыли почти с месяц и каждый день почти бывали в институте. Брат часто приезжал к Балабиным с нами обедать... Застенчивость положительно была моим мучением. У Балабиных, например, эта застенчивость заставляла нас голодать: я не пила по утрам чаю, а кофе мне было совестно попросить более получашки с крошечным сухариком, и затем я ждала обеда до шести часов. Нас спрашивали, не хотим ли мы завтракать, но мы спешили отказаться, несмотря на сильнейший голод, и когда оставались одни, то спешили к печке и ели уголь положительно от голода, – особенно я, и все это благодаря нелепой застенчивости. За обедом снова мучения, – я ничего не ем, тем более, что мне приходилось сидеть рядом с одним из сыновей Балабиных. Кушанье я брала, не смотря на блюдо; раз Балабин заметил мне, что я взяла одну кость, я тотчас же оставила вилку, и полились слезы. Иногда, в виде катания, брат возил нас к себе на квартиру, и здесь мы несколько утоляли свой голод всем, что попадалось под руку: калачом, вареньем и проч. В Петербурге же брат познакомил нас с Аксаковыми, – со стариком, Сергеем Тимофеевичем, и старшей его дочерью Верой Сергеевной.

Е. В. Гоголь-Быкова. Русь, 1885, № 26, стр. 7.

В 1839 году, в Петербурге, Гоголь останавливался в Зимнем дворце, у Жуковского. Первые главы «Мертвых Душ» были уже им написаны, и однажды вечером, явившись в голубом фраке с золотыми пуговицами, с какого-то обеда, к старому товарищу своему Н. Я. Прокоповичу, он застал там всех скромных, безызвестных своих друзей и почитателей, которыми еще дорожил в то время... Мы уже узнали, что он собирался прочесть нам новое свое произведение, но приступить к делу было нелегко. Гоголь, как ни в чем не бывало, ходил по комнате, добродушно подсмеивался над некоторыми общими знакомыми, а о чтении и помину не было. Даже раз он намекнул, что можно отложить заседание, но Н. Я. Прокопович, хорошо знавший его привычки, вывел всех из

затруднения. Он подошел к Гоголю сзади, ощупал карманы его фрака, вытащил оттуда тетрадь почтовой бумаги в осьмушку, мелко-намелко исписанную, и сказал по-малороссийски, кажется, так: «А що се таке у вас, пане?» Гоголь сердито выхватил тетрадку, сел мрачно на диван и тотчас начал читать, при всеобщем молчании. Он читал без перерыва до тех пор, пока истощился весь его голос и зарябило в глазах. Мы узнали таким образом первые четыре главы «Мертвых Душ»… Общий смех мало поразил Гоголя, но изъявление нелицемерного восторга, которое видимо было на всех лицах под конец чтения, его тронуло… Он был доволен. Кто-то сказал, что приветствие Селифана босой девочке, которую он сажает на козлы вместо проводника от Коробочки, приветствие: «ноздря», – не совсем прилично. Все остальные слушатели восстали против этого замечания, как выражающего излишнюю щекотливость вкуса и отчасти испорченное воображение; но Гоголь прекратил спор, взяв сторону критика и заметив: «Если одному пришла такая мысль в голову, значит, и многим может придти. Это надо исправить». После чтения он закутался, по обыкновению, в шубу до самого лба, сел со мной на извозчика, и мы молча доехали до Зимнего дворца, где я его ссадил. Вскоре потом он опять исчез из Петербурга.

П. В. Анненков. Гоголь в Риме. Литературные воспоминания, 11–12.

Зимой 1839 г., в Петербурге, Гоголь читал нам первые главы «Мертвых Душ» у Н. Я. Прокоповича, но Белинского не было на вечере: он находился случайно в Москве. Вряд ли Гоголь и считал тогда Белинского за какую-либо надежную силу. По крайней мере, в мимолетных отзывах, слышанных мною от него несколько позднее (в 1841 году, в Риме) о русских людях той эпохи, Белинский не занимал никакого места. Услуги критика были забыты, порваны, и благодарные воспоминания отложены в сторону. И понятно отчего: между ними уже прошли статьи Белинского о «Московском наблюдателе» (*до 1838 года – близком Гоголю журнале, в котором сотрудничали Шевырев. Хомяков, Погодин и др*.), горькие отзывы Белинского о некоторых людях того кружка, который уже призывал Гоголя спасти русское общество от философских, политических и вообще западных мечтаний. Гоголь, видимо, склонялся к этому призыву и начинал считать настоящими своими ценителями людей надежного образа мыслей, очень дорожащих тем самым строем жизни, который подвергался обличению и осмеянию.

П. В. Анненков. Замечательное десятилетие. Литер. воспоминания, 204.

Гоголя видел два раза, во второй обедал с ним у Одоевского. Хандрит, да есть от чего, и все с ироническою улыбкою спрашивает меня, как мне понравился Петербург.

В. Г. Белинский – В. П. Боткину, 22 ноября 1839 г., из Петербурга. Белинский. Письма. СПб. 1914. Т. II, стр. 9.

24-го ноября Гоголь сидел у меня целое утро и сказал мне между прочим, что здешние мерзости не так уже его оскорбляют, что он впадает в апатию и что ему скоро будет все равно, как бы о нем ни думали и как бы с ним ни поступали. Совестно было мне оставлять его долго в этом положении и отнимать у него время, которое, может быть, было бы творчески плодотворно в Москве. К тому же сестры его грустили по институту, и дальнейшее пребывание их у княгини Репниной было для него тягостно. Но что же было мне делать? Нельзя же было мне пожертвовать для этого существенно важными обстоятельствами для собственного моего семейства! 26-го ноября давали «Ревизора». У нас было два бельэтажа; но я никак не мог уговорить Гоголя ехать с нами. Он верно рассчитал, до чего должно было дойти его представление в течение четырех лет: «Ревизора» нельзя было видеть без отвращения, все актеры впали в отвратительную карикатуру.

На другой день поутру я поехал к Гоголю. Мне сказали, что его нет дома, и я зашел к его хозяину, к Жуковскому. Я не был с ним коротко знаком. Я засиделся у него часа два. Говорили о Гоголе. Жуковский не вполне ценил талант Гоголя. Я подозреваю в этом даже Пушкина. Оба они восхищались талантом Гоголя в изображении пошлости человеческой, его неподражаемым искусством схватывать вовсе незаметные черты и придавать им выпуклость и жизнь, восхищались его юмором, комизмом, – и только. Серьезного значения, мне так кажется, они не придавали ему. Наконец, я простился с ласковым хозяином и сказал, что зайду узнать, не воротился ли Гоголь, которого мне нужно видеть. «Гоголь никуда не уходил, – сказал Жуковский. – Он дома и пишет. Но теперь пора уже ему гулять. Пойдемте». И он провел меня через внутренние комнаты к кабинету Гоголя, тихо отпер и отворил дверь. Передо мной стоял Гоголь в следующем фантастическом костюме: вместо сапог длинные шерстяные русские чулки, выше колен; вместо сюртука – сверх фланелевого камзола, бархатный спензер; шея обмотана большим разноцветным шарфом, а на голове бархатный, малиновый, шитый золотом кокошник, весьма похожий на головной убор мордовок. Гоголь писал и был углублен в свое дело, и мы, очевидно, ему помешали. Он долго, не зря, смотрел на нас, по выражению Жуковского, но костюмом своим нисколько не стеснялся. Жуковский сейчас ушел, и я, скрепя сердце, сказал Гоголю, что мы поедем из Петербурга после 6-го декабря. Он был очень огорчен, но отвечал, что делать нечего и что он покоряется своей участи. Я звал его гулять, но он возразил, что еще рано. Я, увидев, что ему надобно было что-то кончить, сейчас с ним простился.

С. Т. Аксаков. История знакомства, 27–28.

Я не понимаю, что со мною делается. Как пошла моя жизнь в Петербурге! Ни о чем не могу думать, ничто не идет в голову. Как вспомню, что я здесь убил месяц уже времени – ужасно! А все виною Аксаков. Он меня выкупил из беды, он же меня и посадил. Мне ужасно хотелось возвратиться с ним вместе в Москву. Я же так полюбил его истинно душою. Притом для моих сестер компания и вся нужная прислуга; словом, все заставляло меня дожидаться, Он меня все обнадеживал скорым выездом – через неделю, через неделю; а между тем уже месяц. Если б я знал это вперед, я бы непременно выехал 14 ноября. У меня же все готово совершенно; сестры одеты и упакованы как следует. Ах, тоска! Я уже успел один раз заболеть. Простудил горло, и зубы, и щеки. Теперь, слава богу, все прошло. Как здесь холодно! И привет, и пожатия, часто, может быть, искренние, но мне отовсюду несет морозом. Я здесь не на месте.

О, боже, боже! Когда я выеду из этого Петербурга! Аксаков меня уверяет, как наверное, что 7 декабря будет этот благодатный день. Неужели он опять обманет? Не дай бог!

Гоголь – М. П. Погодину, 27 ноября 1839 г., из Петербурга. Письма, II, 20.

29-го ноября, перед обедом. Гоголь привозил к нам своих сестер. Их разласкали донельзя; даже больная моя сестра встала с постели, чтобы принять их; но это были такие дикарки, каких и вообразить нельзя. Они стали несравненно хуже, чем были в институте: в новых длинных платьях совершенно не умели себя держать, путались в них, беспрестанно спотыкались и падали, от чего приходили в такую конфузию, что ни на один вопрос ни слова не отвечали. Жалко было смотреть на бедного Гоголя.

С. Т. Аксаков. История знакомства, 28.

Гоголь все еще в Петербурге; но теперь жду его с обеими сестрами, которые будут жить у нас. Он непременно должен выдать что-нибудь, и многое, потому что денег нужна ему куча и для себя, и для сестер, и для матери.

М. П. Погодин – С. П. Шевыреву, 29 ноября 1839 г., из Москвы. Рус. Арх., 1883, I, 91.

2-го декабря был у нас Гоголь, и мы вновь опечалили его известием, что и после 6-го декабря отъезд наш на несколько дней отлагается. До 6-го декабря мы виделись с Гоголем один раз на короткое время. Жестокие морозы повергли его в уныние, и вдобавок он отморозил ухо. Он так страдал от стужи, что у нас сердце переболело глядя на него.

С. Т. Аксаков. История знакомства, 29.

Вы не виноваты. Это моя несчастная судьба всему виной. Я теперь сам не еду. Морозы повергнули меня в совершенное уныние. Я уже успел отморозить себе ухо, несмотря на все запутывания. Я не знаю, как и что делать. Как это все странно вышло! Но мне никогда ни в чем удачи.

Гоголь – С. Т. Аксакову, 1839 г. Письма, II, 21.

Гоголь скоро отсюда уежает и хочет прочитать у Карамзиных главы из нового начатого им романа («Мертвые Души»).

В. А. Жуковский – Н. И. Гречу, в 1839 г. Сборник Пушкинского Дома на 1923 г., стр. 116.

До 11-го декабря мы не видали Гоголя; морозы сделались сноснее, и он, узнав от меня, что я не могу ничего положительного сказать о своем отъезде, решался через неделю уехать один с сестрами. 13-го Гоголь был у нас, и так как мы решились через несколько дней непременно уехать, то, разумеется, условились ехать вместе. Ф. И. Васьков также вызвался ехать с нами. 15-го Гоголь вторично привозил своих сестер; они стали гораздо развязнее, много говорили и были очень забавны. Они нетерпеливо желали уехать поскорее в Москву. Много раз уже назначался день нашего отъезда и много раз отменялся по самым неожиданным причинам, и Гоголь полагал, что именно ему что-то посторонее мешает выехать из Петербурга.

Наконец, дня через два (настоящего числа не помню), выехали мы из Петербурга. Я взял два особых дилижанса; один четвероместный, называющийся фамильным, в котором сели Вера, две сестры Гоголя и я; другой двуместный, в котором сидели Гоголь и Васьков. Впрочем, в продолжение дня Гоголь станции на две садился к сестрам, а я – на его место к Васькову.

Несмотря на то, что Гоголь нетерпеливо желал уехать из Петербурга, возвратный наш путь совсем не был так весел, как путь из Москвы в Петербург. Во-первых, потому, что Васьков, хотя был самое милое и доброе существо, был мало знаком с Гоголем, и во-вторых, что последнего сильно озабочивали и смущали сестры. Уродливость физического и нравственного институтского воспитания высказывалась

тут выпукло и ярко. Ничего, конечно, не зная и не понимая, они всего боялись, от всего кричали и плакали, особенно по ночам. Принужденность положения в дороге, шубы, платки и теплая обувь наводили на них тоску, так что им делалось и тошно, и дурно. К тому же, как совершенные дети, они беспрестанно ссорились между собою. Все это приводило Гоголя в отчаяние и за настоящее и за будущее их положение. Верочке много было хлопот и забот. Я не знаю, что стал бы с ними делать Гоголь без нее. Они бы свели его с ума. Жалко и смешно было смотреть на Гоголя: он ничего не разумел в этом деле, и все его приемы и наставления были некстати, не у места, не вовремя и совершенно бесполезны, и гениальный поэт был в этом случае нелепее всякого пошлого человека. Один Васьков смешил меня всю дорогу своими жалобами. Мы пленили его описанием веселого нашего путешествия с Гоголем в Петербург; он ожидал того же на возвратном пути, но вышло совсем напротив. Когда Гоголь садился вместе с Васьковым, то сейчас притворялся спящим и в четверо суток не сказал ни одного слова; а Васьков, любивший спать днем, любил поговорить вечером и ночью.

Он заговаривал с своим соседом, но мнимоспящий Гоголь не отвечал ни слова. Всякое утро Васьков прекомически благодарил меня за приятного соседа, которого он досыта наслушался и нахохотался. На станциях, во время обедов и завтраков, чая и кофе, не слыхали мы ни одной шутки от Гоголя. Он и Вера постоянно были заняты около капризных «патриоток», на которых угодить не было никакой возможности, которым все не нравилось, потому что не было похоже на их институт, и которые буквально почти ничего не ели, потому что кушанья были не так приготовлены, как у них в институте. Можно себе представить, что точно такая же история была в Петербурге у княгини Репниной. Каково было смотреть на все это бедному Гоголю? Он просто был мученик.

Наконец, на пятые сутки притащились мы в Москву. Натурально, сначала все приехали к нам, Гоголь познакомил своих сестер с моей женой и с моим семейством и перевез их к Погодину, у которого и сам поместился. Они занимали мезонин: на одной стороне жил Гоголь, а на другой – его сестры.

С. Т. Аксаков. История знакомства, 29–31.

В Москву мы приехали вечером прямо к Аксаковым, и это семейство нас приняло очень радушно. В Москве мы остановились у проф. Погодина, – приятеля брата. Его семейство состояло из жены, молодой женщины, двух маленьких детей и старушки матери Погодина, большой охотницы до карт; она сейчас же нас выучила играть в бостон, и мы играли с нею почти каждый день. Но сын ее очень не любил видеть нас с нею за картами, она же побаивалась его, а потому, бывало, уговорит нас идти

будто бы спать, а самим приходить к ней в комнату и играть в бостон. Иногда мы так и делали. Но раз ее сын застал нас, и эти вечера прекратились. Три раза в неделю мы бывали у Аксаковых и все больше сближались с этим милым семейством. Брат заставлял нас каждый день делать переводы и вышивать; мы вышивали для него подушки, до которых он был большой охотник. Брат жил с нами, и я часто ходила к нему в комнату, и когда он не был очень занят, то всегда шалил и шутил со мною; бывало, как только я вхожу к нему в комнату, он тотчас же торопится запирать все свои ящики, так как я была очень любопытна и, увидя его рукописи, тотчас начинала перебирать их и читать, чего он очень не любил. Брат, так же, как и я, был большой лакомка, и у него в бюро всегда имелся большой запас орехов и слив в сахаре (его любимое лакомство). Зная это, я сейчас же отправляла в ящики бюро свои руки; если брат не успевал вовремя его закрыть, то у нас начиналась борьба, из которой брат, конечно, всегда выходил победителем. Он часто делал нам подарки, и мы находили у себя сюрпризом то хорошенький флакон, то корзинку, рабочий ящик и др. Я уже говорила, что брат не любил видеть нас без дела и заставлял в будни переводить, а по праздникам вышивать. Вдруг раз в праздник он посылает меня вместо обычного вышивания за переводы, я очень огорчилась и почти со слезами отправилась переводить. И что же? Вместо тетради для переводов я вижу на своем столе ящик моих любимых конфект! – Брат часто возил нас на литературные вечера, к Хомяковым, Свербеевым, Елагиным, Киреевским и другим, хотя мы очень мало вникали в самые чтения; я думаю, что это было для нас на то время слишком серьезно. Брат одевал нас всегда по своему вкусу, и мы неизменно являлись всюду в одних и тех же костюмах, – любимых брата, – белых муслинных платьях. Брат не желал нас отпускать в деревню, говоря, что мы там одичаем, но здоровье сестры Аннет, которое было слабо и которую доктора советовали отправить в деревню в Малороссию и лечить, заставило его написать матери, чтобы она приехала за сестрою, меня же он решил оставить у себя. Брат занимал у Погодиных комнату на хорах, а против него такую же большую занимали мы с Аннет. Я была трусиха и часто просила брата, чтобы он посидел, пока я засну, и потушил бы свечу, и он всегда исполнял эти прихоти, сядет, бывало, на кровать и ждет, пока я засну. Его я совершенно не конфузилась и была с ним, как с старшей сестрой. Раз он нарисовал меня лежащую в ночном чепчике и кофточке, – я рассердилась и долго приставала к нему отдать мне этот рисунок, который совершенно не был похож на меня.

Е. В. Гоголь-Быкова. Русь, 1885, № 26, стр. 7–8.

Даже не помню, благодарил ли вас за петербургский приют и любовь вашу. Боже! как я глуп, как я ничтожно, несчастно глуп! и какое странное мое существование в России! какой тяжелый сон! о, когда б

скорей проснуться! Ничто, ни люди, встреча с которыми принесла бы радость, ничто не в состоянии возбудить меня… Такая моя участь. Книгопродавцы всегда пользовались критическим моим положением и стесненными обстоятельствами. Нужно же, как нарочно, чтобы мне именно случилась надобность в то время, когда меня более всего можно притеснить и сделать из меня безгласную, страдающую жертву. Точно, я не помню никогда так тяжелых моих обстоятельств. Все идет плохо. Бедный клочок земли наш, пристанище моей матери, продают с молотка, и где ей придется приклонить голову, я не знаю; предположение мое пристроить сестер так, как я думал, тоже рушилось; я сам нахожусь в ужасно бесчувственном, окаменевшем состоянии, в каком никогда себя не помню. Когда же лучше книгопродавцам употребить в свою пользу мое горе? (*Пользуясь стесненным положением Гоголя, петербургский книгопродавец Смирдин предлагал за собрание сочинений Гоголя ничтожно малую сумму…*) Я решился не продавать моих сочинений, но употребить и поискать всех средств если не отразить, то хоть отсрочить несчастное течение моих трудных обстоятельств. Как-нибудь на год, ехать скорее как можно в Рим, где убитая душа воскреснет вновь, как воскресла прошлую зиму и весну, приняться горячо за работу и, если можно, кончить роман («Мертвые души») в один год. Но как достать на это средство и денег? Я придумал вот что: сделайте складку, сложитесь все те, которые питают ко мне истинное участие; составьте сумму в 4000 р. и дайте мне взаймы на год. Через год, я даю вам слово, если только не обманут мои силы и я не умру, выплатить вам ее с процентами. Это мне даст средства как-нибудь и сколько-нибудь выкрутиться из моих обстоятельств и возвратить на сколько-нибудь меня мне.

Гоголь – В. А. Жуковскому, 21–24 дек. 1839 г.,[7] из Москвы. Письма, II, 25. Ср. Временник Пушкинского Дома, 1914, стр. 72.

Я был в Петербурге и взял оттуда сестер. Они будут жить в Москве; где-нибудь я их пристрою, хоть у кого-нибудь из моих знакомых, но лишь бы они не знали и не видели своего дома, где они пропадут совершенно. Ты знаешь, что маменька моя глядит и не видит, что она делает то, что никак не воображает делать, и, думая об их счастии, сделает их несчастными и потом всю вину сложит на бога, говоря, что так богу было угодно попустить. Об партии нечего и думать в наших местах, и с нашим несчастным состоянием иметь подобные надежды было бы странно, тогда как здесь они могут скорее на это надеяться. По крайней мере, скорее здесь, чем где-либо, может попасться порядочный человек и притом менее руководимый расчетами… Не знаю и не могу постичь, какими средствами помочь нашим обстоятельствам хозяйственным, которым грозит совершенное разорение. Тем более оно изумительно, что имение наше во всяком отношении можно назвать хорошим. Мужики богаты; земли довольно; в год четыре ярмарки, из

которых скотная, в марте, одна из важнейших в нашей губернии… Нигде так не облегчены крестьяне, как у нас. Нужно же именно так распорядиться, чтобы при этом расстроить в такой степени. Не нужно позабыть, что еще не так давно в руках у маменьки были деньги, что при перезакладке имения года три тому назад она выиграла почти десять тысяч, которые, кажется, могли бы в руках даже неуча помочь и неурожаю и быть полезными на запас и на всякий будущий случай. Ничего не бывало: эти деньги канули, как в воду.

Я не буду в Малороссии и не имею никакой возможности это сделать; но, желая исполнить сыновний долг, то есть доставить случай маменьке меня видеть, приглашаю ее в Москву, на две недели. Мне же предстоит путь немалый в мой любезный Рим: там только найду успокоение. Дух мой страдает. Ради бога, коли тебе будет можно, дай сколько-нибудь маменьке на дорогу, – рублей около пятисот, коли можно. Очень, очень буду тебе благодарен. У меня денег ни гроша: все, что добыл, употребил на обмундировку сестер.

Гоголь – А. С. Данилевскому, 29 декабря 1839 г., из Москвы. Письма, II, 21.

2-го января (*1840 г.*) Ольга Семеновна (*жена Аксакова*) с Верой уехала в Курск. 3-го числа, часа за два до обеда, вдруг прибегает к нам Гоголь (меня не было дома), вытаскивает из карманов макароны, сыр-пармезан и даже сливочное масло и просит, чтоб призвали повара и растолковали ему, как сварить макароны. В обыкновенное время обеда Гоголь приехал к нам с Щепкиным, но меня опять не было дома. Я возвратился домой, где Гоголь и Щепкин уже давно меня ожидали. Гоголь встретил меня следующими словами: «Вы теперь сироты, и я привез макарон, сыру и масла, чтоб вас утешить». Когда подали макароны, которые, по приказанию Гоголя, не были доварены, он сам принялся стряпать. Стоя на ногах перед миской, он засучил обшлага и с торопливостью, и в то же время с аккуратностью, положил сначала множество масла и двумя соусными ложками принялся мешать макароны, потом положил соли, потом перцу и, наконец, сыр и продолжал долго мешать. Нельзя было без смеха и удивления смотреть на Гоголя; он так от всей души занимался этим делом, как будто оно было его любимое ремесло, и я подумал, что если б судьба не сделала Гоголя великим поэтом, то он был бы непременно артистом-поваром. Как скоро оказался признак, что макароны готовы, т. е. когда распустившийся сыр начал тянуться нитками. Гоголь с великою торопливостью заставил нас положить себе на тарелки макарон и кушать. Макароны точно были очень вкусны, но многим показались не доварены и слишком посыпаны перцем; но Гоголь находил их очень удачными, ел много и не чувствовал потом никакой тягости, на которую некоторые потом жаловались. Во все время

пребывания Гоголя в Москве макароны появлялись у нас довольно часто. На другой день получил я письмо от И. И. Панаева, в котором он от имени Одоевского, Плетнева, Врасского, Краевского и от себя умолял, чтоб Гоголь не продавал своих прежних сочинений Смирдину за 5 тысяч (и новой комедии в том числе), особенно потому, что новая комедия будет напечатана в «Сыне Отечества» или «Библиотеке для Чтения»; а Врасский предлагает 6 тысяч с правом напечатать новую комедию в «Отечественных Записках». Я очень хорошо понял благородную причину, которая заставила Гоголя торопиться продажею своих сочинений, для чего он поручил все это дело Жуковскому; но о новой комедии мы не слыхали. Я немедленно поехал к Гоголю, и, разумеется, ни той, ни другой продажи не состоялось. Под новой комедией, вероятно, разумелись разные отрывки из недописанной Гоголем комедии, которую он хотел назвать: «Владимир третьей степени». Я не могу утвердительно сказать, почему Гоголь не дописал этой комедии; может быть, он признал ее в полном составе неудобною в цензурном отношении, а может быть, был недоволен ею как взыскательный художник. Через несколько дней, а именно в субботу, обедал у нас Гоголь с другими гостями; в том числе были Самарин и Григорий Толстой, давнишний мой знакомый и товарищ по театру, который жил в Симбирске и приехал в Москву на короткое время и которому очень хотелось увидать и познакомиться с Гоголем. Гоголь приехал к обеду несколькими минутами ранее обыкновенного и сказал, что он пригласил ко мне обедать незнакомого мне гостя, графа Владимира Соллогуба. Если б это сделал кто-нибудь другой из моих приятелей, то я бы был этим недоволен; но все приятное для Гоголя было и для меня приятно. Дело состояло в том, что Соллогуб был в Москве проездом, давно не видался с Гоголем, в этот же вечер уезжал в Петербург и желал пробыть с ним несколько времени вместе. Гоголь, не понимавший неприличия этого поступка и не знавший, может быть, что Соллогуб как человек мне не нравится, пригласил его отобедать у нас. Через несколько минут вошел Толстой и сказал, что Соллогуб стоит в лакейской и что ему совестно войти. Я вышел к нему и принял его ласково и нецеремонно. Гоголь опять делал макароны и был очень весел и забавен. Соллогуб держал себя очень скромно, ел за троих и не позволял себе никаких выходок, которые могли бы назваться неучтивостью по нашим понятиям и которыми он очень известен в так называемом большом кругу. С этого дня Гоголь уже обыкновенно по субботам приготовлял макароны. Он приходил к нам почти всякий день и обедал раза три в неделю, но всегда являлся неожиданно. В это время мы узнали, что Гоголь очень много работал; но сам он ничего о том не говорил. Он приходил к нам отдыхать от своих творческих трудов, поговорить вздор, пошутить, поиграть на бильярде, на котором, разумеется, играть совершенно не умел; но Константину удавалось иногда затягивать его в серьезные разговоры об искусстве вообще. Я

мало помню таких разговоров, но заключаю о них по письмам Константина. Вот что он говорит в одном своем письме: «Чем более я смотрю на него, тем более удивляюсь и чувствую всю важность этого человека и всю мелкость людей, его не понимающих. Что это за художник! Как полезно с ним проводить время! Как уясняет он взгляд в мир искусства!» В это время приехал Панов из деревни. Он вполне понимал и ценил Гоголя. Разумеется, мы сейчас их познакомили, и Панов привязался всею своею любящею душою к великому художнику. Он скоро доказал свою привязанность убедительным образом.

С. Т. Аксаков. История знакомства, 31–32.

Гоголь в самом стесненном положении, взял из института сестер; а маленькое именьице, какое у него было, пропадает. Ему нужно 4000 рублей. Я хотел бы их собрать, но это не удается. Не можете ли меня ссудить этою суммою? Я перешлю ее Гоголю, а вам заплачу, когда это мне будет удобно, впрочем в течение года или через год.

В. А. Жуковский – наследнику (будущему императору Александру II), в начале 1840 г. Рус. Арх., 1883, XXXIX.

Видно, вы не разобрали моего письма. Я не просил для Гоголя никакой помощи, и было бы с моей стороны несправедливо просить ее, особливо такой большой, какую вы назначили. Вы уже раз помогли Гоголю – довольно. Еще менее просил я у вас ему взаймы: это было бы с моей стороны неприлично. Я просил у вас просто взаймы себе самому, как то было прежде, и вы очень одолжите меня, если ссудите меня этими деньгами; а с Гоголем будут у меня свои расчеты. Эти деньги дам ему от себя, не вмешивая в это вашего имени. Итак, прошу вас убедительно не давать в подарок назначенных вами 2000 рублей; я решительно от этого отказываюсь… и прошу покорно ссудить мою особу вышереченными 4000, кои нимало не потеряют своей натуры, если будут, принадлежа вам, покоиться в моем кармане, откуда в свое время с торжеством возвратятся в прежнюю великокняжескую обитель[35].

В. А. Жуковский – наследнику, в начале января 1840 г. Рус. Арх., 1883, II, стр. X.

Я получил ваше письмо, в нем же радостная весть о моем освобождении. Рим мой! Употребляют все силы, все, что в состоянии еще подвигнуться моею волею. А о благодарности нечего и говорить: вы понимаете, как она должна быть сильна. Что я употреблю все, вы этому должны поверить потому, что я для этого живу и существую, и, даст бог, выплачу мой долг… Обнимаю вас несчетно, мой избавитель.

Гоголь – В. А. Жуковскому, в 1840 г., из Москвы. Письма, II, 30.

Приблизительно в это время Гоголем отделаны «Тяжба» и «Лакейская».

А. И. Кирпичников. Хронолог. канва, 39.

Скажи от меня Гоголю, что я так люблю его, и как поэта, и как человека, что те немногие минуты, в которые я встречался с ним в Питере, были для меня отрадою и отдыхом. В самом деле, мне даже не хотелось и говорить с ним, но его присутствие давало полноту моей душе, и в ту субботу, как я не увидел его у Одоевского, мне было душно среди этих лиц и пустынно среди множества.

В. Г. Белинский – К. С. Аксакову, 10 янв. 1840 г., из Петербурга. Белинский. Письма. СПб. 1914. Т. II, стр. 25.

Мертвящий гнет низкого, пошлого, внешнего лежит теперь на раменах моих. О, выгони меня, ради бога и всего святого, вон в Рим, да отдохнет душа моя! Скорее, скорее! Я погибну. Еще, может быть, возможно для меня освежение. Не может быть, чтобы я совсем умер, чтобы все возвышенное застыло в груди моей без вызова. Спаси меня и выгони вон скорее, хотя бы даже и сам просил тебя повременить и обождать.

Гоголь – М. П. Погодину (который в это время был в Петербурге), 25 янв. 1840 г., из Москвы. Письма, II, 32.

Гоголь в большом затруднении с сестрами. Нужно поместить их, а он горд, и в России талант его дохнет. Добрая Свербеева хлопочет, но придется приняться за Муравьеву.

А. И. Тургенев – кн. П. А. Вяземскому, 19 февр. 1840 г., из Москвы. Остаф. архив, IV, 88.

Гоголь здесь очень в тонком за сестер: не знает, что делать с ними, и в Москве ему не пишется. Хлопочет об их размещении по добрым людям; но жаль, что все одни и те же: Муравьева, да Муравьева; а у ней и без того пансион сирот.

А. И. Тургенев – кн. П. А. Вяземскому, 20 февр. 1840 г., из Москвы. Остаф. арх., IV, 92.

Вчера была среда и чтение у Киреевских… Главное украшение вечера был отрывок из романа, еще не конченного, читанный Гоголем. Чудо. Действие происходит в Риме. Это одно из лучших произведений

Гоголя… Гоголь здесь давно; я его вижу два раза в неделю; он был у меня; но, как человек, он очень переменился. Много претензий, манерности, что-то неестественное во всех приемах. Талант тот же.

Т. Н. Грановский – Н. В. Станкевичу, 20 февраля 1840 г., из Москвы. Т. Н. Грановский и его переписка. М., 1897. Т. II, стр. 383.

М. С. Щепкин объявил мне, что он на днях будет обедать у С. Т. Аксакова с Гоголем, и с таинственным тоном прибавил умиленным и дрожащим голосом: «Ведь он, кажется, намерен прочесть там что-то новенькое…» Действительно, через несколько дней после этого Сергей Тимофеевич пригласил меня обедать, сказав, что у него будет Гоголь и что он обещал прочесть первую главу «Мертвых Душ». Я ожидал этого дня с лихорадочным нетерпением и забрался к Аксаковым часа за полтора до обеда. Щепкин явился, кажется, еще раньше меня… В исходе четвертого прибыл Гоголь… Он встретился со мною, как со старым знакомым, и сказал, пожав мне руку: «А, и вы здесь… Каким образом?» Нечего говорить, с каким восторгом он был принят. Константин Аксаков, видевший в нем русского Гомера, внушил к нему энтузиазм во всем семействе. Для Аксакова-отца сочинения Гоголя были откровением. Они вывели его из рутины старой литературной школы (он принадлежал к самым записным литераторам-рутинерам) и пробудили в нем новые, свежие силы для будущей деятельности. Без Гоголя Аксаков едва ли бы написал «Семейство Багровых».

День этот был праздником для Константина Аксакова… С какой любовью он следил за каждым взглядом, за каждым движением, за каждым словом Гоголя, как он переглядывался с Щепкиным, как крепко жал мне руки, повторяя: «Вот он, наш Гоголь! Вот он!» Гоголь говорил мало, вяло и будто нехотя. Он казался задумчив и грустен. Он не мог не видеть поклонения и благоговения, окружавшего его, и принимал все это как должное, стараясь прикрыть удовольствие, доставляемое его самолюбию, наружным равнодушием. В его манере вести себя было что-то натянутое, искусственное, тяжело действовавшее на всех, которые смотрели на него не как на гения, а просто как на человека…

Чувство глубокого, беспредельного уважения семейства Аксаковых к таланту Гоголя проявлялось во внешних знаках, с ребяческой, наивной искренностью, доходившей до комизма. Перед его прибором, за обедом, стояло не простое, а розовое стекло; с него начинали подавать кушанье; ему подносили любимые макароны для пробы, которые он не совсем одобрил и стал сам мешать и посыпать сыром. После обеда он развалился на диване в кабинете Сергея Тимофеевича и через несколько минут стал опускать голову и закрывать глаза – в самом ли деле начинал дремать или притворялся дремлющим… В комнате мгновенно все смолкло… Щепкин, Аксаковы и я вышли на цыпочках. Константин

Аксаков, едва переводя дыхание, ходил кругом кабинета, как часовой, и при чьем-нибудь малейшем движении или слове повторял шепотом и махая руками: «Тсс! Тсс! Николай Васильевич засыпает!..» Об обещанном чтении Гоголь перед обедом не говорил ни слова; спросить его, сдержит ли он свое обещание, никто не решался… Покуда Гоголь дремал, у всех только был в голове один вопрос: прочтет ли он что-нибудь и что прочтет? У всех бились сердца, как они всегда бьются в ожидании необыкновенного события… Наконец, Гоголь зевнул громко. Константин Аксаков при этом заглянул в щелку двери и, видя, что он открыл глаза, вошел в кабинет. Мы все последовали за ним. «Кажется, я вздремнул немного?» – спросил Гоголь, зевая и посматривая на нас… Дамы, узнав, что он проснулся, вызвали Константина Аксакова и шепотом спрашивали: будет ли чтение? Константин Аксаков пожимал плечами и говорил, что ему ничего не известно. Все томились от этой неизвестности, и Сергей Тимофеевич первый решился вывести всех из такого неприятного положения. «А вы, кажется, Николай Васильевич, дали нам обещание… Вы не забыли его?» – спросил он осторожно… Гоголя подернуло несколько. «Какое обещание?.. Ах, да! Но я сегодня, право, не имею расположения к чтению и буду читать дурно; вы меня лучше уж избавьте от этого…» При этих словах мы все приуныли; но Сергей Тимофеевич не потерял духа и с большою тонкостью и ловкостью стал упрашивать его… Гоголь отговаривался более получаса, переменяя беспрестанно разговор. Потом потянулся и сказал: «Ну, так и быть, я, пожалуй, что-нибудь прочту вам… Не знаю только, что прочесть…» И приподнялся с дивана. У встрепенувшегося Щепкина задрожали щеки; Константин Аксаков весь просиял, будто озаренный солнцем; повсюду пронесся шепот: «Гоголь будет читать». Гоголь встал с дивана, взглянув на меня не совсем приятным и пытливым глазом (он не любил, как я узнал после, присутствие малознакомых ему лиц при его чтениях) и направил шаги в гостиную. Все последовали за ним. В гостиной дамы уже давно ожидали его. Он нехотя подошел к большому овальному столу перед диваном, сел на диван, бросил беглый взгляд на всех, опять начал уверять, что он не знает, что прочесть, что у него нет ничего обделанного и оконченного… и вдруг рыгнул раз, другой, третий… Дамы переглянулись между собою, мы не смели обнаружить при этом никакого удивления и только смотрели на него в тупом недоумении. «Что это у меня? точно отрыжка!» – сказал Гоголь и остановился. Хозяин и хозяйка дома даже несколько смутились… Им, вероятно, пришло в голову, что обед их не понравился Гоголю, что он расстроил желудок… и проч. Гоголь продолжал: «Вчерашний обед засел в горле: эти грибки да ботвинья! Ешь, ешь, просто черт знает, чего не ешь…» И заикал снова, вынув рукопись из заднего кармана и кладя ее перед собою… «Прочитать еще «Северную Пчелу», что там такое?..» – говорил он, уже следя глазами свою рукопись. Тут только мы догадались, что эта икота и эти слова были началом чтения драматического отрывка,

напечатанного впоследствии под именем «Тяжбы». Лица всех озарились смехом, но громко смеяться никто не смел… Все только посматривали друг на друга, как бы говоря: «Каково? каково читает?» Щепкин заморгал глазами, полными слез. Чтение отрывка продолжалось не более получаса. Восторг был всеобщий; он подействовал на автора. «Теперь я вам прочту, – сказал он, – первую главу моих «Мертвых душ», хотя она еще не обделана…» Все литературные кружки перед этим уже были сильно заинтересованы слухами о «Мертвых душах». Говорили, что это произведение гениальное… Любопытство к «Мертвым душам» возбуждено было не только в литературе, но и в обществе. Нечего говорить, как предложение Гоголя было принято его поклонниками… Гоголь читал неподражаемо. Между современными литераторами лучшими чтецами своих произведений считаются Островский и Писемский: Островский читает без всяких драматических эффектов, с величайшей простотою, придавая между тем должный оттенок каждому лицу; Писемский читает, как актер, – он, так сказать, разыгрывает свою пьесу в чтении… В чтении Гоголя было что-то среднее между двумя этими манерами чтений. Он читал драматичнее Островского и с гораздо большей простотою, чем Писемский… Когда он окончил чтение первой главы и остановился, несколько утомленный, обведя глазами своих слушателей, его авторское самолюбие должно было удовлетвориться вполне… На лицах всех ясно выражалось глубокое впечатление, произведенное его чтением. Все были потрясены и удивлены. Гоголь открывал для его слушателей тот мир, который всем нам так знаком и близок, но который до него никто не умел воспроизвести с такою беспощадною наблюдательностью и с такою изумительною верностью, и с такою художественною силою… И какой язык-то! язык-то! Какая сила, свежесть, поэзия!.. У нас даже мурашки пробегали по телу от удовольствия.

После чтения С. Т. Аксаков в волнении прохаживался по комнате, подходил к Гоголю, жал его руки и значительно посматривал на всех нас… «Гениально, гениально!» – повторял он. Глазки Константина Аксакова сверкали; он ударил кулаком о стол и говорил: «Гомерическая сила! гомерическая!» Дамы восторгались, ахали, рассыпались в восклицаниях. Гоголь еще более вырос после этого чтения в глазах всех…

И. И. Панаев. Литературные воспоминания. Полн. собр. соч., VI, 182–187.

Гоголь читал первые главы «Мертвых Душ» у Ив. Вас. Киреевского и еще у кого-то. Все слушатели приходили в совершенный восторг; но были люди, которые возненавидели Гоголя с самого появления «Ревизора». «Мертвые Души» только усилили эту ненависть. Так,

например, я сам слышал, как известный граф Толстой-Американец говорил при многолюдном собрании в доме Перфильевых, которые были горячими поклонниками Гоголя, что «он – враг России» и что «его следует в кандалах отправить в Сибирь».

С. Т. Аксаков. История знакомства, 38.

Некто, не имеющий собственного экипажа, ищет попутчика до Вены, имеющего собственный экипаж, на половинных издержках; на Девичьем Поле, в доме проф. Погодина; спросить Николая Васильевича Гоголя.

Московские Ведомости. 1840, № 28, 6 апр., прибавл. Шенрок. Письма, II, 35.

Мы очень любили с сестрой поспать, но у Погодиных нам не давали долго нежиться в постели, и каждое утро горничная являлась будить нас. Раз, в то время как горничная должна была придти нас будить, мы слышим голос у дверей: «Ах, нет, не надо, не будите их!» Этот голос разбудил нас обеих, я не могла все подыскать, кто бы это мог за нас просить; сестру же этот голос растрогал до слез, и она мне сказала: «Слышала ли ты? Мне кажется, что это голос маменьки!» Вскоре вошла девушка и открыла нам, что, действительно, приехала маменька и теперь в комнате брата. Через несколько времени брат ввел к нам сестру Ольгу, которая приехала вместе с матерью. Ольга нам показалась очень неуклюжей, и мы сейчас же принялись ее перечесывать и одевать. Брат не сразу сказал нам о приезде матери и, когда мы были готовы уже, повел нас к ней. Свидание было очень трогательное.

Е. В. Гоголь-Быкова. Русь, 1885, № 26, 8.

Перед святой неделей приехала мать Гоголя с его меньшей сестрой. Взглянув на Марью Ивановну (так зовут мать Гоголя) и поговоря с ней несколько минут от души, можно было понять, что у такой женщины мог родиться такой сын. Это было доброе, нежное, любящее существо, полное эстетического чувства, с легким оттенком самого кроткого юмора. Она была моложава, так хороша собой, что ее решительно можно было назвать только старшею сестрою Гоголя. Натурально, Марья Ивановна жила, вместе с своими дочерьми, также у Погодина.

С. Т. Аксаков. История знакомства, 34.

После восьмого марта, в одну из суббот, Гоголь прочел пятую главу «Мертвых душ», а семнадцатого апреля, тоже в субботу, он прочел нам,

перед самой заутреней светлого воскресенья, в маленьком моем кабинете, шестую главу, в которой создание Плюшкина привело меня и всех нас в великий восторг. При этом чтении был Панов, который приехал в то время, когда уже Гоголь читал, и чтоб не помешать этому чтению, он сидел у двери другого моего кабинетца. Панов пришел в упоение и тут же решился пожертвовать всеми своими расчетами и ехать вместе с Гоголем в Италию. Гоголю нужен был товарищ, он напрасно искал его. После чтения мы все отправились в Кремль, чтоб услышать на площади первый удар колокола Ивана Великого. Похристосовавшись после заутрени с Гоголем, Панов сказал ему, что едет с ним в Италию, чему Гоголь чрезвычайно обрадовался.

Прожив несколько времени вместе с матерью и сестрами в доме Погодина, Гоголь уверил себя, что его сестры-«патриотки» (как их называют), которые по-ребячьи были очень несогласны между собой, не могут ехать вместе с матерью в деревню, потому что они будут постоянно огорчать мать своими ссорами. Он решился пристроить как-нибудь в Москве меньшую сестру Лизу, которая была умнее, живее и более расположена к жизни в обществе. Приведение в исполнение этой мысли стоило много хлопот и огорчений Гоголю. Черткова, с которой он был очень дружен, не взяла его сестры к себе, хотя очень могла это сделать; у других знакомых поместить было невозможно. Наконец, через Надежду Николаевну Шереметеву, почтенную и благодетельную старушку, которая впоследствии любила Гоголя, как сына, поместил он сестру свою Лизу к г-же Раевской, женщине благочестивой, богатой, не имевшей своих детей, у которой жили и воспитывались какие-то родственницы. Мать Гоголя уехала из Москвы прежде.

С. Т. Аксаков. История знакомства, 34, 37.

С А. П. Елагиной (*матерью братьев Киреевских, племянницей Жуковского*) Гоголь сблизился всего больше по случаю помещения сестры его к П. И. Раевской. Интересен рассказ ее о нерешимости, овладевшей Гоголем (это была одна из слабостей его характера), когда нужно было ехать к П. И. Раевской с матерью, чтобы поблагодарить ее за доброе дело, которое она для него сделала. Заехав к Елагиной на минуту. Гоголь долго медлил у нее, несмотря на напоминания матери, что пора ехать; наконец положил руки на стол, оперся на них головою и предался раздумью. «Не поехать ли мне за вас, Николай Васильевич?» – сказала тогда Елагина. Гоголь с радостью на это согласился.

П. А. Кулиш. Записки о жизни Гоголя, I, 260.

Сестры между собой не дружно жили; хотя я не слышала, чтобы они когда ссорились, но заметила, что одна с другой никогда не говорила.

Вероятно, мать жаловалась старухе матери Погодина, что они не дружны между собой до ненависти. Старуха говорила матери: «Вы не справитесь с ними. Подумайте, три дочери взрослые, да еще дома у вас вдова! Поэтому необходимо вам нужно одну оставить». Так и с братом порешили. Так как Аннет с малых лет была любимицей матери, то Лизу брат оставил и пристроил.

О. В. Гоголь-Головня, 16.

Значительная зала у Погодина: громадная, круглая, наверху купол, кругом решетки; наши комнаты были наверху, с одной комнаты в другую переходили по той же решетке, страшно было смотреть вниз. Половина этой залы, от пола до верха, завалена старинными бумагами; он, кажется, собирал древность; там стоял и рояль. Как там никто не сидел, я пользовалась тем случаем и постоянно ходила туда играть; брат услышал, как я играю. «Ты лучше играешь, как Аннет», – и вообразил, что у меня есть талант, договорил мне учителя – давать мне уроки музыки и платил за час пять рублей, а чтобы не беспокоить Погодина, он возил меня каждый день к Нащокиным, туда приходил учитель. Потом сказал мне: «Поживи у Нащокина, потому что мне некогда каждый день возить тебя». Пришлось остаться, иногда навещал меня. Раз мадам Нащокина просила его остаться обедать, он отвечал ей «некогда», а она говорила: «У нас за обедом будут малороссийские вареники, и сегодня многие обещали приехать», – тогда он остался. Потом начали съезжаться, и за обедом сидело двенадцать душ, все мужчины, а дамы – только хозяйка и я. У них постоянно собирались все талантливые; из числа тех помню только актера Щепкина. Помню, как один играл на скрипке, другой – на рояли, а некоторые рисунки свои показывали, иные читали свои сочинения. До моего уха долетели слова брата: «Нужно развивать талант, грешно не пользоваться».

Когда в другой раз брат приезжал меня навестить, я просила его отвести меня к матери, что у меня живот болит, а он говорит: «полежи, то перестанет». Я сказала: мне нужно ехать; а он допытывается: скажи мне, какал у тебя болезнь. Вот мое положение: вместо того чтобы вести меня к матери, а он завез меня к Аксаковым, сказал: здесь будут мать с сестрами, указал, в какие двери идти, а сам уехал. Незнакомый дом, и я очутилась, как в лесу. Вошла в первую комнату; в это время вошел старик Аксаков в халате, увидел меня, тотчас возвратился, выслал свою дочь, и она повела меня в другую комнату. Потом мать с сестрами приехала.

Несколько раз возил нас брат в театр. Я не помню, как-то раз выезжали с театра, верно, не хватало фаэтонов, – только один был; так он с матерью сел, а нас порастыкал знакомым. Мне пришлось ехать в карете с двумя дамами. С Погодиным мы видались во время обеда, а вечером сидели в

гостиной, брат читал свое сочинение. Комната наша была на верхнем этаже, мы все там поместились, а в другой – брат.

О. В. Гоголь-Головня, 14–16.

Одна из сестер Гоголя, Елизавета Васильевна, была очень недурна собой, и Гоголь был с ней особенно дружен; другая, Анна Васильевна, лицом поразительно походила на брата. Гоголь, обожавший музыку, очень хотел, чтобы хоть одна из его сестер играла на фортепиано, и, желая сделать ему приятное, мы пригласили для Анны Васильевны учителя музыки, знаменитого тогда Гурилева. Но Анна Васильевна не отличалась музыкальными способностями, уроки шли неуспешно и скоро прекратились[36].

В. А. Нащокина. Нов. Время, 1898, № 8129.

Часы, которые носил Пушкин, я подарил Н. В. Гоголю, у которого они еще и теперь находятся.

П. В. Нащокин (ближайший друг Пушкина) – М. П. Погодину. Барсуков, VII, 310.

Гоголь переселился к нам, на Девичье Поле, прямо из знойной Италии. Он был изнежен южным солнцем, ему была нужна особенная теплота, даже зной; а у нас кстати случилась, над громадной залой с хорами, большая, светлая комната, с двумя окнами и балконом к восходу солнца, царившего над комнатой в летнее время с трех часов утра до трех пополудни. Хотя наш дом, принадлежавший раньше князю Щербатову, и был построен на большую ногу, но уже потому, что комната приходилась почти в третьем этаже, она была относительно своей величины низка, а железная крыша также способствовала ее нагреванию. Для Гоголя это было важно: после итальянского зноя наш русский май не очень-то приятен; а потому наша комната была ему как раз по вкусу. Нечего и говорить, каким почетом и, можно сказать, благоговением был окружен у нас Гоголь. Детей он очень любил и позволял им резвиться и шалить сколько угодно. Бывало, мы, то есть я с сестрою, точно службу служим; каждое утро подойдем к комнате Гоголя, стукнем в двери и спросим: «Не надо ли чего?» – «Войдите!» – откликнется он нам. Несмотря на жар в комнате, мы заставали его еще в шерстяной фуфайке поверх сорочки. «Ну, сидеть, да смирно!» – скажет он и продолжает свое дело, состоявшее обыкновенно в вязанье на спицах шарфа или ермолки или в писании чего-то чрезвычайно мелким почерком на чрезвычайно маленьких клочках бумаги. Клочки эти он иногда, прочитывая вполголоса, рвал, как бы сердясь, или бросал на пол, потом заставлял нас подбирать их с пола и раскладывать по указанию, причем гладил по голове и благодарил, когда ему угождали;

иногда же, бывало, как бы рассердившись, схватит за ухо и выведет на хоры: это значило – на целый день уже и не показывайся ему. До обеда он никогда не сходил вниз в общие комнаты, обедал же всегда со всеми нами, причем был большею частью весел и шутлив. Особенно хорошее расположение духа вызывали в нем любимые макароны; он тут же, за обедом, и приготовлял их, не доверяя этого никому. Потребует себе большую миску и с искусством истинного гастронома начнет перебирать их по макаронке, опустит в дымящуюся миску сливочного масла, тертого сыру, перетрясет все вместе и, открыв крышку, с какой-то особенно веселой улыбкой, обведя глазами всех сидящих за столом, воскликнет: «Ну, теперь ратуйте, людие!»

Весь обед, бывало, он катает шарики из хлеба и, школьничая, начнет бросать ими в кого-нибудь из сидящих; а то так, если квас ему почему-либо не понравится, начнет опускать шарики прямо в графин. После обеда до семи часов вечера он уединялся к себе, и в это время к нему уже никто не ходил; а в семь часов он спускался вниз, широко распахивал двери всей анфилады передних комнат, и начиналось хождение, а походить было где: дом был очень велик. В крайних комнатах, маленькой и большой гостиных, ставились большие графины с холодной водой. Гоголь ходил и через каждые десять минут выпивал по стакану. На отца, сидевшего в это время в своем кабинете за летописями Нестора, это хождение не производило никакого впечатления; он преспокойно сидел и писал. Изредка только, бывало, поднимет голову на Гоголя и спросит: «Ну, что находился ли?» – «Пиши, пиши, – отвечает Гоголь, – бумага по тебе плачет». И опять то же: один пишет, а другой ходит. Ходил же Гоголь всегда чрезвычайно быстро и как-то порывисто, производя при этом такой ветер, что стеариновые свечи (тогда о керосине еще не было и помину) оплывали, к немалому огорчению моей бережливой бабушки. Когда же Гоголь очень уж расходится, то моя бабушка, мать моего отца, сидевшая в одной из комнат, составлявших анфиладу его прогулок, закричит, бывало, горничной: «Груша, а Груша, подай-ка теплый платок: тальянец (так она называла Гоголя) столько ветру напустил, так страсть». – «Не сердись, старая, – скажет добродушно Гоголь, – графин кончу, и баста». Действительно, покончит второй графин и уйдет наверх. На ходу, да и вообще, Гоголь держал голову несколько набок. Из платья он обращал внимание преимущественно на жилеты: носил всегда бархатные и только двух цветов: синего и красного. Выезжал он из дома редко, у себя тоже не любил принимать гостей, хотя характера был крайне радушного. Мне кажется, известность утомляла его, и ему было неприятно, что каждый ловил его слово и старался навести его на разговор; наконец, он знал, что к отцу приезжали многие лица специально для того, чтобы посмотреть на «Гоголя», и, когда его случайно застигали в кабинете отца, он моментально свертывался, как улитка, и упорно молчал. Не могу сказать, чтобы у Гоголя было много

знакомых. Гоголь жил у нас скорее отшельником. Он любил беседовать с духовенством и не обегал нашего немудрого, но очень добродушного религиозного старичка, отца Иоанна: но в церкви Гоголя я ни разу не видал.

Большое удовольствие доставил Гоголю приезд его двух сестер: Марии и Анны Васильевны, поместившихся у нас же, как раз против его комнаты, еще в лучшей, выходившей большим итальянским окном прямо в сад. Гоголь был очень нежный и заботливый брат и сейчас же задумал им что-нибудь подарить; но не знал – что; и прибег к совету моей матери Елизаветы Васильевны, которую он очень уважал и любил. С общего совета они решили купить два черных шелковых платья, в которых его «сестренки», как он выражался, вскоре и защеголяли. Продажа изданий Гоголя, как это ни удивительно, шла все-таки относительно туго, и он постоянно нуждался в деньгах, но прибегал к помощи своих искренних друзей только в крайних случаях; а тогда были около него и считались его друзьями такие личности, как Нащокин, Мельгунов, Павлов, известные своим богатством; они сочли бы за честь и истинное удовольствие ссудить Гоголя деньгами.

Д. М. Погодин (сын М. П. Погодина). Воспоминания. Ист. Вестн., 1892, апр., 42–44.

Все мы хорошо знали, что Н. В. Гоголь проживает на антресолях в доме Погодина, но никто из нас его не видал. Только однажды, всходя на крыльцо погодинского дома, я встретился с Гоголем лицом к лицу. Его горбатый нос и светло-русые усы навсегда запечатлелись в моей памяти, хотя это была единственная в моей жизни с ним встреча… Желтая моя тетрадка (с стихотворениями) все увеличивалась в объеме, и однажды я решился отправиться к Погодину за приговором моему эстетическому стремлению. «Я вашу тетрадку, почтеннейший, передам Гоголю, – сказал Погодин. – Он в этом случае лучший судья». Через неделю я получил от Погодина тетрадку обратно со словами: «Гоголь сказал, это – несомненное дарование».

А. А. Фет. Ранние годы моей жизни. М., 1893. Стр. 140.

(Описание погодинского дома.)

На восходящей от парадного крыльца стеклянной галерее шла налево дверь в переднюю, из которой неширокий коридор проходил через весь дом до противоположного, девичьего крыльца, отделяя большую половину дома, с приемной, обширной гостиной, превращенной в кабинет Погодина, с балконом на Девичье Поле, от домашних помещений. За парадной анфиладой находилась спальня и вообще женские комнаты. За глухою стеной погодинского кабинета находилась

довольно обширная столовая, освещаемая сверху стеклянным куполом, крыша которого виднелась со всех пунктов Девичьего Поля. Снизу столовая эта представлялась снабженною хорами, но, в сущности, они была балюстрадой, ведущей в комнаты мезонина, в которых мне бывать не пришлось, но памятных тем, что там с полгода проживал Гоголь. В кабинете Погодина глазам непосвященного представлялся невообразимый хаос. Тут всевозможные старинные книги лежали грудами на полу, а на ореховых столах громадные каменные глыбы с татарскими и сибирскими надписями, не говоря уже о сотнях рукописей с начатыми работами, места которых, равно как и ассигнаций, запрятанных по разным книгам, знал только Погодин. Посредине коридора дверь направо шла мимо домашних комнат, в сад, начинавшийся лужайкою с беломраморной посредине вазой. Далее шла широкая и старинная липовая аллея до самого конца сада, с беседкою из дикого винограда. Кроме разнородных и тенистых деревьев, свешивавшихся через высокий деревянный забор на Девичье Поле, и обширных прудов, задернутых летом «зеленою сетью трав», при саде было большое количество земли, сдаваемые ежегодно под огородные овощи.

А. А. Фет. Ранние годы моей жизни. М., 1893. Стр. 117–118, 121.

(*27 апр. 1840 г.*) Провожали Гоголюху (*М. И. Гоголь*). Заплакали и деревяшки.

М. П. Погодин. Дневник, Барсуков, V, 358.

Менее чем через месяц мать с сестрами (*Анной и Ольгой*) уехала в деревню домой. Мы с братом проводили их до конторы дилижансов. Возвратясь к Погодиным в нашу большую, теперь опустевшую комнату, мне стало еще грустнее; брат, чтобы развлечь меня, увел меня в свою комнату и стал мне показывать все, что у него было и что могло бы развлечь меня. Один из ящиков его бюро всегда был наполнен фуляровыми платками. Я очень любила их и часто выпрашивала у брата; теперь он предлагал их мне сколько угодно, но я все только плакала; тогда он стал серьезно объяснять мне, что любит меня больше всех и потому оставил меня здесь, не желая расставаться со мною, и в доказательство он подарил мне свой портрет, – этот подарок меня очень обрадовал, и я немного успокоилась, но лишь только я вошла в комнату, как снова залилась слезами; видя все это, брат просил m-me Погодину не оставлять меня одну в передней комнате, тем более что я боялась спать одна, и меня перевели в комнату старушки Погодиной. Брат и сам собирался за границу и поэтому стал искать такое семейство, куда меня можно бы было поместить. Ему советовали обратиться ко всеми уважаемой старушке вдове Прасковье Ивановне Раевской. Это была благочестивая и добрая женщина, желавшая провести свою жизнь в

монастыре и даже уже жившая там, но любовь к ее маленькой племяннице заставила ее выйти оттуда и снова поселиться в Москве в своем небольшом домике; она была строгая постница и уже десять лет, как не ела ничего скоромного. Семья, в которой я поселилась, состояла из следующих лиц: самой старушки П. И. Раевской лет 50, ее кузины Молчановой, женщины лет 35, тоже очень хорошей и доброй, племянницы Прасковьи Ивановны, девочки 12 лет, и девочки – англичанки, гувернантки. Мне в это время было 17 лет. Я скоро очень полюбила все эти лица, сошлась с ними, для меня это было почти родное семейство, где я вместо предполагаемых пяти месяцев прожила два года.

Е. В. Гоголь-Быкова. Русь, 1885, № 26, 8.

Лиза день погрустила после вас, особливо когда вошла в пустую комнату. Но на другой и на третий день развеселилась снова. Теперь она уже обожает Раевскую, куда она переезжает 10 мая.

Гоголь – сестре Анне, в нач. мая 1840 г., из Москвы. Письма, II, 38.

Гоголь в восторге от ваших стихов «Послание к Павловой»; выучил их наизусть. Он просит вас написать ему в Вену. Когда вы будете в Ганау, он непременно приедет туда; он любит вас ужасно и говорит всегда с большим восхищением об вас, так, как об Италии. Я люблю Гоголя: он очень добрый и любит сестер, заботится о них. Это все делает честь ему. Теперь он очень рад, что поместил одну у препочтенной и богомольной дамы, старой Раевской. Все здесь нападают на Гоголя, говоря, что, слушая его разговор, нельзя предполагать в нем чего-нибудь необыкновенного; Ив. Вас. Киреевский, что с ним почти говорить нельзя: до того он пуст. Я сержусь за это ужасно. У них кто не кричит, тот и глуп.

Е. М. Хомякова (сестра поэта Н. М. Языкова, жена А. С. Хомякова) – Н. М. Языкову. Сочинения А. С. Хомякова, VIII, 101.

Пишу к вам впопыхах, перед выездом. Я запоздал за тем и другим. Сделал кое-какую сделку с третью частью моих сочинений. Деньги получу не вдруг и не теперь, но верные. От Погодина вы получите половину в этом году того долга, который вы для меня сделали, благодаря великодушной любви вашей[37]. Теперь у меня на душе покойнее, и я чувствую даже, чего давно не чувствовал, – какое-то тайное расположение к труду. О, если бы отошли и унеслись от меня последние тревоги! Духу моему теперь нужно спокойствие, совершенное спокойствие. – Теперь должен я повергнуть к стопам вашим просьбу, просьбу, которую мне посоветовали сделать в одно и то же время кн. Вяземский и Тургенев (*А. И.*), как будто по вдохновению. Кривцов

получил, как вам известно, место директора основывающейся ныне в Риме нашей академии художников. Так как при директорах всегда бывает конференц-секретарь, то почему не сделаться мне секретарем его? Здесь я даже могу быть полезным, я, решительно бесполезный во всем прочем. А уж для меня-то наверно это будет полезно, потому что тогда мне, может быть, дадут рублей тысячу сер. жалованья. О, сколько бы это удалило от меня черных и смущающих мыслей! И почему же, когда все что-нибудь выигрывают по службе, одному мне, горемыке, отказано! Если бы это исполнилось, я бы был человек, счастливейший в мире, не потому, что достал средство пропитания, – черт с ним! Я бы за свое пропитание гроша не дал, если бы знал, что существование мое протащится без дела, – но потому, что я возвращу тогда себе себя. Я устал совершенно под бременем доселе не слегавших с меня вот уже год с лишком самых тягостных хлопот. Теперь надежда оживила меня, я чувствую готовность на труд, даже не знаю – что-то вроде вдохновения, давно небывалого, начинает шевелиться во мне. О, если бы теперь спокойствия и уединения! – Если бы вы знали, как мучится моя бедная совесть, что существование мое повиснуло на плечи великодушных друзей моих. Хотя я знаю, что они с радостью и охотно поделились со мною, но я знаю также, что все доброе и великодушное на свете есть само по себе уже голь, и лохмотье ему дается, как звезда на грудь или Анна на шею за труды.

Гоголь – В. А. Жуковскому, 3 мая 1840 г., из Москвы. Письма, I, 40.

Приблизился день именин Гоголя, 9-е мая, и он захотел угостить обедом всех своих приятелей и знакомых в саду у Погодина. Мне было досадно, что я не мог участвовать в этом обеде: у меня сделался жестокий флюс от зубной боли, с сильной опухолью. Несмотря на то, что я приехал в карете, закутав совершенно свою голову, чтобы обнять и поздравить Гоголя; но обедать на открытом воздухе, в довольно прохладную погоду, не было никакой возможности. Разумеется, Константин там обедал. На этом обеде кроме круга близких приятелей и знакомых были: И. С. Тургенев[38], князь П. А. Вяземский, Лермонтов, М. Ф. Орлов, М. А. Дмитриев, Загоскин, профессора Армфельд и Редкин и многие другие. Обед был веселый и шумный; но Гоголь, хотя был также весел, но как-то озабочен, что, впрочем, всегда с ним бывало в подобных случаях. После обеда все разбрелись по саду маленькими кружками. Лермонтов читал наизусть Гоголю и другим, кто тут случились, отрывок из новой своей поэмы «Мцыри», и читал, говорят, прекрасно. Потом все собрались в беседку, где Гоголь собственноручно, с особым старанием, приготовлял жженку. Он любил брать на себя приготовление этого напитка, при чем говаривал много очень забавных шуток. Вечером приехали к имениннику пить чай уже в доме несколько дам: А. П. Елагина, Е. А. Свербеева, Е. М. Хомякова и Черткова.

С. Т. Аксаков. История знакомства, 35.

Гоголя посещали немногие, но все-таки их было достаточно; а так как он был в душе хлебосол, как всякий истинный малоросс, и только обстоятельства сдерживали его, то один день в году он считал своею обязанностью как бы рассчитаться со всеми знакомыми на славу, и в этот день он уже ничего не жалел. То был Николин день – его именины, 9-го мая. Злоба дня, весь внешний успех пиршества сосредоточивался на погоде. Дело в том, что обед устраивался в саду, в нашей знаменитой липовой аллее. Пойди дождь, и все расстроится. Еще дня за два до Николы Гоголь всегда, был очень возбужден: подолгу беседовал с нашим старым поваром Семеном, но кончалось всегда тем, что старый Семен при составлении меню нес под конец такую галиматью, что Гоголь, выйдя из себя, кричал: «то-то уйдишь!» – и, быстро одевшись, отправлялся в Купеческий клуб к Порфирию. Кроме Порфирия, славился еще повар Английского клуба Басанин. Следовательно, выбор был нетруден, и цены брали подходящие. Обыкновенно Гоголя тянуло более к Порфирию на том основании, что он готовил хотя и проще, но зато пожирнее, да и малороссийские кушанья знал отлично. С кулинарною частью дело устраивалось без затруднения, оставалось вино; отец писал такого рода записку: «Любезный Филипп Федорович (Депре), пришлите, пожалуйста, сколько нужно, вина, человек на 40–50, по вашему выбору; оставшиеся целыми бутылки будут возвращены». Вино присылалось отличное, прекрасно подобранное; со счетом не приставали: были деньги, Гоголь сейчас платил, а нет – ждали.

Сад был у нас громадный, на 10 000 квадратных сажень, и весной сюда постоянно прилетал соловей. Но для меня, собственно, вопрос состоял в том: будет ли он петь именно за обедом: а пел он большею частью рано утром или поздно вечером. Я с детских лет имел страсть ко всякого рода певчим птицам, и у меня постоянно водились добрые соловьи. В данном случае я пускался на хитрость: над обоими концами стола, ловко укрыв ветвями, вешал по клетке с соловьем. Под стук тарелок, лязг ножей и громкие разговоры мои птицы оживали: один свистнет, другой откликнется, и начинается дробь и дудка. Гости восхищались: «Экая благодать у тебя, Михаил Петрович, умирать не надо. Запах ли, соловьи, вода в виду, благодать, да и только!» Надо сказать, что Гоголь был посвящен в мою соловьиную тайну и сам оставался доволен, когда мой птичий концерт удавался, но никому, даже отцу, не выдавал меня.

Кто были гости Гоголя? Всех я не могу припомнить, но в памяти у меня сохранились следующие лица: Нащокин, когда был в Москве, Н. А. Мельгунов, Н. Ф. Павлов, М. С. Щепкин, П. М. Садовский, Васильев, С. П. Шевырев, Вельтман, Н. В. Берг, известный остряк Ю. Н. Бартенев, знаменитый гравер Иордан, актеры Ленский и Живокини, С. Т. Аксаков,

К. С. Аксаков и много других, которых я уже и не помню. Обед кончался очень поздно, иногда варили жженку. Разговоры лились неумолкаемо. Пров Михайлович Садовский, нечего таить греха, находился всегда в легком подпитии и, по общей просьбе, начинал рассказывать: о капитане Копейкине, о Наполеандре Бонапарте, или неподражаемый рассказ о том, как пьяному мужику все кажется, что у него в ушах «муха жужжит». Вся тонкость этого последнего рассказа состояла в том, чтобы голос вибрировал на разные тона. Обоймет он, бывало, одну из лип левой рукой, а правой, как бы отмахиваясь от мнимой мухи, лезшей ему в ухо, и начинает на разные лады: «муха жужжит». А мимика, выражение глаз при этом не поддаются никакому описанию. До того же момента, как общество все-таки несколько «куликнет», около Юрия Никитьевича Бартенева, служившего подряд при нескольких генерал-губернаторах чиновником особых поручений, собирался тесный кружок слушателей. Юрий Никитьевич начинал чрезвычайно едко и остро передавать различные факты, смешные стороны лиц, с которыми он сталкивался по своей службе, и большею частью знакомых слушателям; остротам его не было конца, и злой язык Юрия Никитьевича никому не делал пощады. Между прочим, он любил давать всем своим хорошо знакомым прозвища, и так метко, что раз данное им прозвище навсегда оставалось за тем лицом. Жил он в Москве очень открыто, большим хлебосолом, и кто только не бывал у него на Смоленском бульваре! Сам дорогой именинник Гоголь в этот день из нелюдимого, неразговорчивого в обществе превращался в расторопнейшего, радушнейшего хозяина; постоянно наблюдал за всеми, старался, чтобы всем было весело, чтобы все пили и ели, каждого угощал и каждому находил сказать что-нибудь приятное. Из нескольких именинных дней, празднованных в нашем доме, я помню, что раза два случалась дурная погода; тогда обед происходил в доме; но и это имело свою хорошую сторону: Николая Васильевича, несмотря на сильное сопротивление с его стороны, все-таки удавалось уговорить прочесть что-нибудь. Долго отбивается Гоголь; но видя, что ничто не помогает, нервно передергивает плечами, взберется, бывало, в глубь большого, старинного дивана, примостится в угол с ногами и начнет читать какой-нибудь отрывок из своих произведений. Но как читать? – и представить себе невозможно: никто не пошевельнется, все сидят, как прикованные к своим местам… Обаяние чтения было настолько сильно, что когда, бывало. Гоголь, закрыв книгу, вскочит с места и начнет бегать из угла в угол, – очарованные слушатели его остаются все еще неподвижными, боясь перевести дух… И только раз как-то, после подобного чтения, Пров Михайлович глубоко вздохнул, скорчил уморительную физиономию, ему одному только доступную, и тихо пробурчал: «А вот и «муха не жужжит»». Все рассмеялись, повеселел и сам Гоголь.

Как на чрезвычайно нервного человека, чтение глубоко продуманных и прочувствованных им очерков производило на Гоголя потрясающее впечатление, и он или незаметно куда-то скрывался, или сидел, опустив голову, как бы отрешаясь от всего окружающего… Общество в день именин расходилось часов в одиннадцать вечера, и Гоголь успокаивался, сознавая, что он рассчитался со своими знакомыми на целый год.

Д. М. Погодин. Воспоминания. Ист. Вестн., 1892, апр., 45–47.

Гоголь с сестрой своей Лизой был с моими детьми в театре. После спектакля он хотел ехать; но за большим разгоном лошадей не достали, и Гоголь с сестрою ночевали у нас. На другой день, 18-го мая, после завтрака в двенадцать часов, Гоголь, простившись очень дружески и нежно с нами и сестрой, которая очень плакала, сел с Пановым в тарантас, я с Константином и Щепкин с сыном Дмитрием поместились в коляске, а Погодин с зятем своим Мессингом – на дрожках, и выехали из Москвы. В таком порядке ехали мы с Поклонной горы по Смоленской дороге, потому что путешественники наши отправлялись через Варшаву. На Поклонной горе мы вышли все из экипажей, полюбовались на Москву; Гоголь и Панов, уезжая на чужбину, простились с ней и низко поклонились. Я, Гоголь, Погодин и Щепкин сели в коляску, а молодежь поместилась в тарантасе и на дрожках. Так доехали мы до Перхушкова, т. е. до первой станции. Дорогой был Гоголь весел и разговорчив. Он повторил свое обещание, сделанное им у меня в доме за завтраком и еще накануне за обедом, что через год воротится в Москву и привезет первый том «Мертвых душ», совершенно готовый для печати. Это обещание он сдержал, но тогда мы ему не совсем верили. Нам очень не нравился его отъезд в чужие края, в Италию, которую, как нам казалось, он любил слишком много. Нам казалось непонятным уверение Гоголя, что ему надобно удалиться в Рим, чтоб писать об России; нам казалось, что Гоголь не довольно любит Россию, что итальянское небо, свободная жизнь посреди художников всякого рода, роскошь климата, поэтические развалины славного прошедшего, все это вместе бросало невыгодную тень на природу нашу и нашу жизнь. В Перхушкове мы обедали, выпили здоровье отъезжающих; Гоголь сделал жженку, не потому чтоб мы любили выпить, а так, ради воспоминания подобных оказий. Вскоре после обеда мы сели, по русскому обычаю, потом помолились. Гоголь прощался с нами нежно, особенно со мной и Константином, был очень растроган, но не хотел этого показать. Он сел в тарантас с нашим добрым Пановым, и мы стояли на улице до тех пор, пока экипаж не пропал из глаз. Погодин был искренно расстроен, а Щепкин заливался слезами. Я, Щепкин, Погодин и Константин сели в коляску, а Митя Щепкин и Мессинг на дрожки. На половине дороги, вдруг, откуда ни взялись, потянулись с северо-востока черные, страшные тучи и очень быстро и густо заволокли половину неба; сделалось очень темно, и

какое-то зловещее чувство налегло на нас. Мы грустно разговаривали, применяя к будущей судьбе Гоголя мрачные тучи, потемнившие солнце; но не более как через полчаса мы были поражены внезапною переменою горизонта: сильный северо-западный ветер рвал на клочки и разгонял черные тучи, в четверть часа небо совершенно прояснилось, солнце явилось во всем блеске своих лучей и великолепно склонялось к западу. Радостное чувство наполнило наши сердца.

С. Т. Аксаков. История знакомства, 36.

VIII

За границей

(Июнь 1840 г. – октябрь 1841 г.)

Я выехал из Москвы хорошо, и дорога по нашим открытым степям тотчас сделала надо мною чудо. Свежесть, бодрость взялась такая, какой я никогда не чувствовал.

Гоголь – М. П. Погодину. Письма, II, стр. 80.

Мы доехали до Варшавы благополучно. Нигде, ни на одной станции, не было задержки; словом, лучше доехать невозможно. Даже погода была хороша: у места дождь, у места солнце. Здесь я нашел кое-каких знакомых; а через два дня мы выезжаем в Краков и оттуда в Вену.

Гоголь – С. Т. Аксакову, 10 июня 1840 г., из Варшавы. Письма, II, 48.

Я приехал в Вену довольно благополучно, назад тому неделю… Здесь я намерен остаться месяц или около того. Хочется попробовать новооткрытых вод, которые всем помогают, а главное, говорят, дают свежесть сил, которых у меня уже с давних пор нет. Переезд мой, по крайней мере, доставил мне ту пользу, что у меня на душе несколько покойнее. Тяжесть, которая жала мое сердце во все пребывание в России, наконец как будто свалилась, хотя не вся, но частичка. И то слава богу.

Гоголь – матери, 25 июня 1840 г., из Вены. Письма, II, 49.

Когда мы с Гоголем в Москве собрались в дорогу, он говорил, что, как скоро мы переедем за границу, он станет мне полезен, приучая меня к бережливости, расчету, порядку. Вышло совсем наоборот: он был точно так же рассеян, как и в Москве. Однако он чувствовал себя довольно хорошо. В Вене его беспокоила только какая-то боль в ноге. В

продолжение почти четырех недель, которые я тут с ним пробыл, я видел ясно, что он чем-то занят. Хотя он и в это время лечил себя, пил воды, прогуливался, но все ему оставалось свободное время, и он тогда перечитывал и переписывал свое огромное собрание малороссийских песен, собирал лоскутки, на которых у него были записаны поговорки, замечания и проч.

В. А. Панов – С. Т. Аксакову. Гоголь. Письма, II, 88.

Я на водах в Вене: и дешевле, и веселее. Я здесь один; меня не смущает никто. На немцев гляжу, как на необходимых насекомых во всякой русской избе. Они вокруг меня бегают, лазят, но мне не мешают; а если который из них взлезет мне на нос, то щелчок, – и был таков.

Вена приняла меня царским образом. Только теперь, всего два дня, прекратилась опера, чудная, невиданная. В продолжение целых двух недель первые певцы Италии мощно возмущали, двигали и производили благодетельные потрясения в моих чувствах. Велики милости бога. Я оживу еще.

Товарищ мой (*Панов*) немного было прихворнул, но теперь здоров, заглядывается на Вену и с грустью собирается ее оставить послезавтра для дальнейшего пути.

Гоголь – С. Т. Аксакову, 7 июля 1840 г., из Вены. Письма, II, 59.

За время этого пребывания в Вене Гоголь перерабатывал «Тараса Бульбу», набрасывал последние страницы повести «Шинель», переписывал сцены, получившие в печати название «Отрывок», и, по-видимому, разрабатывал план уже задуманной малороссийской трагедии («Выбритый ус»).

А. И. Кирпичников. Хронолог. канва, 41.

Я, чтобы освободить еще, между прочим, свой желудок от разных неудобств и кое-где засевших остатков московских обедов, начал пить в Вене мариенбадскую воду. Она на этот раз помогла мне удивительно: я начал чувствовать какую-то бодрость юности, а самое главное – я почувствовал, что нервы мои пробуждаются, что я выхожу из того летаргического умственного бездействия, в котором я находился в последние годы и чему причиною было нервическое усыпление… Я почувствовал, что в голове моей шевелятся мысли, как разбуженный рой пчел; воображение мое становится чутко. О, какая была это радость, если бы ты знал! Сюжет, который в последнее время лениво держал я в голове своей, не осмеливаясь даже приниматься за него, развернулся

передо мною в величии таком, что все во мне почувствовало сладкий трепет, и я, позабывши все, переселился вдруг в тот мир, в котором давно не бывал, и в ту же минуту засел за работу, позабыв, что это вовсе не годилось во время пития вод, и именно тут-то требовалось спокойствие головы и мыслей. Но, впрочем, как же мне было воздержаться? Разве тому, что просидел в темнице без свету солнечного несколько лет, придет на ум, по выходе из нее, жмурить глаза из опасения ослепнуть и не глядеть на то, что радость и жизнь для него? Притом я думал: «Может быть, это только мгновенье, может, это опять скроется от меня, и я буду потом вечно жалеть, что не воспользовался временем пробуждения сил моих». Если бы я хотя прекратил в это время питие вод! Но мне хотелось кончить курс, и я думал: «Когда теперь уже я нахожусь в таком светлом состоянии, по окончании курса еще более настроено будет во мне все». Это же было еще летом, в жар, и нервическое мое пробуждение обратилось вдруг в раздражение нервическое. Все мне бросилось разом на грудь. Я испугался; я сам не понимал своего положения; я бросил занятия, думал, что это от недостатка движения при водах и сидячей жизни, пустился ходить и двигаться до усталости, и сделал еще хуже. Нервическое расстройство и раздражение возросло ужасно; тяжесть в груди и давление, никогда дотоле мною не испытанное, усилилось. По счастию, доктора нашли, что у меня еще нет чахотки, что это желудочное расстройство, остановившееся пищеварение и необыкновенное раздражение нерв. От этого мне было не легче, потому что лечение мое было довольно опасно: то, что могло бы помочь желудку, действовало разрушительно на нервы, а нервы – обратно на желудок. К этому присоединилась болезненная тоска, которой нет описания. Я был приведен в такое состояние, что не знал решительно, куда деть себя, к чему прислониться. Ни двух минут я не мог остаться в покойном положении ни на постели, ни на стуле, ни на ногах. О, это было ужасно, это была та самая тоска, то ужасное беспокойство, в каком я видел бедного Виельегорского в последние минуты жизни. Вообрази, что с каждым днем после этого мне становилось хуже и хуже. Наконец уже доктор сам ничего не мог предречь мне утешительного. При мне был один (*Н. П.*) Боткин, очень добрый малый, которому я всегда останусь за это благодарен, который меня утешал сколько-нибудь, но который сам мне потом сказал, что он никак не думал, чтоб я мог выздороветь, Я понимал свое положение и наскоро, собравшись с силами, нацарапал, как мог, тощее духовное завещание, чтобы хоть долги мои были выплачены немедленно после моей смерти. Но умереть среди немцев мне показалось страшно. Я велел себя посадить в дилижанс и везти в Италию.

Гоголь – М. П. Погодину. Письма, II, стр. 80.

Я слышал, что Гоголь во время болезни имел какие-то видения, о которых он тогда же рассказал ходившему за ним с братской нежностью и заботою купцу Н. П. Боткину, который случился на то время в Риме (?).

С. Т. Аксаков. История знакомства, 46.

Боткин усадил Гоголя полумертвого в дилижанс и в… (*слово не разобрано*) он после двух месяцев выпил чашку бульона. Ехали день и ночь.

А. О. Смирнова. Автобиография, 274.

Добравшись до Триэста, я себя почувствовал лучше. Дорога, мое единственное лекарство, оказала и на этот раз свое действие. Я мог уже двигаться. Воздух, хотя в это время он был еще неприятен и жарок, освежил меня. О, как бы мне в это время хотелось сделать какую-нибудь дальнюю дорогу. Я чувствовал, я знал и знаю, что я бы восстановлен был тогда совершенно. Но я не имел никаких средств ехать куда-либо. С какою бы радостью я сделался фельдъегерем, курьером даже на русскую перекладную, и отважился бы даже в Камчатку, – чем дальше, тем лучше. Клянусь, я бы был здоров. Но мне всего дороги до Рима было три дня только.

Гоголь – М. П. Погодину. Письма, II, стр. 81.

Расставаясь около половины июня (*по н. ст.*), мы назначали съехаться в Венеции. Он хотел приехать туда из Вены в половине августа, а мне назначал последним сроком 1 сентября. Въезжая в Венецию 2-го сент., я дрожал, боялся его уже не застать в ней. Вместо этого встречаю его на площади св. Марка и узнаю, что мы с противоположных сторон въехали в один и тот же час. Болезнь, от которой он думал умереть, задержала его в Вене. К. счастью, с ним был (*Н. П.*) Боткин. Этот истинно добрый человек ухаживал за ним, как нянька. Болезнь эта надолго расстроила Николая Васильевича, без того уже расстроенного. Она отвлекла его внимание ото всего, и только в Венеции иногда проглядывали у него минуты спокойные, в которые дух его сколько-нибудь просветлял ужасную мрачность его состояния, большею частью по необходимости материального. Какие мысли светлые он тогда высказывал, какое сознание самого себя!.. В продолжение десяти дней, которые мы в Венеции прожили, мне казалось, что я был окружен каким-то волшебством. С утра до вечера мы катались по водяным улицам в гондоле, между мраморных палаццов, заезжали в церкви, галереи. Из гондолы выходили на площадь Марка, где проводили все остальное

время. Потом опять мы в гондоле возвращались на площадь взглянуть, как она оживает при лунном свете.

В. А. Панов – С. Т. Аксакову. Гоголь, Письма, II, 88 и 89.

(*В Венеции, где в то время жил Гоголь с Н. П. Боткиным.*)

Низенький, сухощавый, с весьма длинным, заостренным носом, с прядями белокурых волос, часто падавшими на маленькие прищуренные глазки. Гоголь выкупал эту неприглядную внешность любезностью, неистощимою веселостью и проблесками своего чудного юмора, которыми искрилась его беседа в приятельском кругу. Появление нового незнакомого лица, подобно дождевой туче, мгновенно набрасывало тень на сияющее доброю улыбкою лицо Гоголя: он умолкал, хмурился, как-то сокращался, как будто уходил сам в себя. Эту странность характера замечали в нем все его близкие знакомые. Со мною, однако же, он довольно скоро сошелся, и я не раз наслаждался его милою беседою. Он, Боткин и Панов предложили мне ехать с ними во Флоренцию, на что я, разумеется, с удовольствием согласился. Ехали мы в наемной четвероместной коляске, и дорогою мы играли в преферанс, подмостив экипажные подушки вместо стола. Впрочем, это не мешало нам восхищаться красивыми местностями, попадавшимися на дороге.

И. К. Айвазовский. Рус. Стар., 1878, июль, 423.

Через Болонью, Флоренцию, Ливурно, море, Чивитта-Веккию мы 25 сентября достигли Рима... Приехавши сюда, Гоголь уже, казалось, ничем более не был занят, как только своим желудком, поправлением своего здоровья. А между тем никто из нас не мог съесть столько макарон, сколько он их опускал иной раз. Скучал, беспрестанно жаловался, что даже ничего не может читать... Вообще мне кажется, что Гоголь ошибался, если думал, что ему стоит только выехать за границу, чтобы возвратить деятельность и силы, которые он боялся уже потерять. Хорошо, если бы так. Но, к несчастью, его расстройство не зависит от климата и места и не так легко поправляется. Может быть, целые десять лет его жизни постепенно расстраивали его организацию, которая теперь в ужасном разладе. Его физическое состояние действует, конечно, на силы душевные; поэтому он им чрезвычайно дорожит, и поэтому он ужасно мнителен. Все эти причины, действуя совокупно, приводят его иногда в такое состояние, в котором он истинно несчастнейший человек, и эти тяжкие минуты, в которые вы его видели, мне кажется, были здесь с ним чаще, продолжительнее и сильнее, нежели в России.

В. А. Панов – С. Т. Аксакову. Гоголь. Письма, II, 89, 88.

Я в Риме почувствовал себя лучше в первые дни. По крайней мере, я уже мог сделать даже небольшую прогулку, хотя после этого уставал так, как будто б я сделал десять верст. Я до сих пор не могу понять, как я остался жив, и здоровье мое в таком сомнительном положении, в каком я еще никогда не бывал. Чем далее, как будто опять становится хуже, и лечение, и медикаменты только растравляют. Ни Рим, ни небо, ни то, что вижу, не чувствую. Мне бы дорога теперь, да дорога в дождь, слякоть, через леса, через степи, на край света. Вчера и сегодня было скверное время – и броситься в дилижанс или хоть на перекладную. Двух минут я не мог посидеть в комнате – мне так сделалось тяжело – и отправился бродить по дождю. Я устал после нескольких шагов, но, право, почувствовал как будто бы лучше себя…

Со страхом я гляжу сам на себя. Я ехал бодрый, свежий, на труд, на работу. Теперь… Боже! столько пожертвований сделано для меня моими друзьями… когда я их выплачу! А я думал, что в этом году уже будет готова у меня вещь, которая за одним разом меня выкупит, снимет тяжести, которые лежат на моей бессовестной совести. Что предо мною впереди? Боже! я не боюсь малого срока жизни, но я был уверен по такому свежему, доброму началу, что мне два года будет дано плодотворной жизни, – и теперь от меня скрылась эта сладкая уверенность. Без надежды, без средств восстановить здоровье! Никаких известий из Петербурга: надеяться ли мне на место при Кривцове? По намерениям Кривцова, о которых я узнал здесь, мне нечего надеяться, потому что Кривцов искал на это место европейской знаменитости по части художеств… Но бог с ним, со всем этим! Я равнодушен теперь к этому. К чему мне это послужит? На квартиру да на лекарство разве, на две вещи, равные ничтожностью и бесполезностью. Если к ним не присоединится наконец третья, венчающая все, что влачится на свете?

Часто, в теперешнем моем положении, мне приходит вопрос: зачем я ездил в Россию? по крайней мере, меньше лежало бы на моей совести. Но как только я вспомню о моих сестрах, – нет, мой приезд не бесполезен был. Клянусь, я сделал много для моих сестер! Они после увидят это. Безумный, я думал, ехавши в Россию: «Ну, хорошо, что я еду в Россию: у меня уже начинает простывать маленькая злость, так необходимая автору, против того-сего, всякого рода родных плевел»; теперь я обновлен, и все это живее предстанет моим глазам, – вместо этого что я вывез? Все дурное изгладилось из моей памяти, даже прежнее, и вместо этого одно только прекрасное и чистое со мною, все, что удалось мне еще более узнать в друзьях моих, – и я в моем болезненном состоянии поминутно делаю упрек себе: «И зачем я ездил в Россию!» Теперь не могу глядеть я ни на Колизей, ни на бессмертный купол, ни на воздух, ни на все, глядеть всем» глазами, совершенно на них. Глаза мои видят другое, мысль моя развлечена, она с вами.

Гоголь – М. П. Погодину, 17 октября 1840 г., из Рима. Письма, II, 82.

Хотя я в душе никогда не переставал быть убежденным, что Гоголь непременно пробудится с новыми силами, но, признаюсь, мне кажется, – я уже забывал видеть в нем Гоголя, как вдруг в одно утро, дней десять тому назад, он меня угостил началом нового произведения. Это будет, как он мне сказал, трагедия. План ее он задумал еще в Вене, начал писать здесь. Действие в Малороссии. В нескольких сценах, которые он уже написал и прочел мне, есть одно лицо комическое, которое, выражаясь не столько в действии, сколько в словах, теперь уже совершенство. О прочих судить нельзя: они должны еще обрисоваться в самом действии. Главное лицо еще не обозначилось… Если бы этого не было, то значило бы, что все погибло. Это должно было быть. Во-первых, он один на своей прежней квартире. Ничто его не рассеивает. Идти почти некуда более, как только к нам да к двум-трем художникам. Часов пять в день должно уже непременно просидеть одному; надо же что-нибудь делать. Но главное то, что в Риме невозможно не заниматься; или надо быть больным, без движения. Здесь человека, который сколько-нибудь посвятил себя умственной жизни, все вызывает к деятельности, к труду, все из него вытягивает мысль.

В. А. Панов – С. Т. Аксакову. Гоголь, Письма, II, 89.

Однажды утром в праздничный день сговорился я с университетским своим товарищем Пановым идти за город, в виллу Альбани, которую особенно часто посещал я. Положено было сойтись нам в caffe greco, куда в эту пору дня обыкновенно собирались русские художники. Когда явился я в кофейню, человек пять-шесть из них сидели вокруг стола, приставленного к двум деревянным скамьям, которые соединяются между собой там, где стены образуют угол комнаты. Это было налево от входа. Собеседники болтали и шумели. Только в том углу сидел, сгорбившись над книгою, какой-то неизвестный мне господин, и в течение получаса, пока я поджидал своего Панова, он так погружен был в чтение, что ни разу ни с кем не перемолвился словом, ни на кого не обратил взгляда, будто окаменел в своей невозмутимой сосредоточенности. Когда мы с Пановым вышли из кофейни, он спросил меня: «ну, видел? Познакомился с ним? Говорил?» Оказалось, что я целых полчаса просидел за столом с самим Гоголем. Он читал тогда что-то из Диккенса, которым, по словам Панова, в то время был он заинтересован.

Гоголь прожил вместе с Пановым на одной квартире всю зиму 1840–1841 года. На все это время Панов вполне предался неустанным попечениям о Гоголе, был для него и радушным хозяином, и

заботливою нянькою, когда ему нездоровилось, и домашним секретарем, когда нужно было что переписать, даже услужливым приспешником на всякую мелкую потребу. Гоголь желал познакомиться с лирическими произведениями Франциска Ассизского, и я через Панова доставил их ему в издании старинных итальянских поэтов.

Как-то случилось, что в течение двух или трех недель ни разу не привелось нам с Пановым видеться; ни слуху, ни духу, – совсем запропастился. Наконец, является ко мне, но такой странный и необычный, каким я его никогда не видывал, умиленный и просветленный. Я спрашиваю его: «Что с тобою? куда ты девался?» – «Все это время, – отвечал он, – был я занят великим делом, таким, что ты и представить себе не можешь; продолжаю его и теперь». Я подумал, что где-нибудь в развалинах откопан новый Лаокоон или новый Аполлон Бельведерский. – «Нет, совсем не то, – отвечал он, – дело это наше родное, русское. Гоголь написал великое произведение, лучше всех Лаокоонов и Аполлонов: называется оно: «Мертвые души», а я его теперь переписываю набело». Панов не мог ничего сообщить мне о содержании нового произведения, потому что Гоголь желал сохранить это дело в тайне. Местожительство Гоголя в Риме зимою 1840—41 года было на Via Sistina, в той ее половине, которая спускается от Capo-le-Case к площади Барберини. Нижняя половина улицы Систина называлась тогда Via Felice.

Ф. И. Буслаев. Мои воспоминания. М., 1897. Стр. 258 и сл.

Во время неоднократного и продолжительного пребывания своего в Риме Гоголь выучился итальянскому языку, так что мог свободно объясняться, даже писал иногда из Рима в Петербург по-итальянски. Раз даже, в остерии, в обществе художников, он произнес речь на итальянском языке, без приготовления.

В. П. Гаевский. Современник, 1852, X, 143.

В Рим приехал Гоголь. Люди, знавшие его и читавшие его сочинения, были вне себя от восторга и искали случая увидать его за обедом или за ужином, но его несообщительная натура и неразговорчивость помаленьку охладили этот восторг.

Доброта Гоголя была беспримерна, особенно ко мне и к моему большому труду «Преображение» (*гравюра с картины Рафаэля «Преображение»*). Он рекомендовал меня, где мог. Благодаря его огромному знакомству это служило мне поощрением и придавало новую силу моему желанию окончить гравюру. Гоголь сидел обыкновенно, опершись руками о колени, зачастую имея перед собою какие-нибудь мелкие покупки: они развлекали его. Часто встретишь его, бывало, в

белых перчатках, щегольском пиджаке и синего бархата жилете; он всегда замечал, шутя: «Вы – Рафаэль первого манера», – и мы расходились смеясь. Гоголь многим делал добро рекомендациями, благодаря которым художники получали новые заказы. Его портрет, писанный Моллером, – верх сходства.

Ф. И. Иордан. Записки. М., 1918. Стр. 183. Ср. М. Боткин. «А. А. Иванов». Воспоминания Иордана, стр. 398. Сводный текст.

В Риме у нас образовался свой особый кружок, совершенно отдельный от прочих русских художников. К этому кружку принадлежали: Иванов, Моллер и я; центром же и душой всего был Гоголь, которого мы все уважали и любили. Иванов к Гоголю относился не только с еще большим почтением, чем мы все, но даже (особенно в тридцатых и в начале сороковых годов) с каким-то подобострастием. Мы все собирались всякий вечер на квартире у Гоголя, по итальянскому выражению, «alle ventitre» (в 23-м часу, т. е. около $7^1/_2$ часов вечера), обыкновенно пили русский хороший чай и оставались тут часов до девяти или до десяти с половиной – не дольше, потому что для своей работы мы все вставали рано, значит, и ложились не поздно. В первые годы Гоголь всех оживлял и занимал.

Про свои работы ни Гоголь, ни Иванов, – эта неразлучная парочка, никогда не разговаривали с нами. Впрочем, может быть, они про них рассуждали друг с дружкой, наедине, когда нас там не было.

Ф. И. Иордан. Воспоминания. М. Боткин. «А. А. Иванов», 398. Записки, 209. Сводный текст.

А. А. Иванов был странная личность; он всегда улыбался и в Гоголе видел какого-то пророка. Гоголь давал ему наставления, которые Иванов рабски слушал. Я и Моллер, всегдашние вечерние посетители Гоголя, были в его глазах ничто перед Гоголем, и я душевно смеялся над его увлечением.

Ф. И. Иордан. Записки, 187.

Я здоров. Чувствую даже свежесть, занимаюсь переправками, выправками и даже продолжением «Мертвых Душ». Вижу, что предмет становится глубже и глубже. Даже собираюсь в наступающем году печатать первый том. Многое совершилось во мне в немногое время; но я не в силах теперь печатать о том, не знаю почему, – может быть, по тому самому, по чему не в силах был в Москве сказать тебе ничего такого, что бы оправдало меня перед тобою во многом. Когда-нибудь в обоюдной встрече, может быть, на меня найдет такое расположение, что слова мои потекут, и я, с чистой откровенностью ребенка, поведаю

состояние души моей, причинившее многое вольное и невольное. О, ты должен знать, что тот, кто создан сколько-нибудь творить в глубине души, жить и дышать своими творениями, тот должен быть странен во многом! Боже, другому человеку, чтобы оправдать себя, достаточно двух слов, а ему нужны целые страницы! Как это тягостно иногда! Но довольно. Я покоен. Свежий воздух и приятный холод здешней зимы действует на меня животворительно. Я так покоен, что даже не думаю вовсе о том, что у меня ни копейки денег. Живу кое-как в долг. Мне теперь все трын-трава. Если только мое свежее состояние продолжится до весны или лета, то, может быть, мне удастся еще приготовить что-нибудь к печати, кроме первого тома «Мертвых Душ». Но лето, лето... Мне непременно нужна дорога, дорога далекая. Как это сделать? Но... бог милостив.

Гоголь – М. П. Погодину, 28 декабря 1840 г., из Рима. Письма, II, стр. 94.

Я теперь приготовляю к совершенной очистке первый том «Мертвых Душ». Переменяю, перечищаю, многое перерабатываю вовсе, и вижу, что их печатание не может обойтись без моего присутствия. Между тем дальнейшее продолжение его выясняется в голове моей чище, величественней, и теперь я вижу, что может быть со временем кое-что колоссальное, если только позволят слабые мои силы. По крайней мере, верно, немногие знают, на какие сильные мысли и глубокие явления может навести незначащий сюжет, которого первые невинные и скромные главы вы уже знаете. Болезнь моя много отняла у меня времени; но теперь, слава богу, я чувствую даже по временам свежесть, мне очень нужную. Я это приписываю отчасти холодной воде, которую я стал пить по совету доктора. Воздух теперь чудный в Риме, светлый. Но лето, лето это я уже испытал – мне непременно нужно провести в дороге. Я повредил себе много, что зажился в душной Вене. Но что же было делать? признаюсь – у меня не было средств тогда предпринять путешествие; у меня слишком было все рассчитано. О, если б я имел возможность всякое лето сделать какую-нибудь дальнюю, дальнюю дорогу! Дорога удивительно спасительная для меня... Я хотел было обождать этим письмом и послать вместе с ним переменные страницы в «Ревизоре» и просить вас о напечатании его вторым изданием – и не успел. Никак не хочется заниматься тем, что нужно к спеху, а все бы хотелось заняться тем, что не к спеху. А между тем оно было бы очень нужно скорее. У меня почти дыбом волос, как вспомню, в какие я вошел долги. Я знаю, что вам подчас и весьма нужны деньги; но я надеюсь через неделю выслать вам переправки и приложения к «Ревизору», которые, может быть, заставят лучше покупать его. Хорошо бы, если бы он выручил прежде должные вам, а потом тысячу, взятую у Панова, которую я пообещал ему уплатить в феврале.

Гоголь – С. Т. Аксакову, 28 декабря 1840 г., из Рима. Письма. II, стр. 91.

Гоголь, желая разделаться как-нибудь со своими долгами, против воли решился сделать второе издание своего «Ревизора» и поручил это дело Аксакову; но Аксаков, будучи в это время удручен потерею сына, не мог принять участие в этом деле, которое принял на себя всецело Погодин, и, вопреки желанию Гоголя, напечатал «Ревизора» со всеми приложениями, предварительно поместив сцену из него в своем «Москвитянине». Между тем Аксаков не советовал Погодину помещать в «Москвитянине» добавочные сцены к «Ревизору» на том основании, что Гоголь рассердится. На это Погодин писал Аксакову: «Да помилуйте, Сергей Тимофеевич, что я, в самом деле, за козел искупления? Неужели можно предполагать, что он скажет: пришли и присылай, бегай и делай, и не смей подумать об одном шаге для себя. Да если бы я изрезал в куски «Ревизора» и рассовал его по кускам своего журнала, то и тогда Гоголь не должен был бы сердиться на меня...» На это Аксаков сухо отвечал Погодину: «Я только советовал вам не делать того, чего бы я сам не сделал... Чем более мне обязан человек, тем менее я позволю себе без его воли распоряжаться его собственностью».

Н. П. Барсуков, VI, 230.

Я должен с вами поговорить о деле важном. Но об этом сообщит вам Погодин. Вы вместе с ним сделайте совещание, как устроиться лучше. Я теперь прямо и открыто прошу помощи, ибо имею право и чувствую это в душе. Да, друг мой! я глубоко счастлив. Несмотря на мое болезненное состояние, которое опять немного увеличилось, я слышу и знаю дивные минуты. Создание чудное творится и совершается в душе моей, и благодарными слезами не раз теперь полны глаза мои. Здесь явно видна мне святая воля бога: подобное внушение не происходит от человека; никогда не выдумать ему такого сюжета! О, если бы еще три года с такими свежими минутами! Столько жизни прошу, сколько нужно для окончания труда моего; больше ни часу мне не нужно. Теперь мне нужны необходимо дорога и путешествие: они одни, как я уже говорил, восстановляют меня. У меня все средства истощились уже несколько месяцев. Для меня нужно сделать заем. Погодин вам скажет. В начале же 42 года выплатится мною все, потому что одно то, которое уже у меня готово и которое, если даст бог, напечатаю в конце текущего года, уже достаточно для уплаты.

Теперь я ваш; Москва – моя родина. В начале осени я прижму вас к моей русской груди. Все было дивно и мудро расположено высшею волею: и мой приезд в Москву, и мое нынешнее путешествие в Рим, – все это благо. Никому не говорите ничего о том, что буду к вам, ни о том, что я тружусь, – словом, ничего. Но я чувствую какую-то робость

возвращаться одному. Мне тягостно и почти невозможно теперь заняться дорожными мелочами и хлопотами. Мне нужно спокойствие и самое счастливое, самое веселое, сколько можно, расположение души; меня теперь нужно беречь и лелеять. Я придумал вот что: пусть за мною приедут Михаил Семенович (*Щепкин*) и Константин Сергеевич (*Аксаков*): им же нужно, – Михаилу Семеновичу для здоровья, Константину Сергеевичу для жатвы, за которую уже пора ему приняться. А милее душе моей этих двух, которые могли бы за мною приехать, не могло бы для меня найтиться никого. Я бы ехал тогда с тем же молодым чувством, как школьник в каникулярное время едет из надоевшей школы домой под родную крышу и вольный воздух. Меня теперь нужно лелеять не для меня, нет! Они сделают не бесполезное дело. Они привезут с собой глиняную вазу. Конечно, эта ваза теперь вся в трещинах, довольно стара и еле держится; но в этой вазе теперь заключено сокровище; стало быть, ее нужно беречь.

Гоголь – С. Т. Аксакову, 5 марта 1841 года, из Рима. Письма, II, стр. 97.

Погодин, озабоченный привлечением Гоголя к «Москвитяну» (*журналу, который начал издавать Погодин*), зашел как-то к Аксаковым и потом записал следующее в своем дневнике: «Толковали о журнале, о Гоголе, его характере и выходках. Решил написать письмо: разоряюсь, выручай. Как бы было хорошо, если б теперь поддержать впечатление эффектными статьями». (2 февр. 1841 г.) С своей стороны и С. Т. Аксаков решился просить Гоголя, чтоб он прислал что-нибудь в «Москвитянин».

Н. П. Барсуков, VI, 229.

Вы пишете, чтобы я прислал что-нибудь в журнал Погодину. Боже, если бы вы знали, как тягостно, как разрушительно для меня это требование, – как вдруг нагнало оно на меня тоску и мучительное состояние! Теперь на один миг оторваться мыслью от святого своего труда – для меня уже беда. Никогда б не предложил мне в другой раз подобной просьбы тот, кто бы мог узнать на самом деле, чего он лишает меня. Если бы я имел деньги, клянусь, я бы отдал все деньги, сколько б у меня их ни было, вместо отдачи своей статьи! Но, так и быть, я отыщу какой-нибудь старый лоскуток и просижу над переправкой и окончательной отделкой его, боже! может быть, две-три недели, ибо теперь для меня всякая малая вещь почти такого же требует обдумыванья, как великая, и, может быть, еще большего и тягостно-томительнейшего труда, ибо он будет почти насильственный, и всякую минуту я буду помнить бесплодную великость своей жертвы – преступную свою жертву. Нет, клянусь, грех, сильный грех, тяжелый грех отвлекать меня! Только одному неверующему словам моим и недоступному мыслям высоким позволительно это сделать. Труд мой

велик, мой подвиг спасителен. Я умер теперь для всего мелочного; и для презренного ли журнального пошлого занятия ежедневным дрязгом я должен совершать непрощаемые преступления? и что поможет журналу моя статья? Но статья будет готова и недели через три выслана. Жаль только, если она усилит мое болезненное расположение. Но, я думаю, нет. Бог милостив... Дорога, дорога! Я сильно надеюсь на дорогу. Она же теперь будет для меня вдвойне прекрасна. Я увижу моих друзей, моих родных друзей. Не говорите о моем приезде никому, и Погодину скажите, чтоб он также не говорил; если же прежде об этом проговорились, то теперь говорите, что это неверно еще. Ничего также не сказывайте о моем труде. Обнимите Погодина и скажите ему, что я плачу, что не могу быть полезным ему со стороны журнала; но что он, если у него бьется русское чувство любви к отечеству, он должен требовать, чтоб я не давал ему ничего.

В мае месяце я полагаю выехать из Рима, месяца жаркие провесть где-нибудь в холодных углах Европы, – может быть, в Швейцарии, и к началу сентября в Москву – обнять и прижать вас сильно.

Гоголь – С. Т. Аксакову, 13 марта 1841 г., из Рима. Письма, II, 99.

Я должен признаться, что финансовые расчеты журналиста не казались мне тогда так противными, как теперь, и что вообще я не умел понимать во всей полноте страдальческого положения Гоголя. Очевидным доказательством тому служит мое письмо к Гоголю, в котором я просил, чтоб он прислал что-нибудь в журнал Погодину. Я особенно должен обвинять себя потому, что только моя просьба, как мне кажется, могла заставить Гоголя оторваться от своего труда, пожертвовать своею итальянскою повестью «Анунциата», которой начало он нам читал, и сделать из нее отдельную статью под названием «Рим», которая впоследствии была напечатана в «Москвитянине», Впрочем, у Гоголя недостало сил исполнить свое обещание так скоро; он, точно, оставил было «Мертвые Души» и принялся за переделку «Анунциаты». Но он был так занят, так погружен в мир своей поэмы, что работа не спорилась и сделалась для него невыносимою. Он бросил ее и докончил уже в Москве.

С. Т. Аксаков. История знакомства, 51.

Просьба Гоголя о деньгах была исполнена, и в дневнике Погодина мы читаем: «Письмо от Гоголя, который ждет денег, а мне не хотелось бы посылать. Между тем я думал поутру, как бы приобрести равнодушие к деньгам». Но как бы то ни было, деньги были отправлены.

Н. П. Барсуков, VI, 231.

Благодарю много за деньги. Я их получил. Но это, однако ж, как ты сам знаешь, только половина. Я расплатился с долгами и сижу на месте. Если ты не выслал остальных двух тысяч до получения сего письма, то мне беда, беда, потому – придется оставаться в Риме на самое жаркое время лета, которое, во-первых, у меня совершенно пропадет, а во-вторых, может нанести значительный вред моему здоровью. Досадно мне очень, как подумаю, что мне придется возвращаться одному, почти страшно: перекладная и все эти проделки дорожные, которые и в прежние времена не особенно были легки, теперь, при теперешнем моем положении, мне кажутся особенно тягостны. Если бы бог послал мне счастья, т. е. попутчика с коляской, было бы и весьма в пору.

Гоголь – М. П. Погодину, 15 мая 1841 г., из Рима. Письма, II, 107.

(*В среду на страстной неделе, 28 апреля 1841 года, Анненков приезжает в Рим: в русском посольстве узнает адрес Гоголя и на следующий день отправляется к нему*.)

Мы, наконец, очутились в Strada Felice, у дома, носившего желанный 126-й нумер. В последнем этаже дома, в просторной передней, я наткнулся на сухого краснощекого старичка, владельца этажа, Челли, и спросил его о квартире Гоголя. Старичок объявил, что Гоголя нет дома, что он уехал за город, никому не известно, когда будет назад, да и по прибытии, вероятно, сляжет в постель и никого принимать не станет. Видно было, что старичок выговаривал затверженный урок, который ему крепко-накрепко был внушен Гоголем, боявшимся посетителей, как огня. Но покуда я старался убедить его в своих правах на свидание с его жильцом, дверь прямо перед нами отворилась, и из нее высунулась голова самого Гоголя. Он шутливо сказал старичку: «Разве вы не знаете, что это Жюль[39] из Петербурга? Его надо впустить. Здравствуйте. Что же вы не приезжали к карнавалу?» – прибавил он по-русски, вводя меня в свою комнату и затворяя двери. Комната Николая Васильевича была довольно просторна, с двумя окнами, имевшими решетчатые ставни изнутри. О бок с дверью стояла его кровать, посередине большой круглый стол; узкий соломенный диван, рядом с книжным шкафом, занимал ту стену ее, где пробита была другая дверь. Дверь эта вела в соседнюю комнату, тогда принадлежавшую В. А. Панову, а по отъезде его в Берлин доставшуюся мне. У противоположной стены помещалось письменное бюро в рост Гоголя, обыкновенно писавшего на нем свои произведения стоя. По бокам бюро – стулья с книгами, бельем, платьем в полном беспорядке. Каменный мозаичный пол звенел под ногами, и только у письменного бюро да у кровати разостланы были небольшие коврики. Ни малейшего украшения, если исключить ночник древней формы, на одной ножке и с красивым желобком, куда наливалось масло. Ночник или, говоря пышнее, римская лампа стояла на окне, и по

вечерам всегда только она одна и употреблялась вместо свечей. Гоголь платил за комнату 20 франков в месяц.

Гоголь обрадовался нашей новой встрече, расспрашивал, каким путем прибыл я в Италию, и весьма сожалел, что предварительно я не побывал в Париже. Ему казалось, что после Италии Париж становится сух и безжизнен, а значение Италии бросается само собой в глаза после парижской жизни и парижских интересов. Впоследствии он часто развивал эту мысль. Между тем время было обеденное. Он повел меня в известную историческую австерию под фирмой «Lepre» (заяц), где за длинными столами, шагая по грязному полу и усаживаясь просто на скамейках, стекается к обеденному часу разнообразнейшая публика: художники, иностранцы, аббаты, читтадины, фермеры, принчипе, смешиваясь в одном общем говоре и истребляя одни и те же блюда, которые от долгого навыка поваров действительно приготовляются непогрешительно. Это все тот же рис, барашек, курица, – меняется только зелень по временам года. Простота, общежительность итальянская всего более кидаются в глаза, заставляя предчувствовать себя и во всех других сферах жизни. Гоголь поразил меня, однако, капризным, взыскательным обращением своим с прислужником. Раза два менял он блюдо риса, находя его то переваренным, то недоваренным, и всякий раз прислужник переменял блюдо с добродушной улыбкой, как человек, уже свыкшийся с прихотями странного форестьера (*иностранца*), которого он называл синьором Николо. Получив, наконец, тарелку риса по своему вкусу. Гоголь приступил к ней с необычайной алчностью, наклоняясь так, что длинные волосы его упали на самое блюдо, и поглощая ложку за ложкой со страстью и быстротой, какими, говорят, обыкновенно отличаются за столом люди, расположенные к ипохондрии. В середине обеда к нам подсел довольно плотный мужчина, с красивой круглой бородкой, с необычайно умными, зоркими карими глазами и превосходным славянским обликом, где доброта и серьезная проницательная мысль выражалась, так сказать, осязательно; это был А. Иванов (*художник, автор картины «Явление Христа народу»*), с которым я тут впервые познакомился. Опорожнив свое блюдо, Гоголь откинулся назад, сделался весел, разговорчив и начал шутить с прислужником, еще так недавно осыпаемым строгими выговорами и укоризнами. Намекая на древний обычай возвещать первое мая и начало весны пушкой с крепости св. Ангела и на соединенные с ним семейные обыкновения, он спрашивал: намеревается ли почтенный сервиторе piantar il Magio (слово в слово – сажать май месяц) или нет. Сервиторе отвечал, что будет ждать примера от синьора Николо и т. д. По окончании расчета за обед Гоголь оставил прислужнику, как и все другие посетители, два байока, а когда я с своей стороны что-то переложил против этой скудной суммы, он остановил меня замечанием: «Не делайте этого никогда. Здесь есть обычаи, которые дороже вашей щедрости. Вы можете

оскорбить человека. Везде вас поблагодарят за прибавку, а здесь посмеются». Известно, что житейской мудрости в нем было почти столько же, сколько и таланта. Прямо из австерии перешли мы на Piazza di Espagna, в кофейню «Del buon gusto», кажется, – уселись втроем в уголку за чашками кофе, и тут Гоголь до самой ночи внимательно и без устали слушал мои рассказы о Петербурге, литературе, литературных статьях, журналах, лицах и происшествиях, расспрашивая и возбуждая повествование, как только начинало оно ослабевать. Он был в своей тарелке и, по счастливому выражению гравера Ф. И. Иордана, мог брать, что ему нужно было или что стоило этого, полной рукой, не давая сам ничего. Притом же ему, видимо, хотелось исчерпать человека вдруг, чтоб избавиться от скуки возвращаться к нему еще несколько раз. Наслаждение способностью читать в душе и понимать самого человека, по поводу того, что он говорит, – способностью, которой он, как все гениальные люди, обладал в высшей степени, тоже находило здесь материал… Гоголь прерывал иногда беседу замечаниями, чрезвычайно глубокими, но не возражал ни на что и ничего не оспаривал. Раз только он обратился ко мне с весьма серьезным, настоятельным требованием, имевшим вместе с тем юмористический оттенок, удивительно грациозно замешанный в его слова. Дело шло о Гребенке, как о подражателе Николая Васильевича, старавшемся даже иногда подделаться под его первую манеру рассказа. «Вы с ним знакомы, – говорил Гоголь, – напишите ему, что это никуда не годится. Как же это можно, чтоб человек ничего не мог выдумать? Непременно напишите, чтоб он перестал подражать. Что ж это такое в самом деле? Он вредит мне. Скажите просто, что я сержусь и не хочу этого. Ведь он же родился где-нибудь, учился же грамоте где-нибудь, видел людей и думал о чем-нибудь. Чего же ему более для сочинения? Зачем же он в мои дела вмешивается? Это неблагородно, напишите ему. Если уже нужно ему за другим ухаживать, так пусть выберет кто поближе к нему живет!.. Все же будет легче. А меня пусть оставит в покое, пусть непременно оставит в покое». Но в голосе и в выражении его было так много космического жара, что нельзя было не смеяться. Так сидели мы до самой ночи. Гоголь проводил меня потом к моей квартире и объявил, что завтра утром он придет за мной и покажет кой-что в городе.

На другой день он, действительно, явился и добродушнейшим образом исполнил свое обещание. Он повел меня к Форуму, останавливал излишнюю ярость любопытства, обыкновенные новичкам порывы к частностям и только указывал точки, с которых должно смотреть на целое, и способы понимать его. В Колизее он посадил меня на нижних градинах, рядом с собою, и, обводя глазами чудное здание, советовал на первый раз только проникнуться им. Вообще, он показывал Рим с таким наслаждением, как будто сам открыл его…

Это был тот же самый чудный, веселый, добродушный Гоголь, которого мы знали в Петербурге до 1836 г., до первого отъезда за границу. (Мы исключаем его быструю поездку в Любек в 1829 г., с столь же быстрым возвращением назад.) Правда, некоторые черты, как увидим, уже показывали начало нового и последнего его развития, но они еще мелькали на поверхности его характера, не сообщая ему одной господствующей краски. 1841 год был последним годом его свежей, мощной, многосторонней молодости. Он стоял на рубеже нового направления, принадлежа двум различным мирам. По тайным стремлениям своей мысли он уже относился к строгому, исключительному миру, открывавшемуся впереди; по вкусам, некоторым частным воззрениям и привычкам художнической независимости – к прежнему направлению. Последнее еще преобладало в нем, но он уже доживал сочтенные дни своей молодости, ее стремлений, борьбы, падений и – ее славы.

На третий день моего приезда в Рим, по случаю наступления праздников святой недели, отдался весь ликованию. Как в эти дни, так и в предшествовавшие им я почти не видал Гоголя, будучи занят глазеньем на все духовные процессии, которыми наполнился город. Гоголь посвящал меня в церемонии и направлял поиски, но сам не выходил из дома и не переменял образ жизни. Вечером в светлое воскресение мы ходили с Гоголем и двумя русскими художниками по площади собора, любуясь на чудное освещение его купола и перемену огней, внезапно производимую в известный час. Купол горел тихо, ровно в мрачной синеве неба, посреди чудной, теплой весенней ночи, под шепот водопадов соборной площади, под говор народа, двигавшегося во всех направлениях. Тут положено было, между прочим, что я перейду в комнату Панова тотчас, как он уедет в Берлин, и, сделавшись близким соседом Гоголя, посвящу один час каждого дня на переписку, под его диктовку, уже совсем изготовленной первой части «Мертвых Душ».

П. В. Анненков. Гоголь в Риме. Литературные воспоминания, 10–11, 12–14, 31–32.

П. В. Анненков остановился у Гоголя, с которым был дружен, несмотря на все несходство их характеров. Анненков был характера веселого, открытого, что Гоголю не очень-то нравилось.

Ф. И. Иордан. Записки, 212.

Прежде меня жил с Гоголем В. А. Панов, комнату которого я и занял. Это был молодой, добрый и несколько туповатый славянофил.

П. В. Анненков – М. М. Стасюлевичу. Стасюлевич и его современники, III, 327.

Поселившись рядом с Гоголем, в комнате, двери которой почти всегда были отворены, я связан был с Николаем Васильевичем только одним часом дня, когда занимался перепиской «Мертвых Душ». Остальное время мы жили розно, и каждый по-своему. Правда, в течение дня сталкивались мы друг у друга довольно часто, а вечера обыкновенно проводили вместе, но важно было то, что между нами существовало молчаливое условие не давать чувствовать себя товарищу ни под каким видом. Гоголь вообще любил те отношения между людьми, где нет никаких связующих прав и обязательств, где от него ничего не требовалось. Он тогда только и давал что-либо от себя. В Риме система эта, предоставив каждому полную свободу действий, поставила каждого в нравственную независимость, которою он всего более дорожил.

Гоголь вставал обыкновенно очень рано и тотчас принимался за работу. На письменном его бюро стоял уже графин с холодной водой из каскада Терни, и в промежутках работы он опорожнял его дочиста, а иногда и удвоивал порцию. Это была одна из подробностей того длинного процесса самолечения, которому он следовал всю свою жизнь. Он имел даже особенный взгляд на свой организм и весьма серьезно говорил, что устроен совсем иначе, чем другие люди, и, если не обманывает меня память, с каким-то извращенным желудком. Я относился тогда несколько скептически к его жалобам на свои немощи, и помню, что Гоголь возражал мне с досадой и настойчиво: «Вы этого не можете понять, – говорил он, – это так: я себя знаю». При наступившем вскоре римском зное Гоголь довольно часто жаловался на особенное свойство болезненной своей природы – никогда не подвергаться испарине. «Я горю, но не потею», – говорил он. Все это не мешало ему следовать вполне своим обыкновенным привычкам. Почти каждое утро заставал я его в кофейной «Del buon gusto» отдыхающим на диване после завтрака, состоявшего из доброй чашки кофе и жирных сливок, за которые почасту происходили у него ссоры с прислужниками кофейни; яркий румянец пылал на его щеках, и глаза светились необыкновенно. Затем отправлялись мы в разные стороны до условного часа, когда положено было сходиться домой для переписки поэмы. Тогда Гоголь крепче притворял внутренние ставни окон от неотразимого южного солнца, я садился за круглый стол, а Николай Васильевич, разложив перед собой тетрадку на том же столе подалее, весь уходил в нее и начинал диктовать мерно, торжественно, с таким чувством и полнотой выражения, что главы первого тома «Мертвых Душ» приобрели в моей памяти особенный колорит. Это было похоже на спокойное, правильно-разлитое вдохновение, какое порождается обыкновенно глубоким созерцанием предмета. Николай Васильевич ждал терпеливо моего последнего слова и продолжал новый период тем же голосом, проникнутым сосредоточенным чувством и мыслью. Превосходный тон

этой поэтической диктовки был так истинен в самом себе, что не мог быть ничем ослаблен или изменен. Часто рев итальянского осла пронзительно раздавался в комнате, затем слышался удар палки по бокам его и сердитый вскрик женщины: «Ecco, ladvone!» (Вот тебе, разбойник!), – Гоголь останавливался, проговаривал, улыбаясь: «как разнежился, негодяй!» – и снова начинал вторую половину фразы с той же силой и крепостью, с какой вылилась у него ее первая половина. Случалось также, что он прекращал диктовку на моих орфографических заметках, обсуживал дело и, как будто не было ни малейшего перерыва в течении его мыслей, возвращался свободно к своему тону, к своей поэтической ноте. Помню, например, что, передавая ему написанную фразу, я вместо продиктованного им слова «щекатурка» употребил «штукатурка». Гоголь остановился и спросил: «отчего так?» – «Да правильнее, кажется». Гоголь побежал к книжным шкафам своим, вынул оттуда какой-то лексикон, приискал немецкий корень слова, русскую его передачу и, тщательно обследовав все доводы, закрыл книгу и поставил опять на место, сказав: «А за науку спасибо». Затем он сел по-прежнему в кресло, помолчал немного, и снова полилась та же звучная, по-видимому, простая, но возвышенная и волнующая речь. Случалось также, что прежде исполнения моей обязанности переписчика я в некоторых местах опрокидывался назад и разражался хохотом. Гоголь глядел на меня хладнокровно, но ласково улыбался и только приговаривал: «Старайтесь не смеяться, Жюль». Действительно, я знал, что переписка замедляется подобным выражением личных моих ощущений и делал усилия над самим собой, но в те годы усилия эти редко сопровождались успехом. Впрочем, сам Гоголь иногда следовал моему примеру и вторил мне при случае каким-то сдержанным полусмехом, если могу так выразиться. Это случилось, например, после окончания «Повести о капитане Копейкине». Когда по окончании повести я отдался неудержимому порыву веселости. Гоголь смеялся вместе со мною и несколько раз спрашивал: «Какова повесть о капитане Копейкине?» – «Но увидит ли она печать когда-нибудь?» – заметил я. «Печать – пустяки! – отвечал Гоголь с самоуверенностью: – Все будет в печати». Еще гораздо сильнее выразилось чувство авторского самодовольствия в главе, где описывается сад Плюшкина. Никогда еще пафос диктовки, помню, не достигал такой высоты в Гоголе, сохраняя всю художническую естественность, как в этом месте. Гоголь даже встал с кресел (видно было, что природа, им описываемая, носится в эту минуту перед глазами его) и сопровождал диктовку гордым, каким-то повелительным жестом. По окончании всей этой изумительной VI-й главы я был в волнении и, положив перо на стол, сказал откровенно: «Я считаю эту главу, Николай Васильевич, гениальной вещью». Гоголь крепко сжал маленькую тетрадку, по которой диктовал, в кольцо и произнес тонким, едва слышным голосом: «Поверьте, что и другие не хуже ее». В ту же минуту, однако ж, возвысив голос, он продолжал:

«Знаете ли, что нам до cenare (ужина) осталось еще много: пойдемте смотреть сады Саллюстия, которых вы еще не видали, да и в виллу Людовизи постучимся». По светлому выражению его лица, да и по самому предложению видно было, что впечатления диктовки привели его в веселое состояние духа. Это оказалось еще более на дороге. Гоголь взял с собой зонтик на всякий случай, и, как только повернули мы налево от дворца Барберини в глухой переулок, он принялся петь разгульную малороссийскую песню, наконец пустился просто в пляс и стал вывертывать зонтиком на воздухе такие штуки, что не далее двух минут ручка зонтика осталась у него в руках, а остальное полетело в сторону. Он быстро поднял отломленную часть и продолжал песню. Так отозвалось удовлетворенное художническое чувство: Гоголь праздновал мир с самим собою, и в значении этого бурного порыва веселости, который вполне напомнил мне старого Гоголя, я не ошибся и тогда. В виллу Людовизи нас, однако ж, не пустили, как Гоголь ни стучал в безответные двери ее ворот; решетчатые ворота садов Саллюстия были тоже крепко замкнуты, так как время сиесты и всеобщего бездействия в городе еще не миновалось. Мы прошли далее за город, остановились у первой локанды, выпили по стакану местного слабого вина и возвратились в город к вечернему обеду в знаменитой тогда австерии «Фальконе» (сокол).

Взлелеянный уединением Рима, Гоголь весь предался творчеству и перестал читать и заботиться о том, что делается в остальной Европе. Он сам говорил, что в известные эпохи одна хорошая книга достаточна для наполнения всей жизни человека. В Риме он только перечитывал любимые места из Данте, «Илиады» Гнедича и стихотворений Пушкина. Это было совершенно вровень, так сказать, с городом, который, под управлением папы Григория XVI, обращен был официально и формально только к прошлому. О том, какими средствами достиг он своей цели, никто из иностранцев не спрашивал: это составляло домашнюю тайну римлян, до которой никому особенного дела не было. Гоголь, вероятно, знал ее: это видно даже по намекам в его статье, где мнение народа о господствующем клерикальном сословии нисколько не скрыто; она не тревожила его, потому что если не оправдывалась, то, по крайней мере, объяснялась воззрением на Рим. Вот собственные его слова из статьи «Рим»: «Самое духовное правительство, этот странный, уцелевший призрак минувших времен, осталось как будто для того, чтобы сохранить народ от постороннего влияния… чтобы до времени в тишине таилась его гордая народность». Последующие события доказали, что народ не был сохранен от постороннего влияния, и подтвердили убедительным образом старую истину, что государство, находящееся в Европе, не может убежать от Европы. Оказалось и оказывается с каждым днем все более, что Рим никогда не находился в таком уединении и в таком сиротстве, какие признаны были за ним наблюдателями. Колесо европейской истории не может миновать ни

одного уголка нашей части света и неизбежно захватывает людей, как бы ни сторонились они. Стремление римского населения сделаться причастником общих благ просвещения и развития признается: теперь законным почти всеми, но оно жило во многих сердцах и тогда. Гоголь знал это, но встречал явление с некоторой грустью. Помню, раз на мое замечание, что, вероятно, в самом Риме есть люди, которые иначе смотрят на него, чем мы с ним, – Гоголь отвечал почти со вздохом: «Ах, да, батюшка, есть, есть, такие». Далее он не продолжал. Видно было, что утрата некоторых старых обычаев, прозреваемая им в будущем и почти неизбежная при новых стремлениях, поражала его неприятным образом. Он был влюблен, смею сказать, в свое воззрение на Рим, да тут же действовал отчасти и малороссийский элемент, всегда охотно обращенный к тому, что носит печать стародавнего или его напоминает. Зато уж и Францию, которую считал родоначальницей легкомысленного презрения к поэзии прошлого, начинал он ненавидеть от всей души. О французском владычестве в Риме, в эпоху Первой империи, когда действительно сподвижники Наполеона I, вместе с истреблением суеверия, принялись истреблять и коренные начала народного характера, Николай Васильевич отзывался после с негодованием. Он много говорил дельного и умного о всесветных преобразователях, не умеющих отличать жизненных особенностей, никогда не уступаемых народом, от тех, с которыми он может расстаться, не уничтожая себя как народ, но упускал из вида заслуги всей истории Франции перед общим европейским образованием. Впрочем, твердого, невозвратного приговора, как в этом случае, так и во всех других, еще не было у Гоголя: он пришел к нему позднее. Он тогда еще составлял его и потому довольно часто оглядывался на свои мысли и проверял их на противоположных взглядах и на противоречии, он шел только к тому решительному приговору, который с такой силой раздался пять лет спустя в литературе нашей. Для подтверждения наших слов приведем один маловажный случай: кроме маловажных случаев, никаких других между нами и быть не могло, но именно потому, может быть, все случаи, касающиеся Гоголя, имели почти всегда значительную физиономию и сохранили в памяти моей точное выражение. Однажды за обедом, в присутствии А. А. Иванова, разговор наш нечаянно попал на предмет, всегда вызывавший споры: речь зашла именно о пустоте всех задач, поставляемых французами в жизни, искусстве и философии. Гоголь говорил резко, деспотически, отрывисто. Ради честности, необходимой даже в застольной беседе, я принужден был невольно указать на несколько фактов, значение и важность которых для цивилизации вообще признаваемы всеми. Гоголь отвечал горячо и тем, вероятно, поднял тон моего возражения; однако ж спор тотчас же упал в одно время с обеих сторон, как только сделалась ощутительна в нем некоторая степень напряжения. Молча вышли мы из австерии, но после немногих задумчивых шагов Гоголь подбежал к первой лавочке

лимонадчика, раскинутой на улице, каких много бывает в Риме, выбрал два апельсина и, возвратясь к нам, подал с серьезной миной один из них мне. Апельсин этот меня тронул: он делался, так сказать, формулой, посредством которой Гоголь выразил внутреннюю потребность некоторого рода уступки и примирения.

Вообще следует помнить, что в эту эпоху он был занят внутренней работой, которая началась для него со второго тома «Мертвых душ», тогда же им предпринятого, как я могу утверждать положительно. Значение этой работы никем еще не понималось вокруг него, и только впоследствии можно было разобрать, что для второго тома «Мертвых душ» начинал он сводить к одному общему выражению как свою жизнь, образ мыслей, нравственное направление, так и самый взгляд на дух и свойство русского общества. Он осматривал и взвешивал явления, готовясь оторваться от одних и пристроиться к другим. Так, например, долго, с великим вниманием и с великим участием слушал он горячие повествования о России, заносимые в Рим приезжими, но ничего не говорил в ответ, оставляя последнее слово и решение для самого себя. Отсюда также и те длинные часы немого созерцания, какому предавался он в Риме. На даче княгини З. Волконской, упиравшейся в старый римский водопровод, который служил ей террасой, он ложился спиной на аркаду богатых, как называл древних римлян, и по полусуткам смотрел в голубое небо, на мертвую великолепную римскую Кампанью. Так точно было и в Тиволи, в густой растительности, окружающей его каскателли; он садился где-нибудь в чаще, упирал зоркие, недвижные глаза в темную зелень, купами сбегавшую по скалам, и оставался недвижимым целые часы, с воспаленными щеками. Раз после вечера, проведенного с одним знакомым живописца Овербека, рассказывавшим о попытках этого мастера воскресить простоту, ясность, скромное и набожное созерцание живописцев дорафаэлевой эпохи, мы возвращались домой, и я был удивлен, когда Гоголь, внимательно и напряженно слушавший рассказ, заметил в раздумьи: «Подобная мысль могла только явиться в голове немецкого педанта». Так еще никому, собственно, не принадлежал он, и выход из этого душевного состояния явился уже после отъезда моего из Рима. Я застал предуготовительный процесс: борьбу, нерешительность, томительную муку соображений.

Одна только сторона в Гоголе не потерпела ничего и оставалась во всей своей целости – именно – художническое его чувство. Гоголь не только без устали любовался тогдашним Римом, но и увлекал неудержимо всех к тому же поклонению чудесам его. Официальные католические праздники Пасхи, на которых, по стечению иностранцев, присутствуют чуть ли не более насмешливых, чем верующих глаз, уже давно миновались. Значительная часть туристов разъехалась, и настоящий туземный Рим выступил один для новых духовных праздников, совпадающих с летними месяцами. Здесь, в виду итальянского народа,

Гоголь не чуждался толпы. Он предупреждал меня о дне Вознесения, когда папа дает благословление полям Рима с высоты балкона Иоанна Латеранского, – и зрелище, на котором мы присутствовали в тот день, было не ниже наших ожиданий. Затем наступили торжества Corpus Domini. В семь часов вечера перед Ave Maria, при самом начале вечерних прогулок наших, мы непременно встречали духовную процессию, импровизированный алтарь на углу улицы, аббата под балдахином с дарохранительницей, которою, после краткой молитвы, он благословлял падающий ниц народ. Вечернее солнце играло опять главную роль в картине, обливая пурпуром знамена, огромные полотна с фигурами святых, кресты разных величин, фонари, рясы нищенствующих монахов и загорелые лица итальянцев, пылавшие несколько мгновений неизобразимо ярким и теплым светом. О цветочных коврах Дженсано, раскладываемых по пути таких же процессий и составляющих подвижной рисунок с изображениями кардинальских гербов, арабесок, узоров из листьев и лепестков растений. Гоголь упоминает сам в статье о Риме. Николай Васильевич был неутомим в подметке различных особенностей этого народного творчества, которое окружало тогда духовные торжества, но могло существовать и помимо них. Так, очевидцы происшествий 1848—49 годов рассказывают об удивительных триумфальных арках, строимых в одну ночь неизвестными архитекторами, да и в мое время, как справедливо заметил Гоголь, любая лавочка лимонадчика на площади заслуживала изучения по рисунку украшении из зелени, винограда и лавра. Как велико было уважение Гоголя ко всякому проявлению самородной фантазии или даже сноровки, покажет следующий пример. В одной из кофеен он заметил, что стены и потолок ее покрыты сеткой из полосок бумаги, перегнутых надвое и приставленных к штукатурке. Узнав, что этим способом придумано сохранять заведения от порчи мух, гуляющих преимущественно по внешней стороне клеток. Гоголь долго рассматривал это хозяйственное изобретение и, наконец, воскликнул с чувством: «И этих-то людей называют маленьким народом!» Сметливость и остроумие в народе были для него признаками, свидетельствующими даже об историческом его призвании. Несколько раз повторял он мне, что нынешние римляне, без сомнения, гораздо выше суровых праотцев своих и что последние никогда не знали того неистощимого веселия, той добродушной любезности, какие отличают современных обитателей города. Он приводил в пример случай, им самим предусмотренный. Два молодых водоноса, поставив ушат на землю, принялись с глазу на глаз смешить друг друга уморительными анекдотами и остротами. «Я целый час подсматривал за ними из окна, – говорил Гоголь, – и конца не дождался. Смех не умолкал, прозвища, насмешки и рассказы так и летели, и ничего водевильного тут не было; только сердечное веселие да потребность поделиться друг с другом обилием жизни». Гоголь был не прочь от сильных, необузданных

страстей, которые затемняют иногда сердца и ум этих любезных людей. Все естественное, самородное уже по одному этому имело право на его уважение. Вот какой анекдот рассказывал он юмористически, но без удовольствия. В его глазах один мальчишка пустил чем-то в другого, проходившего мимо, и, чувствуя, вероятно, важность ответственности за поступок, тотчас же шмыгнул в двери близлежащего дома, которые и припер за собою. Обиженный ребенок кинулся к дверям, старался выломать их и, видя невозможность одолеть преграду, стал вызывать оскорбителя на личную расправу. Ответа никакого, разумеется, не последовало; ребенок истощался в бранных эпитетах, в самых ядовитых прозвищах и в ругательствах и не слыхал ни малейшего отзыва. Тогда он лег у порога двери и зарыдал от ярости, но и слезы не истощили жажду мщения, которая кипела в этой детской груди. Он встал опять на ноги и принялся умолять своего врага хоть подойти к окну, чтоб дать посмотреть на себя, обещая ему за одно это прощение и дружбу… Но, оставляя в стороне анекдоты, скажем, что уважение Гоголя к проблескам цельной и свежей натуры не ограничивалось одними людскими характерами: он и создания искусства ценил еще тогда по признакам силы, обнимающей сразу предмет, и чем менее заметно было в произведении искания, пробованья и щупанья, тем более оно ему нравилось; но он простирал иногда определения свои до парадокса. Так, к великому соблазну А. А. Иванова, он объявил однажды, что известная пушкинская сцена из «Фауста» выше всего «Фауста» Гете, вместе взятого. Не должно думать однако ж, чтоб наслаждение Римом и людьми его сделало самого Гоголя слабым и мягкосердечным; напротив, он обращался весьма строго с последними – и это по принципу. Притворная суровость его была тут противодействием римской сметливости, народному расположению к сарказму и природной беспечности итальянца. Он был взыскателен, и надо было видеть, как важно примеривал он новые башмаки, сшитые ему молодым парнем с блестящими черными глазами и лукавой улыбкой. Он его почти измучил осмотром и потом говорил мне, смеясь: «Иначе и нельзя с этим народом; чуть оплошай – заговорит тебя. Подсунет мерзость, поставит перед собой башмак, отступит шаг назад и начнет: «о, что за чудная cosa! о, какая дивная вещица! Никакой племянник папы не носил такого башмака! Посмотрите, сеньор, какая форма каблука. Можно влюбиться до безумия в такую вещь» и так далее». Придирчивость Гоголя была лицемерна уже и потому, что он никогда не сердился на те обыкновенные итальянские надувательства, которым, несмотря на всю свою строгость и сноровку, подвергался не раз. Так, вздумав сделать прогулку за город в обыкновенном нашем обществе, мы подрядили веттурина, дали ему задаток и назначили час отъезда. Но час прошел, а веттурин не являлся, употребив, вероятно, задаток на неотлагательные свои нужды и забыв о поручении. Все присутствующие оказывали ясные знаки нетерпения и громко выражали негодование

свое, исключая Гоголя, который оставался совершенно равнодушен, а когда один из общества заметил, что подобной штуки никогда бы не могло случиться в Германии: там-де никто своего не даст и чужого не возьмет, – то Гоголь отвечал с досадой и презрением: «Да, но это только в картах хорошо».

Еще одна черта. Мы, разумеется, весьма прилежно осматривали памятники, музеи, дворцы, картинные галереи, где Гоголь почти всегда погружался в немое созерцание, редко прерываемое отрывистым замечанием. Только уже по прошествии некоторого времени развязывался у него язык, и можно было услыхать его суждение о виденных предметах. Всего замечательнее, что скульптурные произведения древних тогда еще производили на него сильное впечатление. Он говорил про них: «то была религия, иначе нельзя бы и проникнуться таким чувством красоты».

Может статься, всего тяжелее было для позднейшего Гоголя победить врожденное благоговение к высокой, непогрешительной, идеальной пластической форме, какое высказывалось у него в мое время поминутно. Он часто забегал в мастерскую известного Тенерани любоваться его «Флорой», приводимой тогда к окончанию, и с восторгом говорил о чудных линиях, которые представляет она со всех сторон и особенно сзади: «тайна красоты линий, – прибавлял он, – потеряна теперь во Франции, Англии, Германии и сохраняется только в Италии». Так точно и знаменитый римский живописец Камучини, воспитанный на классических преданиях, находил в нем усердного почитателя за чистоту своего вкуса, грацию и теплоту, разлитые в его картинах, похожих на оживленные барельефы. Никогда не забывал Гоголь, при разговоре о римских женщинах или даже при встрече с замечательной женской фигурой, каких много в этой стране, сказать: «а если бы посмотреть на нее в одном только одеянии целомудрия, так скажешь: женщина эта с неба сошла». Не нужно, полагаю, толковать, что поводом ко всем словам такого рода было одно артистическое чувство его: жизнь он вел всегда целомудренную, близкую даже к суровости и, если исключить маленькие гастрономические прихоти, более исполненную лишений, чем довольства. Так еще полно и невредимо сохранял он в себе художнический элемент, который особенно разыгрывался, когда духота, потребность воздуха и гулянья заставляли прекращать переписку «Мертвых душ» и выгоняли нас за город, в окрестности Рима.

Первая наша поездка за город в Альбано возникла, однако ж, по особенному поводу, который заслуживает упоминовения. Один молодой русский архитектор (фамилия его совершенно вышла у меня из памяти) имел несчастие, занимаясь проектом реставрации известной загородной дачи Адриана, простудиться в Тиволи и получить злокачественную

лихорадку. Благодаря искусству римских докторов через две недели он лежал без всякой надежды, приговоренный к смерти. Во все время его тяжкой болезни Гоголь с участием справлялся о нем у товарища его по академии и квартире в Риме, скульптора Лугановского, но сам не заходил к умирающему, боясь, может быть, прилипчивости недуга, а может быть, опасаясь слишком сильного удара для своих расстроенных нервов. Бедный молодой человек вскоре угас. Мы все собирались отдать бедному нашему соотечественнику последний долг, но Гоголь, вероятно, по тем же причинам, о каких было упомянуто, боялся печальной церемонии и хотел освободиться от нее. За день до похорон, утром, после чашки кофе, я подымался по мраморной лестнице Piazza d´Espagna и увидел Гоголя, который задумчиво приближался к ней сверху. Едва только заметили мы друг друга, как Гоголь, ускорив шаги и раздвинув руки, спустился ко мне на площадку и начал с видом и выражением совершеннейшего отчаяния: «спасите меня, ради бога, я не знаю, что со мною делается... Я умираю... я едва не умер от нервического удара нынче ночью... Увезите меня куда-нибудь, да поскорее, чтоб не было поздно...» Я был поражен неожиданностью известия и отвечал ему: «Да хоть сию же-минуту, Николай Васильевич, если хотите. Я схожу за веттурином, а куда ехать, назначайте сами». Через несколько часов мы очутились в Альбано, и надо заметить, что как дорогой, так и в самом городке Гоголь казался совершенно покоен и ни разу не возвращался к пояснению отчаянных своих слов, точно никогда не были они и произнесены.

С горы Альбано, как известно, открывается изумительный вид на Рим и всю его Кампанью. После утренней работы, еще до обеда, Гоголь приходил прямо к превосходной террасе виллы Барберини, господствующей над всею окрестностью, куда являлся и я, покончив с осмотрами города и окрестностей. Гоголь садился на мраморную скамейку террасы, вынимал из кармана книжку, читал и смотрел, отвечая и делая вопросы быстро и односложно. Надо сказать, что Гоголь перечитывал в то время «Историю Малороссии», кажется, Каменского, и вот по какому поводу. Он писал драму из казацкого запорожского быта, которую потом бросил равнодушно в огонь, недовольный малым действием ее на Жуковского: «История Малороссии» служила ему пособием. О существовании драмы я узнал случайно. Между бумагами, которые Гоголь тщательно подкладывал под мою тетрадку, когда приготовлялся диктовать, попался нечаянно оторванный лоскуток, мелко-намеко писанный его рукою. Я наклонился к бумажке и прочел вслух первую фразу какого-то старого казака (имени не припомню), попавшуюся мне на глаза и мною удержанную в памяти: «И зачем это господь бог создал баб на свете. Разве только, чтоб казаков рожала баба...» Гоголь сердито бросился ко мне с восклицанием: «это что?» вырвал у меня бумажку из рук и сунул ее в письменное бюро; затем мы спокойно принялись за дело. Возвращаюсь к террасе Барберини. Более

занятый своею мыслью, чем чтением, Гоголь часто опускал книжку на колени и устремлял прямо перед собой недвижный, острый взгляд, который был ему свойствен. Вообще, все окружающие Гоголя чрезвычайно берегли его уединение и пароксизмы раздумья, находившие на него, как бы предчувствуя за ними ту тяжелую, многосложную внутреннюю работу, о которой мы говорили. Иногда уходили мы с ним, и обыкновенно в самый полдень, под непроницаемую тень той знаменитой аллеи, которая ведет из Альбано в Кастель-Гандольфо (загородный дворец папы). Под этими массами зелени итальянского дуба, платана, пины и пр. Гоголь, случалось, воодушевлялся как живописец (он, как известно, сам порядочно рисовал). Раз он сказал мне: «если бы я был художник, я бы изобрел особенного рода пейзаж. Какие деревья и ландшафты теперь пишут! Все ясно, разобрано, прочтено мастером, а зритель по складам за ним идет. Я бы сцепил дерево с деревом, перепутал ветви, выбросил свет, где никто не ожидает его, вот какие пейзажи надо писать!» – и он сопровождал слова свои энергическими, непередаваемыми жестами. Не надо забывать, что вместе с полнотой внутренней жизни и творчества Гоголь обнаруживал в это время и признаки самонадеянности, которая высказывалась иногда в быстром замечании, иногда в гордом мимолетном слове, выдававшем тайну его мысли. Он еще тогда вполне сберегал доверенность к себе, наслаждался чувством своей силы и полагал высокие надежды на себя и на деятельность свою. О скромности и христианском смирении еще и помину не было. Так, при самом начале моего пребывания в Риме, разгуливая с ним по отдаленным улицам его, мы коснулись неожиданно Пушкина и недавней его смерти. Я заметил, что кончина поэта сопровождалась явлением, в высшей степени отрадным и поучительным: она разбудила хладнокровный, деловой Петербург и потрясла его… Гоголь отвечал тотчас же каким-то горделивым, пророческим тоном, поразившим меня: «что мудреного? человека всегда можно потрясти… То ли еще будет с ним… увидите». В самом Альбано, на одной из вечерних прогулок, кто-то сказал, что около шести часов вечера передние всех провинциальных домов в России наполняются угаром от самовара, который кипит на крыльце, и что само крыльцо представляет оживленную картину: подбежит девочка или мальчик, прильнет к трубе, осветится пламенем раздуваемых углей и скроется. Гоголь остановился на ходу, точно кто-нибудь придержал его:

«Боже мой, да как же я это пропустил!» – сказал он с наивным недоумением. «А вот пропустил же, пропустил, пропустил», – говорил он, шагая вперед и как будто попрекая себя. В том же Альбано вырвалось у Гоголя восклицание, запавшее мне в душу. Два обычные спутники наши, А. А. Иванов и Ф. И. Иордан, прибыли в Альбано, похоронив бедного своего товарища. За обедом Ф. И. Иордан, сообщая несколько семейных подробностей о покойнике, заметил: «вот он вместо невесты обручился с римской Кампанией». – «Отчего с Кампанией?» –

сказал Гоголь. «Да неимущих иноверцев хоронят иногда здесь просто в поле». – «Ну, – воскликнул Гоголь, – значит, надо приезжать в Рим для таких похорон». Но он не в Риме умер, и новая цепь идей под конец жизни заслонила перед ним и образ самого города, столь любимого им некогда.

Я еще ни слова не сказал о существенном качестве Гоголя, сильно развитом в его природе и которого он тогда еще не старался подавить в себе насильственно, – о юморе его. Юмор занимал в жизни Гоголя столь же важное место, как и в его созданиях: он служил ему поправкой мысли, сдерживал ее порывы и сообщал ей настоящий признак истины – меру; юмор ставил его на ту высоту, с которой можно быть судьею собственных представлений, и, наконец, он представлял всегда готовую поверку предметов, к которым начинали склоняться его выбор и предпочтение. Распростившись с юмором, или, лучше, стараясь искусственно обуздать его, Гоголь осуждал на бездействие одного из самых бдительных стражей своей нравственной природы. В то время, которое мы описываем, он сохранял еще юмор в полной свежести, несмотря на возникающую потребность идеализации окружающего и приближающийся перелом в его жизни. Так, мы знаем, что он смотрел на господствующее сословие в папском Риме, как на собрание ограниченных, малосведущих людей, склонных к материальным удовольствиям, но добродушных и мягкосердечных по натуре: лицо каждого аббата представлялось ему с житейской, вседневной стороны его, и он не заботился об официальной его деятельности, где то же простодушное лицо, лакомка и болтун, вырастает в меру своих обширных прав и власти, ему данной. Так же точно мы знаем по статье «Рим», что Гоголь нашел место в картине и для рыжего капуцина, значение которого, помню, с жаром объяснял В. А. Панову, ссылаясь на эффект, производимый нищенствующим братом, когда он вдруг появляется в среде пестрых итальянских женщин или удалой римской молодежи. Нельзя забыть также, что даже тяжелая красная карета кардинала с пудреными лакеями назади удостоивалась в его разговорах ласкового и пояснительного слова. Все это представление предметов было бы очень далеко от истины и настоящего их достоинства, если бы не поправлялось его юмором, выводившим наружу именно ту резкую, родовую черту предмета, по которой он правильнее судится, чем по соображениям и описаниям пристрастного мыслителя, Когда юмор, стесненный в своей естественной деятельности, замолк окончательно, что действительно случилось с Гоголем в последний период его развития, – критическое противодействие личному настроению ослабело само собой, и Гоголь был увлечен неудержимо и беспомощно своей мыслью… Присутствие этого юмора чувствовалось тогда почти на каждом разговоре Гоголя, но собрать проблески этой способности теперь нет никакой возможности. Большая часть их изгладилась из моей памяти, оставив только общее представление о своем характере.

Случалось иногда, что это был осколок целого драматического представления, как, например, рассказ Гоголя о знакомстве с кардиналом Меццофанти[40]. Он очень любил этого кардинала-полиглота, маленького, сухощавого и живого старичка, который при первой встрече с Гоголем заговорил по-русски. Гоголь объяснял способ его выпутываться из филологических затруднений, так сказать, наглядно. Кардинал, обдумав фразу, держался за нее очень долго, выворачивая ее во все стороны, не делая шагу вперед, покуда не являлась новая придуманная фраза, и при живости старика это имело комическую сторону, передаваемую Гоголем весьма живописно. Он наклонялся немного вперед и, подражая голосу и движениям президента «Пропаганды», начинал вертеть шляпу в руках и говорить итальянской скороговоркой: «какая у вас прекрасная шляпа… прекрасная, круглая шляпа, также и белая, и весьма удобная – это точно прекрасная, белая, круглая, удобная шляпа» и проч. Впрочем, Гоголь отдавал справедливость удивительной способности кардинала схватывать отношения частей речи друг к другу в чуждом диалекте; а степень настоящего познания нашего языка у Меццофанти может показать следующая стихотворная записка его, буквально списанная мною с оригинала:

Любя Российских муз, я голос их внимаю

И некие слова их часто повторяю,

Как дальний Отзыв, я не ясно говорю:

Кто может мне сказать, что я стихи творю?

И. Меццофанти

Возвращаемся к городской нашей жизни. В Риме не было тогда постоянного театра, но какая-то заезжая труппа давала пьесы Гольдони, Нотте и переделки из французских водевилей. Спектакль начинался обыкновенно в десять часов вечера и кончался за полночь. Мы довольно часто посещали его, ради первой его любовницы, красавицы в полном смысле слова, очень хорошего jeune premier, а более ради старика Гольдони, который, по весьма спокойному, правильному развитию сложных завязок в своих комедиях, составлял противоположность с путаницей и небывальщиной французского водевиля. Гоголь весьма высоко ценил итальянского писателя. Ночь до спектакля проводили мы в прогулках по улицам Рима, освещенных кофейнями, лавочками и разноцветными фонарями тех сквозных балаганчиков с плодами и прохладительными напитками, которые, наподобие небольших зеленых храмиков, растут в Риме по углам улиц и у фонтанов его. В тихую летнюю ночь Рим не ложится спать вовсе, и как бы поздно ни возвращались мы домой, всегда могли иметь надежду встретить толпу молодых людей без курток или с куртками, брошенными на одно плечо,

идущих целой стеной и вполголоса распевающих мелодический туземный мотив. Бряцание гитары и музыкальный строй голосов особенно хороши бывали при ярком блеске луны: чудная песня как будто скользила тогда тонкой серебряной струей по воздуху, далеко расходясь в пространстве. Случалось, однако же, что удушливый сирокко, перелетев из Африки через Средиземное море, наполнял город палящей, раскаленной атмосферой, тогда и ночи были знойны по-своему: жало удушливого ветра чувствовалось в груди и на теле. В такое время Гоголь видимо страдал: кожа его делалась суха, на щеках выступал яркий румянец. Он начинал искать по вечерам прохлады на перекрестках улиц; опершись на палку, он закидывал голову назад и долго стоял так, обращенный лицом кверху, словно перехватывая каждый свежий ток, который может случайно пробежать в атмосфере.

Наскучив прогулками и театрами, мы проводили иногда остаток вечера у себя дома за бостоном. Ни я, ни хозяин, ни А. А. Иванов, участвовавший в этих партиях, понятия не имели не только о сущности игры, но даже и о начальных ее правилах. Гоголь изобрел по этому случаю своего рода законы, которые и прикладывал поминутно, мало заботясь о противоречиях и происходившей оттого путанице; он даже весьма аккуратно записывал на особенной бумажке результаты игры, неизвестно для чего, потому что с новой игрой всегда оказывалась необходимость изменить прежние законы и считать недействительными все старые приобретения и потери. Лучше всего была обстановка игры: Гоголь зажигал итальянскую свою лампу об одном рожке, не дававшую света даже столько, сколько дает порядочный ночник, но имевшую достоинство напоминать, что при таких точно лампах работали и веселились древние консулы, сенаторы и прочие. Затем Гоголь принимал в свое распоряжение фляжку орвиетто, захваченную кем-нибудь на дороге, и мастерским образом сливал из нее верхний пласт оливкового масла, заменявший, тоже по древнему обычаю, пробку и укупорку. Вообще у Гоголя была некоторая страсть к рукодельям: с приближением лета он начинал выкраивать для себя шейные платки из кисеи и батиста, подпускать жилеты на несколько линий ниже проч., и занимался этим делом весьма серьезно. Я заставал его перед столом с ножницами и другими портняжными материалами, в сильной задумчивости. Одно обстоятельство только тревожило меня, возбуждая при этом сильное беспокойное чувство, которое выразить я, однако же, не смел перед Гоголем, а именно тогдашняя его причуда – проводить иногда добрую часть ночи, дремля на диване и не ложась в постель. Поводом к такому образу жизни могла быть, во-первых, опасная болезнь, недавно им выдержанная и сильно напугавшая его, а во-вторых, боязнь обморока и замирания, которым он, как говорят, действительно был подвержен. Как бы то ни было, но открыть секрет Гоголя, даже из благодушного желания пособить ему, значило нанести глубочайшую рану его сердцу. Таким образом. Гоголь довольно часто, а

к концу все чаще и чаще, приходил в мою комнату, садился на узенький плетеный диван из соломы, опускал голову на руку и дремал долго после того, как я уже был в постели и тушил свечу. Затем переходил он к себе на цыпочках и так же точно усаживался на своем собственном соломенном диванчике вплоть до света, а со светом взбивал и разметывал свою постель для того, чтоб общая наша служанка, прибиравшая комнаты, не могла иметь подозрение о капризе жильца своего, в чем, однако же, успел весьма мало, как и следовало ожидать. Конечно, тут еще нельзя искать обыкновенных приемов аскетического настроения, развившегося впоследствии у Гоголя до необычайной степени, но путь для них был уже намечен. Впрочем, все умерялось еще тогда наслаждениями художнической созерцательной жизни, и самая бессонница, вызванная мнительностью, имела подчас поэтическую обстановку. Так, однажды во Фраскати мы долго разговаривали, сидя на окне локанды, глядя в темное голубое небо и прислушиваясь к шуму фонтана, который журчал во дворе. Беседа шла преимущественно об отечестве; Гоголь по временам вдыхал в себя ароматический запах итальянской ночи и при воспоминании о некоторых явлениях нашего быта проговаривал задумчиво: «а может быть, все так и нужно покамест». Вообще, мысль о России была в то время, вместе с мыслью о Риме, живейшей частью его существования. Он вполне был прав, утверждая впоследствии, что никогда так много не думал об отечестве, как вдали от него, и никогда не был так связан с ним, как живя на чужой почве: чувство, испытываемое многими людьми с гораздо меньшими способностями и меньшим призванием, чем Гоголь. Между тем кроткая свежесть ночи, тишина ее и однообразный плеск фонтана погрузили меня в дремоту: я заснул на окне в то самое время, как мне казалось, что все еще слышу голос фонтана и различаю шепот собеседника... Вероятно, Гоголь также продремал всю ночь на окне, потому что он разбудил меня поутру точно в том виде и костюме, как был накануне.

Между тем со мной случилось довольно неприятное происшествие. Выкупавшись в Тибре, я захватил сильную простуду, которая разрешилась опухолью горла, или жабой, по простонародному названию. Доктор никак не мог овладеть болезнью. При первых признаках упорного недуга, сопротивляющегося медицинским средствам, Гоголь уехал тотчас за город, написав оттуда хозяину нашей квартиры маленькую записочку, в которой просил его заняться больным nostro povero ammalata, как выразился. Кажется, вид страдания был невыносим для него, как и вид смерти. Картина немощи если не погружала его в горькое лирическое настроение, как это случилось у постели больного графа Иосифа Виельгорского в 1839 году, то уже гнала его прочь от себя: он не мог вытерпеть природного безобразия всяких физических страданий. Вообще, при сердце, способном на глубокое сочувствие. Гоголь лишен был дара и уменья прикасаться собственными руками к ранам ближнего. Ему недоставало для этого той особенной

твердости характера, которая не всегда встречается и у самых энергических людей. Беду и заботу человека он переводил на разумный язык доброго посредника и помогал ближнему советом, заступничеством, связями, но никогда не переживал с ним горечи страдания, никогда не был с ним в живом, так сказать, натуральном общении. Он мог отдать страждущему свою мысль, свою молитву, пламенное желание своего сердца, но самого себя ни в каком случае не отдавал.

Я скоро выздоровел, а между тем время отъезда моего из Рима приближалось. За день до моего отъезда из Рима мы перебрались в Альбано, где решились ожидать прибытия почтовой кареты Перети, в которой я взял место до Неаполя. На другой день после прощального дружеского обеда в обыкновенной нашей локанде Гоголь проводил меня до дилижанса и на расставаньи сказал мне с неподдельным участием и лаской: «Прощайте, Жюль. Помните мои слова. До Неаполя вы сыщете легко дорогу, но надо отыскать дорогу поважнее, – чтоб в жизни была дорога; их множество, и стоит только выбрать...» Мы расстались.

П. В. Анненков. Гоголь в Риме. Литературные воспоминания, 32–49.

Нельзя теперь почти и представить себе ту степень тишины и немоты, которые Меттерних, знаменитый канцлер Австрии, успел водворить, благодаря неусыпной бдительности за каждым проявлением общественной мысли, на всем пространстве от Богемских гор до Байского залива и далее. Бывало, едешь по этому великолепно обставленному пустырю, провожаемый призраками в образе таможенников, пашпортников, жандармов, чемоданщиков и визитаторов пассажирских карманов. Ни мысли, ни слова, ни известия, ни мнения, а только их подобия, взятые с официальных фабрик. Для созерцательных людей это молчание и спокойствие было кладом. Гоголь, Иванов, Иордан и много других жили полно и хорошо в этой обстановке, поклоняясь гениям искусства и литературы, отдаваясь всем существом избранному делу. Но за созерцательными людьми виднелась еще шумная, многоглазая толпа, не терпящая долгого молчания вокруг себя, особенно при содействии южных страстей, как в Италии. Забавлять-то ее и сделалось главной заботой и политической мерой правительств. Кто не знает о праздниках Италии, о великолепных оркестрах, гремевших в ней по площадям главных ее городов каждый день, о духовных процессиях ее и т. п.! Развлекать толпу становилось серьезным административным делом. Одна черта только в этом мире, так хорошо устроенном, беспрестанно кидалась в глаза. Несмотря на великолепную обстановку публичной жизни и несмотря на строжайшее запрещение иностранных книг, французская беспокойная струя

сочилась под всей почвой политического здания Италии и разъедала его.

Я видел папу Григория XVI действующим во всех многочисленных спектаклях римской святой недели, и притом действующим как-то вяло и невнимательно, словно исправляя привычную, домашнюю работу. В промежутках облачений и потом обрядов он, казалось, всего более заботился о себе, сморкался, откашливался и скучным взором обводил толпу сослужащих и любопытных. Старый монах этот точно так же управлял и доставшимся ему государством, как церковной службой: сонно и бесстрастно переполнил он тюрьмы Папской области не уголовными преступниками, которые у него гуляли на свободе, а преступниками, которые не могли ужиться с монастырской дисциплиной, с деспотической и вместе лицемерно-добродушной системой его управления. Зато уже Рим и превратился в город археологов, нумизматов, историков от мала до велика. Я видел наших отдыхающих откупщиков, старых, степенных помещиков, офицеров от Дюссо, зараженных археологией, толкующих о памятниках, камеях, Рафаэлях, перемешивающих свои восторги возгласами об удивительно глубоком небе Италии и о скуке, которая под ним безгранично царствует, что много заставляло смеяться Гоголя и Иванова: по вечерам они часто рассказывали курьезные анекдоты из своей многолетней практики с русскими туристами. К удивлению, я заметил, что французский вопрос далеко не безынтересен даже и для Гоголя и Иванова, по-видимому успевших освободиться от суетных волнений своей эпохи. Намек на то, что европейская цивилизация может еще ожидать от Франции важных услуг, не раз имел силу приводить невозмутимого Гоголя в некоторое раздражение. Отрицание Франции было у него так невозвратно и решительно, что при спорах по этому предмету он терял обычную свою осторожность и осмотрительность и ясно обнаруживал не совсем точное знание фактов и идей, которые затрагивал.

У Иванова доля убеждения в той же самой несостоятельности французской жизни была ничуть не менее, но искушения и сомнения жили у него рядом со всеми верованиями его. Он никогда не выходил из тревог совести. Притом же, наоборот с Гоголем, он питал затаенную неуверенность в себе, к своему суждению, к своей подготовке для решения занимавших его вопросов, и потому с радостью и благодарностью опирался на Гоголя, не будучи, однако же, в состоянии умиротворить вполне свою мысль и с этой поддержкой. Вот почему при неожиданно возникшем диспуте нашем с Гоголем, за обедом у Фальконе, о Франции (а диспуты о Франции возникали тогда поминутно в каждом городе, семействе и дружеском кругу), Иванов слушал аргументы обеих сторон с напряженным вниманием, но не сказал ни слова. Не знаю, как отразилось на нем наше словопрение и чью сторону

он в тайне держал тогда. Дня через два он встретил меня на Монте-Пинчио и, улыбаясь, повторил не очень замысловатую фразу, сказанную мною в жару разговора: «Итак, батюшка, Франция – очаг, подставленный под Европу, чтоб она не застывала и не плесневела». Он еще думал о разговоре, между тем как Гоголь, добродушно помирившись в тот же вечер со своим горячим оппонентом (он преподнес ему в залог примирения апельсин, тщательно выбранный в лавочке, встретившейся по дороге из Фальконе), забыл и думать о том, что такое говорилось час тому назад.

П. В. Анненков. Замечательное десятилетие. Литературные воспоминания, 223–226.

Гоголь – человек необыкновенный, имеющий высокий ум и верный взгляд на искусство… Чувства человеческие он изучил и наблюдал их, словом – человек самый интереснейший, какой только может представиться для знакомства. Ко всему этому он имеет доброе сердце. Вот пример его доброты. Некто из нашего общества, художник лет двадцати, Шаповалов, получал от Общества поощрения художников пенсион в 80 руб. в месяц; обращаясь к банкиру 1 февраля, он получил отказ, увидев предписание от Общества. Таким образом, он остался без куска хлеба. В отчаянии он был ни на что не способен. Гоголь, видя общее сострадание, несмотря на свое нездоровье, решается прочесть свое произведение «Ревизор» в пользу Шаповалова. Билет стоил не менее скудно, и вот в зале княгини Зинаиды Волконской собрались все русские. Для меня это было весьма важным – видеть отечественного лучшего писателя читающим свое собственное произведение. И в самом деле это было превосходно, вследствие чего собрано 500 руб., и Шаповалов с ними начинает важную копию с картины Перуджино.

А. А. Иванов (художник) – отцу своему, летом 1841 года, из Рима. М. Боткин. «А. А. Иванов, его жизнь и переписка», 137.

Гоголь, как известный писатель, желая помочь одному земляку своему, малороссу, весьма посредственному художнику, Шаповаленко, сильно бедствовавшему от безденежья, объявил, что будет читать комедию «Ревизор» в пользу этого живописца, по пяти скуди за билет. Как приезжие русские, так и приятели художника, все бросились брать билеты. Говорили, что Гоголь имеет необыкновенный дар читать, особенно «Ревизора». Княгиня Зинаида Волконская дала ему в своем дворце, Palazzo Poli, большое зало, с обещанием дарового угощения. Съезд был огромный. Мы, художники, были все налицо. Иванов рассказывал нам заранее: «Вот вы увидите-с, вот вы увидите-с, как Николай Васильевич прочтет! Это просто чудесно-с! Никто так не может-с!» В зале водворилась тишина; впереди, полукруглом, стояло

три ряда стульев, и все они были заняты лицами высшего круга. Посередине залы стоял стол, на нем графин с водою и лежала тетрадь; видим, Гоголь с довольно пасмурным лицом раскрывает тетрадь, садится и начинает читать, вяло, с большими расстановками, монотонно. Публика, по-видимому, была мало заинтересована, скорее скучала, нежели слушала внимательно. Гоголь, время от времени, прихлебывал воду. В зале царствовала тишина. Окончилось чтение первого действия без всякого со стороны гостей одобрения. Гости поднялись со своих мест, а Гоголь присоединился к своим друзьям. Явились официанты с подносами, на них чашки с отличным чаем и всякого рода печением. Во время чтения второго действия многие кресла оказались пустыми. Я слышал, как многие, выходя, говорили: «Этою пошлостью он кормил нас в Петербурге, теперь он перенес ее в Рим». Доброе намерение Гоголя оказалось для него совершенно проигранным. Несмотря на яркое освещение зала и на щедрое угощение, на княжеский лад, чаем и мороженым, чтение прошло сухо и принужденно, не вызвав ни малейшего аплодисмента, и к концу вечера зало оказалось пустым: остались только мы и его друзья, которые окружили его, выражая нашу признательность за его великодушное намерение устроить вечер в пользу неимущего художника. Гоголь с растерянным видом молчал. Он был жестоко оскорблен и обижен. Его самолюбие, столь всегда щекотливое, неимоверно страдало, и он этого случая никогда потом не мог забыть.

Ф. И. Иордан. Записки, 207–208. Воспоминания. М. Боткин. «А. А. Иванов, его жизнь и переписка», 398. Сводный текст.

Некоторые из наших художников, коротко знавшие Гоголя в Риме, подтверждают его скрытность, прибавляя, что он был молчалив в высшей степени. Бывало, отправится с кем-нибудь бродить по выжженным лучами солнца полям обширной римской Кампаньи, пригласит своего спутника сесть вместе с ним на пожелтевшую от зноя траву послушать пения птиц и, просидев или пролежав таким образом несколько часов, тем же порядком отправляется домой, не говоря ни слова. По временам только он предавался порывам неудержимой веселости и являлся таким, как представляют себе его, судя по произведениям, все, не знавшие его лично. В эти редкие минуты он болтал без умолку, острота следовала за остротою, и веселый смех его слушателей не умолкал ни на минуту. Из русских художников, бывших вместе с ним в Риме, он особенно любил А. А. Иванова, гравера Ф. И. Иордана и скульптора Ставассера.

В. П. Гаевский. Заметки для биографии Гоголя. Современник, 1852, X. Смесь. Стр. 144.

Известный наш художник Ф. А. Моллер писал в это время портрет Гоголя. Я раз застал в его мастерской Гоголя за сеансом. Показывая мне свой портрет. Гоголь заметил: «писать с меня весьма трудно: у меня по дням бывают различные лица, да иногда и на одном дне несколько совершенно различных выражений», что подтвердил и Моллер. Портрет известен: это мастерская вещь, но саркастическая улыбка, кажется нам, взята Гоголем только для сеанса. Она искусственная и никогда не составляла главной принадлежности его лица.

П. В. Анненков. Гоголь в Риме. Литературные воспоминания, 49.

Гоголь просил Моллера написать его с веселым лицом, «потому что христианин не должен быть печален», и художник подметил очень удачно привлекательную улыбку, оживлявшую уста поэта; но глазам его он придал выражение тихой грусти, от которой редко бывал свободен Гоголь.

П. А. Кулиш, I, 198.

Как ни приятно было мне получить твое письмо, но я читал его болезненно. В его лениво влекущихся строках присутствуют хандра и скука. Ты все еще не схватил в руки кормила своей жизни, все еще носится он бесцельно и праздно, ибо о другом грезит дремлющий кормчий… Оглянись вокруг себя и протри глаза: все лучшее, что ни есть, все вокруг тебя, как оно находится везде вокруг человека и как один мудрый узнает это, и часто слишком поздно. Неужели до сих пор не видишь ты, во сколько раз круг действия в Семереньках (*имение Данилевского*) может быть выше всякой должностной и ничтожной видной жизни, со всеми удобствами, блестящими комфортами и проч., и проч…Но слушай: теперь ты должен слушать моего слова, ибо вдвойне властно над тобою мое слово, и горе кому бы то ни было, не слушающему моего слова. Оставь на время все, все что ни шевелит иногда в праздные минуты мысли, как бы ни заманчиво и ни приятно оно шевелило их. Покорись и займись год, один только год, своею деревней. Один год! и этот год будет вечно памятен в твоей жизни. Клянусь, с него начнется заря твоего счастья. Итак, безропотно и беспрекословно исполни сию мою просьбу. Не для себя одного, – ты сделаешь для меня великую, великую пользу. Не старайся узнать, в чем заключена именно эта польза: тебе не узнать ее, но, когда придет время, возблагодаришь ты провидение, давшее тебе возможность оказать мне услугу; ибо первое благо в жизни есть возможность оказать услугу, и это первая услуга, которую я требую от тебя – не ради чего-либо: ты сам знаешь, что я ничего не сделал для тебя, но ради любви моей к тебе, которая много, много может сделать. О, верь словам моим! Властью

высшею облечено отныне мое слово. Все может разочаровать, обмануть, изменить тебе, но не изменит мое слово.

Прощай. Шлю тебе братский поцелуй мой и молю бога, да снидет вместе с ним на тебя хоть часть той свежести, которою объемлется ныне душа моя, восторжествовавшая над болезнями хворого моего тела.

Ничего не пишу к тебе о римских происшествиях, о которых ты меня спрашиваешь. Я уже ничего не вижу перед собою, и во взоре моем нет животрепещущей внимательности новичка. Все, что мне нужно было, я забрал и заключил в себе в глубину души моей. Там Рим, как святыня, как свидетель чудных явлений, совершившихся надо мною, пребывает вечен. И, как путешественник, который уложил все свои вещи в чемодан и, усталый, но покойный, ожидает только подъезда кареты, понесущей его в далекий, верный, желанный путь, так я, перетерпев урочное время своих испытаний, изготовясь внутреннею, удаленною от мира жизнью, покойно, неторопливо по пути, начертанному свыше, готов идти, укрепленный мыслью и духом.

Недели две, а может и менее того, я остаюсь в Риме. Заеду на Рейн, в Дюссельдорф, к Жуковскому. В Москву надеюсь быть к зиме.

Гоголь – А. С. Данилевскому, 7 августа 1841 г., из Рима. Письма, II, 109.

Я не скажу, что я здоров; нет, здоровье, может быть, еще хуже, но я более нежели здоров. Я слышу часто чудные минуты, чудной жизнью живу, внутренней, огромной, заключенной во мне самом, и никакого блага и здоровья не взял бы. Вся жизнь моя отныне – один благодарный гимн. – Не пеняйте, что я до сих пор не уплачиваю вам взятых у вас денег. Все будет заплочено, может быть, нынешней же зимою. Наконец, не с потупленными очами я предстану к вам, а теперь я живу и дивлюсь сам, как живу, во всех отношениях ничем, и не забочусь о жизни и не стыжусь быть нищим.

Гоголь – В. А. Жуковскому, в 1841–1842 (?) гг. Письма, II, 121.

Я гонялся за Жуковским, его не было в Дюссельдорфе. Он отправился посещать разных новых родных своих[41], так что поймал его я уже во Франкфурте.

Кривцов твердо уверен, что я ищу у него места, и сказал Жуковскому, что он для меня приберег удивительное место… место библиотекаря еще покамест несуществующей библиотеки. Я, однако же, за место поблагодарил, сказавши, что хотя бы Кривцов предложил мне и свое собственное место, то и его бы не взял по причине других дел и занятий.

Гоголь – А. А. Иванову. Письма, II, 115.

Знаете ли, что Гоголь написал было трагедию? (Не могу утверждать, сказал ли мне Жуковский ее имя, содержание и из какого быта она была взята; только, как-то при воспоминании об этом, мне представляется, что она была из русской истории.) Читал он мне ее во Франкфурте. Сначала я слушал; сильно было скучно; потом решительно не мог удержаться и задремал. Когда Гоголь кончил и спросил, как я нахожу, я говорю: «Ну, брат Николай Васильевич, прости, мне сильно спать захотелось». – «А когда спать захотелось, тогда можно и сжечь ее», – отвечал он и тут же бросил в камин. Я говорю: «И хорошо, брат, сделал».

В. А. Жуковский по записи Ф. В. Чижова. Записки о жизни Гоголя, I, 330.

Однажды Гоголь просил Жуковского выслушать какую-то вновь написанную им пьесу и сказать о ней свое мнение. Это, кажется, было за границей, в Дюссельдорфе, где находился Жуковский. Чтение пришлось как раз после обеда, а в это время Жуковский любил немножко подремать. Не в состоянии бороться с своею привычкою, он и теперь, слушая автора, мало-помалу погрузился в тихий сон. Наконец, он проснулся. «Вот видите, Василий Андреевич, – сказал ему Гоголь, – я просил у вас критики на мое сочинение. Ваш сон есть лучшая на него критика». И с этими словами бросил рукопись в тут же топившийся камин. Этот анекдот передал мне Ф. В. Чижов со слов самого Гоголя.

А. В. Никитенко, II, 292.

У вас много было забот и развлечений, и вместе с тем сосредоточенной в себя самого жизни, и было вовсе не до меня, и мне, тоже подавленному многими ощущениями, было не под силу лететь с светлой душой к вам навстречу. Душе моей были сильно нужны пустыня и одиночество. Я помню, как, желая вам передать сколько-нибудь блаженство души моей, я не находил слов в разговоре с вами, издавал одни только бессвязные звуки, похожие на бред безумия, и, может быть, до сих пор оставалось в душе вашей недоумение, за кого принять меня, и что за странность произошла внутри меня.

Гоголь – В. А. Жуковскому. Письма, II, 184.

Мне пришлось еще зиму просидеть в Ганау. Брат Петр Михайлович отправился отсюда в Дрезден, а потом и далее в Питер и на Русь, вместе с Гоголем, который провел с нами целый месяц, ожидая решения судьбы моей на будущий год, если бы мне ехать. Гоголь сошелся с нами; обещался жить со мною вместе, т. е. на одной квартире, по возвращении моем в Москву. Он, кажется, написал много нового и едет издавать оное.

Он премилый, и я рад, что брат Петр Михайлович не один пустился в дальний путь, а с товарищем, с которым не может быть скучно и который бывал и перебывал в чужих краях и знает все немецкие обычаи и поверия. Гоголь обещался приехать пожить и в Симбирске, чтобы получить истинное понятие о странах приволжских.

Н. М. Языков (поэт) – своей сестре, 19 сент. 1841 г., из Ганау, Шенрок. Материалы, IV, 42.

Гоголь рассказал мне о странностях своей (вероятно, мнимой) болезни: в нем-де находятся зародыши всех возможных болезней; также и об особенном устройстве головы своей и неестественности положения желудка. Его будто осматривали и ощупывали в Париже знаменитые врачи и нашли, что желудок его вверх ногами. Вообще, в Гоголе чрезвычайно много странного, – иногда даже я не понимал его, – и чудного; но все-таки он очень мил; обещался жить со мною вместе.

Н. М. Языков в письме к брату (в сент. 1841 г.), из Ганау. Шенрок. Материалы, IV, 43.

Достигли мы Дрездена благополучно… Вообще, ехалось хорошо… Дорожное спокойствие было смущено перелазкой из коляски в паровой воз, где, как сон в руку, встретились Бакунин (*М. А., вскоре эмигрант, известный анархист*) и весьма жесткие деревянные лавки. То и другое было страх неловко… Но мы в Дрездене. Петр Михайлович (*Языков*) отправился к своему семейству, а я остался один и наслаждаюсь прохладой после кофия, и много всего идет ко мне: идет то, о чем я ни с кем не говорю, идет то, о чем говорю с тобою… Нет, тебе не должна теперь казаться страшна Москва своим шумом и надоедливостью; ты должен теперь помнить, что там жду тебя я и что ты едешь прямо домой, а не в гости. Тверд путь твой, и залогом слов сих недаром оставлен тебе посох. О, верь словам моим!.. Ничего не в силах я тебе более сказать, как только: «верь словам моим». Есть чудное и непостижимое… Но рыдания и слезы глубоко вдохновенной и благодарной души помешали мне вечно досказать… и онемели бы уста мои. Никакая мысль человеческая не в силах себе представить сотой доли той необъятной любви, какую содержит бог к человеку!.. Вот все. Отныне взор твой должен быть светло и бодро вознесен горе: для сего была наша встреча. И если при расставании нашем, при пожатии рук наших не отделилась от моей руки искра крепости душевной в душу тебе, то, значит, ты не любишь меня. И если когда-нибудь одолеет тебя скука и ты, вспомнивши обо мне, не в силах одолеть ее, то, значит, ты не любишь меня. И если мгновенный недуг отяжелит тебя и низу поклонится дух твой, то, значит, ты не любишь меня… Но я молюсь, молюсь сильно в глубине души моей в сию самую минуту, да не случится с тобою сего, и да отлетит темное

сомнение обо мне, и да будет чаще, сколько можно, на душе твоей такая же светлость, какою объят я весь в сию минуту... Уведоми меня в Москву, что ты получил это письмо; мне бы не хотелось, чтобы оно пропало, ибо оно написано в душевную минуту.

Гоголь – Н. М. Языкову, 27 сент. 1841 г., из Дрездена. Письма, II, 117.

IX

В России

(Октябрь 1841 г. – июнь 1842 г.)

В начале октября ст. стиля Гоголь в Петербурге, где пробыл пять дней.

А. И. Кирпичников. Хронолог. канва, 45.

Возвратившись из Царского Села в шестом часу, вдруг вижу вошедшего ко мне Гоголя. Он прибыл на житье и, напечатав здесь «Мертвые души», переселится в Москву.

П. А. Плетнев – Я. К. Гроту, 7 окт. 1841 г., из Петербурга. Переписка Грота с Плетневым, I, 408.

Воскресенье 12 окт. 1841 г. У меня обедал Гоголь. Понедельник 13 окт. Обедал и вечер провел у Балабиных, где был и Гоголь.

П. А. Плетнев – Я. К. Гроту, 14 окт. 1841 г. Переписка Грота с Плетневым, I, 411.

В 1841 году Гоголь приехал из-за границы в Москву через Петербург. Он сперва намерен был печатать «Мертвые души» здесь, но потом раздумал. В этот приезд он, между прочим, явился у А. О. Смирновой, в собственном доме ее на Мойке; был в хорошем расположении духа, но о «Мертвых душах» не было и помину. Тут она узнала, что он находится в коротких отношениях с семейством графов Виельгорских; это, впрочем, было для нее понятным: ибо она знала о его тесной дружбе с покойным графом Иосифом.

А. О. Смирнова по записи П. А. Кулиша. Кулиш, I, 302.

Меня предательски завезли в Петербург. Там я пять дней томился. Погода мерзейшая, – именно трепня.

Гоголь – Н. М. Языкову. Письма, II, 127.

Гоголя мы уже давно ждали, но, наконец, и ждать перестали; а потому внезапное появление его у нас в доме 18 октября 1841 г. произвело такой же радостный шум, как в 1839 году письмо Щепкина, извещавшее о приезде Гоголя в Москву. В этот год последовала сильная перемена в Гоголе, не в отношении к наружности, а в отношении к его нраву и свойствам. Впрочем, и по наружности он стал худ, бледен, и тихая покорность воле божией слышна была в каждом его слове: гастрономического направления и прежней проказливости как будто не бывало. Иногда, очевидно без намерения, слышался юмор и природный его комизм; но смех слушателей, прежде не противный ему или незамечаемый им, в настоящее время сейчас заставлял его переменить тон разговора. Проявление последней его проказливости случилось во время переезда Гоголя из Петербурга в Москву. Он приехал в одной почтовой карете с П. И. Пейкером и сидел с ним в одном купе. Заметя, что товарищ очень обрадовался соседству знаменитого писателя, он уверил его, что он не Гоголь, а Гогель, прикинулся смиренным простачком, круглым сиротой и рассказал о себе преплачевную историю. Притом на все вопросы отвечал: «нет, не знаю». Пейкер оставил в покое своего неразговорчивого соседа. Приехав в Москву, Пейкер немедленно посетил нас. Речь зашла о Гоголе, и петербургский гость изъявил горячее желание видеть его. Я сказал, что это очень немудрено, потому что Гоголь бывает у меня почти всякий день. Через несколько минут входит Гоголь своей тогда еще живою и бодрою походкой. Я познакомил его с моим гостем, и что же? Он узнает в Гоголе несносного своего соседа Гогеля. Мы не могли удержаться от смеха, но Пейкер осердился. Невинная выдумка возвращала Гоголю полную свободу, и он, подняв воротник шинели выше своей головы (это была его любимая поза), всю дорогу читал потихоньку Шекспира или предавался своим творческим фантазиям. Между тем многие его за это обвиняли. Мы успокоили Пейкера, объяснив ему, что подобные мистификации Гоголь делал со всеми. Впоследствии они обедали у нас вместе, и Гоголь был любезен со своим прежним соседом.

Гоголь точно привез с собой первый том «Мертвых душ», совершенно конченный и отчасти отделанный. Он требовал от нас, чтоб мы никому об этом не говорили, а всем бы отвечали, что ничего готового нет. Начались хлопоты с перепискою набело «Мертвых душ». Покуда переписывались первые шесть глав, Гоголь прочел мне, Константину и Погодину остальные пять глав. Он читал их у себя на квартире, т. е. в доме Погодина, и ни за что не соглашался, чтоб кто-нибудь слышал их, кроме нас троих. Он требовал от нас критических замечаний, не столько на частности, как на общий состав и ход происшествия в целом томе. Я решительно не был тогда способен к такого рода замечаниям; частности, мелочи бросались мне в глаза во время чтения, но и об них я забывал после. И так я молчал, но Погодин заговорил. Что он говорил, я хорошенько не помню; помню только, что он, между прочим, утверждал,

что в первом томе содержание поэмы не двигается вперед; что Гоголь выстроил длинный коридор, по которому ведет своего читателя вместе с Чичиковым и, отворяя двери направо и налево, показывает сидящего в каждой комнате урода. Я принялся спорить с Погодиным, доказывая, что тут никакого коридора и никаких уродов нет, что содержание поэмы идет вперед, потому что Чичиков ездит по добрым людям и скупает мертвые души… Но Гоголь был недоволен моим заступлением и, сказав мне: «сами вы ничего заметить не хотите или не замечаете, а другому замечать мешаете…», просил Погодина продолжать и очень внимательно его слушал, не возражая ни одним словом.

С. Т. Аксаков. История знакомства, 51.

Я спрашивал Гоголя о запорожской трагедии. Он, махнув рукой, не сказал ни слова.

С. Т. Аксаков. Русь, 1880, № 6, 16.

Я в Москве. Дни все на солнце, воздух слышен свежий, осенний, передо мною открытое поле (*Гоголь жил в доме Погодина на Девичьем Поле*), и ни кареты, ни дрожек, ни души, словом – рай… Кофий уже доведен мною до совершенства; никаких докучных мух и никакого беспокойства ни от кого… У меня на душе хорошо, светло.

Гоголь – Н. М. Языкову, 23 окт. 1841 г., из Москвы. Письма, II, 128.

Пишу к тебе после долгой болезни, которая было меня одолела и которой начало уже получил я в Петербурге. Теперь мне гораздо лучше, хотя я исхудал сильно… Дело мое, по причине болезни, почти не начиналось. Теперь только началась переписываться рукопись (*«Мертвых душ»*).

Гоголь – Н. Я. Прокоповичу, 25 ноября 1841 г., из Москвы. Письма, II, 129.

Обычный, формальный ход рукописи «Мертвых душ» встретил в Москве какого-то рода затруднения. Гоголь еще не знал, на что решиться, когда, пользуясь случайным пребыванием Белинского в Москве, он назначил ему в доме одного общего знакомого свидание, но, как следовало ожидать, под условием величайшего секрета. Пренебречь ропотом друзей, завязав откровенные сношения с критиком, он не мог даже по убеждениям своим. Мы знаем положительно, что Гоголь вместе с другими членами обыкновенного своего круга был настроен не совсем доброжелательно к Белинскому, и особенно потому, что критик стоял за

суровую, отвлеченную, идеальную истину и, при случае, мало дорожил истиной исторической, а еще менее преданием, связями и воспоминаниями кружков. Гоголь несколько раз выражал недовольство свое критикой Белинского еще в Риме. С другой стороны, несмотря на тогдашнюю бдительность литературных партий и строгий присмотр за людьми, Гоголь понимал опасность оставаться безвыходно в одном кругу, да и сочувствие к деятельности Гоголя, высказанное не раз Белинским, сглаживало дорогу к сближениям; отсюда – секретные сношения, первый пример которых подал, как известно, Пушкин, посылавший тайком Белинскому свои книги и одобрительные слова. При первом таинственном свидании Гоголя с Белинским Гоголь решился на пересылку своей рукописи в Петербург, и тогда же обсуждены были меры для сообщения ей правильного и безостановочного хода, Белинский, возвращавшийся в Петербург, принял на себя хлопоты по первоначальному устройству этого дела, и направление, которое он дал ему тогда, может быть, решило и успех его. С ним, как мы слышали, пошла в Петербург и самая рукопись автора…

П. В. Анненков. Гоголь в Риме. Литературные воспоминания, 58.

Гоголь послал рукопись «Мертвых душ» в Петербург, кажется, с Белинским, по крайней мере, не сказав нам с кем. У нас возникло подозрение, что Гоголь имел сношение с Белинским, который приезжал на короткое время в Москву, секретно от нас; потому что в это время мы все уже терпеть не могли Белинского, переехавшего в Петербург для сотрудничества в издании «Отечественных записок» и обнаружившего гнусную враждебность к Москве, к русскому человеку и ко всему нашему русскому направлению.

С. Т. Аксаков. История знакомства, 54.

Принимаюсь за перо писать тебе, и не в силах… Но ты все узнаешь из письма к Александре Осиповне (*Смирновой*), которое доставь ей сейчас же, отвези сам, вручи лично. Белинский сейчас едет. Времени нет мне перевести дух, я очень болен и. в силу двигаюсь. Рукопись моя запрещена. Проделка и причина запрещения – все смех и комедия. Но у меня вырывают мое последнее имущество. Вы должны употребить все силы, чтобы доставить рукопись государю. Ее вручат тебе при сем письме. Прочтите ее вместе с Плетневым и Александрой Осиповной (*Смирновой*) и обдумайте, как обделать лучше дело. Какая тоска, какая досада, что я не могу быть лично в Петербурге! Но я слишком болен, я не вынесу дороги. Употребите все силы. Ваш подвиг будет благороден. Клянусь, ничто не может быть благороднее!

Гоголь – В. Ф. Одоевскому, начало января 1842 г., из Москвы. Письма, II, 135.

Расстроенный и телом, и духом, пишу к вам. Сильно хотел бы ехать теперь в Петербург; мне это нужно, я это знаю, и при всем том не могу. Никогда так не в пору не подвернулась ко мне болезнь, как теперь. Припадки ее приняли теперь такие странные образы… Но бог с ними! Не об болезни, а об цензуре я теперь должен говорить.

Удар для меня никак неожиданный: запрещают всю рукопись (*«Мертвых душ»*). Я отдаю сначала ее цензору Снегиреву, который несколько толковее других, с тем, что, если он находит в ней какое-нибудь место, наводящее на него сомнение, чтоб объявил мне прямо, что я тогда посылаю ее в Петербург. Снегирев через два дня объявляет мне торжественно, что рукопись он находит совершенно благонамеренной и в отношении к цели, и в отношении к впечатлению, производимому на читателя, и что, кроме одного незначительного места – перемены двух-трех имен (на которые я тот же час согласился и изменил), нет ничего, что бы могло навлечь притязанья цензуры самой строгой. Это же самое он объявил и другим. Вдруг Снегирева сбил кто-то с толку, и я узнал, что он представляет мою рукопись в комитет. Комитет принимает ее таким образом, как будто уже был приготовлен заранее и был настроен разыграть комедию: ибо обвинения, все без исключения, были комедии в высшей степени. Как только занимавший место президента Голохвастов услышал название «Мертвые души», – закричал голосом древнего римлянина: «Нет, этого я никогда не позволю: душа бывает бессмертна; мертвой души не может быть; автор вооружается против бессмертия». В силу наконец мог взять в толк умный президент, что дело идет об ревижских душах. Как только взял он в толк и взяли в толк вместе с ним другие цензора, что мертвые значит ревижские, произошла еще большая кутерьма. «Нет, – закричал председатель и за ним половина цензоров, – этого и подавно нельзя позволить хотя бы в рукописи ничего не было, а стояло только одно слово: ревижская душа; уж этого нельзя позволить, это значит против крепостного права». Наконец сам Снегирев увидел, что дело зашло уже очень далеко; стал уверять цензоров, что он рукопись читал и что о крепостном праве и намеков нет, что даже нет обыкновенных оплеух, которые раздаются во многих повестях крепостным людям; что здесь совершенно о другом речь; что главное дело основано на смешном недоумении продающих и на тонких хитростях покупщика и на всеобщей ералаши, которую произвела такая странная покупка, что это ряд характеров, внутренний быт России и некоторых обитателей, собрание картин самых невозмутительных. Но ничего не помогло.

«Предприятие Чичикова, – стали кричать все, – есть уже уголовное преступление». – «Да, впрочем, и автор не оправдывает его», – заметил мой цензор. «Да, не оправдывает, а вот он выставил его теперь, и пойдут другие брать пример и покупать мертвые души». Вот какие толки! Это толки цензоров-азиатцев, то есть людей старых, выслужившихся и сидящих дома. Теперь следуют толки цензоров-европейцев, возвратившихся из-за границы, людей молодых. «Что вы ни говорите, а цена, которую дает Чичиков (сказал один из таких цензоров, именно Крылов), цена два с полтиною, которую он дает за душу, возмущает душу. Человеческое чувство вопиет против этого; хотя, конечно, эта цена дается только за одно имя, написанное на бумаге, но все же это имя – душа, душа человеческая; она жила, существовала. Этого ни во Франции, ни в Англии и нигде нельзя позволить. Да после этого ни один иностранец к нам не приедет».

Эти главные пункты, основываясь на которых произошло запрещение рукописи. Я не рассказываю вам о других мелких замечаниях, как-то в одном месте сказано, что один помещик разорился, убирая себе дом в Москве в модном вкусе. «Да ведь и государь строит в Москве дворец!» – сказал цензор Каченовский. Тут, по поводу, завязался у цензоров разговор, единственный в мире. Потом произошли другие замечанья, которые даже совестно пересказывать, и наконец дело кончилось тем, что рукопись объявлена запрещенною, хотя комитет только прочел три или четыре места.

Вот вам вся история. Она почти невероятна, а для меня в добавку подозрительна. Подобной глупости нельзя предположить в человеке. Цензора не все же глупы до такой степени. Я думаю, что против меня что-нибудь есть. Но дело, между прочим, для меня слишком серьезно. Из-за комедий или интриг мне похмелье. – У меня, вы сами знаете, все мои средства и все мое существование заключены в моей поэме. Дело клонится к тому, чтобы вырвать у меня последний кусок хлеба, выработанный семью годами самоотверженья, отчужденья от мира и всех его выгод. Другого я ничего не могу предпринять для моего существования. Усиливающееся болезненное мое расположение и недуги лишают меня даже возможности продолжать далее начатый труд. Светлых минут у меня немного, а теперь просто отымаются руки. Дело вот в чем. Вы должны теперь действовать соединенными силами и доставить рукопись к государю. Я об этом пишу к А. О. Смирновой. Я просил ее чрез великих княжен или другими путями. Это – ваше дело; об этом вы сделаете совещание вместе. Рукопись моя у кн. Одоевского. Вы прочитайте ее вместе, человека три-четыре, не больше; не нужно об этом деле производить огласки.

Гоголь – П. А. Плетневу, 7 января 1842 г., из Москвы. Письма, II, 135.

Вы уже знаете, какую глупую роль играет моя странная фигура в нашем родном омуте, куда я не знаю, за что попал. С того времени, как только ступила моя нога в родную землю, мне кажется, как будто я очутился на чужбине. Вижу знакомые, родные лица; но они, мне кажется, не здесь родились, а где-то их в другом месте, кажется, видел; и много глупостей, непонятных мне самому, чудится в моей ошеломленной голове. Но что ужасно что в этой голове нет ни одной мысли, и если вам нужен теперь болван, для того чтобы надевать на него вашу шляпку или чепчик, то я весь теперь к вашим услугам. Вы на меня можете надеть и шляпку, и все, что хотите, можете сметать с меня пыль, мести у меня под носом щеткой, и я не чихну, и даже не фыркну, не пошевелюсь...

Гоголь – М. П. Балабиной, январь 1842 г., из Москвы. Письма, II, 140.

Голова у меня одеревенела и ошеломлена так, что я ничего не в состоянии делать, – не в состоянии даже чувствовать, что ничего не делаю. Если б ты знал, как тягостно мое существование здесь, в моем отечестве. Жду и не дождусь весны и поры ехать в мой Рим, в мой рай, где я почувствую вновь свежесть и силы, охладевающие здесь... О, много, много пропало, много уплыло!.. Приезжай когда-нибудь, хоть под закат дней, в Рим, на мою могилу, если не станет уж меня в живых. Боже, какая земля! какая земля чудес! и как там свежо душе!..

Гоголь – М. А. Максимовичу, 10 генваря 1842 г., из Москвы. Письма. II, 139.

Что ж вы всё молчите все? что нет никакого ответа? Получил ли ты рукопись? получил ли письма? Распорядились ли вы как-нибудь? Ради бога, не томите. Граф Строганов теперь велел сказать мне, что он рукопись пропустит, что запрещение и пакость случились без его ведома, и мне досадно, что я не дождался этого неожиданного для меня оборота; мне не хочется также, чтобы цензору был выговор. Ради бога, обделайте так, чтобы всем было хорошо, и, пожалуйста, не медлите. Время уходит, время, в которое расходятся книги.

Гоголь – В. Ф. Одоевскому, вторая половина января 1842 г., из Москвы. Письма, II, 140.

Под весну я получила от Гоголя письмо очень длинное, все исполненное слез, почти стону, в котором жалуется с каким-то почти детским отчаянием на все насмешливые отметки московской цензуры. К письму была приложена просьба к государю, в случае что не пропустят первый том «Мертвых душ». Эта просьба была прекрасно написана, очень коротко, исполнена достоинства и чувства, вместе доверия к разуму государя, который один велел принять «Ревизора» вопреки мнению его

окружавших. Я, однако, решилась прибегнуть к совету графа М. Ю. Виельгорского; он горячо взялся за это дело и устроил все с помощью князя М. А. Дондукова, бывшего тогда попечителем университета.

А. О. Смирнова. Записки, 315.

Граф! Узнав о стесненном положении, в котором находится г. Гоголь, автор «Ревизора» и один из наших самых известных современных писателей, нуждающийся в особом содействии, думаю, что исполню по отношению к вам свой долг, если извещу вас об этом и возбужу в вас интерес к молодому человеку. Может быть, вы найдете возможным доложить о нем императору и получить от него знак его высокой щедрости. Г. Гоголь строит все свои надежды, чтоб выйти из тяжелого положения, в которое он попал, на напечатании своего сочинения «Мертвые души». Получив уведомление от московской цензуры, что оно не может быть разрешено к печати, он решил послать ее в Петербург. Я не знаю, что ожидает там это сочинение, но это сделано по моему совету. В ожидании же исхода Гоголь умирает с голоду и впал в отчаяние. Я нимало не сомневаюсь, что помощь, которая была бы оказана ему со стороны его величества, была бы одной из наиболее ценных.

Граф С. Г. Строганов (попечитель Моск. учебн. округа) – гр. А. Х. Бенкендорфу (шефу жандармов), 29 янв. 1842 г. Мих. Лемке. «Николаевские жандармы». СПб., 1909. Стр. 135. (Франц.)

Попечитель Моск. учебн. округа генерал-адъютант гр. Строганов уведомляет меня, что известный писатель Гогель находится теперь в Москве в самом крайнем положении, что он основал всю надежду свою на сочинении своем под названием «Мертвые души», но оно московскою цензурою не одобрено и теперь находится в рассмотрении здешней цензуры, и как между тем Гогель не имеет даже дневного пропитания и оттого совершенно упал духом, то граф Строганов просит об исходатайствовании от монарших щедрот какого-либо ему пособия. Всеподданнейше доношу вашему императорскому величеству о таком ходатайстве гр. Строганова за Гогеля, который известен многими своими сочинениями, в особенности комедией своей «Ревизор», я осмеливаюсь испрашивать всемилостивейшего вашего величества повеления о выдаче в единовременное пособие пятьсот рублей серебром.

Граф А. Х. Бенкендорф в докладе императору Николаю. На докладе пометка царя: «Согласен». Деньги были посланы через несколько дней. М. Лемке, 135.

Я был болен, очень болен, и еще болен доныне внутренне. Болезнь моя выражается такими страшными припадками, каких никогда еще со мною не было; но страшнее всего мне показалось то состояние, которое напомнило мне ужасную болезнь мою в Вене, а особливо когда я почувствовал то подступившее к сердцу волнение, которое всякий образ, пролетавший в мыслях, обращало в исполина, всякое незначительно-приятное чувство превращало в такую страшную радость, какую не в силах вынести природа человека, и всякое сумрачное чувство претворяло в печаль, тяжкую, мучительную печаль, и потом следовали обмороки; наконец, совершенно сомнамбулическое состояние. И нужно же, в довершение всего этого, когда и без того болезнь моя была невыносима, получить еще неприятности, которые в здоровом состоянии человека бывают потрясающи! Сколько присутствия духа мне нужно было собрать в себе, чтобы устоять! И я устоял; я креплюсь, сколько могу; выезжаю даже из дому, не жалуюсь и никому не показываю, что я болен, хотя часто, часто бывает не под силу. Теперь я вижу, что мне совсем не следовало приезжать... А главное, – что хуже всего, – я не в силах здесь заниматься трудом, который для меня есть все. Зато с каким нетерпением ожидаю весны!.. Покамест я все еще не здоров. Меня томит и душит все, и самый воздух. Я был так здоров, когда ехал в Россию, думал, что теперь удастся прожить в ней поболее, узнать те стороны ее, которые были доселе мне не так коротко знакомы. Все пошло, как кривое колесо...

Гоголь – М. П. Балабиной, в феврале 1842 г., из Москвы. Письма, II, 147.

Я получил ваше уведомление о том, что рукопись пропускается. Дай бог, чтоб это было так, но я еще не получил ее, хотя три дни уже прошло после полученья вашего письма. Я немножко боюсь, что она попала к Никитенке (*цензор*). Он кроме своих цензорских должностных взглядов, понимает звание цензора в смысле древних цензоров римских, то есть наблюдателей за чистотою нравов, и потому многие мои выражения пострадают сильно от него. Словом, не могу еще предаваться надежде, пока вовсе не окончится дело. Дай бог, чтоб оно было хорошо. Я уже ко всему приготовился... Нельзя ли на Никитенку подействовать со стороны каких-нибудь значительных людей, приободрить и пришпандорить к большей смелости? Добрый граф Виельгорский! Как я понимаю его душу! Но изъявить каким бы то ни было образом чувства мои – было бы смешно и глупо с моей стороны. Он слишком хорошо понимает, что я должен чувствовать.

Гоголь – П. А. Плетневу, 17 февр. 1842 г., из Москвы. Письма, II, 146.

Я помню, как ленивый и необщительный Гоголь, еще до появления своих «Мертвых душ», приехал в одну середу вечером к Чаадаеву. Долго

на это он не решался, сколько ни упрашивали общие приятели упрямого малоросса; наконец он приехал, и, почти не обращая никакого внимания на хозяина и гостей, уселся в углу на покойное кресло, закрыл глаза, начал дремать и потом, прохрапев весь вечер, очнулся, пробормотал два-три слова в извинение и тут же уехал. Долго не мог забыть Чаадаев такого оригинального посещения.

Д. Н. Свербеев. Воспоминания о П. Я. Чаадаеве. Рус. Арх., 1868, 995.

В разговорах, как мы слышали из разных источников, Гоголь часто не принимал участия, молча и презрительно поглядывая на собеседников; в иных зарождалась даже мысль, что этот прием употреблялся им в некоторых случаях нарочно для прикрытия своего невольного смущения.

В. И. Шенрок. Материалы, IV, 757.

Однажды Булгакова (*К. А. Булгаков, дилетант – любитель живописи, известный в 40-х годах чудак и повеса*) посетил Гоголь и пресерьезно осматривал его коллекцию портретов и рисунков. Не заметив, что на диване сидел какой-то важный генерал, и к тому же очень щепетильный. Гоголь долго стоял над диваном, рассматривая висевшую над ним картину, не замечая сидевшего генерала, бесившегося от злобы. «Я заметил, – рассказывал Булгаков, – что Гоголь, не видя этого петуха, осеняет его своим длинным носом, и стал их представлять. «Mon cher, – сказал я генералу, моему старому приятелю, – je te presente la personne du celebre Gogol, lecrivain». Тогда надо было видеть, как флегматический Гоголь опустил свой длинный нос на моего бедного генерала, побагровевшего от неслыханного sans fagon обращения, и как они оба в унисон промычали что-то вместо приветствия.

П. П. Соколов. Воспоминания. Л., 1930. Стр. 134.

Я был болен и очень расстроен и, признаюсь, не в мочь было говорить ни о чем. Меня мучит свет и сжимает тоска, и как ни уединенно я здесь живу, но меня все тяготят здешние пересуды, и толки, и сплетни. Я чувствую, что разорвалися последние узы, связывавшие меня со светом. Мне нужно уединение, решительное уединение. О, как бы весело провели мы с тобой дни вдвоем за нашим чудным кофием по утрам, расходясь на легкий, тихий труд и сходясь на тихую беседу за трапезой и ввечеру! Я не рожден для треволнений и чувствую с каждым днем и часом, что нет выше удела на свете, как звание монаха. Я приеду сам за тобою... Здоровье мое сделалось значительно хуже. Мне советуют ехать в Гастейн... как кстати!.. Я бываю часто у Хомяковых; я их люблю; у них я отдыхаю душой.

Гоголь – Н. М. Языкову, 10 февр. 1842 г., из Москвы. Письма, II, 144.

Гоголь до невероятности раздражителен и самолюбив, как-то болезненно, хотя в нем это незаметно с первого взгляда, но тем хуже для него! В Москве он только и бывает, что у Хомяковых.

Н. М. Языков – Е. П. Языковой. Шенрок. Материалы, IV, 167.

Гоголь всегда держал себя бесцеремонно у Хомяковых: он капризничал неимоверно, приказывая по нескольку раз то приносить, то уносить какой-нибудь стакан чая, который никак не могли ему налить по вкусу: чай оказывался то слишком горячим, то крепким, то чересчур разбавленным; то стакан был слишком полон, то, напротив. Гоголя сердило, что налито слишком мало. Одним словом, присутствующим становилось неловко; им только оставалось дивиться терпению хозяев и крайней неделикатности гостя.

П. И. Бартенев по записи В. И. Шенрока. Материалы, IV, 757.

В конце 1841 и в начале 1842 года начали возникать неудовольствия между Гоголем и Погодиным. Гоголь молчал, но казался расстроенным; а Погодин начал сильно жаловаться на Гоголя: на его капризность, скрытность, неискренность, даже ложь, холодность и невнимание к хозяевам, т. е. к нему, к его жене, к матери и теще, которые будто бы ничем не могли ему угодить. Я должен признаться, к сожалению, что жалобы и обвинения Погодина казались так правдоподобными, что сильно смущали мое семейство и отчасти меня самого, а также и Шевырева. Я, однако, объясняя себе поступки Гоголя его природною скрытностью и замкнутостью, его правилами, принятыми с издетства, что иногда должно не только не говорить настоящей правды людям, но и выдумывать всякий вздор для скрытия истины, я старался успокоить других моими объяснениями. Я приписывал скрытность и даже какую-нибудь пустую ложь, которую употреблял иногда Гоголь, когда его уличали в неискренности, единственно странности его характера и его рассеянности. Будучи погружен в совсем другие мысли, разбуженный как будто от сна, он иногда сам не знал, что отвечает и что говорит, лишь бы только отделаться от докучного вопроса; данный таким образом ответ невпопад надобно было впоследствии поддержать или оправдать, из чего иногда выходило целое сплетение разных мелких неправд. Впрочем, я должен сказать, что странности Гоголя иногда были необъяснимы и остались навсегда для меня загадками. Мне нередко приходилось объяснять самому себе поступки Гоголя точно так, как я объяснял их другим, т. е. что мы не можем судить Гоголя по себе, даже не можем понимать его впечатлений, потому-то, вероятно, весь

организм его устроен как-нибудь иначе, чем у нас; что нервы его, может быть, во сто раз тоньше наших: слышат то, чего мы не слышим, и содрогаются от причин, для нас неизвестных. На такое объяснение Погодин с злобным смехом отвечал: «разве что так». Я тогда еще не вполне понимал Погодина и потому не догадывался, что главнейшею причиною его неудовольствия было то, что Гоголь ничего не давал ему в журнал, чего он постоянно и грубо требовал, несмотря на все письма Гоголя. После объяснилось, что Погодин пилил, мучил Гоголя не только словами, но даже записками, требуя статей себе в журнал и укоряя его в неблагодарности, которые посылал ежедневно к нему снизу наверх. Такая жизнь сделалась мучением для Гоголя и была единственною причиною скорого его отъезда за границу. Теперь для меня ясно, что грубая, черствая, топорная натура Погодина не могла иначе поступать с натурою Гоголя, самою поэтическою, восприимчивою и по преимуществу нежною. Погодин сделал много добра Гоголю, хлопотал за него горячо всегда и везде, передавал ему много денег (не имея почти никакого состояния и имея на руках большое семейство), содержал его с сестрами и с матерью у себя в доме и по всему этому считал, что он имеет полное право распоряжаться в свою пользу талантом Гоголя и заставлять его писать в издаваемый им журнал. Погодин всегда имел добрые порывы и был способен сделать добро даже и такому человеку, который не мог заплатить ему тем же; но как скоро ему казалось, что одолженный им человек может его отблагодарить, то он уже приступал к нему без всяких церемоний, брал его за ворот и говорил: «я тебе помог в нужде, а теперь ты на меня работай».

Докуки Погодина увенчались, однако, успехом. Гоголь дал ему в журнал большую статью под названием «Рим», которая была напечатана в № 3 «Москвитянина». Он прочел ее в начале февраля предварительно у нас, а потом на литературном вечере у князя Дм. Вл. Голицына (у Гоголя не было фрака, и он надел фрак Константина). Несмотря на высокое достоинство этой пиесы, слишком длинной для чтения на рауте у какого бы то ни было генерала-губернатора, чтение почти усыпило половину зрителей; но когда к концу пиесы дело дошло до комических разговоров итальянских женщин между собою и с своими мужьями, все общество точно проснулось и пришло в неописанный восторг, который и остался надолго в благодарной памяти слушателей.

Многие дамы, незнакомые лично с Гоголем, но знакомые с нами, желали его видеть; но Гоголя трудно было уговорить придти в гостиную, когда там сидела незнакомая ему дама. Одна из них желала особенно познакомиться с Гоголем; а потому Вера и Константин (*дети Аксакова*) так пристали с просьбами к Гоголю, что каким-то чудом уговорили его войти в гостиную. Это точно стоило больших трудов Константину и Вере. Они приставали к нему всячески, убеждали его; он отделывался разными уловками: то заговаривал о другом, то начинал им читать вслух

что-нибудь из «Моск. Ведомостей» и т. д. Наконец, видя, что он уступает, Константин громко возвестил его в гостиной, так что ему уж нельзя было не войти, и он вошел; но дама не сумела сказать ему ни слова, и он, оставшись несколько минут, ушел. Константин проводил его и благодарил, но он был не совсем доволен, и на вопрос Константина, как он нашел эту даму, он сказал, что не может судить о ней, потому что не слыхал от нее ни слова, «а вы мне сказали, что она желает со мною познакомиться».

С. Т. Аксаков. История знакомства, 54–58.

Когда Гоголь напечатал свой «Рим» в «Москвитянине», то, по условию, выговорил себе у Погодина двадцать оттисков, но тот, по обыкновению своему, не оставил, сваливая вину на типографию. Однако Гоголь непременно хотел иметь их, обещав наперед знакомым по оттиску. И потому, настаивая на своем, сказал, разгорячась мало-помалу: «А если вы договора не держите, так прикажите вырвать из своего журнала это число оттисков». – «Но как же, – заметил издатель, – ведь тогда я испорчу двадцать экземпляров». – «А мне какое дело до этого?.. Впрочем, хорошо: я согласен вам за них заплатить, – прибавил Гоголь, подумав немного, – только чтоб непременно было мне двадцать экземпляров моей статьи, слышите? Двадцать экземпляров!» Тут я увел его в комнату наверх, где сказал ему: «Зачем вам бросать эти деньги так на ветер? Да за двадцать целковых вам наберут вновь вашу статью». – «В самом деле? – спросил он с живостью. – Ах, вы не знаете, что значит иметь дело с кулаком!» – «Так зачем же вы связываетесь с ним?» – подхватил я. «Затем, что я задолжал ему шесть тысяч рублей ассигнациями: вот он и жмет меня. Терпеть не могу печататься в журналах, – нет, вырвал-таки у меня эту статью! И что же, как же ее напечатал? Не дал даже выправить хоть в корректуре. Почему уж это так, он один это знает». Ну, подумал я, потому это так, что иначе он не сумеет: это его природа делать все, как говорится, тяп да ляп.

М. С. Щепкин по записи О. М. Бодянского. Выдержки из дневника Бодянского. Сборник Об-ва Любит. Рос. Словесности на 1891 г. М., 1891. С. 118.

Вот уже вновь прошло три недели после письма вашего, в котором вы известили меня о совершенном окончании дела, а рукописи нет как нет. Уже постоянно каждые две недели я посылаю каждый день осведомиться на почту, в университет и во все места, куда бы только она могла быть адресована, – и нигде никаких слухов! Боже, как истомили, как измучили меня все эти ожиданья и тревоги! А время уходит, и чем далее, тем менее вижу возможности успеть с ее печатаньем.

Ничем другим не в силах я заняться теперь, кроме одного постоянного труда моего (*«Мертвые души»*). Он важен и велик, и вы не судите о нем по той части, которая готовится теперь предстать на свет. Это больше ничего, как только крыльцо к тому дворцу, который во мне строится. Труд мой занял меня совершенно всего, и оторваться от него на минуту есть уже мое несчастие. Здесь, во время пребывания моего в Москве, я думал заняться отдельно от этого труда, написать одну-две статьи, потому что заняться чем-нибудь важным я здесь не могу. Но вышло напротив: я даже не в силах собрать себя.

Притом уже в самой природе моей заключена способность только тогда представлять себе живой мир, когда я удалился от него. Вот почему о России я могу писать только в Риме. Только там она предстает мне вся, во всей своей громаде. А здесь я погиб и смешался в ряду с другими. Открытого горизонта нет передо мною. Притом здесь, кроме могущих смутить меня внешних причин, я чувствую физическое препятствие писать. Голова моя страдает всячески: если в комнате холодно, мои мозговые нервы ноют и стынут, и вы не можете себе представить, какую муку чувствую я всякий раз, когда стараюсь в то время пересилить себя, взять власть над собою и заставить голову работать; если же комната натоплена, тогда этот искусственный жар меня душит совершенно: малейшее напряжение производит в голове странное сгущение всего, как будто бы она хотела треснуть… Давно остывши и угаснув для всех волнений и страстей мира, я живу своим внутренним миром, и тревога в этом мире может нанести мне несчастие, выше всех мирских несчастий… Боже, думал ли я вынести столько томлений в этот приезд мой в Россию!

Гоголь – П. А. Плетневу, 17 марта 1842 г., из Москвы. Письма, II, 155.

Во время еще пребывания своей сестры у Раевской, месяца за два до отъезда, у нее в доме Гоголь познакомился короче с одной почтенной старушкой Над. Ник. Шереметевой, которая за год перед сим, не зная еще Гоголя лично, упросила Раевскую взять его сестру. Шереметева была глуха и потому, видев Гоголя несколько раз прежде, не говорила с ним почти и совсем его не знала. Но по случаю болезни Раевской, просидев с Гоголем наедине часа два, она была поражена изумлением, найдя в нем горячо верующего и набожного человека. Она, уже давно преданная исключительно молитве и добру, чрезвычайно его полюбила и несколько раз сама приезжала к нему, чтобы беседовать с ним наедине.

С. Т. Аксаков. История знакомства, 63.

Многие знали в Москве в старые годы благочестивую старушку, избравшую своим призванием помощь бедным, больным и всякого рода

страждущим. Она помогала не только деньгами, но являла всегда готовность служить многочисленным клиентам словом утешения и живейшим задушевным участием, весьма охотно присутствовала при соборовании и приходила на похороны людей, составлявших предмет ее страдания и материнских попечений. Эта старушка была Надежда Николаевна Шереметева, когда-то потерявшая зятя, Ивана Дмитриевича Якушкина (*мужа ее дочери*), сосланного в Нерчинские рудники за участие в деле 14 декабря 1825 г. В личности ее было что-то привлекательное, что заставляло забывать о недостатках ее развития и образования, хотя, конечно, она часто не могла быть интересной собеседницей для тех самых людей, которые высоко ценили ее нравственные качества… Не принадлежа к роду графов Шереметевых и находясь с ними в очень отдаленном родстве, она не располагала слишком большими средствами, но, напротив, жила скудно и даже нуждалась, часто отказывая себе в необходимом, чтоб иметь возможность хоть сколько-нибудь помогать бедным. Род. в 1775 г., ум. 1850.

В. И. Шенрок. Материалы, IV, 123, 130.

Были случаи, в которых я никак не умел объяснить себе поступков Гоголя: именно в течение первых четырех месяцев 1842 года был такой случай. Приехал в Москву старый мой, еще по гимназии, товарищ и друг, Д. М. Княжевич; он был прекраснейший человек во всех отношениях. Кроме того, что он, по крайней мере до издания «Мертвых Душ», понимал и ценил Гоголя, он был с ним очень дружески знаком в Риме и, как гостеприимный славянин, не один раз угощал у себя Гоголя. Княжевич очень обрадовался, узнав, что мы с Гоголем друзья и что он бывает у нас всякий день. Я думал, что и Гоголь этому обрадуется. Что же вышло? В первый раз, когда Княжевич приехал к нам при Гоголе и стал здороваться с кем-то за дверьми маленькой гостиной, в которой мы все сидели, Гоголь неприметно юркнул в мой кабинет, и когда мы хватились его, то узнали, что он поспешно убежал из дому. Такой поступок поразил всех нас, особенно удивил Княжевича. На другой день продолжалась такая же история, только с тою разницею, что Гоголь не убежал из дому, когда приехал Княжевич, а спрятался в дальний кабинетец, схватил книгу, уселся в большие кресла и притворился спящим. Он оставался в таком положении более двух часов и так же потихоньку уехал. На вопросы, что с ним сделалось, он отвечал самыми детскими отговорками: в первый приезд Княжевича он будто вспомнил какое-то необходимое дело, по которому надобно было ему сейчас уехать, а в другой раз – будто ему так захотелось спать, что он не мог тому противиться, а проснувшись, почувствовал головную боль и необходимость поскорее освежиться на чистом воздухе. Мы все были не только поражены изумлением, но даже оскорблены. Я хотел даже

заставить Гоголя объясниться с Княжевичем; но последний упросил меня этого не делать и даже взял с меня честное слово, что я и наедине не стану говорить об этом с Гоголем. Он думал, что, вероятно, Гоголю что-нибудь насказали и что он имеет на него неудовольствие. Княжевич так любил горячо и меня и Гоголя, что буквально счел бы за несчастие быть причиною размолвки между нами. Несмотря на то, наше обращение с Гоголем изменилось и стало холоднее. Гоголь притворился, что не примечает того. На третий день опять приехал Княжевич с дочерью, тогда как мы с Гоголем сидели все в моем кабинете. Мы все сейчас встали, пошли навстречу своему гостю и, затворив Гоголя в кабинете, расположились в гостиной. Через полчаса вдруг двери отворились, вбежал Гоголь и с словами: «Ах, здравствуйте, Дмитрий Максимович!» протянул ему обе руки, кажется даже обнял его, и началась самая дружеская беседа приятелей, не видавшихся давно друг с другом… Точно он встретился с ним в первый раз после разлуки, и точно прошедших двух дней не бывало. Покорно прошу объяснить такую странность! Всякое объяснение казалось мне так невыгодным для Гоголя, что я уже никогда не говорил с ним об этом.

С. Т. Аксаков. История знакомства, 55.

Гоголя, как человека, знали весьма немногие. Даже с друзьями своими он не был вполне, или, лучше сказать, всегда, откровенен. Он не любил говорить ни о своем нравственном настроении, ни о своих житейских обстоятельствах, ни о своих делах семейных… Разные люди, знавшие Гоголя в разные эпохи его жизни, могли сообщить о нем друг другу разные известия… Но даже в одно и то же время, особенно до последнего своего отъезда за границу, с разными людьми Гоголь казался разным человеком. Тут не было никакого притворства: он соприкасался с ними теми нравственными сторонами, с которыми симпатизировали те люди, или, по крайней мере, которые могли они понять. Так, например, с одними приятелями, и на словах, и в письмах, он только шутил, так что всякий хохотал, читая эти письма; с другими говорил об искусстве и очень любил сам читать вслух Пушкина, Жуковского и Мерзлякова (его переводы древних); с иными беседовал о предметах духовных, с иными упорно молчал и даже дремал или притворялся спящим. Кто не слыхал самых противуположных отзывов о Гоголе? Одни называли его забавным весельчаком, обходительным и ласковым; другие – молчаливым, угрюмым и даже гордым; третьи – занятым исключительно духовными предметами… Одним словом. Гоголя никто не знал вполне. Некоторые друзья и приятели, конечно, знали его хорошо; но знали, так сказать, по частям. Очевидно, что только соединение этих частей может составить целое, полное знание и определение Гоголя.

С. Т. Аксаков. История знакомства, 204.

Вот уже 30 марта, а рукописи все нет как нет. Всякий день я посылаю разведывать на почту, и все бесплодно… Клянусь, это непостижимо, что делается с моею рукописью. Это во всех отношениях чудеса, и всякий другой мог бы давно сойти с ума. Я сам дивлюсь, как у меня не переворотилось все в голове.

Гоголь – Н. Я. Прокоповичу, 30 марта 1842 г. Письма, II, 162.

Гоголь третьего дня приходил обедать к нам. Я очень люблю его: он не так глубок; как другие, и поэтому с ним гораздо веселее. Он все нехорошо себя чувствует: у него пухнут ноги. Крепко собирается к вам и говорит, что будет счастлив, когда сядет в карету и уедет из Москвы.

Е. М. Хомякова – Н. М. Языкову, 1 апр. 1842 г., из Москвы. Соч. А. С. Хомякова, VIII, стр. 107.

Рукопись получена 5 апреля. Задержка произошла не на почте, а от цензурного комитета. Уведомивши Плетнева, что отправлена 7 марта, цензурный комитет солгал, потому что девятого только подписана она цензором. Выбросил у меня целый эпизод – «Копейкина» («Повесть о капитане Копейкине»), для меня очень нужный, более даже, нежели думают они. Я решился не отдавать его никак.

Гоголь – Н. Я. Прокоповичу, 9 апр. 1842 г. Письма, II, 164.

Уничтожение «Копейкина» меня сильно смутило. Это одно из лучших мест в поэме, и без него – прореха, которой я ничем не в силах заплатать и зашить. Я лучше решился переделать его, чем лишиться вовсе. Я выбросил весь генералитет. Характер Копейкина означил сильнее, так что теперь видно ясно, что он всему причиною сам и что с ним поступили хорошо. Присоедините ваш голос и подвиньте, кого следует. Вы говорите, что от покровительства высших нужно быть подальше, потому что они всякую копейку делают алтыном. Клянусь, я готов теперь рублем почитать всякую копейку, которая дается на мою бедную рукопись. Но я думал даже, что один Никитенко может теперь ее пропустить… Передайте ему листы «Копейкина» и упросите без малейшей задержки передать вам для немедленной пересылки ко мне, ибо печатанье рукописи уже началось.

Гоголь – П. А. Плетневу, 10 апр. 1842 г. Письма, II, 165.

Посылаю письмо Гоголя к вам и переделанного «Копейкина». Ради бога, помогите ему, сколько возможно. Он теперь болен, и я уверен, что если не напечатает «Мертвых душ», то и сам умрет. Когда решите судьбу рукописи, то, не медля ни дня, препроводите ко мне для доставления страдальцу. Он у меня лежит на сердце, как тяжелый камень.

П. А. Плетнев – А. В. Никитенко, 12 апр. 1842 г. В. Гиппиус. Гоголь. Изд. «Федерация». Стр. 226.

Скажу вам несколько слов о приключениях в Питере рукописи Гоголя. Приехав в Питер, я только и слышал везде, что о подкинутых в гвардейские полки, на имя фельдфебелей, безымянных возмутительных письмах. Правительство было встревожено; цензурный террор усилился. К этому наделала шуму повесть Кукольника «Иван Иванович Иванов, или Все заодно». Предводитель дворянства хотел жаловаться; министр флота, князь Меншиков, в Государственном совете сказал членам: «а знаете ли вы, дворяне, как вас бьют холопы палками» и пр. Дошло до государя и, по его признанию, граф Бенкендорф вымыл Нестору голову. Вследствие этого Уваров приказал цензорам не только не пропускать повестей, где выставляется с смешной стороны сословие, но где даже есть слишком смешное хоть одно лицо. К этому еще Башуцкий написал пошлую глупость «Водовоз», в которой увидели невесть что; опять дошло до царя, и Башуцкий был у Бенкендорфа… Ну, сами посудите, как было тут поступить? Вы, живя в своем Китае-городе, ничего не знаете, что делается в Питере. И вот Одоевский передал рукопись графу Виельгорскому, который хотел отвезти ее к Уварову; но тут готовился бал у великой княгини, и его сиятельству некогда было думать о таких пустяках, как рукопись Гоголя. Потом он вздумал, к счастию, дать ее (приватно) прочесть Никитенко. Тот, начавши ее читать как цензор, промахнул как читатель, и должен был прочесть снова. Прочтя, сказал, что кое-что надо Виельгорскому показать Уварову. К счастию, рукопись не попала к сему министру погашения и помрачения просвещения в России. В Питере погода на это меняется сто раз, и Никитенко не решился пропустить только кой-каких фраз, до эпизода о капитане Копейкине.

В. Г. Белинский – М. С. Щепкину, 14 апр. 1842 г. Белинский. Письма, II, 302.

Мы не верили глазам своим, не видя ни одного замаранного слова (*в цензурном экземпляре «Мертвых душ»*), но Гоголь не видел в этом ничего обыкновенного и считал, что так тому и следовало быть. В начале напечатаны 2500 экземпляров. Обертка была нарисована самим Гоголем. Денег у Гоголя не было, потому «Мертвые души» печатались в типографии в долг, а бумагу взял на себя в кредит Погодин. Печатание

продолжалось два месяца. Несмотря на то, что Гоголь был сильно занят этим делом, очевидно было, что он час от часу более расстраивался духом и даже телом: он чувствовал головокружение и один раз имел такой сильный обморок, что долго лежал без чувств и без всякой помощи, потому что случилось это наверху, в мезонине, где у него никогда никого не было. Вдруг дошли до Константина слухи стороной, что Гоголь сбирается уехать за границу, и очень скоро. Он не поверил и спросил сам Гоголя, который сначала отвечал неопределенно: «Может быть»; но потом сказал решительно, что он едет, что он не может долее оставаться, потому что не может писать и потому что такое положение разрушает его здоровье. Константин был очень огорчен и с горячностью убеждал Гоголя не ездить, а испытать все средства, чтобы приучить себя писать в Москве. Гоголь отвечал ему, что он именно то и делает, и проживает в Москве донельзя. Вера, при которой происходил этот разговор, сказала Гоголю, что никак не должно доводить донельзя, а лучше уехать немедленно. Я с огорчением и неудовольствием узнал об этом. Все делалось как-то неясно, неоткровенно, непонятно для меня, и моя дружба к Гоголю тем оскорблялась. Теперь я вижу, что в этом виноват был я более всех, что я невнимательно смотрел на положение Гоголя, легкомысленно осуждал его, недостаточно показывал к нему участия, а потому и не пользовался его полной откровенностью. Будучи сам плохим христианином, я с неудовольствием и недоверчивостью смотрел на религиозное направление Гоголя. Вероятно, это было главною причиною, почему он не открывался мне в своих намерениях. Если б я с любовию и горячностью приставал к Гоголю с расспросами, если б я заставлял его быть с собою откровенным с самого приезда в Москву, то, вероятно, я мог бы не допустить до огромного размера его неудовольствий с Погодиным, и тогда, может быть. Гоголь, не уехал бы из России, по крайней мере, так скоро.

Через несколько дней, перед вечером, уезжал я в клуб, и все меня провожали до передней. Вдруг входит Гоголь с образом спасителя в руках и сияющим, просветленным лицом. Такого выражения в глазах у него я никогда не видывал. Гоголь сказал: «Я все ждал, что кто-нибудь благословит меня образом, и никто не сделал этого; наконец, Иннокентий благословил меня. Теперь я могу объявить, куда я еду: ко гробу господню». Он провожал Иннокентия, и тот, прощаясь с ним, благословил его образом. Иннокентию, как архиерею, весьма естественно было благословить Гоголя образом; но Гоголь давно желал, чтоб его благословила Ольга Семеновна (жена Аксакова), а прямо сказать не хотел. Он все ожидал, что она почувствует к этому влечение, и даже сам подговаривался; но Ольга Семеновна не догадывалась, да и как было догадаться? Признаюсь, я не был доволен ни просветленным лицом Гоголя, ни намерением его ехать ко святым местам. Все это казалось мне напряженным, нервным состоянием, и особенно страшным в Гоголе как в художнике, – и я уехал в клуб. Без меня было

много разговоров об этом предмете, и особенно Вера приставала к Гоголю со многими вопросами, которые, как мне кажется, не совсем были ему приятны. Например, на вопрос: «с каким намерением он приезжал в Россию; с тем ли, чтоб остаться в ней навсегда или с тем, чтоб так скоро уехать?» – Гоголь отвечал: «с тем, чтоб проститься». Всем известно, что и письменно, и словесно Гоголь высказывал совсем другое намерение. На вопрос, на долго ли едет он, Гоголь отвечал различно. Сначала сказал, что уезжает на два года, потом – что на десять и, наконец, что он едет на пять лет. Ольга Семеновна сказала ему, что теперь она ожидает от него описания Палестины, на что Гоголь отвечал: «Да, я опишу вам ее; но для того мне надобно очиститься и быть достойну». Через несколько времени он ушел, оставя образ у нас, и взял его уже на другой день. В этот день вечером он хотел было идти к Дмитриеву, у которого очень давно не бывал по пятницам; но он был так расстроен, или, лучше сказать, так проникнут высоким настроением, что не имел силы идти на скучный вечер, где собирались нестерпимо скучные люди.

С. Т. Аксаков. История знакомства, 59.

Когда Гоголь собирался в путь за границу, ему хотелось получить непременно от кого-нибудь образ в виде благословения. Долго он ждал напрасно, но вдруг получил неожиданно образ спасителя от известного проповедника Иннокентия, епископа херсонского и таврического. Это исполнение его желания показалось ему чудесным и было истолковано им, как повеление свыше ехать в Иерусалим и, очистив себя молитвой у гроба господня, испросить благословение божие на задуманный литературный труд. Мысль была торжественно и неожиданно сообщена Аксаковым, окончательно сбитым с толку столь частой и притом внезапной переменой решений. Когда весть о благочестивом желании нового знакомого дошла до Шереметевой, набожная старушка, посвятившая всю жизнь молитве и добрым делам, сразу горячо полюбила Гоголя, как сына, принимая горячее участие в столь сочувственном для нее плане. В свою очередь, она встретила в Гоголе задушевный отклик: он нашел в ней одну из тех женщин, о которых он говорил, что они «живут в законе божием». Он стал называть ее «духовной матерью», прося позволения время от времени посылать ей деньги для раздачи бедным.

Анна Вас. Гоголь по записи Шенрока. Материалы, IV, 127.

(Записка от торговца бумагой): Прашу написать записку каму бумага от Усачева и прашу доставить счет. А то продасца.

(Под этой запиской Погодин пишет карандашом): Был ты у Усачева? Вот записка, коей я не понимаю.

(Дальнейшая переписка продолжается на оборотной стороне той же записки).

Гоголь: Я буду у него сегодня и постараюсь кончить дело.

Погодин: Вот то-то же. Ты ставишь меня перед купцом целый месяц или два в самое гадкое положение, человеком несостоятельным. А мне случилось позабыть однажды о напечат. твоей статьи, то ты так рассердился, как будто б лишили тебя полжизни, по крайней мере, в твоем голосе я услышал и в твоих глазах это я увидел. Гордость сидит в тебе бесконечная.

Гоголь: Бог с тобою и с твоею гордостью. Не беспокой меня в течение двух неделей, по крайней мере. Дай отдохновение душе моей.

Е. П. Казанович. К истории сношений Гоголя с Погодиным. (Новые материалы). Временник Пушкинского Дома. 1914. Стр. 81.

Насчет «Мертвых душ»: ты бессовестен, неумолим, жесток, неблагоразумен. Если тебе ничто и мои слезы, и мое душевное терзанье, и мои убежденья, которых ты и не можешь и не в силах понять, то исполни, по крайней мере, ради самого Христа, распятого за нас, мою просьбу: имей веру, которой ты не в силах и не можешь иметь ко мне, имей ее хоть на пять-шесть месяцев. Боже! Я думал уже, что я буду спокоен хоть до моего выезда. Но у тебя все порыв! Ты великодушен на первую минуту и через три минуты потом готов повторить прежнюю песню. Если б у меня было кое-нибудь имущество, я бы сей же час отдал бы все свое имущество с тем только, чтобы не помещать до времени моих произведений.

Гоголь. Пометка Погодина на правом углу вверху записки: «Этот ответ на мою записку, не хочет ли Гоголь вместо объявления о выходе «Мертвых душ» поместить одну главу или две в нумере «Москвитянина», который тогда же выходил». Временник Пушкинского Дома. 1914. Стр. 82.

Я очень виноват перед вами, не уведомляя вас давно о ходе данного мне поручения. Главною причиною этого была желание написать вам что-нибудь положительное и верное, хотя бы даже и неприятное. Во всякое другое время ваша рукопись прошла бы без всяких препятствий, особенно тогда, когда вы были в Петербурге. Если бы даже и предположить, что ее не пропустили бы, то все же можно наверное

сказать, что только в китайской Москве могли поступить с вами, как поступил Снегирев.

Очень жалею, что «Москвитянин» взял у вас все и что для «Отечественных записок» нет у вас ничего. Я уверен, что это дело судьбы, а не вашей доброй воли или вашего исключительного расположения в пользу «Москвитянина» и к невыгоде «Отечественных записок». Судьба же давно играет странную роль в отношении ко всему, что есть порядочного в русской литературе: она лишает ума Батюшкова, жизни Грибоедова, Пушкина и Лермонтова – и оставляет в добром здоровье Булгарина, Греча и других им подобных негодяев в Петербурге и Москве; она украшает «Москвитянин» вашими сочинениями и лишает их «Отечественные записки»…

Думаю, по случаю выхода «Мертвых душ», написать несколько статей вообще о ваших сочинениях… Величайшею наградою за труд для меня может быть только ваше внимание и ваше доброе, приветливое слово… Больше всего меня радуют, как лучшее мое достояние, несколько приветливых слов, сказанных обо мне Пушкиным, и я чувствую, что это не мелкое самолюбие с моей стороны, а то, что я понимаю, что такое человек, как Пушкин, и что такое одобрение со стороны такого человека, как Пушкин. После этого вы поймете, почему для меня так дорог ваш человеческий, приветливый отзыв… Вы у нас теперь один, – и мое нравственное существование, моя любовь к творчеству тесно связаны с вашею судьбою; не будь вас, – и прощай для меня настоящее и будущее в художественной жизни нашего отечества: я буду жить в одном прошедшем и, равнодушный к мелким явлениям современности, с грустной отрадой буду беседовать с великими тенями, перечитывая их неумирающие творения.

В. Г. Белинский – Гоголю, 20 апр. 1842 г., из Петербурга. Письма Белинского, II, 308.

Все литературные приятели мои познакомились со мною тогда, когда я еще был прежним человеком, зная меня даже и тогда довольно плохо. По моим литературным разговорам всякий был уверен, что меня занимает только литература и что все прочее ровно не существует для меня на свете. С тех пор как я оставил Россию, произошла во мне великая перемена. Душа заняла меня всего, и я увидел слишком ясно, что без устремления моей души к ее лучшему совершенству не в силах я был двигнуться ни одной моей способностью, и без этого воспитания душевного всякий труд мой будет только временно-блестящ, но суетен в существе своем… В приезд мой в Россию все литературные приятели мои встретили меня с разверстыми объятиями. Всякий из них, занятый литературным делом, кто журналом, кто другим, пристрастившись к одной какой-нибудь любимой идее и встречая в других противников

своему мнению, ждал меня, как какого-то мессию, в уверенности, что я разделю его мысли и идеи, поддержу его и защищу против других, считая это первым условием и актом дружбы, не подозревая даже того (невинным образом), что требования эти, сверх нелепости, были даже бесчеловечны. Жертвовать мне временем и трудами своими для поддерживания их любимых идей было невозможно, потому что я, во-первых, не вполне разделял их, во-вторых, мне нужно было чем-нибудь поддерживать бедное свое существование, и я не мог жертвовать им моими статьями, помещая их к ним в журналы, но должен был их напечатать отдельно, как новые и свежие, чтобы иметь доход. Все эти безделицы у них ушли из виду. Холодность мою к их литературным интересам они почли за холодность к ним самим. Не призадумались составить из меня эгоиста в своих мыслях, которому ничто общее благо, а дорога только своя собственная литературная слава. Между моими литературными приятелями началось что-то вроде ревности. Всякий из них стал подозревать меня в том, что я променял его на другого. И, слыша издали о моих новых знакомствах и о том, что меня стали хвалить люди им неизвестные, усилили еще больше свои требования, основываясь на давности своего знакомства. Я получил престранные письма, в которых каждый, выставляя вперед себя и уверяя меня в чистоте своих отношений ко мне, порочили и почти неблагородно клеветали на других, уверяя, что они мне льстят только из своих выгод, что они меня не знают вовсе, что любят меня только по моим сочинениям, а не потому, что они любят меня самого (все они еще до сих пор уверены, что я люблю всякого рода фимиам), и упрекая меня в то же время такими вещами, обвиняя такими низкими обвинениями, каких, клянусь, я бы не сделал самому дурному человеку… Недоразумения доходили до таких оскорбительных подозрений, такие грубые наносились удары и притом по таким чувствительным и тонким струнам, о существовании которых не могли даже и подозревать наносившие мне удары, что изныла и исстрадалась вся моя душа, и мне слишком было трудно.

Гоголь – А. О. Смирновой. Соч. Гоголя, изд. Брокгауза-Ефрона, IX, 254.

1 мая вот что случилось. Гоголь у нас обедал, после обеда часа два сидел у меня в кабинете и занимался поправкою корректур, в которых он не столько исправлял типографические ошибки, сколько занимался переменою слов, а иногда и целых фраз. Корректур был огромный сверток. Гоголь не успел их кончить, потому что условился ехать вместе с Шевыревым на гулянье; а Константин уехал ранее с Боборыкиным. В 6 часов мы дали Гоголю лошадь, и он отправился к Шевыреву, поручив мне спрятать и запереть корректуры, так чтоб их никто не видал. Зная, что Гоголь должен воротиться очень поздно и что в этот вечер никто нам не помешает, мы расположились в моем кабинете, и я начал читать

вслух именно те главы «Мерт. Д.», которых мое семейство еще не знало. Только что мы расчитались, как вдруг Гоголь въехал на двор... Сделалась страшная суматоха, и мы едва успели скрыть наше преступление. Мы переконфузились не на шутку, потому что очень боялись рассердить, или, лучше сказать, огорчить. Гоголя; по счастию, он ничего не заметил. Он приехал в большой досаде на Шевырева, который не подождал его пяти минут и уехал один, ровно в шесть часов. Поболтав кой о чем с нами и продолжая жаловаться на немецкую аккуратность Шевырева, Гоголь хотел было уже опять засесть за свои корректуры, как вдруг приехала карета четверкой в ряд, которую из Сокольников прислала Е. А. Свербеева и приказала убедительно просить Гоголя к ним в палатку. Она узнала от Шевырева, что он не подождал Гоголя и что Гоголь у нас: Гоголю не очень хотелось ехать, ему казалось уже поздно; но мы его уговорили, и он уехал.

С. Т. Аксаков. История знакомства, 61.

Печатание первой части «Мертвых душ» шло быстро, хотя пасхальные каникулы и задержали его почти на полторы недели: в начале мая все листы были набраны, кроме «Повести о капитане Копейкине», которая не была возвращена петербургской цензурой.

Н. С. Тихонравов. Соч. Гоголя, изд. 10-е, III, 480.

В первой, запрещенной редакции (*«Повести о капитане Копейкине»*) представлен был раненый офицер, сражавшийся с честью за отечество, человек простой, но благородный, приехавший в Петербург хлопотать о пенсии. Здесь сначала какой-то из важных государственных людей принимает его довольно ласково, обещает ему пенсию и т. д. Наконец, на жалобы офицера, что ему нечего есть, отвечает: «так промышляйте сами себе, как знаете». Вследствие этого Копейкин делается атаманом разбойничьей шайки. Ныне автор, оставив главное событие в таком самом виде, как оно было, изменил характер главного действующего лица в своем рассказе. Он представляет его человеком беспокойным, буйным, жадным к удовольствиям, который заботится не столько о средствах прилично существовать, сколько о средствах удовлетворять своим страстям, так что начальство находится наконец в необходимости выслать его из Петербурга. Комитет определил: эпизод сей дозволить к напечатанию в таком виде, как он изложен автором.

Постановление Петербургского цензурного комитета. М. И. Сухомлинов. Исследования и статьи. Т. II. СПб., 1889. Стр. 318.

Перед своими именинами, по случаю прекрасной погоды. Гоголь пригласил к себе в сад некоторых дам и особенно просил, чтоб приехала

Ольга Семеновна с Верой (*Аксаковы*). В 6 часов вечера Ольга Семеновна с Верой и Лизой (*Гоголь*) отправились к Гоголю. Он встретил их на террасе и изъявил сожаление, «что они не приехали раньше, что так было хорошо, а теперь уже солнце садится». Они сошли в сад и гуляли вместе. Вскоре приехали Е. А. Свербеева и А. П. Елагина. Гоголь был очень смешон в роли хозяина, и даже жалко было на него смотреть, как он употреблял всевозможные усилия, чтобы занимать приехавших дам. Ольга Семеновна, Авдотья Петровна и жена Погодина сели в саду у чайного стола; а Гоголь с Свербеевой и за ними Лиза с Верой пошли гулять. Гоголь употреблял все усилия, чтоб занимать свою спутницу, которую можно было занимать только светской болтовней, как он думал. Две девушки шли за ними и посмеивались. Истощив, наконец, как видно, весь свой запас, Гоголь прибегал, например, к следующим разговорам: «Хорошо, если б вдруг из этого дерева выскочил хор песельников и вдруг бы запел», и тому подобным в этом роде. Все было вяло, принужденно и некстати; но спутница его считала долгом находить все очень любезным и забавным, и очень привлекательно улыбалась. Я слышал потом, как дамы говорили, что Гоголь был чрезвычайно любезен и остроумен. Наконец пошли пить чай; сделалось холоднее. Гоголь подавал всем дамам салопы и услуживал, как умел. После чая воротились в комнату; тут Гоголь, для той же цели, принялся рассказывать всякий вздор и пустяки об водяном лечении Присница, чему дамы очень смеялись, хотя, правду сказать, тут ничего не было смешного, потому что слышалось тяжелое принуждение, которое делал себе Гоголь. Ольга Семеновна и Вера не могли не заметить, что он был очень доволен, когда уехали прочие дамы. Проводя их, он сел в угол дивана, как человек, исполнивший свой долг и довольный, что может отдохнуть. Тут он был совершенно свободен, расспрашивал их про недавно бывший вечер у Хомякова, именно о том, что там делалось после его ухода, про Одоевского, про Боборыкина, которые всегда его забавляли. Наконец, когда сделалось совершенно темно, Ольга Семеновна и Вера уехали.

С. Т. Аксаков. История знакомства, 61.

В день именин Гоголя, утром, прибыли его сестра (*Анюта*) и мать (*чтобы повидаться с Гоголем и увезти домой другую его сестру, Лизу, два года прожившую в Москве у Раевской*). Пустившись в дальний путь за несколько дней до 9 мая, они непременно хотели поспеть ко дню его ангела, но в дороге произошли досадные задержки и промедления, так что уже в самый день именин они въехали в почтовом дилижансе на двор дома Погодина на Девичьем Поле.

А. В. Гоголь по записи Шенрока. Материалы, IV, 125.

9 мая (*в свои именины*) сделал Гоголь такой же обед для своих друзей в саду у Погодина, как и в 1840-м году. Погода стояла прекрасная; я был здоров, а потому присутствовал вместе со всеми на этом обеде. На нем были профессора: Григорьев, Армфельд, Редкин и Грановский. Был С. В. Перфильев, Свербеев, Хомяков, Киреевские, Елагины, Нащокин (известный друг Пушкина), Загоскин, Н. Ф. Павлов, Ю. Самарин, Константин и многие другие из общих наших знакомых. Обед был шумный и веселый, хотя Погодин с Гоголем были в самых дурных отношениях и даже не говорили, чего, впрочем, нельзя было заметить в такой толпе. Гоголь шутил и смешил своих соседей. После обеда Гоголь в беседке сам приготовлял жженку, и, когда голубоватое пламя горящего рома и шампанского обхватило и растопляло куски сахара, лежавшего на решетке, Гоголь говорил, что «это Бенкендорф, который должен привесть в порядок сытые желудки». Разумеется, голубое пламя и голубой жандармский мундир своей аналогией подали повод к такой шутке, которая после обеда показалась всем очень забавною и возбудила общий громкий смех.

С. Т. Аксаков. История знакомства, 62.

Из дам в этот день приезжали поздравить (верхом, амазонками) Екатерина Михайловна Хомякова и Елизавета Григорьевна Черткова и вскоре уехали. Марья Ивановна и ее дочери оставались с хозяйкой в доме, а мужчины обедали в саду.

А. В. Гоголь по записи Шенрока. Материалы, IV, 125.

Через полторы недели от сего числа еду. Это будет мое последнее и, может быть, самое продолжительное удаление из отечества: возврат мой возможен только через Иерусалим. Вот все, что могу сказать тебе.

Гоголь – А. С. Данилевскому, 9 мая 1842 г., из Москвы. Письма, II, 167.

Шереметева, желая со своей стороны навестить Гоголя, сначала, несколько раз не заставала его и оставалась беседовать с его матерью, с которой сошлась очень скоро. Марья Ивановна, сама очень добрая и сообщительная, приходила в восторг от чистосердечия наивной старушки и особенно от любви ее к сыну. Обе женщины охотно проводили целые часы в беседе об общем любимце в уютном антресоле погодинского дома, причем Шереметева неоднократно повторяла свои уверения, что она полюбила ее сына не как знаменитого писателя, а как хорошего человека и доброго христианина. Но Надежда Николаевна очень стеснялась в чужом, незнакомом доме, и ее приходилось всячески успокоивать, после чего она оставалась еще некоторое время. Со своей стороны она не приглашала к себе своих новых знакомых, но просила позволения чаще приезжать ей самой, так как в большом семействе, где

она жила, был постоянный шум, мешавший спокойной, интимной беседе.

А. В. Гоголь по записи Шенрока. Материалы, IV, 127.

Нам уже несомненно известно теперь, что вторая часть «Мертвых душ» в первоначальном очерке была у Гоголя готова около 1842 года. Есть слухи, будто она даже переписывалась в Москве в самое время печатания первой части романа.

П. В. Анненков. Литер. воспоминания, 61.

Печатанье «Мертвых душ» приходило к концу, и к отъезду Гоголя успели переплесть десятка два экземпляров, которые ему нужно было раздарить и взять с собой. Первые совсем готовые экземпляры были получены 21-го мая, в день именин Константина, прямо к нам в дом, и тут же Гоголь подарил и подписал один экземпляр имениннику, а другой нам с надписью: «Друзьям моим, целой семье Аксаковых». У нас было довольно гостей, и все обедали в саду. Были Погодин и Шевырев. Это был в то же время прощальный обед с Гоголем. Здесь он в третий раз обещал, что через два года будет готов второй том «Мертвых душ», но приехать для его напечатания уже не обещал.

С. Т. Аксаков. История знакомства, 63.

Когда уже была напечатана первая часть «Мертвых душ», я встретился с Гоголем в Москве у сапожника Таке, у которого он очень хлопотал о том, чтобы сапоги ему были красиво сшиты, и в тот же день в Английском клубе, где мы сидели на одном диване. Не узнал ли он меня или не хотел узнать, но мы не говорили друг с другом как в этот раз, так и во все следующие наши встречи в Москве.

Бар. А. И. Дельвиг. Мои воспоминания, I, 152.

Семейство Гоголя бывало у нас очень часто, почти всякий день. Мать его также собиралась ехать и брала с собой вторую свою дочь Лизу, которая во время пребывания у Раевской много переменилась к лучшему, чем Гоголь был очень доволен.

С. Т. Аксаков. История знакомства, 63.

Шереметева непременно хотела проводить Гоголя. Гоголь, взявши место в дилижансе на 23 мая, сказал, что он едет из нашего дома, и пригласил ее без всяких церемоний прямо приехать к нам[42]. Шереметева, побывав

поутру у Гоголя, подарив ему шнурок своей работы и отдав прощальное письмо, приехала к нам 23-го мая в субботу, чтоб еще проститься с Гоголем. Через четверть часа нельзя было узнать, что мы не были целый век дружески знакомы с этой почтенной и достойной женщиной. Когда началось прощание, она простилась с Гоголем прежде всех и уехала, чтоб не мешать Гоголю проститься с матерью и сестрами. Простившись со всеми, Гоголь, выходя из залы, обернулся и перекрестил всех нас. Я, Гоголь, Константин и Гриша сели в четвероместную коляску и поехали до первой станции, до Химок, куда еще прежде поехал Щепкин с сыном и где мы расположились отобедать и дождаться дилижанса, в котором Гоголь отправился в Петербург. Подъехав к Тверской заставе, я как-то выглянул из коляски и увидел, что Над. Ник. Шереметева едет за нами в своих дрожках. Мы остановились. Гоголь вышел и простился с ней очень нежно; а она благословила и перекрестила его, как сына.

С. Т. Аксаков. История знакомства, 63.

У самой заставы Шереметева, не привыкшая ни к каким хитростям и мистификациям, совершенно забыла о намерении Гоголя уклониться от полицейского досмотра и простосердечно бросилась обнимать и крестить его, заливаясь слезами. Гоголь простился с нею, но только что он отошел от Шереметевой, у них потребовали бумаги и спросили, кто же именно уезжает. Чтобы выбраться из затруднения, Гоголь крикнул; «вот эта старушка», погнал лошадей и скрылся, оставя Шереметеву в большом затруднении.

Анна Вас. Гоголь по записи В. И. Шенрока. Материалы, IV, 128.

У самого шлагбаума подбежал к нам солдат и спросил: кто мы и куда едем. Константин, не способный ни к какому роду лжи, начал было рассказывать: что мы такие-то и едем провожать Гоголя, отправляющегося за границу; но Гоголь поспешно вскочил и сказал, что мы едем на дачу и сегодня же воротимся в Москву. Я засмеялся, Константин несколько сконфузился; а Гоголь пустился объяснять, что в жизни необходима змеиная мудрость, т. е. что не надобно сказывать иногда никому не нужную правду и приводить тем людей в хлопоты и затруднения; что если бы он успел объявить о путешественнике, отъезжающем в чужие края, то у него потребовали бы паспорта, который находился в то время у кондуктора, в конторе дилижансов, и путешественника бы не пропустили. Потом Гоголь обратился ко мне с просьбами старательно вслушиваться во все суждения и отзывы о «Мертвых душах», предпочтительно дурные, записывать их из слова в слово и все без исключения сообщать ему в Италию. Он уверял меня, что это для него необходимо; просил, чтоб я не пренебрегал мнениями и замечаниями людей самых глупых и ничтожных, особенно людей, расположенных к нему враждебно. Он думал, что злость, напрягая и

изощряя ум самого пошлого человека, может открыть в сочинении такие недостатки, которые ускользали не только от пристрастных друзей, но и от людей равнодушных к личности автора, хотя бы они были очень умны и образованны. В такого рода разговорах, но без всяких искренних, дружеских излияний, которым, казалось бы, невозможно было не быть при расставании на долгое время, между друзьями, из которых один отправляется с намерением предпринять трудное и опасное путешествие ко святым местам, доехали мы до первой станции (Химки, в 13 верстах от Москвы). М. С. Щепкин, приехавши туда прежде нас с сыном, пошел к нам навстречу и точно встретил нас версты за две до Химок. Приехавши на станцию, мы заказали себе обед и пошли все шестеро гулять. Мы ходили вверх по маленькой речке, бродили по березовой роще, сидели и лежали под тенью дерев; говорили как-то мало, не живо, не связно и вообще находились в каком-то принужденном состоянии. Гоголь внутренне был чрезвычайно рад, что уезжает из Москвы; но глубоко скрывал свою радость. Он чувствовал в то же время, что обманул наши ожидания и уезжает слишком рано и поспешно, тогда как обещал навсегда оставаться в Москве. Он чувствовал, что мы, для которых было закрыто внутреннее состояние его души, его мучительное положение в доме Погодина, которого оставить он не мог без огласки, – имели полное право обвинять его в причудливости, непостоянстве, капризности, пристрастии к Италии и в холодности к Москве и России. Он читал в моей душе, а также и в душе Константина, что, после тех писем, какие он писал ко мне, его настоящий поступок, делаемый без искренних объяснений, мог показаться мне весьма двусмысленным, а сам Гоголь человеком фальшивым. Последнего мы не думали, но, конечно, с неприятным изумлением и некоторою холодностью, в сравнении с прежним, смотрели на отъезжающего Гоголя. Мы воротились с прогулки довольно скучной, сели обедать, выпили здоровие Гоголя привезенным с собой шампанским и, сидя за столом, продолжали разговаривать о разных пустяках до приезда дилижанса, который явился очень скоро. Увидав дилижанс, Гоголь торопливо встал, начал собираться и простился с нами, равно как и мы с ним, не с таким сильным чувством, какого можно было ожидать. Товарищем Гоголя в купе опять случился военный, с иностранной фамилией, кажется, немецкой, но человек необыкновенной толщины. Гоголь и тут, для предупреждения разных объяснений и любопытства, назвал себя Гонолем и даже записался так, предполагая, что не будут справляться с его паспортом. Хотя я давно начинал быть иногда недоволен поступками Гоголя, но в эту минуту я все забыл и чувствовал только горесть, что великий художник покидает отечество и нас. Горькое чувство овладело мною, когда захлопнулись дверцы дилижанса; образ Гоголя исчез в нем, и дилижанс покатился по Петербургскому шоссе.

С. Т. Аксаков. История знакомства, 64.

Когда ты затворил дверь, я перекрестился и вздохнул свободно, как будто гора свалилась у меня тогда с плеч; все, что узнавал я после, прибавило мне еще более муки, и ты являлся, кроме святых, высоких минут своих, отвратительным существом.

М. П. Погодин – Гоголю, в сентябре 1843 г., из Москвы. Барсуков, VII, 150.

Перед приездом моим в Москву я писал еще из Рима С. Т. Аксакову, что я нахожусь в таком положении моего душевного состояния, во время которого я долго не буду писать, что я прошу поверить мне на слово; что прошу его изъяснить это тебе, чтобы ты не требовал от меня ничего в журнал. Приехавши в Москву, я остановился у тебя со страхом, точно предчувствуя, что быть между нами неприятностям. В первый же день я повторил тебе эту самую просьбу. Я ничего не умел тебе сказать и ничего не в силах был изъяснить. Я сказал тебе только, что случилось внутри меня что-то особенное, которое произвело значительный переворот в деле творчества моего; что сочинение мое от этого может произойти слишком значительным. Я сказал, что оно так будет значительно, что ты сам будешь от него плакать и заплачут от него многие в России... Ничего больше я не успел сказать тебе. Знаю только: я просил со слезами тебя во имя бога поверить словам моим. Ты был тогда растроган и сказал мне; «верю». Я просил тебя вновь не требовать ничего в журнал. Ты дал мне слово. На третий, на четвертый день ты стал задумываться. Тебе начали сниться черти. Из моих бессильных и неясных слов ты стал выводить какие-то особенные значения. Я потихоньку скорбел, но не говорил ничего, – знал, что я ничего не смогу объяснить, а только наклеплю на самого себя. Но когда через две недели после того объявил мне, что должен дать тебе статью в журнал, точно как будто бы между нами ничего и не происходило, это меня изумило и в то же время огорчило сильно. А когда ты потом еще недели через три напомнил вновь, говоря, что я должен дать тебе статью, это напоминание показалось мне так низким, неблагородным и неделикатным, что я стал презирать тебя. Я не старался скрывать перед тобою презренье. Напротив, я тебе показывал его при всяком случае почти явно. Не понимая, из какого источника оно происходит, ты принимал его просто за гордость, и, встречая гневное выражение лица при всяких, даже небольших случаях, ты заключил, что во мне поселился сам демон гордости во всем сатанинском своем виде, и думал, что это уже моя натура, что я непременно со всеми так обращаюсь, тогда как, признаюсь, тебе поистине, ни с кем в мире я не обращался так дурно, как с тобою... С этих пор все пошло у нас навыворот. Видя, как ты обо мне путался и терялся в заключениях, я говорил себе: «путайся же, когда так!» И уже назло тебе

начал делать иное, мне вовсе не свойственное, ни моей натуре, с желаньем досадить тебе.

Гоголь – М. П. Погодину, 8 июля 1847 г. Письма, IV, 13.

Мать Гоголя с дочерьми уехала в свою Васильевку или Яновщину уже после нашего переезда на дачу. Марья Ивановна с дочерьми провожала нас, когда мы уезжали из Москвы, и простилась с нами очень грустно; особенно плакала Лиза, которую сестра Анюта напугала рассказами о жизни в глуши Малороссии. Марья Ивановна женщина необыкновенная. Она так моложава и хороша собой, что дочери кажутся при ней дурными. Она вся исполнена самоотвержения и тихой любви к своим детям; она отдала им свое сердце, и сама не только не имеет воли, но даже своих желаний; по крайней мере не показывает их. Сына любит она более всего на свете и между тем должна от него почти отказаться, видеть изредка, и то на короткое время. Лицо ее постоянно грустно, особенно после отъезда Николая Васильевича; она плачет мало, но видно, как глубоко огорчена, и между тем говорит, что не надобно грустить: ибо у них есть поверье, что тот человек, о котором грустят, будет от того грустить больше. Как интересны все те мелочные подробности, которые она рассказывает про детство своего Николеньки. Например, как он написал один раз какое-то сочинение и поднес ей, а потом сам же тихонько утащил его и вероятно истребил, как она подозревает, и пр. и пр. Как она смотрит на портрет сына, который он оставил ей и который в самом деле похож чрезвычайно! Как она объясняет то, что выражается на лице его. «Он улыбается, – говорит она, – но вместе с тем он думает грустное; как будто хочет сказать людям: «вы ошибаетесь во мне, моя душа чиста и ясна, и много любви в ней». Она увидала один раз только что вышедший том «Мертвых душ», лежавший на столе у нас в гостиной; она развернула и прочла: «О моя юность, о моя свежесть...» – и залилась слезами. Поразительно было видеть, как по наружности молодая, прекрасная и свежая женщина оплакивала увядшую юность и свежесть своего сына.

С. Т. Аксаков. История знакомства, 67.

Во время обратного переезда через Петербург, весною 1842 года, Гоголь останавливался у П. А. Плетнева, приходил довольно часто к А. О. Смирновой, и уже очень запросто, очень дружески. Очень сблизился с ее братом А. О. Россетом, изъявил желание прочитать отрывки уже напечатанных «Мертвых душ» и читал их у кн. П. А. Вяземского. Особенно хорош выходил в его чтении разговор двух дам.

А. О. Смирнова по записи П. А. Кулиша. Записки о жизни Гоголя, I, 303, Ср. А. Смирнова, изд. «Федерации», 315. Сводный текст.

Однажды Гоголь обещал прочесть у меня новую главу «Мертвых душ». Съехалось несколько приятелей. Был ли он не в духе, не нравился ли ему один из присутствующих, не знаю, но Гоголь заупрямился и не хотел читать. Жуковский более всех приставал к нему, чтобы он читал; наконец, с свойственным ему юмором, сказал он: «Ну, что ты кобенишься, старая кокетка? Ведь самому смерть хочется прочесть, а только напускаешь на себя причуды!»

Кн. П. А. Вяземский. Языков и Гоголь. Полн. собр. соч., II, 333.

После этого он предложил мне прочитать комедию «Женитьба». Я жила в городе. По назначению Гоголя, я пригласила к обеду кн. П. А, Вяземского, П. А. Плетнева, А. Н. и В. Н. Карамзиных и брата моего А. О. Россет. Гоголь был весел, спокоен; после обеда, отдохнув немного, вынул из кармана тетрадку и начал читать так, как только он один умел читать. Швейцару было приказано никого не принимать. Но внезапно взошел кн. Мих. Алек. Голицын, который мало знает русский язык. С Гоголем он был почти незнаком. Меня это смутило, я подошла к нему и рассказала, в чем дело. Он извинялся и убедительно просил позволения остаться. К счастью. Гоголь не обратил на помеху никакого внимания и продолжал читать. После чтения все его благодарили, и в особенности кн. Голицын, который сознавался, что никогда не испытывал такого удовольствия. Гоголь казался очень доволен произведенным впечатлением, был весел и ушел домой. Тут кстати заметить, что смех, возбужденный чтением «Мертвых душ», производил на него совсем не то впечатление, как смех во время чтения комедии. Ему, очевидно, делалось грустно.

А. О. Смирнова по записи П. А. Кулиша. Записки о жизни Гоголя, I, 303. Ср. А. О. Смирнова. Записки, 316. Сводный текст.

Гоголь вспомнил о Белинском только в 1842 г., когда для успеха в публике «Мертвых душ» содействие критика могло быть небесполезно. Он устроил тогда хотя и не тайное, но совершенно безопасное свидание в кругу своих петербургских знакомых, не имевших никаких соприкосновений с литературными партиями: секрет свиданий был действительно сохранен, но, как я узнал после, они нисколько не успели завязать личных дружеских отношений.

П. В. Анненков. Замечательное десятилетие. Литературные воспоминания, 204.

В доме Прокоповича в Петербурге устроено было опять совещание (*с Белинским*), не требовавшее уже таких предосторожностей, как

московский его предшественник, но все-таки носившее характер секрета, без которого Гоголь не мог его ни понять, ни представить себе.

П. В. Анненков. Гоголь в Риме. Литературные воспоминания, 59.

У нас не было полной доверенности к Гоголю. Скрытность его характера, неожиданный отъезд из Москвы, без предварительного совета с нами, печатанье своих сочинений в Петербурге, поручение такого важного дела человеку совершенно неопытному (*Н. Я. Прокоповичу*), тогда как Шевырев соединял в себе все условия, нужные для издателя, не говоря уже о горячей и преданной дружбе; наконец, свидание Гоголя в Петербурге с людьми нам противными, о которых он думал одинаково с нами (как-то с Белинским, Полевым и Краевским), все это вместе поселило некоторое недоверие даже в Шевыреве и во мне; Погодин же видел во всем этом только доказательство своему убеждению, что Гоголь человек неискренний, что ему верить нельзя. Мы с Шевыревым не принимали такого убеждения, особенно я. Я объяснял поступки Гоголя странностью, капризностью его художнической натуры; а чего не мог объяснить, о том старался забыть, не толкуя в дурную сторону.

С. Т. Аксаков. История знакомства, 107.

Летом, вскоре после открытия нашей первой железной дороги, возвращался я из Царского Села в Петербург. В вокзале я встретил одного молодого человека Ф., которого видал в университете… Любимой темой его рассказов было сообщение, с какими знаком он актерами, литераторами, художниками; но все мы легко догадывались, что правда в этих рассказах была в весьма небольшой дозе. Мы вошли вместе в вагон второго класса, и мне поневоле пришлось сидеть рядом с Ф. На противоположной стороне, наискось от нас, поместились два господина средних лет, – один невысокого роста, плотный, с открытым лицом и небольшой эспаньолкой, в довольно поношенном пальто; другой худощавый, с длинными волосами и большим тонким носом, в каком-то не совсем модном плаще с капюшоном. Господин в пальто курил сигару, а товарищ его молча оглядывал сидевших в вагоне. Изредка они обменивались короткими фразами.

На полдороге к Петербургу в наш вагон вошел смуглый человек в сильно потертом черном сюртуке и совсем порыжелой шляпе. Он подошел к нам и с заискивающим поклоном заявил, что он художник, вырезывает в три минуты необычайного сходства силуэты, по рублю за экземпляр, и удостоился внимания многих знаменитых людей. Вычитывая эту рекламу на плохом французском языке с резким итальянским акцентом, он вынул из бумажника длинную бандероль, на которой наклеены были вырезанные из черной бумаги профильные силуэты. Сосед мой

принялся их рассматривать. «Это Александр Сергеевич?» – спросил он, показывая на довольно удачно вырезанный профиль Пушкина. «Точно так, мосье». – «С натуры снято?» – «С живого, незадолго до смерти». Кажется, на этот раз нашла коса на камень, и бродячий артист был так же беззастенчив, как и мой сосед. «А это Василий Андреевич! – продолжал Ф. – Выражение, мне кажется, напоминает Каратыгина в ”Гамлете”». – В театре, в уборной снимал!» – «А! И Карл Павлович Брюллов? Очень, очень похожи». Господин в плаще быстро переглянулся со своим товарищем и спросил Ф.: «А вы знаете Брюллова?» – «Да, часто видал». – «Вероятно, на картине «Последний день Помпеи»? И силует, должно быть, по ней же вырезан. Ну, видите, Брюллов пококетничал там, помолодил себя и поприкрасил, иначе и вы, молодой человек, и вы, господин художник, давно бы узнали его, когда он сидит перед вами собственной особой». При этих словах своего компаньона господин с эспаньолкой приподнял шляпу и наклонил с улыбкой голову. В первый раз я видел, что Ф. несколько сконфузился. Итальянец с заискивающими поклонами просил позволения снять силуэт великого артиста с натуры и менее чем в пять минут вырезал из черной глянцевитой бумаги очень похожий профиль художника. Брюллов похвалил его. «Снимите же и моего приятеля, – сказал он артисту, показывая на своего соседа в плаще. – А вы, молодой человек, обратился он к Ф., – без сомнения, видались с Ник. Вас. Гоголем?» При этом я догадался, что товарищ Брюллова был именно автор «Ревизора». Мне показалось только, что лицо его было гораздо красивее, чем на литографированном его портрете, и на нем не так резко замечалось саркастическое выражение, каким наделяли его художники. Хлестаков мой понял, что Брюллов ставит ему ловушку, и отвечал художнику, что, к сожалению, не имел случая встречаться с Гоголем. «Так позвольте рекомендовать его», – сказал Брюллов, показывая на своего соседа. Гоголь, по-видимому, был недоволен, что художник назвал его. Он нахмурился, и, когда итальянец обратился к нему с предложением снять с него силуэт, он решительно отказал. Силуэтист несколько времени не спускал с него глаз, потом поклонился и быстро перешел в другой вагон. Минут через десять поезд остановился у петербургского дебаркадера. Наши знаменитые спутники ушли. В зале артист-итальянец остановил нас и, показывая не наклеенные еще на бумагу и вырезанные с замечательным сходством силуэты Брюллова и Гоголя, обратился к Ф. с предложением, не угодно ли ему заказать копии с них. Ф. поспешил приобрести тут же вырезанные силуэты.

А. П. Милюков. Встреча с Гоголем. Ист. Вестн., 1881, янв., 135.

Весною 1842 года, в один теплый, солнечный день, веселый кружок молодежи (в том числе и я) обедал у известного в то время ресторатора Сен-Жоржа. После обеда общество наше продолжало пировать в саду.

Туда перешли из комнат и другие обедавшие. Тут-то встретился я с небольшого роста человеком, причесанным а ля мужик, в усах и эспаньолетке, и с трудом узнал прежнего своего учителя (*мальчиком Лонгинов учился у Гоголя, см. выше*). Действительно, это был Гоголь, очень переменившийся лицом. Он только что приехал в Петербург, и в это время вышли в свет «Мертвые души». Я подошел к Гоголю, который находился у Сен-Жоржа в обществе нескольких своих приятелей, в числе которых был кн. П. А. Вяземский. Он обрадовался, когда я назвал себя. После расспросов о моих домашних он, в свою очередь, должен был отвечать на разные мои вопросы, которые особенно относились до второй части «Мертвых душ». Восторги мои по случаю первой части, по-видимому, доставили ему удовольствие. Он говорил, что осенью надеется напечатать следующий том. Нельзя было не заметить перемены в его характере: беззаботная веселость юноши в десять лет нашей разлуки частию заменилась в нем большею зрелостью мыслей и расположение духа сделалось серьезнее.

М. Н. Лонгинов. Воспоминание о Гоголе. Сочинения М. Н. Лонгинова, I, 8.

Обедали у Одоевского с Гоголем, разговаривавшим с Мармье (*французский поэт, путешественник и ученый*) наискосок, т. е. Мармье по-французски, а Гоголь по-итальянски.

П. А. Плетнев – Я. К. Гроту, 29 мая 1842 г. Переписка Грота с Плетневым, I, 547.

Талант Гоголя удивителен, но его заносчивость, самонадеянность и, так сказать, самопоклонение бросают неприятную тень на его характер.

Я. К… Грот – П. А. Плетневу, 8 июля 1842 г. Переписка Грота с Плетневым, I, 563.

Пишу вам несколько строк перед выездом. Хлопот было у меня довольно. Никак нельзя было на здешнем бестолковье сделать всего вдруг. Кое-что я оканчивать оставил Прокоповичу. (*Гоголь поручил Прокоповичу наблюдение за предпринятым им изданием своих сочинений в четырех томах.*) Он уже занялся печатаньем. Дело, кажется, пойдет живо. Типографии здешние набирают в день по шести листов. Все четыре тома к октябрю выйдут непременно. Экземпляр «Мертвых душ» еще не поднесен царю. Все это уже будет сделано по моем отъезде… Крепки и сильны будьте душой, ибо крепость и сила почиет в душе пишущего сии строки, а между любящими душами все передается и сообщается от одной к другой, и потому сила отделится от меня несомненно в вашу душу.

Гоголь – С. Т. Аксакову, 4 июня 1842 г., из Петербурга. Письма, II, 176.

X

Заграничные скитания

Пишу вам на дороге в Гастейн, куда велят мне ехать купаться… Я ничего вам не скажу, что происходит внутри меня, – и о чем говорить? Скажу только, что с каждым днем и часом становится светлей и торжественней в душе моей, что не без цели и значенья были мои поездки, удаленья и отлученья от мира, что совершалось незримо в них воспитанье души моей, что я стал далеко лучше того, каким запечатлелся в священной для меня памяти друзей моих, что чаще и торжественней льются душевные мои слезы и что живет в душе моей глубокая, неотразимая вера, что небесная сила поможет взойти мне на ту лестницу, которая предстоит мне, хотя я стою еще на нижайших и первых ее ступенях. Много труда и пути, и душевного воспитания впереди еще. Чище горнего снега и светлей небес должна быть душа моя, и только тогда я приду в силы начать подвиги и великое поприще, тогда только разрешится загадка моего существования… О житейских мелочах моих не говорю вам ничего: их почти нет, да, впрочем, слава богу, их даже и не чувствуешь, и не слышишь. Посылаю вам «Мертвые души». Это первая часть… Я переделал ее много с того времени, как читал вам первые главы, но все, однако же, не могу не видеть ее малозначительности, в сравнении с другими, имеющими последовать ей частями. Она, в отношении к ним, все мне кажется похожею на приделанное губернским архитектором наскоро крыльцо к дворцу, который задуман строиться в колоссальных размерах, а, без сомнения, в ней наберется немало таких погрешностей, которых я пока еще не вижу. Ради бога, сообщите мне ваши замечания. Будьте строги и неумолимы как можно больше. Вы знаете сами, как мне это нужно.

Гоголь – В. А. Жуковскому, 26 июня 1842 г., из Берлина. Письма, II, 183.

Несмотря на лето, «Мертвые души» расходятся очень живо и в Москве и в Петербурге. Погодину отдано уже 4500 рублей; в непродолжительном времени и другие получат свои деньги (забавно, что никто не хочет получить первый, а всякий желает быть последним).

С. Т. Аксаков – Гоголю, 3 июля 1842 г. История знакомства, 71.

При корректуре второго тома прошу тебя действовать как можно самоуправней и полновластней: в «Тарасе Бульбе» много есть погрешностей писца. Он часто любит букву и; где она не у места, там ее выбрось; в двух-трех местах, я заметил плохую грамматику и почти отсутствие смысла. Пожалуйста, поправь везде с такою же свободою, как ты переправляешь тетради своих учеников. Если где частое повторение

одного и того же оборота периодов, дай им другой, и никак не сомневайся и не задумывайся, будет ли хорошо, – все будет хорошо.

Гоголь – Н. Я. Прокоповичу, 27/15 июля 1842 г., из Гастейна. Письма, II, 197.

Я пробуду в Гастейне вместе с Языковым еще недели три, а в конце августа хотим ехать в Венецию, где пробудем недели две, если не больше.

Гоголь – С. Т. Аксакову, 27/15 июля 1842 г., из Гастейна. Письма, II, 195.

В Гастейне у Языкова нашел я «Москвитянин» за прошлый год и перечел с жадностью все твои рецензии и критики, – это доставило мне много наслаждений и родило весьма сильную просьбу, которую, может быть, ты уже предчувствуешь. Грех будет на душе твоей, если ты не напишешь разбора «Мертвых душ». Кроме тебя, вряд ли кто другой может правдиво и как следует оценить их. Тут есть над чем потрудиться… Во имя нашей дружбы я прошу тебя быть как можно строже. Чем более отыщешь ты и выставишь моих недостатков и пороков, тем более будет твоя услуга. Нет, может быть, в целой России человека, так жадного узнать все свои пороки и недостатки.

Гоголь – С. П. Шевыреву, 12 авг. 1842 г., из Гастейна. Письма, II, 200.

…Будь так добр: верно, ходят какие-нибудь толки о «Мертвых душах». Ради дружбы нашей, доведи их до моего сведения, каковы бы они ни были и от кого бы ни были. Мне все они равно нужны. Ты не можешь себе представить, как они мне нужны. Недурно также означить, из чьих уст вышли они… Через две недели я уже буду в Риме. Будь здоров, и да присутствует в твоем духе вечная светлость! А в случае недостатка ее обратись мыслию ко мне, и ты посветлеешь непременно, ибо души сообщаются, и вера, живущая в одной, переходит невидимо в другую.

Гоголь – Н. Я. Прокоповичу. 29 авг./10 сент. 1842 г., из Гастейна. Письма, II, 217.

Я в Венеции, куда под осенением Гоголя благополучно прибыл 22 сентября и где мы сидели довольно хорошо. Погода стоит негодная, но я все-таки уже видел площадь св. Марка и даже самый собор… Не знаю, как благодарить Гоголя за все, что он для меня делает: он ухаживает за мною и хлопочет обо мне, как о родном; не будь его теперь со мною, я бы вовсе истомился. Вероятно, более нежели вероятно, что я решусь ехать зимовать в Рим.

Н. М. Языков – родным, 26 сент. 1842 г., из Венеции. Шенрок. Материалы, IV, 169.

Около 9 окт. н. с. 1842 г. Гоголь вместе с Языковым приехал в Рим и поселился на своей прежней квартире.

А. И. Кирпичников. Хронолог. канва, 53.

Две недели, как живу в Риме... Благодарю за твой отзыв о моей поэме. Он был мне очень приятен, хотя в нем слишком много благосклонности. Еще прежде позволительно было щадить меня, но теперь это грешно: мне нужно скорей указать все мои слабые стороны; этого я требую больше всего от друзей моих... Уведоми меня сколько-нибудь о толках, которые тебе случится слышать о «Мертвых душах», как бы они пусты и незначительны ни были, с означением, из каких уст истекли они. Ты не можешь вообразить себе, как все это полезно мне и нужно и как для меня важны все мнения, начиная от самых необразованных до самых образованных.

Гоголь – А. С. Данилевскому, 23/11 окт. 1842 г., из Рима. Письма, II, 220.

Известите меня обо мне: записывайте все, что когда-либо вам случится услышать обо мне, – все мнения и толки обо мне и об моих сочинениях, и особенно когда бранят и осуждают меня. Последнее мне слишком нужно знать. Хула и осуждения для меня слишком полезны... Просите также ваших братцев, в ту же минуту, как только они услышат какое-нибудь суждение обо мне, справедливое или несправедливое, дельное или ничтожное, в ту же минуту его на лоскуточек бумажки, покамест оно еще не простыло, и этот лоскуточек вложите в ваше письмо. Не скрывайте от меня также имени того, который произнес его; знайте, что я не в силах ни на кого в мире теперь рассердиться, и скорей обниму его, чем рассержусь.

Гоголь – М. П. Балабиной, 2 ноября 1842 г., из Рима. Письма, II, 230.

Я к вам с корыстолюбивой просьбой, друг души моей, Петр Александрович! Узнайте, что делают экземпляры «Мертвых душ», назначенные много к представлению государю, государыне и наследнику и оставленные мною для этого у гр. Виельгорского. В древние времена, когда был в Петербурге Жуковский, мне обыкновенно что-нибудь следовало. Это мне теперь очень, очень было бы нужно. Я сижу на совершенном безденежьи. Все выручаемые деньги за продажу книги идут до сих пор на уплату долгов моих. Собственно для себя я еще долго не могу получить. А у меня же, как вы знаете, кроме меня, есть кое-какие довольно сильные обязанности. Я должен иногда помогать

сестрам и матери, не вследствие какого-нибудь великодушия, а вследствие совершенной их невозможности обойтись без меня. Конечно, я не имею никакого права, основываясь на этих причинах, ждать вспоможения, но я имею право просить, чтобы меня не исключили из круга других писателей, которым изъявляется царская милость за подносимые экземпляры.

Теперь другая просьба, тоже корыстолюбивая. Вы, верно, будете писать разбор «Мертвых душ»; по крайней мере, мне б этого очень хотелось. Я дорожу вашим мнением… Мне теперь больше, чем когда-либо, нужна самая строгая и основательная критика. Ради нашей дружбы, будьте взыскательны, как только можно.

Гоголь – П. А. Плетневу, 22 ноября 1842 г., из Рима. Письма, II, 231.

Пришел ко мне Никитенко и показал письмо из Рима от Гоголя, который рассыпается перед ним в комплиментах, потому что Никитенко цензирует его сочинения. Я краснел за унижение, до которого в нынешнее время доведены цензурою авторы: они принуждены подличать перед людьми… Что. если некогда это письмо Никитенко напечатает в своих мемуарах?[43] Не таковы были Дельвиг и Пушкин.

П. А. Плетнев – Я. К. Гроту, 14 ноября 1842 г. Переписка Грота с Плетневым, I, 640.

К Гоголю приехал известный поэт Н. М. Языков. Лицо его было в высшей степени страдальческое; он не мог ходить, страдая болезнью станового хребта – последствие крайне невоздержной его жизни. Он собирался, должно быть, долго пробыть в Риме, ибо я видел огромный сундук с книгами, который привезли из таможни к Гоголю, но болезнь заставила его поспешить обратно в Россию.

Ф. И. Иордан. Записки, 212.

Благодарю тебя много, много за твои обе статьи (*о «Мертвых душах»*)…Ты пишешь в твоем письме, чтобы я, не глядя ни на какие критики, шел смело вперед. Но я могу идти смело вперед только тогда, когда взгляну на те критики. Критика придает мне крылья. После критики, всеобщего шума и разноголосья мне всегда ясней представляется мое творенье. А не изведав себя со всех сторон, во всех своих недостатках, нельзя избавиться от своих недостатков. Мне даже критики Булгарина приносят пользу, потому что я, как немец, снимаю плеву со всякой дряни. Но какую же пользу может принесть мне критика, подобная твоей, где дышит такая чистая любовь к искусству и где я вижу столько душевной любви ко мне, ты можешь судить сам. Я много освежился душой по прочтении твоих статей и ощутил в себе

прибавившуюся силу. Я жалел только, что ты, вровень с достоинствами сочинения, не обнажил побольше его недостатков.

Гоголь – С. П. Шевыреву, в ноябре 1842 г., из Рима. Письма, II, 233.

Холодно мне и скучно и даже досадно, что я согласился на льстивые слова Гоголя и поехал в Рим, где он хотел и обещался устроить меня как нельзя лучше; на деле вышло не то: он распоряжается крайне безалаберно, хлопочет и суетится бестолково, почитает всякого итальянца священною особою, почему его и обманывают на каждом шагу. Мне же, не знающему итальянский язык, нельзя ничего ни спросить, ни достать иначе, как через посредство моего любезнейшего автора «Мертвых душ», я же совещусь его беспокоить и вводить в заботы, тем паче что из них выходит вздор.

Н. М. Языков в письме 1842 (?) года. В. Шенрок. Материалы, IV, 171.

Гоголь жил вместе с Языковым в чужих краях, но не ужился, и, конечно, в этом должно обвинять не Языков, у которого был характер очень уживчивый. Причиною неудовольствия был крепостной лакей Языкова, который ходил за ним во все время болезни усердно, пользовался полной доверенностью своего господина и, по его болезни, полновластно распоряжался домашним хозяйством; Гоголь же захотел сам распоряжаться и вздумал нарушать разные привычки и образ жизни больного. Так, по крайней мере, говорили братья Языкова, к которым будто он писал сам, а также и его доверенный лакей. Когда приехал Языков на житье в Москву, я спрашивал его об этом; но он отвечал мне решительно, что это совершенный вздор и что никаких недовольствий между ним и Гоголем не было. Нельзя предположить, чтобы братья Языкова выдумали эту историю; но, вероятно, преувеличили, основываясь не на письмах брата, а на письмах его камердинера.

С. Т. Аксаков. История знакомства, 66.

Гоголь рассказал мне, что когда он жил вместе с Языковым (*поэтом*), то вечером, ложась спать, они забавлялись описанием разных характеров и засим придумывали для каждого характера соответственную фамилию. «Это выходило очень смешно», – заметил Гоголь и при этом описал мне один характер, которому совершенно неожиданно дал такую фамилию, которую печатно назвать неприлично, – «и был он родом из грек», – так кончил Гоголь свой рассказ.

Кн. Д. А. Оболенский. О первом издании посм. соч. Гоголя. Рус. Стар., 1873, дек., 943.

Печатание всех сочинений Гоголя в четырех частях, в числе 5000 экземпляров, было поручено школьному товарищу и другу его Прокоповичу. Дело это он исполнил не совсем хорошо. Во-первых, издание стоило неимоверно дорого, а во-вторых, типография сделала значительную контрафакцию. Когда Шевырев впоследствии, с разрешения Гоголя, вытребовал все остальные экземпляры к себе в Москву, оказалось, что у книгопродавцев в Петербурге и частью в Москве находился большой запас «Мертвых душ», не соответствующий числу распроданных экземпляров, так что в течение полутора года ни один книгопродавец не взял у Шевырева ни одного экземпляра, а все получали их из Петербурга с выгодною уступкою. По прошествии же полутора года экземпляры начали быстро расходиться и пересылаться в Петербург.

С. Т. Аксаков. История знакомства, 69.

Я вам не могу выразить всей моей благодарности за ваше благодатное письмо. Скажу только, великодушный и добрый друг мой, что всякий раз благодарю небо за нашу встречу и что письмо это будет вечно неразлучно со мною... Только через Иерусалим желаю я возвратиться в Россию. А что я не отправляюсь теперь в путь, то это не потому, чтобы считал себя до того недостойным. Такая мысль была бы вполне безумна, ибо человеку невозможно знать меру и степень своего достоинства. Но я потому не отправляюсь теперь в путь, что не приспело еще для того время, мною же самим в глубине души моей определенное. Только по совершенном окончании труда моего могу я предпринять этот путь. Так мне сказало чувство души моей, так говорит мне внутренний голос, смысл и разум. Окончание труда моего пред путешествием моим так необходимо мне, как необходима душевная исповедь пред святым причащением.

Гоголь – Н. Н. Шереметевой, 5 янв. н. ст. 1843 г., из Рима. Письма, II, 247.

Осенью 1842 г. А. О. Смирнова жила во Флоренции. Неожиданно получила она от Гоголя письмо, в котором он писал, что его удерживает в Риме больной Языков, и просил ее приехать в Рим. В конце декабря брат Смирновой, А. О. Россет, поехал в Рим для приискания ей жилья, а в конце января 1843 года она сама с детьми отправилась туда. Приехали на Piazza Trojana, в Palazzetto Valentini. Верхний этаж был освещен. На лестницу выбежал Гоголь, с протянутыми руками и с лицом, сияющим радостью. «Все готово! – сказал он. – Обед вас ожидает, и мы с Аркадием Осиповичем (*брат Смирновой*) уже распорядились. Квартиру эту я нашел. Воздух будет хорош; Корсо под рукою, а что всего лучше – вы близко от Колизея и foro Boario». Поговорив немного, он отправился

домой, с обещанием прийти на другой день. В самом деле, на другой день он пришел в час, спросил карандаш и лоскуток бумаги и начал писать: «Куда следует Александре Осиповне наведываться между делом и бездельем, между визитами и проч., и проч.». В этот день Гоголь был со Смирновой во многих местах и кончил обозрение Рима церковью святого Петра. Он возил с собою бумажку и везде что-нибудь отмечал; наконец написал: «Петром осталась Александра Осиповна довольна». Такие прогулки продолжались ежедневно в течение недели, и Гоголь направлял их так, что они кончались всякий раз Петром. «Это так следует. На Петра никогда не наглядишься, хотя фасад у него комодом». При входе в Петра Гоголь подкалывал свой сюртук, и эта метаморфоза преобразовывала его во фрак, потому что кустоду приказано было требовать церемонный фрак из уважения к апостолам, папе и Микельанджело.

А. О. Смирнова по записи Кулиша. Записки о жизни Гоголя, II, 1. Ср. Смирнова. Автобиография, 276.

Однажды Гоголь повез меня и моего брата в San Pietro in Vinculi, где стоит статуя Моисея работы Микельанджело. Он просил нас идти за собою и не смотреть в правую сторону; потом привел нас к одной колонне и вдруг велел обернуться. Мы ахнули от удивления и восторга, увидев перед собою сидящего Моисея с длинной бородой. «Вот вам и Микельанджело! – сказал Гоголь. – Каков?» Сам он так радовался нашему восторгу, как будто он сделал эту статую. Вообще, он хвастал перед нами Римом так, как будто это его открытие. В особенности он заглядывался на древние статуи и на Рафаэля. Однажды, когда я не столько восхищалась, сколько бы он желал, Рафаэлевою Психеею в Фарнезине, он очень серьезно на меня рассердился. Для него Рафаэль-архитектор был столь же велик, как и Рафаэль-живописец, и, чтоб доказать это, он возил нас на виллу Мадата, построенную по рисункам Рафаэля. И он, подобно Микельанджело, соединил все искусства. Купидоны «Галатеи», точно живые, летают над широкой бездной, кто со стрелой, кто с луком. Гоголь говорил: «Этот итальянец так даровит, что ему все удается». В Сикстинской капелле мы с ним любовались картиной страшного суда. Одного грешника тянуло то к небу, то в ад. Видны были усилия испытания. Вверху улыбались ему ангелы, а внизу встречали его чертенята со скрежетанием зубов. «Тут история тайн души, – говорил Гоголь. – Всякий из нас раз сто на день то подлец, то ангел». После поездок мы заходили в Сан-Аугустино и восхищались ангелами Рафаэля и рядом с церковью покупали макароны, масло и пармезан. Гоголь сам варил макароны, но это у Лепри всего пять минут берет, и это блюдо съедалось с удовольствием.

Одним утром он явился в праздничном костюме, с праздничным лицом. «Я хочу сделать вам сюрприз, мы сегодня пойдем в купол Петра». У него была серая шляпа, светло-голубой жилет и малиновые панталоны, точно малина со сливками. Мы рассмеялись. «Что вы смеетесь? Ведь на пасху, рождество я всегда так хожу и пью после постов кофий с густыми сливками. Это так следует». – «А перчатки?» – «Перчатки, – отвечал он, – я прежде им верил, но давно разочаровался на этот счет и с ними простился». Ну, мы дошли, наконец, до самого купола, где читали надписи. Гоголь сказал нам, что карниз Петра так широк, что четвероместная карета могла свободно ехать по нем. «Вообразите, какую штуку мы ухитрились с Жуковским, обошли весь карниз! Теперь у меня пот выступает, когда я вспомню наше пешее хождение, вот какой подлец я сделался».

Во время прогулок по Риму Гоголя особенно забавляли ослы, на которых он ехал с нами. Он находил их очень умными и приятными животными и уверял, что они ни на каком языке не называются так приятно, как на итальянском (i ciuchi). После ослов его занимали растения, которых образчики он срывал и привозил домой.

А. О. Смирнова в передаче П. А. Кулиша. Записки о Гоголе, II, 2. Ср. Автобиография, 285, 284.

Когда мы смотрели Рим en gros, он начал ко мне являться реже по утрам. Он жил на Via Felice с Языковым, который в то время был болен, не ходил, и Гоголь проводил с ним все досужие минуты. Никто не знал лучше Рима, подобного чичероне не было и быть не может. Не было итальянского историка или хроникера, которого бы он не прочел, не было латинского писателя, которого бы он не знал; все, что относилось до исторического развития искусства, даже благочинности итальянской, ему было известно и как-то особенно оживляло для него весь быт этой страны, которая тревожила его молодое воображение и которую он так нежно любил, в которой его душе яснее виделась Россия, в которой отечество его озарялось для него радужно и утешительно. Он сам мне говорил, что в Риме, в одном Риме он мог глядеть в глаза всему грустному и безотрадному и не испытывать тоски и томления. Изредка тревожили его там нервы в мое пребывание, и почти всегда я видела его бодрым и оживленным… Заметив, что Гоголь так хорошо знает все, что касается до древности, я сама завлеклась ею; я его мучила, чтоб узнать поболее. Один раз, гуляя в Колизее, я ему сказала: «А как вы думаете, где Нерон сидел? вы это должны знать. И как он сюда явился пеший, в колеснице или на носилках?» Гоголь рассердился: «Да что вы ко мне пристаете с этим мерзавцем! Вы воображаете, кажется, что я в то время жил; вы воображаете, что я хорошо знаю историю. Совсем нет. Историю никто еще так не писал, чтобы живо можно было видеть или народ, или

какую-нибудь личность. Вот один Муратори понял, как описывать народ; у него одного чувствуется все развитие, весь быт, кажется, Генуи; а прочие все сочиняли или только сцепляли происшествия; у них не сыщется никакой связи человека с той землей, на которой он поставлен. Я всегда думал написать географию; в этой географии можно было бы увидеть, как писать историю. Но об этом после. Друг мой, я заврался, я скажу вам, между прочим, что подлец Нерон являлся в Колизей в свою ложу в золотом венке, в красной хламиде и золоченых сандалиях. Он был высокого роста, очень красив и талантлив, пел и аккомпанировал себе на лире. Вы видели его статую в Ватикане, она изваяна с натуры».

Но не часто и не долго он говорил; обыкновенно шел один поодаль от нас, подымал камушки, срывал травки или, размахивая руками, попадал на кусты и деревья; в Кампаньи ложился навзничь и говорил: «Забудем все, посмотрите на это небо», – и долго задумчиво и вместе весело он глядел на это голубое, безоблачное, ласкающее небо.

А. О. Смирнова. Записка о Гоголе. Записки, 319–321. Ср. Автобиография, 284. Сводный текст.

Письма ваши мне так же сладки, как молитва в храме... Я свеж и бодр. Часто душа моя так бывает тверда, что, кажется, никакие огорчения не в силах сокрушить меня. Да есть ли огорчение в свете? Мы их назвали огорчениями, тогда как они суть великие блага и глубокие счастия, ниспосылаемые человеку. Они хранители наши и спасители души нашей. Чем глубже взгляну на жизнь свою и на все доселе ниспосылаемые мне случаи, тем глубже вижу чудное участие высших сил во всем, что ни касается меня. И вся бы хотела превратиться в один благодарный вечный гимн душа моя. Вот вам состояние моего сердца, добрый друг мой. Не оставляйте меня вашими письмами.

Гоголь – Н. Н. Шереметевой, 6/18 февр. 1843 г., из Рима. Письма, II, 251.

Сочинение мое гораздо важнее и значительнее, чем можно предполагать по его началу. И если над первою частью, которая оглянула едва десятую долю того, что должна оглянуть вторая часть, просидел я почти пять лет, чего, натурально, никто не заметил, – рассуди сам, сколько должен просидеть я над второй. Это правда, что я могу теперь работать увереннее, тверже, осмотрительнее, благодаря тем подвигам, которые я предпринимал к воспитанию моему и которых тоже никто не заметил. Например, никто не знал, для чего я производил переделки моих прежних пьес, тогда как я производил их, основываясь на разумении самого себя, на устройстве головы своей. Я видел, что на этом одном я мог только навыкнуть производить плотное создание, сущное, твердое, освобожденное от излишеств и неумеренности, вполне ясное и

совершенное в высокой трезвости духа. После сих и других подвигов, предпринятых во глубине души, я, разумеется, могу теперь двигать работу далеко успешнее и быстрее, чем прежде; но нужно знать и то, что горизонт мой стал чрез то необходимо Шире и пространнее, что мне теперь нужно обхватить более того, что, верно бы, не вошло прежде. Итак, если предположить самую беспрерывную и ничем не останавливаемую работу, то два года – это самый короткий срок. Но я не смею об этом и думать, зная мою необеспеченную нынешнюю жизнь и многие житейские дела, которые иногда в силе будут расстроить меня, хотя употребляю все силы держать себя от них подале и меньше сколько можно о них думать и заботиться... Верь, что я употребляю все силы производить успешно свою работу, что вне ее я не живу и что давно умер для других наслаждений. Но вследствие устройства головы моей я могу работать вследствие только глубоких обдумываний и соображений, и никакая сила не может заставить меня произвести, а тем более выдать вещь, которой незрелость и слабость я уже вижу сам; я могу умереть с голода, но не выдам безрассудного, необдуманного творения. Не осуждай меня.

Но довольно. Теперь я приступаю к тому, о чем давно хотел поговорить и для чего как-то не имел достаточных сил. Но, помолясь, приступаю теперь твердо.

Это письмо прочитайте вместе: ты, Погодин и Серг. Тим. (*Аксаков*). С вами ближе связана жизнь моя, вы уже оказали мне высокие знаки святой дружбы. От вас я теперь потребую жертвы, но эту жертву вы должны принесть для меня. Возьмите от меня на три или на четыре даже года все житейские дела мои. Тысячи есть причин, внутренних и глубоких причин, почему я не могу и не должен и не властен думать о них... Ничего не могу я вам сказать, как только то, что это слишком важное дело. Верьте словам моим, и больше ничего... Прежде всего я должен быть обеспечен на три года. Распорядитесь, как найдете лучше, со вторым изданием и другими, если только последуют, но распорядитесь так, чтобы я получал по шести тысяч в продолжение трех лет всякий год. Это самая строгая смета; я бы мог издерживать и меньше, если бы оставался на месте; но путешествие и перемены мест мне так же необходимы, как насущный хлеб. Голова моя так странно устроена, что иногда мне вдруг нужно пронестись несколько сот верст и пролететь расстояние для того, чтоб менять одно впечатление другим, уяснить духовный взор и быть в силах обхватить и обратить в одно то, что мне нужно... Высылку денег разделить на два срока: первый – к 1 октября и другой – к 1 апреля, по три тысячи; если же почему-либо неудобно, то на три срока, по две тысячи. Но, ради бога, чтобы сроки были аккуратны: в чужой земле иногда слишком приходится трудно. Теперь, напр., я приехал в Рим в уверенности, что уже найду здесь деньги, назначенные мною к 1 октября, и вместо того вот уже шестой

месяц я живу без копейки, не получая ниоткуда. В первый месяц мы даже победствовали вместе с Языковым, но, слава богу, ему прислали сверх ожидания больше, и я мог у него занять две тысячи с лишком. Теперь мне следует ему уже и выплатить; ниоткуда не шлют мне, из Петербурга я не получил ни одного из тех подарков (*от высоких особ*), которые я получал прежде, когда был там Жуковский… Подобные обстоятельства бывают иногда для меня роковыми, не житейским бедствием своим и нищетой стесненной нужды, но состоянием душевным. Это бывает роковым, когда случается в то время, когда мне нужно вдруг сняться и сдвинуться с места и когда я услышал к тому душевную потребность: состояние мое бывает тогда глубоко тяжело и оканчивается иногда тяжелою болезнью. Два раза уж в моей жизни мне приходилось слишком трудно… Много у меня пропало через то времени, за которое не знаю, чего бы не заплатил; я так же расчетлив на него, как расчетлив на ту копейку, которую прошу себе (у меня уже давно все мое состояние – самый крохотный чемодан и четыре пары белья). Итак, обдумайте и посудите об этом. Если не станет для этого денег за выручку моих сочинений, придумайте другие средства. Рассудите сами; я думаю, я уже сделал настолько, чтобы дали мне возможность окончить труд мой, не заставляя меня бегать по сторонам, подыматься на аферы, чтобы, таким образом, приводить себя в возможность заниматься делом, тогда как мне всякая минута дорога, тогда как я вижу надобность, необходимость скорейшего окончания труда моего. Если же средств не отыщется других, тогда прямо просите для меня; в каком бы то ни было виде были мне даны, я их благодарно приму… Насчет матери моей и сестры я буду писать к Серг. Тимофеевичу (*Аксакову*) и Погодину. Я, сделав все, что мог, отдал им свою половину имения, сто душ, и отдал, будучи сам нищим и не получая достаточного для своего собственного пропитания. Наконец, я одевал и платил за сестер, и это делал не от доходов и излишеств, а занимая и наделав долгов, которые должен уплачивать. Погодин меня часто упрекал, что я сделал мало для семьи и матери. Но откуда же и чем я мог сделать больше: мне не указал никто на это средств. Я даже полагаю, что в делах моей матери гораздо важнее и полезнее будет умный совет, чем другая помощь. Имение хорошо, двести душ, но, конечно, маменька, не будучи хозяйкой, не в силах хорошо управиться… Если Погодин и Сергей Тимофеевич найдут необходимость, точно, помочь иногда денежным образом моей матери, тогда, разумеется, взять из моих денег, вырученных за продажу, если только она окажется; но нужно помнить тоже слишком хорошо мое положение, взвесить то и другое, как повелит благоразумие. Они на своей земле, в своем имении и, слава богу, ни в каком случае не могут быть без куска хлеба. Я в чужой земле и прошу только насущного пропитания, чтоб не умереть мне в продолжение каких-нибудь трех-четырех лет… Напиши мне, могу ли я надеяться получить в самом коротком времени, т. е. накопилось ли в кассе для меня денег? Мне

нужны, по крайней мере, 3500; две тысячи с лишком я должен отдать Языкову, да тысячу с лишком мне нужно вперед для прожития и подняться из Рима… Сказать правду, для меня давно уже мертво все, что окружает меня здесь, и глаза мои всего чаще смотрят только в Россию, и нет меры любви моей к ней.

Гоголь – С. П. Шевыреву, 28 февр. 1843 г., из Рима. Письма, II, 263.

(*С тою же просьбою о помощи Гоголь обратился и к Аксакову.*) Что теперь я полгода живу в Риме без денег, не получая ниоткуда, это, конечно, ничего. Случился Языков, и я мог у него занять. Но в другой раз это может случиться не в Риме: мне предстоят глухие уединения, дальние отлучения. Не теряйте этого из виду. Если не достанет и не случится к сроку денег, собирайте их хотя в виде милостыни. Я нищий и не стыжусь своего звания.

Я получил от маменьки письмо, сильно меня расстроившее. Она просит меня прямо помочь ей, в то время помочь, когда я вот уже полгода сижу в Риме без денег, занимая и перебиваясь кое-как. Просьба о помощи меня поразила. Маменька всегда была деликатна в этом отношении; она знала, что мне не нужно напоминать об этом, что я могу чувствовать сам ее положение… Теперь это все произошло вследствие невинного обстоятельства. Ольга Семеновна (*жена Аксакова*), по доброте души своей, желая, вероятно, обрадовать маменьку, написала, что «Мертвые души» расходятся чрезвычайно, деньги плывут и предложила ей даже взять деньги, лежащие у Шевырева, которые, вероятно, следовали одному из ссудивших меня на самое короткое время. Маменька подумала, что я богач и могу, без всякого отягощения себя, сделать ей помощь. Я никогда не вводил маменьку ни в какие литературные мои отношения и не говорил с нею никогда о подобных делах, ибо знал, что она способна обо мне задумать слишком много. Детей своих она любит до ослепления, и вообще границ у ней нет. Вот почему я старался, чтобы к ней никогда не доходили такие критики, где меня чересчур хвалят. А признаюсь, для меня даже противно видеть, когда мать хвастается своим сыном… Письмо маменьки и просьба повергли меня в такое странное состояние, что вот уже скоро третий месяц, как я всякий день принимаюсь за перо писать ей и всякий раз не имею сил, – бросаю перо и расстраиваюсь во всем… Войдите вместе с Погодиным в положение этого дела и объясните его маменьке, как признаете лучше. Дайте ей знать, что деньги вовсе не плывут ко мне реками и что расход книги вовсе не таков, чтобы сделать меня богачом. Если окажутся в остатке деньги, то пошлите; но не упускайте также из виду и того, что маменька, при всех своих прекрасных качествах, довольно плохая хозяйка и что подобные обстоятельства могут случиться всякий год; и потому умный совет с вашей стороны, как людей, все-таки больше понимающих хозяйственную часть, может быть ей полезнее самих денег.

Гоголь – С. Т. Аксакову, 18 марта 1843 г., из Рима. Письма, II, 276.

Оба эти письма не были поняты и почувствованы нами, как того заслуживали. Я принял их к сердцу более моих товарищей. Погодин мутил нас обоих своим ропотом, осуждением и негодованием. Он был ужасно раздражен против Гоголя. Шевырев хотя соглашался со многими обвинениями Погодина, но, по искренней и полной преданности своей Гоголю, от всего сердца был готов исполнять его желания. Дело в самом деле было затруднительно: все трое мы были люди весьма небогатые и своих денег давать не могли. Сумма, вырученная за продажу первого издания «Мертвых душ», должна была уйти на заплату долгов Гоголя в Петербурге. Выручка денег за полное собрание сочинений Гоголя, печатаемых в Петербурге Прокоповичем (за что мы все на Гоголя сердились), казалась весьма отдаленною и даже сомнительною: ибо надобно было предварительно выплатить типографские расходы, простиравшиеся до 17 000 и более рублей асс. Цена непомерная, несмотря на то, что печаталось около 5000 экземпляров. Мы рассчитывали, что в Москве понадобилось бы на все издание не более 11 000 р.

Первым моим делом было послать деньги Гоголю; на ту пору у меня случились наличные деньги, и я мог отделить из них 1500 руб. Такую же сумму думал я занять у Д-ва (*Демидова*). Я отправился к нему немедленно, рассказал все дело и – получил отказ. Благосостояние его и значительный капитал, лежавший в ломбарде, были мне хорошо известны. Я сделал ему горький упрек; но он, не обижаясь им, твердил одно: «Я принял за правило не давать денег взаймы, а дарить такие суммы я не могу». Я отвечал ему довольно жестко и хотел уйти; но жена его прислала просить меня, чтобы я к ней зашел. Я исполнил ее желание, и хотя не был с ней очень близок, но в досаде на ее супруга я рассказал ей, для чего я просил у него взаймы денег и по какой причине получил отказ. Она вспыхнула от негодования и вся покраснела. Она быстро встала со своего дивана, на котором лежала в грациозной позе, и, сказав: «я вам даю охотно эти деньги», вышла в другую комнату и через минуту принесла мне 1500 р. Я признаюсь в моей вине: не ожидал от нее такого поступка; поблагодарил ее с волнением и горячностью. Между тем явился муж, и я беспощадно подразнил и пристыдил его поступком жены. Он был очень смешон: пыхтел, отдувался и мог только сказать: «это ее деньги, она может ими располагать, но других от меня не получит». Очень довольный, что скоро нашел деньги, я сейчас отправил их в Рим через Шевырева.

С. Т. Аксаков. История знакомства, 106–107.

С Гоголем и Языковым мы прожили целую зиму в Риме, в одном доме, всякий день проводили вместе вечера. Гоголь не горд, а имеет своего рода оригинальность в жизни, – это его дело.

Ф. В. Чижов – А. В. Никитенко, 9 сент. 1844 г. Рус. Стар., 1904, сент., 683.

Расставшись с Гоголем в университете, мы встретились с ним в Риме в 1843 году и прожили здесь целую зиму в одном доме на Via Felice, № 126. Во втором этаже жил Языков, в третьем Гоголь, в четвертом я. Видались мы едва ли не ежедневно. С Языковым мы жили совершенно по-братски, как говорится, душа в душу, и остались истинными братьями до последней минуты его; с Гоголем никак не сходились. Почему? я себе определить не мог. Я его глубоко уважал и как художника, и как человека. Вечера наши в Риме проходили в довольно натянутых разговорах. Не помню, как-то мы заговоривши о Муравьеве, написавшем «Путешествие к Святым Местам» и проч. Гоголь отзывался об нем резко, не признавал в нем решительно никаких достоинств и находил в нем отсутствие языка. С большего частию я внутренне соглашался, но странно резкий тон заставил меня с ним спорить. Оставшись потом наедине с Языковым, я начал говорить, что нельзя не отдать справедливости Муравьеву за то, что он познакомил наш читающий люд со многим в нашем богослужении и вообще в нашей церкви. Языков отвечал: «Муравьева терпеть не мог Пушкин. Ну, а чего не любил Пушкин, то у Гоголя делается уже заповеднею и едва только не ненавистью». Несмотря, однако ж, на наши довольно сухие столкновения, Гоголь очень часто показывал ко мне много расположения. Тут, по какому-то непонятному для самого меня внутреннему упрямству, я, в свою очередь, отталкивал Гоголя. Все это, разумеется, было в мелочах. Например, бывало, он чуть не насильно тащит меня к Смирновой; но я не иду и не познакомился с нею потому, что ему хотелось меня познакомить. Таким образом, мы с ним не сходились. Это, пожалуй, могло случиться очень просто: Гоголь мог не полюбить меня, да и все тут. Так нет же: едва, бывало, мы разъедемся, не пройдет и двух недель, как Гоголь пишет ко мне и довольно настойчиво просит съехаться, чтоб потолковать со мной о многом… Сходились мы в Риме по вечерам постоянно у Языкова, тогда уже очень больного, Гоголь, Иванов и я. Наши вечера были очень молчаливы. Обыкновенно кто-нибудь из нас троих – чаще всего Иванов – приносил в кармане горячих каштанов; у Языкова стояла бутылка алеатико, и мы начинали вечер каштанами, с прихлебками вина. Большею частью содержанием разговоров Гоголя были анекдоты, почти всегда довольно сальные. Молчаливость Гоголя и странный выбор его анекдотов не согласовались с уважением, которое он питал к Иванову и Языкову, и с тем вниманием, которого он удостоивал меня, зазывая на свои вечерние сходки, если я не являлся без зову. Но это можно объяснить тем, что тогда в душе

Гоголя была сильная внутренняя работа, поглотившая его совершенно и овладевшая им самим. В обществе, которое он, кроме нашего, посещал изредка, он был молчалив до последней степени. Не знаю, впрочем, каков он был у А. О. Смирновой, которую он очень любил и о которой говаривал всегда с своим гоголевским восхищением: «Я вам советую пойти к ней: она очень милая женщина». С художниками он совершенно разошелся. Все они припоминали, как Гоголь бывал в их обществе, как смешил их анекдотами; но теперь он ни с кем не видался. Впрочем, он очень любил Ф. И. Иордана и часто, на наших сходках, сожалел, что его не было с нами. А надобно заметить, что Иордан очень умный человек, много испытавший и отличающийся большою наблюдательностью и еще большею оригинальностью в выражениях. Однажды я тащил его почти насильно к Языкову. «Нет, душа моя, – говорил мне Иордан, – не пойду, там Николай Васильевич. Он сильно скуп, а мы все народ бедный, день-деньской трудимся, работаем, – давать нам не из чего. Нам хорошо бы так вечерок провести, чтоб дать и взять, а он все только брать хочет». Я был очень занят в Риме и смотрел на вечернюю беседу, как на истинный отдых. Поэтому у меня почти ничего не осталось в памяти от наших разговоров. Помню я только два случая, показавшие мне прием художественных работ Гоголя и понятие его о работе художника. Однажды, перед самым его отъездом из Рима, я собирался ехать в Альбано. Он мне сказал: «Сделайте одолжение, поищите там моей записной книжки, в роде истасканного простого альбома; только я просил бы вас не читать». Я отвечал: «Однако ж, чтоб увериться, что точно это ваша книжка, я должен буду взглянуть в нее. Ведь вы сказали, что сверху на переплете нет на ней надписи». – «Пожалуй, посмотрите. В ней нет секретов; только мне не хотелось бы, чтоб кто-нибудь читал. Там у меня записано все, что я подмечал где-нибудь в обществе». В другой раз, когда мы заговорили о писателях, он сказал: «Человек пишущий также не должен оставлять пера, как живописец кисти. Пусть что-нибудь пишет непременно каждый день. Надобно, чтоб рука приучилась совершенно повиноваться мысли».

В Риме он, как и все мы, вел жизнь совершенно студентскую: жил без слуги, только обедал всегда вместе с Языковым, а мы все в трактире. Мы с Ивановым всегда неразлучно ходили обедать в тот трактир, куда прежде ходил часто и Гоголь, именно, как мы говорили, к Фалькону (al Falcone). Там его любили, и лакей (cameriere) нам рассказывал, как часто signor Nicolo надувал их. В великой пост до Ave Maria, т. е. до вечерни, начиная с полудня, все трактиры заперты. Ave Maria бывает около шести часов вечера. Вот, когда случалось, что Гоголю сильно захочется есть, он и стучит в двери. Ему обыкновенно отвечают: «Нельзя отпереть». Но Гоголь не слушается, и говорит, что забыл платок, или табакерку, или что-нибудь другое. Ему отворяют, а он там уже остается и обедает.

В каком сильном религиозном напряжении была тогда душа Гоголя, покажет следующее. В то время одна дама, с которою я был очень дружен, сделалась сильно больна. Я посещал ее иногда по несколько раз в день и обыкновенно приносил известия о ней в нашу беседу, в которой все ее знали – Иванов лично, Языков по знакомству ее с его родными, Гоголь понаслышке. Однажды, когда я опасался, чтоб у нее не было антонова огня в ноге. Гоголь просил меня зайти к нему. Я захожу, и он, после коротенького разговора, спрашивает: «Была ли она у святителя Митрофана?» Я отвечал: «Не знаю». – «Если не была, скажите ей, чтоб она дала обет помолиться у его гроба. Сегодняшнюю ночь за нее здесь сильно молился один человек, и передайте ей его убеждение, что она будет здорова. Только, пожалуйста, не говорите, что это от меня». По моим соображениям, этот человек, должно быть, был сам Гоголь.

Вот все, что могу на этот раз припомнить о нашей римской жизни. Общи и характер бесед наших с Гоголем может обрисоваться из следующего воспоминания. Однажды мы собрались, по обыкновению, у Языкова. Языков, больной, молча, повесив голову и опустив ее почти на грудь, сидел в своих креслах; Иванов дремал, подперши голову руками; Гоголь лежал на одном диване, я полулежал на другом. Молчание продолжалось едва ли не с час времени. Гоголь первый прервал его. «Вот, – говорит, – с нас можно сделать этюд воинов, спящих при гробе господнем». И после, когда уже нам казалось, что время расходиться, он всегда говаривал: «Что, господа, не пора ли нам окончить нашу шумную беседу?»

Ф. В. Чижов. Мемуары. Кулиш, I, 326.

Исчезло прежнее светлое расположение духа Гоголя. Бывало, он в целый вечер не промолвит ни единого слова. Сидит себе, опустив голову на грудь и запустив руки в карманы шаровар, – и молчит. Не раз я ему говаривал: «Николай Васильевич, что это вы как экономны с нами на свою собственную особу? Поговорите же хоть что-нибудь». Молчит. Я продолжаю: «Николай Васильевич, мы вот все, труженики, работаем целый день; идем к вам вечером, надеемся отдохнуть, рассеяться, – а вот вы ни слова не хотите промолвить. Неужели мы все должны только покупать вас в печати?» Молчит и ухмыляется. Изредка только оживится, расскажет что-нибудь. Признаться сказать, на этих наших собраниях была ужаснейшая скука. Мы сходились, кажется, только потому, что так было уже раз заведено, да и ходить-то более было некуда... Сделался он своенравным. Во время обеда, спросив какое-нибудь блюдо, он едва, бывало, дотронется до него, как уже зовет полового и требует переменить кушанье по два, по три раза, так что половой трактира «al Falcone» Луиджи почти бросал ему блюда, говоря:

«Синьор Николо, лучше не ходите к нам обедать, на вас никто не может угодить. Забракованные вами блюда хозяин ставит на наш счет».

Ф. И. Иордан. М. Боткин, 399. Записки Иордан, 209.

Я получил на днях письмо от маменьки; дела ее изворотились и пошли обыкновенным порядком, проценты и подати взнесены. Я здоров и довольно бодр, но устал сильно духом; заботы и беспокойства обо всем и об обеспечении моем на эти три года удалили меня от моих внутренних занятий, и полгода похищено у меня времени, слишком важного для меня.

Гоголь – С. П. Шевыреву, 7 апр. 1843 г., из Рима. Письма, II, 283.

Под весну, когда уже в поле сделалось веселее, Гоголь выезжал для прогулок в Кампанью. Особенно любил он Ponte Numentano и Aqua Accittosa. Там он ложился на спине и не говорил ни слова. Когда его спрашивали, отчего он молчит, он отвечал: «Зачем говорить? Тут надобно дышать, дышать, втягивать носом этот живительный воздух и благодарить бога, что столько прекрасного на свете».

На страстной неделе Гоголь говел, и тут Смирнова заметила уже его религиозное расположение. Он становился обыкновенно поодаль от других и до такой степени бывал погружен в молитву, что, казалось, не замечал никого вокруг себя.

А. О. Смирнова в передаче П. А. Кулиша. Записки о жизни Гоголя, II, 4.

В римской Кампаньи есть какая-то неизъяснимая прелесть, и, не знаю почему, воспоминается что-то родное, вероятно, степь южной России, где я родилась. Мы часто с Гоголем там бродим, говорим об вас, вы поймете, с какою нежностью, потому что он вас обожает.

А. О. Смирнова – В. А. Жуковскому, 20 апреля 1843 г., из Рима. Смирнова. Записки, 332.

В 1843 году герцог Лейхтенбергский с великой княгиней *(Марией Николаевной, его женой*) был в Риме, где мать (*А. О. Смирнова*) их видала ежедневно. Гоголя пригласили на чтение к великой княгине. Тут был очень забавный случай: у Гоголя не оказалось фрака, у него был старый мундир (?). В. А. Перовский сказал ему, что он не годится, – слишком стар. Ханыков и мой дядя (*А. О. Россет*) отправились к русским художникам (Иванов был приглашен на чтение сам); фрака не нашли. Иванов обежал все немецкие мастерские, – pas de frac!.. Наконец, в Вилле Медичи у французов нашелся фрак по росту Гоголя,

хотя и немного мешковат, и его нарядили. В 1858 г. Иванов еще вспоминал о фраке со смехом в Риме. Этот анекдот долго веселил римские мастерские и обедавших артистов (которые все знали Гоголя) у Лепре (ресторан бедных артистов). Гоголь видался у Лепре ежедневно с немецкими и французскими артистами и итальянцами; его все звали signor Nicolo, а Иванова – signor Alessandro.

О. Н. Смирнова. Рус. Стар., 1888, окт., 125.

Мы с ним совершили поездку в Альбано. Вечером мы собирались вместе; по очереди каждый из нас начал читать «Lettres dun voyageur» Жорж Занда. Я заметила, как Гоголь был в необычайно тревожном настроении, ломал руки, не говорил ничего, когда мы восхищались некоторыми местами, смотрел как-то посмурно и даже вскоре оставил нас. Все небольшое общество наше ночевало в Альбано. На другой день, когда я его спросила, зачем он ушел, он спросил, люблю ли я скрипку. Я сказала, что да. Он сказал: «а любите ли вы, когда на скрипке фальшиво играют?» Я сказала: «что это значит?» Он: «Так ваш Жорж Занд видит и понимает природу. Я не мог равнодушно видеть, как вы можете это выносить». Раз сказал: «Я удивляюсь, как вам вообще нравится все это растрепанное…» Мне тогда казалось, как будто он жалел нас, что мы можем этим восхищаться. Во весь тот день он был пасмурен и казался озабоченным. Он условился провести в Альбано вместе с нами трое суток. Но, возвратись вечером из гуляния, я с удивлением узнала, что Гоголь от нас уехал в Рим. В оправдание этого странного поступка он приводил потом такие причины, которые показывали, что он желал только отделаться от дальнейших объяснений.

А. О. Смирнова. Воспоминание о Гоголе. Записки, 332, и Кулиш, II, 3. Сводный текст.

Будучи в Риме, уже в 1843 году, Гоголь опять, как в 1837 г. в Париже, начал что-то рассказывать об Испании. Я заметила, что Гоголь мастер очень серьезно солгать. На это он сказал: «Так если ж вы хотите знать правду, я никогда не был в Испании, но зато я был в Константинополе, а вы этого не знаете». Тут он начал описывать во всех подробностях Константинополь: называл улицы, рисовал местности, рассказывал о собаках, упоминая даже, какого они цвета, и о том, как там подают кофе в маленьких чашках с гущею… Речь его была наполнена множеством мелочей, которые мог знать только очевидец, и заняла всех слушателей на целые полчаса или около того. «Вот сейчас и видно, – сказала я ему тогда, – что вы были в Константинополе». А он ответил: «Видите, как легко вас обмануть. Вот же я не был в Константинополе, а в Испании и Португалии был». В Испании он точно был, но проездом, потому что в самом деле оставаться долго было неприятно после Италии: ни климат,

ни природа, ни художества, ни картины, ни народ не могли произвести на него особенного впечатления. Испанская школа сливалась для него с Болонскою в отношении красок и в особенности рисунка; Болонскую он совсем не любил. Очень понятно, что такой художник, как Гоголь, раз взглянувши на Микельанджело и Рафаэля в Риме, не мог слишком увлекаться другими живописцами. Вообще у него была известного рода трезвость в оценке искусства; лишь в том случае, если он всеми струнами души своей признавал произведение прекрасным, тогда оно получало от него наименование прекрасного. «Стройность во всем, вот что прекрасно», – говорил он.

А. О. Смирнова. Кулиш, I, 208. Записки, 313.

О болезни или о лечении моем вовсе не думаю. Болезнь моя так мне была доселе нужна, как рассмотрю поглубже все время страдания моего, что не дает духа просить бога о выздоровлении. Молю только его о том, да ниспошлет несколько свежих минут и надлежащих душевных расположений, нужных для изложения на бумагу всего того, что приуготовляла во мне болезнь страданьями и многими, многими искушеньями и сокрушеньями всех родов, за которые недостает слов и слез благодарить его всеминутно и ежечасно. О сих свежих минутах молю и не сомневаюсь в его святой милости, где ни будут они мне даны, – в дороге ли, на почтовой станции, в тряском экипаже, или в покойной комнате, или даже в холодной ванне у Присница, – все равно; но слышит мое сердце, что они будут мне даны и отверзутся мои уста возвестить хвалу ему.

Гоголь – В. А. Жуковскому, 10 мая 1843 г., из Флоренции. Письма, II, 295.

Я остановился на несколько дней в Гастейне отдохнуть от дороги и погостить у Языкова. После этого отправляюсь в Дюссельдорф, где пробуду, может быть, долго.

Гоголь – С. П. Шевыреву, 17 мая 1843 г., из Гастейна. Письма, II, 301.

Я живу еще в Эмсе для компании Жуковскому, который здесь по причине лечения жены.

Гоголь – А. О. Россету, 18 июня 1843 г., из Эмса. Письма, II, 315.

У меня нет теперь никаких впечатлений, и мне все равно, в Италии ли я, или в дрянном немецком городке, или хоть в Лапландии. Я бы от души рад восхищаться свежим запахом весны, видом нового места, да нет на

это у меня теперь чутья. Зато я живу весь в себе, в своих воспоминаниях, в своем народе и земле, которые носятся неразлучно со мною, и все, что там ни есть и ни заключено, ближе и ближе становится ежеминутно душе моей. Зато взамен природы и всего вокруг меня мне ближе люди: те, которых я едва знал, стали близки душе моей, а что же мне те, которые и без того были близки душе моей?

Гоголь – А. С. Данилевскому, 20 июня 1843 Эмса. Письма, II.

В июле А. О. Смирнова узнала, что Гоголь в Эмсе у Жуковского, к которому она намеревалась ехать. Приехав туда, она узнала, что Гоголь выехал в Баден к ней навстречу, и скоро получила от него шутливое письмо, которое начиналось так: «Кашу без масла все-таки можно как-нибудь есть, хоть на голодные зубы, а Баден без вас просто нейдет в горло». Проведя в Эмсе три дня, Смирнова выехала в Баден и нашла там Гоголя.

Он почти всякий день у нее обедал, исключая тех дней, когда он говорил: «Пойду полюбоваться, что там русские делают за табльдотом». Он ходил в гостиницы и другие публичные места, как ходят в кунсткамеру. Не будучи почти ни с кем знаком, Гоголь знал почти все отношения между приезжими и угадывал многое очень верно. Всякий день после обеда он читал Смирновой «Илиаду» в переводе Гнедича, и, когда она говорила, что эта книга ей надоедает, он оскорблялся, сердился и писал Жуковскому, что А. О. «и на Илиаду топает ногами».

А. О. Смирнова по записи Кулиша. Кулиш, II, 4.

Гоголь обедал у меня и говорил: «Я ходил в Hotel d`Angleterre, где лучший стол, но мне надоели немцы, которые с грациями поедают всякую жвачку». Он таскался на террасе и в рулетке. С террасы он принес целый короб новостей: кто прячется за кустами, кто жмурится без зазрения совести, кто проиграл, кто выиграл. «Гаже всех ведут себя наши соотечественники и соотечественницы». Вел. княгиня Елена Павловна вздумала выдать свою дочь Марью Михайловну за будущего герцога Баденского. Все представлялись ей. Я спросила Николая Васильевича: «Когда же вы подколете ваш сюртук и пойдете к ней?» – «Нет, пусть прежде представится Балинский, а потом уж я, и какая у него аристократическая фамилия!» Балинский был мой курьер, родом из Курляндии.

А. О. Смирнова. Автобиография, 287, 289.

Ничего почти не сделано мною во всю зиму, выключая немногих умственных материалов, забранных в голову. Дела, о которых я писал вам и которые я просил вам взять на себя, слишком у меня отняли

времени. Вы уже могли чувствовать по отчаянному выражению той просьбы, какою наполнено было письмо мое к вам, как много значило для меня в те минуты попечение о многом житейском. Но так было, верно, нужно, чтоб время было употреблено на другое… Может быть, и болезненное мое расположение во всю зиму, и мерзейшее время, которое стояло в Риме во все время моего прерывания там, нарочно отдаляло от меня труд для того, чтоб я взглянул на дело свое с дальнего расстояния и почти чужими глазами.

Гоголь – С. Т. Аксакову, 24 июля 1843 г., из Бадена. Письма, II, 330.

Решительно не знаю, какие житейские дела могли отнимать у Гоголя время и могли мешать ему писать. Книжными делами заведывали Прокопович и Шевырев; в деньгах он был обеспечен, из дома его ничто не беспокоило. Мне кажется, эта помеха была в его воображении. Я думаю, что Гоголю начинало мешать его нравственно-наставительное, так сказать, направление. Гоголь, погруженный беспрестанно в нравственные размышления, начинал думать, что он может и должен поучать других и что поучения его будут полезнее его юмористических сочинений. Во всех его письмах тогдашнего времен и, к кому бы они ни были написаны, уже начинал звучать этот противный мне тон наставника.

С. Т. Аксаков. История знакомства, 114.

Гоголь из Бадена поехал в Карлсруэ к Мицкевичу. Вернувшись, он мне сказал, что Мицкевич постарел, вспоминает свое пребывание в Петербурге с чувством благодарности к Пушкину, Вяземскому и всей литературной братии.

А. О. Смирнова. Автобиография, 288.

В это время Гоголь был уже очень известен русской заграничной публике по своим сочинениям, и князь Д. просил А. О. Смирнову показать ему автора «Мертвых душ». Гоголь уже простился тогда с нею и должен был через минуту проехать мимо в дилижансе. Но сколько она ни звала его, чтоб обернулся к ней, Гоголь, заметивши, видно, с нею князя, сделал вид, что ничего не слышит, и таким образом проехал мимо нее и уехал во Франкфурт (в Дюссельдорф) к Жуковскому. Она не условилась с ним, где им увидеться в будущую зиму, и просила его письменно приехать в Ниццу. Он отвечал, что он чувствует, что он слишком привязывается к семейству графа Соллогуб и к ней, а ему не следует этого делать, чтоб не связывать своих действий никакими узами.

А. О. Смирнова по записи Кулиша. Записки о жизни Гоголя, II, 4–5.

Спешу к Жуковскому, который уехал отсюда накануне моего приезда и увез к себе и Гоголя.

А. И. Тургенев – кн. П. А. Вяземскому, 17/29 авг. 1843 г., из Баден-Бадена. Остаф. Арх., IV, 258.

Гоголь уехал во Франкфурт (в Дюссельдорф). В Кобленце с ним был странный случай. Вечером он выставил сапоги, потому что рано утром пароход выходил в шесть часов. Проснувшись, Гоголь слышит, что все кричат: «Это вы сделали!» – решается высунуть свой длинный нос. Тут все немцы хором закричали: «Он, он это сделал!» Вот что случилось. Один господин сунул ногу в сапог, но, ужас, до половины был полон золотой размазней, он закричал. Один за другим все любопытные высунули свои носы, и он всех огулом обвинял в неожиданной катастрофе. На пароходе вместо дружеских отношений все друг на друга косились.

А. О. Смирнова. Воспом. о Гоголе. Автобиография, 290.

Денег я не получаю ниоткуда; вырученные за «Мертвые души» пошли все почти на уплату долгов моих. За сочинения мои тоже я не получил еще ни гроша, потому что все платилось в эту гадкую типографию, взявшую страшно дорого за напечатание; и притом продажа книги идет, как видно, тупо. И потому, что можно сделать, – сделайте. В теперешних моих обстоятельствах мне бы помогло отчасти вспомоществование в виде подарков от двора за представленные экземпляры. Я, как вы знаете, не получил ни за «Мертвые души», ни за сочинения. Прежде, признаюсь, я не хотел бы даже этого, но теперь, опираясь на стесненное положение моих обстоятельств, я думаю, можно прибегнуть к этому. Если вы найдете это возможным, то надобно, чтобы эта помощь была или от государыни, или от наследника; от государя мне ни в коем случае не следует ничего. Это бы было даже бесстыдно с моей стороны просить. Он подал мне помощь в самую трудную минуту моей жизни… Важность всего этого тем более значительна, что не скоро придется мне выдать что-нибудь в свет. Чем более торопишь себя, тем менее подвигаешь дело. Да и трудно это сделать, когда уже внутри тебя заключился твой неумолимый судья, строго требующий отчета во всем и поворачивающий всякий раз назад при необдуманном стремлении вперед. Теперь мне всякую минуту становится понятней, отчего может умереть с голода художник, тогда как кажется, что он может большие набрать деньги… Я знаю, что после буду творить полней и даже быстрее, но до этого еще не скоро мне достигнуть. Сочинения мои так тесно связаны с духовным образованием меня самого и такое мне нужно до

того времени вынести внутреннее, сильное воспитание душевное, глубокое воспитание, что нельзя и надеяться на скорое появление моих новых сочинений.

Гоголь – П. А. Плетневу, 4 окт. 1843 г., из Дюссельдорфа. Письма, II, 344.

К последней половине 1843 года относим мы первое уничтожение рукописи (*второй части*) «Мертвых душ» из трех, какому она подверглась. Если нельзя с достоверностью говорить о совершенном истреблении рукописи в это время, то, кажется, можно допустить предположение о совершенной переделке ее, равняющейся уничтожению.

П. В. Анненков. Литературные воспоминания, 63.

Дюссельдорф я оставляю. Зима в Италии для меня необходима. В Германии она просто мерзость и не стоит подметки нашей русской зимы. В Рим, по разным обстоятельствам, не доеду, а зазимую в Ницце, куда завтра же и выезжаю.

Гоголь – Языкову, 4 ноября 1843 г., из Дюссельдорфа. Письма, II, 364.

Гоголь отправился в Ниццу, где проживет зиму. Он отправился от меня с большим рвением снова приняться за свою работу, и думаю, что много напишет в Ницце.

В. А. Жуковский – Н. Н. Шереметевой, 6/18 ноября 1843 г., из Дюссельдорфа, Сочинения В. А. Жуковского, изд. 7-е, том IV. СПб. 1878. Стр. 504.

Едучи в Ниццу, Гоголь заболел в Марсели ночью так ужасно, что не надеялся дожить до утра и с покорностью ожидал смерти. Он чувствовал, как смерть к нему приближалась, и встречал ее молитвами. Утром он чувствовал большую слабость, однако ж сел в дилижанс и приехал в Ниццу.

А. О. Смирнова по записи П. А. Кулиша. Записки о жизни Гоголя, II, 6.

Однажды в Ницце, в декабре месяце, Смирнова, возвращаясь, нашла в своей квартире Гоголя. – «Вот видите, – сказал он, – вот я и теперь с вами. Я распоряжусь так, что буду делить свое время между вами и Виельгорскими». Квартира его, однако ж, оказалась неудобною, и он переехал к Виельгорским, в доме г-жи Паради. В Ницце Гоголь почти ежедневно обедал у Смирновой, но уже не читал больше после обеда «Илиады», а вытаскивал вместо нее из кармана толстую тетрадь

выписок из святых отцов. Иногда он читал сочинения Марка Аврелия и с умилением говорил: «Божусь богом, что ему недостает только быть христианином!» О своих обстоятельствах он говорил в шуточном тоне и очень мало; но так как было известно, что его способы существования очень скудны, то Смирнова желала хоть шуткой выпытать, что у него есть. Один раз она начала его экзаменовать, сколько у него белья и платья, и старалась отгадать, чего у него больше. «Я вижу, что вы просто совсем не умеете отгадывать, – отвечал он. – Я большой франт на галстухи и жилеты. У меня три галстуха: один парадный, другой повседневный, а третий дорожный, потеплее». Из расспросов оказалось, что у него было только необходимое для того, чтобы быть чистым. «Это мне так следует, – говорил он. – Всем так следует, а вы будете жить, как я, и, может быть, я увижу то время, когда у вас будет только две пары платья: одно для праздников, другое для будней. А лишняя мебель и всякие комфорты в комнате вам так надоедят, что вы сами понемногу станете избавляться от них. Я вижу, что это время придет для вас».

В то время на нее иногда находила непонятная тоска. Гоголь списал собственноручно четырнадцать псалмов и заставлял ее учить их наизусть. После обеда он спрашивал у нее урок, как спрашивают у детей, и лишь только она хоть немножно запиналась в слове, он говорил: «нетвердо!» – и отсрочивал урок до другого дня.

Все утро он обыкновенно работал у себя в комнате и только в три часа выходил гулять, или один, или с графом М. И. Виельгорским, Смирнова часто встречала его на берегу моря. Если его внезапно поражало какое-нибудь освещение на утесах или зелени, он не говорил ни слова, а только останавливался, указывал и улыбался. В Ницце он был по большей части очень весел, представлял своих гимназических учителей, рассказывал анекдоты и, между прочим, прочитал своему небольшому обществу «Тараса Бульбу». Здоровье его, однако ж, не было в цветущем состоянии.

П. А. Кулиш со слов А. О. Смирновой. Записки о жизни Гоголя, II, 7.

Мы поселились в Ницце у Croix de Marbre, в доме Масклета. Масклет давно жил в России, и русские охотно у него останавливались. Виельгорские жили в доме Paradis, и Гоголь у них жил. Утром он всегда гулял с Михаилом Михайловичем и Анной Михайловной (*Виельгорскими*), обедал то у них, то у меня. «Насчет десерта вы не беспокойтесь, – говорил он, – я распоряжусь», – и приносил фрукты в сахаре. Кухарка кричала во все горло: «M-r Gogo, m-r Gogo, des radis et de la salade des peres francais» (редиски и французского салату). После обеда Гоголь вытаскивал тетрадку и читал отрывки из отцов церкви.

Он нам читал в Ницце у старухи графини Соллогуб «Тараса Бульбу».

А. О. Смирнова. Автобиография, 290.

Вы были знакомы со мною и прежде, и виделись со мною и в Петербурге, и в других местах. Но какая разница между тем нашим знакомством и вторичным нашим знакомством в Ницце! Не кажется ли вам самим, как будто мы друг друга только теперь узнали, а до того времени вовсе не знали?

Гоголь – А. О. Смирновой. Соч. Гоголя, изд. Брокгауза – Ефрона, IX, 265.

В Ниццу я приехал благополучно, даже более, чем благополучно, ибо случившиеся на дороге задержки и кое-какие неприятности были необходимы душе моей... Ницца – рай; солнце, как масло, ложится на всем; мотыльки, мухи в огромном количестве, и воздух летний. Спокойствие совершенное. Жизнь дешевле, чем где-либо. Смирнова здесь. Соллогубы (*писатель Вл. Ал-вич и его жена Софья Михайловна, рожденная Виельгорская*) тоже здесь. Графиня Виельгорская тоже здесь, с сыном и меньшою дочерью... Я продолжаю работать, т. е. набрасывать на бумагу хаос, из которого должно произойти создание «Мертвых душ». Труд и терпение и даже приневоливание себя награждают меня много. Такие открывают тайны, которых не слышала дотоле душа, и многое в мире становится после этого труда ясно. Поупражняясь хотя немного в науке создания, становишься в несколько крат доступнее к прозрению великих тайн божьего создания и видишь, что чем дальше уйдет и углубится во что-либо человек, кончит все тем же: одною полною и благодарною молитвою.

Гоголь – В. А. Жуковскому, 2 дек. 1843 г., из Ниццы. Письма, II, 365.

Я как-то раз в Ницце сказала с Гоголем несколько слов (*о необходимости выхлопотать ему пенсион*), и он отвергнул этими словами: – «Я теперь еще не имен, никакого права, а может быть, вперед сделаю что-нибудь, которое мне его доставит».

А. О. Смирнова – В. А. Жуковскому. Рус. Арх., 1902, II, 112.

...веселый и любезнейший в Ницце.

Графиня С. М. Соллогуб – Гоголю. Вестн. Евр., 1889, № 11, 117.

Мне показалось, что я с вами где-нибудь сижу, как случалось в Остенде или в Ницце, и что вам говорю все, что в голову приходит, и что вам рассказываю всякую всячину. Вы меня тогда слушали, тихонько улыбаясь и закручивая усы.

Графиня А. М. Виельгорская – Гоголю, 7 янв. 1846 г. Вестн. Евр. 1889, № 11, 104.

За границей я жил целый год с Гоголем, сперва в Баден-Бадене, потом в Ницце. Талант Гоголя в то время осмыслился, окрепнул, но прежняя струя творчества уже не била в нем с привычною живостью. Прежде гений руководил им, тогда он уже хотел руководить гением. Прежде ему невольно писалось, потом он хотел писать и, как Гете, смешал свою личность с независимым от его личности вдохновением. Он постоянно мне говорил: «Пишите, поставьте себе за правило хоть два часа в день сидеть за письменным столом и принуждайте себя писать». – «Да что ж делать, – возражал я, – если не пишется?» – «Ничего… Возьмите перо и пишите: сегодня мне что-то не пишется, сегодня мне что-то не пишется, сегодня мне что-то не пишется и так далее; наконец надоест и напишется». Сам же он так писал и был всегда недоволен, потому что ожидал от себя чего-то необыкновенного. Я видел, как этот бойкий, светлый ум постепенно туманился в порывах к недостижимой цели.

Гр. В. А. Соллогуб. Воспоминания, 189.

Я одолеваем разными недугами, тем более несносными для меня, что они наводят томление, тоску и мешают как следует работать. Гребу решительно противу волн, иду против себя самого, т. е. противу находящего бездействия и томительного беспокойства… Погода прекрасная, т. е. всегдашнее солнце, но не работается так, как бы я хотел. Живу я в виду небольшого хвостика моря, на которое, впрочем, хожу глядеть вблизи. Здесь нашел несколько знакомых, семейство Виельгорских, Соллогуба, который, кажется, охотник больше ездить по вечеринкам, чем писать… Хочу насильно заставить себя что-нибудь сделать и потому веду жизнь уединенную и преданную размышлениям… Если ты при деньгах, то ссуди меня тремя тысячами на полгода или даже двумя, когда недостанет. Книжные дела мои пошли весьма скверно.

Гоголь – Н. М. Языкову, 21 дек. (по ст. ст.) 1843 г., из Ниццы. Письма, II, 369.

Я по мере сил продолжаю работать, хотя все еще не столько и не с таким успехом, как бы хотелось. А впрочем, бог даст, – и я слышу это, – работа моя потом пойдет непременно быстрее, потому что теперь все еще трудная и скучная сторона. Всякий час и минуту нужно себя приневоливать, и не насильно почти ничего нельзя сделать.

Гоголь – В. А. Жуковскому, 8 янв. (по н. ст.) 1844 г., из Ниццы. Письма, II, 373.

Мне чувствуется, что вы часто бываете неспокойны духом. Есть какая-то повсюдная нервическая душевная тоска. В таких случаях нужна братская взаимная помощь. Я посылаю вам совет. Отдайте один час вашего дня на заботу о себе; проживите этот час внутреннею сосредоточенною жизнью. На такое состояние может навести вас душевная книга. Я посылаю вам «Подражание Христу» (*Фомы Кемпийского*). Читайте всякий день по одной главе, не больше. Если даже глава велика, разделите ее надвое. По прочтении предайтесь размышлению о прочитанном. Старайтесь проникнуть, как это все может быть применено к жизни, среди светского шума и тревог. Изберите для этого душевного занятия час свободный и неутружденный, который бы служил началом вашего дня. Всего лучше немедленно после чаю или кофею, чтобы и самый аппетит не отвлекал вас. Не переменяйте и не отдавайте этого часа ни за что другое. Если вы даже и не увидите скоро от этого пользы, не останавливайтесь и идите. Всего можно добиться и достигнуть, если мы неотлучно будем посылать из груди нашей постоянное к тому стремление. Бог вам в помощь[44].

Гоголь – С. Т. Аксакову, М. П. Погодину и С. П. Шевыреву, в январе 1844 г., из Ниццы. Письма, II, 378.

Теперь я так мало забочусь о том, что будет в отношении денежном, как никогда доселе. В конце прошлого года я получил от государыни тысячу франков. С этой тысячей я прожил до февраля месяца, благодаря, между прочим, и моим добрым знакомым, которых нашел в Ницце, у которых почти всегда обедал и таким образом несколько сберег денег. Более всего меня мучило болезненное состояние, которое пришло весьма некстати и повергло дух мой в бесчувственное и бездейственное состояние, несмотря на все усилия воздвигать его. Теперь гораздо лучше. Болезненное состояние принесло свою пользу.

Гоголь – С. П. Шевыреву, 2 февр. 1844 г., из Ниццы. Письма, II, 381.

Гоголь был очень нервен и боялся грозы. Раз, как-то в Ницце, кажется, он читал мне отрывки из второй и третьей части «Мертвых Душ», а это было не легко упросить его сделать. Он упирался, как хохол, и чем больше просишь, тем сильнее он упирается. Но тут как-то он растаял, сидел у меня и вдруг вынул из-за пазухи толстую тетрадь и, ничего не говоря, откашлялся и начал читать. Я вся обратилась в слух. Дело шло об Уленьке, бывшей уже замужем за Тентетниковым. Удивительно было описано их счастие, взаимное отношение и воздействие одного на другого… Тогда был жаркий день, становилось душно. Гоголь делался беспокоен и вдруг захлопнул тетрадь. Почти одновременно с этим

послышался первый удар грома, и разразилась страшная гроза. Нельзя себе представить, что стало с Гоголем: он трясся всем телом и весь потупился. После грозы он боялся один идти домой. Виельгорский взял его под руку и отвел. Когда после я приставала к нему, чтобы он вновь прочел и дочитал начатое, он отговаривался и замечал: «Сам бог не хотел, чтоб я читал, что еще не окончено и не получило внутреннего моего одобрения… Признайтесь, вы тогда очень испугались?» – «Нет, хохлик, это вы испугались», – сказала я. «Я-то не грозы испугался, а того, что читал вам, чего не надо еще никому читать, и бог в гневе своем погрозил мне».

А. О. Смирнова по записи П. А. Висковатова. Рус. Стар., 1902, сент., 490.

Уведомьте, в каком положении и какой приняли характер ныне толки о «Мертвых Душах», так и о сочинениях моих… Можно много довольно умных замечаний услышать от тех людей, которые совсем не любят моих сочинений. Нельзя ли при удобном случае также узнать, что говорится обо мне в салонах Булгарина, Греча, Сенковского и Полевого? В какой силе и степени их ненависть, или уже превратилась в совершенное равнодушие? Но делайте все так, как бы этим бы, а не я интересовался… Мой обычай – не пренебрегать никакими толками о себе, как умными, так и глупыми, и никогда не сердиться ни на что.

Гоголь – П. В. Анненкову, 10 февр. 1844 г., из Ниццы. Письма, II, 385.

Жуковский отныне переселяется во Франкфурт, куда я еду тоже. В Ницце не пожилось мне так, как предполагал. Но спасибо и за то; все пошло в пользу, и даже то, что казалось мне вовсе бесполезно.

Гоголь – Н. М. Языкову, 15 февр. 1844 г., из Ниццы. Письма, II, 391.

Я задержался в Ницце единственно по причине Александры Осиповны (*Смирновой*), Виельгорских и Соллогубов, с которыми время проходило бы у меня очень весело, если бы не мешали сильно разные мои недуги, которые в этот год я слышу более, чем прежде, и решаюсь с началом лета ехать в Грефференберг. Надоело сильно мое болезненное состояние, препятствующее всякой умственной работе.

Гоголь – А. О. Россету, из Ниццы. Письма, II, 401.

Пароход, на который сел я, чтоб пуститься по Рейну, хлопнулся об арку моста, изломал колесо и заставил меня еще на день остаться в Страсбурге. Вопросивши себя внутренне, зачем это все случилось, на что мне дан этот лишний день и что я должен сделать в оный, я нашел, что должен вам написать маленькое письмо. Письмо это будет состоять из

одного напоминания. Вы дали мне слово, т. е. не только вы, но и обе дочери ваши (*С. М. Соллогуб и А. М. Виельгорская*), которые так же близки душе моей, как и вы сами, – все вы дали слово быть тверды и веселы духом. Исполнили ли вы это обещание? Вы дали мне слово всякую горькую и трудную минуту, помолившись внутри себя, сильно и искренно приняться за чтение тех правил, которые я вам оставил, вникая внимательно в смысл всякого слова, потому что всякое слово многозначительно и многого нельзя понимать вдруг. Исполнили ли вы это обещание? Не пренебрегайте никак этими правилами: они все истекли из душевного опыта, подтверждены святыми примерами, и потому примите их, как повеление самого бога… Если кто-нибудь чего-нибудь у нас требует или просит во имя бога, и если его просьба не противоречит ни в чем богу, и если он умоляет всею душою исполнить его просьбу, тогда слова его нужно принять за слова самого бога. Сам бог его устами изъявляет свою волю.

Гоголь – гр. Л. К. Виельгорской, 26 марта 1844 г., из Страсбурга. Письма, II, 409.

Пишу тебе из Дармштадта, куда засел говеть, где находится и Жуковский.

Гоголь – Н. М. Языкову, 2 апр. 1844 г. Письма, II, 413.

Вот вам известие о некоем деле, которое для вас, конечно, не будет неприятно. Я был должен великому князю наследнику 4000 рублей. При отъезде его из Дармштадта я сделал ему предложение: Не благоугодно ли будет вашему высочеству, чтобы я заплатил эти деньги не вам, а известному вам русскому весьма затейливому писателю, господину Гоголю; так, чтоб я ему сии деньги платил в год по 1000 рублей, начав с будущего января (понеже вдруг сего сделать не могу, вследствие чахоточного состояния мошны моей), – и его высочество на сей вопрос мой изрек и словесное, и письменное: быть по сему. Таким образом и состою вам должен 4000 рублей[45].

В. А. Жуковский – Гоголю, 25 мая 1844 г., из Франкфурта. Соч. Жуковского, изд. 7-е, т. VI, стр. 610.

За письмо ваше очень, очень благодарю, но вы не сдержали условия. Помните? Я вас просил, чтобы наследнику не заикаться на счет меня в денежном отношении. Но так как вы уже это сделали, то, в наказание, должны сими деньгами выплатить мой долг, т. е. четыре тысячи, которые я, года четыре тому назад, занял у вас в Петербурге. Я знаю, что это вам будет немножко досадно, но нечего делать, нужно покориться обстоятельствам[46].

Гоголь – Жуковскому, 29 мая 1844 г., из Бадена. Письма, II, 446.

Через четыре дня Смирнова едет прямо во Франкфурт; оставит детей с Жуковскнм, а с Гоголем обрыскает Бельгию и Голландию.

А. И. Тургенев – кн. П. А. Вяземскому, в конце июня 1844 г., из Эмса. Остаф. арх., IV, 288.

В июне месяце во Франкфурте; наш «Hotel de Russie», на ул. Цейль, там я и остановилась. А Жуковские жили в Саксен-Гайзене. Мы провели две недели втроем очень приятно, виделись каждый день. Гоголь был как-то беззаботно весел во все это время и не жаловался на здоровье. Мне кажется, что он тогда был не в ладах с madame Жуковскою. Она сама говорила, что он ей в тягость, что он наводит хандру на Жуковского.

А. О. Смирнова по записи А. Н. Пыпина. Смирнова. Записки, 325.

Я разбирала свои вещи и нашла, что мой портфель, образцовое произведение английского магазина, был слишком велик, и, купив себе новый, маленький, на Цейле, предложила Гоголю получить мой в наследство. «Вы пишете, а в нем помещается две дести бумаги, чернильница, перья, маленький туалетный прибор и место для ваших капиталов». – «Ну, все-таки посмотрим этот пресловутый портфель». Рассмотрев с большим вниманием, он мне сказал: «Да это просто подлец, куда мне с ним возиться». Я сказала: «Ну, так я кельнеру его подарю; а он его продаст в магазин, а там впихнут русскому втридорога». – «Ну, нет! Кельнеру грешно дарить товар английского искусства, а вы лучше подарите его в верные руки и дайте Жуковскому: он охотник на всякую дрянь». Я так и сделала, и Жуковский унес его с благодарностью. Гоголь говорил мне: «У меня чемодан набит, а я даже намереваюсь вам сделать подарок». Тут пошли догадки. Я спросила: «Не лампа ли?» – «Вот еще что! Стану я таскать с собой лампу. Нет, мой сюрприз будет почище». И принес мне единственную акварель Иванова. Сцена из римской жизни. Купец показывает невесте и ее матери запястье и коралловые украшения. Плотный купец в долгополом гороховом сюртуке, сзади даже отгадывается выражение его лица. Невеста опустила руки и смотрит смиренно; транстивериянин длинного роста, он выглядит глуповато, он в ботфортах, с накинутым плащом. Писано широкой кистью.

А. О. Смирнова. Автобиография, 291.

Вам угодно, чтобы я сказала мое опасение за вас. Извольте; помолясь, приступаю. Знайте, мой друг, – слухи, может, и несправедливы, но

приезжавшие все одно говорят и оттуда пишут то же, – что вы предались одной особе, которая всю жизнь провела в свете и теперь от него удалилась. Быв уже так долго вместе с человеком, послужит ли эта беседа на пользу душе вашей? Мне страшно, – и в таком обществе как бы не отвлеклись, от пути, который вы, по благости божией, избрали. Вот вам, как исповедь, мой друг, что меня за вас так сильно и так давно огорчает. Может, вы печетесь о ее обращении; помоги господи и дай боже и ей, и нам, и всем спастись.

Н. Н. Шереметева – Гоголю, из Москвы. Шенрок VI, 198.

Ты спрашиваешь, зачем я в Ницце, и выводишь догадки насчет сердечных моих слабостей. Это, верно, сказано тобою в шутку, потому что ты знаешь меня довольно с этой стороны. А если бы даже и не знал, то, сложивши все данные, ты вывел бы сам итог. Да и трудно, впрочем, тому, который нашел уже то, что получше, погнаться за тем, что похуже. Переезды мои большею частью зависят от состояния здоровья, иногда для освежения души после какой-нибудь трудной внутренней работы (климатические красоты не участвуют: мне решительно все равно, что ни есть вокруг меня), чаще для того, чтоб увидеться с людьми, нужными душе моей, ибо с недавнего времени узнал я одну большую истину, именно, – что знакомства и сближения наши с людьми вовсе не даны для веселого препровождения, но для того, чтобы мы позаимствовались от них чем-нибудь в наше собственное воспитание; а мне нужно еще слишком много воспитаться. Посему о самых трудах моих и сочинениях могу тебе сказать только то, что строение их соединено тесно с моим собственным строением. Мне нужно слишком поумнеть для того, чтобы из меня вышло, точно, что-нибудь умное и дельное.

Гоголь – А. С. Данилевскому, из Франкфурта. Письма, II, 419.

Когда Жуковский жил во Франкфурте-на-Майне, Гоголь прогостил у него довольно долго. Однажды, – это было в присутствии графа А. К. Толстого (поэта), – Гоголь пришел в кабинет Жуковского и, разговаривая со своим другом, обратил внимание на карманные часы с золотой цепочкой, висевшие на стене. «Чьи это часы?» – спросил он. «Мои», – отвечал Жуковский. «Ах, часы Жуковского! Никогда с ними не расстанусь». С этими словами Гоголь надел цепочку на шею, положил часы в карман, и Жуковский, восхищаясь его проказливостью, должен был отказаться от своей собственности.

П. А. Кулиш со слов гр. А. К. Толстого. Записки о жизни Гоголя, I, 231.

Писать не могу по причине совершенного запрещения по поводу приливов крови к голове. За дурным временем я должен был остаться во Франкфурте. Морских купаний нельзя было еще начинать, – тем более,

что я как-то сделался склоннее к простуде, чем когда прежде. Ты спрашиваешь, пишутся ли «Мертвые души». И пишутся, и не пишутся. Пишутся слишком медленно и не так, как бы хотел, и препятствия этому часто происходят и от болезни, а еще чаще от меня самого. На каждом шагу и на каждой строчке ощущается такая потребность поумнеть, и притом так самый предмет и дело связаны с моим собственным внутренним воспитанием, что никак не в силах я писать мимо меня самого, а должен ожидать себя. Я иду вперед, – идет и сочинение; я остановился, нейдет и сочинение. Поэтому мне и необходимы бывают часто перемены всех обстоятельств, переезды, обращающие к другим занятиям, не похожим на вседневные, и чтенье таких книг, над которыми воспитывается человек.

Гоголь – Н. М. Языкову, 14 июля 1844 г., из Франкфурта. Письма, II, 464.

Я был слишком болен летом и так дурен, как давно себя не помню. Нервы до такой степени были расстроены, что не в силах был не только что-нибудь делать, но даже ничего не делать, то есть пребывать в блаженной на ту пору бесчувственности.

Гоголь – Н. М. Языкову. Письма, II, 508.

Таких несносных и таких тягостных припадков я давно не испытывал. Больной еду я теперь, по приказанию доктора, поспешно в Остенде, иначе мне грозит он гораздо худшим состоянием.

Гоголь – графине С. М. Соллогуб, 24 июля 1844 г., из Франкфурта. Соч. Гоголя, изд. Брокгауза – Ефрона, IX, 248.

Однажды, остановясь во Франкфурте-на-Майне, в гостинице «Der weisse Schwan», Гоголь вздумал ехать куда-то далее и, чтобы не встретить остановки по случаю отправки вещей, велел накануне отъезда гаускнехту (то, что у нас в трактирах – половой) уложить все вещи в чемодан, когда еще не будет спать, и отправить туда-то. Утром, на другой день после этого распоряжения, посетил Гоголя граф А. К. Толстой, и Гоголь принял своего гостя в самом странном наряде – в простыне и одеяле. Гаускнехт исполнил приказание поэта с таким усердием, что не оставил ему даже во что одеться. Но Гоголь, кажется, был доволен своим положением и целый день принимал гостей в своей пестрой мантии, до тех пор, пока знакомые собрали для него полный костюм и дали ему возможность уехать из Франкфурта.

П. А. Кулиш со слов гр. А. К. Толстого. Записки о жизни Гоголя, I, 233.

До Остенде я добрался благополучно. На другой день после дороги почувствовал себя даже хорошо, потом опять похуже. Сегодня, однако же, взял первую баню. Как пойдет дело, бог весть. Покамест трудность страшная бороться с холодом воды. Больше одной минуты я не мог высидеть, и ноги сделались холодны на весь день, так что с трудом мог их согреть, хотя ходил много. В Остенде никого, и, покамест, довольно скучно.

Гоголь – В. А. Жуковскому, 30 июля 1844 г., из Остенде. Письма, II, 465.

Я уже начал купаться и понемногу как будто бы стал поправляться.

Гоголь – В. А. Жуковскому, 8 авг. 1844 г., из Остенде. Письма, II, 466.

Я, кажется, начинаю чувствовать пользу от купанья; впрочем, настоящее действие оного, говорят, ощущается потом. Еще две недели мне остается продолжать купанье, а после этого времени я уже надеюсь засесть с вами во Франкфурте солидным образом за работу.

Гоголь – В. А. Жуковскому, 1 сент. 1844 г., из Остенде. Письма, II, 472.

Гоголь любил уединенные прогулки, и его видали каждый день, в известные часы, в черном пальто и в серой шляпе, бродящим взад и вперед по морской плотине, с наружным выражением глубокой грусти. Но только для людей, знавших его издали, он казался в Остенде несчастным ипохондриком, вечно одиноким и задумчивым. Один из его друзей 6 ноября 1844 г. писал ему из Парижа: «В Остенде вы нас и всех оживляли своею бодростью».

П. А. Кулиш, II, 17.

…добрый, необходимый, но немного грустный посетитель в Остенде.

Графиня С. М. Соллогуб – Гоголю. Вестн. Евр., 1889, № 11, 117.

Море северное производило на меня то, чего я никогда не чувствовал, купаясь в южном. Кожа после него горит, и чуть выйдешь из воды, как сделается уже жарко, как в бане. В воде сидеть не более пяти минут, чем меньше, тем лучше. Чем хуже погода, чем холоднее, чем сильнее ветры и буря, тем лучше, и выходишь из воды черту не брат. Я даже, который боялся прикосновения холодной воды и вооружен фуфайкою непосредственно на самом теле, отважился весьма храбро, и только жалею о том, что удалось мне мало купаться и не выполнить весь назначенный курс.

Гоголь – Н. М. Языкову. Письма, II, 508.

Наверху у меня гнездится Гоголь; он обрабатывает свои «Мертвые души».

В. А. Жуковский – А. И. Тургеневу, в окт. 1844 г., из Франкфурта. Соч. Жуковского, изд. 7-е, VI, 420.

Нынешнюю зиму остаюсь во Франкфурте и живу по-прежнему в доме Жуковского.

Гоголь – А. О. Смирновой, 24 окт. 1844 г., из Франкфурта. Письма, II, 494.

Наконец захотелось тебе послушать правды. Изволь, попотчую... Что такое ты? Как человек, существо скрытное, эгоистическое, надменное, недоверчивое и всем жертвующее для славы. Как друг, что ты такое? И могут ли быть у тебя друзья? Если бы они были, давно высказали бы тебе то, что ты читаешь теперь от меня... Твои друзья двоякие: одни искренно любят тебя за талант и ничего еще не читывали во глубине души твоей. Таков Жуковский, таковы Балабины, Смирнова и таков был Пушкин. Другие твои друзья московская братия. Это раскольники, обрадовавшиеся, что удалось им гениального человека, напоив его допьяна в великой своей харчевне настоем лести, приобщить к своему скиту. Они не только раскольники, ненавидящие истину и просвещение, но и промышленники, погрязшие в постройке домов, в покупках деревень и в разведении садов. Им-то веруешь ты, судя обо всем по фразам, а не по жизни и не по действиям. На них-то сменил ты меня, когда вместо безмолвного участия и чистой любви раздались около тебя высокопарные восклицания и приторные публикации. Ко мне заезжал ты, как на станцию, а к ним, как в свой дом. – Но посмотрим, что ты как литератор. Человек, одаренный гениальной способностью к творчеству, инстинктивно угадывающий тайны языка, тайны самого искусства, первый нашего века комик по взгляду на человека и природу, по таланту вызывать из них лучшие комические образы и положения, но писатель монотонный, презревший необходимые усилия, чтобы покорить себе сознательно все сокровища языка и все сокровища искусства, неправильный до безвкусия и напыщенный до смешного, когда своевольство перенесет тебя из комизма в серьезное. Ты только гений-самоучка, поражающий творчеством своим и заставляющий жалеть о своей безграмотности и невежестве в области искусства.

П. А. Плетнев – Гоголю, 27 окт. 1844 г., из Петербурга. Рус. Вестн., 1890, № 11, стр. 34.

Молитесь за Россию, за всех тех, которым нужны ваши молитвы, и за меня, грешную, вас много, много и с живою благодарностью любящую. Вы мне сделали жизнь легкую; она у меня лежала тирольской фурой на плечах. А признаться ли вам в своих грехах? Я совсем не молюсь, кроме воскресения. Вы скажите мне, очень ли это дурно, потому что я, впрочем, непрестанно, иногда свободно, иногда усиленно, – себя привожу к богу. Я с ленцой; поутру проснусь поздно, и тотчас начинается житейская суета хозяйственная... Вы знаете сердца хорошо; загляните поглубже в мое и скажите, не гнездится ли где-нибудь какая-нибудь подлость под личиною доброго дела и чувства? Я вам известна во всей своей черноте, и можете ли вы придумать, что точно так скоро сделалась благодатная перемена во мне, или я только себя обманываю, или приятель так меня ослепил, что я не вижу ничего и радуюсь сердцем призраку? Эта мысль иногда меня пугает в лучшие минуты жизни... Вы одни доискиваться умеете до души без слов... Я еще все-таки на самой низкой ступеньке стою, и вам еще не скоро меня оставлять. Напротив, вы более, чем когда-либо, мне нужны.

А. О. Смирнова – Гоголю, 26 ноября 1844 г., из Петербурга. Рус. Стар., 1888, окт., 137.

Мне скучно и грустно. Скучно оттого, что нет ни одной души, с которой бы я могла вслух думать и чувствовать, как с вами; скучно потому, что я привыкла иметь при себе Николая Васильевича, а что здесь нет такого человека, да вряд ли и в жизни найдешь другого Николая Васильевича... Душа у меня обливается каким-то равнодушием и холодом, тогда как до сих пор она была облита какою-то теплотою от вас и вашей дружбы. Пожалуйста, пишите мне. Мне нужны ваши письма.

А. О. Смирнова – Гоголю, 12 дек. 1844 г., из Петербурга. Рус. Стар., 1888, окт., 140.

Поговорим еще раз, и уже в последний, о моих делах прозаических, по поводу собрания моих сочинений, путаниц от этого и прочее... Виноват во всем я; я произвел всю эту путаницу и ералаш; я смутил и взбаламутил всех, произвел на всех до едина чувство неудовольствия и, что всего хуже, поставил в неприятные положения людей, которые без того не имели бы, может быть, никогда друг против друга никаких неудовольствий. Виноватый должен быть наказан, и лучше наказать самому себя, чем ожидать наказания божьего. Я наказываю себя лишеньем денег, следуемых мне за выручку собрания моих сочинений. Лишенье это, впрочем, мне не стоит никакого пожертвования, потому что я не был бы спокоен, если бы употребил эти деньги в свою пользу. Всякий рубль и копейка этих денег куплены неудовольствием,

огорчениями и оскорблением многих; они бы тяготели на душе моей; а потому должны быть употреблены все на святое дело. Все деньги, вырученные за них, отныне принадлежат бедным, но достойным студентам; достаться они должны им не даром, но за труд. Что признаешь полезным ныне для всех перевесть на русский язык, заставь перевести; найдешь нужным задать собственное сочинение, задай… Дело это должно остаться только между тобою и С. Т. Аксаковым, и я требую в этом клятвенного и честного слова от вас обоих. Никогда получивший деньги не должен узнать, от кого он их получил, ни при жизни моей, ни по смерти моей. Это должно остаться тайной навсегда. Желанье мое непреложно. Только таким образом, а не другим должно быть решено это дело. Как бы ни показалось вам многое здесь странным, вы должны помнить только, что воля друга должна быть священна, и на это мое требование, которое с тем вместе есть и моленье, и желанье, вы должны ответить только одним словом да. То же самое сделано и в Петербурге. Там почти все экземпляры распроданы, и деньги собраны; но я из них не беру ничего, и они все обращаются на такое же дело, с такими же условиями, и вверяются также двум: Плетневу и Прокоповичу. Но ни вы им, ни они вам никогда не должны об этом напоминать. А вас молю именем дружбы, именем бога истребить в себе всякое неудовольствие, какое только у вас осталось к кому бы то ни было по поводу этого дела. Мне вы должны простить также все, чем оскорбил.

Вы обо мне не заботьтесь. В течение почти двух лет я не буду иметь никакой надобности в деньгах. Во-первых, мы устроились кое-как с Жуковским, а во-вторых, мне теперь гораздо нужно меньше, чем когда-либо прежде. Посему, если ты не посылал еще мне тех денег, о которых извещал в письме, то и не посылай, а отложи их к деньгам на дело святое. Ни Аксакову, ни Языкову не плати. Они мне подождут: так нужно.

Гоголь – С. П. Шевыреву, 14 дек. 1844 г., из Франкфурта. Письма, II, 536–539.

(*Подобное же письмо от Гоголя получил в Петербурге Плетнев.*) Вчера утром пришел ко мне Плетнев с вашим письмом. Не пеняйте на него за то, что он потребовал нужду показать мне ваше письмо. Плетневу нужно было со мною переговорить, чтоб решить недоумение на многие слова ваши. Потому не сердитесь на него, а, напротив, сознайтесь, что он поступил благоразумно… У вас на руках старая мать и сестры. Хотя вы думали, что обеспечили их состояние, но что ж делать, если, по неблагоразумию или каким-либо непредвиденным обстоятельствам, они опять у вас лежат на плечах. Дело ваше, прежде всего, при получении отчета Прокоповича, сперва и не помышляя ни о какой помощи бедным студентам, выручить ее из стесненных

обстоятельств. И потому мы решили с Плетневым, что так и поступим, если точно есть какие-нибудь деньги у Прокоповича. А до московских нам никакого дела нет; так пусть делают, как хотят… Знаете ли, что св. Франциск Саль говорит: «Мы часто тешимся тем, чтобы быть хорошими ангелами, и забываем, что раньше нужно стать хорошими людьми»[47].

А. О. Смирнова – Гоголю, 18 дек. 1844 г., из Петербурга. Рус. Стар., окт., 141.

Граф (*А. П.*) Толстой сказал мне, что он приглашает вас в Париж, и показал мне назначенную для вас квартиру. Прекрасная комната на улице, в Rue de la Paix, на солнце, с печкой и особенным выходом в коридор, одним словом, весьма удобная для автора и даже для отшельника.

Графиня Л. К… Виельгорская – Гоголю, 23 дек. 1844 г., из Парижа. Шенрок, IV, 928.

Скажу вам одно слово насчет того, какая у меня душа, хохлацкая или русская. Я сам не знаю, какая у меня душа. Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому перед малороссиянином. Обе природы слишком щедро одарены богом, и, как нарочно, каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой: явный знак, что они должны пополнить одна другую.

Так как вы уже несколько раз напоминаете мне о деньгах, то я решаюсь наконец попросить у вас. Если вам так приятно обязать меня и помочь мне, то я прибегну к займу их у вас. Мне нужно будет от трех до шести тысяч в будущем году. Если можете, то пришлите на три вексель во Франкфурт. А другие три тысячи в конце 1845 года. А может быть, я обойдусь тогда и без них, если как-нибудь изворочусь иначе. Но знайте, что раньше двух лет вряд ли я вам отдам их назад. Об этом не сказывайте никому, особенно Плетневу.

Вы спрашиваете, каково мне во Франкфурте. Я и не замечаю, что я живу во Франкфурте: живу я там, где живут близкие мне люди, а наиболее живу в работе, отчасти в письмах, отчасти во внутренней собственной работе… С Жуковским мы ладим хорошо и никак не мешаем друг другу; каждый занят своим. С Елис. Евграфовной (*жена Жуковского*) тоже ладим хорошо, и, что лучше всего, ни ей нет во мне большой потребности, ни мне в ней. А это мне теперь слишком хорошо, потому что моя семья становится, чем дальше, больше, и я не успеваю отвечать даже на самые нужные письма.

Гоголь – А. О. Смирновой, 24 дек. 1844 г., из Франкфурта. Письма, II, 577–579.

Извини, что доселе не уплачиваю тебе занятого долга. Сему виною не какое-либо небрежение, неаккуратность и неисправность, а единственно неимущество: я же знаю, что ты милостив к должникам своим и потерпишь им.

Гоголь – Н. М. Языкову, 26 дек. 1844 г., из Франкфурта. Письма, II, 585.

Плетнев поступил нехорошо, потому что рассказал то, в чем требовалось тайны во имя дружбы; вы поступили нехорошо, потому что согласились выслушать то, чего вам не следовало. Вы взяли даже на себя отвагу перерешить все дело и приступаете по этому поводу к нужным распоряжениям, позабывши, между прочим, то, что это дело было послано не на усмотрение, не на совещание, не на скрепление и подписание, но, как решенное, послано было на исполнение, и во имя всего святого, во имя дружбы молилось его исполнить… Оставим эти деньги на то, на что они определены. Эти деньги выстраданные и святые, и грешно их употреблять на что-либо другое. И если бы добрая мать моя узнала, с какими душевными страданиями для ее сына соединилось все это дело, то не коснулась бы ее рука ни одной копейки из этих денег, напротив, продала бы из своего собственного состояния и приложила бы от себя еще к ним. А потому и вы не касайтесь к ним с намерением употребить их на какое-нибудь другое употребление, как бы благоразумно оно вам ни показалось. Да и что толковать об этом долго: обет, который дается богу, соединяется всегда с пожертвованием и всегда в ущерб или себе, или родным, но ни сам дающий его, ни родные не восстают против такого дела. А потому я не думаю, чтобы вы или Плетнев вооружили бы себя уполномочием разрешить меня от моего обета и взять на свою душу всю ответственность. Но довольно. Еще раз молю, прошу и требую именем дружбы исполнить мою просьбу. Нечестно разглашенная тайна должна быть восстановлена. Плетнев пусть вынет из своего кармана две тысячи и пошлет моей матери, мы с ним после сочтемся. Все объяснения по этому делу со мною должны быть кончены. Вы также должны отступиться от этого дела; мне неприятно, что вы в него вмешались. Все должно кончиться между Плетневым и Прокоповичем.

Гоголь – А. О. Смирновой, 28 дек. 1844 г., из Франкфурта. Соч. Гоголя, изд. Брокгауза – Ефрона, IX, 257.

У меня никогда не было денег в то время, когда я об них думал. Деньги, как тень или красавица, бегут за нами только тогда, когда мы бежим от них. Кто слишком занят трудом своим, того не может смутить мысль о деньгах, хотя бы даже и на завтрашний день их у него недоставало. Он займет без церемоний у первого попавшегося приятеля.

Гоголь – А. А. Иванову, в январе 1845 г., из Франкфурта. Письма, III, 8.

Здоровье мое стало плоховато; и Копп и Жуковский шлют меня из Франкфурта, говоря, что это мне единственное средство. Нервическое тревожное беспокойство и разные признаки совершенного расклеения во всем теле пугают меня самого. Еду, а куда и сам не знаю. Охоты к путешествию нет никакой. Беру дорогу в Париж. Самого Парижа я не люблю, но меня веселит в нем встреча с близкими душе моей людьми, которые в нем теперь пребывают, а именно: с графинями Виельгорскими и гр. А. П. Толстым.

Гоголь – Н. М. Языкову, 15 янв. 1845 г., из Франкфурта. Письма, III, 18.

Гоголя нет с нами. Он отправился в Париж, приглашенный туда Толстыми и Виельгорскими. Я сам его послал туда, ибо у него начинали колобродить нервы, и сам Копп (*немецкий профессор*) прописал ему Париж как спасительное средство... Вам бы надобно о нем позаботиться у царя и царицы. Ему необходимо надобно иметь что-нибудь верное в год. Сочинения ему мало дают, и он в беспрестанной зависимости от завтрашнего дня. Подумайте об этом; вы лучше других можете характеризовать Гоголя с его настоящей, лучшей стороны.

В. А. Жуковский – А. О. Смирновой, 4/16 янв. 1845 г. Рус. Арх., 1871, 1858.

Я во Франкфурте совсем не соскучился, но выехал единственно потому, чтоб переносить болезненное и лихорадочное состояние, которого продолжительности я опасался. А наслаждений у меня много было там, внутренних и тихих, которые были достаточны разлить спокойствие на весь день.

Гоголь – В. А. Жуковскому, 22 янв. 1845 г., из Парижа. Письма, III, 19.

2 февр. 1845 года. – Известие от Шевырева, что я избран в почетные (*члены Московского университета*). Принц Ольденбургский, герцог Лейхтенбергский, Остроградский, Штруве, Востоков и Гоголь. Назначение последнего вопреки мнению аристократов и, может быть, правительства.

М. П. Погодин. Дневник. Барсуков, VIII, 87.

Дорога мне сделала добро; но в Париже я как-то вновь расклеился... Время идет бестолково и никак не устраивается, и я рад бы в здешнее длинное утро сделать хотя вполовину против того, что делывал в

короткое утро во Франкфурте, хотя занятия были не те, какие замышлял.

Гоголь – В. А. Жуковскому, 22 янв. 1845 г., из Парижа. Письма, III, 19.

Париж или лучше – воздух Парижа, или лучше – испарения воздуха парижских обитателей, пребывающие здесь на место воздуха, помогли мне немного и даже вновь расстроили приобретенное переездом и дорогою, которая одна бывает для меня действительнее всяких пользований. С Виельгорскими я видался мало и на несколько минут. Они погрузились в парижский свет, который исследывают любопытно, чему я, впрочем, очень рад. Рассеяние им необходимо нужно… Я провел эти три недели совершенным монастырем, в редкий день не бывал в нашей церкви и был сподоблен богом, и среди глупейших минут душевного состояния, вкусить небесные и сладкие минуты. Здоровье мое слабеет, и не хватает сил для занятий.

Гоголь – А. О. Смирновой, 24 февр. (?) (по нов. ст.) 1845 г., из Парижа. Письма, III, 23.

Какое же Гоголю нужно споможение, когда он беспрестанно назначает пожертвования в пользу студентов и т. п.?

Я. К… Грот – П. А. Плетневу, 28 февр. 1845 г., из Гельсингфорса. Переписка Грота с Плетневым, II, 412.

Гоголя пожертвование есть фантазия. Оказалось, что денег в сборе никаких нет.

П. А. Плетнев – Я. К. Гроту, 7 марта 1845 г., из Петербурга. Там же, 415.

Приехал я (*во Франкфурт*) благополучно. Несмотря на хворость мою и на дорогу, не очень завидную, и на три ночи с четырьмя днями, проведенными в дилижансе, я не изнурился, и временами было так на душе легко, как будто бы ангелы пели, меня сопровождая… Хотя можно сказать, что до Франкфурта добрался один только нос мой да несколько костей, связанных на живую нитку жиденькими мускулами, но дух бодр.

Гоголь – графиням Л. К. и А. М. Виельгорским, 5 марта 1845 г., из Франкфурта. Письма, III, 29.

Дорогой из Парижа во Франкфурт я опять чуствовал себя хорошо, а приехавши во Франкфурт – дурно… Мое здоровье так плохо, как я давно не помню.

Гоголь – Н. Н. Шереметевой, из Франкфурта. Письма, III, 28.

Гоголь жил у Жуковского во Франкфурте, был болен и тяготился расходами, которые ему причинял. Жуковскому он был нужен, потому что отлично знал греческий язык (?), помогал ему в «Илиаде» (*«Одиссее»*). Жуковский просил меня сказать вел. княгине Марии Николаевне, чтоб она передала его просьбу государю. Она родила преждевременно, позабыла мою просьбу и сказала: «Скажите сами государю». На вечере я сказала государыне, что собираюсь просить государя, она мне отвечала: «Он приходит сюда, чтоб отдохнуть. Вы знаете, он не любит, когда с ним говорят о делах. Если он будет в добром настроении, я вам сделаю знак, и вы сможете передать свою просьбу». Он пришел в хорошем расположении и сказал: «Газета «des Debats» печатает глупости. Следовательно, я поступаю правильно». Я ему сообщила поручение Жуковского, он отвечал: «Вы знаете, что пенсии назначаются капитальным трудам, а я не знаю, удостаивается ли повесть «Тарантас». Я заметила, что «Тарантас» – сочинение Соллогуба, а «Мертвые души» – большой роман. «Ну, так я его прочту, потому что позабыл «Ревизора» и «Разъезд»».

А. О. Смирнова. Автобиография, 296.

Я напомнила государю о Гоголе, он был благосклонен. «У него есть много таланту драматического, но я не прощаю ему выражения и обороты слишком грубые и низкие». – «Читали вы «Мертвые души»?» – спросила я. «Да разве они его? Я думал, что это Соллогуба». Я советовала их прочесть и заметить те страницы, где выражается глубокое чувство народности и патриотизма.

А. О. Смирнова. Дневник, 11 марта 1845 г. А. О. Смирнова. Записки, стр. 283.

В воскресенье на обычном вечере Орлов (*шеф жандармов*) напустился на меня и грубым, громким голосом сказал мне: «Как вы смели беспокоить государя, и с каких пор вы – русский меценат?» Я отвечала: «С тех пор, как императрица мне мигнет, чтобы я адресовалась к императору, и с тех пор, как я читала произведения Гоголя, которых вы не знаете, потому что вы грубый неуч и книг не читаете, кроме гнусных сплетен ваших голубых штанов». За словом я не лазила в карман. Государь обхватил меня рукой и сказал Орлову: «Я один виноват, потому что не сказал тебе, Алеша, что Гоголю следует пенсия». За ужином Орлов заговаривал со мной, но тщетно. Мы оставались с ним навсегда в разладе. Я посылала за Плетневым, мы сочинили письмо к

Уварову и запросили шесть тысяч рублей ассигн. Плетнев говорил, что всегда дают половину, у нас уже такой обычай.

А. О. Смирнова. Автобиография, 296.

Смирнова поймала на балу Орлова и объявила ему волю государя. «Что это за Гоголь?» – спросил Орлов. «Стыдитесь, граф, что вы русский и не знаете, кто такой Гоголь». – «Что за охота вам хлопотать об этих голых поэтах!» – возразил Орлов.

Н. И. Лорер со слов А. О. Смирновой. Н. И. Лорер. Записки. Каторга и ссылка, кн. 4 (65). 1930. Отд. I, стр. 40.

По всеподданнейшему докладу моему о представленной ее высочеству великой княгине Марии Николаевне супругою церемониймейстера Смирнова записке относительно литератора Гоголя, вашему импер. величеству благоугодно было повелеть мне определить меру пособия, которое он заслуживает. При болезненном положении своем, Гоголь должен, по приговору врачей, пользоваться умеренным заграничным климатом и тамошними минеральными водами. Удостоение его на первый случай временного вспомоществования на три года по тысяче рублей серебром на каждый, из сумм государственного казначейства, будет, по моему мнению, истинным благодеянием милости царской.

Сергей Уваров, 24 марта 1845 г.

Его имп. величеством собственною рукою написано карандашом: «согласен»; 15 марта 1845 г. Уваров.

Литературный музеум, 74.

Во Франкфурте нахожусь уже почти две недели и чувствую себя совсем нехорошо… Изнурился как бы и телом, и духом. Занятия не идут никакие. Боюсь хандры, которая может усилить еще болезненное состояние.

Гоголь – Н. М. Языкову, 15 марта 1845 г., из Франкфурта. Письма, III, 29.

Здоровье мое все хуже и хуже. Появляются такие признаки, которые говорят, что пора, наконец, знать честь и, поблагодарив бога за все, уступить, может быть, свое место живущим… Болезненные мои минуты бывают теперь труднее, чем прежде, и трудно-трудно бывает противостать против тоски и уныния.

Гоголь – гр. А. П. Толстому, 29 марта (нов. ст.) 1845 г., из Франкфурта. Письма, III, 33.

В семействе Жуковского мне пришлось познакомиться с Гоголем. Раз я получил от него из Франкфурта записку такого содержания: «Приезжайте ко мне причастить меня, я умираю». Приехав на этот зов в Саксенгаузен (заречная сторона Франкфурта, где жил Жуковский), я нахожу мнимо умирающего на ногах, и на мой вопрос, почему он считает себя таким опасным, он протянул мне руки со словами: «Посмотрите! Совсем холодные!» Однако мне удалось убедить его, что он совсем не в таком болезненном состоянии, чтобы причащаться на дому, и уговорил его приехать поговеть в Висбаден.

Протоиерей И. И. Базаров. Воспоминания. Рус. Стар., 1901, февр., 294.

Вы меня видели во всем моем малодушии, во всех невыгоднейших сторонах моего характера, со всем множеством моих слабостей и непривлекательных свойств и, наконец, в хандре, в которой бывает несносен даже и в несколько раз меня лучший человек.

Гоголь – В. А. Жуковскому. Письма, III, 99.

Здоровье мое, кажется, лучше, хотя я и не смею еще предаваться надежде совершенно поправиться. Не скрою, что признаки болезни моей меня сильно устрашили: сверх исхудания необыкновенного – боли во всем теле. Тело мое дошло до страшных охладеваний; ни днем, ни ночью я ничем не мог согреться. Лицо мое все пожелтело, а руки распухли и почернели и были ничем не согреваемый лед, так что прикосновение их ко мне меня пугало самого. Я, однако ж, крепился духом и даже скрыл все состояние болезни от Жуковского, заметивши, что он начал обо мне беспокоиться и за меня побаиваться. Теперь с оттепелью как будто бы оттаял и я.

Гоголь – гр. А. П. Толстому, 28 марта (по стар. ст.) 1845 г., из Франкфурта. Письма, III, 35.

Бог отъял на долгое время от меня способность творить. Я мучил себя, насиловал писать, страдал тяжким страданием, видя бессилие свое, и несколько раз уже причинял себе болезнь таким принуждением, и ничего не мог сделать, и все выходило принужденно и дурно. И много, много раз тоска и дамке чуть-чуть не отчаяние овладевали мною от этой причины… От болезни ли обдержит меня такое состояние, или же болезнь рождается именно оттого, что я наделал насилие самому себе возвести дух на потребное для творения состояние, это, конечно, лучше

известно богу; во всяком случае, я думал о лечении своем только в этом значении, чтоб не недуги уменьшились, а возвратились бы душе животворные минуты творить и обратить в слово творимое.

Я слишком знаю и чувствую, что до тех пор, пока не съезжу в Иерусалим, не буду в силах ничего сказать утешительного при свидании с кем бы то ни было в России. А потому молитесь, чтоб бог укрепил и послал мне возможность изготовить, что должен я изготовить до моего отъезда. Это будет небольшое произведение и не шумное по названию, в отношении к нынешнему свету, но нужное для многих, и которое доставит мне в избытке деньги, потребные для пути (*Гоголь имеет в виду задуманные им «Выбранные места из переписки с друзьями»*).

Гоголь – А. О. Смирновой, 2 апр. 1845 г., из Франкфурта. Письма, III, 37–39.

Здоровье Гоголя требует решительных мер; ему надобно им заняться исключительно, бросив на время перо, и ни о чем другом не хлопотать, как о восстановлении своей машины. Живучи у меня, во всю почти зиму он ничего не написал, и неудачные попытки писать только раздражали его нервы.

В. А. Жуковский – А. О. Смирновой, в апреле 1845 г. Рус. Арх., 1871, стр. 1859.

Я Гоголя послал в Париж, полагая, что рассеяние ему сделает добро; но добро сделало ему только самое путешествие, т. е. переезд из Франкфурта в Париж, а жизнь парижская никакой не принесла пользы: он возвратился в том же расстройстве… Гоголь теперь на три года обеспечен: от царя милостивого 1000 руб., да от великого князя 1000 франков, также в продолжение трех лет. Этого будет достаточно, и он может серьезно предаться лечению и с божьей помощью получить излечение.

В. А. Жуковский – А. О. Смирновой, в апреле 1845 г. Рус. Арх., 1871, стр. 1859.

Гоголь приехал говеть в Висбаден. При этом случае, бывши у меня в кабинете и рассматривая мою библиотеку, он заметил и свои сочинения. «Как? – воскликнул он чуть не с испугом, – и эти несчастные попали в вашу библиотеку!..» Случилось мне потом и еще встречать его у Жуковского, но он был мрачен, почти ничего не говорил и больше ходил по комнате, слушая наши разговоры.

И. И. Базаров. Воспоминания. Рус. Стар., 1901, февр., 294.

Русскую пасху я встретил в русской церкви в Висбадене, где познакомился с двумя русскими знаменитостями – Жуковским и Гоголем. Оба приехали из Франкфурта говеть и разговляться. Последний намерен ехать в Испанию и Португалию… Гоголь в природе своей – противоположность тому, каким он является в своих уморительных повестях и комедиях: ипохондрик в высшей степени. Впрочем, он действительно не совсем здоров, хотя болезнь свою он уже слишком преувеличивает в своем воображении.

А. С. Жиряев – Вацлаву Ганке. Вестн. Евр., 192, № 3, стр. 13.

Не хандра, но болезнь, производящая хандру, меня одолевает. Борюсь и с болезнью, и с хандрой и, наконец, выбился совершенно из сил в бесплодном борении. С приходом весны здоровье мое не лучше нимало, и недуги увеличились. Тягостней всего беспокойство духа, с которым труднее всего воевать, потому что это сражение решительно на воздухе… Может быть, помогла бы дорога, но дорога эта должна для этого иметь какой-нибудь интерес для души; когда же знаешь, что, по приезде на место, ожидает одиночество и скука, и когда сам знаешь, как страшна с ним битва, отнимается дух для самой дороги.

Гоголь – Н. М. Языкову, 1 мая 1845 г., из Франкфурта. Письма, III, 49.

Мая 8 (1845 г.). – В воскресенье был у министра (*Уварова*). Он много говорил о «дурном, грязном и торговом» направлении нашей литературы. Вспоминал о прежнем времени, когда имя литератора, по его словам, считалось почетным… Теперь не то. Имя литератора не внушает никому уважения. Он хотел показать мне письмо к нему Гоголя, да не отыскал его в бумагах. Он передал мне его содержание на словах, ручаясь за достоверность их. Гоголь благодарит за получение от государя денежного пособия и, между прочим, говорит: «Мне грустно, когда я посмотрю, как мало я написал достойного этой милости. Все, написанное мною до сих пор, и слабо, и ничтожно до того, что я не знаю, как мне загладить перед государем невыполнение его ожиданий. Может быть, однако, бог поможет мне сделать что-нибудь такое, чем он будет доволен». Печальное самоуничижение со стороны Гоголя! Ведь это человек, взявший на себя роль обличителя наших общественных язв и действительно разоблачающий их не только верно и метко, но и с тактом, с талантом гениального художника. Жаль, жаль! Это с руки и Уварову, и кое-кому другому.

Мая 10. – Заходил в канцелярию, чтобы, по желанию министра, прочесть письмо Гоголя. Сущность его почти та же, что передавал мне Уваров[48].

А. В. Никитенко. Записки, I, 361.

Мне повелено медициной до Гастейна пить воды в Гомбурге для удаления геморроидальных, печеночных и всяких засорений, на которые, по приговору медиков, следует предварительно подействовать Гомбургом. После чего Гастейн, действующий благодетельно на всякие нервические расслабления, может оказать мне значительную пользу. В Гомбурге я должен пробыть не более трех недель.

Гоголь – А. О. Смирновой, 11 мая 1845 г., из Франкфурта. Письма, III, 57.

Душа изнывает от страшной хандры, которую приносит болезнь, бьется с ней и выбивается из сил биться. Я исхудал, и вы бы ужаснулись, меня увидев. И ни души не было около меня в продолжение самых трудных минут, тогда как всякая душа человеческая была бы подарком. Здоровье мое с каждым часом все хуже и хуже. Воды Гомбурга действуют дурно, и этому помогает, может быть, опасное положение совершенного одиночества… Всякое занятие умственное невозможно и усиливает хандру, а всякое другое занятие – не занятие, а потому также усиливает хандру. Изнурение сил совершенное.

Гоголь – А. О. Смирновой, 4 июня 1845 г., из Гамбурга. Письма. III. 61.

Болезни моей – ход естественный: она есть истощение сил. Век мой не мог ни в каком случае быть долгим. Отец мой был также сложения слабого и умер рано, угаснувши недостатком собственных сил своих, а не нападением какой-нибудь болезни. Я худею теперь и истаеваю не по дням, а по часам; руки мои уже не согреваются вовсе и находятся в водянисто-опухлом состоянии. Ни искусство докторов, ни какая бы то ни было помощь, даже со стороны климата и прочего, не могут сделать ничего, и я не жду от них помощи. Но говорю твердо одно только, что велика милость божия и что, если самое дыхание станет улетать в последний раз из уст моих и будет разлагаться во тление самое тело мое, одно его мановение, – и мертвец восстанет вдруг. Вот в чем только возможность спасения моего.

В Москве будет, вероятно, на днях Смирнова. Ты должен с ней познакомиться непременно. Это же посоветуй С. Т. Аксакову и также Н. И. Шереметевой. Это перл всех русских женщин, каких мне случалось знать, а мне многих случалось из них знать прекрасных по душе. Но вряд ли кто имеет в себе достаточные силы оценить ее. И сам я, как ни уважал ее всегда и как ни был дружен с ней, но только в одни истинно страждущие минуты и ее, и мои узнал ее. Она являлась истинным моим утешителем, тогда как вряд ли чье-либо слово могло меня утешить, и,

подобно двум близнецам-братьям, бывали сходны наши души между собою.

Гоголь – Н. М. Языкову, 5 июня 1845 г., из Гамбурга близ Франкфурта. Письма, III, 65.

Ты, верно, заметил в письме Гоголя похвалы, восписуемые им г-же Смирновой. Эти похвалы всех здешних удивляют. Хомяков, некогда воспевший ее под именем «Иностранки» и «Девы розы», считает ее вовсе не способной к тому, что видит в ней Гоголь, и по всем слухам, до меня доходящим, она просто сирена, плавающая в прозрачных волнах соблазна.

Н. М. Языков – А. М. Языкову, 25 июня 1845 г. Рус. Стар., 1903, март, 534.

Во всех письмах Гоголя тогдашнего времени, к кому бы они ни были писаны, начинал звучать противный мне тон наставника. В это время сошелся он с гр. А. П. Толстым, и я считаю это знакомство решительно гибельным для Гоголя. Не менее вредны были ему дружеские связи с женщинами, большею частью высшего круга. Они сейчас сделали из него нечто вроде духовника своего, вскружили ему голову восторженными похвалами и уверениями, что его письма и советы или поддерживают, или возвращают их на путь добродетели. Некоторых я даже не знаю и назову только Виельгорскую, Соллогуб и Смирнову. Первых двух, конечно, не должно смешивать с последней; но высокость нравственного их достоинства, может быть, была для Гоголя еще вреднее: ибо он должен был скорее им поверить, чем другим. Я не знаю, как сильна была его привязанность к Соллогуб и Виельгорской, но Смирнову он любил с увлечением, может быть, потому, что видел в ней кающуюся Магдалину и считал себя спасителем ее души. По моему же простому человеческому смыслу, Гоголь, несмотря на свою духовную высоту и чистоту, на свой строго монашеский образ жизни, сам того не ведая, был несколько неравнодушен к Смирновой, блестящий ум которой и живость были тогда еще очаровательны. Она сама сказала ему один раз: «Послушайте, вы влюблены в меня…» Гоголь осердился, убежал и три дня не ходил к ней. Все это наделала продолжительная заграничная жизнь вне отечества, вне круга приятелей и литераторов, людей свободного образа мыслей, чуждых ханжества, богомольства и всяких мистических суеверий. Впрочем, я считаю, что ему также была очень вредна дружба с Жуковским, которого, без сомнения, погубила та же заграничная жизнь. Так по крайней мере я думаю.

С. Т. Аксаков. История знакомства, 115.

Гоголь просто был ослеплен А. О. Смирновою и, как ни пошло слово, неравнодушен, и ему она раз это сама сказала, и он сего очень испугался и благодарил, что она его предуведомила.

И. С. Аксаков – С. Т. Аксакову. И. С. Аксаков в его письмах, I, 304.

Сожжение (*вторичное*) второго тома «Мертвых Душ» произошло, вероятно, в конце июня или в начале июля 1845 года.

Н. С. Тихонравов. Соч. Гоголя, изд. 10-е, III, 356.

Затем сожжен второй том «Мертвых Душ», что так было нужно. Нужно прежде умереть, для того чтобы воскреснуть. Не легко было сжечь пятилетний труд, производимый с такими болезненными напряжениями, где всякая строка досталась потрясением, где было много такого, что составляло мои лучшие помышления и занимало мою душу. Но все было сожжено, и притом в ту минуту, когда, видя перед собою смерть, мне очень хотелось оставить после себя хоть что-нибудь обо мне лучше напоминающее. Благодарю бога, что дал мне силы это сделать. Как только пламя унесло последние листы моей книги, ее содержание вдруг воскреснуло в очищенном и светлом виде, подобно фениксу из костра, и я вдруг увидел, в каком еще беспорядке было то, что я считал уже порядочным и стройным… Бывает время, что вовсе не следует говорить о высоком и прекрасном, не показавши тут же ясно, как день, путей и дорог к нему для всякого. Последнее обстоятельство было мало и слабо развито во втором томе «Мертвых Душ», а оно должно было быть едва ли не главное; а потому он и сожжен… Рожден я вовсе не затем, чтобы произвести эпоху в области литературной. Дело мое проще и ближе; дело мое есть то, о котором прежде всего должен подумать всякий человек, не только один я. Дело мое – душа и прочное дело жизни. А потому и образ действий моих должен быть прочен, и сочинять я должен прочно. Мне незачем торопиться; пусть их торопятся другие. Жгу, когда нужно жечь, и, верно, поступаю, как нужно, потому что без молитвы не приступаю ни к чему. Опасения же насчет хилого моего здоровья, которое, может быть, не позволит мне написать второго тома, напрасны. Здоровье мое очень хило, это правда. К изнурению сил прибавилась еще и зябкость в такой мере, что не знаю, как и чем согреться: нужно делать движение – нет сил. Едва час в день выберется для труда, и тот не всегда свежий. Но ничуть не уменьшается моя надежда. Дряхлею телом, но не духом. В духе, напротив, все крепнет и становится тверже; будет крепость и в теле. Верю, что, если придет урочное время, в несколько недель совершится то, над чем провел пять болезненных лет.

Гоголь. Четыре письма к разным лицам по поводу «Мертвых Душ», 4. Выбранные места из переписки с друзьями, XVIII.

Вы коснулись «Мертвых Душ» и говорите, что исполнилась сожалением к тому, над чем прежде смеялись. Друг мой, я не люблю моих сочинений, доселе бывших и напечатанных, и особенно «Мертвых Душ». Но вы будете несправедливы, когда будете осуждать за них автора, принимая за карикатуру насмешку над губерниями, так же, как были прежде несправедливы, хваливши. Вовсе не губерния и не несколько уродливых помещиков, и не то, что им приписывают, есть предмет «Мертвых Душ». Это пока еще тайна, которая должна была вдруг, к изумлению всех (ибо ни одна душа из читателей не догадалась), раскрыться в последующих томах, если бы богу угодно было продлить жизнь мою. Повторяю вам вновь, что это тайна, и ключ от нее покамест в душе у одного автора. Многое, многое, даже из того, что, по-видимому, было обращено ко мне самому, было принято вовсе в другом смысле... Была у меня, точно, гордость, но не моим настоящим, не теми свойствами, которыми владел я; гордость будущим шевелилась в груди, – тем, что представлялось мне впереди, – счастливым открытием, что можно быть далеко лучше того, чем есть человек.

Гоголь – А. О. Смирновой, 25 июля 1845 г., из Карлсбада. Письма, III, 80.

Оставивши Франкфурт, я не посмел ехать прямо в Гастейн, боясь сильно одиночества и не уверенный в том, какого рода во мне болезнь и прямо ли действителен против нее Гастейн. Я решился ехать в Берлин, воспользовавшись сотовариществом графа А. П. Толстого с тем, чтобы посоветоваться с Шенлейном. Для душевного моего спокойствия оказалось мне нужным отговеться в Веймаре. Гр. Толстой также говел вместе со мною. Тамошний очень добрый священник наш советовал мне непременно, едучи в Берлин, заехать по дороге в Галь, к тамошней знаменитости, д-ру Круккенбергу, о котором он рассказывал чудеса. Круккенберг, осмотревши и ощупавши меня всего, – спинной хребет, грудь и все высохнувшее мое тело, и нашед все в надлежащем виде, решил, что причина всех болезненных припадков заключена в сильнейшем нервическом расстройстве, покрывшем все прочие припадки и произведшем все недуги. Гастейн советовал мне решительно оставить, как раздражительный, и вместо того предписал мне провесть, по крайней мере, три месяца в открытом море на острове Гельголанде, на Северном море. Решение это произвело во мне только нерешимость и гадкое состояние сомнения, а в Гастейне и в море, то и другое было определено врачами известными и прославленными, и тем еще более повергло меня в нерешимость. А потому ожидал с нетерпением, что скажет Шенлейн, положивши себе наперед последовать тому, что

утвердит и признает справедливейшим он. Но Шенлейна не было уже в Берлине: он уехал за день до моего отъезда, именно в Гомбург, откуда я выехал. Я остался, весь преданный нерешительности. А каково мое было положение, это предоставляю судить всякому, кто знает, что такое нерешительность в важную минуту. Неделю с лишком в тоске ожидал я Шенлейна в Берлине. По истечении этого времени пришло от него известие, что он около месяца пробудет в отлучке. Время, между прочим, было уже слишком подвинуто, и я рисковал пропустить время вод. И нерешимость, и настоящее состояние болезни моей стали мне невтерпеж; я решился отправиться еще к одной знаменитости, к Карусу в Дрезден. Карус осмотрел меня вновь всего, от головы до ног, ощупал и перестучал все мои кости и перещупал живот и нашел, что главная причина всего заключается в печени, что печень необыкновенно выросла, оставив весьма мало места для легких, что оттуда и нервическое расстройство, и расслабление, и прекратившееся вырабатывание крови, что прежде всего следует излечить печень, что для этого необходим Карлсбад и что я должен как можно скорей туда ехать, дабы не упустить времени. Уставши и выбившись весь из сил, я решился последовать последнему совету, во-первых, потому, что он дан после всех, во-вторых, потому, что Карлсбад менее других грозит одиночеством, что было бы для меня совершенно опасно при хандре, порождаемой самой болезнью и увеличивающейся постепенно более, в-третьих, потому, что нужно же на что-нибудь, наконец, решиться. Карлсбад, по сознанию всех, может действовать благодетельно, если главная причина всех расстройств произошла в печени, и может подействовать вконец разрушительно, если главная причина в самом нервическом расстройстве или же во всеобщем расслаблении и изнурении сил. Одним словом, «либо пан, либо пропал». Жду полного успеха лечения только от одной милости божией.

Гоголь – Н. М. Языкову, 25 июля 1845 г. Дополнено по письму к Жуковскому от 14 июля 1845 г. Письма, III, 76 и 70–71.

По моему телу можно теперь проходить курс анатомии: до такой степени оно высохло и сделалось кожа да кости.

Гоголь – В. А. Жуковскому, 14 июля 1845 г., из Берлина. Письма, III, 72.

Сегодня седьмой день, как начал пить карлсбадские воды. Пью с осторожностью и ничего еще не могу сказать, кроме того, что слабость увеличилась и в силах могу передвигать ноги. Руки как лед, и особенно холоднее не тогда, когда сижу на месте, а когда делаю движение и потею.

Гоголь – Н. М. Языкову, 25 июля 1845 г., из Карлсбада. Письма, III, 77.

Проезжая из Греффенберга (*в Греффенберг*), через чешскую Прагу, Гоголь обратил особенное внимание на национальный музей, заведываемый известным антикварием Ганкою, приходил туда несколько раз и рассматривал хранящиеся в нем сокровища славянской старины. Ганка никак не хотел верить, что перед ним тот самый Гоголь, которого сочинения он изучал с такою любовью (так наружность Гоголя, его приемы и разговор мало выказывали того, что было заключено в душе его); наконец, спросил у самого поэта, не он ли автор таких сочинений. «И, оставьте это!» – сказал ему в ответ Гоголь. «Ваши сочинения, – продолжал Ганка, – составляют украшение славянских литератур» (или что-нибудь в этом роде). – «Оставьте, оставьте», – повторял Гоголь, махая рукою, и ушел из музея.

П. А. Кулиш, II, 50.

Гоголь желает здесь Вячеславу Вячеславичу еще сорок шесть лет ровно для пополнения 100 лет здравствовать, работать, печатать и издавать во славу славянской земли и с таким же радушием приветствовать всех русских, к нему заезжающих, как ныне. 1845 г. 5 (17) августа.

Гоголь. Грамотка Вацлаву Ганке. Вестн. Евр., 1902, № 3, стр. 17.

Здоровье мое вконец сокрушил было Карлсбад, и я, отчаянный, решился на последнее средство – приехал в Греффенберг.

Гоголь – А. О. Смирновой, 11 сент. 1845 г., из Греффенберга. Письма, III, 95.

Я теперь в Греффенберге. Боюсь сказать наверно, но, кажется, мне лучше. Я давно имел тайную веру в воду и в то, что лечение ею может пособить мне, но не имел духа отважиться на эти ужасные, по-видимому, средства, которых так боится наша кожа. Нужно было, чтобы привели меня к тому все безуспешные лечения докторов, начиная от Коппа, увеличившие мои недуги, наконец, до того, что я почти в отчаянии, расстроенный вовсе Карлсбадом, решился, в противность всем советам, ехать в Греффенберг, не столько для излечения, которого я не ждал, сколько для освежения сколь-нибудь моих сил, дабы быть в состоянии предпринять дорогу, которая одна мне помогала доселе. Еще более меня побудило самое пребывание в Греффенберге графа А. П. Толстого, получившего там значительное облегчение, который до сих пор здесь. Всюду, куда бы я ни поехал, я бы умер уже от одной тоски, прежде чем получил бы какую-нибудь пользу от лечения. В Греффенберге же я знал, что уйду не только от тоски, но даже от самого себя, предавши себя

совершенно во власть не прекращающейся ни на минуту деятельности всех проделок, производимых над телом. Действительно, мне нет здесь ни одной минуты о чем-либо подумать, не выбирается времени написать двух строк письма. Я как во сне, среди завертывания в мокрые простыни, сажаний в холодные ванны, обтираний, обливаний и беганий каких-то судорожных, дабы согреться. Я слышу одно только прикосновение к себе холодной воды, и ничего другого, кажется, и не слышу, и не знаю. Это, покамест, все, что мне теперь нужно, а мне нужно теперь позабыться. Сквозь все эти тягостные проделки, чем далее, тем более, слышу, однако же, какое-то живительное освежение и что-то похожее на крепость и как бы на пробуждающуюся силу… На зиму отправляюсь в Рим, в надежде на дорогу и на самый Рим, который мне помогал всегда. Не думайте, что с моим здоровьем трудно скитаться по белу свету, как вы пишете. Напротив, я только тогда и чувствовал себя хорошо, когда бывал в дороге. Дорога меня спасала всегда, когда я засиживался долго на месте или попадал в руки докторов, по причине малодушия своего, которые всегда мне вредили, не зная ни на волос моей природы.

Гоголь – В. А. Жуковскому, 12 сент. 1845 г., из Греффенберга. Письма, III, 96.

По совету своих друзей, изведавших на себе пользу Присницева лечения холодною водою. Гоголь отправился в Греффенберг, но не выдержал полного курса и уехал от Присница полувыздоровевший. Во время последнего своего пребывания в Москве, видя у О. М. Бодянского на стене портрет знаменитого гидропата, он вспомнил о Греффенберге. «Почему же вы не кончили курса?» спросил Бодянский. «Холодно!» – отвечал одним словом Гоголь.

П. А. Кулиш, II, 49.

Холодное лечение много мне помогло и заставило меня, наконец, увериться лучше всех докторов в том, что главное дело моей болезни были нервы, которые, будучи приведены в совершенное расстройство, обманули самих докторов и привели было меня в самое опасное положение, заставившее не на шутку опасаться за самую жизнь мою. Но бог спас. После Греффенберга я съездил в Берлин, нарочно с тем, чтобы повидаться с Шенлейном, с которым прежде не удалось посоветоваться и который особенно талантлив в определении болезней. Шенлейн утвердил меня еще более в сем мнении. Над Карусом, его печенью и Карлсбадом посмеялся. По его мнению, сильней всего у меня поражены были нервы в желудочной области, так называемой системе nervoso fasciculoso, одобрил поездку в Рим, предписал вытирание мокрою простыней всего тела по утрам, всякий вечер пилюлю, две, какие-то гомеопатические капли по утрам, а с началом лета и даже весною –

ехать непременно на море, преимущественно северное, и пробыть там, купаясь и двигаясь на морском воздухе, сколько возможно более времени, – ни в коем случае не менее трех месяцев. В пище есть побольше мясного и зелени и поменьше мучнистого и молочного. Когда я изъявил ему опасение насчет кофею, сказал, что это вздор, что кофей для меня даже здоров и лучше, нежели одно молоко... Я всегда был уверен, что кофей мне не вреден, и это узнал из опыта. Как нарочно, именно в то время, когда я пил кофей покрепче, у меня нервы были хороши. Именно в Остенде, да в первый раз в Риме (после великого нервического расстройства в Вене) пил я кофе в большом количестве, оба раза непосредственно вслед за нервами, и оба раза был здоров.

Гоголь – С. Т. Аксакову (Письма, III, 110) и гр. А. П. Толстому (III, 93). Сводный текст.

Участь моя определилась. После холодного лечения мне сделалось лучше, и я еду теперь к вам в Рим, и по собственному желанию, и по медицинскому совету. Имейте в виду для меня квартирку или в Via Sistina и Felice, или Грегориана, – две комнатки на солнце. Можно даже заглянуть и к Челли, моему старому хозяину. Хотя он своею безалаберностью и беспрерывной охотой занимать деньги смущает меня, но если, кроме его, не найдется в тех местах, то можно будет и у него. Я привык к этим местам, и мне жалко будет им изменить.

Гоголь – А. А. Иванову, 9 окт. 1845 г., из Вероны. Письма, III, 103.

Я в Риме. Передо мною опять Монте Пинчио и вечный Петр. Здоровье мое от дороги и переезда поправилось значительно... Адрес мой Via della Croce, № 81, 3 piano. В Риме я нашел некоторых прежних приятелей и весьма милую сестру графа А. П. Толстого (*Софью Петровну Апраксину*).

Гоголь – В. А. Жуковскому, 28 окт. 1845 г., из Рима. Письма, III, 108.

Существует и тот дом, в котором жил Гоголь в последний год своего пребывания в Риме в 1845 году. Это – старое палаццо Понятовского в улице Via della Croce, № 81, недалеко от Испанской площади. Его грязный непривлекательный вид указывает на то, что он давно не видал ремонта и, по всему вероятию, таким же он был и в гоголевское время.

Aventino. По следам Гоголя в Риме. М., 1902, стр. 10.

Здоровье мое хотя и лучше, но как-то медлит совершенно установиться. Но я решился меньше всего думать о своем здоровье. Что посылается от

бога, то посылается в пользу. Уже и теперь мой слабый ум видит пользу великую от всех недугов: мысли от них в итоге зреют, и то, что, по-видимому, замедляет, то служит только к ускорению дела. Я острю перо.

Гоголь – В. А. Жуковскому, 28 ноября 1845 г., из Рима. Письма, III, 126.

Существование мое было в продолжение некоторого времени в сомнительном состоянии. Я едва было не откланялся; но бог милостив: я вновь почти оправился, хотя остались слабость и какая-то странная зябкость, какой я не чувствовал доселе. Я зябну, и зябну до такой степени, что должен ежеминутно выбегать из комнаты на воздух, чтобы согреться. Но как только согреюсь и сяду отдохнуть, остываю в несколько минут, хотя бы комната была тепла, и вновь принужден бежать согреваться. Положение тем более неприятное, что я через это не могу, или, лучше, мне некогда ничем заняться, тогда как чувствую в себе и голову, и мысли более свежими и, кажется, мог бы теперь засесть за труд, от которого сильно отвлекали меня прежде недуги и внутреннее душевное состояние. Много, много в это трудное время совершилось в душе моей, и да будет благословенна вовеки воля Пославшего мне скорби и все то, что мы обыкновенно приемлем за горькие неприятности и несчастия. Без них не воспиталась бы душа моя как следует для труда моего; мертво и холодно было бы все то, что должно быть живо, как сама жизнь, прекрасно и верно, как сама правда.

Гоголь – П. А. Плетневу, 28 ноября 1845 г., из Рима. Письма, III, 123.

До меня дошло, что Гоголь поправился, бывает всякий день у Софьи Петровны Апраксиной, которая очень его любит, чему я очень рада. Ему всегда надобно пригреться где-нибудь, тогда он и здоровее, и крепче духом. Совершенное одиночество для него пагубно.

А. О. Смирнова – Плетневу, в янв. 1846 г., из Калуги. Переписка Грота с Плетневым, II, 931.

Брат (художник А. А. Иванов, автор картины «Явление Христа народу») никогда не был одних мыслей с Гоголем, он с ним внутренне никогда не соглашался, но в то же время никогда с ним и не спорил, избегая по возможности неприятные и, скажем откровенно, даже дерзкие ответы Гоголя, на которые Гоголь со своею гордостью не был скуп. Гоголь все более и более впадал в биготство (ханжество), а брат, напротив, все более и более освобождался и от того немногого, что нам прививает воспитание.

С. А. Иванов. Воспоминания. М. П. Боткин. «А. А. Иванов, его жизнь и переписка», 429.

Сперва Гоголь и А. А. Иванов были очень и очень близки; но потом взгляды и понимание вещей у них изменились, и их отношения сделались дальше. Иванов перестал быть откровенен, и в ответ на письмо, в котором Гоголь посылал ему молитву, старался отделаться различными фразами.

М. П. Боткин. «А. А. Иванов, его жизнь и переписка», XI.

Тяжки и тяжки мне были последние времена, и весь минувший год так был тяжел, что я дивлюсь теперь, как вынес его. Болезненные состояния до такой степени в конце прошлого и даже нынешнего были невыносимы, что повеситься или утопиться казалось как бы похожим на какое-то лекарство и облегчение. А между тем, как ни страдало мое тело, как ни тяжка была моя болезнь телесная, душа моя была здорова; даже хандра, которая приходила прежде в минуты более сносные, не посмела ко мне приблизиться. И те душевные страдания, которые доселе я испытал много и много, среди страданий телесных выработались в уме моем, так что во время дороги и предстоящего путешествия я примусь, с божьим благословением, писать, потому что дух мой становиться в такое время свежим и расположенным к делу.

Гоголь – П. А. Плетневу, 20 февр. 1846 г., из Рима. Письма, III, 147.

О здоровье могу вам сказать только, что оно плохо. Приходится подчас так трудно, что только молишься о ниспослании терпения, великодушия, послушания и кротости. Верю и знаю, знаю твердо, что эта болезнь к добру, вижу, – и оно очевидно и явно, – надо мною великую милость божию. Голова и мысли вызрели, минуты выбираются такие, каких я далеко не достоин, и все время, как ни болело тело, ни хандра, ни глупая необъяснимая скука не смела ко мне приблизиться. Да будет же благословен бог, посылающий нам все! И душе, и телу моему следовало выстрадаться. Без этого не будут «Мертвые души» тем, чем им быть должно. Итак, молитесь обо мне, друг, молитесь крепко, дабы вся душа моя обратилась в одни согласно настроенные струны и бряцал бы в них сам дух божий.

Из всех средств доселе действовало лучше других на мое здоровье путешествие; а потому весь этот год я осуждаю себя на странствие и постараюсь так устроиться, чтобы можно было в дороге писать. Лето все буду ездить по Европе в местах, где не был… В Риме я видаюсь и провожу время с немногими. Таких, которых бы сильно желала душа, здесь теперь нет. Нет даже таких, которые бы потребовали от меня

сильной деятельности душевной, вследствие какой-нибудь своей немощи. А без надобности не хочется сталкиваться с людьми, да и некогда.

Гоголь – А. О. Смирновой, 4 марта 1846 г., из Рима. Письма, III, 152.

В 1846 г. я встретил Гоголя в Риме, в посольской православной церкви, среди молитвословий великого пятка. По окончании службы мы подошли друг к другу, возобновили минутное знакомство, и оно в Риме же утвердилось взаимными посещениями и беседами лицом к лицу. Тогда-то, к моему изумлению, я нашел в Гоголе не колкого сатирика, не изобретательного рассказчика и автора умных повестей, а человека, стоявшего выше собственных творений, искушенного огнем страданий душевных и телесных, стремившегося к богу всеми способностями и силами ума и сердца. Беседы наши отразились потом, как в зеркале, в «Выбранных местах из переписки Гоголя с друзьями». Расставаясь со мною в Риме, он дал мне слово, что, обозрев православный восток и поклонившись гробу господню, непременно заедет в Одессу через полтора года, и слово его сбылось.

А. С. Стурдза. Москвитянин, 1852, окт., № 20, кн. 2, стр. 224.

Сделай вот что. В первый хороший день отправься на поле и пробудь хотя день на работах сама, для того чтобы всех видеть, сколько в день может наработать всякий без отягощения себя, чтобы видеть, кто работает ленивее, а кто прилежнее, чтобы видеть, умеет ли приказчик повелевать и смотреть за ними, и чтобы видеть, умеют ли мужики повиноваться и слушаться приказчика. Ленивому ты должна говорить, что он может наработать больше, а именно столько-то, потому что при твоих собственных глазах такой-то мужик наработал столько, стало быть, и он может столько-то, стало быть, грех ему так не делать, что ты ему потом приказываешь и велишь, что бог приказал трудиться усердно. Он сказал: «В поте лица трудитесь!» – стало быть, это грех, и с помещика за то взыщется… Мужикам расскажи, чтобы они слушали приказчика и умели бы повиноваться, несмотря на то, кто ими повелевает, хотя бы он был и худший их, потому что нет власти, которая не была бы от бога. Словом, так говори с ними, чтобы они видели, что, исполняя дело помещичье, они с тем вместе исполняют и божие дело.

Гоголь – сестре Ольге, 1 мая 1846 г., из Рима. Письма. III, 176.

Пишу на выезде из Рима. Во Франкфурте я пробуду у Жуковского с неделю, может быть, и потом вновь в дорогу по северной Европе. Перемежевываю сии разъезды холодным купаньем в Греффенберге и купаньем в море: два средства, которые и по докторскому отзыву, и по

моему собственному опыту мне можно только употреблять. Как я ни слаб и хил, но чувствую, что в дороге буду лучше, и верю, что бог воздвигнет мой дух до надлежащей свежести совершить мою работу всюду, на всяком месте и в каком бы ни было тяжком состоянии тела: лежа, сидя или даже не двигая руками. О комфортах не думаю. Жизнь наша – трактир и временная станция: это уже давно сказано.

Гоголь – П. А. Плетневу, 13 мая 1846 г., из Рима. Письма, III, 182.

Во второй половине мая Гоголь в Париже, живет у гр. А. П. Толстого. Гоголь почему-то довольно тщательно хранил эту поездку в Париж в тайне от друзей своих.

А. И. Кирпичников. Хронолог. канва, 76.

Проезжая через Париж в 1846 г., я случайно узнал о прибытии туда же Николая Васильевича, остановившегося, вместе с семейством гр. Толстого (впоследствии обер-прокурора Синода), в отеле улицы Rue de la Paix. На другой же день я отправился к нему на свидание, но застал его уже одетым и совсем готовым к выходу по какому-то делу. Мы успели перекинуться только несколькими словами. Гоголь постарел, но приобрел особенного рода красоту, которую нельзя иначе определить, как назвав красотой мыслящего человека. Лицо его побледнело, осунулось; глубокая, томительная работа мысли положила на нем ясную печать истощения и усталости, но общее выражение его показалось мне как-то светлее и спокойнее прежнего. Это было лицо философа. Оно оттенялось, по-старому, длинными, густыми волосами до плеч, в раме которых глаза Гоголя не только что не потеряли своего блеска, но, казалось мне, еще более исполнились огня и выражения. Николай Васильевич быстро перебежал через все обычные выражения радости, неизбежные при свиданиях, и тотчас заговорил о своих петербургских делах. Известно, что после издания своих «Сочинений» Гоголь жаловался на путаницу в денежных расчетах, которой, однако же, совсем не было: Николай Васильевич забыл только сам некоторые из своих распоряжений. Тогда уже все было объяснено, но Николай Васильевич не желал казаться виноватым и говорил еще с притворным неудовольствием о хлопотах, доставленных ему всеми этими расчетами. Затем он объявил, что через два-три дня едет в Остенде купаться, а покамест пригласил меня в Тюльерийский сад, куда ему лежала дорога. Мы отправились. На пути он подробно расспрашивал, нет ли новых сценических талантов, новых литературных даровании, какого рода и свойства они, и прибавлял, что новые таланты теперь одни и привлекают его любопытство: «старые все уже выболтали, а все еще болтают». Он был очень серьезен, говорил тихо, мерно, как будто весьма мало занятый своим разговором. При расставании он назначил мне

вечер, когда будет дома, исполняя мое желание видеть его еще раз до отъезда в Остенде.

Вечер этот был, однако же, не совсем удачен. Я нашел Гоголя в большом обществе, в гостиной семейства, которому он сопутствовал. Николай Васильевич сидел на диване и не принимал никакого участия в разговоре, который скоро завязался около него. Уже к концу беседы, когда зашла речь о разнице поучений, какие даются наблюдением двух разных народов, английского и французского, и когда голоса разделились в пользу того и другого из этих народов. Гоголь прекратил спор, встав с дивана и проговорив длинным, протяжным тоном: «Я вам сообщу приятную новость, полученную мною с почты». Вслед за тем он вышел в другую комнату и возвратился через минуту назад с писанной тетрадкой в руках. Усевшись снова на диван и придвинув к себе лампу, он прочел торжественно, с сильным ударением на слова и заставляя чувствовать везде, где можно, букву о, новую «Речь» одного из известных духовных витий наших. «Речь» была действительно недурна, хотя нисколько не отвечала на возникшее прение и не разрешала его нимало. По окончании чтения молчание сделалось всеобщим; никто не мог связать, ни даже отыскать нить прерванного разговора. Сам Гоголь погрузился в прежнее бесстрастное наблюдение; я вскоре встал и простился с ним. На другой день он уехал в Остенде.

П. В. Анненков. Гоголь в Риме. Литературные воспоминания, 66–67.

Наконец, пишу вам из Грефффенберга, куда прибыл благополучно, отдохнул два дня и вот уже другой день начал лечение. В Грефффенберге в это лето несравненно меньше лечащихся, чем во все прежние годы. Меня разбирает тоска, (*люди?*) противны и почти невыносимы, а главное то, что я не имею через то времени заняться тем, что мне нужно спешить; в дороге я имел возможности больше заниматься. Я думаю, и Грефффенберг просто брошу, тем более, что от него вся надежда только на небольшое освежение, а переведу на море, именно в Остенде: там больше бывает русских. Мне же особенно нужно бежать от тоски, которая наиболее меня одолевает тогда, когда нет, с кем бы провести вечер и сколько-нибудь позабыть в беседе тягость и трудность дня.

Гоголь – гр. А. П. Толстому, в июне 1846 г. Письма, III, 185.

Я заезжал в Грефффенберг, чтобы вновь несколько освежиться холодной водой, но это лечение уже не принесло той пользы, как в прошлом году. Дорога действует лучше. Видно, на то воля божья, и мне нужно более, чем кому-либо, считать свою жизнь беспрерывной дорогой и не останавливаться ни в каком месте, как на временный ночлег и минутное отдохновение.

Гоголь – П. А. Плетневу, 4 июля 1846 г. Письма, III, 190.

Все это было весной, когда для туриста открываются дороги во все концы Европы. Следуя общему движению, я направился в Тироль, через Франконию и южную Германию. Я прибыл, таким образом, в Бамберг, где расположился осмотреть подробнейшим образом окрестности и знаменитый собор его. На другой день моего приезда в Бамберг я часа два или три пробыл между массивными столбами его главной церкви. Я покинул собор и начал уже спускаться вниз с горы, когда на другом конце спуска увидел человека, подымающегося в гору и похожего на Гоголя, как две капли воды. Предполагая, что это Николай Васильевич теперь уже в Остенде и, стало быть, позади меня, я с изумлением подумал об этой игре природы, которая из какого-нибудь почтенного бюргера города Бамберга делает совершенное подобие автора «вечеров на хуторе»; но не успел я остановиться на этой мысли, как настоящий, действительный Гоголь стоял передо мною. После первого моего восклицания: «Да здесь следовало бы жертвенник поставить, Николай Васильевич, в воспоминание нашей встречи!» – он объяснил мне, что все еще едет в Остенде, но только взял дорогу через Австрию и Дунай. Поездка эта принадлежала к числу тех прогулок, какие Гоголь предпринимал иногда без всякой определенной цели, а единственно по благотворному действию, которое производили на здоровье его дорога и путешествие вообще, как ему казалось. Теперь дилижанс его остановился в Бамберге, предоставив немцам час времени для насыщения их желудков, а он отправился поглядеть на собор. Я тотчас поторопился с ним назад, и, когда, полный еще испытанных впечатлений, стал ему показывать частности этой громадной и великолепной постройки, он сказал мне; «Вы, может быть, еще не знаете, что я сам знаток в архитектуре». Обозрев внутренность, мы принялись за внешние подробности, довольно долго глядели на колокольни и на огромного каменного человека (чуть ли не изображение строителя), который выглядывал с балкона одной из них; затем мы возвратились опять к спуску. Гоголь принял серьезный, торжественный вид: он собирался послать из Швальбаха, куда ехал, первую тетрадку «Выбранной переписки» в Петербург и, по обыкновению, весь был проникнут важностью, значением, будущими громадными следствиями новой публикации. Я тогда еще не понимал настоящего смысла таинственных, пророческих его намеков, которые уяснились мне только впоследствии. «Нам остается немного времени, – сказал он мне, когда мы стали медленно спускаться с горы, – и я вам скажу нужную для вас вещь. Что вы делаете теперь?» Я отвечал, что нахожусь в Европе под обаянием простого чувства любопытства. Гоголь помолчал и потом начал говорить отрывисто; фразы его звучат у меня в ушах и в памяти до сих пор: «Эта черта хорошая... но все же это беспокойство... надо же и остановиться когда-нибудь... Если все вешать

на одном гвозде, так уже следует запастись, по крайней мере, хорошим гвоздем... Знаете ли что?.. Приезжайте на зиму в Неаполь... Я тоже там буду». Не помню, что я отвечал ему, только Гоголь продолжал: «Вы услышите в Неаполе вещи, которых и не ожидаете... Я вам скажу то, что до вас касается... да, лично до вас... Человек не может предвидеть, где найдет его нужная помощь... Я вам говорю, – приезжайте в Неаполь... я открою тогда секрет, за который вы будете меня благодарить». Полагая, что настоящий смысл загадочных слов Гоголя может быть объяснен приближающимся сроком его вояжа в Иерусалим, для которого он ищет теперь товарища, я высказал ему свою догадку. «Нет, – отвечал Гоголь. – Конечно, это дело хорошее... мы могли бы вместе сделать путешествие, но прежде может случиться еще нечто такое, что вас самих перевернет... тогда вы уже и решите сами все... Только приезжайте в Неаполь... Кто знает, где застигнет человека новая жизнь!..» В голосе его было так много глубокого чувства, так много сильного внутреннего убеждения, что, не давая решительного слова, я обещал, однако, же, серьезно подумать о его предложении. Гоголь перестал говорить об этом предмете и остальную дорогу с какой-то задумчивостью, исполненной еще страсти и сосредоточенной энергии, если смею так выразиться, мерным, отрывистым, но пламенным словом стал делать замечания об отношениях европейского современного быта к быту России. Не привожу всего, что он говорил тогда о лицах и вещах, до и не все сохранилось в памяти моей. «Вот, – сказал он раз, – начали бояться у нас европейской неурядицы – пролетариата... думают, как из мужиков сделать немецких фермеров... А к чему это?.. Можно ли разделить мужика с землею?.. Какое тут пролетарство? Вы ведь подумайте, что мужик наш плачет от радости, увидев землю свою; некоторые ложатся на землю и целуют ее, как любовницу. Это что-нибудь да значит?.. Об этом-то и надо поразмыслить». Вообще, он был убежден тогда, что русский мир составляет отдельную сферу, имеющую свои законы, о которых в Европе не имеют понятия. Как теперь, смотрю на него, когда он высказывал эти мысли своим протяжным, медленно текущим голосом, исполненным силы и выражения. Это был совсем другой Гоголь, чем тот, которого я оставил недавно в Париже, и разнился он значительно с Гоголем римской эпохи. Все в нем установилось, определилось и выработалось. Задумчиво шагал он по мостовой в коротеньком пальто своем, с глазами, устремленными постоянно в землю, и поглощенный так сильно мыслями, что, вероятно, не мог дать отчета себе о физиономии Бамберга через пять минут после выезда из него. Между тем мы подошли к дилижансу: там уже впрягали лошадей, и пассажиры начали суетиться около мест своих. «А что, разве вы и в самом деле останетесь без обеда?» – спросил я. «Да, кстати, хорошо, что напомнили: нет ли здесь где кондитерской или пирожной?» Пирожная была под рукою. Гоголь выбрал аккуратно десяток сладких пирожков, с яблоками, черносливом и вареньем, велел их завернуть в бумагу и

потащил с собой этот обед, который, конечно, не был способен укрепить его силы. Мы еще немного постояли у дилижанса, когда раздалась труба кондуктора. Гоголь сел в купе, поместившись как-то боком к своему соседу – немцу пожилых лет, сунул перед собой куда-то пакет с пирожками и сказал мне: «Прощайте еще раз... Помните мои слова... Подумайте о Неаполе». Затем он поднял воротник шинели, которую накинул на себя при входе в купе, принял выражение мертвого, каменного бесстрастия и равнодушия, которые должны были отбить всякую охоту к разговору у сотоварища его путешествия, и в этом положении статуи с полузакрытым лицом, тупыми, ничего не выражающими глазами, еще кивнул мне головой... Карета тронулась. Таким образом расквитался я с ним за проводы из Альбано. Мы так же расстались у дилижанса в то время, но какая разница между тогдашним живым, бодрым Гоголем и нынешним восторженным и отчасти измученным болезнью мысли, отразившейся и на красивом, впалом лице его.

П. В. Анненков. Гоголь в Риме. Литературные воспоминания, 67.

XI

«Переписка с друзьями»

Наконец моя просьба! Ее ты должен выполнить, как наивернейший друг выполняет просьбу своего друга. Все свои дела в сторону и займись печатаньем этой книги под названием «Выбранные места из переписки с друзьями». Она нужна, слишком нужна всем; вот что, покамест, могу сказать; все прочее объяснит тебе сама книга. К концу ее печати все станет ясно... Печатание должно происходить в тишине: нужно, чтобы, кроме цензора и тебя, никто не знал. Цензора избери Никитенку: он ко мне благосклоннее других. Возьми с него слово никому не сказывать о том, что выйдет моя книга... Печатай два завода и готовь бумагу для второго издания, которое, по моему соображению, воспоследует немедленно: эта книга разойдется более, чем все мои прежние сочинения, потому что это до сих пор моя единственная дельная книга... Вслед за прилагаемою при сем тетрадью будешь получать безостановочно другие.

Гоголь – П. А. Плетневу, 30 июля 1846 г., из Швальбаха. Письма, III, 198.

У меня в Швальбахе гостил Гоголь; ему вообще лучше; но сидеть на месте ему нельзя; его главное лекарство путешествие; он отправился в Остенде.

В. А. Жуковский – Погодину. Барсуков, VIII, 326.

В начале августа Гоголь в Остенде.

А. И. Кирпичников. Хронолог. канва, 78.

Я не смею купаться иначе, как в самый теплый день, и когда нет совсем ветра. Ветер необыкновенно сильно действует на кожу, и чувствую слабость большую. От небольшого ветра меня то бросает в пот, то знобит.

Гоголь – гр. А. П. Толстому, 2 авг. 1846 г., из Остенде. Письма, III, 200.

Здесь мы нашли Гоголя, с которым познакомились. Он очень замечателен, в особенности по набожному чувству, христианской любви и складной, правильной речи. Охотно беседуя обо всех предметах, он не любил говорить о своих сочинениях и о том, что пишет. Недавно читал он нам два прекрасные письма молодого Жерве к своему отцу, писанные из Оптиной пустыни. Мы слушали с умилением. Сколько веры и любви в молодом подвижнике, оставившем мир и все прелести в тех летах, когда они так обольщают человека, и посвятившем себя богу!

В. А. Муханов – своим сестрам, 17/29 авг. 1846 г., из Остенде. Свящ. Н. Миловский. К биографии Гоголя (О знакомстве его с братьями Мухановыми.) М., 1902, стр. 9.

Продолжаем довольно часто видеться с Гоголем; он внушает сочувствие и особенно приятен, как человек истинно верующий и которого бог посетил своею благодатью. На днях я встретил его на берегу моря, вечер был прекрасный, и месяц светил чудесно. – «Знаете ли, – сказал Гоголь, – что со мной сейчас случилось? Иду и вдруг вижу перед собою луну, посмотрел на небо, и там луна такая же. Что же это было? Лысая голова человека, шедшего передо мною». Впрочем, он молчалив, и говорит охотно, когда уже коротко познакомится.

В. А. Муханов – сестрам, 24 авг./5 сент. 1846 г., из Остенде. Н. Миловский. К биографии Гоголя, 10.

Остаюсь я здесь от сего числа недели три, по крайней мере, – тем более, что море начинает, кажется, меня освежать, а это особенно необходимо для моей работы, и тем еще более, что на днях я был обрадован почти неожиданным приездом любезного моего гр. А. П. Толстого, который прибыл сюда вместе с двумя братьями Мухановыми. Они все пробудут здесь около месяца ради купанья… После 15 сентября готовьте для меня мою комнату, где проживу с вами недельки две перед отправлением в большую дорогу.

Гоголь – В. А. Жуковскому, 25 авг. 1846 г., из Остенде. Письма, III, 206.

Тружусь ото всех сил (*над обработкой «Выбранных мест из переписки с друзьями»*). Не ленюсь ни капли; даже через это не выполняю, как следует, лечения на морских водах, где до сих пор еще пребываю.

Гоголь – П. А. Плетневу, 12 сент. 1846 г., из Остенде. Письма, III, 207.

Иногда, и даже довольно часто, случалось мне видеть Гоголя, но при людях разговор идет общий и по большей части ничтожный. Когда же удается с ним беседовать наедине, как назидательна речь его! Вчера в третий раз посчастливилось мне так поговорить с ним, и я чувствовал, как вера его согревала мою душу. Через несколько дней едет он во Франкфурт на свидание с Жуковским, оттуда в Италию, где проживет три месяца и потом отправится в Иерусалим. Он жалуется на здоровье и даже с трудом может переносить римскую зиму.

В. А. Муханов – сестрам, 14/26 сент. 1846 г., из Остенде. Н. Михайловский, 11.

Еду отсюда в Неаполь дней через пять. В Рим вряд ли заеду, да и не за чем. Я было укрепился на морском купании. Теперь опять как-то расклеился.

Гоголь – А. О. Смирновой, 15 окт. 1846 г., из Франкфурта. Письма, III, 220.

Назад тому два дни отправил к тебе пятую и последнюю тетрадь (*«Выбранных мест»*). От усталости и от возвращения вновь многих болезненных недугов не в силах был написать об окончательных распоряжениях. Пишу теперь. Ради бога, употреби все силы и меры к скорейшему отпечатанию книги. Это нужно, нужно и для меня, и для других; словом, нужно для общего добра. Мне говорит это мое сердце и необыкновенная милость божия, давшая мне силы потрудиться тогда, когда я не смел уже и думать о том, не смел и ожидать потребной для того свежести душевной. И все мне далось вдруг на то время: вдруг остановились самые тяжкие недуги, вдруг отклонились все помешательства в работе, и продолжалось все это до тех пор, покуда не кончилась последняя строка. Это просто чудо и милость божия, и мне будет грех тяжкий, если стану жаловаться на возвращение трудных, болезненных моих припадков. Друг мой, я действовал твердо во имя бога, когда составлял мою книгу; во славу его святого имени взял перо; а потому и расступились передо мною все преграды и все, останавливающее бессильного человека.

По выходе книги приготовь экземпляры и поднеси всему царскому дому до единого, не выключая и малолетних, – всем великим князьям. Ни от кого не бери подарков; скажи, что поднесение этой книги есть выражение того чувства, которое я сам не умею себе объяснить, которое стало в последнее время еще сильнее, чем было прежде, вследствие которого все, относящееся к их дому, стало близко моей душе… Но если кто из них предложит от себя деньги на вспомоществование многим тем, которых я встречу идущих к святым местам, то эти деньги бери смело.

Гоголь – Плетневу, 20 окт. 1846 г., из Франкфурта. Письма, III, 222.

Возле меня не было в это время (*когда подготовлялись к печати «Выбранные места»*) такого друга, который бы мог остановить меня; но я думаю, если бы даже в то время был около меня наиближайший друг, я бы не послушался. Я так был уверен, что я стал на верхушке своего развития и вижу здраво вещи. Я не показал даже некоторых писем Жуковскому, который мог мне сделать возражение.

Гоголь – Н. Ф. Павлову, в июне 1848 г. Письма, IV, 199.

«Ревизор» (*в новом издании*) должен быть напечатан в своем полном виде, с тем заключением, которое сам зритель не догадался вывесть. Заглавне должно быть такое: «Ревизор с Развязкой. Комедия в пяти действиях с заключением. Соч. Н. Гоголя. Издание четвертое, пополненное, в пользу бедных». Играться и выйти в свет «Ревизор» должен не прежде появления книги «Выбранные места»: иначе все не будет понятно вполне.

Я на дороге, в Страсбурге: завтра еду, пробираясь на Ниццу, в Италию.

Гоголь – Шевыреву, 24 окт. 1846 г., из Страсбурга. Письма, III, 227.

Михаил Семенович! Вот в чем дело: вы должны взять в свой бенефис «Ревизора» в его полном виде, с прибавлением хвоста, посылаемого мною теперь. Для этого вы сами непременно должны съездить в Петербург, чтобы ускорить личным присутствием ускорение цензурного разрешения… «Ревизор» должен напечататься отдельно с «Развязкой» ко дню представления и продаваться в пользу бедных, о чем вы, при вашем вызове по окончании всего, должны возвестить публике, что не «благоугодно ли ей, ради такой богоугодной цели, сей же час по выходе из театра купить «Ревизора» в театральной же лавке»; а кто разохотится дать больше означенной цены, тот бы покупал ее прямо из ваших рук для большей верности. А вы эти деньги потом препроводите к Шевыреву… Итак, благословясь, поезжайте с богом в Петербург. Бенефис ваш будет блистателен. Не глядите на то, что пиеса заиграна и

стара: будет к этому времени такое обстоятельство (*предстоящий выход «Выбранных мест из переписки с друзьями»*), что все пожелают вновь увидать «Ревизора». Сбор ваш будет с верхом полон.

Гоголь – М. С. Щепкину. Письма, III, 228. (Подобное же письмо Гоголь написал петербургскому актеру Сосницкому с тем же предложением взять в свой бенефис «Ревизор с Развязкой» – III, 232).

(*В «Предуведомлении» к предложенному изданию «Ревизора» Гоголь писал, что деньги от продажи 4-го и 5-го издания комедии он жертвует в пользу бедных, просил читателей собирать сведения о наиболее нуждающихся и доставлять эти сведения лицам, на которых он возложил раздачу вспомоществований. Приложен был список этих лиц. В Москве А. П. Елагина, Е. А. Свербеева, В. С. Аксакова, А. С. Хомяков, Н. Ф. Павлов, П. В. Киреевский. В Петербурге: О. С. Одоевская, гр-ня А. М. Виельгорская, гр-ня Дашкова, А. О. Россети, Ю. Ф. Самарин, В. А. Муханов.*

В «Развязке Ревизора» актеры после представления в восторге венчают «первого комического актера – Михайлу Семеновича Щепкина», а он разъясняет им истинный смысл комедии, – что город, в котором разыгрывается действие, это есть «наш же душевный город», ревизор – это «наша проснувшаяся совесть». «В безобразном нашем городе, который в несколько раз хуже всякого другого города, бесчинствуют наши страсти, как безобразные чиновники, воруя казну собственной души нашей».)

Я теперь во Флоренции. Здоровье милостью божией стало лучше. Спешу в Неаполь через Рим.

Гоголь – Н. М. Языкову, 8 ноября 1846 г., из Флоренции. Письма, III, 249.

По принятым правилам при императорских театрах, исключающим всякого рода одобрения артистов – самими артистами, а тем более венчания на сцене, пьеса в этом отношении не может быть допущена к представлению.

А. М. Гедеонов (директор имп. театров) – Плетневу, в первой половине ноября 1846 г. Переписка Грота с Плетневым, II, 961.

Здоровье мое, слава богу, становится несколько крепче, и если все обстоятельства хорошо устроятся, то надеюсь в начале будущего года отправиться в желанную дорогу на поклонение гробу господню. Вас прошу, моя добрая и почтеннейшая маменька, молиться обо мне и

путешествии моем и благополучном устроении всех обстоятельств моих. Во время, когда я буду в дороге, вы не выезжайте никуда и оставайтесь в Васильевке. Мне нужно именно, чтобы вы молились обо мне в Васильевке, а не в другом месте. Кто захочет вас видеть, может к вам приехать. Отвечайте всем, что находите неприличным в то время, когда сын ваш отправился на такие святое поклонение, разъезжать по гостям и предаваться каким-нибудь развлечениям.

Гоголь – матери, 14 ноября 1846 г., из Рима. Письма, III, 225.

Я прибыл благополучно в Неаполь, который во всю дорогу был у меня в предмете, как прекрасное перепутье. На душе у меня так тихо и светло, что я не знаю, кого благодарить за это… Неаполь прекрасен, но чувствую, что он никогда не показался бы мне так прекрасен, если бы не приготовил бог душу мою к принятию впечатлений красоты его. Я был назад тому десять лет в нем и любовался им холодно. Во все время прежнего пребыванья моего в Риме никогда не тянуло меня в Неаполь; в Рим же я приезжал всякий раз как бы на родину свою. Но теперь, во время проезда моего через Рим, уже ничто в нем меня не заняло, ни даже замечательное явление всеобщего народного восторга от нынешнего истинно-достойного папы. Я проехал его так, как проезжал дорожную станцию; обонянье мое не почувствовало даже того сладкого воздуха, которым я так приятно был встречаем всякий раз по моем въезде в него; напротив, нервы мои услышали прикосновение холода и сырости. Но как только приехал в Неаполь, все тело мое почувствовало желанную теплоту, утихнули нервы, которые, как известно, у других еще раздражаются от Неаполя. Я приютился у Софьи Петровны Апраксиной, которой, может быть, внушил бог звать меня в Неаполь и приуготовить у себя квартиру. Без того, зная, что мне придется жить в трактире и не иметь слишком близко подле себя желанных душе моей людей, я бы, может быть, не приехал. Душе моей, еще немощной, еще не так, как следует, укрепившейся для жизненного дела, нужна близость прекрасных людей, затем, чтоб самой от них похорошеть.

Гоголь – В. А. Жуковскому, 24 ноября 1846 г., из Неаполя. Письма, III, 259.

Здоровье мое поправилось неожиданно, совершенно противу чаяния даже опытных докторов. Я был слишком дурен, и этого от меня не скрыли. Мне было сказано, что можно на время продлить мою жизнь, но значительного улучшения в здоровье нельзя надеяться. И вместо этого я ожил, дух мой и все во мне освежилось. Передо мной прекрасный Неаполь, и воздух успокаивающий и тихий. Я здесь остановился как бы на каком-то прекрасном перепутьи, ожидая попутного ветра воли божией к отъезду моему во святую землю. В отъезде этом

руководствуюсь я божьим указаньем и ничего не хочу делать по своей собственной воле.

Гоголь – А. О. Смирновой, 24 ноября 1846 г., из Неаполя. Соч. Гоголя, изд. Брокгауза – Ефрона, IX, 279.

Я написал и послал сильный протест к Плетневу, чтобы не выпускал в свет новой книги Гоголя, которая состоит из отрывков писем его к друзьям и в которой есть завещание к целой России, где Гоголь просит, чтоб она не ставила над ним никакого памятника, и уведомляет, что он сжег все свой бумаги. Я требую также, чтобы не печатать «Предуведомления» к пятому изданию «Ревизора»: ибо все это с начала до конца чушь, дичь и нелепость и, если будет обнародовано, сделает Гоголя посмешищем всей России. То же самое объявил я Шевыреву... Если Гоголь не послушает нас, то я предлагаю Плетневу и Шевыреву отказаться от исполнения его поручения. Пусть он находит себе других палачей.

С. Т. Аксаков – И. С. Аксакову, в последних числах ноября 1846 г. История знакомства, 156.

«Ревизор» надобно приостановить, как представление на сцене, так и печатанье. Ему еще не время являться в таком виде перед публикой. Сообразив все толки, мнения и мысли, ныне обращающиеся в свете, равно как и состояние нынешнего общества, я признаю благоразумным отложить это дело до следующего года, а между тем в это время я оглянусь получше и на себя, и на свое дело. Стало быть, с вас также снимается обуза быть распорядительницей денежных раздач бедным, которую я обременил как вас, так и другие христолюбивые души, что объявите им, а также Плетневу.

Гоголь – графине А. М. Виельгорской, 8 дек. 1846 г., из Неаполя. Письма, III, 282.

Обращаюсь к новой развязке «Ревизора». Не говорю о том, что тут нет никакой развязки, да и нет в ней никакой надобности; но подумали ли вы о том, каким образом Щепкин, давая себе в бенефис «Ревизора», увенчает сам себя каким-то венцом, поднесенным ему актерами? Вы позабыли всякую человеческую скромность. Вы позабыли, вы уже не знаете, как приняла бы все это русская образованная публика. Вы позабыли, что мы не французы, которые готовы бессмысленно восторгаться от всякой эффективной церемонии. Но мало этого. Скажите мне, положа руку на сердце: неужели ваши объяснения «Ревизора» искренни? Неужели вы, испугавшись нелепых толкований невежд и дураков, сами святотатственно посягаете на искажение своих

живых творческих созданий, называя их аллегорическими лицами? Неужели вы не видите, что аллегория внутреннего города не льнет к ним, как горох к стене, что название Хлестакова светскою совестью не имеет смысла?[49]

С. Т. Аксаков – Гоголю, 9 дек. 1846 г., из Москвы. История знакомства, 159.

Мне доставалось трудно все то, что достается легко природному писателю. Я до сих пор, как ни бьюсь, не могу обработать слог и язык свой, первые, необходимые орудия всякого писателя. Они у меня до сих пор в таком неряшестве, как ни у кого даже из дурных писателей, так что надо мной имеет право посмеяться едва начинающий школьник. Все мною написанное замечательно только в психологическом значении, но оно никак не может быть образцом словесности, и тот наставник поступит неосторожно, кто посоветует своим ученикам учиться у меня искусству писать, или, подобно мне, живописать природу: он заставит их производить карикатуры… У меня никогда не было стремления быть отголоском всего и отражать в себе действительность как она есть вокруг нас. Я даже не могу заговорить теперь ни о чем, кроме того, что близко моей собственной душе.

Гоголь – П. А. Плетневу. Письма, III, 277.

Вчера совершено великое дело; книга твоих писем пущена в свет. Но это дело совершит влияние свое только над избранными; прочие не найдут себе пищи в книге твоей. А она, по моему убеждению, есть начало собственно русской литературы. Все, до сих пор бывшее, мне представляется как ученический опыт на темы, выбранные из хрестоматии. Ты первый со дна почерпнул мысли и бесстрашно вынес их на свет. Обнимаю тебя, друг. Будь непреклонен и последователен. Что бы ни говорили другие, – иди своею дорогою… В том маленьком обществе, в котором уже шесть лет живу я, ты стал теперь гением помыслов и деяний.

П. А. Плетнев – Гоголю, 1/13 янв. 1847 г., из Петербурга. Рус. Вестн., 1890, № 11, стр. 42.

Государь император изволил прочитать с особым благоволением всеподданнейшее письмо ваше о выдаче вам паспорта для путешествия по святым местам. Его величество высочайше повелеть мне соизволил: уведомить вас, милостивый государь, что таковых чрезвычайных паспортов, какого вы просите, у нас никогда и никому не выдавалось, но что, искренно желая содействовать вам в благом вашем намерении, государь император приказал министру иностранных дел снабдить вас

беспошлинным паспортом на полтора года для свободного путешествия к святым местам и, вместе с сим, сообщить посольству нашему в Константинополе и всем консулам нашим в турецких владениях, Египте, Малой Азии, что государю императору угодно, дабы вам было оказываемо с их стороны всевозможное покровительство и попечение, и независимо от сих сообщений означенным лицам доставить вам рекомендательные к ним же письма от него, графа Нессельроде (*министра иностранных дел*).

В. Ф. Адлерберг – Гоголю, 9 янв. 1847 г. Рус. Мысль, 1896, № 5, стр. 176.

Книга ваша (*«Переписка»*) вышла под новый год. И вас поздравляю с таким вступлением, и Россию, которую вы подарили этим сокровищем. Странно! Но вы, все то, что вы писали доселе, ваши «Мертвые души» даже, – все побледнело как-то в моих глазах при прочтении вашего последнего томика. У меня просветлело на душе за вас.

А. О. Смирнова – Гоголю, 11 янв. 1847 г., из Калуги. Рус. Стар., 1890, авг., 282.

Мы не можем молчать о Гоголе, мы должны публично порицать его. Шевырев даже хочет напечатать беспощадный разбор его книги[50]. Дело в том, что хвалители и ругатели Гоголя переменились местами: все мистики, все ханжи, все примиряющиеся с подлою жизнью своею возгласами о христианском смирении утопают в слезах и восхищении. Я думал, что вся Россия даст ему публичную оплеуху, и потому не для чего нам присоединять рук своих к этой пощечине; но теперь вижу, что хвалителей будет очень много, и Гоголь может утвердиться в своем сумасшествии. Книга его может быть вредна многим. Вся она проникнута лестью и страшной гордостью под личиной смирения. Он льстит женщине, ее красоте, ее прелестям; он льстит Жуковскому, он льстит власти. Он не устыдился напечатать, что нигде нельзя говорить так свободно правду, как у нас. Может ли быть безумнее гордость, как требование его, чтобы, по смерти его, его завещание было немедленно напечатано во всех журналах, газетах и ведомостях, дабы никто не мог отговориться неведением оного? Чтобы не ставили ему памятника, а чтобы каждый вместо того сделался лучшим? Чтоб все исправились о имени его?.. Все это надобно завершить фактом, который равносилен 41-му числу мартобря (*в «Записках сумасшедшего»*).

С. Т. Аксаков – сыну И. С. Аксакову, 16 янв. 1847 г., из Москвы. История знакомства, 163.

Друг мой! Если вы желали произвести шум, желали, чтобы высказались и хвалители, и порицатели ваши, которые теперь отчасти переменились местами, то вы вполне достигли своей цели. Если это была с вашей

стороны шутка, то успех превзошел самые смелые ожидания: все одурачено. Противники и защитники представляют бесконечно разнообразный ряд комических явлений… Но увы! Нельзя мне обмануть себя: вы искренно подумали, что призвание ваше состоит в возвещении людям высоких нравственных истин в форме рассуждений и поучений, которых образчик содержится в вашей книге… Вы грубо и жалко ошиблись. Вы совершенно сбились, запутались, противоречите сами себе беспрестанно и, думая служить небу и человечеству, оскорбляете и бога, и человека.

Я не хотел и не хочу касаться до частностей вашей книги, но не могу умолчать о том, что меня более всего оскорбляет и раздражает: я говорю о ваших злобных выходках против Погодина[51]. Я не верил глазам своим, что вы, даже в завещании (я верю вам, что вы писали точно завещание, а не сочинение, хотя этому поверить довольно трудно), расставаясь с миром и всеми его презренными страстями, позорите, бесчестите человека, которого называли другом и который, точно, был вам друг, но по-своему. Погодин сначала был глубоко оскорблен, мне сказывали даже, что он плакал; но скоро успокоился. Он хотел написать вам следующее: «Друг мой! Иисус Христос учит нас, получив оплеуху в одну ланиту, подставлять со смирением другую; но где же он учит давать оплеухи?» Желал бы я знать, как бы вы умудрились отвечать ему[52].

С. Т. Аксаков – Гоголю, 27 янв. 1847 г., из Москвы. История знакомства, 164.

По делам моим произошла совершенная бестолковщина. Из книги моей напечатана только одна треть, в обрезанном и спутанном виде, какой-то странный оглодок, а не книга, Плетнев объявляет весьма холоднокровно, что просто не пропущено цензурой. Самые важные письма, которые должны составить существенную часть книги, не вошли в нее, – письма, которые были направлены именно к тому, чтобы получше ознакомить с бедами, происходящими от нас самих внутри России, и о способах исправить многое, письма, которыми я думал сослужить честную службу государю и всем моим соотечественникам. Я писал на днях Виельгорскому, прося и умоляя представить эти письма на суд государю. Сердце говорит мне, что он почтит их своих вниманием и повелит напечатать.

Гоголь – А. О. Смирновой, 30 янв. 1847 г., из Неаполя. Письма, III, 338.

О предоставлении государю переписанной вполне книги твоей теперь и думать нельзя. Иначе, какими глазами я встречу наследника (*Александр Николаевич, будущий император*), когда он сам лично советовал мне не печатать запрещенных цензором мест, а я, как будто в насмешку ему, полезу далее. Да и кто знает, не показывал ли он этого государю,

который, не желая дать огласки делу, велел, может быть, ему от себя то сказать, что я от него слышал.

П. А. Плетнев – Гоголю, 17/29 янв. 1847 г., из Петербурга. Рус. Вест., 1890, № 11, стр. 50.

Здоровье мое несколько вновь расстроилось. Ночи я не сплю, и сам не могу понять, отчего, потому что волненья нервического нет, ниже волнения в крови. Слабость усилилась, и некоторые прежние недуги стали возвращаться. Но дух уныния далеко от меня. И сама неожиданная смерть Языкова не повергнула меня в печаль, но в какое-то тихое упование.

Гоголь – В. А. Жуковскому, 10 февр. 1847 г., из Неаполя. Письма, III, 350.

Не позабудь передать мне все мненья об этом явившемся в печати оглодке, как твои, так и других. Поручай и другим узнавать, что говорят о ней во всех слоях общества, не выключая даже и дворовых людей, а потому проси всех благотворительных людей покупать книгу и дарить людям простым и неимущим.

Гоголь – Шевыреву, 11 февр. 1847 г. Письма, III, 358.

Мы, надувал самих себя Гоголем, надували и его, и поистине я не знаю ни одного человека, который бы любил Гоголя, как друг, независимо от его таланта. Надо мною смеялись, когда я говорил, что для меня не существует личность Гоголя, что я благоговейно, с любовию смотрю на тот драгоценный сосуд, в котором заключен великий дар творчества, хотя форма этого сосуда мне совсем не нравится.

С. Т. Аксаков – И. С. Аксакову, 16 февр. 1847 г. И. С. Аксаков в его письмах, т. I. М., 1888. Стр. 424.

Присоединяйте к концу вашего письма всякий раз какой-нибудь очерк и портрет какого-нибудь из тех лиц, среди которых обращается ваша деятельность, чтобы я по нем мог получить хоть какую-нибудь идею о том сословии, к которому он принадлежит в нынешнем и современном виде. Например, выставьте сегодня заглавие: Городская львица, и, взявши одну из них, такую, которая может быть представительницей всех провинциальных львиц, опишите мне ее со всеми ухватками, – и как садится, и как говорит, и в каких платьях ходит, и какого рода львам кружит голову, словом, – личный портрет во всех подробностях. Потом завтра выставьте заглавие: Непонятная женщина, и опишите мне таким образом непонятную женщину. Потом: Городская добродетельная

женщина; потом: Честный взяточник; потом: Губернский лев. Словом, всякого такого, который вам покажется типом, могущим подать собою верную идею о том сословии, к которому он принадлежит… После вы увидите, какое христиански доброе дело можно будет сделать мне, наглядевшись на портреты ваши, и виновницей этого будете вы[53].

Гоголь – А. О. Смирновой, 22 февр. 1847 г. Письма, III, 370.

Появление книги моей разразилось точно в виде какой-то оплеухи: оплеуха публике, оплеуха друзьям моим и, наконец, еще сильнейшая оплеуха мне самому. После нее я очнулся, точно как будто после какого-то сна, чувствуя, как провинившийся школьник, что напроказил больше того, чем имел намерение. Я размахнулся в моей книге таким Хлестаковым, что не имею духу заглянуть в нее. Но тем не менее книга эта отныне будет лежать всегда на столе моем, как верное зеркало, в которое мне следует глядеться для того, чтобы видеть все свое неряшество и меньше грешить вперед… Как мне стыдно за себя, – стыдно, что возомнил о себе, будто мое школьное воспитание уже кончилось, и могу я стать наравне с тобою. Право, есть во мне что-то хлестаковское… Ночи мои все по-прежнему без сна; я слаб телом, но духом, слава богу, довольно свеж.

Гоголь – В. А. Жуковскому, 6 марта 1847 г., из Неаполя. Письма, III, 398.

Я знаю, что в обществе раздаются мнения, невыгодные насчет меня самого, как-то: о двусмысленности моего характера, о поддельности моих правил, о моем действовании из каких-то личных выгод и угождений некоторым лицам. Все это мне нужно знать, нужно знать даже и то, кто именно как обо мне выразился. Не бойтесь, я не вынесу из избы сору… Книга моих писем выпущена в свет затем, чтобы пощупать ею других и себя самого, чтобы узнать, на какой степени душевного состояния стою теперь я сам, потому что себя трудно видеть, а когда нападут со всех сторон и станут на тебя указывать пальцами, тогда и сам отыщешь в себе многое. Книга моя вышла не столько затем, чтобы распространить какие-либо сведения, сколько затем, чтобы добиться самому многих тех сведений, которые мне необходимы для труда моего, чтобы заставить многих людей умных заговорить о предметах важных и развернуть их знания, скупо скрываемые от других.

Гоголь – гр. А. М. Виельгорской, 16 марта 1847 г., из Неаполя. Письма, III, 411.

Появление этой книги полезно мне самому больше, чем кому-либо другому. Одно помышленье о том, с каким неприличием и самоуверенностью сказано в ней многое, заставляет меня гореть от стыда. Стыд этот мне нужен, Не появись моя книга, мне бы не было и

вполовину известно мое душевное состояние. Все эти недостатки мои, которые вас так поразили, не выступили бы передо мною в такой наготе: мне бы никто их не указал. Люди, с которыми я нахожусь ныне в сношениях, уверены не шутя в моем совершенстве. Где же мне было добыть голос осуждения?

Гоголь – кн. В. В. Львову, 20 марта 1847 г., из Неаполя. Письма. III, 421.

Ты избалован был всею Россиею: поднося тебе славу, она питала в тебе самолюбие. В книге твоей оно выразилось колоссально, иногда чудовищно. Самолюбие никогда не бывает так чудовищно, как в соединении с верою. В вере оно уродство.

С. П. Шевырев – Гоголю, 22 марта ст. ст. 1847 г., из Москвы. Отчет имп. Публичной библиотеки за 1893 г. СПб. 1896. Стр. 46 (Приложение).

Одна из причин печатания моих писем была и та, чтобы поучиться, а не поучить. А так как русского человека до тех пор не заставишь говорить, пока не рассердишь его, то я оставил почти нарочно много тех мест, которые заносчивостью способны задрать за живое. Скажу вам не шутя, что я болею незнанием многих вещей в России, которые мне необходимо нужно знать. Я болею незнанием, что такое нынешний русский человек на разных степенях своих мест, должностей и образований. Все сведения, которые я приобрел доселе с неимоверным трудом, мне недостаточны для того, чтобы «Мертвые души» мои были тем, чем им следует быть. Вот почему я с такой жадностью хочу знать толки всех людей о моей нынешней книге, не выключая лакеев, ради того, что в суждении о ней выказывается сам человек, произносящий суждение.

Гоголь – А. О. Россету, 15 апр. 1847 г., из Неаполя. Письма, III, 428.

Я прошу вас убедительно прочитать мою книгу и сказать мне хотя два словечка о ней, первые, какие придутся вам, какие скажет вам душа ваша. Не скройте от меня ничего и не думайте, чтобы ваше замечание или упрек был для меня огорчителен. Упреки мне сладки, а от вас еще будет слаще. Не затрудняйтесь тем, что меня не знаете; говорите мне так, как бы меня век знали… В заключение прошу вас молиться обо мне крепко, крепко, во все время путешествия моего к святым местам, которое, видит бог, хотелось бы совершить в потребу истинную души моей, дабы быть в силах потом совершить дело во славу святого имени его[54].

Гоголь – отцу Матвею Константиновскому, из Неаполя. Письма, III, 457.

(*По поводу книги Гоголя «Переписка».*) Мне кажется, что всего любопытнее в этом случае не сам Гоголь, а то, что его таким сотворило, каким он теперь перед нами явился. Как вы хотите, чтобы в наше надменное время, напыщенное народною спесью, писатель даровитый, закуренный ладаном с ног до головы, не зазнался, чтобы голова у него не закружилась? Это просто невозможно… Недостатки книги Гоголя принадлежат не ему, а тем, которые превозносят его до безумия, которые преклоняются перед ним, как пред высшим проявлением самобытного русского ума, которые налагают на него чуть не всемирное значение… Разумеется, он родился не вовсе без гордости, но все-таки главная беда произошла от его поклонников. Я говорю в особенности о его московских поклонниках. Но знаете ли, откуда взялось у нас на Москве это безусловное поклонение даровитому писателю? Оно произошло оттого, что нам понадобился писатель, которого бы мы могли поставить наряду со всеми великанами духа человеческого, с Гомером, Дантом, Шекспиром, и выше всех иных писателей настоящего времени. Этих поклонников я знаю коротко, я их люблю и уважаю: они люди умные, хорошие; но им надо во что бы то ни стало возвысить нашу скромную, богомольную Русь над всеми народами в мире, им непременно захотелось себя и всех других уверить, что мы призваны быть какими-то наставниками народов. Вот и нашелся на первый случай, такой крошечный наставник, вот они и стали ему про это твердить на разные голоса, и вслух, и на ухо; а он, как простодушный, доверчивый поэт, им и поверил. К счастью, в нем таился, как я выше сказал, зародыш той самой гордости, которую в нем силились развить их хваления. Хвалениями их он пресыщался; но к самим этим людям он не питал ни малейшего уважения. Это выражается в его разговоре на каждом слове. От этого родилось болезненное его состояние, а потом новым направлением, им принятым, быть может, как убежищем от преследующей его грусти, от тяжкого неисполнимого урока, ему заданного современными причудами… Бог знает, куда заведут его друзья, как вынесет он бремя их гордых ожиданий, неразумных внушений и неумеренных похвал!..

В Гоголе нет ничего иезуитского. Он слишком спесив, слишком бескорыстен, слишком откровенен, откровенен иногда даже до цинизма, одним словом, он слишком неловок, чтобы быть иезуитом.

П. Я. Чаадаев кн. П. А. Вяземскому, 29 апр. 1847 г., из Москвы. Н. В. Сушков. Моск. универ. благор. пансион. М. 1858. Стр. 26.

Не могу скрыть от вас, что меня очень испугали слова ваши, что книга моя должна произвести вредное действие, и я дам за нее ответ богу. Я несколько времени оставался после этих слов в состоянии упасть духом; но мысль, что безгранично милосердие божие, меня поддержала…[55]

Книга моя не от дурного умысла: мое неразумие всему причиною; за то бог и наказал меня, наказал меня тем, что все до единого вопиют против моей книги, хотя и разнообразны до бесконечности причины этих криков. Но как милостиво и самое наказание его! В наказание он дает мне почувствовать смирение, – лучшее, что только можно дать мне.

Гоголь – о. Матвею, 9 мая 1847 г., из Неаполя. Письма, III, 459.

11 мая 1847 г. Гоголь выезжает из Неаполя на север.

А. И. Кирпичников. Хронолог. канва, 91.

Отсюда (*из Парижа*) в воскресенье уехал Гоголь, который провел здесь неделю в одной гостинице с нами. Мы почти каждый день обедали с ним у Толстых; здоровье его совершенно поправилось: он все время был весел, разговорчив и бодр, одним словом – другой человек, а не тот, которого мы встретили прошлым летом в Остенде. Путешествие его в Иерусалим не совершилось, потому что вырученные за последнюю книгу деньги пришли поздно, а без них не с чем было пуститься в дальний путь. Кстати о книге: удивительно, что после критик, больше жестоких и исполненных остервенения, он не только вовсе не раздражен, но, напротив, покойнее и светлее духом прежнего.

В. А. Муханов – сестрам, 28 мая/9 июня 1847 г., из Парижа. Н. Миловский. К биографии Гоголя, III.

Душа моя уныла, как ни креплюсь и ни стараюсь быть хладнокровным. Отношения мои стали слишком тяжелы со всеми теми друзьями, которые поторопились подружиться со мною, не узнавши меня. Как у меня еще совсем не закружилась голова, как я не сошел еще с ума от всей этой бестолковщины, этого я и сам не могу понять. Знаю только, что сердце мое разбито и деятельность моя отнялась. Можно вести брань с самыми ожесточенными врагами, но храни бог всякого от этой страшной битвы с друзьями! Тут все изнеможет, что ни есть в тебе. Друг мой, я изнемог, – вот все, что могу вам сказать теперь.

Гоголь – С. Т. Аксакову, 10 июня 1847 г., из Франкфурта. Письма, III, 477.

Я почел с прискорбием статью вашу обо мне в «Современнике», – не потому, чтобы мне прискорбно было унижение, в которое вы хотели меня поставить в виду всех, но потому, что в нем слышен голос человека, на меня рассердившегося. А мне не хотелось бы рассердить человека, даже не любящего меня, тем более вас, который – думал я – любит меня. Я вовсе не имел в виду огорчить вас ни в каком месте моей книги. Как же вышло, что на меня рассердились все до единого в России? Этого покуда

я еще не могу понять. Восточные, западные, нейтральные – все огорчились. Это правда, я имел в виду небольшой щелчок каждому из них, считая это нужным, испытавши надобность его на собственной коже (всем нам нужно побольше смирения); но я не думал, чтоб щелчок мой вышел так грубо неловок и так оскорбителен. Я думал, что мне великодушно простят все это и что в книге моей зародыш примирения всеобщего, а не раздора. Вы взглянули на мою книгу глазами человека рассерженного, а потому почти все приняли в, другом виде. Оставьте все те места, которые, покамест, еще загадка для многих, если не для всех, и обратите внимание на те места, которые доступны всякому здравому и рассудительному человеку, и вы увидите, что вы ошиблись во многом… Пишите критики самые жестокие, прибирайте все слова, какие знаете, на то, чтобы унизить человека, способствуйте к осмеянию меня в глазах ваших читателей, не пожалев самых чувствительных струн, может быть, нежнейшего сердца, – все это вынесет душа моя, хотя и не без боли, и не без скорбных потрясений; но мне тяжело, очень тяжело, – говорю вам это искренно, – когда против меня питает личное озлобление даже и злой человек, а вас я считал за доброго человека. Вот вам искреннее излияние моих чувств.

Гоголь – В. Г. Белинскому, 29 июня 1847 г., из Франкфурта. Письма, III, 491.

(*Больной Белинский жил в это время с Анненковым на водах в Германии, в Зальцбрунне.*) – Когда я стал читать вслух письмо Гоголя, Белинский слушал его совершенно безучастно и рассеянно, но, пробежав строки Гоголя к нему самому, Белинский вспыхнул и промолвил: «А! Он не понимает, за что люди на него сердятся, – надо растолковать ему это. Я буду ему отвечать». В тот же день небольшая комната, рядом с спальней Белинского, которая снабжена была диванчиком по одной стене и круглым столом перед ним, превратилась в письменный кабинет. На круглом столе явилась чернильница, бумага, и Белинский принялся за письмо к Гоголю, как за работу, и с тем же пылом, с каким производил свои срочные журнальные статьи в Петербурге. То была именно статья, но писанная под другим небом… Три дня сряду Белинский, возвращаясь с вод домой, проходил прямо в свой импровизированный кабинет. Все это время он был молчалив и сосредоточен. Каждое утро, после обязательной чашки кофе, ждавшей его в кабинете, он надевал летний сюртук, садился на диванчик и наклонялся к столу. Занятия длились до часового нашего обеда, после которого он не работал. Не покажется удивительным, что он употребил три утра на составление письма к Гоголю, если прибавить, что он часто отрывался от работы, сильно взволнованный ею, и отдыхал от нее, опрокинувшись на спинку дивана. Притом же и самый процесс составления был довольно сложен. Белинский набросал сперва письмо

карандашом на клочках бумаги, затем переписал его четко и аккуратно набело и потом снял еще с готового текста копию для себя. Видно, что он придавал большую важность делу, которым занимался, и как будто понимал, что составляет документ, выходящий из рамки частной, интимной корреспонденции. Когда работа была кончена, он посадил меня перед круглым столом своим и прочел свое произведение.

П. В. Анненков. Замечательное десятилетие. Литературные воспоминания, 355.

ПИСЬМО БЕЛИНСКОГО К ГОГОЛЮ

Вы только отчасти правы, увидав в моей статье рассерженного человека: этот эпитет слишком слаб и нежен для выражения того состояния, в которое привело меня чтение вашей книги. Но вы вовсе неправы, приписавши это вашим, действительно, не совсем лестным, отзывам о почитателях вашего таланта. Нет, тут была причина более важная. Оскорбленное чувство самолюбия еще можно перенести, и у меня достало бы ума промолчать об этом предмете, если бы все дело заключалось в нем, но нельзя перенести оскорбленного чувства истины, человеческого достоинства, нельзя молчать, когда под покровом религии и защитою кнута проповедуют ложь и безнравственность как истину и добродетель.

Да, я любил вас со всею страстью, с какою человек, кровно связанный с своею страною, может любить ее надежду, честь, славу, одного из великих вождей ее на пути сознания, развития, прогресса. И вы имели основательную причину хоть на минуту выйти из спокойного состояния духа, потерявши право на такую любовь. Говорю это не потому, чтобы я считал любовь свою наградою великого таланта, а потому, что в этом отношении я представляю не одно, а множество лиц, из которых ни вы, ни я не видали самого большого числа и которые в свою очередь тоже никогда не видали вас. Я не в состоянии дать вам ни малейшего понятия о том негодовании, которое возбудила ваша книга во всех благородных сердцах, ни о тех воплях дикой радости, которые издали при появлении ее все враги ваши, и нелитературные – Чичиковы, Ноздревы, Городничие и т. д. – и литературные, которых имена хорошо вам известны. Вы сами видите, что от вашей книги отступились даже те люди, по-видимому, одного духа с ее духом. Если бы она и была написана вследствие глубокого, искреннего убеждения, и тогда бы она должна была бы произвести на публику то же впечатление. И если ее приняли все (за исключением немногих людей, которых надо видеть и знать, чтобы не обрадоваться их одобрению) за хитрую, но чересчур нецеремонную проделку для достижения небесным путем чисто земной цели, – в этом виноваты только вы. И это нисколько не удивительно, а удивительно то, что вы находите это удивительным. Я думаю, это оттого,

что вы глубоко знаете Россию только как художник, а не как мыслящий человек, роль которого вы так неудачно приняли на себя в вашей фантастической книге. И это не потому, чтобы вы не были мыслящим человеком, а потому, что вы столько уже лет привыкли смотреть на Россию из вашего прекрасного далека; а ведь известно, что ничего нет легче, как издалека видеть предметы такими, какими нам хочется их видеть; потому что в этом прекрасном далеке вы живете совершенно чуждым ему, в самом себе, внутри себя, или в однообразии кружка, одинаково с вами настроенного и бессильного противиться вашему на него влиянию. Поэтому вы не заметили, что Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиэтизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их), не молитвы (довольно она твердила их), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе, права и законы, сообразные не с учением церкви, а с здравым смыслом и справедливостью, и строгое по возможности их исполнение. А вместо этого она представляет собою ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми, не имея на это и того оправдания, каким лукаво пользуются американские плантаторы, утверждая, что негр не человек; страны, где люди сами себя называют не именами, а кличками: Ваньками, Васьками, Стешками, Палашками; страны, где, наконец, нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей! Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение по возможности строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть. Это чувствует даже само правительство (которое хорошо знает, что делают помещики со своими крестьянами и сколько последние ежегодно режут первых), что доказывается его робкими и бесплодными полумерами в пользу белых негров и комическим заменением однохвостого кнута треххвостною плетью.

Вот вопросы, которыми тревожно занята вся Россия в ее апатическом полусне! И в это-то время великий писатель, который своими дивно-художественными, глубоко-истинными творениями так могущественно содействовал самосознанию России, давши ей возможность взглянуть на самое себя, как будто в зеркале, – является с книгою, в которой во имя Христа и церкви учит варвара-помещика наживать от крестьян больше денег, учит их ругать побольше... И это не должно было привести меня в негодование?.. Да если бы вы обнаружили покушение на мою жизнь, и тогда бы я не более возненавидел вас, как за эти позорные строки... И после этого вы хотите, чтобы верили искренности направления вашей книги! Нет, если бы вы действительно преисполнились истиною христовою, а не дьяволовым учением, совсем не то написали бы вы вашему адепту из помещиков. Вы написали бы

ему, что, так как его крестьяне – его братья во Христе, а как брат не может быть рабом своего брата, то он должен или дать им свободу, или хотя по крайней мере пользоваться их трудами как можно льготнее для них, сознавая себя, в глубине своей совести; в ложном, в отношении к ним, положении.

А выражение: «Ах ты, неумытое рыло!» Да у какого Ноздрева, у какого Собакевича подслушали вы его, чтобы передать миру как великое открытие в пользу и назидание мужиков, которые и без того потому не умываются, что, поверив своим барам, сами себя не считают за людей? А ваше понятие о национальном русском суде и расправе, идеал которого нашли вы в глупой поговорке, что должно пороть и правого и виноватого? Да это и так у нас делается вчастую, хотя еще чаще всего порют только правого, если ему нечем откупиться от преступления, и другая поговорка говорит тогда: без вины виноват! И такая-то книга могла быть результатом трудного внутреннего процесса, высокого духовного просветления! Не может быть! Или вы больны – и вам надо спешить лечиться, или... не смею досказать моей мысли!.. Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов – что вы делаете! Взгляните себе под ноги, – ведь вы стоите над бездною... Что вы подобное учение опираете на православную церковь, это я еще понимаю: она всегда была опорою кнута и угодницей деспотизма; но Христа-то зачем вы примешали тут? Что вы нашли общего между ним и какою-нибудь, а тем более православною церковью? Од первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства и мученичеством запечатлел, утвердил истину своего учения. И оно только до тех пор и было спасением людей, пока не организовалось в церковь и не приняло за основание принципа ортодоксии. Церковь же явилась иерархией, стало быть, поборницей неравенства, льстецом власти, врагом и гонительницею братства между людьми, – чем продолжает быть и до сих пор. Но смысл христова слова открыт философским движением прошлого века. И вот почему какой-нибудь Вольтер, орудием насмешки погасивший в Европе костры фанатизма и невежества, конечно, более сын Христа, плоть от плоти его и кость от костей его, нежели все ваши попы, архиереи, митрополиты, патриархи. Неужели вы этого не знаете! Ведь это теперь не новость для всякого гимназиста... А потому неужели вы, автор «Ревизора» и «Мертвых душ», неужели вы искренно, от души, пропели гимн гнусному русскому духовенству, поставив его неизмеримо выше духовенства католического? Положим, вы не знаете, что второе когда-то было чем-то – между тем как первое никогда ничем не было, кроме как слугою и рабом светской власти; но неужели же в самом деле вы не знаете, что наше духовенство находится во всеобщем презрении у русского общества и русского народа? Про кого русский народ рассказывает похабную сказку? Про попа, попадью, попову дочь и попова работника. Не есть ли поп на Руси для всех русских представитель обжорства,

скупости, низкопоклонничества, бесстыдства? И будто всего этого вы не знаете? Странно! По-вашему, русский народ самый религиозный в мире, – ложь. Основа религиозности есть пиэтизм, благоговение, страх божий. А русский человек произносит имя божие, почесывая себе зад. Он говорит об образе: годится – молиться, а не годится – горшки покрывать? Приглядитесь попристальнее, и вы увидите, что это по натуре глубоко-атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности. Суеверие проходит с успехами цивилизации, но религиозность часто уживается и с ними; живой пример Франции, где и теперь много искренних католиков между людьми просвещенными и образованными и где многие, отложившись от христианства, все еще упорно стоят за какого-то бога. Русский народ не таков; мистическая экзальтация не в его натуре; у него слишком много для этого здравого смысла, ясности и положительности в уме, и вот в этом-то, может быть, огромность исторических судеб его в будущем. Религиозность не привилась в нем даже к духовенству, ибо несколько отдельных исключительных личностей, отличавшихся тихою, холодною аскетическою созерцательностью, ничего не доказывают. Большинство же нашего духовенства всегда отличалось только толстыми брюхами, схоластическим педантством да диким невежеством. Его грех обвинить в религиозной нетерпимости и фанатизме, его скорее можно похвалить за образцовый индиферентизм в деле веры. Религиозность проявилась у нас только в раскольнических сектах, столь противоположных по духу своему массе народа и столь ничтожных перед нею числительно.

Не буду распространяться о вашем дифирамбе любовной связи русского народа с его владыками. Скажу прямо: этот дифирамб ни в ком не встретил себе сочувствия и уронил вас в глазах даже людей, в других отношениях очень близких к вам по их направлению. Что касается до меня лично, предоставляю вашей совести упиваться созерцанием божественной красоты самодержавия (оно – покойно, да говорят, и выгодно для вас), только продолжайте благоразумно созерцать его из вашего прекрасного далека: вблизи-то оно не так прекрасно и не так безопасно… Замечу только одно: когда европейцем, особенно католиком, овладевает религиозный дух, он делается обличителем неправой власти, подобно еврейским пророкам, обличавшим беззакония сильных земли. У нас же наоборот: постигает человека (даже порядочного) болезнь, известная у врачей-психиатров под именем religiosa mania. Он тотчас же земному богу подкурит более, нежели небесному, да еще так хватит через край, что тот и хотел бы его наградить за рабское усердие, да видит, что этим скомпрометировал бы себя в глазах общества… Бестия наш брат, русский человек!..

Вспомнил я еще, что в вашей книге вы утверждаете, за великую и неоспоримую истину, будто простому народу грамота не только не полезна, но положительно вредна. Что сказать вам на это? Да простит

вас ваш византийский бог за эту византийскую мысль, если только, передавши ее бумаге, вы ведали, что творили... Но, может быть, вы скажете: «Положим, что я заблуждался, и все мои мысли ложь, но почему же отнимают у меня право заблуждаться и не хотят верить искренности моих заблуждений?» Потому, отвечаю я вам, что подобное направление в России давно уже не новость. Даже еще недавно оно было вполне исчерпано Бурачком с братиею. Конечно, в вашей книге более ума и даже таланта (хотя того и другого не очень богато в ней), чем в их сочинениях; но зато они развили общее с вами учение с большей энергией и с большей последовательностью, смело дошли до его последних результатов: все отдали византийскому богу, ничего не оставили сатане; тогда как вы, желая поставить по свечке и тому и другому, впали в противоречие, отстаивали, например, Пушкина, литературу и театры, которые, с вашей точки зрения, если бы вы только имели добросовестность быть последовательным, нисколько не могут служить к спасению души, но много могут служить к ее погибели... Чья же голова могла переварить мысль о тождественности Гоголя с Бурачком? Вы слишком высоко поставили себя во мнении русской публики, чтобы она могла верить в вас искренности подобных убеждений. Что кажется естественным в глупцах, то не может казаться таким в гениальном человеке. Некоторые остановились было на мысли, что ваша книга есть плод умственного расстройства, близкого к положительному сумасшествию. Но они скоро отступились от такого заключения – ясно, что книга писана не день, не неделю, не месяц, а, может быть, год, два или три; в ней есть связь; сквозь небрежное изложение проглядывает обдуманность, а гимн властям предержащим хорошо устраивает земное положение набожного автора. Вот почему в Петербурге распространился слух, будто вы написали эту книгу с целью попасть в наставники к сыну наследника. Еще прежде в Петербурге сделалось известным письмо ваше к Уварову, где вы говорите с огорчением, что вашим сочинениям о России дают превратный толк, затем обнаруживаете недовольствие своими прежними произведениями и объявляете, что только тогда останетесь довольны своими сочинениями, когда ими будет доволен тот, который и т. д. Теперь судите сами, можно ли удивляться тому, что ваша книга уронила вас в глазах публики и как писателя, и, еще более, как человека.

Вы, сколько я вижу, не совсем хорошо понимаете русскую публику. Ее характер определяется положением русского общества, в котором кипят и рвутся наружу свежие силы, но, сдавленные тяжелым гнетом, не находя исхода, производят только уныние, тоску, апатию. Только в одной литературе, несмотря на татарскую цензуру, есть еще жизнь и движение вперед. Вот почему звание писателя у нас так почетно, почему у нас так легок литературный успех даже при маленьком таланте. Титло поэта, звание литератора у нас давно уже затмило мишуру эполет и разноцветных мундиров. И вот почему у нас в особенности награждается

общим вниманием всякое так называемое либеральное направление, даже и при бедности таланта, и почему так скоро падает популярность великих талантов, отдающих себя искренно или неискренно в услужение православию, самодержавию и народности. Разительный пример Пушкин, которому стоило написать только два-три верноподданнических стихотворения и надеть камер-юнкерскую ливрею, чтобы вдруг лишиться народной любви! И вы сильно ошибаетесь, если не шутя думаете, что ваша книга пала не от ее дурного направления, а от резкости истин, будто бы высказанных вами всем и каждому. Положим, вы могли это думать о пишущей братии, но публика-то как могла попасть в эту категорию? Неужели в «Ревизоре» и «Мертвых душах» вы менее резко, с меньшею истиною и талантом и менее горькие правды высказали ей? И старая школа, действительно, сердилась на вас до бешенства, но «Ревизор» и «Мертвые души» оттого не пали, тогда как ваша последняя книга позорно провалилась сквозь землю. И публика тут права: она видит в русских писателях своих единственных вождей, защитников и спасителей от русского самодержавия, православия и народности, и потому, всегда готовая простить писателю плохую книгу, никогда не простит ему зловредной книги. Это показывает, сколько лежит в нашем обществе, хотя еще в зародыше, свежего, здорового чутья, и это же показывает, что у него есть будущность. Если вы любите Россию, порадуйтесь вместе со мною, порадуйтесь падению вашей книги!..

Не без некоторого чувства самодовольствия скажу вам, что мне кажется, что я немного знаю русскую публику. Ваша книга испугала меня возможностью дурного влияния на правительство, на цензуру, но не на публику. Когда пронесся в Петербурге слух, что правительство хочет напечатать вашу книгу в числе многих тысяч экземпляров и продавать ее по самой низкой цене, – мои друзья приуныли; но я тогда же сказал им, что, несмотря ни на что, книга не будет иметь успеха, и о ней скоро забудут. И действительно, она памятнее теперь всеми статьями о ней, нежели сама собою. Да, у русского человека глубок, хотя и не развит еще, инстинкт истины.

Ваше обращение, пожалуй, могло быть и искренно, но мысль – довести о нем до сведения публики – была самая несчастная. Времена наивного благочестия давно уже прошли и для нашего общества. Оно уже понимает, что молиться везде все равно, что в Иерусалиме ищут Христа только люди, или никогда не носившие его в груди своей, или потерявшие его. Кто способен страдать при виде чужого страдания, кому тяжко зрелище угнетения чуждых ему людей, – тот носит Христа в груди своей, и тому незачем ходить пешком в Иерусалим. Смирение, проповедуемое вами, во-первых, не ново, а во-вторых, отзывается, с одной стороны, страшною гордостью, а с другой – самым позорным унижением своего человеческого достоинства. Мысль сделаться

каким-то абстрактным совершенством, стать выше всех смирением – может быть плодом или гордости или слабоумия и в обоих случаях ведет неизбежно к лицемерию, ханжеству, китаизму. И при этом в вашей книге вы позволили себе цинически-грязно выражаться не только о других (это было бы только невежливо), но и о самом себе, – это уже гадко, потому что если человек, бьющий своего ближнего по щекам, возбуждает негодование, то человек, бьющий по щекам сам себя, возбуждает презрение. Нет, вы только омрачены, а не просветлены; вы не поняли ни духа, ни формы христианства нашего времени. Не истиной христианского учения, а болезненной боязнию смерти, черта и ада веет от вашей книги.

И что за язык, что за фразы! «Дрянь и тряпка стал теперь всяк человек»... Неужели вы так думаете, что сказать всяк вместо всякий – значит выражаться библейски? Какая это великая истина, что, когда человек весь отдается лжи, его оставляет ум и талант. Не будь на вашей книге выставлено вашего имени и будь из нее выключены те места, где вы говорите о себе как писатель, кто бы подумал, что эта надутая и неопрятная шумиха слов и фраз произведение автора «Ревизора» и «Мертвых душ»?

Что же касается до меня лично, повторяю вам: вы ошиблись, сочтя мою статью выражением досады за ваш отзыв обо мне, как об одном из ваших критиков. Если бы только это рассердило меня, я только об этом и отозвался бы с досадою, а обо всем остальном выразился бы спокойно, беспристрастно. А это правда, что ваш отзыв о ваших почитателях вдвойне нехорош. Я понимаю необходимость щелкнуть иногда глупца, который своими похвалами, своим восторгом ко мне только делает меня смешным, но и эта необходимость тяжела, потому что как-то по-человечески неловко даже за ложную любовь платить враждою. Но вы имели в виду людей если не с отличным умом, то все же не глупцов. Эти люди в своем удивлении к вашим творениям наделали, быть может, гораздо больше восклицаний, нежели сколько высказали о них дела; но все же их энтузиазм к вам выходит из такого чистого и благородного источника, что вам вовсе не следовало бы выдавать их головою общим их и вашим врагам, да еще вдобавок обвинять их в намерении дать какой-то превратный толк вашим сочинениям. Вы, конечно, сделали это по увлечению главною мыслию вашей книги и по неосмотрительности, а Вяземский, этот князь в аристократии и холоп в литературе, развил вашу мысль и напечатал на ваших почитателей (стало быть, на меня всех более) чистый донос. Он это сделал, вероятно, в благодарность вам за то, что вы его, плохого рифмоплета, произвели в великие поэты, кажется, сколько я помню, за его «вялый, влачащийся по земле стих». Все это нехорошо. А что вы ожидали только времени, когда вам можно будет отдать справедливость и почитателям вашего таланта (отдавши ее с гордым смирением вашим врагам), этого я не знал; не мог, да,

признаться, и не хотел бы знать. Передо мной была ваша книга, а не ваши намерения: я читал ее и перечитывал сто раз, и все-таки не нашел в ней ничего, кроме того, что в ней есть, а то, что в ней есть, глубоко возмутило и оскорбило мою душу.

Если бы я дал полную волю моему чувству, письмо это скоро бы превратилось в толстую тетрадь. Я никогда не думал писать к вам об этом предмете, хотя и мучительно желал этого, и хотя вы всем и каждому печатно дали право писать к вам без церемонии, имея в виду одну правду. Живя в России, я не мог бы этого сделать, ибо тамошние «Шпекины» распечатывают чужие письма не из одного личного удовольствия, но и по долгу службы, ради доносов. Нынешним летом начинающаяся чахотка прогнала меня за границу, и Некрасов переслал мне ваше письмо в Зальцбрунн, откуда я сегодня же еду с Анненковым в Париж, через Франкфурт-на-Майне. Неожиданное получение вашего письма дало мне возможность высказать вам все, что лежало у меня на душе против вас по поводу вашей книги. Я не умею говорить вполовину, не умею хитрить; это не в моей натуре. Пусть вы или само время докажет мне, что я заблуждался в моих об вас заключениях. Я первый порадуюсь этому, но не раскаюсь в том, что сказал вам. Тут дело идет не о моей или вашей личности, но о предмете, который гораздо выше не только меня, но даже и вас; тут дело идет об истине, о русском обществе, о России.

И вот мое последнее заключительное слово: если вы имели несчастье с гордым смирением отречься от ваших истинно великих произведений, то теперь вам должно с искренним смирением отречься от последней вашей книги и тяжкий грех ее издания в свет искупить новыми творениями, которые бы напомнили ваши прежние.

В. Г. Белинский – Гоголю, 15 июля 1847 г., из Зальцбрунна. Белинский. Письма, III, 230.

Я испугался и тона, и содержания этого ответа, и, конечно, не за Белинского, потому что особенных последствий заграничной переписки между знакомыми тогда еще нельзя было предвидеть; я испугался за Гоголя, который должен был получить ответ, и живо представил себе его положение в минуту, когда он станет читать это страшное бичевание. В письме заключалось не одно только опровержение его мнений и взглядов: письмо обнаруживало пустоту и безобразие всех идеалов Гоголя, всех его понятий о добре и чести, всех нравственных основ его существования – вместе с диким положением той среды, защитником которой он выступил. Я хотел объяснить Белинскому весь объем его страстной речи, но он знал это лучше меня, как оказалось. «А что же делать? – сказал он. – Надо всеми мерами спасать людей от бешеного человека, хотя бы взбесившийся был сам Гомер. Что же касается до оскорбления Гоголя, я никогда не могу так оскорбить его, как он

оскорблял меня в душе моей и в моей вере в него». Письмо было послано. Мы выехали в Дрезден по направлению к Парижу.

Здесь, забегая вперед, скажу, что, по прибытии в Париж, Герцен, уже поджидавший нас, явился в отель Мишо, где мы остановились, и Белинский тотчас же рассказал ему о вызове, полученном им от Гоголя, и об ответе, который он ему послал. Затем он прочел ему черновое своего письма. Во все время чтения уже знакомого мне письма я был в соседней комнате, куда, улучив минуту, Герцен шмыгнул, чтобы сказать мне на ухо: «Это – гениальная вещь, да это, кажется, и завещание его». (*Меньше, чем через год, Белинский умер в Петербурге от чахотки.*)

П. В. Анненков. Замечательное десятилетие. Литературные воспоминания, 356.

На пути сюда, во Франкфурте, надеялись видеть Жуковского, но он был в Дармштадте, куда ожидали государя-наследника. Зато провели день с Гоголем, который ездил вместе с нами в Гомбург, известный своими водами и играми, этою язвою германских вод. Мы много говорили с ним о последней его книге; он не любит толковать о своих сочинениях, но на сей раз изменил своему правилу. Ему многие ставят в вину, что без всякой причины, без малейшего права, он вздумал быть всеобщим наставником. Между тем ему никогда подобная мысль не приходила в голову. Занимаясь сочинением, для которого нужно было ему собрать много материалов и в особенности узнать мысли и мнения его соотечественников о некоторых предметах, о которых он намерен говорить в своем творении, он издал свою переписку, чтобы вызвать толки и прения. Цель его достигнута. Он получил множество писем с замечаниями на книгу.

В. А. Муханов – сестрам, 1 июля 1847 г., из Бадена. Н. Миловский. К биографии Гоголя, 13.

Гоголь погостил здесь, в Эмсе, четыре дня. Он бодр и хорош; но нисколько нельзя предвидеть, что он будет писать или делать. Сам не знает.

А. С. Хомяков – неизвестному, 8 июля 1847 г., из Эмса. Рус. Арх., 1884, III, 211.

Гоголь теперь во Франкфурте; он пополнел, поздоровел, но вместо жаркой Палестины едет к южным берегам Северного моря, в котором надеется утопить последний остаток своего нервического недуга. Он теперь давно ушел от того состояния, в каком провел у меня целую зиму.

В. А. Жуковский – А. О. Смирновой, 3/15 июля 1847 г., из Франкфурта. А. О. Смирнова. Записки, 351.

Здоровье мое на нынешний раз не получает значительной поправки от ванн… Сделались было даже такие недуги, вследствие которых я должен был прекратить на время ванны, но здоровье духа моего довольно крепко. Начинаю вновь понемногу купаться.

Гоголь – гр. Л. К. Виельгорской, 8 авг. 1847 г., из Остенде. Письма, IV, 32.

Я не мог отвечать скоро на ваше письмо. Душа моя изнемогла, все во мне потрясено. Могу сказать, что не осталось чувствительных струн, которым не было бы нанесено поражения еще прежде, нежели я получил ваше письмо. Письмо ваше я прочел почти бесчувственно, но тем не менее был не в силах отвечать на него. Да и что мне отвечать? Бог весть, может быть, и в ваших словах есть часть правды. Скажу вам только, что я получил около пятидесяти разных писем по поводу моей книги; ни одно из них не похоже на другое: что опровергает один, то утверждает другой. Покуда мне показалось только то непреложной истиной, что я не знаю вовсе России, что много изменилось с тех пор, как я в ней не был, что мне нужно почти сызнова узнавать все, что ни есть в ней теперь. А вывод из всего этого вывел я для себя тот, что мне не следует выдавать в свет ничего, не только никаких живых образов, но даже и двух строк какого бы то ни было писания до тех пор, покуда, приехавши в Россию, не увижу многого своими собственными глазами и не пощупаю собственными руками. Вижу, что, укорившие меня в незнании многих вещей и несоображении многих сторон, обнаружили передо мной собственное незнание многого и собственное несоображение многих сторон… Поверьте мне, что и вы, и я виновны равномерно. И вы, и я перешли в излишество. Я, по крайней мере, сознаюсь в этом, но сознаетесь ли вы? Точно таким же образом, как я упустил из виду современные дела и множество вещей, которые следовало сообразить, точно таким же образом упустили и вы; как я слишком усредоточился в себе, так вы слишком разбросались. Как мне нужно узнавать многое из того, что знаете вы и чего я не знаю, так и вам следует узнать хотя часть того, что знаю я и чем вы напрасно пренебрегаете. А покамест помыслите прежде всего о вашем здоровье. Оставьте на время современные вопросы. Вы потом возвратитесь к ним с большею свежестию, стало быть, и с большею пользою как для себя, так и для них. Желаю вам от всего сердца спокойствия душевного, первейшего блага, без которого нельзя действовать и поступать разумно ни на каком поприще[56].

Гоголь – Белинскому, 10 авг. 1847 г., из Остенде. Красный Архив, 1923, кн. 3.

В Париж (*где в это время жил Белинский)* пришел ответ Гоголя на письмо Белинского из Зальцбруннена... Белинский не питал злобы и ненависти лично к автору «Переписки», прочел с участием его письмо и заметил только: «Какая запутанная речь! да, он должен быть очень несчастлив в эту минуту».

П. В. Анненков. Замечательное десятилетие. Литературные воспоминания, 364.

Здоровье мое, которое начало было уже поправляться и восстанавливаться, потряслось от этой для меня сокрушительной истории по поводу моей книги. Многие удары так были чувствительны для всякого рода щекотливых струн, что дивлюсь сам, как я еще остался жив и как все это вынесло мое слабое тело.

Гоголь – П. В. Анненкову, 12 авг. 1847 г., из Остенде. Письма, IV, 48.

Здесь, тотчас по приезде, явился к нам Гоголь, и свиделись мы с Хомяковым. Несколько дней, проведенных с последним, были совершенным праздником. Какое сокровище знания и остроумия и вместе какая доброта, какое всегда ровное расположение! Правду говорит Гоголь, что этому человеку не с чем в себе бороться, нечего стараться побеждать в себе.

В. А. Муханов – сестрам, 4/16 авг. 1847 г., из Остенде. Н. Миловский. К биографии Гоголя, 15.

В Остенде здоровье мое несколько укрепилось от ванн, но наступившие холода действуют на меня крайне вредоносно. Кровь у меня стала стариковская, движется медленно и уж не только не кипит, но еле-еле может сама согреться, а потому требует беспрерывной помощи юга.

Гоголь – П. В. Анненкову, 7 сент. 1847 г., из Остенде. Письма, IV, 83.

В начале октября Гоголь через Марсель, Ниццу, Геную, Флоренцию и Рим приезжает в Неаполь и поселяется в Hotel de Rome.

А. И. Кирпичников. Хронолог. канва, 96.

А. А. Иванов (*художник*) с особенным сочувствием упоминал о страшном впечатлении, произведенном на Гоголя всеобщим осуждением его «Переписки»; об этом Иванов говорил не иначе, как с содроганием.

И. С. Тургенев. Литературные и житейские воспоминания, IV. Поездка в Альбано и Фраскати.

В 1847 году приехал в Рим брат А. А. Иванова, Сергей, архитектор… Картину свою «Явление Христа народу» Александр Иванов показывал Сергею в первое время, но потом и тот ее не видал. Только раз он его пригласил, чтобы спросить совета насчет типа раба: который выбрать из сделанных этюдов для картины. Один был чрезвычайно характерен, с клеймом на лбу, кривым глазом – похожий на тот, который теперь на картине. Гоголь постоянно советовал ему перенести на картину раба с клеймом, но Иванов-архитектор пришел в ужас от этой головы, несмотря на то, что она ему очень нравилась, и он упросил ее не воспроизводить на картине.

М. П. Боткин. А. А. Иванов, его жизнь и переписка, XVII.

Вы знаете, что я весь состою из будущего, в настоящем же есмь нуль. Вот отчего я так бываю нагл в своих требованиях от друзей, забираю у них все, занимаю в долг и не плачу. Если только бог поможет, снабдя меня небольшим здоровьем еще на несколько лет, то все будет выплачено. Все смекнуто, соображено, замотано на ус и зарублено на стенке.

Гоголь – А. О. Россету, 20 ноября 1847 г., из Неаполя. Письма. IV, 97.

Жизнь так коротка, а я еще почти ничего не сделал из того, что мне следует сделать. В продолжение лета мне нужно будет непременно заглянуть в некоторые, хотя главные, углы России. Вижу необходимость существенную взглянуть на многое своими собственными глазами… Теперь я должен себя холить и ухаживать за собой, как за нянькой, выбирая место, где лучше и удобнее работается, а не где веселей проводить время.

Гоголь – А. С. Данилевскому, 20 ноября 1847 г., из Неаполя. Письма, IV, 94.

В Неаполе прекрасно и тепло, в душе моей стало приятно и светло здесь… Русских здесь почти ни души; покойно и тепло, как нигде в другом месте. Солнце просто греет душу, не только что тело. Какая разница даже с Римом, не только с Парижем!

Гоголь – гр. А. П. Толстому, 24 ноября 1847 г., из Неаполя. Письма, IV, 99.

Я теперь в Неаполе: приехал сюда затем, чтобы быть отсюда ближе к отъезду в Иерусалим. Определил даже себе отъезд в феврале, и при всем том нахожусь в странном состоянии, как бы не знаю сам: еду я или нет. Я думал, что желанье мое ехать будет сильней и сильней с каждым днем, и я буду так полон этой мыслью, что не погляжу ни на какие трудности в пути. Вышло не так. Я малодушнее, чем я думал; меня все страшит. Может быть, это происходит просто от нерв. Отправляться мне приходится совершенно одному; товарища и человека, который бы поддержал меня в минуты скорби, со мною нет, и те, которые было располагали в этом году ехать, замолкли. Отправляться мне приходится во время, когда на море бывают непогоды; а я бываю сильно болен морскою болезнью и даже во время малейшего колебания. Все это часто смущает бедный дух мой и смущает, разумеется, оттого, что бессильно мое рвенье и слаба моя вера...

Гоголь – Н. Н. Шереметевой, из Неаполя. Письма, IV, 113.

Я живу в Неаполе довольно уединенно и мирно, несмотря на то, что живу в трактире. Как-то лень искать квартир, и я день за днем остаюсь в Hotel de Rome.

Гоголь – А. А. Иванову, 5 дек. 1847 г., из Неаполя. Письма, IV, 105.

Я вас любил гораздо меньше, чем вы меня любили. Я был в состоянии всегда (сколько мне кажется) любить всех вообще, потому что я не был способен ни к кому питать ненависти; но любить кого-нибудь особенно, предпочтительно, я мог только из интереса. Если кто-нибудь доставил мне существенную пользу, и через него обогатилась моя голова, если он подтолкнул меня на новые наблюдения или над ним самим, или над другими людьми, – словом, если через него как-нибудь раздвинулись мои познания, я уж того человека люблю, хоть будь он и меньше достоин любви, чем другой, хоть он и меньше меня любит. Что ж делать! Вы видите, какое творение человек: у него прежде всего свой собственный интерес. Почему знать? Может быть, я и вас полюбил бы несравненно больше, если бы вы сделали что-нибудь собственно для головы моей, положим, хоть бы написанием записок жизни вашей, которые бы мне напоминали, каких людей следует не пропустить в моем творении. Но вы в этом роде ничего не сделали для меня. Что ж делать, если я не полюбил вас так, как следовало полюбить вас.

Гоголь – С. Т. Аксакову, 12 дек. 1847 г. Письма, IV, 115.

Передо мной опять Неаполь, Везувий и море. Дни бегут в занятиях, время летит так, что не знаешь, откуда взять лишний час. Учусь, как школьник, всему тому, чему пренебрег выучиться в школе.

Гоголь – В. А. Жуковскому, 10 янв. 1848 г., из Неаполя. Письма, IV, 134.

XII

Путешествие к «Святым местам»

Странствования мои по Средиземному морю уже начались. Из Неаполя меня выгнали раньше, чем я полагал, разные политические смуты и бестолковщина, во время которых трудно находиться иностранцу, любящему мир и тишину. До Мальты я в силу-силу добрался. Еще не было сильной бури, а уж меня привело в такое состояние беспрерывной рвоты, всякие десять минут, что я походил скорей на умирающего, чем на сохраняющего в себе залог жизни. Если бы еще такого адского состояния были одни сутки, меня бы не было на свете. Со страхом думаю о предстоящем четырехсуточном переезде. В Мальте должен я отдохнуть. Против всякого чаяния, в Мальте почти вовсе нет всех тех комфортов, где англичане: двери с испорченными замками, мебель простоты гомеровской, и язык невесть какой. Аглицкого почти даже и не слышно. Плохой отелишко, в котором я остановился, разве только после скверного парохода «Капри» может показаться приятным.

Гоголь – гр. А. П. Толстому, 22 генв. 1848 г., гр. А. М. Виельгорской, 23 генв., С. П. Шевыреву, 25 генв., из Мальты. Сводный текст. Письма, IV, 163, 165, 168.

Это было в январе 1848 года. На пути в Иерусалим мы отправились из Константинополя в Смирну на австрийском пароходе «Махмудиэ», а в Смирне пересели на другой пароход той же компании Ллойда – «Истамбул», идущий к берегам Сирии, – в Бейрут. На «Истамбуле» было много народу, и большею частью поклонников, ехавших в Иерусалим на поклонение св. местам. Каких представителей наций тут не было! Весь этот люд в общем были как бы земляки; одни только мы, русские, были особняками среди этой разношерстной толпы и не принимали никакого участия в общей суматохе подвижных восточных человеков. Но оказалось, что кроме нас тут же были еще русские люди. Один из них был высокий, плотный мужчина в темно-синей с коротким капюшоном шинели на плечах и с красною фескою на голове, другой же маленький человечек с длинным носом, черными жиденькими усами, с длинными волосами, причесанными a la художник, сутуловатый и постоянно смотревший вниз. Белая поярковая с широкими полями шляпа на голове и итальянский плащ на плечах, известный в то время у нас под названием «манто», составляли костюм путника. Все говорило, что это какой-нибудь путешествующий художник. Действительно, это был художник, наш родной гениальный сатирик Николай Васильевич Гоголь, а спутник его – генерал Крутов.

При остановке у Родоса мы съехали с парохода на остров осмотреть город с его историческими постройками рыцарей-крестоносцев и посетить местного прославленного митрополита, жившего за городом. Владыка принял нас радушно, а при прощании снабдил целою корзиною превосходных апельсинов из своего сада. На пароходе о. П. поручил мне попотчевать родосскими гостинцами и земляков-спутников, что я не замедлил исполнить, отобрав десятка два лучших плодов. Гоголь и ген. Крутов не отказались от лакомства и поблагодарили меня за любезность. Тем дело и кончилось. Но, вероятно, о. А. П., на расспросы их о мне, отрекомендовал им меня яко художника, потому что спустя полчаса Гоголь вышел на палубу, где тогда я находился, и прямо направился ко мне. Не входя ни в какие объяснения, он показывает мне маленькую, вершка в два, живописную (масляными красками) на дереве икону святителя Николая-чудотворца и спрашивает мнения, – искусно ли она написана? Затем он, пока я всматривался в живопись, поведал мне, что эта икона есть верная копия в миниатюре с иконы святителя в Бар-граде (Бары), написана для него по заказу искуснейшим художником и теперь сопутствует ему в путешествиях, потому что святитель мирликийский Николай – его патрон и общий покровитель всех христиан, по суху и по морям путешествующих. Я полюбовался иконою, как мастерски написанною, и оговорил, что не могу ничего сказать о верности копии, не видав прототипа, и еще заметил, что у нас на православных старинных иконах святитель изображается несколько иначе, особенно по облачению, и что последнее прямо говорит о латинском происхождении барградского изображения святителя. На мой отзыв Гоголь ничего не возразил, но по всему видно было, что он высоко ценил в художественном отношении свою икону и дорожил ею, как святынею. В Бейруте Гоголь поместился у нашего генерального консула Базили, – своего однокашника по воспитанию в нежинском лицее. Мы остановились в Бейруте дней на десять, а Гоголь с Крутовым, в сопровождении Базили, отправились в Иерусалим.

Священник Петр Соловьев. Встреча с Гоголем. Рус. Стар., 1883, сент., 553.

Что могут доставить тебе мои сонные впечатления? Видел я, как во сне, эту землю. Подымаясь с ночлега до восхождения солнца, садились мы на мулов и лошадей, в сопровождении и пеших и конных провожатых; гусем шел длинный поезд через малую пустыню по морскому берегу или дну моря, так что с одной стороны море обмывало плоскими волнами лошадиные копыта, а с другой стороны тянулись пески или беловатые плиты начинавшихся возвышений, изредка поросшие приземистым кустарником; в полдень – колодезь, выложенное плитами водохранилище, осененное двумя-тремя оливами или сикоморами. Здесь привал на полчаса, и снова в путь, пока не покажется на вечернем

горизонте, уже не синем, но медном от заходящего солнца, пять-шесть пальм и вместе с ними прорезающийся сквозь радужную мглу городок, картинный издали и бедный вблизи, какой-нибудь Сидон или Тир. И этакий путь до самого Иерусалима.

Гоголь – В. А. Жуковскому, 28 февр. 1850 г. Письма, IV, 300.

Гоголь совершил переезд через пустыни Сирии в сообществе своего соученика по гимназии Базили. Базили, занимая значительный пост в Сирии, пользовался особенным влиянием на умы туземцев. Для поддержания этого влияния он должен был играть роль полномочного вельможи, который признает над собою только власть «великого падишаха». Каково же было изумление арабов, когда они увидели его в явной зависимости от его тщедушного и невзрачного спутника! Гоголь, изнуряемый зноем песчаной пустыни и выходя из терпения от разных дорожных неудобств, которые, ему казалось, легко было бы устранить, – не раз увлекался за пределы обыкновенных жалоб и сопровождал жалобы такими жестами, которые, в глазах туземцев, были доказательством ничтожности грозного сатрапа. Это не нравилось его другу; мало того: это было даже опасно в их странствовании через пустыни, так как их охраняло больше всего только высокое мнение арабов о значении Базили в русском государстве. Он упрашивал поэта говорить ему наедине что угодно, но при свидетелях быть осторожным. Гоголь соглашался с ним в необходимости такого поведения, но при первой досаде позабыл дружеские условия и обратился в избалованного ребенка. Тогда Базили решил вразумить приятеля самим делом и принял с ним такой тон, как с последним из своих подчиненных. Это заставило поэта молчать, а мусульманам дало почувствовать, что Базили все-таки полновластный визирь «великого падишаха», и что выше его нет визиря в империи.

П. А. Кулиш со слов К. М. Базили. Записки о жизни Гоголя, II, 165.

Как сквозь сон, видится мне самый Иерусалим с Элеонской горы, – одно место, где он кажется обширным и великолепным… Помню, что на этой Элеонской горе видел я след ноги вознесшегося, чудесно вдавленный в твердом камне, как бы в мягком воске, так что видна малейшая выпуклость и впадина необыкновенно правильной пяты.

Гоголь – В. А. Жуковскому. Письма, IV, 300.

Прибыл я сюда благополучно, без всяких затруднений, едва приметивши, что из Европы переступил в Азию, почти без всяких лишений и даже без утомления.

Гоголь – В. А. Жуковскому, 28/16 февр. 1848, из Иерусалима. Письма, IV, 172.

Я говел и приобщался у самого гроба господня. Литургия совершалась на самом гробовом камне. Как это было поразительно! Пещерка или вертеп, в котором лежит гробовая доска, не выше человеческого роста; в нее нужно входить нагнувшись в пояс; больше трех поклонников в ней не может поместиться. Перед нею маленькое преддверие, кругленькая комнатка почти такой же величины с небольшим столбиком посередине, покрытым камнем (на котором сидел ангел, возвестивший о воскресении). Это преддверие на это время превратилось в алтарь. Я стоял в нем один; передо мною только священник, совершавший литургию; диакон, призывавший народ к молению, уже был позади меня, за стенами гроба; его голос уже мне слышался в отдалении. Голос же народа и хора, ему ответствовавшего, был еще отдаленнее. Соединенное пение русских поклонников, возглашавших «Господи, помилуй!» и прочие гимны церковные, едва доходили до ушей, как бы исходившие из какой-нибудь другой области. Все это было так чудно! Я не помню, молился ли я. Мне кажется, я только радовался тому, что поместился на месте, так удобном для моления и так располагающем молиться; молиться же собственно я не успел. Так мне кажется. Литургия неслась, мне казалось, так быстро, что самые крылатые моленья не в силах бы угнаться за нею. Я не успел почти опомниться, как очутился перед чашей, вынесенной священником из вертепа, для приобщения меня, недостойного.

Гоголь – В. А. Жуковскому, 6 апр. 1848 г., из Бейрута. Письма, IV, 176.

Мое путешествие в Палестину точно было совершено мною затем, чтобы узнать лично и как бы узреть собственными глазами, как велика черствость моего сердца. Друг, велика эта черствость! Я удостоился провести ночь у гроба спасителя, я удостоился приобщиться от святых тайн, стоявших на самом гробе вместо алтаря, – и при всем том я не стал лучшим, тогда как все земное должно бы во мне сгореть и остаться одно небесное.

Гоголь – В. А. Жуковскому. Письма, IV, 229.

1848, февраля 23. Во граде Иерусалим, ради усердию, которую показывал к живописного гроба господня и на прочих святых местах духовний сын наш Николай Васильевич (*Гоголь*), в том и благославляю ему маленькой части камушка от гроба господня и часть дерева от двери храма воскресения, которая сгорела во время пожара 1808 сентября 30-го дня, эти частички обе справедливость.

Митрополит Петрас Мелетий и наместник патриарха в святом граде Иерусалиме. Свидетельство о подлинности реликвий, полученных Гоголем от митрополита. В. А. Гиляровский. На родине Гоголя. М., 1902. Стр. 32.

Что он чувствовал у гробницы спасителя, осталось тайной для всех. Он мне не советовал ехать в Палестину, потому что комфортов совсем нет.

А. О. Смирнова. Автобиография, 297.

Природа в Палестине не похожа нисколько на все то, что мы видели; но тем не менее поражает своим великолепием, своею шириною. А Мертвое море что за прелесть! Я ехал с Базили, он был моим путеводителем. Когда мы оставили море, он взял с меня слово, чтоб я не смотрел назад прежде, чем он мне не скажет. Четыре часа продолжали мы наше путешествие от самого берега, в степях, и точно шли по ровному месту, а между тем незаметно мы поднимались в гору; я уставал, сердился, но все-таки сдержал слово и ни разу не оглянулся. Наконец Базили остановился и велел мне посмотреть на пройденное нами пространство. Я так и ахнул от удивления. На несколько десятков верст тянулась степь все под гору; ни одного деревца, ни одного кустарника, все ровная, широкая степь; у подошвы этой степи или, лучше сказать, горы, внизу, виднелось Мертвое море, а за ним прямо, и направо, и налево, со всех сторон опять то же раздолье, опять та же гладкая степь, поднимающаяся со всех сторон в гору. Не могу описать, как хорошо было это море при захождении солнца. Вода в нем не синяя, не зеленая и не голубая, а фиолетовая. На этом далеком пространстве не было видно никаких неровностей у берегов; оно было правильно-овальное и имело совершенный вид большой чаши, наполненной какой-то фиолетовой жидкостью.

Гоголь по записи Л. И. Арнольди. Рус. Вестн., 1862, XXXVII, 61.

Где-то в Самарии сорвал полевой цветок, где-то в Галилее другой, в Назарете, застигнутый дождем, просидел два дня, позабыв, что сижу в Назарете, точно как бы это случилось в России на станции.

Гоголь – В. А. Жуковскому. Письма, IV, 301.

Из Иерусалима Гоголь вернулся в Бейрут один, а Базили остался там по делам службы. Я часто навещал его. Он был очень приветлив, но грустен, был набожен, но не ханжа, никогда не навязывал своих убеждений и не любил разговора о религии. Часто посещал он жену Базили и приглашал меня показывать ему окрестности Бейрута. По возвращении Базили пожелал сам ознакомить его с бейрутским

обществом, чтобы рассеять немного его грустное настроение. Однажды, входя в дом консула, на лестнице я встретил уходившего Гоголя и на мой вопрос, что он так рано уходит, он махнул рукою и отвечал: «ваше бейрутское общество страшную тоску на меня навело; я ушел потихоньку, пора домой; не говорите Базили, что меня встретили».

В. Б. Бланк. Воспоминания. Рус. Арх., 1897, III, 215.

Путешествие свое совершил я благополучно. Я был здоров во все время, больше здоров, чем когда-либо прежде… Приехавши в Константинополь, нашел я здесь письмо ко мне Матвея Александровича (*о. Матвея*). Что вам сказать о нем? По-моему, это умнейший человек из всех, каких я доселе знал, и если я спасусь, так это, верно, вследствие его наставлений, если только, нося их перед собой, буду входить больше в их силу.

Гоголь – гр. А. П. Толстому, 25 апр. 1848 г., из Константинополя. Письма, IV, 177.

XIII

В России

Н. В. Гоголь и К. М. Базили прибыли на днях в нашу одесскую пристань.

А. С. Стурдза – М. П. Погодину, 12 апр. 1848 г. Н. Барсуков, IX, 470.

Гоголь приехал и выдерживает карантин. 30 апреля выходит в город Одессу, и мы его встречаем обедом у Отона.

Н. Н. Мурзакевич – М. П. Погодину. Барсуков, IX, 470.

Как пассажир константинопольского парохода, Гоголь должен был выдержать в Одессе карантин. Здесь, сквозь две предохранительных решетки, увидел я Гоголя. А. С. Стурдза поручил мне приветствовать его с приездом и предложить ему добрые услуги. Вероятно, тронутый таким вниманием, Н. В. разговорился со мной более, чем я ожидал. Он принялся меня расспрашивать о Стурдзе, а потом о городе, именно: любят ли в нем чтение? много ли книжных лавок? можно ли найти в них английские книги? Он даже коснулся собственно меня и, узнав, что я занимаюсь воспитанием внука Стурдзы, заметил о важности сего занятия: «Да, вся безалаберщина, какая набирается нам в голову, как-то сосредоточивается и уясняется, когда готовимся передать ее другим». В заключение он попросил прислать ему в карантин «Мертвые Души» и два-три нумера «Москвитянина».

Н. Н. (Н. В. Неводчиков). Воспоминания о Гоголе. Библиограф. Записки, 1859, № 9, 263.

Гоголь, по прибытии в Одессу, отправился с парохода прямо в карантин, которого в ту пору не мог миновать ни один пассажир из-за границы. Лев Сергеевич Пушкин (*брат поэта*) и Н. Г. Трощинский отправились в карантин, где на их звонок вышел из своего номера Гоголь. Физиогномия Гоголя, при первом взгляде на него, поражала саркастическим выражением. Он рассеянно перебирал четками и приветствовал навестивших его знаком своей руки. Его отделяли от посетителей четверные проволочные решетки на довольно значительное пространство, так что разговаривать оказывалось довольно неудобным. Явственно доносился только плеск береговой волны, а по ту сторону залива как бы трепетала в струях знойного миража прилегающая к морю степь.

Гоголь не раз заходил к Трощинскому и Льву Пушкину в дом Крамаревой, по Дерибасовской, где они оба квартировали. Он вспоминал об Италии, о Пушкине, о порядках в отечестве, о новейших явлениях в русской литературе и рассказал несколько анекдотов. Вообще ему было привольней в дружеском кружке, чем в большом обществе. Гоголь проживал у Сабанеева моста, во флигеле дома, ныне принадлежащего графине Толстой, в двух комнатках. В одной из них стоял только круглый ясеневый стол, на котором лежала одна книжечка – Новый Завет на греческом языке. В другой – кровать, два стула и у окна ясеневая конторка, на которой лежала толстая тетрадь в полулист.

Н. Г. Трощинский. День памяти Пушкина 6 июня 1880 г. в имп. Новороссийском университете. Зап. Имп. Новор. Унив-та, Одесса, т. XXXI. 1880. Стр. 47.

Гоголь нечаянно посетил меня на моей приморской даче, вместе с умным спутником своим К. М. Базили. Но свидание наше было минутно: Гоголь спешил к родным в Малороссию, а оттуда в Москву.

А. С. Стурдза. Москвитянин, 1852, окт., № 20, кн. 2, стр. 225.

Мы виделись мало: час с небольшим. Только прошлись по саду вашего приютного обиталища, да едва тронулись в разговоре таких вопросов, о которых хотелось бы душе поговорить подольше. Но, несмотря на это, этот час и эта прогулка остались в памяти моей как что-то очень отрадное.

Гоголь – А. С. Стурдзе, 6 июня 1850 г., из Москвы. Письма. IV, 324.

Кажется, по возвращении из Иерусалима Гоголь вдруг приехал к нам в Яготино, куда мы с моей матерью приезжали на время из Одессы. Лицо его носило отпечаток перемены, которая воспоследовала в душе его. Прежде ему ясны были люди; но он был закрыт для них, и одна ирония показывалась наружу. Она колола их острым его носом, жгла его выразительными глазами; его боялись. Теперь он сделался ясным для других; он добр, он мягок, он братски сочувствует людям, он так доступен, он снисходителен, он дышит христианством. – Гуляя со мной по саду, Гоголь восхищался деревьями и сравнивал их с мизерной растительностью Одессы. Я понимала, что ивы, клены, липы и пирамидальные тополи его восхищали.

Княжна В. Н. Репнина. О Гоголе. Рус. Арх., 1890, III, 229, 230.

После того, как брат возвратился из Иерусалима, первый его приезд – 9 мая утром, в день своего ангела; вероятно, думал, что его именины празднуют, и хотел сюрприз нам сделать, а оказалось – ничего не было, ни пирога, ни шампанского, даже люди на панщине работали. С приезда его сейчас работников распустили.

О. В. Гоголь-Головня, 31.

1848 г. 9 мая именины брата. – В четыре часа получаем письмо из Полтавы от С. В. Скалон с нарочным, что брат будет сегодня или завтра. Это очень нас обрадовало; я плакала от радости. После человек открыл, что он уже едет и сейчас будет. – Как он переменился! Такой серьезный сделался; ничто, кажется, его не веселит, и такой холодный и равнодушный к нам. Как мне это было больно.

Ел. Вас. Гоголь (сестра писателя). Дневник. Шенрок. Материалы, IV, 703.

Ты спрашиваешь меня о впечатлениях, какие произвел во мне вид давно покинутых мест. Было несколько грустно, вот и все. Подъехал я вечером. Деревья – одни разрослись и стали рощей, другие вырубились. Я отправился того же вечера один степовой дорогой, позади церкви, ведущей в Яворивщину, по которой любил ходить некогда, и почувствовал сильно, что тебя нет со мной. Все это было в день моих именин, 9 мая. Матушка и сестры, вероятно, были рады до nec plus ultra моему приезду, но наша братья, холодный мужеский пол, не скоро растапливается. Чувство непонятной грусти бывает к нам ближе, чем что-либо другое.

Гоголь – А. С. Данилевскому, 16 мая 1848 г., из Васильевки. Письма, IV, 191.

Ольга Васильевна (*сестра Гоголя*) ожидала, что путешествие в Иерусалим возвратит брату душевное спокойствие и прежнюю веселость и работоспособность; но как только он приехал в Яновщину, – тотчас после пребывания в Иерусалиме, – она с первого взгляда на его осунувшееся, страдальческое лицо поняла, что эта поездка не только ничего не дала ее брату, а даже, напротив, еще более подорвала его слабеющие силы. Гоголь почти ни с кем не разговаривал, и только рассказы Ольги Васильевны и ее аптека несколько оживляли его.

В. Я. Головня со слов своей матери, сестры Гоголя, О. В. Гоголь-Головня, 75.

10 мая. – Все утро мы не видели брата! Грустно: не виделись шесть лет, и не сидит с нами. После обеда были гости.

11 мая. – Утром созвали людей из деревни; угощали, пили за здоровье брата. Меня очень тронуло, что они были так рады его видеть. Пели и танцевали во дворе и были все пьяны. На другой день брат уехал в Полтаву.

13 мая. – Вчера наши вернулись из Полтавы. У нас каждый день гости. Брат все такой же холодный, серьезный, редко когда улыбнется, однако сегодня больше разговаривал.

20 мая. – Гости у нас каждый день. Сегодня приезжал разносчик за долгом (200 р.), и брат, не говоря ни слова, заплатил ему с тем, чтобы он никогда нам не продавал в долг. И маменьку просил никогда этого не делать.

21 мая. – Весь день почти брат сидел с нами. Я просила, чтобы он взял меня с собою в Киев, но он отказал. У нас с ним были маленькие неприятности, но сегодня все забыто: он мне дал крестики из Иерусалима.

25 мая. – Брат уехал в Киев.

Ел. Вас. Гоголь. Дневник. Шенрок. Материалы, IV, 703.

Гоголь пробыл у Данилевских в Киеве короткое время. На беду, наступили такие сильные жары, что он был не в духе, жаловался, что не может ничем заниматься, и поспешил уехать обратно в Васильевку. Всего неудачнее было то, что по случаю экзаменов в пансионе, где Данилевский был инспектором, его по целым дням не было дома, и Гоголь страшно скучал. В этот приезд Гоголя случился неловкий эпизод. На вечер собрались многие профессора и другие представители киевской интеллигенции с исключительною целью видеть автора

«Ревизора» и «Мертвых Душ». Но на Гоголя напала такая хандра, что он просидел в этом обществе не более получаса и внезапно исчез.

В. И. Шенрок со слов А. С. Данилевского. Материалы IV, 712, 747.

(*В Киеве у М. В. Юзефовича, попечителя киевского учебного округа.*) На обширном балконе, выходившем в сад, был приготовлен стол с закусками и чаем. Собрались преимущественно молодые профессора Киевского университета, которые хотели представиться Гоголю. Все были по этому случаю одеты в новенькие вицмундиры и, в ожидании великого человека, переговаривались вполголоса. Юзефович постоянно выбегал смотреть, не едет ли Гоголь. Уже начинало смеркаться, как по некоторому движению в доме и по внезапно изменившемуся лицу Юзефовича, который, заслышав шум, убежал с балкона, гости заключили, что Гоголь, наконец, приехал. Профессора, сидевшие перед этим, встали и выстроились в ряд. В раме открытых настежь дверей показались две фигуры, – Юзефовича и Гоголя. Гоголь шел, понурив свою голову, с длинным носом и длинными, прямыми волосами. На нем был темный гранатовый сюртук, и Михольский (*со слов которого написан этот рассказ*), в качестве франта, обратил внимание на жилетку Гоголя. Эта жилетка была бархатная, в красных мушках по темно-зеленому полю, а возле красных мушек блестели светло-желтые пятнышки по соседству с темно-синими глазками. В общем, жилетка казалась шкуркой лягушки. Приведя Гоголя на балкон, Юзефович отстранился, чтобы не выдвигаться вперед, а Гоголь остался перед выстроенными профессорами, словно начальник, принимающий подчиненных. Все низко ему поклонились. Он потупился и, по застенчивости или по гордости, не ответил на поклон, который заменил его потупленный взор. Юзефович почувствовал неловкость от воцарившегося молчания, бросился из-за спины Гоголя и стал представлять ему по одиночке его почитателей. «Профессор такой-то! Профессор Павлов! Костомаров!» Гоголь чуть-чуть кивал головой и произносил тихо: «Очень приятно, весьма приятно, душевно рад во всех отношениях». Когда представление гостей кончилось, Юзефович простер руку в некотором расстоянии от талии Гоголя и просил его сесть откушать, но Гоголь, взглянув на закуски и на чай, сделал брюзгливую гримасу, еще брюзгливее посмотрел на своих почитателей и закрыл глаза рукой, брюзгливо глянув в сторону заходящего солнца. Юзефович сделал знак какому-то молодому человеку стать у решетки балкона и заслонить собою солнце, что тот моментально и исполнил. Гоголь продолжал молчать. Никто не осмелился сесть в его присутствии. Прошло минуты две или три. Наконец Гоголь поднял голову и пристально воззрился на жилет Михольского, тоже бархатный, как у него, и тоже в замысловатых крапинках, но в общем походивший не на шкуру лягушки, а на шкурку ящерицы. «Мне кажется, как будто я вас

где-то встречал», – сказал Гоголь Михольскому. Михольский хотел отвечать, но из-за спины Гоголя Юзефович угрожающе покивал ему пальцем, и тот должен был ждать, что еще скажет Гоголь. «Да, я вас где-то встречал, – утвердительно произнес Гоголь, – не скажу, чтобы ваша физиогномия была мне очень памятна, но тем не менее я вас встречал, – повторил Гоголь. – Мне кажется, что я видел вас в каком-то трактире и вы там ели луковый суп». Михольский поклонился. Гоголь погрузился снова в молчание, задумчиво глядя на жилетку Михольского. Вдруг он подал руку хозяину, сделал общий поклон его гостям и направился к выходу. Юзефович не смел его удерживать. Все молчали, глядя, как уходит писатель, странно передвигая, с каким-то едва уловимым оттенком паралича, свои ноги, обтянутые узкими серыми брюками на широких штрипках.

И. И. Ясинский со слов Михольского. Анекдот о Гоголе. Ист. Вестн., 1891, июнь, 596.

После Италии мы встретились с Гоголем в 1848 году в Киеве, и встретились истинными друзьями. Мы говорили мало, но разбитой тогда и сильно больной душе моей стала понятна болезнь души Гоголя… Мы встретились у А. С. Данилевского, у которого остановился Гоголь и очень искал меня; потом провели вечер у М. В. Юзефовича. Гоголь был молчалив, только при расставании он просил меня, не можем ли мы сойтись на другой день рано утром в саду. Я пришел в общественный сад рано, часов в шесть утра; тотчас же пришел и Гоголь. Мы много ходили по Киеву, но больше молчали; несмотря на то, не знаю, как ему, а мне было приятно ходить с ним молча. Он спросил меня: где я думаю жить? «Не знаю, – говорю я, – вероятно, в Москве». – «Да, – отвечал мне Гоголь, – кто сильно вжился в жизнь римскую, тому после Рима только Москва и может нравиться». Тут, не помню, в каких словах, он передал мне, что любит Москву и желал бы жить в ней, если позволит здоровье. Мы назначили вечером сойтись в Лавре, но там виделись только на несколько минут: он торопился.

Ф. В. Чижов. Кулиш, II, 240.

Узнали соседи, что Гоголь возвратился из святых мест, съехались к его матери и желали видеть Гоголя. Гоголь жил в отдельном флигеле. Свиделись с ним соседи и начали расспрашивать о святых местах. «В святых местах перебывало так много разных путешественников и в разное время, и так много о них написано, что я ничего не могу сказать вам нового», – был ответ Гоголя.

Т. Г. Пащенко по записи В. Пашкова. Берег, 1880, № 268.

Мне кажется, брат был разочарован поездкой в Иерусалим, потому что он не хотел нам рассказывать. Когда просили его рассказать, он сказал: «Можете прочесть «Путешествие в Иерусалим». По его действиям, как я замечала, видно, что он обратился более всего к евангелию, и мне советовал, чтобы постоянно на столе лежало евангелие. Он всегда при себе держал евангелие, даже в дороге. Когда он ездил с нами в Сорочинцы, в экипаже читал евангелие. Видна была его любовь ко всем. Он своими трудовыми деньгами многим помогал, и сам не нуждался и ни в чем себе не отказывал.

О. В. Гоголь-Головня, 55.

7, 8, 9 июля (июня). – Брат приехал. Ужасная тоска. У нас холера: пять человек умерло. Дай бог, чтоб этим кончилось.

Ел. В. Гоголь. Шенрок, IV, 704.

Я еще ни за что не принимался. Покуда отдыхаю от дороги. Брался было за перо, но – или жар утомляет меня, или я все еще не готов; а между тем чувствую, что, может, еще никогда не был так нужен труд, составляющий предмет давних обдумываний моих и помышлений, как в нынешнее время.

Гоголь – П. А. Плетневу, 7 июня 1848 г., из Васильевки. Письма, IV, 195.

Теперь тысячами вокруг болеют и мрут. В Полтавской губернии свирепствует холера почти повсеместно, и в самой Полтаве.

Гоголь – С. Т. Аксакову, 8 июня 1848 г., из Васильевки. Письма. IV, 197.

Я покуда, слава богу, еще здравствую и живу, хотя время не весьма здоровое и вокруг везде болезни. Еще не принимаюсь серьезно ни за что и отдыхаю с дороги, но между тем внутренне молюсь и собираю силы на работу. Как ни возмутительны совершающиеся вокруг нас события (*повсеместные революционные движения в Западной Европе*), как ни способны они отнять мир и тишину, необходимые для дела, но тем не менее нужно быть верну главному поприщу; а о прочем позаботится бог.

Гоголь – В. А. Жуковскому, 15 июня 1848 г., из Полтавы. Письма, IV, 201.

Жары невыносимые: нет сил ни работать, ни даже лечиться; одно, что решаюсь употреблять, – это купанье.

Гоголь – С. П. Шевыреву, 18 июня 1848 г., из Васильевки. Письма, IV. 204.

Пишу тебе больной, едва оправившийся от изнурительного поноса, который в три дня оставил от меня одну тень. Впрочем, это, слава богу, еще не холера, а просто понос от нестерпимых жаров, томительнее которых, я думаю, не бывает в самой Африке. Никакого освежения, даже по ночам. Холера везде вокруг… Обяжешь меня, если вышлешь мне из своих денег, какие найдутся у тебя под рукой, хоть рублей 150 сер. Я совсем на безденежье. Вокруг – тоже ни у кого, начиная с моих родных, которым должен буду помочь. Голод грозит повсеместный. Хлеба, покуда, еще нечего даже собирать: все не выросло и выжглось так, что не жнут, а вырывают руками по колоскам. Надежда есть еще кое-какая на поздние хлеба, особенно на гречу, если перепадет несколько дождей и засуха не будет так жестока. Я ничего не в силах ни делать, ни мыслить от жару. Не помню еще такого тяжелого времени.

Гоголь – А. П. Плетневу, 7 июля 1848 г., из Васильевки. Письма, IV, 207.

Я слаб после недуга, от которого еще не оправился как следует. Какое убийственно нездоровое время и какой удушливо-томительный воздух! Только три или четыре дня по приезде моем на родину я чувствовал себя хорошо; потом беспрерывные расстройства в желудке, в нервах и в голове от этой адской духоты, томительнее которой нет под тропиками. Все переболело и болеет вокруг нас. Холера и все роды поносов не дают перевести дух. Тоска еще более от того, что никакое умственное занятие не идет в голову: даже читать самого легкого чтения не в силах.

Гоголь – С. Т. Аксакову, 12 июля 1848 г., из Васильевки. Письма, IV, 209.

Прежде, когда он приезжал, то занимал комнату в доме с нами; а как сестры заняли его комнату, тогда он постоянно в флигеле занимался. В одной комнате стояла его кровать и конторка, на которой он занимался, а в другой комнате, между окнами – ломберный стол; там лежали его книги, которые он с собою привозил. Потом заказал столяру полки, вроде этажерки, на тот стол поставил для книг. Конторку желтую, на которой он прежде занимался, также сестры заняли, то он заказал сделать себе черную конторку. В этой самой комнате еще стоял диван, перед диваном круглый стол, по бокам кресла; там он пил кофе, а третьей комнаты не занимал. Вставал он в шесть часов, выпивши кофе, занимался. Писал на конторке, всегда стоя. До обеда мы не виделись с ним, потом, погуляв в саду, приходил к нам. В час обедали, после обеда в гостиной с нами посидит два часа, и все за работой; и он придумал себе работу: раскрашивал библейские картины, говорил, чтобы я эти картины раздала мужикам и рассказывала им историю этих картин. Потом отправлялся пешком в Яворивщину, но что он там делал – не

знаю. Возвращался на вечерний чай, за чаем разговаривал, но о чем – я не слышала. После чая отправлялся в флигель. И так он проводил время каждый день.

Я стала примечать, что он любит, то приготовляла ему. За обедом я ставила перед его прибором две маленькие вазы варенья, какие он любил; водку он просил настаивать на белой нехворощи; говорил, что она полезна. За обедом я всегда около него сидела. Всякий раз, когда увидит, что я любимое его поставлю, всегда с улыбкой кивнет головой. Бывало, как я увижу, когда он перед обедом ходит в саду, я тотчас иду в сад, и он с улыбкой встречается. Всякий раз его улыбка меня в восторг приводила; всегдашнее мое желание было все сделать, что ему нравится.

Раз мы были в церкви, он увидел, что священник нам раздавал просфоры, а людям – никому. Когда возвращалися из церкви, он шел со мною, положил на мое плечо руку и просил, чтобы я велела на каждое служение печь по 25 просфор и на четыре части нарезать, отправлять в церковь, чтобы священник раздавал людям; а чтобы не брать у матери муки, – «я буду тебе высылать деньги на муку», а пока дал 25 рублей, и я это вполне выполнила. Потом он предложил мне: «Хочешь, пойдем к мужикам, посмотрим, как они живут». Я с удовольствием пошла с ним. Входим в первую избу, там застали только одну молодицу. Она с таким радушием просила нас садиться на лавку, говорила: «А мени сю ничь приснилось, что в мою хату влетели дви птычки. Оцеж против того и приснилося, що вы пришли». В это время положила солому в печь и сжарила нам яишницу; чтобы ее не обидеть, немного поели. Потом пошли в другую избу. Там увидели – в сенях чистота, аккуратно висели ведра и разные хозяйственные принадлежности; как видно, зажиточный мужик. И в хату взглянули, но нас не просили садиться. Брат посмотрел и похвалил его, сказал: «Видно, что трудящиеся люди». А к другому зашли – в сенях пустота, в хате тускло. Брат сказал ему: «Надо трудиться и стараться, чтобы у вас все было». Дальше не захотел: на трех хатах увидел, как они живут.

В другое время брат предложил мне поехать к жнецам; в то время был плохой урожай и хлеб такой низкий был, что нельзя было жать, и они руками вырывали с корнями. Мы подъехали к жнецам; брат встал, подошел к ним, спрашивал: «Тяжелее рвать, как жать?» – «Жать легче, а рвать – на ладони мозоли понабилися». А он сказал им в утешение: «Трудитеся, чтобы заслужить царство небесное». Потом заехали в пасеку; тогда был пасечник старичок. О чем они говорили, не слыхала, только последние слова: «Чем старее, тем больше будешь спасаться». – «Э, ни, пане, бильше греха наберется». Потом отправился домой.

О. В. Гоголь-Головня, 33.

Мы шли с братом из Яворивщины; он остановился посмотреть, как бабы работают: хлеба из земли вытаскивают. Стали плакаться бабы, как им трудно теперь, как руки саднят, болят. А брат утешал их: «Это хорошо, что так теперь страдаете, зато будет вам блаженство в царстве небесном». Был у нас в Яворивщине старик пасечник, и тоже при мне он стал брату жаловаться, как трудно ему старость переносить. И ему тоже брат сказал: «Это хорошо, что трудна тебе старость: выстрадаешь себе царство небесное». А пасечник ответил: «Эх, пан, что больше живешь, то больше греха наберешься!» Часто брат давал деньги для помощи истинно нуждающимся. Если ему говорили, почему он о себе не думает, что самому ему понадобятся деньги, он отвечал: «Я и думаю о себе. Это я взаймы даю: на том свете я получу обратно».

О. В. Гоголь-Головня по записи А. Мошина. Белоусов. Дорогие места, 36.

По другую сторону пруда у нас был сад. Там было вроде леса, никакой дорожки не было; брат принялся делать аллеи; прежде, как были люди крепостные – три дня панщина, а три дня их дни, то брат, чтобы не лишить матери работников, нанимал работников на их днях чистить дорожки. Сам там был по целым дням. Раз спросил у меня: «Ты можешь встать в три часа, чтобы побыть около работников, пока я приеду?» Я обещала встать и велела разбудить меня, как только солнце взойдет. Тогда у нас был плотик и мы переезжали на ту сторону. В семь часов брат приехал на плотике и с благодарной улыбкой поздоровался со мною и сейчас же отправил меня домой, сказал: «Иди спать». Итак, за все время, пока он пробыл у нас, прочистил все аллеи, которые и теперь поддерживаются.

Потом брат просил у матери дать ему полведра наливки и велел напечь пирожков с сыром. Когда все было готово, велел позвать тяглых мужиков, то есть тех, у кого рабочие волы, на крыльце поставили наливку, угощал их, они пили, конечно, с пожеланием ему всего хорошего, потом брат дал каждому по два рубля и сказал: «Спасибо вам, что вы своими волами моей матери орали». Это он делал для поощрения, чтобы и другие старались быть хорошими хозяевами. Со временем брат присылал матери денег, чтобы она накупила хоть по теленку тем мужикам, у кого не было скота, и мне прислал пятьдесят рублей, чтобы я по усмотрению своему помогала нуждающемуся.

О. В. Гоголь-Головня, 35.

От родственников Гоголя я слышал, как однажды (в 1848 г.), гостя у своих в Васильевке, Гоголь куда-то выехал из деревни и вдруг, уже с половины пути, что-то вспомнил и приказал вернуться домой. По

возвращении он тотчас отслужил в церкви молебен о здравии болящей рабы божией Александры и сейчас же снова отправился в путь. Родственники догадались, что он молился за Смирнову.

В. И. Шенрок. Материалы, IV, 239.

18 июля. – Грустное время: холера все продолжается.

23 июля. – Приехал А. С. Данилевский с женой к обеду; они начали говеть у нас. Александр Семенович очень похудел, изменился, нет прежнего красавца. У нас все гости и много лошадей, а неурожай на сено.

26 июля. – Сегодня гости разъехались. Брат хочет ехать в Сорочинцы. Ужасно тревожное время. Говорят, что видели подозрительного человека в саду, это навело на меня такой страх. Завтра едем в Будище и в Полтаву, и не знаю, кто останется: все хотят ехать. Мы с братом много гуляли, я была в веселом расположении духа, но вечером мы поспорили о поездке, и я решила не ехать, за что меня назвали капризной.

13 (август*а*). – Брат, Аннета и я ездили в Будище на обед, а после в Диканьке молебен к отъезду брата, потом в Полтаву к Скалон. В Полтаве боятся пожаров: везде сторожа, кадки с водой на крышах.

22. – Сегодня брат хотел уехать, но, слава богу, отсрочил еще до понедельника. Вчера мы все плакали. Тоска ужасная. Как я его сильно люблю; хотя часто и неприятности делает, но все же я его люблю, как отца: он много для нас сделал. Брат уже уложился и принес нам много вещей.

24 авг. – Мы встали очень рано. Грустный день: брат уезжает. Я пошла к нему и помогала ему укладываться. В восемь часов пошли в церковь слушать молебен; поехали в Сорочинцы в двух экипажах: полдороги Аннета с братом, а потом я с ним. Здесь я просила его остаться до завтра. Я встала рано и пошла к нему, и он меня обнял и крепко поцеловал. В девять часов мы распрощались. Он уехал с Данилевскими в их деревню и оттуда в Москву. Все плакали, – у Трахимовских даже дети.

Ел. Вас. Гоголь. Дневник. Шенрок. Материалы, IV, 704.

Мы приезжали летом в 1848 г. лечиться в Псле. В двадцатых числах августа приехал к нам Гоголь. Потом в нашем экипаже поехали мы в Черниговскую губ., в село Сварков, имение дяди Ульяны Григорьевны (*жены Данилевского*), А. М. Марковича. Мы приехали прямо ко дню его именин (30 авг.). Было много гостей, и Гоголь был страшно не в духе. Ему очень полюбился А. М. Маркович. Он провел у него несколько дней и, наконец, простился с ним. Ему нужно было ехать от Глухова в Москву, и он взял у А. М. Марковича тарантас, а у меня моего человека, повара

Прокофия, который ему очень нравился. Гоголь взял Прокофия с тем, чтобы возвратить тарантас и бричку. Этот Прокофий потом явился, когда потеряли уже надежду.

А. С. Данилевский по записи В. И. Шенрока. Материалы, IV, 715.

Добрался я до Орла благополучно. Но здесь, к величайшему моему изумлению, дилижанса не нашел. Они уничтожены. Как жалею теперь, что я не взял из дому человека. Уж хотел отправляться один на так называемых вольных и на перекладных, но раздумал, вспомня хворость свою и недостаточную храбрость, и решился нахальным образом взять у тебя человека, а у добрейшего Александра Михайловича (*Марковича*) бричку до Москвы. В Москве же нанимаю надежного извозчика, который отвезет к вам и Прокофия, и бричку в исправности. Разница будет в лишней неделе.

Гоголь – А. С. Данилевскому, 5 сент. 1848 г., из Орла. Письма. IV. 213.

Сентября 12. – Гоголь в Москве.

А. И. Кирпичников. Хронолог. канва, 103.

Гоголь был в Москве, мы его видели; он мало наружно переменился, но кажется, как будто не тот Гоголь, Константин (*К. С. Аксаков*) в минуту свидания забыл все и задушил было его обнимая.

В. С. Аксакова – М. Г. Карташевской, из Москвы. История знакомства, 184.

Приехал Гоголь. Увидев его, я помнил только то, что шесть лет с лишком не видал его. Поэтому крепко его обнял, так что он долго после этого кряхтел. Он как будто смущен, уступает, еще не знает, как ему быть, неуверенность видна в нем, так я заметил.

К. С. Аксаков – брату Г. С-чу. Шенрок. Материалы, IV, 752.

Ты меня спрашиваешь о Гоголе… Примирение произошло еще на письмах. Все ему обрадовались, и отношения остались по-прежнему дружеские; но только все казалось, это не тот Гоголь.

В. С. Аксакова – М. Г. Карташевской, из Москвы. История знакомства, 184.

В Москве, кроме немногих знакомых, нет почти никого; все еще сидят по дачам и деревням. Теперь я еду в Петербург.

Гоголь – А. С. Данилевскому, 12 сент. 1848 г., из Москвы. Письма, IV, 215.

Вторую половину сентября и начало октября Гоголь пробыл в Петербурге; видался с Виельгорскими и больше прежнего заинтересовался гр. Анной Михайловной; сравнительно мало виделся с Смирновой; был у Прокоповича и Плетнева.

А. И. Кирпичников. Хронолог. канва, 103.

Был у тебя уже два раза. На дачу не могу попасть и не попаду… Я еду сейчас к Мих. Ю. Виельгорскому в Павлино (*дача Виельгорских под Петербургом, на Петергофской дороге*), а оттуда в Павловск. По случаю торжественного фамильного их дня (*именины Софьи Мих. Соллогуб, 17 сент.*) отказаться мне было невозможно.

Гоголь – Плетневу, 16 сент. 1848 г. Письма, IV, 217.

В 1848 году я осенью жила в Павловске. Явился Гоголь в довольно хорошем расположении духа, но не хотел ни у кого бывать, ничего не хотел говорить, отговаривался при мне ехать на вечер, ссылаясь, что ему шили в Бейруте сюртук и что в этом сюртуке не может явиться ни к кому в Петербурге. Он бывал очень часто у Виельгорского, у С. П. Апраксиной, о которой он говорил, что он любит. Она сама по себе очень добра, она сестра моего любезного А. П. Толстого. Вообще он ее очень высоко ставил, любовался очень ею, как светскою дамою, что никто не умеет дать бал хороший и экономно. Если тому надо быть, то чем меньше затрачено времени и денег.

А. О. Смирнова по черновому конспекту ее рассказов, сделанному А. Н. Пыпиным. Смирнова. Записки, 326.

Сюда приехал Гоголь. Он был у меня… Гоголь – большой знаток церковной литературы… Он на вид очень здоров и даже более полон, нежели когда-либо был таким. Наружность его, щеголеватая до изысканности, не напоминает автора «Переписки». О состоянии духа он не вдается в объяснения.

П. А. Плетнев – Я. К. Гроту, 22 сент. 1848 г. Переписка Грота с Плетневым, III, 324.

Один из школьных товарищей Гоголя (*П. Г. Редкин?*), как мы слышали, не принял Гоголя, когда он заехал к нему по старой привычке в Петербурге вскоре по выходе «Переписки с друзьями» в 1848 г. По слухам. Гоголь, пораженный отказом, не мог сдержать себя и зарыдал

тут же, у двери. Этот случай потом рассказывался будто бы с кафедры студентам этим товарищем Гоголя.

В. И. Шенрок. Материалы, VI, 556.

В последний приезд из-за границы Гоголь извне пользовался всеобщим уважением и славою от современников, и внутренно сам был преисполнен и славою, и самоуважением. Приехав в Петербург, он расположился в доме и квартире графа М. Ю. Виельгорского, где проживал и В. А. Соллогуб, женатый на дочери графа, Соллогуб за великую себе честь считал сопровождать Гоголя в знакомые дома, в ученые заседания и в театры. Так, в одном из спектаклей Александрийского театра, во время антракта, он, вбежав в уборную Мартынова, кричал: «Гоголь, Гоголь идет похвалить вашу игру!» За ним является и сам Гоголь, важный, серьезный, гордый, говоря: «Хорошо, Мартынов, я доволен. Я заметил, что вы играли свою роль «Con amore!»» Потом Соллогуб проводил его до уборной В. В. Самойловой. – «Никогда, – рассказывала Вера Васильевна, – так свысока не хвалил нас и государь». – «Мило, мило, а главное, – умно провели свою роль… Вы и Мартынов помирили меня с русской сценой». В таком-то настроении он вздумал посетить директора театров А. М. Гедеонова. При входе Гоголя в канцелярию Гедеонова начальник репертуара А. Л. Невахович, вскочив с места, с восторгом раскланиваясь, приветствовал автора «Мертвых душ». Кивнув ему головой. Гоголь спросил: «Где Александр Михайлович?» – «Пожалуйте сюда в кабинет», – и расшаркиваясь, ввел его в кабинет, где директор сидел спиной ко входу: он в эту минуту крепко занят был цифирью по случаю огромного дефицита. Гоголь (развязно подходя к нему): Здравствуйте, Александр Михайлович! Гедеонов (мельком взглянув на него): Здравствуйте! (снова углубляясь в работу). Что вам нужно? Гоголь: Я Гоголь. Гедеонов (с нетерпением): Так что же нужно? Гоголь (растерявшись): Где ваш сын Этьен? Гедеонов (обертываясь и указывая рукой): Так через переднюю к нему… (увидав Неваховича). Александр Львович! Проводите его к Степану Александровичу! – «Как ни смешна эта сцена, – рассказывал Невахович, – а мне жаль было Гоголя, когда он, то бледный, как полотно, то красный, как рак, шел со мной из кабинета до комнаты директорского сына».

Н. И. Куликов. Петербургское театральное училище. Рус. Стар., 1886, т. 52, стр. 624.

В Петербурге я успел увидеть Прокоповича и Анненкова, приехавшего на днях из-за границы. Все, что рассказывает он, как очевидец, о парижских происшествиях, просто страх: совершенное разложение общества. Тем более и это безотрадно, что никто не видит никакого

исхода и выхода и отчаянно рвется в драку, затем, чтобы быть только убиту. Никто в силах вынесть страшной тоски этого рокового переходного времени, и почти у всякого ночь и тьма вокруг. А между тем слово молитва до сих пор еще не раздавалось ни на чьих устах.

Гоголь – А. С. Данилевскому, 24 сент. 1848 г., из Петербурга. Письма, IV, 219.

Гоголь изъявил желание А. А. Комарову приехать к нему и просил его пригласить к себе несколько известных новых литераторов, с которыми он не был знаком. А. А. пригласил, между прочим, Гончарова, Григоровича, Некрасова и Дружинина. Я также был в числе приглашенных, хотя был давно уже знаком с Гоголем. Мы собрались к А. А. Комарову часу в девятом вечера. Радушный хозяин приготовил роскошный ужин для знаменитого гостя и ожидал его с величайшим нетерпением. Он благоговел перед его талантом. Мы все также разделяли его нетерпение. В ожидании Гоголя пили чай до девяти часов, но Гоголь не показывался, и мы сели к чайному столу без него.

Гоголь приехал в половине одиннадцатого, отказался от чая, говоря, что он его никогда не пьет, взглянул бегло на всех, подал руку знакомым, отправился в другую комнату и разлегся на диване. Он говорил мало, вяло, нехотя, распространяя вокруг себя какую-то неловкость, что-то принужденное. Хозяин представил ему Гончарова, Григоровича, Некрасова и Дружинина. Гоголь несколько оживился, говорил с каждым из них об их произведениях, хотя было очень заметно, что не читал их. Потом он заговорил о себе и всем нам дал почувствовать, что его знаменитые «Письма» писаны им были в болезненном состоянии, что их не следовало издавать, что он очень сожалеет, что они изданы. Он как будто оправдывался перед нами.

От ужина, к величайшему огорчению хозяина дома, он также отказался. Вина не хотел пить никакого, хотя тут были всевозможные вина. «Чем же вас угощать, Николай Васильевич?» – сказал наконец в отчаянии хозяин дома. «Ничем, – отвечал Гоголь, потирая свою бородку, – впрочем, пожалуй, дайте мне рюмку малаги». Одной малаги именно и не находилось в доме. Было уже между тем около часа, погреба все заперты. Однако хозяин разослал людей для отыскания малаги. Но Гоголь, изъявив свое желание, через четверть часа объявил, что он чувствует себя не очень здоровым и поедет домой. «Сейчас подадут малагу, – сказал хозяин дома, – погодите немного!» – «Нет, уж мне не хочется, да к тому же поздно».

Хозяин дома, однако, умолил его подождать малаги. Через полчаса бутылка была принесена. Он налил себе полрюмочки, отведал, взял шляпу и уехал, несмотря ни на какие просьбы.

Не знаю, как другим, – мне стало как-то легче дышать после его отъезда.

И. И. Панаев. Воспоминания о Белинском. Полн. собр. соч., VI, 309.

В 1849 (*1848*) году, на вечере у Александра Комарова, Гоголь при мне развивал мысль, что преследование печати и жизни не может долго длиться, и советовал литераторам и труженикам всякого рода пользоваться этим временем для тихого приготовления серьезных работ ко времени облегчения. Тогда произошла довольно наивная сцена. Некрасов, присутствовавший тоже на вечере, заметил: «Хорошо, Николай Васильевич, да ведь за все это время надо еще есть». Гоголь был опешен, устремил на него глаза и медленно произнес: «Да, вот это трудное обстоятельство».

П. В. Анненков. Последняя встреча с Гоголем. П. В. Анненков и его друзья. СПб., 1892. Стр. 515.

Раз Гоголь изъявил желание нас видеть. Я, Белинский (*Белинский уже умер весною 1848 г.*), Панаев и Гончаров надели фраки и поехали представляться, как к начальству. Гоголь и принял нас, как начальник принимает чиновников; у каждого что-нибудь спросил и каждому что-нибудь сказал. Я читал ему стихи «Родина». Выслушал и спросил: «Что же вы дальше будете писать?» – «Что бог на душу положит». – «Гм!..» – и больше ничего. Гончаров, помню, обиделся его отзывом об «Обыкновенной истории».

Н. А. Некрасов по записи А. С. Суворина. Новое Время, 1878, № 662. Цитир. по «Воспоминаниям» А. Панаевой. изд. 2-е, 1928, стр. 239, примеч.

14 октября Гоголь уже в Москве, поселился, по-старинному, у Погодина.

А. И. Кирпичников. Хронолог. канва, 104.

Когда Гоголь приехал из Малороссии в Москву (в сентябре 1848 года), был в деревне и только в октябре переселился в город. В тот же вечер пришел к нам Гоголь, и мы увиделись с ним после шестилетней разлуки. В непродолжительном времени восстановились между нами прежние, как бы прерванные, нарушенные продолжительною разлукою отношения; но об его книге и втором томе «Мертвых душ» не было и помину.

С. Т. Аксаков. Кулиш, II, 222.

18 октября 1848 г. – Глубокое замечание Гоголя: «Спасение России, что Петербург в Петербурге».

М. П. Погодин. Дневник. Барсуков, IX, 475.

Я только что оправляюсь от бессонниц своих, которые продолжались и здесь, в Москве, и теперь только начинают прекращаться. Москва уединена, покойна и благоприятна занятиям. Я еще не тружусь так, как бы хотел, чувствуется некоторая слабость, еще нет этого благодатного расположения духа, какое нужно для того, чтобы творить. Но душа кое-что чует, и сердце исполнено трепетного ожидания этого желанного времени.

Гоголь – А. М. Виельгорской, 29 окт. 1848 г., из Москвы. Письма. IV, 224.

1 ноября. – Думал о Гоголе. Он все тот же. Я убедился. Только ряса подчас другая. Люди ему нипочем.

2 ноября. – Гоголь по два дня не показывается; хоть бы спросил: чем ты кормишь двадцать пять человек?

М. П. Погодин. Дневник. Барсуков, IX, 475.

В честь пребывания Гоголя в Москве Погодин торжественно отпраздновал день своего рождения (11 ноября 1848 г.) во фраках и белых галстуках. Присутствовали новый помощник попечителя Московского учебного округа кн. Г. А. Щербатов, П. П. Новосильцов, И. К. Киреевский и др. Но вечер, кажется, не удался благодаря герою торжества. По крайней мере, вот что записал Погодин в дневнике о своем вечере: «Приготовление к вечеру. Гоголь испортил, и досадно».

Н. П. Барсуков, IX, 478.

19 ноября. – Православие и самодержавие у меня в доме: Гоголь служил всенощную, – неужели для восшествия на престол?

20 ноября. – Гоголь ныне приобщался. Вот почему вчера он служил всенощную.

М. П. Погодин. Дневник. Барсуков, IX, 476.

Соображаю, думаю и обдумываю второй том «Мертвых душ». Читаю преимущественно то, где слышится сильней присутствие русского духа. Прежде, чем примусь серьезно за перо, хочу назвучаться русскими звуками и речью. Боюсь нагрешить противу языка.

Гоголь – П. А. Плетневу. 20 ноября 1848 г., из Москвы. Письма, IV, 232.

Гоголь у нас по-прежнему бывает также часто; но веселее и разговорчивее, нежели был прежде; говорит откровенно и о своей книге; и вообще стал проще, как все находят. Он твердо намерен продолжать «Мертвые души».

В. С. Аксакова – М. Н. Карташевской, 29 ноября 1848 г., из Москвы. История знакомства, 184.

В первый раз встретился я с Гоголем у С. П. Шевырева в конце 1848 года. Было несколько человек гостей, принадлежавших к московскому кружку славянофилов. Сколько могу припомнить, все они были приглашены на обед для Гоголя, только что воротившегося из Италии и находившегося тогда в апогее своего величия и славы. Трудно представить себе более избалованного литератора и с большими претензиями, чем был в то время Гоголь. Московские друзья Гоголя, точнее сказать – приближенные (действительного друга у Гоголя, кажется, не было во всю жизнь), окружали его неслыханным, благоговейным вниманием. Он находил у кого-нибудь из них, во всякий свой приезд в Москву, все, что нужно для самого спокойного и комфортабельного житья: стол с блюдами, которые он наиболее любил; тихое, уединенное помещение и прислугу, готовую исполнять все его малейшие прихоти. Этой прислуге с утра до ночи строго внушалось, чтоб она отнюдь не входила в комнату гостя без требования с его стороны; отнюдь не делала ему никаких вопросов; не подглядывала (сохрани бог!) за ним. Все домашние снабжались подобными же инструкциями. Даже близкие знакомые хозяина, у кого жил Гоголь, должны были знать, как вести себя, если неравно с ним встретятся и заговорят. Им сообщалось, между прочим, что Гоголь терпеть не может говорить о литературе, в особенности о своих произведениях, а потому никоим образом нельзя обременять его вопросами: «что он теперь пишет?» – а равно: «куда поедет?» или: «откуда приехал?» И этого он также не любил. Да и вообще, мол, подобные вопросы в разговоре с ним не ведут ни к чему: он ответит уклончиво или ничего не ответит. Едет в Малороссию – скажет: в Рим; едет в Рим – скажет: в деревню к такому-то. Стало быть, зачем понапрасну беспокоить!

Гостиная была уже полна. Одни сидели, другие стояли, говоря между собою. Ходил только один, небольшого роста человек, в черном сюртуке и брюках, похожих на шаровары, остриженных в скобку, с небольшими усиками, с быстрыми и проницательными глазами темного цвета, несколько бледный. Он ходил из угла в угол, руки в карманы, и тоже говорил. Походка его была оригинальная, мелкая, неверная, как будто одна нога старалась заскочить постоянно вперед, отчего один шаг

выходил как бы шире другого. Во всей фигуре было что-то несвободное, сжатое, скомканное в кулак. Никакого размаху, ничего открытого нигде, ни в одном движении, ни в одном взгляде. Напротив, взгляды, бросаемые им то туда, то сюда, были почти что взглядами исподлобья, наискось, мельком, как бы лукаво, не прямо другому в глаза, стоя перед ним лицом к лицу. Для знакомого немного с физиономиями хохлов – хохол был тут виден сразу. Я сейчас сообразил, что это Гоголь, больше так, чем по какому-либо портрету.

Хозяин представил меня. Гоголь спросил: «Долго ли вы в Москве?» – И когда узнал, что я живу в ней постоянно, заметил: «Ну, стало быть, наговоримся, натолкуемся еще». Это была обыкновенная его фраза при встречах со многими, фраза, ровно ничего не значившая, которую он тут же и забывал. В обед, за который мы все скоро сели. Гоголь говорил немного, вещи самые обыденные.

Затем я стал видеть его у разных знакомых славянофильского кружка. Он держал себя большею частью в стороне от всех. Если он сидел и к нему подсаживались с умыслом потолковать, узнать, не пишет ли он чего-нибудь нового, – он начинал дремать, или глядеть в другую комнату, или просто-запросто вставал и уходил. Он изменял обыкновенным своим порядкам, если в числе приглашенных вместе с ним оказывался один малороссиянин, член того же славянофильского кружка (*О. М. Бодянский*). Каким-то таинственным магнитом тянуло их тотчас друг к другу; они усаживались в угол и говорили нередко между собой целый вечер горячо и одушевленно, как Гоголь (при мне, по крайней мере) ни разу не говорил с кем-нибудь из великоруссов.

Если же не было малороссиянина, о котором я упомянул, – появление Гоголя на вечере, иной раз нарочно для него устроенном, было почти всегда минутное. Пробежит по комнатам, взглянет; посидит где-нибудь на диване, большею частью совершенно один; скажет с иным приятелем два-три слова, из благоприличия, небрежно, бог весть где летая в то время своими мыслями, – и был таков.

Ходил он вечно в одном и том же сюртуке черном и шароварах. Белья не было видно. Во фраке, я думаю, видали Гоголя немногие. На голове, сколько могу припомнить, носил он большею частью шляпу, летом – серую с большими полями.

Н. В. Берг. Воспоминания о Н. В. Гоголе. Рус. Стар., 1872, янв., 118.

Н. В. Берг едва ли верно подметил ту черту характера Гоголя, что он был в обществе молчалив и не общителен до странности и оживлялся только, столкнувшись нечаянно с кем-нибудь из малороссов. Гоголь в нашем кружке, – а большинство было русское, – был всегда самым очаровательным собеседником: рассказывал, острил, читал свои

сочинения, никем и ничем не стесняясь. Нелюдимом он являлся только на тех вечерах, которые устраивались так часто с Гоголем многими из его почитателей и почитательниц.

П. М. Щепкин по записи В. И. Веселовского. Рус. Стар., 1872, февр., 283.

Два анекдотические рассказа, слышанные от достоверных личностей. Самые образованные семейства, жившие в Москве, интересовались Гоголем, ценили его талант и входили с ним в близкие отношения. Таковы были семейства С. Т. Аксакова и А. П. Елагиной, матери Киреевских, великой поклонницы немецкой поэзии. В один из своих визитов Гоголь застал ее за книгой. «Что вы читаете?» – спросил он. «Балладу Шиллера «Кассандра»». – «Ах, прочтите мне что-нибудь, я так люблю этого автора!» – «С удовольствием». И Гоголь внимательно выслушал «Жалобы Цереры» и «Торжество победителей». Вскоре после того он уехал за границу, где и пробыл немалое время. Возвратись, он явился к Елагиной и застал ее опять за Шиллером. Выслушав рассказ о его путешествии и заграничной жизни, она обращается к нему с предложением прочесть что-нибудь из Шиллера: «Ведь вы так любите его». – «Кто? я? Господь с вами, Авдотья Петровна; да я ни бельмеса не знаю по-немецки; ваше чтение будет не в коня корм». Любопытно бы знать, для чего притворялся или просто лгал человек?

А вот второй пассаж, рассказанный мне Щепкиным. Гоголь жил у Погодина, занимаясь, как он говорил, вторым томом «Мертвых душ». Щепкин почти ежедневно отправлялся на беседу с ним. «Раз, – говорит он, – прихожу к нему и вижу, что он сидит за письменным столом такой веселый». – «Как ваше здравие? Заметно, что вы в хорошем расположении духа». – «Ты угадал; поздравь меня: кончил работу». Щепкин от удовольствия чуть не пустился в пляс, и на все лады начал поздравлять автора. Прощаясь, Гоголь спрашивает Щепкина: «Ты где сегодня обедаешь?» – «У Аксаковых». – «Прекрасно, и я там же». Когда они сошлись в доме Аксакова. Щепкин, перед обедом, обращаясь к присутствовавшим, говорит: «Поздравьте Николая Васильевича. Он кончил вторую часть «Мертвых душ»». Гоголь вдруг вскакивает: – «Что за вздор! От кого ты это слышал?» Щепкин пришел в изумление. «Да от вас самих; сегодня утром вы мне сказали». – «Что ты, любезный, перекрестись; ты, верно, белены объелся или видел во сне». Снова спрашивается: чего ради солгал человек? Зачем отперся от своих собственных слов?

А. Д. Галахов. Сороковые годы. Ист. Вестн., 1892, февр., 405.

Однажды, кажется в том же 1848 году, зимой, был у Погодина вечер, на котором Щепкин читал что-то из Гоголя. Гоголь был тут же. Просидев

совершенно истуканом, в углу, рядом с читавшим час или полтора, со взглядом, устремленным в неопределенное пространство, он встал и скрылся.

Впрочем, положение его в те минуты было, точно, затруднительное: читал не он сам, а другой; между тем вся зала смотрела не на читавшего, а на автора, как бы говоря: «А! вот ты какой, господин Гоголь, написавший нам эти забавные веши!»

Н. В. Берг. Рус. Стар., 1872, янв., 121.

Под конец последнего пребывания Гоголя у нас я помню сановитую фигуру священника, приходившего к нему наверх и долго беседовавшего с ним. То был отец Матфий, ржевский знаменитый проповедник.

Д. М. Погодин. Воспоминания. Ист. Вестн., 1892, апр., 44.

Гоголь в Москве жил у меня два месяца, а теперь переехал к графу А. П. Толстому, ибо я сам переезжаю во флигель… Он здоров, спокоен и пишет.

М. П. Погодин – М. А. Максимовичу, 24 дек. 1848 г. Барсуков, IX, 476.

Гоголь в эту зиму прочел нам всю «Одиссею», переведенную Жуковским. Он слишком восхищался этим переводом. Я и сын мой Константин были не совсем согласны с ним. Разумеется, это было ему неприятно; но он не показывал никакого неудовольствия. Часто также читал вслух Гоголь русские песни, собранные Терещенко, и нередко приходил в совершенный восторг, особенно от свадебных песен. Гоголь всегда любил читать; но должно сказать, что он читал с неподражаемым совершенством только все комическое в прозе, или, пожалуй, чувствительное, но одетое формою юмора; все же чисто патетическое, как говорится, и лирическое Гоголь читал нараспев. Он хотел, чтобы ни один звук стиха не терял своей музыкальности, и, привыкнув к его чтению, можно было чувствовать силу и гармонию стиха. Из писем его к друзьям видно, что он работал в это время неуспешно и жаловался на свое нравственное состояние. Я же думал, напротив, что труд его подвигается вперед хорошо, потому что сам он был довольно весел и читал всегда с большим удовольствием. Я в этом, как вижу теперь, ошибался; но вот что верно: я никогда не видал Гоголя таким здоровым, крепким и бодрым физически, как в эту зиму, т. е. в ноябре и декабре 1848 и в январе и феврале 1849 года. Не только он пополнел, но тело на нем сделалось очень крепко. Обнимаясь с ним ежедневно, я всегда щупал его руки. Я радовался и благодарил бога. Надобно заметить, что зима была необыкновенно жестокая и постоянная, что Гоголь прежде

никогда не мог выносить сильного холода и что теперь он одевался очень легко.

С. Т. Аксаков. Кулиш, II, 22.

Небольшой рост, солидный сюртук, бархатный глухой жилет, высокий галстух и длинные темные волосы, гладко падавшие на острый профиль. Разговаривая или обдумывая что-нибудь, Гоголь протряхивал головой, откидывая волосы назад, или иной раз вертел небольшие красивые усы свои; при этом бывала и добродушная, кроткая улыбка на его лице, когда он, доверчиво разговаривая, поглядывал нам в лицо. Когда беседа не оживляла его, он сидел, немного откинувшись назад и несколько сгорбившись, как будто утомленный или углубленный в продолжительную думу. Бывали также минуты, когда он быстро ходил и почти бегал по комнате, говоря, что этого требует его нездоровье и остывшая будто бы его кровь.

Д. К... Малиновский. Нечто о Гоголе. Газ. «Русский», 1868. № 22.

«Скажите, Николай Васильевич, – спрашивал я, – как так мастерски вы умеете представлять всякую пошлость? Очень рельефно и живо!» Легкая улыбка показалась на его лице, и после короткого молчания он тихо и доверчиво сказал: «Я представляю себе, что черт, большею частью, так близок к человеку, что без церемонии садится на него верхом и управляет им, как самою послушною лошадью, заставляя его делать дурачества за дурачествами». Суетных образов молодых людей Гоголь любил называть щелкоперами и говорил, что они большею частью незнакомы с чертом потому, что сами для него вовсе неинтересны, и он их оставляет самим себе без всякого внимания с своей стороны, в полной уверенности, что они не уйдут и сами от него.

«Разве, разве, – прибавил он, – когда-нибудь он спрячет у них перчатку, и они долго потом ее ищут; вот все проделки его с ними».

Когда разговор заходил о «Мертвых душах» и о втором томе, то Гоголь всегда говорил, что надеется вывести в нем личности крупнее предшествующих.

Д. К. Малиновский. Записки Об-ва истории, филологии и права при имп. Варшавском университете. 1902, вып. I, отдел II, стр. 90.

Я спросил Гоголя, чем именно должны кончиться «Мертвые души». Он, задумавшись, выразил свое затруднение высказать это с обстоятельностью. Я возразил, что мне только нужно знать, оживет ли, как следует, Павел Иванович. Гоголь, как будто с радостью, подтвердил, что это непременно будет, и оживлению его послужит прямым участием

сам царь, и первым вздохом Чичикова для истинной прочной жизни должна кончиться поэма. В изъяснении этой развязки он несколько распространился, но, опасаясь за неточность припоминания подробностей, ничего не говорю об этих его речах. «А прочие спутники Чичикова в «Мертвых душах»? – спросил я Гоголя: – и они тоже воскреснут?» – «Если захотят», – ответил он с улыбкою; и потом стал говорить, как необходимо далее привести ему своих героев к столкновению с истинно хорошими людьми, и проч., и проч.

Архимандрит Феодор (А. М. Бухарев). Три письма к Гоголю, писанные в 1848 г. СПб., 1861. Стр. 138.

Недолго предавался я радостным надеждам на совершенное восстановление здоровья Гоголя. С появлением первых оттепелей Гоголь стал задумчивее, вялее, и хандра, очевидно, стала им овладевать... Однако 19 марта, в день его рождения, который он всегда проводил у нас, я получил от него довольно веселую записку: «Любезный друг Сергей Тимофеевич, имеют сегодня подвернуться вам к обеду два приятеля: Петр Мих. Языков и я, оба греховодники и скоромники. Упоминаю об этом обстоятельстве по той причине, чтобы вы могли приказать прибавить кусок бычачины на одно лишнее рыло».

С. Т. Аксаков. Кулиш, II, 223.

Не могу понять, отчего не пишется и отчего не хочется говорить ни о чем. Та же недвижность и в моих литературных занятиях. Я ничего не издал в свет и ничего не готовлю; что и приуготовляю, то идет медленно и не может никак выйти скоро. Отчего, зачем нашло на меня такое оцепенение, этого не могу понять.

Гоголь – В. А. Жуковскому, 3 апр. 1849 г., из Москвы Письма, IV, 243.

Именины свои, 9 мая, Гоголь праздновал по-прежнему в саду у М. П. Погодина, и 7 мая я получил от него следующую записку: «Мне хотелось бы, держась старины, послезавтра отобедать в кругу коротких приятелей в Погодинском саду. Звать на именины самому неловко. Не можете ли вы дать знать Армфельду, Загоскину, Самарину и Павлову совокупно с Мельгуновым? Придумайте, как это сделать ловче, и дайте мне потом ответ, если можно, заблаговременно».

С. Т. Аксаков. Кулиш, II, 223.

Я нашел Гоголя хуже здоровьем, чем оставил: он опять расстроился было нервами, похудел очень; но теперь стал несколько вновь бодрее. Я

полагаю, что мистицизм А. П. Толстого с супругою в состоянии навести невыносимую хандру и расстроить всякие нервы… Он говорил нашим, что пишет, но лениво. Оттого ли, что время безусловного поклонения искусству прошло, оттого ли, что у всех в памяти его последняя книга, не знаю, но только Гоголь не только не играет никакой роли в здешнем обществе, но даже весьма небрежно трактуется им. Люди забывчивы. 9 мая, в день своих именин, Гоголь захотел дать обед в саду у Погодина так, как он давал обед в этот день в 1842 году и прежде еще не раз. Много воды утекло в эти годы. Он позвал всех, кто только были у него в то время. Люди эти теперь почти все перессорились, стоят на разных сторонах, уже высказались в разных обстоятельствах жизни; многие не выдержали испытания и пали… Словом, обед был весьма грустный и поучительный, а сам по себе превялый и прескучный. Когда же, по милости вина, обед оживился, то многие перебранились так, как и ожидать нельзя было.

И. С. Аксаков – А. О. Смирновой, 16 мая 1849 г., из Москвы. Рус. Арх., 1895, III, 432.

Я не снес покорно и безропотно бесплодного, черствого состояния, последовавшего скоро за минутами некоторой свежести, пророчившими вдохновенную работу, и сам произвел в себе опять тяжелое расстройство нервическое, которое еще более увеличилось от некоторых душевных огорчений. Я до того расколебался, и дух мой пришел в такое волнение, что никакие медицинские средства и утешения не могли действовать. Уныние и хандра мною одолели снова.

Гоголь – П. А. Плетневу, 21 мая 1849 г., из Москвы. Письма, IV, 256.

Зиму я провел хорошо. В конце ее только пришла хандра, которую я старался всячески побеждать. Но с приближением весны не устоял. Нервы расшатали меня всего, – ввергнули в такое уныние, в такую нерешимость, в такую тоску от собственной нерешимости, что я весь истомился… Теперь с каждым днем укрепляюсь заметно.

Гоголь – А. О. Смирновой, 27 мая 1849 г., из Москвы. Письма, IV, 257.

Весной заболел, но теперь опять поправляюсь. Голова еще не в таком состоянии, чтобы светло заняться делом, но времени не пропускаю, от дела не бегаю и запасаюсь материалом для будущей работы.

Гоголь – К. М. Базили, 5 июня 1849 г., из Москвы. Письма, IV, 262.

5 июня 1849 года Погодин вместе с Гоголем отправились к князю Вяземскому в Остафьево. Под этим числом в дневнике Погодина

читаем: «К. Вяземскому в Остафьево, по серпуховской знакомой дороге, по которой ездил, с таким бьющимся сердцем. С Гоголем о Европе, о России, правительстве. Это шоссе, напр., проведено прямо, стоило дорого, но ездить нельзя: усыпано хрящем, что и колеса, и копыта испортились. Все ездят и мучатся проселками, а за шоссе все-таки платят Клейнмихелю. Вяземский очень рад. Гуляли. О Карамзине, о крестьянах, о Петре Великом, литературе и пр.».

Н. П. Барсуков. X, 195.

15 июня 1849 г. – Вечером была у Хомяковых, где были, кроме любезных дам, Гоголь и (Ю. Ф.) Самарин.

Е. И. Попова. Дневник. «Из московской жизни 40-х годов». Изд-во «Огни». Спб., 1911. Стр. 154.

22 июня. Когда мы возвратились домой, т. е. к Шевыреву, в десять часов, пришли: сперва Берг, потом Гоголь. Гоголя нашел я лучше, чем воображал. Он был разговорчив и весел. Я с ним вместе отправился домой и подвез его к его квартире.

25 июня. Посидел у Гоголя: сбирается поездить по России, но еще колеблется, ехать ли, ибо дорожит временем, а жизнь коротка. При мне получил он записку от Смирновой с уведомлением, что она приехала в Москву из Петербурга.

Я. К. Грот – Плетневу, 28 июня 1849 г., из Москвы. Переписка Грота с Плетневым, III, 443–444.

В 1849 году, летом, я был в Москве, и тут мы с Гоголем посещали друг друга. Гоголь жил тогда у гр. Толстого в д. Талызина на Никитском бульваре, поблизости Арбатских ворот[57]. Из его разговоров мне особенно памятно следующее. Он жаловался, что слишком мало знает Россию; говорил, что сам сознает недостаток, которым от этого страдают его сочинения. «Я нахожусь в затруднительном положении, – рассуждал он, – чтобы лучше узнать Россию и русский народ, мне необходимо было бы путешествовать, а между тем уж некогда: мне около сорока лет, а время нужно, чтобы писать». Отказываясь поэтому от мысли о путешествиях по России, Гоголь придумал другое средство пополнить свои сведения об отечестве. Он решился просить всех своих приятелей, знакомых с разными краями России или еще собирающихся в путь, сообщать ему свои наблюдения по этому предмету. О том просил он и меня. Но любознательность Гоголя не ограничивалась желанием узнать Россию со стороны быта и нравов. Он желал изучить ее во всех отношениях. Мысль эта давно занимала Гоголя, и для достижения этой

цели он не пренебрегал даже и самыми скудными средствами. Живя за границею, он не переставал читать книги, которые казались ему пособиями для этого. И что же читал он, для своего назидания, с особенным вниманием? «Россию» Булгарина[58]! Это рассказывал мне тогда А. О. Россет, возвратясь из чужих краев, где он часто заставал Гоголя за этим чтением. Гоголь, лежа на солнце, подчеркивал карандашом любопытнейшие места в книге Булгарина. Взяв с меня обещание доставлять ему заметки о тех местах России, которые я увижу, Гоголь стал расспрашивать меня о Финляндии, где я жил в то время. Между прочим, его интересовала флора этой страны; он пожелал узнать, есть ли по этому предмету какое-нибудь хорошее сочинение, и попросил выслать ему, когда я возвращусь в Гельсингфорс, незадолго перед тем появившуюся книгу Нюландера, Flora fennica, что я и исполнил впоследствии.

В Москве жил я у старого приятеля моего, Д. С. Протопопова, на Собачьей площадке. Раз вдруг подъезжает к дому красивая карета, и из нее выходит Гоголь. Я рассказал ему, что мой хозяин может доставить ему много материалов для изучения России, потому что долго жил в разных губерниях и по службе имел частые сношения с народом. Гоголь изъявил желание познакомиться с Протопоповым, но в тот раз это было невозможно, так как приятель мой был в это самое время хотя и дома, но занят по должности.

Между тем Гоголь вскоре куда-то уехал, а я, по непредвиденным обстоятельствам, возвратился в Гельсингфорс ранее, чем предполагал. Послав Гоголю обещанную книгу о финляндской флоре, я писал ему, что Протопопов ждет его, и с тем вместе сообщил отрывок из одного письма Протопопова ко мне как образчик взгляда его на русский народ.

Вот что отвечал мне Гоголь, приехавший опять в Москву: «Благодарю вперед за предстоящее знакомство с Протопоповым, которого я непременно отыщу. Его замечания о русском народе, приложенные в вашем письме, совершенно верны, отзываются большой опытностью, а с тем вместе и ясностью головы».

Вскоре после того Гоголь действительно ездил к моему приятелю, но не застал его дома. Погруженный в дела службы, Протопопов, который сверх того был всегда немножко нелюдим, не поехал к Гоголю, и они не познакомились лично.

Я. К. Грот. Воспоминания о Гоголе. Труды Я. К., Грота. СПб., 1901. Т. III, стр. 363.

Я жил тогда в Москве; сестра моя (*сводная сестра, А. О. Смирнова*) приехала из Калуги (25 июня 1849 г.) и остановилась в гостинице «Дрезден». При первом же свидании она объявила мне, что Гоголь здесь

и в шесть часов вечера будет к ней. Я, разумеется, остался обедать и ждал Гоголя с нетерпением. Ровно в шесть часов вошел в комнату человек маленького роста с длинными белокурыми волосами, причесанными а-ля мужик, маленькими карими глазками и необыкновенно длинным и тонким птичьим носом. Это был Гоголь. Он носил усы, чрезвычайно странно тарантил ногами, неловко махал одной рукой, в которой держал палку и серую пуховую шляпу; был одет вовсе не по моде и даже без вкуса. Улыбка его была очень добрая и приятная, в глазах замечалось какое-то нравственное утомление. Сестра моя познакомила нас, и Гоголь дружески обнял меня. Мы сели вокруг стола; разговор завязался о здоровье, Гоголь внимательно расспрашивал сестру о ее положении, давал какие-то советы и не сказал ничего замечательного. Вечером я проводил его домой; нам было по дороге, потому что он жил тогда на Никитском бульваре у графа А. П. Толстого, а я у Никитских ворот. Гоголь говорил со мною о моей службе и советовал не брать видных мест. «На них всегда найдутся охотники, – прибавил он, – а вы возьмите должность скромную, не блестящую, и постарайтесь быть именно в этой должности полезным; тогда вы увидите, как будет вам весело на душе». Я отвечал, что надеюсь скоро быть советником в губернском правлении. «Вот и хорошо, – отвечал Гоголь, – тут работы будет много и пользу принести можно; это не то, что франты чиновники по особым поручениям или служба министерская; очень, очень рад за вас и душевно поздравляю вас, когда получите это место».

На другой день вечером Гоголь опять был у сестры, но почти все время молчал. Пришел С. (*Ю. Ф. Самарин*); говорили много о немцах, шутили, смеялись. С., со свойственным ему остроумием, представлял все в лицах и смешил нас до слез. Так прошел почти весь вечер. Гоголь упорно молчал и наконец сказал: «Да, немец вообще не очень приятен; но ничего нельзя себе представить неприятнее немца-ловеласа, немца-любезника, который хочет нравиться; тогда может он дойти до страшных нелепостей. Я встретил однажды такого ловеласа в Германии. Его возлюбленная, за которою он ухаживал долгое время без успеха, жила на берегу какого-то пруда и все вечера проводила на балконе перед этим прудом, занимаясь вязанием чулок и наслаждаясь вместе с тем природой. Мой немец, видя безуспешность своих преследований, выдумал наконец верное средство пленить сердце неумолимой немки. Он каждый вечер, раздевшись, бросался в пруд и плавал перед глазами своей возлюбленной, обнявши двух лебедей, нарочно им для сего приготовленных. Уж право не знаю, зачем были эти лебеди, только несколько дней сряду, каждый вечер, он все плавал и красовался с ними перед заветным балконом. Воображал ли он в этом что-то античное, мифологическое или рассчитывал на что-нибудь другое, только дело кончилось в его пользу: немка действительно пленилась этим ловеласом и вышла скоро за него замуж». Все мы расхохотались. Гоголь же очень

серьезно уверял, что это не выдумка, а факт и что он может даже назвать и немца и немку, которые живут и теперь еще счастливо на берегу все того же пруда.

На другой день я заехал с сестрой к Гоголю утром, В комнате его был большой беспорядок; он был занят чтением какой-то старинной ботаники. Покуда он разговаривал с сестрой, я нескромно заглянул в толстую тетрадь, лежавшую на его письменном столе, и прочел только: «Генерал-губернатор...» – как Гоголь бросился ко мне, взял тетрадь и немного рассердился. Я сделал это неумышленно и бессознательно и тотчас же попросил у него извинения. Гоголь улыбнулся и спрятал тетрадь в ящик. «А что ваши «Мертвые души», Николай Васильевич?» – спросила у него сестра. «Да так себе, подвигаются понемногу. Вот приеду к вам в Калугу, и мы почитаем». Вообще Гоголь был очень весел и бодр в этот день. Вечером он опять явился к нам в гостиницу. Мы пили чай, а он – красное вино с теплою водою и сахаром. В одиннадцать часов я провожал его снова до Никитских ворот. Ночь была чудная, светлая, теплая. Гоголь шел очень скоро и все повторял какие-то звучные стихи. На Тверском бульваре мы встретили стройную женщину: закутанную с ног до головы в черный плащ. На лицо опущен был черный вуаль. Гоголь вдруг остановился и сказал: «Знаете ли вы это двустишие Н. (*Неелова*)?[59] А стих? Как вам нравится рифма: «флера полотера»?» До моей квартиры он несколько раз повторил это двустишие и смеялся.

В продолжение двух недель я виделся с Гоголем почти каждый день; он был здоров, весел, но ничего не сказал все это время особенно замечательного. Раз только, ночью, когда я по обыкновению провожал его до Никитских ворот и нам опять попалось навстречу несколько таинственных лиц женского пола, выползающих обыкновенно на бульвар с наступлением ночи. Гоголь сказал мне: «Знаете ли, что на днях случилось со мной? Я поздно шел по глухому переулку в отдаленной части города; из нижнего этажа одного грязного дома раздавалось духовное пение. Окна были открыты, но завешены легкими кисейными занавесками, какими обыкновенно завешиваются окна в таких домах. Я остановился, заглянул в одно окно и увидал страшное зрелище. Шесть или семь молодых женщин, которых постыдное ремесло сейчас можно было узнать по белилам и румянам, покрывающим их лица, опухлые, изношенные, да еще одна толстая старуха отвратительной наружности усердно молились богу перед иконой, поставленной в углу на шатком столике. Маленькая комната, своим убранством напоминающая все комнаты в таких приютах, была сильно освещена несколькими свечами. Священник в облачении служил всенощную, дьякон с причтом пел стихиры. Развратницы усердно клали поклоны. Более четверти часа простоял я у окна... На улице никого не было, и я помолился вместе с ними, дождавшись конца всенощной. Страшно, очень страшно, – продолжал Гоголь. – Эта комната в

беспорядке, имеющая свой особенный вид, свой особенный воздух, эти раскрашенные, развратные куклы, эта толстая старуха и тут же – образа, священник, евангелие и духовное пение. Не правда ли, что все это очень страшно?» Этот рассказ Гоголя напомнил мне сцену из «Клариссы Гарло». Там же Ричардсон описывает сцену в этом роде.

Л. И. Арнольди. Мое знакомство с Гоголем. Рус. Вестн., 1862, т. XXXVII, 59–63.

В Москве – помнится мне, в 1849 году – мы встречались часто у Хомякова, где я бывал всякий день, и у Смирновых. Гоголь был всегда молчалив, и тогда уже видно было, что он страдал. Однажды мы сошлись с ним под вечер на Тверском бульваре. «Если вы не торопитесь, – говорил он, – проводите меня до конца бульвара». Заговорили мы с ним об его болезни. «У меня все расстроено внутри, – сказал он. – Я, напр., вижу, что кто-нибудь спотыкнулся; тотчас же воображение за это ухватится, начнет развивать – и все в самых страшных призраках. Они до того меня мучат, что не дают спать и совершенно истощают мои силы».

Ф. В. Чижов. Кулиш, II. 241.

Последнее мое свидание с Гоголем было во время летней вакации, не помню, какого года. Краевский приехал на побывку в Москву и остановило я у В. П. Боткина. Каждое утро я отправлялся к ним на чаепитие и веселую беседу. В один из таких визитов неожиданно является Гоголь, по возврате из чужих краев, – каких именно, тоже не помню... Гоголь, на мой взгляд, изменился: похудел, стал серьезнее, сдержаннее, не выказывая никаких причуд или капризов, как это им делалось нередко в других, более знакомых домах. Боткин предложил где бы нибудь сообща пообедать. Гоголь охотно согласился. «Чего же лучше, – прибавил он, – как не в гостинице Яра, близ Петровского парка». Таким образом мы провели время вчетвером очень приятно, благодаря прекрасной погоде и повеселевшему дорогому гостю. За обедом он разговорился и даже шутил. Когда на закуску была подана вместо редиски старая редька, он позвал слугу и спросил его: что это такое? «Редиска, – отвечал слуга. – Нет, мой друг, это не редиска, а редище, точно так же, как ты не осленок, а ослище».

А. Д. Галахов. Сороковые годы. Ист. Вестн., 1892, февр., 404.

Странное дело: я теперь меньше тружусь, чем когда-либо прежде, меньше занимаюсь, а между тем все мне мешает. Время летит так, что не успеешь оглянуться, – и все еще почти ничего не сделано. Меньше, чем когда-либо прежде, я развлечен; более, чем когда-либо, веду жизнь

уединенную, и при всем том никогда еще так мало не делал, как теперь. И от этого находят досадные расположения духа. Я не в силах бываю писать, отвечать на письма, не в силах исполнять всех тех обязанностей, которых исполнение приносило прежде удовольствие душе моей. Вот тебе в коротких словах вся моя душевная история... Я собираюсь в дорогу; располагаю посетить губернии в окружностях Москвы, повидаться с некоторыми знакомыми и поглядеть на Русь, сколько ее можно увидеть на большой дороге. Где проведу зиму, не знаю.

Гоголь – А. С. Данилевскому, 1 июня 1849 г. 8, из Москвы. Письма, IV, 269.

Сестра моя (*А. О. Смирнова*) уехала в свою калужскую деревню, и Гоголь дал ей слово приехать погостить к ней на целый месяц. Я собирался тоже туда, и мы сговорились с ним ехать вместе. На неделе, два или три раза, Гоголь заходил ко мне, но не заставал дома. В последний раз он приказал сказать мне, что готов ехать, просит меня дать ему знать, как, в чем и когда мы отправимся. У меня был прекрасный, большой тарантас, вроде коляски на дрогах. Гоголь был очень доволен экипажем и уверял меня, что в телегах и тарантасах ездить очень здорово, особенно людям, подверженным ипохондрии и геморрою. Когда наступил день отъезда, Гоголь приехал ко мне с своим маленьким чемоданом и большим портфелем. Этот знаменитый портфель заключал в себе второй том «Мертвых Душ», тогда уже почти конченный вчерне. Портфеля не покидал Гоголь всю дорогу. На станциях он брал его в комнаты, а в тарантасе ставил всегда подле себя и опирался на него рукою. Я взял с собою в Калугу одного француза вместо камердинера, предоброго малого, но до чрезвычайности тупого и глупого. Он никогда не выезжал из Москвы, и, кроме того, будучи слабого здоровья, с великим удовольствием отправлялся со мной, чтобы подышать деревенским воздухом. Наконец, в пять часов вечера, мы уселись с Гоголем в тарантас, француз взобрался на козлы, ямщик стегнул лошадей, и все пошло плясать и подпрыгивать по мостовой до самой Серпуховской заставы. Француз, не привыкший к такому экипажу, беспрестанно вскрикивал, держась за бока, и ругался на чем свет стоит. Мы только и слышали: «Sacristie! Diable de tarantasse!» Гоголь смеялся от души, и при всяком новом толчке все приговаривал: «Ну, еще!.. ну, хорошенько его, хорошенько... Вот так!.. А что, француз, будешь помнить тарантас?» Ямщика тоже забавлял гнев моего француза, и он не только не сдерживал лошадей, но, как нарочно, ехал крупною рысью через весь город. Наконец, потянулось перед нами прямое, как вытянутая лента, шоссе, и мы поскакали, качаясь, как в люльке, в нашем легком тарантасе. Даже французу понравилась такая шибкая езда, он, закурив сигару, беспрестанно поворачивался к нам и как-то весело улыбался, причем называл Гоголя – M-r Gogo. Я несколько раз поправлял его; но

он извинялся и через пять минут опять назвал его так же. В продолжение всего месяца, пока мы оставались в Калуге, он никак не мог запомнить, что Гоголя зовут Гоголь, а не Gogo.

Так ехали мы до Малоярославца. Гоголь много беседовал со мной, мы говорили о русской литературе, о Пушкине, в котором он любил удивительно доброго и снисходительного человека и умного, великого поэта. Говорили о Языкове, о Баратынском. Гоголь превосходно прочел мне два стихотворения Языкова: «Землетрясение» и еще другое. По его мнению, «Землетрясение» было лучшее русское стихотворение. Потом говорил Гоголь о Малороссии, о характере малороссиянина и так развеселился, что стал рассказывать анекдоты, один другого забавнее и остроумнее. К сожалению, все они такого рода, что не годятся для печати. Особенно забавен мне показался анекдот о кавказском герое, генерале Вельяминове, верблюде и военном докторе-малороссиянине. Мы много смеялись. Гоголь был в духе, беспрестанно снимал свою круглую серую шляпу, скидывал свой зеленый камлотовый плащ и, казалось, вполне наслаждался чудным, теплым вечером, вдыхая в себя свежий воздух полей. Наконец, когда совершенно стемнело, мы оба задремали и проснулись только в двенадцать часов утра от солнечных лучей, которые стали сильно жарить лица наши. Малоярославец был уже в виду. Вдруг ямщик остановился, передал вожжи французу и соскочил с козел. «Что случилось?» – спросил я. «Тарантас сломался, – отвечал хладнокровно ямщик, заглядывая под тарантас. – Одна дрога треснула, да заднее колесо не совсем-то здорово… Не доедешь, барин, здесь чинить надоть…» Экая досада, а мы хотели поспеть вечером в деревню; но делать было нечего, надо было кое-как доехать до станции, и мы шажком поплелись по скверной городской мостовой. Когда тарантас наш остановился перед станционным домом, толпа ямщиков с любопытством окружила его, и каждый почел долгом осмотреть дрогу, заднее колесо и потом сказать свое мнение. Гоголь тоже очень внимательно рассматривал экипаж.

В это время я заметил вдали какие-то дрожки и на них человека в военной шинели. Узнав от станционного смотрителя, что это городничий, я вспомнил, что знал его прежде, когда служил в Калуге, а потому стал знаками просить его подъехать к нам. Он был так любезен, что велел кучеру ехать в нашу сторону. Я пошел к нему навстречу и, объяснив наше положение, просил помочь нам своим влиянием. Городничий, барон Э., кликнул ямщиков, послал за кузнецами, условился в цене и велел, чтобы все было готово через час. Успокоив меня таким образом, он вдруг спросил меня совершенно неожиданно: «Позвольте узнать, кто едет с вами в серой шляпе?» – «Гоголь», – отвечал я. «Какой Гоголь? – вскрикнул городничий. – Уж не писатель ли Гоголь, сочинивший «Ревизора»?» – «Он самый». – «Ах, сделайте одолжение, познакомьте меня с ним; я много уважаю этого сочинителя,

читал все его сочинения и был бы совершенно счастлив, если б мог поговорить с ним». Я знал странный характер Гоголя, не любившего никаких новых знакомств, и потому боялся, что он после будет сердиться на меня, если я ему представлю городничего; но отказать любезному майору в такой пустой вещи за все его хлопоты не было возможности, и я повел его прямо к Гоголю. «Николай Васильевич, позвольте вам представить начальника здешнего города, барона Э., по милости которого мы еще можем поспеть сегодня в деревню». К моему удивлению, Гоголь весьма любезно поклонился майору и протянул ему руку, прибавив: «Очень рад с вами познакомиться». – «А я совершенно счастлив, что вижу нашего знаменитого писателя, – отвечал городничий, – давно желал где-нибудь вас увидеть; читал все ваши сочинения и «Мертвые Души», но в особенности люблю «Ревизора», где вы так верно описали нашего брата городничего. Да, встречаются до сих пор еще… встречаются такие городничие». Гоголь улыбнулся и тотчас переменил разговор. «Вы давно здесь?» – «Нет, только полтора года». – «А городок, кажется, порядочный». – «Помилуйте, прескверный городишко, скука смертная, общества никакого». – «Ну, а кроме чиновников, живут ли здесь помещики?» – «Есть, но немного, всего три семейства; но от них никакого прока: все между собой в ссоре». – «Отчего это, за что поссорились?» Тут я оставил Гоголя с городничим и пошел на станцию. Через четверть часа я застал их еще на том же месте. Гоголь говорил с ним уже о купцах и внимательно расспрашивал, кто именно и чем торгует, где сбывает свои товары, каким промыслом занимаются крестьяне в уезде, бывают ли в городе ярмарки и тому подобное. Я перебил их живой разговор предложением Гоголю позавтракать. Услыхав это, городничий стал извиняться, что уже отобедал, и потому жалеет, что не может просить нас к себе; но, кликнув будочника, послал его вперед в трактир, приготовить нам особенную комнату и обед, а сам пошел провожать нас. Гоголь впился в моего городничего, как пиявка, и не успевал расспрашивать его обо всем, что его занимало.

У трактира городничий с нами раскланялся. На сцену явился половой и бойко повел нас по лестнице в особый нумер. Гоголь стал заказывать обед, выдумал какое-то новое блюдо из ягод, муки, сливок и еще чего-то; помню только, что оно вовсе не было вкусно. Покуда мы обедали, он все время разговаривал с половым, расспрашивал его, откуда он, сколько получает жалования, где его родители, кто чаще других заходит к ним в трактир, какое кушанье больше любят чиновники в Малоярославце и какую водку употребляют, хорош ли у них городничий и тому подобное. Расспросил о всех живущих в городе и близ города и остался очень доволен остроумными ответами бойкого парня в белой рубашке, который лукаво улыбался, сплетничал на славу и, как я полагаю, намеренно отвечал всякий раз так, чтобы вызвать Гоголя на новые расспросы и шутки.

Наконец, ровно через час, тарантас подкатил к крыльцу, и мы, простившись с шоссе, поехали уже по большой Калужской дороге. Гоголь продолжал быть в духе, восхищался свежею зеленью деревьев, безоблачным небом, запахом полевых цветов и всеми прелестями деревни. Мы ехали довольно тихо, а он беспрестанно останавливал кучера, выскакивал из тарантаса, бежал через дорогу в поле и срывал какой-нибудь цветок; потом садился, рассказывал мне довольно подробно, какого он класса, рода, какое его лечебное свойство, как называется он по-латыни и как называют его наши крестьяне. Окончив трактат о цветке, он втыкал его перед собой за козлами тарантаса и через пять минут опять бежал за другим цветком, опять объяснял мне его качества, происхождение и ставил на то же место. Таким образом, через час с небольшим, – образовался у нас в тарантасе целый цветник, желтых, лиловых, розовых цветов. Гоголь признался, что всегда любил ботанику и в особенности любил знать свойства, качества растений и доискиваться, под какими именами эти растения известны в народе и на что им употребляются. «Терпеть не могу, – прибавил он, – эти новые ботаники, в которых темно и ученым слогом толкуют о вещах самых простых. Я всегда читаю те старинные ботаники, и русские и иностранные, которые теперь уже не в моде, а которые между тем сто раз лучше объясняют вам дело».

Но вот мы свернули с большой дороги и поехали проселком. Солнце садилось. Гоголь то и дело спрашивал меня: да где же это Бегичево? Наконец направо от дороги показалось белое каменное строение, блеснул между деревьями пруд, и через пять минут мы подъехали к крыльцу господского дома. Нам, разумеется, очень обрадовались, напоили нас чаем, и мы скоро улеглись спать. На другой день Гоголь уже бегал по старинному, стриженому саду с прямыми аллеями и вернулся усталый.

Четыре дня, проведенные нами в деревне, не оставили во мне никаких особенных воспоминаний… Помню, что мы ходили в большом обществе за грибами, помню, что ездили в длинной, восьмиместной линейке в имение Гончарова, в пяти верстах от Бегичева, где одно время, кажется, вскоре, после свадьбы своей, жил Пушкин; помню что каждый вечер читал нам Гоголь «Одиссею» в переводе Жуковского и восхищался каждой строчкой. Читал он стихи превосходно и досадовал, когда мы не восхищались теми местами, на которые он особенно указывал. Вот и все.

Л. И. Арнольди. Мое знакомство с Гоголем. Рус. Вестн., 1862, т. 37, стр. 63 и сл.

Гоголь приехал к Смирновым сперва в село Бегичево, Калужской губернии. Медынского уезда. Его возили по окрестным деревням, и ему очень понравился дом и сад на полотняной фабрике Гончарова. Он

часто выходил на сенокос любоваться костюмами бегичевских крестьянок и заставлял гостившего тогда также у Смирновых живописца Алексеева рисовать их со всеми узорами на рубашках. Он был в восхищении от физиономий, костюмов и грациозности бегичанок и находил в них сходство с итальянками. Его очень заботило вообще здоровье простого народа и своеобразность его быта. Он вспоминал, как в царствование Алексея Михайловича один путешественник, посетив Россию, написал, что население ее скудно, народ обмельчал и обеднел, а другой, приехавший к нам через двадцать пять лет после первого, нашел города и деревни обильно населенными, нашел народ здоровый, рослый, цветущий и богатый. Гоголь это приписывал благочестивой жизни царя, который везде в государстве водворил порядок, безопасность и спокойствие.

П. А. Кулиш со слов А. О. Смирновой. Записки о жизни Гоголя, II, 224.

Гащивал Гоголь в имении Смирновых. Здесь подметили, чем занимался Гоголь по утрам: лежа в постели, он брал свой сапог и долго, со вниманием рассматривал каблук сапога.

Т. Г. Пащенко по записи В. Пашкова. Берег. 1880, № 268.

На пятый день мы переехали в Калугу, в загородный губернаторский дом. При переезде я ехал в коляске с Гоголем и моим зятем (*Н. М. Смирновым, мужем Ал. Ос-ны*). Здесь в первый раз Гоголь произвел на меня неприятное впечатление и даже, могу сказать, рассердил меня. Заговорили об охоте. Надобно знать, что зять мой имеет отличную охоту, и его борзые и в особенности гончие известны всем знаменитым русским охотникам, и собирал он ее, а теперь поддерживает с знанием дела и с любовью. Гоголь вмешивался беспрестанно в разговор, спорил с моим зятем, не понимая дела, и вообще высказал много самонадеянности и мало желания узнать от старинного охотника то, что ему подробнее и лучше было известно, чем Гоголю. После заговорили о сельском хозяйстве. У зятя моего около пяти тысяч душ в шести губерниях, и он всегда сам управлял своими имениями, следовательно, во всяком случае, должен был, хотя на опыте только, узнать более, чем Гоголь, который, сколько мне известно, никогда не занимался хозяйством, и если знал что, то от других помещиков; но он и тут не преминул поспорить, говорил свысока, каким-то диктаторским тоном, одни общие места, и не выслушивал опровержений, и вообще показался мне самолюбивым, самонадеянным, гордым и даже неумным человеком. И тогда, и после, так же, как и в этот раз, я замечал в Гоголе странную претензию знать все лучше других. Он иногда, правда, расспрашивал специалистов, но расспрашивал их таким образом, что клонил все подробности и объяснения в ту сторону, куда ему хотелось,

чтобы набрать еще более подтверждений той мысли или тому понятию, которые он себе составил уже заранее о предметах. Если вы рассказывали ему что-нибудь для него новое, бросающее новый свет на отдельного человека или даже на целое сословие, он никогда не старался вникнуть внимательно в ваш рассказ, заметить, насколько он был справедлив, и усвоить его себе или взять из него что-нибудь, как бы следовало писателю с таким громадным талантом, задумавшему описать всю Россию в одной поэме, – нет. Он просто переставал вас слушать, делался рассеянным и ясно показывал вам, что рассказ не занимает его. Учиться у других он не любил, и вот таким образом объясняются те промахи, которые были замечены вами в его сочинениях. Он не знал нашего гражданского устройства, нашего судопроизводства, наших чиновнических отношений, даже нашего купеческого быта; одним словом, вещи самые простые, известные последнему гимназисту, были для него новостью.

Заглядывая в душу русского человека, подмечая все малейшие оттенки его душевных слабостей, вырывая все это с необыкновенным искусством в своих произведениях, он не обращал внимания на внешнее устройство России, на все малые пружины, которыми двигается машина, и вот почему он серьезно думал, что у нас существуют еще капитан-исправники, что и теперь еще возможно без свидетельств совершать купчие крепости в гражданских палатах, что никто не спросит подорожной у проезжего чиновника и отпустит ему курьерских лошадей, не узнав его фамилии, что, наконец, в доме у губернатора, во время бала, может сидеть пьяный помещик и хватать за ноги танцующих гостей. И много, очень много подобных несообразностей можно отыскать в сочинениях Гоголя. Иной раз подумаешь, что он описывает какое-то далекое прошедшее, известное вам по преданиям.

Л. И. Арнольди, 69.

Через несколько дней семейство Смирновых переехало с Гоголем в Калугу. Дорогою его занимало: как ему покажется губернский город, как будет устроен губернаторский дом, и вообще каков будет быт губернатора и всего, что его окружает? Подъехали к Калуге вечером. Вдали начали мелькать огни загородного губернаторского дома... Гоголь пришел в восхищение. «Да это просто великолепие! – сказал он: – да отсюда бы и не выехал! Ах, да какой здесь воздух!» Ему отвели квартиру в особом флигеле, в котором жил некогда Ю. А. Нелединский (при губернаторе князе А. П. Оболенском, женатом на дочери Нелединского). Флигель не отличался своею красотою, но Гоголю нравился, потому что он был там совершенно один и вид из окон был прекрасный. Его особенно восхищали зеленый сосновый бор и река Яченка, на крутом берегу которой стоял загородный губернаторский дом. Вправо от бора

ему видны были главы Лаврентьева монастыря. Гоголь сам пожелал, чтоб ему служил человек Христофор, который нравился ему тем, что у него «настоящая губернская физиономия». Он утверждал, что «именно такие слуги должны быть в губернском городе у губернатора». По утрам Гоголя не видали; он являлся в дом только в три часа, к обеду. Он очень любил видеть за губернаторским обедом чиновников и говорил, что «это так следует». За столом он всегда разговаривал с чиновниками и был с ними очень любезен, но посещал только инспектора врачебной управы В. Я. Быковского, с которым он познакомился, как с земляком. Несмотря на то, в Калуге все знали Гоголя и очень им интересовались. Однажды ветер сорвал с него и бросил в лужу белую шляпу. Гоголь тотчас купил себе черную, а белую, запачканную грязью, оставил в лавке. Все «рядовичи» собрались к счастливому купцу, которому досталась эта драгоценность, и каждый примеривал шляпу на своей голове, удивляясь, что голова, дескать, у Гоголя и не очень велика, а сколько-то ума! Есть в Калуге книгопродавец Олимпиев, великий почитатель литературных знаменитостей. Он был знаком с Пушкиным, с Жуковским и хаживал к Гоголю. Узнав о том, что шляпа Гоголя находится в руках гостинодворцев, он убедил их поднесть эту драгоценность А. О. Смирновой, что и было исполнено с подобающею церемониею. Но, разумеется, А. О., наслаждаясь присутствием у себя в доме самого Гоголя, отказалась принять его запачканную шляпу, и шляпа осталась во владении рядовичей.

Гоголя возили по окрестностям губернского города и, между прочим, в село Ромоданово, откуда по его словам, вид Калуги напоминал ему Константинополь. Бывши там у всенощной в праздник рождества богородицы, он восхищался тем, что церковь убрана была зеленью.

Костюм Гоголя в это время разделялся на буднишный и праздничный. По воскресеньям и праздникам он являлся обыкновенно к обеду в бланжевых нанковых панталонах и голубом, небесного цвета, коротком жилете. Он находил, что «это производит впечатление торжественности», и говорил, что «в праздники все должно отличаться от буднишнего: сливки в кофе должны быть особенно густы, обед очень хороший, за обедом должны быть председатели, прокуроры и всякие этакие важные люди, и самое выражение лиц должно быть особенно торжественно».

П. А. Кулиш со слов А. О. Смирновой. Записки о жизни Гоголя, II, 224.

По приезде в Калугу Гоголь и я поместились во флигеле, в двух комнатах рядом. По утрам Гоголь запирался у себя, что-то писал, всегда стоя, потом гулял по саду один и являлся в гостиную перед самым обедом. От обеда до позднего вечера он всегда оставался с нами или с сестрой, гулял, беседовал и был большую часть времени весел; с чиновниками и с

их женами он знакомился мало и неохотно, а они смотрели на него с любопытством и некоторым удивлением. Иногда Гоголь поражал меня своими странностями. Вдруг явится к обеду в ярких желтых панталонах и в жилете светло-голубого, бирюзового цвета; иногда же оденется весь в черное, даже спрячет воротничок рубашки и волосы не причешет, а на другой день, опять без всякой причины, явится в платьях ярких цветов, приглаженный, откроет белую, как снег, рубашку, развесит золотую цепь по жилету и весь смотрит каким-то именинником. Одевался он вообще без всякого вкуса и, казалось, мало заботился об одежде; зато, в другой раз, наденет что-нибудь очень безобразное, а между тем видно, что он много думал, как бы нарядиться покрасивее. Знакомые Гоголя уверяли меня, что иногда встречали его в Москве у куаферов и что он завивал свои волосы. Усами своими он тоже занимался немало. Странно все это в человеке, который так тонко смеялся над смешными привычками и слабостями других людей. Кто знал Гоголя коротко, тот не может не верить его признанию, когда он говорит, что большую часть своих пороков и слабостей он передавал своим героям, осмеивал их в своих повестях и таким образом избавлялся от них навсегда. Я решительно верю этому наивному, откровенному признанию. Гоголь был необыкновенно строг к себе, постоянно боролся с своими слабостями и от этого часто впадал в другую крайность и бывал иногда так странен и оригинален, что многие принимали это за аффектацию и говорили, что он рисуется. Много можно привести доказательств тому, что Гоголь действительно работал всю свою жизнь над собою и в своих сочинениях осмеивал часто самого себя. Вот покуда, что известно и чему я был свидетелем. Гоголь любил хорошо поесть и в состоянии был, как Петух, толковать с поваром целый час о какой-нибудь кулебяке; наедался очень часто до того, что бывал болен; о малороссийских варениках и пампушках говорил с наслаждением и так увлекательно, что «у мертвого рождался аппетит»; в Италии сам бегал на кухню и учился приготовлять макароны. А между тем он очень редко позволял себе такие увлечения и был в состоянии довольствоваться самою скудною пищею и постился иногда, как самый строгий отшельник, а во время говенья почти ничего не ел. Гоголь очень любил и ценил хорошие вещи и в молодости, как сам он мне говорил, имел страстишку к приобретению разных ненужных вещиц: чернильниц, вазочек, пресс-папье и пр. Но отказавшись раз навсегда от всяких удобств, от всякого комфорта, отдав свое имение матери и сестрам, он уже никогда ничего не покупал, даже не любил заходить в магазины и мог, указывая на свой маленький чемодан, сказать скорей другого: Omnia mecum porto, потому что с этим чемоданчиком он прожил почти тридцать лет, и в нем действительно было все его достояние. Когда случалось, что друзья, не зная его твердого намерения не иметь ничего лишнего и затейливого, дарили Гоголю какую-нибудь вещь красивую и даже полезную, то он приходил в волнение, делался скучен, озабочен и решительно не знал,

что ему делать. Вещь ему нравилась, она была на самом деле хороша, прочна и удобна; но для этой вещи требовался и приличный стол, необходимо было особое место в чемодане, и Гоголь скучал все это время, покуда продолжалась нерешительность, и успокаивался только тогда, когда дарил ее кому-нибудь из приятелей. Так в самых безделицах он был тверд и непоколебим. Он боялся всякого рода увлечения. Раз в жизни удалось ему скопить небольшой капитал, кажется в 5000 р. с.; и он тотчас отдает его, под большою тайною, своему приятелю-профессору для раздачи бедным студентам, чтобы не иметь никакой собственности и не получить страсти к приобретению, а между тем через полгода уже сам нуждается в деньгах и должен прибегнуть к займам. Вот еще один пример. Глава первого тома «Мертвых душ» оканчивается таким образом: один капитан, страстный охотник до сапогов, полежит, полежит и соскочит с постели, чтобы примерить сапоги и походить в них по комнате; потом опять ляжет и опять примеряет их. Кто поверит, что этот страстный охотник до сапогов – не кто иной, как сам Гоголь? И он даже нисколько не скрывал этого и признавался в этой слабости, почитая слабостью всякую привычку, всякую излишнюю привязанность к чему бы то ни было. В его маленьком чемодане всего было очень немного, и платья, и белья ровно столько, сколько необходимо, а сапог было всегда три, часто даже четыре пары, и они никогда не были изношены. Очень может быть, что Гоголь тоже, оставаясь у себя один в комнате, надевал новую пару и наслаждался, как тот капитан, формою своих сапог, а после сам же смеялся над собою.

Через неделю с небольшим после нашего приезда в Калугу, в одно утро я захотел войти к сестре моей в кабинет; но мне сказали, что там Гоголь читает свои сочинения и что сестра просила, по желанию Гоголя, никого не впускать к ней. Постояв у дверей, я действительно услыхал чтение Гоголя. Оно продолжалось до обеда. Вечером сестра рассказывала мне, что Гоголь прочел ей несколько глав из второго тома «Мертвых душ» и что все им прочитанное было превосходно. Я, разумеется, просил ее уговорить Гоголя допустить и меня к слушанию; он сейчас же согласился, и на другой день мы собрались для этого в одиннадцать часов утра на балконе, уставленном цветами. Сестра села за пяльцы, я покойно поместился в кресле против Гоголя, и он начал читать нам сначала ту первую главу второго тома, которая вышла в свет после его смерти уже. Сколько мне помнится, она начиналась иначе и вообще была лучше обработана, хотя содержание было то же.

Когда Гоголь окончил чтение, то обратился ко мне с вопросом: «Ну, что вы скажете? Нравится ли вам?» – «Удивительно, бесподобно! – воскликнул я. – В этих главах вы гораздо ближе к действительности, чем в первом томе; тут везде слышится жизнь как она есть, без всяких преувеличений; а описание сада – верх совершенства». – «Ну, а не

сделаете ли вы мне какого-либо замечания? Нет ли тут вещи, которая бы вам не совсем понравилась?» – возразил снова Гоголь. Я немного подумал и откровенно отвечал ему, что Уленька кажется мне лицом немного идеальным, бледным, неоконченным. «К тому же, – прибавил я, – вы изобразили ее каким-то совершенством, а не говорите между тем, отчего она вышла такою, кто в этом виноват, каково было ее воспитание, кому она этим обязана… Не отцу же своему и глупой молчаливой англичанке!» Гоголь немного задумался и прибавил: «Может быть, и так. Впрочем, в последующих главах она выйдет у меня рельефнее. Я вообще не совсем доволен; еще много надо будет дополнить, чтобы характеры вышли покрупнее». Он не был доволен, а мне казалось, что я не выбросил бы ни единого слова, не прибавил бы ни одной черты: так все было обработано и окончено, кроме одной Уленьки.

Через несколько дней после этого чтения я и брат мой К. О. Россет собрались поздно вечером у графа А. К. Толстого (*известный поэт*), который был тогда в Калуге. Разговор зашел о Гоголе; каждый из нас делал свои замечания о нем и его характере, о его странностях. Разбирали его как писателя, как человека, и многое казалось нам в нем необъяснимым и загадочным. Как, например, согласить его постоянное стремление к нравственному совершенству с его гордостию, которой мы все были не раз свидетелями? его удивительно тонкий, наблюдательный ум, видный во всех его сочинениях, и вместе с тем, в обыкновенной жизни, какую-то тупость и непонимание вещей самых простых и обыкновенных? Вспомнили мы также его странную манеру одеваться, и его насмешки над теми, кто одевался смешно и без вкуса, его религиозность и смирение, и слишком уже подчас странную нетерпеливость и малое снисхождение к ближним; одним словом, нашли бездну противоречий, которые, казалось, трудно было и совместить в одном человеке. При этом брат мой сделал замечание, которое поразило тогда своею верностию и меня, и графа Толстого. Он нашел большое сходство между Гоголем и Жан-Жаком Руссо. Вскоре после чтения второго тома «Мертвых душ» я уехал в Москву, а Гоголь остался в Калуге еще на две недели.

Л. И. Арнольди. Мое знакомство с Гоголем. Рус. Вестн., 1862, т. 37, стр. 72 и сл.

Гр. Алексей Константинович Толстой (*поэт*), проживая в Калуге, читал моей матери свои произведения, охотился с моим отцом в Бегичеве, и Гоголь тут с ним сошелся. Толстой читал Гоголю первые главы «Князя Серебряного», план трилогии, стихи и былины, а Гоголь читал ему «Мертвые души», второй том. Гоголь очень полюбил А. К. Толстого.

О. Н. Смирнова (дочь А. О-ны), Рус. Стар., 1890, ноябрь, 362.

Гоголь смотрел на «Мертвые души», как на что-то, что лежало вне его, где должен был раскрыть тайны, ему заповеданные. – «Когда я пишу, очи мои раскрываются неестественною ясностью. А если я прочитаю написанное еще не оконченным, кому бы то ни было, ясность уходит с глаз моих. Я это испытывал много раз. Я уверен, когда сослужу свою службу и окончу, на что я призван, то умру. А если выпущу на свет несозревшее или поделюсь малым, мною совершаемым, то умру раньше, нежели выполню, на что я призван в свет».

А. О. Смирнова по записи П. А. Висковатова. Рус. Стар., 1902, сент., 491.

Гоголь всегда читал в «Инвалиде» статью о приезжающих и отъезжающих. Это он научил Пушкина и Мятлева вычитывать в «Инвалиде», когда они писали памятки. Гоголь говорил: «Я постараюсь известить публику, что «Инвалид» в фельетоне заключает интересные сведения. Мы в Калуге с Левой (*Л. И. Арнольди*) ежедневно читали эту интересную газету и вычитали раз, что прапорщик Штанов приехал из Москвы в Калугу, через три дня узнали, что он поехал в Орел. Из Орла он объехал наш город и поехал прямо в Москву. Из Москвы в дилижансе в столичный город Санкт-Петербург. Так было напечатано слово в слово в фельетоне «Инвалида». Оттуда прямо в Москву, а из Москвы в Калугу, а из Калуги в Орел. Мы рассчитали, что прапорщик Штанов провел на большой дороге отпускные двадцать один день. А зачем он делал эти крюки, это неизвестно и осталось государственной тайной.

А. О. Смирнова. Автобиография, 311.

Из рассказов Гоголя, которыми он любил занимать своих слушателей, А. О. Смирнова передавала мне довольно много. Но рассказы эти, в мастерской передаче Гоголя и даже Смирновой, владевшей малороссийской речью, имели свою прелесть (тут было много малороссийских анекдотов), а в простой, безыскусственной передаче они теряют и смысл и значение. Таков, например, рассказ о майоре, прибывшем в селение на отведенную ему квартиру на краю города. Тщетно он спрашивает у хохла-денщика спичек и затем посылает его раздобыть их, строго наказывая хорошенько испытать, горят ли они. Денщик возвращается не скоро. Майор его ругает, чиркает спички об стену, об обшлаг рукава, они не вспыхивают. Денщик объясняет, что, исполняя приказ барина, перечиркал их все, и у него они горели.

У Гоголя всегда в кармане была записная книжка или просто клочки бумаги. Он заносил сюда все, что в течение дня его поражало или занимало: собственные мысли, наблюдения, уловленные оригинальные или почему-либо поразившие его выражения и пр. Он говорил, что если им ничего не записано, то это потерянный день; что писатель, как

художник, всегда должен иметь при себе карандаш и бумагу, чтобы наносить поражающие его сцены, картины, какие-либо замечательные, даже самые мелкие детали. Из этих набросков для живописца создаются картины, а для писателя – сцены и описания в его творениях. «Все должно быть взято из жизни, а не придумано досужей фантазией».

Гоголь, при всей своей застенчивости и нелюдимости, охотно вступал в разговоры с самыми разнообразными людьми. «Мне это вовсе неинтересно, говорил он, как бы оправдываясь, – но мне необходимо это для моих сочинений». В Калуге он как-то перезнакомился в гостином дворе со всеми купцами и лавочниками. У некоторых засиживался и играл подолгу в шашки. Его знали не только как гостя, проживавшего у губернатора, но и как автора «Ревизора», столь знакомой комедии. Но вообще Гоголь был туг на новое знакомство. Он утверждал, что вести знакомство можно только с теми, у кого чему-либо можно научиться или кого можно научить чему-либо. Познакомившись и заинтересовавшись человеком, Гоголь или внимательно слушал его, или обучал иногда самым элементарным истинам или просто вопросам практической жизни. Толкуя их по-своему и придавая им особое значение, он смущал этим людей, а натуры обыденные, любящие говорить свысока самые банальные истины, приводил в негодование. Они не на шутку сердились на расточавшего непрошеные поучения.

Гоголь любил лакомиться, и у него в карманах, особенно в детстве, всегда были какие-либо пряники, леденцы и т. п. Живя в гостинице, он никогда не позволял прислуге уносить поданный к чаю сахар, а собирал его, прятал где-нибудь в ящике и порою грыз куски за работою или разговором. «Зачем, – говорил он, – оставлять его хозяину гостиницы? Ведь мы за него уплатили». Происходило это, конечно, не от скупости. Гоголь никогда не был скупым.

А. О. Смирнова по записи П. А. Висковатова. Рус. Стар., 1902, сент., 488, 492.

В 1849 году, проездом через Калугу, я застал Гоголя, гостившего у А. О. Смирновой, и обещал ему на обратном пути заехать за ним, чтобы вместе отправиться в Москву. В условленный день я прибыл в Калугу и провел с Гоголем весь вечер у А. О. Смирновой, а после полуночи мы решили выехать. От того ли, что неожиданно представилась ему приятная оказия выехать в Москву, куда торопился, или от другой причины, только весь вечер Гоголь был в отличном расположении духа и сохранил его во всю дорогу. Живо справил он свой чемоданчик, заключавший все его достояние; но главная забота его заключалась в том, как бы уложить свой портфель так, чтобы он постоянно оставался на видном месте. Решено было поставить портфель в карете к нам в ноги, и Гоголь тогда только успокоился за целость его, когда мы уселись в дормез и он увидел, что портфель занимает приличное и безопасное

место, не причиняя вместе с тем нам никакого беспокойства. Портфель этот заключал в себе только еще вчерне оконченный второй том «Мертвых душ».

Пользуясь хорошим расположением духа Гоголя и скверной дорогой, мешавшей нам скоро уснуть, я заводил на разные лады разговор о лежащей в ногах наших рукописи. Но узнал немногое. Гоголь отклонял разговор, объясняя, что много еще ему предстоит труда, но что черная работа готова и что, к концу года, надеется кончить, ежели силы ему не изменят. Я выразил ему опасение, что цензура будет к нему строга, но он не разделял моего опасения, а только жаловался на скуку издательской обязанности и возни с книгопродавцами, так как он имел намерение, прежде выпуска второй части «Мертвых душ», сделать новое издание своих сочинений.

К утру мы остановились на станции чай пить. Выходя из кареты, Гоголь вытащил портфель и понес его с собою, – это делал он всякий раз, как мы останавливались. Веселое расположение духа не оставляло Гоголя. На станции я нашел штрафную книгу и прочел у ней довольно смешную жалобу какого-то господина. Выслушав ее, Гоголь спросил меня: «А как вы думаете, кто этот господин? Каких свойств и характера человек?» – «Право, не знаю», – отвечал я. «А вот я вам расскажу». И тут же начал самым смешным и оригинальным образом описывать мне сперва наружность этого господина, потом рассказал мне всю его служебную карьеру, представляя даже в лицах некоторые эпизоды его жизни. Я хохотал, как сумасшедший, а он все это выделывал совершенно серьезно.

Утром во время пути, при всякой остановке, выходил Гоголь на дорогу и рвал цветы, и ежели при том находились мужик или баба, то всегда спрашивал название цветов; он уверял меня, что один и тот же цветок в разных местностях имеет разные названия и что, собирая эти разные названия, он выучил много новых слов, которые у него пойдут в дело. За несколько станций до Москвы я решился сказать Гоголю: «Однако, знаете, Николай Васильевич, ведь это бесчеловечно, что вы со мною делаете. Я всю ночь не спал, глядя на этот портфель. Неужели он так и останется для меня закрытым?» Гоголь с улыбкой посмотрел на меня и сказал: «Еще теперь нечего читать; когда придет время, я вам скажу».

Мы расстались с Гоголем в Москве.

Кн. Д. А. Оболенский. О перв. изд. посм. соч. Гоголя. Рус. Стар., 1873, дек., 941–943.

Не думайте, что я разоряюсь на книги. Я дарю из своей собственной библиотеки, которая составилась у меня давно. Я люблю из нее дарить друзьям моим. Мне тогда кажется, как будто книга совершенно

пристроена и поступила в достойное ее книгохранилище. Мне можно так поступать. Я вас богаче и имею больше вашего возможности заводиться книгами потому именно, что на другое ничто не издерживаюсь. За содержание свое и житье не плачу никому. Живу сегодня у одного, завтра у другого. Приеду к вам тоже и проживу у вас, не заплатя вам за это ни копейки.

Гоголь – гр. А. М. Виельгорской, 30 июля 1849 г., из Москвы. Письма, IV, 274.

Возвратясь из Калуги, Гоголь гостил некоторое время у С. П. Шевырева на даче; наконец 14 августа приехал в подмосковную Абрамцево к С. Т. Аксакову.

П. А. Кулиш, II, 228.

Гоголь много гулял у нас по рощам и забавлялся тем, что, находя грибы, собирал их и подкладывал мне на дорожку, по которой я должен был возвращаться домой. Я почти видел, как он это делал. По вечерам читал с большим одушевлением переводы древних Мерзлякова, из которых особенно ему нравились гимны Гомера. Так шли вечера до 18-го числа. 18-го вечером Гоголь, сидя на своем обыкновенном месте, вдруг сказал: «Да не прочесть ли нам главу «Мертвых душ»?» Мы были озадачены его словами и подумали, что он говорит о первом томе «Мертвых душ». Сын мой Константин даже встал, чтобы принести их сверху, из своей библиотеки; но Гоголь удержал его за рукав и сказал: «Нет, уж я вам прочту из второго». С этими словами вытащил из своего огромного кармана большую тетрадь. Не могу выразить, что сделалось со всеми нами. Я был совершенно уничтожен. Не радость, а страх, что я услышу что-нибудь недостойное прежнего Гоголя, так смутил меня, что я совсем растерялся. Гоголь был сам сконфужен. Ту же минуту все мы придвинулись к столу, и Гоголь прочел первую главу второго тома «Мертвых душ». С первых страниц я увидел, что талант Гоголя не погиб, и пришел в совершенный восторг. Чтение продолжалось час с четвертью. Гоголь несколько устал и, осыпаемый нашими искренними и радостными приветствиями, скоро ушел наверх, в свою комнату, потому что уже прошел час, в который он обыкновенно ложился спать, т. е. одиннадцать часов.

Тут только мы догадались, что Гоголь с первого дня имел намерение прочесть нам первую главу из второго тома «Мертвых душ», которая одна, по его словам, была отделана, и ждал от нас только какого-нибудь вызывающего слова. Тут только припомнили мы, что Гоголь много раз опускал руку в карман, как бы хотел что-то вытащить, но вынимал пустую руку.

На другой день Гоголь требовал от меня замечаний на прочитанную главу; но нам помешали говорить о «Мертвых душах». Он уехал в Москву.

С. Т. Аксаков. Кулиш, II, 228.

Я был зван на именинный обед в Сокольники к И. В. Капнисту. Гостей было человек семьдесят. Обедали в палатке, украшенной цветами; в саду гремела полковая музыка. Гоголь опоздал и вошел в палатку, когда уже все сидели за столом. Его усадили между двумя дамами, его великими почитательницами. После обеда мужчины, как водится, уселись за карты; девицы и молодежь рассыпались по саду. Около Гоголя образовался кружок; но он молчал и, развалившись небрежно в покойном кресле, забавлялся зубочисткой. Я сидел возле зеленого стола, за которым играли в ералаш три сенатора и военный генерал. Один из сенаторов, в военном же мундире, с негодованием посматривал на Гоголя. «Не могу видеть этого человека, – сказал он наконец, обращаясь к другому сенатору во фраке. – Посмотрите на этого гуся, как важничает, как за ним ухаживают! Что за аттитюда, что за аплон!» И все четверо взглянули на Гоголя с презрением и пожали плечами. «Ведь это революционер, – продолжал военный сенатор, – я удивляюсь, право, как это пускают его в порядочные дома. Когда я был губернатором и когда давали его пиесы в театре, поверите ли, что при всякой глупой шутке или какой-нибудь пошлости, насмешке над властью весь партер обращался к губернаторской ложе. Я не знал, куда деться, наконец, не вытерпел и запретил давать его пиесы. У меня в губернии никто не смел и думать о «Ревизоре» и других его сочинениях. Я всегда удивлялся, как это правительство наше не обращало внимания на него: ведь стоило бы, за эти «Мертвые души», и в особенности за «Ревизора», сослать в такое место, куда ворон костей не заносит!» Остальные партнеры почтенного сенатора совершенно были согласны с его замечаниями и прибавили только: «Что и говорить, он опасный человек, мы давно это знаем».

Через несколько дней я встретил Гоголя на Тверском бульваре, и мы гуляли вместе часа два. Разговор зашел о современной литературе. Я прежде никогда не видал у Гоголя ни одной книги, кроме сочинений отцов церкви и старинной ботаники, и потому весьма удивился, когда он заговорил о русских журналах, о русских новостях, о русских поэтах. Он все читал и за всем следил. О сочинениях Тургенева, Григоровича, Гончарова отзывался с большой похвалой. «Это все явления утешительные для будущего, – говорил он. – Наша литература в последнее время сделала крутой поворот и попала на настоящую дорогу. Только стихотворцы наши хромают, и времена Пушкина, Баратынского и Языкова возвратиться не могут». – «Вы вчера, кажется, читали несколько глав из второго тома И. В. Капнисту?» – сказал я. «Читал, а

что?» – «Я не понимаю, Николай Васильевич, какую вы имеет охоту читать ему ваши сочинения! Он вас очень любит и уважает, но как человека, а вовсе не как писателя. Знаете ли, что он мне сказал вчера? Что, по его мнению, у вас нет ни на грош таланта! Несмотря на свой обширный ум, И. В. ничего не смыслит в изящной литературе и поэзии; я не могу слышать его суждений о наших писателях. Он остановился на «Водопаде» Державина и дальше не пошел. Даже Пушкина не любит; говорит, что стихи его звучны, гладки, но что мыслей у него нет и что он ничего не произвел замечательного». Гоголь улыбнулся: «Вот что он так отзывается о Пушкине, я этого не знал; а что мои сочинения он не любит, это мне давно известно, но я уважаю И. В. и давно его знаю. Я читал ему свои сочинения именно потому, что он их не любит и предупрежден против них. Что мне за польза читать вам или другому, кто восхищается всем, что я ни написал? Вы, господа, заранее предупреждены в мою пользу и настроили себя на то, чтобы находить все прекрасным в моих сочинениях. Вы редко, очень редко сделаете мне дельное строгое замечание, а И. В., слушая мое чтение, отыскивает только одни слабые места и критикует строго и беспощадно, а иногда и очень умно. Как светский человек, как человек практический и ничего не смыслящий в литературе, он иногда, разумеется, говорит вздор, но зато в другой раз сделает такое замечание, которым я могу воспользоваться. Мне именно полезно читать таким умным не-литературным судьям. Я сужу о достоинстве моих сочинений по тому впечатлению, какое они производят на людей, мало читающих повести и романы. Если они рассмеются, то, значит, уже действительно смешно, если будут тронуты, то, значит, уже действительно трогательно, потому что они с тем уселися слушать меня, чтобы ни за что не смеяться, чтобы ничем не трогаться, ничем не восхищаться». Слушая Гоголя, я невольно вспомнил о кухарке Мольера.

Л. И. Арнольди. Мое знакомство с Гоголем. Рус. Вестн., 1862, т. 37, стр. 85–87.

А. О. Смирнова сказывала мне, что И. В. Капнисту, который хотя любил Гоголя, но терпеть не мог его сочинений, он прочитал девять глав второго тома «Мертвых душ», желая воспользоваться строгою критикою беспощадного порицателя своих сочинений.

П. А. Плетнев. Соч. и переписка Плетнева, III, 734.

Я написал Гоголю письмо, в котором сделал несколько замечаний и указал на особенные, по моему мнению, красоты. Получив мое письмо, Гоголь был так доволен, что захотел видеть меня немедленно. Он нанял карету, лошадей и в этот же день прикатил к нам в Абрамцево. Он приехал необыкновенно весел или, лучше сказать, светел и сейчас

сказал: «Вы заметили мне именно то, что я сам замечал, но не был уверен в справедливости моих замечаний. Теперь же я в них не сомневаюсь, потому что то же заметил другой человек, пристрастный ко мне». Гоголь прожил у нас целую неделю; до обеда раза два выходил гулять, а остальное время работал; после же обеда всегда что-нибудь читали. Мы просили его прочесть следующие главы, но он убедительно просил, чтоб я погодил. Тут он сказал мне, что он прочел уже несколько глав А. О. Смирновой и С. П. Шевыреву, что сам увидел, как много надо переделать, и что прочтет мне их непременно, когда они будут готовы. 6 сентября Гоголь уехал в Москву вместе с Ольгой Семеновной (*жена С. Т. Аксакова*). Прощаясь, он повторил ей обещание прочесть нам следующие главы «Мертвых душ» и велел непременно сказать мне это.

С. Т. Аксаков. Кулиш, 11, 229.

Вечер. Князь Енгалычев, Киреевский, Григорьев (*вероятно, Аполлон*). Духовная беседа, а Гоголь скучал и улизнул.

М. П. Погодин. Дневник, 15 окт. 1849 г. Барсуков, X, 326.

Нынешняя поездка моя была невелика: все почти в окрестностях Москвы и в сопредельных с нею губерниях. Дальнейшее путешествие отложил до другого года, потому что на каждом шагу останавливаем собственным невежеством. Нужно сильно запастись предуготовительными сведениями затем, чтобы узнать, на какие предметы преимущественно следует обратить внимание; иначе, подобно посылаемым чиновникам и ревизорам, проедешь всю Россию и ничего не узнаешь. Перечитываю теперь все книги, сколько-нибудь знакомящие с нашей землей… Все время мое отдано работе, часу нет свободного. Время летит быстро, неприметно. О, как спасительна работа! Стоит только на миг оторваться от нее, как уж невольно очутишься во власти всяких искушений. А у меня было их так много в нынешний мой приезд в Россию. Избегаю встреч даже со знакомыми людьми, от страху, чтобы как-нибудь не оторваться от работы своей. Выхожу из дому только для прогулки и возвращаюсь сызнова работать.

Гоголь – графиням С. М. Соллогуб и А. М. Виельгорской, 20 окт. 1849 г., из Москвы. Письма, IV, 275.

У И. В. Капниста (*тогдашнего московского гражданского губернатора*) несколько раз мне довелось видеть Гоголя, который редко пускался в разговоры и всегда выглядывал букой. Один только раз удалось мне видеть Гоголя в хорошем расположении духа и вздумавшим представлять в лицах разных животных из басен Крылова. Все мы были в восхищении от этого действительно замечательного impromptu,

которое окончилось внезапно вследствие внезапного приезда к Капнисту Мих. Ник. Муравьева, который не был знаком с Гоголем. Капнист, знакомя Гоголя с Муравьевым, сказал: «Рекомендую вам моего доброго знакомого, хохла, как и я. Гоголя». Эта рекомендация, видимо, не пришлась по вкусу Гоголю, и на слова Муравьева: «Мне не случалось, кажется, сталкиваться с вами», – Гоголь очень резко ответил: «Быть может, ваше превосходительство, это для меня большое счастье, потому что я человек больной и слабый, которому вредно всякое столкновение». Муравьев, выслушав эту желчную тираду, отвернулся от Гоголя, который, ни с кем не простившись, тотчас же уехал. Впоследствии я слышал от Ивана Васильевича, что Гоголь не на шутку рассердился за «непрошеную (как он выразился) рекомендацию». Наружность Гоголя была очень непривлекательна, а костюм его (венгерка с бранденбургами) придавал ему крайне невзрачный вид. Кто не знал Гоголя, тот никогда бы не догадался, что под этой некрасивой оболочкой кроется личность гениального писателя, которым гордится Россия.

И. А. Арсеньев. Слово живое о неживых. Ист. Вестн., 1887, № 3, стр. 570.

Осенью 1849 года М. А. Максимович, соскучась жить в своей живописной, но пустынной и отдаленной от больших дорог усадьбе над Днепром, переехал в Москву, к старым своим знакомым и друзьям. Пребывание Гоголя в Москве было для него одною из главных побудительных причин к этой поездке. Гоголь вел жизнь уединенную, но любил посидеть и помолчать в кругу хорошо известных ему людей и старых приятелей, а иногда оживлялся юношескою веселостью, и тогда не было предела его затейливым выходкам и смеху. Особенно привлекал его к себе дом Аксаковых, где он слушал и сам певал народные песни. Гоголь до конца жизни сохранил страсть к этим произведениям поэзии и, по возвращении из Иерусалима, более полугода брал уроки сербского языка у О. М. Бодянского для того, чтоб понимать красоты песен, собранных Вуком Караджичем. Песня русская вообще увлекала его сердце непобедимою силою, как живой голос всего огромного населения его отечества. Но к малороссийской песне он сохранил чувство, подобное тому, какое остается в нашей душе к прекрасной женщине, которую мы любили в ранней молодости. Приглашая своего земляка и знатока народной поэзии О. М. Бодянского на вечера к Аксаковым, которые он посещал чаще всех других вечеров в Москве, он обыкновенно говаривал: «Упьемся песнями нашей Малороссии»; и действительно, он упивался ими, так что иной куплет повторял раз тридцать сряду, в каком-то поэтическом забытьи, пока наконец надоедал самым страстным любителям малороссийской песни.

П. А. Кулиш, II, 209.

(3 декабря 1849 г.) Было назначено у Погодина чтение комедии Островского «Свои люди – сочтемся», тогда еще новой, наделавшей значительного шуму во всех литературных кружках Москвы и Петербурга, а потому слушающих собралось довольно: актеры, молодые и старые литераторы, между прочим графиня Ростопчина, только что появившаяся в Москве после долгого отсутствия и обращавшая на себя немалое внимание. Гоголь был зван также, но приехал середи чтения; тихо подошел к двери и стал у притолоки. Так и простоял до конца, слушая, по-видимому, внимательно. После чтения он не проронил ни слова. Графиня подошла к нему и спросила: «Что вы скажете, Николай Васильевич?» – «Хорошо, но видна некоторая неопытность в приемах. Вот этот акт нужно бы подлиннее, а этот – покороче. Эти законы узнаются после, и в непреложность их не сейчас начинаешь верить». Больше он ничего не говорил, кажется, ни с кем во весь тот вечер. К. Островскому, сколько могу припомнить, не подходил ни разу. После, однако, я имел случай не раз заметить, что Гоголь ценит его талант и считает его между московскими литераторами самым талантливым.

Н. В. Берг. Воспоминания о Н. В. Гоголе. Рус. Стар., 1872, янв., 121.

Полтора года моего пребывания в России пронеслось, как быстрый миг, и ни одного такого события, которое бы освежило меня, после которого, как бы после ушата холодной воды, почувствовал бы, что действую трезво и точно действую. Только и кажется мне трезвым действием поездка в Иерусалим. Творчество мое лениво.

Гоголь – В. А. Жуковскому, 14 дек. 1849 г., из Москвы. Письма, IV, 286.

В генваре 1850 года Гоголь прочел нам в другой раз первую главу «Мертвых душ» (*второй части*). Мы были поражены удивлением: глава показалась нам еще лучше и как будто написана вновь. Гоголь был очень доволен таким впечатлением и сказал: «Вот что значит, когда живописец даст последний туш своей картине. Поправки, по-видимому, самые ничтожные: там одно словцо убавлено, здесь прибавлено, а тут переставлено, – и все выходит другое. Тогда надо напечатать, когда все главы будут так отделаны». Оказалось, что он воспользовался всеми сделанными ему замечаниями.

С. Т. Аксаков. Записки. Кулиш, II, 229.

Из дневника Погодина мы узнаем, что 19 января 1850 года Гоголь читал Погодину и Максимовичу отдельные главы второй части «Мертвых душ».

Н. П. Барсуков, XI, 133.

В числе весьма немногих Гоголь читал Максимовичу первые главы второго тома «Мертвых душ» и говорил ему о своем труде: «Беспрестанно исправляю, и всякий раз, когда начну читать, то сквозь писанные строки читаю еще не написанные».

Н. П. Барсуков, X, 328.

До сих пор не могу еще прийти в себя: Гоголь прочел нам с Константином (*сыном Аксакова*) вторую главу. Вот как было дело. Пришел он к нам вчера обедать. Зная, что он неохотно сидит за столом без меня, я велел накрыть в маленькой гостиной, и Гоголь был очень доволен. После обеда напала на меня дремота. Гоголь употребил разные штуки, чтоб меня разгулять, в чем и успел. Часу в седьмом вдруг говорит: «А что бы Куличка прочесть (*из «Записок ружейного охотника» Аксакова*)». Я отвечал, что если он хочет, то Константин принесет все мои записки и прочтет их в гостиной. Гоголь сказал, что лучше пойти наверх. Я, ничего не подозревая, согласился; но Вера (*дочь Аксакова*) догадалась и, провожая меня, сказала: «Он будет вам непременно читать». Мы пришли наверх, я выбрал маленького Куличка и заставил Костю читать. Гоголь решительно ничего не слушал, и едва Константин дочитал, как он выхватил тетрадь из кармана, которую давно держал в руке, и сказал: «Ну, а теперь я вам прочту». Что тебе сказать? Скажу одно: вторая глава несравненно выше и глубже первой. Раза три я не мог удержаться от слез... Такого высокого искусства: показывать в человеке пошлом высокую человеческую сторону нигде нельзя найти, кроме Гомера. Так раскрывается духовная внутренность человека, что для всякого из нас, способного что-нибудь чувствовать, открывается собственная своя духовная внутренность. Теперь только я убедился вполне, что Гоголь может выполнить свою задачу, о которой так самонадеянно и дерзко, по-видимому, говорит в первом томе. Я сказал Гоголю, что теперь для нас остается только одно: молитва к богу, чтоб он дал ему здоровья и сил окончательно обработать и напечатать свое высокое творение. Гоголь был увлечен искренностью моих слов и сказал о себе, как бы говорил о другом: «Дай, дай только бог здоровья и сил! Благо должно произойти из этого, ибо человек не может видеть себя без помощи другого». Гоголю хотелось прочесть третью главу, ибо, по его словам, нужно было прочесть ее немедленно, но у него недостало сил. Да, много должно сгорать жизни в горниле, из которого истекает чистое злато. Вероятно, на днях выйдет какой-нибудь Куличок-зуек, и вслед за ним прочтется третья глава... Больно, что все наши просидели в это время одни в гостиной. Теперь очевидно, что все главы будут читаться только мне и Константину. Я примиряюсь с этою мыслию только одним, что это нужно, полезно самому Гоголю.

С. Т. Аксаков – И. С. Аксакову, 20 января 1850 г., из Москвы. И. С. Аксаков в его письмах, II, 272.

Не могу понять, что со мною делается. От преклонного ли возраста, действующего в нас вяло и лениво, от изнурительного ли болезненного состояния, от климата ли, производящего его, но я, просто, не успеваю ничего делать. Время летит так, как еще никогда не помню. Встаю рано, с утра принимаюсь за перо, никого к себе не впускаю, откладываю на сторону все прочие дела, даже письма к людям близким, – и при всем том так немного из меня выходит строк! Кажется, просидел за работой не больше как час, смотрю на часы, – уже время обедать. Некогда даже пройтись и прогуляться… Конец делу еще не скоро, т. е. разумею конец «Мертвых душ». Все почти главы соображены и даже набросаны, но именно не больше, как набросаны; собственно написанных две-три и только. Я не знаю даже, можно ли творить быстро собственно художническое произведение.

Гоголь – Плетневу, 21 янв. 1850 г., из Москвы. Письма, IV, 293.

Гоголь очень весел и, следовательно, трудится.

А. С. Хомяков – А. Н. Попову, в январе 1850 г., из Москвы. Соч. Хомякова, VIII, 192.

Москва чрезвычайно тиха и скучна… Гоголь живет и пуще всего заботится о своем здоровье.

А. И. Кошелев – А. Н. Попову, 1 февр. 1850 г., из Москвы. Рус. Арх., 1886, I, 353.

Болен, изнемогаю духом, требую молитв и утешения и не нахожу нигде. С болезнию моею соединилось такое нервическое волнение, что ни минуты не посидит мысль моя на одном месте и мечется, бедная, беспокойней самого больного.

Гоголь – А. О. Смирновой, в начале февр. 1850 г., из Москвы. Письма, IV, 296.

Почувствовал облегчение от болезни, в которой пробыл недели полторы.

Гоголь – В. А. Жуковскому, 28 февр. 1850 г. Письма, IV, 297.

Гоголь чуждался и бегал света. Застенчивость его простиралась до странности. Он не робел перед посторонними, а тяготился ими. Как только являлся гость. Гоголь исчезал из комнаты. Впрочем, он иногда еще бывал весел, читал по вечерам свои произведения, всегда прежние, и представлял, между прочим, в лицах своих нежинских учителей с такой комической силой, что присутствующие надрывались со смеха. Но жизнь его была суровая и печальная. По утрам он читал Иоанна Златоуста, потом писал и рвал все написанное, ходил очень много, был иногда прост до величия, иногда причудлив до ребячества. Я сохранил от этого времени много писем и документов, любопытных для определения его психической болезни. Гоголя я видел в последний раз в Москве, когда я ехал на Кавказ. Он пришел со мной проститься и начал говорить так сбивчиво, так отвлеченно, так неясно, что я ужаснулся, смешался и сказал ему что-то про самобытность Москвы. Тут лицо Гоголя прояснилось, искра прежнего веселья сверкнула в его глазах, и он рассказал мне по-гоголевски один в высшей степени забавный и типичный анекдот, которым, к сожалению, я с моими читательницами поделиться не могу. Но тотчас же после анекдота он снова опечалился, запутался в несвязной речи, и я понял, что он погиб. Он страдал долго, страдал душевно – от своей неловкости, от своего мнимого безобразия, от своей застенчивости, от безнадежной любви, от своего бессилия перед ожиданиями русской грамотной публики, избравшей его своим кумиром. Он углублялся в самого себя, искал в религии спокойствия и не всегда находил; он изнемогал под силой своего призвания, принявшего в его глазах размеры громадные; томился тем, что непричастен к радостям, всем доступным, и изнывал между болезненным смирением и болезненной, несвойственной ему по природе гордостью.

Гоголь имел дар рассказывать самые соленые анекдоты, не вызывая гнева со стороны своих слушательниц, причем он всегда грешил преднамеренно… Однажды я присутствовал при одном рассказе, переданном Гоголем теще моей, графине Л. К. Виельгорской. Он уже начинал страдать теми припадками меланхолии и затемнением памяти, которые были грустными предшественниками его кончины. Он был с Виельгорскими и со мною в самых дружеских отношениях, и потому виделись мы каждый день, если случай сводил нас быть в одном городе[60]. Так и случилось в Москве, где я был проездом и где также в то время находилась и графиня Виельгорская[61]. Гоголь проживал тогда у графа Толстого. Он был грустен, тупо глядел на все окружающее его потускневший взор, слова утратили свою неумолимую меткость, и тонкие губы как-то угрюмо сжались. Графиня Виельгорская старалась, как могла, развеселить Николая Васильевича, но не успевала в этом; вдруг бледное лицо его оживилось, на губах опять заиграла так всем нам известная лукавая улыбочка, и в потухающих глазах засветился прежний огонек.

– Да, графиня, – начал он своим резким голосом, – вы вот говорите про правила, про убеждения, про совесть (графиня Виельгорская в эту минуту говорила совершенно об ином, но, разумеется, никто из нас не стал его оспаривать), – а я вам доложу, что в России вы везде встретите правила, разумеется, сохраняя размеры. Несколько лет тому назад, – продолжал Гоголь, и лицо его как-то все сморщилось от худо скрываемого удовольствия, – я засиделся вечером у приятеля. Так как в тот вечер я был не совсем здоров, хозяин взялся проводить меня домой. Пошли мы тихо по улице разговаривая. На востоке уж начинала белеть заря, – дело было в начале августа. Вдруг приятель мой остановился и стал упорно глядеть на довольно большой, но неказистый и грязный дом. Место это, хотя человек он был женатый, видно, было ему знакомое, потому что он с удивлением пробормотал: «Да зачем же это ставни закрыты и темно так?.. Подождите меня, я хочу узнать…» Он прильнул к окну. Я тоже, заинтересованный, подошел. В довольно большой комнате перед налоем священник совершал службу, по-видимому, молебствие, дьячок подтягивал ему. Позади священника стояла толстая женщина, изредка грозно поглядывая вокруг себя; за нею, большею частью на коленях, расположилось пятнадцать или двадцать женщин, в завитых волосах, со щеками, рдеющими неприродным румянцем. Вдруг калитка с шумом распахнулась и показалась толстая женщина, лицом очень похожая на первую. «А, Прасковья Степановна, здравствуйте! – вскричал мой приятель. – Что это у вас происходит?» – «А вот, – забасила толстуха, – сестра с барышнями на Нижегородскую ярмарку собирается, так пообещалась для доброго почина молебен отслужить». – Так вот, графиня, – прибавил уже от себя Гоголь, – что же говорить о правилах и обычаях у нас в России?

Можно себе представить, с каким взрывом хохота и вместе с тем с каким изумлением мы выслушали рассказ Гоголя: надо было уже действительно быть очень больным, чтобы в присутствии целого общества рассказать графине Виельгорской подобный анекдотец.

Гр. В. А. Соллогуб. Воспоминания, 190, 138–141.

Никогда не забуду я того глубокого и тяжелого впечатления, которое Гоголь произвел на Хомякова и меня раз вечером, когда он прочел нам первые две главы второго тома. По прочтении он обратился к нам с вопросом: «Скажите по совести только одно, – не хуже первой части?» Мы переглянулись, и ни у него, ни у меня недостало духу сказать ему, что мы оба думали и чувствовали.

Я глубоко убежден, что Гоголь умер оттого, что он сознавал про себя, насколько его второй том ниже первого, сознавал и не хотел самому себе признаться, что он начинал подрумянивать действительность.

Ю. Ф. Самарин – А. О. Смирновой, 3 окт. 1862 г. Вопросы Философии и Психологии, кн. 69, 1903, сент. – окт., 681.

(*Самому Гоголю после этого чтения Самарин писал*:) Если бы я собрался слушать вас с намерением критиковать и подмечать недостатки, кажется, и тогда после первых же строк, прочтенных вами, я забыл бы о своем намерении. Я был так вполне увлечен тем, что слышал, что мысль об оценке не удержалась бы в моей голове. Вместо всяких похвал и поздравлений скажу вам только, что я не могу вообразить себе, чтобы прочтенное вами могло быть совершеннее. Мне остается только пожелать от всей души, чтобы вы благополучно совершили дело, важность которого для нас всех более и более обнаруживается,

Ю. Ф. Самарин – Гоголю. (Дата неизвестна.) Рус. Стар., 1889, июль, 174–176.

Анна Михайловна (*графиня Виелъгорская, третья дочь гр. М. Ю. Виельгорского*), кажется, – единственная женщина, в которую влюблен был Гоголь.

Гр. В. А. Соллогуб. Воспоминания, 129.

Я тебе особенно советую познакомиться с Анной Михайловной Виельгорской. У нее есть то, чего я не знаю ни у одной из женщин: не ум, а разум; но ее не скоро узнаешь: она вся внутри.

Гоголь – Плетневу, 5 янв. 1847 г., из Неаполя. Письма, III, 305.

Интересна очень незамужняя (меньшая) дочь Виельгорских, Анна Михайловна. Это существо еще небеснее (если только уж возможно) и Софии Михайловны (*Соллогуб, ее сестры*).

Плетнев – Я. К. Гроту, 19 марта 1847 г., из Петербурга. Переписка Грота с Плетневым, III, 32.

(*По-видимому, весною 1850 года Гоголь сделал предложение Анне Михайловне быть его женою*.) Гоголь, давая Анне Михайловне советы и наставления, касающиеся русской литературы, начинает в то же время затрагивать вопросы, относящиеся к разным сторонам жизни. Он советует ей не танцевать, не вести праздных разговоров, откровенно высказывает ей, что она не хороша собой, что ей не следует искать избранника в большом свете, посреди пустоты всех видов и пр. В свою очередь, исполненные задушевного участия расспросы Анны

Михайловны о здоровьи Гоголя, об успехе его литературных занятий поддерживали в нем надежду на взаимность. В переписке затрагивался вопрос о призвании целой жизни и о том, на что себя посвятить. Одним словом, отношения ее к Гоголю незаметно перешли за черту обыкновенной дружбы и сделались чрезвычайно интимными. Но здесь-то началась фальшь их положения – Виельгорские, как большинство людей титулованных и принадлежащих к высшему кругу, никогда не могли бы допустить мысли о родстве с человеком, так далеко отстоявшим от них по рождению. Анна Михайловна, конечно, не думала о возможности связать свою судьбу с Гоголем. Оказалось, что Виельгорские, при всем расположении к Гоголю, не только были поражены его предложением, но даже не могли объяснить себе, как могла явиться такая странная мысль у человека с таким необыкновенным умом. Особенно непонятно это казалось Луизе Карловне (*матери*). Впрочем, мы должны сделать оговорку; собственно говоря. Гоголь только обратился с запросом к графине через А. В. Веневитинова, женатого на старшей дочери Виельгорских, Аполлинарии Михайловне. Зная взгляды своих родственников, Веневитинов понял, что предложение не может иметь успеха, и напрямик сказал о том Гоголю… Воспоминание о предложении Гоголя сохранилось в семейных преданиях родственников Анны Михайловны, а из переписки можно догадываться о существовании его только по одному письму Гоголя (*см. нижеследующее письмо*).

В. И. Шенрок со слов родственников гр. А. М. Виельгорской. Материалы, IV, 739–740.

Мне казалось необходимым написать вам хоть часть моей исповеди… Нужна ли вам, точно, моя исповедь? Вы взглянете, может быть, холодно на то, что лежит у самого сердца моего, или с иной точки, и тогда может все показаться в другом виде, и, что писано было затем, чтобы объяснить дело, может только потемнить его. Скажу вам из этой исповеди одно только то, что я много выстрадался с тех пор, как расстался с вами в Петербурге. Изныл всей душой, и состояние мое так было тяжело, так тяжело, как я не умею вам сказать. Оно было еще тяжелее от того, что мне некому было его объяснить, не у кого было испросить совета или участия. Ближайшему другу я не мог его поверить, потому что сюда замешались отношения к вашему семейству; все же, что относится до вашего дома, для меня святыня. Грех вам, если вы станете продолжать сердиться на меня за то, что я окружил вас мутными облаками недоразумений. Тут было что-то чудное, и как оно случилось, я до сих пор не умею вам объяснить. Думаю, что все случилось от того, что мы еще не довольно друг друга узнали и на многое очень важное взглянули легко, по крайней мере, гораздо легче, чем следовало. Вы бы все меня лучше узнали, если б случилось нам прожить подольше где-нибудь не

праздно, но за делом… Тогда бы и мне, и вам оказалось видно, чем я должен быть относительно вас. Чем-нибудь да должен же я быть относительно вас. Бог недаром сталкивает так чудно людей. Может быть, я должен быть не что другое в отношении вас, как верный пес, обязанный беречь в каком-нибудь углу имущество господина своего. Не сердитесь же. Все же отношения наши не таковы, чтобы глядеть на меня, как на чужого человека.

Гоголь – гр. А. М. Виельгорской. Письмо без даты. Шенрок предположительно относит его к 1850 г., когда отношения Гоголя с Виельгорскими кончились и дальнейшая переписка прекратилась. Письма, IV, 309.

В высшем круге тогдашнего московского общества выдавалось семейство Васильчиковых, сколько лучшим тоном, столько же патриархальною строгостью семейных начал и порядков, глубокою религиозностью, а вместе значительной образованностью, которая открывала ласковый прием всем видным ученым, литераторам и художникам. Здесь можно было встретить и Хомякова в полурусском платье и поношенном коричневом сюртучке оригинального покроя, и К. С. Аксакова в его неприхотливом наряде, и Гоголя с нависшими прядями волос, в яхонтном бархатном жилете, забрызганного снизу до колен грязью от калош, и благообразного Шевырева с изящным Грановским…

П. А. Бессонов. Кн. В. А. Черкасский. Воспоминания. Рус. Арх., 1878, II, 210.

В 1850 году я видал Гоголя чаще всего у Шевырева. Говорили, что он пишет второй том «Мертвых душ», но никому не читает, или уж крайне избранным. Вообще в это время, в этот последний период жизни Гоголя в России, очень редко можно было услышать его чтение. Как он был избалован тогда относительно этого и как раздражителен, достаточно покажет следующий случай. Одно весьма близкое к Гоголю семейство, старые, многолетние друзья, упросили его прочесть что-то из «второго тома». Приняты были все известные меры, чтобы не произошло какой помехи. Отпит заранее чай, удалена прислуга, которой приказано более без зова не входить; забыли только упредить няньку, чтобы она не являлась в обычный час с детьми прощаться. Едва Гоголь уселся и водворилась вожделенная тишина, – дверь скрипнула и нянька с вереницею ребят, не примечая никаких знаков и маханий, пошла от отца к матери, от матери к дядюшке, от дядюшки к тетушке… Гоголь смотрел-смотрел на эту патриархальную процедуру вечернего прощания детей с родителями, сложил тетрадь, взял шляпу и уехал. Так рассказывали.

В эту эпоху слыхал Гоголя читающим чаще других Шевырев, чуть ли не самый ближайший к нему из всех московских литераторов. Он заведывал обыкновенно продажею сочинений Гоголя. У него же хранились и деньги Гоголя; между прочим, был вверен какой-то особый капитал, из которого Шевырев мог по своему усмотрению помогать бедным студентам, не говоря никому, чьи это деньги. Я узнал об этом от Шевырева только по смерти Гоголя. Наконец, Шевырев исправлял, при издании сочинений Гоголя, даже самый слог своего приятеля, как известно, не особенно заботившегося о грамматике. Однако, исправив, должен был все-таки показать Гоголю, что и как исправил, разумеется, если автор был в Москве. При этом случалось, что Гоголь скажет: «Нет, уж оставь по-прежнему!» Красота и сила выражения иного живого оборота для него всегда стояли выше всякой грамматики.

Жил в то время Гоголь крайне тихо и уединенно у графа Толстого (что после был обер-прокурором) в доме Талызина, на Никитском бульваре, занимая переднюю часть нижнего этажа, окнами на улицу; тогда как сам Толстой занимал весь верх. Здесь за Гоголем ухаживали, как за ребенком, предоставив ему полную свободу во всем. Он не заботился ровно ни о чем. Обед, завтрак, чай, ужин подавались там, где он прикажет, Белье его мылось и укладывалось в комоды невидимыми духами, если только не надевалось на него тоже невидимыми духами. Кроме многочисленной прислуги дома служил ему, в его комнатах, собственный его человек, из Малороссии, именем Семен, парень очень молодой, смиренный и чрезвычайно преданный своему барину. Тишина во флигеле была необыкновенная. Гоголь либо ходил по комнате, из угла в угол, либо сидел и писал, катая шарики из белого хлеба, про которые говорил друзьям, что они помогают разрешению самых сложных и трудных задач. Один друг собрал этих шариков целые вороха и хранит благоговейно… Когда писание утомляло или надоедало. Гоголь поднимался наверх, к хозяину, не то – надевал шубу, а летом испанский плащ, без рукавов, и отправлялся пешком по Никитскому бульвару, большею частью налево из ворот. Мне было весьма легко делать эти наблюдения, потому что я жил тогда как раз напротив, в здании Коммерческого банка.

Писал он в то время очень вяло. Машина портилась с каждым днем больше и больше. Гоголь становился все мрачнее и мрачнее…

В припадке литературной откровенности, кажется у Шевырева, Гоголь рассказал при мне, как он обыкновенно пишет, какой способ писать считает лучшим.

«Сначала нужно набросать все, как придется, хотя бы плохо, водянисто, но решительно все, и забыть об этой тетради. Потом через месяц, через два, иногда и более (это скажется само собою) достать написанное и перечитать: вы увидите, что многое не так, много лишнего, а кое-чего

недостает. Сделайте поправки и заметки на полях – и снова забросьте тетрадь. При новом пересмотре ее новые заметки на полях, и где не хватит места – взять отдельный клочок и приклеить сбоку. Когда все будет таким образом исписано, возьмите и перепишите тетрадь собственноручно. Тут сами собой явятся новые озарения, урезы, добавки, очищения слога. Между прежних вскочат слова, которые необходимо там должны быть, но которые почему-то никак не являются сразу. И опять положите тетрадку. Путешествуйте, развлекайтесь, не делайте ничего или хоть пишите другое. Придет час, – вспомнится заброшенная тетрадь; возьмите, перечитайте, поправьте тем же способом, и, когда снова она будет измарана, перепишите ее собственноручно. Вы заметите при этом, что вместе с крепчанием слога, с отделкой, очисткой фраз как бы крепчает и ваша рука: буквы ставятся тверже и решительнее. Так надо делать, по-моему, восемь раз. Для иного, может быть, нужно меньше, а для иного и еще больше. Я делаю восемь раз. Только после восьмой переписки, непременно собственной рукою, труд является вполне художнически законченным, достигает перла создания. Дальнейшие поправки и пересматриванье, пожалуй, испортят дело; что называется у живописцев: зарисуешься. Конечно, следовать постоянно таким правилам нельзя, трудно. Я говорю об идеале. Иное пустишь и скорее. Человек все-таки человек, а не машина».

Писал Гоголь довольно красиво и разборчиво, большею частью на белой почтовой бумаге большого формата. Такими бывали, по крайней мере, последние, доведенные до полной отделки его рукописи.

Однажды, кажется у Шевырева, кто-то из гостей, – несмотря на принятую всеми знавшими Гоголя систему не спрашивать его ни о чем, особенно о литературных работах и предприятиях, – не удержался и заметил ему, что это он смолк: ни строки, вот уже сколько месяцев сряду! Ожидали простого молчания, каким отделывался Гоголь от подобных вопросов, или ничего не значащего ответа. Гоголь грустно улыбнулся и сказал: «Да, как странно устроен человек: дай ему все, чего он хочет, для полного удобства жизни и занятий, тут-то он и не станет ничего делать; тут-то и не пойдет работа».

Н. В. Берг. Воспоминания о Н. В. Гоголе. Рус. Стар., 1872, янв., 127, 124, 122.

С нового года напали на меня разного рода недуги. Все болею и болею: климат допекает. Куда убежать от него, еще не знаю; пока не решился ни на что. Болезни приостановили мои занятия с «Мертвыми душами», которые пошли было хорошо. Может быть, – болезнь, а может быть, и то, что, как поглядишь, какие глупые настают читатели, какие бестолковые ценители, какое отсутствие вкуса… – просто не подымаются

руки. Странное дело, хоть и знаешь, что труд твой не для какой-нибудь переходной современной минуты, а все-таки современное неустройство отнимает для него спокойствие.

Гоголь – Н. Я. Прокоповичу, 29 марта 1850 г., из Москвы. Письма, IV, 311.

Никогда еще не чувствовал так бессилия своего и немощи. Так много есть, о чем сказать, а примешься за перо, – не подымается. Жду, как манны, орошающего освежения свыше. Видит бог, ничего бы не хотелось сказать, кроме того, что служит к прославлению его святого имени. Хотелось бы живо, в живых примерах, показать темной моей братии, живущей в тире и играющей жизнью, как игрушкою, что жизнь не шутка. И все, кажется, обдумано и готово, но перо не подымается. Нужной свежести для работы нет, и (не скрою перед вами) это бывает предметом тайных страданий, чем-то вроде креста. Впрочем, может быть, все это происходит от изнуренья телесного. Силы физические мои ослабели. Я всю зиму был болен. Не уживается с нашим холодным климатом мой холоднокровный, несогревающийся темперамент. Ему нужен юг. Думаю опять, с богом, пуститься в дорогу, в странствие, на Восток, под благодатнейший климат, навеваемый окрестностями святых мест. Дорога всегда действовала на меня освежительно – и на тело, и на дух.

Гоголь – о. Матвею, в 1850 г. Письма, IV, 313.

Дела моей матери и сестер от неурожаев и голодов пришли в такое расстройство, и они сами очутились в такой крайности, что я принужден собрать все, какое у меня еще осталось имущество, и спешить сам к ним на помощь. Потрудись взять из ломбарда последний оставшийся мой билет на 1168 руб. серебром со всеми накопившимися в это время (трех, кажется, лет) процентами и перешли их к Шевыреву.

Гоголь – П. А. Плетневу, в конце апр. 1850 г. Пометка Плетнева: «Получено 30 апр. 1850 г.; отв. 2 мая 1850. При сем послано 1309 р. сер.». Письма, IV, 314.

Раз, в день именин Гоголя, которые справлял он, в бытность свою в Москве, постоянно у Погодина в саду, ехали мы с Островским откуда-то вместе на дрожках и встретили Гоголя, направлявшегося к Девичьему Полю. Он соскочил со своих дрожек и пригласил нас к себе на именины; мы тут же и повернули за ним. Обед, можно сказать, в исторической аллее, где я видел потом много памятных для меня других обедов с литературным значением, прошел самым обыкновенным образом. Гоголь был ни весел, ни скучен. Говорил и хохотал более всех Хомяков. Были: молодые Аксаковы, Кошелев, Шевырев, Максимович...

Н. В. Берг. Воспоминания о Н. В. Гоголе. Рус. Стар., 1872, янв., 122.

Гоголь пришел ко мне утром и был очень встревожен. «Что с вами, Николай Васильевич?» – «Надежда Николаевна Шереметева умерла. Вы знаете, как мы с ней жили душа в душу. Последние два года на нее нашло искушение: она боялась смерти. Сегодня она приехала, как всегда, на своих дрожках и спросила, дома ли я. Поехала куда-то, опять заехала, не нашла меня и сказала людям: «Скажите Николаю Васильевичу, что я приехала с ним проститься», – поехала домой и душу отдала богу, который отвратил перед смертью страданья. Ее Смерть оставляет большой пробел в моей жизни». (*Шереметева умерла 11 мая 1850 г.*)

А. О. Смирнова. Воспоминания о Гоголе. Автобиография, 298.

12 мая 1850 года. – Вечером в часов девять отправился я к Н. В. Гоголю, в квартиру графа Толстого, на Никитском бульваре, в доме Талызиной. У крыльца стояли чьи-то дрожки. На вопрос мой: «Дома ли Гоголь?» – лакей отвечал, запинаясь: «Дома, но наверху, у графа». – «Потрудись сказать ему обо мне». Через минуту он воротился, прося зайти в жилье Гоголя, внизу, в первом этаже, направо, две комнаты. Первая вся устлана зеленым ковром, с двумя диванами по двум стенам (первый от дверей налево, а второй за ним, по другой стене); прямо печка с топкой, заставленной богатой гардинкой зеленой тафты (или материи) в рамке; рядом дверь у самого угла к наружной стене, ведущая в другую комнату, кажется, спальню, судя по ширмам в ней, на левой руке; в комнате, служащей приемной, сейчас описанной, от наружной стены поставлен стол, покрытый зеленым сукном, поперек входа к следующей комнате (спальне), а перед первым диваном тоже такой же стол. На обоих столах несколько книг кучками одна на другой: тома два «Христианского Чтения», «Начертание церковной библейской истории», «Быт русского народа», экземпляра два греко-латинского словаря, словарь церковно-русского языка, Библия в большую четверку московской новой печати, подле нее молитвослов киевской печати, первой четверти прошлого века; на втором столе (от внешней стены), между прочим, сочинения Батюшкова в издании Смирдина «русских авторов», только что вышедшее, и пр.

Минут через пять пришел Гоголь, извиняясь, что замешкался. «Я сидел с одним старым знакомым, – сказал он, – недавно приехавшим, с которым давно уже не виделся». – «Я вас не задержу своим посещением?» – «О нет, мы посидим, сколько угодно вам. Чем же вас потчевать? Чаем?» – «Его я не пью никогда. Пожалуйста, не беспокойтесь нимало: я не пью ничего, кроме воды». – «А, так позвольте же угостить вас водицей содовой». Тотчас лакей принес бутылку,

которую и опорожнил в небольшой стакан. «Несколько раз собирался я к вам, но все что-нибудь удерживало. Сегодня, наконец, улучил досуг и завернул к вам, полагая, что если и не застану вас, то оставлю вам билетец, чтобы знали вы, что я был-таки в вашей обители». – «Да, – подхватил он, – чтобы знали, что я был у вас». Сегодня слуга мой говорит мне, что ко мне, около обеденной поры, какая-то старушка заходила и три раза просила передать мне, что вот она у меня была; а теперь я слышу, что она уже покойница. «Да скажи же Николаю Васильевичу, пожалуйста, скажи, что была у него: была нарочно повидаться с ним». Вероятно, бедненькая, уставши от ходьбы, изнемогла под бременем лет, воротившись в свою светелку, кажется, на третьем этаже».

Разговаривая далее, речь коснулась литературы русской, а тут и того обстоятельства, которое препятствует на Москве иметь свой журнал. «Хорошо бы вам взяться за журнал; вы и опытны в этом деле, да и имеете богатый запас от «Чтений»[62] – книжек на 11–12 вперед… Для большего успеха отечественного нужно, чтобы в журнале было как можно больше своего, особенно материалов для истории, древностей и т. п., как в ваших «Чтениях». Еще больше. Это были бы те же «Чтения», только с прибавкой одного отделка, именно «Изящная словесность», который можно было бы поставить спереди или сзади и в котором помещалось одно лишь замечательное, особенно по части иностранной литературы (за неимением современного и старое шло бы). И притом так, чтобы избегать как можно немецкого педантства в подразделениях. Чем объемистее какой отдел, тем свободнее издатель, избавленный от кропотливых забот отыскивать статьи для наполнения клеток своего журнала, из коих многие никогда бы без того не были напечатаны». – «Разумеется».

Перед отводом спросил я, где он хочет провести лето. «Мне хотелось бы пробраться в Малороссию свою, потом на осень воротиться к вам, зиму провести где-либо потеплее, а на весну снова к вам». – «Что же, вам худо у нас этой зимой?» – «И очень. Я зяб страшно, хотя первый год чувствовал себя очень хорошо». – «По мне, если не хотите выезжать за границу, лучше всего в Крыму». – «Правда, и я собираюсь попытаться это сделать в следующую зиму… За границу мне бы не хотелось, тем более, что там нет уже тех людей, к которым я привык: все они разбежались». – «Но если придется вам непременно ехать туда, разумеется, снова в Рим?» – «Нет, там в последнее время было для меня уже холодновато, скорее всего в Неаполь; в нем проводил бы я зиму, а на лето по-прежнему убирался бы куда-нибудь на север, на воды или к морю. Купанье морское мне очень хорошо».

Прощаясь, он спросил меня, буду ли я на варениках. «Если что-либо не помешает». Под варениками разумеется обед у С. Т. Аксакова по

воскресеньям, где непременным блюдом были всегда вареники для трех хохлов: Гоголя, М. А. Максимовича и меня, а после обеда, спустя час-другой, песни малороссийские под фортепиано, распеваемые второю дочерью хозяина, Надеждою Сергеевною, голос которой очень мелодический. Обыкновенно при этом Максимович подпевал. Песни пелись по «Голосам малороссийских песен», изданных Максимовичем, и кой-каким другим сборникам, принесенным мною.

Почти выходя, Гоголь сказал, что ныне как-то разучиваются читать; что редко можно найти человека, который бы не боялся толстых томов какого-нибудь дельного сочинения; больше всего теперь развелось у нас щелкоперов, – слово, кажется, любимое им и часто употребляемое в подобных случаях.

О. М. Бодянский. Дневник. Рус. Стар., 1888, ноябрь, 406–409.

До отъезда своего в Малороссию Гоголь прочел нам третью и четвертую главы.

С. Т. Аксаков. Записки. П. Кулиш, II, 230.

Гоголь чувствовал, что суровая северная зима действует вредно на его здоровье, но в его планы не входили уже поездки за границу, и потому он избрал своим зимовьем Одессу, откуда намеревался проехать в Грецию или Константинополь. Для этого он начал заниматься новогреческим языком, по молитвеннику, который во время переезда в Малороссию составлял единственное его чтение. Он читал его по утрам вместо молитвы, стараясь, однако ж, делать это тайком от своего спутника.

Спутником его был М. А. Максимович, с которым он договорил заезжего из Василькова (Киевской губернии) еврея, с известною будкою на колесах, называющеюся брикою или шарабаном. В нее предполагалось положить вещи, а сами путешественники намеревались сесть в рессорную бричку, принадлежавшую Максимовичу. Но еврей, подрядившийся везти Гоголя, надул его самым плутовским образом. Ему нужно было только остаться под этим предлогом в Москве до получения паспорта, а потом он начисто отперся от своего словесного обязательства. Гоголь был в страшной досаде, но делать было нечего. И вот путешественники приискивают себе другого «долгого» извозчика, уже из православных; тот закладывает в свою громадную телегу тройку коренастых, но тупых на ногу лошадей; укладываются в нее пожитки обоих литераторов; впрягается такая же тройка в бричку Максимовича.

М. А. Максимович по записи Кулиша. Записки о жизни Гоголя. II, 230.

Мы с Максимовичем заедем к вам по дороге, то есть перед самым отъездом, часу во втором, стало быть, во время вашего завтрака, чтобы и самим у вас чего-нибудь перехватить: одного блюда, не больше, или котлет, или, пожалуй, вареников, и запить бульонцем.

Гоголь – С. Т. Аксакову, 13 июня 1850 г. Письма, IV. 327.

В пятом часу пополудни (13 июня) путники выехали из дому Аксаковых, у которых они на прощанье обедали. Первую ночь провели в Подольске, где в то же время ночевали Хомяковы, с которыми Гоголь и его спутник провели вечер в дружеской беседе. На 15 июня ночевали в Малом Ярославце; утром служили в тамошнем монастыре молебен; напились у игумена чаю и получили от него по образу св. Николая. На 16-е число ночевали в Калуге, и 16-го обедали у А. О. Смирновой.

М. А. Максимович по записи Кулиша. Записки о жизни Гоголя, II, 231.

Путешествие на долгих было для Гоголя уже как бы началом плана, который он предполагал осуществить впоследствии. Ему хотелось совершить путешествие по всей России, от монастыря к монастырю, ездя по проселочным дорогам и останавливаясь отдыхать у помещиков. Это ему было нужно, во-первых, для того, чтобы видеть живописнейшие места в государстве, которые большею частью были избираемы старинными русскими людьми для основания монастырей; во-вторых, для того, чтобы изучить проселки русского царства и жизнь крестьян и помещиков во всем его разнообразии; в-третьих, наконец, для того, чтобы написать географическое сочинение о России самым увлекательным образом. Он хотел написать его так, «чтоб была слышна связь человека с той почвой, на которой он родился». Обо всем этом говорил Гоголь у А. О. Смирновой, в присутствия гр. А. К. Толстого (*известного поэта*), который был знаком с ним издавна, но потом не видал его лет шесть или более. Он нашел в Гоголе большую перемену. Прежде Гоголь в беседе с близкими знакомыми выражал много добродушия и охотно вдавался во все капризы своего юмора и воображения; теперь он был очень скуп на слова, и все, что ни говорил, говорил, как человек, у которого неотступно пребывала в голове мысль, что «с словом надобно обращаться честно», или который исполнен сам к себе глубокого почтения. В тоне его речи отзывалось что-то догматическое, так, как бы он говорил своим собеседникам: «Слушайте, не пророните ни одного слова». Тем не менее беседа его была исполнена души и эстетического чувства. Он попотчевал графа двумя малороссийскими колыбельными песнями, которым и восхищался как редкими самородными перлами: 1) «Ой, спы, дытя, без сповыття» и т. д., 2) «Ой, ходыть сон по улоньци» и т. д. Вслед за тем Гоголь попотчевал графа лакомством другого сорта: он продекламировал с свойственным

ему искусством великорусскую песню, выражая голосом и мимикою патриархальную величавость русского характера, которою исполнена эта песня: «Пантелей государь ходит по двору, Кузьмич гуляет по широкому» и т. д.

Гр. А. К... Толстой по записи Кулиша. Записки о жизни Гоголя, II, 232.

Не удовлетворившись своим путешествием в Иерусалим, Гоголь собирался предпринять со временем другое путешествие туда. Н. Н. Сорен, урожд. Смирнова, дочь Александры Осиповны, припоминает, что он часто говорил уже в 1850 году о новой поездке в Иерусалим, причем она, тогда еще маленькая девочка, спросила его: «А меня возьмете в Иерусалим?» Гоголь ответил задумчиво: «Я не скоро поеду; мне нужно прежде кончить дело».

В. И. Шенрок. Материалы, IV, 694.

По дороге Гоголь любил заезжать в монастыри и молиться в них богу. Особенно понравилась ему Оптина пустынь, на реке Жиздре, за Калугою. Гоголь, приближаясь к ней, прошел с своим спутником до самой обители, версты две, пешком. На дороге встретили они девочку с мисочкой земляники и хотели купить у нее землянику; но девочка, видя, что они люди дорожные, не захотела взять от них денег и отдала им свои ягоды даром, отговариваясь тем, что «как можно брать с странних людей деньги?» – «Пустынь эта распространяет благочестие в народе, – заметил Гоголь, умиленный этим, конечно, редким явлением. – И я не раз замечал подобное влияние таких обителей».

М. А. Максимович по записи Кулиша. Записки о жизни Гоголя, II, 235.

Я заезжал на дороге в Оптинскую пустынь и навсегда унес о ней воспоминание. Благодать видимо там присутствует. Это слышится в самом наружном служении, хотя и не можем объяснить себе, почему. Нигде я не видал таких монахов. С каждым из них, мне казалось, беседует все небесное. Я не расспрашивал, кто из них как живет: их лица сказывали сами все. Самые служки меня поразили светлой ласковостью ангелов, лучезарной простотой обхождения; самые работники в монастыре, самые крестьяне и жители окрестностей. За несколько верст, подъезжая к обители, уже слышишь ее благоухание: все становится приветливее, поклоны ниже и участия к человеку больше.

Гоголь – гр. А. П. Толстому, 10 июля 1850 г. Письма, IV, 332.

Ради самого Христа, молитесь обо мне, отец Филарет. Просите вашего достойного настоятеля, просите всю братию, просите всех, кто у вас усерднее молится. Путь мой труден; дело мое такого рода, что без ежеминутной, ежечасной и без явной помощи божией не может двинуться мое перо, и силы мои не только ничтожны, но их нет без освежения свыше. Говорю вам об этом неложно. Покажите эту записку мою отцу игумену и умолите его вознести свою мольбу обо мне, грешном, чтобы удостоил бог меня, недостойного, поведать славу имени его. Мне нужно ежеминутно, говорю вам, быть мыслями выше житейского дрязгу, и на всяком месте своего странствования быть в Оптиной пустыни.

Гоголь – иеромонаху Оптиной пустыни Филарету, из села Долбина. Письма, IV, 327.

В Оптиной пустыни Гоголь усердно читал книгу Исаака Сирина, – не знаю, с рукописи или в печатном издании, – и она произвела на него большое впечатление. Я видел у о. Климента первый том «Мертвых душ» (первого издания), – экземпляр этот принадлежал гр. А. П. Толстому, – с заметками Гоголя карандашом на полях XI главы первой части. В этой главе Гоголь, говоря о прирожденных человеку страстях, придавал им высокое значение[63]. В сделанной Гоголем карандашом на полях заметке было написано: «Это я писал в «прелести», это вздор; прирожденные страсти – зло, и все усилия разумной воли человека должны быть устремлены для искоренения их. Только дымное надмение человеческой гордости могло внушить мне мысль о высоком значении прирожденных страстей – теперь, когда я стал умнее, глубоко сожалею о «гнилых словах», здесь написанных. Мне чуялось, когда я печатал эту главу, что я путаюсь; вопрос о значении прирожденных страстей много и долго занимал меня и тормозил продолжение «Мертвых душ». Жалею, что поздно узнал книгу Исаака Сирина, великого душеведца и прозорливого инока. Здравая психология и не кривое, а прямое понимание души встречаем лишь у подвижников-отшельников. То, что говорят о душе запутавшиеся в хитро сплетенной немецкой диалектике молодые люди, – не более как призрачный обман. Человеку, сидящему по уши в житейской тине, не дано понимание природы души».

П. А. Матвеев. Гоголь в Оптиной пустыни. Рус. Стар., 1903, февр., 303.

Я слышал в начале 60-х годов от одного инока Оптиной пустыни, сколько помню, о. Павлина, заведовавшего монастырской библиотекой и лично знавшего Гоголя, указание на настоящее содержание «Мертвых душ» – духовное возрождение «мертвых душ» первой части в последующих томах. То же мне говорил о. Климент, посвященный

рассказами гр. А. П. Толстого в действительное содержание поэмы Гоголя.

П. А. Матвеев. Гоголь в Оптиной пустыни. Рус. Стар., 1903, февр., 304.

19 июня путники наши провели у И. В. Киреевского в Долбине, где некогда проживал Жуковский и написал лучшие свои баллады, а 20-е у А. П. Елагиной в Петрищеве. Путешественники наши подвигались вперед довольно медленно; но Гоголь не чувствовал, по-видимому, никакой скуки и постоянно обнаруживал самое спокойное состояние души, как во время езды, так и на постоялых дворах. Его все занимало в дороге, как ребенка, и он часто, для выражения своих желаний, употреблял язык, каким любят объясняться между собою школьники. Так, например, ложась спать, он «отправлялся к Храповицкому», а когда желал только отдохнуть, то говаривал своему спутнику: «Не пойти ли нам к Полежаеву?» Ходил он также к «Обедову» и к другим господам по разным надобностям, и все это без малейшего вида шутки. Когда надоедало ему сидеть и лежать в бричке, он предлагал товарищу «пройти пехандачка» и мимоходом собирал разные цветы, вкладывал их тщательно в книжку и записывал их латинские и русские названия, которые говорил ему Максимович. Это он делал для одной из своих сестер, страстной любительницы ботаники. У него было очень тонкое обоняние. Иногда, въезжая в лес, он говорил: «Тут сосна должна быть: так и пахнет сосной»; и действительно, путешественники открывали между берез и дубов сосновые деревья. На станциях он покупал молоко, снимал сливки и очень искусно делал из них масло с помощью деревянной ложки. В этом занятии он находил столько же удовольствия, как и в собирании цветов. Он был немножко рассеян, немножко прихотлив, порой детски затейлив, порой как будто грустен, но постоянно спокоен, как бывает спокоен старик, переиспытавший много на веку своем и убедившийся окончательно, что все в мире совершается по строгим законам необходимости и что причина каждого неприятного для нас явления может скрываться вне границ не только нашего влияния, но и нашего ведения.

Во время дороги Гоголь, кроме обычных своих шуточек, вообще говорил мало, и в этом малом мысли его обращались преимущественно к предметам практической жизни. Так, например, он рассуждал о современной страсти к комфорту и роскоши и приходил к такому заключению, что «нам необходимо приучать себя к суровости жизни, а то комфорт и роскошь заводят нас так далеко, что мы проматываемся час от часу более и наконец нам нечем жить». На этом основании он отвергал употребление в сельском быту рессорных экипажей, особенно для людей его состояния, и придумывал, как бы взять в этом случае средину между дорогим комфортом и грубою дешевизною.

Прихотливость Гоголя в дороге обнаруживалась в том, что он вместо чаю пил кофе, который варил собственноручно на самоваре, и если мог остановиться в гостинице, то всегда предпочитал ее постоялому двору. Впрочем, он делал эту уступку своим строгим правилам жизни, вероятно, только для поддержания своего хилого здоровья. Он говорил своему спутнику, что полчашки чаю действует на его нервы сильнее, нежели большой стакан кофе.

Максимович, приехав в Москву на собственных лошадях, нашел для себя удобным сбыть их там; однако ж не мог расстаться со старым конем, который служил ему усердно несколько лет. Конь этот шел сзади телеги и был во всю дорогу предметом наблюдений Гоголя. «Да твой старик просто жуирует», – говорил он, заметив, что сзади повозки приделан был для него рептух с овсом и сеном. Потом он дивился, что, лишь только извозчик двигался в путь, ветеран Максимовича покидал свое стойло или зеленую лужайку и следовал за кибиткою всегда в одном и том же расстоянии от нее, как будто привязанный к ней. Гоголь подмечал, не увлечет ли его какая-нибудь конская страстишка с прямого пути его обязанностей: нет, конь был истинный стоик и оставался верен своим правилам до конца путешествия.

В дороге только один случай явственно задел поэтические струны в душе Гоголя. Это было в Севске, на Ивана Купалу. Проснувшись на заре, наши путешественники услышали неподалеку от постоялого двора какой-то странный напев, звонко раздававшийся в свежем утреннем воздухе. «Поди, послушай, что это такое, – просил Гоголь своего друга, – не купаловые ли песни. Я бы и сам пошел, но ты знаешь, что я немножко из-под Глухова». Максимович подошел к соседнему дому и узнал, что там умерла старушка, которую оплакивают поочередно три дочери. Девушки причитывали ей импровизированные жалобы с редким искусством и вдохновлялись собственным плачем. Все служило им темою для горестного речитатива: добродетельная жизнь покойницы, их неопытность в обхождении с людьми, их беззащитное сиротское состояние и даже разные случайные обстоятельства. Например, в то время, как плакальщица голосила, на лицо покойницы села муха, и та, схватив этот случай с быстротою вдохновения, тотчас вставила в свою речь два стиха:

Вот и мушенька тебе на личенько села.

Не можешь ты мушеньку отогнати!

Проплакав всю ночь, девушки до такой степени наэлектризовались поэтически-горестными выражениями своих чувств, что начали думать вслух тоническими стихами. Раза два появлялись они, то та, то другая, на галерейке второго этажа и, опершись на перила, продолжали свои вопли и жалобы, а иногда обращались к утреннему солнцу, говоря:

«Солнышко ты мое красное!» и тем «живо напоминали мне (говорил Максимович) Ярославну, оплакавшую рано «Путивлю городу на забороле»». Когда он рассказал о всем виденном и слышанном Гоголю, тот был поражен поэтичностью этого явления и выразил намерение воспользоваться им при случае в «Мертвых душах».

25 июня путники расстались в Глухове, откуда Гоголь уехал в Васильевку, в коляске А. М. Маркевича.

М. А. Максимович по записи Кулиша. Записки о жизни Гоголя, II, 231, 234–238.

Я приехал в Сорочинцы благополучно, но в чужом экипаже. Пожалуйста, не сказывая матушке, вели заложить коляску и завтра же пораньше выехать за мною. Матушке можешь сказать на другой день поутру: иначе она не будет спать.

Гоголь – сестре Елиз. Вас. Гоголь. Письма, IV, 331.

Ваше сиятельство, милостивый государь! Покуда прибегаю к вам более за советом, чем с просьбой. Скажите мне откровенно, можно и прилично ли ввести государя-наследника в мое положение. Обстоятельства мои таковы, что я должен буду просить позволения и даже средств проводить три зимние месяца в году в Греции или на островах Средиземного моря и три летние где-нибудь внутри России. Это не прихоть, но существенная потребность моего слабого здоровья и моих умственных работ… А между тем, предмет труда моего немаловажен. В остальных частях «Мертвых душ», над которыми теперь сижу, выступает русский человек уже не мелочными чертами своего характера, не пошлостями и странностями, но всей глубиной своей природы и богатым разнообразием внутренних сил, в нем заключенных. Многое, нами позабытое, пренебреженное, брошенное, следует выставить ярко в живых, говорящих примерах, способных подействовать сильно. О многом существенном и главном следует напомнить человеку вообще и русскому в особенности. Поэтому мне кажется, что я имею некоторое право поберечь себя и позаботиться о своем самосохранении. Принужденный поневоле наблюдать за своим здоровьем, я уже заметил, что тот год для меня лучше, когда лето случалось провести на севере, а зиму на юге. Летнее путешествие по России мне необходимо потому, что на многое следует взглянуть лично и собственными глазами. Зимнее пребывание в некотором отдалении от России, на юге, тоже необходимо (не говоря уже о потребности для здоровья). Писателю бывает необходимо временное отдаление от предмета, который он видел вблизи, затем, чтобы лучше обнять его. У меня же это преимущественная особенность моего глаза. Присоветуйте, придумайте, как поступить мне, чтобы получить беспошлинный паспорт

и некоторые средства для проезда. Состоянья у меня нет никакого, жалованья не получаю ниоткуда, небольшой пенсион, пожалованный мне великодушным государем на время пребывания моего за границей для излечения, прекратился по моем возвращении в Россию… Если необыкновенность просьбы моей затруднит вас дать совет мне, тогда поступите так, как, может быть, и без меня научит вас благородное сердце. Представьте это письмо, прямо как оно есть, на суд его императорского величества. Что угодно будет богу внушить его монаршей воле, то, верно, будет самое законное решение.

Гоголь – шефу жандармов графу А. Ф. Орлову, во второй половине 1850 г. Письма, IV, 340.

Гоголь был скрытен, не любил высказываться, не любил и любопытных. Он всегда уединялся. Богатый помещик А. В. Капнист пригласил Гоголя к себе в гости в великолепное имение Обуховку. Случилось так, что к Капнисту съехалось много родных и соседей, душ тридцать. В три часа сели за стол, вдруг входит лакей и говорит хозяину, что приехал Н. В. Гоголь, узнал, что много гостей, и хочет уезжать. Капнист вскочил из-за стола, бежит в переднюю и видит, что Гоголь стоит на крыльце и ожидает своих лошадей. Только с большим трудом удалось Капнисту уговорить Гоголя остаться. Остался Гоголь и сел за стол. Все гости притихли и ожидали слышать, что будет говорить Гоголь; но он также притих и не проронил ни одного словечка в продолжении всего обеда. После обеда все гости пошли в гостиную и надеялись слышать Гоголя; но он, несмотря на убедительные просьбы хозяина остаться, простился с ним и уехал.

Т. Г. Пащенко по записи В. Пашкова, Берег, 1880, № 268.

Расставаясь с Гоголем в Глухове 25 июня, я дал обещание быть у него в августе… (*Около 10 августа*) из Миргорода, с вязкою миргородских бубликов для Гоголя, поспешил я в Сорочинцы и приехал в полдень невыносимо знойный. От г-жи Трофимовской узнал я, что Гоголь приехал сюда из Обуховки. Это известие и нежданная встреча с Гоголем на месте его рождения весьма обрадовала меня; и мы весело провели этот день вместе, у А. С. Данилевского… Мы переехали через Псел и ехали в Васильевку ночью, при свете полного месяца. Наслаждением для меня было промчаться вместе с Гоголем по степям, лелеявшим его с детства. И никогда я не видел его таким одушевленным, как в эту украинскую ночь.

М. А. Максимович. Родина Гоголя. Собр. соч. Максимовича, т. II. Киев. 1877. Стр. 357.

Когда приехал профессор-ботаник (*М. А. Максимович*), мы ему показывали тетрадь со всеми цветочками и листьями. Он рассказывал: какой цветок, стебель треугольный, как называется; а когда я спросила, какой цветок – для какой пользы и от какой болезни лечит, – того он не сказал; тогда я сказала брату: «Не стоит того, чтобы беспокоить профессора, когда он не знает, какими травами лечить». И так мы оставили этим делом заниматься. Профессор любил слушать малороссийские песни; Катерина Ивановна ему пела, а иногда сидели на крыльце, призывали лирника петь, еще кой-какие парубки пели; не помню, чем еще его занимали, он две недели погостил.

О. В. Гоголь-Головня, 46.

Приехал Максимович к нам, привез книги и стал нам всякие травы показывать и объяснять. И по книгам, и в лесу травы искали, и в степь ходили. Мы с братом слушаем, смотрим. Вижу, что мне и в несколько лет всего не усвоить, и говорю профессору Максимовичу: «Вы уж мне только одни полезные, для лекарств, целебные травы показывайте». Стал он только одни целебные травы показывать. И все-таки не очень-то многому научились мы в две недели, пока гостил у нас профессор Максимович. Однако, чему научились, тем стали пользоваться: лечить крестьян.

О. В. Гоголь-Головня по записи А. Мошина. Белоусов. Дорогие места, изд. 2-е, стр. 33.

Брат мой был немножко глуховат, но только на одно ухо, и при разговоре иногда склонялся ухом к говорившему и спрашивал: «А?» Волосы у него были русые, а глаза – коричневые. В детстве у него были светлые волосы, а потом потемнели. Росту он был ниже среднего; худощавым я его никогда не видела; лицо у него было круглое, и всегда у него был хороший цвет лица, я не видала его болезненно-бледным. Немножко он был сутуловат, это заметнее было, когда он сидел. Говорят, где-то кто-то слышал, как он малороссийские песни пел, а я не слышала, как он пел. Он любил слушать, как поют или играют. Меня часто просил играть ему на фортепиано малороссийские песни: «А ну-ка, – говорит, – сыграй мне чоботы». Стану играть, а он слушает и ногой притопывает. Ужасно любил он малороссийские песни. Видела я, как он раз нищих позвал, и они ему пели. Но это он хотел сделать так, чтобы никто из нас не видел: он позвал их к себе в комнату. Брат жил тогда во флигеле.

О. В. Гоголь-Головня по записи А. Мошина. Белоусов. Дорогие места, 31.

По-малороссийски Гоголь говорил хорошо, песни простые очень любил, но сам пел плохо. Дома, в Яновщине, совсем не вникал в хозяйство. Больше рисовал, да так гулял, садом занимался.

В. П. Горленко со слов Якима. Рус. Арх., 1893, III, 304.

Душевно бы хотел прожить сколько можно доле в Одессе и даже не выезжать за границу вовсе. Мне не хочется и на три месяца оставлять Россию. Ни за что б я не выехал из Москвы, которую так люблю. Да и вообще Россия все мне становится ближе и ближе; кроме свойства родины, есть в ней что-то еще выше родины, точно как бы это та земля, откуда ближе к родине небесной. Но, на беду, пребывание в ней вредоносно для моего здоровья. Не столько я хлопочу и грущу о здоровьи, сколько о том, что в это время бываю неспособен к работе. Обыкновенно работается у меня там, где находится ненатопленное тепло, где я могу утреннее утруждение головы развеять и рассеять послеобеденным пребыванием и прогулками на благорастворенном теплом воздухе; без того у меня голова на другой день не свежа и не годится к делу.

Гоголь – А. С. Стурдзе, 15 сент. 1850 г., из Васильевки. Письма, IV, 352.

У Цуревской дочь выходила замуж. Мы и брат ездили на свадьбу. Там брат поскучал, хотел раньше уехать, но его упросили остаться поужинать. После ужина брат сказал мне: «Поедем домой». А прочие еще осталися. Итак, мы вдвоем приехали домой; он заставил меня играть малороссийские песни, в особенности ему нравилось «Ой, на двори метелиця». При этом топал ногой и напевал; и прочие песни играла, тоже напевал. Потом наши приехали, тогда разошлись спать. Брат заметил, что я не люблю подарки; как видно, ему хотелось что-нибудь дать мне, поэтому давал мне прятать клеенчатую тальму, говорил: «Можешь надевать от дождя», – и складной аршин. Потом дает часы и говорит: «Спрячь, это память Пушкина. На таком часе и минуте остановились, когда его не стало». Я для того старалась ему показать, что не люблю подарков, чтобы он видел, что я не из интереса была расположена к нему.

Когда поспел терн, я сказала брату: «Какая великолепная наливка из терну!» – «Как бы сделать?» – «Налить можно, но не скоро поспеет». – «Так сделаем скороспелку». Велел принести новый горшок, положил полный горшок терна, потом налил водку, накрыл ее, замазал тестом, велел поставить в печь, в такую, как хлеб сажают. На другой день вынули, поставили, пока простыло. Вечером открыли; цвет великолепный, и на вкус ему очень понравилось. Он поналивал в бутылки и с собой взял. А в сентябре он уехал.

О. В. Гоголь-Головня, 48.

Когда Гоголь ехал зимовать в Одессу, один из моих знакомых, А. В. Маркович, встретил его у В. А. Лукашевича, в селе Мехедовке, Золотоношского уезда. Это было в октябре 1850 года. Вот что замечено Марковичем достойного памяти из тогдашних разговоров Гоголя:

Когда в гостиную внесли узоры для шитья по канве, он сказал, что наши старинные женщины оставили в работах своих образцы изящества и свободного творчества и шили без узоров; а нынешние не удивят потомство, которое, пожалуй, назовет их бестолковыми.

О святых местах он не сказал своего ничего, а только заметил, что Пужула, Ламартин и подобные им лирические писатели не дают понятия о стране, а только о своих чувствах и что с Палестиной дельнее знакомят ученые прошлого века, сенсуалисты, из которых он и назвал двух или трех.

Осматривал разные хозяйственные заведения, и, когда легавая собака погналась за овцами и произвела между ними суматоху, он заметил, что так делают и многие добрые люди, если их не выводят на их истинное поле деятельности.

Кто-то наступил на лапку болонке, и она сильно завизжала. «А, не хорошо быть малым!» – сказал Гоголь.

По поводу разносчика, забросавшего комнату товарами, он сказал: «Так и мы накупили всякой всячины у Европы, а теперь не знаем, куда девать».

За столом судил о винах с большими подробностями, хотя не обнаруживал никакого пристрастия к ним.

П. А. Кулиш, II, 241.

XIV

Одесса

С большим трудом добрался я, или, лучше сказать, доплыл, до Одессы. Проливной дождь сопровождал меня всю дорогу. Дорога невыносимая. Ровно неделю я тащился, придерживая одной рукой разбухнувшие дверцы коляски, а другой расстегиваемый ветром плащ. Климат здешний, как я вижу, суров и с непривычки кажется суровей московского. Я же, в уверенности, что еду в жаркий климат, оставил свою шубу в Москве; но, положим, от внешнего холода можно защититься, – как защититься от того же в здешних продувных домах? Боюсь этого потому, что это имеет большое влияние на мои занятия.

Гоголь – матери, 28 окт. 1850 г., из Одессы. Письма, IV, 355.

Гоголь приехал в Одессу в конце октября. Он жаловался на ужасно дурную дорогу, какую нашел под Одессой. По его выражению, его коляска почти тонула в грязи и в воде.

Н. Н. (Н. В. Неводчиков). Библ. Записки, 1859. № 9, 267.

Гоголь приехал в Одессу 1850 г. октября 24. Обедал. Очень красноречиво рассказывал о Константинополе, – как массы зелени, перемешанные с строениями, возвышаются на горе. Четыре дерева платановых необыкновенной толщины. Что могло их спасти? Не религиозная ли какая мысль? На Востоке оливковые деревья так почитаются, что во время войны все истребляется, а их оставляют.

26. Обедал.

28. Обедал и читал о Б. в «Одесском Вестнике» сладкозвучным голосом и с протягиванием чисто русским, не искаженным иностранным выговором: «просты, строги, принужденно, принужденность», Ателло, ролями.

Неизвестная (пожилая девица, по имени Екатерина Александровна, восторженная почитательница Гоголя; жила в Одессе у кн. Репниных). Дневник. Рус. Арх., 1902, I, 543.

Может быть, придется остаться в Одессе всю зиму. Хоть и страшат меня здешние ветра, которые, говорят, зимой невыносимо суровы; но сила моря была так полезна моим нервам! Авось-либо и Черное море хоть сколько-нибудь будет похоже на Средиземное.

Гоголь – А. О. Смирновой, 26 окт. 1850 г., из Одессы. Письма, IV, 354.

В Одессе, где Гоголь прожил довольно времени, он почти ежедневно бывал у моего брата (*кн. В. Н. Репнина*), который отвел ему особенную комнату с высокой конторкой, чтобы ему можно было писать стоя; а жил он не знаю где. У моего брата жили молодые люди малороссияне, занимавшиеся воспитанием его младших сыновей. Жена моего брата была хорошая музыкантша; Гоголь просил ее аккомпанировать хору всей этой молодежи на фортепиано, и они под руководством Гоголя пели украинские песни. К матери моей (мы жили в другом доме) он приходил довольно часто, был к ней очень почтителен, всегда целовал ей руку. Он рекомендовал ей проповеди какого-то епископа Иакова и однажды, застав Глафиру Ивановну, которая читала вслух матери моей «Мертвые души», он сказал: «Какую чертовщину вы читаете, да еще в

великий пост!» У матери моей была домовая церковь. Гоголь приходил к обедне, становился в угол за печкой и молился, «как мужичок», по выражению одного молодого слуги, т. е. клал земные поклоны и стоял благоговейно.

Кн. В. Н. Репнина. О Гоголе. Рус. Арх., 1890, III, 229.

Еще за год до кончины, когда он страшно состарился душевно, достаточно было ему услышать звуки родных украинских мелодий, чтобы все в нем встрепенулось и ярко вспыхнула едва тлеющая искра воодушевления. Кн. Репнина рассказывала нам, как Гоголь во время своей жизни в Одессе в доме ее отца приобрел себе этим поэтическим энтузиазмом общую любовь, не исключая даже прислуги и дворни, которая восхищалась, во-первых, тем, что «сочинитель» молится совсем как простой человек, кладет земные поклоны и, вставая, сильно встряхивает волосами, и во-вторых, что он любит петь и слушать простые песни.

В. И. Шенрок со слов кн. В. Н. Репниной. Материалы, II. 51.

Силы еще не слабеют, несмотря на слабость здоровья; работа идет с прежним постоянством, и хоть еще не кончена, но уже близка к окончанию.

Гоголь – В. А. Жуковскому, в октябре – ноябре 1850 г., из Одессы. Письма, IV, 292.

Живу я в Одессе, покуда, слава богу. Общество у меня весьма приятное: добрейший Стурдза, с которым вижусь довольно часто, семейство кн. Репниных, тебе тоже знакомое. Из здешних профессоров Павловский, преподаватель богословия и философии, Михневич, Мурзакевич, потом несколько добрых товарищей еще по нежинскому лицею. Словом, со стороны приятного препровождения грех пожаловаться. Дай бог только, чтобы не подгадило здоровье. Поместился я тоже таким образом, что мне покойно и никто не может мне мешать, в доме родственника моего (*А. А. Трощинского*), которого, впрочем, самого в Одессе нет, так что мне даже очень просторно и подчас весьма пустынно.

Гоголь – С. П. Шевыреву, 7 ноября 1850 г., из Одессы. Письма, IV, 357.

На Гоголя имел большое влияние протоиерей Павловский, почтенный и добрейший священник, когда Гоголь жил у Репниных в Одессе.

А. О. Смирнова. Автобиография, 306.

18 ноября. – Нахожу, что Гоголь стал лучше выговаривать. Впрочем, он все стихи читал. Обедал Ильин. Долго хвалил «Тяжбу» Тургенева, а потом кончил тем, что «конечно, без «Ревизора» эта пьеса не существовала бы». Гоголь сказал: «Нельзя кому-нибудь ее прочесть?» Княгиня (*Е. П. Репнина, урожд. Балабина*) подхватила: «Да вы сами». Князь – туда же, Ильин тоже, я сперва потихоньку княгине, потом вслух: «Слишком много чести Тургеневу!» Гоголь на князевы слова было сказал: «Почему ж?» Но потом отклонил: «Ведь я ленив; я бы лучше послушал!»

21. – Он был. Опять княгиня хотела было принести книжку с Тургеневым, чтоб он читал вслух. «Зачем! Зачем!» – по-моему, с явным видом опасения.

23. – Вопрос сделал князю и мне: «Кому честолюбие более свойственно, мужчине или женщине?» Князь: «Женщине». Я: «Женщине». Гоголь: «Почему бы это так?» Я: «Да с женщины оковы сняли». Гоголь: «Так они и стали оковы накладывать». Я: «Вы нам теперь разрешите этот вопрос». Гоголь: «Я оттого и спрашивал, что сам в недоумении».

26 ноября. – Княгиня: «Многие господа думать не могут, не куря сигар». Гоголь: «Почему бы это так?» Бодров: «Очень естественно: дым причиняет раздражение в мозгу». Княгиня: «Все же не сам человек достигает до мыслей». Гоголь: «Да, это унизительно для человека! Ночью – мечты. Поутру – мысли. После обеда – грезы». Княгиня Долгорукова к нему писала, что рада всегда видеть его; звала к себе на вечер, говоря, что у нее будет прекрасный пол, а он так чувствует красоту, и что ей хотелось бы представить славу России и своим и иностранцам. Ответ был (в чем я упрекнула), что «по слабости здоровья» и т. д. Я: «Какая хитрая! Это, чтоб завладеть автографом». Гоголь: «Нельзя же было: дама пишет. Я у нее был с визитом». Я: «Вам надобно поучиться быть невежливым». Гоголь: «Не могу! А бывало я так, не останавливаясь, был неучтив». Намедни он сказал: «Человек со временем будет тем, чем смолоду был».

30. – Княгиня говорила о «Фритиофе» Тегнера. Гоголь и не слыхал никогда о нем. Грот перевел с шведского. Княгиня восхищается этою поэмою. Гоголь: «Да в чем дело?» Княгиня: «Молодой человек любит одну девушку». Гоголь: «Так дело обыкновенное!» (Я бы желала, чтобы у меня навек в ушах остались звук его голоса и полный выговор всех слогов.) Княгиня: «Да, но советы, которые дают ему родители, очень хороши». – Гоголь: «Но лица в ней каковы? Есть ли барельефность?» Княгиня: «Как же, много замечательного». Гоголь: «Да что же, мысли ли автора или сами лица?» Гоголь: «Француз играет, немец читает, англичанин живет, а русский обезьянствует. Много собачьей старости».

При Ильине он много толковал о том, как пишут: иной пишет то, что с тем или с другим случалось, что его поразило. Можно было заключить из его слов, что есть люди, которые творят.

Неизвестная. Дневник. Рус. Арх., 1902, I, 544.

Пишу из Одессы, куда убежал от суровости зимы. Последняя зима, проведенная мною в Москве, далась мне знать сильно. Думал было, что укрепился и запасся здоровьем на юге надолго, но не тут-то было. Зима третьего года кое-как перекочкалась, но прошлого – едва-едва вынеслась. Не столько были для меня несносны самые недуги, сколько то, что время во время их пропало даром, а время мне дорого. Работа – моя жизнь; не работается – не живется, хотя покуда это и не видно другим. Отныне хочу устроиться так, чтобы три зимние месяца в году проводить вне России, под самым благораствореннейшим климатом, имеющим свойство весны и осени в зимнее время, т. е. свойство благотворное моей голове во время работы. Я испытал, что дело идет у меня как следует только тогда, когда все утруждение, нанесенное голове поутру, развеется в остальное время дня прогулкой и добрым движением на благорастворенном воздухе, а здесь в прошлом году мне нельзя было даже выходить из комнаты. Если это не делается, голова на другой день тяжела, неспособна к работе, и никакие движения в комнате, сколько их ни выдумывал, не могут помочь. Слабая натура моя так уже устроилась, что чувствует жизненность только там, где тепло не-натопленное. Следовало бы и теперь выехать хоть в Грецию: затем, признаюсь, и приехал в Одессу. Но такая одолела лень, так стало жалко разлучаться и на короткое время с православной Русью, что решился остаться здесь, понадеясь на русский авось, т. е. авось-либо русская зима в Одессе будет сколько-нибудь милостивей московской. Разумеется, при этом случае стало представляться, что и вонь, накуренная последними политическими событиями в Европе, еще не совершенно прошла, – и просьба о паспорте, которую хотел было отправить к тебе, осталась у меня в портфеле.

Гоголь – П. А. Плетневу, 2 дек. 1850 г., из Одессы. Письма, IV, 359.

Гоголь прилежно занимается греческою библией и, спасибо ему, – частит к нам.

А. С. Стурдза – Н. В. Неводчикову, из Одессы, в конце 1850 г. Библ. Записки, 1859, № 9, 267.

Мне рассказывал М. М. Дитерихс, что он ребенком пришел с родителями обедать к Л. С. Пушкину и увидел сидящего в зале незнакомого человека с такой страшной, изможденной физиономией, что испугался и расплакался. Это был Гоголь.

А. И. Маркевич. Гоголь в Одессе. Одесса, 1902. Стр. 28.

В бытность в Одессе Гоголя проживал в ней младший брат Пушкина Лев Сергеевич. У него собиралось лучшее одесское общество. Бывал у него и Гоголь. В доме Л. С. Пушкина, жившего на углу Греческой и Преображенской ул., зимою 1850–1851 г. имел случай познакомиться с Гоголем студент ришельевского лицея А. Л. Деменитру. По его рассказу, худой, бледный, с длинным, выдающимся и острым, словно птичьим, носом, Гоголь своею оригинальною наружностью, эксцентрическими манерами произвел на студента весьма странное впечатление какого-то «буки». Все окружающие оказывали Гоголю знаки величайшего внимания, но его это стесняло и коробило, и он относился небрежно к этим проявлениям уважения своих поклонников. Он был вял, угрюм, сосредоточен; говорил очень мало. За обедом его всячески старались растормошить, – что называется, «разговорить», заводя речь о предметах, которые, казалось, могли его заинтересовать, но он был по-прежнему молчалив и угрюм. Одна дама обратилась к нему с каким-то вопросом, но уткнувшийся в свою тарелку Гоголь ничего не ответил, как будто и не расслышал вопроса (а может быть, и в самом деле не расслышал). Его оставили в покое и заговорили о местных одесских делах и делишках. Кто-то произнес фамилию негоцианта-грека Родоканаки. При этом слове Гоголь на мгновение встрепенулся и спросил студента Деменитру, сидевшего рядом с ним: «Это что такое? Фамилия такая?» – «Да, – подтвердил Деменитру: – это фамилия». – «Ну, это бог знает что, а не фамилия, – сказал Гоголь. – Этак только обругать человека можно: ах ты, ррродоканака ты этакая!..» Все рассмеялись, а Гоголь опять погрузился в свои мысли. Обед кончился. Хозяева и гости перешли в гостиную. Зашел разговор о Лермонтове. Лев Сергеевич достал и показал гостям перчатку Лермонтова, снятую с его руки после дуэли с Мартыновым. Все с любопытством поглядели на эту реликвию, но Гоголь не обратил на нее ни малейшего внимания и, казалось, не слушал и рассказа хозяина дома о Лермонтове, которого Лев Сергеевич близко знавал.

Жил Гоголь за Сабанеевым мостом, на Надеждинской улице, в доме А. А. Трощинского, в находившемся во дворе отдельном флигеле, и занимал во втором этаже две небольшие комнатки. Бывая у его соседей, Деменитру иногда слышал несшиеся из комнат Гоголя вздохи и шепот молитвы: «господи помилуй! господи помилуй!»

Зачитывавшиеся произведениями Гоголя студенты ришельевского лицея с благоговением, смешанным с удивлением и любопытством, оглядывали на улице странно одетого, с сумрачным и скорбным, бледным лицом Гоголя. Те, что были посмелее, даже следовали за ним, – правда, в довольно значительном отдалении. Это раздражало

Гоголя, и, завидя студентов, шедших ему навстречу, он иной раз бегством в первые попавшиеся ворота спасался от тяготившего его внимания молодежи.

Н. О. Лернер со слов А. Л. Деменитру. Рус. Стар., 1901, ноябрь, 324.

О себе скажу, что бог хранит, дает силу работать и трудиться. Утро постоянно проходит в занятиях, не тороплюсь и осматриваюсь. Художественное создание и в слове то же, что и в живописи, то же, что картина. Нужно то отходить, то вновь подходить к ней, смотреть ежеминутно, не выдается ли что-нибудь резкое и не нарушается ли нестройным криком всеобщего согласия. Зима здесь в этом году особенно благоприятна. Временами солнце глянет так радостно, так по-южному! Так вдруг и напомнится кусочек Ниццы.

Гоголь – А. О. Смирновой, 23 дек. 1850 г. Письма, IV, 366.

29 дек. 1850 г. – Он обедал здесь. Он спросил (сидел подле меня, а потом, встряхнув немного волосами, взглянул и на меня): «Какая мысль доставляет более всего спокойствия?» Я молчала, княгиня запнулась. Он продолжал: «За все с нами случающееся благодарить бога. Странно, что мы, не делая этого, доказываем, что мало надеемся на того, кто лучше всех все знает, – на бога». Вчера мы обедали с ним у княгини-матери. Поздравляя, он руки у меня поцеловал. Он был очень весел; говорил, что этот праздник здесь, в Одессе, напоминает светлое Христово воскресение: народ на улице, все нараспашку. За обедом подле него сидела... О том, что я ему сказала: «Мудрено воспитание». – «Нет, не мудрено. Сделали мудреным. Стоит отцу и матери сидеть дома и чтоб ребенок рано почувствовал, что он член общества. А читать надобно, и читать можно: книги – подспорье хорошее для всех, хорошо и для детей».

1 янв. 1851 г. – Обедали у старой княгини Репниной. «Любимый мой святой – Василий Великий» (он же помнит об уединении его). «О вере как рельефно он написал, о такой неосязаемой вещи».

Неизвестная. Дневник. Рус. Арх., 1902, I, 545, 546.

В 1851 г. я состоял в числе актеров русской одесской труппы. В начале января мне встретилась надобность повидаться с членом дирекции театра А. И. Соколовым. Дома я его не застал. Дай, думаю, побываю у Оттона (*известный в то время ресторатор в Одессе*), не найду ли его там?.. Действительно, Соколов оказался у Оттона. Кончив немногосложное дело, по которому мне надо было видеться с Соколовым, я полюбопытствовал узнать, по какой это причине он так

поздно обедает (был час восьмой вечера). «Вы, сколько мне известно, Александр Иванович, враг поздних обедов… Неужели вы заседаете здесь с двух часов?» – «Именно так, – заседаю с двух часов!.. Что вы смеетесь? Здесь, батюшка, Гоголь!.. Вот что! Он здесь, в ресторане… По некоторым дням он здесь обедает и, по своей привычке, приходит поздно – часу в пятом-шестом… Ну, а у меня своя привычка, я так долго ждать не могу обеда, – вот я пообедаю в свое время и сижу, жду; начнут «наши» подходить понемногу, а там и Николай Васильевич приходит, садится обедать – и мы составляем ему компанию… Вот почему я здесь и заседаю с двух часов… Хотите, пойдемте, я представлю вас ему… Он хотя не любит новых лиц, но вы человек «маленький», авось он при вас не будет ежиться… Пойдем!» Мы пошли в другую комнату, которая из общей, ради Гоголя, превратилась в отдельную и отворялась только для его знакомых. Робко, с бьющимся сердцем, переступал я порог заветной комнаты. При входе я увидел сидящего за столом, прямо против дверей, худощавого человека… Острый нос, небольшие проницательные глаза, длинные, прямые, темно-каштановые волосы, причесанные a la мужик, небольшие усы… Вот что я успел заметить в наружности этого человека, когда при скрипе затворяемой двери он вопросительно взглянул на нее. Человек этот был Гоголь. Соколов представил меня. «А! Добро пожаловать, – сказал Гоголь, вставая и с радушной улыбкой протягивая мне руки. – Милости просим в нашу беседу… Садитесь здесь, возле меня, – добавил он, отодвигая и с радушной улыбкой протягивая мне свой стул и давая мне место. Я сел, робость моя пропала. Гоголь, с которого я глаз не спускал, занялся исключительно мной. Расспрашивая меня о том, давно ли я на сцене, сколько мне лет, когда я из Петербурга, он, между прочим, задал мне также вопрос: «А любите ли вы искусство?» – «Если бы я не любил искусства, то пошел бы по другой дороге. Да во всяком случае, Николай Васильевич, если бы я даже и не любил искусства, то, наверное, вам в этом не признался бы». – «Чистосердечно сказано! – сказал, смеясь, Гоголь. – Но хорошо вы делаете, что любите искусство, служа ему. Оно только тому и дается, кто любит его. Искусство требует всего человека. Живописец, музыкант, писатель, актер должны вполне безраздельно отдаваться искусству, чтобы значить в нем что-нибудь… Поверьте, гораздо благороднее быть дельным ремесленником, чем лезть в артисты, не любя искусства». Слова эти, несмотря на то, что в них не было ничего нового, произвели на меня сильное впечатление: так просто, задушевно, тепло они были сказаны. Не было в тоне Гоголя ни докторальности, ни напускной важности. Видя в руках моих бумагу, Гоголь спросил: «Что это? Не роль ли какая?» – «Нет, это афиша моего бенефиса, которую я принес для подписи Александру Ивановичу». – «Покажите, пожалуйста». Я подал ему афишу, которая, по примеру всех бенефисных афиш, как провинциальных, так и столичных, была довольна великонька. «Гм! а не долго ли продолжится спектакль? Афиша-то что-то больно велика», –

заметил Гоголь, прочитав внимательно афишу. «Нет, пьесы небольшие; только, ради обычая и вкуса большинства публики, афиша, как говорится, расписана». – «Однако все, что в ней обозначено, действительно будет?» – «Само собой разумеется». – «То-то! Вообще, не прибегайте ни к каким пуфам, чтоб обратить на себя внимание. Оно дурно и вообще в каждом человеке, а в артисте шарлатанство просто неприлично… Давно я не бывал в театре, а на ваш праздник приду». Разговор сделался общим; Гоголь был, как говорится, в ударе. Два-три анекдота, рассказанные им, заставили всю компанию хохотать чуть не до слез. Каждое слово, вставляемое им в рассказы других, было метко и веско… Между прочим, услыхав сказанную кем-то французскую фразу, он заметил: «Вот я никак не мог насобачиться по-французски!» – «Как это – насобачиться?» – спросили, смеясь, собеседники. – «Да так, насобачиться… Другим языкам можно учиться, изучать их… и познакомиться с ними… а чтобы говорить по-французски, непременно надо насобачиться этому языку». Разошлись по домам часов в девять. Такова была моя первая встреча с Гоголем. Я с трудом мог прийти в себя от изумления: так два часа, проведенные в обществе Гоголя, противоречили тому, что мне до тех пор приходилось слышать о Гоголе, как о члене общества. Все слышанное мною про него в Москве и Петербурге так противоречило виденному мною в этот вечер, что на первое время удивление взяло верх над всеми другими впечатлениями. Я столько слышал рассказов про нелюдимость, замкнутость Гоголя, про его эксцентрические выходки в аристократических салонах обеих столиц; так жив еще был в моей памяти рассказ, слышанный мною два года назад в Москве о том, как приглашенный в один аристократический московский дом Гоголь, заметя, что все присутствующие собрались, собственно, затем, чтоб посмотреть и послушать его, улегся с ногами на диван и проспал, или притворился спящим, почти весь вечер, – что в голове моей с трудом переваривалась мысль о том, чтоб Гоголь, с которым я только расстался, которого видел сам, был тот же человек, о котором я составил такое странное понятие по рассказам о нем… Сколько одушевления, простоты, общительности, заразительной веселости оказалось в этом неприступно хоронящемся в самом себе человеке! Неужели, думал я, это один и тот же человек, – засыпающий в аристократической гостиной, и сыплющий рассказами и заметками, полными юмора и веселости, и сам от души смеющийся каждому рассказу смехотворного свойства, в кругу людей, нисколько не участвующих и не имеющих ни малейшей надежды когда-нибудь участвовать в судьбах России?

А. П. Толченов. Гоголь в Одессе. Из прошлого Одессы. Сборник, сост. Л. М. де-Рибасом. Одесса. 1894. Стр. 104–109.

6 января. – После обеда прихожу и нахожу Гоголя у кушетки; княгиня лежала, и подле за столом Аркадий с журналом. Он до того постарался отыскать об Аристофане. Гоголь попробовал было читать, но нашел слог тяжелым. Этот мальчишка в ответ: «И мне тоже казалось вначале, но потом понравилось». Гоголь, переставая читать: «Да он (*т. е. автор, Ордынский*) не об искусстве Аристофана говорит, а желает из его сочинений узнать быт его времени, – прибавил: – Нет, я лучше почитаю вам комедию Мольера «Агнесу» («Школу женщин»), которую начал; мне нужно ее кончить; меня просили в театральной дирекции, а дома никак не соберусь; вы меня одолжите». Но запальчивый мальчишка схватил Аристофана и своим гнусливым грубым голосом начал наваривать. Наконец, унялся, и Гоголь начал. Князь увез заносчивого мальчишку в театр, и мы остались втроем. Гоголь так вошел в роль отвергнутого старика, так превосходно выразил горько-безнадежные страсти, что все смешное в старике исчезло: отзывалась одна несчастная страсть, так что последний ответ Агнесы кажется неуместным. Немного великодушия, с чем и Гоголь согласился. Гоголь был вне себя. Лицо его сделалось, как у испуганной орлицы. Он долго был под влиянием страстных дум, может быть, разбуженных воспоминаний.

Неизвестная. Дневник. Рус. Арх., 1902, I, 547.

В первый раз я увидел Гоголя января 9-го 1851 года, у одного старого его знакомого, А. И. Орлая. Хозяин представил меня Гоголю в своем кабинете, где он просидел целый вечер. Разговор был между тремя или четырьмя лицами общий – о разных предметах, не касавшихся литературы. Меня собственно, как уроженца и жителя Екатеринославской губернии, Гоголь расспрашивал о Екатеринославе, о каменном угле в нашей губернии, о Святогорском монастыре на меловых горах, в котором я был; узнав же о намерении моем побывать за границею, сделал несколько замечаний о плане и удобствах заграничного путешествия.

Через день я сделал визит Гоголю в квартире его, в доме Трощинского. Это было около двух часов дня. Он стоял у конторки и, когда я вошел, встретил меня приветливо. Я представил ему экземпляр моего сочинения: «Столетие русской словесности», сказав, что для меня очень лестно, если книга моя будет находиться в его библиотеке. Он благодарил меня пожатием руки и потом спросил: «Вы, кажется, еще что-то издали в Одессе?» Я ответил, что напечатал «Памятную записку» о жизни моего отца в небольшом количестве экземпляров, собственно для родных и друзей, и просил его принять от меня экземпляр, так как, по сочувствию его к человечеству, он сродни и лучший друг каждому человеку. Он благодарил меня и сказал: «Я описываю жизнь людскую, поэтому меня всегда интересует живой человек более, чем созданный

чьим-нибудь воображением, и оттого мне любопытнее всяких романов и повестей биографии или записки действительно жившего человека». Разговор перешел к жизни в Одессе, к итальянской опере. Гоголь стал рассказывать об итальянских театрах, об Италии, жаловался на ветер с моря и что он не может довольно согреться. Наконец я раскланялся. Он просил посещать его, примолвив: «Я буду рассказывать вам про Италию прежде, чем вы ее сами увидите». Через несколько дней Гоголь заплатил мне визит в квартире моей, в гостинице Каруты, на бульваре. Он вошел в залу, не будучи встречен слугою, и начал ходить взад и вперед в ожидании, что кто-нибудь появится. Слыша его шаги и полагая, что это кто-нибудь из домашних, его окликнули из гостиной вопросом: «Кто там?» – на который он отвечал громко: «Николай Гоголь». Посидев немного, он сделал замечание, что в комнате тепло, несмотря на то, что окнами на море. Разговор незаметно склонился к Италии. Гоголь, между прочим, рассказывая об уменьи англичан путешествовать, хвалил дорожный костюм англичанок, отличающийся простотой, при всем удобстве.

Н. Д. Мизко. История знакомства с Гоголем. П. Кулиш, II, 245.

До окончания бенефиса я не имел возможности, за хлопотами, видеть Гоголя, но он сдержал слово и был в театре в день моего бенефиса (9 янв. 1851 г.) в ложе директора Соколова и, по словам лиц, бывших вместе с ним, высидел весь спектакль с удовольствием и был очень весел.

А. П. Толченов. Гоголь в Одессе. Из прошлого Одессы, 109.

14 янв. – С Гоголем был озноб в продолжение двух дней. Дитрихс сказал ему, что до этого не надо допускать, что это предшествие удара. – Как-то Гоголь говорил о семействе Капниста: воспитывались дома и более из разговоров отца учились всему. Еще раз он говорил: «Еще не догадались, что нет добра в том, чтоб слишком занимать детей».

19 янв. – Гоголь: «А что вышло на поверку? Они все пили и ели в 1848 году во Франции». Я: «Да, а как все унеслись тогда надеждами!» Гоголь: «Да, вообразили, что никто выше не будет, что великие люди не нужны». Гоголь: «А вы очень воспламенялись?» Я: «О, чрезвычайно! Как жаль было расставаться с надеждами на улучшение, да и теперь еще меня эти надежды не покидают». Гоголь: «И меня нет. Но откуда же это придет? Не от людей же?» Я: «Откуда же?» Гоголь: «От милосердия». Но не сказал какого… Гоголь: «Не одни женщины увлеклись, но и умные, пламенные люди».

20-го. – Читал «Одиссею». Я не узнала первой главы: так прекрасна она мне показалась, пройдя через его голос, язык, душу и физиономию. Он не делал жестов, но подо мною диван дрожал, на котором он сидел

подле меня. Гоголь: «Какая верность в описаниях Гомера; и теперь проезжаешь по этим местам и узнаешь их. И как рельефно все описано! Ведь вот мы прочли («Газ. Петерб.») описание Лиссабона: все разбросано, и ничего не остается в голове». – Гоголь: «Русский, если что знает, то делается, педантом».

21 янв. – Гоголь: «Я прежде любил краски, когда очень молод был». Я: «Да, вы могли быть живописцем. А прежде что любили?» Гоголь: «А прежде, маленьким, еще карты». Я: «Это значит – деятельность духа». Гоголь: «Какая деятельность духа! Пол-России только и делает. Это – бездействие духа».

Неизвестная. Дневник. Рус. Арх., 1902, I, 548–550.

Здоровье мое несколько было опять поиспортилось. Весь декабрь, – т. е. покуда было тепло, – я чувствовал себя очень хорошо, но с началом генваря и с наступлением холодов опять пошли недуги. Впрочем, теперь, слава богу, они несколько угомонились.

Гоголь – матери, 20 янв. 1851 г., из Одессы. Письма, IV, 369.

22 янв. – Четыре дня сряду был Гоголь; обедал, исключая одного дня, в который был вечером (19-го, в день рождения княгини). Вчера он был сонный. Говорили об открытиях. Он бранил лампы. Я сказала: «А сколько нововведений на моей памяти! шоссе и дилижансы от Москвы до Петербурга, стеарин, дагерротип». – Гоголь: «И на что все это надобно? Лучше ли от этого люди? Нет, хуже!» Я: «Я рада была стеарину, чтоб не снимать со свечи, из лени». Он: «Да».

24 янв. – m-m Гойер выехала с вопросом: «Скоро ли выйдет окончание «Мертвых душ»?» Гоголь: «Я думаю, – через год». Она: «Так они не сожжены?» Он: «Да-а-а... Ведь это только нача-а-ло было...» Он был сонный в этот день от русского обеда. Читал нам проповедь Филарета на Сергиев день на стих: «Ищите царствия божия». Как мило, радушно и простодушно он все пояснял! То на княгиню, то на меня посмотрит своими живыми, голубыми глазами и скажет: «Слушайте! У него можно учиться. Он на деле все испытал: он не то, что придумал. Кто больше его занят? И удивительно, когда только он время находит, чтобы писать». Филарет говорит о краже воскресных дней. Гоголь: «О, как это часто со мною случалось! А проку-то и не выходило; когда внутренно устроен человек, то у него все ладится. А внутренно чтоб устроенным быть, надобно искать царствия божия, и все прочее приложится вам». Гоголь читает всякий день главу из библии и евангелия на славянском, латинском, греческом и английском языках. Гоголь: «Как странно иногда слышать: «К стыду моему, должна признаться, что я не знаю

славянского языка». Зачем признаваться? Лучше ему выучиться: стоит две недели употребить».

Неизвестная. Дневник. Рус. Арх., 1902, I, 549, 551.

Я уже давно веду образ жизни регулярный или лучше – необходимый слабому моему здоровью. Занимаюсь только поутру; в одиннадцатом часу вечера – в постели. Стакан холодной воды и обливание вредит, производя во мне большую испарину.

Гоголь – П. А. Плетневу, 25 янв. 1851 г., из Одессы. Письма, IV, 370.

В январе 1851 г., проезжая через Одессу, я остановился у А. С. Стурдзы на три-четыре дня. В один из этих дней обедал у него Гоголь. Как теперь вижу его, смиренно сидящего за столом и говорящего об одной из книжек «Творений св. отцов» в русском переводе. «А вы что читаете?» – вдруг спросил он меня. «Второй том «Сказаний русского народа»». – «Славная книга, – заметил он: – там есть отдел особенно любопытный: народный дневник».

Н. Н. (Н. В. Неводчиков). Воспоминания о Гоголе. Библ. Записки, 1859, № 9, 268.

1 февраля. – На вопрос княгини: что делать, чтобы согласовать жизнь с долгом? что сделать, чтоб помешать коснуться душе мыслей со стороны? Гоголь сказал: «Я это вам дам все письменно». Ясно было, что княгиня подумала, что ей особенный будет ответ; но вышло, что он о сочинении своем говорил. Княгиня: «Отчего же не теперь?» Гоголь: «Как я могу теперь сказать? Я не проповедник! Не мое дело судить. Я мнение свое могу сказать, но, полное, обдуманное, только письменно. Оттого и писатель бывает, что не умеет хорошо на словах высказать свою мысль. Если бы я умел хорошо высказать свою мысль, кто бы велел мне писать?» Мы как-то одни остались. На прежде изреченную им брань на французов я сказала: «Я не могу не любить французов: французскими книгами вскормлена и вспоена. Все французское: и моды, и тон». Гоголь: «Да, правда, что Франция для нас – другая родина». Нынче мы одни говорили об англичанах. Гоголь: «Странно, как у них всякий человек особо и хорош, и образован, и благороден, а вся нация – подлец; а все потому, что родину свою они выше всего ставят».

3 февраля. – Гоголь: «Совсем другое дело творчество и импровизация: все то же, что смелый и пьяный. Когда бывает лихорадка, когда? Когда воплощается мысль? Нет, тогда спокойным чувством настроена душа». Возражения. «Это лихорадка бывала прежде. Это молодое чувство, когда напишешь что-нибудь пламенное. Если мысли писателя не обращены на важные предметы, то в них будет одна пустота. Надобно любовью

согреть сердца; творить без любви нельзя. Иногда бывает самодовольство: делаешь что-нибудь хорошо, доволен собою, а после увидишь, как недостаточно. Святые падали, гордясь тем, что благодать им сошла», и т. д.

Неизвестная. Дневник. Рус. Арх., 1902, I, 553, 554.

Вслед за моим бенефисом шел бенефис известной актрисы А. И. Шуберт; она выбрала для постановки «Школу женщин» Мольера. А. И. Соколов, зная, как трудно молодым актерам, воспитавшимся совершенно на иных началах, передавать так называемые классические произведения, просил Николая Васильевича прочесть пьесу актерам, чтоб дать им верный тон и тем облегчить для них не совсем легкую задачу, которая представляется актерам. Гоголь изъявил свое согласие и для чтения пьесы порешили собраться в квартиру режиссера А. Ф. Богданова, знакомого Гоголю еще в Москве. В назначенный день актеры и актрисы, участвовавшие в «Школе женщин», собрались у Богданова. Из не участвовавших актрис была приглашена только одна известная артистка П. И. Орлова, а из посторонних театру лиц – один Н. П. Ильин. Как прочих артистов, так и знакомых Николая Васильевича не пригласили, из опасения испугать Гоголя многолюдством. Часов в восемь вечера пришел Гоголь с Соколовым. Войдя в комнату и увидя столько незнакомых лиц, он заметно сконфузился; когда ему стали представлять всех присутствующих, то он совершенно растерялся, вертел в руках шляпу, комкал перчатки, неловко раскланивался и, нечаянно увидав меня, – человека, уже знакомого ему, – быстро подошел ко мне и как-то нервически стал жать мне руку, отчего я, в свою очередь, окончательно сконфузился. Впрочем, замешательство Гоголя продолжалось недолго. Как только кончилась скучная церемония взаимного представления, каждый стал продолжать прерванный разговор, поднялся общий говор, шум, смех, как будто между ними и не было великого человека... Заметив, что на него не смотрят, как на чудо-юдо, что, по-видимому, никто не собирается записывать его слов, движений. Гоголь совершенно успокоился, оживился, и пошла самая одушевленная беседа между ним, Л. С. Богдановой, П. И. Орловой, Соколовым, Ильиным и всяким, кто только находил, что сказать. Русские и малороссийские анекдоты, поговорки, прибаутки так и сыпались. После чаю все уселись вокруг стола, за которым сидел Гоголь; водворилась тишина, и Гоголь начал чтение «Школы женщин». По совести могу сказать, такого чтения я до сих пор не слыхивал. Поистине, Гоголь читал мастерски, но мастерство это было особого рода, не то, к которому привыкли мы, актеры. Чтение Гоголя резко отличалось от признаваемого в театре за образцовое отсутствием малейшей эффектности, малейшего намека на декламацию. Оно поражало своей простотой, безыскусственностью и хотя порою, особенно в больших

монологах, оно казалось монотонным и иногда оскорблялось резким ударением на цезуру стиха, но зато мысль, заключенная в речи, рельефно обозначалась в уме слушателя, и, по мере развития действия, лица комедии принимали плоть и кровь, делались лицами живыми, со всеми оттенками характеров. Впоследствии, на одном из вечеров у Оттона, Гоголь читал свою «Лакейскую», и лицо Дворецкого еще до сих пор передо мной, как живое. Перенять манеру чтения Гоголя, подражать ему – было бы невозможно, потому что все достоинство его чтения заключалось в удивительной верности тону и характеру того лица, речи которого он передавал, в поразительном уменья подхватывать и выражать жизненные, характерные черты роли, в искусстве оттенять одно лицо от другого. Чтение часто прерывалось замечаниями как со стороны Гоголя, так и со стороны слушателей, а между тем пять действий комедии были прочитаны незаметно. Вечер заключился ужином, составленным ради Гоголя почти исключительно из малороссийских блюд. Через несколько дней, когда уже роли у актеров из «Школы женщин» были тверды, Николая Васильевича пригласили в театр на репетицию, и, несмотря на свое обыкновение ранее четвертого часа из дому не выходить, он пришел на репетицию в десять часов. Кроме участвовавших в пьесе, на сцене никого не было. Гоголь внимательно выслушал всю пьесу и по окончании репетиции каждому из актеров, по очереди, отводя их в сторону, высказал несколько замечаний, требуя исключительно естественности, жизненной правды; но вообще одобрил всех играющих; госпожою Шуберт (Агнеса) он остался особенно доволен, но был серьезен, сосредоточен, ежился, кутался в шинель и жаловался на холод, который, как известно, действовал на него неблагоприятно. В день представления «Школы женщин», а также и в бенефис Богданова, в который шла «Лакейская», Гоголь, несмотря на свое обещание прийти в театр, однако, не был.

А. П. Толченов. Гоголь в Одессе. Из прошлого Одессы, 109–113.

9 февраля. – Гоголь говорил об одном англичанине, который дошел до духовной жизни не так, как другие, которые с молоком всасывают правила и убеждения и веру, заповеданную родителями, неприкосновенно сохраняют. Он, напротив, сомневался во всем и не знал, что избрать себе незыблемою опорою. Погруженный раз в такие думы, он увидел покойника, которого несли мимо. «Да вот, – он подумал, – самое верное! Вернее смерти ничего нет!» И с этой мыслью началось его обращение. Княгиня рассказала об одной девочке, которую заставили сохранять свято воскресенье у англичан. Когда ей говорили о боге, она отвечала: «Ах, нет! Слишком будет скучно!» Гоголь: «Странно требовать от детей больше того, чтобы они ходили в церковь». Княгиня: «Не лучше ли им бегать и резвиться по воскресеньям?» Гоголь: «Когда

от нас требуется, чтоб мы были, как дети, какое же мы имеем право от них требовать, чтоб они были, как мы?»

Неизвестная. Дневник. Рус. Арх., 1902, I, 555.

Кроме этих исключительных случаев, я бывал не менее двух раз в неделю в обществе Гоголя на сходках у Оттона, в той же маленькой комнате, в которой я увидел его впервые и куда Гоголь являлся обедать в известные, свободные от приглашений, дни, раза два-три в неделю. Гоголь приходил часов в пять, иногда позднее, приходил серьезным, рассеянным, особенно в дни относительно холодные, но встречали его обыкновенно так радушно, задушевно, что минут через пять хандра Гоголя проходила и он делался сообщителен и разговорчив. Постоянными собеседниками Гоголя у Оттона были: профессор Н. Н. Мурзакевич, М. А. Моршанский, А. Ф. Богданов, А. И. Соколов и Н. П. Ильин; иногда бывал еще кто-нибудь из общих знакомых, но редко. Я присутствовал в этом кружке в качестве юноши, подающего надежду.

С приходом Гоголя являлся самолично Оттон, массивный мужчина в белой поварской куртке, с симпатичным лицом. Появление его производило общий восторг, так как он являлся только в торжественных случаях. С подобающей важностью, с примесью добродушного юмора, Оттон вступал с Гоголем в переговоры касательно меню его обеда. Такое-то блюдо рекомендовал, такое-то подвергал сомнению, на том-то настаивал. Но увы! все его усилия склонить Гоголя к вкушению тончайших совершенств кулинарного искусства пропадали даром, и Гоголь составлял свой обед из простых, преимущественно мясных блюд. Оттон, тяжело вздохнув и пожимая плечами, удалялся для нужных распоряжений. Перед обедом Гоголь выпивал рюмку водки, во время обеда рюмку хереса, а так как собеседники его никогда не обедали без шампанского, то после обеда – бокал шампанского. По окончании Гоголем обеда вся компания группировалась, и Гоголь принимался варить жженку, которую варил каким-то особенным манером – на тарелках, и надо сознаться, жженка выходила превкусная, хотя сам Гоголь и мало ее пил, часто просиживал целый вечер с одной рюмкой. Тут-то, собственно, и начиналась беседа, веселая, одушевленная, беспритязательная. Анекдот следовал за анекдотом, рассказ за рассказом, острое слово за острым словом. Веселость Гоголя была заразительна, но всегда покойна, тиха, ровна и немногоречива. Все собеседники, как будто сговорясь, старались избегать всякого намека на предметы, разговор о которых мог бы смутить веселость Гоголя. Два раза было нарушено это правило. Однажды я рискнул спросить о мнении о современных русских литераторах, на что Гоголь отказался отвечать, ссылаясь на малое знакомство с современной литературой, отозвавшись, впрочем, с большой симпатией о Тургеневе. В другой раз

кто-то из присутствующих прямо и просто предложил ему вопрос: «Чему должно приписать появление в печати «Переписки с друзьями»?» – «Так было нужно, господа», – отвечал Гоголь, вдруг задумавшись и таким тоном, который делал неуместным дальнейшие вопросы. Иногда находили на него минуты задумчивости, рассеянности, но весьма редко, вообще же мне не привелось подметить в Гоголе, несмотря на частые встречи с ним во время его пребывания в Одессе, ни одной эксцентрической выходки, ничего такого, что подавляло бы, стесняло собеседника, в чем проглядывало бы сознание превосходства над окружающим; не замечалось в нем также ни малейшей тени самообожания, авторитетности. Постоянно он был прост, весел, общителен и совершенно одинаков со всеми в обращении. Новых лиц, новых знакомств он, действительно, как-то дичился. Бывало, когда в комнату, в которой он обедал со своими постоянными собеседниками, входило незнакомое ему лицо, Гоголь замолкал и круто обрывал разговор. Если же встреча вошедшему была официально вежлива, то Гоголь уходил в самого себя и решительно не говорил ни слова, пока появившийся господин не скрывался. Говорил охотно Гоголь про Италию, о театре, рассказывал анекдоты, большей частью малороссийские, слушал же с большим вниманием и всевозможные рассказы, особенно касавшиеся русской жизни; с заметным удовольствием ловил в рассказах характеристические черты разных сословий, с любопытством расспрашивал об особенностях одесской жизни и, если предмет его интересовал или был ему мало знаком, настойчиво добивался от рассказчика объяснения мельчайшей подробности; но сам старательно избегал разговоров о литературе и самом себе. Не позволял себе никаких выводов из приводимых фактов. Я лично при встречах с ним не заметил в нем ни проявления колоссальной гордости, ни самообожания; скорее в нем замечалась робость, неуверенность, какая-то нерешительность – как в суждениях о каком-нибудь предмете, так и в сношениях с людьми… Слабости к аристократическим знакомствам в это время в нем тоже не было заметно… Сколько мне случалось видеть, с людьми наименее значащими Гоголь сходился скорее, проще, был более самим собой, а с людьми, власть имеющими, застегивался на все пуговицы.

Жил Гоголь в Одессе, за Сабанеевым мостом, в доме Трощинского, где мне привелось быть у него один раз. Выходил он из дому, по его словам, не ранее четвертого часа и гулял до самого обеда. Из его же слов знаю, что он часто посещал семейства князей Репнина и Д. И. Гагарина.

Постоянный костюм Гоголя состоял из темно-коричневого сюртука с большими бархатными лацканами, жилета из темной с разводами материи и темных брюк; на шее красовался шарф с фантастическими узорами или просто обматывалась черная шелковая косынка, зашпиленная крест-накрест обыкновенной булавкой; иногда на галстук

выпускались отложные, от сорочки, остроугольные воротнички. Шинель коричневая, на легкой вате, с бархатным воротником. В морозные дни енотовая шуба. Шляпа – цилиндр с конусообразной тульей. Перчатки черные. Голос у Гоголя был мягкий, приятный; глаза проницательные.

А. П. Толченов. Гоголь в Одессе. Из прошлого Одессы, 114–124.

В кругу театральных Гоголь был еще раз у П. И. Орловой на вечере, устроенном ею нарочно для Николая Васильевича, выразившего однажды желание поесть русских блинов, которыми Прасковья Ивановна, как москвичка, и вызвалась его угостить. Гоголь с большим аппетитом ел блины, похваливал, смешил других и сам смеялся, нисколько не стесняясь присутствием некоторых совершенно ему незнакомых господ, внимательно вслушивался в их рассказы, расспрашивал сам об особенностях местной жизни и меня с любопытством допрашивал о житье-бытье одесских лицеистов, между которыми у меня было много знакомых. Вообще, к молодежи Гоголь относился с горячей симпатией, которая сказалась мне и в расспросах меня о моей собственной жизни, о моих наклонностях и стремлениях и в тех советах, которыми он меня подарил. На вечере у Орловой Гоголь оставался довольно поздно и все время был в отличном расположении духа.

А. П. Толченов. Из прошлого Одессы, 113–114.

Марта 3. – С тех пор прошла масленица, и первая, и вот вторая неделя, которая уже утекла… Княгиня было предложила читать Пушкина, но Гоголь не согласился и ради великого поста стал читать Филарета, «как все искали прикоснуться к Христу», что и нам возможно через причастие. В течение недели он был несколько раз. Обедал. Службу длинную у княгини смирно всю выстаивал. Он мило говорит о рассеянии во время молитв, как кто-то говорит в нас. В пятницу с воодушевлением прочел житие Пелагии. В голосе слышались красоты слога или мыслей того, что он читает. Как орел, встрепенулся, и хотя был с опущенными глазами, но блеск какой-то исшел из них, когда он прочел из Иеремии: «И аще изведеши честное от недостойного, яко уста мои будеши». Я: «Как хорошо!» Он взглянул на меня и повторил стих; в глазах оставался и теплился тот огонь, который возгорелся в первую минуту восторга. Когда бывало сказано: «диавол прииде», он говорил: «т. е. помышление». Потом говорил: «Этим душам так все ясно, что они натурально и диавола могут видеть. Такая чистота может у того быть, кто познал всю глубину мерзости».

5 марта. – Я как-то осмелилась сказать, почему бы ему не писать записок своих. Гоголь: «Я как-то писал, но, бывши болен, сжег. Будь я более

обыкновенный человек, я б оставил, а то бы это непременно выдали; а интересного ничего нет, ничего полезного, и кто бы издал, глупо бы сделал. Я от этого и сжег». Намедни с князем положительно сказал: «Все пройдет, словеса же мои» и проч.

6 марта. – Раз я прихожу и застаю, что он читает Иакова. «Итак, страшный суд будет, будет непременно!» Все те же его искры из глаз и встряхнутые волосы – и то же неизгладимое на меня впечатление.

Неизвестная. Дневник. Рус. Арх., 1902, I, 556.

Гоголь прибыл в Одессу, и, как нарочно, умеренная зима ласково встретила и покоила невзыскательного любителя тишины, нешумных бесед и уединенных кабинетных занятий. Сколько ни старались тогда заманить его в круг так. наз. большого света, он вежливо уклонялся, сколько мог, от самых лестных приглашений, довольствуясь прогулками и частым посещением весьма немногих, в том числе и меня. Истощался ли дружеским разговор. Гоголь охотно принимался за чтение вслух и читал, как говорил, т. е. с приятною важностью. Когда я бывал у него, он с удовольствием уверял меня, что умственная работа подвигается у него вперед и услаждает для него часы уединения. Даже в доме кн. Репнина отвели для Гоголя особую комнату, где он занимался делом, а потом выходил в гостиную и там отдыхал в дружественном собеседовании. Во все воскресные и праздничные дни можно было встретить Гоголя в церкви, в толпе молящихся. А во время великого поста Гоголь умел отторгаться без огласки от сообщества людей и посвящать по нескольку дней врачеванию души своей и богомыслию. Впрочем, сердце влекло его на родину, к родным, которым он обещал провести с ними пасху. Говоря со мною о скором отъезде своем в Малороссию, Гоголь с умилением приговаривал: «Да знаете ли, что после первых лет молодости моей я не имел счастия отпраздновать в родной семье светлое христово воскресение?» Тогда пришла нам из Германии весть, что Жуковский с семейством решительно собирается в обратный путь и непременно приедет в Москву летом. Эта надежда еще более ускорила отъезд Гоголя из Одессы; ему хотелось и погостить дорогою дома, и встретить Жуковского в Москве. Но время изменило дружбе нетерпеливой. Путешествие Жуковского было отложено.

А. С. Стурдза. Москвитянин, 1852, окт., № 20, кн. 2, стр. 227.

15 марта. – Третьего дня он стал говорить, что наконец бросят города и станут жить в деревнях, что бросят такие покойные мебели, которые купили для здоровья, и полюбят простоту. Если он будет себе делать мебели, то сделает их деревянные.

21 марта. – Гоголь: «Думают, что уединение что-нибудь сделает для настроения духа. Вот мне так никогда так много не случалось работать, как тогда, когда у меня был кабинет в биллиардной. Я работаю, а подле меня стукотня шарами. Избаловать себя немудрено». Намедни, когда мы остались одни с ним и князем, князь нас стал потчевать скандалезными анекдотами. Я ушла. Когда княгиня возвратилась, и я пришла. Гоголь: «А мы вас выгнали? Что это перед вами лежали за книги?» – «Каталог волокитств с рисунками». Стал против меня и дразнит.

18 марта. – У княгини старой всенощная и приятнейший вечер. Я перелистывала календарь, больше оттого, что князь опять начал скандальные истории. Гоголь: «Какое смирение и самоотвержение читать календарь!»

25 марта. – Гоголь читал о вере Василия Великого и сорока мучениках с таким убеждением, что кого заманит верить, веровать и любить. «В самом деле, – сказал он в ответ на мысль Василия Великого, – как сорок мучеников все вдруг помолятся, тогда хорошо будет». Как-то он говорил княгине: «Надеюсь, и вам будет полезно прочесть то, что я теперь пишу». – «А это что?» – «Грязный дворик, который должен привести к чистому дому».

27 марта. – Уехал. Вчера обедал и совсем простился. Благодарил князя и княгиню, обратился ко мне и сказал: «Благодарю вас, Екатерина Александровна!» Уезжая, поцеловал руку у меня. С балкона кланялись с ним. Потом, встретясь с кем-то рука с рукой, повернул за угол и скрылся. Настал вечер. Приехали гости. Пошли чай пить. Вдруг входит Гоголь. Я так и вскочила и с радостью к нему подошла. Нашла случай ему сказать, что я бога благодарю (и что не успела ему этого сказать), что его так часто видала и слушала его назидательные речи.

Неизвестная. Дневник. Рус. Арх., 1902, I, 558.

За несколько дней до отъезда Гоголя из Одессы, на второй или третьей неделе великого поста, постоянные собеседники Гоголя у Оттона давали ему также прощальный обед. День выдался солнечный, и Гоголь пришел веселый. Поздоровавшись со всеми, он заметил, что недостает одного из самых заметных, постоянных его собеседников – Ильина. «Где же Николай Петрович?» – спросил Гоголь у Соколова. «Да ночью ему что-то попритчилось... захворал... шибко хватило, и теперь лежит». Внезапная болезнь Ильина, видимо, произвела дурное впечатление на Николая Васильевича, и хотя он старался быть и любезным и разговорчивым, но это ему не удавалось. Рассеянность и задумчивость, в которые он часто погружался, сообщались и остальному обществу, и потому обед прошел довольно грустно. После обеда Гоголь предложил

пойти навестить Ильина. Все охотно согласились и отправились всей компанией. Ильина нашли уже выздоравливающим. Гоголь сказал ему несколько сочувственных слов и тут же хотел распрощаться со всеми нами; но мы единодушно выразили желание проводить его до дому. Вышли вместе. Гоголь был молчалив, задумчив и на половине дороги к дому, на Дерибасовской улице, снова стал прощаться… Никто не решил настаивать на дальнейших проводах. Гоголь на прощанье подтвердил данное прежде обещание на следующую зиму приехать в Одессу. «Здесь я могу дышать. Осенью поеду в Полтаву, а к зиме и сюда… Не могу переносить северных морозов… весь замерзаю и физически, и нравственно». Простился с каждым тепло, но и он, и каждый из нас, целуясь прощальным поцелуем, были как-то особенно грустны… Гоголь пошел, а мы, молча, стояли на месте и смотрели ему вслед, пока он не завернул за угол.

А. П. Толченов. Из прошлого Одессы, 124–125.

В 1851 году кружок от двадцати до тридцати человек близких знакомых и приятелей Гоголя давал ему дружеский обед в ресторане Маттео. В числе участвовавших находились Л. С. Пушкин (*брат поэта*), г. Ильин и Н. Г. Трощинский. Никаких посторонних лиц не было, никаких спичей не произносилось; шла только оживленная литературная беседа.

Одесский Вестник, 1869, № 67.

Ваши беспокойства и мысли о том, что я могу в чем-нибудь нуждаться, напрасны. Вы их гоните от себя подальше. Все зависит от экономии. Я просто стараюсь не заводить у себя ненужных вещей и сколько можно менее связываться какими-нибудь узами на земле: от этого будет легче и разлука с землей. Мы сейчас станем думать о всяких удовольствиях и веселостях, задремлем, забудем, что есть на земле страданья и несчастья; заплывет телом душа, – и бог будет забыт. Человек так способен оскотиниться, что даже страшно желать ему быть в безнуждии и довольствии. Лучше желать ему спасти свою душу. Это всего главней.

Вы мне ничего не пишете о хозяйстве и о том, какие начались работы. Прошу вас почаще выезжать смотреть самим посевы и все полевые работы. Как бы то ни было, бедные крестьяне в поте лица работают на нас, а мы, едя их хлеб, не хотим даже взглянуть на труды рук их. Это безбожно. Оттого и наказывает нас бог, насылая на нас голод, невзгоды и всякие болезни, лишая нас даже и скудных доходов.

Гоголь – матери, 3 апр. 1851 г. Письма, IV, 379.

XV

Последние годы

Во второй половине апреля Гоголь выехал из Одессы в Васильевку и приехал туда в конце апреля или в первых числах мая. Вскоре после того в Васильевку приехали гостить из Сорочинец супруги Данилевские.

А. И. Кирпичников. Хронолог. канва, 122.

Угрюмый в последние годы своей жизни, Гоголь мгновенно оживлялся, к нему возвращался веселый юмор молодости, и во всем доме наступал настоящий праздник каждый раз, когда в их деревню неожиданно приезжал А. С. Данилевский. Ничье появление не имело на него такого волшебного действия, никому не удавалось возбуждать в Гоголе такое отрадное настроение… Даже в последнее посещение Данилевским Гоголя в Васильевке, уже не более, как за полгода до смерти последнего, по поводу поданных на стол любимых Гоголем малороссийских вареников приятели затеяли шумный спор о том, от чего было бы тяжелее отказаться на всю жизнь, – от вареников или от наслаждения пением соловьев?

В. И. Шенрок со слов А. С. Данилевского. Шенрок. Материалы, I, 97.

Раз приезжал брата товарищ, с которым учился в Нежине, Данилевский и жена его; она была в почтенном состоянии; после обеда сели в карты играть: Данилевский, его жена, мать и Аннет, а брат, по обыкновению, отправился в Яворивщину. За картами жена Данилевского сказала: «Пора ехать, что-то нездоровится». Пока подали лошадей, а она – «Ой, ой, не могу!.. болит!». Пришлось оставаться у нас ночевать. Как у брата в флигеле одна комната лишняя, туда их пристроили. К вечеру посылали за бабой. Ночью меня будят, говорят, что Николай Васильевич зовет. Прихожу к брату, он в постели лежал и спрашивал, чего она стонет, не можешь ли ты ей помочь. Я сказала: «Уже есть баба». – «Так чего она так кричит?» – «Потому что она нетерпелива». Успокоила его, с тем ушла, а утром родился у них сын; вечером окрестили мать с братом, потом они переехали к Чернышу.

О. В. Гоголь-Головня, 47.

В 1851 году мы приехали гостить из Сорочинец в Васильевку. На другой день хотели уезжать, но Гоголь ни за что не хотел нас отпустить. В это время Ульяна Григорьевна (*жена Данилевского*) была на последнем месяце беременности. Мы уступили настоятельной просьбе Гоголя. Через несколько дней (10 мая) с Ульяной Григорьевной сделалось дурно. Ни 10-го, ни на следующий день нечего было и думать об отъезде. В ночь на 12-е она родила, и мы остались в Васильевке на шесть недель. До

шести недель Гоголь нас не выпускал, и мы жили у него во флигеле. В это время мы постоянно были вместе. Потом я уже, в свою очередь, удерживал его, когда он собирался уехать в Москву.

А. С. Данилевский по записи В. И. Шенрока. Материалы, IV, 837.

Однажды, когда Гоголь крестил вместе с матерью одного из сыновей Данилевского, названного в честь его Николаем (и вскоре умершего), то он показал себя весьма заботливым, предупредительным; но вдруг, когда он о чем-то очень захлопотался, к нему подходит в большом смущении Марья Ивановна и шепчет, показывая на нетрезвого и с трудом говорящего священника: «Николенька, можно ли допустить, чтобы священник совершал таинство в таком виде?» Гоголь, ласково смеясь, ответил на это: «Маменька, странно было бы требовать, чтобы священник был трезв в воскресенье. Надо это извинить ему». Однажды Марья Ивановна заметила, что ее дорогому гостю, за которым она, по обыкновению, сильно ухаживала, не совсем нравится кофе ее приготовления. Она попросила на другой день одну из дочерей приготовить кофе как можно старательнее и лучше, но видит, что и на этот раз сын неохотно пьет его. Тогда Марья Ивановна заметила: «Это сегодня для тебя Оленька сама приготовила...» (Ольга Васильевна даже сама на этот раз подавала кофе). – «Нет, маменька, – возразил Гоголь, – уж где заведется дурной кофе, так его ничем не выживешь».

В. И. Шенрок со слов А. С. Данилевского. Материалы, II, 152.

Твое письмо получил уже здесь, в деревне моей матушки... Что второй том «Мертвых душ» умнее первого, – это могу сказать как человек, имеющий вкус и притом умеющий смотреть на себя, как на чужого человека.

Гоголь – П. А. Плетневу, 6 мая 1851 г., из Полтавы. Письма, IV, 382.

Мне указали место, в углу дивана, где обыкновенно Гоголь сиживал, гостя на родине. В последнее пребывание его дома веселость уже оставила его; видно было, что он не был удовлетворен жизнью, хотя и стремился с нею примириться. Телесные недуги, происходившие, вероятно, не от одних физических причин, ослабили его энергию; а земная будущность, сократившаяся для него уже в небольшое число лет, не обещала исполнения его медленно осуществлявшихся планов. Он впадал в очевидное уныние и выражал свои мысли только коротким восклицанием: «И все вздор! И все пустяки!»

Гоголь не переставал заботиться о том, чтобы занять домашних полезною деятельностью и сохранить их от уныния. Одною из забот его о матери было возобновление тканья ковров, которым она в молодости

распоряжалась с особенным удовольствием. С неутомимым терпением рисовал он узоры для ковров и показывал, что придает величайшую важность этой отрасли хозяйства. С сестрами он беспрестанно толковал о том, что всего ближе касается деревенской жизни, как-то: о садоводстве, об устройстве лучшего порядка в хозяйстве, о средствах к искоренению пороков в крестьянах или о лечении их телесных недугов, но никогда о литературе. Кончив утренние свои занятия, он оставлял ее в своем кабинете и являлся посреди родных простым практическим человеком, готовым учиться и учить каждого всему, что помогает жить покойнее, довольнее и веселее... Работал он у себя во флигеле, где кабинет его имел особый выход в сад. Если кто из домашних приходил к нему по делу, он встречал своего посетителя на пороге, с пером в руке, и если не мог удовлетворить его коротким ответом, то обещал исполнить требование после; но никогда не приглашал войти к себе, и никто не видел и не знал, что он пишет. Почти единственною литературною связью между братом и сестрами были малороссийские песни, которые они для него записывали и играли на фортепьяно. Я видел в Васильевке сборник, заключающий в себе 228 песен, записанных для него от крестьян и крестьянок его родной деревни, и слышал множество напевов, переданных на фортепьяно.

П. А. Кулиш, II,198.

Гоголь в последние четыре года, в свои приезды к матери, обыкновенно помещался во флигеле, направо от большого дома. Здесь, он, по словам его близких, работал и над вторым томом «Мертвых душ» в последнее свое пребывание в Яновщине. Флигель – низенькое, продолговатое строение, с крытою галереей, выходящею во двор. Ветхие ступени ведут на крыльцо; из небольших сеней вход в просторную комнату, род залы, а отсюда в гостиную. В этой гостиной и в кабинете поочередно работал и отдыхал Гоголь. Постоянно тревожное его настроение, по словам его матери, в последний его заезд сюда заставляло его нередко менять свои рабочие комнаты. Так же точно он, по ее словам, не мог несколько ночей сряду и спать в одной и той же комнате. Трудно это приписать, как это объясняли впоследствии, мухам, которых на юге весною почти не бывает, или беспокойству от солнечных лучей: во всех комнатах флигеля я застал в мой заезд на окнах занавески. Окна гостиной выходили в особый полисадник у флигеля, огражденный высокими тополями. За ними был вид на избы хутора и на степь.

Кабинет во флигеле был расположен в другом конце здания и имел особый выход в сад. Здесь более всего оставался Гоголь. В последнее свое пребывание в Васильевке он отсюда не выходил иногда по целым дням, являясь в дом только к обеду и вечернему чаю. Это – комната в десять шагов длины и в четыре шага ширины. Два небольших ее окна выходят

во двор, между ними зеркало. На окнах белые кисейные занавески. Влево от двери – печь. Влево от печи стояла деревянная, простая кровать, покрытая ковром. Кроме писания, во флигеле Гоголь усердно занимался в последнее время улучшением фабрикации домашних ковров, – сам рисовал для них узоры, – и это занятие, с разведением деревьев в саду, составляло его главное удовольствие в немногие часы его отдыха. Над кроватью в углу висел образ св. угодника Митрофания. Рабочий стол Гоголя помещался между печью и кроватью, у забитой лишней двери. Это – на высоких ножках конторка, из грушевого дерева, с косою доской, покрытою кожей. На верхней части конторки с двух сторон вделаны чернильница и песочница. На стене, над конторкою, висел привезенный Гоголем из Италии нерукотворный образ Спасителя, писанный масляными красками. Дом, где помещались мать и сестры Гоголя, выстроен удобно. По стенам были развешаны старинные портреты Екатерины Великой, Потемкина и Зубова и английские гравюры, изображающие рыночные и рыбачьи сцены в Англии. В зале стоял рояль, за которым Гоголь, по словам матери, иногда любил наигрывать и петь свои любимые украинские песни, особенно – веселые и плясовые. «Он иногда смешил нас до упаду, – сказала мне М. И. Гоголь, – сам казался весел, хотя в душе оставался постоянно задумчивым и печальным».

Кстати, о матери Гоголя. Она – урожденная Косяровская, дочь чиновника. Когда я впервые увидел ее, по приезде в Яновщину (в мае 1852 года), меня поразило ее близкое сходство с ее покойным сыном: те же красиво очерченные крупные губы, с чуть заметными усиками, и те же карие, нежно-внимательные глаза. Она была в белом чепце и без малейшей седины. Ее полные, румяные, без морщин щеки говорили, как была в молодости красива эта еще и в то время замечательно красивая женщина. «Покойный брат, – сказала мне старшая сестра Гоголя (*Анна Васильевна*), когда мы вышли в сад, – все затевал исправить, перестроить дом – переделать в нем печи, переменить двери, увеличить окна и перебрать полы. «Зимою у вас холодно, – писал он, – надо иначе устроить стены». Оштукатурили мы дом особым составом, по присланному из-за границы рецепту. Сам он не выносил зимы и любил лето – ненатопленное тепло».

Старый, дедовский сад, где так любил гулять Гоголь, расположен во вкусе всех украинских сельских садов. Его деревья высоки и ветвисты. По сторонам тенистой дорожки, идущей вправо от садового балкона. Гоголь, в. последнее здесь пребывание, посадил с десяток молодых деревцев клена и березы. Далее, на луговой поляне, он посадил несколько желудей, давших с новою весной свежие и сильные побеги. Влево от балкона другая, менее тенистая дорожка идет над прудом и упирается во второй, смежный с ним пруд. По этой дорожке особенно любил гулять Гоголь. Возле нее, на пригорке, стояла деревянная

беседка, разрушенная бурею вскоре за последним отъездом Гоголя из Яновщины. Тут же, недалеко, в тени нависших лип и акаций, был устроен небольшой грот, с огромным диким камнем у входа. На этом камне Гоголь, по словам его матери, играл, будучи еще ребенком по третьему году. Через сорок лет после этой поры он любил садиться на этот камень, любуясь с него видом прудов и окрестных полей.

На дальнем пруде, за садом, стояла купальня. К ней ездили на небольшом двухвесельном плоте. Купальню Гоголь устроил для себя, но пользовался ею не более трех раз. За прудом – широкая поляна, обсаженная над берегом вербами и серебристыми тополями, за которыми Гоголь ухаживал с особым участием. «Вон туда, за церковь, – заметила Марья Ивановна, указывая за сад, – сын любил по вечерам один ходить в поле». Это был проселок в деревни Яворщину и Толстое, куда нередко, в прежнее время, бывая здесь, Гоголь хаживал пешком в гости, своеобразно рассказывая друзьям, как он совершал возвратный путь, пополам «с подседом на чужие телеги», а потом опять «с напуском пехондачка». За последние годы он почти никого не посещал из соседей.

Гоголь в деревне вставал рано; в воскресные дни посещал церковь; в будни тотчас принимался за работу, не отрываясь от нее иногда по пяти часов сряду. Напившись кофе, он до обеда гулял. За обедом старался быть веселым, шутил, рассказывал импровизированные анекдоты и все предвечернее время оставался в кругу семьи, хотя иногда среди близких, как и среди знакомых, любил и просто помолчать, слушая разговоры других. Вечером он опять гулял, катался на плоту по прудам или работал в саду, говоря, что телесное утомление, «рукопашная работа» на вольном воздухе – освежают его и дают силу писательским его занятиям. Гоголь в деревне ложился спать рано, не позже десяти часов вечера. Оставаясь среди семьи, он в особенности любил приниматься за разные домашние работы; кроме рисования узоров для любимого его матерью тканья ковров, он кроил сестрам платья и принимал участие в обивке мебели и в окраске оштукатуренных при его пособии стен. Я застал гостиную в доме его матери раскрашенною его рукой, в виде широких голубых полос по белому полю, зал – с белыми и желтыми полосами. «Мы его с прошлой осени ждали на всю зиму в деревню, – сказала мне мать Гоголя. – Он сперва думал ехать в Крым, хотя говорил, что Крым – прелесть, но без людей там тоска. Зимою он почти никогда не жил в деревне. Объяснял это тем, что в деревне в ненастную погоду он более хворает, чем в городе. Ему каждый день были нужны прогулки, и он предпочитал Москву, где все дома просторнее и теплее и где для прогулок пешком устроены хорошие тротуары.

Г. П. Данилевский. Соч., XIV, 115–119.

Николай Васильевич редко когда показывался к гостям, когда они приезжали в Яновщину во время его пребывания там. Если были одни мужчины, то случалось, что он выходил и проводил с ними даже по нескольку часов, но если являлись дамы, то заставить выйти его было нелегко. Только нисходя к просьбам матери и чтобы доставить ей удовольствие, он выходил изредка, да и то на несколько минут.

М. Я. Борисов по записи В. П. Горленка. Родина Гоголя. Молва, 1880, № 22.

Странно посажен сад на берегу пруда: только одна аллея, а там все вразброс. Таково было желание Гоголя. Он не любил симметрии. Он входил на горку или просто вставал на скамейку, набирал горсть камешков и бросал их: где падали камни, там он сажал деревья. До того времени на месте сада был большой луг. Гоголь любил и сажал только три дерева: клен, липу и дуб.

В. А. Гиляровский. На родине Гоголя, 36.

Исчезла та беззаботная веселость, какую он иногда обнаруживал в обществе соседей, заставляя всех смеяться до слез; исчезли и та самоуверенность и спокойствие, с какими он отправлялся после чая заниматься в свой кабинет.

«Часто, – рассказывала Ольга Васильевна, – приходя звать его к обеду, я с болью в сердце наблюдала его печальное, осунувшееся лицо; на конторке, вместо ровно и четко исписанных листов, валялись листки бумаги, испещренные какими-то каракулями; когда ему не писалось, он обыкновенно царапал пером различные фигуры, но чаще всего – какие-то церкви и колокольни. Прежде, бывало, приезжая в деревню, братец непременно затевал что-нибудь новое в хозяйстве: то примется за посадку фруктовых деревьев, то, напротив, вместо фруктовых начинает садить дуб, ясень, берест; часто он изменял расписание рабочего времени для крепостных, пробовал их пищу, помогал им устраивать свое хозяйство, давая им советы. А теперь все это отошло в прошлое: братец все это забросил, и, когда маменька жаловалась ему на бездоходность своего имения, он только как-то болезненно морщился и переводил разговор на религиозные темы. Иногда, впрочем, когда ему удавалось хорошо поработать утром, он приходил к обеду веселый и довольный, после обеда он шутливо упрашивал свою тетушку Екатерину Ивановну петь под мой аккомпанемент малорусские песни, причем и сам подтягивал, притопывал ногой и прищелкивал пальцами. Особенно любил он старую песню: «Гоп, мои гречаники, гоп, мои били». В эти моменты все в нашем доме оживало: маменька улыбалась, в дверях появлялись смеющиеся лица прислуги… Но эта вспышка веселости

быстро проходила, и снова братец, мрачный, подавленный, уходил в свой кабинет».

О. В. Гоголь-Головня, 74.

В 1851 году, когда Гоголь в последний раз виделся с матерью, она, как всегда, просила его не торопиться с отъездом и говорила ему: «Останься еще! Бог знает, когда увидимся!» И Гоголь несколько раз оставался и снова собирался в дорогу, и, наконец, отслужив молебен с коленопреклонением, причем он весьма горячо и усердно молился, расстался с ней навсегда…

В. И. Шенрок со слов А. С. Данилевского. Материалы, II, 152.

По свидетельству дневника Погодина, Гоголь приехал в Москву 5 июня 1851 года.

Н. П. Барсуков, XI, 518.

Сестра моя (*А. О. Смирнова*) переехала в подмосковную, в 25 верстах от Коломны. В одно утро Гоголь явился ко мне с предложением ехать недели на три в деревню к сестре. Я на несколько дней получил отпуск, и мы отправились. Гоголь был необыкновенно весел во всю дорогу и опять смешил меня своими малороссийскими рассказами; потом, не помню уже каким образом, от смешного разговор перешел в серьезный. Гоголь заговорил о монастырях, об их общественном значении в прошедшем и настоящем. Он говорил прекрасно о монастырской жизни, о той простоте, в какой живут истинные монахи, о том счастии, какое находят они в молитве среди прекрасной природы, в глуши, в дремучих лесах. «Вот, например, – сказал он, – вы были в Калуге, а ездили ли вы в Оптину пустынь, что подле Козельска?» – «Как же, – отвечал я, – был». – «Ну, не правда ли, что за прелесть! Какая тишина, какая простота!» – «Я знаю, что вы бывали там часто, Николай Васильевич». – «Да, я на перепутьи всегда заезжаю в эту пустынь и отдыхаю душой. Там у меня в монастыре есть человек, которого я очень люблю… Я хорошо знаю и настоятеля, отца Моисея». – «Кто же этот друг ваш?» – «Некто Григорьев (*Григоров*), дворянин, который был прежде артиллерийским офицером, а теперь сделался усердным и благочестивым монахом и говорит, что никогда в свете не был так счастлив, как в монастыре. Он славный человек и настоящий христианин; душа его такая детская, светлая, прозрачная! Он вовсе не пасмурный монах, бегающий от людей, не любящий беседы. Нет, он, напротив того, любит всех людей, как братьев; он всегда весел, всегда снисходителен. Это высшая степень совершенства, до которой только может дойти истинный христианин».

Подмосковная деревня, в которой мы поселились на целый месяц, очень понравилась Гоголю. Все время, которое он там прожил, он был необыкновенно бодр, здоров и доволен. Дом прекрасной архитектуры, построенный по планам Растрелли, расположен на горе; два флигеля того же вкуса соединяются с домом галереями, с цветами и деревьями; посреди дома круглая зала с обширным балконом, окруженным легкою колоннадой. Направо от дома стриженый французский сад с беседками, фруктовыми деревьями, грунтовыми сараями и оранжереями; налево английский парк с ручьями, гротами, мостиками, развалинами и густою прохладною тенью. Гоголь жил подле меня во флигеле, вставал рано, гулял один в парке и поле, потом завтракал и запирался часа на три у себя в комнате. Перед обедом мы ходили купаться с ним. Он уморительно плясал в воде и делал в ней разные гимнастические упражнения, находя это здоровым. Потом мы опять гуляли с ним по саду, в три часа обедали, а вечером ездили иногда на дрогах, гулять к соседям или в лес. К сожалению, сестра моя скоро захворала, и прогулки наши прекратились. Чтобы рассеять ее, Гоголь сам предложил прочесть окончание второго тома «Мертвых душ», но сестра откровенно сказала Гоголю, что ей теперь не до чтения и не до его сочинений. Мне показалось, что он немного обиделся этим отказом. Я все надеялся, что здоровье сестры поправится и что Гоголь будет читать; но ожидания мои не сбылись. Сестре сделалось хуже, и она должна была переехать в Москву, чтобы начать серьезное лечение. Гоголь, разумеется, тоже оставил деревню... В Москве он каждый вечер бывал у сестры и забавлял нас своими рассказами.

Л. И. Арнольди. Мое знакомство с Гоголем. Рус. Вестн., 1862, т. 37, стр. 87–91.

В мае Гоголя не было, пригласила в подмосковную. Я занемогла. Бронницкого уезда, в село Спасское. Нервы – бессонница, волнения. «Ну, я опять вожусь с нервами!» – «Что делать! Я сам с нервами вожусь». Очень жаркое лето, Гоголю две комнатки во флигеле, окнами в сад. В одной он спал, а в другой работал, стоя к небольшому пюпитру, то вздумал поставить бревна. Прислуживал человек Афанасий, от которого слышали, что он вставал в пять. Сам умывался, одевался без помощи человека. Шел прямо в сад с молитвенником в руках, в рощу, т. е. английский сад. Возвращался к восьми часам, тогда подавали кофе. Потом занимался, а в 10 или в 11 часов он приходил ко мне или я к нему. Когда я у него – тетради в лист, очень мелко. Покрывал платком. Я сказала, что прочла: «Никита и генер-губ. Разговаривают». – «А, вот как! Вы подглядываете, так я же буду запирать!» Предлагал часто Четьи-Минеи. Но я страдала тогда расстройством нервов и не могла читать ничего подобного. Каждый день читал житие святого на этот день. Перед обедом пил всегда, всегда – воду, которая придавала

деятельность желудку, ел с перцем. А после обеда мы ездили кататься. Он просил, чтоб поехали в сосновую или еловую рощу. Он любил после гулянья бродить по берегам Москвы-реки, заходил в купальню и купался. Между тем мое здоровье было расстроено. Гоголь раз хотел меня повеселить и предложил прочесть первую главу (*второго тома «Мертвых душ»*). Но нервы, должно быть, натянуты, что я нашла пошлой и скучной. «Видите, когда мои нервы расстроены, даже и скучны». – «Да, вы правы: это все-таки дребедень, а вот душе не этого нужно». Казался очень грустен. Так как его комнаты были очень малы, то он в жары любил приходить в дом, ложился в гостиной на середний диван, в глубине комнаты, для прохлады. Придет и сидит. Вот что раз случилось: я взошла в гостиную, думая, что никого нет, и вдруг увидела Гоголя на диване с книгой в руках. Он держал в руке Четьи-Минеи и смотрел сквозь отворенное окно в поле. Глаза его были какие-то восторженные, лицо оживлено чувством высокого удовольствия: он как будто видел перед собой что-то восхитительное. Когда я взошла, он как будто испугался. Ему, должно быть, показалось, что кто-то явился. Глядел – жду. «Николай Васильевич, что вы тут делаете?» Как будто проснулся. «Ничего. Житие (в июле) такого-то». Что-то приятное: молился он, что ли, – в экстазе. Чуть ли не Косьмы и Дамиана. По вечерам Гоголь бродил перед домом после купанья, пил воду с красным вином и с сахаром и уходил часто в десять к себе. С детьми ездил к обедне, к заутрене. Любил смотреть, как загоняли скот домой. Это напоминает Малороссию... Он уж тогда был нездоров, жаловался на расстройство нервов, на медленность пульса, на недеятельность желудка и не разговаривал ни с домашними слугами, ни с крестьянами. «Почему не говорили с мужиками?» – «Да у вас старых мужиков нет». Терпеть не мог фабричных мужиков в фуражках и дам нарумяненных. Странности... Куда ехать, – в Малороссию. «Помолитесь». Больными расстались, благословил образом. «И молитва моя за вас будет. А думали ли вы о смерти?» – «О, это любимая мысль, на которой я каждый день выезжаю». Шутливость его и затейливость в словах исчезли. Он весь был погружен в себя.

А. О. Смирнова по черновому конспекту, сделанному А. Н. Пыпиным. Смирнова, Записки, 326–329. Дополнено по записи Кулиша: Записки о жизни Гоголя, II, 252.

(*По поводу предстоящего замужества сестры Гоголя Елизаветы Васильевны.*)

Не подумайте, чтобы я был против вступления в замужество сестер; напротив. По мне, хоть бы даже и самая последняя вздумала пожертвовать безмятежием безбрачной жизни на это мятежное состояние, я бы сказал: «С богом!» – если бы возможны были теперь

счастливые браки. Но брак теперь не есть пристроение к месту, – нет: расстройство разве, – ряд новых нужд, новых тревог, убивающих, изнуряющих забот. Только и слышишь теперь раздоры между родителями и детьми, только и слышишь о том, что нечем вскормить, не на что воспитать, некуда пристроить детей! И как вспомнишь, сколько в последнее время дотоле хороших людей сделалось ворами и грабителями из-за того только, чтобы доставить воспитание и средства жить детям! И пусть бы уж эти дети доставили им утешение, – и этого нет! Только и слышишь жалобы родителей на детей. Вот почему сердцем так неспокойно за сестер!.. А к сестрам моя теперь просьба. Если желают, чтобы супружество было счастливо, то лучше не составлять вперед никаких радужных планов. Лучше заранее приуготовлять себя ко всему печальному и рисовать себе в будущем все трудности, недостатки, лишения и нужды; тогда, может быть, супружество и будет счастливо.

Гоголь – матери, 5 июля 1851 г., из Москвы. Письма, IV, 381.

О суете вы хлопочете, сестры! Никто ничего от вас не требует, так давай самим задавать себе и выдумывать хлопоты. Мой совет: свадьбу поскорей, да и без всяких приглашений и затей: обыкновенный обед в семье, как делается это и между теми, которые гораздо нас побогаче, да и все тут.

Хотел бы очень приехать, если не к свадьбе, то через недели две после свадьбы; но плохи мои обстоятельства: не устроил дел своих так, чтоб иметь средства прожить эту зиму в Крыму (проезд не по карману, платить за квартиру и стол тоже не по силам), и поневоле должен остаться в Москве. Последняя зима была здесь для меня очень тяжела. Боюсь, чтоб не проболеть опять, потому что суровый климат действует на меня с каждым годом вредоносней, и не хотелось бы мне очень здесь остаться. Но наше дело покорность, а не ропот.

Гоголь – сестрам в июле 1851 г., из Москвы. Письма, IV, 386.

Пишу тебе из Москвы, усталый, изнемогший от жары и пыли. Поспешил сюда с тем, чтобы заняться делами по части приготовления к печати «Мертвых душ», второго тома, и до того изнемог, что едва в силах водить пером. Гораздо лучше просидеть было лето дома и не торопиться; но желание повидаться с тобой и Жуковским было причиной тоже моего нетерпения. А между тем здесь цензура из рук вон. (*Гоголь собирался печатать новым изданием собрание своих сочинений.*) Ради бога, пожертвуй своим экземпляром сочинений моих и устрой так, чтобы он был подписан в Петербурге. А второе издание моих сочинений нужно уже и потому, что книгопродавцы делают разные

мерзости с покупщиками, требуют по сту рублей за экземпляр и распускают под рукой вести, что теперь все запрещено.

Гоголь – П. А. Плетневу, 15 июля 1851 г., из Москвы. Письма, IV, 390.

Воротясь 15 августа в Москву, я не нашел там Гоголя: он был на даче у Шевырева.

С. Т. Аксаков – А. О. Смирновой. Рус. Арх., 1905, III, 211.

В 1851 году мне случилось жить с Гоголем на даче у Шевырева, верстах в двадцати от Москвы, по Рязанской дороге. Как называлась эта дача или деревня, не припомню. Я приехал прежде, по приглашению хозяина, и мне был предложен для житья уединенный флигель, окруженный старыми соснами. Гоголя совсем не ждали. Вдруг, в тот же день после обеда, подкатила к крыльцу наемная карета на паре седых лошадей, и оттуда вышел Гоголь, в своем испанском плаще и серой шляпе, несколько запыленный. В доме был я один. Хозяева где-то гуляли. Гоголь вошел балконной дверью, довольно живо. Мы расцеловались и сели на диван. Гоголь не преминул сказать обычную свою фразу: «Ну, вот теперь наговоримся: я приехал сюда пожить…» Явившийся хозяин просил меня уступить Гоголю флигель, которого я не успел даже и занять. Мне отвели комнату в доме, а Гоголь перебрался ту же минуту во флигель со своими портфелями. Людям, как водится, было запрещено ходить туда без зову и вообще не вертеться без толку около флигеля. Анахорет продолжал писать второй том «Мертвых душ», вытягивая из себя клещами фразу за фразой. Шевырев ходил к нему, и они вместе читали и перечитывали написанное. Это делалось с такою таинственностью, что можно было думать, что во флигеле, под сенью старых сосен, сходятся заговорщики и варят всякие зелья революции. Шевырев говорил мне, будто бы написанное несравненно выше первого тома.

К завтраку и к обеду Гоголь являлся не всегда, а если и являлся, то сидел, почти не дотрагиваясь ни до одного блюда и глотая по временам какие-то пилюльки. Он страдал тогда расстройством желудка; был постоянно скучен и вял в движениях, но нисколько не худ на лицо. Говорил немного и тоже как-то вяло и неохотно. Улыбка редко мелькала на его устах. Взор потерял прежний огонь и быстроту. Словом, это были уже развалины Гоголя, а не Гоголь. Я уехал с дачи прежде и не знаю, долго ли там оставался Гоголь.

Н. В. Берг. Воспоминания о Н. В. Гоголе. Рус. Стар., 1872, янв., 125.

Из второго тома Гоголь читал мне летом, живучи у меня на даче около Москвы, семь глав. Он читал их, можно сказать, наизусть по написанной канве, содержа окончательную отделку в голове своей.

С. П. Шевырев – М. Н. Синельниковой. Рус. Стар., 1902, май, 443.

Убедительно прошу тебя не сказывать никому о прочитанном, ни даже называть мелких сцен и лиц героев. Случились истории. Очень рад, что две последние главы, кроме тебя, никому не известны. Ради бога никому.

Гоголь – Шевыреву, в конце июля 1851 г. Письма, IV, 393.

Однажды приехал Гоголь к М. С. Щепкину на дачу. Щепкин жил с семьей в то время на даче под Москвой, в Волынском. Гоголь выразил ему свою радость, что застал его на даче, говорил, что думает пожить у него, отдохнуть и немного поработать, обещался кое-что прочесть из «Мертвых душ». Щепкин был вне себя от восторга, всем об этом передавал на ухо как секрет. Но не успел Гоголь прожить трех дней, как приехал в гости к Щепкину начинающий молодой литератор, которого отец мой характеризовал как человека зоркого, пронырливого и вообще несимпатичного. Когда сошлись все к вечернему чаю. Гоголь вошел с Щепкиным в столовую под руку, о чем-то тихо разговаривая, но по всему видно было, что разговор этот для Щепкина был крайне интересен. Лицо его сияло радостью. Гоголь же, наклонясь к нему, со свойственной ему улыбкой на губах, продолжал что-то тихо ему передавать. Подойдя к столу, Гоголь быстро окинул всех взглядом и, заметя новое лицо, нервно взял чашку с чаем и сел в дальний угол столовой и весь как будто съежился. Лицо его приняло угрюмое и злое выражение, и во все время чаепития просидел он молча, а за ужином объявил, что рано утром на другой день ему надо ехать в Москву по делам. Так и не состоялось чтение его новых произведений. После этого Гоголь заезжал к Щепкину еще несколько раз, но таким веселым, каким он видел его на даче, Щепкин уже ни разу не видел Гоголя. Если Гоголь бывал, то как-то подозрительно оглядывал всех присутствующих и вообще уже был не прежний Гоголь. Иной раз Щепкин расшевелит его каким-нибудь своим рассказом. Гоголь слегка улыбнется, но сейчас же опять нахмурится и весь как бы уйдет в себя. Гоголь был очень расположен к Щепкину. Оба они знали и любили Малороссию и охотно толковали о ней, сидя в дальнем углу гостиной в доме Щепкина. Они перебирали и обычаи, и одежду малороссиян, и, наконец, их кухню. Прислушиваясь к их разговору, можно было слышать под конец: вареники, голубцы, паленицы, – и лица их сияли улыбками. Из рассказов Щепкина Гоголь почерпал иногда новые черты для лиц в своих рассказах, а иногда целиком вставлял целый рассказ его в свою повесть. Так, Щепкин

передал ему рассказ о городничем, которому нашлось место в тесной толпе, и о сравнении его с лакомым куском, попадающим в полный желудок. Так слова исправника: «Полюбите нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит» были переданы Гоголю Щепкиным. Нельзя утверждать, чтобы Гоголь всегда охотно принимал советы Щепкина, но последний всегда заявлял свое мнение искренно и без утайки.

А. М. Щепкин со слов М. С. Щепкина. «М. С. Щепкин», 1914, стр. 367.

Рассказ в «Мертвых душах»: «Полюби нас черненькими, беленькими нас всякий полюбит» – сообщен Гоголю Щепкиным и есть действительно случившееся происшествие, и, по моему мнению, рассказ этот в устах Щепкина имел несравненно больше живости, чем в поэме Гоголя. По словам Щепкина, для характера Хлобуева послужила Гоголю образцом личность П. В. Нащокина; а разнообразные присутственные места, упоминаемые при описании имения Кашкарева, действительно существовали некогда в малороссийском поместьи гр. Кочубея.

А. Н. Афанасьев. Библиотека для Чтения, 1864, февр., 8.

Щепкин говорил, что для характера Хлобуева послужила Гоголю образцом личность одного господина в Полтаве; а разнообразные присутственные места, упоминаемые при описании имения Кашкарева, действительно существовали некогда в малороссийском поместьи князя Кочубея.

М. С. Щепкин по записи его сына А. М. Щепкина. «М. С. Щепкин», 344.

Думал я, что всегда буду трудиться, а пришли недуги, – отказалась голова. Здоровье мое сызнова не так хорошо, и, кажется, я сам причиною. Желая хоть что-нибудь приготовить к печати, я усилил труды и через это не только не ускорил дела, но и отдалил еще года, может быть, на два… Бедная моя голова! Доктора говорят, что надо ее оставить в покое. Вижу и знаю, что работа, при моем болезненном организме, тяжела; это не то, что работа рук и на воздухе и даже обыкновенная письменная. Головная работа такого рода, как моя, всех тяжелей. Молитесь обо мне, добрейшая моя матушка! Трудно, трудно бывает мне!

Гоголь – матери, 2 сент. 1851 г., из Москвы. Письма, IV, 395.

В половине сентября Гоголь приехал к нам в подмосковную (*Абрамцево*) и прожил несколько дней. Он был необыкновенно со мною нежен и несколько раз, взяв меня за руки, смотрел на меня с таким выражением, которого ни описать, ни забыть невозможно. Вообще в последние два

года Гоголь показывал мне более прежнего привязанности и доверенности к моему суду; это происходило оттого, что он находил во мне менее страстности и более спокойствия. Он хотел приехать 20 сентября, т. е. в день моего рождения, но не мог, потому что дал обещание быть на свадьбе у сестры своей в Полтавской губернии, назначенной на 1 октября... Пробыв осень в деревне у матери, Гоголь намеревался уехать на зиму в Одессу, где провел он предыдущую зиму очень хорошо в отношении к своему здоровью и успешной работе над «Мертвыми душами». Он поехал очень грустен, что не успел еще повидаться со мною и проститься, как следует.

С. Т. Аксаков. «Заметки», бывшие в распоряжении Шенрока. Материалы, IV, 813. Дополнено по письму Аксакова к Смирновой 28 марта 1852 г. Рус. Арх., 1905, III, 211.

Живо вспоминаю я сельцо Абрамцево, летнее местопребывание Аксаковых, где я в молодости часто бывал. Господский дом стоял на пригорке, внизу протекала рыбная и довольно глубокая речка, дом был, сколько помню, одноэтажный, длинный, окрашенный в серую краску. Надо сказать, что старец Сергей Тимофеевич владел очень хорошими имениями в Бузулукском уезде; но выезжать на лето с громадным семейством в Уфу ему было очень трудно, почему он и купил себе подмосковную. При семействе сам-двенадцать, при относительно барских замашках дворян того времени, с огромной дворней и бестолковым домашним хозяйством, С. Т. не мог похвастаться деньгами.

Глава семейства, Сергей Тимофеевич, был в то время уже совсем седой старик, высокого роста, с необыкновенно энергичным, умным лицом, несколько отрывистою речью, всегда прямой на словах и на деле, вел семью по-старинному, деспотично, и слово его для всех было законом. Супруга его, Ольга Семеновна, была добрая, толстенькая, низенького роста старушка, большая хлебосолка и редкого ума женщина; на ее плечах лежал весь дом и все сложное запутанное хозяйство. А семейка была-таки благодатная – три сына: Константин, Григорий и Иван Сергеевичи да шесть дочерей. Обыкновенно все они толпились в кабинете Сергея Тимофеевича, в котором стоял синий туман от Жукова табаку и воздух дрожал от постоянных литературных споров отца с сыном Константином. Двух сыновей, Григория и Ивана Сергеевичей, тогда не было в Абрамцеве. Сергей Тимофеевич весною вставал очень рано, чуть ли не до восхода солнца, и мы с ним отправлялись удить рыбу, непременно с лодки; рыбы в реке было изобилие: попадались громадные головли и щуки до двенадцати фунтов. Места Сергей Тимофеевич знал отлично и удил мастерски. С рыбной ловли мы возвращались всегда между 10 и 11 часами, и Сергей Тимофеевич сейчас же завтракал и ложился отдыхать; я же, как еще очень молодой человек,

присоединялся к дамскому обществу – устраивались прогулки, катанье в лодке и прочие удовольствия. Одна из дочерей Сергея Тимофеевича очень недурно играла на рояли и хорошо рисовала. После обеда до чаю Константин Сергеевич читал что-нибудь вслух, преимущественно из своих произведений. В то время только что окончил свою скучнейшую драму «Псковитянку», которую, однако, пришлось выслушивать, хотя и позевывая. Ему было тогда лет под тридцать, и он был довольно плотный мужчина. Это был любимец и баловень всей семьи; только и слышались восторженные возгласы его сестер: «Константин сказал то-то», «Константин думает так-то». В обществе мужчин он любил говорить, и говорил горячо, проповедывал чистоту нравов и сам строго придерживался своих тезисов; в обществе же женщин он молчал, да и вообще избегал и чуждался прекрасного пола. По вечерам нередко собиралось многочисленное общество.

Д. М. Погодин. Воспоминания. Ист. Вестн., 1892, апр., 48–51.

Я решился ехать; но вы никак не останавливайтесь с днем свадьбы (*сестры*) и меня не ждите. Мне нельзя скоро ехать. Нервы мои так расколебались, от нерешительности, ехать или не ехать, что езда моя будет нескорая; даже опасаюсь, чтобы она не расстроила меня еще более. Притом я на вас только взгляну, и поскорее в Крым, а потому вы, пожалуйста, меня не удерживайте. В Малороссии остаться зиму – для меня еще тяжелей, чем в Москве. Я захандрю и впаду в ипохондрию. Мне необходим такой климат, где бы я мог всякий день прогуливаться. В Москве, по крайней мере, теплы и велики дома, есть тротуары и улицы. Расстройство же нынешнее моего здоровья произошло от беспокойства и волнения и в то же время от сильного жару, какой был во все это время, который так же, как и холод, раздражает сильно мои нервы, особенно если дух неспокоен. А виной этого неспокойства был я сам, как и всегда мы сами бываем творцы своего беспокойства, – именно оттого, что слишком много даем цены мелочным, нестоющим вещам.

Гоголь – матери, 22 сент. 1851 г., из Москвы. Письма, IV, 399.

Гоголь скучал в Москве летом, тем более, что все его знакомые жили по дачам; наконец, получив известие о выходе замуж одной из своих сестер, решился ехать к ней на свадьбу. Вышло, однако ж, не так. Миновав Калугу, он почувствовал один из тех припадков грусти, которые помрачали для него все радости жизни и лишали его власти над его силами. В таких случаях он обыкновенно прибегал к молитве, и молитва всегда укрепляла его. Так поступил он и теперь: заехав в Оптину пустынь, он провел в ней несколько дне и посреди смиренной братии и уже не поехал на свадьбу, а воротился в Москву. Первый визит он сделал О. М. Бодянскому, который не выезжал на дачу, и на вопрос его: «зачем

он воротился?» отвечал: «Так: мне сделалось как-то грустно», и больше ни слова.

П. А. Кулиш со слов О. М. Бодянского. Записки о жизни Гоголя, II, 250.

Еще осенью Гоголь уже показывал упадок духа и воли, стараясь опираться на слово какого-нибудь духовного. Отправясь в Малороссию на свадьбу сестры, он дорогою заехал к одному монаху, чтобы тот дал ему совет, в Москве ли ему остаться или ехать к своим. Монах, выслушав рассказ его, присоветовал ему последнее. На другой день Гоголь опять пришел к нему с новыми объяснениями, после которых монах сказал, что лучше решиться на первое. На третий день Гоголь явился к нему снова за советом. Тогда монах велел ему взять образ и исполнить то, что при этом придет ему на мысль. Случай благоприятствовал Москве. Но Гоголь в четвертый раз пришел за новым советом: тогда, вышед из терпения, монах прогнал его, сказав, что надобно остаться при внушении, посланном от бога.

П. А. Плетнев – В. А. Жуковскому, со слов А. О. Смирновой, 24 февр. 1852 г. Соч. и переп. П. А. Плетнева, III, 730.

Через Ив. Вас. Киреевского Гоголь узнал, что в Оптиной пустыни, в скиту, живет знаменитый отшельник и молчальник. Гоголь его так измучил своею нерешительностью, что старец грозил ему отказать его принимать.

А. О. Смирнова. Автобиография, 304.

Еще одно слово, душе и сердцу близкий отец Макарий. После первого решения, которое имел я в душе, подъезжая к обители, было на сердце спокойно и тишина. После второго как-то неловко, и смутно, и душа неспокойна. Отчего вы, прощаясь со мной, сказали: «В последний раз»? Может быть, все это происходит от того, что нервы мои взволнованы; в таком случае боюсь сильно, чтобы дорога меня не расколебала. Очутиться больным посреди далекой дороги – меня несколько страшит. Особенно когда будет съедать мысль, что оставил Москву, где бы меня не оставили в хандре.

Ваш весь.

(*Ответ иеромонаха Макария на обороте письма Гоголя.*)

Мне очень жаль вас, что вы находитесь в такой нерешимости и волнении. Конечно, когда бы знать это, то лучше бы не выезжать из Москвы. Вчерашнее слово о мире при взгляде на Москву было мне по

сердцу, и я мирно вам сказал о обращении туда, но как вы паки волновались, то уж и недоумевал о сем. Теперь вы должны сами решить свой вояж, при мысли о возвращении в Москву, когда ощутите спокойствие, то будет знаком воли божией на сие. Примите от меня образок ныне празднуемого угодника божия Сергия; молитвами его да подаст господь вам здравие и мир.

Многогрешный иеромонах Макарий.

25 сент. 1851 г.

Вестн. Евр., 1905, № 12, стр. 710.

По словам современников. Гоголь в Оптиной пустыни был два раза, хотя весьма вероятно, что он был в ней гораздо больше... Особенно сильно приковывали к себе внимание Гоголя старцы Моисей, Антоний и Макарий. По монастырским воспоминаниям, эти личности были таковы. Старец Моисей был игуменом монастыря. Проводя время в постоянных трудах по управлению обителью, он неукоснительно исполнял все правила и обязанности монастырской жизни. Главной и отличительной чертой его было изумительное нищелюбие. Всем, кто нуждался в его помощи, никогда не было с его стороны отказа... За пренебрежение его к деньгам монастырская братия прозвала его «гонителем денег». Начальник скита, старец Антоний, был родной брат игумена Моисея. Необыкновенно трудолюбивый, смиренный, он служил для всей братии примером по исполнению церковных служб и монастырских работ, несмотря на тяжелую болезнь ног, которой он страдал более тридцати лет. Третий старец, поразивший душу Гоголя, Макарий, был иноком высокой духовной жизни. Его советами и указаниями пользовалась вся монастырская братия, для которой он был неустанным наставником на пути к христианскому совершенствованию. Высокий подвижнический ум старца Макария более всего привлекал к себе душу Гоголя... По воспоминаниям современников, отношения между Гоголем и старцем Макарием были самые искренние. Все запросы и сомнения своей души Гоголь нес на разрешение инока, который с дружеской готовностью выслушивал их и давал советы и указания.

Д. П. Богданов. Оптина пустынь и паломничество в нее русских писателей. Ист. Вестн., 1910, окт., 330.

По неожиданной надобности я приехал в Москву 24 сентября и на другой день, к удивлению моему, узнал, что Гоголь воротился. 30-го я увез его с собою в деревню, где его появление, никем не ожиданное, всех изумило и обрадовало. По каким причинам воротился Гоголь, – положительно сказать не могу. Он был постоянно грустен и говорил, что

в Оптиной пустыни почувствовал себя очень дурно и, опасаясь расхвораться, приехать на свадьбу больным и всех расстроить, решился воротиться. И прибавил, смеясь, что «к тому же нехорошо со мною простился». Он улыбался, но глаза его были влажные, и в смехе слышалось что-то особенное. Заметно было, что Гоголь смущался своим возвращением без достаточной причины, по-видимому, и еще более тем, что мать и сестры будут огорчены, обманувшись в надежде его увидеть. 1 октября, день рождения своей матери и день назначенной свадьбы сестры, поутру Гоголь был невесел. Он поехал к обедне в Троицко-Сергиевскую лавру.

С. Т. Аксаков. Шенрок. Материалы, IV, 814. Кулиш, II, 254. Сводный текст.

Я еду к Троице с тем, чтобы там помолиться о здоровье моей матушки, которая завтра именинница. Дух мой крайне изнемог; нервы расколеблены сильно. Чувствую, что нужно развлечение, а какое, – не найду сил придумать.

Гоголь – Шевыреву, 30 сент. 1851 г., Письма, IV, 402.

Это было 1 октября 1851 г. В послеобеденное время, часа в четыре или пять, студенты духовной академии (*в Троицкой лавре*) пользовались свободным от учебных занятий временем, – одни гуляли, другие читали или покоились на диванах и столах, подложив под головы огромные фолианты классиков и отцов церкви. В дверях показался наставник студентов, отец Ф., в сопровождении незнакомца. Студенты встали. Некоторые, видя в незнакомом посетителе знакомые черты, заметили вполголоса: «Это Гоголь!» Отец Ф., подходя к группе студентов, сказал: «Вы, господа, просили меня представить вас Гоголю, – я исполняю ваше желание». Обращаясь потом к дорогому гостю, он прибавил: «Они любят вас и ваши произведения». При такой неожиданности студенты не сказали ни слова. Молчал и Гоголь. Он казался нам скучным и задумчивым. Это обоюдное молчание продолжалось несколько минут. Наконец, один из студентов, собравшись с мыслями, сказал за всех: «Нам очень приятно видеть вас, Н. В-ч, мы любим и глубоко уважаем ваши произведения». Гоголь, сколько можем припомнить, так отвечал приветствовавшим его духовным воспитанникам: «Благодарю вас, господа, за расположение ваше! Мы с вами делаем общее дело, имеем одну цель, служим одному Хозяину… У нас один Хозяин». Начав говорить несколько потупившись, Гоголь произнес последние слова, устремив глаза к небу. Заметно в нем было какое-то смущение; он хотел сказать еще что-то, но как будто не нашелся и вслед за тем раскланялся с студентами, произнося последнее «прощайте». Только теперь очнулись воспитанники от тупого чувства, в которое повергла их неожиданность

появления Гоголя; и он вышел из дверей академических комнат при дружном, но отрывистом рукоплескании студентов.

В. Крестовоздвиженский. Московские Ведомости, 1860, № 114, стр. 901.

На обратном пути из Троицкой лавры Гоголь заехал за Ольгой Семеновной (*жена Аксакова*) в Хотьковский монастырь и сам заходил за ней к игуменье. За обедом (*в Абрамцеве*) мы пили здоровье его матери и молодых; Гоголь поразвеселился, а вечером сделался очень весел. Наденька (*дочь Аксакова*) пела малороссийские песни, и он сам пел с живостью и очень забавно. 3 октября он уехал в Москву; он взял у нас лошадей до первой почтовой станции, потому что он спешил в Москву, к четырем часам, к кому-то или с кем-то обедать. К удивлению моему, лошади воротились уже на другие сутки, и я узнал, что Гоголь кормил лошадей в Пушкине и доехал на них до Москвы: наемный кучер наш был несколько груб и попивал иногда. Я встревожился и писал к Гоголю, спрашивая, не случилось ли чего-нибудь неприятного; но получил веселый, шуточный ответ, что все, напротив, было очень хорошо, что он сам раздумал поспеть к обеду в Москву в семь часов вечера.

С. Т. Аксаков. Шенрок. Материалы, IV, 814.

Не удалось мне с вами повидаться, добрейшая моя матушка и мои милые сестры, нынешней осенью. Уже было выехал из Москвы, но, добравшись до Калуги, заболел и должен был возвратиться. Нервы мои от всяких тревог и колебаний дошли до такой раздражительности, что дорога, которая всегда для меня полезна, теперь стала даже вредоносна. Видно, уж так следует и угодно богу, чтобы эту зиму остался я в Москве. На прожитье в Крыму вряд ли бы достало средств. Здесь же, в Москве, теперь доктор, успешно лечащий нервические болезни наружными вытираниями и обливаньями холодной водой.

Гоголь – матери, 3 окт. 1851 г., из Москвы, Письма, IV, 403.

Осенью 1851 года, будучи проездом в Москве, я, посетив Гоголя, застал его в хорошем расположении духа, и на вопрос мой о том, как идут «Мертвые души», он отвечал мне: «Приходите завтра вечером, в восемь часов, я вам почитаю». На другой день, разумеется, ровно в восемь вечера, я был уже у Гоголя; у него застал я А. О. Россета, которого он тоже позвал. Явился на сцену знакомый мне портфель; из него вытащил Гоголь одну довольно толстую тетрадь, уселся около стола и начал тихим и плавным голосом чтение первой главы. Гоголь мастерски читал: не только всякое слово у него выходило внятно, но, переменяя часто интонацию речи, он разнообразил ее и заставлял слушателя усвоивать самые мелочные оттенки мысли. Помню, как он начал глухим и каким-то гробовым голосом: «Зачем же изображать бедность, да

бедность, да несовершенство нашей жизни, выкапывая людей из глуши, из отдаленных закоулков государства? Что ж делать, если уже таковы свойства сочинителя, и, заболев собственным несовершенством, уже и не может он изображать ничего другого, как только бедность, да бедность, да несовершенство нашей жизни, выкапывая людей из глуши, из отдаленных закоулков государства? И вот опять попали мы в глушь, опять наткнулись, за закоулок». После этих слов внезапно Гоголь приподнял голову, встряхнул волосы и продолжал уже громким и торжественным голосом: «Зато какая глушь и какой закоулок!» За сим началось великолепное описание деревни Тентетникова, которое, в чтении Гоголя, выходило как будто писано в известном размере. Все описания природы, которыми изобилует первая глава, отделаны были особенно тщетно. Меня в высшей степени поразила необыкновенная гармония речи. Тут я увидел, как прекрасно воспользовался Гоголь теми местными названиями разных трав и цветов, которые он так тщательно собирал. Он иногда, видимо, вставлял какое-нибудь звучное слово единственно для гармонического эффекта. Хотя в напечатанной первой главе все описательные места прелестны, но я склонен думать, что в окончательной редакции они были еще тщательнее отделаны. Разговоры выведенных лиц Гоголь читал с неподражаемым совершенством. Когда, изображая равнодушие, обленившееся состояние байбака Тентетникова, сидящего у окна с холодной чашкой чая, он стал читать сцену происходящей на дворе перебранки небритого буфетчика Григория с ключницей Перфильевной, то казалось, как бы действительно сцена эта происходила за окном и оттуда доходили до нас неясные звуки этой перебранки.

Граф А. П. Толстой сказывал мне, что ему не раз приходилось слышать, как Гоголь писал свои «Мертвые души»: проходя мимо дверей, ведущих в его комнату, он не раз слышал, как Гоголь один в запертой горнице будто б с кем-то разговаривал, иногда самым неестественным голосом. В черновых рукописях видны следы этой работы. Каждый разговор переделывался Гоголем по нескольку раз.

Окончив чтение. Гоголь обратился к нам с вопросом: «Ну, что вы скажете?» Будучи под впечатлением тех прелестных картин и разнообразных описаний природы, которыми изобилует первая глава, я отвечал, что более всего я поражен художественной отделкой этой части, что ни один пейзажист не производил на меня подобного впечатления. «Я этому рад», – отвечал Гоголь и, передав нам рукопись, просил, чтобы мы прочли ему вслух некоторые места.

Не помню, Россет или я исполнил его желание, и он прислушивался к нашему чтению, видно желая слышать, как будут передаваться другими те места, которые особенно рельефно выходили при его мастерском чтении. По окончании чтения Россет спросил у Гоголя: «Что, вы знали

такого Александра Петровича (первого наставника Тентетникова) или это ваш идеал наставника?» При этом вопросе Гоголь несколько задумался и. помолчав, отвечал: «Да, я знал такого». Я воспользовался этим случаем, чтобы заметить Гоголю, что, действительно, его Александр Петрович представляется каким-то лицом идеальным, оттого, быть может, что о нем говорится уже как о покойнике в третьем лице; но как бы то ни было, а он сравнительно с другими действующими лицами как-то безжизнен. «Это справедливо, – отвечал мне Гоголь и, подумав немного, прибавил: – Но он у меня оживет потом». Что разумел под этим Гоголь – я не знаю. Рукопись, по которой читал Гоголь, была совершенно набело им самим переписана; я не заметил в ней поправок.

Прощаясь с нами. Гоголь просил нас никому не говорить, что он нам читал, и не рассказывать содержание первой главы.

Кн. Д. А. Оболенский. О перв. изд. посм. соч. Гоголя. Рус: Стар., 1873, дек., 943–947.

(Осенью 1857 года.) Гоголь в это время жил у Толстого, на Никитском бульваре и тогда все еще готовил второй том «Мертвых душ». По крайней мере, на мое замечание о нетерпении всей публики видеть завершенным, наконец, его жизненный и литературный подвиг вполне – он мне отвечал довольным и многозначительным голосом: «Да... Вот попробуем!» Я нашел его гораздо более осторожным в мнениях после страшной бури, вызванной его «Перепиской», но все еще оптимистом в высшей степени и едва понятным для меня. Он почти ничего не знал или не хотел знать о происходящем вокруг него, а о ссылках и других мерах отзывался даже, как о вещах, которые по мягкости исполнения были отчасти любезностями и милостями по отношению ко многим осужденным. Он также продолжал думать, что, по отсутствию выдержки в русских характерах, преследование печати и жизни не может долго длиться... Вместо смысла современности, утерянного им за границей и последним своим развитием, оставалась у него по-прежнему артистическая восприимчивость в самом высшем градусе. Он взял с меня честное слово беречь рощи и леса в деревне и раз вечером предложил мне прогулку по городу, всю ее занял описанием Дамаска, чудных гор, его окружающих, бедуинов в старой библейской одежде, показывающихся у стен его для разбойничества, и проч., а на вопрос мой, какова там жизнь людей, отвечал почти с досадой: «Что жизнь! Не об ней там думается!» Это была моя последняя беседа с Гоголем. Подходя к дому Толстого на возвратном пути и прощаясь с ним, я услышал от него трогательную просьбу сберечь о нем доброе мнение и поратовать о том же между партией, «к которой принадлежите».

П. В. Анненков. Последняя встреча с Гоголем. П. В. Анненков и его друзья. СПб., Изд. Суворина. 1892, стр. 515.

Провожая меня из своей квартиры. Гоголь, на пороге ее, сказал мне взволнованным голосом: «Не думайте обо мне дурного и защищайте перед своими друзьями, прошу вас; я дорожу их мнением».

П. В. Анненков. Замечательное десятилетие. Литературные воспоминания, 266.

Таково было обаяние личности Пушкина, что когда за три месяца до смерти Гоголя я напомнил ему о Пушкине, то мог видеть, как переменилась, просветлела и оживилась его физиономия.

П. В. Анненков. Материалы для биографии Пушкина, 361.

С тех пор я уже не видал Гоголя, если не считать случайной встречи в Кремле после того. В четыре часа пополудни я ехал с братом-комендантом куда-то обедать, когда неожиданно повстречался с Гоголем, видимо направлявшимся в соборы к вечерне, на которую благовестили. Как бы желая отклонить всякое подозрение о цели своей дороги, он торопливо подошел к коляске и с находчивостью лукавого малоросса проговорил: «А я к вам шел, да, видно, не вовремя, прощайте!»

П. В. Анненков. Последняя встреча с Гоголем. Анненков и его друзья, 516.

(Около 13 октября.) Однажды я встретил Гоголя у сестры и объявил ему, что иду в театр, где дают «Ревизора», и что Шумский в первый раз играет роль Хлестакова. Гоголь поехал с нами, и мы поместились, едва достав ложу, в бенуаре. Театр был полон. Гоголь говорил, что Шумский лучше всех других актеров, петербургских и московских, передавал эту трудную роль, но не был доволен, сколько я помню, той сценой, где Хлестаков начинает завираться перед чиновниками. Он находил, что Шумский передавал этот монолог слишком тихо, вяло, с остановками, а он желал представить в Хлестакове человека, который рассказывает небылицы с жаром, с увлечением, который сам не знает, каким образом слова вылетают у него изо рта, который в ту минуту, как лжет, не думает вовсе, что он лжет, а просто рассказывает то, что грезится ему постоянно, чего он желал бы достигнуть, и рассказывает, как будто эти грезы его воображения сделались уже действительностью, но иногда в порыве болтовни заговаривается, действительность мешается у него с мечтами, и он от посланников, от управления департаментом, от приемной залы переходит, сам того не замечая, на пятый этаж, к кухарке Марфуше. «Хлестаков – это живчик, – говорил Гоголь, – он все должен делать скоро, живо, не рассуждая, почти бессознательно, не думая ни одной минуты, что из этого выйдет, как это кончится и как его

слова и действия будут приняты другими». Вообще, комедия в этот раз была сыграна превосходно. Многие в партере заметили Гоголя, и лорнеты стали обращаться на нашу ложу. Гоголь, видимо, испугался какой-нибудь демонстрации со стороны публики, а может быть, и вызовов, и после вышеописанной сцены вышел из ложи так тихо, что мы и не заметили его отсутствия. Возвратившись домой, мы застали его у сестры распивающим, по обыкновению, теплую воду с сахаром и красным вином.

Л. И. Арнольди. Рус. Вестн., 1862, XXXVII, 91.

Раз я видел Гоголя в Большом московском театре во время представления «Ревизора». Хлестакова играл Шумский, Городничего – Щепкин. Гоголь сидел в первом ряду, против середины сцены, слушал внимательно и раз или два хлопнул. Обыкновенно (как я слышал от друзей) он бывал не слишком доволен обстановкой своих пьес и ни одного Хлестакова не признавал вполне разрешившим задачу. Шумского чуть ли не находил он лучшим. Щепкин играл в его пьесах, по его мнению, хорошо. Это был один из самых близких к Гоголю людей. Все почти пьесы Гоголя шли в бенефис Щепкина и потому не дали автору ничего ровно.

Н. В. Берг. Воспоминания о Н. В. Гоголе. Рус. Стар., 1872, янв., 125.

Я видел Гоголя в театре на представлении «Ревизора»; он сидел в ложе бельэтажа, около самой двери, и, вытянув голову, с нервическим беспокойством поглядывал на сцену, через плечи двух дюжих дам, служивших ему защитой от любопытства публики. Мне указал на него сидевший рядом со мною Ф. Я быстро обернулся, чтобы посмотреть на него; он, вероятно, заметил это движение и немного отодвинулся назад, в угол. Меня поразила перемена, происшедшая в нем с 1841 года. Я раза два встретил его тогда у Авдотьи Петровны Елагиной. В то время он смотрел приземистым и плотным малороссом; теперь он казался худым и испитым человеком, которого уже успела на порядках измыкать жизнь. Какая-то затаенная боль и тревога, какое-то грустное беспокойство примешивалось к постоянно-проницательному выражению его лица.

И. С. Тургенев. Литературные и житейские воспоминания, III.

Однажды Ив. Серг. Тургенев приехал в Москву и посетил Щепкина, заявив ему при свидании, между прочим, что хотел бы познакомиться с Гоголем. Это было незадолго до смерти Гоголя. Щепкин ответил ему: «Если желаете, поедем к нему вместе». Тургенев возразил на это, что неловко: пожалуй, Николай Васильевич подумает, что он навязывается.

«Ох, батюшки мои, когда это вы, государи мои, доживете до того времени, что не будете так щепетильничать!» – заметил Щепкин Тургеневу, но тот стоял на своем, и Щепкин вызвался передать желание Тургенева Гоголю. Свой визит к Гоголю Щепкин передал так. Прихожу к нему. Гоголь сидит за церковными книгами. «Что это вы делаете? К чему эти книги читаете? Пора бы вам знать, что в них значится». – «Знаю, – ответил мне Гоголь, – очень хорошо знаю, но возвращаюсь к ним снова, потому что наша душа нуждается в толчках». – «Это так, – заметил я ему на это, – но толчком для мыслящей души может служить все, что рассеянно в природе, и пылинка, и цветок, и небо, и земля». Потом вижу, что Гоголь хмурится; я переменил разговор и сказал ему: «С вами, Николай Васильевич, желает познакомиться один русский писатель, но не знаю, желательно ли это будет вам». – «Кто же это такой?» – «Да человек довольно известный: вы, вероятно, слыхали о нем: это Иван Сергеевич Тургенев». Услыхав эту фамилию, Гоголь оживился, начал говорить, что он душевно рад и что просит меня побывать у него вместе с Иваном Сергеевичем на другой день, часа в три или четыре. Меня это страшно удивило, потому что Гоголь за последнее время держал себя особнячком и был очень неподатлив на новые знакомства. На другой день ровно в три часа мы с Тургеневым пожаловали к Гоголю. Он встретил нас весьма приветливо; когда же Тургенев сказал Гоголю, что некоторые произведения его, переведенные им, Тургеневым, на французский язык и читанные в Париже, произвели большое впечатление, Гоголь заметно был доволен и с своей стороны сказал несколько любезностей Тургеневу. Но вдруг побледнел, все лицо его искривилось злой улыбкой, и он в страшном беспокойстве спросил: «Почему Герцен позволяет себе оскорблять меня своими выходками в иностранных журналах?» Тут только я понял, – рассказывал Щепкин, – почему Гоголю так хотелось видеться с Тургеневым. Выслушав ответ Тургенева, Гоголь сказал: «Правда, и я во многом виноват, виноват тем, что послушался друзей, окружавших меня, и, если бы можно было воротить назад сказанное, я бы уничтожил мою «Переписку с друзьями». Я бы сжег ее». Тем и закончилось свидание между Гоголем и Тургеневым.

М. С. Щепкин по записи А. М. Щепкина. «М. С. Щепкин», 14, стр. 373.

Меня свел к Гоголю покойный Михаил Семенович Щепкин. Помню день нашего посещения: 20 октября 1851 года. Гоголь жил тогда в Москве, на Никитской, в доме Талызина, у графа Толстого. Мы приехали в час пополудни; он немедленно нас принял. Комната его находилась возле сеней, направо. Мы вошли в нее – и я увидел Гоголя, стоявшего перед конторкой с пером в руке. Он был одет в темное пальто, зеленый бархатный жилет и коричневые панталоны.

Увидев нас со Щепкиным, он с веселым видом пошел к нам навстречу и, пожав мне руку, промолвил: «Нам давно следовало быть знакомыми». Мы сели. Я – рядом с ним, на широком диване; Михаил Семенович – на креслах, возле него. Я попристальнее вгляделся в его черты. Его белокурые волосы, которые от висков падали прямо, как обыкновенно у казаков, сохранили еще цвет молодости, но уже заметно поредели; от его покатого, гладкого белого лба по-прежнему так и веяло умом. В небольших карих глазах искрилась временами веселость – именно веселость, а не насмешливость; но вообще, взгляд их казался усталым. Длинный, заостренный нос придавал физиономии Гоголя нечто хитрое, лисье; невыгодное впечатление производили также его одутловатые, мягкие губы под остриженными усами; в их неопределенных очертаниях выражались – так, по крайней мере, мне показалось – темные стороны его характера: когда он говорил, они неприятно раскрывались и выказывали ряд нехороших зубов; маленький подбородок уходил в широкий бархатный черный галстук. В осанке Гоголя, в его телодвижениях было что-то не профессорское, а учительское, – что-то, напоминавшее преподавателей в провинциальных институтах и гимназиях. «Какое ты умное, и странное, и больное существо!» – невольно думалось, глядя на него. Помнится, мы с Михаилом Семеновичем и ехали к нему как к необыкновенному, гениальному человеку, у которого что-то тронулось в голове... Вся Москва была о нем такого мнения. Михаил Семенович предупредил меня, что с ним не следует говорить о продолжении «Мертвых душ», об этой второй части, над которою он так долго и упорно трудился и которую он, как известно, сжег перед смертью; что он этого разговора не любит. О «Переписке с друзьями» я сам не упомянул бы, так как ничего не мог сказать о ней хорошего. Впрочем, я и не готовился ни к какой беседе, а просто жаждал видеться с человеком, творения которого я чуть не знал наизусть. Нынешним молодым людям даже трудно растолковать обаяние, окружавшее тогда его имя.

Щепкин заранее объявил мне, что Гоголь не словоохотлив; на деле вышло иначе. Гоголь говорил много, с оживлением, размеренно отталкивая и отчеканивая каждое слово, – что не только не казалось неестественным, но, напротив, придавало его речи какую-то приятную вескость и впечатлительность. Он говорил на о; других, для русского слуха менее любезных, особенностей малороссийского говора я не заметил. Все выходило ладно, складно, вкусно и метко. Впечатление усталости, болезненного, нервического беспокойства, которое он сперва произвел на меня, исчезло. Он говорил о значении литературы, о призвании писателя, о том, как следует относиться к собственным произведениям; высказал несколько тонких и верных замечаний о самом процессе работы, самой, если можно так выразиться, физиологии сочинительства; и все это – языком оригинальным – и, сколько я мог заметить, нимало не подготовленным заранее, как это сплошь да рядом

бывает у «знаменитостей». Только когда он завел речь о цензуре, чуть не возвеличивая, чуть не одобряя ее как средство развивать в писателе сноровку, умение защищать свое детище, терпение и множество других христианских и светских добродетелей, – только тогда мне показалось, что он черпает из готового арсенала. Притом, доказывать таким образом необходимость цензуры – не значило ли рекомендовать и почти похваливать хитрость и лукавство рабства. Я могу еще допустить стих итальянского поэта: «Si, servi siam: ma servi ognor frementi (мы рабы… да; но рабы, вечно негодующие)»; но самодовольное смирение и плутовство рабства… нет! лучше не говорить об этом. В подобных измышлениях и рассудительствах Гоголя слишком явно выказывалось влияние тех особ высшего полета, которым посвящена большая часть «переписки»: оттуда шел этот затхлый и пресный дух. Вообще, я скоро почувствовал, что между миросозерцанием Гоголя и моим лежала целая бездна. Не одно и то же мы ненавидели, не одно любили; но в ту минуту в моих глазах все это не имело важности. Великий поэт, великий художник был передо мною, и я глядел на него, слушал его с благоговением, даже когда не соглашался с ним.

Гоголь, вероятно, знал мои отношения к Белинскому, к Искандеру; о первом из них, об его письме к нему – он не заикнулся: это имя обожгло бы его губы. Но в то время только что появилась – в одном заграничном издании – статья Искандера (*Герцена*), в которой он по поводу пресловутой «Переписки» упрекал Гоголя в отступничестве от прежних убеждений. Гоголь сам заговорил об этой статье. Из его писем, напечатанных после его смерти (О! какую услугу оказал бы ему издатель, если б выкинул из них целые две трети или, по крайней мере, все те, которые писаны к светским дамам… более противной смеси гордыни и подыскивания, ханжества и тщеславия, пророческого и прихлебательского тона – в литературе не существует!) – из писем Гоголя мы знаем, какою неизлечимой раной залегло в его сердце полное фиаско его «Переписки» – это фиаско, в котором нельзя не приветствовать одно из немногих утешительных проявлений тогдашнего общественного мнения. И мы с покойным М. С. Щепкиным были свидетелями в день нашего посещения, до какой степени эта рана наболела. Гоголь начал уверять нас внезапно изменившимся, торопливым голосом, что не может понять, почему в прежних его сочинениях некоторые люди находят какую-то оппозицию, что-то такое, чему он изменил впоследствии; что он всегда придерживался одних и тех же религиозных и охранительных начал и, в доказательство того, готов нам указать на некоторые места в одной своей уже давно напечатанной книге… Промолвив эти слова, Гоголь с почти юношеской живостью вскочил с дивана и побежал в соседнюю комнату. Михаил Семенович только брови возвел горе – и указательный палец поднял… «Никогда таким его не видал», – шепнул он мне…

Гоголь вернулся с томом «Арабесок» в руках и начал читать на выдержку некоторые места одной из тех детски напыщенных и утомительно пустых статей, которыми наполнен этот сборник. Помнится, речь шла о необходимости строгого порядка, безусловного повиновения властям и т. п. «Вот, видите, – твердил Гоголь: – Я и прежде всегда то же думал, точно такие же высказывал убеждения, как и теперь… С какой же стати упрекать меня в измене, в отступничестве?.. Меня?!» И это говорил автор «Ревизора», одной из самых отрицательных комедий, какие когда-либо являлись на сцене! Мы с Щепкиным молчали. Гоголь бросил, наконец, книгу на стол и снова заговорил об искусстве, о театре; объявил, что остался недоволен игрою актеров в «Ревизоре», что они «тон потеряли» и что он готов им прочесть всю пьесу с начала до конца. Щепкин ухватился за это слово и тут же уладил, где и когда читать. Какая-то старая барыня приехала к Гоголю; она привезла ему просфору с вынутой частицей. Мы удалились.

И. С. Тургенев. Литературные и житейские воспоминания, III, Гоголь.

Тургенев был у Гоголя в Москве, тот принял его радушно, протянул руку, как товарищу, и сказал ему: «У вас есть талант; не забывайте же: талант есть дар божий и приносит десять талантов за то, что создатель вам дал даром. Мы обнищали в нашей литературе, обогатите ее. Главное, – не спешите печатать, обдумывайте хорошо. Пусть скорее создастся повесть в вашей голове, и тогда возьмитесь за перо, марайте и не смущайтесь. Пушкин беспощадно марал свою поэзию, его рукописей теперь никто не поймет: так они перемараны».

А. О. Смирнова. Автобиография, 308.

Впервые в жизни я увидел Гоголя за четыре месяца до его кончины. Это случилось осенью, в 1851 году. Находясь тогда в Москве с служебным поручением товарища министра народного просвещения А. С. Норова, я получил от старого своего знакомого, московского профессора О. М. Бодянского, записку, в которой он извещал меня, что один из наших земляков-украинцев, А-й, которого перед тем я у него видел, предполагал петь малорусские песни у Гоголя и что Гоголь, узнав, что и у меня собрана коллекция украинских народных песен, с нотами, просил Бодянского пригласить к себе и меня. В назначенный час я отправился к О. М. Бодянскому, чтобы ехать с ним к Гоголю. Бодянский тогда жил у Старого Вознесения, на Арбате, на углу Мерзляковского переулка. Он встретил меня словами: «Ну, земляче, едем; вкусим от благоуханных, сладких сотов родной украинской музыки». Мы сели на извозчичьи дрожки и поехали по соседству на Никитский бульвар, к дому Талызина, где, в квартире графа А. П. Толстого, в то время жил Гоголь. Теперь (1886 г.) этот дом принадлежит Н. А. Шереметевой. Он не перестроен,

имеет, как и тогда, 16 окон во двор и пять на улицу, в два этажа, с каменным балконом, на колоннах, во двор. Было около полудня.

Въехав в каменные ворота высокой ограды, направо, к балконной галерее дома Талызина, мы вошли в переднюю нижнего этажа. Старик, слуга графа Толстого, приветливо указал нам на дверь из передней направо. «Не опоздали?» – спросил Бодянский, обычною своею ковыляющею походкой проходя в эту дверь. «Пожалуйте, ждут-с!» – ответил слуга. Бодянский прошел приемную и остановился перед следующею, затворенною дверью в угольную комнату, два окна которой выходили во двор и два на бульвар. Я догадался, что это был рабочий кабинет Гоголя. Бодянский постучался в дверь этой комнаты. «Чи дома, брате Миколо?» – спросил он по-малорусски. «А дома ж, дома!» – негромко ответил кто-то оттуда. Дверь растворилась. У ее порога стоял Гоголь. Мы вошли в кабинет. Бодянский представил меня Гоголю, сказав ему, что я служу при Норове и что с ним, Бодянским, давно знаком через Срезневского и Плетнева. «А где же наш певец?» – спросил, оглядываясь, Бодянский. «Надул, к Щепкину поехал на вареники! – ответил с видимым неудовольствием Гоголь: – Только что прислал извинительную записку, будто забыл, что раньше нас дал слово туда». – «А может быть, и так, – сказал Бодянский, – вареники не свой брат».

Разговаривая с Бодянским, Гоголь то плавно прохаживался по комнате, то садился в кресло к столу, за которым Бодянский и я сидели на диване, и изредка посматривал на меня. Среднего роста, плотный и с совершенно здоровым цветом лица, он был одет в темно-коричневое, длинное пальто и в темно-зеленый бархатный жилет, наглухо застегнутый до шеи, у которого, поверх атласного черного галстука, виднелись белые, мягкие воротнички рубахи. Его длинные, каштановые волосы прямыми космами спадали ниже ушей, слегка загибаясь над ними. Тонкие, темные, шелковистые усики чуть прикрывали полные, красивые губы, под которыми была крохотная эспаньолка. Небольшие карие глаза глядели ласково, но осторожно и не улыбаясь даже тогда, когда он говорил что-либо веселое и смешное. Длинный, сухой нос придавал этому лицу и этим, сидевшим по его сторонам, осторожным глазам что-то птичье, наблюдающее и вместе добродушно-горделивое. Так смотрят с кровель украинских хуторов, стоя на одной ноге, внимательно-задумчивые аисты. Гоголь в то время был очень похож на свой портрет, писанный с него в Риме, в 1841 году, знаменитым Ивановым. Этому портрету он, как известно, отдавал предпочтение перед другими. Успокоясь от невольного, охватившего меня смущения, я стал понемногу вслушиваться в разговор Гоголя с Бодянским. «Надо, однако же, все-таки вызвать нашего Рубини, – сказал Гоголь, присаживаясь к столу, – не я один, и Аксаковы хотели бы его послушать... Особенно Надежда Сергеевна». – «Устрою, берусь, –

ответил Бодянский, – если только тут не другая причина и если наш земляк от здешних угощений не спал с голоса... А что это у вас за рукописи?» – спросил Бодянский, указывая на рабочую красного дерева конторку, стоявшую налево от входных дверей, за которою Гоголь перед нашим приходом, очевидно, работал стоя. «Так себе, мараю по временам!» – небрежно ответил Гоголь. На верхней части конторки были положены книги и тетради; на ее покатой доске, обитой зеленым сукном, лежали раскрытые, мелко написанные и перемаранные листы. «Не второй ли том «Мертвых душ»?» – спросил, подмигивая, Бодянский. «Да... иногда берусь, – нехотя проговорил Гоголь, – но работа не подвигается; иное слово вытягиваешь клещами...» – «Что же мешает? У вас тут так удобно, тихо». – «Погода, убийственный климат. Невольно вспоминаешь Италию, Рим, где писалось лучше и так легко. Хотел было на зиму уехать в Крым, к Княжевичу, там писать; думал завернуть и на родину, к своим – туда звали на свадьбу сестры Елизаветы Васильевны...» Ел. В. Гоголь тогда вышла замуж за саперного офицера Быкова. «За чем же дело стало?» – спросил Бодянский. «Едва добрался до Калуги и возвратился. Дороги невозможные, простудился, да и времени пришлось бы столько потратить на одни переезды. А тут еще затеял новое, полное издание своих сочинений». – «Скоро ли оно выйдет?» – «В трех типографиях начал печатать, – ответил Гоголь. – Будет четыре больших тома. Сюда войдут все повести, драматические вещи и обе части «Мертвых душ». Пятый том я напечатаю позже, под заглавием «Юношеские опыты». Сюда войдут и некоторые журнальные статьи, статьи из «Арабесок» и прочее». – «А «Переписка»?» – спросил Бодянский. «Она войдет в шестой том; там будут помещены письма к близким и родным, изданные и неизданные. Но это уж, разумеется, явится... после моей смерти». Слово «смерть» Гоголь произнес совершенно спокойно, и оно тогда не прозвучало ничем особенным, ввиду полных его сил и здоровья. Бодянский заговорил о типографиях и стал хвалить какую-то из них. Речь коснулась и Петербурга. «Что нового и хорошего у вас, в петербургской литературе?» – спросил Гоголь, обращаясь ко мне. Я ему сообщил о двух новых поэмах тогда еще молодого, но уже известного поэта Ап. Ник. Майкова: «Савонарола» и «Три смерти». Гоголь попросил рассказать их содержание. Исполняя его желание, я наизусть прочел выдержки из этих произведений, ходивших тогда в списках. «Да это прелесть, совсем хорошо! – произнес, выслушав мою неумелую декламацию, Гоголь. – Еще, еще...» Он совершенно оживился, встал и опять начал ходить по комнате. Вид осторожно-задумчивого аиста исчез. Передо мною был счастливый, вдохновенный художник. Я еще прочел отрывки из Майкова. «Это так же закончено и сильно, как терцеты Пушкина, – во вкусе Данта, – сказал Гоголь. – Осип Максимович, а? – обратился он к Бодянскому: – Ведь это праздник! Поэзия не умерла. Не оскудел князь от Иуды и вождь от чресл его... А выбор сюжета, а краски, колорит? Плетнев присылал кое-что, и я

сам помню некоторые стихи Майкова». Он прочел, с оригинальною интонацией, две начальные строки известного стихотворения из «Римских очерков» Майкова:

Ах чудное небо, ей-богу, над этим классическим Римом!

Под этаким небом невольно художником станешь!

«Не правда ли, как хорошо?» – спросил Гоголь. Бодянский с ним согласился. «Но то, что вы прочли, – обратился ко мне Гоголь, – это уже иной шаг. Беру с вас слово – прислать мне из Петербурга список этих поэм». Я обещал исполнить желание Гоголя. «Да, – продолжал он, прохаживаясь, – я застал богатые всходы...» – «А Шевченко?» – спросил Бодянский. Гоголь с секунду промолчал и нахохлился. На нас из-за конторки снова посмотрел осторожный аист. «Как вы его находите?» – повторил Бодянский. «Хорошо, что и говорить, – ответил Гоголь: – Только не обидьтесь, друг мой... вы – его поклонник, а его личная судьба достойна всякого участия и сожаления...» – «Но зачем вы примешиваете сюда личную судьбу? – с неудовольствием возразил Бодянский: – Это постороннее... Скажите о таланте, о его поэзии...» – «Дегтю много, – негромко, но прямо проговорил Гоголь, – и даже прибавлю, дегтю больше, чем самой поэзии. Нам-то с вами, как малороссам, это, пожалуй, и приятно, но не у всех носы, как наши. Да и язык...» Бодянский не выдержал, стал возражать и разгорячился. Гоголь отвечал ему спокойно. «Нам, Осип Максимович, надо писать по-русски, – сказал он, – надо стремиться к поддержке и упрочению одного, владычного языка для всех родных нам племен. Доминантой для русских, чехов, украинцев и сербов должна быть единая святыня – язык Пушкина, какою является евангелие для всех христиан, католиков, лютеран и гернгутеров. А вы хотите провансальского поэта Жасмена поставить в уровень с Мольером и Шатобрианом!» – «Да какой же это Жасмен? – крикнул Бодянский. – Разве их можно равнять? Что вы? Вы же сами малоросс!», – «Нам, малороссам и русским, нужна одна поэзия, спокойная и сильная, – продолжал Гоголь, останавливаясь у конторки и опираясь на нее спиной, нетленная поэзия правды, добра и красоты. Я знаю и люблю Шевченка, как земляка и даровитого художника; мне удалось и самому кое-чем помочь в первом устройстве его судьбы. Но его погубили наши умники, натолкнув его на произведения, чуждые истинному таланту. Они все еще дожевывают европейские, давно выкинутые жваки. Русский и малоросс – это души близнецов, пополняющие одна другую, родные и одинаково сильные. Отдавать предпочтение, одной в ущерб другой, невозможно. Нет, Осип Максимович, не то нам нужно, не то. Всякий, пишущий теперь, должен думать не о розни; он должен прежде всего поставить себя перед лицо того, кто дал нам вечное человеческое слово...» Долго еще Гоголь говорил в этом духе. Бодянский молчал, но, очевидно, далеко не

соглашался с ним. «Ну, мы вам мешаем, пора нам и по домам!» – сказал, наконец, Бодянский, вставая. Мы раскланялись и вышли. «Странный человек, – произнес Бодянский, когда мы снова очутились на бульваре, – на него как найдет. Отрицать значение Шевченка! Вот уж, видно, не с той ноги сегодня встал». Вышеприведенный разговор Гоголя я тогда же сообщил на родину близкому мне лицу, в письме, по которому впоследствии и внес его в мои начатые воспоминания. Мнение Гоголя о Шевченке я не раз, при случае, передавал нашим землякам. Они пожимали плечами и с досадой объясняли его посторонними, политическими соображениями, как и вообще все тогдашнее настроение Гоголя.

Г. П. Данилевский. Знакомство с Гоголем. Сочинения Г. П. Данилевского. Изд. 9-е. 1902. Т. XIV, стр. 92—100.

31 окт. 1851 г. – Вечер у Аксакова с Подгорецким, штаб-лекарем (родом из Киевской губернии и моим старым знакомым) и Гр. П. Данилевским, тоже малороссом, служащим чиновником при товарище министра народного просвещения Норове; пение разных малороссийских песен, к чему приглашены были Гоголем, с коим я познакомил Данилевского.

О. М. Бодянский. Дневник. Рус. Стар. 1889, окт., 134.

Вторично я увидел Гоголя вскоре после первого с ним свидания, а именно 31 октября. Повод к этому подала новая моя встреча у Бодянского с украинским певцом и полученное мною, вслед за тем, от Бодянского нижеследующее письмо.

«30 октября 1851 года, вторник.

Извещаю вас, что земляк, с которым вы на днях виделись у меня, поет и теперь, и охотно споет нам у Гоголя. Я писал этому последнему; только пение он назначил не у себя, а у Аксаковых, которые, узнав об этом, упросили его на такую уступку. Если вам угодно, пожалуйте ко мне завтра, часов в 6 вечера; мы отправимся вместе. Ваш О. Б.».

В назначенный вечер, 31 октября, Бодянский, получив приглашение Аксаковых, привез меня в их семейство, на Поварскую. Здесь он представил меня седому плотному господину, с бородой и в черном, на крючках, зипуне, знаменитому автору «Семейной хроники», Сергею Тимофеевичу Аксакову; его добродушной, полной и еще бодрой жене Ольге Семеновне; их молодой и красивой, с привлекательными глазами, дочери, девице Надежде Сергеевне, и обоим их сыновьям, в то время уже

известным писателям-славянофилам, Константину и Ивану Сергеевичам.

Гоголь в назначенный вечер приехал к Аксаковым значительно позже Бодянского и меня. Все посматривали на дверь, ожидая Гоголя и приглашенного певца. Ни тот, ни другой еще не являлись.

Подъехал, наконец, Гоголь. Любезно поздоровавшись и пошутив насчет нового запоздания певца, он после первого стакана чаю сказал Над. С. Аксаковой: «Не будем терять дорогого времени», – и просил ее спеть. Она очень мило и совершенно просто согласилась. Все подошли к роялю. Н. С. Аксакова развернула тетрадь малорусских песен, из которых некоторые были ею положены на ноты с голоса самого Гоголя. «Что спеть?» – спросила она. «Чоботы», – ответил Гоголь. Н. С. Аксакова спела «Чоботы», потом «Могилу», «Солнце низенько» и другие песни.

Гоголь остался очень доволен пением молодой хозяйки, просил повторять почти каждую песню и был вообще в отличном расположении духа. Заговорили о малорусской народной музыке вообще, сравнивая ее с великорусскою, польскою и чешскою. Бодянский все посматривал на дверь, ожидая появления приглашенного им певца.

Помню, что спели какую-то украинскую песню даже общим хором. Кто-то в разговоре, которым прерывалось пение, сказал, что кучер Чичикова Селифан, участвующий, по слухам, во втором томе «Мертвых душ» в сельском хороводе, вероятно, пел и только что исполненную песню. Гоголь, взглянув на Н. С. Аксакову, ответил с улыбкой, что, несомненно, Селифан пел и «Чоботы», и даже при этом лично показал, как Селифан высоко деликатными кучерскими движениями, вывертом плеча и головы должен был дополнять среди сельских красавиц свое «заливисто-фистульное» пение. Все улыбались, от души радуясь, что знаменитый гость был в духе. Но не прошло после того и десяти минут, Гоголь вдруг замолк, насупился и его хорошее настроение бесследно исчезло. Усевшись в стороне от чайного стола, он как-то весь вошел в себя и почти уже не принимал участия в общей длившейся беседе. Это меня поразило. Зная его обычай, Аксаковы не тревожили его обращениями к нему и, хотя, видимо, были смущены, покорно ждали, что он снова оживится.

Что вызвало в Гоголе эту неожиданную перемену в его настроении, – новая ли, непростительная небрежность приглашенного певца, который и в этот вечер так и не явился, или случайное напоминание в дорогой ему семье о неоконченной и мучившей его второй части «Мертвых душ», – не знаю. Только Гоголь пробыл здесь еще с небольшим полчаса, посидел, молча, как бы сквозь дремоту прислушиваясь к тому, о чем говорили возле него, встал и взял шляпу. «В Америке обыкновенно

посидят, посидят, – сказал он, через силу улыбаясь, – да и откланиваются». – «Куда же вы, Николай Васильевич, куда?» – всполошились хозяева. «Насладившись столь щедрым пением обязательного земляка, – ответил он, – надо и восвояси. Нездоровится что-то. Голова, как в тисках». Его не удерживали. «А вы долго ли еще здесь пробудете?» – спросил Гоголь, обратившись, на пути к двери, ко мне. «Еще с неделю», – ответил я, провожая его с Бодянским и И. С. Аксаковым. «Вы, по словам Осипа Максимовича, перевели драму Шекспира «Цимбелин». Кто вам указал на эту вещь?» – «Плетнев». – «Узнаю его… «Цимбелин» был любимою драмой Пушкина; он ставил его выше «Ромео и Юлии». Гоголь уехал.

Г. П. Данилевский. Соч., XIV, 100–103.

5 ноября происходило чтение «Ревизора» в одной из зал того дома, где проживал Гоголь. Я выпросил позволение присутствовать на этом чтении. Покойный профессор Шевырев также был в числе слушателей и – если не ошибаюсь – Погодин. К великому моему удивлению, далеко не все актеры, участвовавшие в «Ревизоре», явились на приглашение Гоголя: им показалось обидным, что их словно хотят учить. Ни одной актрисы также не приехало. Сколько я мог заметить. Гоголя огорчил этот неохотный и слабый отзыв на его предложение… Известно, до какой степени он скупился на подобные милости. Лицо его приняло выражение угрюмое и холодное; глаза подозрительно насторожились. В тот день он смотрел, точно, больным человеком. Он принялся читать и понемногу оживился. Щеки покрылись легкой краской; глаза расширились и посветлели. Читал Гоголь превосходно… Я слушал его тогда в первый – ив последний раз. Гоголь поразил меня чрезвычайно простотой и сдержанностью манеры, какой-то важной и в то же время наивной искренностью, которой словно и дела нет, есть ли тут слушатели и что они думают. Казалось, Гоголь только и заботился о том, как бы вникнуть в предмет, для него самого новый, как бы вернее передать собственное впечатление. Эффект выходил необычайный, особенно в комических, юмористических местах; не было возможности не смеяться – хорошим, здоровым смехом; а виновник всей этой потехи продолжал, не смущаясь общей веселостью и как бы внутренне дивясь ей, все более и более погружаться в самое дело, и лишь изредка, на губах и около глаз, чуть заметно трепетала лукавая усмешка мастера. С каким недоумением, с каким изумлением Гоголь произнес знаменитую фразу Городничего о двух крысах (в самом начале пьесы): «Пришли, понюхали и пошли прочь». Он даже медленно оглянул нас, как бы спрашивая объяснения такого удивительного происшествия. Я только тут понял, как вообще неверно, поверхностно, с каким желанием только поскорей насмешить обыкновенно разыгрывается на сцене «Ревизор». Я сидел, погруженный в радостное умиление: это был для меня настоящий пир и

праздник. К сожалению, он продолжался недолго. Гоголь еще не успел прочесть половину первого акта, как вдруг дверь шумно растворилась и, торопливо улыбаясь и кивая головой, промчался через всю комнату один еще очень молодой, но уже необыкновенно назойливый литератор и, не сказав никому ни слова, поспешил занять место в углу. Гоголь остановился, с размаху ударил рукой по звонку – и с сердцем заметил вошедшему камердинеру: «Ведь я велел тебе никого не впускать». Молодой литератор слегка пошевелился на стуле, а впрочем, не смутился нисколько. Гоголь отпил немного воды и снова принялся читать; но уже это было совсем не то. Он стал спешить, бормотать себе под нос, не доканчивать слов; иногда он пропускал целые фразы – и только махал рукою. Неожиданное появление литератора его расстроило: нервы его, очевидно, не выдерживали малейшего толчка. Только в известной сцене, где Хлестаков запирается, Гоголь снова ободрился и возвысил голос: ему хотелось показать исполнявшему роль Ивана Александровича, как должно передавать это действительно затруднительное место. В чтении Гоголя оно показалось мне естественным и правдоподобным. Хлестаков увлечен и странностью своего положения, и окружающей его средой, и собственной легкомысленной юркостью; он и знает, что врет, – и верит своему вранью: это нечто вроде упоения, наития, сочинительского восторга, это не простая ложь, не простое хвастовство. Его самого «подхватило». «Просители в передней жужжат, 35 тысяч эстафетов скачет, – а дурачье, мол, слушает, развесив уши, и какой я, мол, бойкий, игривый, светский молодой человек!»

Вот какое впечатление производил в устах Гоголя хлестаковский монолог. Но, вообще говоря, чтение «Ревизора» в тот день было, – как Гоголь сам выразился, – не более как намек, эскиз; и все по милости непрошеного литератора, который простер свою нецеремонность до того, что остался после всех у побледневшего, усталого Гоголя и втерся за ним в его кабинет.

В сенях я расстался с ним и уже никогда не увидал его больше.

И. С. Тургенев. Литературные и житейские воспоминания, III, Гоголь.

Тогдашний сотрудник «Москвитянина» Н. В. Берг пригласил меня от имени С. П. Шевырева на вечер к последнему. Здесь зашла речь о Гоголе, и Шевырев сообщил, что Гоголь, оставшись на днях недоволен игрою некоторых московских актеров в «Ревизоре», предложил, по совету Щепкина, лично прочесть главные сцены этой комедии Шумскому, Самарину и другим артистам.

Это чтение описано И. С. Тургеневым в его литературных воспоминаниях. В описании И. С. Тургенева вкрались некоторые

неверности, особенно в изображении Гоголя, на которого он в то время глядел, очевидно, глазами тогдашней, враждебной Гоголю и дружеской ему самому критики. Он не только в лице Гоголя усмотрел нечто хитрое, даже лисье, а под его «остриженными» усами ряд «нехороших зубов», чего в действительности не было, но даже уверяет, будто в ту пору Гоголь в «своих произведениях рекомендовал хитрость и лукавство раба». Чтение, как удостоверяют сохраненные у меня письма, было 5 ноября.

Чтение «Ревизора» происходило во второй комнате квартиры гр. А. П. Толстого, влево от прихожей, которая отделяла эту квартиру от помещения самого Гоголя.

Стол, вокруг которого, на креслах и стульях, уселись слушатели, стоял направо от двери, у дивана против окон во двор. Гоголь читал, сидя на диване. В числе слушателей были: С. Т. и С. И. Аксаковы, С. П. Шевырев, И. С. Тургенев, Н. В. Берг и другие писатели, а также актеры М. С. Щепкин, П. М. Садовский и Шумский. Никогда не забуду чтения Гоголя. Особенно он неподражаемо прочел монологи Хлестакова и Ляпкина-Тяпкина и сцену между Бобчинским и Добчинским. «У вас зуб со свистом», – произнес серьезно и внушительно Гоголь, грозя кому-то глазами и даже пришепетывая при этом, будто у него свистел зуб. Неудержимый смех слушателей изредка невольно прерывал его. Высоко-художественное и оживленное чтение под конец очень утомило Гоголя. Его сил как-то вообще хватало ненадолго. Когда он дочитал заключительную сцену комедии, с письмом, и поднялся с дивана, очарованные слушатели долго стояли группами, вполголоса передавая друг другу свои впечатления. Щепкин, отирая слезы, обнял чтеца и стал объяснять Шумскому, в чем главные силы роли Хлестакова. Я подошел к С. Т. Аксакову и спросил его, какое письмо он или его жена, по словам Бодянского, предполагали доставить через меня в Малороссию. «Не мы, а вот Николай Васильевич имеет к вам просьбу, – ответил С. Т. Аксаков, указывая мне на Гоголя, – Бодянский не понял слов моей жены, ошибся. Нам поручили вас предупредить, если вы еще не уехали». – «Да, – произнес, обращаясь ко мне, Гоголь, – повремените минуту; у меня есть маленькая посылка в Петербург к Плетневу. Я не знал вашего адреса. Это вас не стеснит?» Я ответил, что готов исполнить его желание, и остался. Когда все разъехались, Гоголь велел слуге взять свечи со стола из комнаты, где было чтение, и провел меня на свою половину. Здесь, в знакомом мне кабинете, он предложил мне сесть, отпер конторку и вынул из нее небольшой сверток бумаг и запечатанный сургучом пакет. «Не откажите, – сказал Гоголь, подавая мне пакет, – если только вас не затруднит, вручить это лично, при свидании, Петру Александровичу Плетневу». Увидев надпись на пакете со «вложением», я спросил, не деньги ли здесь. «Да, – ответил Гоголь, запирая ключом конторку, – небольшой должок Петру Александровичу. Мне бы не хотелось через

почту». Видя усталость Гоголя, я встал и поклонился, с целью уйти. «Вы мне читали чужие стихи, – сказал Гоголь, приветливо взглянув на меня, и я никогда не забуду этого взгляда его усталых, покрасневших от чтения глаз. – А ваши украинские сказки в стихах? Мне о них говорили Аксаковы. Прочтите что-нибудь из них». Я, смутясь, ответил, что ничего своего не помню. Гоголь, очевидно желая, во что бы то ни стало, сделать мне что-либо приятное, опять посадил меня возле себя и сказал: «Кто пишет стихи, наверное их помнит. В ваши годы они у меня торчали из всех карманов». И он, как мне показалось, даже посмотрел на боковой карман моего сюртука. Я снова ответил, что положительно ничего не помню наизусть из своих стихов. «Так расскажите своими словами». Я передал содержание написанной мною перед тем сказки «Снегурка». «Слышал эту сказку и я, желаю успеха, пишите! – сказал Гоголь. – В природе и ее правде черпайте свои краски и силы. Слушайте Плетнева… Нынешние не ценят его и не любят… а на нем, не забывайте, почиет рукоположение нашего первоапостола, Пушкина…»

Я простился с Гоголем и более в жизни уже не видел его. Возвратясь в Петербург, я в тот же день вечером отвез врученные мне сверток и пакет к Плетневу, О свертке он сказал: «знаю» – и положил его на стол. Распечатав пакет и увидев в нем пачку депозиток, Плетнев спросил меня: «А письма нет?» Я ответил, что Гоголь, передавая мне пакет, сказал только: «Должок Плетневу». Плетнев запер деньги в стол, помолчал и с обычною своею добродушною важностью сказал: «Как видите, он и здесь верен себе; это – его обычное, с оказиями, пособие через меня нашим беднейшим студентам. Фицтум раздает и не знает, откуда эти пособия». А. И. Фицтум был в те годы инспектором студентов Петербургского университета.

Г. П. Данилевский. Соч., XIV, 104–107.

После чтения актерам «Ревизора» Гоголь опять явился в театре (в ложе позади других) посмотреть, как исполняется пьеса после его замечаний, и остался доволен игрою более, нежели в прежнее время, особенно Хлестаковым, которого в это время играл уже Шумский, пользовавшийся его наставлениями.

А. Т. Тарасенков, 4.

В самое последнее свидание с моей женой Гоголь сказал, что он не будет печатать второго тома («Мертвых душ»), что в нем все никуда не годится и что надо все переделать. Только про первую главу второго тома он сказал мне, что она получила последнее прикосновение, была тронута кистью художника, говоря техническим языком живописцев. Он сказал это потому, что при вторичном чтении той же главы для моего сына Ивана я заметил многие изменения.

С. Т. Аксаков – С. П. Шевыреву, в 1852 г. Рус. Арх., 1878, II, 54.

Здоровье мое понемногу поправляется, хоть и не могу похвалиться совершенным восстановлением его… Теперь у вас голова, я замечаю, наполнена мыслями о женитьбах. Гоните от себя эти мысли: они мешают заниматься настоящим. Разве женитьбу Лизы вы устроили? Ни вы, ни я не имели этого в предмете. Это устроил бог для нее. Нужно было выйти замуж, она и вышла; так же как для иной другой – то, чтоб она не выходила замуж, и она не выходит.

Гоголь – матери, 20 ноября 1851 г., из Москвы. Письма, IV, 410.

Граф А. П. Толстой передал мне ваш поклон и рассказал мне о своем душеусладном пребывании у вас во Ржеве. Благодарю вас много и много за то, что содержите меня в памяти вашей. Одна мысль о том, что вы молитесь обо мне, уже поселяет в душу надежду, что бог удостоит поработать ему лучше, чем как работал доселе немощный, ленивый и бессильный. Ваши два последние письма держу при себе неотлучно. Всякий раз, когда их в тишине перечитываю, вижу новое в них, прежде не замеченное указание и напутствие и всякий раз благодарю бога, помогшего вам написать их. Не забывайте меня, добрая душа, в молитвах ваших. Знаете и сами, как они мне нужны.

Гоголь – о. Матвею. 28 ноября 1851 г. Письма. IV, 412.

В 1855 или 1856 году мне пришлось присутствовать при разговоре о. Матфея (*Константиновского*) с Т. И Филипповым о Гоголе. По словам о. Матфея, в то время, во время знакомства его с Гоголем, Гоголь был не прежний Гоголь, а больной, совершенно больной человек, изнуренный постоянными болезнями, цвет лица был землянистый, пальцы опухли; вследствие тяжких продолжительных страданий художественный талант его угасал и даже почти угас, – это чувствовал Гоголь: и к страданиям тела присоединились внутренние страдания. Старость надвигалась, силы ослабели, и особенно сильно преследовал его страх смерти. В таком состоянии невольно возбуждается мысль о боге, о своей греховности. «Он искал умиротворения и внутреннего очищения». – «От чего же очищения?» – спросил Т. И. Филиппов. «В нем была внутренняя нечистота». – «Какая же?» – «Нечистота была, и он старался избавиться от ней, но не мог. Я помог ему очиститься, и он умер истинным христианином», – сказал о. Матфей. С ним повторилось обыкновенное явление русской жизни. Наша русская жизнь немало имеет примеров того, что сильные натуры, наскучивши суетой мирской или находя себя неспособными к прежней широкой деятельности, покидали все и уходили в монастырь искать внутреннего умиротворения и очищения своей совести. Так было и с Гоголем. «Что ж тут худого, что

я Гоголя сделал истинным христианином?» – «Вас обвиняют в том, что, как духовный отец Гоголя, вы запретили писать ему светские творения». – «Неправда. Художественный талант есть дар божий. Запрещения на дар божий положить нельзя; несмотря на все запрещения, он проявится, и в Гоголе временно он проявлялся, но не в такой силе, как прежде. Правда, я советовал ему написать что-нибудь о людях добрых, т. е. изобразить людей положительных типов, а не отрицательных, которых он так талантливо изображал. Он взялся за это дело, но неудачно». – «Говорят, что вы посоветовали Гоголю сжечь второй том «Мертвых душ»?» – «Неправда, и неправда… Гоголь имел обыкновение сожигать свои неудавшиеся произведения и потом снова восстановлять их в лучшем виде. Да едва ли у него был готов второй том: по крайней мере, я не видал его. Дело было так: Гоголь показал мне несколько разрозненных тетрадей с надписями: глава, как обыкновенно писал он главами. Помню, на некоторых было надписано: глава I, II, III, потом, должно быть, VII, а другие были без означения; просил меня прочитать и высказать свое суждение. Я отказывался, говоря, что я не ценитель светских произведений, но он настоятельно просил, и я взял и прочел. Но в этих произведениях был не прежний Гоголь. Возвращая тетради, я воспротивился опубликованию некоторых из них. В одной или двух тетрадях был описан священник. Это был живой человек, которого всякий узнал бы, и прибавлены были такие черты, которых… во мне нет, да к тому же еще с католическими оттенками, и выходил не вполне православный священник. Я воспротивился опубликованию этих тетрадей, даже просил уничтожить. В другой из тетрадей были наброски… только наброски какого-то губернатора, каких не бывает. Я советовал не публиковать и эту тетрадь, сказавши, что осмеют за нее даже больше, чем за «Переписку с друзьями»…»

Протоиерей Ф. И. Образцов. «О. Матфей Константиновский (по моим воспоминаниям)». Тверские Епархиальные Ведомости, 1902, № 5.

Отец Матвей Александрович Константиновский родился в 1792 г. и умер в 1857 г., сын священника с. Константинова, Новоторжского уезда. Тверской губ., воспитанник тверской семинарии, поступил дьяконом в с. Осечно, Вышневолоцкого уезда, откуда, по прошествии семи лет, был переведен, по особому распоряжению архиепископа Филарета (впоследствии митрополита Московского), священником в карельское село Диево, Бежецкого уезда, а оттуда, через тринадцать лет, перешел того же уезда в село Езьско, где пробыл три с половиною года, до своего перевода во Ржев (1836 г.), который состоялся не без участия в том гр. А. П. Толстого, бывшего в ту пору тверским губернатором. Смолоду наклонный к подвижнической жизни и способный перенести самое тяжкое лишение, восторженным чувством художника любя великолепие православного богослужебного чина, в котором он не позволял себе

опустить ни единой черты, и, что всего важнее, обладая даром слова, превосходящим всякую меру, он с первых же лет своего служения церкви сделался учителем окрест живущего народа. О. Матвей навсегда сохранил живое воспоминание и с восторгом и неподражаемым художеством речи передавал нам, позднейшим его ученикам, о тех поразительных проявлениях живого и деятельного благочестия между его деревенскими духовными друзьями, которых он был свидетелем, а отчасти и виною и которые так и просились на страницы Четий-Миней. О. Матвей не раз сообщал мне с некоторым даже удивлением о том впечатлении, которое его рассказы об этих высоких явлениях духа в нашем народе производили на Гоголя, слушавшего их, по библейскому выражению, отверстыма устами и не знавшего в этом никакой сытости. Рассказчик едва ли и сам сознавал, какую роль в этом деле, кроме самого содержания, играло высокое художество самой формы повествования. Дело в том, что, в течение целой четверти века обращаясь посреди народа, о. Матвей, с помощью жившего в нем исключительного дара, успел усвоить себе ту идеальную народную речь, которой так долго искала и доныне ищет, не находя, наша литература и которую Гоголь так неожиданно обрел готовою в устах какого-то в ту пору совершенно безвестного священника. Тот же склад речи лежал и в основе церковной проповеди о. Матвея, хотя сюда по необходимости входили и другие стихии слова (как, например, церковно-славянская), которые он успел необыкновенным образом между собою мирить и сливать в единое, цельное и исполненное красоты и силы изложение. Я знал в Ржеве лиц, которым, по их образу мыслей, вовсе не было нужды в церковном поучении и которые, однако, побеждаемые красотою его слова, вставали каждое воскресенье и каждый праздник к ранней обедне, начинавшейся в шесть часов, и, презирая сон, природную лень и двухверстное расстояние, ходили без пропуска слушать его художественные и увлекательные поучения.

О. Матвей не мог привлекать или поражать своих слушателей какою-либо чертою внешней красоты; он был невысок ростом, немножко сутуловат; у него были серые, нисколько не красивые и даже не особенно привлекательные глаза, реденькие, немножко вьющиеся светло-русые (к старости, конечно, с проседью) волосы, довольно широкий нос; одним словом, по наружности и по внешним приемам это был самый обыкновенный мужичок, которого от крестьян села Езьска или Диева отличал только покрой его одежды. Правда, во время проповеди, всегда прочувствованной и весьма часто восторженной, а также при совершении литургических действий лицо его озарялось и светлело, но это были преходящие последствия внезапного восхищения, по миновении коих наружность его принимала свой обычный незначительный вид.

Т. И. Филиппов. Воспоминание о гр. А. П. Толстом. Гражданин (ред. Ф. М. Достоевский), 1874, № 4, 110.

(*В каждом селе, где жил о. Матвей, он пользовался всяким случаем для назидания прихожан, – не только во время церковных служб, но и при посещениях на дому, при поминовениях, елеосвящении и т. п.*) Слышанное от о. Матвея прихожане переносили в свои дома и передавали по возможности в свои семейства; а от этого в шумном прежде и веселом селе (*Езьске*) реже стали слышаться мирские соблазнительные песни и игры: во многих местах и домах их заменили духовными песнями и назидательными разговорами. Даже малые дети в своих детских играх пели: «Царю небесный», «Святый боже», «Богородице, дево, радуйся» и другие более известные молитвы.

Н. Грешищев. Очерк жизни в бозе почившего ржевского протоиерея о. Матфея Константиновского. Странник, 1860, № 12, 263.

По назначении своем губернатором в Тверь гр. А. П. Толстой вошел в соглашение с архиепископом тверским Григорием, чтобы в те места, где жители наиболее склонны к расколу, ему посылать самых испытанных в честности чиновников, в архиерею поставлять безукоризненных по жизни и учительных священников. По отношению к Ржеву, в котором в ту пору старообрядцы имели явное и решительное преобладание над православными, арх. Григорию удалось исполнить задачу с большим успехом, чем гр. Толстому: чиновники, назначенные туда губернатором, были не лучше соседних; а Григорий перевел туда из села Езьска о. Матвея, назначив его к приходской церкви Преображения, окруженной старообрядческим населением, и тем дал дальнейшему ходу раскола во Ржеве совершенно иное, для православия весьма благоприятное направление. Победа о. Матвея была бы еще плодотворнее, если бы в последнее время своей жизни он не принял прямого и усердного участия в преследовании раскола. В этой-то церкви Преображения и произошла первая встреча гр. А. П. Толстого с о. Матвеем. Рассказывают ржевские старожилы, бывшие тому будто бы свидетелями, что когда в средине обедни, совершаемой о. Матвеем, вошел в церковь граф и сопровождавшие его местные чиновники, пролагая ему путь, произвели неизбежный при их усердии шум и смятение, то о. Матвей в произнесенной им за этою обеднею проповеди не оставил этого обстоятельства без смелого и для всех присутствовавших весьма внятного, хотя и не прямо на лицо направленного, обличения и что это именно обстоятельство и поселило с первого же раза в гр. Толстом особенное уважение к о. Матвею. С этой поры между ними устанавливается духовный союз на всю жизнь.

Т. И. Филиппов. Гражданин, 1874, № 4, 111.

В церковь о. Матвей почти всегда являлся прежде всех и оставлял ее после всех. Случалось иногда, что звонарь опаздывал звоном к утрене или вечерне; в таком случае о. Матвей, забывая свой сан, старость и немощи, сам начинал звонить до прихода звонаря, нередко также случалось, что причетники, которых по штату собора положено только два, по разным причинам не являлись к утреннему или вечернему богослужению; в таком случае о. Матвей один отправлял всю службу: сам читал, сам пел, сам разводил кадило и пр. Некоторые из усердных дворян и граждан г. Ржева согласились между собою сделать денежный сбор на покупку для него дома. Деньги были собраны и отданы в распоряжение о. Матвея с тем, чтоб он купил себе дом; но через несколько дней из этих денег у него ничего не осталось: все они розданы бедным. Тогда был сделан вторичный сбор; но деньги отданы уже не о. Матвею, а его жене; таким образом приобретен был дом. Все странники и богомольцы, проходившие мимо Ржева, заходили к о. Матвею и в его доме получали спокойный приют. Число таковых простиралось иногда до 30–40 человек. В 1856 году дом сгорел. Признательное купечество г. Ржева сделало посильный сбор на построение нового дома. Таким образом, через месяц после пожара куплен о. Матвеем каменный дом.

Н. Грешищев. Странник, 1860, № 12, 268.

Оптинский инок, о. Э. Ви-й, который в юности своей был одно время письмоводителем у о. Матвея по раскольничьим делам, поведал мне немало любопытного об этой оригинальной личности… Несокрушимость его веры являла иногда примеры поистине невероятные. Как-то летом отправился он по делам в г. Торжок и дорогой жестоко заболел, чуть ли не холериной. В это время в Торжке происходил ремонт соборного храма, и неожиданно была открыта под алтарем могила преподобной Иулиании. Богомольные люди поспешно бросились к заветному месту и повычерпали, как целительное средство, всю воду, наполнявшую могилу. Когда, невзирая на свою болезнь, на место прибыл о. Матвей, на дне могилы оставались лишь комья липкой и вонючей грязи. Недолго думая, о. Матвей опустился на самое дно, собрал благоговейно остатки, съел их… и совершенно выздоровел. Когда, по доносу о том, будто он смущал народ своими проповедями, его вызвали к тверскому архиерею и тот стал кричать на него, грозя упрятать его в острог, о. Матвей отрицательно закачал головой: «Не верю, ваше преосвященство!» – «Как ты смеешь так отвечать?» – загремел владыка. «Да, не верю, ваше преосвященство, потому что это слишком большое счастие… пострадать за Христа. Я не достоин такой высокой чести!» Эти слова так озадачили владыку, что он с тех пор оставил о. Матвея в покое.

И. Л. Щеглов. «Гоголь и о. Матвей Константиновский». Новое Время, 1901, № 9260.

О. Матвей ни на минуту не выступал из области чудесного и явлениям самым обыкновенным любил придавать чрезвычайный смысл. Я испытал сам на своей душе вредное влияние этой черты его ума; суеверие, в которое он впадал, прилипло и к моему уму, и мне нужны были усилия, чтобы освободить свою душу от того порабощения.

Т. И. Филиппов – оптинскому монаху Э. В-му. Новое Время, 1901, № 9260.

Говорят, что о. Матфей был суровый, печальный, строптивый, мрачный фанатик. Ничего такого не было в о. Матфее. Напротив, он всегда был жизнерадостен; мягкая улыбка очень часто виднелась на его кротком лице, никто не слыхал от него гневного слова, никогда он не возвышал своего голоса; всегда был ровный, спокойный, самообладающий. Жизнь вел строго воздержную; вина никакого не пил, мяса не вкушал, свободные деньги раздавал неимущим. Ворота его дома всегда были открыты для странников, – нижний этаж дома постоянно был занят ими... Каждый день с трех часов пополуночи он становился на домашнюю молитву. Церковные службы совершал неопустительно и без малейших сокращений. Проповедь о. Матфея всегда была импровизированная, на текст дневного евангелия. Простота слова, живая образность поражала слушателя, искреннее убеждение проповедника неотразимо действовало на сердце. Несильный голос его проносился над головами слушателей, и все с затаенным дыханием ловили каждый звук его. На одном собеседовании о. Матфея в Москве был проф. Шевырев, который по уходе о. Матфея выразился о нем: «Так в древние времена гремели златоусты!»

Ф. И. Образцов. О. Матфей Константиновский (по моим воспоминаниям). Тверск. Епарх. Ведом., 1902, № 5, 129–136.

О. Матвей имел весьма важное значение как в жизни гр. А. П. Толстого, так и в моей собственной... Это был один из замечательнейших людей, встреченных мною на жизненном пути.

Т. И. Филиппов. Гражданин, 1874, № 4, 109, 110.

Не лишним считаю сказать вам мое мнение об о. Матвее. Сколько мне известно, вам рекомендовал его граф Толстой, но, вероятно, преувеличил его достоинства. Как человек, он, действительно, заслуживает уважения; как проповедник, он замечателен – и весьма; но

как богослов – он слаб, ибо не получил никакого образования. С этой стороны я не думаю, чтобы он мог разрешить сколько-нибудь удовлетворительно ваши вопросы, если они имеют предметом не чистую философию, а богословские тонкости... О. Матвей сможет говорить о важности постов, необходимости покаяния, давно известных предметах, но тщательно избегает трактовать о сюжетах чисто богословских и не может даже объяснить двенадцати догматов наших, т. е. членов символа веры, а в истинном понятии их и заключается христианство, ибо добродетель была проповедуема всеми народами.

К. И. Марков – Гоголю, в 1849–1851 (?) гг. Шенрок. Материалы. IV, 554–555. Ср. Письма, IV. 98, прим. 2.

(*Образец писем о. Матвея*.) Ты лишился двух жен. Я не думаю, чтоб счастлив был, получивши и третью жену... Ты лишился второй жены, – что значит, что они тебе, должно быть, не нужны. Ты пишешь, что тебе без жены жить трудно, – а кому же легко было достигать царствия небесного? Кто без труда и без нужды получил оное? Смотри, брат, здесь мы гости: домой собирайся. Не променяй бога на диавола, а мир сей на царство небесное. Миг один здесь повеселишься, а вовеки будешь плакать. Не спорь с богом, не женись... Видишь ли, что сам господь хочет, чтобы ты боролся с плотью. Двух жен взял у тебя; это значит, что он хочет, чтобы ты жил чисто и достигал своего назначения... Ходи почаще на кладбище к женам и спрашивай у праха их: что, пользовали ли их удовольствия телесные? Не скажут ли и тебе: «Ты будешь то же самое, что и мы теперь». Так помни смерть; легче жить будет. А смерть забудешь – и бога забудешь... Если здесь украсишь душу твою чистотою и гонением, и там она явится чистою. Тебе также и то известно, что умерщвляет страсти: поменьше да пореже ешь, не лакомься, чай-то оставь, а кушай холодненькую водицу, да и то, когда захочется, с хлебцем; меньше спи, меньше говори, а больше трудись.

О. Матвей Константиновский – Ф. С-чу (торговцу). Письма ржевского протоиерея О. Матфея Константиновкого. Домашняя Беседа, 1861, вып. 49, 958–960.

Графа (*А. П. Толстого*) называли Еремой, потому что он огорчался безнравственностью и пьянством народа и развратом модной молодежи... Он возился с монахами греческого подворья, бегло читал и говорил по-гречески; акафисты и каноны приводили его в восторг... В Москве славянофилы рассуждали о браке и чистоте. «Да, надобно быть девственником, чтобы удостоиться быть хорошим супругом; где тут девственник, нет ни одного!» «Я», – отвечал Константин Сергеевич Аксаков. «Ну, позвольте же мне стать перед вами на колени», – и точно стал на колени, низко поклонился, перекрестился, а потом сказал: – «А

теперь позвольте вас поцеловать». Брат Лев Арнольди рассказывал все его проказы, которые он делал, бывши губернатором. Раз он приехал в уездный город, пошел в уездный суд, вошел туда, помолился перед образом и сказал испуганным чиновникам, что у них страшный беспорядок. «Снимите-ка мне ваш образ! О, да он весь загажен мухами! Подайте мне, я вам покажу, как чистят ризу». Он вычистил его, перекрестился и поставил его в углу. «Я вам переменю киоту, за стеклом мухи не заберутся, и вы молитесь; все у вас будет в порядке». Он ничего не смотрел, к великой радости оторопевших чиновников: с чем приехал, с тем и уехал и, возвратившись, рассказал мне, что все там в порядке.

А. О. Смирнова. Записки, 245–246.

Анна Васильевна Гоголь рассказывала нам со слов брата, что А. П. Толстой носил тайно вериги.

В. И. Шенрок. Материалы, IV, 409.

Дочь князя Грузинского, княжна Анна Егоровна, тридцати пяти лет вышла замуж за гр. А. П. Толстого, святого человека. Он подчинялся своей чудачке и жил с нею, как брат. Вся ее забота состояла в том, чтобы графу устроить комнаты, вентиляцию и обед по его вкусу. Она видела только тех людей, которых ее муж любил; брезгливая, она сама стояла в буфете, когда люди мыли стекло и фарфор; полотенцам не было конца, переменяли их несколько раз… После обедни пили чай в длинной гостиной; его разливала С. П. Апраксина (сестра гр. А. П. Толстого), которую граф звал Фафой, а она его – Зашу. Графиня засыпала (она, как и отец ее, страдала спячкой); подавался чай, кофе, шоколад, крендели и сухари всякого рода из Немецкой булочной на Кузнецком мосту. В гостиной стоял рояль и развернутые ноты, музыка все духовного содержания. Графиня была большая музыкантша… Принимала она по вечерам с семи часов. Серафима Голицына им читала вслух какую-нибудь духовную книжку, а через день приходил греческий монах и читал также. Графиня засыпала и на русский день. «Как я люблю греческий звук, потому что граф это любит; и вас я люблю, потому что он вас любит. Мы благодарны Гоголю за ваше знакомство».

А. О. Смирнова. Записки, 244.

Графиня Анна Георгиевна Толстая (жена А. П. Толстого) часто вспоминала о Гоголе, особенно постом. Она постилась до крайней степени, любила есть тюрю из хлеба, картофеля, кваса и лука и каждый раз за этим кушаньем говорила: «И Гоголь любил кушать тюрю. Мы часто с ним ели тюрю». Настольной книгой графини были «Слова и речи преосвященного Иакова, епископа нижегородского и арзамасского», изд. 1849 г. На книге есть отметки карандашом, которые

делал Гоголь, ежедневно читавший графине эти проповеди. По словам графини, она обыкновенно ходила по террасе, чтобы не уснуть, а Гоголь, сидя в кресле, читал ей и объяснял значение прочитанного. Самым любым местом книги у Гоголя было «Слово о пользе поста и молитвы». Эта глава была вся загнута, и в ней подчеркнуты многие строки, как, например: «Страсти помрачают рассудок». «Пост многих похотливых сделал целомудренными, гневливых – кроткими, буйных – скромными, гордых смиренными» и т. п.

В. А. Гиляровский со слов Ю. А. Троицкой, компаньонки гр. А. Г. Толстой. На родине Гоголя, 59.

Переменять свойство и количество пищи Гоголь не мог без вреда для своего здоровья; по собственному его уверению, при постной пище он чувствовал себя слабым и нездоровым. «Нередко я начинал есть постное по постам, – говорил он мне, – но никогда не выдерживал: после нескольких дней пощения я всякий раз чувствовал себя дурно и убеждался, что мне нужна пища питательная».

А. Т. Тарасенков, 3.

Не гневайся, что мало пишу: у меня так мало свежих минут и так в эти минуты торопишься приняться за дело, которого окончание лежит на душе моей и которому беспрестанные помехи, что я ни к кому не успеваю писать. Второй том, который именно требует около себя возни, причина всего. Ты на него и пеняй. Если не будет помешательств и бог подарит больше свежих расположений, то, может быть, я тебе его привезу летом сам, а, может быть, и в начале весны.

Гоголь – А. С. Данилевскому, 16 дек. 1851 г. Письма, IV, 413.

Я тружусь, работаю в тишине по-прежнему. Иногда хвораю, иногда же милость божия дает мне чувствовать свежесть и бодрость, тогда и работа идет свежее, а работа все та же, с той разницей, что меньше, может быть, юношеской самонадеянности и больше сознания, что без смиренной молитвы нельзя ничего.

Гоголь – В. А. Жуковскому, 20 дек. 1851 г., из Москвы. Письма, IV, 414.

Гоголь живет в Москве. Он получил разрешение напечатать прежние свои сочинения без цензуры, в том виде, как они были изданы прежде. Говорят, будто он приготовил к печати и второй том «Мертвых душ».

П. А. Плетнев – В. А, Жуковскому, 25 дек. 1851 г. Соч. Плетнева, III, 724.

В Москве, встретив где-то Гоголя, одна из Репниных обрадовалась и пригласила его к себе обедать запискою, на которой написала адрес: Н. В. Яновскому (так его звали в Малороссии). Гоголь обиделся, обедать не приехал и дал знать, что его имя – Гоголь – достаточно известно в Москве.

Княжна В. Н. Репнина по записи П. И. Бартенева. Рус. Арх., 1902, I, 726.

Ни о чем говорить не хочется: все, что ни есть в мире, так ниже того, что творится в уединенной келье художника, что я не гляжу ни на что, и мир кажется вовсе не для меня. Я даже не слышу его шума.

Гоголь – А. А. Иванову (конец 1851 г.). Письма, IV, 418.

Я в это время сильно расхворался, да и теперь еще не совсем оправился.

Гоголь – С. П. Шевыреву, в конце 1851 г. Письма, IV, 417.

К митрополиту я хотел ехать вовсе не затем, чтобы беседовать о каких-либо умных предметах, на которые, право, в нынешнее время поглупел. Мне хотелось только прийти к нему на две минутки и попросить молитв, которые так необходимы изнемогающей душе моей.

Гоголь – С. П. Шевыреву, в конце 1851 г. Письма, IV, 419.

Никогда так не чувствовал потребности молитв ваших, добрейшая моя матушка. О, молитесь, чтобы бог меня помиловал, чтобы наставил, вразумил совершить мое дело честно, свято и дал бы мне на то силы и здоровье! Ваши постоянные молитвы обо мне теперь мне так нужны, так нужны, – вот все, что умею вам сказать. О, да поможет вам бог обо мне молиться!

Гоголь – матери, в конце 1851 г. Письма, IV, 419.

От времени до времени в Гоголе обнаруживалась мрачная настроенность духа без всякого явственного повода. По непонятной причине он избегал встречи с известным доктором Ф. П. Гаасом. В ночь на новый 1852 год, выходя из своей комнаты наверх к гр. А. П. Толстому, он нечаянно встретил на пороге доктора, выходившего из комнат хозяина дома. Гаас ломаным русским языком старался сказать ему приветствие и, между прочим, думая выразить мысль одного писателя, сказал, что желает ему такого нового года, который даровал бы ему вечный год. Присутствовавшие заметили тут же, что эти слова произвели на Гоголя невыгодное влияние и как бы поселили в нем уныние. Хотя оно и было скоропреходящее, но служило зародышем тех

предчувствий, которые впоследствии времени при других, более ярких впечатлениях приняли огромный размер.

А. Т. Тарасенков. Последние дни жизни Гоголя, 8. Ср. Шенрок. Материалы, IV, 850.

Я не знаю, любил ли кто-нибудь Гоголя исключительно как человека. Я думаю, нет: да это и невозможно. У Гоголя было два состояния: творчество и отдохновение. Первое давно уже, вероятно вскоре после выхода «Мертвых душ», перешло в мученичество, может быть, сначала благотворное, но потом перешедшее в бесполезную пытку. Как можно было полюбить человека, тело и дух которого отдыхают после пытки? Всякому было очевидно, что Гоголю ни до кого нет никакого дела; конечно, бывали исключительные мгновения, но весьма редкие и весьма для немногих. Я думаю, женщины любили его больше, и особенно те, в которых наименее было художественного чувства, как, например, Смирнова.

С. Т. Аксаков. Письмо «одним сыновьям», 23 февр. 1852 г. История знакомства, 199.

В последние месяцы своей жизни Гоголь работал с любовью и рвением почти каждое утро до обеда (четырех часов), выходя со двора для прогулки только за четверть часа, и вскоре после обеда по большей части уходил опять заниматься в свою комнату. «Литургия» и «Мертвые души» были переписаны набело его собственною рукой, очень хорошим почерком. Он не отдавал своих сочинений для переписки в руки других: да и невозможно было бы писцу разобрать его рукописи по причине огромного числа перемарок. Впрочем, Гоголь любил сам переписывать, и переписывание так занимало его, что он иногда переписывал то, что можно было иметь печатное. У него были целые тетради (в восьмушку почтовой бумаги), где его рукой каллиграфически были написаны большие выдержки из разных сочинений… Читал он отлично: слушавшие его говорят, что не знают других подобных примеров. Простота, внятность, сила его произношения производили живое впечатление, а певучесть имела в себе нечто музыкальное, гармоническое. При чтении даже чужих произведений умел он с непостижимым искусством придавать вес и надлежащее значение каждому слову, так что ни одно из них не пропадало для слушающих. Жуковский по этому поводу сказал, что ему никогда так не нравились его собственные стихи, как после прочтения их Гоголем.

А. Т. Тарасенков, 7.

Зимой я видался с Гоголем довольно часто, бывал у него по утрам и заставал его почти всегда за работой. Раз только нашел я у него одного

итальянца, с которым он говорил по-итальянски довольно свободно, но с ужасным выговором. Впрочем, по-французски он говорил еще хуже и выговаривал так, что иной раз с трудом было можно его понять. Этот итальянец был очень беден и несчастен, и Гоголь помогал ему и принимал в нем живое участие. В последний раз я был у Гоголя в новый год; он был немного грустен, расспрашивал меня очень долго о здоровьи сестры (*А. О. Смирновой*), говорил, что имеет намерение ехать в Петербург, когда окончится новое издание его сочинений и когда выйдет в свет второй том «Мертвых душ», который, по его словам, был совершенно окончен.

Л. И. Арнольди. Рус. Вестн., 1862, XXXVII, 92.

По свидетельству людей, близко знавших Гоголя, им был уже вполне окончен весь второй том, состоявший из одиннадцати глав, т. е. из того же числа, какое входило в состав первого тома, и он решался приступить к изданию его, когда внезапная болезнь изменила его намерения и побудила к сожжению с такою любовью взлелеянного произведения.

В. П. Чижов. Последние года Гоголя. Вестн. Евр., 1872, июль, 448.

(Во второй половине января 1852 г.) Выйдя к обеду. Гоголь говорил, что зябнет, несмотря на то, что в комнате было +15 °Р. Пока не подали кушанье, он скоро ходил по обширной зале, потирая руки, почти не разговаривая; на ходьбе только приостанавливался перед столом, где были разложены книги, чтоб взглянуть на них. Перед обедом он выпил полынной водки, похвалил ее; потом с удовольствием закусывал и после того сделался пободрее, перестал ежиться; за обедом прилежно ел и стал разговорчивее. Не помню почему-то, я употребил в рассказе слово научный; он вдруг перестает есть, смотрит во все глаза на своего соседа и повторяет несколько раз сказанное мною слово: «Научный, научный, а мы все говорили «наукообразный»: это неловко, то гораздо лучше». Тогда я изумился, как может так сильно занимать его какое-нибудь слово; но впоследствии услышал, что он любил узнавать неизвестные ему слова и записывал их в особенные тетрадки, нарочно для того приготовленные. Таких тетрадок им исписано было много. Замечали, что он нередко, выйдя прогуляться перед обедом и не отойдя пяти шагов от дома, внезапно и быстро возвращался в свою комнату; там черкнет несколько слов в одной из этих тетрадок и опять пойдет из дома. После обеда Гоголь сидел в уголку дивана, смотрел на английскую иллюстрацию, все молчал, даже и на этот раз не слушал, что говорили кругом него, хотя разговор должен был его занимать: разрешались религиозные вопросы, говорили о церковных писателях, которых он любил.

Слуга хозяина, у которого мы обедали, пришел проситься в театр. В этот вечер было два спектакля. Гоголь, знавший, что дают в этот день, спросил его: «Ты в который театр идешь?» – «В Большой, – отвечал тот, – смотреть «Аскольдову могилу». – «Ну, и прекрасно!» – прибавил Гоголь со смехом. Желая вызвать его на разговор литературный, я продолжал начатую речь о театре и, обратясь к нему, сказал, что я также пойду в театр, но в Малый: там дают «Женитьбу». «Не ходите сегодня, – перебил Гоголь, – а вот я соберусь скоро, посмотрю прежде, как она идет, и, уладив, извещу вас». Разговор о театре завязался. Гоголь признался, что до сих пор не видел «Женитьбы». Он называл эту пьесу пустяками; но моряк Жевакин, по его мнению, должен быть смешнее всех.

Гоголь стал оживляться. Зашла речь о «Провинциалке» И. С. Тургенева, пьесе, которой придавали тогда большое значение. «Что это за характер: просто кокетка, и больше ничего», – сказал он. Обрадовавшись, что Гоголь сделался разговорчивее, я старался, чтобы беседа не отклонилась от предметов литературных, и, между прочим, завел речь о «Записках сумасшедшего». Рассказав, что я постоянно наблюдаю психопатов и даже имею их подлинные записки, я пожелал от него узнать, не читал ли он подобных записок прежде, нежели написал это сочинение. Он отвечал: «Читал, но после». – «Да как же вы так верно приблизились к естественности?» – спросил я его. «Это легко: стоит представить себе...» Я жаждал дальнейшего развития мысли, но, к прискорбью моему, подошел к нему слуга его и доложил ему о чем-то тихо. Гоголь вскочил и убежал вниз, к себе в комнаты, не окончив разговора. После я узнал, что к нему приезжал Живокини (*сын*), который в этот же вечер должен был в первый раз исполнять роль Анучкина. Живокини, вероятно, по совету Гоголя, выполнил эту роль проще, естественнее, нежели она была выполнена прежде, и главное – без кривляний и фарсов, т. е. так, как Гоголь желал, чтоб исполнялись и все, даже самые второстепенные, роли. По всему видно было, что Гоголь в это время еще занят был и своими творениями, и всем житейским; а это случилось не более как за месяц до его смерти.

Д-р А. Тарасенков. Последние дни жизни Гоголя, 4–6.

Ходил Гоголь немного сгорбившись, руки в карманы, галстук просто подвязан, платье поношенное, волосы длинные, зачесанные так, что покрывали значительную часть лба и всегда одинаково; усы носил постоянно коротенькие, подстриженные; вообще видно было, что он мало заботился о своей внешней обстановке. Когда встречался, протягивал руку, жал довольно крепко, улыбался, говорил отчетливо, резко, и хотя не изысканно сладко, но фразы были правильные без поправки, слова всегда отчетливо выбранные.

А. Т. Тарасенков. Шенрок. Материалы, IV, 855.

За девять дней до масленой О. М. Бодянский видел Гоголя еще полным энергической деятельности. Он застал его за столом, который стоял почти посреди комнаты и за которым поэт обыкновенно работал сидя. Стол был покрыт зеленым сукном. На столе разложены были бумаги и корректурные листы. Бодянский, обладая прекрасною памятью, помнит от слова до слова весь разговор свой с Гоголем. «Чем это вы занимаетесь, Николай Васильевич?» – спросил он, заметив, что перед Гоголем лежала чистая бумага и два очиненных пера, из которых одно было в чернильнице. «Да вот мараю все свое, – отвечал Гоголь, – да просматриваю корректуру набело своих сочинений, которые издаю теперь вновь». – «Все ли будет издано?» – «Ну, нет: кое-что из своих юных произведение выпущу». – «Что же именно?» – «Да «Вечера»». – «Как! – вскричал, вскочив со стула, гость. – Вы хотите посягнуть на одно из самых свежих произведений своих?» – «Много в нем незрелого, – отвечал спокойно Гоголь. – Мне бы хотелось дать публике такое собрание своих сочинений, которым я был бы в теперешнюю минуту больше всего доволен. А после, пожалуй, кто хочет, может из них (т. е. «Вечеров на хуторе») составить еще новый томик». Бодянский вооружился против поэта всем своим красноречием, говоря, что еще не настало время разбирать Гоголя как лицо, мертвое для русской литературы, и что публике хотелось бы иметь все то, что он написал, и притом в порядке хронологическом, из рук самого сочинителя. Но Гоголь на все убеждения отвечал: «По смерти моей, как хотите, так и распоряжайтесь». Слово смерть послужило переходом к разговору о Жуковском. Гоголь призадумался на несколько минут и вдруг сказал: «Право, скучно, как посмотришь кругом на этом свете. Знаете ли вы? Жуковский пишет мне, что он ослеп». – «Как! воскликнул Бодянский: – Слепой пишет к вам, что он ослеп?» – «Да; немцы ухитрились устроить ему какую-то штучку... Семене! – закричал Гоголь своему слуге по-малороссийски: – Ходы сюды». Он велел спросить у графа Толстого, в квартире которого он жил, письмо Жуковского. Но графа не было дома. «Ну, да я вам после письмо привезу и покажу, потому что – знаете ли? – я распорядился без вашего ведома. Я в следующее воскресенье собираюсь угостить вас двумя-тремя напевами нашей Малороссии, которые очень мило Н. С. (*Аксакова*) положила на ноты с моего козлиного пения; да при этом упьемся и прежними нашими песнями. Будете ли вы свободны вечером?» – «Ну, не совсем», – отвечал гость. «Как хотите, а я уж распорядился, и мы соберемся у О. С. (*Аксаковой*) часов в семь; а впрочем, для большей верности, вы не уходите; я сам к вам заеду, и мы вместе отправимся на Поварскую». Бодянский ждал его до семи часов вечера в воскресенье, наконец, подумав, что Гоголь забыл о своем обещании заехать к нему, отправился на Поварскую один; но никого не застал в доме, где они условились быть, потому что в это

время умерла жена поэта Хомякова, и это печальное событие расстроило последний музыкальный вечер, о котором хлопотал он.

П. А. Кулиш со слов О. М. Бодянского. Записки о жизни Гоголя, II, 258.

XVI

Болезнь и смерть

В феврале (*в январе*) захворала Хомякова, сестра Языкова, с которой он был дружен. Ее болезнь сильно озабочивала его. Он часто навещал ее, и, когда она была уже в опасности, при нем спросили у д-ра Альфонского, в каком положении он ее находит; он отвечал: «Надеюсь, что ей не давали каломель, который может ее погубить?» Но Гоголю было известно, что каломель уже был дан, – он вбегает к графу и бранным голосом говорит: «Все кончено, она погибнет, ей дали ядовитое лекарство». К несчастью, больная действительно в скором времени умерла (*26 янв.*). Смерть ее не столько поразила ее мужа и всех родных, как Гоголя. Расположенный к мрачным мыслям, он не мог равнодушно снести потери драгоценной для него особы. Притом он, может быть, впервые видел здесь смерть лицом к лицу. Постоянно занимаясь чтением книг духовного содержания, он любил помышлять о конце жизни, но с этого времени мысль о смерти сделалась его преобладающей мыслью. Приметна стала его наклонность к уединению; он стал дольше молиться, читал у себя псалтырь по покойнице.

А. Т. Тарасенков. Шенрок. Материалы, IV, 850. Ср. Последние дни, стр. 8[64].

Г-жа Хомякова была родная сестра поэта Языкова, одного из ближайших друзей Гоголя. Гоголь крестил у нее сына и любил ее, как одну из достойнейших женщин, встреченных им в жизни. Смерть ее, последовавшая после кратковременной болезни, сильно потрясла его. Он рассматривал это явление с своей высокой точки зрения и примирился с ним у гроба усопшей. «Ничто не может быть торжественнее смерти, – произнес он, глядя на нее, – жизнь не была бы так прекрасна, если бы не было смерти». Но это не спасло его сердце от рокового потрясения: он почувствовал, что болен тою самою болезнью, от которой умер отец его, – именно, что на него «нашел страх смерти», и признался в этом своему духовнику. Духовник успокоил его, сколько мог.

П. А. Кулиш, II, 260.

Смерть моей жены (*Е. М. Хомяковой*) и мое горе сильно потрясли Гоголя; он говорил, что в ней для него снова умирают многие, которых он любил всею душою, особенно же Н. М. Языков. На панихиде он

сказал: «Все для меня кончено!» С тех пор он был в каком-то нервном расстройстве, которое приняло характер религиозного помешательства. Он повел и стал морить себя голодом, попрекая себя в обжорстве.

А. С. Хомяков – А. Н. Попову, в феврале 1852 г., из Москвы. Соч. А. С. Хомякова, VIII, 200.

Гоголь был на первой панихиде (*по Е… М. Хомяковой*) и насилу мог остаться до конца. На другой день он был у нас и говорил, что это его очень расстроило… Спросил, где ее положат. Покачал головою, сказал что-то о Языкове и задумался так, что нам страшно стало: он, казалось, совершенно перенесся мыслями туда и оставался в том же положении так долго, что мы нарочно заговорили о другом, чтоб прервать его мысли.

В. С. Аксакова – матери Гоголя. История знакомства, 197.

30 янв. 1852 г. вечером приехал Гоголь к нам в маленький дом, в котором мы жили. Гоголь взошел и на наш вопрос о его здоровьи сказал: «Я теперь успокоился, сегодня я служил один в своем приходе панихиду по Катерине Михайловне (*Хомяковой*); помянул и всех прежних друзей, и она как бы в благодарность привела их так живо всех передо мной. Мне стало легче. Но страшна минута смерти». – «Почему же страшна? – сказал кто-то из нас. Только бы быть уверену в милости божией к страждущему человеку, и тогда отрадно думать о смерти». – «Ну, об этом надобно спросить тех, кто перешел через эту минуту», – сказал он. На наши слова, что он не был на вчерашней церемонии (*похороны Хомяковой*), он отвечал: «Я не был в состоянии». Вполне помню, он тут же сказал, что в это время ездил далеко. «Куда же?» – «В Сокольники». – «Зачем?» – спросили мы с удивлением. «Я отыскивал своего знакомого, которого, однако же, не видал». Разговор, разумеется, касался большею частью Хомякова. После того как Гоголь отслужил панихиду, он сделался спокоен, как-то светел духом, почти весел.

В. С. Аксакова. Из записной книжки. Дневник В. С. Аксаковой. Изд. «Огни». СПб., 1913. Стр. 164. Дополнено по письму ее к матери Гоголя. История знакомства, 197.

За неделю до масленицы Гоголь казался совершенно здоровым и бодрым. В течение всей зимы я радовался за него, что он хорошо выносит московскую зиму, которой боялся. Нередко обедал он у нас, после обеда занимался со мною чтением корректур первого и второго тома своих сочинений, в которых он выправлял слог, а я правил под диктовку его.

Другие два тома печатались в то же время. В последний раз занимались мы с ним этим делом в четверг перед масленицей (*31 января*).

С. П. Шевырев – М. Н. Синельниковой. Рус. Стар., 1902, май, 440.

Из расспросов слуги Гоголя я узнал, что Гоголь лечился в доме и каждое утро обертывался мокрой простыней. Так было в декабре и генваре месяце. Он никогда не говорил мне о том. Лечение его было прервано.

Потом возобновил его опять, но, обернувшись простынею, не согревался. Такое лечение было совсем не по его слабому сложению. Я думаю, в нем заключалась главная причина его болезни. Когда я его расспрашивал о том, он сказал мне, что лечение освежило его силы и он чувствовал себя бодрее, но, конечно, это была искусственная бодрость.

С. П. Шевырев – М. Н. Синельниковой, 443.

1 февраля – это была пятница – 1852 года принесли нам поутру корректуру «Ревизора», но, так как братья уехали в деревню, я не знала, что с ней делать, и послала ее с запиской к Гоголю. В двенадцать часов утра он пришел сам: «Что значит, – я получил вашу записку, но не получил корректуру? Меня дома не было: я был у обедни; возвратившись, нашел записку, но без корректуры». Нас это очень удивило, и я боялась, чтобы не пропала корректура. Гоголь сказал, что сам пойдет в типографию и спросит. Сказал, что был в церкви, потому что в тот день совершалась поминальная служба (вместо субботы, так как в субботу приходился праздник сретения), хвалил очень свой приход, священника и всю службу. Я сказала, что сама была у ранней обедни, видела в первый раз Хомякова после его горя, что не решилась к нему подойти. «Отчего же, напрасно, – сказал Гоголь, – это не могло ему быть неприятно. Напрасно Хомяков выезжает, был в Опекунском совете и т. д.». – «Да, – сказала я, – конечно, напрасно: многие скажут, что он не любил жены своей». – «Нет, не потому, – возразил Гоголь, – а потому, что эти дни он должен был бы употребить на другое; это говорю не я, а люди опытные. Он должен был бы читать теперь псалтирь, это было бы утешением для него и для души жены его. Чтение псалтири имеет значение, когда читают его близкие; это – не то, что раздавать читать его другим».

Говорили о М. А. (матери А. С. Хомякова), о которой он очень жалел, что такая старая женщина не возбуждает ни в ком к себе расположения, а всех раздражает. Много говорили о впечатлении, производимом смертью на окружающих; возможно ли было бы с малых лет воспитать так ребенка, чтоб он всегда понимал настоящее значение жизни, чтоб смерть не была для него нечаянностью и т. д. Гоголь сказал, что думает, что возможно. Тут я сказала, как ужасно меня поразило это впечатление

и как все тогда перевернулось у меня перед глазами. Гоголь вдруг переменил разговор.

В это время приезжал Овер (*знаменитый московский врач*), я пошла его провожать к Оленьке, он оттуда прошел прямо и сказал мне: «Несчастный!» «Кто несчастный? – спросила я, не понимая. – Да ведь это Гоголь!» – «Да, вот несчастный!» – «Отчего же несчастный?» – «Ипохондрик. Не приведи бог его лечить, это ужасно!» – «У него есть утешение, – сказала я, – он истинно верующий человек». – «Все ж несчастный», – повторил Овер. Я возвратилась к Гоголю; он в это время сидел с Наденькой, мы продолжали кое о чем говорить, предложили ему завтракать, он отказался. Он был постоянно весел, или, скорее, светел как-то душой и лицом, нам было отрадно видеть его таким, и ни тени беспокойства на его счет не входило к нам на ум. День был ясный, солнечный. Провожая его, я сказала ему шутя: «Вы сегодня не работали?» «Нет». – «Ну, – сказала я, – вы погуляли, теперь вам надобно поработать». Он так светло улыбнулся на эти слова. «Да, надобно бы, но не знаю, как удастся, моя работа такого рода, – продолжал он говорить, уходя и надевая шубу, – что не всегда дается, когда хочешь». Мы проводили его до передней и простились дружески.

В. С. Аксакова. Дневник. СПб., 1913. Стр. 165.

О себе что сказать? Сижу по-прежнему над тем же, занимаюсь тем же. Помолись обо мне, чтобы работа моя была истинно добросовестна и чтобы я хоть сколько-нибудь был удостоен пропеть гимн красоте небесной.

Гоголь – В. А. Жуковскому, 2 февр. 1852 г. Письма, IV, 442.

3 февраля 1852 года в воскресенье утром я была дома, когда пришел Николай Васильевич. «Я пришел к вам пешком прямо от обедни, – сказал он, – и устал». В его лице точно было видно утомление, хотя и светлое, почти веселое выражение. Он сел тут же в первой комнате, на диване. Опять хвалил очень священника приходского и всю службу. Я сказала, что в этой церкви венчались отесенка (отец) и маменька. «В самом деле? Ну, так скажите вашей маменьке, ей будет приятно знать, что там совершается так хорошо служба». Я сообщила ему известие из деревни, что на другой день должен был приехать брат. «Ваши братья скачут, как английские курьеры в чужих краях, только и знают, что ездят взад и вперед (сколько лишних хлопот!). Вчера, – прибавил он, – получил я записку от Ольги Федоровны (*Кошелевой*). Какаято бестолковая: она звала меня обедать, у ней должен был быть М. М. Нарышкин, только написала так, что я не вдруг догадался, когда она меня звала; и уже было поздно, я обедать бы и без того не мог идти, но

после пришел бы повидаться с Нарышкиным». – «Что вы делали эти дни?» – спросила я его. «Зачем вам?» – сказал он. «Были ли вы у Хомякова?» – «Нет еще, не был». Мне кажется, ему слишком было тяжело к нему ходить; опять говорили мы о назначении чтения псалтири. Я спросила его о корректуре; он сказал, что сам был в типографии и все устроил; говорили о печатании «Охотничьих записок» (*С. Т. Аксакова*). Я сказала, что очень тихо идет. «Вы бы сами держали корректуру», – сказал он. «Не умею». – «Да это вовсе не трудно, стоит только выучиться этим знакам, я вам сейчас покажу, дайте мне какую-нибудь книгу». Я подала ему «Москвитянин»; он достал свою карманную книжку: вынул оттуда карандаш, развернул журнал и показал примерно несколько знаков. В это время воротилась Наденька, я ей сообщила полученные известия и что ей предстоит скоро ехать в деревню. «Да, – прибавил Гоголь, – вы и не знаете, а вам уже назначен маршрут». Я сказала, нельзя ли устроить как-нибудь нам песни, а Гоголь сказал: «Когда же? Уже лучше на масленице». – «На масленице Наденька, может быть, уедет». – «Да, в самом деле», – прибавил Гоголь; но тем разговор об этом кончился. Я попросила перейти в другую комнату, сообщила Наденьке корректурные знаки, которым учил меня Николай Васильевич. Он же сам прибавил, что советовал бы нам заняться этим, что за это можно даже деньги получать, что он нанимает теперь корректора и платит ему за один том сто рублей (кажется, за вторую корректуру). Мы расспрашивали его о печатании его сочинений, как оно идет; он говорит, что он роздал в разные типографии, что идет довольно медленно, что ему мешают. Мы звали его приходить к нам с корректурой и у нас ее поправлять, он обещал, и так мы простились.

4 февраля я сидела в нашей маленькой гостиной с Митей Карташевским (брат Константин, Митя и Любенька только что приехали из деревни, самовар был на столе). Мы говорили очень живо о Карташевских. Передняя комната была темна, портьерка в нее поднята; я услышала чьи-то шаги, но не обратила в первую минуту на то внимания, думая, что это брат. Шаги приблизились, я обернулась: то был Гоголь; я ему обрадовалась чрезвычайно: вовсе его не ожидала. Он спросил, приехал ли брат, и, узнав, что он у Хомякова, сказал, что сам туда зайдет; спросил меня о здоровьи, так как накануне я была нездорова. Уселся в углу дивана, расспрашивал о том, о другом, в лице его видно было какое-то утомление и сонливость. Кошелева прислала звать нас с Наденькой к ней, я ему предложила ехать туда же. «Нет, – сказал он, – я не могу, мне надобно зайти еще к Хомякову, а там домой, я хочу пораньше лечь. Сегодня ночью я чувствовал озноб, впрочем, он мне особенно спать не мешал». – «Это, верно, нервный», – сказала я. «Да, нервное», – подтвердил он совершенно спокойным тоном. «Что же вы не пришли к нам с корректурой?» – спросила я. «Забыл, а сейчас просидел над ней около часа». – «Ну, в другой раз приносите». Но этому другому разу не суждено было повториться. Гоголь просидел недолго, простился, по

обыкновению подавши нам руку на прощанье, и ушел. Это было последнее свиданье. Как нарочно, я не пошла его провожать далее, потому что собирались ехать. Ничто не сказало мне, что более его не увижу.

Мы все были поражены его ужасной худобой. «Ах, как он худ, как он худ страшно!» – говорили мы...

В. С. Аксакова. Дневник, 167, 169.

В один из этих дней приезжал к нему М. С. Щепкин. Видя его в хандре и желая его развеселить, рассказал ему много смешного; и когда тот оживился, он напомнил, что у него нынче отличнейшие блины, самая лучшая игра и т. д., расписал ему обед так, что у Гоголя, как говорится, слюнки потекли. Гоголь обещался приехать обедать; условились во времени; но он приехал к Щепкину за час до обеда и, не застав его, приказал сказать, что извиняется и обедать не будет оттого, что вспомнил о прежде данном обещании обедать в другом месте. От Щепкина он возвратился домой и обедать не поехал никуда. Это, кажется, было его последнее свидание с ним. Спустя несколько дней он велел уже отказывать всем своим знакомым и – ему.

А. Т. Тарасенков. Последние дни, 26.

После долгого мясоеда настала сырная неделя (*масленица*). Нащокин и Щепкин позвали Гоголя на блины в трактир Бубнова. Когда они за ним пришли, он наотрез отказался. Щепкин начал кощунствовать. Он его взял за ушко: «Ты когда-нибудь будешь за эти слова раскаиваться, смотри, чтобы не было поздно».

А. О. Смирнова. Автобиография, 305.

О последнем своем свидании с Гоголем М. С. Щепкин рассказывал следующее: «Как-то недавно прихожу к Гоголю. Он сидит, пишет что-то. Кругом на столе разложены книги, все религиозного содержания». «Неужели все это вы прочли?» – спрашиваю я. «Все это надо читать, – отвечал он. «Зачем же надо? – говорю я. – Так много написано всего для спасения души, а ничего не сказано нового, чего не было бы в евангелии». Тут Гоголь принужденно отшутился, сказав что-то вроде: какой шутник! А я продолжал: «Я и заповеди для себя сократил всего на две: люби бога и люби ближнего, как самого себя». – Потом, – говорил Щепкин, – я рассказал Гоголю следующий случай. Ехал я из Харькова в то время, как были открыты мощи св. Митрофания. Дай, думаю, заеду в Воронеж, хотелось видеть, что может сделать вера человека. Приезжаю в Воронеж. Утро было восхитительное. Я пошел в церковь. На дороге

попался мне мужик с ведром; в ведре что-то бьется. Смотрю – стерлядь! Думаю себе: в церковь еще успею. Сторговал, купил рыбу и снес домой. Потом пошел в церковь. Дорогой так восхищался природой, как никогда не запомню. Было чудесное утро. Прихожу в церковь. Народу множество, и такая преданность, такая вера, что я и сам умилился до слез, и сам стал молиться: «Господи боже мой! Весь этот народ пришел тебя молить о своих нуждах, бедах и болезнях. Только я один ничего у тебя не прошу – и молюсь слезно! Неужели тебе нужны, господи, наши лишения? Ты дал нам, господи, прекрасную природу, и я наслаждаюсь ею, и благодарю тебя, господи, от всей души». Тогда Гоголь вскочил и обнял меня, вскрикнув: «Оставайтесь всегда при этом!»

М. С. Щепкин по записи его сына А. М. Щепкина. «М. С. Щепкин». СПб., 1914. Изд. А. С. Суворина. Стр. 346.

В понедельник на масленице (*4 февраля*) приехал он ко мне в пять часов вечера, чтобы сказать, что некогда ему теперь заниматься корректурами. Я и жена заметили перемену в лице его и спросили, что с ним. Он отвечал, что дурно себя чувствовал и кстати решился попоститься и поговеть. Я спросил его: «Зачем же на масленой?» – «Так случилось, – говорит он. – Ведь и теперь церковь читает уже «Господи, владыко живота моего!» и поклоны творятся».

С. П. Шевырев – М. Н. Синельниковой. Рус. Стар., 1902, май, 440.

К этому же времени приехал из Ржева, Тверской губернии, Матвей Александрович, священник, известный образцом строгой христианской православной жизни, которого он уважал и с которым так любил беседовать. С особенною охотою он разговаривал с ним теперь, когда размышления религиозные были ему так по сердцу. М. А. прямо и резко, не взвешивая личности и положения, поучал, с беспощадною строгостью и резкостью проповедывал истины евангельские и суровые наставления церкви. Он объяснял, что если мы охотно делаем все для любимого лица, то чем мы должны дорожить для Иисуса Христа, сына божия, умершего за нас. Устав церковный написан для всех; все обязаны беспрекословно следовать ему; неужели мы будем равняться только со всеми и не захотим исполнить ничего более? Ослабление тела не может нас удерживать от пощения; какая у нас работа? Для чего нам нужны силы? Много званых, но мало избранных. За всякое слово праздное мы отдадим отчет и проч. Такие и подобные речи, соединенные с обличением в неправильной жизни, не могли не действовать на Гоголя, вполне преданного религии, восприимчивого, впечатлительного и настроенного уже на мысль о смерти, о вечности, о греховности. Притом Гоголь видел, как М. А. на деле исполнял самые строгие пустынно-монашеские установления церкви: например, много и долго

молился за обедом, почти не ел, не хотел благословлять стола в среду прежде, нежели удостоверится, что нет ничего скоромного. Разговоры этого духовного лица так сильно потрясли его, что он, не владея собою, однажды прервав его речь, сказал ему: «Довольно! Оставьте, не могу далее слушать, слишком страшно!»

А. Т. Тарасенков, 9.

О. Матфей, как духовный отец Гоголя, взявший на себя обязанность очистить совесть Гоголя и приготовить его к христианской непостыдной кончине, потребовал от Гоголя отречения от Пушкина. «Отрекись от Пушкина, – потребовал о. Матфей. – Он был грешник и язычник...» Что заставило о. Матфея потребовать такого отречения? Он говорил, что «я считал необходимым это сделать». Такое требование было на одном из последних свиданий между ними. Гоголю представлялось прошлое и страшило будущее. Только чистое сердце может зреть бога, потому должно быть устранено все, что заслоняло бога от неверующего сердца. «Но было и еще...» – прибавил о. Матфей. Но что же еще? Это осталось тайной между духовным отцом и духовным сыном. «Врача не обвиняют, когда он по серьезности болезни прописывает больному сильные лекарства». Такими словами закончил о. Матфей разговор о Гоголе.

Протоиерей Ф. И. Образцов. «О. Матфей Константиновский (по моим воспоминаниям)». Тверские Епархиальные Ведомости, 1902, № 5, 137–141.

Имело ли последнее свидание Гоголя с о. Матвеем влияние на его предсмертное настроение, сказать наверное не могу; но считаю его весьма вероятным, сопоставляя роковой случай с другими ему подобными, в которых такого рода влияние о. Матвея не подлежит сомнению.

Т. И. Филиппов. Гражданин, 1874, № 4, 112.

Во вторник на масленице он проводил Матвея Александровича на станцию железной дороги и весьма был огорчен тем, что там все обращали на него внимание и с ненасытным любопытством его преследовали.

А. Т. Тарасенков, 9.

Пятого, после лекций моих, я поехал к нему и застал его на отъезде. Он жаловался мне на расстройство желудка и на слишком сильное действие лекарства, которое ему дали. Я говорил ему: «Но как же ты, нездоровый,

выезжаешь? Посидел бы три дня дома – и прошло бы. Вот то-то не женат: жена бы не пустила тебя». Он улыбнулся этому.

С. П. Шевырев – М. Н. Синельниковой. Рус. Стар., 1902, май, 441.

Во вторник (*5-го февраля*) на масленице Гоголь приезжал к своему духовнику, живущему в отдаленной части города, известить, что говеет, испросить, когда можно приобщиться. Тот посоветовал было дождаться первой недели поста, а потом согласился и назначил четверг.

М. П. Погодин. Москвитянин, 1852, № 5, кн. 1, стр. 47.

Уже написал было к вам одно письмо еще вчера, в котором просил извиненья в том, что оскорбил вас; но вдруг милость божия, чьими-то молитвами, посетила и меня, жестокосердого, и сердцу моему захотелось вас благодарить крепко, так крепко! Но об этом что говорить! Мне стало только жаль, что я не поменялся с вами шубами. Ваша лучше бы меня грела. Обязанный вам вечною благодарностью и здесь, и за гробом, весь ваш Николай.

Гоголь – о. Матвею, 6 февр. 1852 г. Письма, IV, 423.

Гоголь обложил себя книгами духовного содержания более, нежели прежде, говоря, что «такие книги нужно часто перечитывать, потому что нужны толчки к жизни». С этих пор он бросил литературную работу и всякие другие занятия; стал есть весьма мало, хотя, по-видимому, не терял аппетита и жестоко страдал от лишения пищи, к которой привык и без которой всегда чувствовал себя дурно. Свое пощение он не ограничивал одною пищею, но и сон умерил до чрезмерности: после ночной продолжительной молитвы он рано вставал, шел к заутрене, тогда как до того времени не выходил со двора, не выспавшись достаточно и не напившись крепкого кофе.

По отъезде Матвея Александровича он стал подробнее изучать церковный устав и еще более говорить о смерти. По учреждениям церковным масленица составляет преддверие поста: уже начинает отчасти совершаться великопостная служба; употребление мясной пищи запрещено с самого ее начала; в продолжение же двух первых дней первой недели поста, по некоторым уставам, не дозволяется вовсе употреблять никакой пищи. Изучив подробнее устав, Гоголь начал его придерживаться и, по-видимому, старался сделать более, нежели предписано уставом. Масленицу он посвятил говению; ходил в церковь, молился весьма много и необыкновенно тепло, от пищи воздерживался до чрезмерности: за обедом употреблял только несколько ложек овсяного супа на воде или капустного рассола. Когда ему предлагали

кушать что-нибудь другое, он отзывался болезнью, объясняя, что чувствует что-то в животе, что кишки у него перевертываются, что это болезнь его отца, умершего в такие же лета, и притом оттого, что его лечили… Впрочем, в это время болезнь его выражалась только одною слабостью, и в ней не было заметно ничего важного; самая слабость, видимо, происходила от чрезмерного изнурения и мрачного настроения духа. Несмотря на это ослабление тела, Гоголь продолжал поститься и проводить ночи на молитве; ослабление возрастало со дня на день. Впрочем, он еще мог выезжать и ходить.

А. Т. Тарасенков. Последние дни. 10. Шенрок. Материалы, IV, 851,

В среду (*6-го февраля*) он опять был у меня. Казалось, ему лучше: лицо было спокойнее, хотя следы усталости какой-то были видны на нем. Я приписывал их посту.

С. П. Шевырев – М. Н. Синельниковой. 441.

Зная по опыту, как причащение раньше успокаивало Гоголя во время его уныния, гр. А. П. Толстой присоветовал ему причаститься скорее, не продолжая приготовительного говения. Поговорив с духовником, по-видимому вовсе не понимавшим его. Гоголь причастился в церкви, находящейся далеко от его дома (на Девичьем Поле). Это было в четверг на масленице (7 февр).

А. Т. Тарасенков. Последние дни, 11. Шенрок, IV, 852.

В четверг явился Гоголь в церковь (*Саввы Освященного, на Девичьем Поле*) еще до заутрени и исповедался. Перед принятием св. даров, за обеднею, пал ниц и много плакал. Был уже слаб и почти шатался.

М. П. Погодин, 47.

Однако ж и причащение его не успокоило. Он не хотел в этот день ничего есть, и когда после съел просфору, то назвал себя обжорою, окаянным, нетерпеливцем и сокрушался сильно. Вообще, болезненное изнеможение тела еще более служило к мрачному настроению духа.

А. Т. Тарасенков. Шенрок, IV, 852.

Вечером приехал он опять к священнику и просил его отслужить поутру. Из церкви заехал по соседству к одному знакомому (*М. П. Погодину*), который при первом взгляде на него заметил в лице болезненное расстройство и не мог удержаться от вопросов, что с ним случилось.

«Ничего, – отвечал, он, – я нехорошо себя чувствую». Просидев несколько минут, он встал (в комнате сидело двое посторонних) и сказал, что сходит к домашним, но остался у них еще менее.

М. П. Погодин, 47.

В тот самый день, как приобщился он святых тайн, я был у него и со слезами, на коленях, молил его принять пищу, которая могла бы подкрепить его, но он как будто оскорбился такою просьбою, уверял меня, что ест весьма довольно.

С. П. Шевырев – М. Н. Синельниковой, 444.

В один из последующих дней он поехал на извозчике в Преображенскую больницу, подъехал к воротам, слез с санок, долго ходил взад и вперед у ворот, потом отошел от них, долгое время оставался в поле, на ветру, в снегу, стоя на одном месте, и, наконец, не входя во двор, опять сел в сани и велел ехать домой. В Преображенской больнице находился один больной (*Иван Яковлевич Корейша*), признанный за помешанного; его весьма многие навещали, приносили ему подарки, испрашивали советов в трудных обстоятельствах жизни, берегли его письменные замечания и проч. Некоторые радовались, если он входил с ними в разговор; другие стыдились признаться, что у него были… Зачем ездил Гоголь в Преображенскую больницу, – бог весть. Вероятно, были с ним и другие приключения, которые остались неизвестными, как и вообще многое сокрыто из его жизни.

Такие необыкновенные поступки его хотя и бывали с ним прежде, однако же теперь были так продолжительны, что поразили графа; он уговорил его посоветоваться с врачом, для чего и призван был его давнишний знакомый доктор Иноземцев, который нашел, что у него катар кишок, советовал ему спиртные натирания живота, лавровишневую воду и ревенные пилюли по случаю долго продолжавшегося запора. Не веря вообще медицине и медикам, он не воспользовался и его советами, хотя чувствовал уже себя весьма дурно и перестал принимать к себе знакомых, которым прежде никогда не отказывал.

А. Т. Тарасенков. Последние дни, II, 27. Шенрок, IV, 852.

В субботу на масленице он посетил некоторых своих знакомых. Никакой болезни не было в нем заметно, не только опасности; а в задумчивости его, молчаливости не представлялось ничего необыкновенного.

М. П. Погодин, 48.

Во всю масленицу после вечерней дремоты в креслах, оставаясь один, по ночам, при всеобщей тишине, он вставал и проводил долгое время в молитве, со слезами, стоя перед образами. Ночью с пятницы на субботу (*8–9 февраля*) он, изнеможенный, уснул на диване, без постели, и с ним произошло что-то необыкновенное, загадочное: проснувшись вдруг, послал он за приходским священником, объяснил ему, что он недоволен недавним причащением, и просил тотчас же опять причастить и соборовать его, потому что он видел себя мертвым, слышал какие-то голоса и теперь почитает себя уже умирающим. Священник, видя его на ногах и не заметив в нем ничего опасного, уговорил его оставить это до другого времени. По-видимому, после посещения священника он успокоился, но не прерывал размышлений глубоко его потрясавших.

А. Т. Тарасенков. Последние дни, 12. Шенрок, IV, 853.

В воскресенье перед постом (*10 февраля*) он призвал к себе гр. А. П. Толстого и, как бы готовясь к смерти, поручал ему отдать некоторые свои сочинения в распоряжение духовной особы, им уважаемой (*митрополита Филарета*), а другие напечатать. Тот старался ободрить его упавший дух и отклонить от него всякую мысль о смерти.

М. П. Погодин. Москвитянин, 1852, № 5, март, кн. I, стр. 49.

Мысль о смерти его не оставляла. Еще, кажется, в первый понедельник он позвал к себе графа Толстого и просил его взять к себе его бумаги, а по смерти его отвезти их к митрополиту и просить его совета о том, что напечатать и чего не напечатать. Граф не принял от него бумаг, опасаясь тем утвердить его в ужасной мысли, его одолевавшей.

С. П. Шевырев – М. Н. Синельниковой, 442.

С понедельника только обнаружилось его совершенное изнеможение. Он не мог уже ходить и слег в постель. Призваны были доктора. Он отвергал всякое пособие, ничего не говорил и почти не принимал пищи. Просил только по временам пить и глотал по нескольку капель воды с красным вином. Никакие убеждения не действовали. Так прошла вся первая неделя.

М. П. Погодин, 48.

На первой неделе поста я в редкий день не навещал его. Но он тяготился моим присутствием и всех друзей своих допускал на несколько минут и потом отзывался сном, что ему дремлется, что он говорить не может. В

положении его, мне казалось, более хандры, нежели действительной болезни.

С. П. Шевырев – М. Н. Синельниковой, 443.

Он все-таки не казался так слаб, чтоб, взглянув на него, можно было подумать, что он скоро умрет. Он нередко вставал с постели и ходил по комнате совершенно так, как бы здоровый. Посещения друзей, по-видимому, более отягощали его, чем приносили ему какое-либо утешение. Шевырев жаловался мне, что он принимает самых ближайших к нему уж чересчур по-царски, что свидания их стали похожи на аудиенции. Через минуту, после двух-трех слов, уж он дремлет и протягивает руку: «Извини! дремлется что-то!» А когда гость уезжал, Гоголь тут же вскакивал с дивана и начинал ходить по комнате.

Н. В. Берг. Воспоминания о Н. В. Гоголе. Рус. Стар., 1872, янв., 126.

В понедельник и вторник первой недели поста наверху у графа была всенощная; Гоголь едва мог дойти туда, останавливался на ступенях, присаживаясь на стуле, однако стоял всю всенощную и молился. День оставался почти без пищи, ночи проводил он стоя перед образами в теплой молитве со слезами. Граф, видя, как изнуряет все это Гоголя, прекратил у себя церковное служение.

А. Т. Тарасенков. Шенрок, IV, 853.

Ночью на вторник (с 11-го на 12-е февраля) он долго молился один в своей комнате. В три часа призвал своего мальчика и спросил его, тепло ли в другой половине его покоев. «Свежо», – ответил тот. «Дай мне плащ, пойдем, мне нужно там распорядиться». И он пошел, со свечой в руках, крестясь во всякой комнате, чрез которую проходил. Пришед, велел открыть трубу, как можно тише, чтоб никого не разбудить, и потом подать из шкафа портфель. Когда портфель был принесен, он вынул оттуда связку тетрадей, перевязанных тесемкой, положил ее в печь и зажег свечой из своих рук. Мальчик, догадавшись, упал перед ним на колени и сказал: «Барин! что это вы? Перестаньте!» – «Не твое дело, – ответил он. – Молись!» Мальчик начал плакать и просить его. Между тем огонь погасал после того, как обгорели углы у тетрадей. Он заметил это, вынул связку из печки, развязал тесемку и уложил листы так, чтобы легче было приняться огню, зажег опять и сел на стуле перед огнем, ожидая, пока все сгорит и истлеет. Тогда он, перекрестясь, воротился в прежнюю свою комнату, поцеловал мальчика, лег на диван и заплакал.

М. П. Погодин. Москвитянин, 1852, № 5, март, кн. I, отд. VII, стр. 49.

Долго огонь не мог пробраться сквозь толстые слои бумаги; но наконец вспыхнул, и все погибло. Рассказывают, что Гоголь долго сидел неподвижно и наконец проговорил: «Негарно мы зробили, негарно, недобре дило». Это было сказано мальчику, бывшему его камердинером.

Графиня Е. В. Сальяс – М. А. Максимовичу. Рус. Арх., 1907, III, 437.

Когда почти все сгорело, он долго сидел задумавшись, потом заплакал, велел позвать графа, показал ему догорающие углы бумаги и с горестью сказал: «Вот что я сделал! Хотел было сжечь некоторые вещи, давно на то приготовленные, а сжег все! Как лукавый силен, – вот он к чему меня подвинул! А я было там много дельного уяснил и изложил. Это был венец моей работы; из него могли бы все понять и то, что неясно у меня было в прежних сочинениях... А я думал разослать друзьям на память по тетрадке: пусть бы делали, что хотели. Теперь все пропало». Граф, желая отстранить от него мрачную мысль о смерти, с равнодушным видом сказал: «Это хороший признак, прежде вы сжигали все, а потом выходило еще лучше; значит, и теперь это не перед смертью». Гоголь при этих словах стал как бы оживляться; граф продолжал: «Ведь вы можете все припомнить?» – «Да, – отвечал Гоголь, положив руку на лоб, – могу, могу; у меня все это в голове». После этого он, по-видимому, сделался покойнее, перестал плакать.

А. Т. Тарасенков. Последние дни, 12. Шенрок, IV, 854.

Кн. Дм. Ал. Оболенский рассказал мне следующие подробности о Гоголе, с которым он был хорошо знаком. Он находился в Москве, когда Гоголь умер. Гоголь кончил «Мертвые души» за границей – и сжег их. Потом опять написал и на этот раз остался доволен своим трудом. Но в Москве стало посещать его религиозное исступление, и тогда в нем бродила мысль сжечь и эту рукопись. Однажды приходит к нему граф А. П. Толстой, с которым он был постоянно в дружбе. Гоголь сказал ему: «Пожалуйста, возьми эти тетради и спрячь их. На меня находят часы, когда все это хочется сжечь. Но мне самому было бы жаль. Тут, кажется, есть кое-что хорошего». Граф Толстой из ложной деликатности не согласился. Он знал, что Гоголь предается мрачным мыслям о смерти и т. п., и ему не хотелось исполнением просьбы его как бы подтвердить его ипохондрические опасения. Спустя дня три граф опять пришел к Гоголю и застал его грустным. «А вот, – сказал ему Гоголь, – ведь лукавый меня таки попутал: я сжег «Мертвые души»». Он не раз говорил, что ему представлялось какое-то видение. Дня за три до кончины он был уверен в своей скорой смерти.

А. В. Никитенко, I, 416.

После уничтожения своих творений мысль о смерти, как близкой, необходимой, неотразимой, видно, запала ему глубоко в душу и не оставляла его ни на минуту. За усиленным напряжением последовало еще большее истощение. С этой несчастной ночи он сделался еще слабее, еще мрачнее прежнего: не выходил больше из своей комнаты, не изъявлял желания видеть никого, сидел один в креслах по целым дням, в халате, протянув ноги на другой стул, перед столом. Сам он почти ни с кем не начинал разговора; отвечал на вопросы других коротко и отрывисто. Напрасно близкие к нему люди старались воспользоваться всем, чем было только возможно, чтобы вывести его из этого положения. По ответам его видно было, что он в полной памяти, но разговаривать не желает. Замечательны слова, которые он сказал А. С. Хомякову, желавшему его утешить: «Надобно же умирать, а я уже готов, и умру…» Когда гр. А. П. Толстой для рассеяния начинал с ним говорить о предметах, которые были весьма близки к нему и которые не могли не занимать его прежде (о письме Муханова, об образе матери, который затерялся было, – и это также сочтено было за дурное предзнаменование, да нашелся, и проч.), он возражал с благоговейным изумлением: «Что это вы говорите! Можно ли рассуждать об этих вещах, когда я готовлюсь к такой страшной минуте?» Потом он молчал, погружался в размышления и тем заставлял графа замолчать. Впрочем, в эти же дни он делал некоторые неважные завещания насчет своего крепостного человека и проч. и рассылал последние карманные деньги бедным и на свечки, так что по смерти у него не осталось ни копейки. (У Шевырева осталось около 2000 руб. от вырученных за сочинения денег, прочие пошли на воспитание сестер, на долги матери и в помощь бедным студентам 3000 руб., розданных втайне. От наследства матери он уже давно отказался прежде.) Иногда по вечерам он дремал в креслах, а ночи проводил в бдении на молитве; иногда жаловался на то, что у него голова горит и руки зябнут; один раз имел небольшое кровотечение из носа, мочу имел густую, темно окрашенную, испражнения на низ не было во всю неделю. Прежде сего за год он имел течение из уха будто бы от какой-то вещи, туда запавшей; других болезней в нем не было заметно; сношений с женщинами он давно не имел и сам признавался, что не чувствовал в том потребности и никогда не ощущал от этого особого удовольствия; онании также не был подвержен.

А. Т. Тарасенков. Последние дни, 13. Шенрок, IV, 854.

В среду на первой неделе поста граф прислал за мною и объяснил, что происходит с Гоголем. Озабоченный его положением, он желал, чтобы я его видел и сказал свое мнение о его болезни. Иноземцев же отзывался об ней неопределенно и один день предполагал переход ее в тиф, на

другой сказал, что ему лучше; однако же запретил ему выезжать. Явившись к графу, я, по его рассказам, наводил его на мысль: не нужно ли подумать о том, как бы заставить его употреблять питательную пищу, если нельзя по убеждению, то хотя против воли? Я передал о нескольких примерах психопатов, мною виденных и исцелившихся после того, как они стали употреблять пищу. Сам Гоголь не изъявлял желания меня видеть; надобно было употребить уловку и войти к графу, когда он там (он мог меня принять у него как общего знакомого, с которым Гоголь не раз вместе обедал и беседовал); но это не удавалось.

Д-р А. Т. Тарасенков. Последние дни, 14. Шенрок, IV, 855.

В четверг сказал: «Надо меня оставить; я знаю, что должен умереть».

М. П. Погодин, 48.

Посещавший Гоголя врач (*Иноземцев*) захворал и уже не мог к нему ездить. Тогда граф настоял на своем желании ввести меня к нему. Гоголь сказал: «Напрасно, но пожалуй». Тут только я в первый раз увидел его в болезни. Это было в субботу первой недели поста. Увидев его, я ужаснулся. Не прошло и месяца, как я с ним вместе обедал; он казался мне человеком цветущего здоровья, бодрым, свежим, крепким, а теперь передо мною был человек, как бы изнуренный до крайности чахоткою или доведенный каким-либо продолжительным истощением до необыкновенного изнеможения. Все тело его до чрезвычайности похудело; глаза сделались тусклы и впали, лицо совершенно осунулось, щеки ввалились, голос ослаб, язык трудно шевелился от сухости во рту, выражение лица стало неопределенное, необъяснимое. Мне он показался мертвецом с первого взгляда. Он сидел, протянув ноги, не двигаясь и даже не переменяя прямого положения лица; голова его была несколько опрокинута назад и покоилась на спинке кресел. Когда я подошел к нему, он приподнял голову, но не долго мог ее удерживать прямо, да и то с заметным усилием. Хотя неохотно, но позволил он мне пощупать пульс и посмотреть язык: пульс был ослабленный (у Шенрока: пульс был довольно полон и скор), язык чистый, но сухой; кожа имела натуральную теплоту. По всем соображениям видно было, что у него нет горячечного состояния и неупотребление пищи нельзя было приписать отсутствию аппетита. Тогда еще не были мне сообщены предшествовавшие печальные события: его непреклонная уверенность в близкой смерти и самим им произведенное истребление своих творений. В это время главное внимание заботившихся о нем было обращено на то, чтоб он употреблял питательную пищу и имел свободное отправление кишок. Приняв состояние, в котором он теперь находился, за настоящую (соматическую) болезнь, я хотел поселить в больном доверие к врачеванию и склонить его на предложения медиков. Чтоб ободрить его,

я показал себя спокойным и равнодушным к его болезни, утверждая с уверенностью, что она неважна и обыкновенная, что она теперь господствует между многими и проходит скоро при пособиях. Я настаивал, чтоб он если не может принимать плотной пищи, то, по крайней мере, непременно употреблял бы поболее питья, и притом питательного молока, бульона и т. д. «Я одну пилюлю проглотил, как последнее средство; она осталась без действия; разве надобно пить, чтоб прогнать ее?» – сказал он. Не обременяя его долгими разговорами, я старался ему объяснить, что питье нужно для смягчения языка и желудка, а питательность питья нужна, чтоб укрепить силы, необходимые для счастливого окончания болезни. Не отвечая, больной опять склонил голову на грудь, как при нашем входе; я перестал говорить и удалился вместе с графом наверх.

Удалившись от графа, я почел обязанностью зайти опять к больному, чтоб еще сильнее высказать ему мои убеждения. Через служителя я выпросил у него позволения войти к нему еще на минуту. Мне вообразилось, что он колеблется в своих намерениях; я не терял надежды, что Гоголь, привыкнув видеть мою искренность, послушается меня. Подойдя к нему, я с видимым хладнокровием, но с полною теплотою сердечною употребил все усилия, чтоб подействовать на его волю. Я выразил мысль, что врачи в болезни прибегают к совету своих собратий и их слушаются; не-врачу тем более надобно следовать медицинским наставлениям, особенно преподаваемым с добросовестностью и полным убеждением; и тот, кто поступает иначе, делает преступление перед самим собою. Говоря это, я обратил внимание на его лицо, чтоб подсмотреть, что происходит в его душе. Выражение его лица нисколько не изменилось: оно было так же спокойно и так же мрачно, как прежде; ни досады, ни огорчения, ни удивления, ни сомнения не показалось и тени. Он смотрел как человек, для которого все задачи разрешены, всякое чувство замолкло, всякие слова напрасны, колебание в решении невозможно. Впрочем, когда я перестал говорить, он в ответ произнес внятно, с расстановкой и хотя вяло, безжизненно, но со всею полнотою уверенности: «Я знаю, врачи добры: они всегда желают добра»; но вслед за этим опять наклонил голову, от слабости ли или в знак прощания, – не знаю. Я не смел его тревожить долее, пожелал ему поскорее поправляться и простился с ним; вбежал к графу, чтоб сказать, что дело плохо, и я не предвижу ничего хорошего, если это продолжится. Граф предложил мне зайти дня через два узнать, что делается. Неопределительные отношения между медиками не дозволяли мне впутываться в распоряжения врачебные, тем более что он был в руках у своего приятеля Иноземцева, с которым был короток и который его любил искренно.

А. Т. Тарасенков. Последние дни, 14, Шенрок, IV, 856.

Граф употребил все, что возможно было для исцеления Гоголя. Призывал для совещания знаменитейших московских докторов, советовался с духовными лицами, знакомыми своими и друзьями Гоголя. Тогда же он рассказал митрополиту Филарету об опасной болезни Гоголя и его упорном посте. Филарет прослезился и с горестью сообщил мысль, что на Гоголя надобно было действовать иначе; следовало убеждать его, что его спасение не в посте, а в послушании. После этого он ежедневно призывал к себе окружавших больного священников, расспрашивал их о ходе болезни и о явлениях, случающихся в ней, и о поступках больного и препоручал им сказать ему от себя (он сам был болен в это время), что он его просит непрекословно исполнять назначения врачебные во всей полноте.

А. Т. Тарасенков. Последние дни, 16. Шенрок, IV, 858.

Как Толстой ни увещевал Гоголя подкрепиться, ничто не действовало. Граф поехал к митрополиту Филарету, чтобы словом архипастыря подействовать на расстроенное воображение кающегося грешника. Филарет приказал сказать, что сама церковь повелевает в недугах предаться воле врача. Но и это не произвело перемены в мыслях больного. Пропуская лишь несколько капель воды с красным вином, он продолжал стоять коленопреклоненный перед множеством поставленных перед ним образов и молиться. На все увещания он отвечал тихо и коротко: «Оставьте меня; мне хорошо». Он забыл обо всем: не умывался, не чесался, не одевался.

П. А. Плетнев – В. А. Жуковскому, 24 февр. 1852 г., со слов А. О. Смирновой. Сочинения и переписка П. А. Плетнева, т. III. СПб., 1885. Стр. 731.

Духовник навещал Гоголя часто; приходский священник являлся к нему ежедневно. При нем нарочно подавали тут же кушать саго, чернослив и проч. Священник начинал первый и убеждал его есть вместе с ним. Неохотно, немного, но употреблял он эту пищу ежедневно; потом слушал молитвы, читаемые священником. «Какие молитвы вам читать?» – спрашивал он. «Все хорошо; читайте, читайте!» Друзья старались подействовать на него приветом, сердечным расположением, умственным влиянием; но не было лица, которое могло бы взять над ним верх; не было лекарства, которое бы перевернуло его понятие; а у больного не было желания слушать чьи-либо советы; глотать какие-либо лекарства. Так провел он почти всю первую неделю поста.

А. Т. Тарасенков. Последние дни, 16. Шенрок, IV, 858, 853.

В последние дни имел он еще силы писать хотя дрожащей рукою… На длинных бумажках писал он большими буквами: «Еще не будете малы,

яко дети, не внидете в царствие небесное». Потом молитву Иисусу Христу против сатаны, чтобы Иисус Христос связал его неисповедимою силою креста своего. Последние слова, написанные им, были: «Как поступить, чтобы признательно, благодарно и вечно помнить в сердце полученный урок?» К чему относились эти слова, – это осталось тайной.

Шевырев – М. Н. Синельниковой, 445.

В воскресенье приходский священник убедил больного принять ложку клещевинного масла; он проглотил, но после этого перестал вовсе слушаться его и не принимал уже в последнее время никакой пищи. В этот же день духовник его убедил было употребить промывательное; хотя он согласился, но это было только на словах. Когда к нему стали прикасаться, он решительно отказался.

А. Т. Тарасенков. Последние дни. Шенрок, IV, 858.

В понедельник на второй неделе духовник предложил ему приобщиться и собороваться маслом, на что он согласился с радостию и выслушал все евангелия в полной памяти, держа в руках свечу, проливая слезы. Вечером уступил было настояниям духовника принять медицинское пособие, но лишь только прикоснулись к нему, как закричал самым жалобным, раздирающим голосом: «Оставьте меня! Не мучьте меня!» Кто ни приходил к нему, он не поднимал глаз, приказывал только по временам переворачивать себя или подавать себе пить. Иногда показывал нетерпение.

М. П. Погодин, 48.

Силы больного падали быстро и невозвратно. Несмотря на свое убеждение, что постель будет для него смертным одром (почему он старался оставаться в креслах), в понедельник на второй неделе поста он улегся, хотя в халате и сапогах, и уж более не вставал с постели. В этот же день он приступил к напутственным таинствам покаяния, причащения и елеосвящения. Один близкий Гоголю земляк, Ив. Вас. Капнист, хотел также подействовать своим дружеским влиянием на него; но на его слова он ничего не отвечал. Тот сказал: «Верно, ты меня не узнаешь?» – «Как не знать? – отвечал Гоголь и, назвав его по имени, прибавил: – Я прошу вас, не оставьте своим вниманием сына моего духовника, который служит у вас в канцелярии», – и опять замолк. Уже раз спасен он был от болезни в Риме без медицинских пособий; он приписывал это чуду. И в настоящее время он сказал кому-то из убеждавших его лечиться: «Ежели будет угодно богу, чтоб я жил еще, буду жив…» Между тем все соединилось не к добру. И Иноземцев захворал и последние дни у него не был. А. И. Овер приглашен был

графинею взойти к Гоголю в первый раз в этот понедельник. Вероятно, из медицинской деликатности он не посоветовал ничего другого, как не давать ему вина, которого больной спрашивал часто.

А. Т. Тарасенков. Последние дни, 16. Шенрок, IV, 859.

Одним из последних слов, сказанных им еще в полном сознании, были слова: «Как сладко умирать!»

Шевырев – М. Н. Синельниковой, 445.

Во вторник являюсь я и встречаю гр. Толстого, встревоженного через меру и сверх моего ожидания. «Что Гоголь?» – «Плохо; лежит. Ступайте к нему, теперь можно входить». В Москве уже прослышали о болезни Гоголя. Передняя комната была наполнена толпою почитателей таланта и знакомых его; молча стояли все с скорбными лицами, поглядывая на него издали. Меня впустили прямо в комнату больного, без затруднения, без доклада. Гоголь лежал на широком диване, в халате, в сапогах, отвернувшись к стене, на боку, с закрытыми глазами. Против его лица – образ богоматери; в руках четки; возле него мальчик его и другой служитель. На мой тихий вопрос он не ответил ни слова. Мне позволили его осмотреть, я взял его руку, чтоб пощупать его пульс. Он сказал: «Не трогайте меня, пожалуйста!» Я отошел, расспросил подробно у окружающих о всех отправлениях больного: никаких объективных симптомов, которые бы указывали на важное страдание, как теперь, так и во все эти дни, не обнаруживалось; только очищения кишок не было вовсе в последние дни. Через несколько времени больной погрузился в дремоту, и я успел испытать, что пульс его слабый, скорый, удобосжимаемый; руки холодноваты, голова также прохладна, дыхание ровное, правильное.

Приехал Погодин[65] с д-ром Альфонским. Этот предложил магнетизирование, чтобы покорить его волю и заставить употреблять пищу. Явился и Овер, который согласился на то же в ожидании следующего дня, в который он предположил приступить к деятельному лечению. Но для этого он велел созвать консилиум, известить о нем Иноземцева. Целый вторник Гоголь лежал, ни с кем не разговаривая, не обращая внимания на всех, подходивших к нему. По временам поворачивался он на другой бок, всегда с закрытыми глазами, нередко находился как бы в дремоте, часто просил пить красного вина и всякий раз смотрел на свет, то ли ему подают. Вечером подмешали вино сперва красным питьем (?), а потом бульоном. По-видимому, он уже неясно различал качество питья, потому что сказал только: «Зачем подаешь мне мутное?» – однако ж выпил. С тех пор ему стали подавать для питья бульон, когда он спрашивал пить, повторяя быстро одно и то же слово: «Подай, подай!» Когда ему подносили питье, он брал рюмку в руку,

приподнимал голову и выпивал все, что ему было подано. Вечером пришел д-р Сокологорский для магнетизирования. Когда он положил свою руку больному на голову, потом под ложку и стал делать пассы, Гоголь сделал движение телом и сказал: «Оставьте меня!» Продолжать магнетизирование было нельзя. Поздно вечером призван д-р Клименков и поразил меня дерзостью своего обращения. Он стал кричать с ним, как с глухим или беспамятным, начал насильно держать его руку, добиваться, что болит. «Не болит ли голова?» – «Нет». – «Под ложкою?» – «Нет» и т. д. Ясно было, что больной терял терпение и досадовал. Наконец он умоляющим голосом сказал: «Оставьте меня!» – отвернулся и спрятал руку. Клименков советовал кровь пустить или завертывание в мокрые холодные простыни; я предложил отсрочить эти действия до завтрашнего консилиума. Между тем в этот же вечер искусным образом, когда больной перевертывался, ему вложили суппозиторий из мыла, что также не обошлось без крика и стона.

А. Т. Тарасенков. Последние дни, 17. Шенрок, IV, 859.

Во вторник он выпил без прекословия чашку бульону, поднесенную ему служителем, через несколько времени другую и подал тем надежду к перемене в своем положении; но эта надежда продолжалась недолго.

М. П. Погодин, 48.

На следующий день, в середу утром, больной находился почти в таком же положении, как и накануне; но слабость пульса усилилась весьма заметно, так что врачи, видевшие его в это время, полагали, что надобно будет прибегнуть к средствам возбуждающим (мускус). Около полудня собрались для консилиума: Овер, Эвениус, Клименков, Сокологорский и я. Судьбе угодно было, чтобы Ворвинский был задержан и приехал позднее, после того как участь больного уже решена была неумолимым советом трех. В присутствии гр. А. П. Толстого, Ив. В. Капниста, Хомякова и довольно многочисленного собрания Овер рассказал Эвениусу историю болезни. При суждении о болезни взяты в основание его сидячая жизнь; напряженная головная работа (литературные занятия); они могли причинить прилив крови к мозгу. Усиленное стремление умерщвлять тело совершенным воздержанием от пищи, неприветливость к таким людям, которые стремятся помочь ему в болезни, упорство не лечиться – заставили предположить, что его сознание не находится в натуральном положении. Поэтому Овер предложил вопрос: «Оставить больного без пособий или поступить с ним как с человеком, не владеющим собою, и не допускать его до умерщвления себя?» Ответ Эвениуса был: «Да, надобно его кормить насильно». Все врачи вошли к больному, стали его осматривать и расспрашивать. Когда давили ему живот, который был так мягок и пуст,

что через него легко можно было ощупать позвонки, то Гоголь застонал, закричал. Прикосновение к другим частям тела, вероятно, также было для него болезненно, потому что также возбуждало стон и крик. На вопросы докторов больной или не отвечал ничего, или отвечал коротко и отрывисто «нет», не раскрывая глаз. Наконец, при продолжительном исследовании, он проговорил с напряжением: «Не тревожьте меня, ради бога!» Кроме исчисленных явлений ускоренный пульс и носовое кровотечение, показавшееся было в продолжение его болезни само собою, послужили показанием к приставлению пиявок в незначительном количестве. Овер препоручил Клименкову поставить больному две пиявки к носу, сделать холодное обливание головы в теплой ванне. Тогда прибыл Ворвинский. Коротко передал ему Овер тот же французский рассказ по-русски. По осмотре больного Ворвинский сказал: «Gastro-enteritis ex inanitione (*желудочно-кишечное воспаление вследствие истощения*). Пиявок не знаю, как вынесет, а ванну разве бульонную. Впрочем, навряд ли что успеете сделать при таком упорстве больного». Но его суждения никто не хотел и слушать; все разъезжались. Клименков взялся сам устроить все, назначенное Овером. Я отправился, чтоб не быть свидетелем мучений страдальца. Когда я возвратился через три часа после ухода, в шестом часу вечера, уже ванна была сделана, у ноздрей висели шесть крупных пиявок; к голове приложена примочка. Рассказывают, что, когда его раздевали и сажали в ванну, он сильно стонал, кричал, говорил, что это делают напрасно; после того как его положили опять в постель без белья, он проговорил: «Покройте плечо, закройте спину!»; а когда ставили пиявки, он повторял: «Не надо!»; когда они были поставлены, он твердил: «Снимите пиявки, поднимите (ото рта) пиявки!» – и стремился их достать рукою. При мне они висели еще долго, его руку держали с силою, чтобы он до них не касался. Приехали в седьмом часу Овер и Клименков; они велели подолее поддерживать кровотечение, ставить горчичники на конечности, потом мушку на затылок, лед на голову и внутрь отвар алтейного корня с лавровишневой водой. Обращение их было неумолимое; они распоряжались, как с сумасшедшим, кричали перед ним, как перед трупом. Клименков приставал к нему, мял, ворочал, поливал на голову какой-то едкий спирт, и, когда больной от этого стонал, доктор спрашивал, продолжая поливать: «Что болит, Николай Васильевич? А? Говорите же!» Но тот стонал и не отвечал. – Они уехали, я остался во весь вечер до двенадцати часов и внимательно наблюдал за происходящим. Пульс скоро и явственно упал, делался еще чаще и слабее, дыхание, уже затрудненное утром, становилось еще тяжелее; уже больной сам поворачиваться не мог, лежал смирно на одном боку и был покоен, когда ничего не делали с ним; от горчичников стонал; по вставлении нового суппозитория вскрикнул громко; по временам явственно повторял: «Давай пить!» Уже поздно вечером он стал забываться, терять память. «Давай бочонок!» – произнес он однажды,

показывая, что желает пить. Ему подали прежнюю рюмку с бульоном, но он уже не мог сам приподнять голову и держать рюмку, надобно было придержать то и другое, чтоб он был в состоянии выпить поданное. Еще позже он по временам бормотал что-то невнятно, как бы во сне, или повторял несколько раз: «Давай, давай! Ну, что же!» Часу в одиннадцатом он закричал громко: «Лестницу, поскорее, давай лестницу!..» Казалось, ему хотелось встать. Его подняли с постели, посадили на кресло. В это время он уже так ослабел, что голова его не могла держаться на шее и падала машинально, как у новорожденного ребенка. Тут привязали ему мушку на шею, надели рубашку (он лежал после ванны голый); он только стонал. Когда его опять укладывали в постель, он потерял все чувства; пульс у него перестал биться; он захрипел, глаза его раскрылись, но представлялись безжизненными. Казалось, что наступает смерть, но это был обморок, который длился несколько минут. Пульс возвратился вскоре, но сделался едва приметным. После этого обморока Гоголь уже не просил более ни пить, ни поворачиваться; постоянно лежал на спине с закрытыми глазами, не произнося ни слова. В двенадцатом часу ночи стали холодеть ноги. Я положил кувшин с горячею водою, стал почаще давать проглатывать бульон, и это, по-видимому, его оживляло; однако ж вскоре дыхание сделалось хриплое и еще более затрудненное; кожа покрылась холодною испариною, под глазами посинело, лицо осунулось, как у мертвеца. В таком положении оставил я страдальца, чтобы опять не столкнуться с медиком-палачом, убежденным в том, что он спасает человека; я хотел дать успокоение графу, который без того не уходил в свою комнату. Рассказали мне, что Клименков приехал вскоре после меня, пробыл с ним ночью несколько часов: давал ему каломель, обкладывал все тело горячим хлебом; при этом опять возобновился стон и пронзительный крик. Все это, вероятно, помогло ему поскорее умереть[66].

А. Т. Тарасенков. Последние дни, 18. Шенрок, IV, 860.

На первой неделе поста узнал я, что Гоголь болен. Один раз заезжал на Никитскую спросить о его здоровье, но мне сказали, что он в постели и что видеть его нельзя. Я и не думал, что он в опасности и близок к смерти. Через несколько дней захожу я к И. В. Капнисту, и он встречает меня грустный и встревоженный… У него был граф Толстой. «Как здоровье Николая Васильевича?» – спрашиваю я у графа. «Он очень плох, почти без надежды, – отвечал граф. – Сегодня будет еще консультация, посмотрим, что скажут доктора. Гоголь никого не слушается, не принимает никаких лекарств и никакой пищи, и я пришел просить И. В., которого Гоголь очень любит и уважает, заехать к нему еще раз и уговорить его послушаться приказаний медиков. Не знаю, удастся ли нам?..» Я поехал в присутствие и, окончив свои дела, отправился к Гоголю. У подъезда стояло несколько экипажей. Человек

сказал мне, что доктора все здесь, что консультация кончилась и что все присутствовавшие на ней отправились наверх, в кабинет графа. «А что Николай Васильевич?» – «Все в одном положении». – «Можно его видеть?» – «Войдите», – отвечал он мне, отворяя дверь. Гоголь, видно, переменил комнаты в последнее время, или был перенесен туда уже больной, потому что прежде я бывал у него от входной двери направо, а теперь меня ввели налево, в том же первом этаже. В первой комнате никого не было; во второй, на постели, с закрытыми глазами, худой, бледный, лежал Гоголь; длинные волосы его были спутаны и падали в беспорядке на лицо и на глаза; он иногда вздыхал тяжело, шептал какую-то молитву и по временам бросал мутный взор на икону, стоявшую у ног на постели, прямо против больного. В углу, в кресле, вероятно утомленный долгими бессонными ночами, спал его слуга, малороссиянин. Долго я стоял перед Гоголем, вглядывался в лицо его и не знаю отчего, почувствовал в эту минуту, что для него все кончено, что он более не встанет. Раза два Гоголь вскинул глазами вверх, взглянул на меня, но, не узнав, закрыл их опять. «Пить… дайте пить», – проговорил он наконец хриплым, но внятным голосом. Человек, вошедший вслед за мною в комнату, подал ему в рюмке воду с красным вином. Гоголь немного приподнял голову, обмочил губы и опять с закрытыми глазами упал на подушку. Человек графа разбудил мальчика, который, увидев меня, оробел и подошел к постели больного. Тут я был свидетелем страшного разговора между двумя служителями и не знаю, чем бы кончилась эта сцена, если бы меня тут не было. «Если его так оставить, то он не выздоровеет, – говорил один из них, – поверь, что не встанет, умрет, беспременно умрет!» – «Так что ж, по-твоему?..» – отвечал другой. «Да вот возьмем его насильно, стащим с постели, да и поводим по комнате, поверь, что разойдется и жив будет». – «Да как же это можно? Он не захочет… кричать станет». – «Пусть его кричит… после сам благодарить будет, ведь для его же пользы!» – «Оно так, да я боюсь… как же это без его воли-то?» – «Экой ты неразумный! Что нужды, что без его воли, когда оно полезно? Ведь ты рассуди сам, какая у него болезнь-то… никакой нет, просто так… Не ест, не пьет, не спит, и все лежит, ну, как тут не умереть? У него все чувства замерли, а вот как мы размотаем его, он очнется… на свет божий взглянет и сам жить захочет. Да что долго толковать, бери его с одной стороны, а я вот отсюда, и все хорошо будет!» Мальчик, кажется, начинал колебаться… Я наконец не вытерпел и вмешался в их разговор. «Что вы хотите это делать, как же можно умирающего человека тревожить? Оставьте его в покое», – сказал я строго. «Да, право, лучше будет, сударь. Ведь у него вся болезнь от этого, что как пласт лежит который уж день без всякого движения. Позвольте… Вы увидите, как мы его раскачаем, и жив будет». Я насилу уговорил их не делать этого опыта с умирающим Гоголем, но, прекратив их разговор, кажется, нисколько не убедил того, который первый предложил этот новый способ лечения, потому что, выходя, они все еще

говорили про себя: «Ну, умрет, беспременно умрет… вот увидите, что умрет!»

Л. И. Арнольди. Рус. Вестн., 1862, т. 37, стр. 93–95.

В среду обнаружились явные признаки жестокой нервической горячки. Употреблены были все средства, коих он, кажется, уж не чувствовал, изредка бредил, восклицая: «Поднимите, заложите, на мельницу, ну же, подайте!»

М. П. Погодин, 48.

Гоголь занимал несколько комнат в нижнем этаже дома графини Толстой. Когда я вошла в комнату, в которой находился больной (помню, комната эта была с камином), он лежал в постели, одетый в синий шелковый ватный халат, на боку, обернувшись лицом к стене. Умирающий был уже без сознания, тяжело дышал, лицо казалось страшно черным. Около него никого не было, кроме человека, который за ним ходил. Через несколько часов Гоголя не стало.

В. А. Нащокина. Нов. Время, 1898, № 8129.

Сего утра в восемь часов наш добрый Николай Васильевич скончался, был все без памяти, немного бредил, по-видимому, он не страдал, ночь всю был тих, только дышал тяжело; к утру дыхание сделалось реже и реже, и он как будто уснул, болезнь его обратилась в тифус; я у него провела две ночи, и при мне он скончался. Накануне смерти у Гоголя был консилиум; его сажали в ванну, на голову лили холодную воду, облепили горчичниками, к носу ставили пиявки, на спину мушку, и все было без пользы.

Елиз. Фам. Вагнер (теща Погодина) – М. П. Погодину, 21 февр. 1852 г. Барсуков, XI, 536.

Н. В. Гоголь (в гробу) «Рисунок сделан с Гоголя Э. А. Мамоновым 22 февр. 1852 г., несколько часов спустя после его кончины. Стоя подле гроба Гоголя, я видел и рисуемый портрет, и потому могу ручаться за поразительное сходство» П. А. Ефремов.

В десятом часу утра, в четверг 21 февраля 1852 г., я спешу приехать ранее консультантов, которые назначили быть в десять (а Овер – в час), но уже нашел не Гоголя, а труп его: уже около восьми часов утра прекратилось дыхание, исчезли все признаки жизни. Нельзя вообразить, чтобы кто-нибудь мог терпеливее его сносить все врачебные пособия, насильно ему навязываемые. Умерший лежал уже на столе, одетый в сюртук, в котором он ходил; над ним служили панихиду; с лица его снимали

маску. Когда я пришел, уже успели осмотреть его шкафы, где не нашли ни им писанных тетрадей, ни денег. Долго глядел я на умершего: мне казалось, что лицо его выражало не страдание, а спокойствие, ясную мысль, унесенную в гроб.

А. Т. Тарасенков. Последние дни, 21. Шенрок, IV, 863.

Тело Гоголя было поставлено в приемной его комнате, в доме графа Толстого, где он жил, и комната не вмещала числа посетителей, приходивших поклониться покойнику. В четверг вечером попечитель университета упросил графа Толстого позволить ему перенести тело в университетскую церковь, чтобы почтить память покойного, тем более, что он был почетным членом университета. Сперва эта просьба, сделанная из глубокого уважения к покойному, встретила несколько возражений, но, однако, все было устроено.

В пятницу вечером попечитель, профессора, студенты и множество лиц из всех кругов пришли в комнаты покойного и вынесли тело его в университетскую церковь. Тело было вынесено Островским, Бергом, Феоктистовым, студ. Сатиным, Филипповым, Рудневым и несено до самой церкви, при просьбах других лиц, добивавшихся чести нести его хотя несколько шагов. Оно было поставлено на катафалк в университете, с почетным караулом шести студентов, день и ночь не отходивших от гроба и сменявшихся через два часа. В субботу, на утренней и вечерней панихиде, был весь город и все сословия.

Графиня Е... В. Сальяс – М. А. Максимовичу, Рус. Арх., 1907, III, 437.

Стечение народа в продолжение двух дней было невероятное. Рихтер (художник), который живет возле университета, писал мне, что два дня не было проезду по Никитской улице. Он лежал в сюртуке, – верно, по собственной воле, – с лавровым венком на голове, который при закрытии гроба был снят и принес весьма много денег от продажи листьев сего венка. Каждый желал обогатить себя сим памятником.

Ф. И. Иордан – А. А. Иванову, Рус. Стар., 1902, март, 594.

Погодина не было в Москве во время кончины и погребения Гоголя; Шевырев был болен (он занемог за два дня до смерти Гоголя), а другие друзья его: Хомяков, Аксаковы и Кошелев сделали из дела общего, из скорби общей вопрос партий и не несли покойного, а устранились от погребения.

Графиня Е. В. Сальяс – М. А. Максимовичу, Рус. Арх., 1907, III, 439.

Нужным считаю сообщить тебе следующее: славянофилы с того времени, когда не велено было носить бород, упали духом; но в настоящее время, когда умер известный писатель Гоголь, живший у бывшего одесского градоначальника графа Толстого, славянофилы А. Хомяков, К. и С. Аксаковы, А. Ефремов, П. Киреевский, А. Кошелев и Попов, собравшись к графу Толстому и найдя у него некоторых лиц, начали рассуждать, где должно отпевать Гоголя. Когда на это бывший там профессор Грановский сказал, что всего приличнее отпевать его в университетской церкви как человека, принадлежащего некоторым образом к университету, то все вышеописанные славянофилы стали на это возражать, говоря: «К университету он не принадлежит, а принадлежит народу, а потому, как человек народный, и должен быть отпеваем в церкви приходской, в которую для отдания последнего ему долга может входить лакей, кучер и всякий, кто пожелает, а в университетскую церковь подобных людей не будут пускать». Когда об этом объявил мне попечитель университета, то я в то же время для прекращения всех толков и споров славянофилов приказал Гоголя, как почетного члена здешнего университета, непременно отпевать в университетской церкви… Приказано было от меня находиться полиции и некоторым моим чиновниками как при переносе тела Гоголя в церковь, так равно и до самого погребения. А чтобы не было никакого ропота, то я велел пускать всех без исключения в университетскую церковь. В день погребения народу было всех сословий и обоего пола очень много, а чтобы в это время было все тихо, я приехал сам в церковь.

Граф А. А. Закревский, московский генерал-губернатор, – графу А. Ф. Орлову, шефу жандармов, 29 февр. 1852 г. Красный Архив, 1925, т. IX, II, стр. 300.

В воскресенье было отпевание тела. Стечение народа было так велико, что сгущенные массы стояли до самых почти местных образов. Граф Закревский в полном мундире, попечитель Назимов присутствовали при отпевании, так же, как и все известные лица города. Гроб был усыпан камелиями, которые принесены были частными лицами. На голове его лежал лавровый венок, в руке огромный букет из иммортелей. Когда надо было проститься с ним, то напор всех был так велик, что крышу накрыли силой. Всякий хотел поклониться покойнику, поцеловать руку его, взять хотя стебель цветов, покрывавших его изголовье. Из церкви профессора Анке, Морошкин, Соловьев, Грановский, Кудрявцев вынесли его на руках до улицы, на улице толпа студентов и частных лиц взяла гроб из рук профессоров и понесла его по улице. За гробом пешком шло несметное число лиц всех сословий; прямо за гробом попечитель и все университетские чины и знаменитости; дамы ехали сзади в экипажах. Нить погребения была так велика, что нельзя было видеть конца поезда. До самого монастыря Данилова несли его на руках. Гоголя похоронили

рядом с покойным Языковым, Венелиным, женой Хомякова, умершей за две недели прежде.

Графиня Е. В. Сальяс – М. А. Максимовичу. Рус. Арх., 1907, III, 438.

Статья в пятом нумере «Москвитянина» о кончине Гоголя напечатана на четырех страницах, окаймленных траурным бордюром. Ни о смерти Державина, ни о смерти Карамзина, Дмитриева, Грибоедова и всех вообще светил русской словесности русские журналы не печатались с черной каймой. Все самомалейшие подробности болезни человека сообщены М. П. Погодиным, как будто дело шло о великом муже, благодетеле человечества, или о страшном Аттиле, который наполнял мир славою своего имени. Если почтенный М. П. Погодин удивляется Гоголю, то чему же он не удивляется, полагая, что он так же знаком с иностранной словесностью, как с русской историей?

Ф. В. Булгарин. Северная Пчела, 1852, № 120.

В последних числах февраля месяца 1852 года я находился на одном утреннем заседании вскоре потом погибшего Общества посещения бедных – в зале Дворянского собрания, – и вдруг заметил И. И. Панаева, который с судорожной поспешностью перебегал от одного лица к другому, очевидно сообщая каждому из них неожиданное и невеселое известие, ибо у каждого лицо тотчас выражало удивление и печаль. Панаев наконец подбежал и ко мне и с легкой улыбочкой, равнодушным тоном промолвил: «А ты знаешь, Гоголь помер в Москве. Как же, как же… Все бумаги сжег – да помер», – помчался далее. Нет никакого сомнения, что, как литератор, Панаев внутренне скорбел о подобной утрате – притом же и сердце он имел доброе, – но удовольствие быть первым человеком, сообщающим другому огорашивающую новость (равнодушный тон употреблялся для большего форсу), – это удовольствие, эта радость заглушали в нем всякое другое чувство. Уже несколько дней в Петербурге ходили темные слухи о болезни Гоголя; но такого исхода никто не ожидал. Под первым впечатлением сообщенного мне известия я написал следующую небольшую статью:

ПИСЬМО ИЗ ПЕТЕРБУРГА[67]

Гоголь умер! – Какую русскую душу не потрясут эти два слова? – Он умер. Потеря наша так жестока, так внезапна, что нам все еще не хочется ей верить. В то самое время, когда мы все могли надеяться, что он нарушит, наконец, свое долгое молчание, что он обрадует, превзойдет наши нетерпеливые ожидания, – пришла та роковая весть! – Да, он умер, этот человек, которого мы теперь имеем право, горькое право, данное нам смертию, назвать великим; человек, который своим именем

означал эпоху в истории нашей литературы; человек, которым мы гордимся, как одной из слав наших. Он умер, пораженный в самом цвете лет, в разгаре сил своих, не окончив начатого дела, подобно благороднейшим из его предшественников… Его утрата возобновляет скорбь о тех незабвенных утратах, как новая рана возбуждает боль старинных язв. Не время теперь и не место говорить о его заслугах это дело будущей критики; должно надеяться, что она поймет свою задачу и оценит его тем беспристрастным, но исполненным уважения и любви судом, которым подобные ему люди судятся перед лицом потомства; нам теперь не до того; нам только хочется быть одним из отголосков той великой скорби, которую мы чувствуем разлитою повсюду вокруг нас; не оценять его нам хочется, но плакать; мы не в силах говорить теперь спокойно о Гоголе… Самый любимый, самый знакомый образ не ясен для глаз, орошенных слезами… В день, когда его хоронит Москва, нам хочется протянуть ей отсюда руку соединиться с ней в одном чувстве общей печали. Мы не могли взглянуть в последний раз на его безжизненное лицо; но мы шлем ему издалека наш прощальный привет – и с благоговейным чувством слагаем дань нашей скорби и нашей любви на его свежую могилу, в которую нам не удалось, подобно москвичам, бросить горсть родимой земли! – Мысль, что прах его будет покоиться в Москве, наполняет нас каким-то горестным удовлетворением. Да, пусть он покоится там, в этом сердце России, которую он так глубоко знал и так любил, так горячо любил, что одни легкомысленные или близорукие люди не чувствуют присутствия этого любовного пламени в каждом им сказанном слове. Но невыразимо тяжело было бы нам подумать, что последние, самые зрелые плоды его гения погибли для нас невозвратно, – и мы с ужасом внимаем жестоким слухам об их истреблении…

Едва ли нужно говорить о тех немногих людях, которым слова наши покажутся преувеличенными или даже вовсе неуместными… Смерть имеет очищающую и примиряющую силу; клевета и зависть, вражда и недоразумения все смолкает перед самою обыкновенною могилой! они не заговорят над могилою Гоголя. Какое бы ни было окончательное место, которое оставит за ним история, мы уверены, что никто не откажется повторить теперь же вслед за нами: мир его праху, вечная память его жизни, вечная слава его имени!

Т-в.

Я препроводил эту статью в один из петербургских журналов, но именно в то время цензурные строгости стали весьма усиливаться с некоторых пор… Подобные «crecoendo» происходили довольно часто и – для постороннего зрителя – так же беспричинно, как, например, увеличение смертности в эпидемиях. Статья моя не появилась ни в один из

последовавших за тем дней. Встретившись на улице с издателем, я спросил его, что бы это значило. «Видите, какая погода! – отвечал он мне иносказательною речью: – И думать нечего». – «Да ведь статья самая невинная», – заметил я. «Невинная ли, нет ли, – возразил издатель, – дело не в том; вообще имя Гоголя не велено упоминать. Закревский на похоронах в андреевской ленте присутствовал: этого здесь переварить не могут». Вскоре потом я получил от одного приятеля из Москвы письмо, наполненное упреками: «Как! – восклицал он. – Гоголь умер, и хоть бы один журнал у вас в Петербурге отозвался! Это молчание постыдно!» В ответе моем я объяснил – сознаюсь, в довольно резких выражениях – моему приятелю причину этого молчания и в доказательство, как документ, приложил мою запрещенную статью. Он ее представил немедленно на рассмотрение тогдашнего попечителя Московского округа – генерала Назимова, – я получил от него разрешение напечатать ее в «Московских Ведомостях». Это происходило в половине марта, а 16 апреля я – за ослушание и нарушение цензурных правил – был посажен на месяц под арест в части (первые двадцать четыре часа я провел в сибирке и беседовал с изысканно вежливым и образованным полицейским унтер-офицером, который рассказывал мне о своей прогулке в Летнем саду и об «аромате птиц»), а потом отправлен на жительство в деревню. Я нисколько не намерен обвинять тогдашнее правительство: попечитель С.-Петербургского округа, теперь уже покойный Мусин-Пушкин, представил – из неизвестных мне видов – все дело как явное неповиновение с моей стороны; он не поколебался заверить высшее начальство, что он призывал меня лично и лично передал мне запрещение цензурного комитета печатать мою статью (одно цензорское запрещение не могло помешать мне – в силу существовавших постановлений – подвергнуть статью мою суду другого цензора); а я г. Мусина-Пушкина и в глаза не видал и никакого с ним объяснения не имел. Нельзя же было правительству подозревать сановника, доверенное лицо, в подобном искажении истины!

По поводу этой статьи (о ней тогда же кто-то весьма справедливо сказал, что нет богатого купца, о смерти которого журналы не отозвались бы с большим жаром) мне вспоминается следующее: одна очень высокопоставленная дама в Петербурге находила, что наказание, которому я подвергся за эту статью, было не заслужено – и во всяком случае, слишком строго, жестоко… Словом, она горячо заступалась за меня. «Но ведь вы не знаете, – доложил ей кто-то, – он в своей статье называет Гоголя великим человеком!» – «Не может быть!» – «Уверяю вас». – «А! В таком случае я ничего не говорю. Je regrette, mais je comprends qu'on avait du sevir».

И. С. Тургенев. Литературные и житейские воспоминания, III, Гоголь.

ГОРЬКИМ СЛОВОМ МОИМ ПОСМЕЮСЯ.

(КНИГА ПРОРОКА ИЕРЕМИИ, XX, 3.)

Надпись на надгробном памятнике Гоголя.

Примечание[68]

АЙВАЗОВСКИЙ Иван Константинович (1817–1900) – выдающийся русский художник-маринист.

АКСАКОВ Иван Сергеевич (1823–1886) – младший сын С. Т. Аксакова, в молодости хороший поэт, впоследствии выдающийся публицист-славянофил, издатель еженедельной газеты «Русь». В конце сороковых годов служил членом уголовной палаты в Калуге, где хорошо был знаком с А. О. Смирновой.

АКСАКОВ Константин Сергеевич (1817–1860) – старший сын С. Т. Аксакова, один из основоположников русского славянофильства. Ученый, публицист, драматург. По поводу первого тома «Мертвых душ» напечатал юношески восторженную брошюру, насмешившую неумеренными своими восхвалениями даже ярых поклонников «Мертвых душ», как, например, Белинский. Однако он же в письме к Гоголю дал очень суровую оценку «Переписке с друзьями».

АКСАКОВ Сергей Тимофеевич (1791–1859) – в молодости литературный старовер, напыщенный поэт, переводчик Буало и Мольера, театрал и декламатор. В сороковых годах пишет «Записки об уженье рыбы», «Записки ружейного охотника» и прославившую его «Семейную хронику» с ее продолжением «Детские годы Багрова-внука». Крупный помещик. В подмосковном его имении Абрамцеве часто гащивал Гоголь.

АКСАКОВА Вера Сергеевна (1819–1864) – дочь С. Т. Аксакова.

АСАКОВА Надежда Сергеевна – дочь С. Т. Аксакова.

АКСАКОВА Ольга Семеновна – жена С. Т. Аксакова.

АНДРЕЕВ Алексей Симонович (1792–1863) 6ыл воспитателем и преподавателем в училище правоведения в Петербурге (с 1835 по 1850 г.), потом директором карточной экспедиции. Оставил записки, из которых пока опубликован отрывок, относящийся к Гоголю.

АННЕНКОВ Павел Васильевич (1812–1887) – литературный критик и литературовед, издатель сочинений Пушкина, автор ценных биографических трудов о Пушкине, Станкевиче и не менее ценных воспоминаний о Белинском, Гоголе и др. Был «западником», принадлежал к кружку Белинского.

АПРАКСИНА Софья Петровна (1802–1886) – урожденная графиня Толстая, сестра Гоголева друга гр. А. П. Толстого. С 1818 г. замужем за флигель-адъютантом Вл. Ст. Апраксиным. Овдовев в 1833 г., посвятила

себя всецело воспитанию своих детей и уходу за престарелым отцом, гр. П. А. Толстым, б. русским послом в Париже.

АРМФЕЛЬД Александр Осипович (1806–1868) – профессор судебной медицины и истории медицины в Московском университете, инспектор классов сиротского института Московского воспитательного дома.

АРНОЛЬДИ Лев Иванович (1822–1860) – единоутробный (от одной матери) брат А. О. Смирновой. В сороковых годах был чиновником особых поручений при калужском губернаторе Н. М. Смирнове. {574}

АРСЕНЬЕВ Илья Александрович (1820–1887) – отец его занимал видное место в московском обществе и был знаком со всеми выдающимися литературными деятелями, которых мальчику Арсеньеву случалось видеть в доме отца. Впоследствии – журналист, агент III отделения, основатель уличных петербургских газет, положивших у нас начало «мелкой прессе».

АФАНАСЬЕВ Александр Николаевич (1826–1871) – известный собиратель сказок, автор книги «Поэтические воззрения славян на природу».

БАЗИЛИ Константин Михайлович (1809–1884) – по происхождению албанский грек, товарищ Гоголя по нежинской гимназии. Служил по министерству иностранных дел, с 1844 по 1853 г. был русским генеральным консулом в Сирии и Палестине. Автор ряда трудов о Турции и Греции.

БАЛАБИНЫ. – В их семействе молодой Гоголь, по рекомендации Плетнева, давал уроки. *Петр Иванович Балабин* был отставной генерал корпуса жандармов, жил в своем доме на Английской набережной, близ Николаевского моста. Жена его, *Варвара Осиповна*, француженка по происхождению, была женщина образованная и начитанная. Дочь их, *Марья Петровна* (впоследствии жена инженера Вагнера), была ученицей Гоголя. Старшая дочь, *Елизавета Петровна*, вышла замуж за кн. В. Н. Репнина. С Репниными Гоголь познакомился в Бадене в 1836 году по родству с Балабиными. Был постоянным посетителем Репниных в Одессе в 1850–1851 гг. Княжна Варвара Николаевна Репнина, сестра В. Н-ча, оставила отрывочные воспоминания о Гоголе.

БЕЛИНСКИЙ Виссарион Григорьевич (1810–1848). Уже молодые произведения Гоголя – «Миргород» и беллетристику «Арабесок» – Белинский безоговорочно признал «самым необыкновенным явлением в нашей литературе», а самого Гоголя – главою тогдашней литературы. Так же горячо приветствовал он и «Ревизора», и «Мертвые души», которые назвал «великим произведением». Тем, что Гоголь занял в современной ему литературе подобающее место, он в большой мере обязан критике Белинского. И Белинский вправе был впоследствии

говорить: «Отечественные записки» (т. е. Белинский) первые и одни сказали и постоянно до сей минуты говорят, что такое Гоголь в русской литературе. Как на величайшую нелепость, как на самое темное и позорное пятно на нашем журнале, указывали разные критики на наше мнение о Гоголе. Находили смешною, нелепого, оскорбительною мысль о том, что Гоголь – великий талант, гениальный поэт и первый писатель современной России». По поводу Гоголевой «Переписки» Белинский написал за границей, где в то время лечился, знаменитое письмо к Гоголю, где подвергал «Переписку» убийственной критике. Письмо распространилось в большом количестве списков, однако правительству стало известным лишь в связи с делом петрашевцев, когда Белинского уже не было в живых. Управляющий III отделением генерал Л. В. Дубельт яростно сожалел, что Белинский умер, и прибавлял: «Мы бы его сгноили в крепости».

БЕЛОЗЕРСКИЙ Николай Данилович – хороший знакомый Гоголя, встречавшийся с Гоголем еще в бытность его в нежинской гимназии. Гоголь поддерживал с ним сношения до конца жизни и относился к нему с большою приязнью. Никаких более подробных сведений о Белозерском не имеется.

БЕЛОУСОВ Николай Григорьевич (1799–1854) – профессор римского права и инспектор в Нежинской гимназии высших наук. Стоял во главе либеральной части профессуры, был очень уважаем Гоголем. По доносам реакционной части профессуры удален от должности в 1830 г.

БЕНКЕНДОРФ Александр Христофорович (1788–1844) – с 1826 г. шеф жандармов и начальник знаменитого Третьего отделения собственной его величества канцелярии. В 1832 г. возведен в графское достоинство.

БЕРГ Николай Васильевич (1824–1884) – поэт и переводчик («Пана Тадеуша» Мицкевича, «Краледворской рукописи» и др.), член так наз. «молодой редакции» «Москвитянина».

БИЛЕВИЧ Михаил Васильевич (1779—?) – профессор политических наук в нежинской гимназии. Его доносы на проф. Белоусова и других либеральных профессоров привели к полному разгрому гимназии в 1830 г.

БЛУДОВ Дмитрий Николаевич (1785–1864) – в молодости друг Карамзина и Жуковского, член литературного общества «Арзамас», впоследствии крупный бюрократ.

БОДЯНСКИЙ Осип Максимович (1808–1877) – профессор истории и литературы славянских наречий в Московском университете. Был секретарем «Московского общества истории и древностей российских», под его редакцией вышли 23 книги «Чтений» этого общества, содержащих богатейшие материалы для русской истории. За попытку

напечатать в «Чтениях» перевод сочинения Флетчера о России в конце XVI века устранен от секретарских обязанностей в обществе и смещен с кафедры в 1848 г. Однако в конце 1849 г. получил обратно кафедру в Московском университете.

БОТКИН Николай Петрович – из знаменитой московской купеческой семьи Боткиных, брат писателя В. П., медика С. П., художника М. П. Боткиных. Много помогал, за границей русским художникам и учащимся, не раз ссужал деньгами художника А. А. Иванова.

БРАДКЕ Егор Федорович (1796–1861) – основатель и первый попечитель Киевского университета. Раньше служил на военной службе, участвовал в подавлении польского восстания. Впоследствии сенатор и попечитель Дерптского учебного округа.

БРЮЛЛОВ Карл Павлович (1799–1852) – художник, автор нашумевшей за границей и в России картины «Последний день Помпеи», прекрасный портретист. Картина «Последний день Помпеи» не удовлетворяет нас неприятным ее колоритом, надуманностью композиции, нежизненною «классичностью» движений и драпировок, но в свое время она вызвала в России единодушный восторг. Пушкин посвятил картине неоконченное стихотворение «Везувий зев открыл». Гоголь напечатал в своих «Арабесках» статью о картине, где признал ее «одним из ярких явлений девятнадцатого века», «светлым воскресением живописи, пребывавшей долгое время в каком-то полулетаргическом состоянии».

БУЛГАРИН Фаддей Венедиктович (1789–1859) – публицист, литературный критик, беллетрист, редактор рептильной газеты «Северная пчела», шпион и доносчик, находившийся в тесной связи с III отделением. Ярый хулитель Гоголя, отрицавший всякое его значение. «Ревизора» он признал забавным, но малооригинальным фарсом, исполненным клевет на русскую жизнь. «Мертвые души» находил стоящими на одном уровне с романами Поль де-Кока и т. п.

БУРАЧОК Степан Онисимович (1800–1876) – генерал-лейтенант. Издавал в 1840–1845 гг. реакционный, тупо-изуверский журнал, ратовавший за православие, самодержавие и казенно-слащавую «народность», признававший европейские идеи гибельными для России, отрицавший всю современную ему литературу, включая Пушкина. Гоголь относился к Бурачку с симпатией и уважением.

БУСЛАЕВ Федор Иванович (1818–1897) – был преподавателем русского языка в одной из московских гимназий; в 1839–1841 гг. путешествовал за границей с семейством попечителя Московского учебного округа графа С. Г. Строганова. Впоследствии – профессор русской словесности в Московском университете и академик.

БУХАРЕВ Александр Матвеевич, в монашестве Федор (1824–1871) – окончил курс в Московской духовной академии; незадолго до окончания курса принял монашество. Был профессором Московской духовной академии по кафедре священного писания. Его «Три письма к Гоголю, писанные в 1848 году» (СПб., 1861) вызвали сильное неудовольствие московского митрополита Филарета по поводу такого предмета занятий профессора священного писания. По доносам редактора «Домашней беседы», известного изувера Аскоченского, труд Бухарева об Апокалипсисе был запрещен к печатанию, а сам Бухарев уволен в Переяславль, в монастырь. Тогда Бухарев снял с себя монашество (в 1863 г.).

ВЕЛИКОПОЛЬСКИЙ Иван Ермолаевич (1793–1868) – стихотворец, автор сатиры на игроков, высмеянной Пушкиным. Человек богатый и добрый, он отозвался на приглашение Аксакова в 1838 г. оказать денежную помощь Гоголю и дал тысячу рублей. Не раз оказывал материальную поддержку и Белинскому.

ВЕНЕВИТИНОВ Дмитрий Владимирович (1805–1827) – талантливый, много обещавший поэт, умерший 22 лет от роду. Любил кн. З. А. Волконскую, когда она, в двадцатых годах, проживала в Москве.

ВИГЕЛЬ Филипп Филиппович (1786–1856) – служил в Бессарабии, был керчьеникальским градоначальником, потом служил в департаменте иностранных исповеданий, директором которого был под конец жизни. Ярый монархист и реакционер. Автор ядовитых и пристрастных, но ценных «Воспоминаний», не раз издававшихся.

ВИЕЛЬГОРСКИЕ. *Граф Михаил Юрьевич* (1787–1856) – богатый и знатный царедворец. В сороковых годах его дом в Петербурге был средоточием столичной аристократической жизни; местные и приезжие артисты находили здесь самый радушный прием. Виельгорский сам был хороший музыкант и композитор, романсы его пользовались популярностью. Роберт Шуман назвал его гениальнейшим из дилетантов. Виельгорский был в близких отношениях и с рядом выдающихся писателей – Карамзиным, Жуковским, Пушкиным, Гоголем. «Ревизор» попал на сцену главным образом благодаря Виельгорскому. Он хлопотал также о разрешении к печати «Мертвых душ». Луиза Карловна, урожденная принцесса Бирон (1791–1853), – его жена. Была горда, очень разборчива на знакомства, но к Гоголю благоволила и была с ним в дружеской переписке. Как и две младшие ее дочери, видела в Гоголе учителя жизни и охотно подчинялась его руководству.

Дети их: *Иосиф Михайлович* (1816–1839) – талантливый, много обещавший юноша. Воспитывался вместе с царским наследником Александром, будущим императором Александром II. Умер от чахотки в

Риме на руках Гоголя. *Михаил Михайлович* впоследствии служил при посольстве в Берлине. *Аполлинария Михайловна* была замужем за А. В. Веневитиновым, братом поэта. *Софья Михайловна* (1820–1878) – с 1840 г. замужем за писателем гр. В. А. Соллогубом, автором «Тарантаса», кроткая и милая, но, вследствие беспутства мужа, несчастная в браке. Как и младшая сестра ее *Анна Михайловна*, жадно внимала поучениям Гоголя и была с ним в постоянной переписке. Анна Михайловна (Анолина, Нози), по словам В. Соллогуба, «кажется, единственная женщина, в которую влюблен был Гоголи». Ее, по словам И. С. Аксакова, Гоголь пытался изобразить в Уленьке из второй части «Мертвых душ». Впоследствии была замужем за кн. А. И. Шаховским.

ВОЛКОНСКАЯ Зинаида Александровна, урожд. княжна Белосельская-Белозерская (1792–1862) – поэтесса, композитор, певица, красавица. Вскоре по выходе замуж за кн. Н. Г. Волконского разъехалась с мужем. Блистала на международных конгрессах, устроявших Европу после низвержения Наполеона; пользовалась интимной благосклонностью императора Александра I. В двадцатых годах жила в Москве. В ее блестящем салоне собирался цвет интеллигенции, жившей в Москве, – Пушкин, Мицкевич, кн. Вяземский, Веневитинов, Чаадаев, Хомяков, Шевырев, Погодин и др. В 1829 г. она уехала в Италию и там приняла католичество. Была фанатической католичкой. Умерла в нужде, обобранная патерами и монахами.

ВЫСОЦКИЙ Герасим Иванович – товарищ Гоголя по нежинской гимназии, кончил курс в 1826 г., двумя годами раньше Гоголя, и поступил на службу в Петербурге. Впоследствии жил в своем поместье в Полтавской губернии, пользовался среди соседей славою большого остряка и насмешника. Умер в начале 70-х годов.

ВЯЗЕМСКИЙ кн. Петр Андреевич (1792–1878) – суховатый поэт и острый критик, друг Пушкина. В особенно близких отношениях с Гоголем не был, но написал две горячие статьи – одну в защиту «Ревизора», другую – в защиту «Переписки с друзьями».

ГААЗ Федор Петрович, доктор (1780–1853) – выдающийся врач-общественник, «святой доктор», старший врач московских тюремных больниц, упорно боровшийся за улучшение обращения с заключенными.

ГАЛАХОВ Алексей Дмитриевич (1807–1892) – историк литературы, журналист, автор в свое время популярной хрестоматии по истории русской литературы.

ГАНКА Вацлав (1791–1861) – видный деятель чешского национального возрождения, русофил, мечтавший о русском языке как общеславянском. Был профессором чешского языка и литературы университета в Праге и библиотекарем Народного музея.

ГЕДЕОНОВ Александр Михайлович (1790–1867) – с 1833 г. директор имп. петербургских театров, с 1847 г. – директор имп. театров обеих столиц. Чиновник-бюрократ, хозяйственные дела дирекции расстроил, к интересам искусства был равнодушен, с артистами держался грубо, даже актрисам говорил «ты». Уволен в 1858 г.

ГЕРБЕЛЬ Николай Васильевич (1827–1883) – поэт и переводчик, редактор собраний сочинений Шиллера, Гете, Байрона, Шекспира и хрестоматий «Немецкие поэты», «Английские поэты», «Русские поэты».

ГЕРЦЕН Александр Иванович (1812–1870) – русский революционер и публицист. В 1847 г. выехал за границу. Основатель Вольной русской типографии в Лондоне, издатель еженедельной газеты «Колокол» (с 1857 г.), страстно боровшейся с российским самодержавием.

ГОГОЛЬ Анна Васильевна – сестра Гоголя.

ГОГОЛЬ Елизавета Васильевна – сестра Гоголя, с 1851 г. в замужестве за саперным офицером Вл. Ив. Быковым; овдовела в 1862 г. Умерла в 1864 г. Старший ее сын. Ник. В. Быков, был женат на внучке Пушкина, Марии Александровне.

ГОГОЛЬ Мария Васильевна (1811–1844) – старшая из сестер Гоголя, с 1832 по 1836 г. замужем за землемером П. О. Трушковским.

ГОГОЛЬ Ольга Васильевна (1825–1907) – младшая сестра Гоголя.

ГРАНОВСКИЙ Тимофей Николаевич (1813–1855) – профессор всеобщей истории в Московском университете, блестящий ученый и лектор, по направлению либерал и западник.

ГРЕБЕНКА Евгений Павлович (1812–1848) – воспитанник нежинской гимназии, талантливый русско-украинский беллетрист.

ГРЕЧ Николай Иванович (1787–1867) – журналист, беллетрист, составитель руководства по русской грамматике, издатель журнала «Сын отечества» и соиздатель (с Булгариным) рептильной газеты «Северная пчела».

ГРИГОРЬЕВ Аполлон Александрович (1822–1864) – критик консервативного направления, «почвенник», глава «молодой редакции» «Москвитянина», сменившей в 1850 г. Погодина и Шевырева и состоявшей кроме Григорьева из Островского, Писемского, Потехина, Мея, Алмазова, Берга и др. По поводу «Переписки с друзьями» Григорьев напечатал восторженную статью в «Московском городском листке».

ГРИГОРЬЕВ Василий Васильевич (1818–1881) – выдающийся ориенталист. В 60-х годах – профессор истории Востока в Петербургском университете.

ГРОТ Яков Карлович (1812–1893) – друг Плетнева, с 1840 г. профессор русского языка и словесности в Гельсингфорсском университете, переводчик поэмы Тегнера «Фритиоф». Впоследствии академик и вице-президент Петербургской академии наук.

ДАНИЛЕВСКИЙ Александр Семенович (род. в 1809 г.) – один из ближайших друзей Гоголя, товарищ его по нежинской гимназии. Вместе окончили курс гимназии в июне 1828 г. и вместе поехали в Петербург в декабре того же года, Данилевский – для поступления в школу гвардейских подпрапорщиков. В 1831 г. распростился со школой и уехал на Кавказ, откуда воротился в Петербург в 1834 г. и поступил на службу в канцелярию министерства внутренних дел. В 1836 г. вместе с Гоголем поехал за границу. Там они путешествовали вместе, разъезжались по разным маршрутам и съезжались вновь. В мае 1838 г., когда Данилевский жил в Париже, умерла в России его мать, материальные обстоятельства его изменились, пришлось проститься с беззаботной жизнью и ехать в Россию искать какого-нибудь места. В 1843 г. у него с Гоголем произошла размолвка. Гоголь, все больше утверждавшийся в роли всеобщего наставника и проповедника, вздумал поучать и Данилевского; тот вспылил и ответил ему резким письмом. Вскоре, впрочем, они помирились. В конце 1843 г. Данилевский получил место инспектора благородного пансиона при одной из киевских гимназий. Во второй половине 1844 г. женился на Ульяне Григорьевне Похвисневой. С 1848 г. хозяйничал в своем имении Дубровном. В 1856 г. получил место директора училищ Полтавской губ. Конец жизни провел в селе Анненском Харьковской губ., где и умер (в середине 80-х годов). Дружеские его отношения с Гоголем продолжались до самой смерти Гоголя, но до самого конца ему приходилось давать энергичный отпор стремлению Гоголя поучать его; так, в 1849 г. он писал Гоголю: «Не отвечал на твое письмо потому, что ровно не знал ничего сказать тебе в ответ на твои проповеди. Я вижу, тебя не урезонить, ты все поешь одну песнь… Все мораль да мораль, – это хоть какому святому надоест».

ДАНИЛЕВСКИЙ Григорий Петрович (1829–1890) – в свое время известный романист. В пятидесятых годах был чиновником особых поручений при министре народного просвещения. В конце жизни редактировал «Правительственный вестник» и был членом совета Главного управления по делам печати.

ДАШКОВ Дмитрий Васильевич (1784–1839) – в молодости член литературного общества «Арзамас», впоследствии министр юстиции при императоре Николае I.

ДЕЛЬВИГ бар. Антон Антонович (1798–1831) – известный поэт, друг Пушкина, издатель альманахов «Северные Цветы» и «Литературная Газета».

ДЕЛЬВИГ бар. Андрей Иванович (1813–1887) – племянник поэта, инженер, автор ценных мемуаров «Мои воспоминания».

ДМИТРИЕВ Иван Иванович (1760–1837) – поэт, баснописец, автор сентиментальных романсов и известной сатиры «Чужой толк», друг Карамзина. С 1810 по 1814 г. – министр юстиции; по выходе в отставку поселился в Москве, где и умер.

ДМИТРИЕВ Михаил Александрович (1796–1866) – племянник предыдущего, посредственный поэт. Кн. Вяземский прозвал его «Лже-Дмитриев».

ЕЛАГИНА Авдотья Петровна (1789–1877) – урожд. Юшкова, по первому мужу Киреевская, мать известных славянофилов и фольклористов Ив. и П. Киреевских, племянница поэта Жуковского. Очень умная и образованная женщина. В салоне ее собирались самые лучшие представители московской интеллигенции, преимущественно славянофильского направления.

ЖИРЯЕВ Александр Степанович (1815–1856) – криминалист, впоследствии профессор Дерптского университета. В период знакомства с Гоголем находился в заграничной научной командировке.

ЖУКОВСКИЙ Василий Андреевич (1783–1852) – поэт и переводчик. В 1817 г. был назначен преподавателем русского языка к великой княгине Александре Федоровне (жене будущего императора Николая I), в 1825 г. стал воспитателем наследника (будущего императора Александра II), в каком звании оставался до 1841 г. В 1842 г., 58 лет от роду, женился на 18-летней дочери своего друга Рейтерна и с тех пор до самой смерти жил в Германии – сначала в Дюссельдорфе, потом во Франкфурте-на-Майне. К Гоголю относился с неизменною ласковостью и заботливостью, не раз выхлопатывал ему денежные пособия от разных особ царской фамилии и даже помогал тайно из собственных средств. Гоголь не раз живал у него в Дюссельдорфе и во Франкфурте.

ЗАГОСКИН Михаил Николаевич (1789–1852) – автор известного романа «Юрий Милославский» и других исторических романов, а также многочисленных комедий; с 1831 г. – директор имп. московских театров. К обличительной деятельности Гоголя относился отрицательно, по поводу эпиграфа к «Ревизору» – «На зеркало неча пенять, коли рожа крива» – яростно спрашивал: «Ну, скажите, где моя рожа крива?»

ЗАЛЕССКИЙ Богдан (1802–1886) – польский поэт так наз. «украинской школы», увлекавшийся Украиной, ее природой и историей. Гоголь

сошелся с ним в Париже в 1837 г., беседуя и переписываясь по-украински.

ЗИНГЕР Федор Осипович – с 1824 г. профессор немецкой словесности в нежинской гимназии. В 1830 г. уволен, в числе других либеральных профессоров, за неблагонадежность и уехал в Германию.

ИВАНОВ Александр Андреевич (1806–1858) – художник. По окончании Академии художеств был послан Обществом поощрения художеств за границу на средства Общества. В 1830 г. прибыл в Рим. Картина его «Магдалина», написанная еще в условном академическом роде, вызвала, однако, восторг крупнейших иностранных художников; Торвальдсен пророчил Иванову великую будущность. Петербургская академия наградила его званием академика, а Общество поощрения художеств прибавило ему пенсион на два года. После этого Иванов все силы отдал грандиозной картине «Явление Мессии народу», над которою работал с лишком двадцать лет, в сомнениях и колебаниях, в постоянных хлопотах о продлении пенсии. В поездке на Восток, в Иерусалим и на Иордан, ему было отказано на том основании, что «Рафаэль не был на Востоке, а создал великие творения». Гоголь очень высоко ценил Иванова и его картину, хлопотал, у кого мог, о продлении для него возможности спокойно и не торопясь работать над картиной, посвятил Иванову большую статью в «Выбранных местах из переписки с друзьями». В судьбе Иванова много было общего с судьбою самого Гоголя: Гоголь над второю частью «Мертвых душ» работал так же медленно, как Иванов над своею картиною, обоих одинаково торопили со всех сторон с окончанием их работы, оба одинаково пропадали от нужды, не будучи в силах оторваться от любимого дела для постороннего заработка. И Гоголь имел в виду одинаково себя и Иванова, когда писал в указанной статье: «Теперь все чувствуют нелепость упрека, в медленности и лени такому художнику, который, как труженик, сидел всю жизнь свою над работою и позабыл даже, существует ли на свете какое-нибудь наслаждение, кроме работы. С производством этой картины связалось собственное душевное дело художника, – явление, слишком редкое в мире». В 1858 г. Иванов приехал с готовою картиною в Петербург. Картина имела огромный успех. Еще продолжалась выставка, как Иванов умер от холеры. Картина в настоящее время находится в Госуд. Третьяковской галерее.

ИННОКЕНТИЙ (БОРИСОВ) (1800–1857) – русский богослов и церковный проповедник, с 1841 г. – епархиальный архиерей в Харькове. С 1848 г. архиепископ Херсонский и Таврический. К «Переписке с друзьями» отнесся отрицательно, назвав ее «произведением неслыханной гордости человека». Пламенный проводник христианских добродетелей, Иннокентий в жизни был очень черств, тянулся к знати, к

«простонародию» относился пренебрежительно, любил деньги, оставил после себя капитал свыше 200 000 рублей.

ИНОЗЕМЦЕВ Федор Иванович (1802–1869) – профессор Московского университета по кафедре хирургии, один из популярнейших в свое время врачей-практиков.

ИОРДАН Федор Иванович (1800–1883) – русский гравер. По окончании курса в Академии художеств был в 1829 г. командирован за границу. В 1834 г. основался в Риме и занялся воспроизведением в гравюре картины Рафаэля «Преображение». Над этою гравюрою огромного размера он работал двенадцать лет. Она получила очень высокую оценку и со стороны заграничных художников. Впоследствии профессор и ректор Петербургской академии художеств.

КАПНИСТ Василий Васильевич (1757–1823) – поэт и драматург, автор очень в свое время популярной обличительной комедии «Ябеда».

КАПНИСТ Иван Васильевич – сын предыдущего, был сначала смоленским, потом, во время последнего пребывания Гоголя в Москве, – московским губернатором.

КАРАМЗИН Андрей Николаевич (1814–1854) – сын историка, служил в конной артиллерии. В 1854 г., в чине полковника, убит в стычке с турками под Каракалом в Румынии.

КАРАТЫГИН Петр Андреевич (1805–1879) – известный актер, комик и водевилист, брат трагического актера В. А. Каратыгина.

КИРЕЕВСКИЙ Иван Васильевич (1806–1856) – один из основоположников славянофильства.

КОЛМАКОВ Николай Маркович (род. в 1816 г.). – В 1834 г. поступил в Петербургский университет на юридический факультет, где и окончил курс в 1838 г. Служил по министерству юстиции, кончил службу председателем киевской судебной палаты.

КОМАРОВ Александр Александрович – преподаватель русской словесности в одном из петербургских кадетских корпусов, близкий член кружка Панаева. В 1840 г. Белинский, перебравшись в Петербург, писал В. П. Боткину о Комарове: «Я вошел в их кружок и каждую субботу бываю на их сходках. Моя натура требует таких дней. Раз в неделю мне надо быть в многолюдстве, молодом и шумном». Белинский часто обедал у Комарова и отзывался о нем в письмах, как о «большом приятеле» своем, но характеризует его так: «легкость характера и никакими инструментами не измеримая внутренняя пустота». Комаров давал в журналы «ученые известия», вызывавшие, как выяснилось, у настоящих ученых неудержимый хохот.

КОРЕЙША Иван Яковлевич – юродивый и прорицатель, оригинальная фигура старой России. Учился в смоленской семинарии, был учителем, затем странствовал по монастырям и, наконец, поселился в Смоленске на пустыре, в старой бане. Его аскетическая жизнь и пророчества привлекали к нему толпы посетителей; приходящие обязаны были вползать к нему в баню на коленях. В 1817 г. был отправлен в Москву и помещен в больницу для умалишенных. Там его посадили в сырой подвал, приковав цепью к стене. К нему стал стекаться народ; начальство больницы брало за вход по 20 коп., и эти деньги шли на нужды других больных. В 1821 г. Корейшу расковали и поместили в отдельной комнате. Посетители к нему ломились, жадно прислушивались к его нескладным прорицаниям, благоговейно вдумывались в каждое его слово, – и не только «простонародье», но и образованная публика, не исключая светских дам, смиренно выносивших грубые и часто циничные выходки больного. Его славили как юродствующего во Христе, как обладающего «двойным зрением», знающего прошедшее и будущее. Умер в 1861 г.

КОСЯРОВСКИЙ Павел Петрович – двоюродный брат матери Гоголя.

КУКОЛЬНИК Василий Григорьевич (1765–1821) – первый директор Нежинской гимназии высших наук. В припадке меланхолии окончил жизнь самоубийством.

КУКОЛЬНИК Нестор Васильевич (1809–1868) – сын предыдущего, товарищ Гоголя по гимназии. В 30—40-х годах – очень популярный писатель, автор напыщенных драматических фантазий и ходульных патриотических драм, а также многочисленных романов и повестей. В «Ревизоре» Кукольник видел фарс, недостойный искусства. Умер всеми забытый.

КУЛЖИНСКИЙ Иван Григорьевич (1803–1884) – учитель латинского языка в нежинской гимназии. Много писал в стихах и прозе. Его произведение «Малороссийская деревня» служило для учеников гимназии предметом неистощимых насмешек. По словам Гоголева друга А. С. Данилевского, Гоголь у Кулжинского не учился.

КУЛИКОВ Николай Иванович (1815–1891) – актер и автор водевилей, был режиссером Александринского театра.

КУЛИШ Пантелеймон Александрович (1819–1897) – публицист, историк, украинский поэт, издатель Полного собрания сочинений Гоголя. За подписью «Николай М.» издал «Опыт биографии Гоголя» (СПб., 1854) и в двух томах «Записки о жизни Гоголя» (СПб., 1856; значительно расширенное и дополненное издание первого труда). Книга во многом устарела, но ценна обилием материалов, часто имеющих характер первоисточников. Отношение к Гоголю благоговейно хвалебное.

ЛЕОНИДОВ Леонид Львович (1821–1889) – талантливый трагический актер.

ЛОНГИНОВ Михаил Николаевич (1823–1857) – известный библиограф. В пятидесятых годах был близок к кружку Некрасова и Панаева. Впоследствии начальник Главного управления по делам печати, много способствовавший стеснению свободы печати.

ЛЮБИЧ-РОМАНОВИЧ Василий Игнатьевич (1805–1888) – товарищ Гоголя по гимназии. Поэт, переводчик (Мицкевича, Байрона), историк.

МАКСИМОВИЧ Михаил Александрович (1804–1873) – ботаник, выдающийся этнограф и историк. С 1833 г. – профессор ботаники в Московском университете, вскоре перешел в только что открывшийся Киевский университет на кафедру русской словесности. В 1845 г. прекратил чтение лекций и поселился в своей усадьбе на берегу Днепра, в Полтавской губернии, изредка посещая Москву для свидания с Погодиным, Гоголем и другими друзьями. До конца жизни продолжал работать на научном поприще. Выпустил ряд очень ценных собраний украинских песен, исторических, археологических и филологических исследований, касающихся Украины и ее языка. С Гоголем познакомился в 1832 г. и был с ним в дружественных отношениях до самой смерти Гоголя.

МЕЛЬГУНОВ Николай Александрович (ум. в 1867 г.) – писатель, сотрудник «Московского наблюдателя» и «Москвитянина».

МИЛЮКОВ Александр Петрович (1817–1897) – литературовед и критик, автор «Очерков истории русской поэзии» и других литературно-критических трудов.

МИЦКЕВИЧ Адам (1798–1855) – величайший польский поэт, автор поэм «Деды», «Конрад Валленрод», «Пан Тадеуш». В 1819 г. окончил Виленский университет, в 1823 г. был арестован за участие в польской студенческой организации и выслан в Россию, жил в Москве и Петербурге, сошелся с Пушкиным и другими выдающимися русскими писателями. В 1829 г. выехал за границу, в 1839 г. получил кафедру латинской словесности в Лозанне, в 1840 г. занял кафедру славянских литератур в Париже, в College de France. Мицкевич всю жизнь пламенно мечтал о политическом восстановлении Польши и постепенно пришел к уверенности, что поляки – богоизбранный народ, призванный обновить и возродить мир. Под влиянием мистика Андрея Товянского он все больше впадал в мистицизм. Умер от холеры в Константинополе.

МОКРИЦКИЙ Аполлон Николаевич (род. в 1811 г.) – гимназический товарищ Гоголя. Живописец, ученик Брюллова, впоследствии академик и преподаватель Московского училища живописи и ваяния.

МОЛЛЕР Федор Антонович (1812–1875) – исторический живописец и портретист. В конце 30-х годов уехал в Рим, где прожил очень долго. Лучшая его картина – «Поцелуй» (1840 г.).

МУХАНОВ Владимир Алексеевич – сын сенатора А. И. Муханова, камер-юнкер; по болезненному состоянию нигде не служил.

НАЩОКИН Павел Воинович (1800–1854) – один из ближайших друзей Пушкина, человек умный и образованный, но очень безалаберный. Спустил за свою жизнь несколько крупных состояний, полученных по наследству, и умер в бедности. Его Гоголь изобразил под именем Хлобуева во второй части «Мертвых душ».

НАЩОКИНА Вера Александровна (ум. в 1900 г.) – его жена.

НЕВОДЧИКОВ Николай В. – домашний учитель у А. С. Стурдзы в Одессе, впоследствии архиерей Неофит.

НИКИТЕНКО Александр Васильевич (1804–1877) – писатель и цензор. С 1834 г. – профессор русской словесности в Петербургском университете. Автор ценных воспоминаний «Моя повесть о самом себе».

НИКОЛЬСКИЙ Парфений Иванович (1782–1851) – старший профессор российской словесности в нежинской гимназии. Поклонник Ломоносова, Хераскова и Сумарокова, отрицательно относившийся к новой русской литературе. Ученики потешались над ним, подсовывая вместо своих сочинений стихи Пушкина, Козлова, Языкова, которые Никольский нещадно критиковал и исправлял.

ОБОЛЕНСКИЙ кн. Дмитрий Александрович (1822–1881) – служил по судебным установлениям, впоследствии – товарищ, министра гос. имуществ и член государственного совета.

ОДОЕВСКИЙ кн. Владимир Федорович (1803–1869) – писатель, автор фантастических рассказов в манере Гофмана, журналист, знаток музыки, друг Пушкина, Вяземского, А. Тургенева; был центром одного из петербургских литературных кружков. Этот кружок в 30-х годах посещал Гоголь.

ОРЛАЙ Иван Семенович (род. в 1771 г.) – директор нежинской гимназии после В. Г. Кукольника. Карпато-росс, родом из Венгрии, магистр словесных наук и философии, доктор медицины и хирургии. По переселении в Россию был ученым секретарем Медицинской академии в Петербурге и лейб-медиком, помощником лейб-медика Вилье.
3 сентября 1821 г. назначен директором Нежинской гимназии высших наук и 1 ноября вступил в должность. В августе 1826 г. перешел на службу в Одессу директором Ришельевского лицея.

ОРЛОВ Алексей Федорович (1787–1862) – 14 декабря 1825 г., командуя лейб-гвардии конным полком, много способствовал усмирению декабрьского восстания, за что возведен в графское достоинство. С 1844 г., после смерти Бенкендорфа, – шеф жандармов и главный начальник III отделения собственной его величества канцелярии. В 1851 г. произведен в князья и назначен председателем государственного совета и комитета министров.

ОРЛОВ Михаил Федорович (1788–1842) – брат предыдущего, был видным генералом александровской эпохи. За тесную связь с декабристами был после 14 декабря арестован; хлопотами брата вместо ссылки в Сибирь отделался полугодичным заключением в крепости и увольнением от службы с отдачей под надзор полиции. Поселился в Москве, где играл некоторую роль в славянофильских кружках.

ПАВЛОВ Николай Филиппович (1805–1864) – беллетрист и критик, муж поэтессы Каролины Павловой. Его «Три повести», вышедшие в 1835 г., привели в восторг Пушкина, имели большой успех и вызвали репрессии правительства за выраженное в них сочувствие к бесправному положению солдат и крепостных крестьян. Большой шум вызвали его «Четыре письма к Н. В. Гоголю», напечатанные в «Московских ведомостях» в 1847 г., где Павлов подверг критике «Выбранные места из переписки с друзьями». «Ради бога, скажите серьезно, – спрашивал он Гоголя, – неужели вы в самом деле думаете, что светские люди, начало и конец ваших поучительных посланий, не знают, как спасти свою душу? Знают, не меньше вашего знают, да не хотят. Им нужно, чтоб кто-нибудь сказал: живите, как вы живете; будьте тем, что вы есть, – и при этих условиях можно спасти душу. Уверьте женщину в свете, что она может быть и женщиной в свете, и святою; докажите помещику, что он и помещик, и учитель спасения. Вот тут, правда, полезен бывает человек с высоким дарованием».

ПАНАЕВ Иван Иванович (1812–1862) – журналист и беллетрист, принадлежал к кружку Белинского. В 1847 г. вместе с Некрасовым стал издателем журнала «Современник», занявшего руководящую роль в журналистике 50—60-х годов. Писал в нем фельетоны под псевдонимом «Новый поэт». Человек был пустоватый и легкомысленный.

ПАНАЕВА-ГОЛОВАЧОВА Авдотья Яковлевна, урожд. Брянская (1820–1893) жена предыдущего, затем – «гражданская» жена Некрасова. В сотрудничестве с Некрасовым написала несколько больших романов. В известных ее «Воспоминаниях» много интересных сведений о современных ей литературных деятелях, но к рассказам ее следует относиться с осторожностью.

ПАНОВ Василий Алексеевич (ум. в 1849 г.) – спутник Гоголя по заграничной поездке 1840 г. и сожитель его в Риме. Член московского

славянофильского кружка, впоследствии редактор славянофильского «Московского сборника».

ПАЩЕНКО Иван Григорьевич – товарищ Гоголя по нежинской гимназии, выпуска 1830 г. Служил в министерстве юстиции. Умер в 1848 г. Гоголь 4 мая 1848 г. писал о нем Данилевскому: «Это была добрейшая душа. Он был умен и имел способность замечать. И ты, и я лишились в ем товарища закадычного». Жена Данилевского в письме к Гоголю отзывалась о Пащенке, как о «давнишнем и постоянном обожателе» Гоголя.

ПАЩЕНКО Тимофей Григорьевич – товарищ Гоголя по нежинской гимназии, выпуска 1830 г.

ПЕРОВСКИЙ гр. Василий Алексеевич (1794–1857) – с 1833 по 1842 г. был оренбургским военным губернатором; снова занял этот же пост в 1851 г. Познакомился с Гоголем в кружке Жуковского в Петербурге, в 1842 г. часто виделся с ним и со Смирновой в Риме, позднее, в числе других, хлопотал о разрешении цензурою «Мертвых душ».

ПЛЕТНЕВ Петр Александрович (1792–1862) – критик и поэт. Будучи инспектором Патриотического института, устроил в него Гоголя преподавателем. С 1832 г. профессор русской словесности в Петербургском университете, в котором с 1840 по 1861 г. состоял и ректором; преподавал русский язык и словесность наследнику и другим царским особам. Был в дружбе с Пушкиным и Гоголем. Аккуратный и исполнительный, добросовестно исполнял, поручения, касавшиеся их литературных и материальных дел.

ПОГОДИН Михаил Петрович (1800–1875) – историк, археолог, журналист. Профессор Московского университета по кафедре истории. Издатель журналов «Московский вестник» (1827–1830) и «Москвитянин» (1841–1856). Был представителем теории официальной народности (лозунг министра Уварова: «православие, самодержавие, народность»). Собрал огромное количество письменных и вещественных памятников русской старины. Это «древлехранилище» он впоследствии с выгодою продал казне. Был человек прижимистый и скуповатый, но доступный великодушным порывам. С Гоголем близко сошелся с первого же знакомства в 1832 г., оказал ему много услуг – добывал деньги, содержал его и его родных в своем доме на Девичьем Поле во время пребывания Гоголя в Москве. Ждал и от Гоголя услуг для своего журнала – просил его, например, перед выходом в свет «Мертвых душ» разрешить напечатать несколько глав в «Москвитянине». На этой почве произошло их взаимное охлаждение, дошедшее до того, что, живя в одном доме, они не разговаривали, а когда являлась надобность, переписывались друг с другом, – что, впрочем, не мешало Гоголю продолжать жить в доме Погодина. В «Переписке» Гоголь поместил

очень резкий отзыв о Погодине, возмутивший всех его друзей. Позднее помирились, и отношения их не прекращались до самой смерти Гоголя.

ПОЛЕВОЙ Николай Алексеевич (1796–1846) – журналист и критик, издатель «Московского телеграфа» (1825–1834), одного из лучших русских журналов по самостоятельности суждений и разносторонности. Журнал был закрыт за отрицательную рецензию о патриотической драме Кукольника «Рука всевышнего отечество спасла», получившей одобрение императора. После этого Полевой повернул фронт и из передового литературного бойца превратился в единомышленника прежних своих врагов – Булгарина, Греча и Сенковского. В оценке деятельности Гоголя он сходился с ними. По поводу «Мертвых душ» писал: «Оставьте в покое вашу «вьюгу вдохновения», поучитесь русскому языку, да рассказывайте нам прежние ваши сказочки об Иване Ивановиче, коляске и носе и не пишите такой чепухи, как «Мертвые души»».

ПРИСНИЦ Винцент (1790–1851) – основатель современной гидротерапии, между прочим введший в медицину употребление согревающего компресса. Был из простых крестьян, медицинского образования не получил, но обладал гениальным врачебным чутьем и наблюдательностью. Содержал в Грефенберге водолечебницу.

ПРОКОПОВИЧ Николай Яковлевич (1810–1857) – гимназический товарищ Гоголя. Поэт, преподаватель русского языка и словесности в петербургских кадетских корпусах. Был в дружеских отношениях с Гоголем, исполнял его поручения. В 1842 г. Гоголь поручил ему издание своих сочинений. Вследствие неопытности Прокоповича в издательских делах и мошенничества типографии издание обошлось непомерно дорого; на этой почве между друзьями произошло охлаждение.

ПУШКИН Лев Сергеевич (1805–1852) – брат поэта, беспутный кутила и мот, лихой боевой кавказский офицер. Последние десять лет жизни провел в Одессе, занимая должность члена таможни. В Одессе с ним и виделся Гоголь.

РЕДКИН Петр Григорьевич (1808–1891) – товарищ Гоголя по нежинской гимназии. Впоследствии известный юрист, с 1835 по 1848 г. профессор энциклопедии права в Московском университете, с 1863 по 1878 г. Петербургском.

РЕПНИНА княжна Варвара Николаевна (1809–1891) – познакомилась с Гоголем в Бадене в 1836 г., всю жизнь была горячею почитательницею Гоголя. Оставила о нем отрывочные воспоминания.

РОЗЕН бар. Егор Федорович (1800–1860) – посредственный поэт и драматург, бывший, однако, очень высокого мнения о себе; автор

либретто к опере Глинки «Жизнь за царя». К Гоголю относился с резким отрицанием.

РОССЕТ Аркадий Осипович (1811–1881) – брат А. О. Смирновой, воспитывался в пажеском корпусе, служил в гвардейской артиллерии, впоследствии был виленским губернатором, товарищем министра государственных имуществ и сенатором.

РОСТОПЧИНА графиня Евдокия Петровна, урожд. Сушкова (1811–1858) поэтесса, красавица, принадлежала к высшему обществу. В 1845 г. написала балладу «Насильный брак», в которой под видом угнетенной жены грозного барона была представлена Польша, угнетаемая Россией. Ростопчина первому прочла балладу Гоголю в Риме. Гоголь посоветовал: «Пошлите без имени в Петербург: не поймут и напечатают». Баллада действительно была напечатана в «Северной пчеле» и вызвала, конечно, сильный гнев царя. Ростопчина сочла за лучшее не показываться в Петербурге и поселилась в Москве, в своем доме на Садовой. Здесь по субботам у нее собирались русские и заграничные писатели, артисты и певцы.

САМАРИН Юрий Федорович (1819–1876) – выдающийся славянофил и общественный деятель. Познакомился с Гоголем в сороковых годах в Москве. Гоголь к нему относился очень дружественно.

СВЕРБЕЕВ Дмитрий Николаевич (1799–1876) – типичная фигура представителя старой Москвы, центр кружка, где собиралась московская интеллигенция без различия партий. Оставил интересные «Записки». Гоголь сблизился с ним и его семьей в сороковых годах через Аксаковых. Жена его, Екатерина Александровна, ум. в 1892 г.

СВИНЬИН Павел Петрович (1788–1839) – журналист и археолог, с 1818 по 1830 г. издавал журнал «Отечественные записки», где в 1830 г. была напечатана первая повесть Гоголя «Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала», в которой Свиньин во многих местах по-своему исправил слог и придал ему тяжелые обороты напыщенного литературного изложения. Был любителем и собирателем русских древностей и предметов искусства. Известен был как феноменальный лгун. Рассказ Пушкина о похождениях Свиньина в Бессарабии послужил, говорят, сюжетом Гоголю для «Ревизора».

СЕНКОВСКИЙ Осип Иванович (Барон Брамбеус) (1800–1858) – фельетонист, критик, беллетрист, ученый-ориенталист, профессор восточных языков в Петербургском университете, редактор журнала «Библиотека для чтения», член беспринципного триумвирата (Булгарин, Греч, Сенковский), царившего в русской журналистике 30—40-х годов. Большой умница, талантливый, феноменальный энциклопедист, писавший по всевозможным научным вопросам, он был человеком без всяких убеждений и без всякого художественного вкуса,

единственною своею целью полагавший смешить читателей гаерским своим остроумием. К Гоголю он относился с насмешливым отрицанием. «Шинель» «напряженная малороссийская сатира против великороссийских чиновников». «Ревизор» – «плохой драматический анекдот»; в «Мертвых душах» автор описывает «грязные похождения чудаков и плутов, тешится над ними от души, заставляет их, ради «лирического смеха», сморкаться, чихать, падать и ругаться канальями, подлецами, мошенниками, свиньями, свинтусами, фетюками; и все это в своем тщеславии очень серьезно называет «поэмою», давая уразуметь, что он – новый Гомер. Это имя было даже неоднократно произнесено, без малейшей запинки, органами нашего юмориста» (намек на восторженную брошюру молодого К. Аксакова, где он писал по поводу «Мертвых душ»: «Древний эпос восстает перед нами… В отношении к акту творчества, в отношении к полноте самого создания – Гомера и Шекспира, и только Гомера и Шекспира, ставим мы рядом с Гоголем»).

СЕНТ-БЕВ Шарль-Оггост (1804–1869) – французский критик и поэт.

СМИРДИН Александр Филиппович (1795–1857) – петербургский книгопродавец-издатель.

СМИРНОВ Николай Михайлович (1807–1870) – муж А. О. Смирновой. Сначала состоял при иностранных русских посольствах, с 1845 по 1851 г. был калужским губернатором, с 1855 по 1861 г. – петербургским. Огромное свое состояние он сильно расстроил карточною игрою и расточительностью.

СМИРНОВА Александра Осиповна, урожденная Россет (1809–1882) – с 1826 г. была фрейлиной сначала императрицы Марии Федоровны, после ее смерти – императрицы Александры Федоровны. Блестящая красавица, живая, умная и образованная, она дружила с Пушкиным, Жуковским, Лермонтовым, кн. Вяземским; многие поэты, начиная с Пушкина и Лермонтова, воспевали ее. В 1832 г. Смирнова вышла замуж за Н. М. Смирнова, богатого молодого дипломата. К мужу она была равнодушна, в посмертной автобиографии сознается: «Я себя продала за шесть тысяч душ для братьев». С Гоголем более близко познакомилась в Париже в 1837 г., но настоящими друзьями стали они во время совместного проживания в Ницце зимою 1842/43 г. В это время Смирнова переживала тяжелый душевный кризис, причины которого хорошо охарактеризовала графиня С. М. Соллогуб в письме к Гоголю от 6 августа 1845 г.: «Александра Осиповна часто бывает в хандре. К несчастью, никто не может пособить ей, – один бог и религия. С ней должны быть чрезвычайно тяжелые минуты. Она находится на страшной меже наслаждений, осуществившихся в протекшей молодости, и неизвестных испытаний в преддверии старости. Разочарование всегда трудно переносится». Проповеди Гоголя об отказе от мирских радостей, о необходимости бесстрастия в жизни в боге

давали Смирновой большое утешение, и она стала ревностной его ученицей, благоговейно отдавшейся его руководству. В 1845 г. муж ее был назначен калужским губернатором, и она переселилась из Петербурга в Калугу. Гоголь не раз гостил у нее в Калуге и в смирновских поместьях Калужской и Московской губ.

СМИРНОВА Ольга Николаевна (1834–1893) – дочь А. О. Смирновой, автор «Записок А. О. Смирновой» (изд. «Северного Вестника») – бесцеремонной фальсификации, выданной ею за записки ее матери.

СОБОЛЕВСКИЙ Сергей Александрович (1803–1870) – друг Пушкина, библиофил, циник и остроумец, автор эпиграмм, нередко приписывавшихся Пушкину.

СОЛЛОГУБ гр. Владимир Александрович (1814–1882) – известный в свое время беллетрист, автор «Истории двух калош» и «Тарантаса».

СОЛЛОГУБ графиня Софья Михайловна – см. Виельгорские.

СОМОВ Орест Михайлович (1793–1833) – журналист, ближайший сотрудник Дельвига по изданию «Северных Цветов» и «Литературной Газеты».

СОСНИЦКИЙ Иван Иванович (1794–1877) – комический актер петербургской сцены, создавший в «Ревизоре» роль городничего, которою Гоголь был очень доволен.

СРЕЗНЕВСКИЙ Измаил Иванович (1812–1880) – известный филолог-славист, автор ценных работ по славянской литературе, мифологии и лингвистике. Профессор Харьковского и Петербургского университетов, академик.

СТАСОВ Владимир Васильевич (1824–1906) – художественный и музыкальный критик, главный теоретик «передвижничества» в живописи (Репин, Ге, Крамской, Перов, Ярошенко и др.) и «могучей кучки» в музыке (Балакирев, Мусоргский, Римский-Корсаков, Бородин, Кюи, Глазунов).

СТАСЮЛЕВИЧ Михаил Матвеевич (1826–1911) – редактор академически солидного, умеренно-либерального журнала «Вестник Европы» (с 1865 по 1911 г.).

СТОРОЖЕНКО Алексей Петрович (1805–1874) – автор повестей на украинском и русском языках.

СТУРДЗА Александр Скарлатович (1791–1854) – по происхождению молдаванин. Политический и религиозный писатель, крайний реакционер и пиетист. До 1819 г. служил по министерству иностранных дел. Для Аахенского конгресса, по поручению Александра I, написал

доклад о германских университетах, которые, вместо того чтобы строить ковчег христианского государства, являются, по мнению Стурдзы, рассадниками революционного духа и атеизма. В 1819 г. вышел в отставку и жил в Одессе, где Гоголь очень с ним сошелся и часто посещал его.

ТАРАСЕНКОВ Алексей Терентьевич (1816–1873) – популярный в свое время московский врач. Напечатал ряд научных работ по медицине.

ТИХОНРАВОВ Николай Саввич (1832–1893) – литературовед, профессор истории русской литературы в Московском университете и академик. Под его редакцией вышли первые пять томов 10-го издания Полного собрания сочинений Гоголя с проверенным по первоисточникам текстом и подробнейшими примечаниями, содержащими историю текста, историю каждого произведения и всей литературной деятельности Гоголя. Издание долгое время считалось образцовым, с гоголевским текстом окончательно установленным. В последнее время, однако, сделаны были указания на ряд промахов Тихонравова, требующих дальнейшей проверки текста.

ТОЛЧЕНОВ Александр Павлович (ум. в 1888 г.) – актер и драматург, играл на Александринской сцене в Петербурге, потом в провинции.

ТРОЩИНСКИЙ Дмитрий Прокофьевич (1754–1829). – «Бедным казацким мальчиком», как пишет Кулиш, он вовсе не был. Принадлежал к дворянскому роду, прадед его был племянником гетмана Мазепы. Окончил курс в Киевской духовной академии. При Павле I – сенатор, при Александре I – член государственного совета и главный директор почт, с 1802 по 1806 г. – министр уделов. В 1806 г. вышел в отставку и поселился в своем имении Кибенцы Миргородского уезда Полтавской губ. Полтавское дворянство выбрало его губернским маршалом (предводителем). С 1814 по 1817 г. – министр юстиции. Последние годы жизни провел в Кибенцах.

ТРОЩИНСКИЙ Андрей Андреевич – племянник и наследник Дмитрия Прокофьевича, с 1811 г. – генерал-майор в отставке. (Был сыном Анны Матвеевны, урожд. Косяровской, родной тетки Марии Ивановны Гоголь, матери писателя.)

ТОЛСТОЙ гр. Александр Петрович (1801–1873) – один из близких друзей Гоголя в последние годы его жизни. В молодости служил в военной службе. В 1834 г. назначен губернатором в Тверь, в 1837 г. переведен военным губернатором в Одессу. С 1840 по 1855 г. оставался в стороне от всякой общественной деятельности и жил в Москве. В 1856 г. назначен обер-прокурором синода, каковым состоял до 1862 г.

ТОЛСТОЙ гр. Алексей Константинович (1817–1875) – известный поэт, автор исторического романа «Князь Серебряный» и драматической

трилогии «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович» и «Царь Борис».

ТОЛСТОЙ гр. Федор Иванович, по прозванию «Американец» (1782–1846) известный игрок, бретер и кутила. К нему относится эпиграмма Пушкина «В жизни мрачной и презренной» и слова Репетилова в «Горе от ума»: «Ночной разбойник, дуэлист» и т. д.

ТОЛСТОЙ гр. Федор Петрович (1783–1873) – вице-президент Академии художеств, медальер, скульптор, живописец.

ТУРГЕНЕВ Александр Иванович (1784–1845) – брат декабриста и эмигранта Ник. И. Тургенева. С 1810 по 1824 г. – директор департамента духовных дел. Много путешествовал по Европе, занимаясь в иностранных архивах извлечением из старинных документов сведений о России. Друг Карамзина, Жуковского, кн. Вяземского, Пушкина. Гоголь относился к нему равнодушно.

УВАРОВ Сергей Семенович (1786–1855) – в молодости член передового литературного общества «Арзамас», с 1834 по 1849 г. – министр народного просвещения и президент Академии наук. В 1846 г. возведен в графское достоинство.

ФЕТ Афанасий Афанасьевич (1820–1892) – поэт-лирик. В 1837 г. его привезли в Москву и поместили в число молодых людей, живших у М. П. Погодина. Вскоре он поступил в университет. Просматривавшийся Гоголем сборник его стихов вышел в свет в 1840 г. под заглавием: «Лирический пантеон А. Ф.».

ФИЛАРЕТ (ДРОЗДОВ), митрополит Московский (1783–1867) – церковный проповедник и богословский писатель. В проповедях призывал к добродетелям молчания, смирения, терпения и преданности воле божией. Выступал защитником крепостного права и телесных наказаний, ссылаясь на тексты священного писания. Характера был властного и упорного.

ФИЛИППОВ Тертий Иванович (1825–1899) – писатель и государственный деятель. В молодости был близок к кружку «молодой редакции» «Москвитянина» (Ап. Григорьев, Островский, Писемский и др.); впоследствии государственный контролер.

ХОМЯКОВ Алексей Степанович (1804–1860) – один из наиболее видных вождей славянофильства, разрабатывавший преимущественно религиозно-богословскую сторону его. Человек исключительно образованный, блестящий спорщик. Екатерина Михайловна, его жена, – сестра поэта Н. М. Языкова.

ХРАПОВИЦКИЙ Александр Иванович (1787–1855) – отставной подполковник, инспектор репертуара русской драматической труппы.

ЦЫХ (правильно – ЦИХ) Владимир Францевич (1805–1837). – Окончил курс в Харьковском университете; был профессором всеобщей истории в Киевском университете; в короткое время успел приобрести сильное влияние; свои чтения излагал с мастерством оратора, стройно и систематически, всегда по новейшим исследованиям; первый употребил строгий критический метод; придавал наибольшее значение внутренней истории. (Брокгауз – Ефрон, Энциклопедический словарь, 75, стр. 254.)

ЧААДАЕВ Петр Яковлевич (1794–1856) – русский мыслитель и публицист. В журнале «Телескоп» за 1836 г. было опубликовано первое «философическое письмо» Чаадаева, в котором он писал: «Мы никогда не шли вместе с другими народами, мы не принадлежим ни к одному из великих семейств человечества, ни к Западу, ни к Востоку... Мы растем, но не зреем, идем вперед, но по какому-то косвенному направлению, не ведущему к цели... Ни одной полезной мысли не возросло на бесплодной нашей почве, ни одной великой истины не возникло среди нас, мы ничего не выдумали сами, и из всего, что выдумано другими, заимствовали только обманчивую наружность и бесполезную роскошь». Письмо вызвало небывалый шум в обществе; по доносу Вигеля вмешалось правительство: редактор «Телескопа» Надеждин был сослан в Усть-Сысольск, а Чаадаев официально объявлен сумасшедшим и отдан под врачебный надзор. Он проживал в Москве, в обществе появлялся редко, но радушно принимал посетителей у себя на Басманной.

ЧЕРТКОВА Елизавета Григорьевна, урожд. гр. Чернышева (1805–1858), с 1828 г. замужем за А. Д. Чертковым, нумизматом, основателем Чертковской библиотеки. Очень образованная женщина, принимала у себя в Москве на Мясницкой лучших ученых и писателей. Отличалась оригинальностью, курила трубку, уже в молодости ходила в старушечьих туалетах и т. п.

ЧИЖОВ Федор Васильевич (1811–1877) – в качестве адъюнкта преподавал математические науки в Петербургском университете во время профессорства Гоголя. Много занимался историей искусства и литературы. 1840–1847 гг. провел за границей, большею частью в Италии, где сблизился с Гоголем и Языковым. Симпатизировал славянофильству. Впоследствии – крупный предприниматель и финансовый деятель.

ШАПАЛИНСКИИ Казимир Варфоломеевич (род. в 1790 г.) – старший профессор математических и естественных наук в нежинской гимназии. Ученик его, впоследствии известный профессор П. Г. Редкий, рассказывает: «Он горячо любил и очень хорошо знал преподаваемые им предметы и излагал их с краткою, но ясною сжатостью, с увлечением, умея заохочивать к их изучению тех из учеников, в которых пылала искра преданности к науке». В 1830 г., в числе других либеральных профессоров, был уволен со службы.

ШЕВЫРЕВ Степан Петрович (1806–1864) – историк литературы и критик. С 1829 по 1832 г. жил в Италии в качестве воспитателя сына кн. З. А. Волконской. С 1837 г. – профессор русской словесности в Московском университете, впоследствии академик. Ближайший друг Погодина и помощник его по изданию «Москвитянина», где много писал в отделе критики. Как и Погодин, был проповедником теории «народности» казенного образца, писал о «гниении» Запада и т. п. Белинский дал ему убийственную характеристику в памфлете «Педант». С Гоголем был очень близок: точный и исполнительный, старательно исполнял поручения Гоголя по изданию его сочинений и по всяким другим его делам.

ШЕНРОК Владимир Иванович (1853–1906) – учитель московской гимназии, позднее субинспектор в Московском университете. Автор многочисленных исследований о Гоголе и близких ему лицах (Языкове, Виельгорских, Смирновой). Исследования эти соединены в большом четырехтомном труде «Материалы для биографии Гоголя» (М., 1892–1898). Бездарная, растрепанная и самодовольно-многоречивая книга, однако очень ценная по обилию собранных в ней материалов. Под его же редакцией вышло собрание писем Гоголя в четырех томах (изд. А. Ф. Маркса), в научном отношении малоудовлетворительное.

ШУЛЬГИН Иван Петрович (1795–1860) – профессор истории в Петербургском университете, Александровском лицее и Училище правоведения.

ЩЕПКИН Михаил Семенович (1788–1863) – артист московского театра, один из величайших русских актеров-комиков.

ЮЗЕФОВИЧ Михаил Владимирович (1802–1889) – в молодости кавалерийский офицер, участник турецкой войны 1828–1829 гг. на кавказском фронте. Встречался на театре военных действий с Пушкиным, о котором оставил интересные воспоминания. С 1846 по 1858 г. – попечитель Киевского учебного округа.

ЯЗЫКОВ Николай Михайлович (1803–1846) – известный поэт пушкинской плеяды. В молодости в звучных стихах воспевал студенческий разгул и любовь. В 1837 г., вследствие сухотки спинного мозга, уехал лечиться за границу. В Ганау сблизился с Гоголем, который в 1842 г. повез его с собой в Рим. В 1843 г. вернулся в Москву в совершенно безнадежном состоянии; никуда не выходя из своей квартиры, он медленно угасал. Поэзия его приняла характер религиозный и узконационалистический. В 1844 г. написаны им нашумевшие стихотворения «К ненашим». «Старому плешаку» (Чаадаеву), представляющие набор неистовых ругательств по адресу западников-либералов. Гоголь очень любил Языкова и как человека, и как поэта.

Примечания

1

Родство было такое: тетка Марии Ивановны Гоголь, Анна Матвеевна Косяровская, была замужем за братом Дмитрия Прокофьевича, Андреем Прокофьевичем Трощинским.

2

Сам Гоголь день своего рождения праздновал всегда 19 марта.

3

Григория Данилевского много упрекали за совершенно фантастические сведения, сообщенные им о детстве Гоголя. Навряд ли, однако, можно в этом упрекать его. Писал он со слов матери Гоголя, а Мария Ивановна была большая, до комизма, фантазерка и сына своего считала непревзойденным на земле гением. Она приписывала ему все новейшие изобретения и открытия: паровую машину, железные дороги и т. п. Естественно, что и молодые годы Гоголя окрасились в ее фантазии выходящего из ряда даровитостью.

4

Дядька, старик повар, которого отец Гоголя получил позволение держать при пансионе в Нежине в качестве служителя бесплатно.

5

В день святого Спиридона; но это была шутка, и именины Бороздина (его звали Николаем) приходились в другой день. *В. И. Шенрок. Материалы, I, 87.*

6

Эта песенка сочинена не Гоголем.

7

Эту картину показывали мне в Васильевке. Она писана клеевыми красками на загрунтованном красным грунтом холсте. Длиною в $1^{1}/_{2}$, а шириною в один аршин. Представляет она беседку над прудом посреди высоких дерев, между которыми одно с засохшими ветвями. Деревья, как видно, скопированы с чего-нибудь, а беседка сочинена вся или отчасти самим художником. Замечательны в ней решетчатые остроконечные окна. Подобные окна есть и теперь в Васильевке, в небольшом флигельке в саду. *П. А. Кулиш, I, 22.*

8

Здесь неточность: автор, вероятно, разумеет комедию отца Гоголя. *Примеч. В. И. Шенрока.*

9

Н. Я. Прокопович говорил мне, что у Гоголя скоро не стало терпения добиваться смысла в языке Шиллера, и что это было только минутное увлечение. *П. А. Кулиш, I, 37.*

10

Подробное изложение дела о вольнодумстве профессоров см. в статье Н. А. Лавровского «Гимназия высших наук кн. Безбородко». *Гербель, 83—109.*

11

С. Пономарев имел возможность ознакомиться с доставленным в редакцию «Киевской Старины» рукописным журналом: «“Метеор Литературы”. Январь 1826 г.». Журнал весь писан одною рукою, – по мнению Пономарева, «несомненно Гоголя». «Кулиш упоминает, что Гоголь издавал в гимназии журнал «Звезда», – замечает Пономарев. – Не тот ли это самый журнал? В названии его биографу легко было обмолвиться: «Метеор», «Звезда» несколько близки друг к другу и могли смешаться в памяти» (*Киевская Старина, 1884, май, 143*).

12

По-видимому, никакой дарственной записи Гоголь тогда не составил. Только летом 1829 года он выдал матери полную доверенность на управление его частью имения (см. ниже).

13

Нет, речь шла именно о золотухе и о сыпи на руках и на лице, – чего, по словам А. С. Данилевского, совсем не было. *Примеч. В. И. Шенрока.*

14

Ф. А. Витберг высказывает небезосновательную догадку, что под «вельможею» Гоголь разумеет здесь П. П. Свиньина, известного собирателя древностей и редкостей, издателя «Отечественных Записок», в которых в это время печаталась повесть Гоголя «Бисаврюк». См. Ист. Вестн., 1892, авг., 395.

15

Прочтите внимательно предисловие Рудого Панька к этой повести (в отдельном издании): Гоголь сам, в шутливом тоне, рассказывает историю этой переделки. *П. Кулиш. Записки о жизни Гоголя, I, 86.*

16

Потому, как объяснил нам В. П. Гаевский, что *о* встречается четыре раза в имени и фамилии автора: Николай Гоголь-Яновский. *П. Кулиш, I, 88.*

17

Употребленный здесь псевдоним «П. Глечик» (по объяснению В. П. Гаевского) имеет то основание, что в историческом романе, из которого напечатана глава в «Северных Цветах», одно из действующих лиц – миргородский полковник Глечик. *П. Кулиш, I, 89.*

18

В каждом номере тогдашних «Московских Ведомостей» печаталось «Известие о приехавших в сию Столицу и выехавших из оной осьми классов особах», – начиная с полных генералов и действительных тайных советников, кончая майорами и коллежскими асессорами. Мы пересмотрели газету за весь 1832 год и не нашли там имени Гоголя или Яновского. Отметим для курьеза, что в одном из номеров отмечен приехавшим «коллежский асессор Ковалев» (так называется герой гоголевской повести «Нос»).

19

Очевидно: «побил». Шенрок почему-то это слово счел нужным заменить точками.

20

В Патриотический институт принимались только дочери военных.

21

Речь идет о статье Гоголя «План преподавания всеобщей истории», которую он решил написать для ознакомления министра Уварова с характером своих исторических работ. В «Арабесках» статья эта помечена у Гоголя 1832 годом, но Н. С. Тихонравов доказал, что писана она в декабре 1833 г. (*Соч. Гоголя, изд. 10-е, V, 567*). Уваров одобрил статью Гоголя, и она была напечатана в февральской книге «Журнала Министерства Народного Просвещения» за 1834 г.

22

Кто и когда предлагал эту кафедру Гоголю и могли ли ему предлагать ее в 1831 году, когда он только что выступил на педагогическое поприще в скромной роли учителя низших классов, это мы затрудняемся разъяснить. *В. И. Шенрок. Материалы, II, 167.*

23

Глава из уничтоженного Гоголем романа «Гетман» «Кровавый бандурист» на основании этого отзыва была запрещена петербургским цензурным комитетом и в целом своем виде сделалась известной совсем в недавние годы (напечатана в сборнике «Литературный Музеум»), в урезанном же виде (без конца) появилась, под заглавием «Пленник», в вышедших в январе 1835 г. «Арабесках» Гоголя.

24

«О том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

25

Наиболее вероятна догадка М. Н. Сперанского, что речь идет о пьесе Гоголя «Владимир 3-ей степени», над которой он как раз в это время работал и от которой сохранились только отдельные отрывки. Об ней Пушкин запрашивал кн. Одоевского из Болдина 30 окт. 1833 г.: «Кланяюсь Гоголю. Что его комедия? В ней же есть закорючка». *Дневник А. С. Пушкина. Труды госуд. Румянцевского музея, вып. I. М., 1923, стр. 427.*

26

Настоящая фамилия господина была Шаржинский. П. А. Кулиш сообщает: «Из его рассказов Гоголь заимствовал много красок для «Бульбы», например: степные пожары и лебеди, летящие в зареве по темному ночному небу, как красные платки». *Записки о жизни Гоголя, I, 145.*

27

Кулиш перемещал мои рассказы о Гоголе и неверно представил его пребывание в Киеве, сказав, что тогда «он был живой и даже немножко ветреный юноша». Те «цинические песни», о которых упоминает биограф, были записаны Гоголем не в Киеве, а еще в Петербурге 1834 года, в тех двух рукописных книгах малороссийских песен, которые я посылал ему из Москвы. *Примеч. М. А. Максимовича.*

28

Обычно принимают, что «Ревизор» писался Гоголем в течение 1834–1835 гг. (Тихонравов, Шенрок, Кирпичников); следовательно, Пушкин должен был дать Гоголю сюжет в начале 1834 г. Однако нигде, ни в письмах Гоголя за эти годы, ни в воспоминаниях о нем, мы не встречаем ни одного несомненного свидетельства, говорящего о работе Гоголя именно над «Ревизором». О «Ревизоре» мы имеем только одно бесспорное свидетельство – сообщение Гоголя Погодину от 6 декабря

1835 г. об окончании пьесы «третьего дня», т. е. 4 декабря. А за два месяца перед тем, 7 октября 1835 г., Гоголь, прося Пушкина возвратить данную ему на прочтение комедию свою «Женитьба», писал ему: «Сделайте милость, дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь смешной или несмешной, но русский чисто анекдот. Рука дрожит написать тем временем комедию. Если ж сего не случится, то у меня пропадет даром время, и я не знаю, что делать тогда с моими обстоятельствами. Я, кроме моего скверного жалования университетского – 600 рублей, никаких не имею теперь мест. Сделайте же милость, дайте сюжет; духом будет комедия из пяти актов, и клянусь, куда смешнее черта! Ради бога, ум и желудок мой оба голодают». Если Гоголь в это время, как думают, уже оканчивал своего «Ревизора», то письмо его к Пушкину совершенно непонятно. «Женитьбу» Гоголь был «не намерен давать в театр» (*Письма, I, 358*). Раз он оканчивал «Ревизора», то гораздо естественнее было ему ждать «насыщения желудка» от этой, уже заканчиваемой комедии, чем от новой, для которой у него не было еще даже сюжета. И как могла у него «дрожать рука написать комедию» в то время, когда он как раз был занят писанием комедии? Мы считаем очень вероятным, что только в ответ на просьбу Гоголя от 7 октября Пушкин подарил ему уже бывший у него готовым сюжет «Ревизора» (не так давно найденная в бумагах Пушкина программа: «Криспин (Свиньин) приезжает в губернию на ярмонку, его принимают за… Губернатор честный дурак, губернаторша с ним проказит. Криспин сватается за дочь»). Гоголь, за время своего профессорства изголодавшийся по творческой работе, с одушевлением взялся за обработку сюжета. В связи с этим появилась надежда и на улучшение материального состояния. 10 ноября Гоголь пишет матери: «Сестры растут и учатся. Я тоже надеюсь кое-что получить приятное. Итак, не более как годка через два я приду в такую возможность, что, может быть, приглашу Вас в Петербург посмотреть на них» (*Письма, I, 355*). Работа была исключительная по своей интенсивности. Нужно еще иметь в виду, что Пушкин воротился в Петербург 23 октября, значит, только в конце октября мог дать Гоголю просимый сюжет. А уже 4 декабря, мы видели, пьеса была готова, – действительно, «духом» была готова, как обещал Гоголь Пушкину. Против нашей догадки самый сильный, бесспорно, довод, – что такая быстрота писания совершенно несвойственна Гоголю. Но в письмах своих Гоголь чрезвычайно скуп на сообщения о процессе своего творчества (особенно в первый период литературной своей деятельности), и мы очень мало знаем о том, как у него зарождались и писались его произведения. Однако в одном позднем письме к Жуковскому (от 1850 г., – *Письма, IV, 292*) Гоголь пишет: «Покуда писатель молод, он пишет много и скоро».

В первоначальном тексте «Женитьбы» было, действительно, так, как рассказывает Соллогуб: «Как! Улизнул в окно! Фю, фю (Слегка посвистывает, как обыкновенно делается в случае несбывшихся надежд)». Но в окончательной редакции сам Гоголь, а не какая-то актриса, переделал это место следующим образом: «А уж коли жених шмыгнул в окно, – уж тут, просто, мое почтение!»

30

Мать Васильчиковой, Е. А. Архарова, умерла в 1836 году.

31

Петр Семененко и Иероним Кайсевич – католические ксендзы, польские эмигранты, участвовавшие в восстании Польши 1830–1831 гг., один в качестве артиллериста, другой – уланского офицера. С подложными паспортами они осенью 1837 г. нелегально прибыли в Рим, чтобы учиться и вербовать приверженцев своему учителю Богдану Яньскому, другу Мицкевича, основавшему в Париже новый католический монашеский орден.

32

Княгиня Волконская старалась обратить в католичество своего взрослого сына.

33

К княгине Волконской и к Гоголю. В заключительном стихе последнего сонета автор убеждает Гоголя «не замыкать души для небесной росы».

34

На этом прекращаются упоминания о Гоголе в письмах Семененко и Кайсевича. По мнению А. Кочубинского (*Вестник Европы, 1902, № 2*), приведенные письма свидетельствуют, что Гоголь одно время сильно склонялся к католицизму. В подтверждение своего мнения Кочубннский приводит ходившие в России слухи о католических симпатиях Гоголя, описание католической службы в «Тарасе Бульбе» позднейшей редакции («Тарас Бульба» – и католические симпатии!), заявление Гоголя в одном письме из Рима, что «в одном только Риме молятся, в других местах показывают только вид, что молятся». Нет основания заподозревать правдивость сообщений Семененко и Кайсевича: писали они своему патрону, совсем не для печати. С другой стороны, высказывания Гоголя поражают своею неожиданностью и полным несоответствием всему, что мы знаем о Гоголе. Думается нам, что скрытный и очень практичный в житейских делах Гоголь просто водил за нос охотившихся за ним польских монахов. Единственная его цель

была – угодить богатой и знатной княгине Волконской, фанатической католичке. Характерно, что немедленно после ее отъезда из Рима он круто порывает все отношения с апостолами Богдана Яньского и совершенно скрывается с их горизонта.

35

Жуковский был воспитателем наследника, этим объясняется интимный тон его писем.

36

Нащокина спутала Анну Васильевну с младшей ее сестрою Ольгой.

37

Денег Жуковскому Гоголь отдать не смог, и долг свой наследнику Жуковский взял на себя. Ср. ниже письмо Жуковского Гоголю 25 мая 1844 года.

38

Ив. Серг. Тургенев не присутствовал на этом празднике, – он ничего не рассказывает о нем в своих воспоминаниях о Гоголе и Лермонтове. С Гоголем в эти годы он, по его словам, два раза встречался только у Елагиной, а Лермонтова вообще видел всего два раза в Петербурге, в самом конце 1840 года. Невероятно предположить, чтоб Тургенев забыл о празднике, проведенном им с Гоголем в среде интимных его друзей, и о чтении Лермонтовым «Мцыри».

39

Прозвище, данное Гоголем Анненкову в Петербурге, в 1832 г.

40

Джузеппе Меццофанти (1774–1849), кардинал, профессор Болонского университета, потом заведующий учебной частью Конгрегации пропаганды. При среднем умственном развитии обладал изумительной способностью к изучению языков. Он говорил на 50 или 60 языках, самых несходных семей, при более или менее совершенном знакомстве со многими другими.

41

В апреле 1841 г. 58-летний Жуковский женился на 18-летней дочери его давнишнего приятеля, живописца Рейтерна.

42

Погодин, с которым Гоголь был в ссоре, простился с ним дома, но к Аксаковым не поехал. А. В. Гоголь. (*Шенрок. Материалы, IV, 128.*)

43

Письмо сохранилось. См. *Письма Гоголя, ред. В. И. Шенрока, том II, стр. 223*.

44

Аксаков только через три месяца, после долгого колебания, ответил на это письмо. Он писал Гоголю: «Друг мой, ни на одну минуту я не усумнился в искренности вашего убеждения и желания добра друзьям своим; но, признаюсь, недоволен я этим убеждением, особенно формами, в которых оно проявляется. Я даже боюсь его. Мне 53 года. Я тогда читал Фому Кемпийского, когда вы еще не родились… Я не порицаю никаких, ничьих убеждений, лишь были бы они искренни; но уж конечно ничьих и не приму… И вдруг вы меня сажаете, как мальчика, за чтение Фомы Кемпийского, нисколько не знав моих убеждений, да еще как? в узаконенное время, после кофею, и разделяя чтение на главы, как на уроки… И смешно, и досадно… И в прежних ваших письмах некоторые слова наводили на меня сомнения. Я боюсь, как огня, мистицизма; а мне кажется, он как-то проглядывает у вас. Терпеть не могу нравственных рецептов, ничего похожего на веру в талисманы. Вы ходите по лезвию ножа! Дрожу, чтоб не пострадал художник» (*История знакомства, 128*).

45

Очевидно, речь о тех самых четырех тысячах рублей, которые наследник в начале 1840 г. (см. выше), по просьбе Жуковского, дал ему взаймы для Гоголя. Своим согласием на предложение Жуковского наследник просто отказался получить с Жуковского долг, сделанный им для Гоголя. Так что предлагаемые четыре тысячи Жуковский собирался платить Гоголю из собственного кармана.

46

Гоголь, однако, эти деньги от Жуковского получил. В феврале 1846 года Жуковский писал Гоголю: «При сем прилагаю вексель на тысячу рублей. Теперь две тысячи вам заплачены. Еще остается на мне две тысячи, которые в свое время вы получите». *(Сборник Об-ва Любит. Рос. Словесности на 1891 г. М., 1891, стр. 9.)*

47

Распоряжение Гоголя вызвало также протест и недоумение у его московских друзей. Шевырев на распоряжение Гоголя отозвался только через девять месяцев таким письмом: «На твое большое письмо я не

отвечал. Ты требовал решительного да на твое предложение. Я не мог тебе уступить насильно это да и вот почему не отвечал. Предложение твое о сумме, собираемой с твоих сочинений, не могло быть исполнено по двум причинам. Первая – ты должен еще Аксакову. Я знаю, что Аксаковы нуждаются. Они даже на зиму переселились в деревню по этой причине. Мне казалось несправедливым потреблять твои деньги на бедных студентов, когда еще не уплачен тобою долг человеку нуждающемуся. Языков – другое дело, конечно, подождет. О другой причине я говорить теперь не стану, потому, что лишнее, а поговорю с тобой тогда, когда уничтожится первая… Я не могу принять на себя исполнение такого дела, которое мне кажется противным справедливости». (*Отчет имп. Публ. библиотеки за 1893 г., прилож., стр. 20.*)

48

Подлинное письмо Гоголя, см. *Письма, III, 51.*

49

Через полгода Щепкин писал Гоголю по поводу той же «Развязки Ревизора»: «Прочтя ваше окончание «Ревизора», я бесился на самого себя, на свой близорукий взгляд, потому что до сих пор я изучал всех героев «Ревизора», как живых людей; я так много видел знакомого, так родного, и так свыкся с Городничим, Добчинским и Бобчинским в течение десяти лет нашего сближения, что отнять их у меня и всех вообще, – это было бы действие бессовестное. Чем вы их мне замените? Оставьте мне их, как они есть. Я их люблю, люблю со всеми слабостями. Не давайте мне никаких намеков, что это-де не чиновники, а наши страсти; нет, я не хочу этой переделки; это люди настоящие, живые люди, между которых я возрос и почти состарился… Нет, я вам их не отдам! не дам, пока существую! После меня переделывайте хоть в козлов; а до тех пор я не уступлю вам Держиморды, потому что и он мне дорог». (*Записки и письма М. С. Щепкина, 190.*)

50

Такого разбора Шевырев не напечатал. Напротив, напечатал разбор хвалебный.

51

В четвертом письме «Выбранных мест», озаглавленном «О том, что такое слово», находится такой отзыв о Погодине: «Наш приятель П. торопился всю свою жизнь, спеша делиться всем со своими читателями, не разбирая, созрела ли мысль в его собственной голове, словом, – выказывал себя перед читателем, себя всего во всем своем неряшестве… Тридцать лет работал и хлопотал, как муравей, этот человек, – и ни один

человек не сказал ему спасибо; ни одного признательного юноши я не встретил, который бы сказал, что он обязан ему каким-нибудь светом или прекрасным стремлением к добру» и т. д.

52

Вот как отвечал на это Гоголь в письме к Шевыреву: «Моей ненависти против Погодина никто не отыскал в этих словах о Погодине из людей, которым не знакомы наши отношения. Их увидели вы потому, что взглянули глазами уже предубежденными... Если же кто и отыщет в них следы ненависти и озлобления моего против Погодина, тогда бесчестье мне, а не Погодину. Кто ж тут выиграл, я или Погодин? Кому слава, мне или ему? Разве и теперь не называют меня, даже близкие мне люди, лицемером, двуличным человеком, играющим комедию даже в том, что есть святейшего человеку? Или ты думаешь, легко это вынести? Это еще бог весть, какая из оплеух посильнее для того, чтобы вынести, эта ли, или та, которую я дал, по вашему мнению, Погодину» (*Письма, III, 392*).

53

Оторванный от России и от непосредственных наблюдений над русской жизнью, Гоголь всеми способами старался чем-нибудь возместить это отсутствие собственных наблюдений. С тою же просьбою о присылке «портретиков» он обращается к жене своего друга Данилевского (*Письма, III, 415*), просит Аксакова, Погодина и Шевырева «поработать за него грудью» – записывать нужное ему для продолжения «Мертвых душ». «Погодин, мне кажется, многое бы мог записать, что услышит от простых людей и купцов, с которыми ему весьма часто приходится говорить. Мне бы очень нужно было иметь всегда у себя в ящике один-другой портрет, набросанный ловкою рукою, хотя и бегло, с человека, которого бы можно было назвать типом и представителем своего сословия в его современном, нынешнем виде» (*Письма, III, 403*). С тою же просьбою прислать ему всевозможные свои жизненные наблюдения, как материал для его романа. Гоголь обратился к ряду петербургских друзей, обратился к своим читателям в предисловии ко второму изданию первого тома «Мертвых душ». В «Авторской исповеди» Гоголь с огорчением писал: «Я думал, что, может, хоть пять-шесть человек захотят исполнить мою просьбу так, как я желал... Но на мои приглашения я не получил записок; в журналах мне отвечали насмешками».

54

Этим письмом начинаются сношения Гоголя, – сначала заочные, потом и личные, – со священником о. Матвеем, ржевским протоиереем, фанатико-изувером, имевшим самое гибельное влияние на Гоголя. О. Матвея рекомендовал Гоголю граф А. П. Толстой. Письма о. Матвея к

Гоголю до нас не дошли, и о характере их мы можем заключить только по ответным письмам Гоголя.

55

В XIV письме «Переписки» Гоголь восстает против «одностороннего взгляда», что всякий театр есть соблазн и препятствие к спасению души. «Высший театр, – писал Гоголь, – это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра». Изувер о. Матвей напал за это на Гоголя, укоряя его, что он «посылает людей в театр, а не в церковь».

56

Сначала Гоголь написал Белинскому длинный, раздраженный ответ, в котором перешел в наступление, находил его обвинения «нападеньями невпопад», писал, что Белинский далеко сбился с прямого пути, и обращал к самому Белинскому слова, с которыми тот обратился к Гоголю: «Опомнитесь, вы стоите на краю бездны!» Но потом Гоголь уничтожил это письмо и послал Белинскому вышеприводимый мягкий ответ. Первое письмо, восстановленное по разорванному черновику, см. в *Письмах, IV, 32*.

57

В настоящее время – Никитский бульвар, д. 7а. К дому прибита мемориальная доска.

58

Это доказывает только проницательность Гоголя. Сочинение, известное под именем «России» Булгарина, имеет такое заглавие: «Россия в историческом, статистическом, географическом и литературном отношении» (в четырех частях и две части статистики) и принадлежит перу известного профессора Н. А. Иванова, а Булгарин был только издателем его. О сочинении этом с полным уважением отозвался в свое время знаменитый Шафарик. *Н. П. Барсуков, X, 319*.

59

Я не повторю здесь этого двустишия: слишком грязно. Н. (Неелов) писал всегда стихи в этом роде и сделал себе имя этою специальностью. *Прим. Л. Арнольди.*

60

О «самых дружественных отношениях», будто бы существовавших между Гоголем и Соллогубом, мы знаем исключительно из собственных заверений Соллогуба. Очень хорошо Гоголь относился к жене его, Софье Михайловне, урожденной графине Виельгорской.

61

Тут Соллогуб что-то путает. Судя по всем данным, Виельгорские в эти годы в Москве не бывали.

62

«Чтение в Императорском Обществе Истории и Древностей Российских», которые редактировал Бодянский в качестве секретаря общества. За помещение в журнале перевода сочинения Флетчера о России конца XVI века журнал был в 1848 году закрыт, а Бодянский лишен профессорской кафедры в Москве.

63

«Есть страсти, которых избрание не от человека. Уже родились они с ним в минуту рождения его на свет, и не дано ему сил отклониться от них. Высшими начертаниями они ведутся, и есть в них что-то зовущее, не умолкающее во всю жизнь. Земное великое поприще суждено совершать им, все равно, в мрачном ли образе, или перенесшись светлым явлением, возрадующим им, – одинаково вызваны они для неведомого человеком блага. И, может быть, в сем же самом Чичикове страсть, его влекущая, уже не от него, и в холодном его существовании заключено то, что потом повергнет в прах и на колени человека перед мудростью небес. И еще тайна, почему сей образ предстал в ныне являющейся на свет поэме». *«Мертвые души», часть I, гл. XI.*

64

Д-р А. Т. Тарасенков, один из врачей, лечивших Гоголя перед смертью, оставил подробный рассказ о своих сношениях с Гоголем. Статья была напечатана в «Отечественных Записках» (*1856, № 12*) и тогда же вышла отдельной брошюрой (*Последние дни жизни Гоголя. СПб. 1857*). (*Второе издание 1902* г.) Кроме того, В. И. Шенрок (*Материалы, IV, 850 и сл.*) напечатал эти же воспоминания по рукописи, полученной им от сына д-ра Тарасенкова. Рукопись, по-видимому, представляет черновик, – слог менее отделан и точен, нет ряда мелких, иногда ценных деталей; зато приводятся полные имена лиц, не названных в печатном тексте, сохранились места, выкинутые по цензурным соображениям или самою цензурою. Здесь и в дальнейших цитатах мы даем сводный текст.

65

Погодин в это время был в Суздале и воротился в Москву только после похорон Гоголя.

66

Печально сознаться в этом, но одною из причин кончины Гоголя приходится считать неумелые и нерациональные медицинские мероприятия… Гоголь был субъектом с прирожденною невропатическою конституцией. Его жалобы на здоровье в первую половину жизни сводятся к жалобам неврастеника. В течение последних 15–20 лет жизни он страдал тою формою душевной болезни, которая в нашей науке носит название периодического психоза, в форме так наз. периодической меланхолии. По всей вероятности, его общее питание и силы были надорваны перенесенной им в Италии (едва ли не осенью 1845 г.) малярией. Он скончался в течение приступа периодической меланхолии от истощения и острого малокровия мозга, обусловленного как самою формою болезни, – сопровождавшим ее голоданием и связанным с нею быстрым упадком питания и сил, – так и неправильным, ослабляющим лечением, в особенности кровопусканием. Следовало делать как раз обратное тому, что с ним делали, – т. е. прибегнуть к усиленному, даже насильственному кормлению и вместо кровопускания, может быть, наоборот, к вливанию в подкожную клетчатку соляного раствора. *Д-р Н. Н. Баженов. Болезнь и смерть Гоголя. М., 1902. Стр. 38.*

67

«Московские Ведомости», 1852 г. Марта 13-го, № 32, стр. 328 и 329.

68

Мы даем в алфавитном порядке краткие характеристики лиц, более или менее часто упоминаемых в книге; не указаны лица, подробная характеристика которых дана в тексте, как, напр.: родители Гоголя, священник Матвей Константиновский и др.
